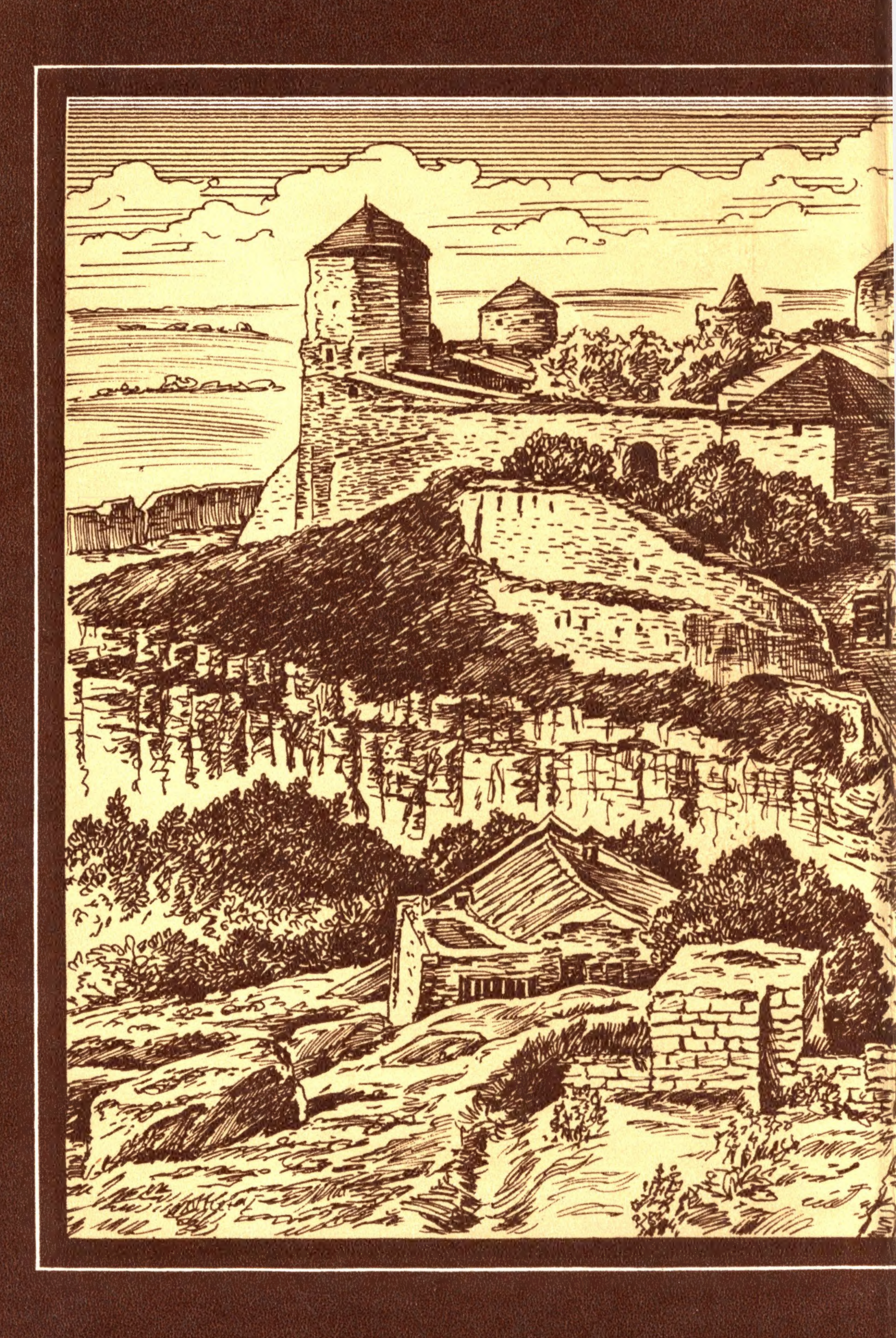
Владимир Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ



Владимир Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

ТРИЛОГИЯ

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Р2
Б44

Беляев В. П.

Б44 Старая крепость: Трилогия. — М.: Воениздат, 1986. — 448 с.

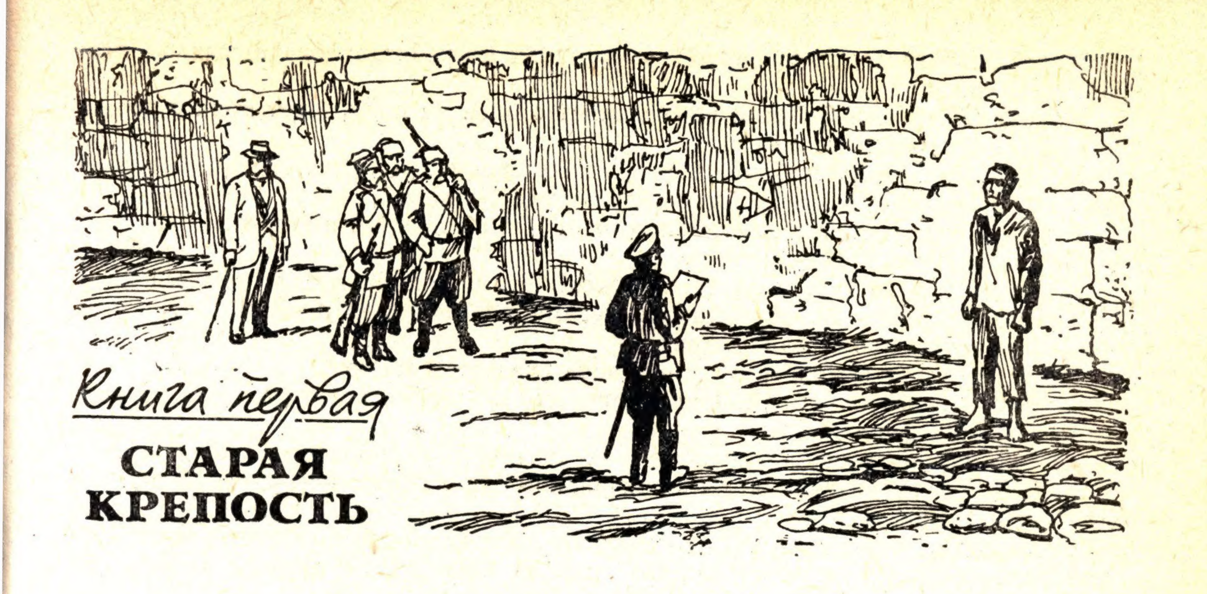
В пер.: 3 р. 20 к.

Широко известная трилогия лауреата Государственной премии Владимира Павловича Беляева рассказывает о судьбе молодых людей небольшого украинского городка, ставших очевидцами и участниками грозных событий гражданской войны, а затем и великих социалистических преобразований в нашей стране.

Книга рассчитана на массового читателя.

Б $\frac{4702010200-116}{068(02)-86}$ 114—85

ББК 84Р7
Р2



Книга первая

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Гимназистами мы стали совсем недавно.

Раньше все наши хлопцы учились в городском высшеначальном училище.

Желтые его стены и зеленый забор хорошо видны с Заречья.

Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя, на Заречье. Схватишь книжки, пенал с карандашами — и айда бежать, чтобы вовремя поспеть на уроки.

И поспевали.

Мчишься по Крутому переулку, пролетаешь деревянный мост, потом вверх по скалистой тропинке — на Старый бульвар, и вот уже перед тобой училищные ворота.

Только-только успеешь вбежать в класс и сесть за парту — входит учитель с журналом.

Класс у нас был небольшой, но очень светлый, проходы между партами узкие, а потолки невысокие.

Три окна в нашем классе выходили к Старой крепости и два — на Заречье.

Надоест слушать учителя — можно в окна глядеть.

Взглянул направо — возвышается над скалами Старая крепость со всеми ее девятью башнями.

А налево посмотришь — там наше родное Заречье. Из окон училища можно разглядеть каждую его улочку, каждый дом.

Вот в Старой усадьбе мать Петьки вышла белье вешать: видно, как ветер пузырями надувает большие рубахи Петькиного отца — сапожника Маремухи.

А вот из Крутого переулка выехал ловить собак отец моего приятеля Юзика — кривоногий Стародомский. Видно, как подпрыгивает на камнях его черный продолговатый фургон — собачья тюрьма. Стародомский поворачивает свою тощую клячу вправо и едет мимо моего дома. Из нашей кухонной трубы вьется синий дымок. Это значит — тетка Марья Афанасьевна уже растопила плиту.

Интересно, что сегодня будет на обед? Молодая картошка с кислым молоком, мамалыга с узваром или сваренная в початках кукуруза?

«Вот если бы жареные вареники!»— мечтаю я. Жареные вареники с потрохами я люблю больше всего. Да разве можно сравнить с ними молодую картошку или гречневую кашу с молоком? Никогда!

Замечтался я как-то на уроке, глядя в окна на Заречье, и вдруг над самым ухом голос учителя:

— А ну, Манджура! Поди к доске — помоги Бобырю...

Медленно выхожу из-за парты, посматриваю на ребят, а что помогать — хоть убей не знаю.

Конопатый Сашка Бобырь, переминаясь с ноги на ногу, ждет меня у доски. Он даже нос выпачкал мелом.

Я подхожу к нему, беру мел и так, чтобы не заметил учитель, моргаю своему приятелю Юзику Стародомскому, по прозвищу Куница.

Куница, следя за учителем, складывает руки лодочкой и шепчет:

— Биссектриса! Биссектриса!

А что это за птица такая, биссектриса? Тоже, называется, подсказал!

Математик ровными, спокойными шагами уже подошел к доске.

— Ну что, юноша, задумался?

Но вдруг в эту самую минуту во дворе раздается звонок.

— Биссектриса, Аркадий Леонидович, это...— бойко начинаю я, но учитель уже не слушает меня и идет к двери.

«Ловко вывернулся,— думаю,— а то влепил бы единицу...»

Больше всех учителей в высшеначальном мы любили историка Валериана Дмитриевича Лазарева.

Был он невысокого роста, беловолосый, всегда ходил в зеленой толстовке с заплатанными на локтях рукавами,— нам он показался с первого взгляда самым обычным учителем, так себе — ни рыба ни мясо.

Когда Лазарев впервые пришел в класс, он, прежде чем заговорить с нами, долго кашлял, рылся в классном журнале и протирал свое пенсне.

— Ну, принес леший еще одного четырехглазого...— зашептал мне Юзик.

Мы уж и прозвище Лазареву собирались выдумать, но когда поближе с ним познакомились, сразу признали его и полюбили крепко, по-настоящему, как не любили до сих пор ни одного из учителей.

Где было видано раньше, чтобы учитель запросто гулял вместе с учениками по городу?

А Валериан Дмитриевич гулял.

Часто после уроков истории он собирал нас и, хитро щурясь, предлагал:

— Я сегодня в крепость после уроков иду. Кто хочет со мной?

Охотников находилось много. Кто откажется с Лазаревым туда пойти? Валериан Дмитриевич знал в Старой крепости каждый камешек.

Однажды целое воскресенье, до самого вечера, провели мы с Валерианом Дмитриевичем в крепости. Много интересного порассказал он нам в этот день. От него мы тогда узнали, что самая маленькая башня называется Ружанка, а та, полуразрушенная, что стоит возле крепостных ворот, прозвана странным именем — Донна. А возле Донны над крепостью возвышается самая высокая из всех — Папская башня. Она стоит на широком четырехугольном фундаменте, в середине восьмигранная, а вверху, под крышей, круглая. Восемь темных бойниц глядят за город, на Заречье, и в глубь крепостного двора.

— Уже в далекой древности,— рассказывал нам Лазарев,— наш край славился своим богатством. Земля здесь очень хорошо родила, в степях росла такая высокая трава, что рога самого большого вола были незаметны издали. Часто забытая на поле соха в три-четыре дня закрывалась поростом густой, сочной травы. Пчел было столько, что все они не могли разместиться в дуплах деревьев и потому роились прямо в земле. Случалось, что из-под ног прохожего брызгали струи отличного меда. По всему побережью Днестра безо всякого присмотра рос вкусный дикий виноград, созревали самородные абрикосы, персики.

Особенно сладким казался наш край турецким султанам и соседним польским помещикам. Они рвались сюда изо всех сил, заводили тут свои угодья, хотели огнем и мечом покорить украинский народ.

Лазарев рассказал, что всего каких-нибудь сто лет назад в нашей Старой крепости была пересыльная тюрьма. В стенах разрушенного белого здания на крепостном дворе еще сохранились решетки. За ними сидели арестанты, которых по приказу царя отправляли в Сибирь на каторгу. В Папской башне при царе Николае Первом томился известный украинский повстанец Устин Кармелюк. Со своими побратимами он ловил проезжавших через Калиновский лес панов, исправников, попов, архиереев, отбирал у них деньги, лошадей и все отобранное

раздавал бедным крестьянам. Крестьяне прятали Кармелюка в погребах, в копнах на поле, и никто из царских сыщиков долгое время не мог словить храброго повстанца. Он трижды убегал с далекой каторги. Его били, да как били! Спина Кармелюка выдержала больше четырех тысяч ударов шпицрутенами и батогами. Голодный, израненный, он каждый раз вырывался из тюрьмы и по морозной глухой тайге, неделями не видя куска черствого хлеба, пробирался к себе на родину— на Подолию.

— По одним только дорогам в Сибирь и обратно,— рассказывал нам Валериан Дмитриевич,— Кармелюк прошел около двадцати тысяч верст пешком. Недаром крестьяне верили, что Кармелюк свободно переплывет любое море, что он может разорвать любые кандалы, что нет на свете тюрьмы, из которой он не смог бы уйти.

Его посадил в Старую крепость здешний магнат, помещик Янчевский. Кармелюк бежал из этой мрачной каменной крепости среди бела дня. Он хотел поднять восстание против подольских магнатов, но в темную октябрьскую ночь 1835 года был убит одним из них — Рутковским.

Этот помещик Рутковский побоялся даже при последней встрече с Кармелюком посмотреть ему в глаза. Он стрелял из-за угла в спину Кармелюку.

— Когда отважный Кармелюк сидел в Папской башне,— рассказывал Валериан Дмитриевич,— он сочинил песню:

За Сибирью солнце всходит...
Хлопцы, не зевайте:
Кармелюк панов не любит —
В лес за мной ступайте!..

Асессоры, исправники
В погоне за мною...
Что грехи мои в сравненье
С ихнею виною!

Зовут меня разбойником,
Ведь я убиваю.
Я ж богатых убиваю,
Бедных награждаю.

Отнимаю у богатых —
Бедных наделяю;
А как деньги разделю я —
И греха не знаю.

Круглая камера, в которой сидел когда-то Кармелюк, была засыпана мусором. Одно ее окно выходило во двор крепости, а другое, наполовину закрытое изогнутой решеткой,— на улицу.

Осмотрев оба этажа Папской башни, мы направились к широкой Черной башне. Когда мы вошли в нее, наш учитель велел нам лечь ничком на заплесневелые балки, а сам осторожно перебрался по перекладине в дальний темный угол.

— Считайте,— сказал он и поднял над вырубленным между балками отверстием голыш.

Не успел этот беленький круглый камешек промелькнуть перед нами и скрыться под деревянным настилом, как все шепотом забормотали:

— Один, два, три, четыре...

Было лишь слышно, как далеко внизу, под заплесневелыми балками, журчит ручей.

— Двенадцать! — едва успел прошептать я, как из глубины темного колодца донесся всплеск воды. Эхо от него пролетело мимо нас вверх, под каменный свод башни.

— Так и есть, тридцать шесть аршин,— сказал Лазарев, осторожно пробираясь к нам по гнилой перекладине.

Когда мы вышли из затхлого полумрака на крепостной двор, Лазарев объяснил, откуда взялся в Черной башне этот глубокий колодец.

Его выкопали осажденные запорожцами турки.

В это же воскресенье возле самой Донны Куница под кустом шиповника нашел ржавый турецкий ятаган. Он и по сей день лежит в городском музее с вы-

цветшей надписью: «Дар ученика высшеначального училища Юзефа Стародомского».

В одну из наших прогулок по крепости мы помогли Валериану Дмитриевичу выковырять из стены Папской башни круглое чугунное ядро. Оно гулко упало на землю и разломило пополам валявшуюся сосновую щепку.

На брезентовой курточке Сашки Бобыря мы донесли это чугунное ядро до самого дома Лазарева.

Вот тогда-то мы и узнали, что Валериан Дмитриевич живет по соседству с доктором Григоренко, в проулочке напротив докторской усадьбы.

В глубине небольшого дворика примостился его обмазанный глиной домик с деревянным крылечком. На крылечке, словно часовые, стояли, прислонившись к перилам, две безносые каменные бабы. Валериан Дмитриевич выкопал их за городом, на кургане около Нагорян.

По всему двору были разбросаны покрытые мхом могильные плиты, надтреснутые глиняные кувшины, бронзовые кресты и осколки камней с отпечатками листьев. С проулочка дворик Лазарева, похожий на старинное маленькое кладбище, был огорожен невысоким глиняным забором. Мы бросили чугунное ядро наземь у самого крыльца, и когда стали прощаться с нашим учителем, он пообещал сводить нас в подземный ход, который начинается около крепости.

Мы условились пойти в подземный ход в следующее воскресенье. Куница взялся отыскать фонари, а Сашка Бобырь пообещал принести целую катушку телефонного провода.

Очень заманчива была для нас эта прогулка!

Об этом подземном ходе я впервые услышал от Куницы. Куница уверял, что подземный ход соединяет нашу крепость со старинным замком князя Сангушко, который раньше владел этим краем.

Тридцать верст тянется подземный ход в скалах, проходит под двумя быстрыми речками и кончается в не известной никому потайной комнате княжеского замка. А этот княжеский замок стоит в густом сосновом лесу, скрытый от людских глаз, на берегу широкого озера, в котором водятся жирные зеркальные карпы и золотые рыбки.

Я верил Кунице и представлял себе княжеский замок мрачным, загадочным, с тяжелыми решетками на окнах.

«Должно быть,— думал я,— в ясные, светлые ночи его зубчатые башни отражаются в голубом от лунного света озере, и, наверное, очень страшно, да и, пожалуй, невозможно купаться в этом озере по ночам».

Я с нетерпением ждал воскресенья.

Но пойти в подземный ход вместе с Лазаревым нам не удалось.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

По городу прошел слух, что красные отступают и Петлюра с пилсудчиками подходит уже к Збручу. А потом на заборах забелели приказы, в которых говорилось, что Красная Армия временно оставляет город, перебрасывая свои части на деникинский фронт.

Накануне отступления, поздно вечером, к моему отцу пришел наш сосед Омелюстый. С ним был еще один человек, которого я не знал.

Я уже лежал в постели, закутанный до подбородка в байковое отцовское одеяло.

Отец сидел за столом и хорошо наточенным ножом резал «самкроше» из пачки прессованного желтого табака — бакуна.

На плечах у Омелюстого болтался рваный казацкий башлык, на лобастой голове чернела круглая барашковая кубанка, а карманы его зеленого френча были туго набиты бумагами. Спутник его, невысокий человек в пушистом заячьем треухе, шел сзади, медленно переставляя ноги, словно боялся оступиться.

Был он очень бледен, небрит, и на остром его подбородке и впалых щеках пробивались черные жесткие волосы. Перешагнув вслед за Омелюстым порог нашей спальни, незнакомец снял свою меховую шапку, тихо, чуть слышно поздоровался, сел на стул и расстегнул ватную солдатскую телогрейку.

— Поганое дело, Манджура, выручай,— сказал Омелюстый, снимая башлык и здороваясь с отцом.— Наши ночью отступают, а вот товарищ расхворался не вовремя. Нельзя ему ехать... Где б его тут пристроить в городе? Только так, чтобы никто не потревожил. А, Мирон?

— Ладно, потолкуем,— ответил отец.— Разденься сперва, чаю выпей.

Омелюстый вытащил из френча револьвер, переложил его в карман брюк, а френч вместе с кубанкой и башлыком бросил на корзинку у окна. Потом, присев к столу, он облокотился на него и, сжав виски длинными тонкими пальцами, медленно сказал:

— Ты думаешь, наши надолго уходят? Пустяки, скоро вернутся. Вот прогонят Деникина из Донбасса, а тогда и Подолию освободят.

Пока Омелюстый беседовал с отцом, Марья Афанасьевна приготовила больному гостю постель на широком кованом сундуке, а когда он улегся, покрыла его зимним ватным одеялом и другими теплыми вещами, какие только были в нашем доме. Она напоила больного чаем с сушеной малиной. Он лежал на спине под высокой грудой пропахшей нафталином одежды, прислушиваясь к разговору. Свет от лампы падал гостю в глаза, и он все время жмурился.

Вдруг он повернулся на бок, подмигнул мне и кивнул на стену. Я посмотрел на стену — ничего там не было. Тогда больной высунул из-под одеяла худую, длинную руку и начал шевелить вытянутыми пальцами.

По стене запрыгали тени.

Из этих смутных, расплывчатых теней стали возникать отчетливые фигуры. Сперва я различил голову лебедя с выгнутой шеей. Потом на белой стене, двигая ушами, запрыгал очень потешный заяц. А когда заяц исчез, большой рак, подползая к окну, зашевелил цепкой клешней. Не успел я наглядеться на рака, как в другом месте, около этажерки, появилась морда лающей собаки, очень похожей на пса наших соседей Гржибовских — Куцего. Вот собака высунула язык и стала тяжело дышать, точь-в-точь как дышат собаки в сильную жару.

Все фигурки появлялись и пропадали так быстро, что я не успевал даже заметить, как делает их этот чудной человек, укутанный теплой одеждой до самых ушей.

Показав последнюю фигурку, он опять хитро подмигнул мне, высунул язык, а потом снова лег на спину и закрыл глаза.

Я сразу решил, что он, должно быть, очень веселый и хороший человек, и мне захотелось, чтобы отец позволил ему остаться у нас, пока не возвратятся красные.

Ни отец, ни сосед не заметили тех штук, которые показал мне больной. Они все пили чай и разговаривали.

Под их тихий разговор я заснул. Проснулся я поздно и первым делом поглядел на сундук, где лежал вчера ночной гость.

Сундук по-прежнему стоял у стены, покрытый разноцветной дорожкой. Но постели и больного на нем не было.

На чистую блестящую клеенку обеденного стола падали солнечные лучи.

Вдруг где-то за Калиновским лесом грохнул выстрел.

Натягивая на ходу рубашку, я вбежал в кухню. Там тоже никого не было. Только на огороде, около забора, я нашел тетку Марью Афанасьевну. Она стояла на скамеечке и смотрела поверх забора на крепостной мост.

— Петлюровцы,— сказала, вздохнув, тетка и сошла на землю.

Я вскочил на скамейку, оттуда вскарабкался на забор и увидел скачущих от крепости в город всадников. Они мчались по мосту. Над решетчатыми перилами были видны вытянутые морды их гривастых коней.

— А где больной? — спросил я Марью Афанасьевну, когда мы вернулись на кухню.

— Больной? Какой больной? — удивилась она.— А я думала, ты спал. Больной, деточка, уехал с красными... Все уехали. Ты только помалкивай про больного.

— Как все? И отец?

— Нет, деточка, отец здесь, он пошел в типографию.

Тетка моя, Марья Афанасьевна,— женщина добрая и жалостливая. Сердится она редко и, когда я веду себя хорошо, называет меня «деточкой».

А я не люблю этого слова. Какой я деточка, когда мне скоро уже двенадцать!

Вот и сейчас я обозлился на тетку за эту самую «деточку» и не стал ее больше расспрашивать, а побежал в Старую усадьбу к Петьке Маремухе — смотреть оттуда, со скалы, как в город вступают петлюровцы.

А на следующий день, когда петлюровцы уже заняли город и вывесили на городской каланче свой желто-голубой флаг, мы с Юзиком Куницей увидели бегущего по Ларинке Ивана Омелюстого.

Его зеленый френч, надетый прямо на голое тело, был расстегнут. Омелюстый мчался по тротуару, чуть не сбивая с ног случайных прохожих и гулко стуча по гладким плитам коваными сапогами. За ним гнались два петлюровца в широких синих шароварах. Не останавливаясь, на бегу, стреляли в воздух из тяжелых маузеров.

Омелюстый тоже не останавливался и тоже стрелял из нагана вверх, через левое плечо, не целясь. У кафедрального собора к двум петлюровцам присоединились еще несколько черношлычников. Они гурьбой гнались за Омелюстым и палили без разбору — кто куда.

По извилистым тропинкам над скалой Омелюстый промчался к Заречью. А петлюровцы, не зная дороги, поотстали. Спустившись вниз, Омелюстый перебежал по шатающейся кладочке на другой берег реки и оглянулся.

Размахивая маузерами, петлюровцы уже подбегали к берегу. Тогда Иван вскочил в башню Конецпольского, которая стояла на краю Заречья, у самого берега.

И не успели еще петлюровцы добежать до реки, как из круглой башни раздался первый выстрел Омелюстого. Второй пулей Омелюстый подстрелил прыгнувшего на дрожащую кладочку рослого петлюровца. Ноги петлюровца разъехались в стороны. Он покачнулся, неловко взмахнул руками и грузно упал в быструю речку.

Мы с Куницей с гребня крутого Успенского спуска видели, как медленно поплыла вниз по течению кудлатая белая папаха петлюровца.

Петлюровцы залегли поодаль, в камнях под скалой. Пока двое из них вытаскивали из воды подстреленного, остальные успели снять со спин свои куцые австрийские карабины и стали палить через речку по башне, в которой спрятался Омелюстый. Никто из петлюровцев, видно, не решался перебежать речку по кладке. Глухое эхо раздавалось над рекой. Скоро на выстрелы стали сбегаться со всех сторон петлюровцы.

В самый разгар перестрелки около нас неожиданно вырос петлюровский сотник в отороченной белым каракулем венгерке.

— А ну, голопузые, марш отсюда! — строго прикрикнул на нас сотник и погрозил Кунице наганом.

Мы кинулись наутек.

Окольной дорогой, мимо Старого бульвара, мы возвращались к себе домой. Уже подбегая к Успенской церкви, мы услышали, как внизу, у реки, застрекотал пулемет. Видно, петлюровцы открыли пулеметный огонь по башне Конецпольского.

У церкви мы разошлись.

Я пошел домой, но у нас дома на кухонных дверях висел замок. Покрутился я несколько минут на огороде и, не вытерпев, побежал к Юзику: уж очень мне хотелось посмотреть, скольких петлюровцев перебил Омелюстый.

Удалось ли ему выбраться из башни Конецпольского? Как мы желали теперь Омелюстому удачи! Из простого, ничем особенно не примечательного соседа Омелюстый сразу вырос в наших глазах в грозного богатыря вроде повстанца Устина Кармелюка.

Куница в это время ел мамалыгу. Я предложил ему сбегать на Старый бульвар и оттуда, сверху, посмотреть, что делается у башни Конецпольского. Куница отломил мне кусок горячей мамалыги, и мы помчались. Но когда мы добежали до бульвара, у башни Конецпольского было уже тихо. Только у речки ходил взад и вперед петлюровский патруль да два каких-то незнакомых хлопца подбирали на берегу стреляные гильзы. Мы прогнали этих хлопцев и сами стали искать патроны в том месте, где только что была перестрелка.

Куница посчастливилось. Около забора он нашел боевой австрийский патрон

с тупой пулькой. Должно быть, впопыхах его обронили петлюровцы. А мне не повезло. Долго я бродил под скалой, где лежал убитый петлюровец, но, кроме одной лопнувшей гильзы, из которой кисло пахло порохом, ничего не нашел. Проклятые чужаки все подобрали.

На небе уже показались звезды, когда я вернулся домой. Отец почему-то был веселый. Застелив газетой край стола, он разбирал наш никелированный будильник и посвистывал.

— Тато, а его не могли в тюрьму бросить? — осторожно спросил я отца.

— Кого в тюрьму? — откликнулся отец.

— Ну, Омелюстого...

Отец усмехнулся в густые усы и пробурчал:

— Много ты знаешь...

Видно, ему-то было известно многое, но он попросту не хотел откровенничать с таким, как я, пацаном.

До прихода Петлюры мой отец работал наборщиком в уездной типографии. Когда петлюровцы заняли город, к отцу стали часто заходить знакомые типографские рабочие. Они говорили, что Петлюра привез с собой машины, чтобы на них печатать деньги.

Машины эти установили в большом доме духовной семинарии на Семинарской улице. А под окнами семинарии взад и вперед зашагали чубатые солдаты в мохнатых шапках, с карабинами за спиной и нагайками отгоняли зевак.

Пятерых рабочих типографии взяли печатать петлюровские деньги. Один из них жаловался отцу, что во время работы за спиной у них стоят петлюровцы с ружьями, а после работы эти охранники обыскивают печатников, как воров.

Как-то поздно вечером к нам в дом пришел рябой низенький наборщик. Он и до этого бывал у нас. Тетка Марья Афанасьевна уже спала, а отец только собирался ложиться.

— Завтра нас с тобою, Мирон, заставят петлюровские деньги печатать. Я слышал, заведующий говорил в конторе,— угрюмо сказал моему отцу этот наборщик.

Отец молча выслушал наборщика. Потом сел за стол и долго смотрел на вздрагивающий огонек коптилки. Я следил за отцом и думал: «Ну, скажи хоть слово, ну, чего ты молчишь?»

Наконец низенький наборщик отважился и, тронув отца за плечо, спросил:

— Так что делать будем, а, Мирон?..

Отец вдруг сразу встал и громко, так, что даже пламя коптилки заколыхалось, ответил:

— Я им таких карбованцев напечатаю, что у самого Петлюры поперек горла станут! Я печатник, а не фальшивомонетчик!

И, сказав это, отец погрозил кулаком.

Утром отца в городе уже не было.

На следующий день за забором в усадьбе Гржибовских завизжала свинья.

— Опять кабана режут! — сказала тетка.

Наш сосед Гржибовский — колбасник.

За белым его домом выстроено несколько свиных хлевов. В них откармливаются на убой породистые йоркширские свиньи.

Гржибовский у себя в усадьбе круглый год ходит без фуражки. Его рыжие волосы всегда подстрижены ежиком.

Гржибовский — рослый, подтянутый, бороду стрижет тоже коротко, лопаточкой, и каждое воскресенье ходит в церковь. На всех Гржибовский смотрит как на своих приказчиков. Взгляд у него суровый, колючий. Когда он выходит на крыльцо своего белого дома и кричит хриплым басом: «Стаху, сюда!» — становится страшно и за себя и за Стаха.

Однажды Гржибовский порол Стаха в садике широким лакированным ремнем с медной пряжкой.

Сквозь щели забора мы видели плотную спину Гржибовского, его жирный зад, обтянутый синими штанами, и прочно вросшие в траву ноги в юфтовых сапогах.

Между ног у Гржибовского была зажата голова Стаха. Глаза у Стаха вылезли на лоб, волосы были взъерошены, изо рта текла слюна, и он скороговоркой верещал:

— Ой, тату, тату, не буду, ой, не буду, прости, таточку, ой, больно, ой, не буду, прости!

А Гржибовский, словно не слыша криков сына, нагибал свою плотную спину в нанковом сюртуке. Раз за разом он взмахивал ремнем, резко бросал вниз руку и с оттяжкой бил Стаха. Он как бы дрова рубил — то, крякнув, ударит, то отшатнется, то снова ударит, и все похрапывал, покашливал.

Стах закусывал губы, высовывал язык и снова кричал:

— Ой, тату, тату, не буду!

Стах не знал, что мы видели, как отец порол его. Всякий раз он скрывал от нас побои.

При людях он хвалил отца, с гордостью говорил, что его отец самый богатый колбасник в городе, и хвастал, что в ярмарочные дни больше всего покупателей собирается у него в лавке на Подзамче.

В словах Стаха, конечно, была доля правды.

Гржибовский умел готовить превосходную колбасу. Заколов свинью, он запирался в мастерской, рубил из выпотрошенной свиной туши окорока, отбрасывал отдельно на студень голову и ножки, обрезал сало, а остальное мясо пускал в колбасу. Он знал, сколько надо подбросить перцу, сколько чесноку, и, приготовив фарш, набивал им прозрачные кишки сам, один. Когда колбаса была готова, он лез по лесенке на крышу. Бережно вынимая кольца колбасы из голубой эмалированной миски, Гржибовский нанизывал их на крючья и опускал в трубу. Затем Гржибовские разжигали печку. Едкий дым горящей соломы, запах коптящейся колбасы доносились и к нам во двор. В такие дни мы с Куницей подзывали Стаха к забору, чтобы выторговать у него кусок свежей колбасы.

Взамен мы предлагали Стаху цветные, пахнущие типографской краской афиши, программки оперeток с изображениями нарядных женщин и маленькие книжечки — жития святых с картинками. Все эти афиши и книжечки приносил мне отец из типографии.

Вначале мы договаривались, что на что будем менять, и божились не надувать друг друга.

После долгих переговоров Стах, хитро щуря свои раскосые глаза, вприпрыжку бежал к коптилке. Он выбирал удобную минуту, чтобы незаметно от отца сдернуть с задымленной полки кольцо колбасы.

Мы стояли у забора и нетерпеливо ждали его возвращения, покусывая от волнения горьковатые прутики сирени.

Утащив колбасу, Стах, веселый, довольный удачей, прибегал в палисадник и перебрасывал ее нам через забор.

Мы ловили ее, скользкую и упругую, как мяч, на лету. Взамен через щели в заборе просовывали Стаху пестрые афиши и книжечки.

Затем мы убегали на скамеечку к воротам и ели колбасу просто так — без хлеба. Острый запах чеснока щекотал нам ноздри. Капли сала падали на траву. Колбаса была теплая, румяная и вкусная, как окорок.

Теперь Гржибовский резал нового кабана.

Услышав визг, мы подбежали к забору и заглянули в щель.

На крыльце, где обычно курил свою трубку Гржибовский, согнувшись, стоял петлюровец и усердно чистил двумя мохнатыми щетками голенище высокого сапога. Начистив сапоги, он выпрямился и положил щетки на барьер крыльца.

Ведь это же Марко!

Ошибки быть не могло. Старший сын Гржибовского, Марко, или Курносый Марко, как его звала вся улица, стоял сейчас на крыльце в щеголеватом френче, затянутый в коричневые портупеи. Его начищенные сапоги ярко блестели.

Когда красные освободили город от войск атамана Скоропадского, Марко исчез из дому.

Он бежал от красных, а сейчас вот появился снова, нарядный и вылощенный, в мундире офицера петлюровской директории.

Ничего доброго появление молодого Гржибовского не предвещало...

ПРОЩАЙ, УЧИЛИЩЕ!

Однажды, вскоре после прихода петлюровцев, вместо математика к нам в класс вошел Валериан Дмитриевич Лазарев. Он поздоровался, протер платочком пенсне и, горбясь, зашагал от окна к печке. Он всегда любил, прежде чем начать урок, молча, как бы собираясь с мыслями, пройтись по классу. Вдруг Лазарев остановился, окинул нас усталым рассеянным взглядом и сказал:

— Будем прощаться, хлопчики. Жили мы с вами славно, не ссорились, а вот пришла пора расставаться. Училище наше закрывается, а вас переводят в гимназию. Добровольно они туда не могли набрать учеников, так на такой шаг решились... Сейчас можете идти домой, уроков больше не будет, а в понедельник извольте явиться в гимназию. Вы уже больше не высшеначальники, а гимназисты.

Мы были ошарашены. Какая гимназия? Почему мы гимназисты? Уж очень стало удивительно тихо. Первым нарушил эту тишину конопатый Сашка Бобырь.

— Валериан Дмитриевич, а наши учителя, а вы — тоже с нами? — выкрикнул он с задней парты, и мы, услышав его вопрос, насторожились.

Было видно, что Сашкин вопрос задел Валериана Дмитриевича за живое.

— Нет, хлопчики, мне на покой пора. С паном Петлюрой у нас разные дороги. Я в той гимназии ни к чему,— криво улыбнувшись, ответил Лазарев и, присев к столу, принялся без цели перелистывать классный журнал.

Тогда мы повскакивали из-за парт и окружили столик, за которым сидел Лазарев.

Валериан Дмитриевич молчал. Мы видели, что он расстроен, что ему тяжело разговаривать с нами, но все же мы стали приставать к нему с вопросами. Сашка Бобырь спрашивал Лазарева, будем ли мы носить форму, Куница — на каком языке будут учить в гимназии; каждый старался выведать у Валериана Дмитриевича самое главное и самое интересное для себя.

Особенно хотелось нам узнать, почему Лазарев не хочет переходить в гимназию. И когда мы его растравили вконец, он встал со стула, еще раз медленно протер пенсне и сказал:

— Я и сам не хочу покидать вас в середине учебного года, да что ж поделаешь? — Помолчав немного, он добавил: — Главное-то, хлопчики, в том, что они набирают в гимназию своих учителей, а я для них не гожусь.

— Почему не годитесь? — удивленно выкрикнул Куница.

— Я, хлопчики, не могу натравливать людей одной нации на людей другой так, как этого хотелось бы петлюровцам. По мне, был бы человек честным, полезным обществу, а то, на каком языке он говорит,— дело второстепенное. Мне абсолютно безразлично: поляк, еврей, украинец или русский мой знакомый — была бы у него душа хорошая, настоящая, вот основное! И я всегда считал и считаю, что нельзя решать судьбу Украины в отрыве от будущего народов России... И никогда они мне не простят, что я первый рассказывал вам правду о Ленине...

Невесело расходились мы в этот день по домам. Было жалко покидать навсегда наше старое училище. Никто не знал, что нас ожидает в гимназии, какие там будут порядки, какие учителя.

— Это все Петлюра выдумал! — со злостью сказал Куница, когда мы с ним спускались по Старому бульвару к речке.— Вот холера, чтоб он подавился!

Я молчал. Конечно, прав был мой польский друг! Что говорить, никому не хотелось расставаться со старым училищем. Да и как мы будем учиться вместе с гимназистами?

Еще от старого режима сохранялись у них серые шинели с петлицами на воротнике, синие мундиры и форменные фуражки с серебряными пальмовыми веточками на околыше.

А когда пришли петлюровцы, многие гимназисты, особенно те, что записались в бойскауты, вместо пальмовых веточек стали носить на фуражках петлюровские гербы — золоченые, блестящие трезубцы. Иногда под трезубцы они подкладывали шелковые желто-голубые ленточки.

Мы издавна ненавидели этих панычей в форменных синих мундирах с белыми пуговицами и, едва завидев их, принимались орать во все горло:

— Синяя говядина! Синяя говядина!

Гимназисты тоже были мастера дразниться.

На медных пряжках у нас были выдавлены буквы «В. Н. У.», что означало «Высшеначальное училище». Отсюда и пошло — увидят гимназисты высшеначальников и давай кричать:

— Внучки! Внучки!

Ну и лупили же их за это наши зареченские ребята! То плетеными нагайками, то сложенными вдвое резиновыми трубками. А маленькие хлопцы стреляли в гимназистов из рогаток зелеными сливами, камешками, фасолью.

Жаль только, что к нам в Заречье, где жила преимущественно беднота, они редко заглядывали.

Почти все гимназисты жили на главных улицах города: на Киевской, Житомирской, за бульварами, а многие и около самой гимназии.

Наступил понедельник. Ох, и не хотелось в то ясное, солнечное утро в первый раз идти в незнакомую, чужую гимназию!

Еще издали, с балкона, когда мы с Петькой Маремухой и Куницей переходили площадь, кто-то из гимназистов закричал нам:

— Эй вы, мамалыжники, паны цыбульские! А воши свои на Заречье оставили?

Мы промолчали. Хмурые, насупленные, вошли мы в темный, холодный вестибюль гимназии. В тот день у нас, у новичков, никаких занятий не было. Делопроизводитель в учительской записал всех в большую книгу, а потом сказал:

— Теперь подождите в коридоре, скоро придет пан директор.

А директор засел в своем кабинете и долго к нам не выходил.

Мы слонялись по сводчатым коридорам, съезжали вниз по гладким перилам лестницы, а потом забрели в актовый зал.

Там, в огромном пустом зале, горбатый гимназический сторож Никифор снимал со стены портреты русских писателей.

Вместо писателей Никифор стал вставлять под стекло петлюровских министров, но министров оказалось больше, чем писателей,— девятнадцать человек, и золоченых рам для них не хватило. Тогда Никифор постоял, поскреб затылок и заковылял в кабинет естествознания. Он притащил оттуда целую пачку застекленных картинок разных зверей и животных.

Но едва он принялся потрошить эти картинки, как в актовый зал вбежал рассвирепевший учитель природоведения Половьян.

Природовед поднял такой крик, что мы думали, он убьет горбатого Никифора. Половьян бегал вокруг стремянки и кричал:

— Что ты выдумал, изверг? Да ты с ума сошел! Я не отдам своего муравьеда! Ведь это кощунство! Такой муравьед на весь город один.

А Никифор только огрызнулся:

— Та видчепиться, пане учителю, чого вы тутечки галас знялы? Идите до директора.

Покружившись в актовом зале, Половьян убежал жаловаться директору, но тот только похвалил горбатого Никифора за его выдумку.

Сторож, хитро улыбаясь, стал выдирать из вишневого цвета рамок львов, тигров, носорогов, а с ними и половьяновского муравьеда.

— Ну, ты, изверг, вылезай,— сказал Никифор, вытаскивая муравьеда.

Сидя на паркетном полу, Никифор клещами выдергивал из рамки гвоздики, и фанерная крышечка выпадала сама. Никифор вынимал картинки, обтирал рамки влажной тряпкой и клал на стекло кого попало — то морского министра, то министра церковных дел, то хмурого усатого министра просвещения.

Когда все портреты были развешаны, сторож Никифор покропил водой паркетный пол актового зала и вымел в коридор весь мусор и паутину.

Вместе с нами он расставил перед сценой несколько длинных сосновых скамеек. Все высшеначальники собрались в актовый зал и сели на скамейки. Бородатый директор гимназии Прокопович вылез на сцену, откашлялся и, поставив правую ногу на суфлерскую будку, стал говорить речь.

Половину его слов мы не разобрали. Я запомнил только, что мы, «молодые сыны самостийной Украины», должны хорошо учиться в гимназии и заниматься в скаутских отрядах, чтобы, окончив учение, поступить в военные петлюровские школы.

Маремуха, Сашка Бобырь, Куница и я попали в один класс.

Первое время мы держались вместе и даже могли при случае дать сдачи любому гимназисту. Но потом Петька Маремуха стал все больше и больше подмазываться к ловкому и хвастливому гимназисту Котьке Григоренко.

Они, правда, и раньше, по Старой усадьбе, были знакомы друг с другом. Петькин отец, сапожник Маремуха, арендовал у доктора Григоренко флигель в Старой усадьбе, Котька иногда приезжал со своим отцом в Старую усадьбу и там познакомился с Петькой. Здесь, в гимназии, они встретились как старые знакомые, Котька вдобавок подкупил Маремуху архивной бумагой с орлами, и Петька Маремуха совсем раскис.

Отец Котьки был главный врач больницы. Он позволял своему сыну рыться в больничном архиве и выдирать из пахнущих лекарствами ведомостей чистые листы. Котька часто брал с собой в больничные подвалы и Маремуху — добывать чистую бумагу.

Маремуха не раз бывал у Котьки дома, на Житомирской улице, не раз они вместе ходили на речку ловить раков. Григоренко его и в бойскауты записал одним из первых.

А вскоре вслед за Маремухой под команду Котьки перекочевал и Сашка Бобырь. Он, дурень, похвастался однажды перед Котькой своим никелированным «бульдогом», а Котька и припугнул его, что скажет про этот револьвер петлюровским офицерам. Вот Сашка Бобырь с перепугу и стал также подлизываться к Котьке.

Остались неразлучными только мы с Куницей.

Обидной нам сперва показалась измена Маремухи и Сашки Бобыря, а потом мы бросили думать о них и еще крепче сдружились.

И до чего же скучно было учиться первое время в гимназии! Классы здесь хмурые, неприветливые, точно монастырские кельи. Да тут и в самом деле когда-то были кельи.

Раньше в этом доме был монастырь. В монастырских подвалах, слышал я, замуровывали живьем провинившихся монахов. Здание это много раз перестраивали, но все-таки оно и изнутри и снаружи походило на монастырь.

Гимназисты, которые и до нас учились в этом здании, чувствовали себя здесь хозяевами. Они позанимали лучшие места на первых партах, а нам, высшеначальникам, осталась одна «камчатка».

А гимназические учителя нудные, злые, слова интересного не скажут, не пошутят, как, бывало, Лазарев в высшеначальном.

Не раз вспоминали мы Валериана Дмитриевича Лазарева, его интересные уроки по истории, прогулки с ним в Старую крепость.

Тут, в гимназии, запретили изучать русский язык, общую историю сразу отменили, а вместо нее стали мы учить историю одной только Украины. А учителем истории директор назначил петлюровского попа Кияницу.

Высокий, обросший рыжими волосами, в зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди, он стал приходить в класс задолго до звонка. Мы еще по двору бегаем, а он уже тут как тут.

Кияница преподавал историю скучно, неинтересно. Часто посреди урока он вдруг останавливался, кряхтел, теребил свою рыжую бороду и лез за помощью в учебник Грушевского — старого украинского националиста. А когда надоедало рыться в этой толстой, тяжелой книге, он начинал задавать нам вопросы.

А однажды Кияница венчал адъютанта самого Петлюры Степана Скрипника и пришел в гимназию со свадьбы. От него пахло водкой. Кияница поднялся на второй этаж и двинулся прямо в директорскую за учебниками. Он прятал учебники в шкафу у директора. А в этот день директора вызвали в министерство просвещения, и он ушел, закрыв свой кабинет. Мы подсмотрели, как Кияница покрутился около директорской, заглянул в замочную скважину, потом крякнул с досады и, пошатываясь, вернулся в класс. Он долго хмыкал что-то непонятное под нос, совал длинные руки под кафедру, кашлял, а потом вдруг пробурчал:

— Ну-с, так... Да... Так... Сегодня, дети... сегодня мы вспомним, что я рассказывал вам о крепости Кодак... Крепость Кодак знаменита тем, что ее построили около Днепровских порогов... Кто построил крепость Кодак? Ну вот, как тебя, отрок? — И поп ткнул пальцем прямо в Маремуху.

Бедный Петька не ожидал такого каверзного вопроса. Он завертелся на скамейке, оглянулся, потом вскочил и, краснея, сказал:

— Маремуха!

— Маремуха? — удивился поп.— Ну-с, итак, объясни нам, отрок Маремуха, кто построил крепость Кодак?

В классе наступила тишина. Было слышно, как далеко за Тернопольским спуском проезжала подвода. Кто-то свистнул на Гимназической площади. Петька долго переминался с ноги на ногу и затем, зная, что больше всех гетманов поп любит изменника Мазепу, и желая подмазаться к учителю, собравшись с духом, выпалил:

— Мазепа!

— Брешешь, дурень! — оборвал Маремуху поп.— Мазепы тогда еще на свете не было... Крепость Кодак построил... построил... да, построил иудей Каплан, а наш славный рыцарь атаман Самойло Кошка сразу взял ее в плен...

— Нет, не Кошка! — дрожащим голосом на весь класс сказал Куница.

Поп насторожился, вскинул кверху голову и грозно спросил:

— Кто сказал — не Кошка? А ну, встань!

Куница встал и, опустив глаза вниз, бледный, взволнованный, глядя в чернильницу, тихо ответил:

— Я сказал.

Мне стало очень страшно за Юзика. Я ждал, что Кияница набросится на него с кулаками, изобьет его здесь же, у нас на глазах. Но поп, опираясь здоровенными своими лапами на кафедру, нараспев, басом сказал:

— А-а, это, значит, ты такой умник? Чудесно! Итак, ты утверждаешь, что я извращаю истину? Тогда выйди, голубчик, сюда и расскажи нам, кто же, по-твоему, построил крепость Кодак?

Поп думал, что Куница испугается и не ответит, но Куница выпрямился и, глядя попу прямо в глаза, твердо сказал:

— Крепость Кодак построил совсем не Каплан, а французский инженер Боплан, а в плен ее захватил никакой не Кошка, а гетман Сулима.

— Сулима? — переспросил поп и закашлялся.

Кашлял он долго, закрывая широким рукавом волосатый рот. В эту минуту в классе еще сильнее запахло водкой.

Накашлявшись вдоволь, красный, со слезящимися глазами Кияница спросил:

— Кто же это тебя научил такой ерунде?

— Валериан Дмитриевич научил,— смело сказал Юзик и добавил, объясняя:— Лазарев.

— Ваш Лазарев ничего не знает! — вспыхнул поп.— Ваш Лазарев богоотступник и шарлатан! Кацапский прислужник! Зараза большевистская.

— И то неправда! — сказал Куница.— Валериан Дмитриевич все знает.

— Что? — заорал поп.— Неправда? А ну, стань в угол, польское отродье! На кукурузу! На колени!

Даже стекла задрожали в эту минуту от крика Кияницы.

Бледный Юзик подождал немного, а потом тихо пошел к печке и стал там, в углу, на колени.

После этого случая мы еще больше возненавидели попа Кияницу.

ГОЛОС ТАРАСА

Очень здорово ехать на грохочущей подводе по знакомому городу в тот самый час, когда все приятели занимаются в скучных и пыльных классах. Если бы не эта поездка за барвинком, сидеть бы и нам теперь на уроке закона божия да заучивать наизусть «Отче наш».

А разве в такую погоду полезет в голову «Отче наш» или история попа Кияницы?

Куница тоже доволен.

— Я каждый день согласен ездить за барвинком— нехай освобождают от уроков. А ты?

— Спрашиваешь! — ответил я ему. И мне сразу стало очень грустно, что только на сегодня выпало нам такое счастье. А завтра...

— Петлюровцы! — толкнул меня Юзик.

Навстречу идет колонна петлюровцев. Их лица лоснятся от пота. Сбоку с хлыстиком в руке шагает сотник. Он хитрый, холера: солдат заставил надеть синие жупаны, белые каракулевые папахи с бархатными «китыцями», а сам идет в легоньком френче английского покроя, на голове у него летняя защитная фуражка с длинным козырьком, закрывающим лицо от солнца.

Возница сворачивает. Левые колеса уже катятся по тротуару — вот-вот мы зацепим осью дощатый забор министерства морских дел петлюровской директории.

Все равно тесно. Возница круто останавливает лошадь.

Колонна поравнялась с нами.

Сотник, пропустив солдат вперед, подбежал к вознице и, размахивая хлыстиком, закричал:

— Куда едешь, сучий сын? Не мог обождать там, на горе? Не видишь — казаки идут?

— Та я...— хотел было оправдаться возница, седой старик в соломенном капелюхе, но петлюровский сотник вдруг повернулся и, догоняя отряд, закричал:

— Отставить песню!..

И не успели затихнуть голоса петлюровцев, как сотник звонко скомандовал:

— Смирно!

Солдаты сразу пошли по команде «Смирно», повернув головы налево. Вороненые дула карабинов перестали болтаться вразброд и заколыхались ровнее, но чего ради он скомандовал «Смирно»? Ах, вот оно что!

На тротуаре появились два офицера-пилсудчика. Один из них — маленький, белокурый, другой, постарше,— краснолицый, с черными бакенбардами. Пилсудчики идут, разговаривая друг с другом, и не замечают поданной команды. Сотник остановился и смотрит на пилсудчиков в упор.

Не замечают.

Сотник снова командует на всю улицу:

— Смирно!

Заметили.

Белокурый офицер толкнул краснолицего. Тот выпрямился, незаметно поправил пояс и зашагал, глядя на колонну.

Только когда первый ряд подошел к офицерам, оба ловко вскинули к лакированным козырькам конфедераток по два пальца. А сотник вытянулся так, словно хотел выскочить из своего френча, и, нежно ступая по мостовой, приставив руку к виску, прошел перед пилсудчиками, как на параде.

Мы ехали медленно рядом с офицерами по узенькой и кривой улице. Куница искоса разглядывал их расшитые позументами стоячие воротники. Офицеры шли улыбаясь, маленький, покрутив головой, сказал:

— Совершенно ненужное лакейство!

— Но чего пан поручик хочет? Он мужик и мужиком сгинет,— ответил белокурому офицер с бакенбардами и, вынув из кармана маленький, обшитый кружевами платочек, стал сморкаться, да так здорово, что бакенбарды, словно мыши, зашевелились на его румяных щеках.

Я понял, что пилсудчики смеются над петлюровским сотником, который дважды подавал команду «Смирно», лишь бы только выслужиться перед ними.

У Гимназической площади пилсудчики повернули в проулочек к своему штабу, а мы с грохотом въехали на площадь.

Замощенная булыжником, она правильным квадратом расстилалась перед гимназией.

В гимназии было тихо.

Видно, еще шли уроки.

Не успела лошадь остановиться, как мы с Юзиком спрыгнули с подводы и побежали по каменной лестнице наверх, в учительскую.

Навстречу нам попался учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст. Его на днях прислали в гимназию из губернской духовной семинарии.

Немолодой, в выцветшем мундире учителя духовной семинарии, Подуст быстро шел по скрипучему паркету и, заметив нас, отрывисто спросил:

— Принесли?

— Ага! — ответил Куница.— Полную подводу.

— Что?.. Подводу?.. Какую подводу? — удивленно смотрел на Куницу Подуст.— Я ничего не понимаю. Вас же за гвоздями посылали?

Я уже знал, что учитель Подуст очень рассеянный, все всегда путает, и сразу пояснил:

— Мы на кладбище за барвинком ездили, пане учитель. Привезли целую подводу барвинка!

— Ах, да! Совершенно точно! — захлопал ресницами Подуст.— Это Кулибаба за гвоздями побежал. А вы Кулибабу не встречали?

— Не встречали! — ответил Юзик.

И Подуст побежал дальше, но вдруг быстро вернулся и, взяв меня за пряжку пояса, спросил:

— Скажи, милый... Ты... Вот несчастье... Ну как твоя фамилия?

— Манджура! — ответил я и осторожно попятился. Всей гимназии было известно, что Подуст плюется, когда начинает говорить быстро.

— Да, да. Совершенно точно. Манджура! — обрадовался Подуст.— Скажи, какие именно стихотворения ты можешь декламировать?

— А что?

— Ну, не бойся. Тебя спрашивают.

— «Быки» могу Степана Руданского, а потом... Шевченко. Только я забыл трошки.

— Вот и прекрасно! — сказал Подуст и, отпустив мой пояс, потер руки.— В этом есть большой смысл: наша гимназия названа именем поэта Степана Руданского, а ты прочтешь на первом же торжественном вечере его стихи. Прекрасная идея! Лучше не придумать... Теперь слушай. Иди немедленно домой и учи все, что знаешь. Нет, пожалуй, не все, а так, приблизительно два-три стихотворения. Только знаешь... хорошо... выразительно!

Он закашлялся и потом, нагнувшись ко мне, прошептал:

— Хорошо учи. Чуешь? Возможно, сам батько Петлюра придет...

— А домой идти... сейчас?

— Да, да... и сразу же учи. А в гимназию придешь послезавтра. И я сам тебя проверю.

— А если пан инспектор спросит?

— Ничего. Я ему сообщу... Твоя фамилия?

— Манджура!

— Так, так, Манджура, совершенно точно. Будь спокоен,— пробормотал Подуст и сразу побежал в темный коридор.

— Эх ты, подлиза!..— Куница хмуро посмотрел на меня и, передразнивая, добавил: — «Быки» могу... и потом Шевченко»! Нужно тебе очень декламировать. Выслуживаешься перед этим гадом! Поехали б лучше снова за барвинком.

Целый вечер я разгуливал по нашему огороду, между грядками, и бубнил себе под нос:

Вперед, бики! Бадилля зсохло,
Самі валяться будяки,
А чересло, леміш нові...
Чого ж ви стали? Гей, бики!

— «Быки, быки»! — крикнула мне, выглянув из окна, тетка.— Ты мне со своими «быками» все огурцы потопчешь. Иди лучше на улицу!

— Ничего, тетя, не зачипайте! Я учусь декламировать стихотворение,— весело ответил я.— Меня, может, сам батько Петлюра приедет слушать. Если мне дадут награду, я и вам половину принесу!

Проклятые «Быки» меня здорово помучили. Смешно: такое легкое на вид стихотворение, а заучивать его вторично наизусть было гораздо труднее, чем те вирши Шевченко, которые я учил очень давно, еще в высшеначальном училище. Их я повторил раза три по «Кобзарю» — и все, а вот с «Быками» провозился долго. Все путалось, как только я начинал читать наизусть.

Сперва я читал, как созревает хлеб на полях и как текут молоко и мед по святой земле, а уже потом — как быки, вспахивая поле, ломают бурьяны и чертопо-

лох. А надо было читать как раз наоборот. Я уже пожалел даже, что вызвался учить именно эти стихи, про быков. Но тогда, пожалуй, Подуст не отпустил бы меня домой.

...Лишь к вечеру следующего дня я, наконец, заучил правильно стихотворение про быков и утром с легким сердцем пошел в гимназию к Подусту.

— Ага, Кулибаба! — радостно сказал Подуст.— Будешь... выжимать гири?

«Вот и старайся следующий раз для такого черта, а он даже не может запомнить меня»,— подумал я и ответил:

— Я не Кулибаба, а Василий Манджура. Вы мне велели учить стихи.

— Манджура? Ну, не все одно — Кулибаба, Манджура?

Пряча в карман пенсне, Подуст предложил:

— Пойдем в актовый зал, прорепетируем!..

И только мы переступили порог актового зала, изо всех окон мне в глаза ударило солнце.

За те дни, пока я не ходил в гимназию, в актовом зале произошли перемены. Вблизи сцены из свежих сосновых досок выстроили высокую ложу. Через весь зал были протянуты две толстые гирлянды, сплетенные из привезенного нами барвинка. Вместе со стеблями барвинка в гирлянды вплели шелковые желто-голубые ленты. Гирлянды перекрещивались под сверкающей в солнечных лучах хрустальной люстрой. Крашенные масляной краской стены актового зала были хорошо вымыты и тоже блестели на солнце. Вверху, под лепными карнизами, висели портрёты петлюровских министров, а у белой кафельной печки, перевитый вышитым рушником, виднелся на стене большой портрет Тараса Шевченко.

Подуст взобрался на суфлерскую будку и, сидя на ней, точно на седле, кивнул:

— Давай!

Было очень неловко декламировать в этом пустом солнечном зале на скользком паркете, но я откашлялся и начал с выражением:

Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?

Я видел перед собой широкий, весь в мелких ямках нос учителя, видел совсем близко зеленоватые близорукие глаза его, посыпанный перхотью и засаленный воротник его мундира.

Подуст в такт чтению притопывал ногой.

Не дождавшись, пока я кончу, он вскочил и чуть не опрокинул суфлерскую будку.

— Дуже гарно! Только чуть-чуть громче. Вирши Шевченко в таком же духе читаешь?

Я кивнул головой.

— И хорошо. Это будет коронный номер. Советую только тебе выпить сырое яйцо, перед тем как выйдешь на сцену, чтобы не сорвался голос. Не забудешь?

— А утиное можно?

— Это не играет роли — утиное или куриное. Важно, чтобы сырое было. Понял?

— Послушайте остальные, пане учитель...

— Ой! — вдруг ударил себя ладонью по лбу Подуст.— Меня же пан директор ждет. Я совсем забыл.

Тут же он спрыгнул на паркет и поскользнулся. Я его поддержал.

— Да, постой, как твоя фамилия?

Вынув карандаш и листок бумаги, щуря свои подслеповатые глаза, Подуст посмотрел на меня так, будто видел меня в первый раз.

— Манджура! — снова подсказал я и снова про себя обругал учителя.

— Чудесно. Итак, я записываю: ученик Манджура — декламация.

Записочку эту Подуст не потерял. Когда в день праздника я пришел в гимназию, меня встретил на лестнице Юзик и насмешливо сказал:

— Подумаешь, артист...

Он вынул из кармана розовую программку и протянул ее мне. Рядом со словом «декламация» в этой программке я нашел напечатанную настоящими типографскими буквами свою фамилию. Это было очень приятно.

— Петлюра будет! — наклоняясь ко мне, прошептал Куница.

— Правда?

— А вот смотри, уже караулит!

Мимо нас, высоко подняв голову и, видно, высматривая кого-то, прошел в хорошо вытюженном мундире директор гимназии Прокопович. Из петлицы мундира у него торчал букетик цветов иван-да-марьи. Директор нарочно посылал в соседний Должецкий лес гимназического сторожа Никифора за этими желто-синими цветами. Говорили, что Прокопович дружит с Петлюрой, а Подуст даже рассказывал, что наш директор скоро будет у атамана министром просвещения.

До начала вечера оставалось много времени.

Вдвоем с Куницей мы долго бродили по гимназическим коридорам, зашли в разукрашенный сосновыми ветками буфет, и там он угостил меня сельтерской водой с вкусным сиропом «Свежее сено». Взамен я разрешил ему залезть ко мне в карман и вытащить оттуда пригоршню жареной кукурузы. Мы грызли эти белые, лопнувшие на огне зернышки и следили, как высокий скаут Кулибаба, стоя с посохом на контроле, пускает в гимназию приглашенных гостей. Когда кто-нибудь пробегал мимо меня, я сторонился: боялся, что раздавят утиное яйцо, которое я принес с собой на вечер. Оно лежало в фуражке. Это яйцо сегодня снесла наша старая белая утка, и я тайком от тетки стащил его из гнезда.

Было непривычно гулять по коридору в тесном суконном мундирчике. Я одолжил его у зареченского хлопца Мишки Криворучко, которого еще при гетмане выгнали из гимназии за то, что он побил окна в доме помещика Язловецкого. Мундир жал под мышками, было жарко.

Чем больше собиралось в актовом зале народу, тем страшнее становилось мне. Ведь я никогда раньше не декламировал на таких вечерах. В классе у доски я читал наизусть вирши, но то было в классе, где сидели свои, знакомые хлопцы из высшеначального.

Здесь же многих людей, особенно военных, я не знал. У меня сильно колотилось сердце и тяжелели ноги, когда мы с Куницей, прогуливаясь по коридору, подходили к дверям зрительного зала.

— Говорят, на Русских фольварках сегодня выключили электричество, чтобы у нас горело всю ночь. Слышал? — прошептал мне Юзик.

— Да? Нет, не слышал! — ответил я.

На Заречье, где жили мы, и вовсе никогда не было электричества. Стоило ли мне теперь из-за этого тревожиться? Зато я все чаще подумывал: а не сбежать ли мне отсюда, пока не поздно? Самое страшное — мне все больше и больше казалось, что я забыл стихи. Шевеля холодными губами, я шептал про себя строчки и с перепугу вовсе не понимал ничего. Чудилось, что это не я читаю, а что рядом со мной идет совсем незнакомый человек и нашептывает на ухо какие-то чужие и непонятные слова.

А тут еще Куница пристал. Заглянув мне в лицо, он засмеялся:

— Йой! Чего ты такой белый, Васька, словно тебя мелом вымазали?

— Откуда ты взял?

— Да, откуда, — засмеялся Куница. — Я знаю, ты боишься. Правда? А ну, признавайся!

— И совсем не страшно! — сказал я твердо, но тотчас предложил: — Юзик, а давай я тебе прежде прочту! Вот зайдем сюда! — И я кивнул головой на полуоткрытую дверь темного класса.

Юзик заглянул в класс, но, видно, ему не понравилось, что в классе совсем темно, и он сказал, грызя кукурузу:

— Нет, зачем здесь? Я тебя лучше в зале послушаю.

— А как объявлять лучше: вирш Шевченко или вирш Тараса Григорьевича Шевченко?

— Ну конечно, Тараса Григорьевича. Ведь так нам и Лазарев объяснял.

В эту минуту пронесся черноволосый восьмиклассник с повязкой распорядителя на рукаве и закричал на весь коридор:

— Артисты, на сцену!

— Иди! — И Юзик втолкнул меня в освещенный актовый зал.

По сцене бегали гимназисты, кто-то гремел гирями, выжимая их одной рукой. Пахло пудрой и нафталином. Я осторожно пробирался в глубь сцены, где было потемнее... Откуда ни возьмись, навстречу мне выскочил запорожец с седыми усами, в голубом кунтуше. Кривой ятаган висел у запорожца на боку. Я шарахнулся в сторону и чуть не полетел, споткнувшись о чугунную гирю. Яйцо запрыгало у меня в фуражке.

Запорожец засмеялся и крикнул басом:

— Ага, Васька, не узнаешь, а я тебе зараз голову срубаю! — Выхватив ятаган, он и в самом деле занес его над моей головой. Узнав по голосу, что это не настоящий запорожец, а наш одноклассник, долговязый Володька Марценюк, я мигом схватил его за глотку.

— Это еще что за баловство? — послышалось сзади.

Я сразу отпустил запорожца. Возле нас стоял Подуст.

Я посмотрел на него и даже не поверил, что это Подуст. Из-под бархатного воротника его нового мундира торчал чистый крахмальный воротничок, редкие седые волосы были причесаны, даже пенсне он надел новое, парадное, с блестящей золоченой дужкой, которая, точно клешня рогача, впилась в красную, мясистую переносицу учителя. Прямо не верилось, что этот франт и есть наш старый, похожий на сельского дьячка учитель Подуст, которого мы все за его рассеянность прозвали Забудькой.

— Ага... Манджура! — сказал он мне весело и хитро подмигнул.— Ну, держись, держись, я тебя выпускаю первым во втором отделении.

В эту минуту на сцену вбежал черноволосый гимназист-распорядитель. Он бросился к Подусту и прошептал:

— Георгий Авдеевич! Головной атаман едут...

С улицы в открытые окна актового зала донеслось гудение машины.

Все, кто был на сцене, подбежали к занавесу. Но дырок на всех не хватило, а меня совсем оттеснили. Я быстро спрыгнул с подмостков и, отбежав шага два в сторону, остановился у глухой полотняной стенки, которая отделяла актовый зал от сцены. Я мигом достал карандаш и проколупал в полотне очень удобную дырку. Через эту дырку я увидел, как батько Петлюра со свитой вошел в зал. Навстречу ему выскочил Прокопович и, уронив палку, обнял атамана. Они поцеловались. Даже здесь, за сценой, было слышно, как кто-то из них смачно чмокнул мясистыми губами. Гимназисты вскочили со своих мест и заорали «слава».

Петлюра махнул им рукой, чтобы они садились, а сам направился дальше. Он прошел под самой сценой и сел в ложе, в каких-нибудь пяти шагах от меня. Очень было неприятно смотреть на него в упор, так и хотелось все время отвернуться, но я, пересиливая страх, смотрел.

Одетый в синий, наглухо застегнутый френч, Петлюра сидел в ложе на плюшевом кресле, заложив ногу на ногу. В руках он держал фуражку-«керенку» с золотым трезубцем на околышке. Волосы у Петлюры были зачесаны налево и лежали гладко: наверное, он смазал их репейным маслом.

Мне показалось, что я где-то видел Петлюру, но где — я сперва припомнить не мог, а вспомнил только после. На жестяной, выгоревшей от солнца вывеске у нашего зареченского парикмахера Новижена был нарисован вот такой же прилизанный, надменный мужчина.

Петлюра все время озирался по сторонам, один раз он даже нагнулся и незаметно посмотрел под мягкий пружинный стул, на котором сидел, и, увидев, что под стулом никого нет, уже спокойнее стал рассматривать портреты своих министров.

За плечами у батьки на деревянных перилах ложи сидел начальник контрразведки Чеботарев. Даже сами петлюровцы называли его Малютой Скуратовым. Чеботареву было скучно тут, в гимназии. Широкоплечий, с лицом, изрытым оспой, одетый в серую австрийскую форму, с тяжелым маузером на боку, Чеботарев позевывал — видно, ему очень хотелось уйти. Кроме Чеботарева, других петлюровских старшин в ложе не было.

Петлюру окружали офицеры-пилсудчики в нарядных голубоватых мундирах. Просторная ложа была сплошь забита ими. Среди пилсудчиков я вдруг заметил офицера с черными бакенбардами, которого мы с Маремухой видели несколько дней назад в городе. Он сидел на венском стуле рядом с атаманом и что-то вполголоса ему рассказывал. Петлюра заулыбался. Он вытащил из кармана длинный гребешок и осторожно, так, словно боялся расцарапать кожу, стал зачесывать набок свои липкие маслянистые волосы. А пилсудчик с бакенбардами хлопнул себя по коленке и затем, круто повернувшись, вдруг поманил кого-то перчаткой. Кого он зовет? А, ксендза!

Высокий, худой, с гладко выбритыми запавшими щеками, согнувшись, он пробирался между рядами скамеек, и гимназисты, вставая один за другим, давали ему дорогу. На голове у ксендза была смешная бархатная шапочка. Осторожно забравшись в ложу, ксендз поклонился — сперва Петлюре, затем офицерам. Откуда ни возьмись, со стулом в руках подскочил черноволосый распорядитель. Даже не посмотрев на него, ксендз ловко одной рукой поднял стул и сел. Сутана его распахнулась, и я увидел под ней хорошо начищенные сапоги с высокими голенищами. Ксендз снял шапочку, и выбритая кружочком на его голове тонзура заблестела под ярким светом люстры. «Наверное, это какой-нибудь знаменитый, особенный ксендз, — подумал я, — раз и Петлюра его знает».

В эту минуту в зале погас свет, и со сцены послышался голос директора гимназии Прокоповича.

То и дело запинаясь, директор густым басом говорил, как ему радостно на душе оттого, что в гимназию пришли такие дорогие гости, да еще в эти дни заключения военного союза с маршалом Пилсудским против большевиков.

Тут через дырку я увидел, что Петлюра и пилсудчики встали. Спрыгнул с перил ложи и Чеботарев, и доски заскрипели под ним. Повскакали со своих мест скауты, гимназисты стали кричать «слава», а оркестр громко заиграл «Ще не вмерла Україна», и зайчики от поднятых медных труб музыкантов побежали в разные стороны полутемного зала.

Петлюра, как только заиграла музыка, надел фуражку и взял под козырек. Так же по команде «Смирно» стояли в ложе польские офицеры. Перебирая четки, вытянулся вместе с ними и ксендз. Едва затихли последние звуки петлюровского гимна и все стали рассаживаться по местам, как директор гулко, словно в пустую бочку, закричал в актовый зал:

— За процветание нашей дорогой союзницы великой Речи Посполитой и ее маршала Юзефа Пилсудского — слава!

— Слава! Виват! — заорали вразброд гимназисты.

Кто-то крикнул «виват» даже и здесь, за сценой. Оркестр снова заиграл, только на этот раз уже польский гимн.

В эту минуту меня взяли за шиворот. Я оглянулся.

Сзади, с тесаком на ремне, одетый в бойскаутскую форму, стоял здоровенный Кулибаба. Вблизи он казался еще выше.

— А ну, дай посмотрю! — властно прошипел он.

— Только недолго! — попросил я и посторонился.

Но Кулибаба, видно, и не думал скоро уходить. Он смотрел в зал, слегка согнувшись и широко раздвинув свои голые до коленей, волосатые ноги. Тесак, как маятник, болтался на поясе Кулибабы. Мне надоело караулить дырку, и я пошел прочь.

Я не стал смотреть, как бойскауты-спортсмены выжимали гири и делали пирамиды,— эти штуки я видел не раз на гимназическом дворе. Я бродил в глубине сцены и только слышал, как там, за декорациями, раз за разом ухают, падая на пол, тяжелые гири.

Но вот живую картину я пропустить никак не мог. Пока со сцены убирали ковры и оттаскивали в сторону гири, я хорошо устроился у сигнального колокола. Отсюда сцена была видна гораздо лучше, чем из ложи, а самое главное — артисты бегали рядом, их при желании можно было тронуть рукой.

Занавес звеня кольцами, раскрылся. На сцене, вокруг деревянного простого стола, сидели запорожцы. Сперва они молчали и даже не шевелились. Вдруг голый до пояса, рыжечубый запорожец затрясся, словно в падучей, откинулся назад и наотмашь ахнул кулаком по спине другого, тоже обнаженного до пояса, запорож-

ца в папахе с красным верхом. Удар был очень сильный, бедный запорожец не выдержал и даже глухо крякнул на весь актовый зал. А в это время лысый, с седым чубчиком на лбу, старый запорожский вояка громко засмеялся и будто бы от смеха повалился на пивную бочку, что лежала около суфлерской будки. Пока этот лысый смеялся, изо всех углов к столу стали сбегаться с пиками, со свернутыми знаменами остальные запорожцы. Подбежав к столу, они наклонились над писарем, а писарь в черном камзоле с белым воротником что-то быстро зацарапал сухим гусиным пером по бумаге.

У меня под самым ухом звякнули в колокол.

И по этому сигналу артисты вдруг замерли на своих местах, где кто был, все стало очень похоже на картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта картина висела у нас в учительской. Прошла минута, другая, а запорожцы всё сидели и стояли на сцене как вкопанные — мне даже надоело смотреть на них, а в зале стали кашлять.

Занавес задергивали очень медленно, и артисты не трогались с места до тех пор, пока обе его половинки не сошлись совсем.

Не успел я отойти от колокола, как ко мне, поправляя пенсне, подбежал Подуст.

— Приготовься, милый! Твоя очередь! — сказал он.

— Как, уже? Лучше я после...

— Ничего, не бойся! — подбодрил меня Подуст и одну за другой проверил все пуговицы на своем мундире. Затем он подошел к зеркалу и посмотрелся.

Пока Подуст прихорашивался, я осторожно вынул из фуражки утиное яйцо, разбил его и выпил тут же, на сцене. Яйцо было теплое, скользкое, очень противное.

Точно во сне, я услышал протяжные слова Подуста:

— Сейчас, панове, выступит с декламацией ученик пятого класса Украинской державной гимназии Василий Манджура!

Не помню, как я выбежал на сцену. Я остановился уже около самой рампы и чуть-чуть не раздавил ногой электрическую лампочку. Освещенные красноватым отблеском сцены, пристально смотрели на меня из первых рядов учителя и гимназисты. Я заметил в плетеном кресле в первом ряду бородатого директора гимназии Прокоповича. Он сидел, зажав ногами палку. Сбоку в темной ложе блестела гладко зачесанная голова Петлюры. В зале было очень тихо.

— Вирш подолянина Степана Руданского «Та гей, бики!» — несмело начал я и, сразу отважившись, продолжал:

Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?

Во всех углах зала, пугая меня, загрохотало эхо. Чтобы заглушить его, я еще громче спрашивал:

Чого ж ви стали? Гей, бики!

Страшный и далекий зал слушал. Как большие косы, отбрасывая на стены длинные тени, свисали над публикой две гирлянды барвинка.

И вдруг я вспомнил кладбище: мы с Куницей рвем барвинок для торжественного вечера. Нам так спокойно меж могил! Высокие бересты и грабы почти сплошь закрывают памятники от солнца, изредка захлопает тугими крыльями вверху, в густой листве, горлица; потурчит немного да и улетит прочь, за реку, в лес, где посветлее и не так пустынно.

И мне захотелось убежать отсюда куда угодно, хоть на кладбище...

Но я видел пристальные взгляды учителей, они ждали, чтобы я читал дальше.

Вдруг в зале послышался стук шагов. Под самой сценой прошел к выходу Чеботарев. Мне сразу стало легче. Собрав последние силы, я закричал:

Та гей, бики! Зерно поспіє,
Обілле золотом поля.
І потече ізнову медом
І молоком свята земля.

І все мине, що гірко було,
Настануть дивнії роки.
Чого ж ви стали, мої діти?
Пора настала! Гей, бики!

В ответ мне громко захлопали. Я сразу повернулся, но не успел забежать за кулисы, как меня остановил Подуст.

— Молодец! Чудесно! Читай еще!

Теперь, после похвалы учителя, мне было не так уж боязно. Я вернулся обратно к рампе, поклонился и объявил:

— «Когда мы были казаками». Вирш Тараса Шевченко!

В зале снова захлопали — видно, им в самом деле понравилась моя декламация, только директор Прокопович вдруг заерзал на своем скрипучем кресле, но я, не глядя на него, смело начал:

Когда мы были казаками,
Еще до унии, тогда
Как весело текли года!
Поляков звали мы друзьями,
Гордились вольными степями,
В садах, как лилии, цвели
Девчата, пели и любились...
Сынами матери гордились,
Сынами вольными... Росли...

Тут я перевел дыхание, глотнул как можно больше воздуха и вдруг услышал шепот:

— Манджура! Манджура!

Я повернул голову.

Сбоку из-за холщовых декораций с перекошенным лицом на меня страшно смотрел учитель Подуст. Он делал мне какие-то знаки. Я решил, что, наверно, ошибся и какую-нибудь строку прочитал не так. Чтобы не заметили моей ошибки, я еще громче и быстрее продолжал:

...Росли сыны и веселили
Глубокой старости лета...
Покуда именем Христа
Пришли ксендзы и запалили
Наш тихий рай. И потекли
Моря большие слез и крови,
А сирых именем Христовым
Страданьям крестным обрекли...

Что такое? Теперь очень странно смотрел на меня и директор гимназии бородатый Прокопович. Он вдруг поднял палку и погрозил ею мне так, будто хотел прогнать меня со сцены. Потом он поднес руку к бороде и ладонью закрыл себе рот. Похоже было — ему не нравилось, как я читаю. И в ложе, где сидел Петлюра, зашумели. Сквозь полумрак зала я увидел, как один за другим поднимались со своих стульев пилсудчики, я слышал, как звенели их шпоры.

— Манджура! Манджура! — неслось из-за кулис.

Я совсем растерялся.

«А может, это все мне только кажется?» — подумал я.

И, чувствуя, как к лицу приливает кровь, чувствуя, как все сильнее тянет меня к себе зрительный зал, едва удерживаясь, чтобы не упасть туда, вниз, на скользкий паркет, я быстро прочитал:

Поникли головы казачьи,
Как будто смятая трава.
Украйна плачет, стонет, плачет!
Летит на землю голова
За головой. Палач ликует.
А ксендз безумным языком
Кричит...

...На меня с визгом несся занавес.

И не успел я прочитать последних строк вирша, не успел даже отскочить назад, как обе половинки плотного суконного занавеса хлопнули меня по ушам.

Я бросился назад, и в ту же минуту меня со страшной силой, точно тяжелым свинцовым кастетом, ударили под глаз. На секунду все лампочки на сцене потухли, но потом зажглись с такой силой, будто яркие молнии закружились перед моим лицом. И в этом ослепительном свете, вспыхнувшем у меня перед глазами, я увидел бледное и злое лицо Подуста, его выставленные вперед костлявые кулаки.

Подуст хотел ударить меня вторично, но я быстро пригнулся, и кулак учителя пролетел у меня над головой. Я пустился к двери, но Подуст пересек мне дорогу. Его пенсне упало на пол. Мундир расстегнулся.

— Стой! Стой!.. Куда, сволочь?.. — хрипел Подуст и размахивал руками.

Уклоняясь от его ударов, я метался из одного угла в другой, я уже прямо ползал по полу. Горячие соленые слезы лились по лицу, застилали мне глаза. Еще немного, и я, совсем обессилев, грохнулся бы на пол. Но в эту минуту я услышал за спиной голос директора гимназии.

— Где он? — спросил директор, опираясь на буковую палку с серебряными монограммами.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал бледный Подуст, тыча в меня пальцем и быстро застегивая мундир.

— Вы тоже хороши! — крикнул директор и подошел вплотную к Подусту.— Я же приказывал вам проверить программу... А вы... Это же позор, позор, вы понимаете? Так оскорбить наших союзников! Так оскорбить католическую церковь!

Прислушиваясь к словам директора, я решил, что меня бить не будут. Мне даже стало радостно, что из-за меня попало Подусту. «Так тебе и надо, черт очкастый, чтоб не дрался!» Но только я подумал это, утирая грязной ладонью слезы, как директор схватил меня за воротник и, повернув свою руку так, что воротник сразу стал меня душить, закричал:

— Мерзавец! Понимаешь, что ты обесславил нашу гимназию? Да еще в такой день! Об этом доложат Пилсудскому. О боже, боже! Понимаешь ты это или нет, байстрюк?

А что я мог сказать директору, когда я ничего не понимал?

Если я, допустим, сделал ошибку, так зачем же драться?

Я думал: «Кричи, кричи, а я буду молчать».

И молчал.

Директор оглянулся. Со всех сторон, из окон и дверей этой размалеванной под украинскую хату декорации, вытянув длинные, худые шеи, глядели на нас перемазанные гримом запорожцы. Одни уже сняли усы и парики, другие еще были в париках.

Вдруг из зала приоткрыли занавес. Оттуда выглянул гимназист-распорядитель и с испугом прошептал:

— Пане директор, вас требуют!

Прокопович вздрогнул и, схватив меня за шиворот, приказал:

— Будешь извиняться! — и сразу же потащил к лесенке, ведущей в зал.

— Куда?.. Я не хочу... Пустите, пане директор... Пустите! Я же ничего не сделал...

— Ах ты злыдня... Ты еще издеваешься?.. Ты ничего не сделал? Да? — выкрикнул директор и сразу потянул меня за собой так, что я упал на колени и проехал на карачках по скользкому паркету несколько шагов.

Но даже извиниться мне не пришлось.

Не успел директор подтащить меня к ложе, как оттуда, звеня шпорами, спустился пилсудчик с черными бакенбардами. Следом за ним двинулись к нам Петлюра и его свита.

— Кто тебя научил, лайдак? — в упор выкрикнул офицер с бакенбардами.

Директор отпустил меня, и теперь я стоял свободный...

— Пся крев! Кто научил, я пытам? — снова повторил пилсудчик. От него сильно пахло табаком и духами.

— Никто,— ответил я, оглядываясь и думая, как бы удрать.

— Як то никто? Кто научил, мув! Ну? — И офицер поднял над моей головой кулак.

Я съежился. Еще сильнее заныла щека. Я вспомнил, как меня бил Подуст, как не дал он мне дочитать стихи Шевченко, и, всхлипывая, выпалил:

— Подуст научил!

— А-а, Подуст! Кто то та́ки ест Подуст? — Офицер пристально посмотрел на директора.

— Прошу прощения, Подуст — это наш преподаватель, вот он, кстати, здесь! — ответил директор, показывая на Георгия Авдеевича.

— Вы?

Пилсудчик сразу направился к Подусту.

— Это неправда! — застонал Подуст и попятился.— Это наглая клевета... Я не проходил с ними Шевченко... У них был недопущенный теперь в гимназию Лазарев. Возможно, это он...

— Що ж вы брешете, пане учитель! Вы ж мне наказували, щоб...— всхлипывая, закричал я, но тут рядом с офицером появился ксендз.

— Пшепрашам! — не обращая на меня внимания, сказал он тихо Подусту.— Пан его не учил. Я то розумем. Але ж як пан допустил его читать вирши тэго святотатца? Тэго одвечнэго вро́га косцьолу польскего и Ватикану?

— Я думал...— забормотал Подуст,— я думал, он «Садок вишневый» прочтет...

— «Думали, думали»!.. — во весь голос закричал офицер, и щеки его налились кровью. — Чего вы нам морочите головы! То есть большевистска пропаганда... от цо! — И, обращаясь к директору, он со злостью добавил: — Прошу убедиться, портрет этого разбойника у вас на главном месте висит. Он научит ваших гимназистов, как убивать людей на большой дороге.

И все, кто был вокруг, задрали головы и стали смотреть под потолок, туда, где в тяжелой золоченой раме, покрытой вышитым украинским полотенцем, висел нарядный портрет Тараса Шевченко. Сердитый, большелобый, в распахнутом овчинном тулупе, в теплой смушковой шапке, нахмурив брови, он смотрел с портрета прямо на нас.

Петлюра, желая угодить пилсудчикам, шагнул к директору и резко, словно совершенно незнакомому человеку, крикнул ему, указывая на портрет:

— Снять!

И в ту же минуту несколько скаутов, обгоняя друг друга, бросились к стене. Первый из них с шумом придвинул к ней высокую лакированную парту. Кто-то взгромоздил на парту длинную скамейку. Сразу же на эту скамейку полез черноволосый распорядитель.

Поймав золоченую раму портрета, он изо всей силы дернул портрет вниз.

С треском лопнула веревка.

Как только портрет Шевченко стукнулся о край парты, его мигом схватили два скаута и поволокли в темный коридор.

На желтой стене зала, под лепными карнизами, торчал теперь только один большой крюк, и возле него колыхалась запорошенная пылью, потревоженная паутина.

— А с ним как быть? — показывая на меня, тихо спросил у офицера с бакенбардами директор Прокопович.

— С ним? — Пилсудчик презрительно пожал плечами. — Ну, если пан директор и сейчас нуждается в советниках, тогда мне только остается пожалеть ваших учеников!

Прокопович вздрогнул и залился краской. Он суетливо посмотрел на Подуста. Рядом с Подустом стоял, ухмыляясь, Кулибаба.

Прокопович поманил его палкой. Кулибаба, придерживая тесак, мигом подлетел к директору и козырнул на ходу Петлюре. Кивая на меня, директор приказал Кулибабе:

— До карцеру! И не выпускать до моего распоряжения! А вы, — сказал он перепуганному Подусту, — продолжайте вечер. Завтра поговорим.

Когда Кулибаба выводил меня в коридор, у выхода столпилось много гимназистов. Кто-то тыкал в меня пальцем. Я шел упираясь. Хотелось заползти далеко под парты, чтобы только меня не разглядывали, как обезьяну. Легче стало лишь в темном коридоре. Откуда ни возьмись, подбежал ко мне Куница и прошептал:

— Не журись, Василь, выручим!..

Кулибаба с ходу ударил Юзика ногой, и тот, отпрыгнув в темноту, заголосил оттуда на весь коридор:

Кулибаба, Кули-дед.
Бабу просят на обед.

Видя, что Кулибаба молчит, Юзик помчался вперед и, только мы поравнялись с темным классом, громко закричал оттуда:

— Эй ты, волосатый, иди сюда!

Кулибаба не останавливался.

Я понял, что Куница хочет спасти меня и нарочно дразнит Кулибабу. Куница думал, что Кулибаба бросится за ним, а я в это время смогу удрать.

— Боишься? Иди, иди сюда, балабошка, я тебе надаю! — кричал Куница, бегая позади нас.

Но Кулибаба оказался хитрее и меня так и не отпустил.

Карцер помещался в подвальном этаже гимназии, около дровяных сараев. Кулибаба втолкнул меня туда и сразу же, не зажигая света, на ощупь закрыл на висячий замок окованную жестью дверь.

В карцере было сыро, пахло осенним лесом, опенками, давно покинутыми вороньими гнездами. Хорошо еще, что на дворе светила полная луна. Ясный ее свет проникал в карцер сквозь решетчатое окошечко. Стекла в нем были наполовину разбиты, и я хорошо слышал, что делается в гимназии.

Вверху, в актовом зале, сдвигали парты.

Потом заиграл духовой оркестр. Начались танцы. Звуки краковяков, матчишей и вальсов долетали ко мне сюда. Я слышал, как шаркали по полу ноги танцующих. Кто-то, возможно черноволосый распорядитель, во все горло кричал там, наверху:

— Адруат, панове! Авансе!

Было очень обидно сидеть здесь, в темном и сыром карцере, а самое главное — не знать, за что именно тебя посадили. А тут еще щека здорово болела, я чувствовал даже, как напухает глаз,— проклятый Подуст меня очень крепко ударил; я не знал раньше, что он может драться.

И мне так стало жалко, что нет у нас Лазарева, с которым нас разлучили пилсудчики. Да разве позволил бы он себе когда-нибудь ударить ученика? Ни за что на свете! Он и в угол никого не ставил, а не то чтоб драться. И я вспомнил вдруг все то, что рассказывал нам Лазарев о Шевченко. Как мучили его проклятые паны, как загнал его в далекую ссылку царь.

Наверное, много ночей просидел Шевченко вот так же, как я теперь, в сырости и холоде, за железной решеткой. И били, наверное, его не раз...

Вспомнилось, как Лазарев рассказывал, что Тарас Шевченко, путешествуя по Украине, заехал и в наш старинный город. Он жил здесь у народного учителя Петра Чуйкевича, записал от него песни про повстанца Устина Кармелюка, побывал в селе Вербка, где одна из гор названа крестьянами горой Кармелюка. Тарас Григорьевич ходил, должно быть, не раз в Старую крепость, осматривал башню, где томился Кармелюк, и холодные каменные ее стены напоминали поэту те тюремные камеры, где держали и его жандармы.

И мне стало приятно, что я пострадал за него. И вдруг показалось, что Шевченко смотрит на меня из темного угла карцера — добрый, усатый Тарас Григорьевич. Мне даже послышалось:

— Не журись, Василь...

А музыка в актовом зале все продолжала играть.

Сидя на каменном полу карцера, я снова и снова повторял стихотворение Шевченко «Когда мы были казаками».

Здесь-то уж никто не мешал мне прочесть его спокойно, до конца. И в сырой тишине подвала, отчеканивая каждое слово, я читал сам для себя:

Поникли головы казачьи,
Как будто смятая трава.
Украйна плачет, стонет, плачет!
Летит на землю голова
За головой. Палач ликует,
А ксендз безумным языком
Кричит: «Te deum! Аллилуйя!»

Вот так, поляк, мой друг и брат мой,
Несытые ксендзы, магнаты
Нас разлучили, развели;
А мы теперь бы рядом шли.

Дай казаку ты руку снова
И сердце чистое подай!
И снова именем Христовым
Возобновим наш тихий рай.

«Чего же они ко мне присипались? Такие хорошие стихи! И даже дочитать не дали. Быть может, если бы дочитал, все бы ясно стало и никто бы не ругался? А впрочем, кто знает. Холера их возьми, чего им надо...»

Я вспомнил при этом, сколько у меня есть друзей-поляков на Заречье. Как мы хорошо живем с ними! Взять хотя бы Юзика Стародомского — Куницу. Дома он говорит только по-польски со своими родителями. И всегда на польские праздники мазурками меня угощает. Но ведь он-то не обиделся на меня за это стихотворение?

Я прислонился к холодной стене карцера, и у меня за спиной что-то звякнуло. Нащупал ржавое кольцо, вдетое в железную скобу, замурованную в кирпич. Откуда она взялась здесь? А быть может, прикованные цепями к этому кольцу, сидели здесь когда-то провинившиеся монахи? Неприятно, жутко стало при одной мысли об этом, и я отодвинулся от стены.

В это время какая-то тень скользнула по двору, и я услышал знакомый шепот Куницы.

— Василь, ты жив? — шепнул Куница, прижимаясь лицом к разбитому окну.

— А чего мне сделается? — как можно спокойнее ответил я.

— Тебе не страшно там?

— Пустяки!

Куница схватился обеими руками за оконные решетки, попробовал их расшатать, но, видя, что они крепко сидят в метровой монастырской стене, пробормотал:

— Их и кувалдой не выбьешь... Слушай, Василь, наши хлопцы сложились у кого что было и пошли к Никифору. Дали ему хабара два карбованца. Он обещал, как только директор ляжет спать, выпустить тебя. А мы тебя подождем возле входа в кафедральный собор. Вместе домой пойдем. Згода?

— Спасибо, Юзю,— сказал я, тронутый участием хлопцев,— только подождите обязательно...

ПУСТОЙ УРОК

Сегодня у нас немецкий. Учителя мы ждем долго. Уже звонок давно прозвенел, а он все не идет.

Кунице надоело сидеть на парте. Он влез на подоконник и, не раздумывая, щелкнул никелированной задвижкой.

— Гляди, Юзи, Цузамен тебя заругает! Он боится сквозняков! — крикнул Петька Маремуха с задней парты. Куница только упрямо мотнул головой и молча, не отвечая Маремухе, потянул к себе кривую оконную ручку.

Коричневая замазка посыпалась на пол. Окно медленно, со скрипом раскрылось.

Все звуки и запахи свежего солнечного утра ворвались в наш пыльный класс; мы услышали за окнами веселые голоса скворцов. На кафедральном соборе глухо ворковали голуби, за площадью на Житомирской улице, отнимая у проезжего крестьянина мешок с овсом, громко ругались два петлюровца. Сперва

нам казалось, что они, желая припугнуть крестьянина, начнут стрелять вверх, но проезжий отдал им мешок, и подвода быстро покатилась вниз, к реке.

Нас всех сразу потянуло к окнам, к городскому шуму.

По классу загуляли веселые сквозняки, засеребрилась пыль над пустыми партами. Комната сделалась просторнее, шире — словно стены ее раздвинулись. Запахло весной, полями, и еще сильнее захотелось убежать отсюда на волю. Я лег на подоконник рядом с Юзиком. Чтобы не упасть, я уцепился рукой за его кожаный пояс и до половины высунулся наружу.

На площади, против здания гимназии, высился мрачный, облезлый кафедральный собор. Еще с начала войны его не ремонтировали. С толстых закругленных стен осыпалась штукатурка, кое-где кирпичи поросли рыжеватым мхом. Высокие сводчатые двери были открыты. В соборе шла служба.

Петька Маремуха вдруг соскочил с подоконника и кинулся к печке. Он пошарил рукой в углу, вытащил оттуда мятого бумажного голубя, вернулся на подоконник и, приподнявшись на левом локте, выбросил голубя в открытое окно.

Плавно покачиваясь, голубь пролетел над каштанами и упал на мокрые еще от росы булыжники.

— Да разве так бросают, эх ты, сальтисон! Это не голубь, а ворона ободранная! Гляди, Петька, я сейчас до самого собора доброшу! — крикнул из соседнего окна Котька Григоренко.

Голова его тотчас же исчезла, и он спрыгнул с подоконника на пол.

Мы обернулись.

Подпрыгивая и на ходу одергивая новенькую курточку, Котька подбежал к своей парте, вытащил серый пушистый ранец и вытянул из него первую попавшуюся тетрадку.

Даже не поглядев, что это за тетрадка, Котька вырвал из нее чистые листы. Потом он сложил их конвертиками, быстро смастерил трех голубей, приладил им хвосты, загнул клювы и ловко вскочил на подоконник.

Нежным, плавным толчком выбросил он первого голубя. Голубь, мы сразу заметили, пошел тяжело, будто клюв у него был свинцовый. Дважды он неловко вильнул хвостом и, не долетев даже до Петькиного голубя, завертелся и штопором упал на землю.

«Эх ты, задавака!» — чуть было не крикнул я Котьке. Но в это время два других голубя уже вылетели из окна.

Эти летят лучше. Плавно покачиваясь, словно живые турманы, и рассекая толстыми клювами воздух, скользят они над пустой площадью и, наконец, потеряв силу, спускаются на землю у самого собора.

В это время позади нас хлопнула дверь, и в класс ворвался долговязый Володька Марценюк.

— Ур-ра, ребята! Немец не пришел! — размахивая классным журналом, закричал Володька.— Честное слово, не пришел, два урока пустых!

Два пустых урока! Вот это здорово!

До каникул остается всего несколько дней. На дворе — теплынь, скоро каштаны зацветут. Зареченские хлопцы уже давно бегают в гимназию босиком. Из щелей каменного забора на гимназическом дворе повыползали красные жучки — «солдатики». Целыми семьями греются они на солнце, неподвижные, отощавшие за зиму. Греются и только изредка усами шевелят. Во дворе хорошо, а в классах хмуро, пыльно, неприветливо. Так бы и выбежал туда, во двор, под яркое солнце, на теплые камни мостовой. Разве можно сидеть в классе в такую погоду?

Молодец Цузамен, что опять не пришел на урок... На прошлой неделе совсем низко над городом, тяжело урча, пролетел большой двухмоторный немецкий аэроплан. Весь серый, блестящий, с черными крестами на широких крыльях, он появился в небе совсем неожиданно и, описав два круга над Старой крепостью, опустился на зеленый луг за городом, около свечного завода. И не успел еще затихнуть дрожащий гул его моторов, как со всех улиц города туда, где сел аэроплан, побежали ребята. Мы с Петькой Маремухой поспели первыми. От нашего Заречья до этого луга рукой подать — только подняться вверх по Госпитальной до бойни, а там и свечной завод.

Пока мы бежали к аэроплану, летчики, в кожаных шлемах, в очках, уже вылезли из кабины. Разминаясь, они ходили по траве, и головы их были вровень

с крыльями. Они были краснолицые, в желтых коротеньких куртках, в блестящих крагах, в коричневых штанах с пуговками у коленей.

Даже не взглянув на сбежавшуюся толпу, летчики стали вытаскивать из аэроплана какие-то продолговатые, обшитые фанерой и обтянутые блестящими жестяными полосками пакеты. Они укладывали эти пакеты на траву около аэроплана так осторожно, словно там была стеклянная посуда.

А вскоре на длинном малиновом автомобиле приехали петлюровские офицеры. Они откозыряли летчикам и первым делом отогнали нагайками от аэроплана ребят.

Мы с Петькой Маремухой полезли на забор свечного завода. Петька чуть не разодрал штаны о какой-то ржавый гвоздь. За спиной у нас было тихое, спокойное озеро, под самым забором шелестел тонкостволый камыш.

Бархатистые его метелочки щекотали нам ноги, а мы, сидя на заборе, разглядывали распластавшийся на лугу аэроплан. Вот уже петлюровцы погрузили в свою малиновую машину пакеты. В это время подкатила, гудя рожком, другая машина. В нее сели летчики и укатили с петлюровцами в город, оставив около аэроплана стражу и надев на оба пропеллера зеленые брезентовые чехлы. Несколько дней в городе только и было разговоров, что о немецком аэроплане.

На нем прилетел из Берлина бывший военный министр Центральной рады Порш. Не только в Киеве, но даже и в нашем маленьком городе все хорошо знали, что Порш — отчаянный жулик, что он украл в министерстве несколько миллионов, уехал в Германию и на эти деньги купил себе в Берлине, на самой главной улице, большой красивый дом. И вот теперь он вернулся на Украину важным нарядным гостем, чтобы проведать своего старого дружка Петлюру.

Вместе с Поршем на аэроплане прилетели немецкие инженеры. Они привезли Петлюре из Берлина отпечатанные там петлюровские деньги и должны были помочь ему печатать такие же деньги здесь, в денежной экспедиции, которую недавно открыли в здании духовной семинарии.

Нашего учителя немецкого языка, худого Оттерсбаха, по прозвищу Цузамен, приставили переводчиком к прилетевшим из Берлина немцам. Оттерсбах водил немцев по городу, показывал им крепостные башни, что-то объяснял, размахивая длинными, как жерди, худыми руками. Он целыми днями ходил с ними, с утра до позднего вечера.

Вот и сегодня он снова небось таскается со своими инженерами, потому и не пришел к гимназию.

Кто-то из ребят на радостях, что Цузамена не будет, застучал крышкой парты, словно застрочил из пулемета.

— Тише! — цыкнул на него дежурный.— Прокопович наверху шатается. Выкатывайтесь-ка лучше на улицу.

Мы выкатываемся. Вместе с нами и Марценюк. Веселое у него сегодня дежурство. Не надо бегать за мелом и мокрой тряпкой. Доска так и стоит со вчерашнего дня чистой, нетронутой.

На цыпочках, гуськом мы пробегаем по сырым коридорам. Во всех классах тихо. Там уже начались уроки. Через стеклянные двери видны головы ребят, повернутые, как подсолнухи, в одну сторону — к дубовым кафедрам, на которых восседают учителя. Голосов почти не слышно.

Сейчас гимназия, с ее узкими сводчатыми коридорами, полутемными нишами, кажется вымершей. А как страшно небось здесь ночью, когда сторож Никифор, закрыв на висячий замок парадные двери, уйдет к себе домой, во флигель? В классах тогда пусто, темно, каштановые ветви царапаются в окна, как совы. Закричишь в каком-нибудь углу, и вмиг ответят тебе все три пустых длинных коридора. Откликнутся нежилые классы, и пойдет по всему этому высокому, ободранному зданию такой крик, гул, скрежет, что и у самого отчаянного восьмиклассника с перепугу сердце лопнет.

По истертым мраморным ступенькам главной лестницы мы бежим в коридор первого этажа, а оттуда по черному ходу выскакиваем во двор.

Усеянная желтым песчаником футбольная площадка пуста и как будто поджидает нас. Гимназические уборщицы чисто вымели площадку, выщипали проросшую местами траву: сегодня вечером здесь первый скаутский парад.

— В чехарду или в пуговички? — закричал Марценюк, выбегая на середину двора.

— В цурки! В чижа!

— В сыщика и вора! — закричал Куница, вскарабкавшись на высокий пень около забора.

— Ну, опять в сыщика...— процедил сквозь зубы Котька Григоренко.— Побежали лучше в спортивный зал, я покажу, как разножку на брусьях делать!

Спортивный зал находился в бывшем хлебном амбаре возле доминиканского костела, в котором служил ксендз Шуман. На деревянном полу зала понаставлены турники, брусья и обтянутые желтой кожей кобылки. Там по вечерам занимаются петлюровские бойскауты. Их обучает гимнастике старый чех Вондра, чья грудь расписана фиолетовыми орлами, хвостатыми женщинами и страшными скелетами.

Котька Григоренко со своими бойскаутами тоже каждый вечер ходит на выучку к одноглазому Вондре.

Он ловко скачет там через самую длинную кобылку, на кольцах делает «жабку» и «крест», но лучше всего Котька кувыркается на турнике. Правда, вчера, делая «солнце», он сорвался с турника и, проехав несколько шагов по грязному полу спортивного зала, ободрал левую щеку до крови. Под левым глазом у него сейчас багровая ссадина. Даже нос от ушиба слегка подпух. Так ему, хвастуну, и надо! Пусть задается поменьше со своими фокусами. Наколачивать шишки каждый может.

— В сыщика и вора! В сыщика и вора! — закричал Петька Маремуха, искоса поглядывая на своего прилизанного дружка Котьку Григоренко.

Маремуха неуклюж, пожалуй, ниже всех нас, настоящий коротышка. Ему в спортивном зале и вовсе делать нечего. Зато «сыщики и воры» — его любимая игра.

— Ну, так что ж, хлопцы, давай в сыщика. Времени у нас много,— говорит Куница, чувствуя, что перевес на нашей стороне.

Кому ж быть сыщиком, кому вором?

Как всегда, нас рассудит палка. Тот, чья рука последней охватит суковатую верхушку палки,— сыщик.

Когда все перемерились, вышло, что я, Петька Маремуха, Володька Марценюк, Юзик Стародомский и еще несколько ребят — воры.

Сашка Бобырь, Котька Григоренко и другие, не попавшие в нашу компанию,— сыщики. Главным сыщиком они выбрали Котьку Григоренко.

Котька сперва отказался. Ему было обидно, что ребята не захотели пойти с ним в спортивный зал. Но, помедлив немного, он согласился.

Что ни говори, а быть атаманом сыщиков — почетное дело.

Ну, будет жара! Держись, воры!

Хоть и маменькин сынок Котька, хоть и водится он больше со своими приятелями-панычами, которые и раньше, при царе, учились в этой гимназии, но он ловкий, хитрый, пронырливый, знает все ходы и убежища. От него надо прятаться получше — того и гляди поймает!

Вслед за своим атаманом сыщики сняли пояса, свернули их в трубки, а потом растянули: получились самодельные револьверы.

Конопатый Сашка Бобырь потихоньку вытащил из кармана свой маленький блестящий «бульдог», опустил его дулом вниз и оглянулся. Он боялся, не следит ли за ним какой-нибудь петлюровец с улицы.

Под командой Котьки Григоренко сыщики уходят в подвал, побожившись не подглядывать, куда мы побежим.

Уговор такой: они считают до ста двадцати и дают из подвала первый свисток. Затем снова отсчитывают сто двадцать и свистят второй раз. И только после третьего свистка они имеют право искать нас.

— Чур-чура, не подглядывать! — закричал вдогонку сыщикам Петька Маремуха.

— И так всех переловим! — огрызнулся Сашка Бобырь и погрозил Маремухе револьвером.

Котька пропустил всех сыщиков в подвал и остановился у порога, раздвинув ноги. Его серая курточка распахнулась, синяя, с белыми кантами гимназическая

фуражка съехала на затылок, из-под лакированного козырька выбивались черные волосы.

— Слушайте, вы, Куницыно племя,— торжественно сказал Котька, поправляя фуражку,— замрите здесь и ждите свистка. Если кто убежит до свистка, сразу выходит из игры. Поняли?

Мы поняли.

Переминаясь с ноги на ногу, мы стоим на площадке, около подвала. Наконец Котька нырнул туда к своей команде. Сейчас свистнет.

Но свистка все нет. Что же он так долго? Эдак все время зря уйдет.

И вот наконец из-под низких сводов подвала донесся к нам первый свисток.

Словно от толчка, мы срываемся с места и, подгоняя один другого, мчимся за каменные гимназические сараи.

БАШНЯ КОНЕЦПОЛЬСКОГО

Колокольная улица пролегала внизу, под высокой стеной гимназического двора.

Она совсем близко, рядом, а вот добраться до нее не так-то просто. Надо сперва выйти на площадь, обогнуть кафедральный собор, спуститься вниз по крутому Гимназическому переулку, и лишь тогда можно попасть на Колокольную.

По обеим ее сторонам стояли высокие телеграфные столбы. Один из них торчал у самого забора. Стоило взобраться на забор и протянуть руку — можно было дотронуться до белых изоляторов на верхушке этого столба.

Однажды Куница придумал: а что, если съехать вниз на Колокольную по столбу? Попробовали, не шатается ли он. Оказалось, столб вкопан крепко, гладко обструган: ладоней не занозишь.

Куница отважился съехать первым. С того дня телеграфный столб часто спасал нас и от ремней старшеклассников, и от бородатого Прокоповича.

Вот и сейчас мы подбежали к этому самому столбу.

Первым взобрался на стену Володька Марценюк. Протянув вперед руки, он припал к столбу грудью и быстро соскользнул вниз. Сразу же после него полез Петька Маремуха. Петьке было страшно, но он храбрился.

Мы видели его побледневшее лицо, чуть вздрагивающие короткие ноги. Как бы он и вправду не сорвался! Однажды, когда мы вместе с ним карабкались на высокий дуб за ястребиными яйцами, от высоты у Маремухи закружилась голова и он чуть было не сорвался. «Вот и сейчас слетит, чего доброго,— подумал я.— Что мы с ним тогда делать будем?»

За сараями раздался протяжный второй свисток.

Маремуха припал животом к столбу и поехал наконец вниз.

Ну, как будто все обошлось благополучно.

Один за другим мы съезжали по гладкому столбу на Колокольную улицу.

Внизу нас поджидал Маремуха.

— Хлопцы, я с вами? — спросил Маремуха.

— Не надо, без тебя обойдемся! — отрезал Куница и повернулся ко мне.— Давай сюда! — прошептал он, кивая головой на узкую лазейку в кустах дерезы.

Оставив Петьку одного, мы перебежали улицу и нырнули с разбегу в колючие кусты. Согнувшись, мы пробирались над обрывом по извилистой, чуть заметной тропинке. Густые ветки дерезы переплелись, как проволочные заграждения. Под ногами чернели крючковатые корни кустарника, ржавые завитки жести.

Мы пробирались осторожно, чтобы не порезать босые ноги. Какая-то пестрая птичка выпорхнула у меня перед самым носом. Мы бежали молча, не оглядываясь. Ведь за спиной — погоня!

Вот и Турецкая лестница. Давно-давно — лет триста назад — построили ее турки. Лестница круто спускается по скалам вниз, к реке. А на другой стороне реки, у самого берега, видна одинокая полуразрушенная башня Конецпольского. Она стоит здесь особняком, на отлете, вдали от Старой крепости. С давних времен она стережет вход в город с севера, со стороны Заречья.

От подножия Турецкой лестницы, через реку, прямо к башне Конецпольского, переброшена дощатая кладка. Вот по этой самой кладке перебегал недавно, отстреливаясь от петлюровцев, наш сосед Омелюстый.

— Спрячемся в башне! — тяжело дыша, предложил Куница.

Я кивнул головой.

Спускаться по Турецкой лестнице — самое милое дело. По бокам ее, почти до самой реки, прочные дубовые перила. Сверху они гладкие, отполированные. Мы легли на перила и поехали вниз, пролет за пролетом, не успевая пересчитывать бегущие кверху выщербленные ступеньки. На воротнике у меня оборвалась пуговица, и живот зажгло так, будто горчичник прилепили.

Не оправляя сбившихся рубах, растрепанные, словно после драки, мы вскочили на узкую кладочку. Под ногами бурлила быстрая вода. Доски скрипели, гнулись, и вся кладка колыхалась под нами, как живая, будто с берега кто-то из озорства раскачивал ее...

Мы ворвались в каменную арку башни и сразу же по витой лестнице взбежали на второй этаж. Здесь-то нас не найдут!

Усталые, потные, мы упали прямо на траву. Куница сразу же подполз к единственной амбразуре. Она была похожа на перевернутую замочную скважину. Через амбразуру был хорошо виден противоположный берег реки с Турецкой лестницей и половина дощатой кладки, по которой мы только что пробежали.

Если бы сыщики пустились за нами по Турецкой лестнице, Юзик мог их сразу заметить, и у нас хватило бы времени спрятаться в другом месте.

В башне Конецпольского было тихо и прохладно. Мраморный, почти развалившийся камин белел в стене. Потолка над башней не было, он давно обвалился, лишь одна полусгнившая балка, как пушка, торчала из каменной стены. В этой толстой замшелой стене были выбиты три высокие просторные ниши. Должно быть, в них осажденные запорожцами паны Конецпольские складывали порох и тяжелые чугунные ядра. Весь пол второго этажа зарос сочной, густой травой. Трава под стеной была примята. Видно, здесь кто-то был. Уж не Омелюстого ли это следы остались в башне? Ну конечно же, Ивана! Ведь совсем недавно он палил отсюда по петлюровцам. Должно быть, он лежал у самой амбразуры с наганом в руке — вот так, как лежит сейчас Куница,—прижавшись животом к мягкой траве, широко раскинув ноги.

Ох, и ловко же Иван тогда подстрелил чубатого петлюровца! Видно, он хороший стрелок: из нагана на таком расстоянии не всякий попадет. Если тот раненый остался жив, то, наверное, долго будет помнить эту башню Конецпольского.

Неужели петлюровцам удалось поймать Омелюстого?

Но ведь даже там, в самом центре города, он сумел провести петлюровцев — неужели же здесь, на окраине Заречья, они смогли его схватить?

— Послушай! А я думаю, он все-таки удрал отсюда. Вот было бы здорово!

— Кто удрал? — спросил Юзик и повернулся лицом ко мне.— Ты про кого, Васька?

— Про Ивана... Помнишь, как он палил из этой бойницы по гайдамакам?

— Ах, ты про Ивана! — сказал Куница и вырвал из расщелины клок сочной травы.— Ну да, где им Омелюстого поймать... Он хитрый, как щука, десятерых петлюровцев проведет... Знаешь, я даже думаю — он далеко и не удрал, а живет себе потихоньку где-нибудь здесь, в городе, или в подземный ход забрался. Я вот позавчера шел мимо крепостного моста, присел там отдохнуть, а возле меня два мужика поили коней и про этот подземный ход говорили. Один божился, что в подземном ходе, под крепостью, тысячи две большевиков сидят. Он говорил, что большевики нарочно Петлюру в город пустили, чтобы ему назад дорогу перегородить. Вот будет темная-темная ночь — ни звездочки на небе, ни месяца,— тогда выйдут все большевики с фонарями из подземного хода и петлюровцев в плен поберут, а самого Петлюру с крепостного моста в водопад кинут.

— Так как же они там сидят? Есть-то им надо?

— Ну, у них там много разных запасов. Красные, прежде чем уйти из города, понавозили туда и сала, и фасоли, и пшена, и хлеба. Сидят под землей и кулеш варят.

— Постой! А дым-то куда?

— Дым? — Куница задумался.— А, наверное, они в крепостные башни дымоходы вывели, и через них наверх весь дым улетает.

«Ну уж это, по-моему, сказки. Кто-нибудь из них врет — или мужик, или Куница».

— Ты правду говоришь?
— А то вру? — обиделся Куница и замолк.

ДЕРЕМСЯ!

Скоро мне наскучило сидеть в башне. Сыщиков не слышно. Может, они позабыли про нас. А что, если выбежать отсюда, спрятаться в другом месте?

— Юзик,— сказал я,— знаешь, мы не по правилу играем.

— Почему не по правилу?

— А вот почему. Ты ведь у нас атаман, ты должен командовать всеми ворами, а не прятаться здесь со мной.

— Нет,— ответил Куница, не глядя на меня.— Я должен скрываться. Простого вора сцапают — не велика беда, а если я попадусь в руки сыщикам, вся шайка развалится. А потом...— Куница замялся,— побожись, что никому не скажешь.

— Пусть меня гром побьет, пусть я провалюсь с этой башней в реку, пусть...

— Ладно,— оборвал меня Куница,— теперь слушай. Мой батько сегодня где-то под нашей гимназической стеной должен ловить собак. Их много там развелось. А я вовсе не хочу на него наскочить. Увидит, что я вместо занятий по улицам шляюсь, такую ижицу пропишет, что держись... Он злой теперь. Вчера кто-то оторвал у нас в сарае доску, и все собаки, каких батько на базаре поймал, разбежались...

Так вот оно в чем дело! Куница отца боится.

Отец Куницы ловит собак для хозяина городской живодерни Забодаева, а тот убивает их, сдирает шкуры, а собачье сало продает на мыловаренный завод. Отец Куницы часто разъезжает по городу на длинном фургоне, который тащит пегая жидкохвостая кляча.

Когда эта черная собачья тюрьма катится по улицам города, за ней с криками мчится целая толпа мальчишек. Пойманные собаки визжат, бросаются на решетку, как шакалы в зверинце. А мальчишки, обгоняя друг друга, бегут за фургоном, выкрикивая:

— Гицель! Гицель!

Так в нашем городе зовут собаколовов.

Нередко и Юзика наши хлопцы дразнят этим обидным прозвищем. Тогда он злится и бросается на обидчиков с кулаками. Однажды он из-за этого подрался с Котькой Григоренко. Хорошо, что их вовремя успели разнять. Григоренко сейчас же побежал в директорскую жаловаться, но, к счастью Куницы, директора не было, и на этот раз все обошлось благополучно.

Зато на прошлой неделе, когда у нас в гимназии стали записывать в бойскауты, Котька припомнил старое и решил отплатить Кунице. Котька — скаутский звеньевод — сам записывал охотников. Сашка Бобырь посоветовал Кунице записаться, но Котька наотрез отказался принять Юзика в отряд.

— Твой отец гицель, а от тебя самого собачатиной несет. Ты нам не пара! — важно объяснил он Стародомскому и добавил:— К тому же ты поляк. Кошевой не разрешит тебя записать в скаутский украинский отряд!

— А мне плевать на вашего кошевого,— гордо сказал Юзик.— Я к вам и сам не пойду!

С той поры Куница еще больше возненавидел Котьку Григоренко.

— А знаешь, Юзик,— сказал я Кунице,— ведь сегодня вечером бойскауты собираются на гимназическом дворе. У них будет сбор перед походом. Может, поглядим?

— Чего я у них не видел? — вдруг обозлился Куница.— Ноги голые, на плечах какие-то поганые ленты, в руках палки. Вот погоди, придут красные, мы к ним в разведчики запишемся.

Служить в разведчиках у красных, помогать Советской власти была его давнишняя мечта. Он ждал возвращения большевиков, чтобы уехать в Киев: у него там дядька у красных служил,— дядька обещал пристроить Куницу в такую школу, где разведчиков обучают. Я, правда, хорошо не знал, есть ли такая школа, но Куница мне все уши прожужжал о ней.

«Оно бы, конечно, хорошо поступить туда,— думал я,— да у меня в Киеве никого нет, поступить мне в школу разведчиков вряд ли удастся».

Говорят, бойскауты скоро идут на учение в Нагорянский лес. А в Нагорянах живет мой дядька Авксентий, у которого сейчас скрывается отец. Самый главный скаутский начальник, курносый Марко Гржибовский, очень зол на моего отца.

Однажды мой отец заступился за старого Маремуху. Маремуха сделал Марко сапоги, а тому они не понравились. Марко стал придираться и ругать сапожника, а потом ударил его каблуком нового сапога по лицу. У старого Маремухи из носа пошла кровь. Мой отец схватил Марко за шиворот, вытолкал его из мастерской и спустил с крыльца вниз на мостовую.

— Выискался тоже гадючий заступник! — процедил с ненавистью Марко.— Погоди, погоди, будешь знать... Покажут тебе... Припомнишь...

Драться с моим отцом он побаивался: знал, что отец надает ему.

Сейчас Марко есаул, он всегда носит шпоры и большой маузер.

Я старался не попадаться на глаза Гржибовскому, когда он, звеня шпорами, проходил по коридорам в директорскую к бородатому Прокоповичу. Если бы Марко припомнил, что я сын того самого Мирона Манджуры, который вышвырнул его на улицу, кто знает — не засадил бы меня сразу в петлюровскую кутузку?

— Васька, слышишь? — вдруг дернул меня за рукав Куница и тотчас же прижался вплотную к амбразуре.

— Что такое, Юзик? Ну-ка, пусти!

Но Куница заслонил всю амбразуру.

— Погоди, не мешай, кажется, бегут сюда! — прошептал он.

И впрямь, через верхний пролом, что над башней, донеслись к нам чьи-то очень знакомые голоса. Говорили быстро и отрывисто.

Голоса приближались к башне справа, от заросшего берега реки,— обычно тут никто не ходил. Скалы в этом месте примыкали к реке, вода омывала их каменные подножия. Чтобы пройти здесь, надо было разуться и шлепать прямо по воде.

Вдруг среди этих голосов я узнал знакомую скороговорку Котьки Григоренко.

Эх, проворонили! Внизу, у самого подножия башни, захрустел щебень.

Куда бежать?

Выход из башни один, а сейчас возле него сыщики. Выглянешь — сразу сцапают.

Может, вылезть на стенку башни? Ну хорошо, а дальше куда? Вниз ведь не спрыгнешь — высоко, а сидеть без толку вверху, ворон пугать — стыдно.

— Идут сюда! Ложись, спрячься! — прошипел Юзик, отскакивая от амбразуры.

Круглая ободранная башня пуста, и спрятаться в ней решительно негде. Разве... в нишах?! Не раздумывая, мы оба бросились в эти темные просыревшие впадины и замерли там, словно святые на доминиканском костеле.

Но уже в нижнем этаже треснула под чьим-то каблуком щепка. Заскрипела деревянная лестница. Кто-то из сыщиков поднимался вверх.

Едва дыша, я еще плотнее прижался к холодным камням.

И вдруг меня оглушил злорадный крик Сашки Бобыря:

— Удавы, сюда! Они здесь!

Через несколько минут нас вывели на берег под руки. Сыщики окружили нас. Сашка Бобырь, то и дело щелкая незаряженным «бульдогом», шел сбоку. Не удрать было от проклятых сыщиков — догнали бы, да и удирать-то мы, по уговору, не имели права.

Эх, лучше бы мы спрятались на воле, в кустах за Колокольной или в подвале костела. А все Куница. Затащил меня сюда, в эту чертову башню, отца побоялся...

Проклятые сыщики! Как они вертелись вокруг нас, шумели, подсмеивались!

Но больше всех суетился Котька Григоренко. Он размахивал своим револьвером, две пуговицы на его форменной курточке были расстегнуты, фуражка

заломлена на затылок, а хитрые, цвета густого чая глаза так и бегали от радости под черными бровями.

— Свяжите им руки! — вдруг приказал он.

— Не имеете права! — огрызнулся Куница.— Разбойникам никогда рук не вязали!

— Вы голодранцы, а не разбойники, а ты хорек, а не куница. Знаешь ты много, что можно, а что не можно,— с важным видом заявил Котька, застегивая курточку.— А ну, хлопцы, кому я сказал? Вяжите потуже, чтоб не задавались.

Сашка Бобырь засунул в карман оружие и подбежал к Юзику. Куница стал отбиваться, я бросился ему на помощь. Но в эту же минуту Котька Григоренко подбежал сзади и прыгнул ко мне на плечи.

— Пусти! — закричал я.— Пусти! — А сам, широко расставив ноги и тяжело переступая, старался подойти поближе к толстой акации, чтобы, откинувшись всем телом назад, ударить Григоренко о ствол дерева.— Пусти! — зло крикнул я.

Но Котька и слушать не хотел. Он висел у меня на плечах и хрипел, как волк. Я видел, как свирепо отбивается от сыщиков наш атаман Куница. Он цепкий, увертливый парень, даром что худой. Его азарт поддал и мне силы. Я рванулся к дереву, но в это время Котька Григоренко неожиданно подставил мне подножку, и я полетел вниз головой на колючий щебень.

Я не успел даже вырвать руки — их держал сзади Григоренко — и грохнулся прямо лицом и грудью на камни.

Острая боль обожгла лицо. На глаза навернулись слезы. Я больно ушиб себе о камень переносицу, даже в голове загудело, и рот сразу наполнился солоноватой кровью. А Котька Григоренко снова навалился на меня и стал заламывать мне руки.

Жгучая злоба внезапно заглушила боль.

Поднатужившись, я приподнялся на одно колено и, резко мотнув головой, отбросил Котьку в сторону. Хоть Котька и спортсмен, хоть он каждую переменку кирпичи выжимает, но я тоже не из слабеньких. Не успел он протянуть ко мне руки, чтобы снова схватить за шею, как я, вскочив на обе ноги, потянул к себе его скользкий, вьющийся гадюкой лакированный ремень.

Заодно я локтем сшиб с Котькиной головы фуражку. Она, словно обруч, покатилась к речке.

— А-а-а, ты подножку ставить? Постой, я тебе дам, директорский подлиза! Я тебе покажу!..— закричал я.

Мне удалось вырвать у Котьки ремень. Я сразу стал стегать Григоренко его же собственным ремнем то по спине, то по рукам. Но Котька как-то особенно, по-собачьи вывернулся и вдруг, на лету схватив мою руку, впился в нее зубами.

Пригнувшись, я ударил Котьку головой в грудь. Он потерял равновесие и полетел в речку.

Я не успел даже сообразить, как это все произошло. Густые брызги с шумом взлетели над рекой. Здесь, должно быть, глубоко, потому что Котька сразу скрылся под водой.

Мне стало страшно: а что, если он утонет? Но через секунду мокрая Котькина голова, как пробка, выскочила наружу. Котька махал руками, его растопыренные пальцы хватали воду — видно, с перепугу он позабыл, как плавают.

Захлебываясь, выпучив испуганные глаза, он хриплым голосом закричал:

— Караул! Спасите!

Сыщики бросились к нему.

Куница подмигнул мне.

Воспользовавшись замешательством сыщиков, мы пустились наутек.

У ДИРЕКТОРА

Вот и верхняя площадка Турецкой лестницы! Отсюда хорошо видна башня Конецпольского и то место, с которого я только что сбросил Григоренко в воду. Пока мы с Куницей взбежали наверх, сыщики уже вытащили Котьку из речки. Вон внизу он прыгает на одной ноге, весь черный, мокрый,— видно, в ухо ему вода попала. Рядом гурьбой толпятся сыщики.

— Ну, держись, Василь! Котька тебе этого не спустит!

— Думаешь, я сильно боюсь его? Я не такой боягуз, как Петька Маремуха,— у того Котька на голове ездит, и ничего. Ну, что он мне сделает, что? Пожалуется директору, да? Пускай! Ведь он первый меня затронул! Есть след, погляди? — И я показал Юзику разбитую переносицу.

— Есть, маленький, правда, но есть! И под губой кровь. Сотри!

— Да это из носа, я знаю! Директор спросит, я все расскажу: и как он подножку мне подставил, и как кровь из носа пустил. Пусть только наябедничает — плохо ему будет!

И мы помчались дальше, на Колокольную улицу.

Весь урок пения мне не сиделось на парте. Я ерзал, поглядывал на дверь: мне все чудились в коридоре директорские шаги. Всем классом мы разучивали к торжественному вечеру «Многая лета».

Учительница пения, худая пани Родлевская, с буклями на висках, в длинном черном платье, то и дело грозила нам камертоном, стучала им по кафедре, и, когда металлический звон проплывал по классу, Родлевская, вытянувшись на цыпочках, пищала:

— Начинайте, дети! Начинайте, дети! Ми-ми-ля-соль-фа-ми-ре-ми-фа-ре-ми-ми! Ради бога: ми-ми!

Володька Марценюк поет громко, так, что даже паутина дрожит около него в углу. Петька Маремуха тянет дискантом — тонко, жалобно, точно плачет или милостыню просит.

Маремуха такой толстый, а вот голос у него, как у маленькой девчонки.

А я совсем не пою, только рот раскрываю, чтобы не привязалась пани Родлевская. Не до пения мне сейчас! Какая же тут к черту «Многая лета», когда вот-вот позовут меня на головомойку к бородатому Прокоповичу!

Парта Котьки Григоренко свободна. Его в классе нет.

Еще до того как начался урок пения, сыщики и воры сбежались обратно в гимназию, и сразу разнесся слух о том, как я топил Котьку Григоренко. Ребята, сбившись в кучу около поленниц, перебивая друг друга, на все лады толковали о нашей драке.

Наконец во дворе появился и сам Котька. Весь какой-то общипанный, жалкий, с прилипшими ко лбу волосами, он был похож на мокрую курицу.

Я в это время искал около гимназических подвалов заячью капусту, чтобы залепить ранку на переносице. Увидев Котьку, мрачного, насупленного, я на миг позабыл о неизбежном вызове в директорскую. Ох, как мне было приятно, что я проучил этого задаваку, чистенького докторского сынка! За все я ему отомстил! И за Куницу, и за свой разбитый нос, и за наших разбойников.

Не глядя в нашу сторону, словно не замечая нас, Котька быстро прошел по черному ходу прямо к Прокоповичу и наследил по всему паркету. Тонкие, как ниточки, струйки воды, стекая с намокшей одежды, протянулись вслед за Котькой до самой директорской. Казалось, кто-то пронес по коридору воду в дырявом ведре.

Как только прозвенел звонок, Володька Марценюк побежал в директорскую за классным журналом для пани Родлевской. Он видел там Котьку и, вернувшись в класс, рассказал нам:

— Прокопович завернул его в ту материю — помните, что на флаги для вечера купили? Котька сидит в кресле, глаза красные, зубами стучит, а сам весь желто-голубой — прямо попугай. Увидел меня — отвернулся, разговаривать даже не стал. А Никифора директор послал к Котькину отцу!

«Паршивый маменькин сынок этот Котька,— думал я.— А еще задается, что спортсмен, что сильнее его в классе нет. Взять любого из наших зареченских ребят — все до поздней осени купаются. Прыгнешь иной раз в воду, и она холодная, даже круги перед глазами идут,— и ничего.

А этого задаваку толкнули на минуту в теплую воду, и он уже, бедняжка, продрог, раскис, дрожит, как щенок,— целый тарарам вокруг него. А еще атаман, скаутский начальник! Назвал своих скаутов «удавами»... У мамки бы на коленях ему сидеть!»

Обычно уроки пения у нас пролетали быстрее остальных. Разучили ноты, пропели несколько раз песню, и уже звонок заливается в коридоре. А в этот день время тянулось очень долго. Пани Родлевская надоела до тошноты. Она то приседала от волнения, то снова вытягивалась над кафедрой так, словно ее распинали: тощая, длинная, с круглым кадыком, выпирающим, словно галочье яйцо. «Карамора» длинноногая — так называли мы ее. Она и в самом деле была похожа на длинноногого тощего комара. Ребята говорили, что Родлевская закрашивает чернилами седые волосы.

Не вытерпев, я сказал пани Родлевской, что у меня пересохло в горле и что я хочу пить. Получив разрешение выйти из класса, выскочил в коридор. Ни души. Тихонько пробрался я по пустому коридору в актовый зал и через сцену вышел на балкон.

Густые каштановые ветви шелестели возле самой чугунной решетки.

Скоро уж зацветет каштан!

Скоро из зеленой листвы, как свечи на рождественской елке, подымутся и расцветут стройные, бледно-розовые цветы каштанов. Загудят над ними вечером майские жуки, будет обдувать эти цветы теплый летний ветер, унося с собою нежный запах.

Славно было бы заночевать в такую ночь тут, на балконе. Разложить бы здесь складную кровать, бросить подушку под голову, завернуться в одеяло и лежать долго-долго с закрытыми глазами и, засыпая, слушать, как умолкает там, за площадью, за кафедральным собором, уставший за день от петлюровских приказов настороженный город. Но тотчас же я вспомнил о длинных мрачных коридорах гимназии, и у меня сразу пропала всякая охота ночевать здесь.

Но ничего, вот отпустят на каникулы — поеду в Нагоряны, разыщу отца и каждую ночь буду спать там на свежем воздухе в стоге сена. Рядом отец заснет, а по другую сторону дядька Авксентий. Никакие петлюровцы тогда не будут мне страшны. Поскорее бы нас отпустили на каникулы... Вот только эта история с купанием... А, чепуха! Я сумею выпутаться, не в таких переделках бывал.

Но что это?

Прямо из-за кафедрального собора на площадь выезжает пролетка. Она мчится сюда, к гимназии. Кто бы это мог быть? Неужели отец Котьки? Не иначе как он!

Ну да, это он. На нем вышитая рубашка, загорелая лысина блестит на солнце.

У самого крыльца гимназии Григоренко круто останавливает лошадь и, посапывая, вылезает из пролетки. Он привязывает лошадь к столбу и, вытащив из пролетки круглый черный сверток, скрывается в дверях подъезда.

Наверное, привез одежду своему Котьке. Боится, усатый черт, чтобы сынок не простудился. Бросил свою больницу и прикатил сюда.

Я стоял на балконе, скрытый каштановыми листьями. Возвращаться на урок теперь уже мне совсем не хотелось. Уж лучше подожду здесь до звонка. В журнале я отмечен, а память у этой «караморы» Родлевской плохая. Конечно, она уже позабыла, что отпустила меня из класса.

Раздался звонок. Зашумели в классах гимназисты. Я слышал их крики, говор, слышал, как захлопали крышки парт. А я все стоял и обдумывал, как бы мне безопаснее прошмыгнуть в класс, чтобы не заметили меня ни директор, ни Котька. Не хотелось попадаться им на глаза. Трудно даже передать, как не хотелось!

Внизу, под балконом, хлопает тяжелая дверь, и на тротуар выходят усатый доктор Григоренко, наш директор Прокопович и Котька. Горе-атаман уже переоделся в сухое платье, на нем тесный матросский костюмчик и шапочка с георгиевскими лентами. Должно быть, его отец схватил первое, что попалось под руку.

Котька оглядывается по сторонам, глядит на окна — не следят ли за ним ребята из классов, и потом, видимо успокоившись, поправляет бескозырку.

— Накажите, ради бога, этого выродка, Гедеон Аполлинариевич! Глядите, он вам всех гимназистов перетопит! — донесся снизу густой бас доктора.

— И не говорите! — загудел в ответ Гедеон Аполлинариевич.— Если бы вы знали, какая морока с этой зареченской шантрапой. Ужас! Ужас! Пригнали их ко мне из высшеначального, и все вверх дном пошло, воспитатели прямо с ног сбились. Никакой пользы от них самостийной Украине не будет — уверяю вас.

Смолоду в лес смотрят. Я уже в министерстве просил, нельзя ли их в коммерческое перевести...

Усатый доктор, сочувственно покачивая головой, влезает в пролетку.

— Заходите к нам с супругой, Гедеон Аполлинариевич, милости просим! — приглашает он.

— Покорно благодарю,— поклонился Прокопович.

Доктор натянул вожжи. Конь подбросил дугу и, подавшись грудью вперед, тронул пролетку с места.

Директор постоял немного, высморкался в беленький платочек, поправил крахмальный воротничок и ушел.

И в ту же минуту раздался звонок. Перемена кончилась.

«Выродок — это про меня!» — выбегая в коридор, подумал я. Хорошее дело! Мне подножку подставили, я себе нос разбил, ушиб колено — и я же виноват, я выродок? Пускай вызовет и спросит — я скажу ему, кто выродок!

В конце последнего урока в класс входит сторож Никифор и, спросив разрешения у преподавателя, отрывистым, глухим голосом зовет меня к директору гимназии. Я не хочу подать виду, что испугался, и медленно, не торопясь, одну за другой собираю в стопку свои книжки и тетради.

В классе — тишина. Все смотрят на меня.

Учитель природоведения Половьян, широкоскулый, веснушчатый, в желтом чесучовом кителе, вытирает запачканные мелом пальцы с таким видом, будто ему нет никакого дела до меня.

Все наши зареченские хлопцы провожают меня сочувственными взглядами.

Я выхожу вслед за горбатым низеньким Никифором как герой, высоко подняв голову, хлопая себя по ляжкам тяжелой связкой книг. Пусть никто не думает, что я струсил.

— Опять нашкодил! Эх ты, шаромыжник! — укоризненно шепчет мне Никифор.— Мало тебе было того карцера?..

...Сутулый чернобородый Прокопович очень боялся всякой заразы. Круглый год зимой и летом он ходил в коричневых лайковых перчатках. Повсюду ему мерещились бактерии, но пуще всего на свете он боялся мух. Дома у него на всех этажах, подоконниках и даже на скамейке под яблоней были расставлены налитые сулемой стеклянные мухоловки.

Зная, чем можно досадить директору, Сашка Бобырь здорово наловчился ловить больших зеленых мух, которые залетали иногда к нам в класс и, стукаясь о стекла, жужжали, как шмели.

Поймает Сашка такую муху и на переменке тихонько через замочную скважину в кабинет Прокоповичу пустит.

Муха зажужжит в директорской, а Прокопович засуетится, как ошалелый: стулья двигает, окна открывает, горбатого Никифора на помощь зовет — муху выгонять.

А мы рады, что ему, бородатому, досадили...

Я с трудом открыл тяжелую, обитую войлоком и зеленой клеенкой дверь в директорскую.

Прокопович даже не взглянул на меня.

Он сидел в мягком кожаном кресле за длинным столом, уткнувшись бородой в кучу бумаг и положив на край стола руку в коричневой перчатке. Я остановился у порога, в тени. Очень не хотелось, чтобы директор узнал во мне того самого декламатора, что выступал на торжественном вечере.

В тяжелых позолоченных рамах развешаны портреты украинских гетманов. Их много здесь, под высоким потолком директорского кабинета.

Гетманы сжимают в руках тяжелые золотые булавы, отделанные драгоценными камнями: пышные страусовые перья развеваются над гетманскими шапками. Один только Мазепа нарисован без булавы. С непокрытой головой, в расстегнутом камзоле, похожий на переодетого ксендза, он глядит на директора хитрыми, злыми глазами, и мне вдруг кажется, что это не Прокопович, не директор нашей гимназии сидит за столом, а какой-то сошедший с портрета бородатый гетман. Сидит, злой, недовольный, словно старый сыч, нахохлился над бумагами и не замечает меня.

Прокопович раскрыл тяжелую черную книгу. Мне надоело ждать. Я тихонько кашлянул.

— Что нужно? — глухо, скрипучим голосом спросил директор, вскидывая длинную жесткую бороду.

— Меня... позвал... Никифор,— заикаясь, сказал я. От страха у меня заперщило в горле.

— Фамилия?

— Василий...

— Я спрашиваю: фамилия?!

— Манджура...— пробормотал я невнятно и, закрывая лицо рукой, сделал вид, что утираю слезы.

— Ты хотел утопить Григоренко?

— Это не я... Он сам... Он первый повалил меня...

— Батько есть?

— Он в селе.

— А мать где?

— Померла...

— А с кем живешь? Кто у тебя там есть?

— Тетка, Марья Афанасьевна.

— Тетка? Мало того что давеча ты опозорил нашу гимназию перед лицом самого головного атамана с этой своей идиотской декламацией, так сегодня еще чуть не утопил лучшего ученика вашего класса? Забирай свои книжки — и марш домой, к тетке. Чтобы ноги твоей больше здесь не было! Можешь передать тетке, что тебя выгнали из гимназии. Навсегда выгнали, понимаешь? Нам хулиганья не нужно!

И директорская борода снова опустилась в бумаги.

Озадаченный, я несколько минут молча стоял у покрытого сукном длинного стола.

«Вот так фунт! Он, наверное, думает, что я умолять его стану, на колени упаду? Не дождешься!»

Быстро схватил я дверную ручку и не заметил даже, как захлопнулась за мною тяжелая дверь директорской.

По длинному пустому коридору, по каменной лестнице я медленно спустился в вестибюль и вышел на улицу. На дворе было уже совсем жарко. Голуби глухо ворковали на соборной колокольне. Водовозная тележка с возницей на краешке пузатой бочки протарахтела мимо меня и скрылась за кафедральным собором.

Наверху, возле учительской, отрывисто зазвенел звонок.

Сейчас выбегут сюда хлопцы. Они станут допытываться: «Ну как, здорово попало?» А я что скажу? Что меня выгнали? Ну нет. И так тошно, а тут еще жалеть станут и, того и гляди, тетке разболтают. Уж лучше дать стрекача. И, зажав под мышкой связку книг, я побежал на Заречье.

КОГДА НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР

Дома я долго не мог найти себе места.

Что же все-таки сказать Марье Афанасьевне?

Прошлой зимой, перед самым рождеством, мы с Куницей не пошли в училище, а забрались в лес за елками. Отец узнал про это и потом три дня бранил меня, даже, помню, Сашку Бобыря прогнал, когда тот пришел звать меня на коньках кататься.

Нет уж, никому не буду говорить, что меня выгнали из гимназии. И Марье Афанасьевне. И хлопцам. Даже Кунице не скажу, обидно все-таки. А если спросят, почему не занимаешься? Ну, тогда выдумаю что-нибудь. Скажу, у меня стригущий лишай и доктор Бык не велел приходить в класс, чтобы не заразил других учеников: и бояться будут, и поверят.

Ведь у Петьки Маремухи был стригущий лишай, и он, счастливец, сидел тогда две недели дома. Вот и расцарапаю я себе на животе стеклом ранку, скажу, что это лишай, буду мазать ее белой цинковой мазью и сидеть дома. А там и каникулы начнутся.

Решено — у меня лишай!

Но вечером в этот день я никак не мог успокоиться. Лишай лишаем, тетку обмануть будет нетрудно, а вот стоило подумать, что я уже больше не ученик,— и сразу начинало щемить сердце.

Больше всего было обидно, что меня выгнали из-за этого паршивца Котьки. Ох, как обидно! Жаль, что я его мало поколотил...

Дома никого не было. Покормив меня обедом, тетка Марья Афанасьевна ушла на огород пропалывать грядки.

А не пойти ли мне к Юзику? Но уже, должно быть, вернулся домой и отец Юзика. А мне не хотелось с ним встречаться. Уж очень он строгий, никогда не засмеется и не отвечает даже, когда говоришь ему: «Здравствуйте, пане Стародомский».

«Нет, к Юзику ходить не стоит,— решил я.— Так просто пойду погуляю один».

Скоро тихие сумерки спустятся на крутые улицы нашего города. Уже солнце, остывая, падает за Калиновский лес. Медленно и важно плетутся по узкому переулку к речке, на купание, шоколадно-черные египетские гуси нашей соседки Лебединцевой. Гусей никто не гонит,— они сами, выйдя из подворотни, покачиваясь и выгнув шеи, бредут вниз.

Подымаясь по Турецкой улице, я услышал, как вверху на гимназическом дворе дробно застучал барабан. Подойдя ближе, я увидел, что возле глазка в каменной ограде столпились маленькие ребята. Приподнявшись на цыпочки, они заглядывали в глубь двора.

— Смотри, смотри, как маршировуют! — восхищенно закричал, путая слово, кто-то из них.

И вдруг среди этой детворы я заметил стриженый затылок Куницы. Вот так здорово! А я думал, Юзик сидит дома.

Я растолкал локтями сгрудившихся около забора ребят и, пробравшись к Юзику, хлопнул его по плечу.

Он вздрогнул и быстро обернулся, рассерженный, готовый к драке. Но, увидев меня, заметно смутился и промямлил что-то непонятное себе под нос.

— А ты зачем пришел сюда? Интересно тебе, что ли? — спросил я, кивая в сторону двора.

— А, ерунда такая,— с напускным безразличием ответил Куница,— ходят, «слава» кричат, а офицеры смотрят на них, как на обезьян в зверинце!

Совсем близко, за стеной, застучал барабан. Через глазок я увидел, как по гимназическому двору ровными рядами зашагали бойскауты. Они в новой форме: на них коротенькие, цвета хаки, штанишки до коленей и светло-зеленые рубахи с отложными воротничками. К левому плечу у каждого пришит пучок разноцветных ленточек, а на рукаве, пониже локтя,— желто-голубые нашивки. Бойскауты маршируют рядами по три человека и, подойдя к забору, сворачивают в сторону.

Поодаль, важничая, в новых желтеньких ботинках шагает «утопленник» — Котька Григоренко. На рукаве у него, повыше желто-голубой нашивки, вьется червяком малиновый шнур. Это значит, что Котька не простой скаут, а начальник. Мне ненавистны и натянутая походка этого барчука, и его самодовольный вид. Как только его слушаются Володька Марценюк и Сашка Бобырь? Ведь раньше они никогда не дружили с Котькой, дразнили его, а сейчас даже смотреть противно, как они из кожи лезут вон перед этим докторским сынком...

Подлизы несчастные — с ними даже здороваться не стоит...

Мальчишки загалдели у меня за спиной. Они совсем прижали нас с Куницей к забору, силясь разглядеть, что делается во дворе.

— Пойдем-ка, Юзик, лучше купаться! Я уже нагляделся. Хватит здесь стоять,— предложил я Кунице.

Куница согласился.

По знакомой извилистой тропинке, мимо улицы Понятовского, мы направились к речке.

— Ну, что тебе директор сказал сегодня? Небось попало здорово? — спросил Куница.

— А, пустяки. Сначала ругался, а потом, когда я ему рассказал, что Котька мне подножку подставил, замолчал и отпустил домой.

— Только и всего... А Петька Маремуха брехал, что тебя выгнали из гимназии. Мы ждали тебя, ждали, а ты как пошел, так и пропал. Я уж думал, не посадил ли тебя бородатый за Котьку в карцер.

— Ну, вот еще выдумали. Не выгнал, а грозился выгнать. А Маремуху я поколочу, если он брехать про меня будет...

Внизу уже заблестела речка.

— Купаться со скалы будем?

— Давай со скалы,— согласился Юзик.

Мы повернули вниз. За рекой показалась знакомая Старая крепость.

Весь ее двор засажен фруктовыми деревьями. Возле Папской башни растут низкие ветвистые яблони-скороспелки.

Сорвешь зрелое яблоко еще задолго до осени, потрясешь над ухом — слышно даже, как стучат внутри его черные твердые зернышки.

Скороспелки, когда созреют, делаются мягкими, нежными, зубы — только тронь такую кожуру — сами вопьются в нежно-розовую рассыпчатую мякоть яблока.

В крепости есть несколько шелковиц. Ягоды, которые созревают на этих деревьях, мы называем «морвой». Они черные и похожи на шишечки ольхи. Когда черная морва созреет, мы, забравшись в Папскую башню, швыряем оттуда сверху на деревья тяжелые камни. С шумом пробивая листву, камни летят вниз, задевают твердые ветви, ветви трясутся, а ягоды осыпаются.

Потом в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем мягкие, приторные, налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на коленках под деревом, и долго после этого рты у нас синие, словно мы пили чернила.

Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые черешни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и черные, блестящие, красящие губы ягоды доверху наполняют скрипучие лукошки торговок. Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг у друга покупателей, и отвешивают черешню в бумажные кульки.

Как мы завидуем тем, кто свободно, не торгуясь, покупает целый фунт и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь проходит мимо нас!

Так, размышляя о черешнях, я спустился вслед за Юзиком к реке. Теперь крепость высилась над нами справа — высокая, мрачная. Я видел зыбкую ее тень, падающую на воду, и вспомнил о высоких, толстоствольных черешнях, которые росли во дворе крепости, за Папской башней. Листва у них прозрачная, редкая, а ягоды удивительно сладкие.

«Раз торговки продают черешню на базаре,— подумал я, раздеваясь,— значит, они уже поспели и в крепости».

Я сказал об этом Кунице.

— Ну, так что ж? Давай полезем завтра!

— А когда?

— После обеда.

— Нет, вечером нельзя,— сказал я,— там же снова будут стрелять петлюровцы.

За пороховыми погребами крепости петлюровцы устроили гарнизонное стрельбище. Ежедневно после обеда они отправляются туда на стрельбу, и до сумерек вся крепость трещит от пулеметных выстрелов. Пули с визгом летят как раз в ту стену, по которой надо взбираться до башни.

— Ну а когда же? — хлопая себя по бедрам, спросил Куница. Он уже разделся и стоял передо мной голый, худощавый.

— Давай утречком, перед школой. Возьмем с собой тетради, чтобы домой за ними не бегать, я зайду за тобой, только ты гляди не проспи,— сказал я, совсем забыв, что мне завтра в гимназию не надо идти.

— Я-то не просплю,— ответил Куница,— но ведь утром сторож шатается по крепости. Как мы полезем на черешню?

— Да. Это верно.

Утром сторож обходит всю крепость, а вот попозже, как раз когда в гимназии начинаются уроки, сидит на скамейке у ворот. Тогда хоть ломай деревья — не услышит.

Сторож не любит, если ребята появляются в крепостном саду. Он заботливо

оберегает каждое дерево, весной обмазывает стволы известкой, окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их себе. Влезает на дерево по лестнице — даром что хромоногий — и обрывает ягоды, яблоки и даже маленькие кругленькие груши-дички.

— А, есть чего бояться! Ну, увидит, закричит. Подумаешь! Что мы, не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый черт! Давай пошли утром,— решил я.

— Пошли! — сказал Куница.— Язда!

Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх, на скалу. Какой интерес купаться у берега, на мели, где купаются зареченские женщины? Не купание, а стыд один! То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда с вытянутыми вперед руками броситься вниз головой в быструю воду. Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камешки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледно-зеленой полыни.

Взобравшись на скалу, мы с Юзиком стоим на ней рядом.

Далеко, за плотиной, в воду ныряют утки. Они то и дело подбрасывают кверху свои толстые гузки и сверкают на зеленоватой глади устоявшейся воды красными лапками.

— Вода сегодня, должно быть, теплая-теплая! — говорит Куница и блаженно улыбается.

По мосту гулко проехала телега.

— Давай! — закричал я и, не дожидаясь ответа, с размаху бросился в воду.

Вынырнул на середине речки, ищу Куницу. Его нет ни на скале, ни на воде. Он, черт, хорошо ныряет. Я верчусь волчком на одном месте. Я боюсь, как бы Куница не нырнул под меня и не ухватил за ногу. Это очень неприятно, когда тебя под водой схватят за ногу скользкими руками. Куница пробкой выскочил из воды около самой плотины. Большие круги разбегаются в стороны. Как далеко он проплыл под водой! Мне столько не проплыть.

Мы ныряем вперегонки, достаем со дна кругленькие камешки и желтую глину, взбиваем брызги, чтобы увидеть радугу. Усталые, мы переворачиваемся на спину и лежим на воде без движения. Течение медленно сносит нас вниз к плотине. Вверху расстилается голубое, чуть порозовевшее на западе, прозрачное, без единой тучки, небо!

Завтра будет замечательная погода!

Поздно вечером, когда на дворе было совсем уже темно, я ушел в крольчатник, захватив с собой коптилку и спички.

При тусклом свете керосиновой коптилки я, сняв рубашку, несколько раз царапнул себя по животу толстым осколком пивной бутылки. Вскоре на коже проступили капли крови. Я поморщился от боли и вспомнил, как мне прививали оспу. Вот так же царапала меня ланцетом по руке докторша.

Я посмотрел на стекло. «Поцарапать разве еще? Довольно! — решил я.— Тетка близорукая, все равно не заметит».

Возвратившись в хату, я жалобным голосом объявил Марье Афанасьевне:

— Тетя, я завтра в школу не пойду — доктор запретил — у меня стригущий лишай, и я могу заразить учеников... Поглядите-ка!

Марья Афанасьевна отставила на край плиты горячий противень с жареной, вкусно пахнущей картошкой и, шевеля губами, посмотрела на мой живот.

— Ну что ж, не ходи, только смажь быстро йодом,— сказала она и отвернулась к плите, в которой завывал огонь.

Мне стало даже обидно: старался, старался, пустил кровь, ободрал кожу, а она глянула одним глазом и отвернулась как ни в чем не бывало! Хоть бы пожалела меня, так нет — жареная картошка ей дороже.

В СТАРОЙ КРЕПОСТИ

Проснулся я рано утром. Солнце еще не поднялось над крышей сарая. Я побежал в огород. Там из самой крайней грядки я одну за другой выдернул розоватые редиски и возвратился в дом. Тихо ступая по кухонному полу, я достал с пол-

ки початый теткой каравай хлеба, отрезал себе ноздреватую горбушку и, посыпав хлеб солью, присел на табуретку. Скоро на кухонном столике остались только хлебные крошки да срезанные острым ножом мокрые от ночной росы мохнатые листья редиски. Я уже собрался уходить, как из спальни, позевывая, вышла тетка.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросила она, глядя на меня заспанными глазами.

— А я пойду к Юзику Стародомскому задачи по арифметике решать. Мне ведь в гимназию доктор запретил ходить, вот я дома с Юзиком и позанимаюсь.

— Какие еще задачи спозаранку? Людей будить. Врешь ты, наверное...— буркнула Марья Афанасьевна и мягкими шагами подошла ко мне.— А ну, покажи лишай! — приказала она.

Я осторожно, так, будто на теле у меня была опасная рана, оголил живот и показал покрасневшее место под первым ребром. Тетушка прищурила заспанные глаза и, чуть не прикоснувшись носом к моему мнимому лишаю, сказала:

— Ну, пустяки — он проходит... Затягивается уже.

— Какое там затягивается! — крикнул я и быстро опустил рубашку.— Это вам так кажется, а мне больно и чешется здорово. Ой, как чешется! — И обеими руками я стал быстро и ожесточенно, перед самым носом тетки, расчесывать свой живот.

— Да ты с ума сошел! Не чеши! Не чеши, тебе говорят,— испуганно замахала руками тетка,— расчешешь, а потом и чесотка пристанет. Перестань чесать! Иди лучше смажь цинковой мазью.

Я иду в спальню. С шумом открываю левый ящик комода, в котором тетка хранит свои лекарства.

Я окунаю мизинец в фарфоровую баночку с цинковой мазью. Потом, приподняв рубашку, густо смазываю свой мнимый лишай и наклеиваю круглый кусочек пластыря. Это затем, чтобы показать Кунице. Пусть рана выглядит пострашнее, тогда он расскажет о ней в классе, и никто даже не подумает, что меня исключили из гимназии.

— Выпей молока! Тут осталось вчерашнее, кипяченое! — закричала мне из кухни Марья Афанасьевна.

Она уже загремела кастрюлями и противнями.

— Не хочу, я наелся! — ответил я тетке и выбежал на улицу.

За высокими воротами во дворе у Куницы носится их злая мохнатая собака. Не успел я еще остановиться около забора, как она, почуяв чужого, яростно залаяла и кинулась к воротам. Проклятый пес — нельзя даже войти во двор. Отойдя на середину мостовой, я протяжно закричал:

— Юзик! Юзик! Хозь тутай!

Молчание. Только, свирепея, хрипит и давится под воротами пес.

Лишь бы на мой крик не вышел отец Куницы.

Но вот хлопают двери, и из палисадника, отогнав собаку, выбегает Юзик. Глаза у него припухли, лицо мятое, сонное, и на левой щеке краснеет отпечаток рубчика подушки.

— Ой, как ты рано, Василь! У нас еще все спят,— протирая глаза, бормочет Куница.

— Какое там рано! Мельница Орловского уже давно работает.

— А где твои книжки?

— А зачем мне они?

— Как зачем? Ты разве не пойдешь в гимназию?

— Не пойду. Доктор Бык запретил мне ходить в класс. У меня стригущий лишай, я заразный.— И я гордо хлопнул себя по животу.

— Какой лишай? Что ты выдумал?

— А вот — гляди.— И я, морщась, поднял рубашку.

Мазь растаяла и расползлась, желтенький кусочек пластыря съехал вниз и обнажил покрасневшее место.

Куница чмокнул губами, покачал головой и не то от сострадания, не то от испуга промычал что-то непонятное.

— Больно? — наконец спросил он.

— Не очень. Только щиплет и чешется здорово, а чесать нельзя.

— Постой, постой, а как же ты купался вчера?

— Купался. Ну и что ж с того? Зудило только немножко, я просто тебе ничего не сказал, думал, так пройдет. А зато ночью стало невтерпеж. Побежал я с теткой к доктору Быку. Пришли, а он спит. Мы его сразу разбудили. Посмотрел он на меня, головой покачал: «Плохо, говорит, дело». Мазью велел это место мазать и пластыри лепить. А в гимназию запретил ходить, пока не пройдет совсем,— не моргнув глазом соврал я Кунице и сам удивился, как это все гладко получается. Я уже сам начинал верить в свою рану и в доктора Быка.

— Бумажку тебе доктор дал для директора?

— А зачем мне бумажка, когда послезавтра каникулы начинаются?

— Так, может, ты и в крепость не полезешь?

— В крепость-то я пойду, ходить мне можно. Беги за книжками скорее.

— Ну, добже, я сейчас.— И Юзик убежал.

Солнце уже выползло из-за скал — веселое и румяное. Левая половина крепости, обращенная к городу, была освещена яркими утренними лучами. Мы обошли крепость с теневой стороны. Юзик спрятал за пазуху тетради и учебники: так ему будет удобнее взбираться.

— Только вниз не смотри, а то голова закружится,— посоветовал он мне.

Цепляясь за выступы квадратных камней, плотно прижимаясь к холодной мохнатой стене, мы осторожно вскарабкались до первого карниза.

— Ну, теперь пойдет веселее! Лишь бы не закружилась голова!

Юзик — молодец. Он смело, не глядя себе под ноги, зашагал бочком по каменному карнизу.

Где-то внизу, под крепостью, белела извилистая проселочная дорога. Вот только что мы шли по ней, а отсюда, сверху, она казалась очень-очень далекой.

Я не могу не смотреть на дорогу, а гляну — страх берет: высоко.

— Эх, была не была!

Я повернулся к пропасти спиной и, почти прикасаясь губами к замшелой стене, затаив дыхание пошел по карнизу вслед за Куницей.

И вот наконец мы добрались до Папской башни. Вслед за Куницей я пролез через разломанную решетку внутрь башни. А теперь надо пробраться на крепостной двор. Туда ведет другое, выходящее внутрь крепостного двора окно.

Куница осторожно выглянул в это окно, но вдруг испуганно шарахнулся назад и приложил к губам палец.

Несколько секунд мы стоим молча.

Кого Куница увидел? Может, сторож уже прохаживается со своей тяжелой палкой по крепостному саду? Или хлопцы с Заречья опередили нас и сбивают камнями черешни? А может, еще хуже — петлюровцы приехали сюда учиться стрелять?

В это время услышал чьи-то голоса, потом заржала лошадь и заглушила все. Опять разговаривают. Говорят громко внутри крепости. Но кто бы мог быть здесь в такую рань?

Не лучше ли, пока нас никто не заметил, выбраться из башни обратно к подножию крепости? Там уж нас никто не тронет.

Но Куница задумал другое.

Он лег на пыльный пол башни и знаками предложил и мне сделать то же самое. Медленно, ползком мы подобрались по усыпанному известкой полу к окну и, чуть-чуть приподняв головы, глянули вниз, во двор крепости.

Внизу, под самой высокой черешней, стоит черный фаэтон с поднятым верхом. Лакированные крылышки фаэтона блестят на солнце, и даже в тонких блестящих спицах колес играют солнечные лучи. В фаэтон запряжены две сытые гнедые лошади. Они встряхивают мордами и тянутся к траве. Нам слышно, как позвякивают их удила.

Поодаль, около Черной башни, к яблоне привязана запряженная в пролетку серая в пятнах лошадь. И лошадь и пролетка очень похожи на выезд доктора Григоренко. У него точно такой же масти лошадь и такая же низенькая двухместная пролетка с лакированной дугой над оглоблями.

Около фаэтона, под черешней, вполголоса беседуют три петлюровца в темно-коричневых жупанах, туго опоясанные ремнями, в желтых сапогах. Один из пет-

люровцев опирается на винтовку и как-то странно морщит лоб, а в стороне, в тени крепостной стены, стоят еще какие-то люди. Один из них — невысокий, в зеленой неподпоясанной рубахе, в потрепанных брюках, с непокрытой, коротко, под машинку остриженной головой. Он сразу же показался мне очень знакомым. Вот где только я его мог видеть? Он слегка сгорбился, лицо его обращено к нам — усталое, желтоватое, болезненное.

А напротив него стоит Марко Гржибовский. Он держит в руках какую-то бумагу; я слышу отрывистые негромкие звуки его голоса. Гржибовский читает эту бумагу неподпоясанному человеку. На широком ремне у Марко болтается большой револьвер в деревянной кобуре, с другого бока висит длинная сабля. А недалеко от Гржибовского стоит, прислонившись к зеленой яблоне, доктор Григоренко. «Так это его пролетка привязана около Черной башни!» На Григоренко вышитая рубаха и соломенная панама с голубой лентой. Должно быть, усатому, похожему на запорожца доктору очень скучно со всеми этими военными. Он поглядывает на ветви яблони и носком своего тупорылого австрийского ботинка лениво разрывает землю под яблоней.

Для чего только он приехал сюда с петлюровцами в такую рань?

Марко Гржибовский кончил читать.

На зеленом крепостном дворе, освещенном утренним солнцем, стало совсем тихо.

Даже петлюровцы около фаэтона притихли.

Марко медленно складывает белую бумагу вчетверо и прячет ее в верхний карман защитного английского френча. Поправив револьвер, он кричит что-то троим петлюровцам — те вытянулись, прижали к себе винтовки, и эхо от крика Гржибовского далеким отголоском пробегает по запущенному крепостному двору.

Петлюровцы, взяв ружья наперевес, тяжелыми, широкими шагами подходят к понурому, оборванному человеку.

Маленький криволицый петлюровец трогает его за плечо и кивает на бастионы.

Человек в зеленой рубахе устало поворачивается и шагает к бастиону. Только теперь я замечаю вырытую у самого ската бастиона, на зеленой лужайке, свежую продолговатую яму. Черный бугорок земли, как насыпь перед окопом, поднимается перед ней.

Куница больно толкает меня в бок. Чего он хочет?

Дойдя до черного бугорка, босой человек, как в забытьи, медленно, не торопясь, раздевается. Сначала он снимает верхнюю рубаху. Слабым движением руки он отбрасывает ее в сторону на густую траву и, полуприсев, снимает сорочку. Видно, ему тяжело стоять. Вот он разделся до пояса и стоит на траве под зеленым полукруглым бастионом, обнаженный, худой, с проступающими под кожей выпуклыми ребрами.

Я пристально смотрю на этого голого человека и все еще ничего не понимаю: зачем он стал раздеваться, не купаться же он собрался здесь, на крепостном дворе?

И лишь когда трое петлюровцев, прижав к плечам коричневые блестящие винтовки, застывают на месте, я вдруг соображаю, что происходит сейчас внизу. Я понимаю, для чего сюда приехали ранним утром петлюровцы, зачем привезли они с собой худого тяжелобольного человека.

Мне страшно, хочется закрыть глаза, убежать, не видеть того, что произойдет вот сейчас на наших глазах.

Но винтовки в руках петлюровцев выравниваются все прямее, трое солдат твердо стоят на раздвинутых ногах; чуть подавшись вперед, они целятся, прижимаясь лицом к полированным прикладам.

Голый, понурый человек, собрав последние силы, вздрагивает, выпрямляется. На черной насыпи он сразу кажется высоким, тонким. И, подняв над головой кулак, он кричит припавшим к винтовкам петлюровцам:

— Меня вы убьете, но народ украинский вам не обмануть и не убить никогда, палачи! Да здравствует Советская Украина-а-а!

Ветер доносит к нам обрывки его хриплого, простуженного голоса.

И только тут я узнаю желтого, болезненного человека.

Да ведь это его в тот весенний слякотный вечер, когда отступали красные, привел в наш дом Иван Омелюстый! Это же его Марья Афанасьевна укладывала на кованом сундуке и поила чаем с сушеной малиной, а он, высунув из-под одеяла руку, стал показывать мне пальцами на освещенной стене разные забавные штуки. Ведь это он так страшно щелкал зубами, когда Иван толковал с моим отцом. Значит, он не ушел с красными; значит, тетка обманула меня. Я вскочил, высунулся в окно.

«Оставьте, пустите его, он очень болен, он никому ничего не сделал!» — хотел закричать я, но слова застряли у меня в горле, а Куница сразу же потянул меня вниз, и я упал на колени.

Курносый Марко Гржибовский взмахнул саблей.

Три винтовки почти одновременно подпрыгнули в руках петлюровцев. Отзвук ружейного залпа гулко прогремел в бастионах, в амбразурах черных пустых башен.

Потревоженные выстрелом галки взвились со своих гнезд и, каркая, закружились над крепостью. Казалось, весь город притих там, за крепостью, вслушиваясь в густое эхо выстрелов.

Голый человек так, как будто ему стало холодно, съежился, прижал к груди руки, нагнулся набок и потом медленно, медленно, словно засыпая, наклонил голову, повалился на землю, к вырытой у его ног черной продолговатой яме.

Тогда неторопливыми шагами, опираясь на суковатую изогнутую палку, к яме подошел доктор Григоренко. Положив на траву панаму с голубой лентой, он нагнулся и стал ощупывать упавшего. Григоренко запрокинул назад его голову, легко тронул глаза.

Потом он выпрямился, вытер руки о белый платочек, махнул рукой и что-то тихо сказал Гржибовскому.

Марко быстро подошел к насыпи и ногой столкнул убитого в яму.

Пока петлюровцы щелкали затворами и, выбрасывая в траву стреляные гильзы, разряжали винтовки, Марко Гржибовский и усатый Григоренко вдвоем подошли к докторской пролетке.

Гржибовский влез на ее облучок, так что пролетка сразу накренилась влево, и закричал:

— Сторож, сторож, иди-ка сюда!

На крик Марко пришел сторож в соломенном потрепанном капелюхе. Он шел медленно, прихрамывая, с опаской озираясь по сторонам. Подойдя к Гржибовскому, он снял капелюх и поклонился.

— Возьми-ка в экипаже заступ да быстро закопай вон ту могилу. Только как следует, хорошенько! Потом травой забросай. И никому не смей говорить о том, что видел. Понял? А не то...— И Гржибовский притронулся к револьверу.— А себе за работу,— добавил он милостиво,— вот его шмаття возьми.

Сторож достал из фаэтона заступ и подошел к яме. Не глядя в могилу, он торопливо стал подбирать черную, с клочьями зеленой травы землю и поспешно, неловкими бросками засыпал застреленного петлюровцами человека. Заступ дрожал у сторожа в руках. Видимо, впервые выпала на его долю такая страшная работа.

А Марко Гржибовский, словно кучер, уселся на облучке пролетки и, вынув из кармана серебряный портсигар, протянул его доктору. Крышка портсигара, щелкнув, взлетела кверху, они закурили. Голубой дым поднялся над пролеткой. Облокотившись на ее крыло, доктор показывал Марко рукой то на яблони, то на черешни. Потом он наклонился к подножию яблони и схватил горсть унавоженной рыхлой земли. Он поднес на ладони эту землю Гржибовскому, бережно растер ее в руках и затем, причмокнув губами, отшвырнул в сторону.

Наверное, он хвалил сторожа, хорошо ухаживающего за деревьями в крепости. А сторож уже засыпал яму землей и зеленым дерном. Раздумывая, он постоял минуту над могилой и потом быстро подобрал разбросанную на траве одежду убитого. С этими вещами в одной руке, с заступом в другой, хромая, он подошел к пролетке и снова поклонился Гржибовскому. Марко выплюнул окурок, спрыгнул на траву и, поправив фуражку, взял от сторожа вымазанный глиной заступ.

— Э-гей, хлопцы! — крикнул он петлюровцам и со всего размаха перебросил им заступ.

Те отскочили, а заступ, перевернувшись в воздухе, упал в траву около задних колес фаэтона.

Марко вместе с Григоренко уселись в пролетку.

Двое петлюровцев с винтовками в руках тоже полезли внутрь фаэтона, а третий, маленький, передав им свое ружье, вскарабкался на козлы и взял кнут.

Доктор Григоренко натянул вожжи, и его легкая пролетка первой выехала из крепости в открытые сторожем ворота.

Мягко покачиваясь на упругих рессорах и подпрыгивая, следом за ней покатился из крепости на улицу черный, с поднятым верхом казенный фаэтон. Сытые лошади, опутанные нарядной сбруей, махали хвостами.

Слышно было, как, сбегая вниз, к мосту, лошади звонко застучали копытами по голым камням мостовой.

Сторож закрыл ворота и вернулся обратно во двор.

Соломенная шляпа его лежала на бастионе около засыпанной могилы. Опираясь на суковатую ясеневую палку, с одеждой убитого под мышкой, сторож стоял среди крепостного двора угрюмый и нахмуренный.

— Васька, а не тот ли это большевик, которого поймали вчера в Старой усадьбе? — тихо, дрожащим голосом прошептал Куница, обдавая мое лицо горячим дыханием.— Я после купанья повстречал около Успенской церкви Сашку Бобыря, и он мне говорил, что из Старой усадьбы синежупанники под ружьями вели какого-то большевика. Может, это он самый? Ты не слыхал об этом?

Нет, я не слыхал. И если бы даже слыхал, мне трудно было бы разговаривать сейчас об этом.

Я видел его живым до этого всего лишь один раз. Я не знаю, кто он, как его зовут, есть ли у него семья, я ничего не знаю про него и не узнаю, наверно, пока не вернется из Нагорян мой отец, пока не вернется Советская власть.

Теперь этот человек сделался для меня родным и близким. Мне даже думать было тяжело, что он не подымется из этой черной ямы, не прищурится, взглянув на небо, от солнечного света, никогда не улыбнется и не придет в гости к моему отцу как давно знакомый, свой человек.

Куница снова толкнул меня.

— Васька, давай слезем к нему, а? — шепнул он, кивая вниз на сторожа.

Я повернулся к Юзику и увидел слезы на его глазах. Куница плакал. Ему было страшно оставаться здесь, в этой холодной полутемной башне, после всего, что мы увидели на крепостном дворе. И только я подумал об этом, как у меня самого перехватило дыхание и одна за другой крупные слезы закапали из глаз. Я крепко прижал ладони к лицу, перед глазами пошли зеленые круги, но все равно слезы текли все сильнее и сильнее. Я отвернулся в сторону и прижался лбом к холодной стене. Я видел перед собой в темноте падающего больного коммуниста, я слышал его последний, предсмертный, грозный и вещий крик:

— Да здравствует Советская Украина!

«Душегубы проклятые! Кого вы убили?» В эту минуту я поклялся, что отомщу за смерть убитого петлюровцами большевика. Пусть попадется мне ночью в Крутом переулке курносый Марко Гржибовский! Я сразу проломаю ему голову камнем. И от боли, от досады, что мы не смогли помешать Гржибовскому, когда он расстреливал нашего ночного гостя, я заревел еще сильнее.

— Не надо, Васька, ой, не надо! Ну, уйдем отсюда! Ну, прошу тебя!.. Ну, пошли вниз! — тоже всхлипывая и дергая меня за локоть, зашептал Куница.

И, не дожидаясь ответа, он высунулся из окна. Осторожно опустив ноги на крепостную стену, он смело пошел по ней, раздвигая ветки кустарника, преграждавшие ему дорогу. Услышав шум, сторож поднял голову. Он увидел идущего по стене Куницу, но не закричал, как обычно, и даже не двинулся с места.

Я вытер кулаком слезы и спустился во двор вслед за Куницей.

Спрыгнув со стены, мы оба, медленно ступая по мягкой траве, подошли к сторожу.

— Дядя, они убили того коммуниста, что в Старой усадьбе вчера поймали?.. Да, дядя? — спросил у сторожа Куница так, словно сторож был его старый, хороший знакомый.

— Почем я знаю? — глухо, настороженно ответил сторож. Он недоверчиво разглядывал нас.

Лицо у сторожа вблизи было совсем не такое уж страшное, каким казалось издали. Он, наверное, давно не стригся, голова у него была заросшая, волосы падали на загоревшие уши.

— А вы чьи будете?

Мы назвались.

Оказывается, сторож знает отца Юзика. Про моего он только слышал.

— Видели? — помолчав, все еще недоверчиво спросил нас сторож.

— Мы в башне сидели! — объяснил я.

— Того самого,— теперь уже более твердо сказал сторож.— Я вначале не понял, зачем они сюда едут. Открыл ворота и спрашиваю: целый день стрелять будете? А тот офицер глянул и смеется, ирод окаянный. И еще одежонку мне его дал. А зачем она мне, только грех на душу взял.— И сторож поглядел на вещи убитого.

Мы разглядывали зеленую, выпачканную известкой рубашку и рваную сорочку.

— Дядько, а вы нас пустите в крепость, мы цветов наломаем и принесем сюда, ему на могилу? — сказал Куница.

Сторож согласился.

— Только вечером приходите,— попросил он,— а то днем они тут упражняются — вон всю стену пулями поколупали...

Мы расстались со сторожем как свои люди.

Старик сам открыл нам ворота.

Мимо подземного хода, через крепостной мост мы пошли в город. Куница отправился в гимназию, где давно уж начался первый урок, а я — домой.

Расставаясь, мы условились, что сегодня вечером Куница зайдет ко мне и мы вместе пойдем рвать цветы для могилы этого убитого в крепости человека.

МАРЕМУХУ ВЫСЕКЛИ

Куница пришел ко мне засветло. Пронзительным свистом он вызвал меня на улицу. Я услышал свист и подбежал к дощатому забору.

— Заходи! — крикнул я Кунице.— Я сейчас, только накормлю крольчиху, а потом давай к Петьке сходим за цветами.

— Его дома нету,— хмуро сказал Куница, проходя со мной к раскрытым дверям крольчатника.

— А ты что — заходил к нему?

— Я и так знаю. Он прямо с уроков со своими голоногими в театр пошел.

— В театр? В самом деле?

— Конечно, в театр. Кончились уроки — их всех выстроили на площади и повели. С музыкой. А впереди Марко Гржибовский! — сердито объяснил Куница.

Войдя в крольчатник, Куница сразу наклонился ко мне и спросил:

— Васька, а зачем ты мне набрехал?

— Что набрехал? Когда?

— Будто не знаешь. Да вчера, когда купаться шли... И сегодня утром — про лишай. Ведь бородатый тебя выгнал, да?

— Откуда выгнал? Кто это выдумал? Никто меня не выгонял.

— Как никто? А приказ для чего вывесили?

— Какой приказ?

— А вот какой — на стенке около учительской висит. Приди почитай сам, если не веришь. Сегодня в большую перемену вывесили. А в приказе написано, что тебя за хулиганство выгнали из гимназии. Сам Прокопович подписал... Сегодня Сашка Бобырь был дежурным, он видел, как твою фамилию из классного журнала зелеными чернилами вымарали... Вот. А ты думал — я не узнаю, да? Набрехал-набрехал: «Меня доктор Бык освободил... Ночью с теткой побежали... Вот лишай, посмотри». А сам не знаешь, что доктор Бык уж вторую неделю арестованный сидит за то, что не дал петлюровцам обыск сделать в своей квартире. Мне сегодня ребята рассказали. А я вчера уши развесил, поверил тебе.

Куница замолчал и только постукивал пальцами по кроличьей клетке. Потом обиженным голосом сказал:

— Сегодня утром Котька стал хвастаться, что тебя прогнали, а я ему говорю: «Ничего не выгнали, он больной, а вот выздоровеет и второй раз тебя в речку кинет». А Котька как засмеется. «Больной,— закричал,— больной! Да он плачет сидит, что из гимназии вытурили». Тут, как назло, и приказ вывесили. Зачем ты мне наврал? Не стыдно тебе?

Мне в самом деле было стыдно. Я глупо сделал, что соврал Юзику про лишай и про директора. Кому-кому, но Кунице я мог бы доверить любую тайну. Это не Петька Маремуха. Тот трус и слова никогда не сдержит. А Куница — парень надежный.

Прошлой осенью я сорвал в училище водосточную трубу: хотел по ней влезть на крышу, а труба была ржавая, взяла да и упала. Куница стоял рядом. Потом долго, добрый месяц, заведующий во всех классах допытывался: «Кто сорвал трубу? Кто сорвал трубу?» И учителя тоже спрашивали, но Куница не выдал меня, и с той поры крепче стала наша дружба. Зря я не рассказал ему все, как было. А вот сейчас надо выпутываться.

— Знаешь, Юзик, я думал, все так обойдется. Попугал меня Прокопович, а потом простит...

— «Обойдется»! Жди! — ухмыльнулся Куница.— Вот если придут красные, тогда и простят тебя, а этот бородатый ни за что не простит. Ты еще не знаешь, какой он вредный. И зачем только нас перевели в эту гимназию? Кому это нужно?

— Кому? Петлюре. Он хочет на свою сторону нас переманить, чтобы, когда мы подрастем, за его директорию воевали. Черта лысого! Не дождется, душегуб проклятый!

В это время крольчиха застучала задними лапками по дну клетки.

— Ой, какой у тебя кролик здоровый! Самка, да? — вдруг изумился Юзик, заметив в глубине клетки красные глаза моей крольчихи.

— Ага, самка, ангорская. Погляди, какая она жирная, полпуда будет... Трус, трус, трус!.. Иди сюда!.. — позвал я крольчиху, протягивая ей желтую морковку. Я был рад, что Куница так быстро перестал сердиться.

Тучная крольчиха выпрыгнула из глубины клетки и ткнулась в мою ладонь горячей мордой. Острыми зубами она схватила морковку и стала быстро грызть ее. На груди у крольчихи от волнения вздымалась белая пушистая шерсть, а на морде шевелились длинные, тонкие усы.

— Васька, а Васька! А какого голубя я сегодня поймал! — похвастался Куница.— Крылышки сиреневые, клювик маленький, как у чижа, лапки в перьях, со шпорами, а на грудке бант завивается. Ты же знаешь, банточные голуби очень породистые. Возьму за него на базаре карбованцев сто, не меньше. Боязно только продавать. А вдруг хозяин отыщется? И ты, гляди, молчи...

— Он сам к тебе сел или ты подманил?

— В том-то и штука, что подманил. Я вернулся из гимназии, набрал в карман кукурузы и полез на крышу. Голуби ведь у меня сейчас не в будке, где весной были,— будку тато секачом порубал,— а на чердаке того сарая, где он собак держит. Ну вот. Вылез я на крышу, отворил решетку, бросил им кукурузы — вдруг гляжу, над Старой усадьбой голубь кружит. И низко. Эх, думаю, попытаю счастья. А дома-то никого нет: тато Забодаеву собак сдает, а мама на базаре. Похватал я голубей да вверх — одного, другого. Аж перья полетели. Свистеть стал. А мой голубь, тот белый трубач, и без свиста — как махнул, как рванул и сразу над колокольней закружился. Ну, банточный к нему и пристал. Я быстренько с крыши на землю, сел в бурьяне под курятником, веревочка в руках, и жду. Полетали они немного и сели рядом — мой и чужой. Мои-то голодные, с утра ничего не ели, ну и поскакали в голубятник, а чужой за ними. Я решетку хлоп — и готово! Банточный с ними сидит и уже около белой самицы вертится. Я и думаю теперь: а что, если ему крылья перекрасить? Из сиреневых в коричневые? Тогда и на базар можно...

— А зачем тебе его продавать? Оставь на развод. Чудак, не знаешь, что сделать? Перевяжи крыло шнурком, и не улетит.

— Я бы перевязал и приручил, да тато может заметить. А он мне строго-настрого наказал больше двух пар не держать. Я и боюсь: увидит пятого и всех продаст.

— А что? Жалко ему?

— А кормить чем? Кукуруза-то сейчас дорогая, и достать ее негде. Селяне на ярмарку теперь не ездят. Боятся, что петлюровцы все у них отберут.

— У вас своей разве нет?

— Да есть, но мало — не уродила. Нам самим на мамалыгу не хватит.

За домом хлопнула калитка. К нам кто-то шел, должно быть к тетке. А она спит. Я оставил Куницу в крольчатнике, а сам побежал навстречу.

У крыльца я наткнулся на Петьку Маремуху.

Он был весь красный, взъерошенный и тяжело дышал. Видно, он бежал сюда и оттого запыхался.

— Ты дома? — радостно сказал Петька.

— Дома,— ответил я неприветливо.— А что, представление разве кончилось?

Мне было завидно, что Петька ходил в театр, смотрел представление.

— А ты... ты откуда знаешь, что я был в театре?

— Подумаешь, секрет! Все знают. И Куница!

— Куница?.. Он что — был в театре?

— Ну, в гимназии видел, как вас выводили. Чего ты пристал? Пойдем в сарай.

Юзик тоже встретил Маремуху неласково. Петька чувствовал себя неловко, он понимал, что мы не особенно расположены к нему. Он потоптался немного на месте, а потом, увидев крольчиху, суетливо, скороговоркой сказал:

— Ой, какой кроль! Где ты такого достал, Васька? Весной у вас другой по двору бегал. Правда? Этот красивее, целый баран, а не кроль!

Но напрасно вытанцовывал Петька перед моей крольчихой. Зря причмокивал он губами от восторга. Я и Куница прекрасно понимали, что Петька просто хотел подмазаться к нам. Все было напрасно. Одно из двух: либо с нами дружить, либо со скаутами голоногими в театр ходить. И мы делали вид, что не замечаем Маремуху.

Помолчав немного, Маремуха снова заговорил:

— Я не доглядел все представление. Еще одно действие осталось...

— Что ж так? Сидел бы уж там до конца. Зачем сюда притащился? — не вытерпел Куница и сурово оборвал Петьку: — Какие мы тебе товарищи? Панычи, скауты — твои товарищи. Котька Григоренко — твой товарищ. Иди к нему в гости.— И Юзик со злостью сунул в нос крольчихе морковную ботву.

— Ну их! Пусть они подавятся... Больше я к ним не пойду...— вздохнул Маремуха и вдруг, покраснев, сразу выпалил: — Они меня выпороли!

Мы насторожились.

Я с недоверием поглядел на взъерошенные волосы Петьки. Взволнованный, в зеленом скаутском костюмчике, он стоял перед нами и виновато заглядывал Юзику в глаза.

Кто бы мог его выпороть, такого подлизу? Не могло этого быть. И я, решив, что Петька врет, прямо сказал:

— Ты брешешь!

— Ей-богу! Пусть меня гром побьет! Слушайте, я вам расскажу все по порядку. Только никому не говорите,— попросил Петька,— ладно? Повели нас в театр. Под барабан. После второго звонка Бобырь ушел в залу, а я гуляю один. Ем яблоки, которые дал мне Сашка. Нехай, думаю, все усядутся, а я, как только свет в зале загасят, возьму и тоже сяду где-нибудь с краешку... Вот хожу по коридору и думаю: да тушите, черти, свет поскорее! А в это время кто-то хлоп меня по плечу. Я сначала думал — Сашка, хотел было ему сдачи дать. Оглянулся, смотрю — нет, это Жорж Гальчевский,— знаете, из седьмого класса бойскаут.

— Какой Жорж? Тот, что с крепостного моста в водопад прыгал? — спросил Юзик.

— Да нет. То Мацист прыгал. Того Жоржа Мацистом зовут. Да ты же должен знать Гальчевского: он худой такой, костлявый, высокий, все с кастетом ходит. Приятель Кулибабы. Его отец — поп, служит в Преображенской церкви за Подзамчем. Ну вот, Гальчевский поймал меня за плечо и говорит: «А ты почему, шкет, тут вертишься?» — «Там душно очень,— говорю.— Пока не началось, я здесь воздухом подышу».— «А билет есть? Покажи-ка билет!» — вдруг потребовал Жорж. Стал я искать билет, ищу, ищу, то в один карман полезу, то за пазуху, то

в другой карман, а сам все думаю: лишь бы свет поскорее потушили, он тогда отвяжется и побежит в залу на свое место. Но не тут-то было. Он стоял, ждал, а потом вдруг как толкнет меня сзади коленкой да как закричит: «Пошел вон отсюда, сопляк! Пока я здесь дежурным, ни один заяц у меня не пройдет!» Я споткнулся, чуть было не полетел, яблоки мои покатились к вешалке, я их догоняю, а Гальчевский еще кричит контролеру: «Не пускайте этого зайца обратно, чтобы духу его больше не было!» Я подобрал яблоки и бегом на галерку. Там у меня взяли билет и пропустили, слова не сказали. Вбегаю — уже темно. Нащупал свободное место на боковой скамейке у самого барьера, сел и грызу яблоко. Съел одно, взял другое, только надкусил, вижу, занавес подымается. Ну, думаю, доем потом. Только было хотел положить яблоко на барьер, а оно сорвалось да как полетит вниз... Ох, я и напугался! Уронил и даже глянуть вниз боюсь — страшно. Слышу только, выругался кто-то в партере и стулом заскрипел.

Потом тихо стало. А представление идет интересное такое, с запорожцами, с танцами и с музыкой. «Про шо тырса шелестила» — так называется. Я засмотрелся и позабыл про яблоко.

Кончилось первое действие, зажгли свет, я сижу, не встаю, чтобы место не заняли, а сам высматриваю, где знакомые хлопцы сидят. Вдруг кто-то опять — цап меня за плечо. Обернулся я, гляжу — снова Жорж Гальчевский. «Ты яблоко на голову офицеру бросил?» — спрашивает. «Какому офицеру?» — «А вот погляди!» И схватил меня за шиворот да перегнул головой через барьер так, что я чуть было не упал вниз. А оттуда, снизу, из партера, ихний офицер рукой Жоржу машет и мне грозится. Тогда Гальчевский как закричит: «Пойдем к кошевому!» — и повел меня за кулисы. Там артисты бегают, пыльно, досок много навалено, темно, я чуть-чуть не упал — зацепился за какую-то веревку, а Гальчевский все меня толкает вперед. Хотел было я удрать — не вышло. Привел меня Жорж к самому Гржибовскому, а тот сегодня на сцене запорожца играл, весь вымазанный такой, и брови и нос — все в краске. Нос у него большой — нашлепку наклеил. Гальчевский козырнул ему и все про то яблоко рассказал, а меня он даже и не спросил, нарочно я или нечаянно. Тогда Марко Гржибовский сказал Гальчевскому: «Врезать ему пять шомполов» — и на меня головой кивнул. А Гальчевский мне сразу ка-ак даст! Ногой!

— И шомполами били? — все еще не веря Петьке, спросил я.

— А чем же еще? Конечно, шомполами!

— Где? Там же, за кулисами? — поинтересовался Куница.

— Ну вот еще... за кулисами... Просто вывели туда, за театр, где помойная яма, сняли рубашку и пять раз ударили. Вот погляди, еще знаки есть! — И Маремуха, задрав рубашку, показал нам свою спину. На его гладкой спине краснело пять неровных вздувшихся полос. Они легли почти рядышком, одна возле другой.

Куница решил проверить, не врет ли Маремуха, не нарисовал ли он эти полосы, чтобы разжалобить нас. Он послюнил палец и провел им по багровой полосе. Маремуха съежился и отскочил.

— А кто бил? — спросил я.

— Кто? Известно — Гальчевский. Марко ему приказал. Гальчевский бил, а Кулибаба и еще два скаута, я их совсем не знаю, держали. Один за руки, другой за голову. Потом я вырвался и побежал сюда, к вам... Ничего, он меня будет помнить... Я ему морду побью... Я не испугался его кастета...

— Кому морду побьешь? — спросил Куница.

— Гальчевскому... и кошевому... Марку... всем, всем побью... Ночью подслежу и буду бить...

— Да Гальчевский же тебя выпорет, как щенка. Нашелся тоже вояка! А у кошевого револьвер есть, он в тебя из револьвера пальнет. А потом, они ж твои начальники, зачем же их бить? — подтрунивая над Маремухой, сказал Куница.

— Я их не слушаюсь больше. Кто им дал право меня пороть? Я разве виноват, что яблоко само упало? Больше я к ним не пойду. Будь они прокляты со своей самостийной вместе... Поскорее бы красные возвращались...

— Ишь как запел,— отрезал Куница.— А сколько раз мы тебе говорили: подкупают петлюровцы таких, как ты, растяп своими цацками, формой да маисовой кашей. Американцы да англичане все это присылают нарочно — крупу да

сахар, чтобы Петлюра здесь для них шпионов готовил, и молодых хлопцев подкупал. А такие, как ты да Бобырь, словно та мышь на приманку, полезли к ним...

— Я теперь и сам понял, какие они подлецы,— огорченно протянул Маремуха.

— Понял, когда тебе ижицу шомполом прописали,— едко сказал Куница.— Мало тебе еще дали! И за компанию Бобыря жаль, что не выпороли.

Ох и вредный же Юзик, когда разозлится!

— Да оставь ты его, Юзик! — заступился я за Маремуху и сказал: — Эх, был бы ты, Петька, надежным парнем, кто знает, может, мы и приняли бы тебя в нашу компанию, дружить стали. А то не верю я тебе. Такому, как ты, даже ничего сказать нельзя. Сегодня ты с нами, а завтра к Котьке побежишь.

— Пусть меня гром убьет — не побегу! Я сердит на него, ничего вы не знаете!

Маремуха от волнения просунул в клетку пальцы. Крольчиха сразу подскочила и стала обнюхивать их.

— А шапка рыжая у тебя чья? Не Котькина разве? — строго напомнил Куница.

— Ну, это когда было...— вконец смутился Маремуха.— Мы первый год тогда жили в Старой усадьбе, моя мама понесла Котькиному отцу деньги за аренду, а Котькина мама подарила ей ту шапку. У меня ведь зимней не было. Я виноват?

— Твоя мама, Котькина мама... А вот ты Котькин подхалим — это мы все знаем. А ну поклянись, что больше не будешь с ним дружить, поклянись, что не пойдешь к скаутам, а мы тогда посмотрим, взять или не взять тебя в нашу компанию,— милостиво потребовал Куница.

— Возьмете? Да? — заерзал около клетки Маремуха. И вдруг неожиданно для нас обоих он сорвал с плеча пучок разноцветных ленточек и злобно швырнул его на землю. Ногтями он содрал с рукава скаутской гимнастерки желто-голубую нашивку и тоже бросил ее под ноги.

Он немного подумал, поглядел на землю и затем, как козел, сразу прыгнул обеими ногами на эти скаутские украшения и стал топтать их так, словно под ним были не ленты и нашивки, а настоящий, живой тарантул. Маремуха подпрыгивал, сопел от волнения и, устав, сказал торжественно:

— Вот!..

Мы молчали.

Чтобы окончательно доказать нам, что ему не жаль расставаться со своими голоногими скаутами, Петька топнул ногой еще раз и вдруг размашисто перекрестил свой живот:

— Вот крест святой, не буду дружить с Григоренко! Нужен он мне, подумаешь!

— А если ты с ним и в самом деле дружить не будешь,— сказал я, растроганный клятвой Петьки и тем, что он растоптал скаутские цацки,— то мы возьмем тебя в Нагоряны. У меня там дядька, а у дядьки отец гостит. Мы сами, без скаутов, пойдем туда. Рыбу половим — там рыбы ой как много. И я вам Лисьи пещеры покажу. Хочешь?

— Ну конечно, хочу! — пуще прежнего засуетился Петька.— А я сетку возьму и удочку ту, длинную, с бамбуковым удилищем. Сеткой за один раз можно много рыбы наловить! А червяков, может, накопаем здесь? У нас на Старой усадьбе под камнями их много, жирные, длинные,— бери сколько хочешь.

— Только помни, Петька, если сболтнешь тетке, что меня выгнали из гимназии,— несдобровать тебе, смотри! Сброшу со скалы! И Куница поможет!

— Я сам тебя сброшу, задавака! — ответил, повеселев, Петька и уселся на клетку.

И тут я сразу простил ему все — и то, что он ластился к Григоренко, и то, что был скаутом. «Он вовсе не такой уж плохой парень, Петька»,— подумал я и сказал:

— Слушай, Петро, мы сейчас собираемся в одно место.— И я рассказал обо всем Петьке.

— Зеленая рубашка? Худой такой? Рваные штаны? Да что ты говоришь! Его расстреляли? Не может быть! — сказав это, Петька мигом спрыгнул с клетки на землю.

Клетка зашаталась и чуть не упала. Петька был бледный и смотрел на нас широко открытыми, испуганными глазами.

— Нет, в самом деле? — спросил он.

— Убили, зарыли и следа не оставили! Тяжелобольного человека, который сопротивляться не мог. Еле-еле стоял. Вот что петлюровцы делают! Их всех надо покидать в водопад с крепостного моста, а Петлюру первым, и мотузок с камнем на шею привязать, чтоб не выплыл! — глухо сказал Куница.

— Постой, а ты откуда знаешь, что он в зеленой рубашке? Ты что — его видел? — спросил я у Петьки.

— Да он... я... я видел, как его вели... мимо нас...— пробормотал Петька.

— Значит, тот самый! — задумчиво сказал Куница.— Его у нас, в Старой усадьбе, поймали. Над скалой. Вчера вечером. И Сашка Бобырь тоже видел.

— Мы хотим сейчас могилу убрать. Пойдем с нами, Петька. А у тебя жасмина наломаем,— предложил я.

— Я пойду... А не поздно только? Может, завтра утречком?

— Утречком нельзя. Надо сейчас. Пошли! — твердо приказал Юзик и вышел первым из крольчатника.

КЛЯТВА

— Вы подождите здесь: я погляжу, кто дома,— сказал нам Маремуха, когда мы подошли к Старой усадьбе.

Мы уселись с Куницей на полусгнившее бревно.

Старая усадьба, в которой жила семья Маремухи, раскинулась у скалистого обрыва. Внизу текла речка. На другом ее берегу, тоже над обрывом, подымалась Старая крепость. Отсюда можно было хорошо разглядеть все крепостные башни и высокий мост. Раньше, много лет назад, этой Старой усадьбой владел помещик Мясковский.

Жил он бобылем с одним только старым лакеем. Незадолго перед смертью Мясковского дом, в котором он жил, сгорел, а после его смерти Старая усадьба перешла в наследство к двоюродному брату Мясковского — доктору Григоренко.

Видно, не очень она ему пригодилась. У Григоренко на Житомирской был собственный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. В Старую усадьбу он не переселился. Доктор только сдал в аренду Петькиному отцу — сапожнику Маремухе — единственный уцелевший от пожара флигель. Маремуха должен был оберегать от потравы фруктовые деревья и ежегодно косить для Григоренко сено. Этим сеном доктор Григоренко кормит свою серую в яблоках лошадь.

— Идите сюда! — выскочив из флигеля, закричал Петька.— Батьки нет дома, он пошел в лавочку за дратвой.

Мы сразу почувствовали себя свободнее здесь и смело пошли за Петькой к растущим над скалой кустам жасмина.

— Ломайте побыстрее, а я тут покараулю! — сказал Маремуха, вскочив на высокий пенек.

Жасмин в Старой усадьбе растет замечательный.

Мы с Куницей тянем к себе упругие ветки и с хрустом обламываем их. Обломанные ветви отскакивают назад с шумом, задевая соседние кусты. Мы ломаем жасмин торопливо и безжалостно — будет беда, если отец Петьки застукает нас.

Но вот букеты наломаны. Мой букет тяжелый, он слегка влажен от первой вечерней росы. Чем бы его перевязать, чтобы не рассыпался? Ну да ладно, перевяжем, вот только выйдем из Старой усадьбы.

С букетами в руках мы бредем по улице Понятовского.

Смеркается. Первые летучие мыши неслышно скользят у нас над головами.

— Подожди-ка, поглядим, что там,— остановил нас Куница у высшеначального училища.

На дощатом заборе нашего бывшего училища налеплен свежий, еще не просохший петлюровский плакат.

— Когда же его здесь повесили? Я бежал — еще не было,— тихо сказал Маремуха.

Куница быстро оглянулся и, зацепив ногтями плохо приклеенный верхний уголок плаката, потянул его к себе.

— Раз! Два!

И не успели мы сообразить, в чем дело, серединки плаката как не бывало. Куница смял этот липкий, мокрый от клейстера кусок бумаги, швырнул его под забор и спокойно скомандовал:

— Пошли, хлопцы!..

Мы пошли, и я позавидовал смелости Куницы. Почему я сам не догадался сорвать плакат? «Трус! — ругал я себя.— Такой же трус, как и Петька. Ведь никого не было вокруг!»

Улица Понятовского круто повернула влево, и мы вышли на каменный крепостной мост. Доски на мосту были теплые и шершавые. Они скрипели у нас под босыми ногами. А внизу шумела вода. Она прорывалась у самого подножия моста сквозь пробитый тоннель и слетала на скалы ослепительно белым, день и ночь шумящим водопадом.

Находились в городе смельчаки: взберутся на перила моста и оттуда, сверху, «солдатиком» прыгают в кипящую под скалами воду.

Эх, и боязно, наверное, падать так, затаив дыхание слушать, как колотится сердце, и уже на полдороге встретиться с взлетающими вверх брызгами холодной воды!

Рассказывали, что давным-давно, перед тем как покинуть крепость, турки спрятали в железный сундук все свои богатства и потопили его в реке, под этим бурлящим водопадом. Уж много лет лежит сундук на дне, и никто не может поднять его, потому что самому лучшему пловцу не достать до дна — такая страшная глубина в этом месте.

Прошли мост. Вот и крепость. Отвесные, крутые ее стены вечером кажутся еще мрачнее, таинственнее. Недаром Петька Маремуха все чаще стал озираться по сторонам.

— Я один пойду к сторожу, а то он увидит нас втроем и перепугается. Подождите здесь! — приказал Куница.

Ждем его внизу, около подземного хода. Слышно, как стукнула дверь сторожки. Через несколько минут Куница подзывает нас к воротам крепости. Они высокие, окованные железом, настоящие крепостные ворота.

Старый хромоногий сторож сдержал свое слово. Он со звоном отомкнул висячий замок и, сняв его с засова, открыл нам калитку. Мы с Петькой вслед за Юзиком перешагнули порог.

Маремуха задел букетом засов, и ветка жасмина упала мне под ноги.

Тихо, крадучись, мы шли по мягкому подорожнику в глубь крепостного двора. Позади, как взводимый револьвер, щелкнул тяжелый замок. Это сторож, чтобы не было подозрения, снова закрыл на засов ворота.

Мы прошли мимо высоких черешен, низеньких, с подбеленными стволами яблонь, густых, ветвистых шелковиц.

— Здесь! — сказал Куница, показывая Маремухе на чуть заметный взрыхленный бугорок под самым бастионом.— Он стоял здесь, над ямой, а они — напротив и целились... А потом, когда он упал, подошел сюда доктор Григоренко и глаза ему потрогал. Мы вон из той башни все видели...

Маремуха молча глядел на могилу. Я развязал свой букет, и свежие, пахучие веточки одна за другой посыпались на перекопанную землю.

— Погоди! — отстранил мою руку Куница и неожиданно вынул из кармана смятый красный платок.— Я китайку принес. Такой китайкой запорожцы застилали могилы своих побратимов,— сказал он и, подобрав ветки рассыпанного жасмина, покрыл свежую могилу алой материей. Она была точно такого цвета, как знамя, которое днем и ночью развевалось над ратушей, когда провозгласили у нас Советскую власть.

Куница хорошо придумал.

— Петрусь! — тихо шепнул Куница Маремухе.— Иди к Черной башне, принеси оттуда гладкую плиту. Быстро!

Но Петька покосился на темные башни и затоптался на месте. Видно, ему страшновато было идти туда, к Черной башне, через весь пустынный двор крепости.

— Я не донесу... У меня рука болит... Пусть Василь со мной пойдет,— забормотал Маремуха.

— Эх, ты...— со злостью ответил Куница.— Ну, тогда бегите вдвоем, а я здесь останусь.

Не проронив ни слова, мы подкрались к высокой башне. Острая, окруженная зубчатым венчиком, ее крыша ясно выделялась в предвечернем сумраке на синеватом небе. Я подумал: «А не закрыл ли нас в крепости сторож нарочно, чтобы выдать петлюровцам?» И мне стало жутко от одной этой мысли. Показалось, что крепостные стены зашевелились и придвигаются к нам все ближе и ближе. Вот-вот они окружат нас совсем.

— Эта? — дрожащим голосом спросил Петька, увидев под стеной башни прислоненную белую плиту.

— Она!..

Тяжелая!.. С трудом передвигая ноги, мы принесли плиту Кунице.

— Подвиньте на середину... — сказал он.— Да нет же, не опускайте совсем... Вот так, на весу держите.— И, подсунув под плиту руки, Куница расправил красный платок.— Надо все закрыть. Петька, подыми свой край чуть-чуть. Ладно, вот так хорошо... Опускайте!

Мы осторожно опустили каменную плиту на могильный бугорок. Я почувствовал, как она плотно прижала покрытую красной материей мягкую землю.

— Теперь давайте цветы,— прошептал Куница.

Развязав букеты, мы засыпали ветками могильную плиту. Могила стала еще выше.

Темнело. Желтый серп месяца висел над островерхой Черной башней.

Далеко, за Калиновским лесом,— должно быть, в Приворотье — протяжно пели унылую украинскую песню.

Крепость подымалась над городом, молчаливая, настороженная. Грохот тряской телеги, далекая печальная песня, тревожный лай собак на Заречье, быстрый стук копыт бегущего по Калиновской дороге коня — все было слышно здесь особенно громко. Глубокие окна крепостных башен и низкие бастионные входы усиливали эти звуки. Казалось, вся крепость дрожит, встревоженная ими. А там, за крепостным мостом, притаился засыпающий город и тоже вздрагивал от каждого звука: и от ржания запоздалой лошади, и от далекого выстрела, неожиданно врывающегося в эту вечернюю тишину.

В городе, наверно, уже давно зажгли огни. Но мы не видели их отсюда. Даже высшеначальное училище, которое стояло почти рядом, за мостом, было скрыто от нас высокой крепостной стеной. Прозрачное звездное небо раскинулось высоко над нами. Я видел нахмуренные лица Петьки и Куницы, озаренные светом молодого месяца.

Вдруг Юзик выпрямился, поднял голову и, повернувшись к могиле, сказал:

— А теперь, хлопцы, поклянемся, что будем стоять друг за друга, как брат за брата, и отомстим проклятым петлюровцам за этого человека! Давайте руки!

Молча мы протянули над могилой руки. Я цепко схватил чуть вспотевшую и вздрагивающую ладошку Маремухи, а Куница положил свою холодную ладонь поверх наших. Мы окружили могилу, как в хороводе, и большая тень от наших сомкнутых рук упала на траву бастиона далеко за могильной плитой.

— И в трудный час будем заступаться друг за друга! И будем помогать тем, кто борется за Советскую власть! Правда? Поклянитесь! — строго приказал Куница.

— Клянемся! — дрожащей скороговоркой почти выкрикнули мы, и тотчас же быстрое эхо испуганно повторило вслед за нами торжественные слова клятвы, которую наспех придумал Куница.

Я успокоился только на обратном пути, когда мы подошли к середине крепостного моста. Крепость осталась позади. Здесь, на воле, вдали от ее башен, было совсем не страшно. Даже Петька Маремуха повеселел и на ходу постукивал кулаком по перилам крепостного моста. Но вот где-то за улицей Понятовского загудел автомобиль. Вслед за ним — другой. Далекий гул донесся сюда, заглушив шум водопада под крепостным мостом.

— Тише, хлопцы! — остановил нас Куница.

Мы прислушались. Автомобили гудели на горе за Старым бульваром.

— А то не в губернаторском саду, Юзик? — тихо спросил у Куницы Петька.

— Наверно, в губернаторском,— сказал Куница, и в эту же минуту в автомобильный гул ворвались какие-то посторонние, резкие звуки. Словно там, наверху, сразу разломали пополам несколько досок.

— Стреляют! — прошептал Куница.— То они нарочно автомобили завели, чтобы не слышно было. Автомобили гудят под стенкой, на дворе, а они в подвале людей мордуют.

Куница говорил правду. Я тоже слышал немало об этих расстрелах. Ночью, чтобы заглушить выстрелы, петлюровцы заводят автомобили, днем они расстреливают людей под оркестр. Почти каждый будний день на сосновых скамейках под высокой стеной губернаторского сада рассаживаются с большими сияющими трубами петлюровские музыканты. Они приносят с собой из казармы легкие деревянные пюпитры и раскладывают на них нотные тетради. Под командой низенького капельмейстера музыканты без устали играют то быстрые польки, то громкие марши, то веселые краковяки.

А в это время за спиной у музыкантов, в низких подвалах желтого, с колоннами дома, в котором до революции жил губернатор, петлюровцы-черножупанники в присутствии начальника петлюровской контрразведки Чеботарева расстреливают арестованных большевиков.

— Сколько они людей замордовали!..— тихо сказал Куница, прислушиваясь к далекому автомобильному шуму.

Я молча прикоснулся к перилам крепостного моста. Они были влажны от росы. Автомобили продолжали гудеть. Страшно было подумать, что всего в нескольких кварталах от нас, за каменной стеной губернаторского сада, один за другим падают на холодный пол застреленные черножупанниками люди.

А около остывающих трупов, весь в сером, в желтых лакированных крагах, стоит комендант черножупанников Драган. Кто знает, может, там и доктор Григоренко? И, может, Драган, как Марко Гржибовский, угощает усатого доктора душистыми заграничными папиросами, а тот, покурив, снова медленно ощупывает глаза и грудь у стынущих людей и, проверив, убиты ли они, вытирает чистым платочком свои розовые морщинистые пальцы...

Я невольно вспомнил своего отца, который прятался сейчас от петлюровцев там, в Нагорянах, у дядьки Авксентия.

Отец, коренастый, молчаливый, в синей сатиновой рубахе с расстегнутым воротом, возник в памяти. Я видел его так ясно, будто он стоял рядом со мной, с Куницей и Маремухой на мосту. Мне чудилось, что я трогаю его шершавую руку, что я заглядываю в его строгие глаза.

Как бы и его не поймали петлюровцы за то, что он не захотел печатать их петлюровские деньги. Ведь они и его могут расстрелять в губернаторском подвале, стоит только Марко Гржибовскому вспомнить, как мой отец выбросил его из мастерской Маремухи. От одной этой мысли я задрожал. Я очень любил своего отца, и мне еще сильнее захотелось повидать его, быть с ним вместе.

За крепостью задребезжала подвода. Едут сюда. Надо уходить. Но мне не хотелось в этот вечер так рано возвращаться к себе, на Заречье...

Пойти разве к губернаторскому дому? Но как проберешься туда, если Губернаторская площадь оцеплена? Патрули, наверное, стоят около доминиканского костела и никого не пускают на площадь.

А что, если махнуть сейчас прямо отсюда на Житомирскую, к Котькиному дому, да расквитаться с Котькой за то, что меня выгнали из гимназии? Он хвастает этим, подлиза, докторский сынок. Куница ведь врать не станет. Сейчас мне никакой Прокопович не страшен, пойду отлуплю Котьку, а хлопцы мне помогут; пусть жалуется кому хочет. И я предложил ребятам:

— Давайте, хлопцы, сейчас на Житомирскую, к Котьке. Отомстим Григоренкам за все! Шкоду сделаем...

— Какую шкоду? — деловито спросил Куница, подтягивая штаны.

— А там посмотрим. Может, Котька около дома, затащим его в кусты и надаем ему...

— Брось... И не думай даже...— засуетился Маремуха.— Он только крикнет, и мы пропали. Ты забыл разве, что у них на квартире живут два петлюровских офицера?

— Ну, ты известный боягуз, Петька! — сказал я Маремухе.— Ну, где ты видел, чтобы офицеры сейчас дома сидели? Да они с доктором, наверное, в губернаторских подвалах, а ты боишься. Давай пойдем, а, Юзик?

Куница стоял раздумывая.

— Так теперь поздно, Васька, домой уже надо,— опять заколебался Маремуха.

— А ты хочешь утром? Когда все видно? Тоже чудак! Пошли,— упрямо мотнув головой, решил Куница.— Ты что, даром клялся? Не бойся, никто нас не поймает.— И он взял Маремуху под руку.

— Хлопцы... Васька... Юзик, постой, да не тяни меня!..— запрыгал, отбиваясь, Маремуха.— Вы ж ничего не знаете... На моего папу и так подозрение есть... Он побитый лежит... Я вам все расскажу... Я боялся говорить, а теперь скажу...

Куница отпустил Маремуху, а Петька с жаром выпалил:

— Тот человек, которого сегодня убили, у нас все время прятался!..

— Ты врешь! — перебил я Петьку.— Ты его и не знаешь.

— Я не знаю? Вот крест святой! — И Петька перекрестился.— Я знаю. Он восстание хотел поднять против Петлюры. Народ собирал для этого. Но тяжело заболел. Его к нам ночью привез Омелюстый. Он просил спрятать его, пока не выздоровеет. Оставил хлеба, денег, сахару кулек. Тато согласился. Мы его положили на печку. Мама печку занавеской закрыла, он там и лежал больной. У него лихорадка, наверное, была. Ух, страшенная. Через день его мучила. К вечеру он отходил, слезал с печки, чай с нами пил, а днем так его трясло — я думал, умирает. Мама не поспевала белье стирать. Выстирает ему рубашку, высушит, только он наденет — заколотит, затрясет его, враз рубашка мокрая от пота. Пил мало, а потел ой как здорово! Полез я как-то раз к нему за рубашкой, а он — цап револьвер из-под подушки и в меня нацелился. Не помню даже, как я слетел оттуда. Прямо на пол. Чего ты смотришь так, Васька, ей-богу!

Вот из-за этого револьвера его и взяли. Позавчера приехал к нам доктор Григоренко. Ходил по усадьбе, траву смотрел, выругал маму за то, что все черешни пооборваны на тех деревьях, что за флигелем, а потом зашел в комнату воды напиться. А больной лежал па печке. Не знаю, кашлянул он или ногой шевельнул, а может, застонал, вдруг Григоренко поднялся из-за стола, взял свою палку, отдернул занавеску — и к папе: «Кто здесь?» А больной поднялся, стал на колени, худой такой, зеленый, рубашка мокрая, и в доктора из нагана целит. Целит и шепчет что-то.

Григоренко сразу задернул занавеску и задом, задом вышел из комнаты, прыгнул в бричку и уехал. Папе даже слова не сказал. И шляпа его соломенная на столе осталась.

Доктор уехал, а папа сразу отнял у больного наган и стал одевать его. Как маленького. Штаны натягивает, а тот хоть бы ногой шевельнул, так ему плохо было. Бредил. Папа одел его, дал воды и с мамой разговаривает: куда бы его отвести? Пока они говорили, вбежали в хату к нам три петлюровца, враз связали этого больного человека — и к папе: «Кого ховаешь? Москаля ховаешь, пес поганый!» И давай нагайкой хлестать. Ой как били! То по ногам, то по груди. Тато схватил стул, чтобы защищаться, тогда его один петлюровец по руке нагайкой как ударил, аж кровь выступила. Отняли стул и — наганом, наганом! У папы вся щека сейчас синяя-синяя, на спине синяки и рука распухла. Он лежит на кровати и ни с кем не разговаривает. А мама плачет и говорит: хорошо, что еще в тюрьму папу не забрали.

Мама боится, чтобы Григоренко не выгнал нас из Старой усадьбы. Где мы жить тогда будем? А ты меня на Житомирскую зовешь... А вдруг меня поймают? Пропали мы тогда совсем.— И Маремуха жалобно зашмыгал носом.

— Пойдем, Петька! Пойдем! — со злостью зашептал Куница.— Пойдем, отплатим этому гаду усатому и Котьке за все. Давай пошли!

— Хорошо...— вдруг решился Петька.— Хорошо...

И он затянул пояс.

ПОДЖИГАТЕЛИ

Усатый доктор Григоренко живет в нагорной части города, как раз посредине Житомирской улицы. Это самая лучшая улица. Она сплошь усажена по обочинам высокими тополями, кленами и желтой акацией.

Дом у Григоренко большой, двухэтажный, с башенками, похожий на маленький замок. Он стоит среди деревьев, в глубине двора, обнесенного с улицы прочной стальной оградой на гранитном фундаменте. Она очень высокая и склепана из стальных заостренных полос, похожих на широкие мечи. С улицы через просветы в ограде, обвитой плющом, можно увидеть, что делается во дворе Григоренко.

Многим из нас — и мне, и Кунице, и Сашке Бобырю — очень нравится стучать на бегу по этой ограде палкой. Каждому из нас, кто попадет на Житомирскую, трудно бывает удержаться, чтобы не подразнить усатого доктора.

Ох и здорово звенят эти мечи, если по ним провести палкой! Вся ограда дрожит, поет, а палка знай себе звонко отщелкивает все новые и новые удары. Повернешь с разбегу в переулок, и уж слышно, хлопнула позади дверь. Это выбежал на крыльцо рассерженный усатый доктор.

Только ему нас не догнать. Куда там!

А еще лучше — нажать беленькую кнопку электрического звонка, которая прикреплена на каменном столбике у ворот. Над звонком прибита блестящая медная дощечка:

Доктор медицины ИВАН ТАРАСОВИЧ ГРИГОРЕНКО Прием от 8 до 10 вечера

Мы знали, что доктор любит сам выходить навстречу своим пациентам, и частенько вечерами подбирались к его калитке. Нажмем пуговку, а сами спрячемся за кусты напротив. Сядем на корточки и сидим затаив дыхание. Открывается в докторском доме дверь, и медленно, попыхивая трубкой, выходит во двор сам хозяин.

Подойдет к железной калитке, а на тротуаре-то никого и нет,— ну, он и давай ругаться:

— От голодранцы! Ну, если схвачу кого, штаны сдеру!

А мы сидим тихонько под кустами, слышим его бас и радуемся.

Двор перед докторским домом всегда чисто выметен и посыпан желтеньким песочком. Днем по двору, подбирая зерна, ходят пестрые жирные цесарки и серые породистые куры — плимутроки.

Иногда на низеньком деревянном штакетнике, который отделяет григоренковский двор от его сада, прислуга выколачивает тяжелые персидские ковры. Пыль столбом подымается тогда над заборчиком и летит в сад, а испуганные куры бегают по двору и кудахчут. Но это летом. А вот ближе к зиме, когда подступают холода и приходит пора надевать зимнюю одежду, горничная доктора выволакивает из сундуков все теплые вещи.

Тяжелые касторовые пальто усатого доктора с высокими меховыми воротниками, бархатные и каракулевые манто его жены, сухопарой и злой пани Григоренко, маленькие суконные, подбитые ватой и отороченные белым барашком пальтишки Котьки и его серые форменные шинели — все это развешивается в такие дни на деревянном заборчике. А шинелей у Котьки три — одна старая, осталась еще со второго класса, и две совсем новые, шитые у портного Якова Гузарчика.

Повесит прислуга всю зимнюю одежду на заборчик и рядом пса на цепь сажает. А пес-то, пудель — кудрявый, уши висячие,— дурной такой: мы стоим, бывало, около забора, в щелки заглядываем, а он хоть бы тявкнул.

И все пальто, шубы, шинели, будто снегом, посыпаны нафталином. Запах от этого нафталина на всю Житомирскую. Идешь по аллее Нового бульвара и, если почуял запах нафталина, так и знай: у доктора в усадьбе зиму встречают.

Я ни разу не был в доме Григоренко, но Петька Маремуха рассказывал, что, кроме мраморной лестницы на второй этаж, есть еще и вторая, витая железная лестница, по ней можно забраться в маленькую комнатку, которая устроена в куполе самой высокой угловой башенки. В этой комнатке узкие, как в крепости, окна, и летом в ней бывает очень жарко. Недаром никто там не живет, только сушит в ней Григоренко груши и яблоки из своего сада и грибы. А сад в докторской усадьбе не маленький. Начинается он сразу же за низеньким деревянным штакетником и тянется вниз, к Новому бульвару. С проулка он тоже огорожен дощатым забором.

В саду между деревьями разбиты клумбы, на них цветут резеда, анютины глазки, желтые ноготки и душистый табак. А над клумбами на тонких круглых палках насажены стеклянные разноцветные шары. Что ни клумба, то другой шар. И каких только шаров нет! Темно-зеленые, красные, синие, оранжевые, голубые, ярко-желтые. Все они блестят, переливаются, и, когда в ясный день луч солнца, пробившись сквозь густую листву сада, упадет на такой шар, он так и запылает, заискрится, а в шарах потемнее, как в зеркале, станут видны деревья, соседние клумбы и открытая веранда докторского дома.

Недавно, когда я с конопатым Сашкой Бобырем заходил к Лазареву, Сашка бросил через григоренковский забор камень и угодил в самый близкий светло-синий шар. Шар лопнул, точно электрическая лампочка.

Григоренко вместе с горничной гнался за нами до самого бульвара и остановился только перед канавой, через которую ему трудно было прыгнуть.

Ох и кричал же он тогда! Мы были уже у самой скалы, а все еще слышали его крики:

— Босота! Рвань голодная! Воры!

Мы подошли к докторскому саду со стороны Нового бульвара. Сквозь щели забора пробивался свет.

Мы подкрались к забору. Я первый прижался к щели между двумя досками и увидел освещенную веранду.

У доктора гости. И какие!

Около низенького каменного барьерчика на веранде стоял ломберный столик для карточной игры.

За столиком друг против друга расселись доктор, его жена, худая пани Григоренко, в темном блестящем платье, наш бородатый директор Прокопович — и кто, думали бы вы, четвертый? Рыжеволосый поп Кияница! Кого-кого, но Кияницу я никак не думал увидеть у Григоренко.

Возле застекленной двери, ведущей с веранды в дом, на высокой тумбочке горела тяжелая лампа под розовым абажуром.

Доктор с гостями играл в карты. Возле каждого — мелок: они записывали мелком, кто у кого сколько денег выиграл.

Поп Кияница сидел глубоко в кресле, протянув под столом свои длинные, обутые в скрипучие чеботы ноги. Он даже рясу расстегнул от волнения — видно, очень старался обыграть усатого доктора.

Прокопович сгреб со стола колоду карт. Записав что-то мелком на сукне, он перетасовал карты и ловко разбросал их одну за другой доктору, его жене и попу. Доктор Григоренко сложил свои карты веером. Я увидел, как сверкнуло на его толстом пальце обручальное кольцо. Он почесал картами нос, подмигнул сидящему сбоку попу и гулко, на всю веранду, пробасил:

— Пики!

А где же Котька? Ага, вот он где!

Через приоткрытую дверь я увидел, как он шнырял по гостиной в своей гимназической курточке. Мне была хорошо видна обтянутая красным плюшем мебель докторской гостиной: низенькие мягкие кресла, кушетка, маленький столик на бамбуковых ножках.

Котька взял с этажерки какую-то толстую книгу и сел на кушетку.

Прошла через гостиную горничная, неся перед собой тяжелый дымящийся самовар. Она понесла его в столовую. Скоро, наверное, туда же уйдет чаевничать доктор со своими гостями.

— Отойдем! — прошептал Куница и потянул меня за полу рубашки. Мы перешли на другую сторону проулка. Отсюда тоже можно было разглядеть, что делается на докторской веранде.

Вон, согнувшись над картами, сидит доктор, а наискосок от него трясет своей бородой Прокопович. Он опять что-то записывает мелком на сукне. Видно, снова выиграл. Какой он сейчас тихий, ласковый, а вчера орал на меня, ничего слушать не хотел. Ясно, он будет заступаться за Котьку, раз обыгрывает его отца.

Я следил за всей этой компанией и еще больше ненавидел Котькиного отца и его приятелей.

Ведь этими толстыми, мясистыми руками еще сегодня утром доктор Григоренко там, в крепости, трогал стынущие веки застреленного человека, которого он сам же выдал петлюровцам. Как он мог теперь шутить, спокойно смеяться, играть в карты?

Юзик Стародомский тоже, не отрываясь, глядел на веранду.

— Подождите меня тут,— вдруг, повернувшись к нам лицом, сказал он и, мигом перепрыгнув через глиняный лазаревский заборчик, исчез в темноте. Скоро Куница явился, держа в руках четыре квадратные черепицы. Я знаю, откуда их он выдрал: такими красными черепицами огорожены лазаревские клумбы.

— Бубны! — донеслось с веранды.

— Вот постойте, мы дадим вам сейчас бубны!

Одну черепицу Юзик протянул Маремухе, другую — мне.

Мы вышли на середину проулка: отсюда сподручнее бросать! Я видел покатую крышу и головы сидящих за ломберным столиком. Кто-то засмеялся. Должно быть, поп. Скрипнул стул. Зазвенела посудой горничная.

Я слышал стук своего сердца. Ноги у меня стали легкие-легкие.

— Бросаем? — заглянул мне в глаза Куница.

Отступать некуда. Кивнув головой, я размахнулся.

Куница бросил раньше меня. Рядом, совсем над ухом, засвистела его плитка.

Он послал вдогонку вторую — слышно было, как, пробивая листву старой яблони, все они с треском и звоном упали на веранду. Я видел — покачнулась и ярко вспыхнула лампа. Отсвет пламени длинной полосой пробежал по саду, точно погнался за кем-то. Должно быть, мы разбили стекло.

Женский крик: «Пожар! Горим!» — провожает нас. А мы не чувствуем под ногами ни круглых булыжников, ни проросшего в них влажного подорожника, задыхаясь и толкая друг друга, мчимся к заветной канаве.

Перепуганный Петька Маремуха подбежал к нам уже на бульваре.

По аллее бежать опасно: можно наткнуться на петлюровский патруль.

Мы свернули влево и осторожно, вытянув, как слепые, руки, ощупывая каждое встречное дерево, стали пробираться к скале.

И только под самой скалой, возле белой тропинки, которая, извиваясь вдоль обрыва, ведет к центру города, Куница остановил нас. Мы упали на траву.

Вокруг темно. Очень темно.

— Кто кричал «пожар»? — спросил у меня Маремуха.

Не отвечая, я думал: «Ну и кашу мы заварили! Теперь, если Петька выдаст нас, все пропало! А вдруг в самом деле от разбитой лампы загорелся дом Григоренко?»

Я очень ясно представил себе, как багровые языки огня, извиваясь, лижут стены докторского дома, потихоньку поджигают деревянную крышу веранды, пробираются через оконные рамы в дом... А вокруг бегают испуганные доктор с женой, Котька, Прокопович, поп в длинной рясе и швыряют в огонь что попало: вазоны с цветами, стеклянные шары, садовые лейки... Но унять огонь нельзя. Дом пылает все больше и яростнее. Трещат балки, крыша с грохотом валится вниз, и вместо красивого, похожего на маленький замок дома остается груда дымящихся развалин. А утром по всему городу нас, поджигателей, разыскивают вооруженные пикеты петлюровцев...

Отдышавшись, мы тихонько побрели в город. Вышли на Тернопольский спуск.

Всюду погашены огни.

Белая мостовая тянулась вверх, к Центральной площади. Пивная Менделя Баренбойма была закрыта длинной гофрированной железной шторой.

Тихо. Никого.

Лишь далеко за мостом стучали шаги какого-то запоздалого прохожего.

Я подумал: «А что, если пойти к городской ратуше?» Там, вверху, в будочке, день и ночь сидит дежурный. Если в городе пожар, он дает сигнал. Тогда сразу начинается суета, под ратушей открываются широкие двери пожарной команды, на улицу вылетают, стуча копытами, серые кони, запряженные в платформы с насосами и красными бочками. А на линейках мчатся пожарные с блестящими топориками.

Непременно надо подойти к ратуше. Если у Григоренко загорелась веранда, дежурный обязательно заметит огонь.

Мы делаем круг и подходим к ратуше. Двери пожарной команды закрыты.

Минут десять мы ждем у ратуши: вот-вот раздастся оттуда сверху: «Пожар! Горит!» Но там тихо.

Сидит в будочке над сонным городом одинокий пожарник, считает от скуки звезды и, должно быть, ничего, кроме крыш, мокрых от росы, да пустых уличек, не видит.

Большие стрелки на часах ратуши показывают пол-одиннадцатого. Ой, как поздно! Тетка, наверное, уже легла и калитку закрыла...

Калитка в самом деле была на замке. Во двор я попал, перебравшись через забор. Тетка открыла мне дверь и сразу же, спросив, где я был так поздно, легла снова спать.

А я долго не мог уснуть. Мне казалось: вот-вот придут за мной петлюровцы и потащат в тюрьму. А самое главное, ведь защищать-то меня будет некому. Вот если бы дома был отец — другое дело.

Но отец далеко.

Несколько лет назад, когда мы жили в другом городе, мой отец пил. И крепко пил. Запоем.

Его не выгоняли из типографии потому, что он умел набирать по-французски, по-гречески и по-итальянски. А как раз в те годы типография получала много работы из Одессы на разных языках.

— Без меня им не обойтись,— ухмылялся отец, рассказывая матери об этих заказах.

И в самом деле, заказы эти были доходные, хозяин на них хорошо наживался, и ему поневоле приходилось мириться с пьянством отца.

Я никогда не видел, чтобы отец пил дома.

Обычно он напивался до беспамятства где-то в городе, а потом, пьяный, бродил по улицам, толкая прохожих и опрокидывая уличные урны.

К нам домой хозяин типографии присылал посыльного. Не переступая порога, посыльный спрашивал:

— Манджура дома? Хозяин требует!

Мать сразу догадывалась, в чем дело. Набросив на худые плечи единственный, уцелевший от глаз отца оранжевый платок, она брала меня за руку.

Я знал, что сейчас мы пойдем искать отца, и радовался.

В пивных скверно пахло табачным дымом и квашеным ячменем, но зато было очень весело. Облокотившись на круглые мраморные столики, сидели в дыму на кругленьких бочках какие-то незнакомые люди и жадными, большими глотками пили покрытое белой пеной прозрачное пиво. Люди громко ругались, хлопали друг друга по плечам и швыряли на пол, прямо себе под ноги, красные, обсосанные клешни раков.

Если в пивных отца не было, мы шли в Александровский сад. Посыльный, сутулясь, шел рядом, и мать расспрашивала его, сколько денег получил отец и скоро ли опять будут выдавать жалованье.

За воротами парка, на песчаных площадках, играли нарядные дети.

Они расхаживали возле скамеек в белых матросских костюмчиках и сандалиях. У девочек в косичках были бантики. Я знал, что этих детей приводили в парк их няньки. Они сидели тут же на скамейках, щелкали семечки и разговаривали друг с другом.

Дети катали вокруг клумб желтые обручи, прыгали через скакалки, мальчики рылись в кучах золотистого влажного песка. Возле них на песке валялись деревянные формочки — желтые, розовые, лиловые рюмочки и чашечки.

Я завидовал нарядным детям.

Мне казалось, что они каждый день едят те розовые пирожные, что выставлены на витрине кондитерской.

Мы проходили мимо игравших детей в глубь парка. И здесь мать отпускала мою руку и шла одна вперед.

Она то и дело нагибалась, заглядывая под кусты. Посыльный едва поспевал за нею. Я бежал позади, обрывая с веток зеленые стручки акаций, которыми набивал себе полные карманы. Я делал из стручков пищики.

Отец любил спать в парке сидя. Прислонится спиной к стволу дерева и спит, наклонив голову. А его замасленная кепка надвинута на глаза, и из кармана торчит горлышко бутылки.

Отца будили, он мычал и вертел головой. Его подымали, брали под руки, мать с одной стороны, посыльный с другой, и вели через весь город в типографию.

Я шел сзади, часто останавливался у афишных будок, разглядывая плакаты, подолгу стоял около витрин и вообще вел себя так, словно впереди меня шли чужие, незнакомые мне люди. Мне было стыдно за отца.

Особенно стыдно мне было, когда он вдруг ни с того ни с сего начинал петь.

Мать упрашивала его помолчать — ведь за пение его мог арестовать городовой, но отец не слушался и пел все громче одну и ту же жалобную и тоскливую песню:

Мы котелки с собой возьмем,
Конвой пойдет за нами,
И мы кандальный марш споем
С горькими слезами...

Подойдя к типографии, мы усаживались на ступеньках высокого каменного крыльца. Посыльный убегал к хозяину. А отец снова засыпал. Выходил хозяин — худенький, рыжий человек среднего роста — и останавливался на крыльце. Потом он шептал что-то на ухо посыльному. Посыльный убегал и возвращался с большим эмалированным кувшином, из которого через край на ступеньки лилась вода. Мать одну за другой стягивала с отца обе рубашки. Отец сидел на ступеньках со взъерошенными волосами, сонный, измученный, жалкий. Он поглядывал то на мать, то на хозяина и бормотал:

— Ну, уйдите, ироды. Вот, ей-богу! Ну, поспать дайте.

Мать отходила в сторону, а хозяин кивал посыльному. Тот поднимал кувшин, наклонял его и потихоньку лил на голову отца холодную воду.

Я видел, как струйки воды разбрызгиваются на отцовской лысине, и ежился.

«Чего ты ждешь?— шептал я про себя.— Встань, вырви из рук посыльного кувшин, ударь его по зубам и удирай!»

Но отец и не думал удирать. Он вяло растирал воду по лицу мокрой пятерней. Вода текла по его штанам, разливалась вокруг — каменные ступеньки лестницы чернели, словно после дождя. Кувшин наконец пустел. Тогда мать брала у меня рубашку и с трудом натягивала ее на влажное тело отца. Отец сидел смирно и, видно, уже больше спать не хотел. Его уводили в типографию, а мы шли домой.

Однажды мать забрала в типографии за отца получку и куда-то ушла. Отец возвратился домой сердитый. Увидев, что матери нет, он схватил с полочки будильник, завернул его в клеенку с нашего обеденного стола и, прихватив с комода кружевную скатерть, убежал из дому, оставив меня в комнате одного.

Мать вернулась к вечеру. Она связала в узел свои платья, мое белье и отвела меня к соседке.

— Поберегите моего сына и вещи, Анастасия Львовна, пока я вернусь,— сказала мать, отдавая соседке узел и деньги.— Я поеду в Одессу, к сестре, разузнаю, нельзя ли совсем переехать туда. В Одессе, говорят, есть доктор, который лечит людей от водки. Может, он вылечит и моего мужа — житья с ним нет.

Она попрощалась с Анастасией Львовной, поцеловала меня и ушла.

А через два дня мы узнали, что пароход «Меркурий», на котором мать уехала в Одессу, возле Очакова наскочил на германскую мину.

До поздней ночи кричали на Суворовской газетчики:

— Гибель «Меркурия»! Гибель «Меркурия»! Немецкие мины в Черном море!

Отец ходил на почту, посылал телеграммы то в Одессу, то в Очаков. Он все надеялся, что мать спаслась и не потонула вместе с другими.

Я долго не понимал, что случилось. Как и отец, в первые дни я был уверен, что мать жива, скоро вернется и мы поедем в Одессу, где живет доктор, который лечит всех людей от водки.

Недели через две после гибели «Меркурия» я спросил Анастасию Львовну:

— И капитан потонул?

— И капитан,— ответила она мне жалобным голосом, и я вдруг удивительно ясно представил себе, как посреди моря одиноко плавает белая фуражка-капитанка с черным околышем и золотым галуном, а сам капитан, пуская бульки, медленно идет ко дну.

...После смерти матери отец сделался хмур и неразговорчив. Он бросил пить водку, приходил с работы прямо домой и все молчал. Коренастый, белолобый, в длинной сатиновой рубахе, подпоясанной сыромятным ремешком, он все ходил молча от комода к подоконнику, задевая ногами стулья.

Я сидел в самом углу на топчане и следил оттуда за его широкими, упрямыми шагами, видел его сгорбленную спину, слышал гулкий стук его ботинок.

Мне казалось, что отец сумасшедший, что вот-вот он схватит стул, бросит его об стену, с грохотом опрокинет на пол комод, вышвырнет одну за другой в окно все глубокие тарелки, а потом закричит и возьмется за меня.

Но однажды отец пришел домой раньше, чем всегда. В руках у него было много свертков. Я сперва подумал, что это отец купил мне гостинцы, и обрадовался.

Но отец высыпал свертки на ободранный стол и сказал:

— Поедем, сынку, отсюда к Марье Афанасьевне. Раз такое дело стряслось, чего ж нам больше здесь оставаться?

Я знал, что Марья Афанасьевна, сестра отца, живет в городе, до которого надо ехать трое суток по железной дороге.

На следующий день мы уехали.

...Так, вспоминая о своем отце и о том, как мы переехали сюда, я заснул.

НАДО УДИРАТЬ!

Утром, когда я еще спал, ко мне прибежали Петька и Куница.

Куница был встревожен. Про Маремуху и говорить нечего.

— Мы удрали со второго урока! — сказал Куница.

— Котька Григоренко пришлет за тобой петлюровцев, и тебя посадят в тюрьму!— оглядываясь по сторонам, выпалил Маремуха.

— Погоди... Расскажи ему все сначала!— перебил Петьку Куница.

— Я был в уборной... с утра... Как пришел в гимназию... Слышу голос Котьки за перегородкой... Поглядел в щелочку, а там Жорж Гальчевский курит около стенки, а Котька ему рассказывает. Я встал на цыпочки и подслушиваю. «Ударили черепицей по лампе, керосин хлюпнул прямо на столик»,— рассказывает Котька. Ага, думаю, это про вчерашнее. «Чуть дом не спалили. Хорошо, папа схватил горящий столик да швырнул в сад на клумбу...» Потом Гальчевский что-то у Котьки спросил, а что — я так и не расслышал, а Котька и говорит: «А за то, что его из гимназии выгнали!» Ага, думаю, разговор про тебя, Василь. А тут, как назло, кто-то вошел в уборную, они замолчали, я тогда выскочил в коридор — и к Юзику. Рассказал ему все, и вот мы со второго урока удрали, чтобы тебе сказать. Пение было. Родлевская ушла за нотами, а мы — к тебе.

— Тебя с Куницей не вспоминал?

— Меня? Нет! А что?— заволновался Маремуха.

— И не говорил, что делать будет?

— Больше я ничего не слыхал!— ответил Петька, потом вдруг подпрыгнул и радостно выкрикнул:— Да, я же тебе, Васька, самого главного не рассказал!

У Кияницы вся ряса сгорела. И бороду свою рыжую он посмолил. Вот здорово! Правда?

Но и это меня не утешило.

«Дело худо,— думал я.— Если Котька подозревает, что это я бросил черепицу, то, конечно, он уже не одному Гальчевскому рассказал об этом».

— Ну... а ты что скажешь, Юзик?— спросил я Куницу.

— Я вот что думаю,— сказал Куница.— Все втроем мы должны удрать к красным. Они ведь уже совсем близко. А тут, в городе, нам оставаться нельзя.

Я впервые видел Куницу таким. Он разговаривал с нами как взрослый. Глаза его горели.

— Хорошо, Юзик! Пусть будет по-твоему, но как же мы это сделаем? — спросил я.

— Я же сказал: надо убежать к большевикам. Возьмем хлеба побольше и пойдем на Жмеринку. Большевики в Жмеринке. Поступим к ним в разведчики. Понятно?

— А родные?..— спросил Маремуха.— Они не пустят...

— «Родные, родные»! Эх ты, нюня! Мамы испугался, да? А что, лучше будет, если из-под маминой юбки в тюрьму потащат? — закричал Куница.

— Постой, Юзик, не кричи,— сказал я Кунице.— А если красные еще не в Жмеринке? Где мы будем тогда искать большевиков? А ночевать где? Вдруг дождь? Только тише ты, не кричи,— тетка услышит.

— Наши в Жмеринке. Я тебе говорю! Я читал прокламацию партизанскую об этом! — уверенно сказал Куница.

— Пусть так. Но ведь до Жмеринки далеко! Как мы дойдем туда пешком?

— Юзик, послушай,— сказал я,— зайдем сперва в Нагоряны. Я очень хочу батьку повидать. Ведь Нагоряны по пути, там отдохнем. Оттуда и в Жмеринку ближе, а?

— Ладно! Но если идти, так теперь же! — решил Куница.— Долго не копаться.

— А что нам копаться? Вы бегите, собирайтесь, я только возьму перочинный ножик, рогатку и хлеб. Я вас буду ждать около Успенской церкви, в скверике!

Мы сразу же расстались.

Выпустив хлопцев на улицу, я побежал в комнату. Тетка была на огороде. Это хорошо — ничего не надо объяснять. Я схватил свои припасы и помчался к Успенской церкви. Через несколько минут с сеткой и бамбуковым удилищем туда прибежал Маремуха. В руках у него болталась беленькая жестяночка из-под консервов.

— На червей! — объяснил Петька.

Куница прибежал последним. Он держал в руках фляжку с водой и маленький сверток.

— Это хлеб с брынзой! — запыхавшись, объяснил он.— У тебя, Петька, большие карманы, на, возьми.

Петька сунул сверток в карман.

Куница взял у Петьки удилище, и мы тронулись в путь.

К вечеру, когда порозовевшее солнце спускалось за белые скалы, мы подходили уже к Нагорянам. За перевалом, где дорога круто сворачивала вниз, я узнал знакомую березовую рощу.

Ну да, это она, милая березовая роща! Здесь мы сделаем привал!

Высокие белостволые березы шуршат прозрачной глянцевитой листвой, сквозь нее просвечивает ясное небо. Внизу, в лощине, под глинистыми, осыпающимися склонами рощи журчит родник. Обнаженные коричневые корни берез омывает лесная вода.

Юзик Стародомский с размаху бросил в ручей камень. Раздался звонкий всплеск воды, и брызги упали в прибрежную траву.

— Хлопцы, полежим? — предложил Петька.

Пятнадцать верст не такая уж большая дорога, но у Петьки на спине намокла от пота рубашка. Он здорово устал.

— Только недолго! — предупредил я, опускаясь на мягкую траву.

Куница улегся рядом со мной. Длинное Петькино удилище он, точно пику, поставил под маленькой березкой.

Я перевернулся на спину и рассказал ребятам, как мы в прошлом году весной вместе с моим двоюродным братом Оськой пили здесь березовый сок. Сок был замечательный. Штопором перочинного ножа я продырявил тогда вязкую кору почти у корней вон той самой старой березы, что склонилась над родником. К пробуравленному отверстию я прикрепил желобок из белой жести, а Оська подставил коричневую бутылку. Не успели мы отойти, как из дерева в бутылку закапал чуть желтоватый березовый сок. Пока бутылка наполнялась соком, мы кувыркались, пугая зябликов, на мокрой еще лужайке, покрытой прошлогодней листвой, и фуражками ловили на первых весенних цветках мохнатых черно-красных шмелей.

Шмели жалобно гудели у нас в фуражках, мы осторожно убивали их сосновой щепочкой и, убив, доставали из шмелиных животов белый жидкий мед.

Мы запоминали, где какая птица начинает вить гнезда, чтобы потом прийти поглядеть на ее детенышей. Так, кувыркаясь и удивляя друг друга новыми находками, мы, наконец, усталые, вот как сейчас, упали в траву.

А потом, когда березового сока натекло в бутылку много, мы выпили его тут же, на поляне. Он булькал у нас в горле, чуть горьковатый первый сок весны! Облизываясь, мы следили друг за другом, чтобы, чего доброго, никто не отпил лишнего.

Как жаль, что сейчас нельзя было наточить соку из этих берез — весь сок давно уже ушел в листья,— а то мы напились бы его вдоволь.

— Да, это было бы здорово! — сказал Куница.— Ну ладно, пошли, что ли?

— Верно, пойдем, тут ведь пустяк осталось дойти,— согласился я.

Куница быстро вскочил на ноги, оставив после себя вмятину на лужайке.

Петька Маремуха встал нехотя, потягиваясь, как сытый кот. Он ленивый у нас, этот коротышка.

— Пойдем, пойдем, нечего потягиваться. Там отдохнешь. Ишь раззевался,— сказал Куница, и мы покинули березовую рощу.

В НАГОРЯНАХ

Далеко от главного Калиновского тракта, который ведет на Киев, около узенькой, но глубокой реки, на глухой проселочной дороге лежит село Нагоряны. Очень неровное, с крутыми пыльными улицами, это село раскинулось на буграх, над скалистыми обрывами.

Перевалив через Барсучий холм, мы увидели соломенные крыши нагорянских хат. Мой дядька Авксентий жил на окраине села, возле кладбища.

Около его хаты сохли на плетне глиняные, с почерневшими донышками горшки и мокрое потрепанное рядно. Три курицы рылись под крыльцом, вздымая облачка серой пыли.

— Подождите тут. Я схожу в хату, вызову дядю,— сказал я Маремухе и Кунице.

В последнюю минуту у меня екнуло сердце: а не влетит мне от дядьки за непрошеных гостей? Но не успел я переступить порог крыльца, как дядька Авксентий, услышав говор на дворе, появился на пороге сам. Рослый, в свисающих штанах, в холстинной сорочке, с недовязанным остроносым постолом в руках, он пошел нам навстречу. Лицо у дядьки Авксентия было смуглое и обветренное, все в морщинах.

— Ого, та це Василь! Откуда? Ну, здравствуй! Вот не ожидал! Счастливый день будет, если с вечера гостей встречаю. А хлопцы возле тына твои? — спросил дядька, пожимая шершавыми, жесткими пальцами мою руку.

— Мои, мои, дядя! Добрый вечер! Мы вот пришли к вам рыбу ловить...

— Ну что же, заходите, рыбы на всех хватит. Мы с Оськой вчера целый вечер лазили по воде, даже я застудился. Хриплю, слышишь как! Ну, чего ж вы на дворе стоите? Заходьте в хату.

— Дядя, а тато где? — осторожно спросил я, переступив порог.

Задымленная комната с широкой постелью в углу была пуста.

— Мирон?.. А его здесь нет... Мирон пошел с Оськой в Голутвинцы... Там ярмарка...— как-то нескладно ответил дядька.

Значит, мы разминулись с отцом? Ведь Голутвинцы под городом. А может, он зайдет оттуда домой, в город? Вот будет жалко!

— Да садитесь, хлопцы! Ну, чего же вы стоите? — пригласил Авксентий.— Рассказывайте, что нового в городе. Как там петлюровцы поживают? У нас их тут мало. Проскочат один-другой по шляху, а в село заезжать боятся.

Я уселся на треногий стульчик и рассказал дядьке, как петлюровцы обыскивают жителей каждую ночь, как попы служат в кафедральном соборе молебны за здоровье Петлюры, рассказал я и о том, как закрыли наше училище... Петька Маремуха вместе с Куницей уселись на лавочке. Маремуха с любопытством оглядывал задымленную печь, набитую желтой соломой. Возле печи на полу лежала кучка сыромятных, покрытых шерстью ремешков, из которых дядька плел себе постолы.

Осмотрев комнату, Петька выглянул в окно, видно, побаиваясь, как бы не украли бамбуковое удилище и сетку. Зря боится — не утащат: здесь не город, все люди знакомые, все на примете. Хаты не закрывают.

Куница исподлобья поглядывал на дядьку. Потом тихонько дернул меня за локоть и прошептал:

— Про крепость расскажи... И про губернаторский дом. И про партизан, что листовки по ночам расклеивают на столбах.

— Хорошо, хорошо, не мешай! — отмахнулся я и торопливо рассказал дядьке о том, что мы видели в крепости.

Морщинистое лицо Авксентия нахмурилось. Об атамане Драгане и его черножупанниках я рассказать не успел. Дядька сразу поднялся и перебил меня:

— Вот что, хлопцы, я сейчас, пожалуй, схожу к одному человеку, у него хороший бредень есть. Договорюсь с ним, чтобы завтра с утра ловить рыбу всем разом. Он живет тут близенько.

Я увидел, как сразу заблестели от удовольствия глаза у Куницы и Маремухи. Хорошо, что я уговорил их зайти в Нагоряны. Понемногу я начинаю забывать о городе, о тяжелых воспоминаниях и волнениях, которые связаны с ним.

— Хлопцы,— сказал я,— как половим рыбу, в лес пойдем. Я покажу вам Лисьи пещеры!

— Куда, куда? В Лисьи пещеры? А где же они есть такие? — вдруг нахмурился дядька.

— Как — где? Вы же сами меня водили? Помните, прошлым летом?

— Я? Ну, да, верно... А я и позабыл... Ох какие непоседы! Не успели в гости прийти, а уж нечистая сила тащит вас в какие-то пещеры. Не ходите туда, ну вас! Гадюк теперь там развелось уйма! Еще ужалит какая!

— Ну, тогда мы пойдем на речку, к сломанному дубу,— нерешительно сказал я, про себя соображая, что от сломанного дуба к Лисьим пещерам рукой подать.

— На речку можно,— согласился дядька и надел свой соломенный капелюх.

У двери он обернулся и позвал меня:

— Василь! Поди-ка сюда!

Я вышел вслед за Авксентием во двор. Молча мы зашли в клуню. Меня сразу же обдало запахом сухого сена.

— Василь,— тихо и строго спросил дядька,— а кто эти хлопцы, что с тобой пришли? Ты их хорошо знаешь?

Смущенный строгим голосом Авксентия я рассказал, кто такие мои приятели.

— Батько Маремухи живет в усадьбе Григоренко? — спросил дядька.

— Ну да! — обрадовавшись, подтвердил я.

— Он мне в позапрошлом году чеботы чинил,— вспомнил Авксентий.— А второй кто?

— А это Юзик Стародомский. Его отец собак ловит. Он возле Успенской церкви живет.

— Слухай, Василь! — сказал тогда Авксентий и взял меня за плечо.— Завтра я тебя поведу к батьке. Он никуда не уходил. Это я нарочно про ярмарку сказал. А ты никому не смей говорить, что батька в Нагорянах. А то сразу приедут петлюровцы и схватят его, да и меня вместе с ним. На меня они косятся с прошло-

го года, и до Мирона у них тоже дело есть. Приказ об аресте — понимаешь? Слух прошел, что это не без его участия листовки партизаны печатают. Понятно тебе? Я вам ничего не запрещаю, можешь водить хлопцев везде, завтра мы на рыбалку пойдем вместе, только обо всем молчок. Хлопцы-то знают, что батька здесь?

— Да, я говорил...

— И что у меня живет, тоже знают?

Я виновато молчал.

— Эх ты, шалопут. Все успел выболтать...— с укором сказал дядька.

— Да ведь мы...— с жаром сказал я и остановился. Хорошо бы, конечно, рассказать дядьке, что мы собрались к большевикам, но тогда надо рассказать и об исключении из гимназии. Нет, уж лучше помолчу.

— Ну? — Дядька опять строго посмотрел на меня.— Говори, чего замялся?

Стараясь избежать неприятного разговора, я промямлил:

— Мы... мы...— Потом выпалил:— Да мы сами ненавидим петлюровцев! Нам тоже сала за шкуру налили петлюровцы! Мы тоже ждем красных! Вы не бойтесь, дядя!

Лицо дядьки Авксентия сразу подобрело. Он улыбнулся. А я отважился и, вспомнив о хлопцах, которые дожидаются меня в хате, спросил:

— Дядя, а нельзя нам сегодня рыбу половить?

— Рыбу? Сегодня? Вот далась вам эта рыба. Ну ладно — рыба так рыба! Теперь, правда, время такое, что бомбы переводить жалко, ну да ладно — для гостей не пожалею. Видал, как рыбу бомбами глушат? Ну ничего, еще раз поглядишь! Только вот вы поморились, наверно, с дороги? Голодны небось?

— Нет, нет, мы ели доро́гой...

— Ну, тогда подождите меня, я до соседа заскочу. Я быстро.

Я побежал в хату, предупредил хлопцев, что мы пойдем на рыбу. Пока дядька ходил в соседний двор, мы отдохнули с дороги в низенькой прохладной хате, а потом вышли на улицу. Я насилу уговорил Маремуху не брать сетку. Зачем она сдалась, когда одной бомбой можно наглушить втрое больше?

Вскоре с соседнего огорода вышел дядька, держа на ладонях две ржавые круглые бомбы.

Маремуха с опаской взглянул на них. Да и мы с Куницей шли рядом с дядькой не без волнения. «А вдруг он споткнется и упадет? — думал я.— Ведь бомбы тогда могут взорваться». Но дядька не собирался падать; держа в руках пустое ведро, он спокойно шагал под гору — широкоплечий, кряжистый. Бомбы он положил в карманы.

Место, куда привел нас дядька, было пустынное, тихое. Среди деревьев, над обрывистым берегом реки, зеленела небольшая полянка.

Нагоряны остались где-то позади, за лесом. Старые яворы, кривостволые дубы и целые заросли бузины отделяли нас от села. Внизу, под скалистым обрывом, текла река. Отсюда, с высоты, вода в речке казалась черной.

На берегу, усыпанном камнями, я увидел опрокинутую вверх дном лодку. Сбоку, где скалы обрывались не так круто, белела тропинка.

— Слухайте, хлопцы,— поглядев вниз, приказал дядька.— Я в речку не полезу, брошу бомбы, а рыбу вы уж сами будете ловить. А теперь марш отсюда! Прячьтесь вон за те деревья.

Мы побежали вверх по течению реки на бугор, поросший густым лесом. Прячась за высокий ясень, Маремуха крепко обнял его руками. Казалось, он собирается валить дерево. Куница присел на корточки за дубом и, высунув из-за ствола голову, следил за Авксентием. Стоящий на краю обрыва дядька был хорошо виден нам отсюда.

Отшвырнув в траву капелюх, дядька полез в карман, вынул бомбу и осторожно положил ее на траву около капелюха. Потом он достал вторую и, сразу выдернув из нее шпильку, бросил бомбу далеко на середину речки. Только бомба отлетела, как дядька упал на траву. Прижавшись к ней лицом, он лежал как убитый. Не успели разойтись и подкатиться к берегу вздрагивающие круги, как вдруг с самого дна тихой и спокойной речки вырвался ослепительно белый столб за-

кипающей воды. Он взлетел почти на высоту обрыва, и, казалось мне, еще немного — и брызги этой белой воды упадут на лежащего ничком дядьку.

Гул от взрыва прокатился далеко за лесом. Чудилось, вот-вот повалятся на нас высокие дубы, а полянка с дядькой вместе рухнет с обрыва в реку.

Но не успело еще смолкнуть эхо от взрыва, как дядька не спеша, точно он отдыхал, поднялся и взял вторую бомбу.

Он долго выдергивал из нее шпильку — наверное, проволочка заржавела и не поддавалась,— а мне не терпелось. «Ну, ну, скорее, а то разорвет!» Наконец дядька освободил рычажок и швырнул бомбу вниз. Эта упала ближе, где-то у самого берега.

Взрыв второй бомбы показался нам уже не таким страшным. Подумаешь, я и сам бы мог бросить бомбу!

По крутой белой тропинке, цепляясь руками за камни, мы помчались вниз, к речке.

Дядька уселся на берегу и закурил, а мы мигом сорвали с себя одежду и полезли в воду.

Но дядька тоже не утерпел — он положил недокуренную цигарку на камешек и стал раздеваться; а потом легко перевернул лодку-плоскодонку, достал из-под нее куцее весло и, столкнув лодку на воду, с разбегу прыгнул на корму.

Авксентий сидел на корме, загребая узеньким веслом воду. Вихляя и покачиваясь, лодка выплыла на середину реки. Мы бросились за ней вдогонку. Каждому из нас хотелось доплыть первому туда, на середину реки, где белела всплывшая рыба. Больше всего было марен и линей.

Скользкие, покорные, словно неживые, рыбины то и дело выскакивали у меня из рук.

Я ловил их снова то под самым носом у Петьки, то у Куницы и швырял в лодку. Рыбины шлепались к волосатым ногам дядьки, блестящие, с серебристо-синей чешуей. Глаза у них были пьяные от страха.

Я кувыркался в пахнущей тиной воде, наотмашь хлопал по ней ладонями, кверху подлетали прозрачные брызги. Мне было очень радостно. Тогда я еще не понимал, что так глушить рыбу — преступление.

— Тише ты, шалопут, не брызгайся! — закричал мне дядька, которого я обдал водой.

Держа марену в зубах, Куница схватил у меня щуку и окуня и поплыл к лодке, шлепая по воде свисающими рыбьими хвостами.

Бросив дядьке добычу, Куница перевернулся на спину, оскалил на солнце зубы и, отдыхая, почти не шевелясь, медленно поплыл вниз.

Рыбы много. Собрав самую крупную в ведро, дядька выбросил мелкую обратно в реку.

— Нехай растет! — улыбнулся он, заметив, что мы с сожалением наблюдаем, как рыбы уплывают по течению.— Подрастет — опять словим. От меня еще ни одна рыба не убегала.

Мы возвратились в село с богатым уловом.

Жена дядьки, Оксана, быстро растопила печь. Она выпотрошила нашу рыбу и, вымыв ее, вываляв в муке, бросила на сковородку, в растопленное масло.

Поев как следует жареной рыбы — уху Оксана пообещала сварить завтра,— мы отправились в клуню, усталые и сытые.

— Василь, а у тебя дядька отчаянный,— ворочаясь рядом, прошептал Маремуха.

— Ловко он бомбу бросил, а? — с завистью вспомнил и Куница, зарываясь в сено.

— Ну, бомба — это что, вы бы посмотрели, как он из винтовки по зайцам палит! — обрадовавшись, что мой дядька понравился хлопцам, похвастал я. И, прежде чем заснуть, я долго рассказывал Петьке и Кунице все, что знал о дядьке Авксентии.

Зимой из обыкновенной русской винтовки, принесенной с фронта, дядька подшибал на полях длинноногих зайцев.

Как-то раз он при мне из этой самой винтовки подстрелил ширококрылого ястреба. Ястреб, который несколько минут назад, высматривая добычу, плавно

кружился над деревьями, вдруг затрясся там, наверху, в небе, и, точно рваная серая тряпка, полетел вниз.

Падая, ястреб застрял в ветвях старого явора. Я уж было полез за ним на дерево. Но только я ухватился за первую ветку, как ястреб сорвался оттуда и, хлопая слабеющими крыльями, упал на покрытую прелыми листьями землю. Я с опаской ловил подстреленную птицу, а дядька хитро улыбался и скручивал цигарку...

В первый приход петлюровцев, прошлым летом, когда полицейские стали выкачивать по селам оружие, нагорянский поп, с которым Авксентий давно был не в ладах, донес петлюровцам, что у дядьки есть винтовка. Винтовку петлюровцы нашли в скале над хатой, а патроны — в пустой собачьей будке на дядькином дворе.

Сперва Авксентия выпороли на выгоне у сельской церкви, выпороли, как, смеясь, говорили петлюровцы, «на початок, щоб добрый був», а потом на реквизированной в этом же селе подводе повезли в город. По дороге, когда подвода проезжала Калиновским лесом, дядька Авксентий ударил одного из охранников своим тяжелым кулаком меж глаз и скрылся в лесной чаще.

Человек, который вез моего дядьку и его конвоиров в город, был наш знакомый, односельчанин Авксентия. В этот же день вечером он пришел к моей тетке и рассказал, как убежал Авксентий.

Петлюровцы, которые везли дядьку, не ожидали побега. Один из них дремал, а тот, кого дядька ударил в переносицу, закуривал папироску. От дядькиного удара все лицо у него залилось кровью, и нос вспух, как бульба. Возница говорил, что петлюровцы, не слезая с телеги, не целясь, наобум стреляли в лес, по деревьям.

А у нас в то время гостил сын дядьки, мой двоюродный брат Оська. Тетка ничего не сказала ему об этом происшествии. Только потом от односельчанина дядьки мы узнали, что Авксентий благополучно удрал от петлюровцев, что он жив-здоров, но живет не в селе, а прячется где-то в лесу.

Односельчанин передал нам от дядьки Авксентия подарок — кусок сотов с медом диких пчел. Бродя по лесу, нашел в дупле возле Лисьих пещер пчелиное гнездо, пчел выкурил дымом, а мед забрал.

Теперь о побеге узнал и Оська. Он очень гордился подвигом отца и этим медом.

— Василь! А Лисьи пещеры далеко отсюда? — толкнул меня Петька Маремуха.

— Близко. Ну ладно, давай спать,— сказал я.— Завтра утром я сведу вас туда. Посмотришь сам.

ЛИСЬИ ПЕЩЕРЫ

Мы спали очень долго, а когда проснулись, дядьки уже не было. Он пошел за солью на другой конец села. Мы позавтракали без него.

Надо хоть снаружи, пока дядьки нет дома, осмотреть Лисьи пещеры. Я веду ребят туда тропинкой, которая вьется по каменистому берегу реки.

Река чуть-чуть дымится. Жирные лягушки, услышав наши шаги, громко шлепаются одна за другой в воду. Скалы бросают тень на берег. Вдали видна обросшая доверху лесом Медная гора, за ней, у поворота реки, Барсучий холм и еще дальше — белеющие в зеленом лесу выщербленные ветрами «товтры» — известковые каменистые холмы. В этих «товтрах» скрыто немало ущелий и пещер, поэтому местные жители боятся забираться далеко в них и при случае обходят стороной. Многие из них верят, что в «товтрах» живет «нечистая сила»: она хватает человека, как только он переступит порог ущелья или пещеры, и тащит его дальше, под землю, в пекло. Мой дядька Авксентий, пожалуй, лучше всех нагорянских крестьян знает Лисьи пещеры. Верст за пять вокруг нет ни одной приметной щели в скалах, которая не была бы ему известна. А если камни возле такой щели задымлены, покрыты копотью, так и знай: выкурил отсюда мой дядька желтую пышнохвостую лисицу, выследив ее убежище по чуть заметному на белом снегу следу...

...На опушке леса, в орешнике, мы выломали длинные сучковатые палки и ободрали с них зеленые листья.

Мы пошли вверх по устланному прелыми листьями и сухим валежником дну оврага. Хворостинки похрустывали у нас под ногами. Мы шли втроем, отважные, храбрые путешественники.

Куница хоть и не знал дороги, но шел впереди, как атаман. Петька пыхтел рядом со мной. Он сопел — ему было тяжело карабкаться вверх по неровному дну оврага. Обомшелые деревья росли по обоим склонам оврага. Их густая листва закрывала солнце. Легкие, прозрачные папоротники дрожали у нас под ногами. Когда мы подошли почти вплотную к тому месту, где начинались Лисьи пещеры, я первый выскочил на ровную, усыпанную мелким щебнем полянку.

— Глядите, ничего не видно, правда? — гордо показал я ребятам на круглый, черный, местами обросший мхом камень, который лежал под скалой. Камень этот казался сброшенным откуда-то сверху, с Медной горы.

— Ну а где же пещеры? — спросил Куница.

— А вот, гляди! — И я спрятался за камень.

Как огромная черная тыква, он прикрывал собою вход в подземелье. Теперь прямо передо мною в скале чернела трещина. Никто бы и не подумал, что здесь начинаются Лисьи пещеры. А на самом деле пройти в пещеры можно легко и свободно. Позади часто, тяжело дышал Маремуха. Ребята обошли камень и стояли у меня за спиной.

— Обязательно пойдем сюда! Сегодня же. Свечей достанем и пойдем! — сказал Куница. Он жадно глядел в трещину скалы.

— Чудак, где ты достанешь здесь свечей? — ответил я Кунице.

— Где?.. А в церкви. Здесь же есть церковь? Сегодня что у нас? Пятница. Эх, жаль, службы утром нет. Ну, просто у старосты попросим или купим.

Долго стоять перед входом в пещеру было страшновато. Слова дядьки о гадюках заставили меня насторожиться. Того и гляди, выползет какая из трещины...

Я предложил ребятам взобраться повыше. Мы влезли на круглый камень, закрывающий вход в пещеру, и уселись, как настоящие лесные разбойники, отдыхая и поглядывая по сторонам.

В лесу было очень тихо. Кое-где сквозь густую листву высоких ясеней пробивался косой солнечный луч, освещая радостным, золотистым светом сырой полумрак оврага. Вокруг было глухо и влажно, словно в погребе. На опушке, должно быть, солнце грело вовсю, а тут нам казалось, что уже наступил вечер.

Вдруг Маремуха дернул меня за ногу и кивнул на пещеры.

Что там такое? Гадюка?

Теперь и я услышал какой-то глухой звук, раздавшийся в подземелье.

Не то кто-то кашлянул там, не то камень оборвался и глухо упал на землю.

— Ты слышал? — шепнул я Кунице.

Куница сразу насторожился и лег на камень. Мы устроились рядом с Куницей.

В пещере снова кашлянули; на этот раз еще ближе. Может, это лает лисица, забавляясь со своими детенышами? Опять, где-то совсем близко, захрустел щебень. И вдруг из темной щели высунулась наружу чья-то рука, а затем появился человек.

От неожиданности я вздрогнул. Да ведь это же мой батько!

Он сильно оброс. У него отросли усы и борода, но я узнал его сразу и по синей сатиновой рубахе, и по знакомому широкому ремню на ней. Мне хотелось крикнуть ему: «Тато, татко! Я здесь!» Но крик застрял у меня в горле. А отец обернулся к нам спиной и крикнул в пещеру:

— Выходите, где вы там?

И тут из подземелья к черному камню выскочил Оська, а за ним вышел какой-то обросший бородой человек в резиновом плаще.

— Это свои! — выкрикнул я, толкая хлопцев, и мы кубарем скатились на землю. Я первый выскочил навстречу отцу, но сразу же шарахнулся в сторону.

Отец целился в меня из нагана, человек в резиновом плаще — тоже.

«Они сумасшедшие!» — подумал я и что было силы рванулся к оврагу.

— Васька! Василь! Погоди! — закричал мне вдогонку отец.

Я сразу остановился и с опаской поглядел назад.

Отец стоял, опустив наган. Это действительно был мой отец — молчаливый, угрюмый, почти никогда не улыбающийся. За поясом у него был сверток с газетами, отпечатанными на синей оберточной бумаге. Надо было сразу броситься к нему на шею, поцеловать его в густые, колючие усы, но я подошел к отцу, как к чужому, медленно, неловкими шагами. Перепуганные Куница и Маремуха выглядывали из-за камня.

— Как ты попал сюда, Васька? — удивленно спросил отец, нагнувшись и целуя меня в лоб.

— Я из города... Мы зашли к дядьке Авксентию...

— Откуда ты знаешь эти пещеры?

— А меня прошлый год дядька Авксентий водил сюда...

— Дядька Авксентий? — переспросил отец и недовольно крякнул. Потом покачал головой и, заметив стоявших в отдалении хлопцев, спросил:— Это Маремуха, да? А второй кто? Я уж позабыл!

— Юзик Стародомский...

Оська подмигнул мне из-за спины отца.

— Это наши, зареченские...— вполголоса сказал отец обросшему человеку.

Тот вслед за отцом спрятал в карман револьвер. И вдруг... Что такое? Не может быть! Ведь это Омелюстый! Ну да, Иван Омелюстый, наш сосед, который тогда отстреливался от петлюровцев из башни Конецпольского. С перепугу я его сперва не узнал. Вот здорово! Значит, Иван жив? Но как он оброс! Видно, долго не брился.

— Дядя Иван, добрый день! — весело сказал я, протягивая соседу руку.

— Я же говорил Ваське, что вас не поймали, — сказал, подходя, Куница.

— Кто поймает? Кто меня может поймать? — насторожившись, спросил Омелюстый.

— А петлюровцы!.. Мы с Васькой тогда видели, как вы заскочили в башню. Помните? А тот чубатый хотел перебежать кладку, а вы в него выстрелили, и он упал прямо в речку!

— Ах да, вот ты про что,— сказал Иван и удивленно посмотрел на Куницу.— Ну, это когда было! Я уж позабыл. Да разве так ловят? Так, брат, ловить, знаешь, чур-чура — не считается.

— Дядя Иван, а вы знаете, что с тем человеком?

— С каким человеком?

— Ну, с больным. Помните, вы его ночью к нам приводили?

— Сергушин? — подсказал сосед.

— Я не знаю фамилию. Ну, тогда ночью вы с ним пришли.

— Да, да, Сергушин,— сказал Иван.

— Так его ж убили! Мы сами все видели.— И я рассказал, как поймали Сергушина, как расстреляли и как мы втроем убрали его могилу.

Отец и Омелюстый слушали мой рассказ очень внимательно. Отец посмотрел на меня чуть-чуть недоверчиво.

— Так вот оно что...— тихо сказал Омелюстый.— Я уже знаю, что его расстреляли, а вот как и где это случилось, от вас первых слышу.

— Дядя Омелюстый, а кто был этот человек? — заглядывая ему в глаза, спросил Маремуха.

— Которого расстреляли? Этот человек... Долго рассказывать... Знаете что, вот давайте подсобите нам сейчас, а потом, пожалуй, я вам расскажу.

— А что подсоблять?

— Вход в пещеру завалим.

— А мы хотели...

— Что хотели?

— Хотели пойти посмотреть пещеры,— объяснил Маремуха.

— Нечего вам в пещерах делать,— строго сказал Омелюстый.— Потом когда-нибудь я сам вас сведу всех. Не верите? Спросите вот Оську, сколько пещер я ему тут показал. Верно, Оська?

— Показали! — согласился Оська.

— Вот то-то же. А сегодня ходить туда нельзя! — сказал Иван и, оглядываясь, добавил: — Ну-ка, хлопчики, тащите камни из оврага, мы живо управимся.

Делать было нечего, пришлось таскать камни.

Пока мы таскали их, отец с Омелюстым заваливали этими камнями вход в пещеру.

Скоро от входа в пещеру осталась только маленькая щель.

— Фу! Заморился! — потирая руки, сказал Иван.— Пойдемте. Оська, фонарь не забудь!

Мы пошли по лужайке над оврагом. Лужайка поросла свежей, сочной травой. Тут хорошо полежать. Трава мягкая, душистая.

Отец прилег в стороне, под высоким явором. Омелюстый снял прорезиненный плащ и, сложив его вдвое, разостлал на траве. Он устроился на плаще и начал рассказ.

РАССКАЗ О НОЧНОМ ГОСТЕ

— В ту холодную, ветреную зиму, когда окончилась война с немцами, через наш город повалили из германского плена русские солдаты. Пожалуй, ни в одном городе Украины их не было столько в этот год. Ведь около наших мест пролегала главная дорога с фронта.

Худые, в рваных солдатских шинелях, с ногами, обмотанными тряпьем, шли люди из-под Тернополя и Перемышля через наш крепостной мост на вокзал, чтобы поскорее сесть на поезд и ехать домой в глубь России.

А в ту зиму появилась в городе опасная болезнь — «испанка». Сотнями она уносила людей в могилу, и все очень боялись ее. С этой болезнью еще могли коекак бороться те, у кого был дом, горячая пища, дрова.

Ну а каково было тем, кто глубокой морозной ночью пробирался Калиновским лесом? Болезнь настигала их в пути. Измученный голодом, тяжелой дорогой, человек вдруг понимал, что дальше идти не может: все тело горит, ноги подкашиваются, и — самое страшное — не от кого ждать помощи в холодном, засыпанном снегом лесу. И часто случалось: человек присаживался на краю дороги, чтобы немного отдохнуть, но уж подняться не мог, коченел и умирал тихой, неслышной смертью в каких-нибудь пяти верстах от жилья.

Да и в городе было не лучше.

Люди валялись на тротуарах вдоль Житомирской, по Тернопольскому спуску и в сырых, нетопленых залах духовной семинарии, куда их пускали обогреться гетманские чиновники. Я сам однажды видел, как со двора семинарии выехали одна за другой три подводы, заваленные трупами. На первых двух подводах мертвых еще кое-как прикрыли рогожными мешками, а на последнюю мешков, видно, не хватило, и возница сидел прямо на замерзших, посиневших трупах.

А как боялись одного только слова «пленный» на Житомирской улице!

Стоило такому человеку постучаться за помощью в дверь богатого дома на Житомирской, как мигом хозяева тушили свет, и дом замирал. А если он уж очень долго стучался, горничная, звякнув цепочкой, чуть-чуть приоткрывала дверь и кричала:

— Хозяев дома нету! Бог подаст!

Доктор Григоренко даже звонок у ворот снял и медную дощечку со своей фамилией. Он боялся, как бы, не дай бог, к нему не позвонил какой-нибудь измученный больной солдат.

А наши зареченцы хоть и бедные были, но нередко сами зазывали странников к себе — поесть горячего борща, отогреться у плиты, а то и просто переночевать на теплой печке.

Однажды на рассвете и к нам постучали, но слабенько так, чуть-чуть. Покойная мать моя проснулась и говорит:

— Иван, пойди спроси, кто там.

А я притворился, что не слышу,— очень уж хотелось мне спать. Тогда мама сама встала с постели. Она завернулась в одеяло, подошла к окну и стала дышать на замерзшее стекло.

Вдруг она отскочила — и к отцу:

— Ой, боже ж мой! Человека у нас под окнами убили!

Мы открыли не сразу. Сперва все оделись. Потом тихонько на кухню вышел отец. Он выглянул на улицу и увидел, что на обледеневших ступеньках нашего крыльца лежит человек. Никого больше вокруг не было.

Отважившись, мы открыли дверь на крыльцо и втащили человека к нам на кухню. Это был обыкновенный русский солдат, и упал он около нашего дома просто от голода и слабости.

Мать поставила греть воду, а отец притащил из кладовой большое деревянное корыто, мы с отцом осторожно раздели больного и посадили в корыто. Я поливал его теплой водой, а отец мыл.

Сколько мы воды на него потратили — не передать. Один за другим я брал с плиты казаны с теплой водой и опрокидывал их на голову больного. Он вскоре пришел в себя и только отфыркивался да глаза протирал. А я выносил грязную воду. Я выливал ее прямо с крыльца на улицу. Потом снег в этом месте почернел так, будто здесь грузили каменный уголь.

Все белье и одежду нашего гостя отец сложил в тючок и, перевязав бечевкой, вынес в курятник, на мороз. Это ему мама моя покойная так наказала:

— Человек нехай останется, а вшей его не надо. Пусть подохнут на морозе!

Звали больного Тимофей, а фамилия его была Сергушин. Он возвращался из германского плена к себе домой в Донбасс.

До войны Сергушин работал на Щербиновском руднике. У него под ресницами сохранились еще с той поры чуть заметные черные каемочки — такие каемочки, ребята, остаются почти у каждого шахтера, который долго рубит уголь.

Постлали мы нашему гостю в каморке за кухней, там он и лежал у нас.

В ту пору гетманская державная варта строго-настрого запрещала горожанам принимать к себе на жительство иногородних солдат, которые возвращались на родину. Гетман Скоропадский боялся, как бы среди них не оказались большевики.

Чтобы и к нам, чего доброго, не прицепились чиновники из гетманской варты, мы и слова никому не говорили про нашего больного. На что вот Мирон — наш сосед,— Омелюстый кивнул в сторону моего отца,— а и тот ничего не знал про Сергушина. Мы думали, что он недолго у нас погостит, но вышло по-иному.

Больше месяца пролежал он в темной каморке, а потом понемногу стал ходить по комнатам. Отец покойный, бывало, как заметит, что Сергушин вышел из каморки,— мигом к двери — и на ключ ее: отец боялся, как бы кто из заказчиков не заметил его.

А Сергушин пообвык в нашем доме и начал понемногу подсоблять отцу, который сапожничал.

Отец обтягивал колодку кожей, набивал подошву и отдавал Сергушину, а тот загонял деревянные шпильки. Ловко так приспособился — я и то не умел так. Наберет в рот пригоршню шпилек — и пошел выплевывать, словно шелуху от семечек, одну за другой. Выплюнул шпильку, сунул ее в дырочку, ударил молотком — нет шпильки, только маленькая квадратная шляпка из кожи торчит.

И брился он очень ловко: возьмет у отца обыкновенный сапожный нож и давай по оселку гонять. Водит, водит — иной раз добрый час. А наточит — нож, словно бритва, острый: хоть волос на лету руби. Потом, густо намылив бороду, так, что пена с нее падала на пол, он раза два проводил ножом по щекам — и волос как не бывало. Это его в окопах так бриться приучили. Побрившись, он пудрил лицо картофельной мукой, которую мать для киселя припасала. Иногда он садился у окошка и вполголоса пел свои шахтерские песни.

А развеселится — держись! Только поспевай смеяться. Он здорово умел показывать китайские тени. Ну и ловкие же у него были пальцы, прямо удивительно! Мы, бывало, плотно закроем ставни, а он внесет в свою каморку лампу, поставит ее на корзину и давай пальцами шевелить. И сразу на стене перед нами тени забегают. Чего только он не умел показывать: и собак, и кошек, и сову, даже рак у него получался как живой. А однажды обеими руками он показал нам, как дерутся два немецких солдата в касках. Мы со смеху чуть не поумирали. Сергушин часто вспоминал свой рудник. Трудная у него там была работа, отчаянная. Последние месяцы перед мобилизацией работал он запальщиком: рвал под землей динамитом камень, пробиваясь к чистому углю.

А я рассказывал Тимофею об училище, о том, какие у нас учителя, какая это нудная штука — итальянская бухгалтерия.

Однажды Тимофей слушал, слушал меня, а потом сказал:

— Брось ты, Ваня, к чертям это коммерческое,— все равно лавочника из тебя не выйдет, это я по тебе вижу. Парень ты молодой, здоровый, тебе на коне верхом скакать, а не за конторкой киснуть над той бухгалтерией. Сейчас, брат, другая коммерция нужна.

Ничего я не сказал в ответ Тимофею, потому что и без его слов коммерческое училище мне надоело хуже горькой редьки. Ведь это отец меня туда при старом режиме учиться послал. А сколько трудов это ему стоило, если б вы только знали! Три пары ботинок из самого лучшего бельгийского шевро он сшил совсем бесплатно директору коммерческого училища пану Курковскому. У каждого из членов педагогического совета отец побывал на дому и просил, чтобы меня приняли.

Выздоровел Тимофей совсем и уходить от нас собрался.

— Куда пойдешь, непоседа? — стал отговаривать его отец.— Из одной смерти насилу вылез, а сейчас другой захотел? И здесь, пока гетмана не прогонят, ты сможешь пользу принести не хуже, чем у себя в Донбассе.

Но, оставаясь у нас, Тимофей сказал отцу:

— Слушай, дружище, ты хошь не хошь, а я тебе помогать буду. Семья у вас немалая, а я без дела никогда не сидел. Подмастерье, правда, из меня плохой, но, думаю, подсоблю вам. Иначе не останусь.

Чтобы не обижать Сергушина, отец согласился. И с этого дня Тимофей стал помогать отцу.

Когда я возвращался из училища, он расспрашивал меня, что в городе, какие новости, что слышно из Советской России. Он просил меня доставать газеты, и я часто приносил их ему.

Как-то раз я сказал Сергушину, что в городе на столбах расклеен приказ о наступлении немцев на Петроград. Ну, он пристал ко мне: расскажи да расскажи, что написано в приказе. А я всего не запомнил. Вот и пришлось мне, как стемнело, бежать на базар за приказом. Долго, помню, я ходил около него: боялся, как бы не заметили гетманцы. Когда никого вокруг не было, я сорвал приказ со столба и притащил Сергушину. Тимофей похвалил меня за это, и с той поры я, выбирая удобные минуты, часто сдирал с заборов и со столбов разные гетманские приказы и объявления и приносил их Сергушину. Он все прочитывал и лучше моего отца знал, что делается в городе.

И вот однажды мама зовет его пить чай, а в каморке пусто. Мы туда-сюда, я на крыльцо выбежал — нет Сергушина. Пропал, словно нечистая сила его под землю утащила. Стало мне обидно: ушел, думаю, и не попрощался; хоть бы записку оставил. А мама даже сказала:

— Так всегда: сделаешь добро человеку, а он...— но не договорила.

Отец посмотрел на нее нехорошо так, и она сразу замолчала.

А поздно ночью слышим, кто-то в кухонную дверь стучит. Отец подошел к двери, окликнул, оказалось — Тимофей. Ночью мы его не расспрашивали, а уж утром пристали: «Где это ты пропадал вчера?» Выдумывал он всякое, а правды нам так и не сказал. И вот с той ночи повадился он уходить в город. Однажды он вернулся домой на рассвете, запыхавшись, точно за ним кто-то гнался, и долго смотрел в окно.

— Сиди дома, Тимофей! Куда тебя носит по ночам? — рассердился как-то раз отец.

А мать добавила:

— Тоже мне гулянье по ночам, когда люди спят. Еще беду накличете на нашу голову. И кого вы не видели на улице? Пьяных гетманцев? Ведь знакомых-то у вас нет?

— Как знать, дорогуша,— шутил Тимофей,— знакомых найти нетрудно, я парень веселый, у меня весь свет знакомые!

И вот в одну ясную лунную ночь город неожиданно заняли красные. Рано утром, чуть только рассвело, Сергушин ушел из дому,— как всегда, без шапки, в отцовском сюртуке, в длинных штанах, в калошах на босу ногу.

Вернулся он вечером, и мы его не узнали. Он пришел в кожаной буденовке с красной звездой, в защитной гимнастерке, в сапогах из хорошего хрома. Из

кобуры выглядывала рукоятка нагана. Сергушин отдал отцу его одежду и рассказал нам, что немцев и гетманцев из города выгнал Сумской полк и что в этом полку он отыскал много своих земляков.

— Землячков, землячков в городе — полно. То был я один, а сейчас весь Донбасс здесь! Коногоны, забойщики, откатчики — кого только нет! — радостно говорил он, и нам было весело вместе с ним.

Ушел от нас Сергушин поздно, а уходя, позвал меня с собою.

— Проводи ты меня, коммерсант, до церкви! — попросил он.

Я пошел... и больше не вернулся: Тимофей уговорил меня поступить к красным.

И в ту же ночь он устроил меня в Сумской полк. Его земляки-шахтеры сразу выдали мне обмундирование, карабин, саблю, а на рассвете почти всем полком мы ушли из города. Я даже не успел попрощаться с родными. Нас перебрасывали в другой уезд — добивать гетманцев.

Еще все спали, даже лавки на базаре были закрыты, когда мы верхом выехали по Гуменецкой улице на Калиновский тракт и запели веселую песню:

Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей
Шахтер за свободу вступает,
Разбивши купцов-богачей.

Что там скрывать, не сразу мне далась военная служба. После первого перехода от непривычки ездить верхом у меня так ломило ноги, что я едва ходил. Ведь до этого я никогда не ездил в настоящем кожаном седле.

Трудно справляться с лошадью — я не знал, как надо правильно надевать седло, и однажды надел его шиворот-навыворот, передней лукой к хвосту. Тимофей учил меня всему: и как затягивать подпруги, и как удобней, по ноге отпускать стремена...

А вскоре под Тарнорудой мы уж с ним вместе так лупцевали этих кайзеровских прислужников, что с них чубы в Збруч летели!

Подались мы дальше, за Житомир, и тут прошел по фронту слух, что Петлюра, заменивший к этому времени гетмана, захватил со своими войсками наш город.

Повернули мы обратно, на самого пана Петлюру, и, когда вместе с конницей Котовского отбили город назад, я узнал, что никого из моих родных нет в живых. Маму, потом отца с братом убили бандиты из отряда петлюровского генерала Омельяновича-Павленко. Когда красные отступали, мой отец забрал на складе воинского начальника две винтовки и спрятал их у нас дома, чтобы возвратить большевикам, как они вернутся. А петлюровцы, делая обыск, нашли их. Петлюровцев этих, говорят, привел к нашему дому Марко Гржибовский.

Недолго после этого пришлось мне оставаться в полку.

Меня и Сергушина, так как мы лучше остальных знали город, перевели в городской ревком. Я, вы помните, реквизировал оружие, а Сергушин перешел на работу в ревтрибунал. Он судил там саботажников, петлюровцев и тех, которые тайно помогали им. Вот тут-то я и узнал, куда он уходил от нас по ночам.

Однажды ночью Сергушин познакомился в городе с одной дивчиной. Вы ее, наверное, и не знаете — она жила далеко, возле станции: ее отец на вокзале служил. Кудревич некто. Сейчас ее в городе нет, она ушла с красными. Как они разговорились, как познакомились, да еще ночью, я не знаю. Знаю только, что эта дивчина много кое-чего интересного порассказала Сергушину о нашем городе. Ее мать стирала белье во многих богатых домах и знала, кто из буржуев помогал Петлюре. А дочка все это передавала Сергушину. И когда пришлось ему работать в ревтрибунале, он многое вспомнил из ее рассказов и, видно, пригодились они ему здорово.

В ту недобрую пору, когда надо было отступать, наши побоялись увозить Сергушина с собой: был он тяжело болен. Простить себе не могу, что не сумели мы отправить Тимофея вместе с красными...

Но с паном Григоренко, хлопчики, мы еще встретимся! Если бы вы только знали, сколько людей он уже выдал, этот лысый катюга!

— Дядя Иван,— первый нарушил молчание Маремуха,— а вы сами не боитесь, что вас поймают петлюровцы? Чего вы тут ждете? Удирайте в Жмеринку, верное слово!

— А что в Жмеринке? — улыбнулся Омелюстый.

— Как — что? Там же красные,— сказал Куница.

— И в Петрограде тоже красные,— ответил Омелюстый,— так что же, по-вашему, я и туда должен бежать? Уж лучше мы Красной Армии отсюда подсобим. А то если все побегут в Жмеринку, так кто же за Советскую власть из подполья бороться будет? Верно, Мирон?

— Ладно, ладно, нам с тобой идти пора! — уклончиво сказал мой отец.

Теперь он сидел хмурый, печальный, такой, как всегда. Видно, ему очень было жаль Сергушина. Помолчав, отец предложил:

— А не искупаться ли нам?

— Конечно, выкупаемся! — согласился Иван.— Пока подойдут люди из Чернокозинец, у нас добрых два часа.

— А они к пещерам не могут сразу прийти? — спросил отец.— Придут, а мы ушли.

— Нет, нет. Я объяснил Прокопу. Он приведет их к мельнице,— успокоил отца Иван и, обращаясь к нам, предложил: — Гайда купаться, хлопчики!

Целым отрядом мы спускаемся по оврагу к речке. Выйдя из лесу, подходим к мельничному саду. Он огорожен высоким плетнем. Стройные серебристые тополя растут в этом запущенном саду. Река здесь повернула влево, к мельнице помещика Тшилятковского.

Сквозь чащу сада слышен шум воды на мельничных колесах. Поскрипывают жернова в сером каменном здании мельницы. Ее стены видны сквозь просветы в деревьях. Там, в запруде, около мельницы, мы будем купаться. Лучшего места для купания не отыскать. Дно в запруде чистое, песчаное, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий, усыпанный сухим желтым песком.

Но что это? Какой-то странный дробный стук донесся к нам сверху. Похоже — кто-то колотит палкой по днищу пустого ведра. Захлебываясь, залаяли собаки.

Неужели это барабан стучит там, на горе?

Отец с Омелюстым замерли на месте. Они прислушиваются. Теперь уже ясно, что это стучат в самый настоящий барабан. И вслед за барабанным треском из-за невысокой горки вдруг выплыло желто-голубое петлюровское знамя.

— Петлюры! — бросил мой отец Ивану Омелюстому. Потом наклонился ко мне и шепнул: — Вы нас тут не видели. Понятно? Оська остается с вами. Последите, куда они пойдут.

— Давай, Мирон, быстренько! — поторопил отца Омелюстый.

И сразу, не успели мы еще сообразить, в чем дело, отец и Иван перепрыгнули через плетень мельничного сада. Слышно было, как зашуршал бурьян под их быстрыми шагами. А мы, покинутые, остались на дороге одни в тени высокого явора.

Яркое желто-голубое знамя плывет на нас с горы. Мы уже различаем идущего впереди перед знаменем офицера. Вслед за ним под частую дробь барабана ровно шагают петлюровцы.

— Айда в сад! — решил Оська и подбежал к плетню. Теперь уже Оська был командиром.

Друг за другом мы полезли на высокий, шаткий плетень. Он колыхался под нами. Казалось, вот-вот хрустнут тонкие, оплетенные лозой колья, и мы полетим на землю. Но все обошлось благополучно. Один за другим мы спрыгнули с плетня в бурьян и присели на корточки. Через щели нам была хорошо видна пыльная проселочная дорога.

Барабан стучал совсем близко. Как только первый отряд подошел, я, чуть не вскрикнув от неожиданности, толкнул под бок Куницу.

— Ну и чудаки же мы! Да ведь это наши гимназические скауты!

Оська быстро вскочил.

— Вот так штука,— сказал он.— Ведь эти панычи могут ненароком полезть в Лисьи пещеры...

— А что в пещерах, Оська, что? — засуетился Маремуха.

— Не морочь голову! — строго огрызнулся мой брат и тотчас подбежал к стройному серебристому тополю, который рос у самого плетня. Оська взобрался на плетень, а потом, обхватив руками и ногами бледно-зеленый ствол дерева, словно кошка, полез вверх.

На соседней вербе чернела куча черного хвороста — воронье гнездо. В нем покаркивали молодые воронята. Старые вороны заметили Оську. Они встревожились и, захлопав тугими крыльями, взвились с вербы. Вороны закружились над деревом. Они думали, что Оська полез отбирать у них птенцов. Через минуту стая черного воронья, назойливо каркая, летала над мельничным садом.

Оська был едва заметен нам с земли. Лишь кое-где сквозь серебристую мягкую листву просвечивала его белая рубашка.

— Василь! Слышь, Васька! — вдруг закричал он мне с верхушки тополя.

Карканье ворон заглушило его крик.

— Я тут. Лезть к тебе, да? — задрав голову, ответил я.

— Беги в село! Найди моего батьку, пусть скажет Омелюстому: они остановились у сломанного дуба!..

— А хлопцы? — сложив руки у рта лодочкой, закричал я.

— Пусть остаются тут... И ты сюда возвращайся. Скажи: они могут найти Лисьи пещеры. Быстро!

Я успел только шепнуть Петьке и Кунице: «Сидите тихо!» — а сам, стремглав перепрыгнув через плетень, взбивая босыми ногами нагретую солнцем пыль, побежал вверх, на гору, в село.

Около кладбища я столкнулся с Авксентием. Он был чем-то взволнован и, видно, не рад был, что повстречал меня. У него в руках был желтый фанерный чемоданчик, а за плечами болтался двуствольный дробовик.

— Куда ты бегал? Скажи Оксане, пусть разогреет тебе рыбу,— рассеянно бросил он и сразу же пошел дальше по направлению к Медной горе.

— Дядько, послушайте! — догоняя Авксентия, закричал я.

Дядька остановился. Тогда я рассказал ему, что видел отца и Омелюстого, и передал слова Оськи.

— На мельницу побежали? — переспросил он. Подумав минуту, дядька тряхнул головой и сказал:— Ну ладно, я их побачу... Знаешь, Василь, сдается мне, петлюровцы удирают. Что-то больно их много на Калиновском шляху.

— Удирают, правда? — чуть не подпрыгнул я от радости.

— А что ж, зимовать им тут, по-твоему? Хватит, попанували,— со злостью ответил дядька.

Я мигом повернул обратно.

Надо побыстрее вернуться к хлопцам. Вот будет здорово, если дядька не врет. Лишь бы красные прижали Петлюру покрепче.

Одно мне непонятно: почему петлюровские бойскауты пришли сюда? Да еще вместе с кошевым Гржибовским. А может, они еще не знают, что Петлюра отступает? Наверное, не знают!

— Удирают, удирают! — напевая себе под нос, мчался я к ребятам.

Маремуха и Куница лежали за зарослями крапивы в мельничном саду. Заложив руки под голову, Юзик смотрел на верхушку тополя. Там виднелся Оська. Черные вороны, подозрительно вытянув шеи, покачиваясь на верхушках соседних деревьев, наблюдали за ним. Я перелез через плетень и закричал брату:

— Слезай!

Ребята вскочили.

— Ну как, нашел дядю? — спросил Маремуха.

Оська быстро спустился вниз. Он спрыгнул прямо в крапиву и побежал ко мне, на бегу одергивая рубаху.

— А что я знаю, Оська! Слушай! — И я передал брату то, что сказал Авксентий.

— А-а-а, вот что! — сразу загорелся Оська.— Ну, тогда мы им покажем! Слушайте-ка, хлопцы, давайте нападем сейчас на этих панычей! Нельзя их пускать в Лисьи пещеры, они шкоды там наделают...

— Да ведь их много! Они нас поймают! — заволновался Маремуха.

— А мы не одни будем, хлопцев сейчас покличем. Гайда в село! — скомандовал Оська.

Мы прибежали в село. Оська долго водил нас по кривым переулочкам, сзывая ребят. На его свист из-за плетней появлялись хлопцы. Никого из них я не знал.

— Гайда панычей бить! Капелюхи отбирать у них! — приглашал Оська.

Хлопцы понимали Оську с полуслова. Должно быть, не раз собирались они вместе, затевали драки, уходили в лес. У них здесь привольно — не то что у нас в городе.

Когда вокруг нас собралась целая ватага, Оська приказал:

— А сейчас все по домам. Тащите известку да бутылки. И пробок побольше. Собираемся на кладбище, у братской могилы. Быстрей!

Хлопцы поспешно разбежались по домам.

БОЙ У СЛОМАННОГО ДУБА

Братская могила огорожена железной решеткой. Здесь, под высоким дубовым крестом, похоронены двадцать пять нагорянских крестьян. Совсем недавно, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, их расстрелял немецкий карательный отряд.

Это случилось после того, как немецкие оккупанты посадили на престол Украины гетмана Скоропадского.

Однажды под вечер, после душного июльского дня, в Нагоряны неожиданно вошел отряд германской пехоты в серых стальных касках.

Вскоре жители узнали, что кайзеровские солдаты пришли отбирать лошадей. Крестьяне наотрез отказались явиться со своими лошадьми к церкви, куда сгонял их немецкий унтер. Тогда солдаты, сняв с плеч тяжелые винтовки с плоскими блестящими тесаками, стали насильно сгонять крестьян на церковную площадь.

Оккупанты молча обходили дворы и выводили лошадей. Они не слушали, что говорил им хозяин, а просто давали ему в руки повод и приказывали вести лошадь, а если хозяин упрямился, подгоняли его прикладом.

Пригнанных к церковной ограде лошадей сразу же принялся осматривать ветеринарный фельдшер, рыжий усатый немец в серой фуражке-бескозырке. А немецкие солдаты тут же нагревали на походном кузнечном горне черное квадратное клеймо.

Если лошадь нравилась фельдшеру, солдаты ставили ей квадратное раскаленное клеймо на бедро, около хвоста, и затем отводили к лейтенанту — худому сердитому офицеру в лакированной остроконечной каске. Лейтенант, морщась от запаха паленой шерсти, выдавал хозяевам длинненькие синие квитанции.

Вместе с другими на площадь пригнали и Прокопа Декалюка — низенького молчаливого крестьянина, который жил около мельничной гати. К нему оккупанты пришли как раз в ту минуту, когда он собирался выехать в поле за снопами. Когда немецкий фельдшер стал щупать на площади его гнедого коня, Прокоп не утерпел и дал фельдшеру такого тумака, что с того сразу бескозырка слетела. Солдаты подскочили к Декалюку и стали крутить ему руки. Прокоп закричал:

— Помогите, люди добрые!

На помощь ему подбежали соседи, и вскоре на широком зеленом выгоне около нагорянской церкви разгорелся настоящий бой.

Озлобленные крестьяне не давали солдатам опомниться. Они били их чем попало: кнутовищами, поводьями, выдернутыми оглоблями.

Почуяв свободу, понеслись домой испуганные кони.

Придя в себя, солдаты стали стрелять из винтовок и быстро разогнали крестьян по домам.

Всю ночь до самого утра в селе стояла небывалая тишина. Немцы ушли из Нагорян в неизвестном направлении, и многим казалось, что все обошлось благополучно.

Но утром, как только рассвело, в Нагоряны на откормленных конях въехал эскадрон немецких драгун. Драгуны тихо проехали по главной улице и остановились у церкви.

Снова пригнали крестьян к церкви, но на этот раз уже без лошадей. Мужчин выстроили отдельно в два ряда. Немецкий фельдшер, лейтенант в очках и солдаты медленно прохаживались между рядами, опознавая среди выстроенных по ранжиру тех, кто расправлялся с ними вчера.

Отобрали двадцать пять человек, связали им руки и расстреляли их тут же, на глазах у всех, под каменной стеной сельской церкви.

Долго стоял над церковной площадью страшный крик. Срывая с себя пестрые платки, голосили жены убитых, плакали их дети, рыдали родственники. Они рвались к убитым, но тщетно: немецкие драгуны к самой церкви никого не подпускали. Прокопа Декалюка среди расстрелянных не оказалось. Он скрылся из села тотчас же после схватки с немцами, и долго о нем не было никаких вестей.

Солдаты караулили убитых до поздней ночи. А когда над притихшим селом взошла полная луна, они погрузили трупы на свои обозные двуколки, отвезли через плотину на правый берег реки и там зарыли. И только когда пришли красные, нагорянцы похоронили своих односельчан по-настоящему — здесь, вот в этой братской могиле.

Высокая ее насыпь еще свежа и не поросла травой. На дубовом кресте сверху донизу раскаленным гвоздем выцарапана надпись:

Тут спочивають
двадцять п'ять селян-незаможників,
які загинули від руки
проклятих ворогів України
німецьких окупантів

Мы шли в глубь кладбища. Нас догоняли сельские ребята. Почти все они были в самодельных соломенных капелюхах, в домотканых полотняных рубахах, в таких же грубых штанах. Босоногие, загорелые, они прыгали по могилам и на ходу ловко со свистом сшибали длинными кнутами целые ветки волчьих ягод, боярышника и калины. Некоторые захватили с собой туго сплетенные нагайки.

Мы подошли к братской могиле уже целой армией. Нас было человек двадцать.

— Хлопцы, слушайте-ка,— сказал Оська.— Видали, по селу прошли петлюровские паничи? С флагом. Они сейчас отдыхают под Медной горой. Давайте отлупим их как следует!

— Отлупить-то можно, а вот если они сдачи дадут? Их ведь сила! — почесал затылок низенький смуглый паренек в рваном капелюхе. Вокруг руки он обмотал толстую, сплетенную из белых кусочков сыромятной кожи нагайку.

Оська хитро улыбнулся.

— «Сила»! — передразнил он.— «Сила»! А у тебя уже уши трясутся? Не бойся, мы поделаем бомбы и с бомбами на них! А ну, кто что принес, показывайте!

Хлопцы выложили из карманов старые пробки, запыленные водочные бутылки с цветными этикетками, белую известь. Известки принесли много — она есть в любой украинской хате.

Оська расхаживал среди хлопцев, словно на базаре. Те показывали свои припасы, а Оська перебирал их, иногда хмурился.

— У кого негашеная известь — сыпьте прямо в бутылки,— скомандовал он.

— А у меня гашеная,— вышел вперед худощавый хлопец и показал Оське целый мешочек белой толченой извести.

— Выбрось! — строго приказал Оська.— Гашеная нам не нужна. Глядите, хлопцы, только негашеной засыпайте, и чтоб бутылки сухие были. Понятно?

— А если паутина в бутылке? — спросил кто-то.

— Насыпай. Лишь бы не вода, а то враз разорвет,— объяснил Оська.

Рассевшись на могилах, хлопцы молча стали засыпать известью грязные бутылки.

У нас было только одно шило — в моем перочинном ноже. Мы поочередно просверлили этим шилом дырочки в заткнутых пробках. Оська раздал нам наспех выструганные, похожие на зубочистки гусиные перышки, и мы просунули их в пробки.

— Слушай, Оська, а ведь выпрет пробку,— нерешительно сказал Маремуха.

— А мы сейчас их проволокой прикрутим,— успокоил тот Маремуху и крикнул сыну Прокопа Декалюка — низенькому смуглому хлопцу в рваном капелюхе: — Михась! Сбегай-ка на тот край кладбища, знаешь, там над могилой попа Симашкевича жестяной венок висит. Нащипай-ка из него проволоки. Или нет... тащи-ка сюда весь венок!

Минуты через две Михась Декалюк возвратился, волоча по зеленым могилам тяжелый, с посеребренными листьями венок. Каждый листочек был примотан к железному обручу венка тонкой и мягкой проволокой.

Сразу же всей компанией мы стали потрошить венок. Серебряные листья дрожали под нашими быстрыми пальцами и один за другим падали в густую траву.

Прошло несколько минут, от венка остался только голый, ободранный обод, а листья, украшавшие его раньше, валялись вокруг на могилах.

Оська показал нам, как ловчей и крепче закрепить пробки, и мы притянули каждую пробку проволокой к горлышку бутылки.

Наконец, когда все приготовления были закончены, Оська скомандовал:

— А ну, скорее!

...К бойскаутам мы подбираемся с правого берега реки по густым, скрывающим нас от чужого глаза кустарникам. Оська послал вперед на разведку двоих ребят. Только мы подошли к повороту реки, разведчики замахали нам.

Перед нами, на другом берегу, открылся скаутский лагерь.

На большой лужайке, у сломанного дуба, бойскауты натянули зеленые брезентовые палатки. Между палатками разложены костры. Ярко горит собранный в лесу прошлогодний хворост. Дым густо клубится над кострами, подкуривая подвешенные над огнем австрийские котелки. В них варится вкусный кулеш из пшена, сала и картошки.

Вся лужайка освещена солнцем. А наш берег уже в тени. Мы спрятались под кустами возле брода; нас совсем не видно, хотя мы находимся очень близко от скаутского лагеря.

Пообедав, скауты собрались у кошевого знамени. Свернутое на древке, оно воткнуто в землю вблизи сломанного дуба. Вокруг знамени, с деревянным посохом на плече, медленно расхаживает Кулибаба. Из кустов, которые начинаются сразу же за сломанным дубом, вышел Марко Гржибовский. Он объяснил что-то скаутам, и мы увидели, как большая их группа — самые рослые — пошла за Гржибовским. Остальные чего-то дожидаются.

«Наверное, скауты затевают игру в «сыщика и вора»,— решил я и обрадовался, что Гржибовский ушел из лагеря, захватив с собою маузер. Его скауты со своими посохами да кинжалами не так страшны. Но что, если они, скауты-воры, вздумают запрятаться в Лисьих пещерах?

— Хлопцы, слушайте,— тихо подозвал нас Оська.

Мы подползли к нему вплотную.

— Вот он и ты, Федька,— сказал Оська, показывая пальцем на двух сельских ребят,— возьмите закупоренные бутылки. Как только мы перейдем речку, вы проберитесь по берегу к тому месту, где пенек торчит. Тихонечко опустите в воду все бутылки. Только не все вместе — одну здесь, другую рядышком, а то побьются.

Потом Оська обратился к хлопцам, которые вызвались кидать бутылки «с руки»:

— Баночки для воды не потеряли?

Куница показал Оське белую консервную банку, долговязый хлопец — зеленую с отбитым горлышком бутылку, а Михась Декалюк протянул небольшой глиняный горшок.

— А сам я наберу сюда,— сказал Оська, размахивая ржавым солдатским котелком.— Закатайте штаны!

Все мы стали подвертывать штаны выше коленей.

Оставшиеся у сломанного дуба бойскауты все еще ничего не подозревали: они смотрели в ту сторону, куда ушел со своей группой Гржибовский.

Неожиданно сверху, с горы, послышался свисток. Должно быть, это сигнал кошевого. Ага, так и есть! Человек двадцать скаутов, те, кому выпало быть ворами, обгоняя друг друга, побежали в лес. Те, что остались у палаток, видно, не собираются покидать лагерь. Они сидят у знамени и разговаривают.

— Гайда, хлопцы! — позвал Оська.

Один за другим, легко раздвигая кустарник, мы спустились к реке и вошли в холодную воду.

Согнувшись, почти касаясь руками воды, мы перешли речку вброд шагах в пятидесяти ниже сломанного дуба. Дно здесь было каменистое, покрытое тиной и грязью, голыши скользили, ноги разъезжались, а тут еще быстрое течение толкало, сносило вниз.

Возле самого берега Оська, Куница, Михась Декалюк и долговязый хлопец зачерпнули в свои посудины воду. Выскочив первым на берег, Оська отослал хлопцев утопить под скаутским лагерем закупоренные бутылки.

Хлопцы убежали. Мне показалось, что у них в руках самые настоящие бомбы.

Мы ждем их возвращения, переминаясь с ноги на ногу. Стоять на берегу очень неприятно. Каждую минуту нас могут заметить скауты: ведь мы у них под самым носом.

Хлопцы возвращаются обратно бегом. Еще издали они кивают головами. Готово! Вот-вот грохнет взрыв. Мы быстро подползаем к сломанному дубу.

Ох, как колотится от нетерпения сердце! Поскорее бы выбежать на освещенную солнцем лужайку, да закричать, да броситься врукопашную.

Коричневый, наполовину сгнивший ствол сломанного дуба виден сквозь кусты. Слышно, как разговаривают на лужайке скауты.

— Наливай! — приказал Кунице Оська.

Я посторонился: как бы в руках Куницы не разорвало бутылку. Рядом со мной из глиняного горшка лил воду в бутылку низенький смуглый Михась. Руки у него дрожали, вода то и дело брызгала на траву, и лишь половина ее, булькая, попадала в горлышко, растворяя задымившуюся уже известку.

Хлопцы быстро заткнули мокрые бутылки пробками.

— Кидай — и бежим! — прошептал Оська, и в эту же секунду за сломанным дубом, в реке, гулко, как настоящая бомба, разорвалась первая из потопленных бутылок.

Из-за кустов нам видно, как сразу забегали, засуетились на поляне голоногие скауты.

— Ур-а-а-а! — хрипло крикнул Оська и швырнул прямо на зеленые палатки свою бутылку. Вдогонку полетели и остальные. Куница молодец, бросил свою дальше всех.

Бутылки падают на поляну и тотчас же одна за другой — не успевают скауты понять, в чем дело,— оглушительно рвутся. Брызгами разлетается мокрая, горячая известь.

Мы тоже кричим «ура». Звенящий пронзительный крик наш разносится над рекой. Мы опрокидываем на лету палатки и, скользя по мягкой траве поляны, подбегаем к скаутам. Я неожиданно столкнулся лицом к лицу с Котькой Григоренко. На щеке у него белеет известь. Видно, осколок нашей «бомбы» не миновал Котьку.

Достанется же тебе сейчас, змеиный командир! С разбегу, одним ударом кулака я швыряю его на палатку. Колышки захрустели, палатка мякнет, и Котька падает на землю. Он хочет ударить меня носком ботинка в живот, но я изворачиваюсь и, сорвав с него шляпу, бегу дальше.

Мы забрасываем в кусты легкие скаутские посохи, сбиваем на ходу котелки — кулеш с шипением льется в не успевший погаснуть жар костров.

— Флаги хватай, флаги! — хрипло кричит Оська, размахивая маленьким звеньевым флажком с львиной пастью посредине.

А у сломанного дуба идет жаркая схватка за кошевое знамя.

Два дюжих скаута, с кинжалами на поясах, тянут его к себе. Они уцепились за древко знамени и пятятся назад, в кусты. Несколько сельских хлопцев наседают на этих рослых скаутов. Они тузят их кулаками, стегают нагайками. С ними вместе и низенький Маремуха. Он вертится под ногами у скаутов, бьет их головой в живот, щиплет за ляжки. Кто-то из хлопцев — кажется, Михась Декалюк — прыгнул на шею Кулибабе и таскает его за волосы.

В это время в реке запоздало рвутся одна за другой еще две бутылки. Звук разрыва настолько силен, что кажется, будто с того берега палят из настоящих пушек.

Один из великовозрастных скаутов, растерявшись, отпустил древко и бросился в кусты. Другой, потеряв равновесие, полетел на землю, а Михась Декалюк кубарем покатился через него.

Древко знамени треснуло и сломалось. Золотая бахрома оторвалась от шелкового полотнища. Хлопцы кучей навалились на сваленного скаута. Они тузят его под бока, а он вертится вьюном на растерзанном знамени, но подняться не может.

В эту минуту к хлопцам подбежал Куница. Изловчившись, он одним рывком выдернул из-под скаута обломок древка с изодранным знаменем и побежал к реке.

— Удирай! Удирай! Догоняют! — закричал вдогонку Кунице Оська, заметив, что следом за Юзиком пустились двое скаутов-«удавов».

Вот чудаки, кого догнать захотели! Все равно теперь знамя наше. И мы помчались вслед за Куницей.

А вверху, на горе, скауты уже пересвистываются вовсю. Слышно, как хрустит хворост. Кто-то — наверное, сам Марко Гржибовский — пальнул из маузера. Видно, скауты, почуяв недоброе в лагере, несутся сюда.

Не оглядываясь, мы рванули через кусты, крепко сжимая в руках трофеи — скомканные скаутские шляпы, обломки посохов, звеньевые флажки.

Я не заметил даже, как мы перебежали обратно брод, как кто-то из нас поскользнулся и обдал бегущих брызгами воды. Скауты все еще пересвистываются под горой и на поляне около сломанного дуба.

Преследуемые этими свистками, мы мчимся все быстрее. В ушах еще отдаются скаутские крики, а перед глазами мелькают их испуганные лица, смятые палатки, погасшие костры.

Надо удирать что есть духу, пока они не успели опомниться.

Мы несемся, точно вперегонки, по узенькой лесной тропинке, задевая локтями ветки кустарника, обламывая сухой валежник. Останавливаемся только за Барсучьим холмом, когда уж нет сил бежать дальше.

За Барсучьим холмом тихо, свежо и спокойно. Хлопцы отдышались и поснимали капелюхи. Они обмахиваются ими: жарко! Оська расстегнул ворот сорочки. К его разгоряченной груди пробирается лесной прохладный воздух.

— Ох, и дал я этому пацюку! Всю чуприну ему повыдрал,— сказал Михась, отирая смуглой ладонью лоб.

— А вы видели, как я того, здорового, за ногу укусил? Когда б не я, он никогда знамя не отдал бы! — выкрикнул Маремуха.

— Что ты хвастаешься? Если б не Куница, знамя осталось бы у них,— ввязался и я в разговор. Мне хотелось сбить с Петьки гонор.

— Будет, хлопцы, не ссорьтесь. Все воевали добре,— сказал Оська.—Скажите-ка вот лучше, где нам флаги попрятать, а?

И в самом деле, куда девать флаги? Вот эти маленькие, со звериными и птичьими головами, можно запихнуть хоть за пазуху, а что с кошевым делать? Ведь оно широкое, хоть стол застилай. Идти с флагами в село никак нельзя. А вдруг мы напоремся на какого-нибудь петлюровца? Раздумывать много нет времени. Ведь из лесу вот-вот могут выскочить с острыми бебутами в руках взрослые скауты.

— Давайте спрячем в березовой роще,— предложил Оська.

В самом деле! Ведь никому и в голову не придет искать знамя там!

По узенькой меже, разделяющей два пшеничных поля, мы пошли вперед, в березовую рощу. Мы давим ногами голубые васильки, дикие, чуть распустившиеся маки, лиловый куколь. Межа густо заросла цветами и сорной травой. А вокруг, по обеим сторонам межи, колышется от ветра еще не окрепшая, но уже густая пшеница: пробежит полем ветер, и пройдет по ней едва заметная, неслышная зыбь.

В березовой роще совсем прохладно. Она раскинулась на пригорке, и ее обдувает со всех сторон ветер. Чуть слышно покачиваются ровные, стройные березы. В кустарнике заливается черноголовый жулан-сорокопут. Он поет громко, взволнованно, не слыша наших шагов.

Мы спустились в лощину, к ручейку. У самого берега Куница опустился на колени. Под корнями старой березы он обеими руками стал рыть яму. Земля здесь рыхлая, влажная, перемешанная с глиной — копать Юзику легко.

— Довольно! — скомандовал Оська и сунул в яму свернутое кошевое знамя.

Яма закопана. Теперь можно и по домам.

Когда мы шли в село, где-то далеко прокатился глухой раскат грома.

— Будет гроза,— заметил рыжий долговязый хлопец.

— Ну, выдумал! — удивился Маремуха.— Погляди, небо какое чистое.

— Это не гром, это красные стреляют,— уверенно сказал я.

— Откуда красные? Это гром,— повторил рыжий хлопец.— Вы, городские, небось никогда не слыхали настоящего грома. Вот увидите, будет дождь. Слышь, как вороны закаркали. Это к дождю.

Я промолчал. Пусть думает, что это гром. Поглядим, кто из нас будет прав.

Мы подходим к селу. Уже вечереет. Коровы возвратились с пастбища и, вытягивая шеи, мычат около ворот. Хозяйки пускают их во двор и принимаются доить. Слышно, как за плетнями то в одном, то в другом дворе молоко, точно дождь, стучит в донышки широких цинковых ведер. Почуяв вечер, уже суетятся, укладываясь спать, полусонные куры. Как незаметно подошли сумерки! Оська велит хлопцам собраться завтра после полудня в березовой роще.

— Будем делить добычу,— говорит он важно.

Хлопцы расходятся по хатам. Один из них вытащил из кармана скаутскую ковбойскую шляпу и, сняв свой простой соломенный капелюх, с опаской оглядываясь по сторонам, надел ее на голову. Я поглядел ему вслед. Сделав два шага, хлопец чего-то испугался, снял шляпу и опять засунул ее в карман. Трус. Как Маремуха. А я вот свою надену, и никто мне ничего не сделает. Я смело надел Котькину шляпу — она велика мне — и пошел за ребятами.

Но Оська увидел это и сразу насупился.

— Сними! — приказал он.

— Ну и сниму. Мне не жалко...

Вчетвером мы зашли в Оськин двор. Удилище и сетка Петьки Маремухи по-прежнему стояли под крыльцом. Оськина мать сидела на завалинке и, сжав коленями макотру, лущила в нее прошлогоднюю кукурузу. Она терла один початок о другой. Золотистые зерна кукурузы глухо падали в большую, глазурью раскрашенную макотру.

Авксентий, одетый в домотканую коричневую коротайку, стоял тут же. За плечами у него виднелся все тот же двуствольный дробовик. Он собирался уходить.

Увидев нас, он спросил:

— Где были, хлопцы?

— Мы панычей городских лупили, тато,— ответил Оська, вынимая из-за пазухи петлюровский флажок.— Ох, и дали мы им перцу!

— Каких панычей? Тех, что с барабаном? Юнкеров ихних?

— Ну да, ну да,— запрыгал Маремуха,— юнкеров. Мы им палатки оборвали все чисто, шляпы забрали,— вон у Василя шляпа есть. Покажи, Василь, шляпу.

— А где вы били юнкеров? — спросил Авксентий.

— Под Медной горой, около речки,— сказал Оська, хвастливо размахивая скаутским флажком.

— Они не юнкера. Они скауты. Юнкера — те в юнацких школах обучаются, а это гимназисты, их готовят на подмогу Петлюре,— хмуро поправил дядьку Куница.

Но тот сказал:

— Знаю, знаю! Шпионы петлюровские малолетние в тех отрядах готовятся. Значит, это вы пальбу там подняли? А я голову ломал: откуда такой переполох? Из чего же вы стреляли? Я никак не мог разобрать. Не то обрезы, не то бомбы...

— Ага, ага, бутылочные бомбы,— хитро улыбнулся Оська.

— Бутылочные бомбы... Врешь. Откуда они у вас? Где вы их взяли?

— Да не взяли, а сделали,— объяснил я Авксентию.

— Верное слово, сделали,— подхватил Оська.— Насыпали извести в бутылки — вот и бомба. А как они удирали, тато! Кто в кусты, кто куда. Они думали — то настоящие бомбы. Мы у них там все порасшвыряли, а Куница...

— А кто велел тебе нападать на них?— вдруг сурово перебил Оську дядька.

— А мы сами...— начал Оська.

— «Сами, сами»! А ты знаешь, как вы могли нашкодить? Хорошо, хлопцы

успели повытаскать все оружие из пещеры, а то довелось бы расхлебывать вашу кашу.

— Они ж за Петлюру! — удивленный словами дядьки, сказал Маремуха.

— Ну и что ж? А за них могли и нас похватать. Пускай бы шли своей дорогой.

— Не похватают! Красные ведь близко,— ответил я дядьке.— Вы же сами говорили.

— Кто его знает,— неуверенно сказал дядька,— то все бежали в город, а вот недавно через село на Жмеринку опять проскакало шестеро петлюровцев. Я сейчас пойду сам побачу, как там, на шляху, а вы здесь осторожненько...

— А мы с вами пойдем, дядя,— попросил я Авксентия.

— Э, нет, на шляху теперь неспокойно, а мне еще Мирона захватить надо. Заходите в хату, повечеряйте — и в клуню. Оксана, собери-ка хлопцам ухи да вареников,— сказал дядька на прощание жене и ушел по направлению к Калиновскому тракту.

После ужина, когда мы переходили из хаты в клуню, я увидел, как по небу к Нагорянам подползали густые багровые тучи. Неужели тот рыжий хлопец правду сказал, что будет дождь?

МЫ ПОКИДАЕМ СЕЛО

Ночью в самом деле пошел дождь. Удар тяжелого грома разбудил нас. Через распахнутые двери клуни было видно, как вспыхивала молния, освещая влажные листья яблонь и слив. С кладбища сразу потянуло сыростью. Зарывшись в сухое сено, я слышал, как ливень хлестал по листве, как крупные дождевые капли, падая наземь, задевали листочки кустарника, молодую завязь плодов на фруктовых деревьях и обвитый повиликой сгорбленный плетень усадьбы Авксентия.

И в этом ночном дожде, и в молнии, то и дело поджигающей зеленовато-синим пламенем густое, черное небо, и в тяжелых раскатах страшного ночного грома, сотрясающего мокрую землю, было одновременно что-то жуткое и веселое.

Разбуженный ночной грозой, я долго не мог заснуть. Я вспомнил, что случилось за последний день, и было мне от этого радостно и чуть-чуть тревожно.

Теперь, думал я, обязательно должны прийти красные. Если они не придут, мы пропали. Ни Котька Григоренко, ни его приятели-скауты не спустят нам вчерашнего набега.

Каково-то им сейчас на поляне у сломанного дуба? Вряд ли они успели уйти оттуда. Намочит же их ливень! Колышки палаток сломаны, брезентовые полотнища забрызганы известкой — мы здорово разорили скаутский лагерь, укрыться им негде.

А Марко Гржибовский? Вот бесится небось, что мы у него знамя его шпионское утащили! Не удалось Гржибовскому обучить скаутов, как надо одной спичкой разжигать костер, не смогли они доиграть до конца в «сыщиков и воров», не поели свой кулеш. Не спас их ни святой Юрий, ни богородица. Зря они пели свою хвастливую песню, вступая в Нагоряны.

Поливай их, дождь, сильнее, крепче, пусть на всю жизнь запомнится им этот поход!

А вот мне да похрапывающим рядом Кунице, Оське и Маремухе хорошо. Никакой ливень не прошибет эту плотную, крепко сшитую соломенную крышу. Под нами чуть колючее, пахнущее лесными полянами и ромашкой сено.

Кусачие былинки щекочут уши и щеки, залезают в нос, но я лениво отстраняю их и, прижавшись к мягкому толстенькому Маремухе, обняв его левой рукой, усталый и довольный, крепко засыпаю под этот радостный, теплый дождь.

Просыпаемся мы поздно.

Тихое утро стоит в саду. Двор за плетнем уже весь освещен солнцем. Через открытую дверь клуни видно, как посвежела и еще ярче зазеленела листва на деревьях. Покрытая глазурью макотра блестит на плетне.

— Вставай, Петро! — толкнул я под бок Маремуху. А он еще глубже зарылся головой в сено.

Я пощекотал Маремуху под мышками, и тогда он вскочил на колени так быстро, что все сено в клуне зашевелилось.

— Вставай! Вставай! Сплюх!

А он, словно на морозе, стал быстро обеими ладонями растирать свои розовые уши.

— А знамя-то наше промокло — слышал, какой дождь ночью был? — потягиваясь со сна, сказал Оська.

— Не промокло, я его под корнями зарыл,— успокоил Оську Куница и, схватившись за балку, как на турнике, поднялся вверх. Из-под стропил посыпалась мелкая труха.

Во дворе громко заговорила с кем-то Оксана.

Мы вышли к ней и поздоровались. Какая-то пожилая сгорбленная женщина сразу же ушла, а Оксана тихо пожаловалась нам, что в селе «ой как неспокойно». Только и разговоров, что красные близко. Еще на рассвете селяне тайком от старосты угнали своих лошадей за Медную гору. Они боятся, что лошадей могут реквизировать для эвакуации петлюровцев. Поговаривают, что еще ночью петлюровские разъезды отняли всех коней в Островчанах.

— Беда мне с мужем,— сказала Оксана,— ушел, слова не сказал, хозяйство оставил, а я сама тут за все отвечай. Хотела запрятать в погреб кабанчика, а он вырвался, лежит на глине и кричит. Наверное, вывихнул ногу.

Она говорила с нами так, словно мы были приятели Авксентия. Мы сочувственно слушали ее жалобы, а сами думали: что же нам делать? Кабанчик кабанчиком, а вот как нам быть?

Ведь тут сейчас неинтересно. Авксентий хитрый. Ушел потихоньку к партизанам и оставил нас. А вдруг где-нибудь под городом уже начинается бой? А здесь ничего не увидишь. Но мы не маленькие. Мы сами знаем дорогу обратно.

Мы решили вернуться в город.

— Пойдем с нами, Оська,— предложил я и брату.

Но его мать крикнула:

— Никуда он не пойдет! Не смей ходить! Тато велел ему оставаться дома. Сиди здесь, Оська, хоть ты поможешь по хозяйству.

Оська кисло сморщился, но ослушаться не посмел.

Делать нечего. Пойдем одни. А жаль!

Мы попрощались с теткой, крепко пожали руку Оське и отправились в путь. Лесной дорогой мы пошли в город.

Хорошо в лесу после дождя.

Простые лесные цветы пахнут особенно сильно. У дороги, где стелется барвинок, выглядывают из-под кустов синенькие колокольчики, лесные фиалки, иван-да-марья. В розовых цветках шиповника жужжат пчелы. А как здорово поют где-то вверху на деревьях невидимые снизу птицы! Весь лес дрожит от их звенящего пения.

На серой осине глухо трижды прокричала кукушка и затихла, должно быть услышав наши шаги. Мы шли по влажной тенистой дороге, то и дело пересекаемой обнаженными корнями деревьев. Мы перепрыгивали через лужи, ноги скользили и разъезжались в стороны.

Около березовой рощи я вспомнил, что Оська договаривался сегодня после полудня со здешними ребятами делить кошевое знамя. Ведь мы имеем право тоже получить по куску этой добычи, отнятой у наших врагов.

— Возьмем, хлопцы, свою долю? — кивнул я на лощину.

— А ну его, пускай Оська пользуется. Куда оно нам? — отмахнулся Куница.

— Возьмем, возьмем! Даром, что ли, дрались? — запрыгал Маремуха.

Ага, большинство на моей стороне. Мы сворачиваем к ручейку. Маремуха разрывает обеими руками землю. Я вытаскиваю знамя из-под березовой коряги и стряхиваю с него липкую глину. А все-таки дождь промочил знамя. Шелк намок и почернел. Ну, как же теперь его делить? Нас было человек двадцать, — если порезать знамя на двадцать равных кусочков, каждый получит по небольшому, величиной с носовой платок, куску шелка. А ведь сельские хлопцы похватали те куцые звеньевые знамена. Если бы не Куница, кто знает, это широкое кошевое знамя могло остаться у скаутов. Мы имеем полное право взять себе больше, чем остальные. А что, если распороть знамя пополам? Не долго думая, я достал из кармана перочинный нож и, сунув Маремухе край знамени, натянул свой

конец и разрезал знамя пополам. Потом оторвал руками остатки бахромы и подал желтое полотнище Маремухе.

— А теперь как поделить? Кусок желтого и кусок голубого? Надо было иначе. Эх, ты! — покачал головой Куница.

— Зачем делить? Мы возьмем себе половину, вот и все,— успокоил я Куницу.

— Но ведь нас трое!

Ишь как запел! Минутку назад фыркал — «не надо», а теперь глаза загорелись.

— А мы жеребок бросим. Кто вытянет, тот получит весь кусок. Из него сорочка выйдет или скатерть. А платки-то нам зачем? Что мы, девчонки?

Куница задумался, а Петька Маремуха сразу перешел на мою сторону.

— Давай! — закричал он.— Желтое мы оставим, голубое себе возьмем. А я загадаю. На палочки или на камешки.

— Ну, иди загадывай... На палочки...— подумав и тряхнув головой, милостиво разрешил Куница.

Скомкав желтую полоску шелка, Петька засунул ее обратно в ямку под старой березой. Потом он убежал в кусты и возвратился оттуда с зажатыми в кулаке тремя палочками.

— Самая коротенькая — знамя! — объявил он.

Я потащил жребий первым. Маремуха боялся, что мы подсмотрим, и так зажал палочки, что приходилось вытаскивать их силой.

«Интересно, кому же достанется шелк?» — подумал я, разглядывая свою палочку. Кончики ее Петька обкусал зубами.

Вытащив жеребок вслед за мной, Куница потребовал:

— Покажи!

Петька раскрыл потную, дрожащую руку. Мы уложили на ней рядышком свои палочки, и оказалось, что самая коротенькая досталась Кунице.

— Получай,— не без сожаления отдал я ему мокрую полосу шелка.

Маремуха грустными глазами следил за тем, как Юзик, словно мокрое белье, выжал полотнище и засунул его себе за пазуху. Щелкнув языком, Куница весело полез по откосу лощины вверх, а мы, неудачники, вслед за ним.

Когда мы перевалили через Барсучий холм, я увидел на другой стороне реки ту самую поляну, где мы вчера дрались с петлюровскими панычами.

Поляна была пуста. Только выжженные кострами черные лысины, истоптанная трава да белые лужи известки напоминали о вчерашней схватке.

БЕГУТ ЧУБАТЫЕ

Шумный Калиновский шлях пролегает где-то в стороне. До самого города Куница ведет нас напрямик по заросшим полынью межам; мы минуем засеянные низенькой густой гречихой поля и одну за другой пересекаем поросшие травой безлюдные проселочные дороги.

— Сколько мы уже идем, так до вечера домой не доберемся,— едва поспевая за Куницей, пробурчал уставший, измученный Маремуха.

Бедному Петрусю сегодня досталось. Шутка ли сказать, сколько мы прошли, а еще ни разу не отдыхали.

— Ладно, Петро, не журись,— сказал Куница,— у кладбища отдохнем. Давай быстрей.

— Юзик, кладбище, кажется, скоро? Да?— не вытерпел я.

— Скоро, скоро. Видишь, липа на бугре покосилась? За ней и кладбище.

Юзик прав. Только мы поднялись на бугор, как сразу вдали зазеленели яворы кладбищенского сада. За ними белеет наш город.

На холмике у кладбища мы делаем привал. Хорошо после длинной дороги улечься на мягкой траве, под высоким тенистым явором и слушать, как где-то около самого уха в белых и розовых цветах клевера жужжат шмели.

Налево, за тюремными огородами, пересекая зеленые поля, тянется до самого горизонта белая полоска дороги. Она то идет прямая, ровная, то, встречая на своем пути зеленые курганы, петляет вокруг них причудливыми зигзагами, то пропадает совсем в темной чаще леса, то, вырвавшись из него, снова вьется по

сенокосам, баштанам, полям — узенькая белая полоска покрытого мелким камнем шоссе. Это и есть Калиновский шлях — главный путь из нашего города на север.

Серая дорожная пыль клубится сейчас вдоль телеграфных столбов: в город одна за другой мчатся подводы, тачанки, экипажи. Их грохот доносится сюда через тюремные огороды и маленькую рощицу, отделяющие нас от Калиновского шляха.

Интересно, кто это едет: красные или все еще петлюровцы?

— Давай пошли!— поднял нас Куница.

Мы не посидели и двух минут, но тотчас вскакиваем и пускаемся дальше. Хорошо утоптанная тропинка ведет нас в город.

Миновали кладбище. Уже маячат вдали, на Житомирской, верхушки стройных серебристых тополей.

Вдруг Куница прыгнул через канаву, круто повернул на Тюремную.

— Куда ты, Юзька? — окликнул я его.

— Давай, давай,— торопит Куница.

Мы выбегаем на мостовую этой окраинной улицы.

Вот и тюрьма — огромное каменное здание, обнесенное с четырех сторон высоким кирпичным забором.

— Ох ты! — крикнув от неожиданности, сразу присел Маремуха.

За тюремной оградой зазвенело разбитое стекло.

— Окна бьют,— тихо сказал Куница, присев около меня на корточки.

И в эту самую минуту в каких-нибудь пятидесяти шагах от нас медленно распахнулись широкие, окованные железом тюремные ворота. Оттуда один за другим на тюремную площадь выскочили пятеро петлюровцев в черных коротких жупанах. Выбежали. Остановились. Вот первый из них, самый высокий, махнул рукой на кладбище. Мигом, вытянув винтовки, охранники перебегают улицу. Они перепрыгнули через кладбищенскую ограду и пропали среди мраморных крестов. Чуть шевельнулись и сразу же затихли густые кусты жимолости.

— Посмотри, посмотри!— приподнимаясь, шепчет Куница.

Из самой крайней, левой решетки верхнего этажа тюрьмы, пробив стекло, со звоном вылетел красный продолговатый кирпич. И вслед за этим то из одного, то из другого окна, словно по чьей-то команде, падают и разлетаются вдребезги грязные, запыленные оконные стекла.

Заключенные — все те, что были против Петлюры,— повисли на решетках. Они машут руками, что-то кричат, а что — не разберешь. А вот в окне второго этажа около водосточной трубы заклубилась белая известковая пыль. Ого! Из камеры по железной решетке бьют каким-то тяжелым куском железа. Глухие нетерпеливые удары разносятся на всю тюрьму. Еще немного — и выломают решетку.

Но с Куницей разве досмотришь?

— Гайда, хлопцы!— торопит он нас.

Нехотя мы побежали вслед за ним по Тюремной. Я бегу и оглядываюсь. Интересно бы посмотреть, как люди, брошенные Петлюрой в тюрьму, выломав решетки, выбегут на волю, как тот славный повстанец Кармелюк. Куница, заметив, что мы отстали, кричит:

— Давай быстрей, а то палить начнут!

Пожалуй, Куница прав. Ведь каждую минуту петлюровцы могут открыть огонь по взбунтовавшейся тюрьме. Куница свернул на Старопочтовую. По гладким каменным плитам ее тротуара очень приятно бежать босому — куда лучше, чем по колючему грунту. Но почему никого не видно на улице? Пусто, точно все жители вымерли.

Мы пробегаем мимо епархиального училища. Это желтое с монастырскими узкими окнами здание выходит главным своим фасадом на Старопочтовую. Здесь, в училище, стоит булавная сотня атамана Драгана.

А ну, посмотрим, у себя ли черножупанники? Что такое? Окна в училище раскрыты настежь. Около училищного подъезда валяются перевернутые табуретки, совсем новое цинковое ведро. Внутри училища тихо. Не слышно людских голосов. Вот так здорово — выходит, драгановцы улепетнули отсюда!

Вдруг за станцией хлопнул выстрел. За ним — другой. Куница сразу остановился.

— А что я говорил?— шепнул он.

Маремуха переменился в лице, побледнел.

— Может, спрячемся, а, Юзик?— осторожно попросил он.

— Новое дело!— огрызнулся Куница.— Куда ты спрячешься? Тут сейчас начнется такое... Вот слышишь?

Совсем близко, откуда-то со стороны губернаторского дома, зачастил пулемет. Дробь выстрелов пронеслась над тихим, притаившимся городом. Пулемет замолк, но тотчас же у вокзала один за другим захлопали ружейные выстрелы. Неужели это красные подошли так близко? Шальная, неизвестно откуда прилетевшая пуля взвизгнула вверху над крышей епархиального училища.

Куница молча побежал вниз. Мы — за ним вдогонку. Дело совсем плохо, если уж пули свистят над головой!

Мы чуть слышно шлепаем босыми ногами по каменным квадратикам тротуара, а выстрелы теперь звучат еще громче, совсем рядом. До Семинарской оставалось несколько шагов, как вдруг Куница метнулся в сторону, шепнув:

— Назад, возле аптеки люди!

Маремуха сразу припал к стене серого двухэтажного дома, а я заскочил в подъезд парадного. Кто, интересно, там? Может, повернуть обратно? Еще подстрелят.

Но Куница крадется вперед.

— Посмотрим давай тихонько!— предложил он.

Гуськом пробираемся вдоль стены этого серого дома до его угловой водосточной трубы. Тут, сразу же за углом, начинается густой подстриженный садик. Вслед за Куницей мы нырнули в него и уже оттуда, из-за кустов акации, выглянули на улицу.

Огромное стекло лучшей городской аптеки Модеста Тарпани разбито. Еще несколько дней назад за этим толстым бемским стеклом стояли на подоконнике пузатые бутылки с прозрачной розовой водой, а вверху на стекле белели буквы:

АПТЕКА
Модеста Тарпани

Ни пузатых бутылок с розовой водой, ни белой надписи, ни бемского стекла теперь не видно. Вдребезги разбитое окно похоже на огромную квадратную дверь с очень высоким порогом. Тротуар аптеки усыпан осколками. А внутри, у прилавков, на блестящем кафельном полу, хозяйничают петлюровцы. Вот один из них, чубатый, в сбитой на затылок папахе, вскочил прямо на застекленную стойку с душистым мылом и парфюмерией. Стекло треснуло под его сапогом, а нога петлюровца ушла в глубь стойки. Вслед за чубатым петлюровцем на стойку лезут его приятели. Они ногами выбивают зеркальные стекла в шкафах, где стоят в банках с латинскими надписями всякие лекарства.

— Горилку шукай, Остап, горилку!— кричит один из них чубатому петлюровцу. Соскочив со стойки на пол, чубатый бежит в глубь аптеки и выволакивает оттуда высокого седого старика в белом халате.

Мы его знаем. Это провизор Дулемберг. Он упирается и не хочет идти, но чубатый петлюровец с силой тянет старика за руку и вышвыривает его из аптеки прямо на улицу.

— Молись богу!— приказывает провизору чубатый и сует ему в ухо дуло нагана.

Я отвернулся. Страшно. Что они сделают с ним? Но в эту минуту из аптеки закричали:

— Подожди, не стреляй, Остап!

Одну за другой петлюровцы вынесли из аптеки пузатые бутылки с белыми этикетками. Бандиты поставили их прямо на мостовую и заставили провизора пробовать лекарства.

И вот, стоя на коленях, седой Дулемберг дрожащими руками открывает стеклянные пробки. Из каждой бутылки он отсыпает на ладонь капельку лекарства

и прикасается к ней языком. Некоторые бутылки провизор сразу отодвигает в сторону и глухо говорит:

— Не буду. Яд.

Тогда петлюровцы хватают их за горлышко и бьют об стену. Бутылки разлетаются на куски. Ручьи лекарств текут с тротуара на мостовую. Запахло духами, туалетным мылом и больницей.

Бутылки с лекарствами, которые Дулемберг полизал языком, грабители погрузили в походную двуколку.

Нам было очень жалко стоящего на коленях посреди мостовой седого провизора, но помочь ему мы ничем не могли. Чувствуя, что навсегда покидают этот город, петлюровцы совсем озверели. Теперь им все равно. Стоит только выбежать из-за кустов на улицу, где гуляют их стреноженные кони, как сразу этот чубатый выпалит в нас из своего нагана.

Старый испуганный Дулемберг, точно в церкви, стоял на коленях перед разграбленной аптекой. Старик ждал, что ему еще прикажут, и боязливо морщился.

Из аптеки на улицу выскочил низенький петлюровец в синем жупане. Подбежав к Дулембергу, он протянул ему большую зеленую банку. Аптекарь отсыпал из этой банки горсть порошка шоколадного цвета и, лизнув его языком, глухо сказал:

— Лакрица. Сладкое.

Тогда все остальные петлюровцы обступили низенького синежупанника, а он насыпал каждому в ладонь по пригоршне этого коричневого порошка. Петлюровцы глотали лакрицу, точно сахарную пудру, и облизывались.

— А ну, катись. Наводи порядок!— вдруг со всего размаха ударил Дулемберга ногой в спину чубатый петлюровец и, сунув за пояс наган, побежал к двуколке.

Дулемберг полетел грудью на мостовую. Его седая борода попала в лужу разлитых лекарств. Он осторожно поднялся и, вытирая руки о белый халат, медленными шагами, словно в чужой, незнакомый дом, пошел в разоренную аптеку.

Мостовая сразу опустела. Только вдали неслась к центру города нагруженная аптекарскими бутылками двуколка и звенели копыта догоняющих ее коней.

За лесом ухнула пушка. Снаряд просвистел над нами и тяжело разорвался где-то около губернаторского дома.

Мы побежали дальше, к духовной семинарии, по совершенно пустой, безлюдной улице.

Тут было еще страшнее. Со всех сторон нас окружали молчаливые дома с закрытыми ставнями. Наверное, хозяева этих домов с утра засели в подвалах и боялись нос показать на улицу. Только одни собаки бегали по опустевшим дворам. Они лаяли и визжали, когда по небу, со свистом рассекая воздух, пролетали снаряды. Да и мы тогда, нечего греха таить, тоже ежились, приседали, и каждый думал про себя:

«Разорвись подальше! Ну, подальше! Только не здесь».

У духовной семинарии петлюровских часовых уже не видно.

Это серое здание пусто, как и епархиальное училище, в нем не слышно гула машин, которые печатали здесь деньги, не видно людей в окнах, а обе половинки железных ворот, ведущих в семинарский двор, раскрыты, словно только что туда проехала подвода.

...Чем ближе мы подходили к Заречью, тем громче и сильнее доносились стук колес, скрип телег, ржание коней. И когда открылась перед нами на скалах по ту сторону реки старинная черная крепость, мы увидели тучи пыли, клубящиеся над крепостным мостом.

Мост сплошь забит подводами и бричками убегающих петлюровцев. Со всех улиц города они устремились сюда, чтобы, проскочив через мост, выехать на ведущий к Збручу Усатовский шлях.

Около Турецкой лестницы, прямо на улице, валяется целый куль белой пшеничной муки. Странное дело — его никто не стережет, никто не подбирает.

Мы перебежали дощатую кладку и полезли по скалам на Старый бульвар. С высокой, обросшей мхом и дикими желтыми цветами скалы была хорошо видна вся эта улица Понятовского, запруженная войсками.

Квадратные серые конфедератки легионеров Пилсудского смешались с меховыми папахами чубатых петлюровцев. Легионеры обгоняют друг друга. Белая пена хлопьями слетает с морд вспотевших, испуганных лошадей.

На верхнем конце улицы Понятовского возвышаются серые стены доминиканского костела. Высокие черные двери его и калитка, ведущая на погост с улицы, плотно закрыты. На костельном погосте — пусто. Ни одного человека. Высеченные из серого камня католические святые стоят на крыше костела со скорбными лицами.

Помнится, ранней весной, когда вместе с петлюровцами в город пришли легионеры Пилсудского, весь вечер звенели над этим доминиканским костелом маленькие колокольчики и польский бискуп служил в честь какого-то высокого тощего генерала торжественный молебен.

Жалобно играл тогда под высокими сводами костела орган, легионеры важно звенели шпорами на паркетном полу, и местные пани в старинных ротондах, в черных с блестками пелеринках, в длинных с воланами шелковых платьях то и дело приподнимались с дубовых скамеек и вслед за бискупом торопливо крестили свои строгие, покрытые вуалями лбы.

Сейчас не видно ни бискупа в высокой, похожей на кокошник, тяжелой шапке, ни чопорных тетушек в траурных мантильях и с зонтиками в руках. Не слышно и колокольного звона над доминиканским костелом.

На тротуар под костельной стеной выбежал из строя низенький, одетый в серое легионер. На левой ноге у него размоталась обмотка и тянется за ним по дороге. Солдат останавливается, со злостью срывает обмотку с ноги, швыряет ее на костельный забор и пускается бежать дальше. Долго еще видно, как вдоль улицы по тротуару мелькает белый краешек его кальсон.

Он боится отстать и, должно быть, проклинает своего усатого маршала, пославшего его на Украину.

— А зачем они бумаги столько увозят? Вот чудаки, погляди,— сказал Куница.

По улице Понятовского к мосту спускается крестьянская телега, доверху забросанная синими и коричневыми папками с бумагой. Наверное, это дела какого-то петлюровского министерства. Вот одна из папок соскользнула с подводы и упала на мостовую. Белые листы рассыпались по камням. Их тут же смяли копытами лошади, запряженные в блестящий офицерский фаэтон.

— Побежали — подберем, а?— предложил Маремуха.

Трус, трус, а иногда лезет с такими советами, что смешно становится. Вот и сейчас.

Меня даже зло взяло.

— Куда ты, сазан, побежишь?— закричал я Петьке.— Да тебя сразу же отхлещут нагайками — ты же знаешь, какие они теперь злые! Как осы.

Маремуха обиженно отвернулся. В это время, откуда ни возьмись, к нам подбежал конопатый Сашка Бобырь.

— Здорово, хлопцы! — закричал он нам и потом спросил у Куницы:— Котьку не видел, случайно?

— А вот еще один перебежчик!— зло сказал Куница прямо в лицо Бобырю.— Ну, где твои разлюбезные скауты? Чего же ты с их кошевыми за границу не бежишь?

— Да я что... Вы думаете, я на самом деле за Петлюру, хлопцы?.. Жить нам было не с чего, а там завтраки даром давали, ну я и записался...— жалобным голосом протянул Бобырь.

— Записался, чтобы, когда подвырастешь, офицером ихним стать? Бедноту убивать, да? А вот мы же не записались!— донимал его Куница.

— Ну, вы...— Сашка замялся,— вам родные помогли это понять. Вот у Василя отец давно с коммунистами дружит, а у тебя, Юзик, дядя в Киеве — сознательный, моряк. Письма писал, кому помогать надо. А меня мама сама подговорила, чтобы я из-за той каши пошел...

Видно, тронутый чистосердечным признанием Сашки, Куница спросил мягче:

— Вы вчера ночью пришли?

— Ага, ночью. Только собрались — приехал гонец и привез приказ возвращаться в город. Около кладбища нас ливень захватил, все промокли, гром, мол-

ния, лужи кругом — никто ничего не видит. Тогда Гржибовский закричал: «Разойдись!» — и мы побежали кто куда. А я, видишь, простудился, даже насморк схватил! — шмыгая носом, рассказывал Сашка Бобырь.

— Выходит, плохой поход получился?— с ехидством заметил Маремуха.

— И не говори. Знал бы раньше — не пошел бы. Гляди, опять кавалерия... И с флажками все...

Да, Сашка не ошибся. Это едет новый отряд польских улан. На пиках у них болтаются маленькие бело-красные флажки с белыми коронованными орлами. Всадники сидят в кожаных седлах как-то неуверенно, словно под ними чужие лошади. Уланы пришпоривают лошадей, хлещут их нагайками. Неожиданно над круглой Папской башней рвется шрапнель. Мы видим ее дымок — белый, распустившийся над встревоженным городом, словно маленькое круглое облачко.

Хриплые крики и брань раздаются у моста. Стегая длинной нагайкой свою гнедую лошадь, какой-то улан нечаянно рассек желто-голубое полотнище на древке у едущего рядом петлюровца.

— Куда ты прешь, нечистая сила?!— обозленно закричал на улана чубатый петлюровец.

Около нас послышалось: «Бегом! Бегом!»

— Бежим на Заречье!— толкнул я Маремуху и Куницу.

И мы, оставив Бобыря, удираем со Старого бульвара.

— В Старую усадьбу!.. Спрячемся в погребе... Оттуда все видно будет...— едва поспевая за нами, задыхаясь, пробубнил Маремуха.

Миновав Успенскую церковь, по узенькому Крутому переулку мы повернули к Петькиному дому. Через кусты и бурьяны бросились к Старой усадьбе. А снаряды над городом рвались все чаще. Они падали уже на Усатовском шляхе, пересекая дорогу отступающим петлюровцам.

Неожиданно за флигелем сапожника Маремухи мы натолкнулись на моего отца. С ним еще какой-то парень в соломенном капелюхе. Вот так штука! Как отец попал сюда?

Вдвоем с парнем отец вытащил из бурьяна совсем новенький, смазанный маслом пулемет и, согнувшись, потащил его за хобот на дорожку. Парень в крестьянской одежде помогал отцу, приподнимая пулемет за надульник.

Мы даже спрятаться не успели от неожиданности. Отец заметил нас и сердито закричал хриплым голосом:

— Убирайтесь отсюда, шалопуты!

А в это время из-за кустов послышался знакомый голос Омелюстого:

— Мирон, дай-ка Прокопу ленты с патронами.

Отец, позабыв про нас, побежал в бурьян. За патронами от Ивана прибежал Прокоп Декалюк. Я видел его однажды в Нагорянах и хорошо запомнил. За ним следом выскочил дядька Авксентий в своей коричневой коротайке. Ого, да сколько их тут?!

— А это что за гоп-компания?— кивнул в нашу сторону низенький смуглый, похожий на цыгана Прокоп Декалюк.

Отец подал ему две зеленые плоские коробки с пулеметными лентами и, шагнув на тропинку, совсем разозлившись, закричал:

— Марш домой, кому я говорю?!

Как бы не так! Чего мы не видели дома?

Заметив, что отец обернулся к Авксентию, мы все мигом бросились в открытый погреб и залегли там, у самого входа, на заплесневелых каменных ступеньках. Отсюда нам чудесно видна и крепость на высокой скале, и крепостной мост, запруженный уланами и петлюровцами.

Отец вынес из бурьяна полное ведро воды и протянул его Авксентию. Дядька схватил ведро и пустился в кусты к Омелюстому, куда парень в соломенном капелюхе уже тащил пулемет. Немного погодя за Авксентием в кусты побежал отец.

А на крепостном мосту петлюровцы. Их кони встают на дыбы, наезжают друг на друга. Даже здесь слышно, как скрипит и трясется деревянный настил крепостного моста.

«Ага, запрыгали, гады чубатые. Так вам и надо. Будете знать, как людей расстреливать!» — чуть не закричал я от радости.

И в эту же минуту за кустами послышалась частая скороговорка пулемета. От дрожащих и гулких пулеметных выстрелов сразу заложило уши.

Вот так здорово! Они стреляют отсюда, из Старой усадьбы, прямо в упор по крепостному мосту, по удирающим в Польшу петлюровцам, по их хозяевам — легионерам Пилсудского.

Эх, и вовремя пришли сюда с нагорянскими партизанами мой отец и Омелюстый!

Какой-то раненый петлюровец полетел через перила крепостного моста вниз, в реку. Казалось, вот-вот рухнут в водопад эти шаткие перила: ведь сзади напирали последние части петлюровцев; они давили своих же — узкий деревянный настил не мог вместить всех въезжающих на него, а тут еще сбоку, из Старой усадьбы, все время стрекотал пулемет, и из его куцего, вздрагивающего дула вместе с огнем вырывался туда, на мост, целый град метких горячих пуль.

Лежа животами на холодных, сырых камнях, мы ерзали от волнения. Как мы завидовали старшим! Как мне хотелось быть на месте Омелюстого! Если бы я умел стрелять из пулемета, я обязательно лежал бы с ними там, за кустами.

Так и подмывало выскочить из погреба, закричать «ура», подбежать к пулемету и хоть поглядеть, как он стреляет!

Но громкий звук пулеметных выстрелов, заглушая и шум ветра, и далекие разрывы снарядов, и шепот Петьки Маремухи, все же пугал нас.

Мы оставались в погребе до тех пор, пока по крепостному мосту, горбясь, не пробежали отставшие петлюровцы. Перепрыгивая через трупы людей и лошадей и теряя на ходу карабины и кудлатые папахи, петлюровцы, не глядя на раненых, позабыв обо всем, бежали к окопам, чтобы там, за узеньким мелководным Збручем, укрыться от быстрых конников Котовского.

НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Не успела еще затихнуть орудийная канонада, как на крепостной мост ворвалась разведка красных. Вздымая пыль, пролетели разведчики мимо крепости, и долго было слышно, как цокали под скалой, по ту сторону реки, звонкие копыта их быстрых коней.

Немного погодя, вслед за разведчиками, с выдернутыми из ножен клинками, на рысях подъехал к мосту большой кавалерийский отряд.

Всадники в буденовках, в каракулевых кубанках заполнили весь мост. Мы видели из Старой усадьбы ровный, необычайно спокойный бег их усталых коней. Пятерками всадники проезжали по мосту: казалось, им конца-краю не будет.

Вперемежку с красными знаменами блестели над головами у седоков поднятые вверх сабли.

Изредка в конном строю громыхали зеленые пулеметные тачанки.

Вырвавшись с узкого моста на просторный Усатовский шлях, кони, почуяв волю, несли всадников вперед. Отряд за отрядом мчались вдогонку за Петлюрой. Конники, видно, хотели настигнуть его еще у границы, наступить ему на пятки, дать петлюровцам отведать своих отточенных клинков.

Вслед за конницей от вокзала и со стороны Калиновского тракта в город вступили пехота, артиллерия и обозы красных.

Мы побежали в город.

Уже за церковным сквером навстречу стали попадаться запыленные тачанки красных. Тачанок было много. На них, задрав кверху тупорылые дула, подпрыгивали износившиеся, пятнистые от облезшей краски боевые пулеметы. Красноармейцы в выцветших, полинялых гимнастерках, поглядывая с тачанок по сторонам, пели:

Вечор поздно я стояла у ворот,
Вдруг по улице советский полк идет...

По Успенскому спуску, грохоча и подскакивая на выбоинах, потянулись орудия и походные кухни с задымленными трубами.

Город постепенно начинает оживать. На улицах появляются жители, с каждой минутой их все больше и больше становится на городских тротуарах. Уже

многие горожане идут рядом с красноармейскими тачанками, заговаривают с бойцами, стараясь перекричать грохот и шум.

Усталые улыбающиеся красноармейцы с любопытством рассматривают крутые, изогнутые улицы, огороженные каменными барьерами обрывы, старинные шляхетские дома с узенькими, как бойницы, окнами, нашу крепость на высокой скале с ее зубчатыми сторожевыми башнями.

Вечерело. Отца не было. Он наскоро поел холодного борща и, не поговорив даже как следует с теткой, убежал вслед за Омелюстым на Губернаторскую площадь.

Военно-революционный комитет там собирал митинг.

А я, сидя на топчане, рассказывал тетке, как мы гостили в Нагорянах.

Неожиданно открылась дверь, и к нам в кухню вошел низенький белобрысый красноармеец. Он громко поздоровался и спросил:

— Нельзя ли будет разместиться у вас, хозяюшка?

— Ой, голубчик, да у нас только две комнатки и еще вот кухня...— испуганно сказала тетка, отходя от плиты на свет.

— Вот горе-то!— вздохнул красноармеец.— А я было нацелился начальника нашего к вам поставить...

— А начальник ваш семейный или холостой?— осторожно спросила тетка.

— Что вы, мамаша,— сразу обрадовался красноармеец,— откуда ж ему семейным быть, когда у нас семьи дома остались? Холостой, конечно, холостой!

Немного помедлив, тетка согласилась уступить этому неизвестному начальнику свою комнатушку с единственным выходящим в сад окном.

И на следующий день в тетушкиной комнатке поселился красный командир Нестор Варнаевич Полевой — очень высокий, широколицый, с выпущенной из-под козырька зеленой буденовки прядью волос. Он — начальник конной разведки того самого пятьсот тридцать шестого полка, который вместе с конницей Котовского выгнал из города улан и петлюровцев.

На походной двуколке ему привезли складную железную кровать с проволочной сеткой и полосатый матрац. Полевой сам втащил эту кровать в тетушкину комнату, положил на нее матрац, а Марья Афанасьевна застелила его чистой простыней.

Кровать Полевой покрыл своим ворсистым серым одеялом. Нагнув широкую спину, он ловко запрятал лишние края одеяла между матрацем и проволочной сеткой.

В этот же день к нам пришел телефонист и установил на этажерке желтый полевой телефон. Он протянул через форточку в сад, а там по веткам деревьев, потом на улицу и по столбам до самого епархиального училища, где разместился полк нашего квартиранта, черный блестящий провод.

Вечером Полевой уже заговорил по телефону, и нам в спальне было слышно, как, повертев ручку аппарата, он гулко спросил:

— Штаб полка? Дайте начальника штаба.

В крольчатнике нашем тоже перемены. Клетку с ангорской крольчихой вынесли под забор к Гржибовским. У них тихо, даже Куцый весь день сидит на привязи и не так лает, а колбасник Гржибовский ходит по своему двору хмурый, злой — видно, он жалеет своего Марко, который удрал с петлюровцами.

Клетку с крольчихой мы поставили под забор Гржибовского вот почему: у Полевого есть конь Резвый, коричневый, гладкий, с белой лысиной на лбу. Ординарец Полевого, красноармеец Кожухарь, поставил Резвого к нам в крольчатник, а с ним заодно и свою кобылу Психею. Кожухарь поселился по соседству, у Лебединцевой, а там держать лошадь негде.

...Отец по целым дням не бывает дома. С первых же дней после прихода красных он печатает в типографии на плотной синей бумаге газету «Красная граница». После работы нередко дежурит в ревкоме или ходит по ночам с винтовкой по городу.

Прошло две недели.

Давно уже осыпался каштановый цвет на деревьях около заколоченной на лето гимназии. Отцвели уже липы возле Успенской церкви. Распустились цветки белой акации в аллеях Нового бульвара, а на огородах зацвел картофель. Это

значит, что скоро тетушка на обед для нас будет готовить обсыпанную укропом и политую сметаной вареную молодую картошку.

Все больше твердеют, наливаются соком маленькие плоды на широких ветвях старой, дуплистой груши. Неслышно проходит лето, и шаг его отмечается появлением на базаре первых ранних яблок, красной смородины, запоздалых, изъеденных птицами темно-малиновых вишен.

Мне кажется, что большевики уже давно в городе, что красный флаг на куполе епархиального училища висит с зимы, а Нестор Варнаевич живет у нас и того раньше.

Оказывается, Нестор Полевой давно в наших краях за Советскую власть борется!

Кожухарь рассказал нам мимоходом, что еще в ноябре 1918 года, когда большая часть Украины находилась под властью петлюровской директории, Полевой вместе с такими же, как он, сторонниками Ленина провозгласили недалеко от нас, в уездном городе Летичеве, под руководством большевика Луки Панасюка, Летичевскую советскую республику.

Правда, просуществовала она недолго.

Уже на второй день рождества того же года на Летичев внезапно налетела банда атамана Волынца. Пришлось вожакам первой советской республики на Подолии перейти в подполье, ну а Нестор Полевой пробрался через линию фронта к красным.

Я крепко привязался к ординарцу Полевого — Кожухарю. Хоть живет он не в нашем доме, но у нас бывает чаще Полевого. Того все время вызывают по телефону в полк. Не раз, услышав среди ночи телефонный звонок, Полевой вскакивает с постели и затем, переговорив по телефону, надолго уезжает из дому. В окрестных лесах пошаливают бандиты, и конная разведка часто гоняется за ними по незнакомым оврагам, по широким лесным просекам.

У Кожухаря дела меньше. Полевой редко берет его с собой на операции. Кожухарь в свободное время отсиживается у нас, чистит крольчатник, ухаживает за своей Психеей и помогает по хозяйству Марье Афанасьевне.

Иногда тетка стирает им обоим — Полевому и Кожухарю — белье. Тогда Кожухарь вместе с ней возится у плиты, носит воду, ловко выкручивает мокрые рубашки и полотенца, а потом, отдыхая на топчане, рассказывает тетке всякие небылицы.

Ее Кожухарь называет только по отчеству — Афанасьевна. Меня он сразу прозвал Махамузом.

— Почему Махамуз? — спросил я, не понимая, что значит это слово.

— А вот так,— загадочно улыбнулся Кожухарь,— такие Махамузы бывают.

— Какие такие?

— А вот такие... именно.

Так и пошло — Махамуз: «Если меня будут спрашивать, Махамуз, скажи: пошел на базар, скоро вернусь», «Кусай семечки, Махамуз!», «Лошадь не хочешь выкупать, Махамуз?»

Я не обижаюсь. Пускай буду Махамуз, все равно. Больше всего, конечно, мне нравится купать лошадей. Иной раз мы едем на купание вместе: я на Резвом, Кожухарь на Психее.

Едем вниз по Крутому переулку. Чем ближе к речке, тем круче и извилистей становится спуск, лошади осторожно ступают вниз, и тогда я ощущаю под собой не лошадиную спину, а какую-то странную пустоту. Поневоле хватаешься обеими руками за шелковистую гриву Резвого.

А Кожухарь — хоть бы что! Сидит, прищурив глаза, на грустной Психее, не шелохнется даже и только изредка в такт движению лошади покачивает головой. Бронзовый, прокопченный солнцем, с вечно прищуренными улыбающимися глазами, он кажется мне необычайно веселым, разбитным, а главное — смелым парнем.

На поворотах, когда лошади боками сталкиваются одна с другой, мне приятно ощущать коленом или щиколоткой ногу Кожухаря.

Хорошо голому сидеть верхом на лошади и, натянув поводья, посылать ее вперед в воду. Сперва нехотя, пофыркивая, а затем все смелее и смелее ступает она в реку, вытянув морду, поводя ушами и нащупывая дно. А когда дно стано-

вится глубже и вода заливает лошадиный круп, лошадь сжимается, вздрагивает и, оторвавшись от дна, легко пускается вплавь. Сидишь на мокрой ее спине, ноги сносит назад вода, хвост лошадиный стелется позади, сидишь и, только легонько дергая поводьями, направляешь лошадь, куда тебе надо. А потом, когда она устанет, выводишь ее на мелкое. Мокрая, лоснящаяся лошадь фыркает, припадает мордой к быстрой воде, а ты, взобравшись на ее скользкий круп, вытянув руки и изогнувшись, прыгаешь в воду — туда, где глубоко.

Лошади, стоя в реке, обмахиваются хвостами, кусаются, весело ржут, а мы с Кожухарем уплываем на тот берег.

Теперь я реже встречаюсь с хлопцами. Куница не был у меня уже целую неделю. Петька Маремуха, которого я встретил недавно около Успенской церкви, сказал, что Юзик собирается в Киев к своему дядьке — он хочет поступить в морскую школу.

Как-то утром Маремуха прибежал к нам в хату и с таинственным видом позвал меня. Мы пошли на огород, где уже наливались соком круглые тетушкины помидоры, и Петька тихо сказал мне:

— Знаешь, кто у нас поселился? Угадай!

Я долго угадывал, называя фамилии всех знакомых военных, которые приходили к Полевому и Кожухарю, и мне даже стало досадно, что теперь и Петька будет купать лошадей, но догадаться, кто их квартирант, я не мог. Тогда Маремуха сам выпалил:

— Знаешь кто? Доктор Григоренко! Никогда бы не догадался, правда?

— Ну да! Бреши! Очень нужно доктору с вами жить, когда у него такой большой дом на Житомирской.

— Тот дом уже не его! — объяснил Петька.

— А чей же?

— Я знаю чей! Дом у него реквизировали большевики. Кто в нем жить будет — неизвестно. А доктор с нами живет. Он вчера приехал к нам и привез папе два мешка белой муки. Знаешь, куличи пекут из такой? И денег не взял. Попросил только, чтобы папа пустил его в хату. Мы потеснились и пустили. Он обещал за это больше с нас денег за аренду не брать. А вещей понавозил полно! Всю ночь перевозил вещи, а папа ему помогал. И еще знаешь... — замялся Маремуха,— он подарил маме платяной шкаф. «Все равно, говорит, мне он ни к чему, а вам пригодится...»

— Куда же он все вещи девал?

— А на чердак. Мы боимся даже: вдруг потолок обвалится? И в погребе еще есть...

— И твой папа ему помогал?

— Ну... он его попросил. Папа сперва не хотел, а потом...

— «Попросил, попросил»!..— передразнил я Петьку.— Твой папа и ты вместе с ним — подлизы. Когда твоего папу побили петлюровцы, ты что говорил про доктора? А сейчас он вам подарил шкаф да муку — вот вы и раскисли.

— Ничего подобного ...— вспыхнул Маремуха.— Мой папа добрый, ну и что, раз человек его попросил. Дом-то не наш, а Григоренко.

— И Котька живет у вас? — спросил я.

— Нет, Котька уехал в Кременчуг,— помолчав, ответил Маремуха.— Там его мамы сестра живет.

— А, не говори, куда там уехал ... Спрятался, наверное, где-нибудь здесь, а ты сказать не хочешь, чтобы я его не отыскал. Жалеешь своего паныча. Помнишь, как бумагу ему таскал?

— Таскал, ну и что же? А сейчас не стану ... Пойдем к Кунице?

К Юзику я не пошел. Зато вечером, когда уже смеркалось, я отправился в Старую усадьбу.

Надо проверить, правду ли рассказал Петька. По крутым склонам Старой усадьбы стелется в зарослях можжевельника и волчьих ягод чуть заметная тропка. Я прошел по ней до самых кустов жасмина и неслышно раздвинул их. В трех шагах от меня белеет Маремухин флигель. В комнатах уже зажгли свет, но кто в них есть — не видно, потому что окна затянуты темными занавесками. Напротив

флигеля, заваленная свежим сеном, стоит докторская пролетка. Передние ее колеса въехали на заросшую бурьяном клумбу. За флигелем заржала лошадь. В сенцах флигеля стукнула щеколда, и на пороге появился в белой рубахе сам доктор Григоренко. Он подошел к пролетке, взял оттуда охапку сена и понес ее за флигель — своей лошади.

«Значит, Петька не соврал! Что же теперь делать? Надо рассказать Кунице, какой сосед появился у нас в Старой усадьбе»,— подумал я и побежал к Юзику. По дороге, возле забора Лебединцевой, я увидел Омелюстого. Курчавый, в светлой рубахе с распахнутым воротом, он нес под мышкой пачку бумаг.

— Ты куда, Василь? — остановил меня Омелюстый.

— А я к Кунице.

— Вот и хорошо. Вы мне как раз оба нужны. Тащи его сюда, сходим сейчас вместе в крепость. Я подожду вас на крылечке.

— Да ведь поздно сейчас, дядя Иван, сторож не откроет.

— Ничего, откроет,— успокоил меня Омелюстый.— Не задерживайтесь, гляди! Я вас давно ищу...

Делать нечего. Я побежал за Куницей и с ним вместе возвратился к Ивану Омелюстому. Сосед уже поджидал нас, сидя на лесенке. В руках у него было полотенце.

— На обратном пути выкупаюсь,— объяснил он.— Нет времени даже в баню сходить, хоть в речке помоюсь.

— Комары покусают. Вечером на речке комаров много,— сказал Куница.

— Меня комары не любят. Я костлявый! — засмеялся сосед.

Но чем ближе мы подходили к Старой крепости, тем молчаливее становился Омелюстый. На мосту он сложил вчетверо полотенце и спрятал его в карман. Подойдя с нами к сторожке, он смело постучал в крайний ставень.

Сторож вышел из сторожки и, выставив вперед свою сучковатую палку, хмуро поглядел на нас.

— Открой-ка ворота! — сурово приказал Омелюстый.

Сторож убрал палку и попятился.

— А вы кто такие будете? — боязливо и глухо спросил он.

— Я из ревкома. Мальчиков этих помнишь? — показал на меня с Куницей Омелюстый.

— Дядя, помните, мы сюда цветы носили тому человеку...— напомнил Куница.

— Ага, ага,— закивал старик головой,— теперь признал! — Хромая, он подошел к нам.— Только я, товарищ начальник, ни в чем не виноватый, верное мое слово. Они мне его одежду дали, я до нее и не дотронулся. Она в башне так и осталась,— пробормотал сторож.

— Да чего ты суетишься, старый? Никто тебя не винит,— тихо ответил наш сосед.— Могила-то цела? Не разорили ее эти бандиты?

— Цела, цела, батюшка,— забормотал сторож, открывая ворота,— только я ее бурьяном забросал, а то, думаю, кто ж его знает: увидит какой петлюровец ту плиту — что тогда?

Сторож сказал правду.

Еще издали, обогнув Папскую башню, мы заметили у подножия бастиона темную кучу бурьяна. Мы с Куницей первые бросились к ней и быстро очистили могилу от кустиков колючего перекати-поля, не просохшей еще лебеды, мелкого подорожника и полыни. На желтом суглинке, посреди увядшей травы, сразу обнажилась та самая квадратная плита, которую мы притащили сюда вместе с Петькой Маремухой.

Веточки жасмина уже засохли. Сторож начисто их смел.

— Здесь и закопали! — сказал Куница.

Опустив голову, Омелюстый печально смотрел на могильную плиту. Постояв так молча несколько минут, он внезапно выпрямился и тихо, сквозь зубы, сказал:

— Какого человека загубили... панские наймиты... Сколько добра он мог бы еще принести Украине!

Потом он круто повернулся к сторожу и приказал ему:

— Ты, старик, присмотришь еще немного за могилой. Мы тут памятник поставим.

Сторож молча кивнул головой.

— А вы из какой башни смотрели? — повернулся к нам Омелюстый.

— А вот из той крайней, высокой... Видите окно большое? — показал я на Папскую башню.

— Оттуда? — удивился Омелюстый.— И как только вас не заметили, прямо удивительно... Ну, ваше счастье, ребята.

— Да я уж и то, товарищ начальник, думал, как они туда забрались... Какая нечистая сила их туда понесла?

— Ладно, ладно, будет тебе, нечистая сила...— криво улыбнувшись, сказал сосед.— Пойдемте-ка домой, хлопцы, старику спать пора.

По дороге из крепости к мосту, у самого подземного хода, мы встретили часового. С винтовкой наперевес он медленно прохаживался вдоль крепостной стены.

— Что он — мост охраняет? — тихо спросил Куница у Омелюстого, когда мы прошли мимо.

— От бандитов! — ответил Омелюстый.— Ты вот спать уляжешься, а он всю ночь будет ходить здесь, чтобы в город бандиты не заскочили. Понятно?

— Понятно! — откликнулся Куница.

— А если понятно, то бегите, басурманы, домой. Вам спать пора,— сказал он и, заметив, что нам не очень-то хочется покидать его, добавил: — Ну ничего, ничего, ступайте. Завтра сами выкупаетесь.

— Пойдем, Юзька! — с обидой в голосе позвал я Куницу.

Раз не хочет, чтобы мы вместе с ним купались, не надо. Мне обидно, что Омелюстый считает нас маленькими. «Спать пора»! Тоже выдумал!.. Куница, оглядываясь, пошел за мной по пятам. Белая рубашка соседа смутно маячила возле самого берега. Видно, он уже стал раздеваться.

Через неделю в Старую крепость из города с красными знаменами, с венками, обвитыми траурными лентами, пришли военные и рабочие — члены местных профсоюзов: печатники, коммунальники, железнодорожники.

Смеркалось. Погода стояла пасмурная, осенняя. Совсем непохоже было, что на дворе июль. Тучи, мрачные, черные, плыли по небу на запад. Холодный ветер рвал тугие полотнища знамен, поднимая с земли пыль, сухую траву.

Мы с Куницей вошли в Старую крепость последними, позади колонны.

Нашей могильной плиты уже не было. У подножия зеленого бастиона, над могилой Сергушина, подымался гладкий простой памятник из серого мрамора. Посредине памятника не очень четкими буквами была выбита надпись:

Борцу за Советскую Украину,
первому председателю
Военно-революционного трибунала
ТИМОФЕЮ СЕРГУШИНУ,
погибшему
от руки петлюровских бандитов

Памятник обнесен железной свежевыкрашенной решеткой. Около нее, нахмурившись, без фуражки, стоит курчавый Омелюстый. Он держит под руку молодую невысокую девушку в синей косыночке. Девушка плачет. Пряди ее темных каштановых волос выбились из-под косынки и падают на мокрые от слез глаза. Кто она? Сестра, знакомая или чужая, вспоминающая свое собственное горе? А может, это та самая девушка, с которой познакомился Сергушин, когда по ночам, разыскивая друзей, смело бродил по занятому врагами городу?

Среди военных, рядом с нашим квартирантом Полевым, сняв засаленную кепку, стоит мой отец. Около башни рабочие — типографщики, мукомолы с мельницы Орловского, рабочие электростанции. Среди служащих городской больницы я узнал провизора Дулемберга; он облокотился на палку, седой, сухопарый.

На бастион взобрался командир пятьсот тридцать шестого полка. Коренастый, в светло-зеленом казакине, он несколько минут молча стоял, держа в руках форменную фуражку с вогнутым козырьком. Потом стал говорить. Над притихшей толпой очень ясно прозвучали его первые отрывистые, жесткие слова.

Командир говорил, что донецкий шахтер Сергушин погиб за дело Советской власти от руки петлюровцев. Он рассказывал, как еще при гетмане Скоропадском Сергушин из подполья вел борьбу с оккупантами Украины, собирая вокруг себя и воспитывая самых лучших людей нашего города. Командир вспоминал о жертвах, принесенных рабочим классом ради счастливого будущего трудящихся. Он призывал всех отомстить за смерть Сергушина.

Порывистый северный ветер то и дело подхватывал речь командира и то заглушал отдельные слова и фразы, то, наоборот, проносил их по всему двору, над седыми обомшелыми башнями.

Мы с Куницей краем уха улавливали обрывки горячей командирской речи, и все яснее в нашей памяти всплывало то недавнее солнечное утро, когда здесь, под этим вот бастионом, враги Украины расстреливали Сергушина.

Я вспоминал, как пришел он к нам тогда, зимой, в своей стеганой солдатской кацавейке, в пушистом заячьем треухе — поздний и нежданный ночной гость. Казалось, это было вчера.

И сундук, на котором он лежал в ту ночь, стоит все там же, у окна. Еще цела керосиновая лампа, при неясном, мигающем свете которой он показывал мне на стене такие потешные фигурки.

Вот, как сейчас вижу, подходит к своей постели тетка. Тихо шаркая войлочными туфлями, она несет нашему гостю большую кружку горячего чая, настоянного на сушеной малине. Сергушин благодарит тетку и, высунув из-под вороха одежды худую, тонкую руку, берет чашку.

Рука дрожит — вот-вот горячий чай расплещется прямо на одеяло. Наблюдая за гостем со своей постели, я про себя ругаю тетку — не могла подвинуть к сундуку стул, что ли? Но все обходится благополучно. Отпив несколько глотков, Сергушин осторожно ставит чашку на подоконник, за кружевную занавеску. Кружка дымится на подоконнике, точно непогашенная папироса.

Заметив, что я слежу за ним, Сергушин вдруг ни с того ни с сего хитро подмигивает мне. А потом на стене появляются забавные тени. Они то подпрыгивают к самому потолку, то становятся маленькими-маленькими — точно мыши.

Никогда я не забуду взгляда Сергушина — простого, веселого, чуть хитроватого...

Речи окончены. К памятнику осторожно кладут принесенные венки. Они сплошь покрыли посыпанный желтым песочком могильный бугорок. Несколько венков какая-то пожилая женщина повесила на железную ограду. Черно-красные траурные ленты развеваются на ветру.

Толпа, плотно окружавшая могилу, редеет, расступается, и теперь, украшенная венками, она становится видна отовсюду, даже от подножия Папской башни. Красноармейцы подняли винтовки. Щелкнули затворы. Кто-то из командиров подал команду. Огненные пучки пламени взлетели вверх, к сумрачному, туманному небу, гулкое эхо прокатилось по крепости и вмиг унеслось налетевшим ветром далеко-далеко, на Заречье.

От ружейных залпов и от грустной, торжественной песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой» стало еще печальнее — так, будто на землю выпал сырой, до костей пронизывающий осенний дождь.

МЕНЯ ВЫЗЫВАЮТ В ЧЕКА

Прошла неделя после открытия памятника Сергушину.

Однажды спозаранку Марья Афанасьевна разбудила меня:

— Вставай, к тебе Петька пришел!

Какая нелегкая принесла Петьку в такое время? В окна брызжет раннее солнце, оно выглядывает из-за крыши крольчатника.

Постель отца гладко застлана, на столе стоит недопитая чашка чаю. Видно, отец недавно ушел из дому.

Сонный, неумытый, я выбегаю во двор. Петька ожидает меня у калитки. У него какой-то странный, встревоженный вид.

— Ну, чего надо? Ты бы еще ночью прилез!

— Василь, знаешь, доктора арестовали! И Григоренчиху тоже! — выпалил в ответ Маремуха.

— Когда?

— Да сегодня! Вот только-только, на рассвете. А знаешь как? Доктор услышал, что к нам стучат, прибежал к папе в одних кальсонах и давай его будить. «Спрячь меня, ради бога, спрячь!» А потом, когда увидел, что папа отворять пошел, в погреб запрятался. Не в тот, что во дворе, а в наш маленький, который под кухней. Мама там с вечера на лесенке поставила кислое молоко, так он в темноте все крынки поколотил. А те с винтовками вошли, зажгли лампу, полезли за ним в погреб. Он упирался, не хотел сам вылезать. Его вытащили, будто кабана. До чего он грязный был! Кальсоны в глине, руки в простокваше, даже ухо выпачкал.

— Вещи взяли?

— Ничего! Горничная ихняя куда-то убежала,— наверное, боится, что и ее арестуют. А вещи у нас остались — все чисто: и ковры, и шкафы, и кровати — все у нас. И коняка. Я ее теперь поить буду.

— И все это ваше будет, да?

— Наше? — Петька помедлил.— Нет, заберут, наверное, в клуб, что на Житомирской. Туда же все реквизированное свозят — диваны, зеркала. Там театр показывать будут и туманные картины, и все даром... А знаешь, Васька,— вдруг спохватился Маремуха,— это, наверное, мой папа все рассказал про доктора! Вчера утром к нам пришел Омелюстый. Он в дом не заходил, а попросил, чтобы я тихонько вызвал ему папу. Я вызвал, и они долго в кустах над скалой сидели, потом папа с Омелюстым куда-то пошел. А вернулся и уж больше с доктором не говорил. Вот я и думаю: папа, наверное, рассказал про него в суде, правда?

— Ребята, а где здесь Манджура живет? — послышалось в эту минуту рядом.

Я даже отпрыгнул в сторону. Около калитки стоял красноармеец — молодой веснушчатый парень. Он был подпоясан солдатским ремнем с двуглавым орлом на медной пряжке. Под мышкой у красноармейца была зажата тетрадка, а в руках он держал тоненький синий конверт.

— Папы дома нет! Он в типографии.

— В типографии? А кто же пакет примет?

— Я сейчас позову тетю. Подождите.

— Погоди! — скоро окликнул меня красноармеец.— «Тетю, тетю»! А сам-то ты грамотный?

Я утвердительно кивнул головой.

— Сын его?

— Да.

— Ну, вот видишь,— улыбнулся красноармеец.— Распишись, только поаккуратней,— приказал он, подавая мне раскрытую книжку.— Ищи-ка тут Василия Манджуру, а рядом крестик. Возле крестика и распишись.

— Василия? Да ведь папу зовут Мирон! — ответил я.

— Мирон?.. Мирон?..— озабоченно протянул красноармеец, но тотчас же, тряхнув головой, решил: — Ничего, какая разница: Мирон, Василий? Это наш писарь опять напутал. Расписывайся.

Прижав к колену книжку, я написал свою фамилию. У меня дрожала рука. Второе «а» я написал косо и залез на соседнюю клетку. Красноармеец взял обратно разносную книгу, отдал мне конверт и пошел прочь.

Петька Маремуха сразу потребовал:

— А ну, покажи!

Усевшись на крылечке, мы стали разглядывать этот тоненький конверт, в который была вложена какая-то бумажка. Она прощупывалась пальцами.

На конверте крупными буквами было написано:

«Здесь, Заречье, Крутой переулок, дом 3, Василию Мироновичу Манджуре».

— Васька, ведь это тебе письмо! Открой,— сказал Маремуха.

Петька прав! Меня зовут Василий, а по отчеству Миронович. Но ведь я ни от кого никогда не получал еще писем. Кто бы это мог писать мне?

— Нет, это, наверное, ошибка,— медленно ответил я Петьке.— Я покажу папе, пускай он разберется.

— Вот чудак! Боягуз! — еще больше засуетился Петька.— Ну, разорви конверт, что тебе стоит?

Теперь мне уже просто хотелось подразнить Петьку.

— Тебе какое дело? Мое письмо: хочу — открою, хочу — нет.

Петька обиделся.

— Я давно знаю, что ты не товарищ! — тихо протянул он.

— Я не товарищ? Да? Ну, тогда убирайся! Ищи своего Котьку! Уезжай к нему в Кременчуг! — набросился я на Маремуху.

Петька, вконец обиженный, встал, зашмыгал носом и, не сказав ни слова, поплелся к калитке.

Мне стало совестно: я ни за что ни про что обидел его. Он хороший хлопец, что ни говори! Догнать разве? Да ну, не стоит. Все равно до вечера забудется.

Но что же в конверте?

Я осторожно разорвал конверт и достал сложенную вдвое беленькую бумажку. Когда я читал ее, буквы, напечатанные на машинке, прыгали у меня перед глазами:

Гр. В. М. Манджура!
Уездная Чрезвычайная комиссия вызывает Вас на 5 августа к 10 часам утра к следователю т. Кудревич (Семинарская улица, № 2, комната 12, 2-й этаж). За неявку ответите по закону.
Комендант ЧК Остапенко

Письмо прислано из того большого двухэтажного дома на Семинарской улице, в котором помещается Чрезвычайная комиссия. Окна нижнего этажа в этом доме затянуты решетками. В палисаднике растут высокие серебристые тополя, и тень от них по утрам падает на Семинарскую улицу. Круглые сутки вокруг этого здания ходят часовые в буденовках. Я знаю, что за железными решетками сидят, дожидаясь суда, два петлюровских министра, графиня Рогаль-Пионтковская, владелец водяной мельницы Овшия Орловский и много петлюровских офицеров. Когда ушел Петлюра, эти офицеры остались здесь, в нашем уезде, и поступили на службу украинскими попами в атокефальную церковь. Они поддерживали связь с теми бандитами, которые грабят людей на одиннадцатой версте за городом.

Но зачем я нужен Чрезвычайной комиссии? Может, хотят принять меня в юные разведчики, чтобы я помогал ловить петлюровцев по селам? А в самом деле? Приду я завтра туда, дадут мне коня и кожаное седло, дадут две бомбы, винтовку и скажут: «Поезжай!» Что, не поеду? Конечно поеду! Не смогу разве ловить этих петлюровских офицеров? Еще как смогу! Ведь в отряде Чека есть хлопец чуть-чуть постарше меня. Он часто пролетает галопом по улицам и даже на мосту, где нельзя ездить быстро, несется как сумасшедший. Этот хлопец носит черную каракулевую кубанку с красным верхом и кожаную куртку, перепоясанную портупеями. Ему выдали маузер в деревянной кобуре, и он, пуская лошадь рысью, всегда поддерживает его рукой. Куница мне говорил, что всю семью этого мальчика порубали в Проскурове бандиты из шайки Тютюнника, только он один уцелел и убежал к большевикам.

Как мы завидуем этому мальчику, когда он, не глядя на прохожих, пришпоривая своего пятнистого коня, прижавшись грудью к луке седла, скачет по Житомирской к себе, в Чрезвычайную комиссию! Кто бы из мальчишек ни шел в эту минуту по улице, каждый обязательно остановится и долго-долго глядит ему вслед.

Все знают этого паренька у нас в городе. Вот бы мне поступить к нему в помощники! Да я бы каждого его слова слушался, лишь бы можно было мне скакать с ним вдвоем где-нибудь в поле, знать, что нас дожидаются в городе, как настоящих красноармейцев. Только вряд ли возьмут меня на такую службу. Ведь этот парень, наверное, и в боях бывал, и с петлюровцами воевал — его все знают...

Мне хотелось догнать Петьку, показать ему повестку, похвастаться перед ним, трусишкой.

Или, может, побежать к Юзику? Нет, не стоит. Потерплю лучше до завтра, а потом расскажу все.

Как медленно тянется время!

К счастью, я вспомнил, что Кожухарь как-то просил меня поискать японских патронов. У его приятеля в штабе полка есть большой, разламывающийся надвое револьвер — «смит-вессон». А к этому «смит-вессону» очень хорошо подходят японские винтовочные патроны.

— Вот разыщи — постреляем! — пообещал Кожухарь.

Надо поискать. Ведь у меня где-то на чердаке запрятана обойма этих японских патронов из красной меди, с тоненькими пульками и плоскими аккуратными капсюлями.

Где только они?

Я полез на чердак и долго искал там патроны в душном, пыльном полумраке. Но обойма где-то затерялась. Я так и не смог ее найти, и это было очень жалко. Потом я долго кормил заячьей капустой крольчиху, потом побежал на огород поглядеть, как дозревают тяжелые, сочные помидоры. До самого вечера я никак не мог найти себе места. Хотелось, чтобы поскорее проходило время.

Вечером из типографии пришел отец. Я сразу бросился к нему и, протягивая повестку, сказал:

— Посмотри, тато, что мне прислали!

Он осторожно поднес ее к глазам и стал читать. Я, выжидая, смотрел на отца. Отец был в черной нанковой блузе, от него пахло типографской краской.

— Ну что ж,— отдавая мне повестку, сказал отец,— иди, если зовут.

Потом, немного помолчав, улыбнулся и добавил:

— Это тебя Омелюстый все сватает.

— Куда сватает, папа?

— Вот погоди, все узнаешь! — загадочно улыбнулся отец, подходя к умывальнику.— А самое главное — не бойся, говори только правду. Там справедливые люди работают. Товарища Дзержинского ученики.

Слова отца меня немного успокоили. Но все равно время тянулось очень медленно. Лег спать я с петухами, но заснуть долго не мог. Я прислушивался к ровному, спокойному храпу отца и все обдумывал его слова. Куда же меня сватает Омелюстый? Зачем меня вызывают на Семинарскую? Кто такой этот Кудревич, который будет меня завтра допрашивать?

Утром я сорвался с постели первым. Отец и тетка еще спали. Тихонько я выбежал во двор и, ополоснув холодной водой лицо, вышел на улицу.

Дорогой я ощупывал запрятанную в карман повестку. На улице было тихо и прохладно. Над забором, увитым «кручеными па́нычами», жужжали мухи. Который теперь час? Кто его знает: быть может, шесть, а быть может, девять. Летом солнце всходит очень рано, и доверять ему опасно.

На крепостном мосту ходил часовой. С винтовкой в руках, в шинели, он медленно прохаживался вдоль перил. Он еще охранял город от бандитов. А вдруг в самом деле когда-нибудь бандиты попытаются ворваться в город?

Ведь они прячутся недалеко отсюда — в соседних лесах, но особенно их много на одиннадцатой версте. В этом месте Калиновское шоссе окружено густым, дремучим лесом с глухими оврагами и лощинами. Этими оврагами бандиты часто подкрадываются до самого шоссе и грабят проезжих крестьян, убивают коммунистов и даже нападают на красноармейцев. Они могут в любую ночь обогнуть город со стороны крепости и, убив часового, ворваться в центр. Недаром каждую ночь ревком и комитеты бедноты снаряжают дежурства жителей. Жителям выдают в ревкоме винтовки и патроны, они ходят с ними по улицам города.

На зеленом заборе высшеначального училища развешаны кожаные седла. Дощатые ворота распахнуты. Во дворе дымится походная кухня. Под самым крыльцом на траве сохнет белье. На Губернаторской площади пусто. Напротив губернаторского дома виднеется убранный еловыми ветвями деревянный помост. С этого помоста во время революционных митингов говорят речи.

Минуя Губернаторскую площадь, узеньким проулочком я подошел к типографии. Она была еще закрыта. На ступеньках крыльца сидел сторож. Часовые стрелки на ратуше показывали половину восьмого. Мне оставалось ждать еще два с половиной часа. «Пойти разве домой? Нет, домой все равно не пойду»,— решил я и медленно, не спеша пошел дальше по Тернопольскому спуску, на Новый бульвар. Навстречу все чаще и чаще стали попадаться одинокие прохожие. Проехала телега с пятью красноармейцами. В руках они держали ружья. Обгоняя

телегу, галопом проскакал всадник, одетый в черное, с полевым биноклем на груди.

Как мне хотелось повстречать сейчас кого-нибудь из знакомых хлопцев! Если бы они только знали, куда я шел! Я бы, пожалуй, показал им синий конверт или краешек повестки, где на машинке напечатана моя фамилия. Но, как на грех, никого из знакомых не было видно.

Чтобы побыстрее шло время, я останавливался перед каждым магазином, разглядывал восковые женские головы в парикмахерской Мрочко, выцветшие портреты в фотографии Токарева, вязаные жакеты за окнами магазина Самуила Фишмана на Ларинке. Потом свернул на бульвар.

Здесь, в аллеях Нового бульвара, совсем прохладно. Где-то вверху, в кленовой листве, щебечут птицы, воздух чистый, дышать легко и приятно. Вон под кустами местечко, где мы отдыхали тогда, ночью, после налета на григоренковский дом. Ведь это было совсем недавно, а уж все позабылось, и кажется, с той ночи добрый год прошел.

Долго я еще слонялся по тенистым аллеям Нового бульвара, а потом свернул на самую крайнюю тропинку над скалой. С этой тропинки хорошо видна поднимающаяся над крышами серая вышка ратуши, а на ней — позолоченный циферблат городских часов. Слышно, как отбивают они — глухо, протяжно — сперва четверти, а потом целые часы.

Когда большая часовая стрелка подползла к половине десятого, я еще раз ощупал повестку и смело пошел вверх, к Семинарской улице. Но странное дело: с каждым шагом я волновался все больше и больше.

Хоть и стыдно сознаться в этом, но я чего-то побаивался. Будь бы еще кто-нибудь со мной — Куница, Сашка Бобырь или хоть Петька Маремуха,— да я сам первый потащил бы их вперед. А одному было страшновато.

Сквозь деревья на углу Семинарской уже забелело здание Чрезвычайной комиссии.

Я быстро перебежал улицу и, поравнявшись с часовым, молча протянул ему повестку.

— Зайди в здание. Вторая дверь наверху,— спокойно сказал часовой.

В просторном вестибюле, у коричневой доски с дверными ключами, сидели красноармейцы. Они сразу, как только я вошел, обернулись в мою сторону.

— Где... здесь... комната... двенадцать?..— запинаясь, спросил я. И в эту минуту среди красноармейцев я узнал посыльного — молодого веснушчатого парня, который приносил мне вчера письмо. Он тоже узнал меня, улыбнулся и вышел навстречу.

— Пришел, говоришь? Дай-ка повестку, так уж и быть — проведу по знакомству. Тебе в двенадцатую?

Я подал ему измятый конверт и попробовал тоже улыбнуться, но улыбка у меня получилась кривая.

Прочитав повестку, посыльный сказал:

— Пойдем, парень!

Проводив меня на второй этаж, он сказал, показывая на скамью у дверей какой-то комнаты:

— Сиди тут и дожидайся! Вызовут!

После его ухода я заметил, что в конце этой удобной, с выгнутой спинкой, лакированной скамьи сидел еще какой-то хлопец. Я обернулся к нему и едва не закричал от радости.

— Юзик, и тебя вызвали?

Мне сразу стало веселее.

— Вызвали! — смущенно протянул Куница.— А зачем — не знаю.

— А я тоже не знаю! — едва успел сказать я, как открылась обитая клеенкой дверь двенадцатой комнаты и на пороге появилась девушка в высоких зашнурованных ботинках. Где-то я ее уже видел.

— Заходите, ребята! — пригласила она.

— Мне... к Кудревич! — опешив, сказал я.

— Знаю. Кудревич — это я! — чуть улыбнувшись, объявила девушка.— Проходите быстрей да усаживайтесь!

Очень светлая, продолговатая комната. Три окна ее выходят прямо на Семинарскую. Сквозь стекла видны верхушки серебристых тополей, растущих перед зданием в палисаднике. Около самой двери на стене висит большая карта, а сбоку стоит шкаф. Видно, эта девушка — большой начальник, раз у нее есть в этом доме своя отдельная комната, почти такая же, как кабинет директора гимназии Прокоповича.

Мы осторожно уселись на стулья у затянутого зеленым сукном письменного стола. Стол совсем чистый, будто только что купленный,— ни одной бумажки на нем не видно.

— Ну, как живете, ребята? — спросила девушка и, шумно придвинув к себе кресло, села за письменный стол, наискосок от нас.

Она немного скуластая, но красивая. Смуглый румянец заливает ее щеки. Глаза у нее карие, спокойные, ровно подстриженные каштановые волосы заложены за уши. А уши маленькие, розовые. Они совсем не оттопыриваются, как, например, у Куницы. Лицо у Кудревич доброе, веселое. Не ее ли это держал под руку Омелюстый у могилы Сергушина?

— Ну, что же вы, рассказывайте,— продолжала девушка.— Что у вас тут в городе творилось, когда наших не было?

— Да мы... уходили из города...— медленно, запинаясь, ответил Куница.

— Куда?

— А в Нагоряны!

— Это возле Думанова?

— Ага!

— Долго вы там были?

— Да нет, недолго, дня два,— помог я Кунице.

— А остальное время жили в городе, так? — спросила Кудревич.

— Остальное время жили в городе,— повторил ее слова Куница.

— Гуляли по городу, дрались, в крепость ходили, правда? — прищурив глаза, спросила девушка.

— В крепость ходили! — согласился Куница.— Пришли, а там человека того петлюровцы убивали.

— Какого человека?

— Ну... какого! — вдруг заволновался Куница.— Вы будто не знаете. А того, что доктор Григоренко выдал петлюровцам Сергушина. Ему ж памятник в крепости поставили. То мы могилу его показали. Вы Омелюстого знаете? Вот спросите у него. Да, да, вы знаете...— вдруг смешался Куница, заметив, что девушка улыбнулась.— А зачем вы тогда спрашиваете? — протянул он обидчиво и замолк.

— Да, я все знаю,— спокойно и уже не улыбаясь ответила Кудревич.— Ну, вот что. Я сейчас при вас поговорю с одним типом, а вы послушаете...

Кудревич поднялась и сразу ушла, но не успели мы перекинуться друг с другом парой слов, как она возвратилась вдвоем с доктором Григоренко. Искоса глянув на нас, доктор присел на стул напротив следователя. Он держится так, будто ему совсем безразлично, о чем будет спрашивать Кудревич. Григоренко оброс бородой. У него мешки под глазами. Пояска на рубашке нет, и коричневые его туфли не зашнурованы.

— Я возвращаюсь к старому вопросу,— доставая из стола папку с бумагами, сказала Кудревич.— Я думаю, что вы наконец расскажете, каким образом, выдав этим наймитам Антанты Сергушина, вы стали свидетелем и участником его расстрела?

— Я никого не выдавал... И свидетелем не был... Это клевета... Чистая клевета...— пробормотал доктор.

— Скажите,— не слушая Григоренко, снова спросила Кудревич,— вы, должно быть, хорошо знакомы с Гржибовским? Приятели с ним, так? Чем вы объясните, что он обратился за помощью именно к вам?

— Какой Гржибовский? Какая крепость? Что вы, барышня, в самом деле, выдумываете? — сказал доктор, чуть приподнимаясь со стула.

— А кстати, доктор, я про крепость вас сейчас совсем и не спрашиваю! — улыбнулась Кудревич.

— Да, конечно, сейчас не спрашиваете, зато раньше спрашивали! — быстро вывернулся доктор и даже стулом заскрипел.

— Значит, в крепости вы тоже не были?

— Да господь с вами, какая крепость? Конечно, не был. Я живу на другом краю города, мало мне дела, чтобы в крепость ходить,— шевеля усами, ответил доктор.

— Как же вы, дядя, не были, когда туда на своей коняке приезжали? И землю щупали,— неожиданно вмешался в разговор Куница.

Доктор хмуро, с презрением глянул на Куницу и отвернулся к следователю.

— Погоди, паренек! — остановила Куницу Кудревич и снова посмотрела на доктора.

— Значит, вы и сегодня утверждаете, что никогда ни с кем в Старой крепости не бывали и с Марком Степановичем Гржибовским незнакомы? Так я вас понимаю?

— Так! — облегченно вздохнул доктор.

— Ну хорошо, — согласилась Кудревич и захлопнула папку с бумагами.

Доктор вынул из кармана грязный, измятый платок и вытер им свои жесткие усы. А Кудревич, выйдя из-за стола, быстрыми шагами, чуть покачиваясь на высоких каблуках, подошла к шкафу. Она приподнялась на носках и, открыв его, достала с верхней полки завернутый в газету сверток. Затем подошла к доктору и развернула перед ним на столе этот тючок.

Да ведь это одежда убитого Сергушина!

— Эта вещь вам тоже незнакома? — спросила Кудревич доктора, вешая на спинке свободного стула выпачканную известкой зелёную рубашку Сергушина.

— Незнакома, а что?— встрепенулся Григоренко.

— Да нет, я просто так спросила! — снова усаживаясь в кресло, сказала Кудревич, внимательно рассматривая доктора.

Он ерзал на стуле.

— Послушайте, мадемуазель, я вам уже однажды говорил и сейчас повторяю,— неожиданно скороговоркой забормотал доктор,— я никогда в жизни не уважал Петлюру, я всегда говорил, что это выскочка, авантюрист и мошенник...

— Да оставьте,— перебила его Кудревич.— Сейчас вы его называете авантюристом, а когда он был в городе, вы приютили у себя офицеров из его булавной сотни — Догу и Кривенюка? А какую речь вы произнесли о петлюровской директории, когда город заняли петлюровцы? Помните? А кто адрес Петлюре подносил на Губернаторской площади во время молебна? А сейчас вы мне объясняете, кто такой Петлюра? Да мы и без вас знаем, кто он. Такой же наемник мировой буржуазии и Пилсудского, как все эти коновальцы, огиенки и прочая националистическая шваль. Служат тому, кто больше заплатит. Расскажи-ка ты, паренек, как было дело,— внезапно обратилась ко мне Кудревич.

Я оторопел и сперва молчал. Но потом, сбиваясь и путая слова, стал рассказывать, как петлюровцы убивали Сергушина. Я заодно передал Кудревич и Петькин рассказ о том, как доктор Григоренко обнаружил Сергушина во флигеле сапожника Маремухи.

Кудревич кивнула головой. Видно было, что все это она и без нас хорошо знала и что лишний раз слушала мой рассказ только затем, чтобы заставить сознаться доктора. А Григоренко, когда я говорил, все ерзал на стуле и глухо покашливал, точно напугать меня хотел, чтобы я все не рассказывал.

— А после того как они выстрелили, доктор того человека ощупал и руки платочком вытер! — помог мне Куница.

— Да что ты брешешь, босяк! — неожиданно вскочил доктор, но тотчас же, спохватившись, снова грузно опустился на стул.— Вы издеваетесь надо мной, мадемуазель! Я Львовский университет окончил, я — доктор медицины, а вы мне здесь очные ставки со всякой босотой устраиваете! Да это выродки — мало ли кто вам что наговорит. Я не был...

— Сами вы выродок... и... брехун! — вдруг, блеснув глазами, зло перебил доктора Куница, но Кудревич в ту же минуту осадила его.

— Тише! — сказала она.— Нужно будет — спрошу.

— Я и говорю... Дайте им волю — они и про вас наговорят,— обрадовался доктор.— А я вам сейчас объясню, почему они про меня выдумывают. У меня сад

есть. Знаете... груши, яблоки всякие. Как осень — прямо му́ка одна, только и гляди, как бы не пообрывали. И все такие шаромыжники, а я им пощады не даю. Как поймаю, сразу — к родителям. Ну а они, конечно, злятся на меня. Да вы их побольше еще соберите, они могут вам сказать, что я вор, разбойник...

— Погодите! — оборвала доктора Кудревич и крикнула: — Товарищ Довгалюк!

Из коридора в комнату вошел красноармеец с винтовкой.

— Внизу, в свидетельской, дожидается гражданин Блажко. Приведите его сюда! — попросила часового девушка.

Красноармеец, стукнув прикладом, ушел.

— А вы, ребята, свободны,— сказала нам Кудревич.— Давайте ваши повестки, я отмечу.

Уже внизу, у выхода, мы столкнулись со сторожем Старой крепости. Вон оно что! Так это и есть Блажко. Он держал в руках такую же, как и наши, повестку и, прихрамывая, шел нам навстречу. Сторож нас не узнал.

На улице Куница возмущенно сказал:

— Ты смотри, вражина, как отпирается!

— А ты ему хорошо сказал, что он брехун. Пусть знает!

Мы вошли на Новый бульвар с чувством большого облегчения, чуть усталые и взволнованные. Вокруг хорошо пели птицы. То здесь, то там на утоптанных глинистых аллеях искрились желтые пятна солнца. Спешили куда-то по своим делам суетливые прохожие. Мы побрели вслед за ними.

...Сегодня с самого утра льет проливной дождь. Струи дождя стучат по железной крыше. Вода гремит в водосточных трубах и разливается по всему двору мутными пенящимися лужами. По окнам, извиваясь, бегут прозрачные струйки. В комнатах так темно, будто наступил вечер.

В эту пору со двора ко мне на кухню вдруг ввалился Куница — весь мокрый, блестящий от дождя.

— Васька, я уезжаю!

Я изумленно уставился на Куницу.

— Куда?

— В Киев! К дядьке! На, читай!

И с этими словами Куница протянул мне влажное, слегка помятое письмо. Пишет его дядя — тот самый, о котором не раз рассказывал мне Куница. Он плавает старшим механиком на днепровском пароходе «Дельфин». Дядя зовет Куницу к себе в Киев. Он обещает устроить его в школу моряков. Пока я, усевшись на топчане, читал письмо, Куница ждал. В мокрых его волосах блестели, как росинки, крупные капли воды. Тонкие струйки ее стекали по щекам Куницы.

— Когда едешь?

— Послезавтра. Мама уже пирожки печет на дорогу,— усаживаясь около меня, с гордостью говорит он.

Осторожно смахнув с письма дождевую каплю, Куница спрятал письмо в карман штанов. Я следил за его движениями, и мне стало почему-то очень грустно. Вот Куница уедет в большой город, а мы с Петькой Маремухой останемся здесь одни. Распалась наша компания. Вдвоем уже будет не то. Разве Петька сможет заменить Куницу? Никогда. С ним даже в Старую крепость — и то не полезешь... Эх, жалко, что Куница уезжает.

А он, точно угадывая мои мысли, сказал:

— Вот я выучусь в морской школе на капитана, тогда приезжай ко мне, я тебя бесплатно на пароходе покатаю!

— Да, покатаешь... Когда это еще будет...— с горечью ответил я.

— Когда! Ну, когда... Очень скоро...— утешил меня Куница, но говорил он это неуверенно. Видно, он чувствовал, что расстается со мной надолго.

Дождь как будто перестает. Проясняется.

Юзик подошел к окну. Он провел пальцем по заплывшему стеклу и, не глядя на меня, сказал:

— А хочешь, попрошу дядю, он тебя устроит в школу. Поедешь в Киев, будем жить вместе...

— Да, устроит... Он меня и не знает...

— Ничего... Устроит...— так же нерешительно протянул Куница.

Теперь мне стало совсем ясно, что он сам не верит своим обещаниям.

— Васька, хочешь, я тебе турманов своих подарю? Банточных! — вдруг предложил Куница.— Они хорошие, ты не думай, они тебе таких молодых еще выведут!

— Подари!

— Конечно! Ты будешь Петькиных голубей подманивать. Приходи завтра после обеда...

— Приду, только смотри — никому не отдавай.

— Ну, что ты! — возмутился Куница.— А писать мне будешь? Я тебе оставлю дядькин адрес.

Я записал новый, киевский, адрес Юзика, и мы расстались с ним до завтра.

...Наступил день отъезда Куницы. Вечером вместе с Маремухой мы отправились к Юзику домой.

У ворот усадьбы Стародомских топчется запряженная в линейку их тощая лошадь. Чтобы отвезти Юзика к поезду, его отец снял с линейки черный фургон — собачью тюрьму.

— Давай, тато, скорей. Опоздаем,— раздался за воротами голос Куницы, и он выбежал на улицу.

Куница одет по-праздничному. На нем голубая шелковая рубашка, сшитая из куска скаутского знамени — из того самого куска, который достался ему по жребию. Ворот рубахи наглухо застегнут; новенькие перламутровые пуговки так и переливаются на голубом шелке. На Кунице какие-то особенные серые брюки, чуть ли не из настоящей шерсти, на ногах деревянные сандалии. Я никогда не видел Юзика таким нарядным, гладко причесанным. Ишь нарядился, прямо франт!

— Ну вот... сейчас поедем,— увидев нас, тихо сказал Куница. Видно, ему было не по себе в этом наряде — он стыдился и своей новой рубашки, и новых штанов.

— Это все твои вещи? — спросил Маремуха, показывая на маленькую плетеную корзинку.

— Ага, мои! Тут белье, пирожки...— устанавливая корзинку на линейке, сказал Юзик.

Вышел кривоногий Стародомский с кнутом в руках.

— Тато, можно, чтобы хлопцы тоже с нами поехали? — попросил Куница.— Они пришли провожать меня.

— Ладно, садитесь,— разрешил Стародомский. И пока он расправлял поводья, мы уселись на линейку.

— А твоя мама не поедет? — шепнул Маремуха.

— У мамы ноги опухли, ревматизм,— сказал Куница.

Линейка трогается.

Мы едем к вокзалу. Тощая лошадка хорошо бежит. Линейка так дребезжит и подпрыгивает на камнях, что нам трудно разговаривать друг с другом. Лишь за городом, выехав на мягкую и ровную проселочную дорогу, мы заговорили, и Куница напомнил мне:

— Так гляди же, пиши!

— А к нам сегодня Григоренчиха с Котькой за вещами прибежала. Ее выпустили, а доктор сидит! А может, его уже расстреляли? — прошептал Маремуха, поглядывая на Куницыного отца.

— С Котькой? А откуда взялся Котька? — насторожился Куница.

— Из Кременчуга приехал. Наверное, горничная ему написала про все, вот он и вернулся,— объяснил Маремуха.

— И у вас живет, да? — насупившись, спросил Куница.

— Нет, что ты! Он не у нас. Он у Прокоповича живет, у директора. Прокопович их взял к себе на квартиру,— ответил Петька.

— Вы смотрите не поддавайтесь Котьке! — сказал Куница.— Он сейчас подмазываться к вам будет.

Но вот показался вокзал. Нам уже виден хвост поезда, который повезет Куницу в Киев.

Эх, счастливый Юзька, уезжает! Хорошо, наверное, жить в Киеве! Ведь Киев большой, красивый город, в нем много трамваев, и совсем рядом протекает Днепр. Я бы с удовольствием поехал с Куницей вместе.

У железной ограды вокзального палисадника Стародомский осадил лошадь и, соскочив с облучка, привязал поводья к стволу клена. Через маленький грязный зал мы вышли на перрон. Посадка уже началась. В окнах вагонов видны люди.

— Давай-ка сюда, Юзьку! — показал Стародомский сыну на предпоследний вагон, в котором было не так много народу.— Этот до самого Киева пойдет? — на всякий случай спросил он у стоящего в тамбуре красноармейца.

— До Киева, отец, до Киева,— ответил красноармеец, поправляя пояс.

— А ты, служивый, в самый Киев едешь? — осторожно спросил у красноармейца Стародомский.

— Я — дальше, в Брянск. В Киеве у меня только пересадка,— охотно объяснил красноармеец.

— Сделай такую милость, присмотри по дороге за моим сынком! — попросил Стародомский. — Он у меня в первый раз по железной колее едет.

— Ладно, не пропадет. У меня рядом полка свободная,— сказал красноармеец.

И вот Куница в вагоне. Через окно видно, как белеет на верхней полке его корзинка. Он расстегнул воротник рубашки и высунулся к нам. А мы стоим на перроне рядом с низеньким отцом Куницы. Тяжело бывает провожать знакомых, видеть перед собой мелькающие вагоны отходящего поезда, еще тяжелее провожать друга, товарища, с которым прожито столько веселых и тревожных дней...

А когда загудел в последний раз паровоз и поезд тронулся, я, глядя на уходящие вагоны, почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Квадратик последнего вагона становится все меньше и меньше, стихает далекий стук колес, расходятся с перрона люди, и вскоре пассажирский поезд, увозящий Куницу, исчезает за поворотом в желтеющем широком поле.

ОДИННАДЦАТАЯ ВЕРСТА

На другой день после отъезда Куницы Маремуха принес мне лобзик. Еще вчера я просил его об этом. Я хотел лобзиком пропилить дырку в стенке крольчатника, чтобы устроить там турманам настоящую голубятню. Я уже и досок припас для нее и гвоздей. Прежде чем приняться за работу, я предложил Петьке поесть вместе со мной. Тетка ушла на речку полоскать белье и оставила мне в глиняной миске гречневой каши с молоком. Вооружившись деревянными ложками, мы с Петькой сели за стол и принялись за кашу. В это время из своей комнатки к нам на кухню вышел Полевой.

— Тише! Ложки поломаете! — засмеялся он, остановившись у порога.

Петька Маремуха сразу присмирел и отложил ложку.

— Слушайте, молодцы, кто из вас знает дорогу в Нагоряны? — вдруг спросил нас Полевой.

— Я знаю. А что?

— Хорошо знаешь? — пытливо посмотрел на меня Нестор Варнаевич. Широкоплечий, лохматый, он стоял в дверях, загородив собой весь проход. Ворот его гимнастерки был расстегнут, на груди алели три остроконечные красные полоски — их звали «разговорами».

— А как же! Хорошо знаю! У меня там дядька живет,— сказал я, предчувствуя какое-то интересное дело.

— Мне надо за фуражом съездить,— медленно объяснил Полевой.— Хочешь прокатиться со мной?

Еще бы! Как не хотеть! Но я спокойно, безразличным тоном ответил:

— Верхом поедем или как?

— Нет. На бричке. Наши лошади останутся здесь.

— А Петьке можно? — показал я на Маремуху.

Он, бедняга, жалобно, с тоской смотрел на Полевого. А тот, поглядев на Маремуху, сказал:

— Ну что ж, хорошо, езжайте вдвоем!

Петька чуть не подпрыгнул от радости. Подумать только, какое счастье: проехать столько верст на казенных лошадях, да еще вместе с красноармейским командиром!

И вот после обеда мы прибежали к Полевому в епархиальное училище.

У бревенчатой конюшни во дворе училища мы увидели запряженную парой сытых лошадей желтую полковую бричку. Полевой стоял у входа в конюшню. Он внимательно следил, как маленький белобрысый красноармеец запрягал лошадей в забрызганную грязью подводу. На плечах у Полевого была длиннополая кавалерийская шинель, а на голове — барашковая с малиновым верхом кубанка. Увидев нас, Полевой строго спросил:

— Не оделись почему?

— Так сегодня же не холодно, дядя Полевой! — удивленно ответил я.

— Да, не холодно. Ночью в поле очень холодно. Бегите-ка домой и возьмите пальто. Только побыстрее — одна нога здесь, другая там!

Что делать? Ведь бричку уже запрягли. Пока мы добежим до Успенской церкви, ездовой приготовит и подводу. Разве станут они дожидаться нас? Возьмут и покатят сами в Нагоряны. Нет, бежать домой за пальто никак нельзя.

— Нестор Варнаевич, у нас нет пальто! Мы так поедем! И не простудимся, честное слово, не простудимся! — сказал я.

— Ах вы лентяи, лентяи,— покачал головой наш квартирант.— Неохота бежать? Правда? Ну ладно! — И, запахнув шинель, он ушел в конюшню. Немного погодя он вынес оттуда потрепанную и обсыпанную соломенной трухой кавказскую бурку с приподнятыми плечами.

— Это моя собственная, старинная,— сказал Полевой.— Ездила когда-то со мной в обозе. Я уж не думал, что будет нужна, а сейчас пригодится. Ею еще пять таких пацанов, как вы, закутать можно. Ну, залезайте в бричку, живо.

Я уселся рядом с Полевым, а Петька полез на облучок к Кожухарю. Свернутая черная бурка лежала у ног Полевого. От нее пахло лошадиным потом. Полевой уложил на бурку две винтовки с ремнями и несколько обойм русских патронов с белыми острыми пулями.

— Поехали! — приказал он Кожухарю.

Тот подобрал вожжи и чмокнул губами; лошади тронулись, и мы выехали со двора епархиального училища прямо на Успенский спуск. Дорога предстоит немалая, ехать будет хорошо. Бричка весело подпрыгивает по булыжникам мостовой. Низенькие пожелтевшие липы, пестро размалеванные вывески парикмахерских, деревянные будочки медников, жестянщиков мелькают по обеим сторонам дороги.

Вот мы проехали дворик Стародомских. Как жалко, что Куница уехал в Киев. Подождал бы еще денька два — мы бы и его захватили сегодня в Нагоряны.

Мимо нас в новых буденовках проходит рота курсантов военно-политических курсов. Ротой командует Антон Бринский, сутулый командир-стажер в темно-коричневой гимнастерке.

Курсанты поют:

Гей, нумо, хлопці, ви комсомольці,
Треба нам в спілку єднатися!
Пану гладкому, богу старому
Годі вже нам покорятися!

В Чорному морі панство топили,
Гади і в Парижі дрiжали...
Рейдом зарвались глибоко в Польщу,
Чули: «Даєш!» під Варшавой...

Я знаю эту песню. Ее всегда поют комсомольцы.

Мы проезжаем Успенский базар. Дощатые, обитые жестью рундуки закрыты на тяжелые засовы. Мальчишки с завистью поглядывают на нас. Как мы гордимся тем, что едем на полковой бричке вместе с командиром Полевым! Смотрите, смотрите! А вот вас не возьмут на бричку, как бы вы ни просились!

Бричка взбирается на гору. Мы выезжаем на Житомирскую улицу. Вдоль нее тянутся рядами молодые акации, каштановые деревья и высокие грабы. А вот и усадьба доктора Григоренко! Над резными дубовыми дверями докторского

дома колышется белый флаг с красным крестом посредине. Теперь здесь помещается дивизионный лазарет. На столбе у ворот можно заметить светленькое пятно: оно напоминает прохожим, что когда-то здесь висела медная дощечка с фамилией Котькиного отца.

Бричка въезжает на Тюремную улицу. Влево от нас белеет тюрьма. Перед нашими глазами расстилается широкое поле с уходящим к горизонту Калиновским трактом. Мы уже за городом. Где-то за высокими подсолнухами кричит «пить-пилить» запоздалый перепел. Пахнет чебрецом, мятой и полынью.

Полевой закуривает трубку. Синий дымок вьется над бричкой и сразу же уносится вольным полевым ветром.

До нагорянского кладбища оставалось совсем немного — каких-нибудь полверсты, как вдруг у нашей брички лопнула задняя ось. Полевой спрыгнул на землю. Он осмотрел лопнувшую ось и, крякнув с досады, достал из брички свою шинель, винтовки, патроны, черную бурку и бросил их на траву.

— Вот петрушка приключилась, будь ты неладна! — с сердцем произнес Кожухарь.

Подвода, которая ехала сзади, догнала нас. Белобрысый красноармеец спрыгнул с облучка и подошел к Кожухарю. Вдвоем они ощупывают ось, советуются.

Из села нам навстречу идет сутулый крестьянин в коричневой свитке. Поравнявшись с нами, он снимает шапку и кланяется.

— Добрый день!

— Здравствуй, папаша,— ответил Нестор Варнаевич.— Скажи, где тут кузница?

— Кузня? А вон, за церквою, на горбку!

— А Манджура в селе сейчас? Вы его знаете? — спросил я у старика.

— Авксентий? В сели, в сели. Вин у нас голова сельрады!

— Кто, кто? — заинтересовался Полевой.— Манджура? Он что, председатель сельсовета?

— Эге ж! — подтвердил крестьянин.

— Твой дядя? — тихо спросил у меня Полевой.

Я кивнул головой.

— Хорошо я, значит, сделал, что взял тебя,— улыбнулся Полевой.— Давай тогда искать твоего дядьку.— И, подойдя к Кожухарю, Нестор Варнаевич приказал: — Вот тебе, Феофан, винтовка, патроны. Езжай полегонечку к кузнице. Как-нибудь дотащишься. А потом шпарь в город один — мы на подводе доедем... Ну, садитесь, ребята.

Миновав кладбище, мы заезжаем прямо во двор к Авксентию. Дядьки нет дома, и Оська мчится за ним в сельсовет.

Авксентий радостно встречает нас. Я знакомлю его с Полевым.

В хате дядька рассказывает:

— А в селе у нас новостей, новостей! Староста наш прежний, Сигорский, удрал с петлюровцами, пес поганый. Мельницу водяную у помещика Тшилятковского мы отобрали. Главный мельник у нас теперь Прокоп Декалюк — вы ж его, наверное, знаете? А я, кто я — как бы вы думали? — смеется дядька.— Такая шишка, не дай бог! Я голова сельрады! Верное слово! Был сход — беднота меня и выбрала. «Ты, говорят, Авксентий, пострадал от петлюровцев, так будь теперь у нас за главного». Ясное дело, куркули ой как недовольны. Знают, лихо им в бок, что я покажу им бенефис. Они уж мне записки бросали: «Не загибай, Авксентий,— подожжем!» Так я и испугался! Одно плохо, что они с бандитами снюхались, а те немалую шкоду могут селу сделать. Их же много теперь по лесам шляется.

Тем временем жена Авксентия ставит на стол миску с зеленым борщом и каравай хлеба. За едой Нестор Варнаевич договаривается с дядькой о поставке фуража.

— К четвергу подготовлю тебе десяток возов, а сейчас дам подводу,— обещает Авксентий.

Оксана разостлала на столе вышитое полотенце. Она приносит в подоле яблоки-цыганки и высыпает их на стол. Яблоки твердые и чуть продолговатые.

— Ну как, племянничек, много ты стекол побил за это время? — спрашивает Авксентий, видя, как я уплетаю вместе с Маремухой яблоки.

— Он — герой, дорогу нам сюда показал,— хвалит меня Полевой.— Мы вот его скоро в комсомол определим, пусть только подрастет немного.

Темнеет. В горницу входит Оксана, шлепая по глиняному полу босыми ногами. Она зажигает коптилку.

— О, да мы заговорились! — сказал Полевой.— Ну, спасибо, хозяин, за яблоки да за сено. В четверг я пришлю к вам обоз.— И, встав из-за стола, он протянул руку Авксентию.

Пока мы прощались, Полевой надел шинель и туго застегнул ее на все крючки. Потом перебросил через плечо ремень своего тяжелого маузера. На дворе уже прохладно. Хорошо, что Полевой захватил для нас бурку.

Мы еще раз попрощались с Оксаной, с Оськой и Авксентием и полезли за Полевым на самый верх подводы. Легли животами на мягкое, упругое сено и укрылись буркой. Полевой улегся рядом с нами на сено — большой, широкоплечий, от него здорово пахнет табаком.

Ездовой — низенький красноармеец — примостился с винтовкой в руках где-то внизу, на облучке; он почти закрыт нависающей над ним копной сухого сена. Нам видно только, как дрожат внизу туго натянутые им вожжи. Лошади, почуяв дорогу домой, упрямо мотают головами,— крепкие постромки то и дело трут их шелковистую кожу.

Мы глядим вперед на дорогу, по которой, подскакивая и качаясь, едет наша подвода.

За березовой балкой всходит луна. Чем дальше мы едем, тем сильнее голубоватый свет заливает окрестности.

Когда мы выезжаем с проселочной дороги на ровное шоссе, Полевой легко поворачивается на бок и вынимает из кобуры свой маузер. Щелкает предохранитель.

Вдоль шоссейной дороги тянется частый сосняк. Все реже и реже мелькают случайные просеки, полянки. Чем ближе мы подъезжаем к городу, тем гуще становится лес. Теперь плотная стена деревьев уже окружает с обеих сторон Калиновский тракт. Где-то здесь бродит банда Мамалыги.

Вдруг, когда мы, перевалив через бугор, спускаемся вниз, из придорожной канавы, наперерез нам, выскакивают три человека.

Кто это? Неужели бандиты? Ну да, бандиты!

— Сто-ой, холер-ра!..

Это закричал бандит, изо всей силы, ухватив под уздцы наших лошадей.

Испуганные кони, захрапев, подмяли бандита и круто повернули в сторону.

Подвода стала поперек дороги. От неожиданного поворота я чуть не слетел вниз.

— А ну, слезай, холера тебе в живот! — скомандовал ездовому бандит, остановивший лошадей. Два других медленно, опустив револьверы, подходят к лошадям. Они, наверное, думают, что ездовой на телеге один.

— Тащи его оттуда, паскуду! — хрипло выругавшись, потребовал один из бандитов.

И в эту минуту около нас хлопнул сухой, резкий выстрел. Маремуха от испуга схватил меня обеими руками за плечи.

Выстрелил Полевой. Он чуть приподнялся над сеном. Его каракулевая кубанка слетела. Почти к глазам прижав длинный маузер, он стреляет по бандитам. Видно, как из тонкого ствола маузера вылетают остренькие лучики огня. Кто-то из бандитов, крикнув, тяжело повалился. Остальные два метнулись в сторону. Вот они с размаху, один за другим, перепрыгнули канаву и пропали в лесу. Внизу, под нами, грохнул выстрел. Это пальнул из винтовки по убегающим бандитам ездовой. Эхо прокатилось над безмолвной листвой и замерло.

Как тихо стало сразу вокруг. Слышно только, как слева от нас, в лесу, куда убежали бандиты, трещит валежник. Кажется, будто какой-то полуночный встревоженный зверь, меняя свое логово, мчится среди деревьев. Внизу, под колесами, застонал подстреленный Полевым бандит.

— Погоди, Степан, не стреляй,— громко, но совершенно спокойно приказал ездовому Полевой.

Потом с маузером в руке он спрыгнул на землю.

— Гляди по сторонам! — тихо приказал ездовому Полевой, а сам подошел к бандиту.

Нам с Петькой стало жутко оставаться на подводе.

— Слезем, а, Петька? — шепнул я Маремухе, кивая на дорогу.

Тихонько, цепляясь руками за веревку, мы спрыгнули на шоссе и подошли к Полевому. Он опустился на корточки перед подстреленным бандитом и обыскивает его. Страшно, но и мне хочется посмотреть на бандита. Пересиливая страх, я наклонился.

Бандит уже не шевелится. Его лицо залито кровью. Левая рука запрокинута далеко назад, точно он хочет схватить камень.

Я вздрогнул... Нет... не может быть... я ошибся...

Я наклонился к бандиту совсем близко, и снова мурашки забегали у меня по коже. Бандит очень похож на Марко Гржибовского.

— Петя, это не Марко? — толкнул я под бок Маремуху.

Петька тоже наклонился к бандиту, но тотчас же отпрянул.

— Марко!..— испуганно прошептал он и попятился от трупа.

Ну конечно, это Марко, широколобый, курносый Марко, сын колбасника пана Гржибовского. Это его упрямый лоб, его крутая шея. Да ведь и френч-то на нем, кажется, тот самый, английского покроя, с высоким стоячим воротником, в котором мы видели Гржибовского последний раз в Нагорянах.

— Дядя Полевой! Это Марко Гржибовский! Мы его знаем! — сказал я нашему квартиранту.

Но Полевой вместо ответа строго приказал:

— А ну, пошли на сено! Без вас разберутся!

Он, видимо, не хотел, чтобы мы смотрели на убитого. Мы отошли в сторону и только было собрались лезть вверх, на сено, как в эту минуту за перевалом громко застучали колеса какой-то подводы.

Едут к нам.

А что, если это спешат на выручку приятели Марко Гржибовского? Мы с Петькой сразу запрятались в тень, под сено. Мне кажется, что лес подкрадывается к нам со всех сторон, с голенастыми своими соснами, с ветвистой ольхой, с низеньким кустарником. Лошадиный топот и дребезжание колес раздаются все громче. Внезапно из-за бугра вылетает запряженная парой коней бричка и, не доехав шагов пяти до нашей подводы, останавливается.

— Кожухарь, ты? — негромко окликнул Полевой, подняв навстречу маузер.

— Товарищ начальник, я тебя малость не признал,— радостно откликнулся с брички Кожухарь и, спрыгнув на землю с винтовкой в руке, побежал к Полевому, но, чуть не наступив на руку Марко, отпрыгнул и растерянно протянул: — Э-э, да у вас тут...— но не договорил. Он с изумлением стал разглядывать освещенное луной мертвое лицо Гржибовского.

— Ладно, поехали! — коротко распорядился Полевой и спрятал маузер в деревянную кобуру.

И вот через несколько минут мы едем дальше, к городу. Мы с Петькой лежим на сене, едва дыша, не шевелясь. Я пристально вглядываюсь в лесную чащобу. Теперь мне кажется, что из-за каждого ольхового ствола выглядывает бандит. Тень деревьев хорошо скрывает бандитов, а мы, наоборот, освещены луной и видны отовсюду отлично. Зачем только ездовой так быстро гонит лошадей? Ехал бы потише! Ведь подковы так звонко цокают по камням!

Стук лошадиных подков и громыхание колес разносятся эхом по всему лесу. Наверное, услышав этот грохот, приятели Марко Гржибовского — страшные волосатые бандиты — уже подползают к дороге, чтобы отомстить нам. В руках у них бомбы, обрезы. В этом дремучем лесу они хозяева — каждая тропа им знакома.

Но вот заискрились за лесом далекие огни епархиального училища. Уже близок город. Там стоит полк Полевого, там живет мой отец. В городе горят на улицах электрические фонари, а на мосту возле крепости стоит часовой. Если бандиты погонятся за нами, он не пустит их в город. На радостях я крепко прижался к Петьке Маремухе. А хорошо ехать здесь, на сене! Теплая бурка греет нас, как одеяло. Мы все ближе подъезжаем к городу. А впереди нашей подводы,

на желтой бричке, мой приятель Кожухарь везет в уездную Чрезвычайную комиссию труп Марко Гржибовского.

РАДОСТНАЯ ОСЕНЬ

Занятия в школе начинаются поздней осенью. Уже облетают с деревьев последние желтые листья. Многие зареченские хозяйки ворохами собирают их в мешки на Новом бульваре. Будет чем зимой растапливать плиту и кормить коз.

Над балконом нашей бывшей гимназии, за голыми ветвями каштановых деревьев, краснеет новая вывеска:

ПЕРША ТРУДОВА ШКОЛА
імені
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

С гимназией покончено навсегда! Я пришел в класс как старый знакомый: заново составляли классный журнал, и меня вместе со всеми моими товарищами вписали туда. Новостей в нашей школе уйма! Скоро, говорят, будет выбран ученический комитет.

Пани Родлевская — учительница пения — ходит по коридору скучная-скучная. Не придется уж, видно, ей, Караморе, больше разучивать с нами «Ще не вмерла...». А новые наши песни петь она еще не научилась. Ее перевели в соседний класс. Говорят, что, когда ученики называют ее «товарищ учительница», она морщится так, будто ей наступили на платье. Вместо Родлевской в учителя пения нам дали Чибисова — того самого, который раньше преподавал в высшеначальном училище. Чибисов очень худой и носит дымчатые очки. Так он учитель ничего, смирный, не кричит, когда, случается, разгуляешься на его уроке,— беда вот только, что каждый день после уроков он ходит в кафедральный собор. Чибисов — регент: он командует на клиросе соборными певчими. Он весь прокоптился в церковном дыму, от него за версту, словно от попа, пахнет ладаном и палеными свечами. Учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст бежал за границу вместе со своими дружками — петлюровцами.

А вот природовед Половьян доволен! Он бегает по лестницам как угорелый. Он сам снял в актовом зале портреты всех петлюровских министров, выдрал из рамок и водворил на их место под стекло старые фотографии своих животных, и в первую очередь портрет знаменитого муравьеда.

Тощего Цузамена что-то не видать. Я слышал, он все болеет — видно, соскучился по своим немцам. А может быть, он просто боится большевиков? Но самая главная и радостная новость, особенно для нас, прежних высшеначальников, это та, что заведующим нашей трудовой школой назначен Валериан Дмитриевич Лазарев.

В первый же день занятий он собрал нас в актовом зале и сказал:

— Вы не смейтесь, ребята, что я плохо говорю по-украински. Я хоть и украинец, но учился в русском университете — тогда царь не разрешал студентам заниматься на их родном украинском языке. Конечно, я кое-какие слова позабыл. Но сейчас-то мы с вами живем в Советской Украине, где большинство населения говорит по-украински. Вот и в нашей советской трудовой школе будут учить наш родной украинский язык, чтобы знать его хорошо. Давайте, хлопчики, жить дружно, не ссориться. Война окончилась, и теперь мы сможем учиться спокойно. Наша школа названа именем великого украинского поэта Тараса Шевченко. Не забывайте никогда его мудрые, простые слова:

Учітесь, читайте:
І чужому навчайтесь,
Й свого не цурайтесь...

Мы рады были услышать после долгого перерыва мягкий, спокойный голос любимого учителя, да и те, которые его увидели впервые, тоже встретили Лазарева хорошо. Он всем понравился.

В субботу, через три дня после собрания в актовом зале, мы с Петькой встретили Валериана Дмитриевича возле учительской. Я отважился и спросил:

— Валериан Дмитриевич! А когда вы нас в подземный ход поведете?

— В какой подземный ход? — удивился Лазарев.

Тут выскочил Петька Маремуха и, запинаясь, объяснил:

— А помните, Валериан Дмитриевич, вы нам обещали, еще как Петлюры не было?

— Погодите... погодите... Мы собирались пойти в подземный ход возле Старой крепости?

— Ага, ага! — закричал Петька Маремуха.

— Ну что ж, можно и сходить.

— Правда, Валериан Дмитриевич?! — даже не поверил я сначала.

А Петька Маремуха протянул:

— А как же мы туда пойдем, раз у нас фонаря нет?

Валериан Дмитриевич улыбнулся.

— Это в самом деле закавыка. Ну хорошо, я велю Никифору раздобыть фонарь.

Пока шел последний урок, наш старый знакомый сторож Никифор разыскал на складе фонарь и наполнил его казенным, школьным керосином.

Не успел замолкнуть звонок, не успел природовед Половьян захлопнуть классный журнал, как я вырвался из класса в коридор. Следом за мной пустился Петька и, позабыв, что из соседних классов еще не вышли учителя, заорал на весь этаж:

— Васька, подожди, Васька!

На полу около дверей в учительскую стоял старый, поржавевший фонарь «летучая мышь».

Я, не раздумывая долго, схватил его. Когда подбежал Маремуха, он сморщился от огорчения, но потом, поразмыслив, сказал небрежно:

— Подумаешь, надо мне руки керосином пачкать...

Из учительской, в фуражке, с клубком шпагата под мышкой, вышел Валериан Дмитриевич.

Из-под чесучовой куртки у него выглядывала вышитая украинская рубашка, а на бархатном околыше форменной фуражки виднелась дырка от вынутой кокарды.

— Уже собрались? — спросил Валериан Дмитриевич, оглядывая нас, и подал Маремухе клубок шпагата.— Неси!

Петька, гордый доверием Лазарева, быстро метнулся к лестнице.

На улице Петька посмотрел на Лазарева и спросил:

— А где ваша кокарда?

Лазарев быстро ощупал фуражку и растерянно сказал:

— Потерял!

И стал искать кокарду на земле.

Тут я заметил, что он улыбается. «Ладно, ладно,— подумал я,— не проведешь!» Маремуха тоже понял, что директор шутит, и протянул:

— Нет, в самом деле, Валериан Дмитриевич?

Лазарев улыбнулся и сказал:

— А вы дотошные. Все заметите. Ну, снял ее, не нужна больше.

— А вы ее... выкинули? — осторожно спросил Петька.

— Да нет, валяется где-то дома.

Петька помолчал, пошмыгал носом, а потом вдруг, заглядывая в глаза Лазареву, дрожащим голосом попросил:

— Подарите ее мне, Валериан Дмитриевич.

— Кокарду? А зачем она тебе? Царская?

— А так... я всякие значки собираю...

«Ну и попрошайка! — подумал я про Петьку.— И не стыдно?»

— Ну что ж, подарю,— сказал Лазарев.

— Правда? Ну, вот спасибо! — сказал Петька и расцвел весь от радости.

Через несколько минут, когда мы спускались на крепостной мост, Петька, довольный, сказал:

— А знаете, Валериан Дмитриевич, трусливые люди боятся этого подземного хода. А я — ни капельки! Мы вот ходили летом с Васькой в Нагоряны. Там есть такие здоровенные Лисьи пещеры. Мы все их облазили — и ничего!

«Ну, что ж ты врешь? — чуть не закричал я.— Ведь мы не были в самих Лисьих пещерах!»

Но Петька сам сообразил, что на радостях заврался. Он покраснел, застыдился и глянул на меня такими жалобными глазами, что мне стало жаль его. Я решил не выдавать Петьку. «Вот хвастун!— подумал я.— Ни капельки не боится, а? Посмотрим, как-то ты запоешь там, в подземном ходе?»

Подземный ход начинался у обрыва, под высокой стеной.

Снаружи он был похож на самый обыкновенный вход в погреб. Куда-то вниз вели белые каменные ступеньки, наполовину засыпанные мусором и навозом. Прямо на груде мусора, посреди входа, вырос большой куст ядовитого болиголова. Оттуда, из подземного хода, донесся к нам тяжелый запах плесени, гнилого дерева.

Не сказав ни слова, Валериан Дмитриевич вынул из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и, заслоняя от ветра ладонью ее огонек, зажег фонарь. В фонаре вспыхнула и сразу же погасла паутина, и ровный язычок пламени, почти незаметный здесь, на улице, потянулся вверх и стал гореть спокойно, как в комнате.

— Теперь привяжи шпагат,— скомандовал Лазарев Маремухе.

Петька стал на колени и, высунув от волнения кончик языка, привязал шпагат к столбику, который торчал около самой дороги.

— Ну что ж, тронулись.

С этими словами Лазарев первый шагнул в подземный ход. Через минуту его белая спина пропала в темноте. Спускаясь по ступенькам вслед за Лазаревым, я заметил, что часовой в серой папахе машет нам на прощание рукой. Я поднял руку, чтобы и ему помахать тоже, но тут меня подтолкнул Петька, и я очутился в темноте, едва разгоняемой светом фонаря. Не успели мы пройти несколько шагов, как подземный ход круто повернул вправо, под Старую крепость, и светлое отверстие выхода скрылось из виду.

Сколько мы шли — не знаю. Но шли долго. Нас окружали со всех сторон покрытые плесенью камни. Подземный ход был похож на узенький коридор. Идти надо было согнувшись. Я шел следом за Валерианом Дмитриевичем и почти ничего, кроме белой его спины, не видел. Где-то совсем рядом, разматывая клубок шпагата, посапывал Маремуха.

— Осторожно. А ну, посвети! — сказал Лазарев.

Я с ходу ткнулся фонарем прямо в его спину. Поднял фонарь и посветил. Сбоку, из стены, так, будто их вымыло подземной рекой, вывалились камни. Они лежали перед нами, местами пересыпанные глиной и песком. Откуда-то снизу потянуло сыростью.

— Тише, ребята! — сказал Лазарев и отнял у меня фонарь.

Я сперва даже растерялся. Как же я буду теперь без фонаря? А что, если этот ход выведет нас прямо в колодец Черной башни и мы бултыхнемся в быструю подземную реку?

Но Лазарев, держа фонарь перед собой, стал смело перебираться через груду камней. Вот он перелез, остановился и посветил мне. Огонь фонаря ослепил глаза, ноги разъезжались в разные стороны, я почти ощупью прошел по неровному, сыпучему грунту и остановился около Валериана Дмитриевича. Дальше мы пошли рядом. После завала ход стал шире и чище. А земля под ногами пошла тверже, словно ее нарочно утрамбовали.

Я решил, что теперь уже ничто не помешает нам двигаться вперед, как вдруг Лазарев снова остановился.

Глухая деревянная перегородка преграждала путь. Кто-то нарочно и, по-видимому, очень давно заколотил подземный ход досками. Толстые широкие доски покрылись плесенью, а сбоку, там, где они были прибиты к столбу, вырос на них целый куст поганок.

— Вот тебе и фунт изюму! — сказал Лазарев, оглядывая перегородку. Он повернулся к нам, прищурился и, хитро улыбаясь, спросил: — Повернем, значит, обратно?

— А туда? — сказал я, показывая на перегородку.

— Туда как же? Видишь, перегорожено.

Наступило молчание.

Назад идти не хотелось. Стоило спускаться сюда, чтобы, встретив на пути преграду, повернуть обратно.

Я подскочил к перегородке, просунул обе руки в щель между скользкими досками и, упираясь ногами в нижнюю доску, сильно потянул перегородку на себя. Не успел я опомниться, как лежал уже на земле. Доски от старости прогнили, и потому я совсем легко отодрал верхнюю, а нижнюю продавил в подземный ход. Ноги мои были теперь по ту сторону перегородки, а скользкая, сырая доска лежала на груди.

«А вдруг меня кто-нибудь потащит за ноги к себе с другой стороны подземного хода?» — подумал я и вскочил.

— Ты, Манджура, настоящий богатырь,— похвалил меня Лазарев.

Мы без особого труда оторвали еще одну доску и пролезли друг за другом через перегородку.

Теперь мы шли по настоящему подземелью, где, возможно, уж много лет никто не ходил.

Я шел, довольный тем, что пробил перегородку. Если бы не я, мы и в самом деле повернули бы обратно. Будет чего порассказать хлопцам в школе. Даже сам Лазарев назвал меня богатырем. А это что-нибудь да значит!

Идти было легко, приятно — под ногами лежала не то пыль, не то труха. Ноги неслышно ступали по ней. Вдруг у меня под ногой что-то хрустнуло и зазвенело.

— Валериан!..— выкрикнул я и не договорил.

Лазарев сразу же опустил фонарь, и я увидел под старой холодной стеной чьи-то кости и рядом с ними белый, уткнувшийся глазными впадинами в землю круглый череп.

— Что такое, Васька? А? — прошептал Маремуха, наваливаясь на меня сзади.

Я не ответил Маремухе. Мне стало страшно. Теперь я пожалел, что мы пошли сюда, в этот проклятый подземный ход. Он лежал длинный и узкий, этот скелет, вытянув перед собою обе руки. Между ними, точно круглый булыжник, белел череп. Лазарев смело нагнулся и поднял с земли зазвеневшую цепь. Я увидел кандалы. Белые кости рук высыпались из круглых кандальных очков на землю.

— Кто это? — чужим, придавленным голосом спросил Маремуха.

— Кто это? — спокойно повторил Лазарев, позванивая кандалами и поднося их почти к самому лицу.— Трудно сказать. Можно только догадываться... Давайте подумаем...

В подземном ходе стало очень тихо. Фонарь горел мигая. Неровные отблески прыгали по стенам. В тишине подземелья было ясно слышно дыхание каждого из нас.

— Давайте подумаем,— медленно повторил Лазарев.— Когда уманский полковник Гонта вместе с Максимом Железняком поднял против своих магнатов восстание, известное в истории под названием Колиивщины, паны подавили это восстание и стали ловить казаков Гонты. Здесь, в нашей Старой крепости, тоже сидели перед смертью пойманные панскими гайдуками казаки. Кто знает — может, этот человек и есть один из них?

Помолчав немного, Лазарев добавил:

— А возможно, этот кандальник — один из друзей славного повстанца Кармелюка. Бедняга погиб здесь не так давно. Я сужу по кандалам. Им лет полтораста, не больше. Во всяком случае, человек этот не был паном, иначе не стал бы он умирать здесь в кандалах...

Я нагнулся и только хотел тронуть череп, как Маремуха заголосил:

— Не надо, Васька, не надо!..— и шарахнулся в сторону.

— Не надо трогать! Оставь! — строго сказал мне Лазарев.

...Я представил себе, как умирал здесь, в подземелье, этот неизвестный человек. Наверно, он долго бился своими закованными руками о перегородку и так и не мог ее разломать... Он несколько раз брел назад, к тюремному замку, затем снова поворачивал обратно, искал другого выхода из подземелья, пока наконец, обессиленный, измученный пытками, не упал навсегда на эту сырую землю.

Конечно, он приятель Кармелюка! Ведь только Кармелюк и его друзья могли решиться удрать из этой страшной крепости. Наверное, вот этот человек вместе с Кармелюком подстерегал на гористых дорогах Подолии панов, мстил им за издевательства над бедным людом. Может быть, вместе с Кармелюком этот человек скрывался в густых подольских лесах и где-либо на привале, в глухом, неизвестном панам байраке, пел вполголоса, в тихую звездную ночь, песню храброго Кармелюка:

Вбогі люди, вбогі люди,
Скрізь вас, люди, бачу,
Як згадаю вашу муку,
Сам не раз заплачу.

Кажуть люди, що щасливий,
Я з того сміюся,
Бо не знають, як я часом
Сльозами заллюся.

Куди піду, подивлюся, —
Скрізь багач панє
У розкошах превеликих
Ї днює й ночує...

И наверное, когда кончалась эта грустная, протяжная песня, наступал рассвет, и звезды одна за другой гасли в небе. Тогда, при отблесках потухающего костра, товарищи Кармелюка, собирая оружие и готовясь выступать, затягивали новую, смелую песню:

Гайда, хлопці, гайда, хлопці,
Ї я буду з вами!
Нападемо ми на панство
Темними шляхами!

И, должно быть, первый, кто запевал эту песню, был сам Устин Кармелюк. Я вспомнил все то, что рассказывал нам Лазарев об Устине Кармелюке, и увидел его в предрассветном лесу, в полумраке глухого оврага, рослого, плечистого, запахивающего коричневую чумарку из домотканого крестьянского сукна; я увидел грозное и смелое лицо его с клеймом, выжженным раскаленным железом на широком лбу. Я увидел, как Устин Кармелюк, подпоясавшись, нахлобучивает папаху, берет в одну руку старинный курковый пистоль, в другую — суковатую палку и говорит своим друзьям:

— Рушаймо, хлопці! Почастуємо панів!

...Так, думая о Кармелюке, я шел за Лазаревым дальше по подземному ходу.

Рядом посапывал напуганный Маремуха.

Я протянул руку и нащупал клубок шпагата, который он держал перед собой. Шпагата оставалось совсем мало. А что, если мы здесь заблудимся?

Я хотел попросить Валериана Дмитриевича повернуть обратно, но не решился. «Хорошо еще, что красноармеец заметил, как мы пошли сюда,— подумал я,— в случае чего, он пришлет нам на выручку своих товарищей».

— Стойте! — сказал Лазарев и поднял руку.

Размахивая фонарем, он осторожно вошел в небольшой зал. Вправо в стену уходила черная квадратная дыра, а в левом углу зала чернели две щели. Лазарев повернул налево, и когда мы с ним подошли к щелям, то увидели, что продолжение хода здесь. Правда, ход был заложен большим квадратным камнем, но Лазарев сильно надавил камень одной рукой, и эта огромная глыба гранита повернулась на железной оси и стала поперек. Теперь по обе стороны каменной двери чернели высокие и узкие щели. В каждую из них мог пролезть человек. Лазарев молча передал фонарь Петьке, а сам, опираясь руками о камень, заглянул вглубь. Петька светил фонарем.

— Предположим, что сюда идет главный ход. Ну хорошо, а что ж это такое? — И с этими словами Лазарев подошел к маленькой квадратной дырке, что чернела в стороне под самым потолком. Мы двинулись за Валерианом Дмитриевичем, и я споткнулся о камень.

— А ну, посвети! — шепнул я Маремухе.

Маремуха вытянул руку с фонарем так, словно на земле лежал новый череп. Он успокоился, лишь хорошо разглядев, что под ногами у меня обыкновенный квадратный камень. Наверное, им-то и была заслонена черная дырка, в которую заглядывал сейчас, приподнявшись на цыпочки, Лазарев. Вдруг Лазарев просунул в дырку руку и стал один за другим отваливать камни. Тяжело ухая, камни падали на землю, и полукруглый свод подземной залы трясся при каждом таком ударе. Лазарев смело отваливал камни, и за ними открывалась черная пустота. Когда дыра стала большой и круглой, Лазарев, кивая на черную впадину, сказал:

— Сюда пойти, по-моему, интереснее. Как вы думаете, а, ребята?

Мы молчали и, по правде сказать, думали только, как бы побыстрее выбраться отсюда на волю, на солнце, на свежий осенний воздух. Не дождавшись ответа, Лазарев махнул рукой в сторону входа, загороженного камнем, добавил:

— Главный-то путь, разумеется, там. Но туда мы пойти всегда успеем. Давайте лучше заглянем в потайное отделение.

И Валериан Дмитриевич, взяв фонарь у Петьки, шагнул к выломанной в стене дыре. Мы полезли за ним.

Идти сейчас было гораздо хуже, чем раньше.

Из земли то и дело высовывались острые камни, дорога пошла в гору. Но не успели мы сделать и пятидесяти шагов, как подъем кончился, и мы стали куда-то спускаться. И чем дальше мы шли, тем круче был спуск и у́же становился подземный ход. Вдвоем тут протиснуться было невозможно. Лазарев шел впереди, позванивая кандалами и размахивая фонарем. Но потом он стал идти медленнее, ощупывая стены свободной рукой. Ноги так и скользили вниз, я тоже упирался руками о скользкие стены, чтобы не подбить Лазарева. Ноги все чаще нащупывали мокрую землю. Снизу тянуло сыростью.

— Валериан Дмитриевич! Подождите! — крикнул я, и голос мой сразу же замолк в этом сыром, затхлом воздухе. За шиворот капнула вода. По стенам журчали ручейки. Я уже шел по воде, и мне почудилось кваканье лягушек. Но вот откуда-то сверху повеяло свежим ветром. Я сделал несколько шагов и почувствовал, что ход снова пошел вверх. Тут было суше. Воды как не бывало.

— Подожди, Васька! Не так быстро! — взмолился, догоняя меня, Маремуха.

— Ну, давай скорей! — цыкнул я на Петьку, и мы стали карабкаться все вверх и вверх, пока я снова не натолкнулся на Лазарева.

Он стоял, согнувшись, и освещал засыпанную мелким щебнем стену.

Подземный ход кончился.

— Вот закавыка. Тупик! — сказал нам озадаченный Валериан Дмитриевич.

И впрямь было похоже, что здесь тупик, но воздух здесь был чистый, свежий.

— Подержи, Манджура,— сказал Лазарев, протягивая мне фонарь.— А ну-ка, попробуем! — И Валериан Дмитриевич изо всей силы ударил ногой в стенку.

И сразу же нога его ушла в мягкий, сыпучий грунт, а когда Лазарев вытащил ногу обратно, мы увидели круглую дыру, а за ней — солнечный свет.

Руками мы быстро разгребли землю и, когда нора стала широкой, посторонились, чтобы дать дорогу Лазареву. Я вылез из подземного хода последним и сперва даже не мог сообразить, где мы находимся. Рядом с норой, окруженной кустами, поднималась высокая зубчатая стена какой-то башни. В двух шагах от башни начинался обрыв; далеко внизу, в скалистых берегах, текла блестевшая под солнцем река. И, только взглянув налево и увидев там, на холме, обращенную к нам тыльной своей стороной Старую крепость, я понял, что мы попали в предместье Татариски, версты за полторы от нашего Заречья.

— Я думал, что мы в Калиновском лесу выйдем, а тут смотри как близенько! — с огорчением сказал Маремуха и добавил: — Надо было в тот ход идти.

— Ну, давай пойдем! — вызвался я.— Полезли назад?

— Нет, что ты! — испугался Маремуха.— Уже поздно.

И, словно побаиваясь, чтобы я не потащил его обратно в эту черную дыру, Петька отошел в сторону, к высокой сторожевой башне.

— Валериан Дмитриевич! Валериан Дмитриевич! — вдруг закричал он.— Смотрите, тут что-то написано!

— Где написано? — спросил Лазарев, подходя к Петьке.

— А вот, смотрите! — показал Петька, задирая голову вверх.

Над входом в сторожевую башню, в каменной стене, белела узенькая мраморная плиточка. На ней была высечена надпись: «Felix regnum quod tempore pacis, tractat bella».

— Это поляки написали, правда, Валериан Дмитриевич? — радостно выкрикнул Маремуха.

— Написано по-латыни,— сказал Лазарев.— Надписи этой лет двести пятьдесят. Только вот как ее перевести? Постойте...— И Лазарев зашевелил губами, шепча про себя какие-то слова.

Мы, выжидая, смотрели на него. Наконец Лазарев сказал:

— Ну вот, приблизительно здесь написано так: «Счастливо то государство, которое во время мира готовится к войне».

В эту минуту я еще больше стал уважать Лазарева. Петька Маремуха смотрел Лазареву прямо в рот. Видно, Петьке было очень приятно, что он первый заметил и показал Валериану Дмитриевичу эту беленькую плиточку. А Лазарев поглядел вокруг, подобрал с земли кандалы и сказал:

— Ну, так вот — давайте, хлопчики, по домам! Нагулялись мы с вами сегодня — пора и честь знать.

— А мы еще пойдем сюда? — спросил я.

— Обязательно! — пообещал Лазарев.— Соберем побольше охотников да в воскресенье на целый день в поход пойдем. Помните, как в крепость с вами тогда ходили?

— В высшеначальном, да? — подсказал Маремуха.

Мы проводили Лазарева до самого бульвара, там попрощались и пошли к себе на Заречье обедать. Возле Старой усадьбы мы бросили жребий, кому послезавтра нести в школу фонарь. Вышло, что фонарь понесет Маремуха.

А я, довольный сегодняшней прогулкой, побежал домой с пустыми руками.

Из Нагорян к нам в город переехал учиться Оська. Часто во время переменок мы выбегаем с ним на площадь за каштанами. Мы отыскиваем их в кучках пожелтевших листьев, набираем полные карманы — и айда обратно, на третий этаж. Очень приятно швырять каштаны с балкона через площадь — они летят, точно пули. Петро Маремуха наловчился и добрасывает их до самого кафедрального собора, однажды даже Прокоповичу каштаном в спину угодил. Его, нашего старого бородатого директора, мы видим часто. Он пошел в попы и служит в соборе. Смешным показался он нам, когда мы увидели его в первый раз в длинной зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди. Теперь, как только попадется Прокопович на глаза, мы поднимаем крик:

— Мухолов! Мухолов!

Позанимались мы спокойно недели три и уже не думали, что в школу будут записывать еще учеников, как вдруг в классе появился Котька Григоренко.

Я даже вздрогнул, когда увидел его в дверях нашего класса. У нас начался урок. Природовед Половьян прикалывал к доске рисунки скелета мамонта. Котька осторожно, на цыпочках, чтобы не заметил Половьян, пробрался в конец класса. Он бесшумно уселся там на заднюю парту. Весь урок меня подмывало обернуться, посмотреть хоть искоса, что делает Котька, но я сдерживал себя: ведь мы же враги!

На большой перемене Котька уже освоился и чувствовал себя так, будто и не уходил отсюда на каникулы. Он вымазал мелом всю доску, рисуя на ней хату под соломенной крышей, прыгнул несколько раз через парту, выменял у Яшки Тиктора за два карандаша австрийский патрон. Со мной и Маремухой Котька не разговаривал. А на другой день к нам на парту, как только окончился третий урок, подсел конопатый Сашка Бобырь.

— Хлопцы, помогите! — прошептал он, оглядываясь на соседей.

— А что? — спросил Оська.

— Хлопцы, слушайте,— взмолился Бобырь,— у Котьки есть мой «бульдог». Он принес его в класс. Я подсмотрел, он показывал Тиктору. Хлопцы, я вам за то дам дроби, у меня есть целый фунт дроби. Только помогите, хлопцы!

— А где же Котька? — спросил, вставая, Маремуха. Его глаза загорелись. Он вышел из-за парты.

— Наверх побежал, наверх! — с волнением ответил Бобырь.

Он так волновался, что даже его веснушки побагровели.

Мы нашли Котьку в конце пустого коридора третьего этажа. Он шел из уборной к нам навстречу, заложив руки в карманы.

— Котька, послушай! — дрожащим голосом остановил его Сашка Бобырь.

— Чего тебе? — насторожился Котька.

— Котька, отдай «бульдог»! — сказал Бобырь.

— «Бульдог»? — встревожился Котька.— У меня его нет!

— Не обманывай, есть! — прохрипел Бобырь.— Он у тебя в кармане.

И в ту же минуту Котька прыгнул назад к окну. Наперерез ему бросился Петро и закричал:

— Хватай его за ноги!

Хорошее дело — хватай за ноги! Но ведь это не так просто, как думает Петрусь. Котька размахивает ногами так быстро и сильно, что подойти к нему невозможно. Спиной он отталкивает Маремуху, но тот крепко сжал Котькины руки и не отпускает. Григоренко кряхтит от злости, мотает головой, но вырваться не может.

— Да ну, хватай! Дай ему леща! Что вы боитесь! — подбодрил нас Петрусь.

В эту минуту мне удалось поймать Григоренко за ногу. Я крепко ухватил его за ботинок и потянул изо всей силы к себе. Бобырь понатужился и швырнул Котьку на пол, под самую печь, к ногам Маремухи. Теперь Григоренко нам не страшен. Сейчас мы его обыщем!

— Пустите, сам отдам,— сквозь зубы прохрипел Котька.

— Отдашь? — сидя верхом на Котькиных плечах, недоверчиво переспросил Бобырь.

— Отдам... Ей-богу, отдам,— пообещал Григоренко.

— А ну, пустите его, хлопцы! — приказал Бобырь и вскочил на ноги.

Не очень охотно мы выполнили это приказание. Помятый, взъерошенный Котька, не глядя на нас, медленно поднялся и отряхнул со штанов пыль. Потом он полез в карман и неторопливо вытащил «бульдог». Это был очень хороший револьвер — новенький, блестящий: видно, из него стреляли очень мало.

Бобырь даже облизнулся.

— Ну, дай сюда,— попросил он, протягивая свою длинную худую руку.

— Дать? Что дать? Что ты хочешь?..— крепко сжимая рукоятку «бульдога», удивленно спросил Котька.

— Револьвер! — простонал Бобырь и протянул навстречу другую руку.

— Револьвер? А, дудки! — И с этими словами Котька, размахнувшись, вышвырнул его в открытое окно.— Нате! — злобно прошипел он, и в эту минуту внизу, на площади, хлопнул револьверный выстрел.

Вот так штука! Это, видно, выстрелил, ударившись о камни, Сашкин «бульдог». Мы присели. А вдруг пулей убило кого-нибудь на площади? Маремуха попятился к лестнице. А Котька, одернув рубашку, злобно улыбнулся и спросил:

— Получили? Фигу с маком?

Только сейчас мы пришли в себя, поняли, как ловко обманул нас Григоренко.

— Ты... ты... к папе захотел? — выкрикнул, заикаясь, побледневший Сашка Бобырь.

— Подожди! — остановил Бобыря Петька.— Побежали на балкон, посмотрим!

Мы помчались по коридору.

— Он что у тебя — самовзвод? — догоняя Бобыря, с сочувствием спросил я.

— Ну да, самовзвод...— жалобно ответил Сашка.

Мы осторожно выглянули с балкона на улицу. На площади пусто.

Желтые листья валяются на камнях. На самом углу гимназии, под тем окном, из которого только что выбросил револьвер Григоренко, стоит какой-то красноармеец и смотрит вверх, на третий этаж, где ветер качает обе половинки открытого окна.

Постояв немного под окном, красноармеец сунул револьвер в карман и медленно, то и дело оглядываясь, пошел прочь.

Сашка с тоской следил за каждым его шагом. Никогда уже не видать ему своего «бульдога». Да и мы все с сожалением смотрели вслед красноармейцу, а я подумал даже: «Не побежать ли за ним вдогонку?» Мне казалось, что, если бы как следует попросить красноармейца, он бы отдал нам оружие. Зачем он ему, этот маленький пустяковый револьвер с мягкими свинцовыми пульками? Ведь, наверное, у красноармейца есть наган. Но пока я думал так, красноармеец скрылся за кафедральным собором. Бежать было поздно.

Уже в классе Котька Григоренко, отойдя к учительской кафедре, погрозил:

— Мы еще с вами поквитаемся! Погодите...

— Ладно, ладно. Еще захотел? Гадюка петлюровская! — со злостью ответил Маремуха.

В класс вошел с нотами под мышкой Чибисов, и Котька, озираясь, сел за парту.

Вскоре после этого случая от Яшки Тиктора мы узнали, что во второй трудовой школе на Тернопольском спуске в старших классах изучают какой-то новый, незнакомый нам предмет — политграмоту...

— Это про политику, наверное,— важно объяснил Бобырь.

— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Маремуха.

— Вот и знаю... я все знаю...— запрыгал Сашка.— Мой старший брат посещает комсомольскую ячейку у печатников, он мне говорил такое самое слово.

— А почему у нас нет этой... как, Яшка? — спросил Маремуха.

— Политграмоты,— подсказал Тиктор.

— Почему нет? А разве ты не знаешь почему? — ответил Бобырь.— Учителя не хотят, вот почему! Разве у них политика на уме? Вот пойдем пожалуемся...

— Куда ты пойдешь, куда? — затоптался около Сашки Маремуха. За это лето он почернел и даже немного подрос.

— А в тот красный дом, что за Новым бульваром! — смело предложил Бобырь.— Мой брат говорил, что в том доме все начальники жалобы от людей принимают.

— Ну, в красный дом...— испугался Маремуха.— Зачем туда? Надо у Лазарева просить...

— Чудак,— сказал я,— Лазареву самому трудно нам помочь. Он пока один, а этих гадов, вроде Родлевской, много. Они его и так заедают.

На следующий день после уроков мы возвращались к себе домой на Заречье. У меня на душе было легко и радостно — уроки нам задали пустяковые, на дворе стояла хорошая погода. Ярко светило солнце, оно заливало весь наш старинный город своими ясными лучами, освещая сухие, чуть синеватые плиты тротуаров, отражаясь в лужицах воды, не просохшей еще после ночного случайного дождя.

Я щурился, глядя на солнце, и думал: как бы хорошо было, если бы круглый год стояло лето! А ведь скоро наступит зима; начнется она с легких заморозков, крыши по утрам будут седые, завянет зеленая трава на огороде, упадет, мертвая, на землю, а потом пойдут морозы один другого сильнее, и река вдруг остановится под Старой крепостью. Бросишь бабку, она запрыгает по льду, заскользит и даже следа не оставит: таким гладким, скользким, прозрачным будет первый, еще очень тонкий лед. Но тут же я представил себе, как хорошо будет бегать утром, на первой перемене, по школьному двору да проламывать зятянутые с ночи тонкой коркой льда лужицы.

Это очень приятно, когда в ясное, морозное утро ноги будто сами несут тебя по мерзлым кочкам! Попадешь с разгона носком в такую лужицу — лед с хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. А потом как хорошо после переменки, с холода, вбежать в светлый класс да, пока не вошел учитель, прижаться животом к теплой, чуть-чуть пахнущей краской натопленной печке! И мне стало совсем не жалко, что уходит осень и скоро наступит зима. Это даже лучше. Наточу свои «нурмисы»...

Но вот впереди раздался сильный и дрожащий голос Сашки Бобыря.

Сашка вдруг запел:

Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады...

Пел Сашка плохо, по-козлиному, совсем не так, как пели эту песню красноармейцы, что стояли в епархиальном училище. Я хотел было крикнуть Сашке, чтобы он замолчал, как вдруг с ним вместе запел и Маремуха.

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка, —

пели они уже вдвоем, маршируя по круглым булыжникам.

Теперь было трудно удержаться и мне. Мы пошли прямо посреди мостовой, как настоящие военные. Шли и пели:

И много есть у нас ребят,
Что шли с отцами вместе,
Кто подавал патрон, снаряд,
Горя единой местью...

Прохожие останавливались и глядели нам вслед. А мы не обращали на них никакого внимания. Кто нам мог что сделать? Кто мог нам запретить петь? Так, с веселой песней, мы вышли на Новый бульвар. Но вместе идти по узенькой тропинке было трудно. Мы пошли гуськом, и песня сразу оборвалась. Здесь было совсем как в лесу: просторно, много голых деревьев, а вокруг ни одного камешка, только холмы да канавы.

Ветер гнал желтые, сухие листья. Ноги вязли в них, даже когда шли по тропинке. Вдруг Бобырь с разбегу прыгнул в засыпанную листьями канаву. Он растянулся там, как жаба.

— Вот мягко, хлопцы, поглядите! — барахтаясь, кликнул он нас.

Мы, как в воду, бросаемся за ним в канаву, разрываем листья, подбрасываем их горстями кверху, осыпаем золотым дождем друг друга. Они летят над нами, как огромные красноватые бабочки, и, виляя кривыми хвостиками, устало падают на пожелтевшую землю.

Наконец мы покидаем Новый бульвар и выходим на улицу.

— Ты про этот дом говорил, Сашка? — спросил Маремуха, показывая пальцем на красный двухэтажный дом, который стоял рядом с почтой.

— Про этот, про этот,— заволновался Бобырь.— Вот сюда и надо бы пойти.

— А у меня в этом доме знакомый служит,— похвастался Петька.

— Ну, не бреши... знакомый,— ответил я Маремухе.

— Что — не бреши? — окрысился Петька.— А Омелюстый не тут работает? Ты что, забыл?

А ведь Петька прав! Омелюстый действительно тут работает. Мне и отец говорил об этом. Сейчас Омелюстый живет где-то в городе, в общежитии горсовета, и мы встречаем его очень редко.

— Тогда давай пойдем к Омелюстому,— сразу решил Бобырь.— Вот сейчас. Пошли!

— Нет, зачем сейчас,— полез на попятную Маремуха.— Потом пойдем... после.

— Ага, ага! — обрадовался Бобырь.— Никого у тебя в этом доме, наверное, нет. И ты наврал нам про знакомого.

— Я наврал, а? Тогда пойдем... Вот увидишь! — закипятился Петька и шагнул в сторону кирпичного дома.

На коричневых дубовых дверях этого дома прикреплена картонная надпись:

ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ (БІЛЬШОВИКІВ)
УКРАЇНИ, ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ
МОЛОДІ УКРАЇНИ

— Ну, заходим? — прочитав эту надпись, нерешительно спросил у всех Маремуха.

Сашка Бобырь молча толкнул его первого в широкую дверь. Но Маремуха уперся руками в косяк.

— Ну, иди, иди, чего же ты? — сказал я.— Назад только раки лезут.

Гулко захлопнулась за нами тяжелая дверь.

Мы подымаемся по узкой мраморной лестнице, а направо, в глубь первого этажа, уходит полутемный коридор. Куда идти?

Пойдем лучше по коридору.

В дальнем его углу стучит пишущая машинка. Мы делаем несколько шагов в полутьме и останавливаемся у какой-то двери. За ней слышен чей-то громкий голос. Неожиданно дверь открывается, и в коридор выходит наш бывший сосед Омелюстый. Он в высоких брезентовых сапогах, в вышитой косоворотке, в синих брюках галифе.

— Вы чего здесь, мальчики? — удивленно оглядывая нашу компанию, спрашивает Омелюстый.

— А это мы, дядя Омелюстый... Здравствуйте! — И, отстраняя хлопцев, я первый подхожу к Омелюстому.

— Васька? А я тебя не узнал. Ну, заходите, раз в гости пришли,— приглашает Омелюстый.

И мы входим следом за нашим соседом в большую комнату с изразцовым камином.

В комнате, сидя на столах, беседуют какие-то люди. Увидев нас, они замолкают. В комнате очень накурено. Голубые облачка дыма плывут к потолку. У камина, прижавшись друг к дружке, стоят три винтовки.

— Вот делегация ко мне пришла,— смеется Омелюстый.

— А чем угощать будешь? — отзывается на его слова лысый коренастый старик в защитной гимнастерке.— Ты бы хоть бубликов для них принес.

— А где я их достану? — разводя руками, говорит Омелюстый и приглашает. — Садитесь, ребята, на подоконник.

Я рассказываю Омелюстому о нашей школе, об учкоме. Он внимательно слушает меня и только изредка почесывает подбородок.

— Директор-то у нас хороший, но вот новый учитель пения Чибисов в церкви поет, в бога верит! — вмешался в разговор Петька Маремуха.

— Да погоди ты,— огрызнулся я.— Вот Родлевская совсем не признает учком. Она говорит, что в учкоме одни нахалы. И наврала, что во французском нет слова «товарищ»...

— А нам нужна политграмота... Во второй школе есть, почему у нас нету? — вдруг храбро выпалил Сашка.

Омелюстый улыбнулся. Засмеялись и его товарищи, сидящие на письменных столах, а один из них вынул из кармана тетрадочку, записал в нее что-то.

— Ладно, хлопчики, все будет: и политграмота, и учителя хорошие, и завтраки, и грифельные доски. Погодите только немного,— обещает Омелюстый, потирая лоб.— Сейчас всем нам много надо учиться. Вот я тоже собираюсь в совпартшколу поступать.

Уже когда мы уходим, я отзываю Омелюстого в сторону.

— А нас вызывали в Чека. Вы Кудревич знаете?

— Знаю, Васька, знаю,— подмигнул мне Омелюстый и посоветовал:— Не болтай только много!

Ровно через неделю после второй перемены в нашем классе появился высокий паренек в простой коричневой рубашке, в грубых зеленых брюках, в тяжелых военных ботинках на лосевой подошве. Мы бегали по классу и, увидев вошедшего, остановились: кто у доски, кто у печки, а Маремуха застыл на кафедре.

— Садитесь,— неожиданно предложил нам этот молодой паренек.— Садитесь,— повторил он и откашлялся.

Мы, недоумевая, как попало усаживаемся за парты.

— Ребята,— хрипло говорит молодой паренек и опять кашляет.— Товарищи... Давайте познакомимся. Моя фамилия Панченко, меня прислал к вам уком комсомола. А впрочем, можете звать меня запросто: товарищ Дмитрий. Заниматься я буду с вами политграмотой. Вы знаете, что такое политграмота?

В классе тихо. Что ответить? Мы с удивлением разглядываем нашего нового, непохожего на остальных и какого-то уж очень скромного преподавателя.

МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ

Мне очень хотелось до прихода Петьки установить новую голубятню посреди двора. Острый, хорошо отклепанный заступ все глубже уходил во влажную землю, перерезая на ходу дождевых червей, корни травы. Когда нога вместе с загнутой кромкой заступа касалась земли, я обеими руками тянул на себя гладкую ручку. Целая груда земли взлетала наверх. Я ловко отбрасывал ее в сторону — черную, местами проросшую белыми жилками корней.

Вскоре глубокая яма зачернела посреди нашего небольшого дворика. Поддерживая голубятню одной рукой, я набросал в нее несколько булыжников, окружил ими столб и, когда голубятня перестала шататься, быстро засыпал яму свежей землей. Мне оставалось разровнять ее, как за домом скрипнула калитка.

«Ну вот и Петька!» — подумал я.

Издали голубятня выглядела еще лучше. Сколоченная из тонких досок, выкрашенная охрой, она заметно выделялась среди старых сараев. Славно будет житься в этом домике моим голубям. Позавидует мне сейчас Петька Маремуха. Как бы он ни пыхтел, никогда не сделать ему такой голубятни. Вот уже слышны позади шаги. Я медленно обернулся. Ко мне подходил отец. Он остановился рядом и сказал:

— Голубятня приличная, а вот зря.

— Почему зря?

— Завтра отсюда переезжаем,— ответил отец.— Пойдем в хату — расскажу.

До прихода Петьки Маремухи я уже знал все. Уездный комитет партии направлял отца на работу в совпартшколу. Отец должен был устроить в совпартшколе маленькую типографию и печатать в ней газету «Голос курсанта». А так как все сотрудники совпартшколы жили на казенных квартирах, то и мой отец должен был переехать туда вместе с нами.

А что же будет с новой голубятней? Не оставлять же ее здесь в подарок тому, кто поселится в нашей квартире.

— Тато, а голубятню я возьму туда! — сказал я отцу.

— Еще чего не хватало! — Отец усмехнулся.— Все курсанты только и ждали, когда ты заведешь у них голубей! — И, снимая со стены фотографию Ленина, добавил серьезно: — Не дури, Василь, голубятню оставишь тут.

— Да, оставишь! А где ж я голубей буду держать?

— А кто тебе позволит держать голубей?

Совсем тихо я пробормотал:

— А там разве нельзя?

— А ты думал? — сказал отец.— Пойми ты, чудак, там люди учатся — тишина должна быть, а ты голубей станешь гонять по крышам...

— Не стану, тато, честное слово, не стану. Я тихо...

— Знаю, как тихо: сам голубей когда-то водил. Голубь воздух любит, простор. Это не курица. Курицу можно в чулане держать, да и та заскучает...

В эту минуту во дворе скрипнула калитка, и кто-то осторожно крикнул:

— Василь!

Я сразу узнал голос Петьки Маремухи и схватил кепку. Выглянув в окно, отец сказал:

— Приятель твой пришел. Вот отдай ему голубей на попечение — и весь сказ.

Когда я рассказал Петьке Маремухе, что мы переезжаем, он отмахнулся. Он, слушая мой рассказ, недоверчиво заглядывал мне в глаза, думая, что я его обманываю.

Лишь когда мы подходили к главной улице города, Почтовке, Петька наконец поверил моим словам и — было видно по всему — огорчился, что я покидаю Заречье.

— Петро, давай меняться на твой зауэр,— предложил я.

— Выдумал! — сразу встрепенулся Маремуха.— Пистолет я ни на что менять не буду. Он мне нужен самому.

— «Нужен, нужен»! — передразнил я Маремуху.— Все равно его у тебя отымут.

— Кто отымет? — переполошился Маремуха.

— Известно кто: милиция.

— Кому он нужен? Он же ржавый.

— Ну и что ж такого? Все равно оружие.

— Какое там оружие! Ты же знаешь, что на Подзамче у каждого хлопца есть по десяти таких пистолетов. Обрезы прячут, и то ничего.

Петька говорил правду. После гражданской войны, после гетмана, петлюровцев и «сичевиков» в нашем городе оставалось много всякого оружия, и хлопцы продолжали хранить его в разных потайных местах.

Но все равно я решил припугнуть Маремуху и уверенно сказал:

— Отымут твой пистолет, вот посмотришь. Это раньше можно было держать оружие, а теперь война кончилась — и довольно. Давай лучше, пока не поздно, я выменяю его у тебя.

— Ну если у меня отымут, то и у тебя отымут! — живо ответил Петька Маремуха и, подмигнув, добавил: — Ты хитрый, Васька, думаешь, дурного нашел.

— Ничего не дурного. Я же в совпартшколу переезжаю, а там мне никто ничего не скажет. Там военные живут.

Несколько минут мы сидели молча.

Мы давно дружили, и я знал, что Петька трусоват. «Лучше помолчу,— думал я.— Пусть призадумается над моими словами».

Помолчав немного, Петька засопел от волнения и спросил:

— Ну а что бы ты дал за пистолет?

— Голубей могу дать...

— Всех? — приподымаясь, спросил Петька.

— Зачем всех? Пару...

— Ну, тоже, пару... За пару я не отдам...

— И не надо... Завтра пойду на Подзамче и на одного своего чубатого полдюжины пистолетов выменяю...

— Ну иди меняй, попробуй... А на мосту тебя милиционер задержит...

— А я нижней дорогой, возле мельницы, пройду.

— Ну и иди.

— Ну и пойду...

Мы опять замолчали.

Далеко внизу на реке женщина полоскала белье. Она гулко хлопала по нему вальком, то отжимала, то снова прополаскивала в быстрой воде. Рядом с ней

чуть заметными белыми точками плавали гуси. Я следил за гусями. Вдруг Маремуха торопливо зашептал:

— Васька! Отдай всех голубей, я тебе тогда еще двенадцать запасных патронов дам. Хочешь?

Ага! Попался Петька. Моя взяла!

Я встал, потянулся и нехотя сказал:

— Ладно, только ради дружбы... А другому ни за что бы не отдал.

КОТЬКА ЧИНИТ ПОСУДУ

Когда мы шли по тропинке, каждый был доволен и думал, что надул другого. Петька изредка посапывал носом. Давно он зарился на моих голубей, еще с прошлой зимы, а теперь вот счастье неожиданно привалило. А у меня будет пистолет. Завтра же намочу его в керосине, чтобы отстала ржавчина, а потом и пострелять можно будет.

Новый бульвар давно кончился. Мы шли по Заречью. Потянулись базарные рундуки, низенькие будочки сапожников, стекольщиков, медников. На углу Житомирской, за афишной тумбой, виднелась мастерская одного из лучших медников Заречья, старика Захаржевского. Около мастерской на улице валялись покрытые белой накипью самоварные стояки, опрокинутые вверх дном котлы из красной меди, ржавые кастрюли с проломанными днищами, эмалированные миски, цинковые корыта. Из мастерской вышел сам Захаржевский в грязном брезентовом фартуке. Он стал рыться в своем добре. Резкими, сердитыми движениями он перебрасывал из одной кучи в другую завитки жести, блестящие полосы латуни; все это звенело, дребезжало.

Когда мы были уже в нескольких шагах от мастерской, Захаржевский выпрямился и гулким сердитым голосом закричал в мастерскую:

— Костэк, иди сюда!

И на этот крик из открытых дверей мастерской на улицу вышел наш старый знакомый и мой недруг, Котька Григоренко.

Смуглое лицо его было выпачкано сажей. Он был в таком же грязном брезентовом фартуке, как и старый медник. В огрубелых, изъеденных соляной кислотой руках Котька держал тяжелую кувалду.

Увидев нас, Григоренко несколько смутился, но сразу же, небрежно размахивая тяжелой кувалдой, вразвалку подошел к Захаржевскому.

Пока глухим ворчливым голосом тот отдавал Котьке приказания, мы прошли мимо и завернули за угол.

— Говорят, он от своей матери отказался,— тихо прошептал мне на ухо Петька Маремуха, оглядываясь назад.

— Отказался? А живет-то он где?

— Ты что — не знаешь? — удивился Петька Маремуха.— На Подзамче, у садовника Корыбко. На всем готовом.

— В самом деле?

— Ну конечно. Скоро месяц, как живет! — ответил Петька.

— Что бы все это значило?

...Пока мы ходили в кинематограф, отец поснимал со стен фотографии; на обоях всюду — и в спальне и в столовой — виднелись темные квадратные следы. Мы давно не меняли обои, они выцвели от солнца и лишь под фотографиями сохранили свой прежний цвет. Уложив в корзину всю посуду и шесть серебряных столовых ложек, тетка стала опорожнять бельевые ящики комода. Отец снял со стены ходики, отцепил гирю и обернул вокруг циферблата длинную цепочку. Мне стало скучно здесь, в разоренной комнате, и я вышел во двор, чтобы поймать голубей. Я неслышно открыл дверь сарая. Оттуда пахнуло запахом дров. Вверху под соломенной крышей сквозь сон ворковали голуби. По голосу я узнал банточного турмана. Вот и лесенка. Засунув за пояс мешок, я полез по ней к голубям. Почуяв недоброе, один из них, глухо урча, шарахнулся в угол. Ладно, не пугайся, и у Петьки будешь кукурузу получать! Голуби тяжело хлопали тугими крыльями. Я быстро похватал их друг за дружкой, теплых, чистых моих голубей, и с болью в сердце бросил в просторный мешок.

Пока я шел к Петьке Маремухе в Старую усадьбу, голуби возились в мешке, как кошки, урчали, трепыхались, хлопали крыльями. Банточный турман даже стонал от испуга.

Маремуха ждал меня на пороге своего ободранного флигеля. Только я подошел, он сунул мне обернутый тряпками пистолет зауэр, выхватил из рук мешок с голубями и, пробормотав: «Подожди, я сейчас»,— метнулся в сарай.

Сидя на теплом камне, я слышал, как Петька щелкнул ключом, открывая замок сарая, как заскрипела под его ногами лестница, как, взобравшись на чердак сарая, он визгливо запричитал: «Улю-лю-лю!»

Мне еще больше стало жаль голубей. Сколько я возился с ними! Как трудно было добывать для них в голодные годы кукурузу и ячмень! В те времена я очень боялся, чтобы их у меня не украли на мясо соседние мальчишки. А теперь я получил только один зауэр. Интересно, отойдет ли ржавчина или останется? Мне очень хотелось развязать бечевку, развернуть бумагу, хоть в темноте потрогать холодный, выщербленный ствол пистолета, пощупать нарезные пластинки на его рукоятке, но я удержался.

Петька вынырнул из темноты неожиданно. Тяжело дыша, он протянул мне пакетик с патронами и, заикаясь, сказал:

— Двенадцать... Можешь не считать...

Когда мы вышли на площадь, Петька дернул меня за руку и, оглядываясь по сторонам, шепнул:

— Васька, а ты знаешь, я слышал, что в той совпартшколе, где ты жить будешь, привидения водятся!

— Смешной, какие могут быть привидения?

— Самые настоящие. Верно, верно. Там белая монахиня по коридорам ходит. Там же монастырь католический был!

— Ну и что с того? В гимназии нашей тоже монастырь был, а привидений никто не видел.

— А в той совпартшколе видели, я тебе говорю!

Снизу от нашего дома к церкви кто-то шел.

— Тише,— цыкнул Петька и дернул меня за локоть.

Мы прижались к церковной ограде и пропустили прохожего. Когда он скрылся за углом, я сказал:

— Ох и трус же ты, Петька!

— Почему? — обиделся он.

— А чего ты напугался?

— Я думал — милиционер. А у тебя пистолет.

— А вот врешь. Ты думал, что то привидение. И теперь домой тебе страшно будет идти. Можешь не провожать меня дальше.

— Совсем не страшно,— обиделся Петька.— Я в полночь на польское кладбище могу пойти, а ты...

— Ладно, ладно, знаем таких храбрецов...

— Думаешь — не пойду? — уже не на шутку рассердился Маремуха.

— Верю, верю...— успокоил я Петьку и протянул ему руку.

Мы попрощались. Но как только я скрылся за углом, позади зашлепали Петькины сандалии. Он, храбрец, не выдержал и сломя голову пустился бегом к себе домой.

Не знаю, как быстро уснули отец и тетка Марья Афанасьевна, но я ворочался с боку на бок почти до рассвета. Долго не выходил из головы Котька Григоренко.

Этой весной мы кончили трудовую школу. Долго думали хлопцы, кому где дальше учиться. Мы с Петькой Маремухой нацелились было осенью поступить на рабфак. Другие наши одноклассники готовились в строительный институт, кто учился послабее — был на распутье. Все только и говорили об этом перед последними зачетами, а вот Котька все отмалчивался.

Он хорошо знал, что его — сына расстрелянного петлюровца — в институт наверняка не примут.

Что Котька будет делать после трудшколы — никто не знал.

Вдруг пронеслась весть, что Котька поступил в учение к меднику Захаржевскому.

Для чего ему, белоручке и докторскому сынку, понадобилось знать слесарное ремесло, сперва никто не мог понять.

Каждое утро Котька через наше Заречье бегал в мастерскую, держа под мышкой завернутый в газету завтрак. Каждый день до вечера он стучал тяжелой кувалдой по наковальне, учился паять кастрюли и точить ножи от мясорубок.

Когда, возвращаясь с работы, он проходил мимо нас, от него пахло соляной кислотой, квасцами, курным кузнечным углем.

Добрую половину ночи этот проклятый Котька стоял у меня перед глазами в брезентовом фартуке, с тяжелой кувалдой в руках.

Неужели Галя, за которой я стал потихоньку ухаживать еще с трудшколы, могла променять меня на Котьку? Правда, несколько дней я не видел Галю, но ведь это ничего не значит. Если я ей хоть немного нравился, неужели она могла так быстро забыть меня? А может, это Маремуха из зависти наговорил, что она ходит с Котькой?..

...Потом, уже засыпая, я вспомнил Петькины слова, что в совпартшколе, где мы будем жить, водятся привидения. И только я заснул, как мне приснился скелет с острой косой за плечами. Завернутый в прозрачное кисейное покрывало, он встретился со мной в подземелье и протянул навстречу сухие костяшки пальцев. Я пустился бежать, скелет за мной. Наконец я забежал в какой-то темный тупик подземного хода, и здесь мертвец настиг меня. Я почувствовал, как он схватил меня сзади за горло и стал душить. Леденея от ужаса, я закричал.

— Вставай, голубятник, не ори! — смеясь, сказал отец и изо всей силы потряс меня, сонного, за плечо.— Подвода за вещами приехала! — добавил он, видя, что я проснулся.

Я повернул голову и легко вздохнул. В окно радостно, по-весеннему светило утреннее солнце.

НА НОВОЙ КВАРТИРЕ

Квартиру нам отвели в белом одноэтажном флигеле, расположенном на правой стороне большого школьного двора, в нескольких шагах от главного здания. Квартира была большая: три просторные комнаты, рядом с ними маленькая, но очень уютная кухня и через небольшой коридор еще одна кухня, побольше, с высокой русской печью и чугунной плитой под ней.

Марья Афанасьевна вошла в эту просторную кухню, тронула пальцем чугунную плиту, на которой лежал слой пыли, и сказала отцу:

— А что я с этой кухней буду делать? Мне и той довольно.

— Не знаю,— сказал отец,— не знаю.

— Тато,— вдруг нашелся я,— а хочешь — я летом здесь жить буду?

— Живи, мне что — жалко? — И отец усмехнулся в густые черные усы.

— Да ты в своем уме, Мирон? — переполошилась тетка.— И не думай даже!

— А что? — спросил отец.

— Да он порох станет жечь на плите, весь дом взорвет!

— Не буду, тетя, верное слово — не буду! — взмолился я.— Нема у меня пороху. Поищите даже!

— Ну вот видишь,— сказал отец,— и порох у него вышел — зря боишься. Васька теперь большой. Куда ему эти цацки?

— Да, большой...— буркнула, сдаваясь, тетка.— Начнет тут один мастерить и ноги себе поотрывает...

— Не поотрывает! — весело сказал отец и, обращаясь ко мне, добавил: — Так давай, Василь, устраивайся!

Вместе с теткой они ушли распаковывать вещи, а я остался один в своей кухне.

Вот здорово.

Сюда я могу свободно, когда мне вздумается, приводить Петьку Маремуху и других хлопцев. Я подскочил к окну, щелкнул задвижкой и с силой открыл обе половины оконных рам, разорвав давным-давно наклеенные старыми жильцами длинные полоски газетной бумаги.

В нежилой воздух комнаты ворвался теплый ветер.

Я перегнулся и, стирая рубашкой пыль с подоконника, посмотрел вниз. Ничего! Хоть первый этаж, но высоко.

Пока отец и Марья Афанасьевна распаковывали вещи, я принялся наводить порядок в кухне.

Чисто подмел пол, стер мокрой тряпкой отовсюду пыль — и с карнизов, и с подоконника, и с чугунной плиты. Я выпросил у Марьи Афанасьевны две сосновые табуретки и поставил их в свободных углах комнаты. «Для гостей!» — подумал я. Плиту застлал газетами. Она мне заменит стол. Когда мы будем учиться дальше, на рабфаке, тут можно готовить уроки. Пистолет я сперва запрятал в духовку, но потом, передумав, полез на печку и положил его там на лежанке. И запасные патроны закинул туда же. На ржавое, пахнущее дымом жестяное дно духовки я выложил весь свой инструмент — клещи, молоток, два напильника и отвертку с обломанной ручкой. Туда же я высыпал из старого пенала весь запас гвоздей и винтиков. Оставалось приготовить постель. Разостлав на лежанке несколько газет, я положил на них красный полосатый матрац, набитый сеном, покрыл его простыней и сверху, сложив вдвое, набросил голубое, протершееся по краям ватное одеяло. Под стенку я бросил подушку. Постель вышла на славу! Я лег на одеяло и вытянул ноги. Отсюда, сверху, мне хорошо были видны раскрытое квадратное окно и кусочек мощеного двора.

В коридоре послышались шаги. Я спрыгнул с печки на пол. Доски скрипнули у меня под ногами. Кто-то дернул дверь, но потом, увидев, что закрыто, постучал. Я отодвинул засов. В кухню вошел отец. Он остановился у окна и посмотрел вокруг. Я с опаской следил за его взглядом. Мне казалось, что отец прикажет мне перенести постель обратно. Но отец потрогал оконную раму и, отодвинув ногой к самой стенке табуретки, сказал:

— Прямо настоящий кабинет!

Помолчав, он добавил:

— Видишь, а ты еще не хотел сюда переезжать. Да здесь тебе будет куда веселее, чем у нас на Заречье.

Надевая поглубже на голову плетеный соломенный картуз, отец направился к двери и на ходу сказал:

— Обедать будем поздно. Я сейчас еду в типографию за шрифтами. Ты пойди к тетке, подкрепись до обеда.

К Марье Афанасьевне я не пошел, а, закрыв кухню на черный висячий замочек, выбежал во двор. Издали я увидел, как отец подошел к ожидавшей его у ворот военной подводе на высоких колесах и прыгнул на облучок. Часовой в буденовке открыл широкие железные ворота, и подвода выехала на улицу.

Во дворе было пусто. Видно, курсанты занимались. Где-то далеко, за длинным трехэтажным зданием совпартшколы, пели птицы. Я прислушался к их веселому пению, и мне захотелось пойти в сад.

Туда вела маленькая, но очень скрипучая калитка. Я потихоньку открыл ее и пошел по небольшой аллейке вниз, в гущу сада, мимо высоких кустов барбариса, бузины и можжевельника. Справа тянулся, ограждая сад от проселочной дороги, каменный забор, слева белела глухая стена школьного здания. У подножия стены я заметил низенькие, очень знакомые кустики. Крыжовник! Вот здорово! На ветках между листьями желтели созревшие ягоды. Что, если нарвать? А если заругают? Чепуха!

Согнувшись, я одну за другой срываю с колючих веток продолговатые тяжелые ягоды. Крапива жжет ноги. Я не замечаю ее укусов. Где-то вблизи послышался разговор. Я отдернул от кустарника руки и насторожился. Вот чудак! Да это не здесь. За каменным забором идут по дороге к реке какие-то люди и разговаривают. Это рыболовы. Над забором, покачиваясь, проплывают бамбуковые прутья их удочек.

Нарвав полные карманы крыжовника, я снова вышел на аллею и направился дальше.

А вкусный крыжовник! Ягоды чуть мохнатые, покрытые желтоватой пыльцой. Они хрустят на зубах. И сладкие какие! Такого крыжовника можно съесть целую шапку, и никакой оскомины не набьешь.

Белый дом совпартшколы остался позади.

Деревья становятся все выше и выше. Замелькали среди простых грабов и ясеней обмазанные известкой стволы яблонь и груш. Под деревьями в густой траве растут лопухи. Лопухов тут пропасть. Осенью, когда опадет лист и полетят на юг журавли, тут можно будет найти много подходящих мест для ловли птиц.

Но как тихо в этом саду! Только пение птиц заглушает мои шаги. Недаром здесь так много всяких птиц. Я узнаю голоса чижей, малиновок, зябликов. Никто их не беспокоит, не гоняет, разве что соседние белановские хлопцы, которые, наверное, заглядывают в этот сад, чтобы нарвать яблок или груш.

Аллея повернула к самому забору. Дальше по ней мне было идти неинтересно, и я зашагал прямо по мягкой зеленой траве в глубь сада. Все мне здесь нравилось, а самое главное — я был тут уже свой человек.

Возле большой старой шелковицы, окруженная кустами сирени и терновника, подымалась высокая горка. Вся она поросла травой, а наверху на этой горке виднелась белая некрашеная скамеечка. Мне захотелось сесть на скамеечку и оттуда, сверху, осмотреть весь сад. Но не успел я подойти к подножию горки, как за кустами послышался шум и мелькнуло что-то белое. Я сразу присел на землю и спрятался за шелковицу. Выглянув, я увидел, что на старое, высохшее и чуть прикрытое от меня листвой сирени дерево карабкается хлопец в белой рубашке.

В руке он держит маленький легкий сачок. Осторожно, словно боясь кого-то испугать, хлопец подбирается к разветвлению дерева.

Я вышел из своей засады и тихонько подкрался к кустам сирени. Теперь я уже хорошо видел спину хлопца, его серые в полоску штаны, протоптанные подошвы ботинок. Хлопец заткнул за пояс марлевый сачок и, освободив вторую руку, полез дальше. Задрав голову, я стоял внизу и следил за каждым его движением. Я слышал, как шуршит сжимаемая его ногами пересохшая кора дерева, как царапается об эту кору белая рубашка хлопца. Вот он добрался до разветвления и, ухватившись обеими руками за толстую ветку, чуть приподнялся вверх. Вытянув шею, он заглянул в дупло. Из черной щели дупла выпорхнула серая, неприметная птица и, жалобно заголосив, полетела к реке. Хлопец отшатнулся, белый сачок чуть было не выпал у него из-за пояса.

Испуганный, протяжный крик птицы раздавался теперь на окраине сада. Хлопец сел верхом на толстую ветку и вытянул из-за пояса сачок.

Он постучал им по стволу дерева и прислушался. Потом еще раз заглянул в дупло и, ничего в нем не увидев, легко засунул внутрь сачок. Передохнув, он лег на ветку грудью, несколько раз подергал, пошевелил в дупле сачком и тихонько, совсем тихонько вытащил его наружу. В сачке что-то было. Хлопец заглянул в сачок и опрокинул его над ладонью. Оттуда, из марлевого сачка, выкатилось продолговатое беленькое яичко. Парень ловко взял его в рот и тотчас же снова опустил сачок в дупло. Несколько раз он то опускал в дупло сачок, то вытаскивал его обратно, пока не выбрал из гнезда все яйца птицы. Тогда он, не глядя, швырнул вниз на траву сачок и стал осторожно съезжать по стволу вниз. Пока он спускался по дереву, я, раздвигая кусты, смело пошел ему навстречу.

Очень хотелось узнать: чье же это гнездо он разорил? Но не успел я подойти, как хлопец спрыгнул на землю, и в ту же минуту я шарахнулся в сторону.

В нескольких шагах от меня, оправляя рубашку, стоял Котька Григоренко. Никак не ожидал я встретить его здесь! Что ему, барчуку, нужно в совпартшколе? Этого еще не хватало! Какое он имел право залезать сюда да еще воровать яйца? Мало, что ли, погулял он в своем собственном саду?

Я уже чувствовал себя тут хозяином, и потому мне стало очень обидно, что этот петлюровский прохвост появился в таком месте, как совпартшкола. А может, ему разрешили курсанты, может, они не знают ничего о нем?

Ну хорошо, курсанты могут не знать, зато я знаю!

Если бы мы встретились с Котькой на улице, я не стал бы даже разговаривать с ним, но здесь, в саду, я понял, что обязан выгнать его немедленно.

— А ну, положи обратно! — крикнул я, быстро подходя к Григоренко.

Котька вздрогнул, но, заметив меня, принялся снова обчищать рубашку. Он даже не смотрел в мою сторону, собака!

— Ты что, глухой? — закричал я, останавливаясь.— Тебе говорят!

Котька, все так же медленно и не глядя на меня, стряхивал ладонью с полотняной рубахи шелуху.

— Слышь?! — закричал я, свирепея.

Котька выпрямился и, ловко выплюнув на ладонь пять мокрых яичек серой птицы вертиголовки, удивленно сказал:

— Это вы ко мне?

— А ты думаешь...

— Я-то думаю: кто это пищит здесь? И никак не могу понять...

— Ты зачем гнездо разорил? Ведь из них не сегодня завтра должны птенцы вылупиться.

— Серьезно или шутишь? — прищурившись, спросил Котька.

— Полезай на дерево и положи обратно яйца...— скомандовал я.

— Не много ли ты, сопляк, на себя берешь? — ехидно сказал Котька.

— Я... сопляк? Я...

— Ты чего в этот сад залез?

Вопрос Котьки заставил меня поперхнуться.

— Как — чего? Я свой... Мой отец здесь... А ты не имеешь права!

— Ну, будет! — неожиданно громко сказал Котька.— Сейчас я тебе прощаю, потому что у меня нет настроения учить тебя уму-разуму. Но имей в виду, в следующий раз мы можем поговорить в другом тоне...— И, словно невзначай, Котька вынул из кармана правую руку. Солнце блеснуло на его пальцах. Я увидел, что Котька, пока мы с ним разговаривали, успел насадить на руку тяжелый никелированный кастет.

Поиграв кастетом и оставляя меня одного, оторопевшего, под деревом, Котька быстро пошел к выходу.

Будь у меня в руках хоть палка — другое дело. А так я знал, что вооруженный кастетом Котька куда сильнее меня.

Котька быстро шагал по дорожке. «А может, все-таки догнать его? Нет, сейчас уже поздно!»

Самая удобная минута была упущена. Надо было, не вступая с ним в разговоры, бить его с налету по лицу, потом вырвать кастет. Посмотрел бы тогда, чья взяла!

НАД ВОДОПАДОМ

По обеим сторонам реки, как высокие коричневые стены, подымались скалы. Сжатая этими отвесными ржавыми стенами, река текла здесь по мелкому каменистому дну. Я шел по узенькой тропинке, и острый щебень колол мне пятки. За поворотом реки я увидел белые стены хаты, в которой жила Галя. Низенькая, крытая камышом, эта хата стояла на отшибе, прислоненная к скале. Вблизи домиков больше не было. Только на самом верху, на скале, где чернели остроконечные, с зубчатыми венчиками башни Старой крепости, виднелись белые хатки предместья Подзамче, стога желтой соломы, длинные кирпичные постройки паровой мельницы. Нижний пустынный берег реки, по которому я шел, назывался Выдровка. Раньше тут было много выдря. Они селились в скалистых норах над самой рекой.

Я остановился у плетня и, постояв так минуты две, крикнул:

— Галя!

Наверху у крепости заскрипели колеса подводы. В Галиной хате было тихо.

— Галя-а-а! — сложив лодочкой ладони, чуть погромче крикнул я.

В сенях звякнула клямка, и на пороге хаты появился Галин отец — лысый Кушнир.

Мне сразу захотелось спрятаться под плетнем. Но было уже поздно. Кушнир спускался по двору ко мне.

Подойдя к калитке, он облокотился на деревянную перекладину, вынул изо рта прокуренную трубку и тихо спросил:

— Чего кричишь?

— Да мне Галю нужно.

— Галю? — удивился Кушнир.— Смотри ты! Кавалер! Плохо, брат, дело. Гали нет!

— А где же она?

— Где?.. — Кушнир помолчал, затянулся, выпустил носом две струйки дыма и затем, выколачивая о плетень трубку, спокойно сказал: — А по воду пошла. На ту сторону. Вот если ты настоящий кавалер и не лентяй, беги навстречу. Поможешь ей воду нести...

Не оглядываясь на старика, я перебрался по камням через быструю и мелкую реку, которая сразу же за Галиной хатой сворачивала и затем, пенясь, мчалась в черный тоннель под крепостным мостом, чтобы вырваться на другой стороне белым, кипящим водопадом.

Перебравшись через реку, я подбежал к лестнице. Она подымалась по скалам к мосту.

Наконец я взобрался на улицу, что спускалась из города на крепостной мост. Гали наверху не было. Я отдышался, перешел мощенную круглыми булыжниками улицу и посмотрел вниз. Отсюда я увидел другую часть города — Карвасары, белый пенящийся водопад, переброшенную через него рядом с высоким крепостным мостом деревянную кладочку, широкий спокойный разлив реки за водопадом, скалистые, поросшие желтой медуницей и дерезой берега Смотрича. Внизу, к водопаду, вела выщербленная лесенка без перил. Гали на лестнице не было. Наверное, она еще возится около колодца. А колодец отсюда разве увидишь — он по другую сторону водопада, и его заслоняет деревянная церковь с погостом, усаженным высокими тополями.

«Что же делать? Ждать Галю здесь или сбежать вниз?.. А, сбегу, пусть узнает, какой я добрый! Подсоблю тащить ей ведра от самого колодца».

И я побежал вниз, к реке. Я так разбежался, что было трудно остановиться. С разгона я влетел на деревянную кладочку, и меня сразу обдало холодной водяной пылью. Белые брызги подлетали вверх, до самых досок. Вода шумела и грохотала внизу, я видел ее сквозь щели в кладке, и этот грохот водопада сливался с грохотом наверху: там по деревянному настилу крепостного моста быстро ехала подвода. Я уже почти пробежал всю кладку, как вдруг сквозь шум воды и громыхание телеги услышал свое имя.

— Василь! Вася-а-а! — донеслось издали.

Я задрал голову и посмотрел на мост. Но у перил моста никого не было. С моста мне в глаз упала соринка, и глаз заслезился. Я стал растирать глаз кулаком, но тут снова послышалось:

— Василь! Вася!.. Сюда!

Я оглянулся.

В стороне, над самой скалой, сидела Галя и с ней еще кто-то, но кто именно — я сперва не разобрал.

— Иди сюда! — крикнула Галя и поманила меня рукой.

«Кто ж это, интересно, с ней сидит?» — думал я, пробираясь между кустами к Гале. Фу-ты, что такое! Я чуть было не наткнулся на ведра с водой, которые Галя оставила здесь под кустами.

Дорогу мне преграждала глыба гранита. Я полез на нее, цепляясь за пучки травы, и, взобравшись наверх, остановился.

Рядом с Галей сидел Котька Григоренко. Плохо у меня стало на сердце в эту минуту. Ведь они еще могут подумать, что я нарочно пришел подсматривать за ними. Удрать разве?

— Спускайся, Василь, ну, быстро! — потребовала Галя, и мне волей-неволей пришлось спрыгнуть с глыбы и подойти к лужайке, на которой они сидели.

Не глядя на Котьку, я протянул руку Гале.

— Где же ты пропал? Я уже думала... Садись! — сказала Галя.

Я, посапывая, опустился на мягкую траву.

— А мы ж позавчера переехали отсюда! — И я кивнул головой в сторону Заречья.

— Куда переехали? — заинтересовалась Галя.

Пришлось рассказать Гале о нашем переезде в совпартшколу.

— Там сад какой! Большущий. Я к тебе за черешнями теперь буду приходить! — сказала Галя.

— Приходи,— ответил я неуверенно.

— А я несла воду, несла и заморилась. Вижу — навстречу Котька. Вот мы и решили посидеть. А ты куда шел?

— Да мне надо туда...— соврал я, кивая в сторону деревянной церкви.— На Подзамче! К хлопцу одному.

— К хлопцу? — протянула Галя.— А разве...— И она запнулась.

«Ничего, ничего, правильно! Нехай думает, что я шел к хлопцу, а не к ней».

Котька в это время встал, потянулся, поправил свою белую батистовую косоворотку, одернул кавказский ремешок с тяжелыми серебряными язычками и поднял с земли камень.

Широко раздвинув ноги, он размахнулся,— и круглый камень упал далеко-далеко, посреди запруды.

— Здо́рово! — сказала Галя, и ее слова обожгли меня.

А Котька схватил еще один камень и сказал Гале важно:

— Ну, это еще не здорово. Вот смотрите, куда закину!

Он примерился и размахнулся. Но камень вырвался у него из рук и упал совсем близко от нас, под скалу.

«Ага, ага, так тебе и надо! — чуть не закричал я.— Не задавайся зря!»

Галя засмеялась, и Котька, желая оправдаться, объяснил:

— Ну, это случайно. Сухожилие сорвал! — Он даже сморщился, будто от боли, и сказал:— Вы остаетесь, Галя, или идете?

На меня Котька не смотрел.

Галя встала, оправила платье. Втроем мы перелезли через каменную глыбу. Галя нагнулась к ведрам.

— Давайте я помогу вам! — сказал Котька, отстраняя Галю и хватая оба ведра.

— Ну нет, зачем? Я сама!

Но Котька уже потащил ведра к лестнице.

— А тебе обязательно надо на Подзамче, Василь?.. Как того хлопца звать? — спросила меня Галя.

— Какого хлопца?

— Ну того... к которому ты идешь?

— Того? Тиктор! — выпалил я наугад.

— Тиктор? Да ведь Тиктор не на Подзамче живет. Он возле вокзала живет.

— Ну да, но сейчас он у знакомых на Подзамче, вот мы и договорились встретиться,— кое-как выпутался я.

— А может... ты с ним другим разом встретишься? — И Галя робко посмотрела мне в глаза.

Но здесь я решил быть жестоким до конца! Я хотел наказать Галю за ее встречу с Котькой и сказал сухо:

— Нет, другим разом нельзя. Я должен встретиться с Тиктором сегодня!

Мы подошли к лестнице. На площадке меж ведер стоял, поджидая нас, Григоренко.

— Ну, спасибо, Котя,— очень ласково сказала Галя.— Теперь я сама донесу.

— Да бросьте стесняться! Я вам помогу,— сказал Котька басом.

— Нет, нет, Костя, спасибо. Вы же идете в другую сторону, вот с ним по пути,— кивая на меня, сказала Галя.

— Давай, Галя, я тебе помогу! — сказал я.

— Не надо мне помогать,— ответила Галя.— Сама не донесу, что ли? Идите себе вместе. Ну, до свидания!

— Нет, спасибо. Я не имею большого желания идти в такой компании! — сказал Котька и отвернулся.

У меня перехватило дыхание.

— Ты молчи... ты... ты!..— почти выкрикнул я.

А Галя глянула сперва на меня, потом на Котьку и засмеялась.

— Ой, я ж дура! — сказала она, смеясь.— Вы не разговариваете? Да? А я думаю: чего вы все молчите? Вы что — в ссоре?

— Так, у нас счеты! — сказал Котька и, подхватив оба ведра, потащил их вверх по лестнице.

— А я не заметила. Ну что ж, до свидания, Василь.— И Галя медленно протянула мне руку.

Я пожал ее холодную ладошку, и она, крепко ступая и чуть покачиваясь, пошла по ступенькам вслед за Котькой.

Я стоял посреди лестницы и смотрел им вслед. А что, если Галя или, еще хуже, Котька обернутся? Мне стало стыдно, и я быстро спустился и перешел по кладке через водопад. Ну и ругал же я себя в эту минуту! «Эх ты,— думал я,— трус. И зачем выдумал Тиктора? Надо было остаться с Галей, спровадить от нее Котьку. Не мог надавать Котьке или просто взять ведра да понести сам. Тогда бы Котька ушел. Упустил такой случай. А так смотри: шел-шел сюда, чтобы повидать Галю, из самой совпартшколы шел, и вот радуйся — повидал! Теперь, наверное, они вместе пойдут. И Котька станет хвастаться перед Галей, какой он сильный, скажет, что я его испугался, будет наговаривать про меня всякое. Обязательно будет наговаривать».

Я обогнул деревянную церковь. В луже возле колодца размокала желтая коробочка папирос «Сальве». Тисненая этикетка с нарисованной дымящейся папироской отклеилась и плавала поверх лужи. Я посмотрел на плавающую этикетку, вспомнил, как несколько лет назад мы собирали коллекции таких вот коробочек от папирос, и быстро пошел по горной крутой дороге, которая огибала Старую крепость со стороны Карвасар. Я шел на Подзамче и никак не мог сообразить, зачем я иду туда.

Уже в городе, по дороге домой, я остановился возле витрины парикмахерской Мрочко. Там, за толстым бемским стеклом, торчали на болванках восковые лица тонконосых красавиц. На каждой был приклеенный парик. А сбоку, по обеим сторонам нарядной и устланной разноцветной бумагой и журнальными вырезками витрины, блестели два зеркала. Я делал вид, что рассматриваю лица восковых красавиц с каплями клея на висках, а сам искоса глядел в зеркало. Мне было стыдно смотреть на себя в зеркало просто так. Прохожие еще станут смеяться: такой здоровый парень и, как девчонка, в зеркало себя рассматривает. Я смотрел украдкой и думал: «Котька шире меня в плечах — и только». Я видел в боковом зеркале свое сердитое лицо, глаза навыкате, рубашку апаш, подпоясанную ремнем, целые, без единой латки, черные молескиновые штаны. Серая кепка была слегка заломлена назад. Худо только, что я был босиком. Надо было надеть сандалии. «Эх ты!» — поругал я себя. Налюбовавшись собой вдоволь, я широко расправил плечи и, как борец, размахивая согнутыми в локтях руками, зашагал по мостовой к совпартшколе. Городские тротуары были гладкие и теплые от солнца.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

На зеленой лужайке во дворе совпартшколы курсанты гоняли мяч.

Часовой у ворот, молодой черномазый парень с раскосыми глазами, в голубой буденовке, опираясь на винтовку, следил со своего поста за игрой. Я остановился возле турника.

Турник — водопроводная труба, до блеска отполированная ладонями,— был закреплен одним концом в развилке клена. Другой конец трубы был прибит скобками к врытому в землю столбу. Столб да брошенная на траву одежда и были воротами для играющих. Вторые ворота — два пенька — виднелись под самыми окнами нашего флигеля. Там в голу стоял, полусогнувшись, мой старый знакомый Полевой, секретарь партийной ячейки совпартшколы. После демобилизации из Красной Армии он решил не возвращаться к себе на родину в Екатеринослав, а остался у нас, в Подолии, и уездный комитет партии направил Нестора Варнаевича в совпартшколу.

В тех воротах, что были возле меня, суетился лектор политэкономии, стриженный под машинку Картамышев в широченных синих галифе и оранжевой майке-безрукавке. Вчера я услышал, что этого Картамышева и лектора по естествоз-

нанию Бойко называли «братьями-разбойниками». Они были похожи друг на друга — носили синие костюмы и каракулевые папахи с красным бархатным верхом.

Теперь «брат-разбойник» Бойко суетился в центре. Я сперва не мог даже разобрать, кого он играет — центрфорварда или левого края. Он бегал посреди лужайки в своих брюках с кожаными блестящими леями и, наконец, вырвав мяч, повел его в мою сторону, к турнику. Тогда я понял, что «братьев-разбойников» назначили в разные команды и что они играют друг против друга.

Не добежав до ворот шагов пяти, Бойко рванулся вперед, крикнул и хватил по мячу так, что мяч чуть не распоролся. Вертясь волчком в воздухе и задевая траву, мяч пролетел в ворота и, скользнув мимо самых моих ног, подпрыгивая покатился к часовому, а довольный Бойко, утирая пот с лица, крикнул растерявшемуся голкиперу:

— Поймал зайца?

Картамышев ничего не ответил и, тяжело дыша, помчался в своих тяжелых кованых сапогах вдогонку за мячом к будке часового.

Злой оттого, что ему забили гол, Картамышев возвращался обратно к воротам шагом, опустив стриженую голову.

Бойко, все не отходя от чужих ворот, подсмеивался.

— А еще говорите: мы, мы — сильная команда! А у нас двух игроков недостает, и то голы вам забиваем.

— Кто же вам мешает? Возьмите себе игроков еще! — хмуро ответил Картамышев.

Все игроки, переминаясь с ноги на ногу, нетерпеливо ждали продолжения игры.

— А где ж их возьмешь еще, игроков? — сказал Бойко и оглянулся.

Мне хотелось, чтобы он заметил меня. Но Бойко безразлично скользнул по мне взглядом и, привстав на цыпочки, посмотрел в палисадник. Там, около здания, за кустами подстриженной сирени, читали газеты два курсанта.

— Эгей, Бажура, идите в футбол играть! — крикнул через весь двор Бойко.

— Не хочу! — донеслось из-за кустов.

Я уже знал здесь некоторых курсантов, но попроситься в игру не решался. Ведь я неплохо играю в футбол. Ну позови меня, позови! Я прямо чуть не прыгал на месте от волнения — так мне хотелось играть. А главное — такая подходящая наступила минута, чтобы войти в игру, но она сейчас пройдет, лишь только Картамышев зашнурует мяч. И я следил теперь, как голкипер заталкивал под кожу остаток сыромятного хвостика. Ну вот... хвостик спрятался под кожаной покрышкой. Все, значит, кончено. Картамышев приготовился и, уже подняв перед собою мяч, чтобы бросить его на ногу, искоса глянул на меня. И остановился.

— Слушай, капитан! — крикнул Картамышев.— Возьми вот себе парня. Пусть не скучает.

Бойко медленно посмотрел на меня. Видно было — он колебался. Потом нехотя спросил:

— Эй, хлопчик! Умеешь играть?

— Умею, только не особенно! — ответил я дрожащим голосом, все еще не веря, что меня возьмут в игру.

— Да мы все тут не особенно,— засмеялся Бойко и приказал строго: — Беги к воротам. Беком будешь. Понял?

Ну еще бы не понять!

И, задевая босыми ногами влажный подорожник, я помчался к Полевому. Уже пошла игра, и мяч заухал у меня за спиной. Полевой стоял в воротах, наклонившись, и следил за мячом.

— Я буду беком! — крикнул я, подбегая.

Полевой, не глядя, сказал:

— Ладно, становись! — и продолжал смотреть на середину поля.

Я стал перед воротами, поправил кепку и приготовился бить.

Теперь я уже чувствовал себя здесь своим. Если я хорошо сыграю, меня будут брать в игру каждый вечер. Я буду по воскресеньям ходить с командой на широкое поле к провиантским складам. Молодец Бойко, что позвал меня сюда. Важно только играть хорошо. Бить крепко, сильно. Хоть бы мяч сюда кто послал! Но игра по-прежнему шла на центре. Вот Бойко снова повел мяч к чужим воротам.

Ему наперерез бросился бек в белых трусах и блестящих сапогах до коленей. Бойко, обманывая бека, придержал мяч. Вот он бьет по воротам. Сейчас будет гол.

Ах, черт! Голкипер Картамышев выручает команду. Он легко взял мяч на носок сапога, и мяч взлетел вверх. Хорошая «свечка»! Мне бы, пожалуй, так не ударить. Я, задрав голову, следил за полетом мяча. Он падает вниз и сразу достается центру чужой, картамышевской, команды, Марущаку. Этот Марущак здорово играет. Видно, как мелькает между игроками его военная фуражка, красно-желтая, с вогнутым лакированным козырьком. Марущак бежит прямо на меня, высокий, тяжелый. Мокрый мяч катится перед Марущаком. Он все ближе, ближе, этот бурый мяч, похожий на ежа. Марущак ударил. Мяч оторвался и, шурша по траве, такой хороший, низкий, мчится на меня.

Сейчас я его...

Я сразу засуетился, запрыгал, подняв навстречу мячу ногу... и промазал.

Полевой не ждал мяча. Казалось, вот-вот будет гол. Но в ту минуту, когда мячу оставалось пролететь до ворот каких-нибудь два шага, Полевой вдруг сразу бросился на землю и принял мяч. И сразу Полевой вскочил и, подбросив мяч, сильно ударил по нему кулаком. Мяч снова полетел на середину.

На белых трусах Полевого зеленело теперь большое круглое пятно. Он стряхнул с трусов стебельки мятой травы и недовольно крикнул:

— А ты не суетись зря. Я думал — ударишь. Зачем ногу задрал?

— Да я нечаянно,— буркнул я.

— «Нечаянно, нечаянно»! — пробормотал Полевой и добавил: — А ты наверняка действуй всегда. Не болтай ногой, когда мяч далеко. Понял? А вот подойдет близко — тогда бей сразу, навылет. И от ворот отойди подальше.

Я, словно меня подстегнули, рванулся вперед, в самую гущу играющих. Навстречу мне снова бежал Марущак без мяча. Противники что-то затевали. Так и получилось. Еще мы не встретились, как их левый край послал Марущаку мяч. Марущак приготовился бить.

«Эх, была не была! — решил я.— Перебьют ноги — ладно». И бросился на здоровенного Марущака. Но он, думая меня обмануть, легким ударом хотел перебросить мяч через голову. Не тут-то было! Оставалась какая-нибудь секунда, и мяч был бы у меня за спиной, но я подпрыгнул и стукнул мяч лбом так, что моя кепка сразу же слетела. Не успел еще я нагнуться, чтобы поднять кепку, как мяч принял Бойко и косым ударом забил гол.

Мяч снова запрыгал по каменному двору к будке часового. Картамышев медленно побежал за ним, а Бойко, улыбаясь, крикнул мне через все поле:

— Так всегда играй. Понял? Пасовка, пасовка!

Я был счастлив. Хорошо, что я ударил головой, а возьми я мяч, допустим, ногами, не получил бы Картамышев гол.

Игра оживленно пошла дальше. Мяч с шумом перелетал с одного конца двора на другой. Уже смеркалось. Загудели жуки-рогачи над густым кленом. Вокруг стояли, наблюдая за игрой, курсанты.

Мне было приятно, что они следят и за тем, как я играю. Я носился из одного конца поля в другой, я совсем забыл, что беку не полагается отбегать далеко от своих ворот, и однажды попробовал сам забить гол, но Картамышев перехватил мяч. Ноги мои были исцарапаны, где-то в пятке покалывала заноза — видно, я загнал в пятку колючку от акаций, и большой палец левой ноги был окровавлен — я зацепился за камень, но не почувствовал боли. Было жарко. Мокрый, вспотевший, я гонял по полю, стараясь вырвать мяч у чужих игроков. В это время, желая обмануть меня, Марущак издали ударил по воротам, но промазал. Мяч ударился о стенку и возвратился к воротам, унося на себе белое пятно известки. Опасность миновала, и я спокойно следил за игрой на центре.

Все игроки были распарены, как и я, от них пахло пóтом, табаком, сапожной мазью. Трусы у нашего голкипера Полевого зазеленились еще больше, а на колене краснела ссадина.

С улицы крикнули:

— Васька, Васька!

Я сперва ударил по мячу, передал его левому краю, а затем поглядел, кто это меня зовет.

Прижимаясь носом к деревянной перекладине забора, стоял Петька Маремуха. Он с жадностью глядел на игру и, видно, крепко завидовал мне. Прогоняя мяч мимо забора, я крикнул Петьке:

— Не уходи, скоро кончим!

Петька кивнул головой и поудобнее примостился на каменном фундаменте забора. Я же с налету ударил по мячу, дал отличную «свечку», но только чуть влево, за линию игры. Мяч упал прямо на верхушку клена, с шумом пробивая листву, зацепил турник и затем подкатился к ногам Картамышева за линией корнера.

Где-то в коридоре здания прозвенел звонок.

— Пошли, товарищи, ужинать! — крикнул Полевой и, ловко подобрав лежавшую подле пенька одежду, вышел из ворот.

— Захватите мяч, товарищ Марущак! — распорядился Бойко и, подойдя к голкиперу Картамышеву, предложил: — Давай, Володя, сходим на речку до ужина, выкупаемся.

Картамышев согласился, и оба они, натягивая на ходу синие гимнастерки, направились к воротам.

Я обогнал их и выскочил на улицу первый.

— Здорово, Петрусь! — радостно сказал я Маремухе, крепко пожимая его пухлую руку.— Ну, видал, как я чуть не забил гол? Здорово, правда?

— Ты же портачил тоже здорово. Ту «свечку» как промазал,— ответил мне очень холодно Маремуха.

— А ты бы не промазал? — сказал я.

Но Петька, как бы не расслышав моего вопроса, спросил:

— Откуда ты их уже всех знаешь?

— Ну, не всех, а так, половину знаю — вчера они здесь играли в городки, вот я и узнал, кого как зовут. Пойдем ко мне в гости! — предложил я.

— Как? Туда? — недоверчиво покосился глазами Маремуха в сторону нашего флигеля.— А мне разве туда можно?

— Раз со мной идешь — значит, можно! — важно сказал я, и мы двинулись к воротам.

Петьке Маремухе все понравилось у меня в кухне: и моя постель на печке, и разложенный в духовке инструмент, и окно, выходящее во двор. Пока Петька все разглядывал, трогая коротенькими и пухлыми, как у девочки, пальцами, я сидел на табуретке и выковыривал булавкой занозу.

Возле меня на краешке плиты, мигая, горела коптилка.

Вытащив наконец английской булавкой занозу, я стукнул пяткой по полу,— чуть-чуть защемила расцарапанная ранка. Я сполоснул под умывальником руки и стал думать, чем бы угостить Петьку. И вдруг, вспомнив свою встречу с Григоренко в саду, сказал Петьке:

— А ты знаешь, Петро, что Котька сюда захаживает?

— Куда? В совпартшколу?

— В том-то и штука, что сюда!

И я рассказал Петьке Маремухе о встрече с Котькой.

— А ты бы взял ему и всыпал! — смело сказал Маремуха.

— Легко тебе сказать — всыпал. Я бы всыпал, но видишь какое дело: его ж Корыбко в этот сад пускает.

— А разве Корыбко тут работает?

— Ну да! В том-то и фокус. Я сперва этого не знал и, когда застукал Котьку в саду, тоже удивился, чего он задается так, словно у себя дома. А потом вчера вечером смотрю — они вдвоем по двору идут. У Корыбко ножницы здоровенные и ведро с известкой. Спрашиваю одного курсанта, что этот старик здесь делает, а курсант мне и говорит: «Садовником работает».

— Вот оно что! — протянул Маремуха.— Ясное теперь дело. Раз Котька квартирант Корыбки, то теперь он свободно будет ходить сюда. Этот старый черт будет его пускать и когда яблоки поспеют.

— Факт! — подтвердил я.

— Ну, теперь Котька у вас все гнезда разорит. Ты знаешь, какая у него коллекция яиц? — сказал Петька.— Даже в городском музее такой нет. Он ведь

давно собирает яйца. Такой здоровый, а все еще по деревьям лазает. Да, Васька! — спохватился Маремуха.— У меня же для тебя записка.

— От кого?

— А ну, угадай!

— Ну скажи!

— Нет, ты угадай!

Петька вынул из кармана голубой конвертик и спрятал его за спину.

— Ну, дай сюда! — закричал я.

— Я дам, только ты побожись, что сделаешь одну штуку.

— Какую?

— Если тебя спросят, когда ты получил это письмо, скажи, что утром.

— Так ведь сейчас же вечер!

— Ну я знаю. А ты скажи, что я тебе занес его утром. Хорошо?

— От кого письмо?

— Поклянись, тогда скажу!

— Ну, сам тогда возьму. Отдай письмо.— И я, шагнув к Петьке, схватил его за руку.

— Я не дам, Васька. Вот верное слово — не дам. Порву, а не дам. Ой, не крути руку!

Вырвать письмо было трудно. Я отпустил Петьку и сказал:

— Ну хорошо. Я клянусь.

— Что — клянусь? Ты хитрый. Скажи все, как полагается.

— Я клянусь, что, если меня спросят, когда я получил письмо, скажу, что утром.

— Ну тогда возьми! — И Петька протянул мне измятый конверт. Я быстро разорвал его и стал читать письмо.

«Вася!

Если у тебя есть время, приходи сегодня вечером ко мне, и мы пойдем вместе в иллюзион.

Галя».

Я чуть не бросился на Петьку с кулаками.

— Чего же ты мне не отдал письмо утром?

— Я не мог, я с утра поехал с папой на огород.

— А когда Галя тебе отдала письмо?

— Сегодня утром. На базар шла за молоком и отдала. А что там написано? — И Петька попробовал заглянуть в письмо.

— Подожди,— отстранил я Петьку.— А ты не мог забежать ко мне, как на огород ехал?

— Ну конечно, не мог. Я вез тележку: оставил бы на улице, и ее могли бы украсть.

— Ну хорошо,— сказал я,— я скажу Гале, когда ты передал мне письмо.

— Ой, не надо, Васька! Она будет думать, что я брехун.

— Почему?

— Да я сейчас шел по бульвару к тебе сюда. А она на качелях катается. Ко мне подбежала, спрашивает: «Ты передал записку?» Я говорю: «Передал». А записка у меня в кармане. А она спрашивает: «Когда передал?» — «Еще утром»,— говорю.

— Зачем же ты набрехал?

— Ну и набрехал! Что сделаешь? — И Петька жалобно зашмыгал носом.— Она утром меня просила, чтоб я обязательно тебе передал записку. Я побожился, что передам. А потом забыл. Мне было стыдно сознаться, что я такой растяпа.

Петька почувствовал, что заврался совсем. Он оглянулся и потом растерянно сказал:

— Про огород я тебе выдумал нарочно... Я просто забыл.

Ну как мне Петька все напортил! Если б он только знал!

Теперь мне все было понятно. Галя из гордости перед Котькой не спросила меня, получил ли я записку. Видно, она очень ждала меня сегодня вечером. А я, дурак, выдумал этого Тиктора и так был холоден с Галей! Мне очень захотелось побить Петьку, но я сдержался и спросил:

— А Галя с кем была на бульваре?

— С кем? Ясно с кем: с Котькой! — ответил Маремуха, не догадываясь, как затронули меня его слова.— С Котькой! — весело повторил Петька.— Да, да! Он ее на качелях раскачивает. Галя кричит, боится, а он ее как раскачает — аж до самой верхушки дерева! Котька — ее симпатия.

Теперь, после этих слов Петьки, я забыл и о футболе, мне стала противна моя собственная отдельная комната и все, все. Я представил себе, как Котька Григоренко раскачивал Галю на железных качелях, как скрипели при этом два высоких ясеня, как развевалось по ветру Галино голубое платье, обнажая ее длинные загорелые ноги, и мне сразу стало очень досадно.

В НАС СТРЕЛЯЮТ

— Ты пистолет почистил? — подлизываясь ко мне, спросил Маремуха.

— Почистил.

— Уже стрелял?

— Нет еще.

— Давай постреляем.

— Постреляем.

— А когда прийти?

— Когда? — Я задумался: «А что, если пострелять сейчас!» — Слушай,— твердо сказал я Маремухе,— давай сейчас попробуем.

— Где же ты будешь пробовать?

— В сад пойдем,— ответил я и, вскочив на печку, взял зауэр.

— В сад? Да что ты! Услышат,— сказал Маремуха.

— И ничего не услышат. Там деревья, темно, никого нет. Там хоть бомбы рви — здесь ничего не слышно: дом заслоняет звуки. А курсанты все теперь ужинают,— ответил я и с зауэром в руках гулко спрыгнул на пол.

— Не-ет, Василь. Я не хочу в сад. Пойдем лучше завтра к Райской брамке. Там скалы и людей нет.

— Но и тут никого нет. Ты чудак! — ответил я и бросил на пол промасленную бумагу, в которую был завернут зауэр.

Петька смотрел на пистолет, как на живую гадюку,— было вовсе непохоже, что всего несколько дней назад этот зауэр принадлежал ему.

— Ну я ж тебя прошу! Пойдем в Райскую брамку. Я своих патронов принесу. Ну пойдем, Васечка!

— Тише ты! — цыкнул я на Петьку.— Никуда мы завтра не пойдем, а будем стрелять сегодня. И если ты сейчас не пойдешь со мной в сад, я никогда с тобой разговаривать не буду. Понял? Я всем хлопцам расскажу, какой ты трус. Понял? И всем девчатам тоже. Ну, пошли. Нечего хныкать.

Засунув пистолет за пазуху, я направился к двери и с треском отбросил крючок. Петька молча двинулся за мной.

Когда мы пробирались по темному саду, я уже пожалел, что затеял это. Ночью в саду все было незнакомо. Кустики барбариса казались огромными деревьями, шелковица, груши, яблони сливались в одну темную стену. Где-то далеко-далеко позади, в совпартшколе, глухо стукнула дверь, и снова стало тихо. В каменном заборе, вдоль которого мы шли, пели сверчки. Иногда они замирали, как бы прислушиваясь к шороху наших шагов, но потом снова продолжали свое пение.

Сквозь листву деревьев было видно чистое, все в переливающихся звездах небо, рассеченное надвое белым от звезд «Чумацким шляхом».

Мы шли не по дорожке, а напрямик. Ноги жгла крапива, хворост и пересохший бурьян похрустывали внизу. Впереди не было видно ни одного огонька. Там, за садом, кончался город. Петька молча, не отставая от меня ни на шаг, семенил сзади.

— Давай налево! — приказал я Маремухе и, схватив его за руку, повернул в сторону. Мне хотелось уйти подальше, в самый конец сада, к оврагу. Прямо перед нами выросла окруженная кустами сирени горка.

— Это сарай? — шепнул Петька.

— Горка, смешной! — успокоил я его и остановился.

— Здесь будешь стрелять?

— Нет, я просто заряжу,— ответил я Петьке. И, вынув из кармана косую обойму с патронами, затолкал ее в рукоятку пистолета и оттянул затвор. Щелкнув, затвор возвратился обратно — все было в порядке. Патрон лежал теперь в стволе.

— Пошли! — предложил я Петьке.

— Василь, когда будешь стрелять, скажи мне раньше. Я уши закрою! — взмолился Петька.

Я ничего не ответил и подумал только: «Как же, жди! Так я тебе и скажу, когда буду стрелять. Какой интерес? Пальну сразу — и тогда сядешь с перепугу».

Я уже легонько трогал пальцем спусковой крючок, но стрелять здесь еще было опасно: могли услышать. Я пробирался сквозь мокрые от росы кусты, их ветви больно хлестали шедшего сзади Маремуху.

Но вот реже пошли деревья, и, освещенный ясным светом звезд, замаячил вдали за низенькими кустами старый монастырский забор. Сделав еще шага три, я остановился. «Дальше идти не стоит,— подумал я,— и в забор стрелять тоже опасно. Пуля еще даст рикошет».

Перед нами чернело высокое кривое дерево. Одна его толстая ветка, как здоровенная лапа, тянулась к забору.

Далеко у реки заухал филин. И вдруг я подпрыгнул на месте и, тонким, срывающимся голосом закричав: «Стой!» — выпалил прямо в ствол этого черного кривого дерева. Красный клубок огня вырвался из вздрогнувшего револьвера.

И не успело прокатиться по темному, глухому саду, по соседним оврагам эхо, как под забором послышался шум и кто-то очень ясно крикнул:

— Прендзе!

И вслед за этим криком «Скорее!» один за другим два тяжелых гулких выстрела прогрохотали там, в кустах. Я видел огоньки пороховых вспышек, слышал, как тонко, точно осы, завизжали где-то у меня над головой пули.

— Беги! — крикнул Маремуха и, ломая кусты, понесся назад.

— До забора! — шепнул я ему на ходу, и мы сразу взяли круто назад. Там, за ореховой аллеей, виднелся все тот же окружающий сад каменный забор.

Я подбежал к нему, подпрыгнул и обеими руками схватился за покатую верхушку. С шумом полетели вниз, в густую крапиву, камни, зашуршал мелкий щебень.

Уже переваливаясь грудью через забор и забрасывая наверх ноги, я услышал, как царапался, взбираясь на забор, Маремуха.

Мы спрыгнули вниз почти одновременно. Пыльная проселочная дорога к Приворотью пролегала под забором. Как приятно было бежать по этой ровной проселочной дороге после засыпанного колючками сада! Ноги вязли в мягкой, еще теплой пыли.

Остановились мы уже наверху, около белого здания совпартшколы. В этом выходившем на проселочную дорогу левом крыле здания было темно. Только в самом верхнем окне третьего этажа тускло горел свет.

— Кто это был? — задыхаясь от быстрого бега, спросил Маремуха.

— А я знаю?!

— Кому ж ты кричал «стой»?

— Бандитам! — ответил я твердо.

Никаким бандитам я, конечно, не кричал. Просто мне было страшно ни с того ни с сего спустить курок. Чтобы заглушить страх, я и крикнул самому себе «стой».

Но кто же был там? Кто кричал «прендзе»? Кто палил в нас?

Только сейчас, на пыльной проселочной дороге, в нескольких шагах от ворот совпартшколы, где было столько вооруженных людей, мне вдруг сделалось очень страшно. И я пожалел, что мы переехали сюда, на окраину города, с нашего тихого Заречья, где никогда со мной такого не приключалось.

— Петька, зачем тебе домой идти? — сказал я Маремухе очень спокойно.— Пойдем лучше ко мне, переночуешь на печке. А завтра рано в сад залезем, я тебе крыжовнику дам.

— Нет, спасибо! — решительно отозвался Маремуха.— Я тебе говорил, что у вас здесь нечисто. Нехай сатана у вас ночует, а я не буду. До свидания! — И

сразу же побежал вниз по Житомирской на Заречье. Его белая рубашка быстро исчезла в темноте.

Утром, чуть свет, когда еще отец и тетка крепко спали в соседних комнатах, я поднялся и пошел в сад. Роса блестела всюду — и на листьях слив, и на кругленьких темно-красных листочках барбариса, и на больших лопухах.

Я шел вниз к забору и даже удивлялся: чего мы так перепугались вчера? А может, просто это какой-нибудь курсант выстрелил? Кто его знает! Не верилось, что все случилось именно здесь, вот в этом саду. Мне казалось даже, что выстрелы, наш побег из сада — все это приснилось мне прошлой ночью, душной и тяжелой оттого, что я спал при закрытом окне. Но чем ближе я подходил к оврагу, тем медленнее становились мои шаги. А вдруг в кустах лежит человек, убитый пулей из моего пистолета?

К кустам, которые росли под самым забором, я подходил уже совсем медленно. Сперва я несколько раз прошел мимо. Кусты стояли тихие, на одном из них звонко пела коноплянка. Трава под кустами была примята. Наконец я решился и осторожно раздвинул кусты. Жалобно пискнув и ныряя под ветвями, коноплянка улетела прочь из сада. В кустах никого не было. Я уже хотел идти дальше, как вдруг заметил в траве около пенька погнутую алюминиевую миску. Рядом валялась алюминиевая ложка. В миске, покрытая слоем жира, застыла недоеденная кем-то ячменная каша. Такой кашей часто кормили на ужин курсантов. Эту кашу, наверное, ели вчера люди, стрелявшие в нас. Кто они? Зачем понадобилось им ужинать здесь, в саду, под кустами? А может, это был курсантский патруль? Но почему тогда они оставили миску? Я хотел поискать еще в траве стреляных гильз, но мне стало не по себе в этом тихом, влажном от утренней росы саду.

Если бы тут рядом был Петька — другое дело. Но Маремуха был далеко. Он, должно быть, еще крепко спал в своем флигеле на Заречье. Спали и курсанты в белом здании совпартшколы. Мне сразу захотелось домой, туда, к себе в кухню.

Подобрав миску, я пошел к высокому и красивому дереву. Это был старый берест, в него я вчера стрелял и опознал сейчас это дерево по кривой, протянутой к забору высохшей ветви. Вот здесь мы стояли вчера с Петькой, отсюда я крикнул «стой».

В одном месте на коре береста краснела свежая коричневая царапина. Здорово! Я, целясь навскидку, попал в дерево: из ствола торчал хвостик колючей, расщепленной от близкого выстрела мельхиоровой пульки.

Куда же деть посуду?

Бросить миску просто так, в траву, я пожалел. В стороне на боковой дорожке рос высокий, с гладкой светло-серой корой грецкий орех. В его расщелине, на высоте моей груди, чернело большое дупло. Я затолкал в него миску, и она, пройдя косяком всю щель, упала вниз, на самое дно дупла.

Еще раз оглядев старый берест и пульку, торчащую из коры, я решил обязательно привести сюда Маремуху — пусть поглядит, какой я меткий стрелок.

Позабыв совсем о ночных страхах, я быстро зашагал по дорожке к выходу из сада.

До калитки оставалось несколько шагов, когда из-за кустов крыжовника со старинной дупельтовкой за плечами, похожий на охотника, вышел садовник Корыбко. Он был в черном сюртуке, нанковых синих брюках, заправленных в рыжие сапоги. На голове у него был синий картузик с черным околышем, лакированным козырьком и черным шнуром. Сморщенный, усатый садовник Корыбко, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу.

— Стой! Стой! — крикнул он, хотя я вовсе и не собирался удирать.— Я тебе покажу, как крыжовник воровать! — И Корыбко снял с плеча свою дупельтовку.

Побаиваясь, как бы он не выпалил в меня зарядом из соли, я пробормотал:

— Да что вы, дядя? Я же свой, здешний.

— Какой еще здешний?

— Я же Манджура! — заявил я очень гордо, словно мой отец был по крайней мере начальником совпартшколы. — Я же сын печатника Манджуры!

Корыбко испытующе глянул на меня — не вру ли, заморгал опухшими коричневыми веками и медленно повесил обратно за плечо свою дупельтовку.

— В белом флигеле поселились? — спросил Корыбко уже более мягко.— Раньше на Заречье жили, да?

Я кивнул головой.

— Чего ж ты бродишь по саду в такую рань? Что ты забыл здесь?

— Я гулять ходил.

— «Гулять»! — заворчал садовник.— Люди еще спят, а он гуляет. Бульвар нашел тоже — нечего сказать! Но смотри: будешь рвать крыжовник, в руки не попадайся! Отцу скажу, и тогда...

— Добре, дядько! — крикнул я, не дослушав, и помчался домой.

«Однако этого черта старого надо остерегаться,— думал я, подходя к нашему флигелю,— и доверять ему нельзя. Если сейчас, когда только начинает созревать крыжовник, он выходит караулить сад спозаранку, то что, интересно, будет, когда поспеют яблоки и груши?»

Завтрак был очень вкусный. Тетка Марья Афанасьевна нажарила оладий из муки и тертого сырого картофеля. Оладьи были нежные-нежные, мягкие, покрытые сверху хрустящей розоватой коркой. Груда поджаренных дерунов дымилась посреди стола в покрытой глазурью глиняной миске. В комнате пахло подгорелым подсолнечным маслом. Я сидел напротив отца, уже крепко проголодавшийся после утренней прогулки, и накалывал вилкой деруны. Я уплетал их за обе щеки, обжигая губы горячим маслом. Отец пережевывал оладьи молча, медленно шевеля густыми черными усами.

Я поглядывал на него, молчаливого, и мне очень хотелось рассказать отцу о том, что приключилось с нами вчера ночью. Но я побаивался. Еще, чего доброго, отец меня побранит, а то и отнимет зауэр. Ну его! Ничего не скажу! А что, если Петька Маремуха вдруг проболтается кому-нибудь? Нет, вряд ли: он побоится.

— Когда на рабфаке занятия начинаются, Василь? — отложив в сторону вилку, спросил отец.

— Занятия? — Я думал о другом и поэтому вздрогнул.— Пятнадцатого сентября начинаются.

— Знаешь наверное, что экзаменов не будет?

— Не будет, тату. Я ж тебе говорил: кто трудшколу кончил, тех без экзаменов примут.

— Смотри! А то поздно будет.

— Что — поздно?

— Готовиться. Ты бы лучше сейчас, чем болтаться с Петькой, подучил коечто. А то позабудешь все за лето.

— Ничего. Я помню все. Вот спросите.

— Ты хитрый. Что же я тебя спрашивать буду? — улыбнулся отец.

И верно. Спрашивать ему было нечего. Хотя отец умел набирать по-французски, по-итальянски и даже по-гречески, но вот что такое за штука префикс или суффикс — он, возможно, не ответил бы. Тетка внесла из кухни коричневый эмалированный чайник и, заварив в чайнике щепотку фруктового чая «малинки», стала наливать в чашки кипяток. Потом она дала нам с отцом по две штуки монпансье и села за стол.

— А на рабфаке долго учиться? — спросила она, глядя на меня и завязывая платок.

— Года три.

— А потом?

— Ну, потом сразу переведут в институт.

— Туда, где духовная семинария была? — спросила тетка.

— Ага!

— Ты ж совсем большой уже будешь, когда институт окончишь!

— Я и сейчас большой,— обиделся я.— У меня уже усы растут.

И я провел блестящим от масла пальцем по верхней губе. Никаких, конечно, усов там не было — мне просто хотелось позадаваться.

— Ну ладно, усатый,— сказал, подымаясь из-за стола, отец.— Я сейчас в город поеду, а ты помоги тетке дров наколоть.

В это время легко отворилась дверь, и в комнату вошел Полевой. Он поздоровался со всеми и даже со мной за руку.

— Садитесь, чаю выпейте,— предложил отец и крикнул тетке в кухню: — Дай-ка чистую кружку, Мария!

— Да нет, спасибо! — отказался Полевой.— Я уже пил.

— Ну тогда оладий-дерунов попробуйте, домашние!

— Нет, нет, не беспокойтесь. Я же с завтрака.— И, оглядываясь, Полевой спросил: — Уже оклемались?

— Много ли нужно? — ответил батько.

— Когда же на учет перейдешь к нам в ячейку?

— Да вот сегодня заберу в типографии остаток шрифта и захвачу у секретаря учетную карточку.

— Чем скорее, тем лучше,— сказал Полевой.— Тут люди в связи с учебой пооторвались от производства, а ты — рабочая прослойка. Ряды наши будешь укреплять.

— Мной ты много укрепишь! — сказал отец, улыбаясь.— Вы здесь все ученые, а я серый. Вон хлопец мой,— отец кивнул на меня,— и то больше знает.

— Ладно, ладно, не скромничай,— ответил Полевой.— Скажи лучше, у тебя чоновская карточка в порядке? Ты в каком отряде?

— В третьем.

— Оружие есть?

— Только наган. Винтовку я в штаб сдал.

— Ничего, закрепим винтовку за тобой здесь, в складе. Ты из отряда тоже открепись — и к нам. А то, понимаешь, отсюда в штаб ЧОНа по тревоге тебе бегать будет неудобно. Сегодня обязательно открепляйся и будешь у нас на полном иждивении.

Когда отец и Полевой ушли, я вытер полотенцем засаленный рот, надел праздничную сатиновую рубашку, сандалии и, причесав волосы колючей щеткой, побежал на Выдровку.

РЕВНОСТЬ

На центральной площади, под ратушей, уже открывались магазины. Хозяева магазинов поддевали крючками гофрированные железные шторы, толкали их, и шторы с грохотом взлетали под карнизы этажей и прятались там. В этом шуме и грохоте одна за другой показывались нарядные витрины. Я шел мимо витрин по холодному, еще сырому с ночи тротуару. Из конфетной Аронсона на меня пахнуло густым сладким запахом конфет-подушечек. В полутьме магазина за прилавком уже копошился сам Аронсон. Хорошие у него подушечки, вкусные! И каких только нет! Темно-красные с вишневой начинкой, нежно-желтые лимонные, прозрачные медовые, ореховые, черная смородина, барбарисовые, но самые вкусные, конечно, кисленькие мятные. Особенно приятно их есть в жару, когда хочется пить. Они быстро утоляют жажду. Аронсон подливает в них немного мятных капель, и после таких конфет во рту долго-долго прохладно — точно ветерком продуло. «Зайти разве купить четверть фунта мятных да угостить Галю? Но ведь у меня всего десять копеек. Не хватит. Вот жалко!» И, нащупав у себя в кармане последние два пятака, я пошел дальше.

«Поскорее бы начинались занятия на рабфаке,— подумал я.— Говорят, рабфаковцам выдают стипендию — по пятнадцати рублей в месяц. Можно тогда будет свободно покупать подушечки, не придется просить денег у отца».

Освещенные утренним солнцем, блестели в витринах ювелирного магазина подержанные никелированные будильники, золотые браслеты, потемневшие серебряные подстаканники. Показалось за углом самое лучшее в нашем городе кафе-кондитерская Шипулинского.

За его высокими чистыми витринами были видны белые мраморные столики, а на дверях висел тяжелый замок. Шипулинский еще не пришел.

Вверху на ратуше послышался бой часов. Стрелки показывали ровно девять. Галя, наверное, уже проснулась. Надо торопиться! Я поддал ходу и свернул в узенький проулочек, сжатый с обеих сторон высокими трехэтажными домами. Окошечки в них маленькие, без форточек, старинные дома стоят очень близко

друг к другу. На одном из домов виднеется старинный герб — лебедь с выгнутой шеей, а под ним римскими цифрами обозначен год, по-видимому очень давний.

Пройдя тенистым, узким и очень грязным проулочком, я вышел на Колокольную. Здесь было чище, хотя в одном месте на круглых булыжниках валялся навоз и кое-где камни проросли бурьяном. Выискивая ячмень, бродили по мостовой куры. Тянулось вдоль дороги высокое здание бывшего воинского присутствия с церковными куполами в глубине двора, за ним начиналась деревянная ограда Старого бульвара. Я толкнул ведущую на бульвар маленькую скрипучую калиточку и только прошел несколько шагов, как у поворота большой аллеи встретился с Галей.

Я думал, что застану ее дома, и был удивлен встречей с ней. Я чувствовал себя виноватым перед Галей и не знал, что лучше — пропустить ли ее, а потом окликнуть сзади, или сразу броситься ей навстречу.

Галя шла быстро, в руке у нее была кругленькая плетеная корзиночка, покрытая сверху кусочком марли.

— Здравствуй! — сказала Галя очень холодно и, кивнув мне головой, быстро пошла дальше.

Я крикнул вдогонку:

— Галя!

Она остановилась. Высокая, румяная, в простеньком голубом сарафанчике, она стояла посреди аллеи и удивленно смотрела на меня. Темные ее волосы были зачесаны назад, и розовые маленькие уши были открыты.

— Куда бежишь? — спросил я.

— Да так, в одно место!

— А куда — в одно место?

— Какой ты любопытный! С чего бы это? Ну, если тебе интересно,— к папе. Завтрак ему несу! — И Галя махнула корзинкой.

Помолчали. Галя смотрела в сторону, на речку, что протекала внизу под обрывом. Потом, не глядя на меня и делая вид, что я ей совершенно безразличен, Галя спросила:

— А ты... куда?

— Я... к тебе.

— Ко мне?

— Ну конечно. А чего ты удивляешься?

— Вот никогда бы не подумала.

— Почему?

— Но я ж тебя просила прийти — ты не пришел.

— Галя, честное слово, я не виноват. Ну, давай пойдем туда к скале, я тебе все расскажу.

— Что расскажешь?

— Все как есть. Это Петька виноват. Давай сядем.

— Нет, садиться я не буду. Мне некогда. Вот если хочешь, проводи меня. Скоро на заводе обед, а папа голодный останется...

Мы пошли рядом. Когда я рассказал Гале, как обманул ее и меня Петька, она протянула:

— Вот жулик толстый, смотри ты! А я думала — ты на меня сердишься за что-нибудь. Не приходит, не приходит! Дай, думаю, напишу записку. Послала — тоже не приходит. А встретились — даже не разговаривает. Важный такой. Ну, думаю, и не надо.

— Скучно тебе было? — криво усмехаясь, сказал я.— Вот не поверю. Ты же с Котькой ходила!

— Ну, то когда было,— безразлично протянула Галя,— когда ты на Подзамче ушел. Мы с Котькой на качелях катались, комическую картину смотрели в иллюзионе, а когда совсем стемнело, сюда зашли.— И Галя спокойно кивнула головой на кондитерскую Шипулинского.

— К Шипулинскому? — переспросил я и даже поперхнулся от волнения.

— Ага. Если бы ты знал, какие мы ели миндальные пирожные, а потом мороженое фисташковое.

— Ну, подумаешь! Я каждое воскресенье захожу сюда с нашими хлопцами.

— Правда? — поверила Галя.— Смотри ты! А меня на улице в тот раз мороженым угощал. Зашли бы лучше сюда.

— Ну и зайдем. Конечно, зайдем.

«Вот дурак, нахвастался! — тотчас выругал я себя.— Как же я поведу Галю в кафе, когда у меня денег нет!»

А Галя, словно угадывая мои мысли, спросила:

— А откуда у тебя деньги, Васька? Ты же не работаешь?

— У меня больше денег, чем у твоего Котьки. Я насобирал себе денег.

— Ну, положим,— протянула Галя.— И совсем не больше. Котька знаешь сколько у медника получает? А ну угадай. Ни за что не угадаешь! На десять рублей меньше, чем мой папа на заводе получает. Тридцать пять рублей в месяц Котька получает, вот.

— Ну, то он тебе нахвастался!

— Чего нахвастался? Да Захаржевский сам моему папе рассказывал, сколько он денег Котьке платит.

— Еще бы не платить! — сказал я.— Захаржевский жулик! Он частник! Он в своей мастерской людей как хочет обмахоривает, оттого и Котьке много платит. Чтобы молчал.

— Ну, этого я не знаю,— ответила Галя.

Разговор оборвался.

Я шел и думал о Котьке. Котька все больше и больше становился у меня поперек дороги.

Чем ближе мы подходили к Больничной площади, тем громче доносился оттуда частый треск заводского двигателя. Вскоре мы увидели красные кирпичные стены заводского здания и пошли к нему напрямик через площадь, поросшую густым подорожником. На одной стороне площади, в глубине тенистого двора, усаженного высокими тополями и старыми липами, виднелось длинное, растянувшееся на целый квартал здание бывшей земской больницы.

Завод «Мотор» стоял напротив, через площадь. Почему его так назвали, трудно сказать. Моторов завод не собирал, а делали на нем только маленькие соломорезки да изредка ремонтировали тяжелые вальцы для соседних мельниц. Рядом с заводом высился желтый трехэтажный дом — заводская контора. Сюда приходили крестьяне, платили деньги и увозили к себе домой крашенные зеленой краской соломорезки с круглыми чугунными маховиками на боку.

Завод в нашем городе был самым большим предприятием: на нем работало сто десять рабочих, по утрам заводской гудок ревел так громко, что его было слышно и на Заречье, и даже у нас — в совпартшколе.

Узенькая железная труба с острым колпачком, притянутая к земле четырьмя тросами, дымилась над заводом. Когда мы подошли совсем близко, запахло курным углем.

— Ты... очень торопишься? — спросила меня Галя, останавливаясь.

— Нет, а что?

— Подожди меня. Хочешь? Я снесу папе завтрак — и назад.

— Только быстренько. Раз-два!

— Я недолго! — крикнула Галя и убежала.

От ветра ее голубой сарафан надулся, обнажив длинные загорелые ноги. Галя бежала легко, поправляя на бегу свободной рукой волосы. Когда она скрылась за воротами, я подошел к заводу и стал прогуливаться по тротуару.

Завод стоял на крепком кирпичном фундаменте. Сквозь разбитые стекла его чугунных переплетов доносился скрип станков. Кто-то крикнул. Тяжело ухнули кувалдой.

Хорошо, должно быть, работать там, внутри завода, у станка и растачивать острыми резцами твердое железо! А потом, когда наступит обед, сидеть на солнышке на заводском дворе, посреди старых поржавевших маховиков, обломков железа и есть из платочка свежий хлеб с краковской колбасой. Солнце греет вовсю, птицы поют на деревьях в соседнем больничном саду, а ты знай себе сидишь да не спеша пожевываешь колбасу. Времени на обед дается на заводе много — целый час, словно на большую перемену в трудшколе.

А как, должно быть, приятно, когда тебя спросят, кто ты, ответить: рабочий! Да еще добавить погодя: работаю на заводе «Мотор»! Это очень много значит — работать на заводе «Мотор», быть металлистом. В нашем маленьком городе есть рабочие — типографщики, железнодорожники, мукомолы, деревообделочники, но никого так не уважают, как металлистов. Про них все говорят: это чистокровные пролетарии, это настоящий рабочий класс!

В большие революционные праздники, когда колонны жителей города маршируют перед сосновой трибуной по бывшей Губернаторской площади, сразу же за главным оркестром идет завод «Мотор». Идут литейщики, слесари, кузнецы в кожаных фуражках, в синих спецовках. Знамя завода, тяжелое, бархатное, обшитое золоченой бахромой,— самое красивое в городе. На этом красном бархате масляными красками нарисован в кожаном фартуке рослый рабочий, выпускающий из высокой вагранки струю расплавленного металла.

Знамя для завода было сделано не в нашем городе, как знамена других профсоюзов. Бархатное знамя металлистов заказывали в Киеве, и делали его там лучшие мастера. Это тяжелое бархатное знамя обычно несет самый сильный из металлистов-литейщиков, Козакевич, любитель французской борьбы и очень веселый парень. Недавно, когда трудящиеся города в годовщину захвата румынскими боярами Бессарабии демонстрировали перед исполкомом, требуя вернуть Бессарабию, было пасмурно и ветрено. Ветер рвал изо всей силы бархатное полотнище знамени, древко гнулось, но Жора Козакевич шел впереди колонны с высоко поднятой головой и не выпустил знамени из своих загорелых мускулистых рук.

Да что там говорить! Рабочим-металлистом очень почетно быть. Жаль, что мне нельзя сейчас попытаться поступить на завод. Надо окончить рабфак и потом...

Я подошел вплотную к задымленной выхлопной трубе. Она торчала прямо из стены — черная, немного загнутая вниз. Камни на тротуаре под трубой закоптились, стали скользкими от нефтяного нагара и блестели. Из трубы вылетал голубоватый прозрачный дымок.

А ну, интересно — горячо или нет? Я осторожно провел под трубой рукою. Ладонь мою сразу обдало тугим и теплым дыханием двигателя. Потрогал и трубу — теплая.

А что, если закрыть трубу совсем, остановится двигатель или нет? Но только я поднес ладонь к черному и скользкому отверстию, как ее сильной струей теплого воздуха сразу же отбросило вниз. Тогда я подложил обе ладони вместе, но и они были отброшены вниз сильной струей газа.

Скоро ладони покрылись маслянистым глянцем и пахли, как труба, перегорелой нефтью, заводом, станками. «Должно быть, так пахнут все металлисты»,— подумал я, и мне стало не по себе, что я — лодырь — шатаюсь по улицам днем, когда все работают, а самое главное — неуютно стало на душе оттого, что мне предстояло гулять еще долго, до самой осени, до того времени, когда начнутся занятия на рабфаке.

— Василь! — послышалось издали.— Пошли!

Я обернулся. Помахивая пустой корзиночкой, Галя ждала меня у ворот.

Мы погуляли с Галей еще немного на бульваре, покатались там на качелях; когда я понял, что Галя перестала на меня сердиться, я проводил ее домой и, веселый, пошел купаться к водопаду.

Но вот ближе к ночи, когда зажглись все шесть окон курсантского клуба в здании совпартшколы, мне сделалось очень тоскливо. Не заходя к родным, я вышел из кухни и сел на ступеньках каменного крыльца.

Большой жук пролетел над ветками явора и сразу же круто взвился вверх. В красном флигеле напротив, где жил начсостав школы, было ярко освещено одно окно. Из этого окна доносились звуки балалайки. Там жили Картамышев и Бойко. Видно, это кто-нибудь из них играл сейчас на балалайке.

На кухне мыли посуду после курсантского ужина. Слышно было, как постукивают в чанах с горячей водой алюминиевые ложки, миски, большие кастрюли из-под соусов.

Я вспомнил о сегодняшнем обещании повести Галю в кондитерскую к Шипулинскому. Уже после полудня, когда, нагулявшись вдоволь по дорожкам бульвара, мы расставались, Галя лукаво посмотрела на меня и спросила:

— Скоро будем есть пирожные, да?

— Ну конечно! — сказал я басом и поспешил поскорее уйти. Теперь нельзя было показаться на глаза Гале, пока у меня не будет денег, иначе она подумает, что я лгун и обманщик вроде Петьки Маремухи. Но где взять денег? Одолжить у Петьки? Не даст! Да и нет у него столько денег — копеек двадцать, может, наберется. Жаль, что я выменял у Петьки на его пистолет своих голубей. Для чего он мне, этот зауэр? А голубей можно было снести на птичий базар и продать.

Что же еще можно продать из моих вещей? Я стал перебирать в уме свое имущество: клещи, молоток, снарядные капсюли, альбом для марок. Все это для продажи никак не годилось. На кухне сильнее загромыхали посудой. Я представил себе, как старший повар обливает кипятком из медного бака засаленные миски и ложки.

«Ложки... ложки... ложки...» Несколько раз я тихо, про себя, повторил это слово.

В маленькой плетеной корзинке у тетки Марьи Афанасьевны лежали завернутые в бумагу полдюжины серебряных ложек. Не раз, вытаскивая их оттуда, тетка говорила:

— Это приданое тебе, Василь. Будешь жениться — подарю тебе на хозяйство ложки.

Почему я не могу взять ложки сейчас, раз они для меня приготовлены? Ну, хоть не все, а половину, скажем?

«Но ведь это будет кража»,— подумал я и оглянулся так, словно кто-то мог подслушать мои мысли. Но вокруг никого не было.

«Это когда чужой у чужого ворует, тогда кража,— подумал я,— а я свой, и ложки для меня приготовлены. Нужно мне беречь их для приданого,— разве я буржуй?»

И в этот теплый летний вечер, сидя на каменном крыльце флигеля, я твердо решил забрать у тетки половину ее ложек.

У ЮВЕЛИРА

За витриной у деревянного столика сидел седой старый ювелир. Несколько раз, сжимая в кармане рукой, чтобы не звенели, три серебряные ложки, я проходил мимо ювелира и все не решался войти.

Возле ювелира были люди. Двое. Они разговаривали с ювелиром, а он, не вставая, искоса глядел на них.

— Ну, уходите побыстрее, черти! Побыстрее, ну!..— шептал я, злясь на этих разговорчивых людей.

Возвращаться еще раз к ювелиру мне не хотелось, и я перешел на другую сторону улицы и остановился около витрины магазина Аронсона. Рассыпанные на блюде, лежали за пыльным стеклом наполовину растаявшие под солнцем конфеты-подушечки. По блюду ползали мухи; шевелили крылышками, нежно прикасались к сладкой конфетной жиже тонкими носиками. Я поглядывал в сторону ювелирного магазина. Наконец стукнула дверь, и на улицу вышли двое людей. Один, низенький, в синей толстовке до коленей, держал на ладони белые часы. Выйдя на тротуар, он глянул на них, весело сплюнул и передал часы другому человеку, высокому и плешивому, в черных роговых очках. Плешивый пожал плечами и, сунув часы в карман, пошел в другую сторону, а человек в синей толстовке, легко подпрыгивая, быстро побежал вниз, к мосту. Видно, плешивый хотел обжулить этого низенького в толстовке, но ничего у него не вышло.

Я перешел дорогу и, набравшись храбрости, толкнул дверь магазина.

Тикали в углу большие стенные часы. Пахло кислотой. За деревянным барьерчиком, прижатый к стене, стоял тяжелый несгораемый шкаф.

Седой ювелир сидел сгорбившись и разглядывал в лупу круглую браслетку с темно-зеленым камнем. Когда я подошел к деревянному барьерчику, ювелир поднял голову и глянул на меня.

— Вы... покупаете серебро? — спросил я тихо.

Ювелир вынул из глаза трубку с лупой, положил ее на стол и сказал:

— Ну, допустим, покупаю... А что?

— Вот, хочу продать...— сказал я и, чуть не разорвав карман, вытащил оттуда ложки. Я положил их рядышком на деревянный барьерчик.

Ювелир быстро сгреб их к себе и стал просматривать на каждой пробу. Потом, глядя мне в лицо, он спросил подозрительно:

— Чьи ложки? Небось ворованные?

— Мои,— ответил я совсем тихо, чувствуя, как лицо заливает кровь. И добавил: — Мне мама велела их продать. Она больна.

— Мама велела? — переспросил ювелир.— Значит, ложки не твои, а мамины?

Я кивнул головой.

— Где вы живете?

— На Заречье,— соврал я.

— Адрес?

— В Старой усадьбе... Возле церкви.

— Над скалой?

— Ага...

— Твоя фамилия?

— Маремуха! — выпалил я и съежился, думая, что ювелир сейчас же схватит меня за шиворот и позовет милиционера.

Но старик, записав фамилию на крышке папиросного коробка, спросил сухо:

— Сколько?

— А сколько дадите?

— Твой товар — твоя цена! — строго сказал ювелир и поглядел в окно.

Я понатужился и сказал как можно тверже:

— Шесть рублей!

— Много! — ответил ювелир, вставая.— Четыре!

— Ну давайте четыре!

Ювелир, не глядя, открыл ящик стола, вынул оттуда желтый кожаный бумажник и, отсчитав деньги, положил их на барьерчик. Я схватил эти четыре мятые бумажки и, сжав их в кулаке, выбежал на улицу.

Я шел домой мимо поросших зеленью палисадников опустив голову, стараясь не глядеть в лицо случайным прохожим.

Было жарко.

Лицо горело от стыда.

Лишь за один квартал до совпартшколы я, разжав кулак и расправив смятые влажные бумажки, сунул их в карман.

— Василь! Подожди! — закричал кто-то издали.

Я обернулся. Снизу по Житомирской бежал Маремуха. Он приблизился, и я увидел, что лоб его блестит от пота.

— Фу, заморился! — сказал Петька, пожимая мне руку.— Целое утро полол кукурузу, аж четыре грядки выполол, а теперь тато пустил меня погулять... Где ты пропадаешь, Васька, почему не заходишь?

— Да времени не было!

— Кто стрелял, ты знаешь?

— А откуда я знаю кто? Может, жулики с Подзамче в сад залезли за крыжовником.

— Ну ты брось! — важно сказал Маремуха.— Какой дурак ночью за крыжовником полезет? Разве его ночью нарвешь? Яблоки — это другое дело.

Я промолчал и ничего не ответил Петьке. Проклятые ложки не давали мне покоя. А вдруг тетка уже заметила пропажу и станет допытываться о них при Петьке? Идти вдвоем к нам во флигель мне не хотелось.

— Пойдем к тебе в сад, Василь? — попросил Петька. Видимо, ему хотелось отведать крыжовника.

— Давай лучше в другое время. Там Корыбко теперь шатается. Сходим лучше выкупаемся.

— А куда?

— В Райскую брамку.

— Это далеко! — заныл Маремуха.— Жарко сейчас.

— Ничего, пойдем через кладбище. Там холодок! — решил я и двинулся возле ограды совпартшколы по направлению к Райской брамке.

Петька Маремуха нехотя поплелся за мной.

Купание немного развеселило меня, и я совсем забыл о деньгах, которые лежали в кармане. Только расставшись с Петькой и подходя к нашему флигелю, я снова вспомнил о ложках, и мне стало не по себе: «Лишь бы не заметили! Лишь бы не заметили!» — думал я, проходя полутемным коридором в квартиру родных.

За дверью послышался голос тетки.

Я вошел в комнату и увидел за столом отца. Он обедал, а тетка доставала с полки пустую кастрюлю.

Я безо всякой охоты сел за стол напротив отца.

— Мне сегодня нагоняй за тебя был, — сказал отец.

— Какой нагоняй? — спросил я, насторожившись.

— Полевой все меня расспрашивал о тебе.

— Полевой?

— Ну да. Ты ему, видно, понравился. Все интересовался: где, говорит, учился, куда думает дальше? Я ему рассказал все, а он тогда: «Что ж, пора, говорит, парню в комсомол вступать. Ты, говорит, Манджура, коммунист, передовой человек, а парень у тебя баклуши бьет. Пусть, говорит, посещает нашу комсомольскую ячейку... Нагрузочку ему дадим». Понятно?

Тетка подвинула ко мне тарелку супа с клецками.

— Понятно, Василь? — переспросил отец.

Мне было очень стыдно в эту минуту. Зачем я забрал эти ложки? Отец еще не знал об их пропаже, но ведь каждую минуту он мог узнать о ней.

Я не выдержал его взгляда и, опустив глаза, помешивая ложкой горячий суп, чуть слышно сказал:

— Понятно!

ДОЖДЬ ПРОШЕЛ

Вот уже много месяцев я не мог спокойно видеть тех ребят, которые носили на груди темно-красные кимовские значки. Как завидовал я им!

Не раз, когда комсомольцы ячейки печатников строем проходили из Старого города в свой клуб на Житомирской, я останавливался и подолгу смотрел им вслед.

Я мечтал: поступлю осенью на рабфак, буду посещать комсомольскую ячейку, а погодя и заявление подам. Мне и в голову не приходило, что я смогу вступить в комсомол здесь же, в совпартшколе. Думал: я для курсантов чужой, простой квартирант, а вот сейчас оказалось — совсем нет.

«Надо поговорить с Полевым о комсомоле самому!» — решил я. Но, как на грех, Полевой пропал неизвестно куда. Целый вечер бродил я по двору, посидел на скамеечке возле турника, покрутился возле часового, долго прохаживался вблизи курсантской кухни — мимо пробегали курсанты, сотрудники, но Полевого среди них не было.

Можно, конечно, было спросить у любого, где он, но я стеснялся — вернее, мне не хотелось, чтобы Полевой узнал, что я его разыскиваю. Хотелось встретить его случайно и тогда поговорить с ним.

На следующий день после полудня пошел дождь. Утром небо было чистое, солнце светило ярко, казалось — весь день будет хорошая погода, как вдруг неожиданно поползли с запада тучи, и не успел я, возвращаясь от Петьки Маремухи, пройти два квартала, как сразу подул сильный ветер, завихрилась по улице пыль, и прохожие стали быстро прятаться под воротами. Побежал и я. Ветер засыпал глаза пылью, волосы растрепались. Я мчался что было сил посредине мостовой навстречу ветру и поеживался в ожидании первого удара грома. Тучи на небе сдвигались все плотнее, они кружились над городом, наталкивались одна на другую, низкие, синеватые, густые. На глазах темнело. Казалось, не полдень сейчас, а сумерки.

Мелькнул вдали за кустами зеленый забор совпартшколы, и тут первые тяжелые капли дождя посыпались на пыльную, прогретую солнцем землю. Жалобно закаркали вороны на деревьях. Мигом, точно испугавшись первых капель дождя, утих ветер, и грязный лоскут бумаги, накружившись вдоволь, бессильно упал на землю.

И только я вбежал на двор, миновав часового в будке, дождь хлынул изо всей силы. Пока я добежал до флигеля, земля уже стала черной и мокрой, трава и кусты заблестели. Слышно было, как барабанит дождь по жестяной крыше. В кухне я стащил мокрую рубашку и посмотрел в окно. По стеклам сбегали струйки воды, дождь бил косяком, окно сразу заслезилось, и почти совсем нельзя было рассмотреть, что делается на дворе.

Я открыл окно, шумно стало в кухне, где-то за крепостью резко ударил гром и сразу же затих, прибитый потоками дождя. Белое здание совпартшколы сквозь дождь казалось пустынным, нежилым; окна его блестели и сливались со стенами, как при закате. Я лег животом на холодный подоконник и высунулся наружу. По волосам и по шее стал бить меня дождь. Это очень приятно — лежать голым животом на гладком холодном подоконнике, подставив затылок свежему густому дождю. Рядом, из водосточной трубы, повисшей на углу дома, прямо в ржавый круглый котел с железными ушками хлестала вода. Она лилась в котел струей, мелькали в ней смытые с крыши листья. Котел уже наполнился водой до краев, вода лилась через верх на песчаную землю, растекалась озером. Откуда ни возьмись, крякая и переваливаясь, к водосточной трубе подошли две жирные утки. Одна из них, задрав шею и раскрывая желтый клюв, стала ловить воду, лившуюся из котла, но ей скоро наскучило это, и она, крякнув, захлопала мокрыми, вымытыми дождем белыми крыльями и, мотая головой, поковыляла за своей подругой к воротам.

В эту минуту сквозь шум дождя я услышал громыхание колес. С улицы во двор быстро въехали одна за другой две высокие военные подводы. Укрытые мешками, брезентом, сидели на них люди. Подводы повернули влево и скрылись под аркой на заднем дворе.

Дождь прошел быстро, как и всякий летний дождь. Тихо стало на дворе, мигом посветлело, тучи, потихоньку расползаясь, открывали солнце, и яркая разноцветная радуга поднялась над садом, опираясь одним краем на мокрую жестяную крышу совпартшколы. Разве можно оставаться дома, когда на дворе светит радуга? Я скинул сандалии, натянул сухую рубаху и, подвернув влажные штаны, выбежал на крыльцо. И сразу же остановился.

Внизу, около водосточной трубы, фыркая, мылся Полевой. Он стоял, согнувшись над чугунным котлом, и, зачерпывая широкой ладонью ржавую дождевую воду, обливался ею. Он быстро плескал воду то себе на грудь, то на спину, то, нагибаясь, совсем касался воды головой. Рядом на камешке лежал маленький серый обмылок. Вода в луже под котлом была мутная, беловатая — видно, Полевой уже намылился и сейчас смывал пену. Он стоял у котла в одних трусах, и его большие крепкие ноги до щиколоток были забрызганы грязью. Рядом на ветке сирени висела его одежда. Я спустился вниз. Полевой мылся, громко фыркая, и не слышал моих шагов.

Как окликнуть его? Сказать: «Дядя Полевой»? Нет, ни в коем случае! «Дядя» говорят только мальчишки, а я уже большой. Потоптавшись на месте на сырой земле за спиной Полевого, я кашлянул и сразу же сказал:

— Здравствуйте, товарищ Полевой!

Он быстро обернулся. По носу его пробежала струйка воды. Мокрые темные волосы падали на загорелый лоб и доставали почти до бровей.

— Здравствуйте, молодой человек! — сказал Полевой.— Ты не гнать ли меня пришел?

— Как — гнать?

— Ну, отсюда. За то, что я воду вам перевожу. Котел-то ваш небось?

— Нет, казенный.

— Ну, тогда ничего. А то я, видишь, запылился дорогой. Приехал, смотрю — дождь кончается. Дай, думаю, кстати помоюсь. Очень я люблю дождевой водой мыться. Это, брат, лучше всякой бани, дождевая вода.

— А вы где были, товарищ Полевой?

— Бандитов ловили,— коротко ответил Полевой, зачесывая пятерней волосы назад.— И вот пришлось мне на мельнице в засаде посидеть. Целых пять часов. А знаешь, какая на мельнице пыль? Задохнуться можно. Особенно на чердаке.

— Поймали бандитов?

— Было дело под Полтавой! — усмехнулся Полевой.

Сейчас мне стало понятно, где он пропадал столько времени. Как я не мог раньше догадаться? Ведь еще сегодня утром отец рассказывал, что из города на ликвидацию банды Мамалыги, перешедшей из Галиции, выступил большой чоновский отряд. Значит, и Полевой был в этом отряде. Я смотрел теперь на него с восхищением и завистью.

Когда Полевой оделся и, надвинув на мокрые волосы выцветшую буденовку, собрался уходить, я спросил осторожно:

— Скажите, это правда, что я могу посещать комсомол?

— Конечно, правда! — сказал улыбаясь Полевой.— Я говорил Мирону.

— А когда?

— Когда? Что у нас сегодня? Четверг? Ну да, четверг. Значит, собрание завтра. Ну вот и приходи в пять часов в клуб.

Я пришел в клуб не в пять, а в половине пятого. Клуб помещался на втором этаже, в бывшей церкви. Еще до сих пор кое-где у самого потолка выглядывали из-под лозунгов темные лики святых, и стена соединялась с потолком не отвесно, как в обычных комнатах, а полукругом. В этом большом клубе перед сценой стояли рядами черные парты, а на занавесе была нарисована фигура обнаженного по пояс рабочего, который молотом разбивал цепи на земном шаре. В левом углу, под самой сценой, стоял рояль. На скамеечке у рояля сидел курсант Марущак, тот самый, что был центрфорвардом в футбольной команде. Когда я вошел, Марущак сидел задумавшись, но только я подошел к партам, как он, точно встречая меня, заиграл на этом разбитом рояле «собачий вальс». Я подошел к роялю и сел рядом за парту. Марущак покосился на меня и продолжал играть. Он слегка покачивался в разные стороны, махал головой, закрывал иногда глаза — видимо, ему очень нравилось играть на рояле. Иногда он подымал обе руки высоко над клавишами и потом, точно рассердившись, сразу бросал их вниз. Рояль гремел так, что казалось, струны полопаются. Когда ему наскучил «собачий вальс», он заиграл «Мама, купи ты мне дачу». Эта штука получалась у него лучше, тише и яснее. Здорово получалась!

В зале стали собираться курсанты. Постукивая крышками парт, они рассаживались.

В одном углу зала пели:

Все пушки, пушки грохотали,
Трещал наш пулемет,
Бандиты отступали,
Мы двигались вперед...

Я тихонько встал и, отойдя, уселся позади всех, на последней парте. Я чувствовал себя не очень хорошо: вокруг были все незнакомые люди, а Полевой еще не приходил.

Раскрыли занавес. В полутьме сцены, покрытый красным ситцем, стоял маленький столик с графином воды.

Марущак, как только открыли занавес, гулко захлопнул крышку рояля и надел фуражку. Почти все курсанты носили здесь, в совпартшколе, голубые летние буденовки, а вот Марущак никак не мог расстаться со своей щеголеватой фуражкой. Видно, она сохранилась у него еще со времени гражданской войны, эта нарядная фуражка с малиновым верхом, желтым околышем и маленьким вогнутым лакированным козырьком. Раньше такие фуражки носили конники-котовцы, те, что выгнали из нашего города Петлюру. Даже сам Котовский, рослый, плечистый командир конного корпуса, приезжал однажды к нам в город на парад в такой фуражке, как у Марущака.

Собрание началось. Как выбрали председателя и секретаря, я не расслышал; ускользнуло от меня и то, как председатель, совсем молодой курсант в синих широченных бриджах и бархатной толстовке, объявил повестку дня. И сразу же из зала на сцену по скрипучей деревянной лесенке поднялся Марущак. Он стал делать доклад о том, как живет подшефная сотня червонного казачества. Оказы-

вается, Марущак недавно ездил в эту сотню, отвозил туда комсомольские подарки.

Говорил Марущак медленно, часто запинался — видно, ему трудно было выступать на собрании. Иногда, подолгу подыскивая нужное слово, он сердито махал рукой, точно рубил. Кончил Марущак доклад как-то сразу. Все думали: он будет говорить еще, и сидели молча, а он улыбнулся и сказал:

— Ну вот и все. Чего ж больше?

Ему задали несколько вопросов. Ответил он на вопросы быстро и коротко.

Молодой парень в синих бриджах позвонил в колокольчик и предложил прений не открывать, а информацию товарища Марущака принять к сведению и руководству.

Постукивая тяжелыми подкованными сапогами, Марущак спустился со сцены и сел рядом со мной. Наверное, он волновался, когда делал доклад, потому что лоб его покрылся испариной. Глядя на сцену, он на ощупь достал из кармана платок и стал утирать им лицо. Я искоса следил за Марущаком и не слушал, что делается на сцене. Мне было приятно, что Марущак уселся рядом со мной на одной парте, и я даже решил спросить: правду ли говорят, что он был у Котовского, или мне набрехали? Но в эту минуту Марущак поймал на себе мой взгляд и внимательно посмотрел на меня. Я сразу отвернулся и стал разглядывать портреты, висевшие на стене. Парта покачнулась, стукнула ее крышка, я почувствовал, что Марущак подымается, и услышал его голос.

— Минуточку, товарищ председатель! — громко, на весь зал, сказал Марущак.— По-моему, здесь не все комсомольцы.

Шорох пронесся по залу, затем наступило молчание. Все курсанты повернулись к нашей парте.

Председатель зазвонил в колокольчик и спросил:

— Откуда они взялись, товарищ Марущак? Я уже объявил после доклада, что собрание закрытое. Посторонние ушли.

— А вот, по-моему, этот паренек не комсомолец,— громко сказал Марущак и, трогая меня за локоть, спросил: — Комсомольский билет у тебя есть?

— Товарищ, вы комсомолец? — крикнул со сцены через весь зал председатель.

— Нет,— ответил я тихо.

— Не комсомолец! Не комсомолец! — передали на сцену сидевшие рядом курсанты.

— Тогда освободи, пожалуйста, помещение,— сказал председатель.— Сейчас собрание закрытое.

Еще как следует не понимая всего, что произошло, я поднялся и медленно пошел к выходу. Я чувствовал, что курсанты смотрят мне вслед,— собрание остановилось только из-за меня: все ждали, пока я выйду.

«Выгнали! Выгнали! — думал я, шаркая сандалиями по гладкому полу. К лицу приливала кровь.— Зачем я пришел сюда? Так оскандалиться! Теперь все курсанты будут тыкать в меня пальцами и шептать друг другу: «Это тот, кого попросили с закрытого комсомольского собрания!»

Самое обидное — они, верно, думают, что я нарочно подслушивать остался, а ведь я просто не расслышал, как председатель объявил, что собрание закрытое.

А Марущак тоже хорош: не мог просто шепнуть мне на ухо, чтобы я вышел,— так нет, опозорил меня перед всем собранием.

Только я вышел на улицу, как увидел Полевого. Он быстро шел по тротуару. Еще издали Полевой спросил:

— Началось собрание?

Я молча кивнул головой.

— Вот беда, поди ты, а меня задержали в укоме! — сказал, как бы извиняясь, Полевой и, подойдя, спросил: — А ты куда? Пошли на собрание!

Лучше бы он этого не говорил! Я еще острее почувствовал обиду и, сдерживая подступившие слезы, молча махнул рукой и быстро пошел вниз.

КАФЕ ШИПУЛИНСКОГО

У самого въезда на Новый мост, под каменным барьерчиком, сидела на скамеечке торговка. Голова ее была повязана черным шерстяным платком. На камнях стояла доверху насыпанная семечками корзина.

— Два стакана! — сказал я и с болью в сердце подал торговке бумажный рубль.

Сперва она отсчитала сдачу. Я спрятал медяки и оттянул карман штанов. Торговка всыпала туда один за другим два стаканчика пахучих семечек.

Щелкая их и выплевывая шелуху через перила, я медленно пошел по деревянному тротуару моста. Шелуха летела вниз долго. Вот она коснулась воды и чуть заметной белой точечкой поплыла вниз по течению. Маленькие, крытые гонтом домики стояли под скалами у зеленых берегов реки и были похожи на спичечные коробочки, брошенные сверху.

Очень длинным показался сегодня мост; поскрипывали под ногами его стертые доски, и, когда я увидел в щель между ними блеснувшую далеко внизу реку, еще беспокойнее стало на душе. Так было радостно мне, когда я узнал, что Полевой сочувственно относится к моему желанию вступить в комсомол, и так стало неприятно после того, как меня выдворили с собрания...

А может, все они каким-нибудь образом узнали, что я забрал ложки, и просто выдумали предлог, чтобы прогнать меня с собрания?

Зачем я продал ложки? Теперь этот грех будет мучить меня всю жизнь.

Но вскоре вкусные, хорошо прожаренные семечки немного развеселили меня, стало легче на душе, и я вспомнил о Гале. Я обещал быть у нее вчера, но не пришел. Надо пойти к ней сейчас, позвать ее в город!

...А уже через час мы вдвоем сидели в открытом летнем кино на бульваре и смотрели интересную картину «Хозяин черных скал». Скамейка была высокая, со спинкой,— сидя на ней, я не мог достать земли и свободно болтал ногами. Позади, в похожей на голубятню будке, трещал аппарат, а из квадратного окошечка, прорезывая тьму, вырывался яркий луч света. По обеим сторонам площади чернели высокие деревья, и звуки рояля, который дребезжал где-то сбоку от экрана, заглушались в их густой листве. Небо над нами было звездное, темно-синее.

Галя смотрела на экран молча, только когда появлялись надписи, она быстро шепотом прочитывала их, а когда я хотел однажды подсобить ей читать, махнула рукой и цыкнула, чтобы я не мешал. Я искоса поглядывал на Галю, на стриженые ее волосы, на чуть вздернутый нос, на чистые, гладкие щеки, на маленькие розовые уши с проколами для серег и радовался, что сижу с ней рядом и билет на ее место лежит у меня в карманчике рубашки.

Мне очень хотелось, чтобы где-нибудь вблизи оказался Котька Григоренко. Вот бы, наверное, скривился, увидев нас вместе.

Уже когда пошла последняя часть и бородатый хозяин черных скал, отыскивая лодку, стал бродить по каменистому берегу моря, подул ветер и деревья вокруг на бульваре зашелестели. Верхушки их, поскрипывая, закачались в разные стороны, а белое полотно надулось, как парус, и стало очень похоже, что на море и в самом деле буря, что злые волны бьют в скалы не на экране, а где-то около нас — в шуме ветра мне даже послышался их грохот.

— Холодно! — сказала Галя, поеживаясь и прижимаясь ко мне.

Сперва я хотел отодвинуться, но потом осмелел и, просунув свою руку под Галин локоть, взял Галю под руку.

— Не надо,— шепнула Галя и выдернула руку.

Я не знал, что ответить ей, и пожалел, что не захватил с собой суконную курточку. Я смог бы отдать ее Гале.

Пианист последний раз громко ударил по клавишам, и на всех столбах сразу вспыхнули лампочки. Качаемые ветром, они бросали неровные полосы света на публику, ветки деревьев шелестели все больше, а когда мы вошли в темную аллею, ведущую вниз к мостику, этот шум листвы усилился, и похоже было, что мы идем по запущенному, безлюдному лесу.

На мосту стало совсем холодно. Ветер продувал насквозь скалистую и глубокую долину реки. Галя то и дело придерживала рукой волосы, оправляла юбку,

матросский воротник ее блузки подымался. Я держал Галю крепко под руку, чувствовал теплоту ее тела и шагал быстро, чтобы поскорее пройти этот длинный, на шести каменных быках, высокий мост, переброшенный через пропасть.

В кармане у меня шуршали еще семечки, но есть их не хотелось. И так уж язык заболел от них, шелухой я ободрал себе нёбо.

— Вот дует! — сказала Галя.— Как осенью.

— Ничего,— ответил я.— В городе будет тише, это на мосту только холодно так.

В городе, за высокими стенами домов, в узенькой улочке и впрямь стало тише. Ветер гулял сейчас вверху, над крышами, и слышно было, как попискивали там жестяные флюгера да изредка хлопали форточки.

За поворотом начиналась центральная улица — Почтовка. Из открытых дверей колбасной вырывался на тротуар яркий свет. Я ощупал еще раз в кармане деньги и, только мы поравнялись с колбасной, сказал Гале как можно более небрежно:

— Знаешь, я совсем замерз... Давай зайдем...

— Куда? — испуганно перебила меня Галя и посмотрела на витрину колбасной.

— Нет, не сюда... К Шипулинскому!

— К Шипулинскому? Не надо. В другое время как-нибудь зайдем.

— Пойдем сейчас! — взмолился я. Мне очень хотелось повести Галю к Шипулинскому не потом, не завтра, а именно в этот холодный, ветреный вечер, именно сегодня растратить все деньги.

— Ах да! Я ведь совсем забыла! — рассмеялась Галя.— Мы же тогда говорили про кондитерскую, и ты запомнил, верно? Ты думаешь, я серьезно это говорила? Вот чудак!

— Я ничего не думаю. Просто мне хочется... кофе...— сказал я обиженно.

— Уже поздно. Как я домой буду возвращаться?

— Ничего, я тебя провожу!

Галя подумала минутку, а потом сразу решилась:

— Ну хорошо, пошли.

Мы осторожно вошли в кондитерскую и сели за самый крайний столик, около витрины. Можно было, конечно, сесть поближе к буфету, но там за длинной стойкой, в шелковом розовом платье, в белом кружевном переднике, хозяйничала красивая желтоволосая пани Шипулинская. Мне не хотелось, чтобы она прислушивалась к нашему разговору.

Несколько минут мы просидели молча. Галя разглядывала картины, развешанные на стенах, а я чувствовал себя здесь не очень хорошо. Мне было страшновато заговорить с Галей громко в этой почти пустой кондитерской, залитой таким непривычным зеленоватым светом газовых ламп.

Нигде больше в городе их не было, только у Шипулинского они сохранились — газовые калильные лампы, подвешенные к потолку на золоченых цепях.

Шипулинская молча, не глядя на нас, вытирала чистой тряпкой буфет. Мне надоело ждать, и я кашлянул.

— Франек! — крикнула за перегородку Шипулинская.

Оттуда в хорошем выутюженном черном костюме выскочил розовощекий, слегка лысоватый Шипулинский. Он посмотрел в нашу сторону и тихо, но так, чтобы мы слышали, сердито сказал жене:

— Почему ты не сказала, что здесь клиенты?

— Я думала, что ты сам знаешь об этом...— ответила Шипулинская и отодвинула на край стойки высокую, на тонкой ножке вазу с фальшивыми яблоками из папье-маше.

Легко размахивая руками и подняв голову, Шипулинский не спеша подошел к нашему столику. Чуть прищурившись, он посмотрел сперва на Галю, а потом скользнул взглядом по мне, и я быстро убрал под стол ноги в запыленных сандалиях.

— Что желаете заказать, молодые люди? — спросил пан Шипулинский. Глядя на Галю, он добавил: — Что угодно барышне?

Галя покраснела и, кивая на меня, тихо сказала:

— Я не знаю... Вот...

— Дайте нам! — сказал я басом и поперхнулся.— Дайте нам кофе и потом пирожных...

— Какой кофе желают молодые люди? По-варшавски или по-венски, а может, черный...

— А все равно! — сказал я.

Но Галя поправила меня:

— Нет, черный не нужно.

— Хорошо! — согласился Шипулинский.— Я предложу вам по-варшавски. Это вкуснее. А пирожные какие?

— Мне наполеон,— сказала Галя.

— А мне все равно! — ответил я.

— Словом, я подам, а вы сами уж выберете,— решил Шипулинский и, шаркая лакированными туфлями, ушел за перегородку. И сразу зазвенел там стаканами.

Теперь я чувствовал себя легче. Кофе был заказан, пирожные тоже, сейчас надо было ждать, есть, а затем расплачиваться. Я уже согрелся здесь, в теплой кондитерской, и забыл, что на улице ветер.

— И ты смотри, как он управляется,— перегибаясь через стол, тихо шепнула мне Галя, и один локон упал ей на лоб.

— Еще бы,— ответил я.— Он не хочет брать прислугу, чтоб налог не платить.

— А разве у кого нет прислуги, тот налог не платит?

— Платит, но меньше! — сказал я совсем шепотом, потому что к нам приближался с блестящим подносом в руках Шипулинский.

Кофе он принес в серебряных подстаканниках, сверху в каждом стакане плавали взбитые, слегка похожие на растопленное мороженое сливки, а на блюдечках лежали маленькие золоченые ложечки с кручеными ручками.

Галя взяла ложечку и окунула ее в стакан.

Шипулинский прошел еще раз за перегородку и быстро вернулся обратно.

«Зачем столько?» — чуть не закричал я.

Шипулинский принес и поставил на стол вазу, на которой был разложен добрый десяток пирожных. Тут были и наполеоны, и эклеры, и высокие корзиночки с розовым кремом и вишенкой наверху, и плоские яблочные пирожные.

«Нам не надо столько пирожных! Нам только два надо! Только два! У нас не хватит денег расплатиться за все!» — хотелось крикнуть мне, но я ничего сказать вслух не мог, а проклятый Шипулинский, словно чуя, что ему могут вернуть пирожные, быстро, щелкнув каблуками, ушел за перегородку.

Совсем расстроенный, я ощупывал в кармане деньги и не знал, что делать. Я пожалел, что мы пришли сюда, я с удовольствием вернул бы обратно и кофе и пирожные, лишь бы только убраться без скандала. Ведь если у меня не хватит денег, Шипулинский не выпустит меня отсюда и потребует залог, а что я ему оставлю в залог — рубашку, штаны, поясок? А потом — какой это позор будет перед Галей!

А Галя, не чувствуя моего волнения, сидела спокойно и маленькими глотками отпивала кофе.

— А ты чего не пьешь? Пей! — сказала она.

— Мне не хочется! — буркнул я.

— Вот тебе и раз — не хочется! А зачем мы тогда пришли сюда? Пей! — Она подвинула мне стакан кофе и спросила: — Тебе какое пирожное?

«Эх, была не была!» — подумал я, зажмурился и сказал через силу:

— Какое хочешь...

— Ну, я тебе положу заварное, оно вкусное и в середине крему много. Кушай.

Я отколупывал потихоньку ложечкой куски этого жирного пирожного и от волнения не чувствовал даже вкуса желтого крема.

— Кушай! Кушай! — поторапливала меня Галя.— Иначе мы до утра здесь сидеть будем.

Почти насильно я запихнул себе в рот кусок пирожного и только хотел запить его кофе, как почувствовал себя совсем плохо.

За витриной, на улице, упираясь обеими руками в круглый железный поручень, стоял мой отец. Коренастый, в белом полотняном костюме, в соломенной

фуражке, слегка щуря глаза, он смотрел сквозь стекло на меня в упор; мне сразу захотелось полезть под стол: взгляд отца жег меня.

Я опустил глаза, и, когда осторожно поднял их снова, отца за витриной не было.

Он появился внезапно и так же внезапно исчез в ночной темноте.

— Ты чего такой бледный, Василь? — спросила Галя.— Ты не простудился случайно?

— Да ничего. В боку кольнуло! — солгал я.

Откуда ни возьмись, возле нашего столика вырос Шипулинский.

— Молодые люди желают рассчитаться? — ласково спросил он.

— Да! — сказал я дрогнувшим голосом и, чувствуя, как по всему телу прошел холод, подумал: «Ну, начинается».

— Два стакана кофе по-варшавски и... два пирожных, — глядя на вазу, чуть слышно прошептал Шипулинский и, весело тряхнув лысеющей головой, громко сказал: — Один рубль сорок копеек.

Сразу повеселев, я быстро вынул из кармана смятый рубль, расправил его и затем высыпал на мраморный столик сорок копеек медяками. Вместе с монетами затесалось несколько семечек, но мне было стыдно убирать их, и я, нахлобучивая кепку и не оглядываясь, выскочил вслед за Галей на улицу.

Все еще дул ветер, и опять стало нам холодно на улице, но теперь я уже не обращал внимания на холод.

Как хорошо, что все окончилось благополучно!

Однако я не мог забыть появления у витрины моего отца. Мне все еще казалось, что отец подстерегает меня.

Мимо ресторана «Венеция» и финотдела, мимо развалин сгоревшего еще во время войны театра мы шли по узенькой Кузнечной улице. Показалась вдали огромная семиэтажная башня Стефана Батория. Внизу, у подножия башни, чернела дыра. Это была Ветряная брамка — проезд в Старый город с севера. Как только мы вошли в нее и скрылись под низко нависшими полукруглыми сводами, наши шаги гулко застучали по мостовой, а в ушах сильнее засвистел ветер.

— Ого-го-го! — закричал я, и эхо загудело вокруг, как в бочке.

— Тише ты, сумасшедший! — крикнула Галя.— Подумают — грабят! — И рванулась быстрее вперед, к светлому выходу из башни.

Внизу за башней было совсем пустынно, река, отражая звезды, поблескивала у самых ног, квакали на противоположном ее берегу лягушки, две наши зыбкие, расплывчатые тени быстро скользили по воде. Только миновали белую, взбегающую по скалам вверх, к трудшколе, Турецкую лестницу, вдали над рекой замаячил черный камень. Широкий и гладкий сверху, обрывистый по краям, точно сброшенный оттуда, со скалы, он повис над водой, и казалось, вот-вот покачнется и грохнется дальше, вниз. Подмывая камень, река в этом месте круто поворачивала. Выше тихая и спокойная, здесь она шумела, и даже теперь, в темноте, на ее поверхности была заметна рябь и круги от маленьких водоворотов.

Подходя к черному камню, я поежился и пожалел, что не захватил с собой из дому ржавый, но меткий зауэр. Место, которое мы сейчас проходили, было неспокойное, с дурной славой. Еще недавно здесь ограбили прохожего, и, совсем голый, он едва вырвался от бандитов и прибежал прятаться к нам в совпартшколу...

Мы прошли черный камень, круча осталась позади, теперь мы приближались к низенькому, переброшенному на козлах через реку мостику. За мостиком начиналась Выдровка, до Галиного дома было совсем недалеко. Вдруг Галя дернула меня за руку и шепнула:

— Тише! Кто это?

На мостике, облокотившись на перила, стоял человек. Он смотрел в воду и был хорошо виден нам отсюда, снизу.

— Василь,— шепнула Галя,— я боюсь. А может, это кто из банды Мамалыги? Пойдем назад.

— Куда?

— Кругом!

— Кругом?

— Ну да, через Польские фольварки.

Если сейчас до Галиного домика нам оставалось каких-нибудь пять минут ходу, то путь на Выдровку через Польские фольварки отнял бы добрый час. Надо было пройти обратно через Ветряную брамку, Почтовку, Новый мост, потом сделать крюк по темному бульвару, повернуть к Подзамецкому спуску...

Человек на мосту зашевелился, и перила моста заскрипели.

«Будь что будет!» — решил я и нагнулся. В мокрой росистой траве возле дороги я быстро отыскал тяжелый, с острым концом камень и, зажав его в руке, шепнул Гале:

— Пойдем!

— Мне не хочется, Васька! Давай лучше обратно.

— Обратно круча. Ты что — забыла?

Галя неслышно пошла за мной. Я шел по мосту тихо, стараясь не шаркать подошвами сандалий. Камень я держал за спиной.

Человек у перил сразу повернулся и ждал нас.

Галя, чтобы не оставаться позади, втиснулась между мной и перилами и своим локтем невольно выталкивала меня на середину мостика, прямо к этому неизвестному человеку. Теперь я уже старался не смотреть на него и ждал только крика «стой».

До человека оставалось каких-нибудь два шага, и тут я, отважившись, посмотрел в его сторону.

Наискосок от меня, прижавшись спиной к перилам, с карабином, опущенным дулом вниз, стоял обыкновенный милиционер.

Я сразу громко топнул ногой по доскам моста и взял Галю под руку.

«Только бы он не заметил у меня камень»,— подумал я, шагая.

— Спичек нет, ребята? — неожиданно спросил милиционер.

Было приятно услышать в этом опасном месте голос человека, который не мог сделать нам зла.

— Мы не курим,— ответил я хрипло.— А семечек не хотите?

— Семечек? — переспросил милиционер.— Если не жалко, давайте!

— Берите, товарищ,— сказал я, высыпал в теплые ладони милиционера горсть семечек и снова полез в карман.

— Хватит, хватит! — остановил меня милиционер.— И так обидел тебя. Спасибо. Веселее теперь стоять будет.

Лицо у милиционера простое, доброе.

— Спокойной ночи! — крикнул я, уходя.

— Счастливого пути! — отозвался милиционер.

— Жалко, что он не всегда здесь стоит, правда? — сказала Галя.

— Не всегда разве?

— Ну конечно. Одну ночь постоит, а потом неделю не видно.

— На села ездят, бандитов ловят — потому.

Кончились скалы, начался крепостной мост. Молча мы пошли по неровной низенькой плотине. Вода в речке спáла, и сейчас многие камни, которых днем не было видно, торчали наружу. За высоким каменным мостом, соединяющим город со Старой крепостью, глухо шумел водопад. Мы подходили к Галиному домику. В темноте за деревьями забелели его стены. Крайнее черное окно было открыто. У самой калитки Галя спросила:

— Ты рубль сорок Шипулинскому заплатил?

— Ага!

— Ну тогда вот возьми мою долю,— сказала Галя и протянула руку.

— Ты что?.. Смеешься?

— Ничего не смеюсь. Возьми. У меня есть деньги, а у тебя мало. Я же знаю.

Я совсем растерялся. Надо было показать Гале остаток денег, надо было сказать, что деньги у меня есть еще и дома, а я только промямлил:

— Не хочу!

— Ну тогда я с тобой поссорюсь!

— Если ты хочешь ссориться из-за...— начал я что-то длинное.

Но Галя, не дослушав, настойчиво сказала:

— Возьми деньги, Васька, ну, слышишь!

И с этими словами она сунула мне в карман мелочь.

Не успел я вытащить мелочь обратно, как Галя бросилась к калитке. Я пустился за Галей, но калитка захлопнулась перед самым моим носом.

— Я выброшу, Галя! Здесь же, у ворот, выброшу! — прошипел я вдогонку, стараясь не кричать громко, чтобы не разбудить Галиного отца.

— Ну и выбрось! — уже издали, из-за деревьев, ответила Галя.— Спокойной ночи!

ТРЕВОГА

Здорово хотелось есть, когда я пришел. Подергал дверь в квартиру — закрыто. Из-за плотной, обтянутой клеенкой двери донесся чуть слышный храп тетки.

Сейчас я пожалел, что живу отдельно. Не поселись я в кухне — полез бы в шкафчик и разыскал еду. Кусок хлеба с брынзой или коржик.

В кухне не было даже и корки хлеба.

Тут я вспомнил, что тетка иногда прячет съестное на холоде, в заброшенном колодце вблизи нашего флигеля. Захватил пистолет и вышел во двор.

Весь край неба за Должецким лесом был багровый. Что это? Ведь еще несколько минут тому назад небо было обычного цвета. Зарево росло на глазах, верхушки деревьев выделялись все больше и отчетливее, огненная полоска протянулась от Старой крепости до провиантских складов и угасала далеко за польским кладбищем, у Райской брамки. «Ну и горит! — подумал я.— Хат десять горит. Не в Привороτье ли случайно? Наверное, в Приворотье!»

Но в эту минуту посреди зарева стал расти, подыматься огненный столб, и над деревьями выплыла багровая круглая луна. И сразу, как только появилась она над садом, багровая полоска вдоль горизонта стала гаснуть, а луна бледнеть, бледнеть, пока не превратилась в обычную желтую луну.

Я обогнул флигель и подошел к заброшенному колодцу. Его окружало несколько чахлых слив да заросли крапивы.

Я провел рукой по каменному ободу колодца и в одном месте нащупал веревку.

«Есть рыбка!» — весело подумал я и потянул из колодца что-то тяжелое.

К веревке была привязана эмалированная кастрюля. Сбросив крышку, я увидел твердую, застывшую как лед, корку жира. А на дне под жиром небось мясо. Но как его достать? Пальцами? Нет, пальцами не стоит. Я выломал два прутика сирени и вытащил ими из супа тяжелый кусок. Попалась кость с острым краем и застывшим мозгом внутри. Славно было ужинать ночью, сидя на цементном краю колодца, в пустом, освещенном луной садике! Куда лучше, чем у Шипулинского. Жаль только, что со мной не было Гали. Интересно — то отец заглядывал в кондитерскую или мне почудилось? Ну а если даже отец — что, разве я не могу зайти со знакомой девушкой к Шипулинскому? Конечно, могу, только на какие деньги — вот вопрос. Постучав костью о камень, я выколотил из нее на ладонь холодную колбаску мозга. Когда я съел ее, весь рот покрылся липким и густым слоем жира, и мясо, которое я стал обгрызать потом, потеряло свой обычный вкус. Я ел его без всякого вкуса, как пирожное у Шипулинского. Вспомнив об отце, я уже не мог успокоиться.

Хорошо, если он просто будет подшучивать надо мной, что я уже с барышнями гуляю, в кафе их вожу. А ведь отец может спросить, откуда у меня деньги. Пропал я тогда! И зачем только мы уселись перед этой дурацкой витриной! Разве мало было свободных столиков в уголке? Никто бы там нас не увидел.

Я поднял вместе с веревкой тяжелую кастрюлю и прислонился губами прямо к ее задымленному краю. В саду у каменной ограды защелкал соловей. Его нежное и громкое пение донеслось сюда через весь тихий, молчаливый сад. Мне в горло, булькая, лился холодный, слегка отдающий запахом колодца суп, и твердые плиточки жира прикасались к губам. Я наклонил кастрюлю, чтобы отогнать жир назад, как за Старой крепостью раз за разом хлопнули три винтовочных выстрела. Я поставил кастрюлю на камень. Эхо от выстрелов прокатилось над городом. Рядом, через дорогу, в тюрьме свистнул часовой. Внезапно из того места, где прогремели выстрелы, послышалась еще и короткая пулеметная очередь.

Визгливо залаяли в ответ около провиантских складов собаки. У ворот совпартшколы завозился часовой. И сразу в здании где-то возле клуба стукнула дверь, другая, третья! Кто-то промчался по дощатому коридору к общежитию курсантов. Оттуда донесся шум, приглушенный говор.

Не успел я подбежать к флигелю и подняться на свое крыльцо, как внутри главного здания по каменной лестнице застучали сапогами и во двор по одному стали выбегать курсанты. Слышно было, как они щелкали пряжками, затягивали ремни.

Из дверей вырвался высокий курсант и, нахлобучивая буденовку, закричал:

— Получайте винтовки, товарищи коммунары!

С этими словами он подбежал к низенькой дверке оружейного склада, что чернела рядом с главным входом в здание, открыл замок и исчез в складе.

Сразу же на уровне земли тускло вспыхнули два забеленных мелом и взятых в решетки подвальных окна, остальные окна по всему зданию были темные, лишь в крайних двух у садика слегка отражалась еще низкая луна.

Один за другим выбегали курсанты из склада. Высоко держа винтовки, они щелкали затворами, загоняли патроны в магазины, оттягивали тугие предохранители.

— Связные здесь? — послышался голос Полевого.

— Здесь, товарищ секретарь,— откликнулись сразу несколько человек.

— Будите начсостав и сотрудников! Живее! — приказал Полевой.

По двору в разные стороны побежали связные. Один из них, с шумом раздвинув ветки сирени, помчался напрямик по бурьяну к нашему флигелю.

— Где печатник Манджура живет? — запыхавшись, спросил он.

Связной был низенький комсомолец в бриджах, тот, что председательствовал на собрании и попросил меня из зала.

— Сюда! — крикнул я коротко и первый побежал в коридор.

Связной чиркнул спичкой. При ее зыбком свете я показал ему дверь, ведущую к родным, и он сразу же заколотил в нее кулаком.

— Кто там? — глухо отозвался отец.

— Тревога! Быстрей! — крикнул связной.

Пока отец одевался, я стоял на крыльце.

Под белой стеной главного здания уже выстраивались курсанты. Они были хорошо видны мне отсюда, сверху, лишь правый фланг слегка заслоняли кусты сирени.

— Я с тобой, тато, можно? — шепнул я отцу, как только он показался на пороге.

— Куда со мной? Еще чего не хватало! Марш спать! — не глядя на меня, сердито крикнул отец и осторожно сбежал по ступенькам во двор.

Послышался тихий, приглушенный голос Полевого:

— Смирно! Первый взвод, за мной шагом марш!

Курсанты двинулись строем по четыре вдоль здания. Впереди без винтовки шагал Полевой. Отец пристроился на ходу, и я сразу же потерял его из виду.

Без песен, без громкой команды, поблескивая штыками винтовок, отчеканивая шаг, колонна курсантов-чоновцев вышла из ворот на улицу, и часовой сразу же закрыл за нею высокие железные ворота.

Мне стало очень одиноко здесь, на крыльце. К тетке идти не хотелось. Я знал, что теперь на все это большое здание, на весь огромный, занимающий целый квартал двор совпартшколы осталось всего несколько человек беспартийных сотрудников да жен начсостава с детьми. В городе было тихо, но тишина эта была обманчивой. Я знал, что сейчас со всех улочек города и даже с далекой станции спешат по тревоге на Кишиневскую, к штабу ЧОНа, группами и поодиночке коммунары-чоновцы.

Пересекая освещенный луной пустой двор совпартшколы, я направился к воротам.

— Стой! Кто идет? — громко закричал часовой.

Голос его показался мне знакомым.

— Свои,— ответил я тихо.

— Кто такие свои?

— Я живу здесь.

— Фамилия?
— Манджура.
— Ну проходи...
Часовой ждал меня в тени высокого вяза, и мне сперва было трудно разглядеть его в темноте; когда он вышел из-под дерева на свет, я узнал Марущака.
— Старый знакомый! — протянул Марущак улыбаясь и взял винтовку за ремень.— Почему не спишь?
— Хорошее дело! А тревога?
— Какая тревога?
— Да, какая? Вы будто не знаете?
— Первый раз слышу!
Я понимал, что Марущак меня разыгрывает, но все же спросил:
— А куда курсанты пошли?
— Кто их знает — может, в баню!
— Ночью в баню? Вы что думаете, я — дурной?
Марущак засмеялся и сказал:
— Вижу, что не дурной, а вот любопытный — это да.
Я не нашелся, что ответить, и затоптался на месте. Марущак предложил:
— Давай посидим, раз такое дело.
Мы сели на скамеечке около турника. Я незаметно поправил в кармане револьвер и спросил Марущака:
— Часовому разве можно сидеть?
— В армии нельзя, здесь разрешается,— ответил Марущак, шаря в кармане. Он вытащил кисет и, свернув папироску, чиркнул спичкой.
— Папаша тоже ушел по тревоге?
— Ага!
Марущак с досадой, попыхивая папироской, сказал:
— Вот черти, а меня не взяли. Надо же — второй раз тревога, а я в наряде.
— А то не Петлюра случайно перешел границу?
— Петлюра? Навряд ли. Вот только разве кто-нибудь из его субчиков. Нажимают на них Англия, Америка да Пилсудский, чтобы те деньги отрабатывали, которыми ихняя буржуазия подкармливает всю эту националистическую погань. Вот и лезут сюда, к нам.
Далеко за Должецким лесом прокатился выстрел. Немного погодя — другой.
— Пуляют, бандитские шкуры! — сказал Марущак.
— Когда же тех бандитов половят?
— А с кем их ловить будешь? Войска-то настоящего нет. Пограничники, те на границе, а тут чоновцы да милиция. С Польшей, как мир подписывали, уговор был: войска регулярного вблизи границы не держать.
Марущак затянулся последний раз и очень ловко выплюнул окурок. Описав дугу, окурок упал далеко в траву, погорел там немного маленькой красной точечкой, похожей на светлячка, и погас.
Луна светила ясно. Она стояла сейчас как раз над тюрьмой. Очень громко пели соловьи в саду совпартшколы. «Наверное, чоновцы уже где-нибудь за городом»,— подумал я и в эту минуту услышал позади чуть слышный колокольный звон. Сперва я решил, что мне почудилось, и глянул на Марущака. Но он тоже услышал, повернулся и смотрел сейчас на открытые окна главного здания, откуда несся к нам этот неожиданный звук.
«Бам, бам, бам!» — точно на кафедральном костеле, ровно отбивал удары колокол.
— Что за черт! Чего он балуется? — сказал Марущак и вскочил.
— Кто балуется?
— Погоди.
Кто-то быстро прошел по коридору, спустился по каменной лестнице, хлопнула внизу дверь, и я увидел, как выскочил из нее человек. Он оглянулся, перемахнул через проволочную ограду палисадника и побежал к нам. Это был незнакомый мне пожилой курсант, слегка сутулый, в большой надвинутой до ушей буденовке.
— Ты чуешь, Панас? — тихо спросил он Марущака.
— Чую-то чую,— ответил Марущак,— но я думал сперва — может, это ты?

— Да, я...— обиделся курсант.— Только мне еще не хватало по ночам в колокол звонить...

— Наган с тобой? — строго спросил Марущак.

— Ага! — ответил дневальный, хлопая себя по кобуре.

— Покарауль тогда у ворот, а я схожу гляну,— продолжал Марущак и, посмотрев на меня, спросил: — Не хочешь за компанию?

— А чего ж!

— Ну смотри,— сказал Марущак,— проверим, какой ты герой.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

С какой бы стороны ни поглядел на него, окруженный с улицы зеленым двором, а позади — огромным садом, высокий, в три этажа, дом совпартшколы кажется очень большим, очень вместительным. Далеко-далеко вглубь уходят слабо освещенные узенькими монастырскими окнами длинные и сырые комнаты-кельи.

Однако стоило человеку попасть внутрь совпартшколы, он сразу же убеждался, что дом этот выглядит с улицы очень вместительным и большим потому, что внутри разбит небольшой фруктовый сад. Он отделен от главного сада высокой стеной учебного корпуса. В этом круглом саду растут одни груши, очень старые и дуплистые.

Когда я впервые увидел этот грушевый сад, очень уж странным показалось мне, что в него нет входа; в одном лишь простенке, между окнами столовой, виднелся след давно замурованной двери. В сад можно было попасть не иначе, как через окна из коридоров первого этажа. Должно быть, и садовник Корыбко залезает сюда так, когда нужно ему весной обмазывать известкой стволы деревьев, а осенью собирать спелые плоды.

Длинные, очень длинные тут, в совпартшколе, коридоры. Все они, кроме самого верхнего, в третьем этаже, соединяются. Можно легко обойти по коридору все это старинное здание с темными крутыми лестницами, полукруглыми окнами, скрипучими полами, затхлым монастырским запахом. Коридоры во всех этажах низкие, сводчатые, их окна с наклонными, как в бойницах, подоконниками выходят только в грушевый сад. Кое-где из капитальных стен выступают, загораживая наполовину проход, побеленные известкой квадратные печи с тяжелыми чугунными дверцами на винтах, с узенькими поддувалами.

Курсантская кухня в этом здании соединена с остальными помещениями длинным коридором, который проходит через все подвалы. Невеселая туда прогулка, особенно одному: низкие своды, пол вымощен каменными плитами, ни одного окна на волю, только маленькие угольные лампочки тускло горят у самого потолка, бросая неровный свет на обитые железом, тяжелые, с круглыми глазками двери кладовых и дровяных сараев. Добрая половина сараев пустует.

В самом крайнем от кухни устроился садовник Корыбко. Он хранит там свои грабли, цапки, ножницы для стрижки кустарника, а на стеллажах лежат у него цветочные семена. Проход на кухню мне показала тетка в тот самый день, когда я забрал у нее ложки. Мы прошли с ней на кухню вдвоем, там она заговорилась с поваром, а я помчался обратно с котелком гречневой каши в руках. Пробегая по коридору, я заметил, что дверь одного сарая открыта, и заглянул туда. Под стеной, седой и сморщенный, сидел на скамеечке Корыбко и сухими, дрожащими руками оттачивал цапку. Так было неожиданно встретить его здесь, под землей, что я даже испугался.

Все это я припомнил в ту минуту, когда мы с Марущаком подходили к зданию совпартшколы, откуда все яснее доносился к нам дрожащий звук колокола.

Я представил себе, каков он, этот дом, сейчас, ночью, когда нет в нем ни одной живой души, только этот загадочный звонарь да пустые коридоры тянутся по этажам. А что, если Марущак пошлет меня одного на разведку в глубокие монастырские подвалы? «Ну его к черту! Не пойду! Подожду лучше Марущака здесь!» — подумал я, но было уже поздно.

Марущак легко открыл дверь и придержал ее. Только я переступил порог, он дал двери неслышно захлопнуться и, опередив меня, шагнул в полутемный вестибюль.

Сразу почудилось, что колокол звонит в какой-то из комнат первого этажа — не то в столовой, не то в библиотеке. Марущак задержался и хотел было двинуться туда, но, покачав головой, пошел по ступенькам вверх. Поднялись выше, на площадку второго этажа,— колокол звенел все так же, и казалось теперь — на втором этаже.

Вот наконец и третий этаж. Плотно закрытые дубовые резные двери, ведущие в клуб. Лестница подводит прямо к ним. Сворачивая налево, открываем двери в коридор третьего этажа — колокольный звон не утих.

Он слышался здесь, как внизу, слегка приглушенный, но ясно различимый, одинаковой силы, точно кто-то, пока мы поднимались вверх, переносил вслед за нами колокол.

Я уже не мог выдержать и, осторожно вытащив из кармана зауэр, наставил его в коридор. Марущак покосился на меня, заметил пистолет, но не сказал ни слова.

Шагах в двух от застекленной двери стояла тумбочка дневального и вблизи нее сосновая табуретка. На тумбочке горела лампа, прикрытая абажуром из газет. Свет ее падал на книгу в пестрой обложке.

Нигде дальше электрического света в коридоре не было. В открытые окна косыми лучами из внутреннего двора просачивался лунный свет. На уровне окон были видны верхушки старых груш. Деревья как бы замерли, кривые, дуплистые, окруженные с четырех сторон стенами дома под блестящей от луны крышей.

Двери из коридора в курсантское общежитие были открыты. Я увидел там, в полутьме, развороченные по тревоге кровати, опрокинутые табуретки. Из комнат доносился к нам запах жилья, человеческого тела, кожаных сапог. Мы шли на цыпочках, очень тихо, поскрипывая досками, стараясь не спугнуть звонаря и отыскать точное место, откуда идет к нам этот дребезжащий тоскливый звук.

Но странное дело — это было самым трудным. Прошли половину коридора — колокол звонил около нас, рядом, но где именно — определить было невозможно. Сперва показалось, что из-под досок пола, потом из печки, наконец, мне почудилось, что из внутреннего двора, и я высунулся в окно, но ничего там, кроме деревьев, не увидел.

Я крепко сжимал свой зауэр. Палец лежал на спусковом крючке.

— А ну тише! — шепнул мне Марущак.

Я остановился и затаил дыхание. Теперь в полной тишине звук колокола был слышен еще яснее. Марущак прижался ухом к плотной каменной стене, разделяющей коридор и общежитие. Послушал, пожал плечами и, подойдя на цыпочках ко мне, чуть слышно прошептал:

— Я эту чертовщину размотаю! — И, оглядываясь, предложил: — Давай ляжем.

Легли. Так было удобнее слушать.

Еще шагов пятьдесят до тупика, до тыльной стены курсантского клуба, тянулся перед нами испещренный полосками лунного света коридор.

Марущак легко повернулся на боку и, открыв затвор, зарядил винтовку. Прислушался. Колокол звонил по-прежнему — уныло, надоедливо.

Марущак вскочил и бросился к открытому окну.

— Сволочь, гадина, перестань звонить, слышишь? Я тебя найду, сукин сын, помяни мое слово! — хрипло закричал Марущак и, вскинув винтовку, пальнул туда, вниз, в листву деревьев. Эхо от выстрела, очень сильное, гулкое, рванулось из окон обратно в коридор, и я тоже, словно меня кто-то подтолкнул, выстрелил вслед за Марущаком в соседнее окно.

Оба мы глядели в окна.

И странное дело: как только затихли выстрелы — колокольный звон прекратился. Тихо стало вокруг. Лишь где-то далеко, на Выдровке, у самой реки, залаяли собаки.

Так молча простояли мы у открытых окон добрых минут пять, а потом вышли обратно во двор.

Дневальный дожидался нас с нетерпением. Не успел Марущак перелезть через ограду палисадника, дневальный бросился к нему и спросил:

— Ну что за чертяка?

— Чертяка, чертяка! — пробурчал Марущак.— Это, брат, не чертяка, если выстрела испугался! Слышишь — молчит? Эти черти, видать, бесхвостые...

— Но как же его поймать?

— Как-нибудь да постараемся. Только вот оплошка — зря мы над Неверовым смеялись.

— А кто он? — не понял дневальный.

— Неверов? Да из третьего взвода комсомолец. Он на прошлой неделе стоял дневальным и вот тоже ночью услышал звон и разбудил с перепугу ребят в комнате. Разбудил, а звонить перестали. Мы над ним посмеялись, а теперь видишь — дело тут не простое...

— Надо будет рассказать Неверову,— сказал дневальный.

— Нет, не надо. Давай договоримся — никому,— строго ответил Марущак.

— А начальнику школы?

— Начальнику скажем. И Полевому. А больше никому. Договорились?

— Ладно!

Глянув на меня, Марущак сказал:

— И ты, пацан, смотри — ни мур-мур.

— А зачем мне?

— Зачем не зачем — никому.

— Я пойду, а, Панас? — вмешался дневальный.

— Добре. Иди. Но как что — давай за мной.

Когда ушел дневальный, мы сели на скамеечку, и Марущак спросил:

— А понятно тебе, почему не надо болтать об этом?

— Немного понятно.

— Ведь не иначе нас кто-то на испуг берет. Какие мы, дескать, храбрые... И вот надо молчать об этом, пока не размотаем, а то, если станем болтать раньше времени, слухи пойдут по городу.

Тут я вдруг решился и рассказал Марущаку, как в нас с Маремухой стреляли в саду. Марущак слушал меня внимательно. Чем дальше я рассказывал, тем его жесткое, загорелое и слегка скуластое лицо становилось серьезнее.

— Давно это было?

— На прошлой неделе.

— И точно по-польски кричали?

— Ага. Как крикнет: «прендзе», и в нас — бух, бух. А мы ходу! Через забор!

— Это хорошо, что ты мне рассказал. Совсем другой табак получается! Видно, кому-то здорово поперек горла стали.

— А что вы кому сделали? — осторожно спросил я.

— Да вот собираемся. Ты подумай — собрали нас сюда со всей губернии, молодых и старых. Кого из армии, кого из села. Многие-то хлопцы впервые книжку по-настоящему в руки взяли. Ну возьми хотя бы, к примеру, меня. Кем я был лет семь назад? Из рогатки по собакам стрелял да голубей в силки ловил на соборной колокольне. Только подрос, а тут революция, опять война — гетман, Петлюра, Тютюнник, гады всякие разномастные, неразбери-поймешь. Взял меня дядька с собою к красным, а через год вызывает эскадронный. «Получайте, говорит, товарищ Марущак, взвод». Получил. А сам — сапог сапогом. Усов еще нет. Крикнешь «Смирно», а голос срывается, как у молодого петуха. Ну и пошло! То бои, то лазареты. Ранило раз пять. Возле Попельни как ударило разрывной в бок, думал — конец пришел. Теперь дальше. Кончили воевать, послужил еще немного, новые ребята на смену пришли, думаю — домой пора. Вызывает меня к себе военком. «Не желаешь ли,— говорит,— Марущак, подучиться?» — «Желаю»,— говорю. Ну и поехал сюда. А здесь за неделю больше книг прочел, чем за два года в начальной школе. И книги все стоящие, солидные книги. Политэкономия, скажем. Ты знаешь, что такое политэкономия?

— Нет, не знаю.

Марущак укоризненно покачал головой.

— А я знаю. Не всю, правда, а знаю. А недавно еще не знал. Вот подучимся мы здесь, уедем — кто в село, кто в район, кто на сахзаводы, кто на железную

дорогу. Все переворошим. Куркулей прижмем — запищат, людей порядочных на труд подымать будем, Советскую власть укрепим во как! Теперь посуди, очень ли все это приятно тем, кто раньше хозяйничал в этих краях?

— Не очень приятно,— сказал я тихо.

— То-то,— сказал Марущак и хлопнул меня по ноге. Ладонь его задела дуло пистолета. Марущак прикоснулся к нему через брюки еще раз и спросил: — А где ты пугач этот достал?

Я вытащил пистолет и сказал:

— Да разве ж это пугач? Это же зауэр!

Марущак взял у меня пистолет и, нажав защелку, вытащил из рукоятки обойму. Он положил ее на скамейку и оттянул назад пистолетный ствол. И сразу спустил курок. В глубине ствола звонко щелкнул боек.

— Ничего. Пружина сильная. Только смазывать да чистить надо почаще. А патронов много?

— Штук десять осталось.

— Плохо. Запасайся еще. Их, верно, трудно достать?

— Чего ж трудно? От браунинга второго номера свободно подходят.

— Правда? — удивился Марущак.— Тогда хорошо. Я эту систему не встречал еще. Немецкая, видно. За-у-эр! — сказал он медленно.— Ну да, немецкая.

— Я его у одного хлопца на голубей выменял. А тот хлопец, когда немцы с Украины убегали, его на улице возле семинарии нашел. Видно, обронил со страху какой-нибудь немец...

— Может, обронил, а может, выбросил, чтоб легче было удочки сматывать,— согласился Марущак.

— Товарищ Марущак! — спросил я осторожно.— А если я в комсомол поступлю, мне разрешат его в кобуре носить?

— А чего ж! Будешь комсомольцем, запишут в твою чоновскую карточку номер — и все.

Помолчав, Марущак с улыбкой спросил меня:

— Обиделся на меня давеча?

— Чего?

— Ну, чего! За то, что с собрания тебя попросили?

— Ну... пустяки...

— Ты, брат, не обижайся... Дружба дружбой, а табачок врозь. Сам понимать должен. Мало ли...

— Я понимаю.

— Понимаешь — значит, молодец!

И не успел я опомниться от похвал Марущака, как он спросил:

— Ты давно в этом городе живешь?

— С шестнадцатого года.

— Сюда, к нам, недавно переехал?

— Недавно.

— А раньше ничего не слыхал про этот дом?

— Один хлопец брехал мне, что здесь будто бы привидения, но я ему не верю. Еще наш директор трудшколы Валериан Дмитриевич Лазарев рассказывал нам, что никаких привидений на свете нет, что все это чепуха.

И я подробно рассказал Марущаку о нашем любимом историке.

Марущак выслушал меня очень внимательно, а потом спросил:

— Видно, Лазарев ваш очень ученый человек?

— Ну, спрашиваете! Он все знает. Где какая башня, кто ее построил, в каком году. А про Старую крепость сколько он нам всего порассказывал... А про Устина Кармелюка!..

— Вот бы свел ты меня к нему! Я люблю про старину слушать! — сказал Марущак.

— Хотите, правда? Так давайте пойдем.

— Ну и прекрасно. Он далеко живет?

— Не очень. Возле Кишиневской, там, где клуб комсомольский.

— Завтра пойдем?

— Пойдем! — охотно согласился я.

Мне стало радостно, что я приведу к Лазареву Марущака, этого рослого, плечистого курсанта в военной форме. Пусть Лазарев увидит, какие теперь у меня приятели. Это не какой-нибудь Петька Маремуха. Это Марущак. Он Петлюру бил.

ВСЕ ПРОПАЛО

Я понял, что пропажа ложек обнаружена, как только Марья Афанасьевна появилась у меня в кухне. Она зашла внезапно, сильно толкнув дверь, сердитая и озабоченная. Я едва успел сунуть в карман скользкий, блестящий зауэр; как раз перед этим я разбирал и смазывал его оружейным маслом.

Тетка подошла к плите и открыла духовку. Она засунула туда руку и с грохотом выдвинула на жестяную дверцу все мои инструменты. Я с тревогой следил за ее движениями, а потом не удержался и спросил:

— Что вам надо, тетя? Что вы ищете?

Тетка затолкнула обратно в духовку инструменты и громко захлопнула дверцу. Она сдернула с плиты бумагу и, отодвинув пальцем в сторону чугунные конфорки, заглянула внутрь.

— Что вы ищете? — повторил я.

— Ты не брал ложек, Василь? — спросила тетка. Голос у нее был расстроенный, жалобный.

— Каких ложек?

— Да тех, серебряных.

Я молча покачал головой. Смалодушничал. И как я ругал себя потом за это! Ведь проще всего было сознаться, и никакого шума не было бы.

— Понимаешь, пропали ложки,— продолжала тетка.— Три есть, а остальных нет. Я думала — может, у тебя случайно.

— Зачем мне ложки, тетя? — сказал я как можно спокойнее.

Она поверила и ушла. Совестно да и незачем было заходить в комнаты к родным. Я оставался в кухне. Я хорошо себе представлял, как тетка роется в сундуке, в десятый раз выдвигает все ящики буфета, заглядывает под кровати. Ложки были ей очень дороги. Самая ценная вещь в нашей семье. Я знал это, но пойти и признаться тетке у меня не хватило силы.

А погодя, когда затих в комнатах грохот ящиков, ко мне вошел отец. Я знал, что он зайдет, и приготовился к этому, но было очень тяжело выдержать первый его взгляд.

Войдя, отец плотно закрыл за собой дверь и сел на табуретку посреди комнаты.

— Василь!

— Что, тато?

— Давай поговорим с тобой, как товарищи. Скажи, ты взял ложки?

— Не брал, тато! — сказал я, колеблясь.

— Правда, не брал?

— Правда!

— Ну а кто ж их взял?

— А я знаю? Может, украли.

— Кто мог их украсть, как ты думаешь?

— А я знаю? Может, чужой кто... Нищий.

— Василь, ты же знаешь, что нищие сюда не заходят: часовой нищего не пустит.

— А может, он через окно залез, когда тетки не было?

— Я спрашивал. Марья Афанасьевна говорит, что она еще ни разу окон на улицу не открывала.

— Ну, тогда я не знаю.

— Василь, сознайся сам, я тебе слова не скажу, вот посмотришь.

Еще минута, и я бы сознался, но не знаю, что меня дернуло, и я, отворачиваясь, промямлил:

— Мне не в чем сознаваться, тато.

— Не в чем? — Голос отца дрогнул.— Василь, скажи тогда, на какие деньги ты пировал у Шипулинского?

— Я взял взаймы у Петьки два рубля.
— У какого Петьки?
— У... Маремухи.
— Из Старой усадьбы?
— Ага.
— Правда, взял взаймы?
— Правда... А еще он мне рубль дал за голубей.
— Хорошо. Идем к нему.
— Куда?
— К Маремухе.
— Да его дома нет.
— Ничего. Найдется! — И очень спокойно отец надел соломенный картуз.

Едва передвигая ноги, я вышел за отцом во двор. Уже окончились занятия, и курсанты в ожидании обеда играли на площадке в футбол. Мелькнула среди играющих фуражка Марущака, и я отвернулся. Мне казалось, что курсанты уже обо всем знают.

Я шел за отцом, опустив голову, как арестант.

Скоро мы придем к Маремухе. Там, на глазах у Петьки, его отца, старого сапожника Маремухи, и Петькиной мамы, выяснится все. Все узнают, что я не только вор, но и трус.

Два квартала мы шли молча.

Только поравнялись с усадьбой ремесленного училища, показалась за углом мастерская Захаржевского. Сейчас меня увидит Котька Григоренко. Ведь это он, наверное, громыхает там кувалдой?

У афишной будки отец круто остановился.

— Василь! Мне стыдно за тебя, пойми. Я не хочу тебя позорить. Ты мой сын, Василь, а я коммунист. Я хочу, чтобы ты вырос правдивым и честным хлопцем. Когда я был в твоем возрасте, мне жилось куда тяжелее, но я никогда не обманывал своего отца, не обманывай и ты меня.

Прошла мимо какая-то тетка и с удивлением глянула в нашу сторону. Как только затихли вдали ее шаги, я, собравшись с силами, сказал:

— Тато! Я продал ложки!
— Кому?
— Я думал, что они мои. Тетка говорила...
— Кому?
— Тетка говорила, что это мое приданое.
— Слышишь, я тебя спрашиваю: кому ты их продал?
— Я отнес в город, к ювелиру.
— Пойдем! — сказал отец и ощупал в кармане бумажник. Даже вспомнить тяжело, как зашли мы в ювелирную мастерскую. Узнав, что фамилия отца Манджура, ювелир, глянув на крышку папиросного коробка, засмеялся и сказал:
— А еще голос повышаете! Ложки не ваши, а гражданина Маремухи!

Больших трудов стоило уговорить ювелира, чтобы он вернул ложки обратно. Пришлось заплатить за них с процентами: вместо четырех рублей отец дал ювелиру четыре рубля девяносто копеек. На каждой ложке этот старый спекулянт заработал по тридцать копеек.

Уже на обратном пути, когда мы прошли половину крепостного моста, я остановил отца и тихо, стараясь не глядеть ему в глаза, сказал:

— Тато, послушай! Даю честное слово, я больше никогда не буду врать, только прошу — никому не рассказывай. Никогда не буду. Вот клянусь. Не расскажешь?
— Посмотрим, говорю.
— Что посмотрим?
— Посмотрим, говорю.
— Тебе трудно сказать, да? Ну, раньше тебе было жалко ложек. А теперь ложки у тебя есть. Почему ты не хочешь?..
— Мне было жалко ложек, да? — перебил меня отец.— Ты думаешь, мне нужны эти цацки? Да я могу и деревянными есть. Вот!

И не успел я опомниться, как отец вытянул из кармана все три ложки и с силой швырнул их через перила в пенящийся водопад. Кувыркаясь и поблескивая,

полетели они вниз, а рябой дядька в соломенной шляпе, проезжавший мимо на широкой арбе, даже рот раскрыл от удивления.

Не отрываясь, я следил за их падением и поднял глаза на отца, лишь когда ложки, одна за другой, исчезли в белой пене водопада.

В этот день я не обедал. Чтобы не попадаться на глаза знакомым, я ушел далеко за Райскую брамку и лег на полянке возле обрыва. Я вырвал из земли дикий чеснок и стал жевать терпкую и красноватую его луковицу.

Мимо скользили, гудя, черные шмели, пчелы. Пестрый удод, махая радужными крыльями, прилетел из леса, уселся на камешке напротив, потряс хохолком и, заметив меня, скрылся за бугром. Две малиновки, покачиваясь на тонких ветках соседнего кустика, затянули веселую свою песню. Но все это теперь меня не интересовало. Я даже поленился поискать в кустике гнездо малиновок — а ведь оно было там, полное рябеньких теплых яиц, иначе не стали бы малиновки так долго вертеться вокруг одного и того же куста.

Густая трава, расцвеченная лютиками, лиловым куколем, медуницей, мохнатыми васильками и другими полевыми цветами, сладко пахла, чуть заметно шевелились у самого моего лица острые зеленые былинки. Я безразлично разглядывал их в упор и все думал об одном и том же.

Еще когда мы шли к ювелиру, отец сказал мне:

— Василь, а помнишь, как ты, когда в городе были петлюровцы, прибежал ко мне в Нагоряны со своими ребятами? Помнишь, ты первый рассказал мне, как петлюровцы расстреливали Сергушина. Я долго думал после: какой у меня хороший хлопчик растет... А вот теперь...

И отец махнул рукой. И это было обиднее всего. Уж пусть бы лучше он назвал меня как угодно, выбранил самым страшным словом, пусть даже высек бы меня ремнем с пряжкой так, как сек своего младшего сына Стаха наш давний сосед по Заречью колбасник Гржибовский,— ничто бы не было так обидно, как этот жест и молчание отца потом.

Ясное дело — отец расскажет всем, что я украл ложки.

Тетке первой расскажет, а она пожалуется на меня Полевому. Да и сам отец ему все сообщит. Пропал тогда комсомол, пропало все. Незачем жить дальше, все меня будут презирать, и Галя первая. Скажет: наговаривал на Котьку, что он плохой, а сам — вор. И руки не подаст.

Нет, жить дальше не стоит. Надо кончить жизнь самоубийством.

Несколько раз я повторил про себя это слово и, забывшись, сказал громко и очень медленно:

— Самоубийство!

Услышав свой голос, непривычный и чужой, я закрыл глаза. Страшно стало. Точно меня могли подслушать. С трудом обернулся. Никого. Пустынный, скалистый берег. Река медленно течет внизу. Молодой лес весь звенит от птичьего пения, а позади, словно двое часовых, высокие ржавые скалы Райской брамки.

Надо кончать. Но как? Кинусь с моста в глубокий водопад. Нет! Найду другое место. Броситься разве вот здесь со скалы в каменоломню? Неудобно. Камень, сложенный штабелями, рассыплется, еще штаны порву, и, даже если и убьюсь, не скоро меня разыщут в пустынных каменоломнях. Сперва меня собаки бродячие обглодают, а лишь потом кто-либо из пастухов найдет мои кости.

«Постой! Постой! — сказал я себе.— А минарет зачем?» Уже несколько человек прыгало оттуда и разбивалось насмерть. Минарет стоит в центре города — высокий, узкий, со статуей богоматери наверху. Его построили еще турки, когда захватили город у поляков. А потом, когда турок прогнали, мусульманскую мечеть переделали в кафедральный костел. Но тут я вспомнил, что с этого минарета прыгнула одна польская панночка. Она прыгнула от несчастной любви. И не разбилась. Только ноги поломала.

Еще песенку шутливую про нее сложили:

Панна Гацька
Впала зненацька
И з велькей милосци
Поломала соби косци...

Ну его! С минарета прыгать не буду. А вдруг я, как эта панна, не убьюсь, а только поломаю себе кости, а потом хлопцы смеяться будут. Скажут, здоровый бугай, в этом году трудшколу окончил и пытался на себя руки наложить.

Надо кончить жизнь иначе. Но как? Вот чудак! Я совсем забыл о пистолете. Пальнул сам в себя — и готово. И ходить никуда не надо. Оставлю записку родным — и тут же в кухне... Засуну дуло в рот да как пальну! А потом все прибегут, тетка будет плакать; может, и отец заплачет, пожалеет, что сказал «посмотрим».

Но ведь я ничего этого не увижу! Я-то буду мертвый! Что мне с того, что кто-то по мне заплачет? Какой интерес?

Напрямик через кладбище возвращаться было, конечно, гораздо ближе, но очень уж сумрачно там стало вечером, и я, обогнув полями кладбищенскую ограду, пошел в город по мягкой проселочной дороге. Там, около дороги, сидели два каменотеса и высекали из куска гранита памятник. Их зубила, подгоняемые молотками, звонко выцокивали.

Интересно, мне поставят памятник, если я покончу с жизнью? Нет, не поставят. Даже и на кладбище не похоронят, а зароют где-нибудь на пустыре, как бездомного щенка.

Во дворе совпартшколы, возле железных ворот, стояли Марущак и Валериан Дмитриевич Лазарев. На Лазареве был старенький, потертый на локтях чесучовый китель, соломенная шляпа. Я даже не поверил сперва, что это Лазарев. В тот день, когда мы уговорились с Марущаком пойти к Лазареву, его дома не было. Пришли, а жена сказала нам, что Валериан Дмитриевич уехал в Киев на конференцию учителей. Мы решили сходить к нему позже, как только он приедет.

— Здравствуйте, Валериан Дмитриевич,— сказал я, снимая шапку.

— А, Манджура! Здравствуй! — ответил Лазарев рассеянно.— Ты что, разве здесь живешь?

Мне стало еще обиднее: Марущак не только познакомился с Лазаревым без меня, он даже не сказал Валериану Дмитриевичу, кто первый направил его к нему.

— Здесь. Видите, вон там, в белом флигеле,— сухо ответил я и только собрался уходить, как за спиной у меня раздался спокойный, знакомый голос отца:

— Может, ты все-таки пообедаешь?

— Я не хочу, тато. Я уже обедал.

— Где же ты мог обедать, Василь? — спросил отец, улыбаясь.— В каком таком ресторане?

— И совсем не в ресторане. Я у... Петьки Маремухи обедал...

— Ну, невелика беда. Пообедаешь еще раз. Пойдем,— сказал отец.

Когда мы уходили, я слышал, как Лазарев сказал Марущаку:

— Итак, договорились — после занятий?

— Приходите обязательно. Будем ждать! — ответил Марущак.

«Зачем я ему нужен? — медленно шагая вслед за отцом по траве, думал я.— То молчал-молчал и укорял меня, а теперь нежности пошли — обедать позвал. Нужна мне его нежность!»

Широкая спина отца с выступающими лопатками покачивалась в такт движению, край белой рубашки был запачкан типографской краской.

— Между прочим, Василь,— сказал отец, оборачиваясь,— меня интересует: в какое время ты успел пообедать со своим Петькой? Я недавно проходил по Заречью и зашел к ним. А Петька говорит: «Почему, скажите, Василь не заходит ко мне? У меня дело к нему есть». Ты бы зашел, Василь.

Отец снова припер меня к стене.

— Молодой человек! Молодой человек! — послышалось сзади. Нас догонял Марущак.— Товарищ Манджура,— спросил он у отца,— ничего, если я твоего хлопца задержу?

— Только недолго, а то и так его обед уже простыл,— разрешил отец и направился к лестнице флигеля.

И только он скрылся во флигеле, Марущак спросил:

— Василь, кто тебе рассказывал о привидениях?

— А что?

— Да ты не бойся, мне просто интересно.
— Маремуха говорил...
— Он твой приятель или как?
— Приятель.
— А ты не можешь у него порасспросить, от кого он это слыхал? Только, знаешь, осторожненько так, между прочим.
— Могу.
— Только не налетай особенно, пусть сам все расскажет. Понятно? Значит, расспросишь?
— Расспрошу.
— Ну и ладно. Валяй тогда обедай!

За обедом, поедая чуть теплый густой гороховый суп, я все никак не мог догадаться: знает тетка, куда делись ложки, или нет? Пока я обедал, отец, сняв покрывало, улегся на кровать и взял газету. Он читал газету, шурша газетными листками, и за все время не проронил ни одного слова. Тетка тоже молчала. Не то они повздорили, не то вдвоем рассердились на меня. Так и не поняв ничего, я доел сладкую пшенную кашу с холодным молоком и потихоньку вышел на крыльцо.

Из окон курсантского общежития доносилась веселая песня:

Так громче, музыка, играй победу:
Мы победили — и враг бежит...
Гони его!
Так за союз рабочей молодежи
Мы грянем громкое ура! ура! ура!

Как я завидовал сейчас курсантам! Я завидовал тому, что они старше меня, я завидовал их веселью. Ну почему я не родился лет на семь раньше? И с петлюровцами мне бы удалось повоевать, и, может, меня где-нибудь ранили бы в бою, и был бы я, наверное, комсомольцем. А так что?

В эту минуту на дереве запел скворец.

Как только мы переехали сюда, я заметил, что под крышей флигеля свили себе гнездо скворцы. Они изредка залетали туда, юркие, рябенькие, с темносиним отливом. А недавно я уже слышал писк птенцов. С каждым днем птицы пищали все громче; когда подлетал к гнезду старый скворец, они высовывали из дыры в стене желтые клювы, и каждый из них норовил первым ухватить принесенного червяка. Целыми днями из-под крыши слышался громкий писк, лишь к вечеру, когда солнце скрывалось за кладбищем, накормленные досыта птенцы затихали, а довольные и усталые старики скворцы взлетали на соседнюю акацию и начинали петь. Вот и сейчас какой-то из них затянул свою вечернюю песню. Сквозь редкую листву акаций я видел черную грудку птицы, задранный кверху тоненький и дрожащий его клюв. Скворец то передразнивал иволгу, то запевал соловьем, то свистал, как чиж, то чирикал совсем по-воробьиному. Он пел все громче и надрывистее, стараясь перекричать голоса курсантов. Я загляделся на скворца и не заметил, как ко мне подбежал Петька Маремуха. Он запыхался и покраснел.

— Я... меня не пускали к тебе... Насилу уговорил... часового... Давай...

Я глядел на Петьку и ничего не понимал.

— Давай... побежали.
— Куда?
— Ты ничего не знаешь?.. Побежали...
— Да куда, скажи?..
— Борцы приехали! — выпалил Петька.

Этих слов было достаточно, чтобы я, забыв обо всем, побежал за Петькой на улицу.

Уже за воротами Петька на ходу бросил:

— Я не знаю, когда начало. Может, в десять, а может, в девять. Но если в девять, тогда опоздали.
— А где борются?
— В клубе совторгслужащих.
— Много?

— Ой, много!.. И Али-Бурхан... И Дадико Барзашвили... Все...

— А билеты?

— Не журись!

— Верно, самые дорогие остались?

— Не журись, я говорю!

— Хорошее дело — не журись!

— Есть билеты... Понимаешь? — радостно сообщил Петька, едва поспевая за мной.— Один борец, Лева Анатэма-Молния, здоровый такой... тише, не беги так... здоровый такой... принес до папы ботинки чинить... Увидел меня и говорит: «Хочешь, хлопчик, на борьбу пойти?» Я говорю: «На какую борьбу?» Он говорит: «Как, разве у вас афиш еще нет?» Я говорю: «Нет». Он говорит... тише, Васька... он говорит: «Вот негодяи, еще не выклеили афиши,— говорит,— сбора не будет...» Тише... И дает мне сразу три контрамарки. «На́ тебе,— говорит,— приходи в клуб, посмотри, как я положу чемпиона Азии Али-Бурхана... А за это,— говорит,— скажи всем своим знакомым, что мы приехали... И выступаем у совторгслужащих».

— А ты сказал?

— Спрашиваешь! Целый день бегал, говорил, всем хлопцам сказал... До Сашки Бобыря на Подзамче бегал...

Не верилось — правду ли говорит Петька? Стриженный под польку, с большими мясистыми ушами, он бежал вприпрыжку рядом со мной по тротуару и тяжело сопел.

— А где контрамарки? — спросил я.

— Есть... есть...

Петька залез в карман штанов, потом в другой и остановился.

— Погоди, где ж они? — бледнея, спросил он.

Мне даже показалось, что мокрая прядь волос зашевелилась на Петькином лбу, но тут Петька подпрыгнул и быстро сунул два пальца в кармашек рубашки. Он вытащил оттуда сложенную вдвое розовенькую бумажку.

— Фу... Напугался! — сказал он с облегчением. — Думал, потерял. Смотри! — И Петька на ходу развернул бумажку. Действительно, в потной его руке было три билета.

— Это ж настоящие билеты!

— Ну не все равно — билеты чи контрамарки. Факт — пройдем.

— А третий куда?

— Третий? Продадим и конфет купим.

— «Конфет, конфет»! — передразнил я Петьку.— Ты что — маленький?.. Давай, знаешь, лучше... возьмем Галю на борьбу...

— Галю? А она разве дома? Давай, если дома! — быстро согласился Петька.

Галя, к счастью, оказалась дома, и мы не дали ей даже переодеться. Она пошла с нами в город в простеньком сером сарафане, набросив на плечи вязаную голубую кофточку-безрукавку.

Уже издали, выйдя из переулочка на Центральную площадь, мы заметили, что борьба еще не начиналась: все восемь окон зала клуба совторгслужащих были освещены. А часы на городской ратуше показывали четверть десятого. Одно из двух: либо начало назначили в десять, либо не пришла публика.

Мы подошли ближе и увидели, что еще не собралась публика. На дверях клуба висела длинная, напечатанная оранжевыми буквами афиша, но мы не стали ее разглядывать, а по узенькой каменной лестничке поднялись на второй этаж. Петька Маремуха отдал контролеру, седенькому старичку в зеленой вельветовой куртке, наши билеты, старичок оторвал контроль и дал нам дорогу.

В ярко освещенном зале были выстроены простые сосновые скамейки. В зале недавно вымыли пол, он весь был покрыт мокрыми пятнами, даже на скамейках поблескивали капли воды. Я стер рукавом воду с наших мест, и мы уселись.

— Хорошие места, правда? — гордо спросил Петька и оглянулся.

— Ничего,— сказала Галя.— Но там, в первом ряду, было б лучше.

— Ну, лучше! — протянул Петька.— Ничего не лучше. Ты просто ничего не знаешь. Это если театр, тогда лучше, а борьбу надо отсюда, с четвертого ряда, смотреть.

— Почему с четвертого? — поддерживая Галю, сказал я.— С первого же лучше видно?

— Лучше-то лучше, но там сидеть опасно. Ты знаешь, что в Проскурове было? Там один борец другого как схватил да как бросил его через себя, а тот как полетит в зал и ногами одну женщину чуть-чуть не убил. В больницу увезли. Правда, правда! Не смейтесь.

— Я одного не понимаю,— сказала Галя,— отчего все эти борцы такие здоровые?

— Ну, отчего! — важно ответил Петька.— Во-первых, они каждый день выжимают гири, а потом — ты знаешь, что они кушают? Не знаешь? Думаешь, как обыкновенные люди? Совсем нет. Во-первых, они едят сырое мясо — раз? Посолят и едят. Потом они пьют сырые яйца. И кровь пьют...

— Ну, это ты, Петька, не ври,— перебил я Маремуху.— Откуда кровь?

— Откуда? — выкрикнул Петька и даже вскочил от обиды.— Ты думаешь, я вру, да? А вот и не вру. Ты знаешь, что́ меня сегодня Лева Анатэма-Молния спросил? Вот догадайся.

— Не знаю.

— А вот что. Вышли во двор, а он говорит: «Скажи, Петя, где у вас здесь можно крови достать?» Я говорю: «Какой крови?» А он смеется и говорит: «Ты не пугайся, не пугайся, не человечьей. Мне,— сказал,— обыкновенная кабанья кровь нужна, сырая. Я должен пить сырую кровь».

— Ну а ты что ему сказал? — спросил я.

— Идите, говорю, до колбасника Гржибовского, он каждый день кабанов режет, у него есть.

— Ну и сбрехал. Откуда каждый день? — сказал я Петьке.— Это раньше, до революции, он резал каждый день, а после того как убили его Марка, он хвост совсем поджал. Теперь он режет только перед ярмарками, когда базар.

— Много ты знаешь,— протянул Петька обидчиво.

— А вот и знаю. Что я, не жил рядом с ним? Жил. И все видел. Тихий он стал — как-никак сын петлюровец был у него и бандит...

— Значит, сырая кровь силу прибавляет. Смотри! А я не знала! — сказала Галя.

— Еще бы,— ответил Маремуха уверенно,— она здо́рово полезна. Ты же знаешь Сашку Бобыря? Так вот у этого Сашки была самая настоящая чахотка. Он кашлял — спасу нет. Тогда его мама стала его лечить. Каждый день утречком Сашка ходил на бойню и пил там сырую кровь. Много выпил. Стаканов сорок выпил. И что ты думаешь? Поправился. Да и сейчас иногда пьет. Говорит — вкусная.

— Фу, противно! — Галя поморщилась и закрыла глаза.

— Тише, смотри! — сказал Петька.

В зал один за другим вошли музыканты из пожарной команды. В медных, хорошо начищенных касках, в плотных желтых куртках, с большими серебряными трубами, они прошли, тяжело стуча сапогами, в угол зала, под сцену, и стали рассаживаться. Ноты были приколоты у музыкантов на спинах, лишь первая четверка не имела перед собой ничего — видно, все они играли по слуху. Капельмейстер Смоляк — низенький горбатый человек в белой вышитой рубашке, подпоясанный сыромятным пояском, лысый и большелобый, поднял палочку, и оркестр заиграл для начала веселый марш «Прощание друзей». Под звуки этого громкого марша из фойе, из курилки, с улицы стала сходиться публика. Мне было не по себе: казалось, что билеты наши фальшивые и нас могут вывести. Было неприятно и то, что рядом с нами никто не сидел, неуютно было.

В эту минуту из двери, ведущей на сцену, вышел Котька Григоренко. Этого еще недоставало!

Важный и нарядный, в батистовой рубашке, сквозь которую ясно просвечивали упругие мускулы, подпоясанный кавказским ремешком с воронеными язычками, Котька медленно спустился по лесенке и, покачивая плечами, как борец, подошел к первой скамейке и уселся.

Трудно было удержаться, и я сказал Гале как можно ехиднее:

— Гляди, кавалер твой пришел.

— А брось! — сказала Галя безразлично и даже рукой махнула, но, видно, ей неприятно стало, что Котька не поздоровался с ней. Погас свет, и занавес зашевелился. Петька Маремуха заерзал на скамейке. Подымаясь, занавес накручивался на деревянную палку. Вот свернулась лира, и мы увидели освещенную сцену. Декораций не было, лишь позади висел черный кусок сукна.

На сцену выбежал тот самый седой старичок, что отрывал у нас билеты. Он успел переодеться, вместо зеленой вельветовой куртки на нем была длинная, до коленей, бархатная толстовка с поясом и черным бантом на шее. Старичок низко поклонился, и в ту же минуту в зале послышался шум. Обгоняя друг друга, зрители мчались на первые места. Кто-то больно ударил меня локтем в спину. С грохотом упала на пол скамейка во втором ряду, несколько человек перелетели через нее; каждый, усаживаясь, точно квочка, раздвигал руки, ноги, стараясь занять как можно больше места.

— Побежали, сядем там! — охваченный общим волнением, шепнул Петька, вскакивая.

— Сиди! — цыкнул я.— Куда бежишь? Смотри!

Все скамейки уже позанимали, а двое опоздавших медленно, будто прогуливаясь по залу, возвращались обратно.

Старичок поднял руку и сказал:

— Уважаемые граждане! По совершенно непредвиденной случайности судьбы наш мировой чемпионат посетил ваш замечательный древний город. Сейчас вы увидите здесь лучших богатырей нашего времени. То, что вы увидите, надолго останется у вас в памяти, и, поверьте мне, ваши дети и внуки позавидуют вам. Но я должен извиниться, уважаемые граждане, мы даем программу в несколько измененном виде. Дело в том...

В зале стало очень тихо, и все насторожились.

— Дело в том,— очень твердо сказал старичок,— что чемпион Кавказа и Каспийского моря Дадико Барзашвили не приехал...

— Обман! — закричали позади. Кто-то протяжно свистнул. Затопали ногами.

— Минуточку! — закричал старичок.— Ничего не обман!

— Самый настоящий шахер-махер! — подымаясь, закричал басом высокий широкоплечий человек в плоской, слегка засаленной кепке.

Это был Жора Козакевич, литейщик с завода «Мотор». Говорили, одной рукой он свободно выжимает мельничный вальц.

— Вы думаете, обман, да? — закричал Козакевичу старичок.— А я говорю — не обман. Дадико Барзашвили ехал с нами. Он всей душой мечтал побывать в этом уважаемом городе, но, увы, непредвиденная ирония судьбы! В городе Одессе,— старичок повысил голос,— в городе Одессе в самую последнюю минуту Дадико Барзашвили покусала бешеная собака. По настоянию врачей он остался делать прививки. Но чтобы не огорчить уважаемую публику,— старичок обвел глазами зрительный зал,— мы расширяем нашу программу. Волжский богатырь, мастер стального зажима, Зот Жегулев, принимает вызов любого из присутствующих здесь и согласен бороться до полной победы... Итак, мы начинаем... Маэстро, прошу марш...

Когда все борцы, сотрясая деревянную сцену и выпячивая мускулистые свои груди, прошли в параде-алле перед публикой и скрылись за кулисами, старичок в бархатной толстовке попросил на сцену трех человек, знающих французскую борьбу. Первым поднялся туда седой железнодорожник в форменной фуражке, за ним — начальник штаба частей особого назначения Полагутин, коренастый и черноволосый военный в красных брюках, сапогах со шпорами и белой гимнастерке. Недоставало третьего — старичок выжидающе глядел в зрительный зал. И тут очень легко на сцену выскочил Котька Григоренко. Оправляя батистовую рубашку, он смело подошел к старичку распорядителю, пожал ему руку и уселся рядом с Полагутиным на венском стуле в глубине сцены у низенького, покрытого зеленым сукном столика. Как он ни храбрился, но видно было, что ему не по себе там, на сцене. Котька положил на стол свои кулаки и все время, пока не началась борьба, смотрел на них. Задавака проклятый! Везде и всюду он старался быть первым, всюду совал свой нос. Ну вот сейчас кто его просил идти на сцену? Разве он знает хорошо французскую борьбу? Ничего подобного!

Так всякий ее знает — и я и Петька Маремуха. Мне было очень неприятно, что Котька сидит перед нами, что Галя сможет его все время разглядывать. Котька красивее меня. Она может полюбить его, и тогда я останусь в дураках, с опасением думал я и мечтал: скорее бы начиналась борьба!

МАСТЕР СТАЛЬНОГО ЗАЖИМА

Первые две пары боролись неинтересно: видно было, что их выпустили на затравку; но вот когда распорядитель объявил: Али-Бурхан — Лева Анатэма-Молния! — в зале зашумели и все уставились на сцену.

Духовой оркестр играл добрых минуты три — борцы не выходили. Должно быть, они набивали себе цену.

Наконец, покачиваясь, из-за кулис первым вышел чемпион Азии, знаменитый Али-Бурхан.

Коренастый, рябой, стриженный ежиком и остроголовый, с широкой, оплывшей грудью, тяжело ступая, он подошел к рампе. Медленно раскланялся и, точно желая проверить, не провалится ли сцена, топнул ногой по деревянному ее полу так сильно, что электрическая лампочка вверху замигала, словно перегорая. Через плечо у Али-Бурхана была надета синяя атласная лента с двумя медалями. Не спеша Али-Бурхан снял ее и подал распорядителю. В эту минуту из-за кулис выскочил Лева Анатэма-Молния, и я сразу перестал смотреть на Али-Бурхана. Загорелый, с очень гладкой, блестящей кожей, с выбритой головой, в парчовых трусиках, Лева Анатэма-Молния двигался по сцене крадучись, точно на цыпочках.

— Это он дал контрамарки! — шепнул Петька.

— Тише! — цыкнул я.

Лева Анатэма-Молния поклонился и запрятал шнурок, выбившийся наружу из легкого ботинка, пошаркал подошвами по толченой канифоли и повернулся к Али-Бурхану. Командир конвойной роты Полагутин взял со стола никелированный звоночек и потряс им.

Борцы сразу же, не успел затихнуть звоночек, стали ловить друг друга за руки. Али-Бурхан мне совсем не нравился, и я очень хотел, чтобы Лева Анатэма-Молния положил его.

Но это было не так-то просто.

Али-Бурхан только кажется с виду таким толстым, неповоротливым. Он старый и хитрый борец. Нагнув морщинистую, всю в жирных складках шею, он крепко стоит на раздвинутых ногах и почти не двигается с места, только узкие и хитрые его глаза перебегают вслед за Левой.

Анатэма-Молния не знает, с какой стороны удобнее схватить ему Али-Бурхана. Вот он намерился взять его под мышки. Раз, два! — ничего не вышло... Али-Бурхан ударил тяжелыми своими руками по загорелым рукам Левы, и Анатэма-Молния снова забегал вокруг него.

Али-Бурхан на ходу схватил Леву за руку, потянул его на себя.

Лева растянулся на земле, вскочил.

Али-Бурхан обошел раз вокруг Анатэмы-Молнии. Обходит второй. Чего ему спешить? Он примеривается.

Поднял тяжелую и волосатую руку да как хлопнет Леву по шее! «Макароны» — так я и знал!

Лева покачнулся, но устоял. Али-Бурхан хлопает его вторично. Еще! Еще! Он, словно фуганком, строгает тяжелой рукой Левину шею. На весь зал разносятся эти отрывистые глухие удары. Затылок у Левы побагровел, лицо налилось кровью, колени разъезжаются.

— Ему ж больно! Что он делает? — выкрикнула Галя.

— Довольно! — закричали в заднем ряду.

Командир Полагутин взял колокольчик. Али-Бурхан заметил это и выпрямился.

Он невольно пожимает плечами и сразу грудью наваливается на Леву. Анатэма-Молния всем телом рухнул на ковер. Али-Бурхан хватает его и быстро вы-

ворачивает на спину. Ну конечно! Сейчас на обе лопатки. Остается каких-нибудь два вершка, и Лева коснется спиной ковра.

Обеими волосатыми лапами Али-Бурхан жмет Леву к земле. Анатэма-Молния опомнился, он пробует стать в мост, он хочет сделать стойку на голове и выскользнуть, он упирается головой о сцену, доски прогибаются под ним, но уже поздно. Кряхтя и посапывая, Али-Бурхан прижимает его к земле. Все меньше и меньше становится зазор между ушибленной спиной Левы и ковром, все меньше и меньше... Готово... А может, еще вывернется? Вывернись, выскользни, да ну, скорее, скорее! Чего же ты ждешь?.. Эх, поздно! Зажав в руке колокольчик и позванивая шпорами, подбегает к борющимся главный судья, командир Полагутин. Заглядывает вниз. Выходят из-за стола старик железнодорожник, Котька Григоренко.

Звонок.

Лучше б его не было!

— Вот жалко! То он забил ему баки теми «макаронами»,— спрыгивая со скамейки, бормочет Петька Маремуха.

Галя побледнела. Глаза у нее испуганные.

Судьи совещаются. Выбежал из-за кулис и подбежал к ним распорядитель. И сразу от судей он подошел к рампе. Поднял руку. В зале шумно. Хлопают.

— Анатэма-Молния, браво! — крикнули совсем рядом.

— Анатэма! — тоненьким голоском закричал Маремуха.

— Лавочка! Сговорились! — крикнули совсем рядом.

Распорядитель ждет. Ну, говори, уже тихо!

— После захвата руки через плечо чемпион Азии знаменитый Али-Бурхан положил чемпиона Кубани Леву Анатэму-Молнию правильно! — выкрикнул распорядитель и кивнул капельмейстеру Смоляку.

Оркестр играет туш.

Важный, надутый Али-Бурхан раскланивается. Раз. Другой. Третий.

Лева Анатэма-Молния, отряхивая с трусов пыль и не глядя на публику, поклонился только один раз и, потирая ушибленную ляжку, убежал за кулисы.

Один, с сольным номером, выступает чемпион Житомира Иосиф Оржеховский, красивый, поджарый борец в красных трусиках. Он широкоплечий, с хорошо развитыми бицепсами, тонкой талией. Кожа у него плотная, совсем без жира. Недаром он так свободно ложится спиной на доску, сплошь усаженную гвоздями. Эти острые гвозди густо вылезают из доски — кажется, что все они вопьются Иосифу Оржеховскому в кожу. Но ничего. Спокойно, скрестив на груди руки, он лежит на этих гвоздях, словно на перине. Звучит военный вальс «Душа полка».

Когда, легко соскочив на ковер, Оржеховский поворачивается к публике спиной, на его коже всюду заметны маленькие точечки, но крови не видно. Вот кожа! Как у кабана.

Оржеховский свободно бегает по этой же длинной доске босыми ногами, он укладывается на скамейку и подсовывает себе под голову, под лопатки, под ноги остриями вверх три казацкие шашки, он заколачивает голой ладонью в скамейку длинные гвозди — пять гвоздей подряд! Он гнет на груди толстый прут железа, он разрывает крепкую цепь, тут же, на сцене, он разбивает две бутылки, толчет их в медной ступке, высыпает затем осколки стекла в фанерный ящик из-под спичек и становится туда ногами. В ящик, ногами на стекло!

И все ему сходит благополучно!

Перерыв...

Выйти? Не стоит! Еще займут места, и тогда придется смотреть оттуда, с «камчатки». Я с Галей остаюсь в зале. Только Петька, положив на свое место шапку, бежит за семечками.

Придерживая Петькину шапку рукой, чтобы не украли, я разглядываю публику. Там, на сцене, за плотным занавесом громко смеялись, топали ногами борцы. Мне было все еще досадно, что этот жирный Али-Бурхан положил такого ловкого спортсмена. В зале было душно. С улицы в открытые окна доносился сладкий запах цветов акации. Эти цветущие акации стояли на тротуаре рядом с клубом, их белые ветви были хорошо видны в сумраке наступающего вечера.

— Интересно, кто ж из публики, какой дурной пойдет с тем богатырем бороться? — спросила Галя, обмахиваясь платочком.

— Кто-нибудь пойдет. Может быть, твой Котька пойдет.
— Кто тебе сказал, что он мой? Чего ты прицепился?
— Ты же страдаешь по Котьке. Что, я не знаю?
— Ничего не страдаю... Нужен...
— Тише! — оборвал я Галю.
Рядом, на улице, громко запели «Интернационал».
— Кто это? — спросила Галя.
— Держи места! — приказал я и бросился к открытому окну.
Высунувшись, я увидел, что верхний этаж типографии освещен. Типография стояла рядом с кафедральным костелом. Черный шпиль минарета и мадонна, стоящая на полумесяце, выделялись на светлом еще небе. В освещенных окнах типографии я заметил людей. Они стояли и пели.
— То в ячейке печатников,— объяснил я, возвращаясь.— Наверное, у них кончилось комсомольское собрание.
Да, я угадал правильно. Только затихли последние слова «Интернационала», они запели «Молодую гвардию».

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе.

Смелей вперед и тверже шаг
И выше юношеский стяг.
Мы — молодая гвардия
Рабочих и крестьян! —

очень ясно доносилось оттуда, из типографии.
И мне сразу сделалось очень тоскливо здесь, в этом душном, шумном зале, среди незнакомой публики. Там, в соседнем доме, дружно пели комсомольцы — наверное, они решали там важные дела. Может быть, они уславливались, как лучше ловить бандитов; может быть, они принимали кого-нибудь в комсомол? Стало тяжело, что я не с ними. И даже то, что рядом со мной сидела Галя, не могло отогнать тоски, нахлынувшей внезапно вместе с громкой этой песней. Я вспомнил, как тяжело жилось мне в эти дни, вспомнил все свои огорчения, и стало еще больнее, и ничто, казалось, уже не поможет моему горю.
Но тут я услышал знакомый голос Маремухи.
— Семечек нема, а есть только монпансье. Бери, Галя, это кисленькие! — сказал Петька.
На клочке газетной бумаги Маремуха держал штук восемь конфеток. Они были разных цветов и слиплись.
— Бери, Галя, ну! — твердо сказал Петька.
Галя осторожно, двумя пальцами взяла липкую конфетку и захрустела ею. И мне тоже захотелось попробовать сладкого. Я отодрал сразу две конфеты и отправил их, не разъединяя, в рот.
Так, хрустя кисленькими конфетами, мы дождались открытия занавеса.
— Победитель чемпиона мира, Черной Маски, известный волжский богатырь, мастер стального зажима, никем не победимый Зот Жегулев! — выкрикнул распорядитель и сразу же отбежал в сторону. Он прижался к стене и стал смотреть в глубь сцены так, словно оттуда должен был выскочить не борец, а самый настоящий зверь.
Я думал, что волжский богатырь будет фасонить больше всех и выйдет на сцену не скоро, но Зот Жегулев появился сразу, как только оркестр заиграл марш. Он вышел, и мне сперва показалось, что к нам плывет одно туловище безногого человека. А показалось так потому, что Зот Жегулев был в черном трико до пояса. Это плотное, шерстяное трико туго обтягивало его длинные, худощавые ноги в легоньких черных ботинках без каблуков. Очень недоброе, злое было лицо у этого человека: все в шрамах, морщинах, смуглое и сухое, с большими зализами на лбу, редкие черные волосы и нос тонкий, острый, словно клюв хищной птицы. Когда Зот Жегулев, подойдя к рампе и кланяясь, улыбнулся, я увидел белые и крупные его зубы. Я сразу невзлюбил этого человека. Я почувствовал, что Зот Жегулев улыбается нарочно, из-за денег.

Поклонившись, волжский богатырь отошел на середину сцены и остановился там, сложив на груди руки и выставив вперед правую ногу.

Распорядитель объявил:

— Итак, уважаемые граждане, мастер стального зажима волжский богатырь Зот Жегулев принимает вызов любого из вас и будет бороться до полной победы, если вы того пожелаете! Зот Васильевич, прошу подтвердить согласие.

Волжский богатырь молча поклонился.

В зале стало тихо.

Зот Жегулев, прищурившись и сжав узкие губы, глядел прямо на публику.

— Ну так что ж, граждане? — спросил старичок распорядитель.— Угодно кому-нибудь попробовать свои силы в схватке с уважаемым Зотом Васильевичем?

В зале по-прежнему молчали, только позади кто-то хихикнул.

Так же, скрестив руки, стоял, выжидая, Зот Жегулев. Рядом со мной тяжело дышал Петька Маремуха. Вот бы ему, коротышке, выйти попробовать побороть этого длинного богатыря.

— По-видимому, желающих нет и не будет? — хитро улыбаясь и подмигивая волжскому богатырю, сказал распорядитель.— Тогда...

— Подожди, не торопись! — послышалось сзади.

Все обернулись. В проходе стоял Жора Козакевич.

— Простите,— спросил распорядитель,— вы что-то сказали?

— Я буду бороться! — твердо выкрикнул Жора.

— Простите, а спортивный костюм у вас есть?

— Как-нибудь! — крикнул Жора и, не сходя с места, стал стягивать рубашку.

Только он стащил ее, мы увидели широкую загорелую его грудь, очень сильные его руки.

— Барышни, прошу не смотреть! — крикнул Козакевич и, согнувшись, ловко сбросил штаны, оставшись в одних трусах и тяжелых ботинках.

— Костик, дай-ка твои тапочки! — попросил он, протягивая в ряды рубаху и штаны.

Ему сразу же подали взамен белые, на лосевой подошве, тапочки. Козакевич разулся, надел тапочки, попробовал, хороши ли они, и, увидев, что хороши, приглаживая пальцами взъерошенные волосы, прошел мимо нас к сцене.

Вытянув шею, старичок в толстовке силился разглядеть его.

Когда Жора подошел к подмосткам, распорядитель спросил:

— Гражданин, а вы знаете правила французской борьбы?

— Как-нибудь! — ответил Жора и, задрав ногу, вскочил на сцену.

Жмурясь от внезапно нахлынувшего на него света, он стал возле рампы спиной к волжскому богатырю и, улыбаясь, хлопнул себя ладонью по груди. В зале засмеялись. Тогда Жора повернулся к Жегулеву и вытянул руки, чтобы бороться.

— Погодите, молодой человек,— остановил Жору распорядитель.— Еще успеете. Скажите вашу фамилию.

— Козакевич, Георгий Павлович! — весело тряхнув головой, ответил Жора.

Из зала закричали:

— Жора, а ты пил боржом?

— Жора, завещание напиши, Жора! — крикнул мой сосед, толстый усатый кузнец Приходько.

— Ничего, как-нибудь! — сложив лодочкой ладони, прокричал в публику Козакевич.

Зот Жегулев тем временем поправил свой широкий резиновый пояс и, взяв со стола кусочек мела, стал медленно натирать им ладони.

— Скажите вашу профессию, гражданин Козакевич,— осторожно попросил старичок.

— Металлист! — гордо ответил Козакевич.

— Жора, адрес оставь,— не унимался какой-то крикун в задних рядах.

Старичок распорядитель пошептался с волжским богатырем и объявил:

— Итак, мы продолжаем. Следующая пара: волжский богатырь, мастер стального зажима, непобедимый Зот Жегулев и любитель французской борьбы металлист Георгий Павлович Козакевич! Музыку, прошу!

Дрогнули сияющие трубы в руках у пожарников.

Борцы шагнули друг к другу. Жегулев пригнулся.

Он протягивает навстречу Жоре длинные руки — видно, хочет выведать, каков Жора на простом захвате. Но Жора, не дожидаясь, хватает Жегулева прямым поясом и поднимает его вверх. Черные ноги богатыря уже в воздухе, он болтает ими, готовый ко всему.

Тряхни его как следует, стукни ногами об пол!

Жегулев ловко выбрасывает вперед обе свои руки, одной из них он упирается в шею Козакевича, отталкивается. Жора покраснел, но не отпускает богатыря. Жегулев жмет его сильнее. Тогда Жора круто поворачивается и пробует стать на колено, но Жегулев, громко крякнув, вырывается... Бросились снова друг другу навстречу.

Жора неловко повернулся, и Жегулев сразу захватил его руку под мышку. Жмет. Крепко жмет! Слышно, как хрустят кости. Вот он, стальной зажим!

Пропал Жора, недаром он такой красный. Поворот.

— Здóрово!

Жора выскользнул и сразу поднял Жегулева на бедро. Богатырь пробует высвободиться, хочет опоясать Жору, но тот широк и ловок.

Козакевич быстро подхватывает Жегулева, потом с размаху опускается на колено и швыряет его на спину.

Богатырь успел вывернуться.

Он падает на бок. Оба они возятся на ковре, богатырь кряхтит, силится вырваться. Но Жора крепко держит его обеими руками, а потом приказывает стать в партер.

И вот этот черный длинноногий борец покорно переползает на карачках на середину сцены и устраивается там на ковре; его недобрые глаза блестят, на локте краснеет ссадина.

— Жора, дай «макароны»! — закричал Приходько.

Жора не слышит. Он нежно похлопывает богатыря по спине — видно, не знает, каким приемом схватить его.

— Бери двойным, Жора! — заорали с «камчатки».

Козакевич услышал.

Он пробует схватить Жегулева двойным нельсоном, но тот быстро прижимает обе руки к туловищу,— двойной не получился. Тогда Козакевич ловко и словно невзначай хватает Жегулева обеими руками за плечо, рвет его на себя. Богатырь хотел вскочить, но поскользнулся,— он лежит на боку, Жора наваливается изо всей силы. Еще немного, и Жегулев будет придавлен спиной к полу. Слышно, как тяжело кряхтит он, сопротивляясь, быстрые его ноги елозят по ковру, он пробует задержаться ими.

Ну еще, еще!

— Жми его сильней!

В зале зашумели.

Все вскакивают. Стучат скамейки.

— Давай, давай, Жора! Прибавь давления! — кричит усатый Приходько.

— Жора, ты же пил боржом! Не подкачай! — крикнули сзади.

Даже музыканты, побросав свои трубы, столпились у рампы.

Козакевич жмет богатыря широкой грудью, одна его тапочка отлетела под судейский столик, он упирается в Жегулева левым плечом, давит его изо всей силы вниз, вот-вот щека Козакевича коснется острого богатырского носа — как бы этот Жегулев со злости не откусил нашему Жоре ухо. Остается еще капелька до полной победы, как вдруг Козакевич круто вскакивает и, задыхаясь, кричит в зал:

— Это жульничество! Он меня мажет!

А Жегулев тем временем вскочил и налетает на Козакевича сзади — видно, не хочет, чтобы тот его выдавал.

Жегулев хватает Козакевича двойным нельсоном, давит ему на шею — это очень опасный прием, но Козакевич рассердился не на шутку. Собрав последние силы, он нагибается, падает на колено и перебрасывает богатыря через себя.

Падая на спину, Жегулев ударяет ногой по жестяной рампе. Точно ведро бросили! Рампа погнулась.

Жора бросается к богатырю и, схватив его за плечи, оттаскивает на середину ковра и с ходу — на обе лопатки.

Полагутин зазвонил.

Жегулев опомнился. Он хочет вырваться, он вертится на ковре так, словно это не ковер, а раскаленная плита. Теперь он страшен, очень страшен, этот никем не победимый и побежденный Козакевичем богатырь, но ему не вырваться. Жора навалился на него и не пускает ни в какую.

— Хватит! Хватит! — кричит на ухо Жоре Полагутин.

К борющимся подбегает Котька Григоренко, трогает Жору за локоть. Козакевич бьет локтем назад, Котьке по колену.

— Правильно! Не лезь!

Котька отскочил.

Полагутин смеется. Широко расставив ноги в красных бархатных брюках, он подносит звоночек к самому Жориному уху. Козакевич, сообразив наконец, что победил, вскакивает и подбегает к рампе.

— Граждане! Граждане! — силится перекричать он шум и аплодисменты.

Жора потерял и вторую тапочку, он стоит теперь на сцене в одних серых носках, волосы его слиплись на лбу, нос блестит, щеки мокрые, на потной груди очень хорошо заметна татуировка: русалка с длинным рыбьим хвостом и серп и молот.

— Та тихше, нехай скаже! — обернувшись к публике, басом кричит усатый Приходько.

Когда шум затихает, Жора Козакевич, тяжело дыша и не глядя даже на Жегулева, выкрикивает:

— Я с этим бугаем борюсь... а он... дам тебе, говорит, десятку, только поддайся... Слышите?

— То жулик, а не мастер! — кричит в ответ Приходько.

— Он врет!.. Врет!..— порываясь подойти к Жоре, кричит со стороны сцены Жегулев.

Полагутин его не пускает.

Старичок распорядитель дрожащими руками распутывает веревку занавеса.

— Ну, давай тогда еще бороться. Посмотрим, кто кого! — кричит богатырь.

Жора Козакевич тяжело прыгает в зал.

Уже снизу он отвечает Жегулеву:

— Хватит. В Одессе, на Молдаванке, поищи себе партнеров, а я с такими жуликами больше не борюсь...

— Жора, тапочки! — через весь зал кричит приятель Козакевича.

Услышав этот крик, Котька Григоренко подбирает белые тапочки и протягивает их Козакевичу.

Зажимая их под мышкой, взволнованный Жора в одних носках быстро шагает в глубь зала. И не успевает он подойти туда, крашенный масляными красками тяжелый холщовый занавес, раскручиваясь, падает вниз и закрывает сцену, судей и злого, побежденного волжского богатыря, мастера стального зажима Зота Жегулева.

Мы вышли не сразу. Мне казалось, что скандал на этом не закончился, и я предложил подождать немного. Разгоряченные и взволнованные не меньше Жоры, мы пошли в буфет, где, вытягивая из комнаты табачный дым, гудел в окне вентилятор.

Нам сразу стало прохладно. Сквозняк обдувал нас. Петька Маремуха угостил Галю шипучей сельтерской водой. Мне тоже хотелось пить, но просить у Петьки денег на воду при Гале я стыдился, а он, коротышка, не догадался сам меня угостить.

Скандала не было.

Прямо в трусах, не одеваясь, Жора Козакевич вышел на улицу. Я пожалел, что мы захватили Галю. Если бы мы были одни, можно было бы свободно пойти за Козакевичем, послушать, что он рассказывает своим приятелям. А теперь мы не спеша прошли по душному и уже пустому залу на площадку и стали медленно спускаться по лестнице.

— Василь! — сказал Петька.— Я одного не понимаю. Отчего Жора закричал: «Он меня мажет». Чем он его мазал?

— Дурной! — ответил я, смеясь.— Мажет — это значит взятку дает. Он ему хабар обещал.

— А-а-а! Хабар! А я не понял,— протянул Петька, прыгая через ступеньку.— Какой же это волжский богатырь? Разве такие богатыри бывают? Это заправский шарлатан...

На улице было совсем прохладно. Вверху, над крыльцом, горела лампочка, освещая кусок тротуара и кривую акацию.

Огни на площади уже погасли. Темная стояла сбоку типография, под аркой костельных ворот было совсем темно.

— Галочка! — послышалось сбоку.

Я увидел в темноте белую рубаху Котьки. Галя вздрогнула, оглянулась и, бросив нерешительно: «Подождите меня, хлопцы»,— быстро пошла к Григоренко.

Не знаю, о чем они говорили. Зато было очень больно стоять здесь, на освещенной полоске тротуара, и знать, что любимая тобою девушка шепчется с твоим врагом. Этот проходимец не постеснялся и при нас назвал ее нежно Галочкой. А быть может, она сама дала ему право называть себя так? Меня передернуло от этой мысли! Озадаченный Петька молчал и только посапывал.

Галя возвратилась веселая.

— Ну, пошли, хлопцы! — сказала она и, вынув кривую гребенку, зачесала назад ровные и густые волосы.

До самого бульвара мы шли молча. Хотелось спросить Галю, зачем позвал ее Котька, но гордость не позволяла. Стыдно было. Видно, Галя сама чувствовала, что это меня интересует, потому что, только мы перешагнули каменный порог бульварной калитки, она сказала:

— И чего только он ко мне пристает, не знаю. «Давай, говорит, я тебя провожу».— «Спасибо, говорю, я же с хлопцами иду, не видишь разве?» Ну и пошел домой.

Мы не ответили. Оскорбленные, мы шли молча, а Петька Маремуха, молодец, понимая, что с Галей говорить не стоит, что надо ее наказать, сказал мне:

— А знаешь, Васька, что мне Анатэма-Молния утром сегодня сказал? Пощупал мои мускулы, грудь — из тебя, говорит, хлопчик, может хороший борец выйти, у тебя, говорит, атлетическое телосложение. Атлетическое! Ты чуешь, Васька?

— Много он понимает, твой Анатэма,— отмахнулся я с досады.— Разве он борец? Он сморкач, а не борец. Не мог даже Али-Бурхана побороть...

— Ну, это еще вопрос! — ответил Маремуха с обидой, и голос его дрогнул.— Он хороший борец и правду сказал. А ну пощупай, какие у меня мускулы.

— «Пощупай, пощупай...» Зачем мне щупать! Давай просто поборемся.

— Давай! — ответил Маремуха.

— Василь, не борись, Петька тебя положит,— подшучивая, сказала Галя.

— Что? Положит? Ну, это еще посмотрим. Гайда, снимай пояс! — приказал я.

— Как? Здесь? — испугался Петька.

— А ты хотел на улице? Здесь, здесь, на полянке!

— Ну давай! — решился Петька и щелкнул пряжкой.

— Смотри, Галя, чтобы не покрали вещи,— сказал я.

Трава на полянке была мокрая от росы и скользкая, и только я схватил Петьку под мышки, мы оба сразу грохнулись на землю. Это кажется со стороны, когда сидишь в зале, что бороться легко. Петька сопел, отбивался кулаками, но я быстро повалил его, подмял под себя. Мне хотелось поскорее побороть его, чтобы выказать перед Галей свою силу. Уже оставалось совсем немного до победы, но тут Петька вывернулся и прыгнул мне на спину. Он устроился на мне, точно на лошади, и, подпрыгивая, силился повалить меня, прижать к земле. Я понатужился, стал сперва в партер, а затем на колени и опрокинул Петьку. Можно было, конечно, для быстроты дела поймать его за ногу, но я боялся, что Галя увидит.

Петька вскочил и стал хватать меня за руки. Ладони у нас были мокрые от росы, мне надоело возиться, я схватил Петьку прямым поясом и так, сжимая его изо всей силы, пошел вперед. Петька, сопротивляясь, попятился. Не знаю, сколько бы мы шли так, но, к счастью, позади оказалась ямка. Петька шагнул

в нее и покачнулся, я приналег, мы грохнулись на землю, и тут наконец я положил Маремуху на обе лопатки.

— Ну, то не по правилам! — пропыхтел Петька, вставая.— На ровном ты бы еще поборолся со мной. Так и дурак положит!

— Хватит вам! Тоже мне борцы нашлись! — сказала Галя, протягивая пояса и наши шапки.— Пойдемте!

Пошли. Темный бульвар спускался по склонам вниз, к лесенке на Выдровку. Под нашими ногами скрипел рассыпанный по аллейке речной песок. Было очень приятно, что я положил Маремуху на глазах у Гали. А она-то думала, что Петька сильнее.

По ту сторону реки белели на склонах домики Заречья. Уже всюду погасили огни. Только в одном окне горел свет. В нашей бывшей квартире было тоже темно. Интересно, каких жильцов вселил туда коммунхоз?

Когда, проводив Галю, мы переходили по узенькой деревянной кладочке через реку, Петька сказал:

— Василь! А давай отлупим Котьку, чтобы он не вязался до Гали.

— Когда?

— Или нет! Давай лучше его напугаем!

— Напугаешь его! Как же.

— Факт — напугаем! Вот послушай. Будет он к себе домой на Подзамче возвращаться, а мы его в проулочке подкараулим да тыкву навстречу выставим. И завоем, как волки. Думаешь, не побежит? Факт — побежит!

— А где ты сейчас тыкву достанешь? Они же маленькие еще.

— У меня с прошлого года осталась. Сухая. Корка одна. Вырежем рот, глаза, заклеим красной бумагой, а в середину — свечку. Вот напугается! Подумает — привидение.

— Постой, Петька,— остановил я Маремуху.— Хорошо, что напомнил. Кто тебе говорил, что в нашей совпартшколе привидения есть?

Петька оглянулся и спросил тихо:

— А что?

— Да ничего. Сколько живем — и ничего. Не слышно даже.

— Мне Сашка Бобырь говорил. Может, он набрехал, я знаю?

— А ты спроси, кто ему говорил,— интересно.

— Добре!

— Ты, случайно, завтра не увидишь его?

— Может, увижу. Я утречком на Подзамче за кукурузой пойду.

— Зайди к нему, Петька. Что тебе стоит? Ведь интересно, откуда он это взял. Какие такие привидения?

— Ну хорошо, зайду. А на борьбу пойдешь завтра?

— Давай сходим. Я приду вечером.

— Пораньше только приходи,— попросил Петька.— Так часов в семь.

— Приду обязательно,— пообещал я.— Не забудь, спроси Бобыря.

— Хорошо, спрошу! — сказал Маремуха, и мы расстались.

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Из всех хлопцев, с которыми мне приходилось встречаться, Сашка Бобырь, или Бобырюга, как мы его прозвали в трудшколе, был самый невезучий.

Однажды, еще когда существовала гимназия, мы спускались по телеграфному столбу из гимназического двора на Колокольную улицу. Все спускались быстро, а Сашка Бобырь захотел пофасонить и стал тормозить: поедет немножко, а затем с размаху останавливается. До земли оставалось совсем немного, когда Сашка заорал, да так громко, что даже те хлопцы, которые были уже у реки, побежали на его крик обратно, наверх.

Сашка спрыгнул на мостовую и, не переставая кричать, держась обеими руками за живот, помчался по Колокольной вверх, к городу. Мы пустились за ним.

Сашка с ходу ворвался в квартиру доктора Гутентага. Мы тоже хотели забежать туда, но сестра в белом халате нас не пустила. Из открытых окон на улицу доносились вопли Сашки Бобыря. Казалось, доктор Гутентаг резал его на куски.

Стоя под окнами, мы думали разное. Петька Маремуха утверждал, что, когда Сашка спускался по столбу, у него лопнул живот.

Мой приятель Юзик Куница говорил, что, наверное, Бобыря укусил тарантул. Вылез из щелки и укусил.

Вскоре крики умолкли. Мы уже решили, что Сашка не жилец на белом свете, как вдруг, заплаканный и бледный, поддерживая живот, он появился на крыльце. Следом за Бобырем, в белом колпаке и в блестящем пенсне с золоченой дужкой, вышел сам доктор Гутентаг. Он держал в руке зажатую в белой ватке черную окровавленную щепку.

Не успел Сашка спуститься по лесенке вниз, доктор окликнул его и, протягивая окровавленную щепку, сказал:

— Возьми на память!

За углом Сашка задрал рубашку и показал всем дочерна смазанный йодом и слегка вспухший живот. Заноза влезла ему под кожу от пупка до самой груди. Внизу, там, где она входила, был приклеен круглый, как пятачок, кусочек бинта.

Морщась от боли, Сашка Бобырь рассказывал, что доктор Гутентаг выдирал у него из-под кожи эту занозу здоровенными клещами и что даже дочка доктора, Ида, помогала отцу. Мы шли рядом и, поеживаясь, поглядывали на занозу. Она и в самом деле была велика, куда больше всех тех заноз, которые не раз залезали каждому из нас в босые ноги.

Сашка гордился приключением. Хотя в ушах у нас все еще стоял его крик, но он говорил, что ему ни чуточки не было больно.

— А чего же ты кричал? — спросил Куница.

— Чего кричал? А нарочно! Чтобы доктор принял меня без денег.

Пропахший йодом и коллодием Сашка несколько дней был героем нашего класса.

Вскоре история эта забылась, но прошло два месяца, и о Сашке снова заговорили.

На большой перемене мы играли в «ловитки». Сашка побежал за гимназические сараи и нечаянно прыгнул на деревянную крышку помойной ямы. Крышка мигом наклонилась, и Сашка влетел в квадратный люк.

Все думали — конец Сашке. Только подбежали к черной дыре, откуда несся кислый запах помоев, как вдруг снизу послышался глухой, придавленный крик:

— Спасите!

— Ты держишься? — осторожно заглядывая в люк, спросил Куница.

— Я стою. Тут мелко! — донеслось к нам из ямы.

Мы вытащили Сашку уздечками, снятыми наспех с директорского фаэтона.

Мокрый, с обрывками бумаги и капустных листьев на одежде, Сашка вылез из ямы и сразу же стал прыгать. В рыжих волосах застряла картофельная шелуха, от него плохо пахло.

Напрыгавшись вдоволь, Сашка разделся догола и сложил свою мокрую одежду в угол под сараем. Качая воду из колодца, хлопцы ведрами таскали ее к Сашке и окатывали его этой холодной водой с налету, как лошадь; брызги чистой воды разлетались далеко, сверкали под солнцем. Дрожа от холода, Сашка прыгал то на одной, то на другой ноге, фыркал, сморкался и быстро потирал ладонями конопатое лицо, рыжие волосы и все свое худое, покрытое гусиной кожей тело.

Сторож Никифор дал Сашке свою старую, пропахшую табаком ливрею. В этой расшитой золотыми галунами ливрее, которая была ему до пят, Сашка побежал в актовый зал и сидел там за сценой целый день, пока жена Никифора не выстирала и не высушила ему одежду. На перемене мы побежали к Сашке в актовый зал.

Завидя нас, Сашка сбросил ливрею и, голый, колесом заходил по паркетному полу.

Какой-нибудь год оставался нам до окончания трудшколы; все хлопцы выросли, поумнели, меня даже в учком выбрали — один только Сашка Бобырь свихнулся и вдруг стал прислуживать у архиерея. Днем учится, а как вечер — в Троицкую церковь. Что ему в голову взбрело, не знаю. Раза два мы нарочно ходили в церковь поглядеть, как Сашка прислуживает. Рыжий, в нарядном позолоченном стихаре, с длинным вышитым передником на груди, Сашка бродил, размахивая кадилом, по пятам седого архиерея. Сашка зажигал в церкви свечи, ту-

шил пальцами огарки и даже иногда, обходя верующих с блюдцем, собирал медяки. Всем классом мы объявили Сашке бойкот, мы нарисовали его в стенной газете «Червонный школяр», мы даже просили Лазарева, чтобы этого поповского прихвостня убрали от нас в другую группу. Один только Котька Григоренко в те дни разговаривал с Бобырем — они стали вдруг закадычными друзьями. Вместе ходили домой и сидели на одной парте.

Не знаю, сколько бы еще прислуживал Сашка архиерею, возможно, вышел бы из него дьякон или самый настоящий поп, как неожиданно из Киева возвратился старший брат Бобыря, комсомолец из ячейки печатников, Анатолий Бобырь. Три месяца учился Анатолий на курсах в Киеве и, вернувшись, стал агитировать Сашку, чтобы тот бросил своего архиерея.

Агитировал он его хорошо, потому что дня через два после приезда брата Сашка перестал ходить в Троицкую церковь. А уж через месяц сам кричал, что попы обманщики, а седой архиерей самый главный жулик. Сашка рассказал нам, как каждый раз после богослужения архиерей забирал себе изо всех кружек и с подноса половину денег, а остальные давал попам. Сашка божился, что на одних восковых свечках попы Троицкой церкви вместе с архиереем зарабатывают втрое больше, чем директор нашей трудшколы Лазарев получает жалованья.

Оказалось, что архиерейским прислужником Сашка Бобырь сделался неожиданно. Как-то вечером вместе с двумя знакомыми хлопцами он полез в сад к попу Киянице за яблоками. Сидя на дереве, Сашка тряс яблоню, а хлопцы собирали. Они уже набрали полные пазухи, как вдруг заметили Кияницу и дали ходу. Бедный Сашка остался на дереве и, ясно, удрать не смог. Медленно слезая, он думал, что Кияница выпорет его ремнем, заберет рубашку, а то еще хуже — поведет к родителям. Ничего подобного не случилось.

Только Сашка спрыгнул на траву, Кияница ласково взял его за руку и сказал:

— Ты хотел яблок, мальчик? Ну что ж, собери, сколько тебе нужно.

Сашка осторожно подобрал в траве два яблока и ждал, что вот сейчас-то поп будет его пороть, но Кияница сказал:

— Чего ж ты? Бери, бери еще. Не стесняйся!

Сашка подумал-подумал и, решив: «Была не была», стал подбирать спелые, пахучие яблоки. Он насовал яблок в карманы, насыпал полную фуражку, набросал за пазуху. «Пропадать, так с музыкой!» — решил Сашка.

Усталый и сразу отяжелевший, он стоял перед Кияницей и ждал: что же будет дальше? К большому Сашкиному удивлению, Кияница не тронул его пальцем и не только не отобрал яблоки, а даже сам открыл Сашке калитку и сказал на прощание:

— Захочешь еще яблок — попроси. Дам. А воровать не надо.

Через три дня Сашка отважился и пришел к попу снова. Прежде чем повести Сашку в сад, Кияница долго расспрашивал его о том, что делается в трудшколе, какие новые учителя пришли, как справляется Лазарев.

Ласково, нежно расспрашивал, а потом предложил Сашке помогать готовить ему уроки. Вот и стал Сашка захаживать к попу Киянице в гости, с ним вместе он и в церковь сперва ходил, а потом, когда Кияница устроил его прислужником, уже и сам бегал туда каждый вечер, когда была служба.

Меня очень удивило, что Сашка Бобырь рассказал Маремухе о привидениях в совпартшколе. После того как весной мы окончили трудшколу, я ни разу не видел Сашку Бобыря в наших краях: он пропадал где-то там, у себя на Подзамче. От кого же, интересно, он мог узнать, что в совпартшколе водятся привидения? Я с нетерпением ждал следующего вечера.

Но ничего я не узнал. Больше того, я не смог прийти к Петьке Маремухе в семь часов, как обещал.

Утром, когда я мылся под кустом сирени, во двор въехали одна за другой четыре крестьянские подводы. Возница первой подводы спросил что-то у часового. Тот показал рукой на задний двор, и подводы уехали туда.

Уже попозже, когда солнце стояло над головой, я видел, как курсанты вынесли из здания несколько тюков с бельем, одеялами и погрузили их на подводы. Я решил, что, наверное, опять где-нибудь перешла границу петлюровская банда и курсанты собираются ее ловить.

Наступило время обеда.

Я вбежал в комнату к родным и услышал, как отец сказал тетке:

— Ну, довольно!

— Ничего не довольно! — вдруг закричала тетка.— Ты мне рот не закроешь. Говорила и буду говорить.

— Ну и говори,— сказал отец мягко.

— А вот и скажу. Сознательные, сознательные, а...

— Ты опять за свое, Марья? — повышая голос, сказал отец.

— А что, разве неправду говорю? Правду! Жили на Заречье — ничего не случалось. А сюда переехали, и сразу пошло: суп украли, ложки...

— Тише, Марья! — крикнул отец.

— Ложки украли...

— Тише, говорю!

— Ничего не тише. Ложки украли, а завтра...

— Замолчи! И не скули! — вставая, совсем громко закричал отец.— Замучила ты меня своими ложками. Так вот слушай! Я сам взял ложки и передал их в комиссию помощи беспризорным. Понятно? А будешь скулить — остальные отдам.

Тетка сразу замолчала. Она смотрела на отца с недоверием. Я не знаю, поверила ли она ему.

Чтобы спасти меня от упреков тетки, отец наговорил на себя такое. Это здорово! Мне стало жаль отца. «Я скотина, скотина! — думал я.— Ну зачем мне надо было продавать эти ложки? Попросил бы у отца денег, ведь наверняка дал бы...» И суп этот еще сюда затесался. А с ним совсем смешно получилось.

На следующий день после ночной тревоги отец вернулся домой грязный. Под утро за городом прошел сильный дождь. Черные брюки отца были до коленей забрызганы дорожной грязью, а ботинки промокли и были издали похожи на два куска глины. Стоя на крыльце, отец щепочкой очищал с ботинок грязь. Он бросал комья этой липкой желтоватой грязи вниз и рассказывал мне о тревоге. Оказывается, вечером накануне банда Солтыса остановила возле Вапнярки скорый поезд Одесса — Москва. Забрав из почтового вагона деньги, бандиты подались к румынской границе. Чоновцы поджидали банду в поле, недалеко от Проскуровского шоссе, но бандиты изменили направление и свернули к Могилеву.

Когда мне отец рассказывал, как лежали они в засаде, подбежала тетка с пустой кастрюлей в руках и спросила:

— Ты суп вытащил, признавайся?

— Да не мешайте, тетя. Не брал я ваш суп,— отмахнулся я.

Лишь позже, когда тетка ушла, я вспомнил, что оставил суп открытым на ободе колодца. Видно, ночью к нему подобралась собака или другой какой зверь, потому что тетка нашла пустую кастрюлю в бурьяне. Сознаться, что я вытащил суп, после того как я сказал «нет», было поздно, и я думал — все обошлось.

Но тут я ошибся. А может, пойти признаться сейчас тетке, что это я вытащил суп? Пусть не думает на курсантов. Эх, была не была! Пойду признаюсь.

Я шагнул к двери, открыл ее и увидел отца.

— Куда, Василь?

— Да я хотел...

— Пойдем побеседуем,— предложил отец и вошел в кухню.

Я захлопнул дверь и подошел к плите.

— Садись,— сказал отец и показал на табуретку.

Оба мы сели.

— Не надоело тебе еще баклуши бить, Василь?

— Немного надоело,— ответил я тихо.

— Я тоже думаю, что надоело. Ходишь болтаешься как неприкаянный. От безделья легко всякие глупости в голову лезут. Ложки, например...

— Но я не виноват, тато. Занятия на рабфаке еще не скоро. Что мне делать, скажи? Все хлопцы тоже ничего не делают...

— Я не знаю, что хлопцы твои делают, но думаю, что, пока там суд да дело, не вредно было бы тебе поработать немного.

Я в ожидании смотрел на отца. Ссора с теткой, видно, его мало расстроила,— спокойный, молчаливый, он сидел на табуретке, глядел на меня и посмеивался.

— Ну так что же, Василь?
— А я не знаю...
— Опять «не знаю»?
— Ну, ты говори, а я...
— Ну хорошо, я скажу.

Отец поднялся и зашагал по комнате. Помолчав немного, он подошел ко мне вплотную и сказал:

— Видишь, Василь, у нашей совпартшколы есть совхоз. Не так чтоб очень далеко, не так чтоб и очень близко. На Днестре. Место там хорошее, сады, река. Сегодня в этот совхоз на работу уезжает группа курсантов. Как ты думаешь, не проехаться ли и тебе с ними?

— Меня разве возьмут?
— Возьмут. Я уже говорил с начальником школы.
— Хорошо. Я поеду.
— Поедешь?
— Поеду.
— Но только придется тебе в совхозе поработать, Василь. Баклуши там бить нельзя. И кофе с барышнями по вечерам распивать не удастся. Словом, сам себе будешь зарабатывать на хлеб. Я в твои годы уже давно этим занимался и не жалею. Согласен?
— Согласен.
— Тогда живенько давай укладывайся — и марш к Полевому. На задний двор.
— Полевой тоже едет?
— Да. Он начальник отряда. Поживей собирайся.
— Хорошо, тато, хорошо! — выкрикнул я и, вскочив на плиту, потащил вниз матрац, простыни и подушку.
— Матрац брать не надо,— сказал отец.— А постель возьми. И пальто возьми.
— Зачем пальто? Жарко же!
— Возьми, говорю. Пригодится.

Я снял с крюка свое старое осеннее пальто, сложил его вдвое и завязал в один узел вместе с полотенцем, простынями и подушкой. Отец стоял у меня за спиной и наблюдал, как я укладывался.

КТО УБЕЖАЛ?

Мы уехали — восемнадцать человек, и я даже не смог повидать перед отъездом Галю. Когда наша подвода катилась по крепостному мосту, я, привстав, увидел внизу под скалами крышу Галиного домика. Мне стало очень тоскливо, что я не простился с Галей. Возможно, в эту минуту она сидела в комнате и даже не думала, что я, надолго покидая город, проезжаю мимо. Побежать сказать ей об этом я не мог. Никто бы не стал меня дожидаться. Да и так все еще не верилось, что курсанты взяли меня в совхоз, что я, как взрослый, еду работать вместе с ними.

За городом, только выехали на шлях, ведущий к Днестру, быстро стемнело. Проселочная дорога вилась под самыми огородами и кукурузными полями. Лужи воды блестели на ней. Комья густой грязи то и дело срывались с колес и летели в кукурузу, слышно было, как чавкают копытами, увязая в грязи, кони, как мелкие брызги стучат в деревянные борта подводы. Вскоре стало так вязко, что пришлось свернуть на шоссе, хотя это было и не очень здорово для селянских коней: все они были подкованы только на передние ноги. По шоссе поехали быстрее, сразу затрясло, зубы выцокивали на каждом ухабе. Я ехал на второй телеге, подложив под себя узел с одеялом, но все равно это мало помогало, и я мечтал, как бы поскорее свернуть опять на мягкую проселочную дорогу. Возница Шершень, дядька лет тридцати, в холщовых брюках, коричневой свитке и солдатской фуражке с обломанным козырьком, то и дело подхлестывал низеньких, но бодрых коней сыромятным кнутом. Кнут громко щелкал, и я жалел коней: и так им доставалось — каждый острый камешек, должно быть, больно впивался

в их неподкованные задние ноги со стертыми копытами. Сказать же вознице, чтобы он не бил коней, я не решался и всю дорогу ехал молча.

На задней подводе курсанты пели:

Мы идем на смену старым,
Утомившимся борцам
Мировым зажечь пожаром
Пролетарские сердца...

Эта песня, заглушаемая грохотом колес, разносилась далеко над молчаливыми полями в свежем после недавнего дождя воздухе.

Рядом со мной сидели четверо незнакомых курсантов. Трое из них шутили, переговаривались, а четвертый спал, подложив себе под голову мешок с овсом.

Прислушиваясь к разговору курсантов, глядя на мелькающие вдоль дороги черные шапки лип, я с тревогой думал о том, что ожидает меня впереди.

А вдруг я буду плохо работать в совхозе и меня выгонят? Надо будет поспевать за взрослыми, чтобы никто и слова дурного про меня не сказал.

Хотя наш город находился в пятнадцати верстах от границы, я еще ни разу не бывал на Днестре, а знал только по рассказам, что это широкая и очень быстрая река. Правда, от вокзала до самого Днестра тянулась одноколейная линия железной дороги, но пассажирские поезда по ней не ходили. Только изредка, раза два в месяц, направлялся к Днестру за песком и галькой балластный поезд, составленный из расшатанных открытых платформ. Его медленно тянул туда по заросшему бурьяном пути маневровый паровоз «овечка».

Петьке Маремухе удалось однажды попасть вместе с демонстрантами на такой балластный поезд. Он тоже ходил по берегу, пел песни, а потом, вернувшись, долго рассказывал, как хорошо купаться в Днестре, какое там славное, песчаное дно, какой отлогий берег, без ям и обрывов, куда лучше, чем в Смотриче.

Петька божился, что с нашего берега отлично видна Бессарабия, он говорил, что на него даже закричал румынский солдат.

Что и говорить — я с завистью слушал рассказ Маремухи. Мне очень хотелось побывать на Днестре самому, но я не думал, что это случится так скоро.

Ехали мы долго, миновали сонное село с белыми хатками среди деревьев, мелькнул на околице у колодца высокий, поднятый к темному небу журавель. Шершень дернул вожжи, мы бесшумно свернули с мощеного тракта на проселочную дорогу, и здесь я почувствовал, что близок Днестр. Оттуда, с горизонта, лежащего перед нами, где звездное и уже чистое от дождевых туч небо соединялось с черными холмами, потянуло влагой. Земля под нами была уже сухая, дождь здесь не падал, и я понял, что сыростью тянет от Днестра.

Вскоре, как только мы перевалили через бугор и поехали вниз, провожаемые далеким лаем собак, я увидел белую полосу речного тумана. Туман стлался низко над Днестром, сворачивал влево и пропадал за поворотом реки далеко в приднестровских оврагах. Похоже было, что совсем недавно кто-то промчался перед нами на горящей арбе с сеном, и густой дымный след указывал дорогу неизвестного возницы.

Чем ближе мы подъезжали к Днестру, тем становилось холоднее, и я уже подумал было, не надеть ли пальто, как вдруг из оврага вынырнула первая белая хатка.

— Ну вот и приехали,— сказал сидевший рядом со мной курсант.

— Отставить песню! Селян побудите,— донесся с задней подводы голос Полевого.

Песня замолкла, и сейчас был слышен только скрип колес нашего обоза.

Село тянулось долго, хаты были разбросаны на буграх, далеко одна от другой. Почуяв знакомые места, весело заржала наша левая коренная, и Шершень ласково хлопнул ее вожжой по крупу.

— Это и есть совхоз, а, дядько? — спросил я Шершня.

— Ага, хлопчик,— ответил он.— До революции тут была панская экономия, а теперь — совхоз.

Подвода остановилась перед высокими железными воротами, за ними виднелись какие-то строения, сад.

Шершень спрыгнул с облучка и, подойдя к воротам, постучал в них кнутом.

— Диду! — закричал Шершень.

За решеткой ворот показался сторож с винтовкой за плечом.

— Это ты, Шершень? — спросил он неуверенно.

— Я, я. И гостей привез. Открывай быстрее,— откликнулся Шершень и зазвенел цепью, закрывающей ворота.

Как только обе их половинки разъединились, мы сразу въехали во двор совхоза и остановились возле конюшни, откуда слышалось приглушенное ржанье лошадей. Хорошо после долгой дороги спрыгнуть на твердую землю. Вокруг было тихо и тепло. К нам подъехали другие подводы; пока возницы распрягали лошадей, курсанты собрались вокруг Полевого.

— Вещи снимать, товарищ Полевой? — спросил кто-то.

— Погодите,— ответил Полевой и обратился к сторожу: — Дед, а заведующий где?

— Нет заведующего!

— Как нет?

— Заведующий поехал в Витовтов Брод.

— Давно?

— Да еще светло было. Гонец оттуда прискакал, и вдвоем они уехали. Не знаю, то ли правда, но люди в селе говорили, будто банда Мамалыги границу снова перешла. И всех партийных туда в район созвали.

— Товарищ начальник, если хотите, я разбужу Ковальского,— подойдя к Полевому, предложил Шершень.

— А кто он такой?

— Старший рабочий.

— Не стоит, пожалуй. Пусть спит. Мы с ним утром познакомимся,— ответил Полевой.— Ты вот лучше скажи, сеновал далеко здесь?

— Сеновал? А вон. Туточки сено прошлогоднее сложено,— махая кнутом в сторону длинного темного строения, сказал Шершень.

— Ну и чу́дно,— сказал Полевой.— Ночлег обеспечен, теперь как с ужином быть? И чайку выпить не мешало бы...

— Где же ты его сваришь, чай-то? — спросил кто-то хмуро.

— Ну, это пустяки,— ответил Полевой.

— Пустяки-то пустяки, а вот заварку не взяли,— сказал стоявший около меня высокий курсант.

— Правда?

— Верное слово,— подтвердил курсант.

— Худо, брат, дело,— печально сказал Полевой.— Какой же чай без заварки? Хотя...— И, заметив меня, неожиданно спросил: — Манджура?

— Да! — откликнулся я робко.

— Ты знаешь такое дерево — сливу?

Я молчал, думая, что Полевой меня разыгрывает.

— Да ты что — онемел? Сливу знаешь? Венгерку, например, или ренклод?

— Отчего ж,— ответил я тихо Полевому.

— Ну так вот, будь другом, беги в сад и наломай веток сливы. Только молоденьких. И почище. Понял?

— Понял,— ответил я и спросил у сторожа: — А где у вас сад?

— Вон за конюшней. Сперва баштан будет, за ним сад,— ответил сторож, попыхивая самокруткой.

Все деревья казались одной породы на фоне темного неба. Если бы кто другой приказал мне, я бы никогда не пошел сюда, но ослушаться приказа Полевого было трудно. И я, задирая голову, ощупывая листья на ветвях, долго отыскивал среди обкопанных фруктовых деревьев совхозного сада сливу. Липкие росистые лопухи хватали меня за ноги. Наконец уже на окраине сада я заметил молодое, стройное деревце, очень похожее на сливу. Чиркнул спичкой —в самом деле слива, да еще и не простая, а настоящий чернослив. Это я заметил по крупным созревающим плодам, которые заблестели в редкой листве, как только я зажег спичку.

Я мигом наломал с одного этого дерева пучок веток и, чтобы не возвращаться обратно по темному саду, решил перелезть через забор и пройти к нашим по дороге. Забор виднелся уже совсем близко. Из-за темных конюшен через весь сад

доносились ко мне сюда голоса курсантов, вспыхивали отблески костра. Подойдя к забору, я увидел, что он не такой уж низенький, каким казался издали. Положив наверх пучок веток, я с трудом вскарабкался на забор. Сразу показалось, что земля очень далеко внизу, но иного выхода не было, и я с шумом прыгнул в придорожный бурьян.

И не успел я выпрямиться, как из-под куста, черневшего вблизи дороги, испуганный моим падением, точно из засады, выскочил человек в белом, с винтовкой в руке, и сразу же бросился опрометью в поле, к стогам.

Он мигом исчез в кукурузе, только слышно было, как звонко затрещали стебли под его быстрыми шагами.

Что было сил я помчался по дороге в другую сторону, к своим.

Задыхаясь, я влетел во двор совхоза и, протягивая Полевому пучок веток, рассказал про белого человека.

— Не почудилось? — недоверчиво спросил Полевой.

— Да нет же. И с винтовкой,— обиделся я.

— Бес его знает, кто он! — задумчиво сказал Полевой.— Может, это бандюга какой нас выслеживает? — И распорядился: — Товарищ Шведов, товарищ Бажура! Возьмите винтовки — и туда. Живо. Прощупайте огород. А ты, дед,— сказал Полевой сторожу,— прогуляйся с ними тоже, чтобы случайно на проволоку не напоролись.

Когда курсанты ушли, наступило молчание. Чудилось — вот-вот грохнет там, возле стогов, тревожный выстрел и все помчатся на подмогу. Но время шло, далеко за садом, возможно, на другой стороне Днестра, в Бессарабии, лаяли собаки, пламя костра освещало насторожившихся курсантов, коренастого Полевого.

Его сухощавое лицо теперь казалось смуглым, козырек буденовки был нарав не с густыми бровями. Полевой в упор смотрел на закипающую в котле воду, но видно было, что весь он превратился в слух и силится уловить каждый шорох там, за садом.

Вода в чугунном котле закипела. Большие ключи поднялись со дна, и сразу развеялся пар над котлом.

— Ну ладно, хлопцы! — сказал Полевой.— Помолчали — и хватит. Видно, разведка наша ничего не обнаружила. А вот чай мы сейчас смастерим знатный.— С этими словами Полевой стряхнул со сливовых веточек росу и бросил их в кипящую воду вместе с таблетками сахарина.

Прутики варились в котле долго. Уже вернулись с разведки, никого не найдя, курсанты со сторожем. Уже были разгружены все подводы и снаряжение сложено тут же, на траву, а Полевой все поглядывал на кипящую воду, изредка помешивая ее ложкой. Наконец он скомандовал:

— Кушать подано! Давайте ложку и подходите за чаем.

Он сам разлил в алюминиевые кружки чай и, когда все расселись вокруг котла, одну за другой вылил две поварешки кипятку в костер.

Сидя на траве под звездным небом, мы все пили из кружек очень горячий и горьковатый, пахнущий осенним садом чай. Мы закусывали его ржаным хлебом. Каким вкусным показался мне этот чай! Я выпил его целых две кружки, обжег себе губы, рот и кончил чаевничать последним.

— Разобрать винтовки! — послышался в стороне голос Полевого.

Курсанты пошли за винтовками. Я сидел на траве и видел, как они получали у Полевого патроны, оружие.

— Кто еще не брал винтовку? — строго спросил Полевой.

— Все брали,— ответил кто-то.

— Какой все, когда одна винтовка лишняя? — сказал Полевой.— Может, ушел кто?

— Все здесь,— твердо ответил Шведов.

— Манджура! — выкрикнул Полевой.

— Я тут!

— Брал винтовку?

— А разве можно?

— Да ты что думаешь — мы тебя в городки взяли сюда играть? — сказал Полевой.— «Можно, можно»! — И, подойдя ближе, протягивая винтовку, сказал: — Держи! И не баловаться. А будешь баловаться — в комсомол не примем.

Когда ближе к полуночи, выставив у вещей в помощь сторожу часовых, курсанты и я направились к сеновалу спать, в руках у меня была настоящая тяжелая трехлинейная винтовка с пристегнутым к стволу пахучим кожаным ремнем. Держа винтовку наперевес в одной руке, а другой прижимая постель, я пошел следом за курсантами по сену. Они забрались повыше под навес, и я не хотел отстать. Поминутно проваливаясь в сухом сене, я карабкался все выше и выше к балкам, под темную крышу, очень довольный тем, что мне выдали винтовку. Радостно было услышать слова Полевого о комсомоле.

Значит, отец сохранил тайну моего преступления и ничего не рассказал курсантам о ложках.

Расстилая одеяла и простыни, курсанты устраивались на ночлег, и вся эта высокая многопудовая куча сена колыхалась под нами. Было очень мягко, тепло и уютно под крышей.

— Только не курить, ребята, смотрите! — приказал Полевой из темноты.

Я расположился вблизи Полевого. Придерживая винтовку, чтобы она случайно не соскользнула вниз под сеновал, я постлал простыню, разделся, лег на нее и, зажав между ногами винтовку, закутался в легкое пикейное одеяло. Несколько минут я полежал не шевелясь, с открытыми глазами, прислушиваясь к отдаленному говору часовых да ржанию лошадей в конюшне. Потом, чувствуя, что засыпаю, продел руку под винтовочный ремень и так, прижимая к телу скользкую, холодную винтовку, заснул. Спал я крепко, но к утру один другого страшнее пошли кошмары. Я почувствовал, что на меня наваливается тяжелый груз, даже дышать стало трудно, я хотел отбиться и ушибся. Открыв глаза, я не мог сперва сообразить, где нахожусь. Вокруг было сено. Винтовка лежала у меня на груди, а сам я находился в какой-то норе под заваленной сеном старой бричкой. Должно быть, во сне я ворочался и постепенно, завернутый с головой в одеяло, съехал на самое дно сеновала и нырнул в пустоту, под бричку. Рядом слышались чьи-то голоса, смех. Быстро свернув одеяло и простыню, волоча их за собой и разрывая одной рукой проход, я выбрался наружу, в лопухи, жмурясь от яркого утреннего солнца.

— Вот и зверь последний — пожалуйста! — сказал Полевой, показывая на меня курсантам.

Я и в самом деле, наверное, походил на зверя: сонный, с растрепанными волосами, в нижнем белье да еще с винтовкой в руках.

Курсанты стояли возле сеновала уже одетые, причесанные. Они подсмеивались надо мной. Лужи воды да пятна мыльной пены белели позади, в траве. Видно, курсанты давно умылись.

Заметив мое смущение, Полевой сказал:

— Ну ладно, забирай свои манатки да пойдем с нами жилье искать. Пошли, товарищи! — обратился он к курсантам.— Времени остается мало — глядишь, и на работу позовут.

Я наскоро свернул простыню и одеяло в один тючок, натянул брюки и рубашку и, взяв за ремень винтовку, пустился догонять курсантов. Вместе с Полевым они уже подходили к высокому двухэтажному дому под железной крышей, что стоял на краю усадьбы, вдали от конюшни и амбаров. Дом этот окружали заросшие высоким бурьяном клумбы, окна в доме были выбиты, а по его стенам и ржавым водосточным трубам вился дикий виноград.

НИКИТА ИЗ БАЛТЫ

Меня приставили подручным к тому самому курсанту, что выставил меня в городе с комсомольского собрания. До полудня вдвоем с ним мы подвозили к молотилке пшеницу. Выглядел этот курсант совсем молодо — низенький, худощавый, с гладкой смуглой кожей. Курсант оказался старше меня только на три года, но первое время держался как взрослый и разговаривал со мной свысока.

Когда мы приехали на поле, он похвастался, что мигом забросает подводу снопами.

— Поспевай укладывать,— важно сказал он и взял вилы.

Однако уже после седьмого снопа вилы в его руках задрожали, кое-как он протянул мне тугой сноп и, утирая пот со лба, буркнул:

— Тяжелые, собаки! Перекурим это дело.

Пока он свертывал цигарку и закуривал, я спрыгнул на землю, подхватил блестящие вилы и с размаху вогнал их в пышный верхний сноп, прикрывающий соседнюю, еще не початую копну.

Очень трудно было выбрасывать без передышки на подводу один за другим скользкие и тяжелые снопы. Но я швырял их, не отдыхая. Хотелось доказать курсанту, что я сильнее его. «Ты остался на закрытом собрании, у тебя широкие бриджи, буденовка, сапоги, ты старше меня, а я работаю лучше. Вот смотри!» — думал я, прокалывая острыми вилами сухие слежавшиеся снопы. За шиворот сыпались колосья пшеницы, осот. Уже болела спина, шея, волосы были в соломенной трухе, но я не успокаивался и все кидал, пока не перебросал на подводу целую копну — пятнадцать снопов. Лишь когда на месте бывшей копны осталась лысая полянка с примятым куколем, травой да уходящей глубоко под землю мышиной норкой, я прислонил вилы к подводе. Тяжело дыша, медленно, как ни в чем не бывало подошел к сидевшему на колючей стерне курсанту.

— Ты, я вижу, лихой работник,— сказал он, вставая.— Не зря тебя ко мне напарником назначили. У меня тоже была когда-то сила, да вот с голодухи я ее порастерял немного. Ну ладно, полезай теперь наверх, а я пошвыряю.

Так, меняясь, мы скоро загрузили подводу снопами, притянули их увесистой жердью, называемой «рубелем», и, забравшись наверх, не спеша, чтобы не рассыпать снопы, поехали обратно в совхоз. Только мы свернули на пыльную дорогу, я осторожно спросил:

— А как вас зовут?

— Во-первых, ты мне не «выкай». Я тебе не барон и не князь,— сказал курсант важно.— А зовут меня Коломеец, Никита Федорович Коломеец, честь имею! — Он снял буденовку, сидя поклонился, и чуб его сразу распушило ветром.

— Ты... что — беспризорник?

— Чего вдруг? — спросил Коломеец удивленно.

— Ну а где же... ты голодал? Родных у тебя нет?

— Почему? Есть. В Балте остались. Но я с ними разошелся на почве религиозных убеждений,— ответил Коломеец небрежно и загадочно.

Я посмотрел на Коломейца с недоверием, но видно было, что он сказал правду. И тут я решил, что мой новый знакомый — поповский сын. Словно угадывая мои мысли, Коломеец прищурился, хлестнул батогом коней и сказал:

— Только не думай, что я из духовного звания. Наоборот. Батька мой — самый главный в Балте пролетарий был, он у меня на вальцовой мельнице машинистом работал, но в бога тем не менее верил и порол меня, как цуцика. И никак я его перевоспитать не мог. Все комнаты в иконах, лампадки горят, как пост — мяса ни-ни-ни, а я должен страдать. И страдал долго в семейной неволе, но однажды забыл, что пост, принес домой кольцо колбасы. Вкусной такой — с перцем, с чесноком, просвечивается вся. Сижу себе на завалинке и жую. А окно в хату открыто, а в хате батька Священное писание читает. А мне ни к чему. Уплетаю колбасу за оба уха. Всю бы съел, да батька услышал из комнаты запах и шасть ко мне с ремнем. Выпорол здорово. Больно. Ремень солдатский, знаешь, с пряжкой медной. Убежал я в город, хожу по улицам и плачу. Спина болит, сердце болит, и жить не хочется. Обидно ведь — за какую-то поганую колбасу выдрали. Свернул на главную улицу, а там клуб комсомольский, все окна светятся, а у дверей афишки: лекция о происхождении религии, и вход свободный. И как раз, понимаешь, на мое счастье, лектор хороший попался. Азартный такой. Волосы, как у попа, длинные, густые, бегает по сцене и все кричит: бога нет, религия — буржуйские сказки, а человек на самом деле произошел от обезьяны. Зло меня взяло. Вот, думаю, бога нет, а меня из-за этого самого бога выпороли. Пришел домой — пусто. Все в церковь пошли, а ключ лежит под собачьей будкой. Отпер я хату, зажег лампу — иконы так и заиграли вокруг, святые на меня отовсюду глядят, злые такие, старые. Схватил я самых главных со стены да и забросил их в помойную яму,— святые, святые, а сразу на дно пошли. Бросил — и страшно стало. Ну, теперь, думаю, крышка — погиб Никита. Не жить тебе с родными.

Убьет, думаю, отец, как вернется из церкви. Оставил я ему записку, а в той записке написал: «Тато, вы меня выпороли, что я в пост ел колбасу, а на самом деле бога нет, все это буржуйские сказки, и я в отместку вам покидал ваших святых в помойную яму. Пока». Махнул я за помощью в комсомол, служил сторожем в комсомольском клубе, голодал здорово, такой пост мне был — лучше не вспоминать. Ну а погодя послал меня уком комсомола в совпартшколу.

— Товарищ Коломеец...

— Можешь называть меня Никитой.

— Никита, а чего ты с курсантами в футбол не играешь?

— В футбол? Ну вот глупости! — Коломеец пожал плечами.— В футбол одни сопливые играют, стану я с ними пачкаться!

— Какие сопливые? — едва не закричал я.— А Полевой, а Марущак? Даже Картамышев и тот не гнушается играть, а ведь его, я слышал, в уком отзывают.

— Ну, ну, ну. Ты не горячись. Я просто пошутил. А вообще футбол я считаю бессмысленной тратой времени. Лучше Рубакина почитать. Читал его книжицы?

— Нет.

— Занятные, познавательные. Я, когда комсомольский клуб в Балте охранял, ими увлекался. Все разойдутся, я насобираю под скамейками окурков, потушу всюду свет, только на сцене оставлю, притащу диванчик туда из библиотеки, лягу, сукном красным укроюсь и читаю. Кушать хочется зверски, а нечего. Вот и покуриваю и читаю.

— А ты «Спартака» читал? — решил я похвастаться.

Но он, не слушая меня, сказал задумчиво:

— Да, Балта... Хороший город Балта. У меня в этом городе дивчина одна осталась. Люся. Хотя ты, положим, еще пацан и в этих делах ничего не понимаешь.

— Я не понимаю? Ого! — сказал я обиженно.— У меня у самого в городе девушка есть.

Коломеец посмотрел на меня и засмеялся.

— Ох ты, франт-герой! С тобой, оказывается, держи ухо востро! — сказал он весело и хлестнул лошадей.

Мы проезжали мимо баштана. Он весь зарос вьющейся низко, у самой земли, ботвой. Кое-где из этой темно-зеленой ботвы выглядывали круглые бока арбузов, желтые дыни. Посреди баштана, сложенный из жердей, покрытых лебедой, чернел шалаш сторожа.

— Дядько! — сложив руки лодочкой, закричал Коломеец.

Из шалаша в коричневой домотканой коротайке, с тяжелой клюкой в руках вышел сторож.

— Чего вам? — спросил он подозрительно.

— Продайте арбуза, дядько,— попросил Коломеец.

— Вы чьи будете?

— Мы городские. В совхозе работаем.

Старик постоял минуту молча, а потом зашагал по баштану, обстукивая арбузы. Искал он недолго и, выйдя на дорогу, протянул Коломейцу продолговатый арбузик.

— Берить. О це добрый кавунчик.

— Спасибо, дядько. Сколько вам грошей?

— Ничего! — ответил сторож.

— Почему же? — удивился Коломеец.— Даром мы не возьмем.

— Берите, берите,— сказал дядько.— Хлопцы вы молодые, грошей у вас, наверное, мало — возьмите так. Друга сатана просто бы полезла в баштан, а вы люди аккуратные, попросили по-доброму — возьмите потому бесплатно.

— Ну, спасибо вам! — сказал Коломеец, погоняя лошадей.— Дай вам боже еще столько прожить!

Только мы отъехали, Коломеец ударил арбузом по деревянной перекладине, арбуз с треском раскололся, и липкий его сок потек на сухие колосья пшеницы.

— Желтый! Смотри! — удивился Коломеец.— Ну ничего, хоть желтый, но спелый. Видишь — косточки черные.

Я взял меньшую часть арбуза и, прижав ко рту, стал выедать сердцевину. Арбуз был очень сочный, и тепловатый сладкий сок капал мне на рубашку, я глотал куски арбуза и был благодарен Коломейцу за его угощение. Что и говорить, он, видно, ловкий и находчивый парень. С ним не пропадешь.

Кони медленно везли тяжелую подводу. Высоко в синем небе пели невидимые в солнечных лучах жаворонки. Где-то за зелеными холмами протекал Днестр. И далеко, на совхозном току, равномерно попыхивал локомобиль; черный дым из его трубы подымался над совхозным садом.

Один за другим я швырял огрызки арбузной корки на дорогу, и они сразу зарывались в густую дорожную пыль.

У совхозного мостика нас встретил Полевой.

Он стоял у перил босой, без фуражки, с расстегнутым воротом гимнастерки.

— Вас, ребятки, за смертью только посылать,— сказал он хмуро.— Отчего так долго?

— Какое долго? — обиделся Коломеец.— Да мы раньше всех, товарищ Полевой.

— Погоди, залезу,— попросил тот. Он быстро влез к нам наверх и скомандовал: — Поехали, да поживей!

Коломеец щелкнул кнутом, кони рванули вперед, и подвода покатилась, шатаясь, мимо огороженного каменным забором совхозного сада.

— Остальные скоро там? — спросил Полевой.

— Еще накладывают,— доложил Коломеец.— Мы первые управились.

— Там, понимаешь, хлопцы наши поднажали — пшеница кончается, и нечего больше молотить,— уже несколько мягче объяснил Полевой.— Так вот, если вы первые,— добавил он,— идите работать к молотилке. Снопы возить будут совхозные рабочие. У них, я думаю, это скорее получится.

Сперва мне было обидно, что нас так быстро сняли с подвозки снопов, но как только я влез на решетчатую площадку молотилки и стал позади Коломейца, готовясь ему помогать, я понял, что новая работа будет куда интереснее.

Мы с нашей подводой поспели вовремя. Подвезенные раньше снопы кончились, только мы въехали на ток. Длинная, выкрашенная в кирпичный цвет молотилка «Эльворти» работала сейчас на холостом ходу. Курсанты завязывали мешки с зерном, подбирали с утоптанной земли остатки соломы. Совхозный ток был расположен поодаль от нашего жилья, у разрушенных глиняных сараев. Видно, когда-то здесь были строения панской экономии, а теперь лишь глиняные стены напоминали о них.

Небольшой локомобиль-паровичок с высокой задымленной трубой попыхивал рядом, соединенный с молотилкой широким кожаным ремнем. То и дело тугой этот ремень осыпали толченой канифолью, и в воздухе пахло смолой. Поодаль виднелся высокий стог соломы. По верху стога бродили с вилами и граблями, разравнивая солому, сельские девушки в пестрых платках из грубого полотна.

Курсанты волочили по земле от молотилки к стогу перехваченные веревками охапки соломы, подавали ее наверх девушкам, те принимали солому и утаптывали ее. Оттуда, со стога, доносились к нам веселые голоса, смех девушек — видно, работа спорилась.

— Ну, принимай, хлопче, первый на почин,— сказал мне снизу наш вчерашний возница Шершень, который уступил место у барабана Коломейцу. С этими словами Шершень протянул мне с подводы сноп; взяв его руками, я покачнулся и чуть не полетел вниз — сноп был очень тяжелый. Я быстро распутал тугое, хорошо сплетенное перевясло и, разделив сноп надвое, передвинул половину его Коломейцу.

Тот разворошил пшеницу и толкнул ее вперед колосьями в барабан. Кривые блестящие зубья захватили пшеничные колоски, смяли их, потащили к себе стебли, молотилка, получив пищу, затряслась, зашумела, из барабана поднялась пыль.

— Поехали! — крикнул Коломеец и, сдвинув на затылок буденовку, протяжно засвистал на весь ток.

— Никита свистит — значит, дело будет. Поднажали, ребята! — сказал, смеясь, Полевой, подгребая ногой к локомобилю солому.

Чтобы не стоять без дела, Полевой помогал кочегару. Сейчас кочегара не было видно. Полевой нагнулся и, подобрав охапку соломы, ловко швырнул ее в топку локомобиля. Упав на раскаленное поддувало, солома задымилась, первые языки огня прорвались наружу, мигом охватили ее со всех сторон.

— Давай, давай! Чего загляделся? — Коломеец сердито подтолкнул меня.

Я поспешно двинул к нему вторую половину снопа.

Пыль все больше рвалась наружу из барабана, защекотало в носу. Чихая, я один за другим подсовывал Коломейцу развязанные снопы. Жарко пекло солнце, мелкие колючки осота впивались в ладони, но выковыривать их не было времени. «После иголкой выну»,— думал я, разрывая перевясла. Весело на душе было, что я работаю наравне со взрослыми, да еще у самого барабана — не где-нибудь. Поглядел бы на меня сейчас Петька Маремуха. Ему и не снилось такое — стоять на площадке молотилки. Ведь Маремуха даже и Котьке Григоренко завидовал, что тот у медника Захаржевского работает. А что Котька по сравнению со мной? Подумаешь! Гордый и довольный, я принимал от Шершня снопы. Шершень в рваных холщовых штанах бродил по снопам с вилами. Вот он начинает новый ряд.

«Ну-ка подай этот крайний широкий снопик — его, пожалуй, на три порции хватит»,— подумал я.

Шершень, словно угадывая мои мысли, перебросил мне сноп. Только я развязал перевясло, к моим ногам со стуком упало что-то тяжелое. Я нагнулся и увидел на решетке длинный ржавый болт.

— Никита, смотри! — шепнул я Коломейцу.

Тот поднял болт, нахмурился.

— В самом снопе?

— Ага!

— Давай, давай, Никита! — закричали снизу.

— Да погоди ты! — отмахнулся Коломеец и, переведя ремень на холостой маховичок, подозвал Полевого.

Когда я объяснил, где был найден болт, Полевой сказал:

— Не иначе — кулацкие штучки. Случайно такие железяки в снопы не попадают. Это не перепелка.— И тихо предупредил меня: — Ты гляди, Манджура, может, еще чего найдешь. Подсунули болт — могут и бомбу в солому заплести.

Молотьба пошла дальше.

Теперь, прежде чем подвинуть сноп Коломейцу, я прощупывал солому; а он то и дело подгонял меня. Я здорово упарился, рубашка прилипла к спине, соленый пот затекал в глаза, я протирал их рукавом и думал: поскорей бы шабаш.

— Эй, шевелись, Коломеец! — покрикивали все чаще и чаще курсанты.

Они вошли во вкус, быстро отгребали солому, подставляли к жестяному желобу пустые рогожные мешки и сердились, когда теплое зерно шло слабой струйкой.

Перед обедом все пошли на Днестр купаться. Дорога на реку пролегала под забором совхоза. Мы миновали то место, где вчера я, прыгая в бурьян, спугнул неизвестного человека. Совхозный сад днем выглядел не таким густым, как ночью.

Днестр заблестел сразу же за каменным забором. Он показался мне с первого взгляда очень широким — раз в пять шире нашего Смотрича. Тот я переплывал с одного маху, а здесь, пожалуй, пришлось бы попыхтеть. Мы с Коломейцем сели у самой воды. Гористый бессарабский берег был хорошо виден и отсюда, снизу.

На глинистых холмах зазеленели виноградники, за ними на бугре, далеко от Днестра, виднелось село — белые хатки под соломенными крышами, садики, на краю села тускло поблескивал купол церкви. Оттуда, с околицы села, к Днестру спускалось вниз по крутым склонам несколько тропинок. Они вели к двум чернеющим на воде мельницам. Издали эти черные дощатые мельницы, закрепленные на якорях посреди реки и соединенные с берегом узенькими кладочками, были похожи на сорванные наводнением курятники. Бессарабский берег был

пустынен, только у левой мельницы, стоя на мостках, стирали белье две женщины. Когда они шлепали вальками, гулкие хлопки доносились к нам сюда вместе с поскрипыванием мельничных жерновов.

— Ну что ж, выкупаемся, а, Василь? — сказал Коломеец и стащил с ноги покрытый пылью сапог.

Когда он стянул суконные бриджи и нижнюю рубашку, я увидел, что вся спина и грудь его густо поросли черными волосами.

Коломеец нежно провел ладонью по волосатой груди и сказал с гордостью:

— Это у меня с детства, и притом наследственное. Батько мой тоже волосатый — ужас.

— Эй, Никита! — крикнул издали Коломейцу широкоплечий, рослый курсант Бажура.— Поплыли на тот берег?

— Туда не доплыву,— ответил, вставая и поеживаясь, Коломеец,— заморился. Немного давай поплаваем — и все.

Оба они — широкоплечий Бажура и низенький, щуплый Коломеец — вошли в чистую воду Днестра и тихо поплыли.

Ко мне подсел Полевой.

— Ну как, Манджура, подружился с Коломейцем? Хорошо работали вдвоем? — спросил Полевой.

— Вы же сами видели, как работали.

— Коломеец — парень хороший, компанейский.

— А в футбол не играет, говорит: детская игра,— сказал я Полевому.

— Ну, это старая история,— сказал, смеясь, Полевой.— Это тебе, новичку, он накрутил чего-то. Он первые дни, как приехал в совпартшколу, таким гоголем ходил — не подступись. Да и стал хвастаться: я-де, мол, самый главный был футболист в Балте. В сборной города голкипера играл. С Одессой встречались — ни одного мяча не пропустил. Все уши-то развесили, а я думаю: вот удача-то. Хоть одного игрока настоящего бог послал. Ну, вышли на тренировку, и Коломейца взяли с собой. Стал он в голу, и тут конфуз получился. Ни одного мяча поймать не может. Руками машет, как журавль крыльями, а мы ему меж ног мячик за мячиком накатываем. Вот смеху-то было после! Ну, он, понятно, обиделся и перестал играть.

В эту минуту Коломеец вышел из реки и направился к нам. На его волосатой груди блестели капли воды.

— Я вот, Никита, рассказываю твоему напарнику, как ты в футбол с нами играл,— подмигивая мне, сказал Полевой.

— А-а-а, в футбол! — сконфуженно протянул Коломеец и запрыгал на одной ноге, делая вид, что ему в ухо попала вода. Напрыгавшись и не глядя на Полевого, он сказал мне: — Ну, чего сидишь? Пошли купаться!

Вода в Днестре была холодная и течение очень быстрое.

Не успел я проплыть и десяти шагов, как меня снесло далеко вниз.

Плыть напрямик за Коломейцем на середину реки я не решился и медленно поплыл вдоль берега. Плавал я совсем немного, а отнесло меня порядком. Обратно к своей одежде я побежал по отмели.

— Ты где устроился, Манджура? — следя за тем, как я одеваюсь, спросил Полевой.

— На балконе.

— Спать будешь на балконе?

— Да.

— Ну а вещи где?

— Тоже на балконе.

— А если дождь?

— Ничего. Как-нибудь.

— Смотри,— сказал Полевой,— как бы ты не прогадал. А то перебирайся лучше к нам, вниз. Как раз место одно в уголке есть свободное. Сухо, тепло, и никакой тебе дождь не будет страшен.

— Да нет, товарищ Полевой, спасибо. Мне на балконе лучше будет.

— Как знаешь,— сказал Полевой и, попробовав рукой воду, стал раздеваться.

БУРЖУАЗНЫЕ ПРЕДРАССУДКИ

На балконе у меня было не так уж плохо. Обвитый с двух сторон диким виноградом, он напоминал беседку. Прямо на расшатанные, выжженные солнцем половицы я бросил соломенный матрац, а вещи спрятал в нише около дверей, ведущих в бывшую помещичью столовую. Там, разложив на полу хрустящие матрацы, устроились курсанты. Можно было, конечно, и мне улечься рядом с ними, но этот полутемный зал с заколоченными снаружи ставнями не понравился мне. Слишком сумрачно, прохладно в нем было.

— Э, да у тебя здесь шикарно! — заходя ко мне в гости на балкон, сказал Коломеец.— Как в тропическом лесу. И лианы растут! — Коломеец потрогал виноградную лозу, обвивавшую железный кронштейн, и, опершись на шаткие перила балкона, посмотрел вдаль.

Днестр отсюда не был виден, он протекал глубоко в лощине, зато можно было хорошо разглядеть бессарабское село на том берегу.

— Знаешь что, молодой человек? — сказал, обернувшись, Коломеец.— Мне здесь определенно нравится: пейзаж, воздух и все такое — словом, я поселюсь с тобой. Не возражаешь?

— А чего ж мне возражать? Давай перебирайся! — ответил я радостно.

Когда уже совсем стемнело, мы с Коломейцем разложили поудобнее рядышком оба матраца и начали укладываться.

Несколько минут мы лежали молча. Над ухом у меня тонко прозвенел комар. На бессарабском берегу протяжно пели грустную молдавскую дойну.

— Словно хоронят кого-то,— сказал я.

— Чего ж им веселиться? — ответил Коломеец.— Жмут их, бедняг, румынские бояре, жмут жандармы, попы всякие,— от такой, брат, жизни краковяк не спляшешь.

— А ты как думаешь: Бессарабия когда-нибудь будет советской? — спросил я у Коломейца.

— Рано или поздно — весь мир пойдет по нашему пути! — затягиваясь цигаркой, мечтательно сказал Коломеец.— А Бессарабия — тем более. Это же наш край. Ты разве не знаешь, что румынские бояре захватили ее жульнически, когда мы генералов колошматили?

Налетел ветер, и верхушки тополей под балконом тихо зашелестели, заскрипел флюгер на крыше. Ветер обдал меня табачным дымом. Коломеец лежал на своем матраце, до подбородка натянув ворсистое солдатское одеяло. В зубах его тлел огонек папироски. Он сжимал ее крепко, как старый, заправский курильщик. Я смотрел искоса на Коломейца и завидовал ему: всего на три года меня старше, а куда там. Вот я никак не могу научиться курить, сколько раз пробовал и каждый раз бросаю. Какое удовольствие глотать противный табачный дым? Долго после него во рту погано, в горле першит и есть не хочется. Какая бы ни была вкусная еда — все равно что бумагу жуешь.

— Хорошо ему, черту, было здесь. Один, а такой дом имел! — сказал Коломеец.

— Кому? — не понял я.

— Да этому, Григоренко.

— Кому, кому?

— Ну чего ты закомукал? Помещику здешнему, Григоренко.

— Какой это Григоренко? Ты его знаешь?

— Еще бы! — ухмыльнулся Коломеец.— Каждую субботу к нему в гости приезжал, а на этом балконе мы чай...

— Нет, правда. Ты его не знаешь?

— Откуда я его могу знать? Вот чудак! — обозлился Коломеец.— Что я — помещичьего роду или исправник какой? Мне сегодня Шершень рассказывал, что этим имением владел пан по фамилии Григоренко.

— А он не доктор ли, случайно, был?

— Он?.. Подожди... Подожди... Шершень мне что-то говорил и о докторе. Дай припомнить. Нет, этот помещик сам не был доктором, а у него брат был в городе — доктор медицины или что-то в этом роде. А ты что — знаешь его?

— Еще бы!

И я рассказал Коломейцу, за что был расстрелян большевиками доктор Григоренко.

— Смотри, мерзавец какой,— удивился Коломеец.— Значит, оба брата были нашими врагами! Один большевиков Петлюре выдавал, а другой и посейчас людей на той стороне мучит.

— А разве помещик на той стороне?

— Ну!.. В том-то и фокус, милый. Его отсюда, из имения, как Советская власть установилась, крестьяне выгнали, имение под совхоз, а он собрал манатки да и перемахнул на другой берег. И живет сейчас у бояр припеваючи. И на той стороне ведь его имение.

— То, что видно отсюда?

— Ну да. Все его, собственное. А племянничек у нас? У медника, говоришь, работает?

— Ага. У Захаржевского.

— Все они, сукины дети, орабочиваются сейчас! — сказал Коломеец.— Без стажа-то им зарез. Ни в вуз поступить, никуда. Вот и подстраиваются.

— Этот Котька и в совпартшколу ходит.

— А что ему делать в совпартшколе?

— Он к садовнику Корыбко ходит...

— Постой, я этого панича, кажется, видел... Он такой смуглый, ловкий!

— Да, да!

— Ну, значит, он самый. Я пришел как-то в спортзал и вижу — на брусьях незнакомый паренек раскачивается. «Что вам, говорю, гражданин, здесь нужно? Посторонним, говорю, сюда вход воспрещен». А он забросил ноги на брусья и отвечает: «Я, говорит, не посторонний. Я к вашему сотруднику, садовнику Корыбко, пришел». Значит, он и есть последний из могикан?

— Он совсем не Могикан, его фамилия Григоренко...

— Ох, Василь, Василь! — рассмеялся Коломеец.— Да ты, я вижу, совсем необразованный. Чудак-рыбак.

— Эй, Никита! — донесся из комнаты чей-то глухой голос.— Ты скоро заснешь в своем скворечнике? Сам не спишь, так хоть людям не мешай.

Не обращая внимания, Коломеец продолжал:

— Почему я назвал этого Григоренко последним из могикан? — вот вопрос. А потому, что он есть последний отпрыск вымирающего класса помещиков и феодалов. Таких субъектов на нашей земле больше не будет. Понял?

Я ничего не ответил. Не хотелось, чтобы из комнаты, где спали курсанты, прикрикнули и на меня.

На той стороне Днестра по-прежнему пели протяжную дойну. «Пока я здесь работаю, — подумал я,— этот прохвост будет отбивать у меня Галю. А Галя, может, до сегодняшнего дня еще не знает, что я уехал, что меня нет в городе. Надо будет обязательно написать Гале письмо!» — решил я, засыпая.

Но прошло много дней, а я все никак не мог написать Гале. Утром, только всходило солнце, я бежал к Днестру, раздевался на скалах и с разбегу прыгал в быструю воду, фыркал, мылся в ней, прогоняя остатки сна, затем мчался в столовую, где звенела уже посуда. Кормили нас по утрам просто, но сытно — мамалыгой. Давали мамалыгу с разными приправами: то с кислым молоком, то с холодным компотом из сушеных фруктов, то со вчерашним холодным борщом, то политую сметаной, то приносили ее на стол плавающей в свежем парном молоке утреннего удоя, то накладывали в миски посыпанную румяными, шипящими шкварками.

И каждый раз она была вкусная, рассыпчатая, горячая, ослепительно желтого цвета, дымящаяся, пахучая! Она возвышалась янтарными глыбами в глубоких алюминиевых мисках, привезенных нами из города.

Плотно поев такой мамалыги, нельзя было болтаться без дела. Работа так и прилипала к рукам, веселая, дружная работа у молотилки, среди запахов свежей пшеницы, под песни сельских девчат, шуршание приводного ремня, посапывание задымленного локомобиля на совхозном току, под горячим летним солнцем в нескольких десятках шагов от быстрого и прохладного Днестра.

На обед нам тоже подавали мамалыгу, но только уже вместо хлеба к первому и второму. Повар резал ее, густо сваренную, кирпичиками и, пока мы купались после работы, расставлял кирпичики этой мамалыги возле каждой миски.

После обеда было очень жарко, невозможно было усидеть в накаленном солнцем доме. Мы расходились по совхозному саду и отдыхали кто на густой траве под высокими тополями, кто в пустых прохладных амбарах на охапках сухого прошлогоднего сена. Тихо становилось в послеобеденное время в совхозе: пастухи угоняли весь скот к Днестру, коровы стояли там по колено в холодной воде, изредка обмахиваясь хвостами от назойливых слепней, лошади пережевывали в конюшнях овес. Весь огромный совхозный двор был заставлен пустыми подводами. Засыпав лошадям корма, конюхи уходили кто в село, кто в сад.

Хорошо было лежать после обеда где-нибудь под деревом на траве и видеть, как дрожит в нескольких шагах от тебя накаленный солнцем воздух, как медленно проплывают по чистому небу случайные прозрачные тучки, слушать, как позвякивают колокольцами коровы у Днестра, как прозвенит и замолкнет на той стороне звоночек извозчика-балагулы.

Удобно было лежать так на мягкой траве и чувствовать, как ноет все уставшее за день тело. Радостно было разглядывать исцарапанные соломой загорелые руки,— я уже набил себе на ладонях изрядные мозоли. Приятно было сознавать, что хлеб, который ты сейчас ешь, уже не отцовский, а заработанный тобою, что вкусная рассыпчатая мамалыга, которую подает к обеду повар Махтеич, принадлежит тебе по праву, потому что ты заработал ее, так же как и другие курсанты, вот этими исцарапанными своими руками. Славно было лежать так под высоким островерхим тополем, размышляя о том, что ты начинаешь жить самостоятельно, что перед тобой открыта дорога в большую и такую заманчивую жизнь.

Обычно стоило мне только расположиться где-либо на отдых под тополем либо под густыми кустами жасмина, как в ту же минуту неизвестно откуда появлялся совхозный пес Рябко, черной с белым масти, с подрубленными ушами и мохнатым хвостом, полным репейника. Уже издали, подходя, Рябко глядел на меня добрыми глазами, вилял хвостом и всячески пытался подмазаться ко мне, чтобы я разрешил ему улечься у меня в ногах. Но у Рябко были блохи, поэтому я сразу же отгонял пса подальше. Он растягивался где-нибудь неподалеку в тени, положив на грязные лапы мохнатую морду с черным носом и, высунув сухой от жары язык, тяжело дышал. Скоро он успокаивался, закрывал глаза и начинал дремать. Я пробовал читать «Политграмоту», которую дал мне Коломеец, но читалось после обеда очень плохо. Я многого не понимал, что было написано в этой книжке, и все время думал о Гале.

«Вот отдохну чуть-чуть,— думал я,— пойду в красный уголок и напишу ей письмо, большое, нежное». Я придумывал самые ласковые слова для этого письма. Я представлял себе, как удивится Галя, получив от меня письмо, и постепенно с мыслями о Гале засыпал. Просыпался я с тяжелой от жары головой. Шумели возле дома, играя в городки, курсанты. На дворе стоял уже вечер.

С той ночи, как я спугнул в бурьяне под забором неизвестного человека, в совхозе было спокойно. Однако в соседних селах пошаливали бандиты. Пересылали их через Днестр на нашу сторону румынские бояре. Приходили они и из панской Польши. Сами они вряд ли бы рискнули действовать так нахально, если бы за спиной у их хозяев — польской и румынской буржуазии — не стояла мировая буржуазия.

Капиталисты тех стран, подготовляя новое нападение на Советскую страну, прибирали к своим рукам всякую нечисть, изгнанную народом за границу и ненавидящую Советскую власть. Особенно в темные пасмурные ночи бандиты нередко переправлялись на советский берег и растекались по соседним селам. Они соединялись с местными кулаками, с бывшими петлюровцами, грабили на дорогах проезжих, нападали на сельсоветы, на комитеты незаможных селян, поджигали хаты бедняков, убивали коммунистов. Чем ближе к осени, тем наглее становились бандиты: они знали, что на полях собран большой урожай, что крестьянство живет лучше, чем раньше. А хозяева бандитов хотели, чтобы все было наоборот — чтобы снова вернулись на эти богатые земли из-за границы паны и помещики, чтобы наш совхоз, в котором работали сейчас курсанты, опять был превращен в панское имение.

Побаиваясь выйти в открытую против Советской власти, иностранные капиталисты старались вредить нам через своих посыльных — бандитов.

Вооруженные ручными пулеметами системы Шош и Льюис, подвесив на поясах ручные гранаты, с бумажниками, набитыми американскими долларами, бандиты ночью шныряли по дорогам. Днем же они скрывались в лесах, в амбарах у местных кулаков, в глубоких, сырых погребах под кулацкими хатами.

К совхозу бандиты боялись подбираться — видно, знали, что у всех нас есть оружие. Однако чувствовалось, что наш совхоз — первое социалистическое хозяйство на берегу Днестра, в котором работает много коммунистов и комсомольцев,— не дает бандитам покоя. Не давал совхоз покоя и тем, что жили на другой стороне реки. Был на том берегу Днестра бугор, с которого легко можно было разглядеть совхозный ток. Часто на этом бугре проезжие помещики останавливали фаэтоны, кабриолеты и подолгу смотрели в бинокли, как идет в совхозе молотьба.

А молотьба шла хорошо — все больше и больше тугих, тяжелых мешков со свежей пшеницей свозили в амбары. Вырастал за током огромный стог: целыми днями к нему подгребали обмолоченную солому, втаскивали ее охапками наверх. С этого стога можно было увидеть даже город Хотин, расположенный на берегу Днестра, у самой румынской границы.

После двух недель работы в совхозе в субботу я получил свою первую получку — одиннадцать рублей тридцать семь копеек. Сначала я решил приберечь все деньги до возвращения в город, но потом не удержался и пошел в сельский кооператив. Там я купил себе полфунта маковников, розовое репейное масло, чтобы лучше лежали волосы, гребешок в кожаном футлярчике и флакон одеколона «Ландыш». Идя обратно, я нюхал одеколон и, когда уже подходил к совхозу, возле конюшен, не удержался, открыл пробку и вылил себе на ладонь немножко одеколона, побрызгал им вышитую сорочку, натер лицо. Одеколон был крепкий. Я света невзвидел. Кое-как засунув флакон в карман, я побежал, зажмурив глаза, по дорожке, ведущей к дому. Я хотел, чтобы одеколон побыстрее выветрился. Но не успел я пробежать десяти шагов, как наткнулся на чью-то вытянутую руку. Приоткрыв один глаз, я увидел сквозь слезы Коломейца.

— Ты что, милый друг, в жмурки играешь? — спросил Коломеец весело. Но в ту же минуту лицо его изменилось, и он, широко раздувая ноздри, стал нюхать воздух. Потом, взяв меня за плечи, Коломеец понюхал мою рубашку и грозно спросил:

— Ты, кажется, надушился, молодой человек?

— Надушился,— ответил я беспечно, вытирая слезы.— Пахучий одеколон, правда? «Ландыш» называется.

— Это что еще за буржуазные предрассудки? — закричал Коломеец.— «Надушился»! Да ты, может, завтра еще галстук наденешь или воротничок! Кто это тебя надоумил?

— А что — разве нельзя? — спросил я дрогнувшим голосом.

— Он еще спрашивает — смотрите! — сказал Коломеец.— Да ты что, милый, дурачком прикидываешься? Ты что — хочешь, чтобы мы тебя на курсантском собрании за эти отрыжки прошлого проработали?

— Но я же не знал, что нельзя душиться одеколоном. Я думал: раз одеколон продается в кооперативе, значит, мне можно его купить и надушиться.

— «Продается в кооперативе»! — передразнил меня Коломеец.— Разные вина тоже продаются в кооперативе, так что, ты завтра, может быть, и вин напьешься? Одеколон, брат, это буржуазная штучка, им золотая молодежь пользуется — лорды всякие, аристократы, а тебе, рабочему подростку, эта роскошь не нужна.

— Какие лорды? — закричал я.— Разве у нас есть лорды?

Коломеец протянул небрежно:

— Ну, не лорды, так нэпманы всякие, у кого денег много. Частный капитал, словом. А ты рабочий подросток. Понял? Ты в комсомол хочешь вступать. А я тебе как другу советую, не как комсомолец беспартийному, а как другу — понял? — ты дурь эту выбрось из головы. Одеколон, галстуки и всякая прочая дребедень — это мещанство, и я тебе советую забыть об этом, иначе тебе комсомола никогда не видать.

Он так меня накачал, что я сразу же ушел из совхоза проветриваться. За много шагов огибал я попадавшихся мне навстречу курсантов: боялся, как бы

и они не подняли меня на смех за то, что от меня пахнет «Ландышем». В тенистом овраге, который спускался к Днестру, ко мне подбежал, виляя хвостом, Рябко. Жалко мне было расставаться с одеколоном, но иного выхода не было. Я вытащил флакон из кармана, открыл пробку и вылил весь одеколон на взлохмаченную, запорошенную дорожной пылью шерсть Рябко. «Чтоб не пропадало!» — решил я. Рябко, не подозревая дурного, радостно взвизгнул и, думая, что я бросил ему еду, принялся шарить носом по земле, но потом он насторожился, повел носом и сделал стойку, глядя назад так, словно ему на спину уселся шмель. Наконец отважившись, Рябко лизнул смоченную одеколоном шерсть, обжегся и, поджав хвост, помчался, скуля, обратно к совхозу. С каждой минутой он скулил все громче, будто ему перебили ногу, и вдруг залаял. Мне стало жаль Рябко. «Вот скотина,— подумал я про себя.— Ну что тебе дурного сделала собака?» Чтобы снова вернуть к себе любовь Рябко, я твердо решил во время ужина насобирать ему побольше костей.

У Днестра я разделся, долго махал рубашкой, проветривая ее, потом выкупался и хорошо вымыл лицо, чтобы совсем уничтожить запах одеколона. На обратном пути я встретил Полевого.

— Купался, Манджура? — спросил Полевой.

— Немножко.

— Ну, пойдем сейчас на ток, посмотрим, как механики разбирают молотилку.

— А что — разве сломалась молотилка?

— Да пока что не сломалась, но подшипник в ней чего-то заедает, вот я и вызвал рабочих с завода посмотреть, что и как.

Едва поспевая за Полевым, я осторожно спросил его:

— Скажите, товарищ Полевой, почему в кооперации продают буржуазные предрассудки?

— Какие буржуазные предрассудки? — насторожился Полевой.

— А одеколон...

— Одеколон... А что такое?

— Ну вот комсомольцу, скажем, душиться им же нельзя?

— Вообще говоря... Нет, почему? После бритья, скажем, в целях гигиены. А зачем тебе нужен одеколон? Усов у тебя еще нет.

— А если вырастут усы, тогда можно?

— Что — можно?

— Одеколоном душиться?

— А чего ж нельзя? Душись себе на здоровье, если денег много.

Сейчас мне стало досадно, что я послушал Никиту и вылил такой дорогой одеколон. Рубль сорок копеек вылил псу на спину. Зачем? Побоялся, что меня проработают. Не надо было слушать Коломейца.

На совхозном току, разостлав вблизи молотилки рогожные мешки, перебирали чугунные детали двое рабочих. Когда мы подошли ближе, в одном из них я узнал Козакевича, литейщика с завода «Мотор». Он стоял на коленях перед коленчатым валом и промерял его диаметр.

Замасленная кепка Жоры Козакевича была сдвинута на затылок, выгоревшая под солнцем, когда-то синяя, а теперь уже ставшая голубой блуза-толстовка плотно облегала его широкие лопатки.

— Ну что, серьезное дело, товарищи? — спросил Полевой.

— Если баббит и кузнечное горно есть,— сказал Жора, вставая,— залью наново подшипники, а товарищ вот подшабрит — и все тут.

— Баббит есть,— сказал Полевой,— а горно у кузнеца в селе попросим. Как долго протянется?

— Ремонт? Не очень долго. День-полтора. Словом, как-нибудь быстренько управимся! — сказал Жора и, заметив, что я разглядываю его, спросил: — А ты что, молодой человек, уставился на меня?

— Я был однажды в клубе, когда вы положили на обе лопатки приезжего борца Жегулева,— ответил я, растерявшись.

— Вот оно что! — протянул Жора весело.— Ты, значит, борец тоже. Ну что же, очень приятно, будем знакомы! — И он протянул мне тяжелую смуглую руку.

Я неловко подал ему свою, а Полевой, стоявший рядом, улыбнулся. Я был рад, что познакомился с Жорой.

За ужином Козакевич сказал мне, что после окончания ремонта он думает выехать в город. Он согласился взять от меня письмо и опустить его в городе в почтовый ящик. Сразу же после ужина я пошел в красный уголок и стал сочинять там письмо Гале.

«Дорогая моя Галя! — писал я в этом письме.— Ты, верно, думаешь, что я в городе и не хочу приходить к тебе, а я совсем не в городе, а на границе, в совхозе, где работаю машинистом у молотилки. Между прочим, совхоз этот находится в бывшем имении дяди Котьки Григоренко. Здесь очень хорошо, я зарабатываю много денег и каждый день по три раза купаюсь в Днестре. В первый день, когда мы приехали — это было ночью,— я выследил бандита, который подкарауливал у забора наших курсантов. Бандит испугался меня и бросился убегать, так мы его и не поймали, а если бы поймали, пришлось бы ему плохо. Вообще говоря, здесь очень опасно, потому что вокруг ходит много бандитов, у нас у всех есть оружие, я тоже получил винтовку и сорок патронов. Скоро будет моя очередь дежурить всю ночь у нашего дома, все будут спать, а я их буду охранять. Я уже, Галя, научился хорошо работать и очень доволен тем, что поехал сюда, скоро здесь поспеют хорошие груши, и я, когда буду возвращаться в город, привезу этих груш побольше. Сейчас здесь уже поспел чернослив, его можно рвать и есть сколько угодно — не то что в городе. А о том, что сколько угодно можно собирать падалицу, и говорить нечего. Мне иногда бывает очень скучно без тебя, Галя. Правда, здесь много курсантов, с которыми я дружен, много работает в совхозе сельских девчат, но ни одна из них не может заменить мне тебя. Я даже не смотрю в их сторону. Вот. Знай это!!!

Если у тебя будет время, напиши мне, как ты живешь, ходишь ли в кинематограф и какие картины смотрела, что теперь представляют в клубе совторгслужащих и какая погода стоит в городе. Здесь у нас очень жарко, я сплю ночью на балконе под одной простыней, только к утру приходится натягивать одеяло, потому что по утрам с Днестра идет туман. Если ты помнишь и... уважаешь меня, то обязательно напиши, потому что мне без тебя тоскливо. Да, если ты увидишь Петьку Маремуху, скажи ему, что интересуюсь, узнал ли он у Сашки Бобыря то, что я просил его узнать перед отъездом. Если Петька Маремуха узнал то, что я просил его узнать, пусть он сходит в совпартшколу, найдет там курсанта Марущака и все ему расскажет, что узнал от Сашки Бобыря. Расскажи Петьке, что мне здесь хорошо, и пусть он мне напишет, как поживают у него мои голуби. Пусть Петька напишет обо всем подробно. Да, я чуть не забыл тебе написать, Галя, что сюда к нам прибыл ремонтировать молотилку Жора Козакевич с завода «Мотор» — тот самый борец-любитель, что в клубе совторгслужащих положил на обе лопатки чемпиона стального зажима Зота Жегулева. Он со мной познакомился и показал уже мне таких два приема французской борьбы, что только ахнешь. Теперь, когда я выучу эти приемы, я не только Петьку Маремуху, но и самого борца Леву Анатэму-Молнию смогу положить. Я здесь поправился, кормят нас хорошо, и у меня от работы стали такие мускулы, как у борца. Уже устала у меня рука, потому кончаю, напиши мне ответ. С товарищеским приветом Василий Манджура».

Кончив писать, я промокнул письмо старым номером газеты «Беднота» и, прежде чем вложить исписанный листок в конверт, вынул из кармана флакон из-под одеколона «Ландыш». На дне матового флакона сохранилось еще несколько капелек прозрачной зеленоватой жидкости. Я открыл пробку и покропил остатками одеколона письмо Гале. Снова хорошо запахло вокруг. Чтобы этот приятный запах не улетучился, я поскорее запрятал письмо и, проведя языком по блестящим краям конверта, плотно и наглухо заклеил его.

ВЕРХОМ НА КАШТАНЕ

Уже кончилась жатва, и надо было поскорее подвозить к молотилке последнюю пшеницу. Но, как назло, стояли такие жаркие дни, что вязать снопы можно было только по ночам или на рассвете. Когда сноп обхватывали тугим перевяслом в жару, сухое зерно высыпалось из колосьев на пыльную, изборожденную трещинами землю. А ночи были лунные, одна другой яснее, полная луна подымалась вечерами из-за высоких тополей, освещала обвитый плющом и диким виноградом

совхозный дом, пересеченный глубоким оврагом тенистый сад и обрывистый берег у широкого Днестра.

В такие лунные ночи с нашего балкона хорошо было видно, как поблескивала на току под луной высокая труба локомобиля. Но с каждым днем луна появлялась на небе все позднее,— мы понимали, что вскоре она исчезнет совсем и наступят иные ночи, хоть и звездные, но темные. Надо было, пока не поздно, ловить полнолуние и убирать хлеб,— вот почему в пятницу с утра все свободные люди выехали на дальнее поле жать последнюю пшеницу.

До самого вечера там, в шести верстах от совхоза, на обрывистом и глинистом берегу реки трещали жатки-лобогрейки, жатки-самоскидки; их зубчатые крылья взлетали над ровным посевом пшеницы и то и дело сбрасывали на колючую стерню охапки срезанных острыми ножами колосьев.

Много нажали курсанты за этот день: там, где раньше от пыльной проселочной дороги на Жванец и до самого обрыва уходило широкое густое поле пшеницы, теперь сплошь виднелась колючая стерня, и на ней лежали кучки срезанных тяжелых колосьев.

Холмики нарытой кротами земли, мышиные норки, следы давних селянских меж, свитые у кочек гнезда жаворонков — все это, ранее запрятанное в густой пшенице, теперь обнажилось и стало заметным.

Курсанты возвратились в совхоз, когда стемнело, голодные, загорелые за целый день работы на солнце. Возвратился с ними и я. Ближе к вечеру я отвез туда, на дальнее поле, целую бочку холодной ключевой воды; ее распили почти всю, лишь на донышке, на уровне дубового крана, звонко плескались недопитые остатки. Только я выпряг из оглобель худую облезлую лошадь, ко мне подошел Полевой.

— Вот что, Василь,— сказал он,— ты не очень заморился?

— Совсем не заморился. Я же воду возил. Разве это работа?

— Тогда слушай. Народ сегодня поработал крепко. После ужина все как завалятся спать, никого не разбудишь. Придется тебе сегодня подежурить на поле. Как взойдет луна, там будут вязать сельские девчата. Ну а вы вдвоем с Шершнем берите коней и тоже подавайтесь к ним на поле. Девчата, как повяжут, лягут спать, а вы будете сторожить, как бы какой куркуль не утащил снопы. Ну а пока, до луны, ты, как поужинаешь, поспи. Шершень тебя разбудит.

— Зачем мне спать? Я и так обойдусь,— отказался я и подумал: «Интересно, какую же лошадь мне дадут на дежурство?»

Дали Каштана, резвого карего коня, который до полудня возил снопы, а все остальное время отдыхал в прохладной конюшне.

До сих пор мне удавалось ездить на совхозных конях только к водопою — до Днестра и обратно. К реке кони шли спокойно, медленно входили в быструю воду и стояли в ней, пофыркивая, по нескольку минут, но зато обратно они неслись галопом, обгоняя друг друга,— знали, что в деревянных яслях уже засыпан для них овес. Приходилось изо всей силы натягивать поводья, чтобы не слететь. А один раз я купал серого жеребца, по странной кличке Холера, так он как понес меня на обратном пути — я уж думал: все!

Я бил Холеру пятками в мягкие бока, натягивая изо всей силы узду, но все было напрасно: жеребец обогнал всех лошадей и, похрапывая, мчался к совхозному двору. Проносились мимо деревья, столбы, вот мы обогнули каменный забор, вот влетели в распахнутые ворота. Увидев конюшню, жеребец рванул так, что я сразу же переехал на круп и выпустил поводья. Бревенчатые стены конюшни приближались, все шире казалась черная дыра дверей.

Остановить коня я уже не мог и понимал, что он затащит меня прямо к стойлу. Но это было бы еще ничего. Уже когда до конюшни оставалось несколько шагов, я сообразил, что ударюсь о деревянную притолоку. На всем скаку я спрыгнул с Холеры и зарылся ногами в мягкую кучу навоза. Только это меня и спасло, а не то лежать бы мне под стеной с разбитым черепом.

Каштан, на котором мне предстояло ехать караулить, был хоть и норовистый конек, но зато куда спокойнее Холеры. Шершень сам набросил на спину Каштана кожаное седло, затянул подпруги, хлопнул коня по шее и, когда все было готово, скомандовал:

— Садись, хлопче. Поедем!

Я поправил винтовку за плечами, передвинув запрятанный в кобуру зауэр по ремню назад, чтобы не мешал садиться, и подошел к коню. Но не успел я схватить его за гриву, как Шершень засмеялся и сказал:

— Да кто же на коня так садится? На коня надо с левого боку влезать. Ты что — верхом не ездил, что ли?

— Ездил, но только в седле никогда...— сказал я смущенно и обошел Каштана.

И в самом деле, вскакивать с левого боку оказалось гораздо удобнее.

Я взобрался на коня и сразу же всадил ноги глубоко в стремена. Земля оказалась далеко внизу, темная и опасная. Каштан стоял тихо и только силился перегрызть удила. Шершень поправил поводья у Серого и легко, как заправский кавалерист, вскочил в седло.

— Н-но, с дымом! — сказал он и подобрал поводья.

Мы выехали со двора рысью, и тут я понял, что совсем не умею ездить верхом. Каштан так меня подбрасывал, что зубы у меня стучали. Да еще винтовка хлопала меня по спине: я слишком свободно отпустил ремень. Остерегаясь, как бы не прикусить язык, я старался попасть в такт бегу коня, но сперва мне это не удавалось. Ноги свободно болтались в стременах, я прыгал в седле так, что мне казалось — вот-вот лопнут подпруги и я свалюсь в канаву. Хорошо, что Шершень ехал впереди, шагах в десяти от меня, и ничего не замечал. Но больше всего мне было жалко коня. Я чувствовал, что набиваю ему холку; казалось, что от каждого моего прыжка седло царапает кожу на спине у Каштана, натирает кровавые раны.

Наконец я поймал носками стремена и попробовал приподниматься. Стало лучше. Когда Каштан выбрасывал правую ногу, я старался облегчить ему это и тоже слегка приподнимался в стремени. Постепенно меня перестало швырять, я уже взлетал плавнее и чувствовал, что начинаю понимать коня. Осмелев, я выпрямился, как настоящий конник.

«Вот бы меня сейчас увидела Галя,— подумал я.— Верхом, да еще с винтовкой! А что, если прискакать к ней сейчас в город да вызвать ее из дому? Она выскочит из хаты, испуганная, еще сонная, ничего не понимая, а я скажу, не слезая с лошади: «Прости, что я тебя разбудил, Галя, но меня посылают по важному секретному делу, куда — я не могу сказать, и вот я решил с тобой попрощаться. Может, меня убьют, так ты никому не рассказывай, что я заезжал к тебе, но запомни, что я буду любить тебя до самой смерти!»

Скажу все это спокойно, не слезая с коня, и протяну Гале через плетень руку. Она пожмет ее, все еще ничего не понимая. Возможно, она попросит меня слезть, но я слезать не буду, а сразу же поверну коня и ускачу в темноту, не оглядываясь.

И наверное, Галя всю ночь до самого утра не заснет; подушка ее будет мокрая от слез, Галя будет ворочаться, вздыхать, плакать; в эту ночь она очень пожалеет, что ходила с Котькой...

А что, если в самом деле махнуть в город?»

Но в эту минуту Каштан оступился, ноги мои выскочили из стремян, и я едва-едва не перелетел через голову коня. «Вот был бы номер!» — подумал я, нащупывая стремена и все еще держась за луку седла. Вместе с толчком разлетелись и мечты о Гале. Снова замелькали в глазах сады, в густой их зелени белели хаты, кое-где в маленьких квадратных окошечках светились уже коптилки, и подымалась над полями еще красная луна...

За околицей Шершень погнал Серого галопом, Каштан тоже рванулся вдогонку, и я понял, что галопом ездить куда приятнее, чем рысью. Словно летишь куда-то далеко-далеко, то и дело проваливаясь, конь глухо взбивает копытами мягкую и еще теплую пыль на проселочной дороге, что-то ухает у него внутри, тело твое почти не чувствует седла, и плывут, плывут навстречу неубранные селянские поля с темными копнами сжатого хлеба.

Отъехали версты четыре от села и стали догонять сельских девчат в подвязанных высоко юбках.

Девчата несли в узелках еду. Я понял, что они торопятся туда же, куда и мы. Одна из девушек узнала Шершня и, давая нам дорогу, крикнула:

— Агов, дядько Шершень! Караулить нас едете?

— Караулить, дочка, абы сатана до бояр на ту сторону не затащил,— придерживая коня, весело отозвался Шершень.

...По всему широкому и освещенному луной полю мелькали холщовые кофты девчат.

Девчата подбирали в охапки сжатую пшеницу, быстро взвивалось в руках перевясло, и вскоре тяжелый темный сноп падал на стерню. Кое-где девчата сложили готовые снопы в копны-пятнадцатки: точно малые хатки выросли вмиг на поле. Весело спорилась работа, тронутые росой колосья не рассыпали зерно, как днем, хорошо было вязать из такого же влажного клевера крепкие перевясла.

Несколько девчат, подбирая пшеницу и увязывая ее в снопы, пели:

Ой, зацвіла рожа край вікна,
Ой, зацвіла рожа край вікна...
Ой, мала я мужа,
Ой, мала я мужа,
Ой, мала я мужа,
Пияка.

Как легко, свободно дышалось в эту лунную ясную ночь над Днестром! Воздух был чистый, пахучий, он давал человеку такую силу, что казалось, любую работу можно сделать в несколько минут. Глубоко вдыхая запахи чебреца, полыни, сухой мяты, слушая, как где-то далеко кричит коростель, я медленно объезжал по меже совхозное поле. Наверное, курсанты давно спят на своих соломенных матрацах. С другой стороны Днестра донесся сюда звоночек балагулы. Кто это едет там, над рекой, в такую пору? Может, помещик какой-нибудь объезжает свои поля? Или сонный поп отправляется исповедовать умирающего? Или румынские жандармы везут в Хотинскую тюрьму нового арестанта?

Слышно было даже, как поскрипывают колеса брички там, в кукурузе, над Днестром.

Не бий мене, муже, не карай,
Бо покину діти,
Бо покину дрібні,
А сама поїду
За Дунай.
Ой, як я на лодку сідала,
Ой, як я на лодку сідала,
Правою рученькой,
А білим платочком,
А білим платочком
Махала... —

пели девчата тягучую, грустную песню.

Каштан медленно переступал ногами и силился ухватить зубами траву.

Я опустил поводья, и конь остановился, вырвал на меже кустик бурьяна, стал пережевывать его: слышно было, как позвякивают его удила, как скрипят, стараясь освободиться от железа, лошадиные зубы.

Но вот Каштан фыркнул, насторожился и неожиданно заржал. Погодя минутку, на другом берегу Днестра весело откликнулась запряженная в бричку лошадь, и ее ржание заглушило на миг звоночек.

— Эге-ге-гей! Василь! — донеслось ко мне с другого конца поля.

Я узнал голос Шершня и тряхнул поводьями. Каштан сразу рванул галопом. Я мчался напрямик через поле, кое-где объезжая готовые уже снопы. «А может, там куркуль какой снопы потащил и Шершень зовет меня на помощь?» — подумал я и на всякий случай нащупал зауэр.

Но Шершень, стоя у копны, мирно разговаривал с высокой девушкой. Голова ее была повязана белым платочком.

Освещаемое светом луны лицо девушки показалось мне необычайно красивым.

— Слезай, ужинать будем! — приказал Шершень.— Это дочка моей хозяйки — Наталка, у нее харчи для нас припасены.

— Куда ужинать? Мы же поели сегодня в совхозе,— сказал я.

— Давай, давай,— настаивал Шершень.— Когда то было? Часов в девять было. А сейчас уже добрых два часа. Скоро светать будет.

Я спрыгнул с коня, и Шершень ловко привязал ему поводья к ноге. Каштан и Серый, позвякивая стременами, ушли пастись, а мы втроем уселись у копны, прямо на колючую стерню.

Девушка развязала узел и прежде всего вытащила оттуда буханку пахучего хлеба.

— Порежьте, дядько Шершень,— попросила она.

— Ого! — удивился Шершень и подбросил на руке буханку.— Еще горячий. Когда ж вы пекли, Наталка?

— То не мы пекли. Гарбариха пекла и нам долг вернула,— отозвалась Наталка и, вытащив из-под холщовой тряпки широкую миску, вылила в нее полную крынку кислого дрожащего молока.

По колючей стерне Наталка двигалась маленькими босыми ногами очень ловко, как по глиняному полу хаты. Она разостлала на стерне вышитое полотенце и положила перед каждым из нас деревянную ложку. Шершень тем временем порезал крупными ломтями хлеб и свалил его рядом с миской.

— А тут брынза, дядько,— разворачивая бумагу, сказала Наталка и задела меня своей жесткой юбкой.

— Доберемся и до брынзы,— сказал Шершень, окуная ложку в кислое молоко.— Ох и холодное! Ты, случайно, жабу сюда не пустила?

— Да ну вас, дядько! Скажете тоже...— отмахнулась Наталка.— Разве можно такую гадость при еде вспоминать?

— Гадость? И совсем не гадость. Ты молодая еще и не знаешь, что во многих селах бабы нарочно в крынки жаб пускают.

— То выдумывают люди,— сказала Наталка.

— Ничего не выдумывают,— настаивал Шершень.— Я когда под Бендерами в одном имении у попа работал, моя хозяйка этим делом занималась. У нее в подвале в горшках с молоком всегда жабы плавали. Вот однажды жара была, пришел я домой. «Нет ли, говорю, хозяйка чего-нибудь холодненького?» — «А чего ж, говорит, полезай в погреб и напейся молока холодного». Я и полез. Схватил первую попавшуюся крынку и давай пить. Залпом. И вот чувствую, как вместе с молоком что-то твердое мне в горло скользнуло,— я подумал сперва, что сметана так застыла, а потом, чувствую, шевелится. И пошла эта жаба гулять по моему животу. Как на ярмарке гуляла!..

Я рассмеялся, понимая, что Шершень шутит, а Наталка, откладывая ложку, сказала:

— Скажете такое, фу, и есть не хочется!

— Правда, правда! — даже не улыбаясь, продолжал выдумывать Шершень.— И послушай, что дальше было. Как раз перемена погоды ожидалась, дождь, словом. И тут, как ночь, так эта жаба у меня из живота голос подает. А хозяйка спать не может. А потом взяла да и сказала: «Перебирайся ты, Шершень, на другую квартиру, а я тебя держать не буду, беспокойный ты очень жилец». Я говорю: «Какой же я беспокойный, когда это ваша собственная жаба во мне поет. Перемену погоды предвещает».

— Ну и что дальше было? — уже заинтересовавшись и сдерживая смех, спросила Наталка, поглядывая искоса на меня.

— Водкой я эту проклятую жабу уморил. И вот с той поры, как дают мне молоко, спрашиваю: «Жаб нет?» Если нет, ем спокойно.— И, как бы подтверждая свои слова, Шершень зачерпнул полную ложку кислого молока.

Не отставая от Шершня, я то и дело окунал ложку и заедал кислое ледяное молоко вкусным домашним хлебом. Скоро на вышитом полотенце осталась пустая миска да белый кусок брынзы. Мы втроем уничтожили целую буханку хлеба.

— Это ваша родственница, дядько? — спросил я у Шершня, когда мы, вскочив на коней, отъехали от Наталки.

— Она хозяйская дочка,— сказал Шершень.— Я у них столуюсь и ночую. А что — понравилась?

— А у вас разве своей хаты в селе нет? — спросил я, уходя от щекотливого разговора о Наталке.

— Своей хаты? — Шершень весело свистнул.— Нет пока у меня хаты, хлопче. Была у меня на той стороне хата, да жандармы в девятнадцатом году, как Хотинское восстание было, спалили.

— Вы тоже восставали?

— А то как же! Все тогда восставали. Видишь, я до революции все время в батраках работал. То у одного пана, то у другого. Под Бендерами работал в Цыганештах, даже у одного купца в Кишиневе конюхом четыре месяца прослужил. Ты видел, на той стороне против нашего совхоза село Атаки виднеется? Ну так вот, я сам из этого села родом. Заработал себе денег, все как полагается, и как раз перед самой войной приехал в село. Красивую жену взял, молодую, моложе меня на три года, с детства мы с ней знакомы были. И вот только построился, хату себе соорудил, виноградник развел, целую десятину батутой-нягрой засадил,— бах, бах — война, и меня берут до войска.

На Кавказском фронте служил, до самого Эрзерума дошел, а в революцию вернулся домой. «Ну, думаю, теперь не двинусь с места». Сын за это время вырос, четыре года хлопцу было, сейчас, если только жив, наверное, тебе ровесник.

— Да какое там — я девятьсот девятого года рождения! — обиделся я.

— Ну, неважно — большой хлопец, словом. И вот, понимаешь, только мы землю помещичью поделили, слышим — идут какие-то разговоры, что Бессарабию хотят румынские бояре себе забрать. И в самом деле, вскоре в наше село приезжает какой-то пан Радулеску из самого Букарешта, поселился у попа и — как это они с попом устроили, до сих пор не знаю — едет как бы депутатом от наших селян в Кишинев на Сфатул-Церий. Парламент ихний так называется. А никто этого Радулеску не выбирал, и даже многие крестьяне его в глаза не видели. И вот приходит в наше село газетка, и мы читаем, что делегат из села Атаки Радулеску требовал, чтобы Бессарабия соединилась со своим старым другом Румынией. А потом переворот, смотрим — жандармы пришли. И тут началось! Землю панскую отбирают, а тех, кому она досталась,— шомполами. Выпороли и меня. Виноградник молодой отняли.

Затаили мы злобу на румынских бояр — не передать. И вот, когда услышали, что в Хотине да по селам соседним народ бунтуется, все, кто победнее, тоже поднялись. Кто на лошади, кто пешком, кто с вилами, кто с дробовиком — айда к Хотину. Холодно было, помню, начало января, а я, как был, в суконной гимнастерке, схватил трехлинейку, ту, что с фронта привез, да и пошел в Хотин. Крепко мы дрались с боярами. Сколько их экономий пожгли, сколько жандармов под лед днестровский пустили — не рассказать, но вот беда: некому было помочь нам, не было среди нас такого вожака, как, скажем, Котовский,— он тогда с Петлюрой воевал и не мог к нам пробиться. Одиннадцать тысяч наших перебили жандармы, меня ранили под самым Хотином, около крепости. Видел ее? В ногу ранили из пулемета. Вот я и пополз ночью по льду, на эту сторону,— как только не замерз, не знаю. Ползу по льду, кровью снег раскрашиваю, и рядом товарищи мои раненые, тоже по одному, через лед на украинский берег перебираются. А боярские войска по нас вдогонку из орудий бьют. Крепко били — в одном месте от снарядов даже лед тронулся, как весной. Переполз я на эту сторону, а тут Петлюра тогда хозяйничал — то же самое, что румынские бояре. Когда жандармы ихние под Хотинской крепостью с нами расправлялись, петлюровцы из пулеметов с этого берега по повстанцам огонь вели.

Прятался я у одного дядьки, пока нога не зажила, а потом понял, что нельзя мне возвращаться в родное село. Знал, что убьют. Всех, кто подымался на бояр, румынские жандармы убивали. И еще мне передали, что хату мою жандармы дотла сожгли, землю, виноградник — все как есть у жены отняли и дали помещику новому, Григоренко. Так вот я и остался здесь, долю свою возле Днестра караулить. И все никак не могу из этого села уехать. Хлопцы знакомые в Баку нефть добывают, заработки, пишут, там богатые, зовут: приезжай, Шершень,— а я не могу. Все жду того часа, когда Бессарабию освобождать будем. У меня в Жванце начальник пограничный есть знакомый. Так я каждый раз, как за почтой для совхоза еду, все ему надоедаю. «Ну, когда же, говорю, на ту сторону? Смотрите, говорю, если тронетесь, обязательно меня берите. Проводником. Я те места хорошо знаю. Каждую тропинку, каждую канавку. Все исходил. Да и разговор кое с кем будет крупный. Смотрите, говорю, если перейдете границу без меня, поссоримся навеки!»

Начальник тот, хороший такой хлопец, Гусев по фамилии, из самой Москвы приехал, смеется и говорит: «Во-первых, говорит, границы-то никакой здесь нет,

так что обязательно на той стороне рано или поздно придется побывать, это мы тут временно задержались. А лишь получим приказ, не забудем и тебя, Шершень».

— А про жену что-нибудь известно? — спросил я, выждав немного.

— В двадцать третьем году был у нас перебежчик с той стороны. Спалил пана и к нам прибежал. Мы тут, пока пограничники за ним пришли, побеседовали. Говорит, видел мою жену. Она после восстания у одного куркуля в батрачках служила, а потом жандармы выгнали ее из села туда, вглубь: видно, пронюхали, что я жив и в совхозе работаю... И вот уже сколько времени — ни весточки. А до двадцать второго года мы с ней перекликались даже. Я на бугре стану, возле воды,— знаешь, где лошадей совхозных купают? — а она на мельницу сойдет и будто бы на мостках белье стирает, а сама слушает, что я кричу, и откликается иногда. Один раз мы так перекликались и не заметили, что в кукурузе жандарм засел. Он послушал, послушал да как пустится к жене моей да нагайкой ее, нагайкой. Она белье бросила — поплыло все — и кричит от боли. А я бегаю по берегу, вижу, как этот гад мою жену мучит, и прямо зубами скриплю от злости. И как раз пограничник наш проходил. Я и стал, помню, просить: «Позычь, друже, карабина, я этого гада враз сниму». А пограничник мне и говорит: «Ничего, говорит, потерпи. Придет время — и снова будет твоя родная Бессарабия свободной».

Совсем близко, за полоской речного тумана, виднелся освещенный луной бессарабский берег. Шершень остановил Серого и глядел теперь туда жадными, полными тоски и гнева глазами.

Я понял, что всю свою жизнь он будет ждать той минуты, когда сможет перейти Днестр и ступить ногой на эту близкую и такую родную ему землю.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

На балконе, где мы ночевали, завелись осы. Каждое утро, прежде чем залететь в щель под крышей, где было их гнездо, они долго кружились над матрацами, и всякий сон пропадал.

— Ну его к черту! — сказал однажды утром Коломеец.— Надо перебираться отсюда.

— Давай выкурим их,— предложил я.

— Пока ты их выкуришь, они тебя так обработают... У меня нет никакого желания ходить с распухшей мордой! — сказал Коломеец, отгоняя желтую назойливую осу.

Но оса не отставала. Тогда Коломеец в одном белье сорвался с постели и побежал в комнату, где еще досыпали курсанты.

Мы стали ночевать под стогом соломы, у молотилки. Там было еще лучше, чем на балконе. Мы подстилали сколько угодно соломы, сверху свисала тоже солома: кроме того, ночевать здесь, под стогом, было удобно еще и потому, что рядом был расположен совхозный баштан. Можно было ночью, когда захочется, выбрать на ощупь арбузик или спелую дыню и порешить ее тут же, на поле, под звездным небом. Одно было плохо: приходилось издалека таскать с собой одеяла и простыни. Видно, поэтому-то Коломеец спустя два дня, когда я позвал его ночевать, стал крутить носом.

— Видишь, Василь, откровенно тебе сказать, мне что-то не хочется уходить туда на ночлег. Больно далеко. Давай лучше с хлопцами устроимся в комнате.

— Где ж ты устроишься, когда там и так тесно? И так многие уходят ночевать к амбарам.

— Как-нибудь примостимся.

— Ну какой смысл, подумай, Никита. В комнате мы успеем ночевать, когда приедем в город. А здесь возле стога свежий воздух, пахнет хорошо, баштан рядом — все удовольствия. Да ты же сам говорил, что тебе очень нравится ночевать там, на соломе.

— Говорить-то говорил,— замялся Коломеец.— А сейчас что-то расхотелось. Знаешь, таскать эти манатки в такую даль — ну его...

— Ну, хочешь, я сам понесу твою постель? А? Ты порожняком пойдешь.

— Да нет, Василь. Не хочется что-то. Да и дождь, может, будет. Видишь?

За Днестром полыхнула молния, озарив на секунду край темного пасмурного неба. Сегодня к вечеру действительно на небе было много туч, лишь кое-где в просветах между ними искрились звезды.

— А при чем здесь дождь, Никита? Под стог вода не затекает. Ты же помнишь, позавчера...

— Позавчера не затекала, а сегодня может затечь...

— Так не пойдешь к стогу?

— Не пойду.

— Ну тогда я сам пойду.

— Один? — Коломеец протяжно свистнул.— Ох, какой ты храбрый!

— А думаешь, не пойду?

— Думаю, страшненько будет, и ночью прибежишь обратно.

— Посмотрим! — сказал я упрямо.

Когда, зажав под мышкой тюк с одеялом и простынями, я шагал к стогу, мне уже очень хотелось остаться ночевать на совхозном дворе, вблизи курсантов. Можно было найти удобное местечко где-либо в амбаре или устроиться на подводе со свежим сеном, однако упрямство не позволяло мне поступить так. Ведь только узнает об этом Коломеец, он мне житья не даст, будет снова прорабатывать меня, станет рассказывать, что я побоялся ночевать один. «А, чепуха,— сказал я себе.— Что ж такого? Переночую один, и ничего со мною не станется. Чего бояться? Подумаешь! А зато как завтра утром я посмотрю на Коломейца! Скажу ему: «Интересно, кому было страшно?»

Как только я, взбив солому, улегся под стогом, ко мне приплелся Рябко. Сейчас я уже не думал его отгонять. Хоть одна живая душа будет рядом.

— Иди сюда, Рябко! — позвал я собаку.

Пес подошел совсем близко и лизнул мою руку.

— Ложись, Рябко! — приказал я.— Вот здесь, на одеяло.

Пес колебался и стал пятиться. Тогда я насильно повалил его вниз, он улегся в ногах и сразу же, довольный, начал искать блох.

Зарницы в Бессарабии полыхали сейчас уже раз за разом, и небо в промежутках между вспышками становилось темное-темное, звезды гасли там, вверху, после каждого удара молнии.

Стог наваливался на меня, он прижимал своей тяжестью нижние слои соломы, так что в них нельзя было просунуть руку. В нескольких шагах от стога ничего не было видно, даже белый забор, который так ясно был заметен отсюда в самые темные ночи, сейчас исчез в темноте, и только когда зарницы пробегали за Днестром, можно было его различить. В эти минуты, когда вспыхивали зарницы, освещалось темное небо и локомобиль. Со своей высокой трубой он был похож на задравшего хобот слона, вблизи него виднелись бочки с водой, проступали в темноте очертания молотилки.

Завтра с утра мы станем на решетчатую площадку у ее барабана. Коломеец примет от меня первую половину снопа, задрожит, перебивая колосья, зубчатый барабан, шумно будет вокруг... Но как пусто, одиноко сейчас на совхозном току! Никого. Ни одной живой души. Только мы с Рябко улеглись под стогом. Я поудобнее подложил себе под бок холодную винтовку и поправил зауэр, висевший у меня под рубашкой на сыромятном шнурке.

Я все еще побаивался носить пистолет в открытую, думал, кто-нибудь из курсантов может отобрать его у меня. Я выпросил у Шершня длинный сыромятный ремешок, привязал его обоими концами за колечко на рукоятке зауэра и носил пистолет вечерами под рубашкой, прямо на голом теле. Он всегда был теплый и уж больше не ржавел. Плохо только, что во сне он врезался в бок, и я спал беспокойно, часто переворачиваясь.

Я заснул далеко за полночь в ожидании близкого дождя и проснулся, чувствуя облегчение в ногах. Рябка возле меня не было. Он громко лаял совсем неподалеку. Он бросался на кого-то чужого, идущего по полям к совхозу со стороны Днестра. Я услышал шаги этого неизвестного человека. Они приближались. Нет, это был не один человек, их было несколько: я слышал, как хрустит под ногами идущих картофельная ботва. Я сразу прижался к стогу. Рябко хрипло лаял, он бросался уже прямо под ноги идущим.

— Цюцька, цюцька, иди сюда — сала дам! — попытался кто-то приласкать собаку. Голос был тихий, вкрадчивый и недобрый.

— Та ударь его шаблюкой, чтоб не гавкал! — буркнул другой сердито.

И в ту же минуту я услышал глухой удар и страшный, последний визг Рябка. Видимо, отползая и теряя последние силы, он заскулил жалобно, тоскливо и вдруг замолк.

— Ото дав! Напополам! Аж руке больно,— сказал ударивший и хрипло засмеялся.

— Тише, хлопцы! — скомандовал кто-то.

Бандиты остановились в нескольких шагах от меня, возле локомобиля. Снизу я довольно хорошо видел подымающиеся с земли черные очертания их фигур.

Бандиты прислушивались. Я боялся пошевельнуться. Мне казалось, что я уже никогда не смогу двинуть рукой или ногой, тело онемело, только голова была свежая-свежая. Я слышал, как шуршат сдуваемые ветром отдельные соломинки у меня над головой, как поют сверчки за стогом. Я слышал, как далеко в селе тревожно лают собаки, разбуженные визгом Рябка.

— Так слухайте, хлопцы,— после минутного молчания хрипло сказал кто-то, видимо атаман бандитов.— Видите вот этот стог? Только мы его подожжем — все за мной сюда, в канаву. И будем ждать. А когда они выбегут тушить, мы их добре из темноты побачим и перекокаем, как зайцев. Приготовьте-ка гранаты! Юрко, запалюй иди!

— Дай-ка сирныки,— попросил тот, кому поручали зажечь стог, и сразу же, отделившись от других бандитов, направился, неловкими, осторожными шагами нащупывая землю, ко мне.

Мигом я вырвался из-под стога и, полуголый, с одним револьвером, болтающимся на животе, пустился бежать. «Скорей, скорей к совхозу, пока бандиты не подожгли стог». И я помчался напрямик через баштан к совхозному дому, чтобы предупредить курсантов, чтобы разбудить их и с ними вместе возвратиться сюда. Но не успел я сделать и трех шагов, как, раздавив ногой скользкую дыню, грохнулся со всего размаха на землю. Я сейчас же вскочил и едва не закричал от боли. Падая, я вывихнул ногу. Острая боль в ноге на минуту заглушила страх. Чувствуя, как на глаза навертываются слезы, едва держась на ногах, я сорвал предохранитель зауэра и выпустил в бандитов первую пулю.

Вспышкой выстрела я обнаружил себя. Я понял, что меня уже не спасет и тень высокого стога. Мне снова стало очень страшно, но разжать палец и освободить гашетку зауэра я уже не мог. Теперь я палил в бандитов уже автоматически. Я ничего не видел перед собой — только черная-черная ночь вокруг и яркие вспышки выстрелов над взлетающим кверху дулом зауэра.

Когда вылетела последняя стреляная гильза, я услышал хриплый голос бандита.

— Гранатой! — крикнул он.

В ту же секунду где-то совсем близко перед моими ногами вырвался из баштана огромный столб пламени, я сразу оглох и почувствовал только, как по лицу меня хлестнула арбузная ботва.

Первой мыслью было позвать на помощь, но в раскрытый рот попала земля; я хотел выплюнуть ее, но почувствовал, что падаю — медленно и куда-то очень далеко,— но падать было не страшно. Еще одна граната разорвалась рядом, я даже не вздрогнул. Хорошо вдруг стало, приятно, боль в ноге сразу утихла, что-то теплое скользнуло по лбу, я собрал последние силы, чтобы выплюнуть землю, и почувствовал, что губы и язык уже не повинуются мне: они стали чужие, мягкие, онемевшие,— так, со вкусом земли во рту, я рухнул на землю.

Я не помню, как меня перевозили в город, как на рассвете главный врач городской больницы Евгений Карлович Гутентаг сделал мне очень серьезную операцию: он вытащил у меня из головы два осколка, застрявших в черепной кости. Он вырезал сломанное ребро и вправил вывихнутую ногу. Обо всем этом я узнал после, когда очнулся.

Приходил в себя я долго и с трудом. Сперва, лежа с закрытыми глазами, я вслушивался в один и тот же далекий однообразный стук. Я не мог понять, что это такое. Казалось, где-то очень далеко, в большом доме, комнат за шесть от меня, кто-то без устали стучится в закрытую дверь.

«А может, это молотилка работает, а я проспал?» — подумал я и хотел вскочить, но не смог: ноги и все тело были тяжелы, точно их привязали к кровати. Я открыл глаза и встретился взглядом с Петькой Маремухой. Он сидел на краешке белой табуретки, смешной каплоухий Петька Маремуха. Он смотрел на меня в упор широко раскрытыми глазами — так, словно перед ним лежал не я, а мертвец.

Петька Маремуха напялил на себя белый полотняный халат, стоячий воротник которого упирался ему в подбородок. Заметив, что я открыл глаза, Маремуха заерзал на табуретке и жалобным голосом протянул:

— Спи, Васька, еще рано!

— Какое рано, я сейчас встану.

— Куда — встану? — Петька испугался и вскочил.— Тебе нельзя еще вставать. Спи. А может, хочешь морсу? Бери, пей.

Я вспомнил, что мне давно хочется пить. Принимая из дрожащей Петькиной руки полный розового клюквенного морсу стакан, я жадно прижался губами к его граненому краю.

Морс был кисленький, холодный. Петька Маремуха, не отрываясь, испуганными глазами следил, как пустеет стакан. Как только я кончил пить, Петька, предупреждая мое движение, выхватил у меня стакан и поставил его на мраморную доску столика.

— А теперь спи! — скомандовал Петька.

— Что это стучит, Петро? — спросил я, отдышавшись.

— «Мотор» стучит. Что стучит... Спи!

— Какой мотор? — не понял я.

— Ну, двигатель на «Моторе» — не знаешь?

— Почему двигатель?.. Где я... А совхоз?

В эту минуту в палату вошла в таком же белом халате, как у Петьки, моя тетка Марья Афанасьевна. Высокая, седая, она в халате была похожа на врача. Маремуха бросился к ней.

— Марья Афанасьевна, смотрите, он уже хочет вставать. Я ему говорю, чтобы он еще спал, а он меня не слушает.

— Надо закрыть окно. Уже проветрилось,— тихо сказала тетка и направилась к окну.

— Не надо, пусть так! — пробормотал я вяло, растягивая слова, и опять крепко, надолго впал в забытье.

Очнулся я снова только глубокой ночью. Тетки и Маремухи возле меня не было, высоко под потолком горела синяя электрическая лампочка. На стуле возле моей постели дремала, облокотившись обеими руками на столик, какая-то незнакомая женщина в белом халате.

За открытым окном, у самой стены дома, чуть слышно шевелились ветви клена. За ними, в просветах между листьями, перемигивались звезды — теплая осенняя ночь стояла на дворе. Город спал, там, за окнами, давно замолк двигатель на заводе «Мотор», давно спал на топчане у себя дома Петька Маремуха, давно спали мои родные.

Теперь, ночью, я почувствовал, что, наверно, буду жить, хотя все еще болела нога, болела раненая грудь; стоило немного пошевелить шеей — острая боль пронизывала насквозь череп. Я осторожно высвободил из-под одеяла руку и чуть слышно провел пальцами по лбу. Вся голова была забинтована. На виске пальцы мои нащупали короткие колючие волосы. Я понял, что попал в больницу и что меня, когда я был без сознания, остригли. Хотелось поговорить с кем-нибудь, спросить, как я попал сюда, что со мной, но никого уже рядом не было. Несколько минут я лежал с широко раскрытыми глазами, уставившись в потолок. Я силился припомнить все, что случилось со мною, но скоро устал и опять заснул до утра.

КАК МАРУЩАК ЛОВИТ БЕЛУЮ МОНАХИНЮ

Каждое утро, прежде чем уйти на работу, меня навещал отец. Он смотрел подолгу на меня. Я все еще не мог выносить его пристального взгляда: сразу вспоминалась история с ложками, и я отворачивался. Отец ни о чем меня не расспрашивал — видно, все уже знал. Каждый раз приносил он мне яблоки из сада совпартшколы и интересные книжки из библиотеки. Придет, узнает, как я себя чувствую, и уйдет советоваться с врачами.

В эти дни я понял, как дорог мне отец, как дорога мне Марья Афанасьевна, как дорог толстяк Петька Маремуха. Но странное дело: стоило мне только начать расспрашивать у них, что было дальше в ту ночь, когда я ночевал под стогом, все они, словно уговорившись, бормотали: «Потом, потом». Только один отец четко и ясно сказал: «Выздоравливай поскорее, Василь, тогда все узнаешь!» Видно, доктора приказали им не тревожить меня понапрасну воспоминаниями о той страшной ночи, когда я стрелял в бандитов.

Прошло несколько дней. Как-то вечером я лежал один в пустой маленькой палате, вслушиваясь, как хлопцы гоняют на площади перед «Мотором» футбольный мяч. В больничном коридоре послышались гулкие торопливые шаги, и на пороге палаты появились Никита Коломеец и Марущак. Никита так загорел за те дни, что я лежал в больнице, что я не сразу узнал его. Халат ему дали не по росту, очень большой, черная, стриженная наголо голова Коломейца смешно торчала из свободного воротника халата. Рослый, плечистый Марущак в щегольских сапогах и халате до коленей смотрел на меня, улыбаясь. Давно я его уже не видел — с той поры, как уехал на работу в совхоз. И мне было особенно приятно видеть его сейчас здесь.

Никита оглядел палату, покрутил носом и, шумно придвинув стул, сказал:

— Э, да у тебя, брат, здесь шикарно! Сам Керзон никогда не спал в такой палате.

— Лучше, чем на балконе? — спросил я.

— Балкон — это дикая природа джунглей,— ответил Никита.— А здесь, гляди, цивилизация. Морс — это здесь дают пить или домашний?

— Здесь дают. Больничный,— сказал я.

— А мне как раз пить хочется очень! — сказал Никита.— Можно? — И, не дожидаясь ответа, он поднес к губам стакан морса.

— Оставь, Никита! — прикрикнул на Коломейца Марущак.— Парень раненый лежит, ему, может быть, каждую минуту пить хочется, а ты его грабишь.

— Пей, пей, Никита,— поспешно сказал я.— Морса я могу получить сколько захочу.

— Ну вот видишь, я же сказал — цивилизация! — обрадовался Коломеец и, чмокая, стал пить морс.

Худой выпуклый его кадык зашевелился. Коломеец даже глаза зажмурил от удовольствия.

— Хорошо! — сказал он, облизываясь.— Шикарно! Надо, пожалуй, и мне лечь в больницу, чтобы меня поили бесплатно морсом.

— Морс дают только тяжелобольным, Никита,— сказал я как можно более спокойно.— А тебя в больницу не возьмут, как бы ты ни просился.

— Почем ты знаешь? А может быть, и взяли бы? — беспечно сказал Коломеец.— Вот если бы я в ту ночь пошел с тобой к молотилке, и меня, наверное, подбили бы. Хотя нет...— добавил он важно.— Я бы скорее их уложил. И не одного, а всю компанию.

— А я что — разве кого-нибудь уложил? — спросил я, поднимаясь.

— Здравствуйте! — Коломеец засмеялся.— Совершил, можно сказать, подвиг, а теперь незнайкой прикидывается.

— Да я ничего не знаю, Никита. Я же как упал там на баштане, так только здесь и пришел в сознание.

— Нет, в самом деле ничего не знаешь? — переспросил Коломеец.

— Ну конечно ничего! — подтвердил я.

— Ну так мы тебе сделаем информацию. Ты не возражаешь, товарищ Марущак? — обратился Коломеец к молчавшему Марущаку.

— Вали рассказывай, а я помогу! — согласился Марущак.

Бандиты, в которых я стрелял, шли издалека: их послала из Бессарабии на советскую сторону на помощь атаману Сатане-Малолетке разведка сигуранца.

Сатане-Малолетке в те дни, когда мы все работали в совхозе, приходилось очень круто.

В город на усиление охраны границы прибыла из Москвы ударная группа по борьбе с бандитизмом. В ней были самые смелые, испытанные чекисты. Худо пришлось бандитам! Почти каждую ночь из ворот управления погранотряда и окружного ГПУ один за другим выезжали в соседние леса небольшие отряды ударников-чекистов. Верхом, в кожаных куртках, с тяжелыми маузерами в деревянных кобурах, ударники мчались на сильных, выносливых конях по мостовым сонного города. Подковы их коней звонко стучали под аркой Старой крепости. Выехав за город, на мягкие проселочные дороги, ударники пропадали в ночной мгле, и только в одном доме на Семинарской улице, из которого они выезжали, знали цель их поездки, знали их конечный маршрут.

До рассвета горел в том доме электрический свет. Чекисты работали всю ночь, выполняя наказ Советского правительства: очистить от бандитских шаек пограничные районы страны. Направлял их громить бандитов бывший начальник Особого отдела корпуса Котовского Иосиф Киборт.

Часто, когда ГПУ подготовляло крупные операции, на помощь ударникам-чекистам приходили курсанты из нашей совпартшколы и коммунары ЧОНа — коммунисты и комсомольцы из городских партийных и комсомольских ячеек. Нередко даже днем по тревоге являлись все они в штаб ЧОНа на Кишиневской улице, там получали винтовки и под командой ударников-чекистов надолго уходили из города прочесывать соседние леса.

Оказывается, в то время как наша группа спокойно обмолачивала в совхозе хлеб нового урожая, те курсанты, которые остались в городе вместе с Марущаком, тоже не сидели без дела.

Казалось бы, бандиты должны уходить подальше от города и особенно пуще огня бояться совпартшколы, но, как рассказывал мне Марущак, все получилось иначе. У бандитов были друзья в самом городе, и одним из таких друзей оказался старый садовник Корыбко. Оказывается, он служил в епархиальном училище, где теперь помещалась совпартшкола, еще при царе. Когда в городе установилась Советская власть, Корыбко по-прежнему захаживал в это здание.

Нередко по старой привычке он вынимал из кармана пальто тяжелые острые ножницы и заботливо, ни от кого не требуя за это денег, подстригал во дворе перед главным зданием кустики туи, срезал лишнюю поросль со стволов акации, вырывал бурьян и в палисаднике. К старому садовнику привыкли, и, когда понадобилось наводить порядок в запущенном саду, начальник совпартшколы зачислил Корыбко в штат. Как и другие сотрудники, Корыбко получал обеды в курсантской столовой и целыми днями возился с ножницами и с цапкой в саду или во дворе совпартшколы.

Молчаливый, неразговорчивый и тихий, он ни в ком не возбуждал подозрений. Часто, заработавшись до позднего времени, Корыбко оставался ночевать в своем складе около кухни; там у него стоял топчан, покрытый соломенным матрацем. Никто не знал, что у старого садовника есть взрослый сын по имени Збышко.

Еще в первые месяцы после революции молодой Корыбко, тогда еще студент Киевского политехникума, подался в Варшаву и там поступил на службу к Пилсудскому. Вместе с пилсудчиками он занимал Житомир. Потом, когда конница Буденного выгоняла легионы Пилсудского с Украины, удрал вместе с ними в Польшу. Старый Корыбко, как только в наш город пришли красные, стал рассказывать своим соседям по Подзамче, что его сын-студент умер в Киеве от сыпного тифа. Соседи посочувствовали старику, пожалели его и вскоре позабыли о том, что у садовника был сын. А Збышко продолжал жить, и, когда польской дефензиве нужно было связаться с бандами, которые гуляли на советской стороне, его послали для связи в наш город. И вот здесь молодому поручику польской разведки очень пригодился его старый отец. Часто, когда надо было переночевать или получить пищу, молодой Корыбко приходил к своему отцу в совпартшколу и ночевал здесь — то в саду, то на чердаке, то в сушилке, где садовник высушивал на медленном огне нарезанные кружочками груши или яблоки.

Возможно, долго бы еще никто не догадался о воскресшем из мертвых сыне Корыбко, если бы не мой зауэр.

Как раз в ту ночь, когда мы с Петькой Маремухой шли в сад пробовать пистолет, садовник Корыбко встретился на окраине сада со своим сыном. Он принес сыну ужин в курсантской алюминиевой миске с погнутыми краями.

Вот она-то, эта простая миска, и помогла Марущаку узнать всю правду о садовнике Корыбко.

Когда я передал Марущаку алюминиевую миску, он осторожно начал выяснять, кто бы мог обронить ее в саду. Случилось так, что через несколько дней к повару пришел садовник Корыбко и попросил дать ему новую миску взамен старой, которую, как говорил садовник, какой-то «чертяка» унес из его склада.

Повар выдал ему новую миску и забыл об этом, но, когда Марущак стал его расспрашивать, не пропала ли из кухни какая-нибудь посуда, вспомнил о пропаже и пожаловался Марущаку, что вот у садовника кто-то утащил миску. Марущак сделал вид, что прослушал это, а сам стал приглядываться к старику садовнику. Вскоре он узнал, что садовник очень набожный человек и не пропускает ни одной службы в костеле. Ночью же в саду, когда я стрелял из зауэра, человек, выстреливший в ответ, кричал по-польски «прендзе». Но, возможно, Корыбко смог бы отвести от себя все подозрения, если бы не история с колокольным звоном.

Когда Марущак узнал от меня о нашем бывшем директоре трудшколы Валериане Дмитриевиче Лазареве и познакомился с ним, он долго расспрашивал Лазарева об истории здания совпартшколы. Вдвоем они ходили по длинным коридорам и старались выяснить причину загадочного колокольного звона. И вот однажды Лазарев вспомнил историю, рассказанную ему когда-то, еще когда он был гимназистом,— историю о белой монахине, которая бродит ночью по епархиальному училищу и не может найти себе покоя, созывая на богослужение монашек-францисканок из давно закрытого католического монастыря.

Откуда появилась легенда о белой монахине, кому она была нужна, для чего ее выдумали?

Давным-давно долгие годы в старинном этом здании был женский францисканский монастырь. Огражденные высоким забором, жили в этом монастыре монашки-францисканки, иногда они выходили в мир в белых своих сутанах, ходили по селам, пробовали обращать в католическую веру крестьянок. Монахини хотели, чтобы больше католиков было в этих краях, чтобы больше было хорошей земли у монастыря. Но русское правительство один за другим стало закрывать костелы, монастыри. И вот однажды царским указом был закрыт католический женский монастырь. Вместо него царь приказал открыть женское епархиальное училище для девочек из семей духовного звания. В это мрачное и сырое здание были собраны поповские дочки со всей губернии. В монастырском костеле устроили православную церковь. В кельях сделали классы. Из поповских дочек отцы-настоятели должны были готовить воспитанных жен для служителей епархии. Но выгнанные из своего монастыря францисканки не могли простить русским нанесенную обиду. Они стали пугать их. И вот время от времени в коридорах епархиального училища стала появляться высокая женщина в белом и молча прогуливаться по зданию.

Завидев ее, поповны визжали на все огромное здание.

Слухи о белой монахине проникали в город, шляхтичи говорили, что это сам господь бог и папа римский мстят русским за то, что они закрыли монастырь, что появление белой монахини — это знамение божье, что скоро будет эпидемия чумы, которая перекосит всех православных, и только слуги папского престола, католики, останутся в живых.

Молодые поповны, когда наступала темнота, боялись ходить по дортуарам, собирались вместе, загораживали наглухо столами двери, а один раз начальница училища, встретив около кухни белую монахиню, даже упала в глубокий обморок. Нашли ее только утром на каменных плитах подвала. Падая, начальница набила себе шишку.

После этого случая местный исправник приказал на ночь высылать в епархиальное училище наряды полицейских, и — странное дело — монахиня исчезла, но зато время от времени по коридорам стал разноситься заунывный колокольный звон. История появления белой монахини и причины этого колокольного звона в те далекие времена, откуда пришли к нам эти легенды, не были обнаружены.

Возможно, в здание училища пробиралась пугать епархиалок какая-нибудь из фанатичек монахинь, которые после закрытия монастыря разместились на частных квартирах у католиков. Возможно, потом, когда полицейские помешали ей проникать в здание, она через кого-нибудь из подкупленных служащих училища продолжала давать о себе знать колокольным звоном.

Тайну этого колокольного звона открыл Марущак, когда я находился в совхозе. Уже подозревая Корыбко в том, что тот связан с какими-то чуждыми нам людьми, Марущак однажды, когда Корыбко ушел молиться в костел, проник в его склад, где хранились всякие садовничьи инструменты. Ничего особенного в этом складе не было, если не считать католического молитвенника и вложенной в него маленькой записочки, в которой было написано:

«Отец! Завтра в 9 вечера жду тебя на кладбище, возле склепа каноника Тшилятковского.

Збышко».

Тщательно обыскав весь склад, Марущак собрался уже уходить, как вдруг заметил крошки черной сажи внизу у стены, как раз под дверцей дымохода. Было лето, время чистить трубы еще не наступило — значит, старик садовник лез в дымоход с другой целью. Марущак придвинул скамейку и, открыв дверцу, заглянул в дымоход. Там он увидел что-то белое. Он засунул руку в дымоход поглубже и вытащил тяжелый сверток. В свертке, завернутый в бумазею, лежал маузер выпуска 1918 года с двумя запасными обоймами.

Осторожно закрыв дымоход и отодвинув на старое место скамейку, Марущак помчался в окружной отдел ГПУ сообщить о своей находке. В окротделе ГПУ сразу выяснили, что маузер № 6838 за 1918 год принадлежал чекисту-ударнику Грищуку, которого две недели назад нашли убитым и брошенным в колодец около пограничного местечка Витовтов Брод. Маузера при убитом не оказалось.

В ту же ночь садовник Станислав Корыбко был арестован. При обыске у него нашли две ампулы с ядом.

Вечером на следующий день на польском кладбище, около склепа каноника Тшилятковского, был арестован и молодой Корыбко, поручик разведки Пилсудского, шпионивший также в пользу английской разведывательной службы. Когда к нему подошли ударники, он пытался бежать и даже пробовал отстреливаться, но его поймали, отобрали револьвер, и вскоре он встретился на допросе со своим отцом.

Оказалось, что Збышко был послан польской разведкой для связи в банду Сатаны-Малолетки. Вместе с бандитами, у которых не хватало оружия, они должны были сделать налет на оружейный склад совпартшколы. Старый садовник выведал, что в этом складе находится около двухсот винтовок, много наганов и коробок с боевыми патронами. Он рассказал все это сыну, а сын передал ему яд. Бандиты решили прийти в совпартшколу глубокой ночью. Накануне старый Корыбко должен был подбросить в котлы с курсантским ужином яд. Вместе с ядом сын дал отцу на всякий случай и маузер, тот самый, который двумя неделями раньше он снял с убитого бандой Сатаны-Малолетки чекиста Грищука.

Когда старик и его сын были арестованы, чекисты еще раз тщательно обыскали склад садовника. Посмотрели в дымоход. Там они заметили то, чего второпях не смог обнаружить Марущак. В глубине дымохода чернело привязанное к уходящей куда-то высоко вверх проволоке заржавленное железное кольцо. Когда потянули его сильно на себя, откуда-то сверху послышался заунывный колокольный звон. Проволока из нижнего этажа тянулась на самый верх и там была прикреплена к замурованному в нише небольшому медному колоколу. Покрытый пылью и сажей, этот колокол висел здесь, в здании, много-много лет — видно, еще до того времени, как бродила по коридорам, пугая епархиалок, белая монахиня. Возможно, колокол этот давным-давно замуровали в стену католические каноники — агенты Ватикана, для того чтобы пугать суеверных монахов, чтобы изредка выдавать этот таинственный колокольный звон за чудо, за знамение божье. И быть может, в тайну замурованного колокола уже в наше время посвятил католика-садовника Корыбко кто-либо из городских ксендзов. Стоило внизу, из кельи, где помещался сейчас склад садовника, потянуть проволоку, мгновенно раздавался тягучий колокольный звон, тот самый, что слышали мы с Марущаком, когда бродили во время чоновской тревоги по опустевшему зданию.

— Для чего вы звонили в колокол? — спросили на допросе у садовника Корыбко.

— Попугать хотел... коммунистов...— сказал, насупившись, Корыбко.

— Что, разве коммунисты — епархиалки? — спросил следователь.

— По глупости! — сознался Корыбко.— Теперь это не модно — привидения. Советская власть ликвидировала господ, а с ними вместе и привидения. А я оплошал и себя зря выдал.

Садовник Корыбко был арестован как раз в ту самую дождливую ночь, когда я отправился один спать под стогом.

Перешедшие границу бандиты хотели перебить курсантов около пылающего стога и затем двинуться дальше, к городу, на соединение с бандой Сатаны-Малолетки. Мои выстрелы помешали бандитам выполнить этот план. Они даже не успели поджечь стог. Когда, услышав разрывы гранат около баштанов, выбежали из совхоза курсанты, бандиты, не приняв боя, махнули обратно в Бессарабию. Но один из них не сумел уйти. Я ранил его пулей из своего зауэра в ногу, пуля раздробила ему кость. Оставленный своими товарищами, бандит пополз огородами к Днестру, и здесь, уже у самой воды, его нашел патруль пограничников, прибежавший на выстрелы с соседней заставы.

МЕНЯ НАВЕЩАЕТ ГАЛЯ

Все это рассказали мне Марущак и Коломеец, сидя у моей кровати. Я слушал их жадно и жалел, что мне еще не так скоро удастся побывать в совпартшколе, посмотреть на монастырский колокол в размурованной нише.

— А... мой пистолет нашли? — спросил я осторожно у Никиты.

— Что за вопрос! — сказал Никита.— Он возле тебя лежал. Его сторож утром подобрал. У Полевого на хранении сейчас твой зауэр.

— А мне его назад отдадут?

— Почему же? — удивился Марущак.— Запишут в чоновскую карточку номер и отдадут.

— В какую чоновскую карточку? Я же еще не комсомолец!

— Ну, это, брат, сейчас только формальности остались,— сказал уверенно Марущак.— Выздоравливай только поскорее!

— И на собрание приходи! — добавил Никита важно.— Там посмотрим, взвесим, разберем!

— Да, приходи! — протянул я, вспомнив обиду, которую нанес мне когда-то Коломеец.— Я приду, а ты опять мне выкинштейн устроишь.

— У-у-ух, какой ты злопамятный,— протянул, смеясь, Марущак.— Не бойся, мы на этот раз другого председателя выберем, доброго.

— А я, по-твоему, кровожадный? — спросил Коломеец.

— Ну, ясное дело...— сказал Марущак шутливо.

В эту минуту две санитарки с грохотом вкатили в палату высокую тележку на роликах. При виде этой тележки у меня сжалось сердце, я сразу забыл про моих гостей.

— На перевязку! — объявила полная голубоглазая санитарка Христя.

— Разве сегодня? — жалобно протянул я. — Лучше завтра. Не надо сегодня!

— Фу, как не стыдно! Такой герой, и перевязок боится,— сказала Христя, наклоняясь близко и подсовывая мне под спину сильную и мягкую свою руку.

Перевязки мне делал сам доктор Гутентаг. Вот и сегодня, когда меня вкатили в светлую перевязочную, он уже стоял наготове, с пинцетом в руках, низенький, скуластый, в надвинутой на лоб белой шапочке. Только санитарки переложили меня с носилок на твердый стол, Гутентаг быстрыми шагами подошел ко мне и сразу схватил меня за ногу. Он стал сгибать ее в колене, щупать. Я, чуть приподнявшись, со страхом следил за цепкими и сильными пальцами доктора.

— Больно? — глухим грудным голосом спросил наконец Гутентаг.

— Немножко! — протянул я, жалобно скорчив лицо.

— Немножко не считается,— отрезал доктор и распорядился: — Снимите бинты!

Проворная худенькая сестра Томашевич принялась распутывать бинты. Багровый длинный шрам со следами ниток по краям обнажился у меня на груди в том месте, где было вырезано ребро. Гутентаг глянул на шрам, свистнул и сказал:

— Зажило отлично. Через пару дней можно будет ему уже наклеечку прилепить. Смажете коллодием — и все. Понятно?

Сестра, обтирая шрам спиртом и накладывая па него чистую марлю, понимающе кивнула головой.

Все было ничего до тех пор, пока она, перебинтовав мне грудь, не взялась за кончики бинта на голове. Уже заранее я закусил нижнюю губу и заелозил ногами по столу.

— Что это за фокусы? — грозно спросил Гутентаг и нахмурился.

— Больно, доктор! — заныл я сквозь зубы.

— Злее будешь,— бросил доктор.— В следующий раз не дашь, чтобы тебе под ноги гранаты бросали. Тоже вояка! Сам должен целехонек быть, а врага на землю. Понял?

Я понял, что доктор заговаривает мне зубы, и со страхом прислушивался, как сестра Томашевич легкими и быстрыми пальцами разматывает бинт: все меньше и меньше оставалось его на голове, и вот, наконец, последний хвостик мелькнул перед глазами. Я зажмурился. Теперь начиналось самое страшное: сестра начала потихоньку отдирать подушечки, наложенные на раны.

— Ой, ой, ой, ой! — заныл я.— Тише, ой!

— Терпи, терпи,— бубнил где-то рядом доктор.

Я уже не видел доктора, не видел сестры, глаза мне застилали слезы, они лились по лицу, соленые, горячие, я слизывал их языком с губ. Это было очень больно, когда сестра отдирала тампоны, они присохли к выросшим вокруг раны волоскам, я вертелся на твердом столе от боли, махал руками, подвывал.

— Ну, будет! Слышишь, все уже, все! — кричал мне в ухо Гутентаг, но я все еще лежал, болтая ногами, ничего не слыша и подвывая.

— Видите,— тихо сказал доктор сестре,— обошлись без трепанации черепа, и все хорошо получается. Крепкий парень! — Он похлопал меня по ноге.

Хорошо было возвращаться в палату после перевязки: предстояло два дня спокойной жизни без мучений.

Длинные, покрытые кафельными плитами коридоры тянулись через все здание, тележка грохотала на этих плитах, проплывали мимо узкие сводчатые окна, за ними виднелось синее-синее небо, далеко, за Должецкий лес, опускалось солнце. Как хотелось мне в эти минуты туда, на волю, в лес, к знакомым хлопцам!

Меня подвозили уже к палате. Я увидел сидящих на дубовой скамейке в коридоре Сашку Бобыря, Петьку Маремуху и... Галю. Галя была здесь! Милая, дорогая моя Галя пришла навестить меня! Я готов был спрыгнуть с носилок, подбежать к Гале, поздороваться. Маремуха вскочил и, шагая рядом с тележкой, поспешно забормотал:

— Швейцар не хотел нас втроем пускать к тебе, Василь, так я побежал к Гутентагу, и нас пустили!

Петька хотел зайти вместе со мной в палату, но Христя подняла руку и сказала:

— Подождите, ребята. Вот уложим раненого на койку, и тогда зайдете.

Лежа на свежих взбитых подушках, покрытый серым ворсистым одеялом, концы которого Христя аккуратно подоткнула вокруг матраца, я встретил гостей. Первой подошла к моей постели Галя. Я словно впервые увидел ее. Очень она была хорошенькой, самой красивой, самой родной для меня в эту минуту. Она покраснела, смутилась, а кончики маленьких ее ушей побагровели от волнения. Подавая мне теплую руку, которую я пожал изо всей силы, Галя сказала тихо:

— Ты получил мое письмо, Василь? Я ответила сразу...

— Не получил. Но это пустяки. Получу, наверное. Привезут. Там и вещи еще мои остались,— буркнул я, смущаясь. Не хотелось, чтобы Сашка и Маремуха узнали о нашей переписке.

— А я думала...— протянула Галя.— Очень больно, Василь? — спросила она, кивая на мою забинтованную голову.

— Так себе,— ответил я беспечно.

— А кто тебе операцию делал, Василь? — полюбопытствовал конопатый Бобырь.

— Гутентаг.

— Ну, тогда, значит, не больно было. Когда он меня оперировал, я никакой боли не чувствовал,— шмыгая носом, сказал Бобырь.

— Сравнил тоже! — обиделся я.— У тебя простая заноза была, а здесь — видишь! — И я показал рукой на свои раны.

— Ну, положим, не простая заноза, а целая щепка,— возразил Бобырь.— Она до самой кости вошла.

— У тебя до кости, а у меня череп разломан так, что мозг видно!

— Мозг? — с ужасом спросил Маремуха.

— Ну да,— ответил я как можно более спокойно.— В двух местах мозг видно.— Я искоса поглядел на Галю.

Она тоже испуганно смотрела на мою перебинтованную голову. Чтобы поддать жару и выставить себя еще большим мучеником, я сказал небрежно:

— Но это пустяки. Вот заживут немного раны, тогда доктор припаяет мне под кожей такие золотые пластинки. Крепче кости будут!

— Оловом припаяет? — спросил Бобырь.

— Оловом? Нет, зачем... Не оловом... Есть такой... Ну, понимаешь, есть такой клейстер особый. Я забыл название,— едва вывернулся я.

— А ты слышал, Василь, что вашего Корыбко арестовали? Теперь в сад можно будет лазить сколько угодно! — сказал Маремуха.— Я тебе раньше не хотел говорить, потому что...

— Все знаю...— сказал я.— Мне курсанты рассказывали... А... что Котька теперь делает?

— Котька перебрался к своему Захаржевскому,— объяснил Маремуха.— И, знаешь, он теперь посещает комсомольскую ячейку печатников.

— Нет, правда? — не поверил я.

— Ага! — подтвердил Бобырь.— На каждое открытое собрание приходит. И, наверное, скоро заявление подаст в комсомол.

— Ничего не выйдет из этого! — отозвалась неожиданно Галя.— Все же знают, что Котька недаром к меднику поступил. Он хочет себе стаж рабочий получить — вот что!

Я смотрел на Галю и не верил своим ушам. Ведь еще так недавно она ходила с ним, а сегодня... Я радостно смотрел на Галю, на ее высокий лоб, густые мягкие волосы, зачесанные назад и заложенные по краям за уши, на чуть вздернутый нос. Галя отвела в сторону зеленоватые глаза, поправила вязаную кофточку и сказала смущенно:

— Что ты смотришь, думаешь, неправду говорю? А вот правду... Да он сам мне рассказывал об этом...

— Кто? Котька? Что рассказывал? — полюбопытствовал Маремуха.

— Ну да, Котька. Вот когда Василь уехал,— Галя кивнула в мою сторону,— он пришел ко мне домой и говорит: «Пойдем на гулянье»... Ну... мы пошли. А по дороге Котька открыл кошелек и стал хвастаться: «Я тебя, говорит, сейчас на каруселях покатаю: видишь, говорит, сколько денег! А все, говорит, заработанные. Но деньги, говорит, пустяки. Денег еще больше будет. Самое главное — стаж. Вот проработаю еще немного, нагоню себе рабочего стажа, тогда никто и не пикнет, кем был мой папа, с рабочим стажем я далеко пойду».

— И ты... и ты с ним еще говорила после этого? — спросил я с возмущением.

— Зачем? — сказала Галя спокойно.— Я говорю: «Не надо мне твоих денег, не надо карусели, а ты жулик и бесчестная личность». Повернулась и ушла.

— Правда, Галя? — спросил восхищенно Маремуха.

— Спроси у него сам, если не веришь,— сказала Галя.

— Надо мне очень тоже! — буркнул презрительно Петька.— Я с ним три года не разговариваю.

— Что, молодые люди, пришли навестить страдальца?

Я быстро оглянулся, а ребята вскочили. На пороге палаты, улыбаясь, стоял Полевой. Голова его была выбрита наголо и загорела так же сильно, как и лицо.

— Сидите, сидите. Что вы переполошились? И я сяду,— сказал Полевой и схватил свободную табуретку.

Подвинув ее к моей кровати, Полевой шумно уселся и посмотрел на меня. Сели и хлопцы. Оправив голубенькое платье, осторожно села на табуретку возле Полевого Галя.

— Ты не сердись, Василь, что я не зашел к тебе вчера, как только мы приехали: дела много было у меня. Но я послал к тебе Коломейца. Был Коломеец у тебя?

— Был. И Марущак с ним пришел.

— Ну, мне, значит, уже нечего делать. А я-то собирался сам тебе о подвигах твоих порассказать. Как здоровье?

— Ничего!

— Да я-то, положим, и сам знаю как,— сознался Полевой.— Я, прежде чем к тебе зайти, доктора все выспрашивал. «Ничего, говорит, заросло прекрасно, скоро будет в футбол гонять». Сыграем в футбол, Василь?

— А чего ж, сыграем! — отозвался я.

— Тогда старайся, выздоравливай поскорее, чтобы до выпускного вечера был на ногах! — приказал Полевой и, разглядывая сидевшего смирно Маремуху, сказал:— Этого молодца знаю, с этим блондином мы тоже как будто встречались,— добавил он, кивая на Бобыря,— а вот барышню вижу первый раз. Может, невеста?

Полевой хитро смотрел на меня. Я не знал, как ответить ему, чтобы не обидеть Галю. А она тоже покраснела, смутилась и не знала, куда девать глаза.

Чтобы нарушить неловкое молчание, Полевой обратился к Гале и, не переставая улыбаться, сказал:

— Смотрите, барышня, держите этого героя в руках.— Полевой кивнул на меня.— Потому что, я слышал, он уже по кофейням с девушками разгуливает.

У меня перехватило дыхание. Не иначе, Полевой узнал о кафе Шипулинского от моего отца. А что, если отец рассказал ему и про ложки? Краснея от стыда, я искоса смотрел на Полевого и пытался узнать, все ли ему известно или нет. Но Полевой улыбнулся хитро и загадочно, и ничего нельзя было понять в его взгляде. Потом он встал и неожиданно сказал:

— А у меня, кстати, деловой разговор к вам есть, молодые люди. Куда думаете податься осенью? Что вы думаете делать дальше?

Наступило молчание.

Погодя Сашка Бобырь отважился и спросил:

— Как — что?

— Трудовую школу вы окончили? — деловито спросил Полевой.

— Ого, еще весной! — протянул Петька.

— Ну а сейчас? — обводя нас внимательным взглядом, спросил Полевой.

— Я не знаю, как Бобырь и Галя, а вот мы с Петькой,— сказал я тихо,— думали осенью на рабфак поступить.

— На рабфак? — Полевой задумался.— Ну что ж, на рабфак — оно, конечно, тоже неплохо, но у меня к вам есть интересное предложение. Быть агрономом, инженером или ученым — это, конечно, очень похвально. Но ведь у станка кому-то стоять нужно? Профессия любого квалифицированного рабочего не менее почетна и уважаема. К чему я это вам говорю? Вы знаете, хлопчики, сейчас мы пускаем в стране один за другим старые заводы и, надо полагать, будем скоро строить новые. Для этих заводов нам нужны ученые руки. Не сегодня, так завтра, быть может, их понадобится ой, ой, ой как много. Сейчас во многих городах открываются школы фабрично-заводского ученичества. Будет такая школа и в нашем городе. Как раз вчера мне в окружкоме партии сказали, что я назначен директором этой школы. Я ведь в молодости на заводе в Екатеринославе работал. Деньги уже отпущены. Мастерские будут особые. Стипендию ученики будут получать. Инструкторов дадим хороших. Скоро начинаем набор в школу. Ну, мне бы хотелось подобрать туда славных, боевых ребят. Вот гляжу я на вас, вижу — так, в общем, компания ничего подобралась. А что, если с осени в фабзавуч?

Мы переглянулись.

— Я слыхала о фабзавуче,— тихо сказала Галя.— Моего отца инструктором столярного цеха приглашают.

— Ну вот видишь, как хорошо. С отцом вместе будешь в школу ходить,— обрадовался Полевой.

— А мне разве тоже можно? — недоверчиво спросила Галя.

— А почему же нельзя? — Полевой усмехнулся.

— Ну я же не мальчик! — тихо сказала Галя.— Девочкам разве в фабзавуч можно?

— А по-твоему, надо для вас особое епархиальное училище открыть? — ответил Полевой.— Сейчас другие времена. Что, разве ты не можешь на механика выучиться или, скажем, на токаря? Поработаешь, получишь квалификацию. На ногах тверже стоять будешь. А о высшем образовании еще будет время подумать.

— На слесаря тоже можно будет в том фабзавуче выучиться? — все еще недоверчиво поглядывая на Полевого, спросил конопатый Бобырь.

— Слесарное отделение как раз будет самым большим,— сказал Полевой и, оглядывая всех нас, добавил:— Так вот, молодые люди, я сейчас ухожу, а вы подумайте, посоветуйтесь. Если будет охота, милости прошу под мое начало.

ДАЕМ БОЙ!

Из больницы меня выписали уже после выпускного вечера. Так и не пришлось мне повеселиться последний раз с отъезжающими курсантами, не удалось поиграть с ними на прощание в футбол. Когда я вместе с отцом подъехал на извозчике к знакомому решетчатому забору в конце Житомирской, меня поразила непривычная для школьного двора тишина. Не видно было пробегающих в аудитории курсантов в голубых буденовках, не прохаживался, как прежде, с винтовкой около сторожевой будки курсант-часовой, ворота были просто закрыты на тяжелый ржавый замок. Брызги известки белели на окнах главного здания: там, внутри, шел ремонт, да и снаружи фасад тоже отделывали к новому учебному году; около водосточных труб висели маленькие деревянные люльки на канатах, и яркие пятна зеленой и коричневой краски были разбросаны по крыше совпартшколы — это маляры пробовали, в какой цвет лучше красить давно уже выцветшую под солнцем крышу.

Отец хотел, чтобы я, пока совсем не поправлюсь, поселился с ним и теткой вместе, но я настоял на своем и устроился в кухне. Доктор Гутентаг, выписывая меня из больницы, велел, чтобы в первое время поменьше двигался и побольше лежал, но стоило мне только очутиться в этом знакомом доме, как сразу меня потянуло на улицу, и я после обеда выбрался из своей кухни на волю. Опираясь на старую отцовскую палку, я медленно спустился по лестнице флигеля на заросшие подорожником булыжники двора и направился к главному зданию. Тихо было в здании, очень тихо. Перила ведущей вверх каменной лестницы с вытоптанными ступеньками покрывал слой пыли, деревянные полы в коридорах были забрызганы известью, а под стенами стояли вытащенные из аудитории черные парты. Двери в курсантский клуб были широко раскрыты, и я мимоходом прочел над сценой такой знакомый лозунг: «Мир хижинам — война дворцам!» Дойдя до того окна, из которого Марущак палил из винтовки, я понял, что прогулялся сюда напрасно. Дыру в широкой печке уже замуровали: лишь плотный слой красного кирпича указывал место, где висел старый монастырский колокол, так долго пугавший живущих здесь своим загадочным звоном. Я потрогал рукой квадратик кирпичей, отковырял кусочек застывшей штукатурки и медленно поплелся вниз, в сад.

Уже на деревьях желтела листва; целые заросли бурьяна появились на лужайках сада; красные от мелких, похожих на кораллы ягодок стояли кусты барбариса; давно повылетали из гнезд ставшие теперь уже взрослыми птенцы. Вдоль каменного забора тянулась ореховая аллея, серые гладкие стволы высоких деревьев подымались над соседними сливами и яблонями; в расщелине самого старого из ореховых деревьев я заметил черное дупло, в которое засунул тогда, весенним утром, алюминиевую миску. Очень тихо было в саду, и, когда я подошел близко к ореховой аллее, где-то высоко в листве послышался чуть различимый шум — это, пробивая блестящие лапчатые листья, падал вывалившийся из кожуры орех. Я заметил место в траве, где он упал, и, ковыляя, направился туда.

Орех был спелый, большой, он слегка припахивал йодом. Я опустил его в карман и принялся искать в траве другие орехи. На лбу, оттого что я еще как следует не поправился, проступила испарина, но я не замечал ничего и старался набрать как можно больше орехов.

Вспоминая детство и ползая на коленях, я увлекся так, что не заметил, как в саду потемнело. Наступали сумерки, солнце давно закатилось за предместье Белановку, пора было уходить домой. Усталый, измученный, но зато с полными карманами орехов, я вышел во двор и, усевшись на скамеечке возле калитки, принялся раскалывать их. Я вставлял орех в щель между калиткой и железной балкой, легко тянул калитку на себя, и орех с хрустом раскалывался, на ладонь летели обломки скорлупы и белые куски молодых зерен.

На земле под скамейкой уже валялось порядочно шелухи, когда я услышал за кустами голос Петьки Маремухи.

— Если мы сейчас этому подлецу не покажем, то он потом еще больше задаваться будет! — взволнованно доказывал кому-то Петька.

— Сюда, Петька,— крикнул я, подымаясь.

— Смотри, он уже по двору ходит! — удивился Петька, появляясь из-за кустов вместе с Бобырем.— А мы думали, что ты еще в кровати. Дай-ка орехов!

Я отсыпал в пухлую ладошку Маремухи пяток орехов и угостил орехами конопатого Бобыря. Сашка сразу же, точно обезьянка, засунул один орех в рот и стал разгрызать его.

— Вот сумасшедший! — сказал я Сашке.— И так двух зубов нет, отстальные хочешь поломать? Калиткой дави.

Теперь калитка ездила на крючках взад и вперед без остановки.

Маремуха, посапывая, ел орехи, то и дело поглядывая на мой вздувшийся карман.

— Откуда идете, хлопцы? — спросил я.

— Мы шли...— начал Маремуха.— Да, знаешь, Васька, Григоренко в комсомол принимают.

— Что, в комсомол?! — крикнул я.

— Ага,— спокойно подтвердил Сашка, разжевывая орех.— Мне брат Анатолий рассказал, он же в ячейке печатников, а Котька ту ячейку посещал. Брат сказал, что Котька вчера им анкету и заявление подал.

— Еще не разбирали? — поспешно спросил я.

— В субботу на собрании разберут,— сообщил Бобырь.

— Ну, так это еще не факт, это еще посмотрим! — протянул я облегченно.

— Думаешь, не примут? — Петька заволновался.— Примут, вот увидишь. Ты что, не знаешь, какой он проныра и жулик?

— Чего ж ты молчишь, Сашка? — напустился я на Бобыря.— Твой брат в ячейке печатников, расскажи ему, что за тип этот Григоренко, пусть он выбросит его заявление в помойную яму — и все.

— А я не говорил? Говорил. Только узнал сегодня, сразу же и рассказал. Но видишь, какое дело: Анатолий поехал в село по шефской работе и вернется лишь в четверг. Он, как я ему рассказал про Котьку, сказал мне, чтобы я собрал своих хлопцев и пришел с ними в субботу на собрание.

— Ну, ясное дело, мы ему должны дать отвод! — сказал я горячо.

— А может, ты вместо отвода, Василь, пойдешь на кровать? — услышал я позади голос отца. Он стоял у забора возле будки часового.

— Зачем на кровать? Я уже здоров!

— Голова не болит? — выходя на улицу, спросил отец.

— Ни капельки!

— А нога?

— Чуть-чуть,— обманул я отца.

Нога еще болела, колено ныло, но, если бы я сознался, отец немедленно уложил бы меня в кровать.

— А ну посуньтесь, хлопчики,— попросил отец Маремуху и Бобыря.

Те поспешно подвинулись.

— Кто орехами угощает? — спросил отец.

Я вытащил из кармана горсть орехов и протянул отцу.

Заглядывая мне в глаза, отец сказал:

— Значит, мы уже и в саду успели побывать, не так ли? Ой, Василий, Василий, пороть бы тебя следовало, да рука у меня не поднимается. Просил же я: не ходи много, отлеживайся. Так нет, понесло тебя сразу в сад. А если швы разойдутся, снова в больницу, да?

— Не разойдутся,— ответил я неуверенно и сразу пощупал ребро.

Помолчав немного и с треском раздавив ладонью о скамейку орех, отец спросил:

— Кому вы это собирались отвод давать?

— Котьке Григоренко. Докторскому сыну. Знаешь? — объяснил я.

— За что? — спокойно спросил отец.

— Его ж отца в Чека расстреляли! — сказал я горячо.

— А что сам Котька собой представляет? — спросил отец.

— Как — что? Он же чуждый! — возмутился Маремуха.

— Он у петлюровских скаутов начальником патруля был, а сейчас нарочно к меднику Захаржевскому поступил, чтобы стаж рабочий себе нагнать! — добавил я.

— А я, когда мы в гимназии учились,— важно заявил Сашка Бобырь,— сам слышал, как этот Котька хвалился, что гетман Петро Дорошенко, который нашу крепость брал, ему родичем доводится.

— Ты спрашиваешь, что представляет, да? — продолжал я горячо втолковывать отцу.— Да он собственный дом имел, он хлопцев наших быдлом называл, этот Котька, он презирает рабочий класс, а если бы сейчас Петлюра вернулся, он бы всех нас порезал. Разве ему можно быть в комсомоле?

— Значит, вы ему дадите бой на собрании? — спокойно и как бы подзадоривая нас, спросил отец.

— Ого! Еще какой! — ответил я запальчиво.

— Ну и правильно! — согласился отец.— Только горячиться особенно не надо. Если вы уверены в том, что он чуждый комсомолу, докажите это. Важно доказать, что он сам подлец,— вот в чем штука. В комсомол должны идти ребята с чистым сердцем, и, если вы уверены, что на сердце у этого Котьки грязь, говорите об этом смело, честно и ничего не бойтесь.

Помня советы моего отца, мы втроем долго обсуждали, как будем давать отвод Котьке.

Мы решили не вспоминать мелкие наши обиды, а сказать на собрании только самое важное, как отец выразился, основное и принципиальное. Тут же мы условились, что первым в прениях выступит Сашка Бобырь, так как брат его состоит в ячейке печатников, потом возьмет слово Петька Маремуха, а я буду заключать и скажу самое главное по отводу: то, что мне рассказала в больнице о Котьке Галя. Мне предстояло доказать собранию, что Котька хитрый карьерист, что надел он рабочую блузу только для того, чтобы побыстрее замазать свое прошлое. Когда приятели ушли, я один в пустой кухне начал репетировать будущее выступление.

— Товарищи! — кричал я изо всей силы, обращаясь к русской печке.— Этот чуждый тип, этот выскочка в рабочей блузе, этот карьерист с грязным сердцем хочет вступить в комсомол только для того... только для того...— Здесь я запинался. Что дальше говорить, я не знал. Хорошее начало выступления неожиданно обрывалось.

«Ну ничего! — утешал я себя.— Как-нибудь! А если даже не скажу всего, приятели помогут. Как-никак втроем выступать будем».

Но уже вечером в пятницу выяснилось, что на комсомольском собрании придется выступать только нам с Петькой вдвоем. Сашка Бобырь выбыл из строя. Ему снова не повезло. Мы прослышали, что после обеда в пятницу на стадионе около завода «Мотор» будут играть в футбол наши зареченские хлопцы. Мы пришли на площадь еще до начала игры, и Бобырь сразу стал проситься, чтобы его взяли на левый край, но охотников играть хватало, и ему отказали. Сашка заметно огорчился, но потом, делая вид, что ему не особенно хочется играть, сказал капитану команды Яшке Тиктору:

— Ну ладно, я тогда позагораю, а когда кого-нибудь подкуют, позовите меня!

Вблизи ворот, за линией поля, стояла расшатанная судейская вышка. Обычно, когда на стадионе играли волейбольные команды, эту вышку подтягивали к площадке, на нее залезал судья и свистел оттуда сверху, как милиционер.

Сашка Бобырь взобрался на эту вышку, разделся и, оставшись в одних только малиновых трусиках, подставил солнцу свое худое веснушчатое тело. Площадка на верху вышки была не очень широка, и поэтому Сашкины ноги высовывались наружу.

— Все равно не загоришь, Бобырь! — крикнул снизу Петька Маремуха.— Конопатые не загорают! Иди лучше к нам.

Сашка даже не откликнулся на приглашение. Оскорбленный тем, что его не взяли в игру, он решил оставаться в одиночестве. Мы с Петькой растянулись на мягкой траве около самой линии поля и, следя за игрой, вскоре позабыли о Сашке. Зареченцы сперва играли неважно, и я подумал даже, что зря они начали игру в двое ворот, им бы в пору еще на одни ворота тренироваться: нападение было слабое, центрфорвард и капитан команды Яшка Тиктор так мазал все время, что тошно было смотреть. Однако чем дальше шла игра, тем все больше было настоящих ударов, а под конец первого тайма хлопцы из первой команды очень ловко стали пасоваться головами.

В эту минуту за воротами раздался отчаянный вопль Сашки Бобыря.

Сашка прыгал на вышке, отмахивался руками, кричал, а над головой его вилась целая туча пчел. Они наседали на Сашку и, видимо, стали его жалить, потому что Сашка закричал еще сильнее и бросился к перилам. Вышка повалилась набок, и Сашка вылетел из нее далеко в траву. Но и здесь пчелы донимали Сашку. Видя, что укрыться от пчел не удастся, Сашка вскочил и, закричав: «Хлопцы, спасайте, они меня заедят!» — помчался на середину поля, к играющим. Игра прервалась, точно по команде.

— Это рой, хлопцы! Убегайте! — закричал на все футбольное поле капитан Тиктор и сам первый понесся на улицу.

Услышав разумный приказ капитана, обе футбольные команды в полном составе вместе со зрителями и заворотными хавбеками мчались теперь наискосок по зеленому полю к зданию больницы. Белели на линии корнера кучки оставленной ими одежды, сиротливо желтел у ворот новенький мяч, а ослепленный укусами Сашка Бобырь, не переставая растирать лицо руками, призывая из всех сил на помощь, гнался за футболистами в своих малиновых трусах, и туча разъяренных пчел — последний, чудом появившийся рой этого лета — летела за ним вдогонку.

Полчаса спустя, когда Сашка лежал на клеенчатой кушетке в аптеке провизора Дулемберга и распухал на глазах у всех, мы узнали подробно, что произошло.

Когда Сашка задремал, греясь на солнце, ему на малиновые трусы, видимо приняв их за цветок, села матка пролетающего вблизи роя. Не успела она перелезть на Сашкино тело, как мигом на Сашку стал садиться и весь рой. Задушил ли Сашка с перепугу пчелиную матку или, быть может, просто грубо сбросил ее на землю, во всяком случае, пчелы покусали его так здорово, что к вечеру глаза Сашки превратились в маленькие узенькие щелочки, кожа на лице поднялась, точно квашня, веснушки на коже расплылись, руки и ноги тоже были покусаны и пухли. Провизор Дулемберг вылил на Сашку добрый стакан нашатырного спирта, мы прикладывали ему к укусам влажную землю, но эти средства помогали мало. Сашка повизгивал от боли и полнел, полнел...

На следующий день, в субботу, Сашке стало немного лучше, опухоль спала, но было ясно, что показаться в таком виде на комсомольском собрании — значит, провалить все дело. Оставив больного Сашку дома, мы с Петькой пошли к печатникам без него.

Когда мы пришли, собрание уже открылось и комсомольцы стоя пели «Молодую гвардию». Все передние места в этом длинном и узком зале с низкими сводами были заняты, и нам с Петькой пришлось устраиваться позади, на скамье под плакатом, призывающим жертвовать деньги на эскадрилью «Наш ответ Чемберлену».

Первые два вопроса меня интересовали мало, я почти не слушал, что говорили на собрании, я шептал про себя слова своего выступления и ждал, чтобы поскорее начался прием. Я хорошо видел Котьку, его затылок, его широкие плечи, плотно обтянутые батистовой рубашкой. Он уже чувствовал себя здесь своим, он уже чувствовал себя комсомольцем; в то время как другие посещающие

сидели позади, стояли у двери, не вылезая вперед, Котька Григоренко нахально полез в самый первый ряд. Он сидел там вместе со старыми комсомольцами, и мне все время казалось, что вопрос о его приеме в комсомол уже давно решен и что мы со своим отводом только осрамимся здесь, среди лучшей комсомольской ячейки города.

«А может, и не надо вовсе ничего говорить? Ну кто нас послушает? Здесь же сидят взрослые ребята, комсомольцы, многие из них успели уже повоевать в гражданскую войну, почти все состоят в ЧОНе, они все разбираются в политике лучше нас и сами прекрасно знают, кого можно принимать в комсомол, кого нельзя. Может, просто тихонько сидеть до конца собрания и, поглядев, как окончится дело, незаметно первыми уйти отсюда? И никто на нас внимания не обратит, и никто не будет смеяться, если мы скажем не то, что следует, и пальцами на нас потом не будут показывать!»

Думая так, я чувствовал, что все больше и больше волнуюсь. Я еще не сказал ни одного слова, но во рту у меня уже пересохло, голова слегка побаливала, и мне казалось со страху, что швы на груди и на лбу начинают расходиться. Но тут же я соображал, что не выступить мне уже нельзя. Во-первых, меня засмеет Петька Маремуха; во-вторых, Котьку могут принять в комсомол; наконец, что я скажу отцу, если он меня спросит дома, какой мы бой дали Григоренко на собрании? «Нет, ты должен выступить во что бы то ни стало, иначе ты трус. Обязан выступить, слышишь?» — шептал я себе и вдруг в эту минуту увидел в том же самом ряду, где сидел Котька, знакомый затылок Никиты Коломейца.

Никита из Балты пришел на собрание! Вот это здорово! Я слышал, что Коломеец окончил школу, находится еще в городе и ждет направления в район из окружкома комсомола, но, что он может заглянуть на собрание к печатникам, мне и в голову не приходило.

Теперь я уже чувствовал себя значительно смелее. Я знал, что, если собьюсь, Коломеец не даст меня в обиду. Хотелось, чтобы Никита меня заметил: я привстал и начал делать ему знаки пальцами, но тут Петька дернул меня за рубашку и шепнул:

— Готовься!

— Почему? — спросил я.

— А вот слушай. Уже...

Издали, из президиума, донесся тихий голос председателя — высокого парня в очках, с большой черной шевелюрой:

— Поступило заявление о приеме в комсомол Константина Ивановича Григоренко, из служащих, социальное положение — рабочий, ученик медника, работает по найму у кустаря... Посещает нашу ячейку четыре месяца, по заданию бюро проводил среди кустарной молодежи Заречья сбор средств в фонд общества смычки с деревней...

— Вопрос! — послышался голос Никиты.

Мне сразу стало веселее. «А ну, Никита, скажи пару теплых слов!»

— А может, вопросы после? — обратился председатель к собранию.

— Да нет, товарищ председатель, я хотел спросить, по какой группе принимается данный товарищ? — не унимался Никита.

— То есть что значит — по какой группе? — удивился председатель.— Ясно по какой. По группе рабочих.

— Понятно! — громко сказал Коломеец.

Я так и не понял: согласился ли он с председателем или замышлял против него наступление.

Когда председатель прочел заявление и анкету Котьки, я почувствовал, что почва ускользает из-под моих ног и нам с Петькой почти ничего не остается сказать.

Григоренко сам в своих анкетах написал, что его отец расстрелян Чрезвычайной комиссией за контрреволюцию и что он в связи с этим отрекся навсегда от своих родных. Когда анкеты были прочитаны, председатель огласил приложенную к ним вырезку из газеты «Червонный кордон», в которой было написано, что Константин Григоренко, 16 лет, на почве религиозных и идейных расхождений отрекается от своего отца и от своей матери и просит считать себя сиротой. Объявление это было напечатано полгода назад.

— Где сейчас мать находится? — сурово спросил с места Никита.

— Разрешите ответить, товарищ председатель? — обратился к председателю Григоренко.

— Отвечай! — буркнул председатель, почти к самым глазам поднося Котькины анкеты и вчитываясь в них.

— Мать живет здесь, в городе,— спокойно сказал Котька.

— И ты не поддерживаешь с ней никакой связи? — спросил Коломеец.

— Абсолютно никакой! — И Котька гордо тряхнул головой.

— А почему? — сказал Никита.

— То есть как почему? — не понял Котька.— Я же отрекся!

— Это мы знаем, что ты отрекся! — сказал Никита.— Вообще говоря, это очень интересно: человек сам себя превращает в сироту. А может быть, ты захотел бы, чтобы тебя считали подкидышем, а? Но вот почему ты отрекся, не можешь ли сказать? Отец, я понимаю, был контрик, так сказать, подлец в отношении к революции, и у тебя были основания. Ну а вот с матерью как же?

— Я немножко не понимаю существа вопроса,— медленно, видимо волнуясь, сказал Котька.— Женщина, которая физически была моей матерью, в моральном отношении была для меня чужда и являлась женой человека, враждебного нам... Потому я... Да и, кроме того, она была косвенным эксплуататором.

— Кого же, интересно, она эксплуатировала? — спросил Коломеец.

— Как — кого? — возмутился Котька.— Горничную... наконец, больных, то есть пациентов...

В зале послышался смех. Я не понял, смеялись ли это над вопросом, который задал Коломеец, или над ответом Котьки. Никита, не обращая никакого внимания на смешки, спросил:

— Значит, ты утверждаешь решительно, что у тебя с матерью никаких связей нет?

— Утверждаю решительно,— гордо заявил Котька.

— Понятно! Значит, полный сирота. Ни отца, ни матери, а дядя по несознательности перебежал в Румынию да имение себе там с горя купил,— сказал Никита и, обращаясь к председателю, добавил: — У меня вопросов больше нет!

Пока другие комсомольцы задавали Котьке разные пустяковые вопросы: сколько ему лет, много ли он зарабатывает у своего кустаря и давно ли перестал верить в бога, я поспешно придумывал, что мне говорить, когда начнутся отводы.

Котька держался на собрании очень храбро, он говорил такие слова, как «существо вопроса», «физическое и моральное отношение», «косвенный эксплуататор»... Наверное, его кто-то научил выступать здесь с такими учеными словами.

— Приступаем к обсуждению,— сказал председатель.— У кого есть отводы?

По залу прошел шорох, и стало очень тихо. Председатель приподнялся на цыпочках, вглядываясь далеко в конец зала. Он сейчас казался очень длинным; казалось, вот-вот он раздавит обеими широкими ладонями покрытый кумачом маленький столик. Коломеец обернулся и начал разглядывать сидевших сзади комсомольцев так, словно хотел догадаться заранее, кто из них будет давать отвод.

Котька смотрел в упор на председателя. Видно было — ему очень хотелось повернуться лицом к собранию, но было страшно.

В этой настороженной тишине я услышал, как сидящий позади меня загорелый комсомолец сказал соседу:

— Случай интересный.

Услышав шепот, председатель спросил:

— Ты имеешь отвод, да, Поливко?

Загорелый комсомолец смутился от неожиданности и буркнул:

— Да нет, я просто так.

— Говори, Петрусь,— сказал я и толкнул Маремуху.

— Хорошее дело. Почему я? Говори ты первый!

— Мы же условились. Я буду последний,— сказал я.

— Но Сашки же нет? — заскулил Петька.— Я не буду первым. Говори!

— Будут отводы? Не стесняйтесь, товарищи! Что? — сказал председатель.

— Ну, Петька! — угрожающе прошипел я на ухо Маремухе.

Петька молча сопел.

— У меня есть отвод! — выкрикнул я, отважившись, и, точно на уроке в трудшколе, поднял кверху два пальца.

— Ну что ж, давай! — оживился председатель.— Выходи на сцену!

— Да я отсюда...

— Выходи, выходи...— призывал председатель.

Мне очень не хотелось идти туда, так далеко, к столику президиума, и я попросил:

— Лучше я отсюда. Все равно!

— Пусть парень говорит с места. Не сбивай его! — крикнули председателю.

Махнув рукой, он уселся на табуретку, испытующе глядя на меня.

Но меня уже и так сбили. Все, что я хотел сказать, я забыл. Передо мной были десятки внимательных и незнакомых глаз, только где-то вдали виднелось улыбающееся лицо Коломейца. Котька тоже смотрел на меня, и я видел в его взгляде нескрываемую злобу. Что говорить? Как начинать? Сказать о том, как Григоренко бил в трудшколе Маремуху? Но ведь об этом мы решили не говорить. А что же еще?

Собрание ждало.

Тихо было. И страшно.

Я понял, что, если еще одну секунду простою так, молча, меня подымут на смех. Надо было говорить. Что? Неважно. Лишь бы говорить!

— Товарищи! — задыхаясь от волнения и едва не пустив петуха, сказал я.— Мы хорошо знаем... Я хорошо знаю этого...— здесь я поперхнулся и выдавил хрипло,— типа... Его родственник был гетман Петро Дорошенко, а сам он был начальником «удавов» у петлюровских...

Громкий хохот прервал меня. Собрание смеялось. Я видел вокруг смеющиеся лица комсомольцев.

— Чего вы смеетесь? — заглушая шум, закричал я изо всех сил.— Разве я неправду говорю? Правду! Он был начальником патруля «удавов» у петлюровских скаутов, а его отец...— Но, вспомнив тут, что про отца уже говорить не стоит, я снова сбился и после минутной паузы быстро пробормотал: — Он хочет поступить в комсомол, чтобы карьеру себе сделать, он всегда против Советской власти был, вы ему не верьте!..

Надо было говорить еще, много надо было говорить, но я почувствовал, что ничего больше сказать не сумею,— ни одной связной мысли не было в мозгу, и язык отяжелел.

Махнув рукой, я опустился на скамью. Я не мог смотреть на Петьку, мне было стыдно перед ним, что я оскандалился.

— Ты кончил, паренек? — крикнул председатель.

— Ага,— тихо ответил я, и по залу снова пронесся смешок.

— Разрешите справку по этому отводу! — услышал я жесткий, спокойный голос Котьки.

— Какие могут быть сейчас справки? — сказал председатель.— Справку получишь в конце прений. Что?

— У меня справка в порядке ведения собрания! — не сдавался Котька.— Два слова — и все будет ясно.

— Пусть говорит! — крикнул председателю загорелый комсомолец.— Дай ему слово.

Председатель кивнул Котьке:

— Говори, только кратко.

— Я скажу очень кратко! — еще тверже начал Котька.— Вряд ли можно назвать отводом эту чепуху, которую сказал данный товарищ, все вы понимаете, что это глупости. Дело в том, что здесь со мной сводятся личные счеты...

— Мотивы! Факты! — прервал Котьку председатель.

— Сейчас,— солидно заявил Котька.— Все дело в том, что вместе с этим товарищем мы ухаживали за одной девушкой и эта девушка предпочла меня ему, ну а он, ясно... теперь...

— Неправда! Ты врешь! — закричал я с места.

— Тише, Манджура. Потом скажешь! — ласково крикнул мне Никита, и его голос успокоил меня.

Я понял, что Коломеец на моей стороне.

— И ясно, он теперь ненавидит меня на личной почве! Из-за ревности,— продолжал Котька и осклабился, думая вызвать у собрания сочувственные улыбки.— Кроме того,— продолжал Котька,— когда еще был жив мой бывший отец, то вот этот парень вместе с остальной зареченской шантрапой не раз залезал к нам в сад. Однажды отец поймал его, снял штаны и выпорол крапивой. Но ведь я за это не отвечаю? — И, разведя руками, как заправский артист, чувствуя себя победителем, Котька уселся на место.

— Дай-ка мне еще вопросик, председатель! — подымаясь из-за рояля, сказал Никита.

— Но ведь вопросы уже кончились. Что? — сказал, недовольно поморщившись председатель, но тут же бросил: — Давай!

— Слушай-ка, Григоренко,— уже иным, суровым голосом, глядя в упор на Котьку, сказал Коломеец.— Расскажи собранию подробно, в каких ты был отношениях с садовником Корыбко?

— Я не понимаю... Я был... я был его квартирантом...— торопливо ответил Котька.

Собрание насторожилось. В быстрой скороговорке Котьки мы все услышали волнение.

— Еще! — сурово потребовал Никита.

— Потом я был понятым, когда у Корыбко производили обыск...— добавил Котька.

— Ну а сына ты его знал?

— Нет... То есть...— сбился Котька.

— Что это значит «то есть»? Да ты не виляй, друг! Говори прямо и без фокусов. Разоружайся!

— Я знал, но не думал, что это его сын... Они при мне были на «вы».

— Значит, ты видел, когда этот Збигнев приходил к отцу? — спросил Никита.

— Видел. Это было два раза. Один раз он пришел ночью, я уже спал, а другой раз — я вернулся из города, они сидели в кухне и обедали.

— И ты ни о чем не догадывался?

— О чем я мог догадываться? — спросил Котька.

— Ну, что этот человек наш враг и тому подобное.

— А откуда я мог это знать? — удивился Котька.

— Как — откуда? Неужели ты не знал, что этот сын садовника был пилсудчиком? Киев завоевывал и, как выяснилось на следствии, в довершение всего являлся английским шпионом? Что он пришел из-за кордона? Ничего этого ты не знал? — спросил Котьку Никита.

— Конечно... ничего не знал! — дрогнувшим голосом ответил Котька и оглянулся, точно собираясь уйти.

— А что ты говорил на Семинарской?

— Где? — уже совсем тихо спросил Котька.

— Да ты не придуривайся. Сам знаешь отлично где! — зло сказал Котьке Никита и, обращаясь к председателю, попросил: — Дай-ка мне слово!

Никита вышел к проходу и, стоя почти рядом с Котькой, сказал:

— Иногда, товарищи, бывают случаи, когда мы принимаем в наш союз выходцев из чуждых семей. Мы поступаем тогда наперекор пословице, что яблочко от яблони недалеко катится, и порой бывает так, что мы оказываемся правы, а не пословица. Однако мы делаем это в том случае, если люди, выбравшие себе новый путь, честно порывают с прошлым, ничего от комсомола не скрывают и не обманывают нас. Вот здесь сидит этот... с позволения сказать, последний из могикан... Как будто бы все гладко: все рассказал, во всем сознался, руки рабочие, а говорит-то как — заслушаешься. Прямо можно сразу агитпропом ячейки выбирать. Все это так, да не так. Вот вы слушали его разинув рты, а он вас всех обманывал здесь.

Никита передохнул, собрание с тревогой ждало, что он скажет дальше. Котька сидел, опустив голову, а председатель выдвинулся со своей табуреткой ближе к рампе.

— А он обманул вас! — повторил Никита, утирая ладонью вспотевший лоб.— И не зря я предложил ему разоружаться. Дело садовника совпартшколы Корыбко вы знаете, читали о нем в газете. Садовник Корыбко вместе со своим сыном уже давно в штабе Духонина, дело сдано в архив, и все это, так сказать, седое про-

шлое. Но зачем врать? Зачем врать, спрашивается? Врать может только тот человек, у кого совесть нечиста. А вот этот, как его правильно здесь назвали, тип соврал. Я, вы знаете, у вас в ячейке новый человек. Меня временно прикрепил сюда окружком комсомола для усиления работы. Когда Григоренко подал заявление о приеме, я, зная, что он жил на квартире у садовника Корыбко, справился о нем у следователя ГПУ, товарища Вуковича, который вел дело Корыбко. В деле этом есть показания Григоренко. Там, в ГПУ, он сознался, что видел не два, а даже три раза, как в дом к садовнику Корыбко приходил сын его, Збигнев, причем там в своих показаниях Григоренко прямо и ясно написал, что еще со времен петлюровщины он знал, что сын садовника — пилсудчик, что он удрал за границу и так далее. Григоренко заявил на следствии, что он не сообщил обо всем этом властям только потому, что боялся, как бы этот Збигнев его не пристрелил. Не будем здесь говорить, правильно ли сделал Григоренко или неправильно,— думаю, что все вы понимаете это сами,— но зачем врать, спрашивается? Зачем обманывать собрание, прикидываться незнайкой, кричать тут всякие революционные слова, говорить об отречении от матери и в то же время встречаться с матерью тайком? Все это мне очень и очень не нравится, товарищи. Предложение: данного субъекта в комсомол не принимать! — И, точно отрубив последнюю фразу, Никита неожиданно сел на место.

— Продолжаем прения или...— спохватился председатель.

— Голосуй! — послышались выкрики в разных концах зала.

— Кто за предложение товарища Коломейца? — спросил председатель.

Комсомольцы подняли руки и заслонили от меня Никиту.

— Против? — спросил председатель.

Никто не поднял руки против.

— Тогда... минуточку,— объявил председатель и, отыскав на столе повестку дня, поднес ее к очкам.— Переходим к следующему вопросу,— продолжал он.— Но прежде попрошу беспартийную молодежь покинуть зал.

Это воскресенье выдалось холодное, ветреное.

Вверху, на валах Старой крепости, было совсем холодно. Мы с Галей взобрались туда по склонам бастионов, покрытых выгоревшей, желтой травой, и весь город сразу раскинулся перед нами, окруженный узенькой, сверху похожей на ручеек речкой. Слева виднелись маленькие домики Заречья, где-то на самом краю его белел в саду фасад здания совпартшколы, справа за крепостным мостом, ведущим в крепость из города, над самой скалой были разбросаны Русские фольварки — так называлось западное предместье города. Далеко внизу, у изгиба реки, под башней Стефана Батория, я увидел нависший над водой черный камень. Он казался отсюда очень-очень маленьким, водоворот под ним совсем нельзя было различить. Я вспомнил, как напугал нас тогда ночью, когда мы с Галей возвращались из кафе Шипулинского, стоявший на мостике дежурный милиционер. Как давно все это было! Кажется, что не три месяца, а добрых два года прошло с той поры.

Мы стояли, отдыхая, несколько минут. Холодный ветер трепал густые Галины волосы, Галя натянула на себя отцовскую куртку. Эта вытертая на рукавах кожаная куртка была Гале велика, рукава были длинные-длинные — только кончики пальцев едва выглядывали из них. Щеки Гали зарумянились от ветра.

— Хорошо здесь, правда? — спросил я.

— Ага! — ответила она, поворачиваясь.

Не знаю, откуда набралось у меня храбрости, но в ту же минуту, осмелев, я схватил Галю обеими руками и прижал ее голову к себе.

— Пусти! Дурной. Да ты ошалел? — сказала Галя, силясь вырваться.

— Ничего не дурной... Просто... я хочу тебя поцеловать...— буркнул я.

Мои губы столкнулись с Галиным лицом. Я очень неловко, с размаху поцеловал Галю в кончик ее холодного носа и в лоб.

— Ну как тебе не стыдно, Василь! — крикнула Галя, отталкивая меня обеими руками.

Я боялся, что Галя рассердится не на шутку, что теперь она не будет разговаривать со мной.

— Ну, знаешь, Василь! — сказала Галя, отбегая.— Если бы я не знала, что ты был ранен... Целоваться вздумал! Это же мещанство...

— Не сердись, Галя... я так... я нечаянно...— пробормотал я смущенно.

Галя покраснела и тоже смешалась. И, желая скрыть смущение, она сказала быстро:

— Давай пойдем отсюда. Я уже проголодалась.

— Так я тебя сейчас накормлю. У меня есть яблоки, хлеб. Смотри!

И я вынул из кармана завернутую в бумагу горбушку свежего черного хлеба и четыре яблока. Все это, не успев позавтракать, я захватил из дому.

— Из вашего сада? — спросила Галя, принимая большое и слегка загорелое на боку желтое яблоко.

— Это золотой ранет. Да ты понюхай, пахнет как!

Галя понюхала яблоко и откусила загорелый его бочок. Следы ровных ее зубов остались на кожуре яблока.

— Ты с хлебом попробуй. С хлебом вкуснее! — посоветовал я.

— И сытнее! — согласилась Галя, взяв у меня горбушку.

Жуя свежий, хорошо пропеченный хлеб с хрустящей глянцевитой коркой, я, краснея, сказал:

— Галя... у меня... к тебе есть вопрос.

— Какой?

— А ты... правду скажешь?

— Смотря что.

— Котька... тебя целовал?

— Попробовал бы!

— Ты правду говоришь, Галя? — радостно спросил я.

— А с какой стати, скажи мне, врать тебе?

— И даже не обнимал?

— Конечно, нет!

— Ну а почему же он тогда на собрании хвастался?

— Опять ты за свое, Василь? — сердясь, сказала Галя.— Мало ли чего еще этот дурак выдумает! Я же тебе рассказала, что он меня ни чуточки не интересовал. Тоскливо было одной, ну и ходила с ним.

С большим душевным облегчением я вынул из кармана яблоко и в два счета съел его. С кожурой, семечками и хвостиком съел.

— А красивый наш город, правда, Василь? — задумчиво сказала Галя, глядя на белеющие вдали по склонам здания.

— Еще бы! — согласился я, дожевывая второе яблоко.

— Есть ли еще такие города на Украине?

— Не знаю.

— А в России?

— А кто его знает! — сказал я неуверенно.

— Интересный наш город! — протянула Галя.— Жалко будет уезжать отсюда, когда мы окончим фабзавуч. Правда?

— А ты думаешь, нас примут всех в фабзавуч?

— Тебя-то, наверное, примут,— сказала Галя с некоторой завистью.— Ты же Полевого знаешь, он твой знакомый.

— Ну, если меня примут,— сказал я важно,— то я и за тебя похлопочу. Вот честное слово, Галя. Вместе учиться будем!

ЧУГУН ТЕЧЕТ

...Уже зажжена вагранка, потрескивая, горят в ней сосновые щепки, и легкий запах дыма разносится по мастерской. Но дым не страшен: в углу большой комнаты проломлен потолок, видно вверху чистое синее небо, косой луч солнца падает сквозь эту дыру на песчаный пол литейной, на красноватую кучку гатчинского песка под стеной.

Как празднично и чисто сегодня у нас! Все лишние вещи, инструменты, листы с закопченными песчаными стержнями — шишками — все это убрано и лежит на столах в соседнем складе. Здесь, в большом зале бывшего казначейства, около

вагранки, на песчаном полу выстроилось несколько рядов свеженьких деревянных рамок, положенных одна на другую и туго набитых песком. Сверху эти ящики-опоки выглядят одинаково — ровно на уровне деревянных стенок собран песок, круглые черные воронки идут в глубь каждой формы.

Рядами стоят на песчаном полу маленькие ящики, распластались между ними большие квадратные, разделенные решетчатыми перегородками опоки. В них заформованы маховики. Тяжелые они, эти большие с маховиками: сколько труда ушло на то, чтобы подымать да опускать их под начальством нашего инструктора Жоры Козакевича.

Сегодня у нас в мастерской первая отливка. Недаром Жора надел новый брезентовый костюм. Он осторожно расхаживает между рядами опок, проверяет, всюду ли есть душники для выхода газов, то и дело поглядывает, не потух ли огонь в топке вагранки. Но огонь не потух, видно сквозь раскрытую дверцу, как, свиваясь и исчезая, горят белые стружки, как язычки огня пробегают вверх к тонко наколотым лучинкам из сосны. Поверх лучинок положены дрова. Как только огонь запылает в полную силу, можно будет закрыть наглухо поддувало, замуровать боковую дверцу и пустить дутье.

Вагранка прислонилась к стене, она стоит на изогнутых стальных лапах, упирающихся в кирпичный фундамент.

Ради первой отливки мы смазали нашу вагранку машинным маслом — вагранка сейчас сияет, лоснится, черная, пузатая, праздничная.

Всего полтора месяца прошло с того дня, как навестил меня в больнице Полевой, а сколько перемен в моей жизни случилось за это короткое время! Мысль о фабзавуче не давала мне покоя, мы со всеми хлопцами решили идти туда учиться. Нас приняли очень легко, но, когда стали распределять по цехам, оказалось, что половина фабзайцев хочет быть литейщиками, а эта мастерская была самой маленькой — на десять учеников. Я не знал еще тогда, что это за штука такая — литейщик, но стал проситься именно в литейную мастерскую. Но вот беда: Полевой отказался направить меня туда.

— Ты после операции, Василь,— сказал он,— а работа литейщика не из легких, это горячий цех. Я без разрешения врача не могу тебя принять в литейную, выбери себе что-нибудь полегче.

Но я не сдавался.

Горячий цех! Сколько было в этом слове загадочного, опасного! Плавить чугун, превращать твердые, тяжелые обломки старых машин в расплавленную яркую жидкость! Сколько было в этой работе нового, неизвестного, заманчивого! Это совсем иное дело, чем вытачивать в столярном цехе, как Петька Маремуха, деревянные ручки для соломорезок или выпиливать дверные ключи в слесарной, как Галя Кушнир. Я хотел быть литейщиком, еще не зная подробно, что мне предстоит делать. От Полевого я метнулся в городскую больницу, но там мне сказали, что доктор Гутентаг в отпуске. Целый час я бродил по аллеям бульварчика на Колокольной возле его дома,— я думал встретить Евгения Карловича на улице, но его, как на грех, не было; тогда я отважился и потянул рукоятку звонка у его дверей. Открыла мне дочка Евгения Карловича, очень хорошенькая черноволосая девушка Ида. Вечерами она любила стоять у забора докторского дома, и я не раз потихоньку заглядывался на ее смуглое, резко очерченное лицо с высоко вздернутыми бровями. Сейчас Ида, ответив на мой поклон, так внимательно посмотрела на меня, что я почувствовал, как быстро краснею.

—Вам кого, молодой человек? — спросила девушка.

Она заметила мое смущение. Я видел далекую, спрятанную улыбку в ее больших карих глазах.

— Мне... к... Евгений Карлович дома?

— Евгений Карлович в отпуску и сейчас не принимает.

— Но я не на прием, а я... скажите ему, что это Манджура спрашивает. Доктор знает... Я у него в больнице лежал...

Ида пошла к двери, оставляя меня в приемной одного, но у самой двери она быстро повернулась на высоких каблучках и, еще внимательнее разглядывая меня, спросила:

— Как вы сказали — Манджура? Это не вас бандиты гранатой ранили?

— Меня...— сознался я не без удовольствия.

— Папа! — громко закричала Ида из приемной.

Она сидела в кабинете отца все время, пока я просил доктора разрешить мне работать в литейной. Доктор написал бумажку к Полевому о том, что я уже совсем здоров. Я нес эту бумажку в фабзавуч и всю дорогу думал, что Ида в меня определенно влюбилась. Еще, чего доброго, страдать начнет, писать станет всякие сердцещипательные записки.

Со справкой Гутентага я попал в литейную, и Козакевич, единственный наш инструктор, стал с места в карьер обучать нас формовке. Целыми днями мы ползали под руководством Жоры по влажному песку, выдавливая в нем коленками круглые ямки,— мы отформовывали маховики для соломорезок, буксы для селянских подвод, печные дверцы. Сперва мне казалось баловством то, что мы делаем: подумаешь, работа — копаться, точно пацан, в песке и бабки делать. Но потом, когда стал приближаться день первой отливки, формовка казалась мне еще интереснее. Я уже понемногу начал понимать, почему так нежно надо вытаскивать вверх деревянные модели, для чего так старательно надо приглаживать стальной гладилкой каждый лишний бугорок по краям формы, зачем надо выметать каждую соринку из глубоких темных канавок, оставляемых в песке выступами модели.

Я понимал, что формовка — это еще не главное, не самое интересное, что самое главное и самое интересное наступит впереди, когда начнется отливка. Вот почему сейчас, когда пришел этот долгожданный день, я следил за каждым шагом Козакевича, я ждал, что же будет дальше.

Далеко на той стороне площади, где рядом с заводом «Мотор» помещался наш фабзавуч, равномерно постукивал заводской двигатель. Там, в фабзавуче, занимались сейчас слесари, токари, столяры; там, нажимая ногой педаль, вертел токарный станок Маремуха, вытачивая на нем из сухого ясеня рукоятки для инструмента, там на втором этаже сейчас выпиливала бородки ключиков Галя. Шумно там было сейчас, в предобеденную пору, а у нас в литейной еще стояла тишина, и слышно было в этой тишине, как потрескивают дрова на дне вагранки. Сосновые щепки уже догорали, огонь охватывал теперь крупные сухие поленья.

Жора Козакевич поглядел в вагранку и сказал:

— Василь! Скажи-ка мотористам, пусть дают воздух, а сам с хлопцами садись завтракать.

Я ворвался в соседнюю комнату и срывающимся голосом крикнул:

— Пускайте мотор!

Низенький инструктор-механик Гуменюк поковырялся немного у старого автомобильного мотора системы Пежо и, натужась, завел его рукояткой. Мотор чихнул раз-другой и наконец затрещал, наполняя комнату синеватым бензиновым дымом. Рядом на деревянной подставке высилась эмалированная, наполовину облупившаяся ванна с погнутыми краями. От нее к мотору тянулись длинные резиновые шланги. За обычный автомобильный радиатор местный коммунхоз запросил с нашего фабзавуча очень дорого. Тогда Полевой и Гуменюк приспособили для охлаждения мотора эту ванну. Они разыскали ее среди всякого хлама во дворе бывшего воинского присутствия на Колокольной улице. Говорят, эта ванна когда-то принадлежала графине Рогаль-Пионтковской.

Мотор работал, вздрагивая, чихая, и скоро потянул в себя воду; вода забулькала в ванне, и Гуменюк довольно улыбнулся, снял фуражку и вытер мокрую лысину.

Рядом с важным видом стоял Сашка Бобырь. Он числился за слесарной мастерской, но работал на разборке автомобильных моторов, и его вместе с Гуменюком на время отливки Полевой прислал к нам в литейную. Сашка держался свысока, он почти не разговаривал с нами, литейщиками. Сейчас, заметив, что я не отрываясь слежу за работой мотора, Сашка делал вид, что он все уже понимает в нем. Он схватил тряпку, обтер маслянистые бока корпуса, оглянулся и важно спросил инструктора:

— Можно пускать вентиляторы, товарищ Гуменюк?

Инструктор кивнул головой, и Сашка солидно, не спеша перевел рычагом оба ремня, идущие от мотора к вентиляторам, на рабочий ход. Черные, похожие на улиток оба вентилятора вздрогнули, завертелись, косые их лопасти сразу погнали воздух к вагранке. Теперь уже здесь было неинтересно.

Я помчался в литейную. Шум мотора тут слышался уже меньше. Воздух, шипя, врывался по трубам внутрь вагранки; пламя заколыхалось, сперва показалось, что от сильных струй воздуха оно затухнет, но потом быстрые его языки метнулись кверху, жадно сжигая дрова и пробираясь к черным глыбам кокса, придавленным тяжелым грузом чугуна. Сквозь синие стеклышки в глазах видно было, как рвется вверх пламя,— дутье было сильное, настоящее, и я понял по лицу Жоры, что наш инструктор доволен.

Он весело оглянулся и, закатывая до локтей рукава брезентовой куртки, сказал нам:

— А ну завтракать, чемпионы! Еще насмотритесь.

Мы расселись в свободном углу литейной рядом с Жорой прямо на сыром песке и, поглядывая на гудящую вагранку, стали завтракать. Хлеб, намазанный маслом и медом, хрустел на зубах — как я его ни заворачивал в бумагу, всегда мелкие крупинки песка попадали на хлеб, но к этому уже привыкли. Жора Козакевич держал в большой мускулистой руке кусок сала. Счистив с него перочинным ножиком соль, Жора начал есть сало, как едят яблоки — крупными, большими кусками. Он отгрызал куски сала зубами, хотя в руках у него был ножик; он так трудился, что большие желваки бегали под смуглой кожей на щеках. Я смотрел на Жору, на его большие, слегка волосатые руки — прямо не руки, а клещи — и вспоминал, как Жора поборол заезжего чемпиона стального зажима Зота Жегулева. Я гордился тем, что у нас такой инструктор. Кончив завтракать, я вышел в соседнюю комнату, где у нас хранились на листах шишки и модели, и там, в этой комнате, потихоньку засучил и у себя рукава до локтей. Мне хотелось походить на Жору.

— Капает, капает, глядите! — услышал я в соседней комнате визгливый голос Сашки Бобыря.

Я вернулся в литейную и, растолкав товарищей, прорвался к синему глазку. Да, действительно, сквозь синее стекло было видно, как по глыбам пылающего кокса окатываются вниз первые скользкие маленькие капли чугуна. Вагранка была теперь горячая, масло, которым мы ее смазали, дымилось.

Похожие на слезы капли чугуна становились все больше,— тяжелея, они уже не скользили по коксу, а в пустых промежутках падали вниз отвесно, ослепительно яркие, никогда не виданные мной капли расплавленного металла.

— Что, побежало уже молочко? — услышал я у себя за спиной голос Полевого.

Он стоял полусогнувшись и глядел поверх наших голов в глазок.

— Скоро начнет, товарищ директор,— сказал Козакевич.

— Но смотри, Жора, сделаешь козла — оскандалишься на весь город. Лучше подождать немного,— предупредил Полевой.

— И козленка даже не будет. Вы уж не беспокойтесь. Как-нибудь! — сказал улыбаясь Жора и подмигнул Полевому.

— Меня ребята просили разрешить им посмотреть первую отливку,— сказал Полевой.— Я разрешил. Сейчас там кончаются занятия, и они придут сюда. Будешь, словом, иметь еще зрителей, так что гляди не подкачай.

— Ой, не надо мне этих юных зрителей! — заволновался Козакевич.— Они мне формы поломают или еще что.

— Ты погоди, Жора,— успокоил Козакевича Полевой.— Для фабзайцев посмотреть отливку очень полезно, а насчет форм — не беспокойся, я им скажу.

— Да, скажете...— протянул Жора.— А где же они стоять будут? Здесь не театр, не французская борьба, а отливка. Видите, как тесно!

— В дверях постоят.

— В дверях? — Козакевич презрительно усмехнулся.— Что вы, товарищ Полевой! А если, скажем, авария или за глиной сбегать — что тогда? Проход должен быть свободен, и никаких зрителей.

— Ну хорошо, тогда мы откроем окна, и пусть глядят со двора через окна, согласен? — не унимался Полевой.

— Со двора пусть смотрят,— согласился Жора.— Не жалко. Там уже ваша территория. Там хоть балконфетти устраивайте, мне все равно.

Когда Жора подхватил тяжелый острый ломик, чтобы пробить им летку, у окон уже толпились зрители — фабзайцы. Шутка ли сказать — первая отливка!

Фабзайцы жадно заглядывали в глубь литейной. Здесь было жарко, и сквозняки не спасали от зноя. Я знал, что в какое-либо из окон заглянет Петька Маремуха, и догадывался, что, наверное, и Галя пришла посмотреть на первую отливку, но обернуться я уже не мог. Я был занят важным делом: держал в руках три деревянных посоха с насаженными на конце каждого из них затычками из глины. Козакевич размахнулся и ударил острием стального ломика в закупоренную летку. Сухая глина раскрошилась, куски ее покатились по желобу, но ломик с первого удара не достиг чугуна. Жора ударил второй раз, ломик пробил глину и вошел вглубь. Жора поднатужился, загнал его еще глубже и стал раскачивать в разные стороны. Он раскачивал его сильно — казалось, сейчас вагранка рухнет с подставок. Брезентовая куртка натянулась на Жориной спине; стоя на широко раздвинутых ногах перед самым желобом, Козакевич посапывал и смело вращал ломик.

«Как ему только не страшно! — удивился я.— Ведь чугун может вытолкнуть ломик и хлынуть Жоре прямо на живот!»

Козакевич сразу, резко подавшись всем туловищем назад, выдернул из летки раскаленный на конце ломик.

Оттуда, из летки, выкатился шарик красного шлака и затем вырвалась струя расплавленного металла.

Тихо шипя, ослепительно яркая, белая, она побежала по желобу, смывая крошки глины и пыль.

Козакевич отбросил ломик и вместе с фабзайцем Тиктором подхватил ковш. Только струя чугуна сорвалась с желоба, Жора подхватил ее. Яркие брызги подлетели со дна ковша к самому потолку; падая, они осыпали нас всех, стоявших у вагранки, точно звезды от бенгальского огня; запахло паленым: струя была широкой и хлестала в ковш сильно.

— Подхватывай, Гуменюк! — крикнул Козакевич.

Гуменюк ловко перехватил руками рогачи от рукоятки ковша. Жора освободился и спокойно взял у меня посох с затычкой. Не сводя глаз со струи чугуна, он пощупал пальцами затычку, сделал ее поострее. Ковш наполнялся быстро. Поверх металла плавал липкий красноватый шлак — точно пенка на молоке. Чугун поднимал пенку все выше. Ну, уже конец, казалось, сейчас он перельется через верх, хлынет в яму.

Жора не растерялся.

Раз! И он вгоняет в летку глиняную затычку. Искры разлетелись в разные стороны, но маленькая струйка чугуна все еще продолжала скатываться в ковш.

— Пошли! — крикнул Жора и, отстранив Тиктора, сам стал на его место.

Осторожно пробираясь между рядами опок в самый дальний угол, Козакевич и Гуменюк подтащили ковш к большой квадратной опоке, в которой был заформован маховик. Жора наклонил ковш, но в ту же минуту закричал на всю литейную:

— Манджура, паклю, живо!

Я примчался к опоке и выхватил из воронки летника клок пакли. Я не успел отскочить обратно, как Жора перегнул ковш и струя чугуна полилась в форму. Прямо передо мной, в каких-нибудь трех шагах, сверкал ковш, искры летели на меня, жар от расплавленного чугуна обдавал мне лицо, я стоял, прижавшись спиной к стене, не мог уйти и только моргал веками, когда искры пролетали близко.

Форма забрала много чугуна.

Он лился и лился в широкую воронку большой струей, и казалось, ковш уйдет на один этот маховик, как неожиданно у самых моих ног поднялся по запасному отверстию — выпору — с другой стороны формы красный столбик чугуна.

— Стоп! — крикнул Жора.

Чугун в залитой форме застывал быстро — первым потемнел тонкий выпор, затем стала охлаждаться, краснеть широкая конусообразная воронка.

Следующие ковши на пару с Козакевичем таскали фабзайцы. Жора управлял рукоятками рогача, точно прицеливался струей в устье воронки, а фабзайцы только поддерживали ковш за круглую ручку с другой стороны. Я с тревогой следил, когда же наступит моя очередь нести чугун. А может, Полевой тайно распо-

рядился, чтобы Жора не допускал меня к разливке? Может, снова они начнут тыкать мне в глаза, что я после операции, что мне нельзя надрываться? А если и в самом деле Жора не даст мне хоть раз подтащить к опокам ковш, ведь это будет позор! Учиться на литейщика, столько ждать этого дня первой отливки — и не залить хотя бы одну форму!

Я старался изо всех сил обратить на себя внимание: я гонял туда и обратно за новыми затычками, бродил между рядами опок, держа наготове счищалку, подавал Жоре ломик.

Выпускали последний чугун.

Уже давно замолк мотор в соседней комнате, затихло в литейной, и только слышно было, как потрескивали опоки, тлели, исходили дымом их обуглившиеся местами стенки, как переговаривались фабзайцы-зрители. Снова подошел к рукоятке ковша светловолосый, скуластый Тиктор, он собирался тащить ковш вторично, а я все держал наготове деревянные посохи. Теперь отливка была уже для меня немила.

Обо мне забыли нарочно, жалея, делали вид, что меня не замечают. Я стоял у вагранки, опустив голову, потный от жары, усталый и скучный. И вдруг я услышал голос Жоры:

— Погоди, Тиктор, ты уже разливал, дай-ка Василию!

Я бросил на пол затычки и мигом схватил за железное кольцо рогач.

Повел Козакевич.

Он шел согнувшись, я видел перед собой, за пылающим кружочком ковша, его широкую спину, его слипшиеся на затылке от жары волосы, его мускулистые, обнаженные и татуированные руки, по которым струился пот. Я шел позади, держа обеими руками кольцо рогача и мелко переступая ногами по мягкому грунту литейной. Ноги вязли в песке, я думал сейчас только об одном: как бы не упасть. А упадешь — тогда расплавленный чугун хлынет на ноги, обожжет лицо.

Заливать последнюю опоку было очень неудобно. Летник приходился как раз в углу, мы долго не влезали с рогачами в этот угол, я уже стоял на цыпочках, задерживая дыхание, а Козакевич подымал обе руки своего рогача как можно выше.

— Гляди, не танцуй! — крикнул Козакевич.— Замри. Будем лить сверху! — И наклонил ковш.

Струя чугуна полилась в опоку с высоты моей груди. Хорошо еще, что Жора нацелился точно: круглая воронка сразу приняла струю. Чугун бил туда сильно, мелкие брызги его разлетались повсюду, они жалили меня в лоб, в лицо, в руки. Так пекло, что хотелось кричать от жары. Я думал, что уже кожа слезает с лица, а тут еще от близкого огня глаза начали слезиться, я, точно в тумане, видел перед собой падающую вниз струю и едва удерживался на ногах. Я с надеждой ждал той минуты, когда ковш опустеет: эта минута наступала, ковш становился все легче и легче, форма наполнялась. Но тут, как назло, я услышал совсем близкий тревожный голос Гали:

— Василь! Штаны горят!

Я сразу шевельнулся и сбил струю. Вместо воронки чугун хлынул на мокрый песок. Брызги рванулись во все стороны. Фабзайцы спрыгнули с окон на землю, но в ту же минуту шум, шипение чугуна, крик Жоры: «Да тише ты, Василь!» — все это заглушил отчаянный крик Сашки Бобыря.

— Ай, ай, ай, ай! — голосил где-то возле вагранки Бобырь.

— Лей быстро, ну! — приказал мне Жора.

Мы не вылили, а, скорее, выплеснули в опоку остатки чугуна и, бросив на песок ковш, помчались в соседнюю комнату, откуда слышался крик Сашки.

Я на ходу затушил тлеющую штанину и вбежал вслед за Жорой в моторное отделение.

Там, держась обеими руками за рваный ботинок и припадая на правую ногу, носился по комнате со страшным воем Сашка Бобырь. Он кричал во всю глотку, царапал всеми пальцами кожу ботинка, силился разорвать шнурки, топал ногой об землю с такой силой, что казалось, сейчас крыша рухнет на наши головы. Наконец отчаявшись, Сашка на секунду остановился, скользнул по нас безумным взглядом и мигом, словно его догоняла стая бешеных собак, пустился к эмалированной ванне.

Никогда в жизни я не видел такого прыжка! Сашка, не переставая кричать, с разбегу влетел обеими ногами в теплую воду. Ванна не выдержала и опрокинулась вместе с Бобырем, потоки воды плеснули на стену, а Сашка, видимо получив минутное облегчение, вскочил и кошкой выцарапался в открытое окно.

Мы нашли его на лугу, шагах в пятидесяти от мастерской. Весь мокрый, заплаканный и притихший, Сашка сидел по-турецки на траве и очень внимательно разглядывал свою красноватую ногу с длинными, видно давно не стрижеными ногтями.

— Что с тобой, милый? — хватая Бобыря за плечи, спросил Козакевич.

Сашка повернул к нам худое конопатое лицо и очень жалобно, плаксиво протянул:

— Вот!

— Что вот? — не понял Жора.

— Вот, смотрите! — проныл Сашка, тыча пальцем в ладонь. Там, на мокрой ладони, чернела маленькая, похожая на конопляное зерно крупинка застывшего чугуна.

— Ну и что? Капелька чугуна! — сдерживая смех, сказал Козакевич.

— Хорошая капелька! — еще жалобнее проныл Сашка.— Да смотрите, эта капелька мне до самой кости ногу пропалила.

— Где до кости? А ну-ка покажи,— попросил Жора.

Чувствуя, что сыграть мученика не удастся, Бобырь уже более скромно показал нам маленькое красненькое пятнышко у себя на подъеме ноги.

— Нет, милый,— сказал Жора,— это тебе с перепугу показалось, что до кости. Кость еще цела, но...

— Товарищ инструктор,— послышался голос Полевого,— а в следующий раз надо будет проверять обувь перед отливкой. У кого будут рваные башмаки — в литейную не пускать. Получают же все хлопцы спецобувь?

— Я не получаю, товарищ директор,— проныл Сашка,— я не литейщик, а моторист.

— Ну а если ты моторист,— сказал улыбаясь Полевой и поднял с земли Сашкин ботинок,— то все равно обязан следить за обувью. Гляди, по шву же ботинок распоролся? По шву. Что, трудно зашить? Взял дратву — раз, два — и готово. А ты бы еще босиком пришел на отливку! Ну хочешь, я тебе починю ботинок?

— Нет, зачем! — испугался Сашка, вставая.—Я сам починю.—Он подошел к Полевому, волоча за собою по траве портянку, и поспешно отнял ботинок.

— И портяночки надо стирать,— сказал Полевой, глядя вниз.— Рана-то у тебя не бог весть какая — воевать с таким ожогом можно, а вот от грязной портянки может хуже дело быть. Беги-ка сейчас в школу на перевязку. Живо!

Сашка побежал, а Жора, оглядывая нас всех, приказал:

— А ну по местам, гуси-лебеди. Я один, думаете, буду вагранку разгружать!

В этот день мы возвращались домой позже обычного.

— Пойдем через Старый город,— сказал я Петьке Маремухе, когда мы вышли из ворот фабзавуча.

— А зачем через город? — удивился Петька.— Через бульвар же скорее.

— Ничего, пойдем через город. Мне надо книжку там купить по механике.

Никакой, конечно, книжки мне не надо было покупать.

Просто хотелось, чтобы меня увидели в городе в рабочем костюме, с прогорелой штаниной, грязного и усталого.

Был в этот день какой-то церковный праздник, и навстречу нам, когда мы шли по Новому мосту, то и дело попадались нарядные сынки торговцев с барышнями. Они шли в новеньких костюмах из контрабандного бостона, в остроносых ботинках «джимми» на низких каблуках, их барышни — нарядные девушки в шелковых платьях, с бантиками в косичках, в белых чулках, в лакированных туфлях — лузгали семечки, сосали монпансье. Как мне хотелось в эту минуту нечаянно задеть кого-нибудь из этих бездельников, этих папенькиных и маменькиных сынков, которые целыми днями шатались по бульварам да загорали на берегу реки под крепостным мостом! Я с удовольствием втиснулся бы среди них, что бы

выпачкать своей грязной, закопченной рубашкой их нарядные, заграничные костюмы!

Спекулянты проклятые! Они все еще жили лучше нас, обманывая честных тружеников. Как мы ненавидели в эти годы всех нэпманов и их переполненные товарами магазины! Казалось бы, дать нам волю, мы сами в два счета разогнали бы всю эту буржуазную шваль. Одна мысль только удерживала нас от этого, удерживала и утешала: то, что нэп был введен как временная мера по указанию Владимира Ильича Ленина, по решению партии. Сознание этого не разрешало нам выступить открыто, как выступали мы раньше, громя петлюровских бойскаутов, против всей этой гнили. Вот и сейчас я проходил мимо городских спекулянтов с высоко поднятой головой, я гордился тем, что я рабочий, что я получаю деньги — восемнадцать рублей в месяц, тогда как каждый из них может в любое время получить у своего отца на карманные расходы пятьдесят, а то и целых сто.

— Чего ты не помылся в школе, Васька?— обгоняя меня и заглядывая мне в лицо, спросил Маремуха.

— Дома помоюсь мылом,— ответил я и, проведя рукой по лицу, еще сильнее размазал сажу.

Лицо у меня горело, руки болели, в горле першило от запаха серы, который растекался по литейной во время отливки. Начиналась Колокольная, на которой жил доктор Гутентаг. Я замедлил шаги, мне очень хотелось, чтобы Ида стояла у забора и увидела меня такого замазанного. Но Иды не было, и в доме на окнах были задернуты занавески. Сожалея, что не увидел Иду, я пошел дальше вслед за Петькой.

— Куда Марущак уехал? — неожиданно спросил Маремуха.

— Марущак? — сказал я небрежно.— Временно в Ярмолинцах работает, агитпропом райкома. Надо будет к нему сходить туда в воскресенье. Пойдем, а, Петрусь?

— А это далеко?

— Ярмолинцы? Пустяки.

— Ну тогда пойдем!

— Обязательно пойдем,— загорелся я.— Да еще фабзайцев возьмем с собою. Целой компанией отправимся. Еды захватим и двинем с утра. Здорово будет, правда? Ну, кого взять — Сашку Бобыря, Тиктора можно, ну... Галю.

— А я в свою алюминиевую фляжку воды наберу,— решил Петька.

— И ты знаешь что,— сказал я,— мы не просто гулять пойдем. Мы еще сможем там, в Ярмолинцах, в хате-читальне какую-нибудь работу провести. Мы же рабочие подростки, верно? А я в «Червонном юнаке» читал: рабочие подростки должны шефствовать над сельской молодежью. И Марущак нам еще спасибо за это скажет.

— Только Галю незачем тащить. Пускай одни хлопцы идут.

— Ну, ты брось! Она тоже пригодится,— сказал я как можно более спокойно.— Она сельских девушек может агитировать...

Тут я почувствовал, что смутился. До сих пор я не мог без волнения вспоминать, как в то холодное, ветреное воскресенье поцеловал Галю на валах Старой крепости. Я не мог забыть этого поцелуя и, вспоминая о нем, чувствовал еще большую нежность к девушке.

Я тосковал, когда случалось подолгу ее не видеть. Я радовался, когда Козакевич посылал меня в слесарную принести что-нибудь, я не шел, а бежал тогда, зная, что увижу за тисками в синем фартуке мою Галю. Да и она сейчас относилась ко мне иначе. Ясное дело, сегодня, например, она крикнула: «Василь, штаны горят!» — потому что волновалась, как бы я не обжегся.

Когда мы разговаривали, Галя часто отводила в сторону глаза, краснела; бойкая и смелая в обращении с другими хлопцами, со мной она говорила тихо и сбивчиво, подолгу подбирала нужные слова, точно обидеть меня боялась. Я уверен был, что Галя любит меня. Я гордился этой мыслью, и страшно было подумать, что вдруг все это мне померещилось.

Иногда мне хотелось рассказать всем, и, конечно, в первую очередь Петьке, о своей любви к Гале, но каждый раз я вовремя останавливал себя. Мне казалось, что такие вещи не рассказывают даже самому близкому другу, что любовь к девушке надо скрывать глубоко в сердце и не хвастаться ею.

Сейчас в словах Петьки я почуял подвох. А не хочет ли он выведать, каковы мои отношения с Галей? Но Петька шел как ни в чем не бывало — толстенький, простодушный мой приятель, и я сказал ему:

— Ты, Петрусь, сам уговоришь Галю пойти с нами. Хорошо?

— Да не хочу я. Она заморится.

— Смотри, чтобы ты не заморился. Ты вот боишься далеко заплывать, а Галя как плавает? Она хоть и девушка, но куда выносливее тебя.

— Ну... ну... это еще положим,— возмутился Петька и, видно, чтобы замять этот неприятный разговор, помолчав немного, спросил: — На будущей неделе и у нас будет организована комсомольская ячейка, мне говорили,— то правда?

— Факт!

— А туда... всех примут?

— Нет, зачем всех,— самых выдержанных.

— А меня... как ты думаешь... примут?

— Посмотрим, Петро... Надо взвесить, обсудить, подумать! — сказал я важно, так, словно уже был комсомольцем.

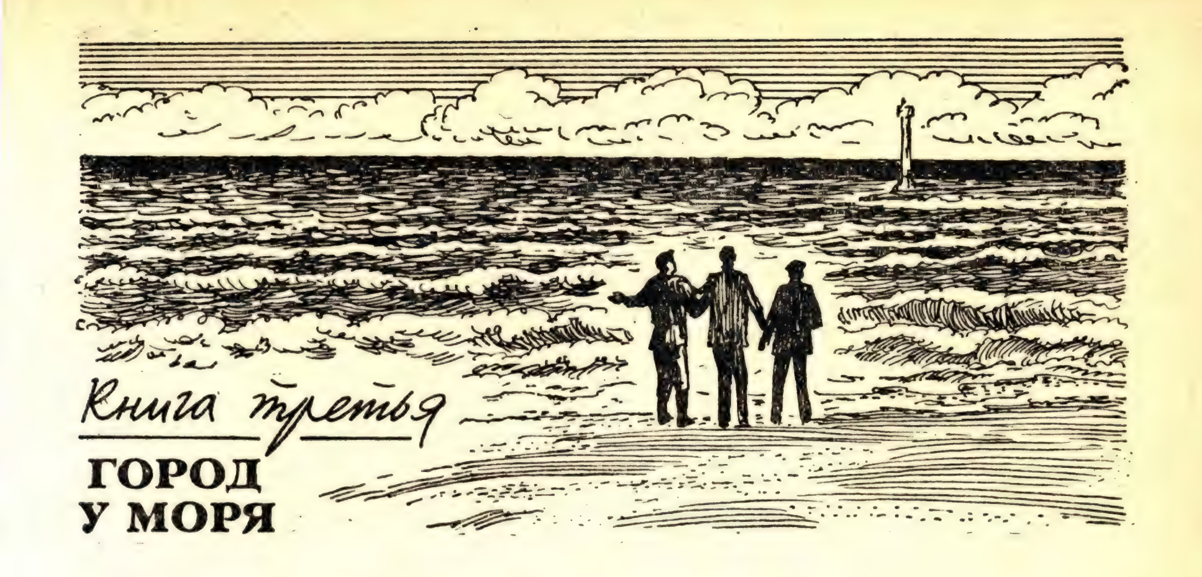
— А ты знаешь, Василь, меня батька давно комсомолистом зовет. Вот обидно будет, если не примут! — И Петька Маремуха печально вздохнул.

Вдали послышался стук кувалды.

Это в мастерской Захаржевского, освещенной багровым отблеском кузнечного горна, ковал раскаленный кусок железа Котька Григоренко. Он трудился, старался там, в пыльной мастерской частника, все еще нагоняя себе рабочий стаж. Он не терял надежды перехитрить нас. Видно было, он проклинал в душе всю эту работу, ему хотелось тоже в город, на гуляние, но Захаржевский был католик и не признавал православных праздников. Вот и погромыхивал там молотком Котька, когда мы проходили мимо него по другой стороне улицы.

Маремуха, тот искоса поглядывал в глубь мастерской, а я посмотрел один раз и сейчас шел, высоко подняв голову, мимо Котьки, замазанный, усталый, с прогоревшей штаниной, опустив руки, на ладонях которых были давно натерты твердые мозоли.

За углом, за афишной будкой, начиналась широкая Житомирская улица. Где-то в самом ее конце, за зеленью садов, уже на самой окраине города, белел дом совпартшколы. Петька повернул на Заречье, а я пошел дальше, к этому дому.



ГОРОД У МОРЯ

Памяти моего дорогого наставника, писателя-коммуниста, погибшего на войне, — Евгения Петровича Петрова посвящается эта повесть...

НА КИШИНЕВСКУЮ

Был свободный от занятий вечер, и мы вышли погулять в город. Петька Маремуха важно шагал в своем коротком кожушке, от которого пахло овчиной. Саша Бобырь поверх старых, порванных ботинок надел блестящие калоши и плотно застегнул на все пуговицы длинное пальто желтоватого цвета, переделанное из английской шинели, а я напялил уже немного тесную в плечах серую чумарку, похожую на казакин. Она была коротка в рукавах, и крючки ее сходились кое-как: еще в позапрошлом году мне перешили чумарку из отцовского пальто, но я очень гордился ею, потому что в таких же чумарках ходили в нашем городе работники окружкома комсомола и многие активисты.

По случаю субботы в Старом городе было людно. Хотя не все магазины были открыты, но их ярко освещенные витрины бросали полосы света на узенькие, замощенные плитками тротуары. По этим узеньким тротуарам главной улицы нашего города — Почтовки — прохаживались гуляющие.

Какой-то подвыпивший, хорошо одетый тип с перебитым носом, никого не стесняясь, открыто напевал песенку контрабандистов:

На границе дождь обмоет,
А солнце — обсушит.
Лес от пули нас укроет,
Шаги ветер заглушит...

Спи, солдат, курка не трогай,
Мы шуметь не будем.
Мы идем своей дорогой,
Тихие мы люди.

Мы идем по краю смерти,
По узкой тропинке,
Чтобы барышни носили
Чулки-паутинки.

Эх ты, жизнь моя хмельная!
А судьба — насмешка.
Нынче жив, а там не знаю,
Орел или решка?..

Можно было, конечно, и нам присоединиться к этому шумному потоку, но не хотелось. Кроме молодежи с Карвасар, Выдровки и других предместий города, тут сейчас, как всегда по субботним вечерам, прогуливались молодые нэпманы-спекулянты. За два года нашей учебы в фабзавуче ненависть к ним не утихла, а разгорелась еще больше. У комсомольцев и рабочей молодежи было другое место для гуляний — аллея возле комсомольского клуба.

Мы шли прямо по мостовой. Еще днем таяло, совсем по-весеннему грело солнце, а к вечеру снова подморозило. Лужи затянулись льдинками, на проржавевших водосточных трубах повисли прозрачные сосульки.

— Зря ты надел калоши, Бобырь! Видишь, как сухо,— сказал я Сашке и стукнул каблуком по замерзшей лужице, с треском проламывая лед.

— Не балуй ты! — взвизгнул, отпрыгивая, Сашка.— Хорошее дело — «сухо»!

Струйка грязи брызнула Сашке на блестящую калошу. Он стоял посреди мостовой, и у него был такой удрученный вид, что мы с Маремухой не выдержали и рассмеялись.

— Чего смеешься! — еще больше рассердился Бобырь.— А еще член бюро... Пример показывает! — И, вытащив из кармана обрывок старой газеты, он принялся стирать грязь.

Сердито посапывая, Саша то и дело поглядывал вниз. Я знал, что Бобырь обидчив и часто сердится из-за пустяков. Чтобы не дразнить его, я сказал тихо и миролюбиво:

— Не обижайся, Сашка, я же не нарочно. Я не думал, что там грязь.

— Да, не думал...— протянул Сашка.

Но Маремуха, прерывая нас, крикнул:

— Тише, хлопцы!.. Слышите?

Из-под высокой ратуши-каланчи, что стояла посреди центральной площади, донесся звон разбитого стекла.

— На помощь! — прокричал чей-то сдавленный голос.

— А ну, побежали! — скомандовал я.

Мы помчались напрямик через площадь по обмерзшим скользким булыжникам. Черная ратуша ясно выделялась на фоне вечернего голубоватого неба.

— То в пивной бьются. У Менделя! — обгоняя меня, на ходу крикнул Маремуха.

Пробежав палисадничек, окружавший ратушу, мы увидели, что Маремуха прав. Дрались в частной пивной Менделя Баренбойма, что помещалась под ратушей, по соседству со скобяными и керосиновыми лавочками. Под ржавой длинной вывеской, на которой было написано: «Пивная под ратушей — фирма Мендель Баренбойм и сыновья», — виднелась освещенная витрина. Кто-то изнутри запустил в широкое бемское стекло железным стулом. Стул этот, пробив витрину, валялся теперь на замерзшей грязи. Сквозь разбитую звездообразную дыру просачивался на улицу табачный дым и доносились крики дерущихся забулдыг.

Нам в пивную заходить не полагается: все трое мы были уже комсомольцами. Мы остановились в палисаднике, наблюдая за дракой издали.

— А что, если заскочить, а, Василь? — обращаясь ко мне, сказал Бобырь.— Может, помощь требуется?

— Кому ты будешь помогать? Спекулянту? Наверное, снова нэпачи передрались! — сказал я.

Худая молва шла по городу об этой пивной. Нередко в ней собирались торговцы, контрабандисты, карманные воришки. Такого добра еще много осталось в нашем маленьком пограничном городе со времен царского режима, со времен гражданской войны. В годы нэпа они чувствовали себя очень привольно. Эти люди заходили в пивную к Менделю устраивать свои дела. Говорили к тому же, что Мендель, кроме пива, подторговывает слегка и чистым контрабандным спиртом — ректификатом, который приносят ему из Румынии. Не раз в «Пивной под ратушей» агенты уголовного розыска делали летучие облавы, не раз они выводили оттуда под взведенными наганами хмурых арестованных королей границы — «машинистов», как называли вожаков партии контрабандистов, ходящих за кордон; не раз после таких облав Мендель опускал металлические шторы и шел на допросы в ми-

лицию, но пока все сходило ему удачно, он как-то выкручивался, и его пивная продолжала существовать.

Крики в пивной стали глуше, и наконец один за другим несколько человек выкатились на улицу. Мы бросились к ним навстречу. Но только мы выбежали на освещенные огнями плитки тротуара, Сашка остановился и, обернувшись к нам, растерянно прошептал:

— Хлопцы, ведь это...

Два нарядных молодых пижона в костюмах из контрабандного бостона держали под руки нашего фабзайца Яшку Тиктора.

Ноги Яшки подкашивались, воротник гимнастерки был разорван, пуговицы вырваны с мясом, а от левого уха до рта тянулся кровавый след царапины.

Яшка потерял кепку, пышные его волосы раздувало ветром, но что показалось нам самым страшным, обидным и оскорбительным во всем его теперешнем облике — был кимовский значок, поблескивавший на разорванной гимнастерке.

Около Яшки суетился худой черноволосый человек в белом фартуке. Это был хозяин пивной Мендель Баренбойм. Подбежав к Тиктору и размахивая руками, он завопил на всю площадь:

— А кто мне заплатит за витрину, ты, разбойник?

С трудом шевеля языком, Яшка пробормотал:

— Вот с этой... спекулянтской морды возьми деньги, а я тебе дулю дам!

И, сказав это, Яшка вяло ткнул пальцем прямо в подбежавшего к нему толстячка в черном костюме. Из носу у толстячка сочилась кровь, и он маленькой пухлой рукой размазывал ее по щекам, становясь от этого все страшнее и страшнее.

— Это я — спекулянтская морда? — завопил толстячок.— Люди добрые, вы слышите это или нет? Это я, честный кустарь, есть спекулянтская морда? Ах ты, байстрюк неблагодарный! — грозя Тиктору кулаками, но побаиваясь его ударить, кричал толстячок.— Запомни свои слова! Не дам я тебе больше заказов. Не дам! Пил на мои деньги, жрал пирожные на мои деньги, а теперь я спекулянтская морда? Теперь меня по лицу ударил, шибеник, искалечил меня. Где милиция, почему нет милиции?

Но милиции, как назло, вблизи не было. Собирались на крик зеваки, но никто не знал, что делать с Яшкой.

Заметив нас, Тиктор сперва смутился, но потом радостно закричал:

— Хлопцы, сюда! На помощь, хлопцы! Эта спекулянтская шпана меня побила! А ну, дадим им.

Но мы не двигались с места. А Маремуха прошептал мне:

— Ты же член бюро, Василь. Скажи ему...

— Вы из фабзавуча, ребята? — послышался в ту же минуту рядом с нами очень знакомый голос.

Мы обернулись и увидели инструктора окружкома Панченко. Он был в такой же серой чумарке, как и у меня, в серой каракулевой папахе с красным верхом, высокий, стройный. Еще в трудшколе он преподавал нам политграмоту.

— А, Манджура! Здорово! — узнав меня, сказал Панченко и протянул руку.— Это ведь, кажется, ваш сокол?

— Наш,— тихо, так, чтобы никто не слышал, ответил я.

— И комсомолец? — спросил Панченко.

— Комсомолец,— еще тише подтвердил Бобырь.

— Тогда вот что,— строго сказал Панченко,— немедленно уведите его домой. Будет буянить — сдайте в милицию.

— Не надо в милицию, товарищ начальник,— появляясь возле нас, вкрадчиво пробормотал Мендель,— зачем в милицию? Я его прощаю. Хлопец молодой, выпил на злотый, а опьянел на десятку, ну и пошумел. С кем это не бывает?

— Уйдите, гражданин,— прикрикнул на Менделя Панченко,— это не ваше дело! — И, обращаясь к нам, спросил: — Как его зовут?

— Тиктор! — насупившись, сказал Бобырь.

— Тиктор! Иди сюда! — позвал Панченко.

Пошатываясь и потирая щеку, Тиктор неохотно подошел к нам. От него сильно пахло водкой.

— Во-первых, немедленно сними кимовский значок,— жестким, суровым голосом приказал Панченко,— во-вторых, сейчас же уходи отсюда. Ребята тебя проводят... Ну!

Повинуясь голосу Панченко, Тиктор медленно, стараясь не подать виду, что испугался, засунул руку за пазуху и принялся отвинчивать маленький, покрытый эмалью комсомольский значок.

— А вы чего собрались? Что здесь, цирк? — поворачиваясь к зевакам, крикнул Панченко.

Тиктор наконец отвинтил и дрожащей рукой подал окружкомовцу дорогую для нас эмблему.

— Подлец! — тихо, сквозь зубы, бросил Панченко.—Разве о такой смене мечтал Ленин?

Яшка вздрогнул и опустил голову.

Пока мы вели его темными узенькими переулочками, он шел смирно и, казалось, совсем протрезвел. Но только мы вышли на освещенный Тернопольский спуск, ведущий к Новому мосту, Тиктора снова развезло. Он как-то сразу обмяк и стал опускаться, норовя сесть на тротуар. Пришлось взять его под руки. Тиктор рассердился и попытался вырваться.

— Тише, Яшка! Не делай хай! — сказал Маремуха, хватая его.

— А тебе какое дело, ты, сопляк! — прикрикнул на Петьку Тиктор.— Да отвяжитесь вы от меня, я свободы хочу, слышите? — Сказав это, Яшка неожиданно запел:

Черная карета,
Два солдата йдуть.
Мою ципу-маму
В каторгу везуть!

Вдоль Тернопольского спуска ярко горели фонари, на панели было много прохожих, все они оборачивались на хриплый голос Тиктора. Мне казалось, что каждый из них знает Яшку, понимает, что мы ведем пьяного комсомольца. Давно уж мне не было так стыдно, как в эти минуты. А Яшка, как бы чувствуя это, нарочно не унимался и куражился как только мог. Ему, видимо, нравилось, что на него смотрят.

— А ну, живее! — скомандовал я хлопцам.— Ты, Петька, толкай его сзади! — Сильным движением я потащил Тиктора вперед.

«Поскорей бы протащить его через мост, а там, в темной аллее бульвара, где нет прохожих, будет уже другой разговор»,— думал я, волоча за собой Тиктора. С другой стороны тащил его Сашка Бобырь. Доски Нового моста обледенели, и Яшка не шел, а ехал по ним, вытянув вперед ноги и повиснув у нас на руках. Ему удалось-таки зацепиться за бортик деревянной панели, и он, сразу задержав нас, повалился на доски. Бобырь предложил осторожно:

— Давай понесем его, а, Василь?

— Попробуй тронь,— пригрозил Тиктор,— я тебе так приварю, что последних зубов не соберешь!

— Послушай, Яшка, мы же только хотим довести тебя домой. По-товарищески! — сказал я твердо и спокойно.— Какого же ты черта...

Совсем неподалеку, за бульваром, застучал пулемет. Первую очередь сменила вторая, затем третья, и, наконец, после небольшого промежутка мы услышали пять винтовочных выстрелов, гулко прозвучавших один за другим.

Хорошо знакомый каждому коммунисту и комсомольцу сигнал чоновской тревоги прозвучал над городом. В те годы коммунисты и комсомольцы старших возрастов были объединены в части особого назначения и созывались в случае надобности такими вот тревожными сигналами. Где бы мы ни находились — в общежитии ли, в литейной фабзавуча, на комсомольском собрании или на прогулке,— в любую минуту ночи и дня этот условный сигнал должен был найти нас. Мы обязаны были, услышав его, бросить все и что есть силы мчаться на Кишиневскую, к знакомому двухэтажному дому, в котором помещался городской штаб ЧОНа.

Мы хорошо знали, что живем всего лишь в пятнадцати верстах от границы с панской Польшей и боярской Румынией и что вслед за такой тревогой в тихом и маленьком нашем городе может быть объявлено военное положение. Тогда все

мы, чоновцы, пока подойдут регулярные воинские части, обязаны будем вместе с пограничниками принять на себя первый удар.

— Тревога... да, Василь?..— нарушив молчание, прошептал Бобырь.

— Тревога! — подтвердил я.— Бегом, товарищи! Быстрее!

...У дверей штаба, выходящих на бульвар и Прорезную, нас встретил начальник ЧОНа Полагутин. Длинная деревянная кобура его маузера была расстегнута; по встревоженному виду Полагутина мы сразу поняли, что положение серьезно.

— Какой ячейки? — спросил Полагутин.

— Фабзавуча! — поспешно доложил Саша.

Полагутин проверил наши чоновские листики и приказал:

— Получайте оружие!

Мы пробегаем по длинному освещенному коридору в оружейный склад. Получаем закрепленные за нами еще с прошлого года винтовки и по пять пачек патронов на брата.

— Здесь заряжать или на улице? — засовывая патроны в карманы штанов, спросил бледный и немного взволнованный Маремуха.

— Подождем приказа,— посоветовал я.

— А я уже зарядил,— швыряя на пол обойму, сказал Бобырь.

— Возьми на предохранитель! — шепнул с опаской Петро.

Бобырь поднял винтовку кверху и, держа ее на весу, принялся оттягивать предохранитель. Но предохранитель был скользкий от масла, а пальцы Бобыря окоченели. Винтовка ходила в его руках. Казалось, вот-вот палец нечаянно зацепит спусковой крючок и Саша пальнет в подвешенную к потолку тусклую угольную лампочку.

— Дай сюда, калека! — крикнул Петро, отнимая у Бобыря винтовку.— Смотри!

Но боевая пружина в затворе Сашкиной винтовки была тугая, видно совсем новая, и Маремухе тоже не сразу удалось оттянуть пуговку предохранителя...

В большом, просторном зале, где обычно по воскресеньям каждая ячейка в порядке очереди чистила оружие, собралось уже много коммунаров-чоновцев.

— Как вы успели так быстро? — спросил нас директор фабзавуча Полевой. Он был без винтовки, но при револьвере, который висел у него сбоку, поверх ватной стеганки.

Шмыгая носом, Маремуха объяснил:

— Мы втроем гуляли по городу, Нестор Варнаевич, и тут слышим...

— Остальные фабзайцы еще бегут, наверное! — не без удовольствия ввернул Саша Бобырь.

В зале стали появляться наши комсомольцы-фабзавучники — «гвардия Полевого», как нас называли в городе ребята из других ячеек. Они вспотели, раскраснелись, пальто и куртки у них были расстегнуты, на лицах блестели капельки пота.

— Отлично! — сказал Полевой, проверяя глазами явившихся.— Успели вовремя... А где же Тиктор?

Прибежавшие, переглядываясь, отыскивали глазами Яшку.

— Тиктора, товарищ Полевой, видели пьяным...— начал было фабзаяц Фурман, но в эту минуту в дверях появился Полагутин и отрывисто скомандовал:

— Внимание, товарищи коммунары!

Все сразу притихли.

— Обстановка такая. Петлюровские шайки, которых приютили за кордоном пилсудчики и румынские бояре, снова зашевелились. Есть сведения, что еще сегодня днем они двинулись к нашей границе... Сами они никогда не решились бы на такой шаг. Ясно — за их спиной стоят английские и французские капиталисты. Вполне вероятно, товарищи, что еще сегодня ночью эти петлюровские банды будут переброшены на нашу сторону. Вместе с погранотрядом вам, чоновцам, поручено встретить их как полагается...— И, сразу меняя тон, Полагутин четко, громко скомандовал: — Всем, кроме коммунаров и фабзавуча, строиться! Старшина взвода фабзавучников — ко мне!

Мы потеснились, освобождая проход. Один за другим, высоко поднимая винтовки, пробегали мимо нас коммунары городских ячеек. Чем меньше оставалось их в зале, тем неспокойнее становилось у меня на душе. «А мы? Что же будет с нами? Они уйдут за город, в пограничные леса, в боевые дозоры и секреты, а нас, помоложе, как и в прежние тревоги, пошлют в караулы к провиантским складам — сено охранять — или поставят в самом городе стеречь крепостной мост, чтобы не подорвал его какой-нибудь шпион. Разве интересно стеречь забитые доверху фуражом деревянные амбары или на виду у всех сидеть в засаде у людного, освещенного электричеством крепостного моста!» В зал вбежал пожилой коммунар-железнодорожник в форменной фуражке и крикнул:

— Все люди построены, товарищ начальник! Приехал секретарь окружкома.

— Картамышев уже здесь? — радостно спросил Полагутин и, крепко пожимая руку Полевому, добавил: — Счастливо оставаться, Нестор Варнаевич! Желаю успеха. Не зевайте: вам доверено многое... До свидания, товарищи! — И он скрылся в дверях.

— Мы останемся в наряде. Будем охранять штаб и склады ЧОНа,— торжественно объявил Полевой.— Построиться!

ОПАСНЫЙ ПОСТ

Прямо передо мной на деревянных столбах туго натянута колючая проволока. Дальше, за проволокой, теряются в темноте огороды — несколько десятин перерытой заступами мерзлой земли. Где-то далеко, уже около проселочной дороги, есть вторая изгородь из колючей проволоки, но ее отсюда не видать. Все время чудится, что та, дальняя, проволока уже перерезана и диверсанты подползают ко мне по черной и мерзлой земле. Ушам холодно, очень холодно, но я нарочно, чтобы лучше слышать, не поднимаю воротника и цепко сжимаю окоченевшими пальцами холодную винтовку.

Так вот каков он, этот пост «номер три», о котором я столько слышал от дежуривших здесь раньше комсомольцев!

Позади высится холодная каменная стена сарая, отделяющего меня от внутреннего двора. Прямо над головой чернеет выступ крыши. Узкий проход для часового тянется шагов на тридцать в темноте между этой каменной стеной и проволочной изгородью и упирается в глухую стену соседнего дома. Две высокие каменные стены сарая и жилого дома сходятся вместе, образуя прямой угол.

«Собачий куток» — так называют пост «номер три» чоновцы. Коммунар, попадающий сюда в наряд, чувствует себя как бы отрезанным от товарищей и всего мира.

С самого начала моего дежурства я не мог оторвать глаз от черного бугорка, застывшего в огороде шагах в десяти от меня. Он был похож на голову человека, лежащего на земле. Я очень жалел, что не спросил стоявшего здесь до меня студента-комсомольца сельскохозяйственного института, не заметил ли он этого бугорка. Вдруг мне показалось, что бугорок зашевелился и начал медленно приближаться. Вздрогнув, я просунул дуло винтовки между проволокой и чуть было не выстрелил, но удержался. «А вдруг это не человек, а перекати-поле, пригнанное издалека ветром? Или кучка картофельной ботвы? Или просто холмик земли около ямки, оставшейся после вырытого картофеля? Что тогда?.. Вот скандал будет! Засмеют меня ребята. Первый раз на таком опасном месте — и проштрафился! Скажут: «Струсил».

...Пронесся ветер, и вслед за его колючим, холодным свистом вверху загрохотало кровельное железо. Никак кто-то ходит по крыше?.. Задрав голову, я гляжу под стреху сарая, ожидая, что вот-вот оттуда высунется черная голова диверсанта. Он может при желании без особого труда перемахнуть с крыши жилого дома на сарай.

Подозрительные гулкие удары слышатся над головой. Неужели это шаги?.. Я приподнимаюсь на цыпочки. Слух улавливает какой-то стук на Кишиневской улице, шорохи на огороде, поскрипывание флюгера за темным брандмауэром. В глазах уже рябит от множества звезд, переливающихся в студеном небе, в тусклой дымке морозного воздуха.

Гулкий шум на крыше усиливается. Я крепко держу влажное ложе винтовки, направляя ее вверх, навстречу шуму.

— Держите ушки топориком,— сказал Полевой, разводя нас на посты.— Вы охраняете запасы оружия для коммунистов и комсомольцев всего округа! Склады ЧОНа — очень заманчивая цель для агентов мировой буржуазии.

Да и без этих слов директора школы мы все отлично знали, какое доверие оказано в эту ночь нашей ячейке, впервые охраняющей ЧОН: в подвалах дома спрятано множество динамита, тола и патронов.

«Ушки топориком! Ушки топориком!» — повторяю я про себя излюбленные слова Полевого, и мне начинает казаться, что мои озябшие уши растут, удлиняются и становятся тонкими и острыми, как лезвие топора.

На крыше совсем тихо.

Наверное, то просто ветер прогремел оторванным листом железа. А где же черный бугорок? Я уже и позабыл о нем... Глаза привыкли к темноте. Я быстро отыскиваю смутившую было меня грудку земли. Она преспокойно лежит в поле.

...Медленно прохаживаюсь вдоль сарая, подсмеиваясь внутренне над своими минувшими страхами. Думаю, что близок рассвет и скоро все мои опасения как рукой снимет. Совсем ведь необязательно, чтобы как раз именно на моем дежурстве случилось что-нибудь особенное. Сколько дежурств проходит решительно без всяких приключений. И мое пройдет незаметно. Зато уж никто потом из хлопцев не посмеет подтрунить надо мной, что я, мол, юнец, самый молодой из членов ячейки. А если бы они еще знали, что я прибавил нарочно два годика, лишь бы быть коммунаром ЧОНа, тогда бы совсем житья не было... А так возвращусь с дежурства полноценным бойцом и долго потом буду гордиться, что стоял на посту «номер три». Сюда раззяву не поставят, как бы ни просился!

Приведя меня на пост, Полевой коротко и просто приказал:

— Увидишь кого на огороде — бей без всяких! Случайный прохожий или пьяный сюда забрести никак не может.

«Бей без всяких!» Страшно и сурово звучит этот приказ.

...Снова запел в голых и обледенелых ветвях деревьев ветер, зашелестел сухой, прошлогодний бурьян, репейник, скрюченная ботва около проволоки, загромыхало, заухало железо на крыше, скрипнул флюгер на стене дома.

И неожиданно с этим новым порывом ветра донесся отдаленный выкрик Саши Бобыря:

— Что вам нужно?.. Стой!.. Стой!.. Руки... Хлопцы, сюда!

На минуту все стихло, и сразу же я услышал дребезжащий свисток. Захлопали двери в караульном помещении. Там, за сараем, пробежали по двору люди... и затем опять Сашкин крик:

— Там!.. Там!.. Ловите!..

— Лестницу!.. Живо! — услышал я голос Полевого.

Как мне хотелось броситься туда, к хлопцам, подсобить им, увидеть, что там такое! Но покинуть пост я не мог. Пусть бы даже все горело и валилось вокруг, я не имею права уйти отсюда.

Прислушиваясь к тому, что происходило во внутреннем дворе, около четвертого и пятого постов, я продолжал изо всей силы вглядываться в темноту. А чтобы сзади никто меня не схватил, я прижался к стене сарая спиной и застыл на месте.

Сердце билось, винтовка в руках колыхалась, я ждал чего-то необычайного...

Совсем близко, на чердаке сарая, грохнул выстрел. За ним другой. И тотчас же далеко, уже за брандмауэром, кто-то простонал. Затем опять все стихло.

Прошло каких-нибудь пять минут. В узком проходе, ведущем с внутреннего двора к моему посту, послышались быстрые шаги. Под ногами идущего похрустывали льдинки. Я отскочил в угол и приготовился стрелять... Как только тень человека показалась из-за стены, я срывающимся голосом крикнул:

— Стой!

— Жив, Манджура? — с тревогой в голосе спросил Полевой.— У тебя все в порядке?

— В порядке! — хрипло ответил я и тут же сообразил, что допустил ошибку, не спросив у Полевого пароль.

Полевой вплотную подошел ко мне. Он тяжело дышал и был без шапки.

— Никто не пробегал здесь?

— Никто. Вот за сараем стонал кто-то, и стреляли на чердаке...

— Это я и сам знаю. А вот здесь,— Полевой показал наганом в сторону огородов,— ничего не замечал?

— Ничего.

— Очень странно! Как же он пробрался?

— А кто там стрелял? — спросил я.

— Смотри, Манджура, очень внимательно наблюдай за всем. Сейчас особенно. В случае чего — пали без разговоров. Понял? Уже немного до света осталось. Я к тебе скоро опять наведаюсь.— И Полевой быстро ушел обратно, во внутренний двор.

Через два часа, когда уже совсем рассвело, я узнал от хлопцев, собравшихся в теплом караульном помещении, о том, что произошло этой тревожной ночью.

В то время как продуваемые холодным ветром, который несся с полей и с отрогов Карпатских гор, часовые наружных постов коченели от холода, Саша чувствовал себя куда лучше. Огражденный от ветра стенами дворовых сараев и главного здания, он важно прогуливался в блестящих калошах по внутреннему двору. Электрические лампочки, подвешенные на углах штаба, освещали сухой и гладко вымощенный квадрат двора.

Но вскоре у Бобыря заболели ноги. Он взобрался на деревянное крылечко и присел там в тени, скрытый от света балкончиком. Бобырь клялся и божился Полевому и нам, что сидел он недолго, каких-нибудь пять минут, но, конечно, ему никто не поверил. Должно быть, Саша вздремнул малость на крыльце.

Спускаясь обратно на каменные плиты двора, Саша уловил позади себя едва различимый шорох. Он обернулся... и замер.

Вверху перелезал через перила чердачного балкончика, по-видимому желая соскользнуть по столбу во двор, неизвестный человек. Как он попал туда, на крышу, оставалось тайной.

Надо было, не дожидаясь, с ходу палить в этого непрошеного гостя. Надо было повалить его пулей там же, на балкончике. Но Саша сплоховал и дрогнувшим голосом крикнул:

— Что вам нужно?.. Стой!.. Стой!..

Неизвестный сразу нырнул обратно в узенькие дверцы, ведущие в глубь чердака. Его еще можно было достать пулей. Тут Саша вспомнил о винтовке. Он приложился к прикладу и хотел выстрелить, но спусковой крючок подался до отказа, а выстрела не последовало: встав на пост, Бобырь позабыл снять предохранитель с затвора винтовки... Услышав крик Бобыря, заколотил прикладом в дверь караулки Маремуха, охранявший погреб с боеприпасами, засвистал на Кишиневской Коломеец.

— Там... там... там стоял бандит! — захлебываясь, без устали бубнил Саша выскочившим во двор коммунарам и Полевому.

Комсомольцы мигом поставили лестницу, и первым вскарабкался на крышу Полевой. Спеша перехватить бандита и опасаясь засады, Полевой промчался по крыше до крайнего слухового окна и прыгнул через него внутрь.

Очутившись под стропилами крыши, Полевой заметил, что где-то вдали, в густой темноте, виднеется едва различимый свет. Там был пролом. В него протискивался человек. Полевой дважды выстрелил. Неизвестный застонал, но вырвался наружу и загромыхал по соседней крыше жилого дома.

Полевой приказал двум подоспевшим коммунарам догонять неизвестного по крышам, а сам, спрыгнув обратно во двор, проверил мой пост и послал еще трех комсомольцев осмотреть все прилегающие к штабу дворы и оцепить выходящий на Кишиневскую Тринитарский переулок. Но бандиту удалось выскользнуть, прежде чем наш патруль добежал до Тринитарского переулка. Выскочив из пролома на крышу соседнего с ЧОНом дома, в котором жили студенты химического техникума, неизвестный, не раздумывая, спрыгнул сверху на большую кучу навоза в саду общежития и через дыру в заборе убежал в переулок. Здесь следы его прерывались.

Должно быть, перерезав Тринитарский переулок, он махнул через дворы к Рыночной площади. Путь этот был труден, особенно для раненого: ему пришлось

бы перелезать несколько раз через заборы, пробираться сквозь разделяющую дворы колючую проволоку и, наконец, выбежать на освещенную Рыночную площадь. Там же, около главного бакалейного магазина Церабкоопа, сидел с дробовиком в руках закутанный в овчинный тулуп сторож. Может, он спал, этот сторож? Вряд ли! Сторож клялся и божился, что не спал. За каких-нибудь десять минут до случившегося жена сторожа принесла ему на ужин горячую гречневую кашу с гуляшом. Эта не доеденная сторожем каша в глиняном горшочке была еще горяча, когда его стали спрашивать подбежавшие коммунары. Трудно было предположить, что раненый так ловко сумел пересечь Рыночную площадь, что сторож — старый, бывалый солдат — его не заметил.

И все-таки путь неизвестного вел как раз к Рыночной площади!

Колючая проволока, оплетавшая двор красного кирпичного дома уже по другую сторону Тринитарского переулка, была раздвинута. На одной ее колючке остался клок желтоватого английского сукна, вырванный из одежды пролезавшего здесь впопыхах человека. Это защитное военное сукно не было редкостью в нашем пограничном городе: в такие шинели английского сукна были одеты все петлюровцы, снабжавшиеся в годы гражданской войны Англией и Францией, а когда петлюровцы убежали за границу, их склады частично разобрало местное население. Кроме этого клочка защитного английского сукна на проволоке, никаких больше следов неизвестного не было. Чуть подальше, уже на крыльце кирпичного дома, в котором жили работники окружного отдела народного образования, было обнаружено пятно запекшейся крови.

Один из немногих счастливцев, кому было разрешено покинуть караульное помещение и участвовать в преследовании бандита, бывший беспризорник, а теперь фабзавучник Фурман, увидев на крыльце кровяное пятно, очень обрадовался. Фурман решил было, что это кровь бандита, но одна из жилиц кирпичного дома, жена заведующего окружным наробразом, сказала, что это она в пятницу резала здесь, на крыльце, курицу. Неудачливый следопыт Фурман сразу скис и поплелся дальше.

Оставалось предположить, что бандит вырвался на освещенную Рыночную площадь, незаметно проскочил под самым носом у зазевавшегося сторожа, подался через мост в Старый город, а оттуда — либо к польской, либо к румынской границе.

На чердаке сарая в ЧОНе диверсант обронил связку бикфордова шнура с запалом. По-видимому, он хотел сперва снять часового, а затем подобраться к погребу со взрывчаткой и подорвать его со всем штабом. Выйдя на балкончик сарая и не обнаружив внутри двора часового, бандит решил, что тот заснул. Худо бы пришлось Бобырю, если бы он не вышел из укрытия и не обернулся! Ведь получилось так, что Саша стоял на своем посту как бы безоружный.

ЧИСТИМ КАРТОШКУ

Смененный с поста, Саша Бобырь лег на топчан, притворившись спящим. Никто не спал в караульном помещении после событий тревожной ночи. Комсомольцы наперебой рассказывали друг другу, что́ произошло, строили всяческие предположения. Маленький сухощавый Фурман уже в который раз доказывал, что, несомненно, бандит успел где-то в саду переодеться в женское платье и так, под видом женщины, прошмыгнуть через Рыночную площадь на Подзамче. Один только Бобырь не принимал участия в разговорах.

Хлопцы рассказали, что Никита Коломеец, прибежав во двор, начал прорабатывать Бобыря. Сашка, слушая упреки секретаря, попробовал было оправдаться, и тогда Коломеец прямо отрезал ему:

— Эх ты, трус! Вот кто ты! Растерялся? Не ожидал? Не думал?.. А если на тебя все эти чемберлены, керзоны да пилсудчики бомбы начнут швырять с аэропланов? Ты тоже растеряешься, будешь кричать: «Господа! Что вам нужно? Стой! Стой!..» Разиня ты, а не комсомолец!

Внушение Коломейца подействовало, должно быть, очень здорово. Сашка не придумал ничего лучшего, как сказаться больным. Он лежал на топчане, укрывшись с головой желтоватым пальто. Ему было очень стыдно за сегодняшнюю ночь. А кому не было бы стыдно на его месте?..

Прислушиваясь к нашему возбужденному разговору, Сашка время от времени делал вид, что его пробирает лихорадка. Он постукивал зубами, дрыгал ногой и при этом жалобно стонал. Вернее, даже не стонал, а скулил, как щенок, выброшенный ночью на мороз из теплой хаты. Видно было, ему ужасно хотелось заболеть и на самом деле. Много бы дал Саша, чтобы прицепилась к нему хоть какая-нибудь скарлатина или, скажем, испанка. Тогда бы все его жалели, не смеялись над ним и считали бы, что Бобырь растерялся по болезни. Но Сашка был здоров как конь, мы это знали и прекрасно понимали его настроение.

Со двора в караулку вошел Коломеец. В руке он держал задымленный чугунок.

— Молодые люди,— сказал секретарь шутливо,— несмотря на серьезные события нынешней ночи, природа требует своего. Я не ошибусь, если скажу, что всем нам хочется есть. Короче говоря, за печкой лежит картошка. Мы начистим ее побольше в данный чугунок, представим себе мысленно запах поджариваемых шкварок, и вскоре у нас будет скромная, но сытная еда. Кто против?

Против не оказалось никого.

— Кто за? — спросил Коломеец.

Все, кроме Бобыря, единодушно подняли руки.

— Большинство! Сеньорен-конвент окончен! — весело сказал Коломеец и, подходя к Сашке, решительно сорвал с него пальто: — Довольно спать, Сашок, давно малиновки звенят! А ну, картошку чистить!

— Я не могу... Мне очень нездоровится,— завыл Бобырь.

— Сашенька, дорогой ты наш и единственный товарищ Бобырь! — нараспев, очень нежно и подмигивая нам, сказал Коломеец.— Все мы знаем, что ты болен, тяжело и серьезно болен, все мы отлично знаем, какова причина твоей болезни, но тем не менее все мы просим не изображать здесь мировую скорбь и желаем твоего скорейшего выздоровления. Ты не имеешь права попадать в плен чуждой нам меланхолии. Дорогой Сашенька,— вставая в позу оратора, продолжал Никита,— мы искренне и убедительно просим тебя выздороветь от уныния и чистить картошку, ибо рано или поздно ты сам проголодаешься, а кто не работает — тот не ест... Что же касается истинной причины твоего недуга, то не горюй, Сашок, и не особенно сердись на меня за те резкие слова, что были брошены тебе сгоряча за пределами данного особняка. И на старушку бывает прорушка! Все мы еще молоды, все мы делаем ошибки, и все, кроме заядлых, безнадежных идиотов, становимся от этого мудрее. Зачем же, спрашивается, грустить и скорбью портить самому себе такие драгоценные нервы?

Все мы едва удерживались от смеха, слушая речь Никиты Коломейца, и старались понять, где он шутит, где говорит серьезно.

Бобырь попытался было еще притворяться: схватился за голову, потер красное веснушчатое лицо, но потом, поеживаясь, сел на лавку.

Коломеец вытащил из-за печки мешок с картофелем и, швырнув его на середину караулки, сказал:

— Хозяин просит дорогих гостей пожаловать к обеду!

Мы принялись хватать шершавые картофелины.

Замелькали в руках перочинные ножики, сапожные лезвия с обмотанными шпагатом ручками, а Фурман вытащил настоящую финку, насаженную на рог молодого оленя: она сохранилась у него еще с беспризорных времен. Эту главную свою драгоценность Фурман в будни хранил в зеленом сундучке под кроватью и брал с собой только в караулы. Он хвастал, что с этой финкой ему не страшен никакой бандит.

На пол возле печурки Коломеец подстелил старый номер газеты. Скоро витые стружки картофеля, соскальзывая с ножей, с легким шелестом посыпались на газетный лист.

— Кто же все-таки это был? — посапывая, спросил Маремуха, все еще потрясенный появлением неизвестного на крыше сарая.

— Наивный вопрос! — сказал, ухмыльнувшись, Коломеец.— Будто ты из женского епархиального училища вышел. Ясно кто... Помните, осенью было в газетах напечатано, что где-то там, возле финской границы, наши пограничники хлопнули какого-то бывалого шпиона? А здесь тоже граница, и нужно быть начеку...

Петро снова спросил:

— И чего им надо, всем этим шпионам? Что они здесь оставили?

— О брат, оставили они здесь много! Тебе даже и не снилось, что они здесь оставили! — уже серьезно сказал Никита.— Почти весь Донбасс при царе был в их руках. А Криворожье, а железная руда? Быть может, вам придется после окончания школы побывать в тех краях. Прислушайтесь к старым названиям заводов: Провиданс, Дюмо, Бальфур... Это все английские да французские названия. Миллиарды рубликов там буржуи заграничные потеряли. Что говорить. Советская власть им крепко на мозоли наступила! Вы думаете, зря они Деникина, да Врангеля, да Петлюру снаряжали? Думали, вернут им эти бандиты все потерянное. Денег не жалели. И все в трубу вылетело...

Открылась дверь, и в караулку вошел Полевой.

— Какие новости? — вопросительно глядя на него, спросил Коломеец.

— Пока никаких. Ушел, как под землю... Пищу готовите? — спросил Полевой, поглядывая на мешок с картошкой.— К вам просьба, ребята,— сказал он, стаскивая ватную куртку,— когда поспеет картошка, оставьте и на мою долю. А я немного посплю... Будешь за меня караульным начальником, Коломеец.

— Есть остаться караульным начальником, товарищ Полевой! — отрапортовал Никита, вставая.

Наш директор кивнул головой и лег на топчан. Но не успел он вытянуться, как на дворе засвистели, вызывая караульного начальника. Полевой вскочил, но Коломеец, хватая винтовку, сказал:

— Лежите отдыхайте. Новый караульный начальник уже приступил к исполнению своих обязанностей! — и с этими словами выбежал во двор.

Мы бросили чистить картошку и стали прислушиваться к разговору там, за дверью.

Прислушивался и Полевой. Его загорелое сухощавое лицо с пробивающейся редкой щетиной было серьезным и напряженным.

Всего несколько минут назад Полевой проводил со двора уполномоченного погранотряда ГПУ Вуковича. От комсомольцев окружного отдела ГПУ мы знали, что Вуковичу обычно поручались самые сложные и запутанные дела. Наш директор показал Вуковичу, где впервые заметил бандита Бобырь и как бандит подбирался к штабу ЧОНа. По тому, как внимательно слушал нашего директора этот высокий светловолосый чекист в пограничной зеленой фуражке, мы поняли, что он, Вукович, очень считался с мнением Полевого. Он расспрашивал Полевого тихо, спокойно. Много бы дал любой из нас, издали следивших за его движениями, если бы Вукович поделился с нами своими предположениями.

Вдвоем с Полевым они долго сидели на чердаке сарая и, надо полагать, осмотрели каждый вершок пыльного и глинистого чердачного настила. Потом, следуя по пути бежавшего, они вылезли в пролом, спустились по лестнице, которую перетащил туда Фурман, с крыши общежития химического техникума в садик и так, шаг за шагом, прошли по следам бандита до самой Рыночной площади. Вукович долго расспрашивал там о чем-то сторожа Церабкоопа и потом вернулся к штабу ЧОНа, где они с Полевым расстались.

— Крепко ему придется теперь мозгами шевелить! — сказал после ухода Вуковича Коломеец.— На бюро окружкома партии будут обсуждать этот вопрос. Будут ответ держать чекисты, как они допустили, что диверсант к штабу ЧОНа подобрался да и пропал бесследно. Сам Картамышев выясняет, что и как...

Сейчас, слушая голоса во дворе, мы было подумали, что Вукович возвратился снова. Полевой не выдержал, набросил на плечи куртку и шагнул к двери. Но не успел он дотронуться до дверной ручки, как дверь раскрылась: со двора возвратился Никита Коломеец.

Он был взволнован, и по тому, как шумно поставил в пирамиду винтовку, мы поняли, что там, у ворот, произошел какой-то разговор, рассердивший нашего секретаря.

— Что там? — спросил Полевой.

Усаживаясь чистить картошку, Коломеец нехотя проронил:

— Явление паршивой овцы, притом не имеющей отношения к несению караульной службы!

— А все-таки? Говори яснее! — строго сказал Полевой.

— Приходил Тиктор. Видите ли, ему захотелось совместно со всеми комсомольцами нести охрану ЧОНа. Говорит: только сейчас узнал, что ячейка в наряде. Прикидывается христосиком, а от самого перегаром несет, как от самогонного куба! — сказал раздраженно Никита, толстым слоем срезая кожуру с большой картофелины.

— Ну а дальше? — не отставал Полевой.

— Дальше я сказал Тиктору, что мы обойдемся без его услуг, а разговор о его поведении продолжим позже.

— Как у него хватило наглости смотреть тебе в глаза? — сказал, укладываясь, Полевой.— Вы окажетесь гнилыми либералами, хлопцы, если простите Тиктору эту ночь!

Но и без этого замечания Полевого каждый из нас, кто находился в караулке, прекрасно понимал: Коломеец не забудет, что Яшка Тиктор из-за пьянства не явился на чоновскую тревогу.

НЕПРОШЕНЫЙ ГОСТЬ

Сколько раз на комсомольских собраниях, в общежитии, на работе в цехах фабзавуча Никита говорил нам:

— Ведите себя, хлопцы, хорошо! Помните: на вас смотрит весь город, вы — рабочие подростки, авангард здешней молодежи, верная смена партии.

Коломеец говорил это неспроста. В те годы в маленьком нашем городке рабочей молодежи было мало: несколько подростков в местной типографии, два ученика на электростанции, пять молодых железнодорожников на вокзале да восемь учеников на соседнем с нашей школой заводе «Мотор», где рабочих-то всего было сто десять человек, хотя завод этот считался самым крупным в округе. Те из молодых рабочих, которые были комсомольцами, зачастую состояли на учете в ячейках учреждений. Мы же, фабзавучники, работали вместе, в одном коллективе, и ячейка наша считалась сильной, крепкой. Мы задавали тон всей городской молодежи. На всех конференциях молодежи наши делегаты сидели в президиуме, выступали в прениях, и их мнение — мнение представителей большого коллектива рабочей молодежи — было всегда весомым.

Помню, осенью прошлого года на городской конференции комсомола попытался выступить один из троцкистских подпевал, сын лавочника из Подзамче. Наши ребята стащили его со сцены и вытолкали из зала на улицу. Он попытался ворваться обратно, да не тут-то было: наши хлопцы не пустили на конференцию этого прохвоста-клеветника.

Страстные и смелые ребята входили в нашу комсомольскую ячейку; читали много, мечтали о будущем и превыше всего ставили честность в отношении к труду и к своим товарищам по работе.

Многими из этих качеств были мы обязаны Никите Коломейцу, нашему секретарю и преподавателю политграмоты. Он был для нас и старшим товарищем, и добрым другом. Бывало, на досуге с нами песни поет, а в деле — строгий и требовательный, спуску не даст.

Очень часто на комсомольских собраниях, когда сплошь и рядом повестка дня состояла из одного вопроса «Текущий момент и задачи комсомола», любил Коломеец, показывая на нас, повторять ленинские слова:

— «Вы должны быть первыми строителями коммунистического общества среди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой человек, всякая молодая девушка».

Коломеец лично видел Владимира Ильича осенью тысяча девятьсот двадцатого года, будучи делегатом Третьего съезда РКСМ. В нашем общежитии Коломеец собственноручно написал на стене под потолком другие слова Ленина из этой речи:

«Мы должны всякий труд, как бы он ни был грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я — часть великой армии свободного труда и сумею сам построить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею установить коммунистический порядок».

И всякий раз поутру, когда очень хотелось спать, мы, натягивая на себя грязные, пропахшие гарью наши спецовки, невольно читали эти слова, написанные размашистым почерком Коломейца, вдумывались в них, запоминали их и шли с ними на работу, в наш любимый фабзавуч...

В то время один за другим задымили у нас в стране заводы. Стали открываться фабрично-заводские училища, чтобы готовить смену старым мастерам. Тысячи молодых ребят из рабочих семей пошли в эти школы, желая со временем стать токарями, слесарями, литейщиками, кузнецами и фрезеровщиками.

Но хорошо было молодежи, живущей в больших промышленных центрах. Значительно труднее было в маленьких городах. Взять, к примеру, нас: слух о новых школах — фабзавучах — прошел еще в двадцать третьем году, и, конечно, первыми захотели учиться ремеслу воспитанники городского детского дома, родители которых погибли в гражданскую войну; но ни одной школы ФЗУ не то что в нашем пограничном городке, но даже в целом округе долгое время не появлялось. Многие хлопцы собирались уже переезжать в другие города...

Можно ли было надеяться, что школа ФЗУ будет основана при маленьком заводе «Мотор», который изготовлял соломорезки для крестьян и вовсе не собирался расширяться! Новые рабочие ему пока не были нужны — своих ста десяти человек вполне хватало.

Но вот Никита Коломеец, Дмитрий Панченко и другие члены бюро окружкома комсомола задумали открыть у нас фабзавуч. Больше всех хлопотал об этом Коломеец. В свободное от занятий в совпартшколе время он бегал в окружной комитет партии, в окрпрофобр, наробраз, вел переговоры со старыми мастеровыми завода «Мотор», заранее прикидывая, кто из них сможет быть инструктором будущего ФЗУ.

В окружкоме партии комсомольцев поддержали. Никита Коломеец и другие активисты сумели доказать, что школа-мастерская быстро возместит расходы, понесенные на ее организацию. На Больничной площади, рядом с заводом «Мотор», пустовал большой полуразрушенный дом; до революции в нем помещалась еврейская религиозная школа — «талмуд-тора». Дом этот и прилегающие пустые постройки закрепили за фабзавучем. В полное распоряжение новой школы передали бесхозные токарные станки: в одном только бывшем винокуренном заводе Коломеец обнаружил их свыше десятка. То-то ликовали ребята, когда узнали, что смогут получить производственную квалификацию, не уезжая из родного города!

В горячем цехе учил нас формовке и заливке опытный инструктор, самый лучший из литейщиков «Мотора» — Козакевич. Довольно быстро под его руководством я уже мог самостоятельно формовать буксы для телег, шестереночки к сепараторам и даже один раз, практики ради, заформовал и отлил бюст австрийского императора Франца-Иосифа по модели, найденной мною после половодья на берегу реки Смотрич, под крепостным мостом. Правда, бакенбарды и усы у императора не вышли, медь не доползла до кончика носа, но все-таки бюстик наделал мне хлопот! Яшка Тиктор воспользовался случаем и назвал меня монархистом за то, что я-де «фабрикую изображения тиранов». Обвинение было настолько вздорным, что Коломеец на ячейке этого вопроса поставить не захотел, но все же, избегая лишних разговоров, я пустил курносого монарха на переплавку.

Успевали в своих цехах и мои приятели. Маремуха точил рукоятки для соломорезок и серпов. Из-под его рук на маленьком токарном станочке выходили и прекрасные шашки: прямо развинчивай суппорт, разделяй их и клади на доску играть. Саша Бобырь целыми днями копошился около моторов и прибегал к нам только в часы отливок — наблюдать, как рождаются болванки для поршневых колец.

Так мы учились и мечтали, окончив через полгода школу, поехать на заводы в большие промышленные города.

Все было бы отлично, если бы в наш город из Харькова вдруг не прибыл новый заведующий окружным отделом народного образования Печерица.

Не прошло и месяца со дня его приезда, как по фабзавучу загуляла новая поговорка: «Не было печали, так Печерицу прислали!»

Осматривая школы города, Печерица появился и у нас в фабзавуче.

Накануне была отливка. Мы загружали залитые опоки, выстукивали из них набойками сухой песок, пересеивали его на решетках, сбивали зубилами и молотками окалину с теплых еще, только что отлитых маховиков. В цехе было пыльно и жарко.

В шуме и грохоте мы не заметили, как в литейной появился низенький усатый человек в брюках галифе, высоких желтых сапогах и простенькой полотняной сорочке с вышивкой во всю грудь. Удивительные усы были у этого человека — рыжие, пушистые, свисающие вниз.

Окинув нас небрежным взглядом, но не поздоровавшись, усач прошел в шишельную и потрогал пальцем блестящую крашеную модель буксы. Он поглядел, прищурившись, на дыру от снаряда в потолке и мимоходом ударил ногой по чугунному маховику, как бы проверяя его прочность. Вороненый маховик загудел и покачнулся. Человек с усами придержал его и, так и не сказав никому ни слова, зажимая под мышкой ярко-желтый портфель, хозяйской походкой вышел из литейной на Больничную площадь.

— В следующий раз никого не пускать сюда без моего разрешения. Шатаются здесь всякие посторонние, а потом, глядишь, и модели сопрут,— узнав об этом посещении, распорядился наш инструктор Козакевич.

Больше всего в жизни Козакевич боялся, как бы у него не утащили модели шестеренок, выточенные из столетнего ясеня. Он одолжил их на своей старой работе, на заводе «Мотор».

...Двумя часами позже у нас в классе шли занятия по обществоведению. Коломеец рассказывал о государственном устройстве страны и по ходу занятий читал вслух статью на эту тему из газеты «Молодой ленинец».

Открылась дверь, и в класс вошел тот самый человек, что сегодня утром побывал в литейной. Думая, что он хочет через класс пройти в канцелярию школы, Коломеец, не обращая на него внимания, продолжал громко читать.

Тогда усач подошел к доске и, широко раздвинув ноги, сказал Коломейцу:

— Когда в класс входит ваш руководитель, вы обязаны доложить ему, чем занимаетесь.

Никита не растерялся.

— Если в класс входит руководитель, то он прежде всего здоровается... Что же касается вашего посещения, то я вас не знаю.

Уклоняясь от прямого ответа, усач сказал:

— Почему вы преподаете по-русски?

— Я не преподаю, а читаю статью из русской газеты, и меня все отлично понимают.

— А разве вы не знаете, что преподавание на Украине должно вестись исключительно на украинском языке?

— Повторяю вам: я не преподаю, а читаю статью.

— На Украине живут украинцы...

— Однако известно, что в городах Украины есть еще и русские. И я не вижу особого греха, если сейчас читаю по-русски: меня все понимают. Приходите к нам завтра — вы услышите, как мы будем читать статьи из газеты «Вісті» на украинском языке. Милости прошу!

— Бросьте философствовать! Молоды еще! Прежде чем преподавать, вам надо выучить государственный язык...

— А вам прежде всего надо назвать себя, а потом делать замечания и отрывать меня и товарищей от занятий! — уже волнуясь, на чистейшем украинском языке сказал Никита, словно бы желая доказать наглядно, что он им отлично владеет.

— Может, вы еще, молодой человек, попросите меня удалиться из класса? — ехидно улыбаясь, спросил усач.

— Да, попрошу! — неожиданно закричал Никита.— Вы прицепились ко мне, как репьяк до кожуха, только потому, что я разговаривал с ребятами на языке, которым писал Владимир Ильич Ленин. Вот в чем вся загвоздка... Слушайте, вы! Либо вы скажете, кто вы такой, либо мы все вместе покажем вам самую короткую дорогу отсюда! — И покрасневший Коломеец кивнул на окно.

— Боюсь, что вам очень скоро придется просить у меня прощения! — зловеще сказал усач и, гордо встряхнув рыжей шевелюрой, вышел из класса.

— Так будет вернее! — крикнул ему вдогонку Никита и уже совсем другим, спокойным тоном стал читать статью.

Оказалось, это и был знаменитый Печерица.

За несколько дней до него у нас в фабзавуче побывал Картамышев. Секретарь окружного комитета партии обошел цехи, все осмотрел хозяйским глазом: он долго разговаривал с фабзавучниками, поругал мастера за то, что в горячем цехе нет бачков с кипяченой водой и рукавицы у хлопцев рваные, а потом появился в литейной. Тут он распорядился, чтобы до осенних дождей заделали дыру от снаряда в потолке.

Монька Гузарчик в тот день болел и оставался в общежитии. Он рассказывал нам, что после осмотра фабзавуча Картамышев пошел и туда, видно желая собственными глазами убедиться не только в том, как мы получаем квалификацию, но и в каких условиях живем. Он потребовал у повара раскладку продуктов, отпускаемых для нашего питания, и основательно распек директора общежития за то, что мы укрываемся довольно худыми, потрепанными одеялами без второй простыни. Мы уважали его и произносили его фамилию — Картамышев — как-то особенно, с любовью. А вот Печерица сразу пришелся нам не по душе...

На следующий день Нестора Варнаевича вызвали срочно в наробраз.

Печерица категорически потребовал, чтобы Полевой уволил Никиту Коломейца из школы. Усач кричал, что Коломеец «подорвал его авторитет». Что там было между ними, подробно мы не знали, но в окружкоме комсомола Фурман проведал, что якобы в ответ на эти слова Полевой отрезал: «Авторитет настоящего большевика подорвать никто не может. Авторитет большевик завоевывает своим собственным поведением». А на упрек Печерицы: «Как жаль, что вы забываете свою национальность» — наш директор ответил: «Я прежде всего коммунист, советский человек, а уж потом — украинец!» И хотя сражение было выиграно, все понимали, что Печерица затаит злобу на фабзавучников.

Сразу же после приезда Печерица стал очень заметен в нашем маленьком и тихом городе. Часто, направляясь в районы, он проезжал по крутым городским улицам в своем высоком желтом кабриолете, запряженном парой сытых вороных коней. Закутанный в серый брезентовый пыльник со свисающим на спину капюшоном, Печерица сверху разглядывал прохожих и небрежно кивал головой в ответ на поклоны знакомых учителей.

Скоро в городе стало известно, что новый заведующий наробразом — большой любитель пения. Несколько вечеров подряд Печерица собирал в большом гимнастическом зале все хоровые студенческие и школьные кружки и разучивал с ними песни. Немного погодя он выступил со своим хором в городском театре на торжественном заседании. Парубки стояли полукругом в смушковых шапках, в сорочках с вышитыми воротниками, в синих шароварах, вобранных в сапоги с высокими голенищами. Девчата заплели в косы разноцветные ленты. Их блузки тоже были расшиты узорами, на юбках надеты пестрые плахты. Освещенные рефлекторами, хористы и хористки занимали всю глубокую сцену театра. Мы, фабзавучники, во время заседания сидели на галерке. Когда после перерыва подняли занавес и мы увидели в настороженной тишине зрительного зала нарядных хористов, никто из нас не подумал бы, что огромным этим хором отважится дирижировать Печерица. Как-то это не вязалось с его замашками.

Но он, продержав несколько секунд застывших на месте хористов перед публикой, уверенными, размашистыми шагами прошел к рампе, резко тряхнул рыжей шевелюрой и объявил:

— «Вічний революціонер» — песня Ивана Франка!

Кто-то из публики кашлянул в последний раз, чтобы потом не мешать, и в зале сделалось совсем тихо.

Печерица, повернувшись спиной к публике, стал на цыпочки и, выдернув из-за голенища хлыстик, отрывисто взмахнул им над головой. Тишина как бы разорвалась: молодые, сильные, звонкие голоса начали песню так уверенно, что мы сразу заслушались. Хористы то затихали по знаку хлыстика, и тогда только один запевала продолжал песню; то вдруг вступали басы — как на подбор, высокие, рослые парубки, поставленные отдельно, и тогда глухой, но приятный рокот прокатывался по залу; то вдруг звеняще вступали дисканты — сотня девичьих

голосов подхватывала мелодию. В зале становилось будто светлее, хотелось вскочить и петь вместе с хором.

А перед хористами, то подымаясь на цыпочки, то приседая, то раскачиваясь в такт мелодии, уверенно возвышался на каком-то ящике тот самый Печерица, которого так смело выгнал из класса Никита Коломеец.

Печерица ловко дирижировал! Он крепко держал в руках весь этот многоголосый, так недавно собранный хор. И, слушая, как поют студенты, наблюдая, как ловко управляет ими этот усач, я чувствовал, что он мне начинает нравиться.

Потом хористы запели «Зажурились галичанки». Мелодия шла быстро. Печерица здесь особенно усердствовал, размахивая хлыстиком, как хороший конник саблей на рубке лозы. Зал слушал быструю походную песню о галичанках, которые опечалены отходом «сичовых стрельцов» на Украину и тем, что некому уж будет целовать их «в малиновые уста, в карие оченята да в черные брови», а я мучительно припоминал, где я мог слышать раньше эту мелодию и эти слова.

Песня была новой, чужой и неожиданной для наших советских времен. В те годы рабочая молодежь пела «Карманьолу», «Паровоз», «Мы сами копали могилу себе», «Все пушки, пушки грохотали», «Ой, на горі та женці жнуть», «Туман яром котится», а тут — здравствуйте! — Печерица откопал где-то игривую песенку о малиновых устах опечаленных галичанок. И только когда хор затянул последний куплет, я вспомнил, что с этой песней в тысяча девятьсот восемнадцатом году шагали вместе с австрияками по крепостному мосту одетые во все серое «украинские сичовые стрельцы», или «усусусы», как они себя называли. Их не отличить было по форме от их австрийских офицеров, да и бесчинствовали они так же, как и их хозяева: мельницу Орловского под скалой распотрошили, разграбили крестьянское зерно и вывезли его в Австрию, в то время как население нашего города голодало. И, слушая эту песенку «сичовых стрельцов», я, признаться, тогда еще не понимал, зачем было хору петь ее в наши советские времена.

Но, словно подслушав мои сомнения и желая развеять их, хор, руководимый Печерицей, пропел «Заповіт» Тараса Шевченко, а потом такой знакомый и дорогой всем нам «Интернационал». Пением «Интернационала» и «Молодой гвардии» мы кончали решительно все наши собрания. Но одно дело было, когда мы пели гимн мирового пролетариата у себя в ячейке или в комсомольском клубе дрожащими, неокрепшими голосами, и совсем иначе, мощно прозвучал «Интернационал» в исполнении огромного хора. Мне уже показалось в тот вечер, что Коломеец поступил неправильно, выгнав Печерицу из класса. Неважно, что тот держался грубо, заносчиво и не хотел назвать себя. Зато — какой талант!

Однако на следующий день после концерта мне пришлось снова разочароваться в Печерице.

Был у нас преподаватель черчения Максим Яковлевич Назаров. Седенький старичок, техник по профессии, он приехал в наш город из Сормова, что на Волге. Много интересного и нового было для нас в том, что рассказывал Максим Яковлевич о своем родном заводе «Красное Сормово». Немало повидал на своем веку этот старик, работая в таких цехах, где народу больше, чем на сорока заводах, подобных нашему «Мотору». Люди с большим производственным опытом вроде Назарова были очень нужны нашему фабзавучу.

На следующий день после концерта Печерица вызвал к себе всех преподавателей и инструкторов фабзавуча для проверки того, как они знают украинский язык. Ясное дело, что приехавший недавно из России к своей дочке — жене пограничника — преподаватель черчения Назаров ни писать, ни говорить по-украински не умел.

Тут же, при всех, Печерица предложил Полевому уволить старика из школы. Всеми силами отстаивал наш директор Назарова, но ничего сделать не смог.

Позже, рассказывая нам о своем визите к Печерице, Полевой говорил:

— Вы хотите русского рабочего человека,— толкую я Печерице,— заставить насильно отказаться от русского языка и сразу перейти на украинский? А ведь он без году неделя у нас на Украине живет. Дайте ему срок, не принуждайте его ломать свой родной язык и в угоду вам говорить бог знает как. Такими принудительными мерами вы только заставите его возненавидеть украинизацию...

Но как ни уговаривали Печерицу, он был неумолим. Он подсовывал всем

какой-то строгий циркуляр, в котором безоговорочно было написано, что все педагоги на Украине обязаны учить детей только по-украински.

— Позвольте, но какие у нас дети? Вполне взрослая молодежь. И потом, у нас техническая школа! — все еще доказывал, волнуясь, Полевой.— Мы ремесло изучаем.

— Ничего не знаю и знать не хочу,— холодно отвечал Печерица.— Живете на Украине, вот инструкция, прошу подчиняться! Что же касается профиля вашей школы, то это вообще казус. И фабзавуч ваш — это ублюдок.

— Придет время, и здесь тоже, как и в Донбассе, вырастут новые заводы, и люди нам спасибо скажут, что мы первыми начали готовить для них кадры! — сказал Полевой.

— Чепуха! — отрезал Печерица.— Никто вам не даст закоптить голубое небо Подолии дымом заводов.

— Посмотрим! — сказал Полевой упрямо, как поведал нам Коломеец, даже зубами заскрипел, чтобы не выругаться.

— Смотреть будут другие, а не вы! — оборвал нашего директора усач.— А вам приказываю быть дисциплинированным работником моей системы образования и выполнять без всяких пререканий мои распоряжения.

Пришлось Нестору Варнаевичу уволить Назарова из фабзавуча. На последние гроши из маленькой нашей стипендии мы сообща купили старику на память хорошую готовальню. Фурман прикрепил к ней медную планку и ловко нацарапал надпись: «Горячо любимому нашему преподавателю Максиму Яковлевичу в часы расставания, но не прощания. Ученики школы ФЗУ».

Признаться, Максим Яковлевич ничего особенного не потерял от приказа Печерицы. Хороших техников в городе было мало. Назарова немедленно приняли на работу в дорожную контору. Он стал чертить планы дорог, ведущих к границе.

Паровые катки для этих дорог ремонтировали у нас в фабзавуче, и потому Назаров иногда заходил к нам.

Однажды Козакевич, здороваясь с Назаровым, сказал:

— А-а-а! Максим Яковлевич, жертва режима Печерицы? Ну как, он еще до вашей конторы не добрался?

— К нам ему дорога заказана,— сказал Назаров.— Мы сейчас на военное ведомство работаем. Нашими делами Михаил Васильевич Фрунзе из Москвы интересуется, а ему все равно, на каком языке человек говорит, лишь бы душа у того человека советская была!

Когда вечером, после дежурства в ЧОНе, мы возвращались вместе с Маремухой в общежитие, Петро сказал мне:

— Досадно-таки, Василь, что мы того бандита живым выпустили. Такая промашка! Я боюсь, как бы об этом не проведал Печерица. Узнает — и станет яму рыть под Нестора Варнаевича. Вот, скажет, каких балбесов он воспитал! И пакостить будет Полевому.

— Не бойся, Петрусь! Картамышев Полевого в обиду не даст. Он Полевого еще по совпартшколе знает. Ведь Полевой там секретарем партийной ячейки был. Он старый большевик, рабочий в прошлом... А Бобырь — шляпа, это факт. Представляешь, как здорово было бы, если бы Сашка того диверсанта хлопнул!

— Еще бы! — сказал Маремуха уныло.

УГРОЗЫ ТИКТОРА

После той ночи, когда мы дежурили в ЧОНе, погода изменилась. Третий день падал густой снег, сугробы достигали окон, и каждое утро перед работой мы деревянными лопатами расчищали снег с тропинки, ведущей от дороги к литейной.

Сегодня с утра Козакевич поручил мне подготовить шишки для завтрашней формовки.

Я уже принялся за второй лист с шишками, как ко мне подошел Яшка Тиктор. Светлый чуб его развевался в двух шагах от меня. Тиктор присел на корточки и закурил, пуская в дверцы печки синеватый дым. Наблюдая за ним одним глазом, я молчал, понимая, что Яшка хочет заговорить со мной. После того вече-

ра, когда Тиктор не явился на тревогу, он сторонился нас, ни с кем не разговаривал и сразу же после занятий уходил к себе домой, на Цыгановку. Он жил в этом предместье города, недалеко от вокзала, вместе с отцом.

Потянув последний раз цигарку, Яшка швырнул окурок на раскаленные глыбы кокса и, проходя мимо, как бы невзначай бросил:

— Ну-с, товарищ член бюро, когда вы меня судить будете?

— Ты хочешь спросить, когда будет на бюро разбираться твой вопрос?

— Ну, не все ли равно! — промямлил небрежно Яшка и, пододвинув к себе вместо стула жестяную банку с графитом, уселся против меня.

— Если тебя интересует, когда назначено заседание бюро ячейки, могу сказать: в четверг.

— Конечно, вам выгоднее держать в комсомоле сопляков вроде Бобыря, которые даже с винтовкой обращаться не умеют, только за то, что они приятели некоторых членов бюро, и выгонять из организации рабочих подростков за какую-то случайную ошибку...

Я понял, в чей огород бросает камешки Тиктор.

— Случайная ошибка здесь ни при чем.

— Именно случайная ошибка. Ну, выпил... потом дал по зубам какому-то спекулянту, а вы шум подымаете...

— Не какому-то спекулянту, а твоему заказчику Бортаевскому.

— Почему он мой заказчик? Удивляюсь! — Яшка сделал наивное лицо.

— А чей же он заказчик, мой? Не придуривайся лучше, бюро все известно.

— Что может быть известно, не понимаю! Наябедничал кто-то ради склоки, а вы...

Дальше я сдержаться не мог. Мало того, что Яшка не хотел откровенно, как подобает комсомольцу, признать свою вину, он вдобавок еще прикидывался дурачком!

Я сказал строго:

— Бюро известно, Тиктор, что ты в рабочее время формовал детали для частной мастерской Бортаевского, ты продавал их ему, ты...

— Ну и что ж такого? — оправдывался Тиктор.— Я все это своими руками делал, из собственного алюминия и совсем не в рабочее время.

— Неправда! В рабочее время. Ну, зачем ты врешь?

— Сам ты врешь! Я оставался после работы, когда ты уходил, и формовал.

— Да? А песок, а инструменты, а модели чьи — разве не государственные? А скажи-ка, что ты делал в тот день, когда Козакевич унес к слесарям переделывать модель маховика? Помнится мне, ты формовал шестеренку для мотоциклетки.

Припертый к стенке, Тиктор смущенно буркнул:

— Я же тогда в простое был. Это другое дело. Нечего мне было делать, ну и взял ту шестерню. А тебе того императора-кровопийцу можно было формовать? Я тоже учился на этой шестеренке.

— Учился, чтобы потом получать от спекулянта деньги на водку...

— Слушай, ты,— грозно прикрикнул Тиктор,— не пугай меня спекулянтом! Я спекулянтов больше тебя ненавижу. А потом, нужно еще доказать, что Бортаевский спекулянт. Он кустарь — это верно, но он мастер и сам работает. А в прошлом в Одессе на заводе имени Октябрьской революции работал. Таких мастеров еще поискать нужно! Кто перебрал мотоцикл для Печерицы? Бортаевский! А ты — «спекулянт»!

— Погоди, Тиктор,— заметил я очень спокойно,— ведь минуту назад ты сам назвал Бортаевского спекулянтом.

— Я?.. Ничего подобного! — возмутился Яшка.

— Как же! Сам ведь сказал, что «дал по зубам какому-то спекулянту». У меня память хорошая. Заврался ты...

— Ты, Манджура, брось, меня не пугай! И на кукан не лови,— окончательно запутавшись и от этого свирепея, закричал Яшка.— Ты, брат, еще зелен со мной так разговаривать! Я чистокровный рабочий. Мне понятно, почему вы все на меня напали: вам завидно, что я лучше вас зарабатываю! Вы бы сами взяли у Бортаевского заказы, но он их вам не даст, и даже без денег,— испортите! Перебиваются кое-как с хлеба на квас на свою стипендию, а если я не хочу нище-

нствовать, травить меня начинают. Исключайте меня из комсомола! Наплевать мне на вас. Я не карьерист, а рабочий парень!

— Вот теперь я вижу, что тебя обязательно надо исключить из комсомола! — сказал я Тиктору, глядя ему прямо в глаза.— Если ты можешь бросаться такими словами...

— Молодые люди, это что за митинг в рабочее время? — заходя в шишельную, строго спросил Козакевич.— Начистил шишек, Манджура? Вот эти? Пожалуй, довольно на сегодня. Теперь так: оденься да лети в фабзавуч. Получишь в кузнице для нас плоские трамбовки.

Разгоряченный спором с Тиктором, не запахивая чумарки, я вышел на улицу.

Было удивительно тихо и снежно. Глаза защемило, как только я взглянул на засыпанные белым глубоким снегом огороды и дворик литейной.

На ветках деревьев лежал пушистый снег. Передо мной пронеслась юркая синица-московка с черным хохолком на голове, задела крылышками веточку клена, и целая груда снега неслышно осыпалась с дерева.

Посредине Больничной площади уже протоптали узенькую тропиночку. Я шел медленно, словно по тесному коридору, и полы моей чумарки сметали снег. Пласты снега лежали на крышах маленьких домиков, окружавших площадь; кустики сирени и жасмина в палисадниках торчали из-под снега, как перевернутые метлы; даже узенькая высокая железная труба над заводом «Мотор» с одного бока была облеплена хлопьями снега.

«Хорошо я отрезал Тиктору: «Такого хулигана, как ты, нам не нужно!» Да нет, в самом деле,— нашкодил, замарал звание комсомольца, а сейчас еще протестует, будто все вокруг него виноваты, а он один прав. Будет хорошим, честным парнем — кто ему плохое слово скажет! Ведь мне лично он решительно ничего не сделал: я за организацию болею. Как он понять этого не может! Если он смолоду к жульничеству привыкает, государство обманывает, от масс отрывается, то что же из него позже станет? Ведь советовали ему в прошлом году перестать водиться с Котькой Григоренко. Говорили мы ему с Петром: «Смотри, Яшка, не промахнись! Мы того Котьку еще с детства знаем: его батька ярым петлюровцем был, людей наших выдавал, а у этого сыночка тоже нутро чуждое. Разве он тебе компания?» Послушал нас Тиктор? Где там! Сами, мол, с усами. Что, мол, вы, зеленые, меня учите! В обнимку с Котькой по Почтовке шатались, на свадьбы да на вечеринки к кулацким деткам в соседнее село ходили, а потом этот Котька сбежал за кордон. Видно, большие грехи за ним водились, раз на такое решился. А Тиктор обмишурился: дважды его, комсомольца, вызывали для серьезного разговора как близкого приятеля Григоренко. Ходил нос повесив, а сейчас опять наново все начинает...»

Размышляя так наедине с самим собой посреди огромного снежного простора, я пересек площадь и спустился в кузницу.

Трамбовки еще не были готовы, и в ожидании, пока их откуют, я поднялся в слесарную. Уже начался перерыв, и все разбрелись. Удивительно тихо было в слесарной. У тисков, обсыпанных опилками, никто не стоял. Я направился в красный уголок и там, около витрины со свежей газетой, увидел наших ребят. Прижимая друг друга к деревянной витрине, они с особенным вниманием читали газету «Червонный кордон». Я протиснулся поближе.

«Мертворожденная школа»,— прочел я заглавие статьи и сразу понял, о чем идет речь. В этой статье, подписанной «Д-р Зенон Печерица», говорилось, что директор фабзавуча Полевой саботировал проведение украинизации, долгое время держал у себя в школе педагога, не умевшего разговаривать на украинском языке; когда же педагог был уволен, Полевой организовал сбор денег для приобретения ему ценного подарка. В конце статьи Печерица, между прочим, писал, что само существование школы фабзавуча в нашем маленьком городе, где нет промышленности, является курьезом.

В коридоре послышались гулкие шаги. Это шел из канцелярии Нестор Варнаевич. Был он в своей защитного цвета стеганке, в кепке, сдвинутой на затылок и открывавшей его высокий загорелый лоб. Мы посторонились, давая проход Полевому к щиту с газетой, но он улыбнулся и сказал:

— Читайте, читайте! Я уже отлично знаю, что там написано.

Подбежав к Полевому, Сашка Бобырь неожиданно спросил:

— Нестор Варнаевич, а что значит «де-эр»?

Хлопцы засмеялись. Немного помедлив и скрывая улыбку, Полевой серьезно сказал Бобырю:

— «Де-эр» — это, вероятнее всего, доктор.

— Какой же он доктор, Печерица? — не унимался Бобырь.— Доктора по больницам народ лечат, а этот хором дирижирует и учителями заведует. Разве такие доктора бывают?

— Разные доктора есть,— сказал Полевой.— Необязательно только по медицинской части. Печерица — галичанин. А надо вам сказать, в Галиции очень любят щеголять такой степенью «доктор». Вот в том легионе «галицких сичовых стрельцов», что вместе с австрийцами против русской армии сражался в мировую войну, почти все офицеры себя докторами называли. Среди них всякие доктора бывали: юридических наук, философии, филологии, ветеринарных наук... Может, Печерица тоже такой доктор, скажем — музыкальных наук.

— Раз галичане вместе с австрияками против нас шли, зачем их сюда пускают? Мало тут здешних подпевал петлюровских осталось! — не унимался Бобырь.

— Не смей говорить так, Бобырь! — воскликнул Полевой.— Никогда не суди о целом народе по его отщепенцам... Галичане — хороший, трудолюбивый, честный народ, родные братья наши. Говорят на том же языке, что и мы, живут на исконной украинской земле.

И Нестор Варнаевич напомнил нам, как совсем недавно, на XIV съезде партии, говорилось, что Версальский договор искромсал ряд государств и только в результате этого наша Украина потеряла Галицию и Западную Волынь.

— Уж кто-кто, а я хорошо знаю галичан,— продолжал Полевой.—После захвата Перемышля меня там, в Галиции, тяжело ранило... Армия ушла, а я остался без сознания, один в поле. Так что же ты думаешь, эти люди меня выдали австрийцам? Ничего подобного! Больше года я пролежал в хате у одного крестьянина, в селе Копысне. Доктора ко мне тайком из Перемышля привозили, дважды операцию он в простой светлице делал, заботились галичане обо мне, как о родном... Эх, свидеться бы когда-нибудь с этими людьми! Подумать только: маленький Збруч нас от них отделяет. И не вина тех простых тружеников-галичан, что они в чужой неволе очутились и томятся там который уже год.

...Когда мы вышли из фабзавуча и направились в общежитие обедать, очень впечатлительный и души не чаявший в Полевом Маремуха напустился на Сашку:

— Не мог другое время выбрать для расспросов? Видит, человек расстроен, обругали его в газете, обругали ни за что, а он к нему со своими расспросами: «Что такое «де-эр»?» Хочешь знать, что такое «де-эр»? «Де-эр» — это такой дурак, как ты!

— Тише ты, не кричи! — оправдываясь, буркнул Саша.— А может, я нарочно, чтобы он не так печалился, хотел его отвлечь! Что? — И, довольно ухмыляясь, Сашка чихнул.

Я помнил, как любили и уважали Полевого курсанты совпартшколы, когда он был у них секретарем партийной ячейки.

Однажды, еще в совпартшкольские времена, Полевой зашел к нам домой. Мы жили во флигеле, возле главного здания. Отца дома не оказалось — он печатал в маленькой типографии школьную газету «Голос курсанта». Полевой увидел на моем столе альбомчик со стихами. Привычка заводить себе такие альбомы к нам, ученикам трудшколы, перешла от гимназистов. Девочки-одноклассницы наклеивали в альбом картинки, рисовали от руки всякие цветочки — нарциссы да тюльпаны, а рядом царапали сердцещипательные стишки о прекрасных розах, белокрылых ангелах, арфах, незабудках и прочих пережитках старого мира.

Совестно теперь признаться, но такой альбомчик был и у меня. Приятели писали в нем стишки с разными пожеланиями. Я обмер, когда Нестор Варнаевич полистал мой альбом, усмехнулся, а потом, присев к столу, взял ручку и написал на чистом листочке:

...Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья! Бурей полный,
Прям и крепок парус мой...

Написал без спросу, встал и, ни слова не сказав, ушел.

Все это меня, помню, очень удивило. Сперва я подумал, что это акростих. Прочел все заглавные буквы сверху вниз — ничего не получилось. Мне понравился поступок Полевого. Было приятно, что он не гнушается поддерживать отношения с таким пацаном, как я.

Здесь же, в фабзавуче, всякий понимал, что Полевой с виду строгий и грубоватый, но очень доброй души человек. Целые дни он проводил в школе и старался изо всех сил, чтобы из нас вышли опытные рабочие и хорошие люди.

Мы все любили директора. Статья Печерицы ошарашила нас. Хотя Полевой и не показывал виду, что эта статья его хоть сколько-нибудь задела, но мы догадывались, что это только перед нами он держится так спокойно, на самом же деле ему было очень горько.

После обеда, с двумя трамбовками под мышкой, я шел из кузницы к воротам школы. У ворот меня окликнул Никита Коломеец:

— Сегодня после занятий внеочередное бюро.

— Вот хорошо! А меня уже Тиктор спрашивал...

— О Тикторе вряд ли сумеем сегодня поговорить. Есть дело поважнее,— сказал Коломеец.

— Что-нибудь случилось?

— Ты ничего не знаешь?

— Нет... А что?

— Печерица хочет закрыть наш фабзавуч.

— В самом деле?

— Ну, правду говорю!

— А нас куда?

— Кого в кустари, кого на биржу труда, а кого до папы с мамой на семейное иждивение,— криво улыбаясь, сказал Коломеец, и мне даже показалось, что он разыгрывает меня.

— Не может этого быть! Ты шутишь, Никита?

— Да какие могут быть шутки! Приходи, словом, на бюро,— коротко отрезал Коломеец.

ЧТО ЖЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

За все время нашего обучения в школе еще не было у нас такого горячего и бурного заседания бюро, как в тот вечер. Давно погасли огни в окнах соседних домов, давно с грохотом закрылись гофрированные шторы в магазинах Старого города, а мы все еще спорили до хрипоты, доказывая друг другу, как надо поступить...

А на столе президиума лежал приказ Печерицы о закрытии школы.

Никто не мог примириться с мыслью, что пройдет две недели и мы, не доучившись полутора месяцев, уйдем отсюда кто куда.

Пока мы спорили, горячились, придумывали, как упросить Печерицу сменить гнев на милость и отменить свой приказ, наш директор и единственный на весь фабзавуч член партии Полевой тихо сидел в темном углу и ничего не говорил. Видно, он хотел нас выслушать, а потом, как партприкрепленный, сказать и свое слово. Наконец, когда все выговорились, Коломеец вопросительно посмотрел на директора.

— Гляжу я на вас, вижу молодые, горячие ваши головы — и не представляю себе, как мы сможем расстаться,— вставая, сказал Полевой дрогнувшим голосом, и мы все притихли так, что сразу стало слышно, как за окном на тротуаре скрипит снег под ногами запоздалого прохожего.— Сдружились мы за это время крепко, и я верю, что из всех вас будет толк. Как член партии, здесь, на бюро комсомольской организации, я могу вам откровенно сказать: все это неверно от начала и до конца. Несправедливо, что вам не дают доучиться каких-нибудь полтора

месяца. Неверно, что закрывают фабзавуч. Такое решение противоречит линии партии. Оно противоречит указаниям Четырнадцатого съезда партии. Ну хорошо, допустим: пока у нас в округе и в самом деле нет подходящих заводов, куда бы вас могли направить после окончания учебы. Но ведь такие заводы есть в других городах Украины. Так почему же Печерица не хочет договориться с центром? Он не верит в будущее нашей промышленности — вот в чем дело. Он, видите ли, не хочет, чтобы голубое небо Подолии было закопчено дымом заводов!.. Но ведь без этого мы не сохраним Советскую власть! Если мы не выстроим повсюду новые заводы, мы не только сами погибнем, но и никому из народов, ждущих нашей помощи, не сможем помочь. Это ясно, как дважды два — четыре. Только этот дирижер не хочет понять таких очевидных истин... И чую я определенно, что только националистам на руку тактика Печерицы.

Мы видели таких говорунов в банде Волынца, когда они в конце восемнадцатого нашу советскую Летичевскую республику разгоняли. Тоже всё кричали: «Украина — отчизна хлеборобов, и никаких привилегий рабочие тут не должны иметь». Будь в городе Картамышев, я бы сегодня же добился отмены этого приказа. Но Картамышев простудился во время тревоги, у него обострился процесс в легких, и он уехал лечиться в Ялту. За него остался Чучекало, тупой, трусливый человек. Он услышал, что Печерицу прислали сюда из Харькова, и боится его одернуть. Придется мне повоевать с Чучекало. Но мне кажется, что и вам не следовало бы стоять в стороне, пока я буду протестовать здесь, на месте. Почему бы вам не похлопотать в Харькове? Надо бороться нам не только за сохранение нашей школы, надо уже сейчас добывать в Харькове путевки на заводы для нашего первого выпуска. Для каждого из вас. Вы имеете на это полное право.

И мы решили бороться.

Постановили, не теряя времени, тотчас после комсомольского собрания направить делегацию учеников в окружком партии. А меня бюро задумало послать в Харьков, чтобы я обратился в ЦК комсомола.

Чего-чего, а уж этого я не мог предполагать! Когда все хлопцы наперебой стали кричать: «Манджуру надо послать, Манджуру!» — я сидел, слушал и не мог поверить, что называют мою фамилию.

Я стал отказываться, но Никита Коломеец уверенно сказал:

— Ничего, Василь, ничего! Все это пустяки, что ты ни разу еще не ездил поездом, что заблудишься и все такое прочее несущественное. Язык до Киева доведет. Ну а Харьков чуть-чуть подальше. Нам ли бояться таких расстояний? Кто знает, может, еще в Берлине или Париже доведется побывать. А ты в Харьков, в наш советский город, боишься ехать! Парень ты, в общем, смелый, обстрелянный, и мы не сомневаемся — найдешь ходы и выходы. Словом, айда в дальний путь, защищай наши фабзавучные интересы! Умри, а добейся правды! Все.

Заседание бюро было объявлено закрытым.

...Всю дорогу, когда, усталые и разгоряченные после заседания, мы шли из школы к общежитию по тихим и заснеженным улицам нашего городка, я никак не мог опомниться. Решение о поездке в Харьков обрушилось на меня так внезапно, будто лавина снега, свалившаяся с горы. Радостно и приятно было сознавать доверие друзей, и я в душе поклялся сделать все, чтобы спасти наш фабзавуч.

ВАГОННЫЙ ПОПУТЧИК

Никто не пришел провожать меня на вокзал, даже Маремуха. В этот вечер в школе назначили собрание учащихся. Ждали Печерицу. Приглашали его дважды, он смилостивился и обещал «заглянуть». Каждому хотелось послушать, что скажет усатый бюрократ. Добрая половина фабзавучников готовилась выступать, думали дать ему настоящий бой, потребовать отмены приказа. А поезд уходил в семь часов пятнадцать минут вечера. И я сам сказал хлопцам, чтобы не провожали меня, а лучше сообща наступали на этого бюрократа.

Я простился с Галей и пришел на вокзал за полчаса до отхода поезда. На перрон еще никого не пускали. Ощупывая одной рукой твердый билет в кармане, купленный мне в складчину, а другой сжимая портфель, я шагал по вокзалу и поглядывал на стрелки часов.

Во внутреннем кармане моего пиджака двумя английскими булавками были прочно заколоты сорок три рубля шестьдесят копеек. В обеденный перерыв выдавали стипендию, и большинство из фабзавучников отчислило на поездку по одному рублю — вот откуда набралась такая крупная сумма.

В жизни у меня не было столько денег сразу! Документы были сложены в портфель — его мне почти насильно всучил Никита Коломеец. Он нарочно пошел в окружком комсомола и одолжил портфель у заведующего оргинструкторским отделом Дмитрия Панченко. Я не хотел брать его, опасаясь насмешек, но Никита сказал очень веско:

— Пойми, милый: когда портфель — необходимость, ничего страшного в нем нет. Совсем не обязательно, чтобы он был признаком твоего бюрократического перерождения. А где ты будешь без портфеля держать удостоверение, школьную смету, списки учеников? В карманах? Изомнешь все. Наконец, куда ты спрячешь полотенце, мыло, зубную щетку? Некуда, правда? А все это чудесно укладывается в портфель. Зашел, скажем, к самому заведующему школьным отделом Цека. Будешь из карманов вытаскивать мятые бумажки?.. А с портфелем оно удобнее.

Я отбивался от портфеля изо всех сил, потому что прекрасно знал: тех комсомольцев, которые носят портфели, называют бюрократами и чиновниками. А если еще такой владелец портфеля галстук подвяжет себе на шейку, так и знай — окрестят его чиновником, мещанином, перерожденцем, оторвавшимся от масс. Выходя из общежития, я предварительно обернул портфель старыми газетами и понес его под мышкой, словно картину. Лишь у вокзального палисадника оглянулся и швырнул газеты в канаву.

На вокзале знакомых не было. В буфете дымил самовар, и пожилой буфетчик в белом халате, наброшенном поверх полушубка, разливал кипяток в граненые стаканы. В багажном отделении работники таможни проверяли чемоданы пассажиров — не везут ли те в глубь страны контрабанду.

Я разгуливал по коридорам, несколько раз пересек холодный вестибюль и, разглядывая пассажиров, силился угадать, кто же из них будет моим попутчиком. Потом вышел на перрон.

Вскоре перрон опустел: пассажиры расселись по вагонам. Лишь дежурный по станции медленно прохаживался по обледенелому асфальту, поглядывая на часы. Но вот он выпрямился, приосанился, сунул часы в карман и звонко ударил три раза в медный колокол.

Я предъявил проводнику билет и с трудом взобрался по крутым ступенькам в теплый, пахнущий курным углем вагон. Пройдя через пустой вагон в самое дальнее купе, устроился у окна.

Показалось, что за деревянной стенкой, в туалетной, кто-то завозился и глухо кашлянул, но я, не придав этому значения, принялся разглядывать уютное, пропахшее табачным дымом купе.

С какой радостью несколько лет назад мы, мальчишки, залезали вот в такие же зеленые вагоны, стоявшие на запасных путях! Да если бы еще несколько дней назад мне сказали, что я войду в такой вагон самым заправским пассажиром, я бы этому не поверил.

В предотъездной тишине было слышно, как переговариваются два смазчика у багажного пакгауза, потом снова кто-то, на этот раз более явственно, закашлялся в туалетной за стенкой, и, наконец, в голове состава весело аукнул паровоз.

Так же залихватски кричал он, когда несколько лет назад мы с Петькой Маремухой провожали с этого же вокзала уезжавшего в Киев нашего друга детства Юзика Стародомского по прозвищу Куница. Как мы завидовали тогда Юзику, что он едет так далеко в поезде! А вот сегодня в дальние края еду я, Василь Манджура!

...Толчок.

Не отрываясь, гляжу в окно, узнаю знакомые места, проселочные дороги — сколько раз приходилось бегать по ним босиком! Окруженный ивами, промелькнул перед глазами пруд свечного завода. Какой он скучный под снегом! И как славно здесь летом! Какие здоровенные раки ловятся у его обрывистых берегов на тухлое мясо да на ободранных лягушек! Половина пруда поросла высоким камышом с коричневыми султанчиками на стройных стеблях...

За спиной громко щелкнула дверь.

Я обернулся.

В двух шагах от меня с маленьким чемоданчиком в руках стоял... Печерица.

«Ну, капут! — мигом подумал я.— Печерица все пронюхал, узнал, что я еду жаловаться на него в центр, и решил перебежать дорогу. Ясное дело — он будет сейчас меня запугивать и, пожалуй, прикажет немедленно вернуться в город».

От неожиданности я сперва не заметил, что Печерица сбрил усы. От этого он сразу помолодел и стал с виду не таким задиристым, как раньше. Меня очень удивило, что одет был Печерица не так, как обычно: на нем была старая буденовка со споротой звездой и длинная, до пят, кавалерийская шинель.

У меня не хватило мужества долго глядеть на Печерицу прямо, я сделал вид, что очень внимательно смотрю в окно.

Печерица, оглядевшись, ласково и, самое главное, по-русски спросил:

— Далеко едешь, парень?

— В Киев,— соврал я, решив ни под каким видом не сознаваться, а про себя подумал: «Вот двурушник! Других увольняет за то, что по-русски разговаривают, а сам не успел в поезд сесть — на русский перешел! Ему можно, а другим нельзя?»

— Значит, мы с тобой попутчики,— спокойно сказал Печерица. Он ловко поднял верхнюю полку и закинул на нее маленький чемоданчик. Попробовав пальцем, не пыльно ли там, наверху, Печерица спросил: — А кто же послал тебя одного в такую дальнюю дорогу?

Заметив, что он больно уж внимательно смотрит на мой портфель, в котором лежало коллективное жалобное письмо нашей ячейки, я навалился на портфель и как бы нечаянно прикрыл его локтем:

— Я к тетке еду. У меня тетка в Киеве заболела!

— Теперь все болеют,— охотно согласился Печерица.— Время дрянное — весна близко, а с весенней водой многие люди уходят. Мне вот тоже нездоровится, знобит всего, кашель мучает и ко сну ужасно клонит.— И Печерица закашлялся.

Я понял, что это он кашлял и возился там, за стенкой, до отхода поезда. Покашляв еще немного, Печерица наклонился ко мне и еще ласковее спросил:

— Ты, юноша, не собираешься еще ложиться?

— Нет, я еще почитаю.

— Слушай, друже, тогда у меня к тебе просьба. На вот тебе мой билет и литер, и если будет ревизия — покажи его. А я лягу сейчас на полку и задам храповицкого. Только пускай меня не будят. В случае чего, скажи просто: «Это мой друг, он болен, а его билет у меня». Добре?

— Добре! — согласился я и, приняв от Печерицы обернутый литером твердый билет, запрятал его в карман пиджачка.

Печерица вскарабкался на полку, повернулся лицом к стене и, подложив под голову чемоданчик, быстро заснул, не вынимая руки из кармана длинной шинели.

Так мы и поехали — я и мой «новый друг».

Что говорить, я был даже рад такому обороту дела. Мне было приятно, что я так ловко перехитрил Печерицу. Я думал, что Печерица будет приставать ко мне, допытываться, не я ли тот самый делегат фабзавучников, которому поручили жаловаться на него в Харькове, а все получилось совсем иначе: тихо, по-семейному. «Куда же он в таком случае, холера, едет?» — думал я, поглядывая на полку, откуда свисал хлястик Печерицыной шинели.

Из портфеля я вытащил взятый мною в дорогу интереснейший роман — «Овод» Войнич. Я пообещал самому себе прочесть эту книгу в поезде и даже законспектировать ее, чтобы по приезде выступить на очередном вечере на тему «Что мы нового прочли?».

Такие вечера часто устраивались в нашей комсомольской ячейке. В еще большей моде были суды. Кого мы не судили только в те времена: и палочку Коха, и соглашателя Вандервельде, и Дон-Кихота, совершенно бесцельно воевавшего с ветряными мельницами, и английского лорда Керзона, который посылал всякие дерзкие ноты и ультиматумы молодой Советской стране!..

...Не читалось.

Мешал стук вагонных колес. Карандаш, которым я делал заметки в блокноте, подпрыгивал. Да и на душе от близкого соседства с Печерицей было неспокойно. Мне очень хотелось взглянуть на литер, но я боялся, что Печерица еще не заснул как следует. Контролер пришел, когда уже совсем стемнело, за станцией Дунаевцы, и, словно давая знак, чтобы его не будили, Печерица так захрапел в эту минуту, что его храп заглушил голос железнодорожника, требовавшего билет.

Свечей еще не зажигали, и лишь колеблющееся пламя маленького огарка в фонаре бросало тусклый отсвет в мой угол. Контролер вытащил ключ и хотел постучать им о верхнюю полку, чтобы разбудить Печерицу, но я поспешно сказал:

— Не будите его, он больной, а билет его у меня. Вот.

— Больной-больной, а храпит лучше любого здорового,— буркнул контролер, проверяя билеты.

Стоявший сзади проводник, глядя на сапоги Печерицы, удивленно сказал:

— А где же он садился? Не припомню. Мне сдавалось, что в купе один пассажир, вот ты, молодой, а откуда этот взялся?

— Да мы едем от самого начала,— пробормотал я.

— Пересадка в Киеве,— сухо предупредил контролер и отдал мне билеты.

Думая, что наверху прячутся зайцы, он поднял фонарь до самой багажной полки. Отблеск пламени заколыхался на потолке. Наверху никого не было. Успокоившись, контролер с проводником прошли дальше.

Прислушиваясь к однообразному стуку вагонных колес, я задремал...

— Уже была ревизия? — разбудил меня хриплый голос.

Поезд стоял. Совсем близко от вагона на столбе зеленоватым светом горел фонарь. На фоне светлого квадрата окна я видел склоненную ко мне голову Печерицы.

— Была.

— Ну, тогда я еще посплю, а ты, милый, в случае чего покажи им еще раз билеты.

Я молча кивнул головой, глянул на минутку в окно и закрыл глаза.

Было тепло и уютно. Приятно покачивало. Не снимая чумарки, я лег на лавку и, подложив вместо подушки под голову портфель, довольно быстро заснул. Сколько я спал — не знаю, но проснулся оттого, что на меня направили луч карманного фонарика.

— Билеты!

— Тут два, мой и соседа...— роясь в карманах, буркнул я.— Вон лежит на верхней полке. Ему нездоровится.

Контролер отвел в сторону луч фонарика и взял билеты. За ним стоял какой-то человек в стеганке и тоже заглядывал в билеты.

— Будить? — тихо спросил контролер и провел лучом фонарика по спине Печерицы, который спал калачиком, поджав под себя ноги.

— Придется,— сказал человек в стеганке, но тут же спохватился: — Хотя постойте, вот же литер! — И, отделив белую длинную бумажку от билетов, он стал пристально разглядывать ее.

Сонный, жмуря глаза, я не понимал, что к чему, и мечтал лишь об одном: чтобы контролеры поскорее ушли.

— Можно не будить,— тихо сказал человек в стеганке, складывая литер и отдавая его контролеру.— Не тот... Пошли дальше.

Контролер вручил мне оба билета, завернутые в литер. Они ушли, и я сразу же заснул, да так крепко, что проснулся уже на какой-то большой станции. По ярко освещенному перрону с грохотом катили тележку, бегали люди с бутылками и чайниками. Свет вокзальных огней проникал в глубь вагона. Тут я увидел, что верхняя полка пуста: Печерицы на ней не было.

Прижавшись к окну вагона, я прочитал надпись на фасаде станции, под крышей:

ЖМЕРИНКА

Порядком отъехали!

Задевая спросонья ноги спящих пассажиров, я прошел к выходу.

Народу у нас в вагоне прибавилось. Пахло овчинными кожухами и махоркой.

Куда же запропастился Печерица? Может, он в буфет пошел?.. Хорош попутчик! Даже не разбудил меня. И чемоданчик оставить побоялся! Подумал, наверно, что я жулик.

Уже в тамбуре повеяло свежестью морозной ночи. Лужицы на перроне затянуло льдинками. Сбоку, где кончалась перронная крыша, мигали звезды.

У вагона, держа в руке свернутый флажок, расхаживал новый, молодой проводник в кожаной фуфайке с путейским значком.

— Долго будем еще стоять, товарищ проводник?

— Ого-го! — сказал проводник весело.— Настоимся еще. Скорый на Одессу должны пропустить.

— На вокзал успею сходить?

— Вполне. Раньше как через час не тронемся.

— А место мое не займут там?

— Займут — освободить попросим. У тебя же плацкарт есть...

Я обошел весь огромный и очень чистый жмеринский вокзал, о котором шла в те годы молва, что это лучший вокзал Советской Украины, и даже спустился на минутку в знаменитый тоннель, облицованный белыми кафельными плитками.

Проходя вдоль буфета первого класса, я поглядел на розовые окорока, на белого молочного поросенка, который лежал, распластавшись на пуховике из гречневой каши, на жареных кур с зеленым горошком, на блестящие и пухлые коричневые пирожки с начинкой из вареного мяса и риса, на ломти багрового копченого языка, на фаршированного судака, который как бы плавал в дрожащем прозрачном желе. Мне так захотелось отведать хоть капельку этих лакомств, что я потерял всякое самообладание: съел кусочек буженины с огурцом, выпил три стакана холодного густого молока с пенкой и со свежими пирожками и затем съел еще два начиненных желтым заварным кремом пирожных и запил все это стаканом компота из сушеных фруктов.

Но, уже выйдя с вокзала на свежий воздух, я почувствовал раскаяние. «Вот транжира! — ругал я себя.— С таким аппетитом и до Киева не доехать». И еще стыдно мне было очень оттого, что я позволил себе такое буржуйство в то самое время, когда наши хлопцы питались не ахти как. Щи из кислой капусты да чечевица на второе — вот обычное меню обедов в общежитии. И бобы, бобы, бобы! На ужин бобы, на завтрак, перед работой бобы и даже на сладкое по воскресеньям бобы с какой-то приторной подливкой из патоки. Правда, Никита Коломеец утешал нас, что в бобовых культурах много фосфора и от этого мы, несомненно, будем умнее, но всякий из нас, конечно, предпочел бы променять проклятые бобы на порцию хороших котлет или на гуляш с перцем и горячей картошкой.

Огорченный и мучимый раскаянием, я влез в вагон и отыскал свою скамейку.

Печерицы не было.

Меня разморило после еды в теплом вагоне, и не хотелось больше выходить на улицу. Хотелось сидеть так, прислонившись к твердой стенке, и дремать.

Громыхая колесами, в облаках пара подкатил на первый путь скорый из Москвы. На станции сделалось шумно. Удерживаясь от сна, я смотрел в освещенные окна вагона, остановившегося как раз перед нами. Покрытые простынями и одеялами, лежали там на спальных местах пассажиры. «Развалились, точно дома!» — позавидовал я им.

Поезд на Одессу постоял недолго, затем бесшумно двинулся, и, когда последний его вагон с красным фонариком промелькнул в окне, снова обнажились желтые стены вокзала.

Вскоре двинулись и мы.

Печерицы по-прежнему не было. Его билет и литер остались у меня.

Уже при дневном свете я разглядел литер, и сразу бросилось в глаза, что он был написан не на фамилию Печерицы, а на имя студента второго курса сельскохозяйственного института Прокопия Трофимовича Шевчука. Внизу на литере стояла кудрявая подпись заведующего окрнаробразом Печерицы, и мне сразу стало ясно, что дело нечисто. Правом выдавать литеры на бесплатный проезд по железной дороге пользовался в городе один Печерица. Помню, еще до того,

как он издал приказ о закрытии фабзавуча, мы просили Печерицу послать во время отпуска нескольких самых лучших учеников на экскурсию на заводы Донбасса. Печерица уперся: «Ни одного литера для фабзавучников не дам. Они выданы только для студентов». А сам, мерзавец, поехал по такому литеру! И я твердо решил, как вернусь, хотя бы по этому вопросу вывести Печерицу на чистую воду.

Но куда он девался — вот вопрос. На литере была обозначена станция назначения — Миллерово. Мне казалось, что путь туда тоже лежал через Харьков. Опоздать на поезд он не мог — мы стояли в Жмеринке слишком долго. За это время можно было и пообедать и поужинать. Оставалось думать, что Печерица купил новый билет, пересел на скорый поезд и что он будет в Харькове раньше меня.

НА УЛИЦАХ ХАРЬКОВА

В пути были заносы, и поезд пришел в Харьков вечером, опоздав на десять часов.

Осторожно переходя улицы, я пошел по Екатеринославской. Мимо пролетали освещенные трамваи, то и дело роняя из-под дуг зеленоватые искры.

— Вечернее радио! Вечернее радио! Радиовечерняя газета! Последние телеграммы из Рима! Собака Муссолини остался жив! — орал во все горло маленький газетчик.

Огни магазинов слепили меня. Жареные орешки, имбирь, пряники, груды пастилы, корзины с кавказской шепталой, изюмом, финиками, антоновка, лимоны и апельсины в папиросной бумаге — все это лежало за витринами. На дверях облезлого двухэтажного домика я заметил фанерную вывеску: «Домашние обеды на чистом коровьем масле. Ева Капульская. Сплошное объедение. Вкусно. Скромно. Недорого. Обеды, как у мамы!!!»

Из открытой форточки домашней столовой вырывался на улицу вкусный запах жареной баранины и чеснока. «Пообедать бы!» — подумал я и облизнулся. Уже больше двух суток, как я не ел ничего горячего. Всю дорогу питался то колбасными обрезками, то холодным молоком. Вот только, правда, в Жмеринке перекусил немного. А сегодня с утра еще почти ничего не ел... И я уже было двинулся к Еве Капульской, но у порога ее царства передумал. Еще неизвестно, что такое «недорого». Для нее, частницы, быть может, недорого, а для меня даже очень дорого. Нельзя разбрасываться общественными деньгами. Кто знает, сколько дней придется пробыть здесь.

Видимо, от недоедания ноги у меня были легкие-легкие, и я ощущал головокружение, будто только что вышел из больницы. Я шагал, не зная дороги, но догадываясь, что Екатеринославская приведет меня к центру. Из-под ног разлетались брызги — тротуар был покрыт тающей снежной жижей. Как хорошо все-таки, что я занял у Бобыря на дорогу его новенькие калоши!

По узенькому переулочку я вышел на площадь Тевелева и увидел желтое, в колоннах здание ВУЦИКа. Маленькие, засыпанные снегом елочки как бы охраняли его. Изредка, гудя сигналами, проезжали автобусы; позванивая бубенцами, неслись через площадь извозчичьи санки, закрытые медвежьими полостями; вдали, на Сумской, горела, переливаясь огнями, надпись: «ВIСТI» — так называлась главная правительственная газета на Украине.

В эту минуту я вспомнил далекий наш пограничный городок и общежитие фабзавуча на тихой его окраине. Может быть, вот в эту минуту хлопцы толкуют обо мне, надеясь, что я привезу им добрые вести? А возможно, они еще сидят на длинных скамейках комсомольского клуба на Кишиневской? Ну конечно же, они в эту пору еще там! Ведь сегодня в клубе вечер самодеятельности. К нему уже давно готовились. И самое-то главное, что на этом вечере в музыкальной картине «Тройка» должны выступать наши ребята: Петька Маремуха, Галя Кушнир, «философ» Фурман и даже Сашка Бобырь!

И мне снова взгрустнулось при мысли, что я не увижу выступления клубного драмкружка, не смогу посмеяться вместе с хлопцами над игрой конопатого Бобыря. Но, стоя один на площади этого незнакомого города, я знал, что, даже развлекаясь там, в клубе, хлопцы обязательно вспоминают обо мне...

Заглядывая в освещенные окна, я медленно брел на соседнюю площадь Розы Люксембург.

Свежий номер харьковской газеты был вывешен на фанерном щите около Дома всеукраинских профсоюзов.

Я обратил внимание на коротенькую заметку:

«Покушение на Муссолини. Сегодня, в 11 утра, неизвестная пожилая женщина выстрелила почти в упор из револьвера в Муссолини, вышедшего на площадь Капитолия из здания, где заседает международный хирургический конгресс. Пуля легко ранила Муссолини, пробив ему ноздри. Стрелявшая арестована».

«Стрелок тоже! — подумал я.— Не лучше Бобыря. Быть так близко от этого изверга-фашиста — и не уничтожить его! Уж не бралась бы, если стрелять не умеешь. Смешно даже: «пробила ноздри»!.. Так вот почему мальчишка на Екатеринославской выкрикивал: «Последние телеграммы из Рима!» Надо посмотреть, может, еще что-нибудь интересное в газете есть?»

Рядом была помещена заметка об издевательствах болгарских фашистских властей над коммунистом Кабакчиевым. Немного дальше — сообщение о том, что скоро из Италии в Ленинград вылетает дирижабль «Норвегия». А перебросив взгляд на другую страницу, я увидел в центре ее портрет гололобого, коренастого секретаря ЦК КП(б)У, заверстанный в тексте доклада о текущем моменте.

Я внимательно разглядывал портрет секретаря, его добрые, смеющиеся глаза, и мне показалось, что я его где-то видел. «Ну, ясно где — на обложке журнала «Всесвіт» в нашем общежитии».

Размахивая портфелем, я брел по тротуару. «Я в Харькове! Я в Харькове!» — стучала в висках одна и та же мысль. Спешили мимо прохожие, и я старался ничем не отличаться от них, шел твердо, уверенно, ничему не удивляясь, и мне начинало казаться, что я давний житель этого большого столичного города...

С той минуты, как я вышел из вагона в Харькове, мне все чудилось, что вот-вот из какого-либо угла навстречу вынырнет Печерица так же внезапно, как неожиданно появился он в поезде.

За углом Старо-Московской на стене кирпичного дома то вспыхивала, то гасла заманчивая надпись: «Потрясающий, захватывающий американский боевик «Акулы Нью-Йорка». Две серии в один сеанс. Нервным и детям вход воспрещен!!»

Увидев эту надпись, я второй раз за время моего путешествия потерял голову. Вмиг позабыв голод, я что было сил пустился туда. Когда еще такая интересная картина доползет до маленького нашего городка!

Касса помещалась в темной и сырой арке. По тому, как пробивались к ней, отпихивая один другого локтями, человек восемь ребят, я сообразил, что продаются последние билеты и на последний сеанс. Раз, два — и я в очереди.

Зажав под мышкой портфель, дрожащими руками отстегиваю английские булавки. Моя очередь приближается.

— Следующий! Какой ряд? — покрикивает из своей будочки кассирша.

Наконец, отстегнув вторую булавку и поминутно оглядываясь, вытаскиваю из внутреннего кармана пиджака деньги. Выдергиваю из пачки на ощупь две рублевые бумажки и чувствую, что на меня смотрят.

Около кассы, заложив руки в карманы, стоят два подозрительных верзилы в клетчатых кепках, надвинутых на лоб, и широких брюках клеш.

«Раклы!» — подумал я и поглубже засунул в карман пиджака пачечку денег. Наскоро пихнув в карман чумарки сдачу, я схватил синенький билетик и, размахивая портфелем, пустился догонять мальчишку, получившего билет передо мной.

— Скорее, золотко! Начинается,— подогнала меня билетерша, одной рукой отрывая контроль, а другой поворачивая деревянный крест в проходе.

Только я влетел в шумный, гудящий зал — погас свет, и из стены, рассекая темноту, вырвался голубой лучик. Я наступил по дороге кому-то на ногу. На меня цыкнули: «Вот медведь, прости господи!» Я плюхнулся в первое попавшееся кресло, стараясь не смотреть в сторону ворчавшего на меня человека... Прошло минут

десять... Я позабыл, что я в Харькове, что на дворе ночь и еще неизвестно, где мне придется ночевать.

...Громилы Нью-Йорка — страшные, волосатые, с какими-то зверскими лицами, с перебитыми носами и квадратными, выдающимися вперед подбородками — бродили по экрану с огромными кольтами и парабеллумами. Они распиливали стальные решетки, просверливали и взламывали несгораемые кассы, догоняли друг друга на курьерских поездах, аэропланах, моторных лодках и автомобилях и ловко, с каким-то непонятным наслаждением, в упор убивали своих соперников.

Мне казалось, что я уже десять раз прострелен насквозь, и было даже удивительно, как я остался цел после этого ужасного зрелища. И только на улице, разгоряченный, взволнованный и довольный тем, что еще живу, я вспомнил, что ночевать мне негде.

И все из-за поезда, который пришел в Харьков с таким опозданием! Приехал бы раньше, засветло — зашел в комсомол, дали бы мне талончик в общежитие. А сейчас куда?

Под аркой ворот уже погасили свет, и зрители выходили на ощупь, едва не наступая один другому на пятки.

— Не толкайтесь, ради бога, мистер Дуглас! — сказал кто-то позади, и в ту же минуту меня сильно ударили в спину.

— Зачем толкаешься? — сказал я, оборачиваясь к долговязому парню в надвинутой на глаза кепке.

— Пардон, это не я, это он.— И верзила, нагло ухмыляясь, кивнул на соседа.

Тут меня опять пихнули. Да как! Чуть-чуть я не выпустил портфеля. И вдруг кто-то резко, каблуком наступил мне на ногу. Я подпрыгнул от боли.

«Лучше не связываться, лучше потерпеть»,— подумал я и, крепко сжимая портфель, вырвался из полумрака арки на освещенную улицу.

«Вот жулики чертовы! Научились хамству у этих американцев! Видно, во время сеанса все способы драки заучили наизусть!.. Чужие калоши потоптали!»

На вокзале в главном буфете еще торговали, и я решил перекусить, а потом прилечь где-нибудь на лавке и подремать до рассвета.

Расходы предстояли крупные, харьковский воздух нагнал аппетит, вот почему, подойдя к застекленному буфету, я немедленно полез в боковой карман, где хранились мои деньги, и вдруг вспомнил, что, покупая билет, не заколол карман булавками.

«Ой! Что такое!»

Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. Замигала, заискрилась хрустальная люстра под высоким лепным потолком...

Денег в боковом кармане не было!

«Спокойно, спокойно,— говорил я себе.— Главное, не паниковать. Больше выдержки!»

Пустыми и печальными глазами я смотрел на оскаленную пасть щуки, на уплывающие блюда с холодцом и тихонько в отчаянии пятился подальше от буфета.

«Ничего, ничего, только не волноваться! — утешал я себя.— Просто спутал карманы».

Подойдя к подоконнику, я швырнул на него портфель и торопливо, дрожащими руками начал ощупывать каждую складку в карманах. Все напрасно: денег нигде не было, они исчезли на «Акулах Нью-Йорка».

Лишь в кармане чумарки я нащупал смятый рубль и мелочь, выданную мне кассиршей кинотеатра. Но что могли значить эти гроши по сравнению с теми деньгами, которые были у меня украдены! Не иначе как эти мошенники «дугласы» их стянули!

Как же я домой уеду?

...Даешь, даешь по шпалам,
по шпалам... —

припомнились вдруг слова давно забытой песенки.

Да, по шпалам... Ничего не поделаешь! Буду по дороге наниматься к кулакам на поденную работу. Батрачить буду — и дойду! А может, чумарку продать?..

Да кто ее купит, такую старую, перешитую?

В самых тяжелых случаях жизни Коломеец советовал нам вспоминать старинную морскую поговорку: «Три к носу — все пройдет». Я так потер глаз, что, наверное, кожу с века содрал. Облегчения никакого!..

Отбить разве телеграмму Коломейцу, чтобы выручал меня? Послать депешу с одним только словом «обокрали» и адрес дать «вокзал, востребования»?.. Но какой тогда переполох подымется в школе! «Вот,— скажут,— послали растяпу, а он, вместо того чтобы наши кровные интересы защищать, баклуши бил, ворон ловил, шляпа!» И пуще всех станет злорадствовать Тиктор. Нет, телеграмму посылать нельзя!

Надо выпутаться самому. Сам виноват, сам и расхлебывай кашу! Теперь я понял, как прав был Никита Коломеец, все время неустанно предупреждая нас: «Глядите, хлопцы, не увлекайтесь дугласами фербенксами да рудольфами валентино — это яд, который производит американская буржуазия. Эти фильмы — школа бандитизма. До добра они не доведут!»

Как он был бесконечно прав, какими справедливыми оказались его слова! И зачем я пошел на этих «Акул»!.. И ничего бы не случилось, если бы я даже не знал о существовании такой картины!..

«Что же делать? Как спастись? Где выход из этого капкана? — спрашивал я себя.— Такие деньги украли! Такие деньги!»

Тут же я принялся пересчитывать оставленную мне ворами сдачу. Рубль сорок две копейки. Небогато! Однако на хлеб и на сельтерскую воду хватит. Как-нибудь протяну два дня, сделаю все, что надо, а потом зайцем махну домой. Залезу под вагонную полку и буду лежать тихонько, чтобы контролер не заметил. А может, на товарняке устроюсь.

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Рассветало. Началась уборка вокзала, и я вышел на улицу. Сонный, голодный, я почувствовал, что едва ли сумею даже денек продержаться на сельтерской воде и хлебе. Шел по улице, и меня пошатывало.

Трамваи еще не ходили, но уже появились прохожие. Дворники открывали ворота. Домашние хозяйки с кошелками в руках спешили за провизией. Все они шли в одном направлении, и я, чтобы скоротать время, поплелся за ними.

Первым в городе проснулся знаменитый харьковский рынок — «Благбаз».

Один за другим открывались рундуки. Я бродил по Благовещенскому базару, пока мне в нос не ударил очень вкусный и острый запах. Он забивал запахи квашеной капусты, сельдерея, стынувшего в бочках и похожего на расплавленный сургуч густого томата. Словно охотничий пес, почуявший перепелку, раздувая ноздри, я пошел на этот запах.

Худая торговка в стеганом ватнике, раскачиваясь, голосила у двух дымящихся жаровен, заставленных огромными чугунками:

— Флячки, горячие флячки! Ох, хватайте, люди добрые! Ой, дешево беру! Ой, нигде и никогда, ни в каком царстве, ни в каком государстве вы не найдете таких замечательных флячков! Это ж прелесть, это небо на языке, это ж лучшее и самое дешевое снидание! Та покушайте мои флячки!..

...Если кто-нибудь из вас ел прямо на базаре, стоя рядом с пылающей жаровней, из глиняной миски обязательно шершавой деревянной ложкой горячие, обжигающие рот, наперченные, залитые сметаной, пересыпанные колендрой, резаным луком, зубками чеснока, оранжевой паприкой, душистые от лаврового листа и петрушки, засыпанные мелко натертым сыром, приготовленные из рубленого коровьего желудка свежие и пахучие флячки, или по-русски рубцы, тот поймет, как трудно было удержаться, чтобы не сломать голову последнему моему рублю!

И еще в девять часов утра, когда открылись учреждения и я подходил к высокому дому на углу улицы Карла Либкнехта и Ветеринарной, во рту горело от красного перца, которым крикливая торговка без зазрения совести наперчила сытные, но совсем уж не такие дешевые флячки. Полтинник отдать за пустяковое

блюдо! А дальше что? А вдруг заведующий школьным отделом ЦК комсомола уехал и придется его ждать?

Нет, баста! На сегодня хватит роскоши! До завтрашнего полдня я не имею права тратить ни одной копейки. Никакой сельтерской воды! Будешь пить сырую, из-под крана — бесплатно, а польза такая же. Надо беречь деньги, чтобы хоть кусок хлеба купить на обратную дорогу, когда поеду зайцем в свой родной город.

Пропуск в комендатуре выдали быстро. Посмотрели на мой комсомольский билет, командировку и возвратили все документы обратно с маленьким пропуском.

Я вошел в просторный вестибюль и подал пропуск часовому. Тот сверил пропуск с моим удостоверением и показал мне дорогу. Уже в большом вестибюле я снова почувствовал, что робею. Еще хуже стало, когда пришлось раздеваться: здесь, у вешалки, вместе с шапкой, калошами и чумаркой у меня будто сразу отняли половину смелости.

— Вам куда, товарищ? — окликнула меня лифтерша.

Мне и раньше приходилось слышать, что в столице есть такие машины, которые поднимают людей на самый чердак, но я лично увидел лифт впервые в жизни.

— Мне в комнату двести сорок шесть,— ответил я лифтерше, разглядывая пропуск.

— Садитесь, подвезу.

— Да нет, спасибо,— сказал я и быстро шагнул по ковровой дорожке на лестницу. «Пройду так, спокойнее будет. Может, она думала, что я здесь работаю?»

Не спеша поднимался я по мягкой ковровой дорожке.

Я свернул с лестницы в коридор, удивляясь чистоте и тишине вокруг. На дверях все мелькали какие-то маленькие номера, и я никак не мог отыскать школьный отдел.

Из дальнего конца коридора навстречу, поскрипывая сапогами, твердой, уверенной походкой шел коренастый, среднего роста человек. Лица я его не видел — свет из окна бил мне в глаза.

— Скажите, пожалуйста, товарищ...— сказал я и метнулся к этому человеку.

— Скажу, пожалуйста,— ответил идущий и сразу остановился.

Но уже ничего больше я спросить не мог... Прямо передо мною на мягкой ковровой дорожке стоял тот самый человек, портрет которого я разглядывал вчера ночью в газете около ВУЦИКа.

От неожиданности я позабыл, какую комнату мне нужно.

Поняв, что я смутился, и помогая мне, он весело спросил:

— Заблудился? Ты откуда, хлопчик?

— Я с границы приехал...

— С границы? Дальний, значит, гость. А по какому делу?

И тут шальная мысль примчалась в голову: а что, если самому секретарю Центрального Комитета партии рассказать о нашем горе?

И я спросил:

— Мне можно с вами поговорить?

Как только мы вошли в просторный, светлый кабинет с большими квадратными окнами, выходящими в сад, он предложил мне сесть, и я вдруг почувствовал себя очень смело. Мне показалось, что передо мной сидит мой старый знакомый Картамышев. По порядку, но все еще немного волнуясь, поглядывая на телефоны, кучкой собравшиеся на краю большого стола, я стал выкладывать, зачем меня послали в Харьков наши фабзавучники.

Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины слушал меня очень внимательно, два раза брал большой зеленый карандаш и что-то записывал у себя в блокноте, и тогда я задерживался, но он кивал мне головой, чтобы я продолжал.

Когда я начал рассказывать, как Печерица обидел Полевого, напечатав о нем целую статью в газете, секретарь спросил:

— Значит, Печерица настаивал на увольнении инструктора лишь потому, что тот не научился еще говорить по-украински?

— Ну да! И еще как настаивал! Великодержавным шовинистом Полевого обозвал. А какой тот, спрашивается, шовинист, если он большевик с первых дней революции? Еще осенью восемнадцатого года они в Летичеве советскую рес-

публику провозгласили. Вот как! Первую на Подолии. Ему Советская Украина дорога, и нам, фабзайцам, Полевой все время говорит, чтобы мы изучали и любили язык украинского народа, среди которого живем. А одного хлопца, который плохо отозвался об украинском языке, Полевой так отругал, что держись. «Какое ты, говорит, имеешь право, пацан несознательный, с таким пренебрежением отзываться о языке народа, чей хлеб ешь? Ведь это украинский селянин своим трудом и потом для тебя хлеб вырастил, а ты над мовой его смеешься?» Но, с другой стороны, если разобраться, зачем, скажите, заставлять Назарова насильно с бухты-барахты учить украинский язык, когда он еще и года на Украине не прожил?— спросил я горячо.

Секретарь улыбнулся, и я, ободренный его улыбкой, продолжал:

— ...Теперь получается вот какая история. Закроют фабзавуч. Ну хорошо, у кого батька или мама в городе живет, они ему, факт, помогут, пока он устроится. Ну а что делать тем хлопцам, кто из детских домов к нам пришел? — вот вопрос. Ведь их отцов поубивали петлюровцы, и у них в городе никого нет, и самое-то главное — жить им будет негде. Так они спали в фабзавучном общежитии, а сейчас, как закроют школу, Печерица хочет в этом доме поселить учеников музыкального техникума. Они ему дороже всего, они в его хоре поют. А куда же фабзайцы денутся? А ведь наше обучение государству ничего не стоило: на полной самоокупаемости школа была. Сделаем сами соломорезки — продадим крестьянам и на это существуем. И нам хорошо, и крестьяне машины имеют. Смычка происходит между городом и деревней. Мы думали, окончим школу, станем рабочими, пошлют нас на заводы, в Донбасс, а вместо нас других хлопцев наберут. А тут вдруг такое получается... А все через Печерицу...

Секретарь снова улыбнулся и сказал:

— Ты погоди, не горюй особенно. Положение не столь уж безнадежное, как тебе кажется.

— Да нет, в самом деле, вы подумайте только,— ободренный его словами и распалившись еще больше, сказал я,— у нас на городской бирже труда своих безработных хватает, а еще нас им подбросят. Учились, учились — и на биржу... Даже допустим, биржа разошлет нас по кустарям учениками. Что мы будем делать, вы подумайте,— кастрюли лудить или корыта хозяйкам запаивать? Да разве об этом мы мечтали, когда шли в фабзавуч? И разве мы виноваты, что больших заводов в округе пока нет?

Секретарь перебил меня, возвращаясь к рассказанному мною раньше:

— Он действительно так сказал: «Никто не даст закоптить голубое небо Подолии дымом заводов», или ты это выдумал для красного словца?

— Вы что думаете, обманываю? — обиделся я. — Так и сказал!

— Любопытно. Очень любопытно. Я не знал, что он так откровенно действовал. Какой пейзажист нашелся! К счастью нашему, народ Украины не спросит его, где надо строить заводы. Там, где надо,— там и построим. Кое-где небо подкоптим, и воздух от этого в целом мире свежее станет.

— Нам и Полевой все время толковал, что без индустриализации нашей стране жить нельзя. Заедят нас тогда иностранные капиталисты,— согласился я со словами секретаря.

— Правда? Это хорошо! Вас можно поздравить с умным директором. Настоящий руководитель даже самого маленького дела должен всегда чувствовать революционную перспективу. Скажи, сколько вас, таких молодцов, в фабзавуче?

— Пятьдесят два... И все мы уже в профсоюзе металлистов состоим.

— Комсомольцев много?

— Больше половины.

— А когда, по плану, у вас должен быть выпуск?

— В мае. Скоро. В том-то и дело!

— Все ваши хлопцы захотят поехать в другие города?

— Еще как захотят! Пешком пойдут! А для чего же мы учились? Когда поступали в школу, то нам так и обещали, что станем работать на больших заводах...

— Ты сегодня приехал? — неожиданно спросил меня секретарь, снова записывая себе что-то в блокнот.

— Вчера вечером. Я бы еще вчера сюда зашел, да поезд опоздал.

— А где же ты остановился?

— На вокзале. Выспался немного на лавке...

— На вокзале?.. Почему же в гостиницу не пошел? Или в Дом крестьянина? Знаешь на площади Розы Люксембург большой такой дом?

— Да я... На вокзале... тоже ничего...

— Ты чего-то мнешься. Такой говорливый был, а сейчас стоп машина. Сознавайся: денег, наверное, мало?

— Были деньги, но вот...

И я потихоньку-помаленьку рассказал секретарю о своем горе.

Сочувственно покачивая головой, секретарь улыбнулся, а потом, рассмеявшись, сказал:

— Подвели, брат, тебя «Акулы Нью-Йорка»! Небось голодный сейчас?

— Нет... Нет, спасибо, я уже завтракал... Флячки ел на базаре.

— Тогда вот что, хлопче,— сказал секретарь Центрального Комитета, вставая,— вне всякого сомнения, это решение будет отменено. Я сегодня узнаю все и думаю, что ваши мечты исполнятся. Ни один из вас не пропадет — это безусловно. Такие молодые грамотные рабочие нам очень скоро понадобятся повсюду. И в Донбассе, и в Екатеринославе. Еще в прошлом году, на московском активе, так прямо и говорилось, что нам нужно миллионов пятнадцать — двадцать индустриальных пролетариев, электрификация основных районов нашей страны, кооперированное сельское хозяйство и высокоразвитая металлургическая промышленность. И тогда нам не страшны никакие опасности. И тогда мы победим в международном масштабе. А разве молодежь не призвана помогать партии решить эту задачу? Конечно! И будь спокоен — партия не даст вам пропасть... Что же касается твоих личных неприятностей, то это дело тоже поправимо. Иди в комнату тридцать два к товарищу Кириллову. Он тебе обеспечит жилье и все такое. Возьми вот записочку.

Написав несколько слов, он протянул мне листок из блокнота.

— Сегодня ты отдохни, вечерком сходи в театр. Посмотри, как играет Саксаганский. Это, брат, великий украинский артист! Со временем, когда вырастешь, люди завидовать тебе будут, что ты лично видел его игру. Это будет полезнее и куда интереснее «Акул Нью-Йорка». Переночуешь, а завтра уедешь... А Картамышеву привет передай. Пусть границу получше бережет! Ну, до свидания, хлопче! — И секретарь протянул мне руку.

Я попрощался с ним, обрадованный, окрыленный, быстро пошел из комнаты, чуть не упал, споткнувшись о край ковра.

Уже открывая дверь, я услышал, как секретарь у меня за спиной сказал в телефонную трубку:

— Сейчас к вам зайдет один приезжий товарищ. Его обворовали. Надо будет помочь... Да-да, из фонда помощи нуждающимся коммунистам...

Не знаю, сколько я пробыл в Центральном Комитете. Может, час, а возможно, и больше. Время пролетело незаметно. Когда я вышел из подъезда, мне в глаза ударило солнце. Утренний туман рассеялся, а на голых деревьях в университетском скверике напротив, чуя близкую весну, громко каркали вороны. С крыш капало, снег таял на глазах, потемневший, пористый, точно сахар, облитый чаем.

Вот удача-то! Я все еще не мог опомниться от счастья. Думал, дня три придется ходить, бегать, доказывать, а здесь один разговор — и все улажено. А главное — быстрота! Но как быстро! Прямо-таки удивительно. Может, все это приснилось? Да нет же! Я пощупал в кармане новенькие, хрустящие деньги. Их я получил у Кириллова, которому на всякий случай оставил список учеников и наше жалобное письмо в ЦК комсомола. Я вовсе не думал, что мне дадут деньги, когда шел к товарищу Кириллову. Прихожу, показываю записочку пожилому человеку в синем френче, а он, порасспросив меня еще немного и от души посмеявшись, выдал целых пятьдесят рублей да потом еще выписал ордер в общежитие для приезжающих партработников на улицу Артема, как будто я уже стал членом партии.

Веселый, чувствуя, как огромная тяжесть свалилась с моих плеч, довольный за наших фабзавучников, я перешел улицу и без всякой цели направился в пустой, покрытый талым снегом парк.

Сероватый и жидкий, как кисель, последний снег этой зимы разъезжался под ногами. Уж кое-где на бугорках чернели проталины мокрой земли, покрытой увядшими, прошлогодними листьями и мерзлой травой. Хорошо было в это солнечное утро в пустынном парке, куда еще никто не ходил, только я один, чудак, забрел на радостях!

Обернулся. Увидел сквозь голые деревья знакомый силуэт высокого дома. Почудилось, что за широким окном стоит, жмурясь от солнца, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины и, приветливо улыбаясь, машет мне рукой.

От радости я топнул ногой так, что проломил крепкий, затверделый наст на тропинке, и нога по щиколотку ушла в снег. Стоя так, я прислушался.

Далеко звенели трамваи, каркая, суетились на березах вороны, крякнул клаксоном, словно утка, грузовик на соседней улице, но все эти звуки заглушал стук моего сердца.

Шла весна, теплее грело раннее солнце, и в это весеннее утро я совсем позабыл, что нахожусь в большом и незнакомом еще городе...

ПРИ СВЕТЕ ФАКЕЛОВ

Весенний ветер раздувает факелы. Они горят, раскачиваясь на деревянных палках.

Хвостатые языки копоти завиваются над головами комсомольцев, шагающих строем по дороге.

Эта каменистая дорога ведет от вокзала в город. По бокам, за канавами, наполненными талой водой, тянутся черные, голые огороды.

Удивительно, как быстро сошел снег, пока я ездил в Харьков! Должно быть, лишь далеко за городом, в глубоких приднестровских оврагах, у самой границы, сохранились еще его грязные, последние сугробы.

Впереди колонны мелькает надуваемое ветром тугое полотнище.

Комсомольцы четко отбивают шаг на булыжниках. Из первых рядов доносится звонкий голос запевалы:

В вихре Октября
Родилася рать
Юных, смелых, дерзких комсомольцев.
Ринулись в бой
С верой святой,
Запевая под октябрьским солнцем...

Чистый, весенний воздух помогает петь. Пою и я, зажимая под мышкой портфель, снова завернутый в газету.

...Ячейка железнодорожников уже выстраивалась с зажженными факелами на станционной площади, когда поезд подошел к перрону и я, соскочив со ступенек вагона, выбежал на вокзальное крыльцо. Перед строем вместе с секретарем ячейки прохаживался окружкомовец Панченко.

— Здорово, Манджура! — сказал он мимоходом.— Приехал? Давай-ка пристраивайся. Идем демонстрировать, чтобы выпустили болгарского коммуниста Кабакчиева. Скорее, скорее, опаздываем!

Я быстро пристроился, и мы сразу же двинулись, неся на древках кумачовый плакат:

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ БОЛГАРСКИХ ФАШИСТОВ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПЛАМЕННОГО БОРЦА-РЕВОЛЮЦИОНЕРА
ХРИСТО КАБАКЧИЕВА

«Дойду с ними до Советской площади, а там и своих разыщу»,— думал я, подтягивая песню.

Из темноты приближались белые домики — первые городские постройки.

Родной город! Я уже чувствовал его вечернюю тишину, разрываемую голосистыми песнями демонстрантов. Всякий раз песни эти пугали пропахших

нафталином обывателей — бывших чиновников, священников, частных торговцев и всех, кто еще надеялся, что опять когда-нибудь вернется царский режим.

Римский папа плачет в лапу,
Кто обидел папочку?
Церабкоп открыл с нахрапу
В Ватикане лавочку... —

запели демонстранты новую шутливую песню.

Как мне захотелось рассказать соседям по шеренге, что я только что вернулся из Харькова, говорил с самим секретарем Центрального Комитета партии, передать всем, как секретарь обозвал Печерицу «пейзажистом», а потом рассказать и о том, что я видел в пьесе «Суета» игру самого Саксаганского! Но соседи пели, не обращая на меня внимания.

Даже Панченко не расспросил меня о поездке. Он встретился со мной так, будто я уезжал в соседнее село, а не в столицу... Панченко шагал сбоку, не останавливаясь. Его мягкий, грудной, немного глуховатый голос отчетливо слышался среди других голосов.

По другой стороне Больничной площади, около темного здания фабзавуча, освещаемая факелами, двигалась к центру другая молодежная колонна.

«Фабзайцы! Ну конечно, они! Такие яркие факелы есть только у нашей ячейки».

— Пока, хлопцы! Спасибо за компанию. Бегу к своим! — кричу я железнодорожникам и, покинув строй, мчусь напрямик через площадь, чтобы догнать далекую колонну.

Ноги вязнут в грязи. Глинистое поле стадиона раскисло. Как бы не оставить в липкой грязи Сашкины калоши!

Брызги талой холодной воды разлетаются в стороны, штанины брюк уже намокли. Все ближе и ближе огоньки знакомых факелов. Я дышу похрапывая. Только бы не напороться на колючую проволоку! Где-то здесь она была разорвана. Ну да, вот здесь!.. Раз, два — и я, догоняя последнюю шеренгу, бегу уже по твердой мостовой.

— Хлопцы, здоро́во! Ура! — кричу я и от радости размахиваю тяжелым портфелем. Газета слетела. Пустяки. Теперь не страшно.— Пугу! — кричу я по-запорожски, увидев конопатого Сашку.— Бобырь, возьми свои калоши!

— Василь приехал!.. Манджура приехал!..— зашумели хлопцы.

— Давай пристраивайся сюда, Василь,— послышался из первых рядов голос Никиты Коломейца.

Втискиваюсь в ряды. Крепко жму руку нашему секретарю. Вокруг знакомые лица — Саша Бобырь, Маремуха, всезнайка Фурман. Оглядываюсь — и вижу позади насупленного Яшку Тиктора.

— Ну как, на щите или под щитом? — заглядывая мне в глаза, говорит Коломеец.

Не знаю, что такое «на щите», и отвечаю просто:

— Все хорошо, Никита! Поедем в Донбасс. Вот послушай...— И, захлебываясь от волнения, стараясь не сбиваться с ноги, я поспешно рассказываю Коломейцу о встрече в Центральном Комитете.

На нос мне упала с факела капля мазута. Быстро стираю ее кулаком и говорю, перескакивая с пятого на десятое. Хлопцы сомкнули ряды так, что трудно идти. Стараясь расслышать мои слова, они наступают мне на ноги, напирают сзади.

— Так и сказал: «Ваши мечты исполнятся»? — перебил Никита.

— Ну да! И потом еще говорит: «Молодые грамотные рабочие скоро будут нужны всюду. И в Екатеринославе и в Донбассе».

— Ну прекрасно! Есть, значит, правда на свете! Видите, как прав был Полевой? Понимаете теперь, какая умница Нестор Варнаевич? — торжествующе говорит Никита и, оборачиваясь к идущим позади, кричит: — Поедем скоро в Донбасс, ребята! А что я говорил? Давайте-ка песню по этому поводу, нашу, фабзавучную!

Все разом мы поем школьную песенку, сочиненную для нашего фабзавуча молодым украинским поэтом рабфаковцем Теренем Масенко:

Мы верим в нашу индустрию:
В наш вдохновенный труд.
Фабзайцы — ребята шустрые,
Как ледоход, идут!

— Мы бы тебя покачали, Василь, да грязно еще,— на минуту прерывая песню, шутит Коломеец.— Упустит какой благодарный — полетишь вниз, измажешься.

Довольный и гордый, я подпеваю хлопцам:

С завода, бодрые, шустрые,
Идут они, как всегда.
Мы верим в нашу индустрию,
Как мы, она молода...

— А Печерица еще не вернулся? — спрашиваю я Никиту.

— Ищи ветра в поле! — хмуро бросает Коломеец.

— Его что, разве уже сняли? По телеграфу, наверное?

— Он сам снялся.

— Когда я с ним ехал...

— Куда ты с ним ехал, интересно? — пристально глядя мне в глаза, спрашивает Коломеец.

— «Куда, куда»! До Жмеринки ехали разом, а потом...

— Что, что? — настораживаясь, выкрикивает Никита.— Ты ехал с Печерицей до Жмеринки?!

И не успеваю я рассказать историю встречи с Печерицей в поезде, как Никита вдруг круто останавливается и кричит мне прямо в лицо:

— Чудак! Да пойми ты: это все чертовски важно! Чего ж ты раньше не рассказал? А ну, давай со мной!.. Фурман, веди за меня колонну!

Мы выскакиваем из рядов.

Ячейка, освещенная светом факелов, идет дальше, на Советскую площадь, к трибунам, неся большой портрет Христо Кабакчиева, а мы с Никитой что есть духу мчимся на Семинарскую, к большому двухэтажному дому.

ЗВОНОК ИЗ МОСКВЫ

Еще и раньше я знал одну черту Коломейца: он любил быть таинственным.

Спрашиваешь его о чем-нибудь интересном — кажется, проще всего: ответь, не береди загадками душу человека. Так нет! Никита будет тебя мытарить, водить вокруг да около и как бы нарочно, когда ты сгораешь от нетерпения, начнет рассказывать совсем другое, чего ты и не ждешь.

Примерно так случилось и сейчас.

Увлекая меня из колонны демонстрантов к дому окружного отдела Государственного политического управления, Коломеец всю дорогу молчал. На все мои вопросы он отвечал одной фразой: «Потерпи малость!»

Зажимая в руках синенькие листочки пропусков, мы взбегаем наверх. Видно по всему, что Коломеец бывал здесь раньше: он взбирается по лестнице смело и решительно. Я следую за ним. Вот и площадка верхнего этажа.

Никита уверенно входит в полутемный коридор и останавливается у дубовой двери. Он громко стучится в нее.

— Войдите! — доносится из-за двери.

Плотные, тяжелые шторы на окнах. Два застекленных шкафа. Третий — большой несгораемый шкаф притаился в углу. Полузадернутая занавесочкой карта с флажками прибита в простенке. Под этой картой, по-видимому изображающей линию границы, в тени настольной лампы сидит уполномоченный погранотряда Вукович — тот самый высокий блондин-пограничник, который долго бродил возле штаба ЧОНа вместе с Полевым после тревожной ночи, когда Бобырь упустил бандита, пробравшегося на крышу.

— Вот только что парень вернулся из Харькова. Говорит, что видел Печерицу в Жмеринке,— с места в карьер рассказывает Никита уполномоченному.

— Около Жмеринки,— поправляю я.

— Интересно! — говорит Вукович и приглашает: — Садитесь, пожалуйста, товарищи. Я вас слушаю.

...Почти все уже рассказано.

— Так как же все-таки называлась станция, где вы последний раз видели Печерицу? — спрашивает Вукович.

— Я спал, когда он слез.

— Это я понимаю, но когда последний раз вы видели Печерицу? — спрашивает Вукович.

— После Дунаевец... Нет, нет... Там была первая проверка билетов.

— А где была вторая? Ну вот, когда этот, в стеганке, читал литер?

— Не знаю... Поезд шел, и меня разбудили.

— Минуточку! — И Вукович заглядывает в блокнот.— Вы сказали, что Печерица спрашивал, была ли уже ревизия?

— Спрашивал.

— Где это было — в поле или на станции?

— Поезд остановился... По-моему, на станции.

— Ну вот, какая это была станция? Что было написано на стене вокзала?

— Ей-богу, не помню... Если б знал... Я ведь первый раз ехал по железной дороге...

— Может, Деражня?

— Нет... Кажется, нет...

— Черный Остров?

— Нет... нет...

— Котюжаны?

— Нет.

— На перроне светло было?

— Ага.

— А свет какой?

— Обычный. Ну, так себе, не очень ясный.

— Погодите,— Вукович морщится,— не то спрашиваю. Электричество или керосиновое освещение? А может, свечи?

— Зеленоватый такой свет из фонаря — с круглым стеклом фонарь, горелка внутри и на шнурке на столб подымается. Ну, помните, у нас на Почтовке были в кофейне Шипулинского вот такие же самые лампы...

— Газово-калильные?

— Вот-вот! Они самые.

— А вокзал не на бугре, случайно? Лестница каменная, а перрон весь в выбоинах, да? Если, скажем, дождь сильный — лужи будут? Правда?

— Кажется, что этот самый. Бежать от вагона далеко нужно.

— И ты помнишь наверное, что Печерица здесь не слез, а поехал дальше? — неожиданно переходя на «ты», с большим интересом спрашивает Вукович.

— Ну как же! Когда контролер проверку делал и литер его читал, это было позже, после этой станции, и он на полке еще спал.

— Наверное спал?

— Факт, спал. Хотя... может, прикидывался, кто его знает. Одно помню: видел его ясно.

— Ну а потом ты сам заснул и видишь — Жмеринка?

— Ага.

— А Печерицы нет?

— Ага.

— Это точно?

— Точно.

— Счастливый ты, парень! Легко отделался. С такими попутчиками, да еще в пустом вагоне, можно заснуть навсегда! — как-то загадочно сказал Вукович и, опять заглядывая в блокнот, где он делал заметки, спросил: — А что тебе бросилось в глаза во внешности Печерицы?

— Ну, шинель какая-то ободранная... Раньше я его никогда в этой шинели не видел.

— А еще?

— Ах да! Усов не было.

— Совсем не было?

— Ни капельки. Все сбрито...

— Ну, товарищ Коломеец,— сказал торжествующе Вукович, — значит, это его усы мы нашли в бумажнике у выхода из окрнаробраза. Я говорил, что эти волосы принадлежат Печерице, а уполномоченный Дженджуристый возражал. «Никогда, говорит, этот гусь не расстанется со своими усами. Это, мол, традиция националистов — пышные казацкие усы. Он скорее бороду себе отрежет!» Что значит человек привык к штампам! Да любой враг на месте Печерицы, если бы ему на ноги стали так наступать, со всеми традициями бы распрощался. Своя шкура дороже! — И, обращаясь уже ко мне, Вукович продолжал: — Значит, ты правду говоришь, Манджура?

— А для чего мне говорить неправду? — сказал я обиженно.— Неправду говорит только тот, у кого на душе нечисто и кто боится. А я же сам хочу помочь вам этого гада поймать...

— Правильно, Манджура! — похвалил меня Вукович, улыбаясь.— Долг всей рабочей молодежи — помогать нам. Помогать в любую минуту, от всего сердца, не щадя сил и здоровья, сознавая, что помогаешь не просто чекисту вот с такими малиновыми квадратиками на петлицах, а всему народу и нашему общему счастливому будущему. Мы опасны только для врагов революции и, чем лучше работать будем, тем скорее сметем их с нашей дороги!

— Большая работенка предстоит! — ввернул Коломеец.

— Пока от паразитов весь мир не очистим,— согласился Вукович.— Минуточку.— И он снял трубку телефонного аппарата.— Шеметова, Вукович говорит... Начальник у себя?.. Мы зайдем сейчас, предупреди, пожалуйста.

Молочные лампы мягко горят у самого потолка в кабинете начальника пограничного отряда и окружного отдела ГПУ Иосифа Киборта. Так странно, непривычно застать здесь людей в это позднее время, когда все учреждения города давным-давно закрыты!

Кресла мягкие, удобные; стакан крепкого чая дымится на краю широкого орехового стола. Начальник кивает нам головой, чтобы садились, а сам, прижав к уху телефонную трубку, внимательно слушает.

Видно, ответили. Начальник крикнул в трубку:

— Комендатура Витовтов Брод?.. Куда же вы пропали!.. Так что же произошло?.. Слушаю... Слушаю... Погодите, Богданов, не так быстро, дайте запишу.— Начальник берет остро отточенный карандаш и, прижимая еще сильнее левой рукой телефонную трубку к уху, правой делает заметки в раскрытом блокноте.— Кто вел группу?.. Что?! Опять этот «машинист»? Ну, туда ему и дорога! Меньше работы будет ревтрибуналу... А кто задержал?.. Так. Так. Так. Отлично! Объявите ему мою благодарность... Что?.. Ну конечно... Немедленно в управление!.. Что?..

Невольно прислушиваясь к этому разговору, я потихоньку оглядываю большую комнату и, признаться, немного робею. Я впервые вижу так близко начальника окружного отдела ГПУ.

Раньше я видел его только издали, когда он объезжал на белом коне шеренги пограничников и бойцов конвойной роты. Стройный, сухощавый, затянутый в ремни, словно родившийся в седле, лицом немного похожий на погибшего недавно Котовского, он приподымался на стременах, прикладывая руку к лакированному козырьку зеленой пограничной фуражки, и здоровался со всеми звонким, веселым голосом, а войска гарнизона перекатами дружно отвечали ему, заглушая бой часов на старой ратуше.

А вот сейчас он сидит перед нами без фуражки, одетый в ладно сшитый френч из плотного сукна. На его зеленых петлицах по два рубиновых ромба. Светлые волосы зачесаны назад. Он говорит с акцентом.

...Кончив говорить, начальник кладет трубку, быстрым взглядом осматривает нас с Никитой и весело обращается к Вуковичу:

— Возле Исаковец опять попытка прорыва. Девять контрабандистов. И ни один не ушел с участка. Молодец начальник заставы Гусев. Справился сам, соб-

ственными силами, без вызова «тревожной группы». А самого главаря — «машиниста» Ивасюту — Гусев уложил гранатой.

— А что несли? — спрашивает Вукович.— Опять сахарин?

Начальник смотрит в блокнот и медленно говорит:

— Сахарина маловато. Всего одна «носка» — тридцать фунтов. А остальное — всякая дребедень: кашне, чулки, перчатки, бритвы, галстуки и даже полная «носка» шкурок венгерского кота.

— Кому же нужен венгерский кот, если зима кончилась? — улыбаясь, говорит Вукович.

— Ну, может, какая-нибудь запасливая нэпманчиха заказ дала заранее? — говорит начальник.— Но другая находка более важная: в палке, которую бросил Ивасюта, как только завязалась перестрелка, Гусев обнаружил семьдесят банкнотов, по сто долларов каждый.

— Семь тысяч долларов? — мигом подсчитав в уме, замечает Вукович.— Приличное жалованье кому-то несли...

— Разберемся,— говорит Киборт и, обрывая разговор, вопросительно смотрит в нашу сторону.

— Товарищи из фабзавуча,— докладывает Вукович,— сообщают важные новости по делу Печерицы... Говори, Манджура!

Киборт переводит рычажки телефонов и кивает мне головой.

Я рассказываю тихо, не спеша. Начальник очень внимательно смотрит мне в лицо светлыми проницательными глазами. Внезапно он подымает руку, останавливает меня.

— И все время с тобой Печерица по-русски говорил?

— Все время. В том-то и штука! А нашего преподавателя Назарова только за русский язык из школы выгнал!

— И хорошо говорил, складно, без акцента? — интересуется начальник.

— Ну да! Совсем как русский человек. Если бы я не знал, что он украинец, никогда бы и не подумал этого по разговору.

— Это особенно надо будет иметь в виду,— обращается начальник к Вуковичу.— Значит, районом его действий может быть и весь Советский Союз. Дальний посыльный! Может осесть где-нибудь в центре Союза и «законсервироваться» на много лет для будущей работы. Продолжай, молодой человек!

Я досказываю, как я обнаружил исчезновение Печерицы, и начальник говорит Вуковичу:

— Ну, видите? Предположения Дженджуристого, что он метнулся к границе, не оправдались. Не такой это враг, чтобы сразу на штыки лезть. И, возможно, ему поставлены вторая, третья, четвертая задачи. Думает отсидеться где-нибудь в тиши, авось позабудут.

За дверью начальника послышался резкий и продолжительный звонок. Вошла Шеметова:

— Москва, товарищ начальник!

— А ну-ка, быстренько последние сводки по борьбе с контрабандой! — приказывает начальник и берет трубку.

Минутная тишина.

— Начальник окружного отдела ГПУ и погранотряда у телефона,— громко отчеканивает начальник.— Я слушаю вас, Феликс Эдмундович,— и делает знак Вуковичу, чтобы мы ушли.

...Давно уже разошлись по домам комсомольцы. Давно, наверное, остывают в ячейках погашенные факелы. Тихо на белых крутых улицах нашего городка. Поют вдали, за рекой, петухи.

— Ты знаешь, кто Киборту звонил? — останавливаясь посреди мостовой, торжественно говорит Никита Коломеец.— Феликс Эдмундович Дзержинский! Ты понимаешь, Василь, это или нет? Сам Дзержинский! Первый чекист революции!.. В такую ночь и спать-то совсем не хочется... Ты не очень устал с дороги, Василь? Если не устал, давай побродим по городу.

...Никогда не забудется эта весенняя тихая ночь над обрывом, вблизи кафедрального костела!

Усталые, исколесив весь город, мы присаживаемся отдохнуть на дубовых перилах старинной лестницы. Она круто спускается по скалам вниз, к реке. Ее ступеньки выщерблены, и кое-где в маленьких лужицах на ступеньках купается, переливаясь, отражение луны.

Темные силуэты каменных католических святых на порталах костела подымаются у нас за спиной. Эти пляшущие святые как бы застыли навсегда в странном, непонятном для нас исступлении. Значительно позже, много лет спустя, узнаю я, что этот стиль, которому подражал скульптор, высекавший из камня святых, называется «пламенное барокко». Каркают сонные вороны на ветвях голых, уже набухших весенним соком деревьев. Попыхивает двигатель электростанции. Поблескивает где-то далеко внизу, под самыми скалами, протекающая на дне скалистого оврага речка Смотрич. Ее пересекает дрожащая лунная дорожка. Чуть заметная, брезжит за хутором Должок полоска близкого рассвета.

— Такие-то дела, Василь,— как бы размышляя вслух, говорит Никита.— Во всем мире идет страшная, отчаянная борьба между угнетенными и паразитами. И мы с тобой тоже участники этой борьбы. Наша родина первая в мире показала угнетенным путь к лучшей жизни. Всегда гордись этим! Нам приходится сражаться с хитрыми и ловкими врагами. Их защищает церковь, ибо не будет паразитов — погибнет и церковь, все эти ксендзы, что вот такие храмы выстроили. Ты даже себе не представляешь, на какие подлости они способны... Помнишь из истории? Они сожгли Джордано Бруно, как только он стал уличать их во лжи. Или Галилей... что они сделали с Галилеем! А иезуиты? Такие изуверы-оборотни, что держись!.. Сейчас церковники поддерживают всю мировую буржуазию. И все-таки в этой борьбе победим мы, победит пролетариат. Я в это твердо верю.

Из-за старинных домов, из-за типографии доносятся сюда с высокой ратуши такие знакомые удары городских часов.

— Три,— говорит Никита Коломеец.— Три часа утра... Да, Василь, в интересные годы мы живем, ой в какие интересные! Поверь мне, никто из наших потомков не увидит столько в своей молодости, как мы с тобой, потому что это не только наша, личная молодость, но и молодость целой Советской страны... И вот мы когда-нибудь расскажем им хотя бы про эту ночь. Ну вот ты, к примеру, расскажешь: «Жил я в юности в одном маленьком пограничном городке. Недавно закончилась гражданская война. Вокруг еще гуляли бандиты — последние недобитки старого строя, шедшие с оружием в руках против нас. Немало было людей, которые ненавидели Советскую власть, потому что она им крепко на мозоли наступила. Сказала: «Хватит! Нажились вдоволь на своем веку, поизмывались над честными тружениками, а сейчас давайте-ка за труд сами принимайтесь». А они ни в какую! Все норовили бочком-петушком ускользнуть от прямой дороги труда и равенства, шипели по-змеиному, ждали смерти для Советской власти со дня на день... И вот однажды,— расскажешь ты,— зашли мы с товарищем по важному делу в управление ГПУ (будь уверен: наверняка тебе уж придется растолковывать, что такое ГПУ!), и как раз в это время звонил туда, в кабинет начальника, из Москвы Феликс Эдмундович Дзержинский. Тот самый Феликс Эдмундович Дзержинский, который был грозой всех врагов революции и спасал от тифа и голода, от вшей и коросты десятки тысяч беспризорных малышей, чтобы сделать их здоровыми и счастливыми людьми...»

Воспользовавшись тем, что Никита Коломеец, закуривая папиросу, на минуту замолчал, я перебил его и попросил рассказать мне толком, почему же все-таки убежал из нашего города Печерица. Признаться, я хотел порасспросить об этом самого Вуковича, но не решился.

Никита объяснил мне, что всякая излишняя болтовня может лишь повредить розыскам Печерицы. Я твердо пообещал нашему секретарю ничего никому не рассказывать: если кто и узнает от меня о том, что он поведает мне, то лишь через двадцать лет после этой ночи.

— Не раньше чем через двадцать лет? Слово? — спросил Коломеец.

— Слово! — дрогнувшим голосом сказал я.— Честное комсомольское. Можешь быть уверен!

— Ну гляди! — сказал Никита и начал рассказ, каждую подробность которого я старался запомнить как можно лучше.

Оказывается, жена Печерицы, сказав Фурману, что это она резала на крыльце кирпичного дома курицу, нагло обманула всех фабзавучников, отправленных Полевым по следам неизвестного бандита. Но обмануть Вуковича она не смогла.

Когда Полевой сказал Вуковичу: «Глядите, а мы уж тут чуть было куриную кровь за человечью не приняли»,— уполномоченный сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей. Больше того, для отвода глаз он сказал громко, так, чтобы слышали жильцы дома, вышедшие на крыльцо:

— Не такой дурак этот бандит, чтобы тут поблизости задерживаться!

Выйдя на площадь, Вукович крепко разругал церабкооповского сторожа за то, что тот пропустил такого опасного налетчика и не сумел задержать его, когда диверсант выбегал из ворот. Сторож клялся и божился, что никакого бандита и в глаза не видел, но Вукович не поверил ему и пошел к себе в управление. Там он узнал, что крупная петлюровская банда, пытавшаяся переправиться в ту же ночь на советскую сторону, разбита пограничниками в районе комендатуры Витовтов Брод. «Значит,— решил Вукович,— прав был перебежчик,— польский бедняк, батрак из села Окопы, предупредивший советских пограничников о скоплении бандитов возле Збруча!»

Звоня по телефону на пограничные заставы, Вукович не позабыл о женщине, которая выбрала такое неудобное место для того, чтобы резать курицу. Ну где это было видано, чтобы кур резали на каменном крыльце, у главного входа в здание, да еще в доме, где жили такие интеллигентные, образованные люди! Обычно хозяйки режут кур, гусей, индюков и другую живность в дровяных сараях, в закоулочках, подальше от людского глаза, а не на самом виду, перед окнами соседей.

Вечером в тот же день Вукович уже знал многое о женщине, якобы зарезавшей на своем крыльце курицу. Ему стало известно, что это дочь сахарозаводчика из Гнивани, расстрелянного еще в тысяча девятьсот двадцать втором году за содействие банде атамана Шепеля.

Было известно, что доктор Печерица вместе со своей женой занимает в красном кирпичном доме на Рыночной площади квартиру из трех комнат. Квартира эта была хорошая, светлая, теплая, но с одним недостатком — в ней не было кухни. Дело в том, что до революции весь второй этаж этого большого дома занимал богатый адвокат Великошапко. Вместе с пилсудчиками адвокат удрал в двадцатом году в Польшу, и вскоре его квартиру из семи комнат городской коммунхоз разделил на две самостоятельные квартиры. Кухня осталась в большей из них. В квартире из трех комнат, которую по приезде из Житомира получил Печерица, коммунхоз еще не успел оборудовать кухню.

Да Печерица и не настаивал особенно на этом. «Мы люди перелетные, — говорил он техникам, приходившим измерять его квартиру,— сегодня здесь, а завтра там. Пошлют в Могилев — поеду в Могилев, пошлют в Корсунь — поеду в Корсунь. Наркомпрос играет человеком. Обрастать хозяйством не собираюсь. Стоит ли на бивуаке кухней обзаводиться, голову людям морочить! Проживем и так, по-холостяцки, по-коммунистически, без кухни!»

Два раза в день — в полдень и вечером — жена Печерицы, Ксения Антоновна, высокая черноволосая женщина, ходила с блестящими алюминиевыми судочками в ресторан «Венеция», что у крепостных ворот. На кухне этого ресторана сам главный повар Марцынкевич отпускал жене Печерицы обеды и ужины. Еду жена Печерицы приносила в судочках домой, разогревала на маленькой спиртовке, и так они вдвоем с мужем обедали и ужинали.

Жили они уединенно, гостей к себе никогда не звали; даже сослуживцы Печерицы по окрнаробразу никогда не бывали у него в квартире.

Ни примуса, ни керосинки у них не было — одна лишь маленькая, горящая синим пламенем спиртовка, на которой по утрам Ксения Антоновна варила для своего мужа натуральный черный кофе. Печерица любил этот крепкий напиток.

Вот почему Вукович еще больше удивился тому, что жена Печерицы резала курицу. Где она ее зажарила? На маленькой спиртовке? Да и зачем все эти ненужные хлопоты людям, которые берут обеды из ресторана?..

Вукович узнал, что на следующий же день после ночной тревоги в ЧОНе, начиная с воскресенья, жена Печерицы стала брать в ресторане «Венеция» уже по три обеда и по три ужина. Судков не хватало. Она приносила в плетеной корзинке глиняные горшки.

— Гости небось приехали? — участливо спросил у нее очень вежливый главный повар «Венеции» Марцынкевич.

— Да так... сестра моя из Житомира...— несколько смутившись, ответила Ксения Антоновна.

Однако было очень странно, что никто из соседей не видал этой сестры. Кроме того, выяснив прошлое Ксении Антоновны, Вукович твердо знал, что она была единственной дочерью расстрелянного сахарозаводчика из Гнивани. Вукович знал также, что прислуги у Печерицы не было, но что каждый понедельник к нему приходила мыть полы курьерша наробраза тетя Паша.

В понедельник утром, придя на работу, Печерица сказал тете Паше:

— Вы, бабуся, сегодня до нас не приходьте, бо жинка заболела что-то. Придете в следующий понедельник.

Тетя Паша была очень удивлена, когда вечером на Новом мосту встретила «больную» Ксению Антоновну. Жена Печерицы быстро шла со своими судками по другой стороне моста.

Ксения Антоновна так торопилась домой, что не заметила тетю Пашу и не ответила ей, когда курьерша, кланяясь, сказала:

— Здравствуйте, пани!

...Ровно в шесть часов тридцать минут вечера в тот день, когда я должен был уехать в Харьков, в дежурную комнату окружного управления ГПУ пришел взволнованный врач-хирург Евгений Карлович Гутентаг.

Евгений Карлович сказал, что он срочно должен видеть уполномоченного по особо важным делам. Дежурный направил доктора Гутентага к Вуковичу, и хирург рассказал чекисту следующее.

Утром, когда доктор Гутентаг еще спал, к нему прибежала жена заведующего окрнаробразом Печерицы и сказала, что ее мужу плохо. Она говорила, что, наверное, у Печерицы приступ аппендицита и он очень просит, чтобы доктор посетил его на дому.

Гутентаг знал Печерицу: незадолго перед этим он вырезал у него на шее жировик. Кроме того, Гутентаг очень любил пение и музыку и с удовольствием слушал концерты хора, которым руководил Печерица. Поэтому, несмотря на ранний час, Гутентаг быстро собрался и пошел на Рыночную площадь.

Каково же было его удивление, когда дверь ему открыл сам больной! Пригласив доктора в пустую столовую, Печерица сказал:

— Вот что, коллега! Я бы мог, конечно, играть с вами в кошки-мышки, я бы мог выдумать вам наспех какую-нибудь историю о моем бедном родственнике, которого нечаянно подстрелили, скажем, на охоте, но этого я делать не хочу и не буду. Мы с вами люди взрослые, и сказочки нам не к лицу. Кроме того, я знаю, что вы человек старого закала, окончили медицинский факультет в Варшаве, и не думаю, чтобы вы в глубине своего сознания очень симпатизировали Советской власти. Ведь должно наступить время, когда ваша частная практика вызовет недовольство вами со стороны органов власти... Короче говоря, вот за этой дверью лежит раненый человек. Пуля попала ему в ногу. Состояние его ухудшается, нога опухла; возможно, уже началось заражение крови. Человека этого ищут. Никто не должен знать, что вы окажете ему помощь. Если вы исполните свой долг, как и полагается врачу, и спасете моего друга, то и вам будет хорошо, и вашему родному брату-аптекарю, который живет в Польше, на улице Пилсудского в городе Ровно, тоже будет неплохо...

Еще не дослушав до конца рассказ доктора Гутентага, Вукович понял, что не зря он выписал сегодня ордер на производство обыска в квартире Печерицы.

Спустя каких-нибудь пять минут после того, как доктор закончил свой рассказ, из ворот помещения погранотряда выехали верхами две группы оперативных сотрудников.

Одна группа, которой командовал сам Вукович, направилась к большому кирпичному дому на Рыночной площади.

Тетя Паша, которую чекисты из второй группы еще застали в канцелярии окрнаробраза, сказала им, что каких-нибудь пять минут назад Печерица забегал в свой кабинет. Он взял чемоданчик, сложил в него какие-то бумаги из несгораемого шкафа, попросил у тети Паши полотенце и, сказав, что его срочно вызывают в пограничное местечко Чемировцы, прежде чем выйти из здания, забежал в умывальную комнату, где задержался на две-три минуты.

Немедленно по телефону из окрнаробраза уполномоченный Дженджуристый распорядился послать верховых пограничников в погоню за Печерицей в Чемировцы.

В это время часовая стрелка уже перевалила за семь часов. Когда сотрудники ГПУ приехали на вокзал, поезд, в котором я отправился в Харьков, уже прошел первую маленькую станцию Балин.

В это же самое время оперативные сотрудники под командой Вуковича окружили со всех сторон большой кирпичный дом на Рыночной площади.

Вукович знал, что квартира Печерицы черного хода не имеет, но ему уже было известно, что возле самого крайнего окна спальни поднимается на крышу с земли пожарная железная лестница. И в ту самую минуту, когда один из чекистов, подошедший к дверям с табличкой «Д-р Зенон Печерица», потянул на себя медную грушу звонка, Вукович уже осторожно взбирался по этой скользкой узенькой лестнице.

Как и предполагал он, дверь не открывали. Чекисты стали стучать настойчивее. По-прежнему все было тихо. Лишь чуть заметно кто-то подошедший на цыпочках к двери шевельнул изнутри медный щиток глазка и, убедившись, кто именно стучит, отошел в глубь квартиры. Тогда чекисты решили взломать дверь.

Поднимаясь по шаткой лестнице, Вукович услышал из открытого окна злой мужской голос:

— Ксения Антоновна, я вам говорю: будем защищаться!

— Все пропало! — ответила женщина.

— Пани Ксения, верьте мне! — крикнул мужчина.

— Поздно! — ответила жена Печерицы. В комнате хлопнул револьверный выстрел.

Это выстрелил в спину жене Печерицы их гость и пополз к окну, но здесь ему навстречу, как вихрь, соскочил с подоконника Вукович.

Оторопев от неожиданности, гость не сумел прицелиться и промазал: пуля прошла сторонкой. Ударом ноги Вукович выбил из рук ползущего по линолеуму бандита тяжелый маузер «девятку», и в эту минуту с треском распахнулась единственная дверь в квартиру Печерицы.

Бандит сначала отрицал, что это именно он замышлял взорвать штаб ЧОНа с его оружейными складами, но, когда доктор Гутентаг в тюремной больнице вынул у него из ноги пулю, выяснилось, что она была выпущена из револьвера довольно редкой системы «воблей-скотт».

Из револьвера системы «воблей-скотт» в ту памятную ночь, когда оскандалился Бобырь, стрелял по бандиту наш чоновский старшина и директор фабзавуча Полевой.

На втором допросе бандит стал помаленьку сознаваться, и скоро выяснилось, что он и знаменитый своей жестокостью атаман полка петлюровских погромщиков Козырь-Зирка — одно и то же лицо.

Это по его приказанию в тот год, когда пилсудчики и петлюровцы навсегда убегали с Украины, молодчики из полка «Гуляй-душа» перерезали в местечке Овруч добрую половину мирного, ни в чем не повинного населения и родителей нашего фабзайца Монуса Гузарчика. Это про него, Козыря-Зирку, перепуганные жители пограничных украинских местечек пустили слух, что он не то граф из Белой Церкви, не то беглый галицийский каторжник... Это он, Козырь-Зирка, окруженный в селе Приворотье партизанским отрядом, увидев, что приходится худо, убил своего денщика, такого же смуглого высокого парня, как он сам, сунул ему в карман свои документы, подписанные Симоном Петлюрой, и, обманув партизан, решивших, что убит настоящий Козырь-Зирка, сумел скрыться.

Следствие по его делу проводил Вукович.

На следствии выяснилось, что Козырь-Зирка никакой не граф и не каторжник, а самый обыкновенный попович, сын священника из города Ровно.

Убежав после неудачного союза Петлюры с Пилсудским в Польшу от Красной Армии, Козырь-Зирка посидел немного в польском концентрационном лагере в Калише. Туда, в лагерь, из Варшавы дважды приезжал хорошо одетый человек в штатском, в черной шляпе с поднятыми кверху твердыми полями, с тяжелой палкой в руках. Был он худощав, смугл и отлично говорил по-русски. Козырь-Зирка, как и многие жители той части Волыни, что некогда принадлежала Российской империи, тоже говорил по-русски. Они долго беседовали с приезжим на русском языке, и Козырь-Зирка был в полной уверенности, что это какой-нибудь крупный русский белогвардеец из тех, что объединились в Польше вокруг известного террориста и врага Советской власти Бориса Савинкова.

Велико было удивление Козыря-Зирки, когда вскоре после этих визитов его вызвал к себе начальник концентрационного лагеря пилсудчик Заремба и сказал:

— Могу вас поздравить, атаман! Вы понравились представителю английской разведки господину Сиднею Джорджу Рейли. Это старый враг большевиков. Он знает Россию так, как я — Калиш. Он вполне удовлетворен беседой с вами. Капитан Рейли объезжает сейчас, по разрешению маршала Пилсудского, все лагеря, где содержатся интернированные части петлюровских войск. Он выбирает из них самых испытанных и самых отважных сторонников самостийной Украины. По личной просьбе капитана Рейли я вас отпускаю домой, в Ровно, на каникулы. Поезжайте, отдохните, поправьтесь. Вас найдут, когда будет нужно. А о нашем разговоре пока забудьте.

Козырь-Зирка не только поправился на бесплатных церковных харчах в приходском доме у своего папаши: выйдя благодаря заступничеству англичанина из-за колючей проволоки на волю, Козырь-Зирка начал разыскивать своих приятелей, служивших вместе с ним у Петлюры.

После того как Красная Армия разгромила петлюровщину, много бывших вожаков и рядовых участников различных петлюровских банд очутилось в эмиграции. Одни бежали в Чехословакию, другие — в Канаду, третьи — в Австрию и Германию, но больше всего их болталось без всякого дела в Польше и особенно в главном городе Западной Украины — Львове. Их-то и стал потихоньку прибирать к рукам и записывать в свои тайные реестры бывший австрийский офицер и полковник «сичовых стрельцов» Евген Коновалец. Он был известен и на Советской Украине как жестокий мучитель трудящихся Киева, подавлявший вместе со своими «стрельцами» революционное восстание рабочих завода «Арсенал», не пожелавших служить «самостийникам».

Трудно было Козырю-Зирке с помощью одной только переписки разыскать своих старых дружков — атаманчиков. Решил он сам махнуть во Львов.

В те годы Коновалец сколачивал из этих предателей украинского народа свою преступную «Украинскую военную организацию» — УВО.

Когда вожаки тайной контрреволюционной организации принимали в ее члены Козыря-Зирку, он утаил, почему именно ему удалось так быстро вырваться из-за колючей проволоки концентрационного лагеря в Калише. Совет Зарембы забыть разговор с ним и повторный визит англичанина Козырь-Зирка запомнил хорошо. Правда, он слабо верил, что его могут еще найти и предложить услугой за услугу оплатить быстрое освобождение из лагеря. Однако английский капитан Сидней Джордж Рейли хорошо помнил громилу и бандита с волосами цвета вороньего крыла и щегольскими бачками и через своих людей отыскал его даже вдали от Ровно.

Случилось это во Львове. Приехав во Львов, Козырь-Зирка остановился в «Народной гостинице». Не успел он принять ванну и просушить свои жесткие, с синеватым отливом волосы, как в дверь номера постучался портье и сказал, что «пана из Ровно» просят к телефону. Женский голос просил его прийти сейчас же, немедля, по важному интимному делу в соседнюю гостиницу «Империаль», на улице Третьего мая. Мучаясь в догадках, как его смогли разыскать так быстро во Львове, Козырь-Зирка оделся, причесался и пошел по приглашению незнакомки в гостиницу «Империаль», где обычно останавливались приезжавшие во Львов купцы из захолустных местечек Галиции.

Он очень удивился, когда после стука в дверь названного незнакомкой номера его пригласил войти туда громкий мужской голос. Как только Козырь-Зирка перешагнул порог, ему навстречу поднялся щеголеватый офицер-пилсудчик.

Это был один из старых сотрудников польской военной разведки, так называемой дефензивы, майор Зигмунд Фльорек, работавший во Львове одновременно не только на маршала Пилсудского, но и на английскую разведывательную службу Интеллидженс сервис.

— Вот мы вас и отыскали, пане атамане! — сказал майор Фльорек.— Простите, что я потревожил вас и пригласил зайти сюда. Меня в городе знают многие, и, если бы я нанес вам визит, это стало бы известно достаточно широкому кругу лиц. А вашу организацию и без того обвиняют в том, что вы находитесь в тайном контакте с польской разведкой.

Ошарашенный уже первыми словами майора, Козырь-Зирка удивился еще больше, когда Фльорек передал ему личный привет от капитана Рейли и пожелание успеха в первом, довольно опасном задании.

Начальник представительства второго отдела польского генерального штаба во Львове майор Фльорек сказал Козырю-Зирке, что буржуазия всего мира готовится к войне с Советским Союзом. Желая уверить поповича из Ровно, что это именно так, майор Фльорек достал из своей сумки свежий номер английской газеты и перевел ему выдержку из статьи на эту тему: «С большевизмом в России будет покончено еще в текущем году, а как только это случится, Россия вернется к старой жизни и откроет свои границы для тех, кто пожелает в ней работать».

— И для вас откроет, мой дорогой атаман! — сказал Фльорек поповичу.— Вы знаете, кто это пишет? Генри Детердинг, крупнейший нефтепромышленник мира. Он уже бросил миллионы золотых рублей на то, чтобы удушить большевизм, и не пожалеет еще столько же, лишь бы его планы осуществились. Его слову можно верить!

Посулив Козырю-Зирке хорошую должность на Украине, если Советская власть будет разбита, Фльорек попросил его выполнить важное поручение английского капитана — близкого друга английского министра Черчилля.

Майор Фльорек поручил Козырю-Зирке перейти на советскую сторону и взорвать штаб ЧОНа в нашем городе, со всеми его складами. Майор Фльорек не врал, говоря Козырю-Зирке, что война с Советским Союзом близка. Подстрекаемые Черчиллем и Чемберленом, генералы Пилсудского первыми готовились воевать в тот год с Советским Союзом. Вскоре их наемник убил на перроне варшавского вокзала советского полпреда коммуниста Петра Войкова, а польский генеральный штаб подтянул к советской границе свои отмобилизованные корпуса. Почти одновременно с этими событиями английские шпионы бросили бомбы в партийный клуб Ленинграда.

Майор Зигмунд Фльорек посулил Козырю-Зирке от себя и от Сиднея Рейли хорошую денежную награду, если дом на Кишиневской улице будет взорван.

— Весь мир услышит грохот этого взрыва, и ваше имя будет записано на страницах истории, мой атаман! — сказал Фльорек поповичу на прощание, давая ему адреса и явки на советской стороне.

Во время беседы Фльорека с Козырем-Зиркой в номере гостиницы «Империаль» на удобном плюшевом диване молчаливо сидел, потягивая пахучую сигару, худощавый, средних лет мужчина в черном костюме и дымчатых очках в золотой оправе. По словам Козыря-Зирки, этот человек, которого Фльорек назвал своим лучшим другом, был «корреспондентом» английской газеты «Манчестер гардиан». Фамилию «корреспондента» — очень мудреную — Козырь-Зирка не запомнил. Но кто-кто, а Вукович отлично знал, какой именно «корреспондент» решил лично повидать нового петлюровского бандита, завербованного Сиднеем Джорджем Рейли на английскую разведывательную службу.

...По допросам диверсантов-националистов, задерживаемых на советской территории, Вукович хорошо знал: обычно на явочных квартирах во Львове их всегда вместе с Фльореком молча осматривал этот же тип в черном сюртуке, называемый для отвода глаз «корреспондентом». Довольно скоро Вукович установил его настоящую фамилию. Это был один из девятнадцати иностранных представителей, обосновавшихся в те годы во Львове,— консул Великобритании полковник Джордж Уайтхед. Он хотел лично убедиться, кому именно идут сотни фунтов стерлингов, передаваемые им Фльореку для ведения подрывной диверсионной работы на советской земле. И конечно же, ему было очень «неудобно», опасаясь возможных провалов, называть при таких встречах свое звание и подлинную фамилию.

«Пусть, — думал он, — в случае неуспеха вся вина падает на представителя польской разведки Фльорека».

Даже провалы диверсантов были выгодны для полковника Уайтхеда: они еще больше обостряли и без того плохие отношения между Польшей и Советским Союзом. А в этом прежде всего была очень заинтересована Великобритания...

Границу Козырь-Зирка переходил в знакомых местах. Начальник ровенской комендатуры «Корпуса охраны пограничья» поручик Липинский сам проводил его глубокой ночью до Збруча и пожелал ему успеха на прощание...

— Пишите, пишите, — говорил Козырь-Зирка на следствии Вуковичу. — Игра сделана, ставок больше нет!

Он охотно рассказывал Вуковичу свою жизнь, подшучивал цинично над многими своими промахами, с усмешечкой вспоминал свои преступления, длинными пальцами разминал одну за другой папироски «Сальве», затягивался глубоко, жадно, видно предчувствуя, что вот-вот придется ему выкурить последнюю папироску, и, не глядя, швырял в белую пепельницу изгрызенные острыми зубами окурки.

— Какой смысл мне теперь скрывать от вас что-нибудь, подумайте, гражданин следователь,— повторял на допросах Козырь-Зирка.— Душа моя лежит перед вами, как на подносе. Неужели вы думаете, мне интересно утаить от вас еще какое-нибудь одно паршивое убийство, или налет, или явку. Ведь ни одного доллара и ни фунта стерлингов я уже больше не получу — сами понимаете. Если ваши пограничники хлопнули возле Финляндии моего шефа, этого англичанина Сиднея Джорджа Рейли, то где уж мне с вами хитрить! После меня хоть потоп. Исповедуюсь, как перед богом, как на Страшном суде, поверьте мне!

Вукович был твердо уверен, что, направляя Козыря-Зирку по поручению английской разведки на советскую сторону, майор Фльорек не мог не дать бандиту хотя бы несколько явок. Без этих дополнительных явок Козырь-Зирка был бы слеп и не смог бы выполнить поручения англичан.

Бандит на следствии категорически отрицал, что именно Печерица помог ему пробраться через общежитие химического техникума на крышу чоновского сарая.

— Сам всего достиг,— говорил Козырь-Зирка.— Кирпичную стенку потихоньку разобрал, пронюхал, где и что там находится во дворе. Мы, волки-одинцы самого высшего разбора, только в одиночку ходим, и наша шкура поэтому дороже всего ценится! Получилось бы у меня все, как задумано было,— гулял бы сейчас на английские денежки где-нибудь в Париже, и даже папашенька родной не узнал бы, откуда я такие средства приобрел...

Вина Печерицы перед Советской властью, по мнению Козыря-Зирки, заключалась только в том, что он сжалился над истекающим кровью человеком, спрятал его у себя, позвал к нему доктора.

— До этого я Печерицы в глаза не видывал,— говорил Козырь-Зирка,— и он, по-моему, совершенно лояльный советский работник, только мягкосердечный немного, это да. Очень жаль, что я его под монастырь подвел.

По словам Никиты Коломейца, рассказывавшего мне всю эту историю, Козырь-Зирка ужасно огорчился, когда во время следствия Вукович показал ему Полевого и сказал, что это именно наш директор подстрелил его там, в чердачном проломе, из своего «воблей-скотта».

— Вот никогда бы не поверил! — сознался бандит.— А я думал, что это заранее чекисты мне ловушку подстроили. Чтобы меня подстрелил штатский человек! Чепуха какая-то! Позор до конца дней моих!

— А деньков-то немного осталось! — заметил Полевой, задетый словами бандита.— Побаловался — отвечай!

Козырь-Зирка заскрипел зубами, но тут же, спохватившись, снова заулыбался и продолжал давать показания в своей прежней, циничной манере, так, словно не было рядом ни Полевого, ни Коломейца.

...На следующий же день после ареста Козыря-Зирки кто-то стрелял в доктора Гутентага.

Возвратившись со своей дочерью из городского театра, доктор включил свет и подошел к окну, чтобы закрыть ставни. В кустах палисадника хлопнул выстрел, и револьверная пуля, пробив фрамугу на расстоянии двух сантиметров от

головы Евгения Карловича, со звоном врезалась в стоявшую на полочке старинную китайскую вазу.

Стрелявший успел скрыться, но его выстрел подсказал Вуковичу, что в городе есть кто-то еще, кто связан с людьми, приславшими на эту сторону Козыря-Зирку.

Несколько позже Вукович узнал от крестьян-перебежчиков из Западной Украины, перебравшихся на советскую сторону от притеснений панов, что примерно в тот же день в городе Ровно неизвестными грабителями был убит аптекарь Томаш Гутентаг. Убийцы застрелили его в аптеке и забрали оттуда часть лекарств.

В ночь же неудачного покушения на доктора Евгения Карловича Гутентага в двадцати верстах от нашего родного города, в районе самой отдаленной заставы села Медвежье Ушко, советские пограничники задержали старого придурковатого нищего: он пытался проскочить в Польшу. В узеньком воротнике его грязной обовшивевшей сорочки была найдена маленькая, свернутая в трубку записочка — «грипс». Тайнописью сообщалось:

«Дорогая мамо!

Бычка доктор продал чужим людям, отберу задаток. Гогусь, трясця его матери, переехал на другую квартиру. Ищите его уже сами и поговорите по-хозяйски с аптекарем Г.

Ваш сын *Юрко*».

Лежа в тюремной больнице, пока не затянулась его рана, Козырь-Зирка не знал о поимке этого нищего — связного шпионской группы, действовавшей на советской территории. Козырь-Зирка был также твердо убежден в том, что жена Печерицы сожгла все секретные документы, которые могли бы изобличить ее мужа.

Действительно, когда чекисты схватили бандита, Вукович, сразу же открыв медную дверцу печки в кабинете Печерицы, обнаружил на задымленной решетке теплую еще кучку пепла. Но перед своим неожиданным бегством из города Печерица, видимо, забыл предупредить жену о том, что хранилось в левом бельевом ящике их семейного шкафа. А быть может, Ксения Антоновна в панике забыла об этом ящике?..

На самом дне ящика, набитого чистым бельем с монограммами «К. П.» и «З. П.», Вукович нашел чистый, сложенный ромбиком носовой платочек.

Это был хорошо отутюженный платочек, подрубленный светло-голубой ниткой. Рядом, на дне ящика, лежало еще несколько таких платочков. Но Вуковичу показалось, что этот платочек чуточку отличается от всех остальных. Материя была одна и та же и работа одна, а платочек казался чуточку потолще.

И когда Вукович развернул его, он увидел, что в платочек вложено отпечатанное на тонком батисте удостоверение:

«Предъявитель сего сотник Украинских сичовых стрельцов Зенон Печерица во время отхода наших войск в Галицию оставлен в городе для работы на Подолии в пользу самостийной, суверенной Украины. Я лично дал ему задания, как вести себя и что делать для осуществления целей украинского национализма. Просим все военные и гражданские учреждения, когда снова возвратится наше войско на большую Украину, ни при каких обстоятельствах не обвинять предъявителя сего, Зенона Печерицу, в большевизме. Комендант Корпуса Сичовых Стрельцов

Полковник *Евген Коновалец*».

Вот и все. Больше никаких следов Печерицы не было.

Правда, благодаря «грипсу», отнятому у придурковатого нищего, Вукович догадывался, что «Гогусь», переменивший квартиру, и Печерица — одно и то же лицо.

Моя встреча с Печерицей в поезде могла помочь Вуковичу решить и остальные загадки.

По анкетам Печерицы, оставшимся в делах окрнаробраза, выяснилось, что сам он родом из Коломыи, служил сперва в легионе «сичовых стрельцов», а затем в одном из отрядов так называемой «Украинской галицкой армии» и, после того как группа ее офицеров вместе со «стрельцами» отказалась вернуться к себе в Галицию под власть пилсудчиков, остался в Проскурове, а затем переехал в Житомир.

Именно об этом говорили анкеты, сведения сослуживцев, хорошие отзывы тех организаций, в которых до приезда в наш город работал доктор Зенон Печерица.

Но позабытый лоскуток батиста с мелкими буквами штабной машинки, а самое главное — личная подпись Евгена Коновальца, сделанная несмываемой тушью, убеждали Вуковича в другом.

Вукович отлично знал, что полковник Евген Коновалец еще со времен первой мировой войны тайно работал в германской военной разведке, снабжался немецкими марками и, уводя «сичовиков» с Украины, оставил на пути своего отхода немало тайных агентов, поручив им в целях маскировки прикинуться сторонниками Советской власти.

Не всякому «сичовику» выдавал Евген Коновалец такие охранные удостоверения. Надо было не один раз сопровождать «пана коменданта» в его кровавых походах по Украине, чтобы заслужить его доверие и получить на память такой батистовый лоскуток.

Люди, прятавшие годами до поры до времени батистовые лоскутки, имели приятелей и помощников.

Несомненно, имел их и бежавший из города в неизвестном направлении Зенон Печерица. Иначе не мог бы он так быстро выяснить, куда именно, закончив срочные операции в городской больнице, пошел доктор Евгений Карлович Гутентаг. Это именно они, помощники и приятели Печерицы, послали в Польшу, к майору Зигмунду Фльореку, в качестве «ходока»-связного старого придурковатого нищего. Этот нищий без устали бормотал на допросах всякую ерунду. Оставаясь один в тюремной камере, он вдруг глубокой ночью запевал казацкие думы, танцевал гопак и делал все, чтобы его сочли сумасшедшим.

Однако Вукович терпеливо ждал, пока нищий бросит игру и заговорит настоящим голосом. Вукович догадывался, что, кроме этого нищего, друзья Печерицы послали в Польшу еще и второго «ходока», который и стал причиной загадочной смерти аптекаря Томаша Гутентага в городе Ровно.

Совершенно ясно было: сообщники Печерицы оставались в городе. Удобнее всего, конечно, было напасть на их следы с помощью самого Печерицы. Но Печерица «переменил квартиру»...

Обо всем этом рассказал мне Никита Коломеец в ту самую ночь, когда мы с ним вышли из дома окружного управления ГПУ. Не все, конечно, в рассказе Коломейца выглядело так, как излагаю я эту запутанную историю сегодня. О многом в ту весеннюю ночь Никита еще только догадывался, немало подробностей додумывал он сам, да и я, признаться, помогал ему все эти двадцать лет, выясняя немало темных пятен биографии поповича из Ровно и Зенона Печерицы, проверяя уже и в советском Львове, так ли все было на самом деле, как оно представлялось нам в те далекие годы нашей юности.

В одном могу признаться: страшным и очень опасным показался мне мир тайной войны с врагами, в который ввел меня неожиданно Никита Коломеец в ту памятную ночь, когда сидели мы с ним до рассвета на широких перилах лестницы над скалистым обрывом.

До этого рассказа я был очень простодушен. Я не мог раньше и подумать, что среди нас есть подлецы, которые, подобно Печерице, живут двойной, изворотливой жизнью шпионов. Я и представить себе не мог, что почти рядом с нами гуляют оборотни, которые прикидываются, что они искренне любят Советскую власть, а в то же время только и ждут ее падения и всё норовят, как бы исподтишка, из темноты нанести ей удар побольней да поковарней... «Как велик, благороден и опасен труд пограничников-чекистов,— подумал я,— которые, подобно Вуковичу, рискуя жизнью, отважно входят в этот страшный и темный мир готовящихся преступлений и умеют вовремя схватить врага за руку, когда он совсем не ждет этого!»

...И еще из рассказа Никиты представилось мне ясно, как ненавидит нас, советских людей, мировая буржуазия со своими агентами, и я понял, как мы должны быть настороже до той поры, пока хоть один капиталист еще бродит живым по белу свету.

КАВЕРЗА

Через три дня, незадолго до обеденного перерыва, в литейной появился инструктор Козакевич. Он уже прогулялся через Больничную площадь в контору школы без кепки, оставив в литейной свою прожженную брызгами чугуна тяжелую куртку. Рукава его синей выцветшей блузы засучены; видны могучие мускулы.

— Манджурец! «Донос на гетмана злодея царю Петру от Кочубея»! — шутит он, протягивая сколотый гвоздиком листок бумаги.

По его голосу мне окончательно становится ясно, что Козакевич в отличном настроении.

Беру. Читаю.

Пишет Маремуха:

«*Василь, непременно зайди ко мне в обед, есть важное дело.*

С комприветом Петро».

Быстрее заплясала в моих руках скользкая трамбовка. Надо во что бы то ни стало заформовать до обеда этот маховик к соломорезке. Туго вгоняю набойку под шпоны деревянной опоки. Заколачиваю туда влажный песок. Вот и последняя клетка. Где-то под затрамбованным пластом песка лежит отсыревший, холодный маховик. Швыряю в сторону трамбовку, одним махом сгребаю с опоки лишний песок. Где душник? Ах, вот он. Эта острая проволочка перелетает ко мне в руку. Накалываю каждую клетку в опоке. Душник с шипением уходит в тугой песок, иногда он натыкается на чугунную модель маховика и гнется.

Все! Можно открывать.

Поблизости нет никого из хлопцев. Один Козакевич бережно раскладывает на полках новенькие, свежевыкрашенные модельки.

— Георгий Павлович, поднимем?

Увязая в песке, Козакевич подходит к моему рабочему месту.

— Клинья забил, воздух дал?

— Все, все, не бойтесь.

— Да я не боюсь, а случается — забудешь. Особенно ты. После поездки в Харьков все какой-то рассеянный бродишь. Ну, взяли! — И Козакевич, наклонившись, берется за ручки опоки.

Натужась, поднимаем ее вверх. Поворот — и верхняя половина опоки ставится на ребро под окном. Козакевич, оправляя отвернувшийся рукав блузы, смотрит вниз, на серую от присыпки нижнюю половину формы. Круглый, вороненый, подымается над плацем обод маховика. Вот зальем потом эту пустоту чугуном, и будет новый маховик крутиться под рукой у крестьянина, на его соломорезке, давая силу барабану с ножами, режущими сечку.

В одном месте форма, как говорят литейщики, чуть-чуть «подорвала»: холмик песка с верхней половины формы приклеился к ободу модели.

— Заделаешь,— показывает пальцем Козакевич.

Далекий гудок на заводе «Мотор». Перерыв.

— Можно, я заделаю потом, товарищ Козакевич? Хочу в школу сбегать.

— А я тебя и не заставляю в обед работать. Беги куда надо!

Тропинка, вчера еще мокрая и пересеченная лужами, высохла под солнцем. Хорошо бежать по ней через площадь в одном костюме первый раз после долгой зимы! А еще лучше гонять на этой площади, когда зарастает она подорожником, легкий футбольный мяч, слыша, как ветер свистит в ушах!..

Вот и школа! Перескакиваю через две ступеньки, мчусь на третий этаж. Сверху спускается Фурман. В руке у него завтрак. Должно быть, во двор идет. Каждую весну, как только потеплеет, фабзавучники, точно жуки, выползают в обеденные перерывы на школьный двор и завтракают там под лучами весеннего солнца, сидя на ржавых котлах и поломанных походных кухнях.

— Маремуха еще наверху? — спрашиваю я у Фурмана.
— Шашки для подшефного клуба точит,— отвечает Фурман, стуча по лестнице подковками каблуков.

Петькин станок стоит как раз против двери. Вбежав в столярную, я сразу вижу широкую спину Маремухи. Погоняя станок одной ногой, он обтачивает полукруглой стамеской-реером длинную березовую болванку. Тоненькая желтоватая стружка выскакивает из-под острия стамески и падает вниз. Никого больше в столярной нет; лишь в другом конце цеха, сидя на деревянном скрипучем верстаке и задумчиво глядя в окно, завтракает инструктор столяров Кушнир — отец Гали. В цехе приятно пахнет свежими сосновыми опилками.

— Бери ешь,— говорит Петро, усердно погоняя станок.— То твоя булочка на окне лежит и колбаса в бумаге.

— А ты?

— Я уже поел, это все твое.

— Эх, Петрусь, транжира ты! Растратишь стипендию за два дня, а потом снова куковать будешь, как в прошлый месяц.

— Подумаешь, беда! Скоро и так стипендия кончится, зарплату получать будем,— бросает уверенно Петро, разделяя болванку острием прямолинейной стамески.

Все-таки молодец Петрусь — запасся для меня завтраком. Компанейский хлопец! Этот не будет, как Тиктор, жевать в самом дальнем углу колбасу да озираться, как бы другие у него не попросили. Маремуха всегда поделится с другом.

Свежая, румяная булочка с поджаристой коркой хрустит у меня на зубах. Такие булки приносит к воротам фабзавуча в первые дни после выдачи стипендии вдова податного инспектора мадам Поднебесная.

А обрезки «собачья радость» мы покупаем в бакалейной лавочке. Замечательная это штука — обрезки, или, как их называют по-ученому в Церабкоопе, «колбаса прима-ассорти»! Она очень дешевая и, пожалуй, самая вкусная. Купил четверть фунта, и чего там только нет: ломтики багровой полендвицы, горбушки ливерной, жирные кружочки краковской, охотничьи сосиски, остатки салями с веревочными хвостиками, обрезки кровяной, а Сашке Бобырю попался однажды целый кусище дорогого пахучего окорока.

Заедая хрустящей булкой колбасные обрезки, я слежу за Петькой. Как он наловчился так быстро работать?.. Вдруг Петька останавливает станок и говорит торжественно:

— Мы с тобой старые побратимы, Василь, правда? Помнишь нашу клятву в Старой крепости над могилой Сергушина? Секретов у нас между собою быть не может, правда? Ну, так вот знай, что Яшка Тиктор копает под тобой яму.

— Новости! Какую яму?

— Да-да, не смейся. Это тебе не хиханьки. Он вчера подал на тебя заявление в бюро ячейки.

— Не пугай меня, Петрусь. Какое может быть заявление?

— Я тебя не пугаю, Василь, а правду говорю: Тиктор написал в том заявлении, чтобы тебя исключили из комсомола.

— Меня? Из комсомола?.. Петька, да ты что?.. Ты думаешь, что я Буня Хох и меня можно легко разыграть? Да?.. (Буня Хох из предместья Русские фольварки — это наш знаменитый городской сумасшедший.)

— Василь,— говорит Петро дрожащим голосом,— такими вещами не шутят. Я тебя по-дружески предупреждаю, как старый побратим, а ты думаешь, что я занимаюсь мальчишеством!

— Постой, Петрусь, а что он пишет в том заявлении?

— Ты думаешь, я знаю? Я не знаю! Я сам того заявления не читал, но видел, как Тиктор отдавал его Коломейцу.

— Коломейцу? Никите? Но с чего ты взял, что это именно на меня заявление?

— А вот послушай! Я вчера прибежал к Никите за журналом, а возле него Тиктор. Слышу, он говорит Коломейцу: «Ты понимаешь, Никита, я не хотел впутываться в эту грязную историю, но совесть рабочего парня не позволяет мне стоять в стороне. Дело это важное. Словом, я здесь все изложил. Ты прочти. Не знаю,— говорит,— какое твое мнение, но мне кажется, что Манджуру за это

надо обязательно выгнать из комсомола. Такие люди только марают нашу славную организацию».

— И ты сам слышал, что Тиктор мою фамилию назвал?

— Я не глухой, Василь... И вот, понимаешь, дает Никите бумагу. Я что? Хотел заглянуть, а Тиктор заметил, рукой ее закрыл и говорит: «А вам что, молодой человек, нужно? Ваш номер восемь, когда надо, тогда и спросим!» Я туда-сюда, взял журнал и ушел.

— И не прочитал?

— А как же я мог... Слушай, Василь,— торопливо заглядывая мне в глаза, сказал Петька,— а ты такого, знаешь, подозрительного ничего не сделал за последнее время?

— Что я мог сделать? Ты смешной, Петя!

— Ну, мало ли... Вдруг рекомендацию написал какому-нибудь чужаку?

— Да я как поручился в прошлом году за Бобыря, так с той поры никому больше и не давал.

— А в Харькове?

— Что — в Харькове? Да я же рассказывал тебе, как там все было.

— Но, может, ты там что-нибудь такое сделал?

— Что я мог сделать плохого? Странно!

— Ну, такое... может, набузил где-нибудь... или напился, не дай боже... или подзатыльник кому дал... А может, витрину разбил в магазине?

— Да что ты, Петрусь! Я не Тиктор... Флячки на базаре у спекулянтов ел — это да, обокрали меня, ну «Акулы Нью-Йорка» — картину американскую — поглядел, дернула нелегкая, а больше так ничего.

— Ни-ни?

— Ни-ни.

— Интересно, чего же этот чубатый к тебе привязался?

— Не знаю.

— Слушай, Василь,— сказал Маремуха торжественно,— подойди к Никите и так прямо спроси у него: «В чем меня обвиняют?»

— К Никите?.. Зачем мне ходить к Никите? Нарочно не пойду. Если я первый буду выспрашивать, получится— я виноват и боюсь чего-то. А чего мне бояться? Смешно!

— Да, пожалуй, ты прав...— протянул Маремуха.

— Ты, если хочешь, можешь спросить, Петрусь.

— Думаешь, не спрашивал? — быстро отозвался Петро.— Спрашивал... Яшка ушел, а я — к Никите. «Что это, говорю, за кляузу тебе Тиктор вручил?» — «Да так,— отвечает Коломеец,— обвиненьице одно крупного калибра». Я говорю: «Какое же такое обвинение, скажи, Никита?» — «Да заявление одно политического свойства на Манджуру подано,— говорит Никита.— Но пока, говорит, Маремуха, давай помолчим об этом. Без лишней болтовни. До заседания бюро держи язык за зубами!» Ну, я тут, понимаешь, и привязался к Никите. «Значит, говорю, что-нибудь очень важное, да?» — «Как тебе сказать,— говорит мне Коломеец,— подвох у нас невиданный. А в общем, все это образец человеческой подлости!»

— Что, что? — переспросил я Маремуху.

— Образец человеческой подлости!

— Это он про кого? — спросил я дрогнувшим голосом.

— А я, думаешь, понял? Ты же знаешь нашего философа! Он любит такие слова, непонятные... И я тебе все-таки советую: поговори с ним лично.

— Ну, знаешь, не смогу!

В столярную очень некстати вбежала Галя Кушнир. Она была в синем, до коленей, спецхалатике, а волосы повязала голубенькой косынкой.

Последнее время на нее все чаще стали заглядываться другие хлопцы, и я переживал очень. Кто-то заметил это и написал мелом над колпаком кузнечного горна: «Василий Миронович Манджура страдает по Гале Кушнир — ужас как!» Под этой надписью было нарисовано сердце, скорее похожее на почку. Оно было проколото стрелой, и из него вытекала струя крови, густая, сильная, словно струя чугуна, бегущая по желобу из вагранки. Надпись эта, вне всякого сомнения, подрывала мой авторитет члена бюро ячейки среди остальных ребят. Это ведь очень плохо, когда твои личные переживания выносятся на общее обсуж-

дение. «Любовь должна быть... величайшей тайной в мире!» — вызубрил я наизусть и даже записал у себя в блокноте рядом с конспектом по политграмоте фразу из одного прочитанного романа. Коломеец, проверяя наши конспекты, наткнулся на эту запись и спросил: «Это откуда ты выдрал, Василь, такое мещанство?» Не отважился я сразу сказать, что эту фразу говорил какой-то царский генерал, и стал оправдываться. «Все равно — предрассудок!» — отрезал Никита, и пришлось мне выдрать страницу из блокнота. Однако эту надпись над кузнечным горном я бы пережил и продолжал бы любить Галю Кушнир, как прежде, если бы не ее собственное поведение.

Она взяла сторону Тиктора в истории с Францем-Иосифом! Сказал я ей, что Тиктор обозвал меня «монархистом», а Галя ответила хладнокровно:

— А ты думаешь, удобно комсомольцу воспроизводить изображения тиранов и деспотов?

— Так я же для практики. Эх, Галя! — сказал я голосом, полным укоризны, думая, что она согласится со мной.

А Галя Кушнир вместо этого сухо так, будто бы я был для нее чужой человек, сказала:

— Для практики ты мог бы какую-нибудь птичку заформовать. Вот у папы есть письменный прибор с медным ястребом. Сказал бы мне — отвинтила бы и принесла тебе для модели.

— Спасибо тебе большое... Другому будешь приносить,— ответил я грубо, и на этом наши личные отношения закончились.

Правда, кое-что в глубине души осталось и у меня и у нее. Мы не могли разговаривать спокойно и при встречах смущались.

Вот и сейчас, увидев меня возле Петькиного станка, Галя замялась, но потом, пересиливая смущение, все-таки подошла. Чуть заметный румянец появился на ее щеках.

— А тебя, Василь, хлопцы на дворе вспоминают,— сказала Галя.— Говорят, Тиктор на тебя заявление какое-то подал и хвастается всем, что тебе будет худо. Что ты натворил, а, Василь?

— Я? Натворил?.. Я ничего не натворил!

— А почему же заявление?

— Пойди его спроси.

— Да он не признается. Говорит, до бюро этого нельзя разглашать. Но все-таки раз в церкви звонят, значит...

— Мне плевать на его заявление! И твоя церковь здесь ни при чем! — выпалил я Гале.— Пусть хоть десять кляуз напишет, я ничего такого не делал!

— А ты с Коломейцем говорил? — спросила сочувственно Галя.

— Зачем?

— Как — зачем? — удивилась Галя.— Ну, все-таки... Он наш секретарь, член окружкома, давно тебя знает...

Тут меня уже разозлила Галина забота. Да что это такое, в самом деле?.. Со двора друг за дружкой стали вбегать фабзавучники. Обед кончался. Чтобы меня не заподозрили в трусости, я сказал как можно спокойнее:

— Ну, я пошел к себе в литейную, а то у меня там форма открыта.

НИКИТА МОЛЧИТ

Сегодня что-то уж слишком часто вертится у меня перед глазами Тиктор. То лопату в углу возьмет, то зубило из-под самого моего носа выхватит, постучит, позвенит им маленько в соседней комнате, сбивая окалину с готовых маховиков,— глядишь, и снова мелькнули, увязая в сыром песке, рыжие и задубелые Яшкины сапоги. Проволочная щетка, видите ли, ему понадобилась. В глазах его играет хитрая усмешка, пушистый чуб развевается, как у донского казака. Веселый, довольный, Яшка выглядит победителем. Целый день он напевает одну и ту же модную песенку:

Есть в Батавии маленький дом
На окраине, в поле пустом...

Когда Яшка появляется около меня, я делаю вид, что увлечен работой. Пусть не думает, что я струсил, кляузник чубатый!

...Вот наконец и шабаш. Быстро мою руки и первым выбегаю на улицу...

Обычно после работы мой путь лежит по Семинарской улице в общежитие. Но сегодня я иду налево, к Тринитарскому переулку.

Шагаю мимо плетней и садиков с оголенными еще деревьями. На площади шумит городской базар. Иду мимо, к Прорезной, и сам не знаю, зачем меня туда понесло. Долго болтаюсь по сухим и пустынным аллеям бульвара. Желтая река, недавно вскрывшаяся ото льда, течет внизу, кое-где подходя вплотную к скалам, заливая огороды, огибая Старый город. На бульваре жгут прошлогодние листья. То там, то здесь, будто вершины маленьких вулканов, дымятся кучи листьев мелкого валежника, дым стелется низко по склонам аллей над скалистым обрывом, и его горьковатый запах, знакомый запах весны, догоняет меня и на самой окраине бульвара. Там, за маленькой калиткой, чернеет вдали одинокая скамейка. Иду туда и сажусь. Пальцы нащупывают знакомые буквы В и Г. Еще до фабзавуча, когда я был без памяти влюблен в Галю Кушнир, а она ходила с моим соперником Котькой Григоренко, сбежавшим теперь за границу, в тихое летнее утро пришел я сюда и, скрипя от злости зубами, натирая мозоли на руках, вырезал на твердом дубовом бруске перочинным ножиком эти буквы. Какими мелкими показались огорчения тех лет по сравнению с тем, что могло теперь меня ожидать!

Загадочное заявление Тиктора преследовало меня повсюду. Слова предостережения, которые я услышал от Маремухи и Гали, еще больше разволновали меня. Уже весь фабзавуч знал о таинственном заявлении. Когда сегодня выходил из школы, мне повстречался у ворот Монька Гузарчик. Это был добрый, слегка неуклюжий парень с красными, слезящимися глазами.

Еще в первый год занятий Монька Гузарчик неожиданно получил наследство от своей бабушки. Никогда лично он ее не видел, но бабушка, уехавшая еще при царе в Нью-Йорк, завещала после своей смерти все сбережения внуку Моньке. Его разыскали через нотариуса какие-то дальние родственники, и вот в один прекрасный день Монька Гузарчик получил наличными триста двадцать пять рублей советскими деньгами. Конечно, лучше всего было пожертвовать их обществу «Друг детей» — на ликвидацию беспризорности или, скажем, передать Сашке Бобырю на постройку аэропланов для Красной Армии. Но Гузарчик ошалел от такой большой суммы денег и, прибежав в субботу из банка, повел часть ребят в ресторан «Венеция». Он показал хозяину ресторана деньги и сказал: «Я гуляю! Посторонних не пускать!»

Что они там делали, как гуляли — неизвестно: мы с хлопцами в тот вечер были в клубе на лекции «Что раньше появилось — мысль или слово?». Знаю только, что на следующий день гуляки вместе с внуком американской бабушки ходили как потерянные. Их тошнило. Они объелись тортами, пирожными, ели по очереди все, что было указано в меню: селедку, печенье, паюсную икру, поросят, суфле, бифштексы, осетрину... и запивали все это какими-то винами с мудреными названиями. Все наследство прокутили в один вечер.

В свое время история эта прошумела на весь город, и, когда Монька Гузарчик подал заявление в комсомол, мы его не приняли. «Ты хотя и рабочий подросток, но ухарь. Душа у тебя, брат, мелкобуржуазная,— отрезал Моньке на бюро Коломеец.— Так сынки торгашей раньше кутили, а ты у них учишься. Погоди, посмотрим!»

Сейчас Монька Гузарчик жил на свои трудовые деньги, на стипендию, и любил говорить про себя иронически: «Я как беспартийная прослойка...»

Повстречав меня сегодня возле ворот, Монька тоже шепнул:

— Ай-ай-ай, Васька! Я слышал, Тиктор на тебя дело завел. Да? Из комсомола требует тебя исключить. Да? Бедный ты, бедный! В нашей, значит, общине будешь.

Докатился я, если уж Гузарчик меня жалеет!

Печально смотрел я на другой берег реки, на крепостной мост, соединяющий обе скалы, и на Старую крепость. В этой крепости, когда город захватили петлюровцы, мы с хлопцами клялись над могилой большевика Сергушина стоять один за одного, как за брата, и отомстить проклятым петлюровцам за его смерть. Пока я честно выполнял эту клятву и верно служил революционному делу. Так

почему же появилось это заявление и даже близкие друзья раньше времени жалеют меня?..

Из-под крепостного моста сквозь полукруглый тоннель с шумом и грохотом вырывался водопад. Тугая вода падала желтыми каскадами; лишь там, где она ударялась о камни, сверкала белая пена.

Вспомнилась давняя легенда, что много лет назад, покидая навсегда наш город, турки сбросили с крепостного моста железный сундук, набитый доверху награбленными на Украине золотыми цехинами, алмазами, рубинами, золотыми браслетами и огромными, величиной с куриное яйцо, ослепительными брильянтами.

Прежде чем упасть на глубокое дно реки, движимый страшной силой водопада, тяжелый сундук несколько раз перекувырнулся на острых камнях. Крышка его отлетела. И говорят люди, что каждый год после ледохода вешняя буйная вода вымывает со дна золотые монетки, драгоценные камни. А один раз, еще при царе, дед Сашки Бобыря, говорят, нашел в прибрежных камнях обломок обсыпанной рубинами золотой короны какого-то турецкого визиря, убегавшего впопыхах с Украины от запорожского и русского войска. На радостях Сашкин дед пошел в корчму, выколупнул из обломка короны один рубин и получил за него у старого шинкаря столько горилки, что когда выпил ее, то потерял память. Сашкин дед проснулся лишь в другом конце города, под Ветряными воротами, и без короны. Ее утащили бродяги конокрады. Сашкин дед от огорчения рехнулся и попал в сумасшедший дом. Там он и провел остаток дней своих, бродя в длинной холщовой сорочке по тенистым аллеям больничного сада и таская на голове сделанную из репейника корону.

Когда Сашка Бобырь во время приема его в комсомол рассказал и эту печальную историю своего деда, Никита не преминул ввернуть: «Вот что, хлопцы, делает богатство! Поэтому мы, новое поколение, должны быть полностью свободны от власти денег и вещей».

Однако старые люди нашего города говорят об этой истории с короной несколько иначе. Будто бы на крепостном мосту турки удавили веревкой молодого Юрка Хмельницкого, сына гетмана Богдана, и бросили его с моста в кипящий водопад, привязав к ногам камень. Вот и проклял-де юный Юрко перед смертью турок, а заодно и все их сокровища.

Сколько раз в половодье мы, зареченские хлопцы, пренебрегая гетманским заговором, шатались вдоль реки, не отрывая глаз от илистого ее берега и надеясь, что вот-вот среди щепок, мокрого сена и тающих льдин вдруг блеснет хоть какая-нибудь захудалая монетка, чтобы можно было на нее купить резины для рогаток в аптеке Модеста Тарпани!..

Не Яшкино заявление пугало меня. Совсем нет! Обдумав это, я решил твердо, что заявление ни при чем. Пусть бы даже Тиктор написал в нем что угодно: что я петлюровец или что я склад ЧОНа замышлял взорвать,— все это было бы пустяком. Всякую напраслину рано или поздно можно опровергнуть.

Я унывал сейчас не потому, что боялся. Огорчали меня сочувственные разговоры хлопцев и больше всего — непонятное молчание Никиты Коломейца.

«Если на члена бюро ячейки подают заявление, а ты — секретарь, то приди и скажи человеку толком, честно, открыто, в чем его обвиняют; проверь, так это или нет, а не играй в молчанку, не заставляй человека мучиться понапрасну! — размышлял я про себя, прохаживаясь над обрывом.— Разве я не прав? Конечно, прав!»

Молчание Коломейца — вот что меня удивляло, возмущало и тревожило.

Вчера целый вечер мы были вместе в общежитии, и он хоть бы слово сказал, а ведь у него уже лежало заявление Тиктора.

Посылая меня в Харьков, Никита сказал: «Поезжай, ты парень боевой!» «Сказал: «Ты парень боевой». Значит, доверял мне?.. Доверял!»

Теперь Никита молчит. И какими-то туманными фразами швыряется: «Образец человеческой подлости...»

Вечерело. Холодом потянуло с реки, словно к морозу. Снова подошел я к низенькой скамеечке со знакомыми буквами В и Г, присел на нее. Скамеечка стояла на юру, меня продувало со всех сторон.

Зябко стало. Поежился я от студеного ветра, удирающего скалистыми урочищами от наступающей с юга весны, и припомнился мне самый холодный в жизни вечер, пережитый два с лишним года назад.

...Строем по четыре вместе с комсомольцами электростанции шли мы через Новый мост в Центральный рабочий клуб на вечер, посвященный памяти жертв Девятого января.

Шли молча, без песен, и оттого было хорошо слышно, как звонко скрипит под ногами тугой снег, крепко схвативший промороженные доски Нового моста, который повис на мохнатых от инея каменных быках над глубокой пропастью. На всю жизнь сохранится в памяти это согласное поскрипывание снега под ногами у ребят и тепло узкого вестибюля, где мы стали поспешно, наперегонки раздеваться, чтобы занять самые близкие места.

Слушаем доклад о том, как по приказу Николая Кровавого жандармы убивали рабочих Питера у Зимнего дворца. Вдруг выскакивает на сцену старый большевик Кушелев. У него растерянный вид.

«Что случилось? Пожар? Война?»

Кушелев останавливает докладчика и бросает в настороженный зал:

— Товарищи!.. Несчастье... Умер Ленин!

Мы видели, как, полуотвернувшись, он вытирает рукавом кожанки слезы. Не будь этих слез на глазах старого производственника, никто бы не поверил ужасной вести, отогнал бы ее от себя. Но и так вскочил какой-то инвалид со значком за взятие «Арсенала» на защитной толстовке и, потрясая костылем, закричал Кушелеву:

— Неправда! Ты брешешь, негодяй!

И тут же, взятый падучей, грохнулся затылком в проход, на кафельный жесткий пол зрительного зала.

Провожаемые бессвязными выкриками инвалида, которому оказывали помощь доктор Юлий Манасевич и другие люди, мы выскочили на улицу.

В морозном чистом воздухе тоскливо гудели паровозные гудки на станции, на заводе «Мотор» и где-то далеко-далеко, должно быть, за горой Кармелюка, на Маковском сахарном заводе.

Сгрудились мы вместе, молодые хлопцы и девчата с кимовскими значками на кожанках, пытливо заглядывали под заунывную песню гудков в глаза один другому и, пожалуй, впервые за эту суровую зиму совсем не чувствовали острого мороза.

— Что же делать, а, Василь? — тронула меня за локоть Галя Кушнир.— Как будем жить мы теперь без Ильича? — Она даже не застегнула свой полушубок. Мохнатые углы ее цветастого, цыганского платка свисали на грудь.

— Что делать? — глухо повторил вопрос Гали стоящий рядом Коломеец.— Жить так, как учил Ильич. И держаться вместе. Один за одного. Гуртом держаться. Слышите? Вокруг партии. И тогда нам никакой черт не будет страшен.

...В ту ночь я не мог заснуть до самого утра. И все ребята в общежитии не спали. У кого было оружие, тот чистил его и протирал в сенях.

Казалось, вот-вот прозвучит сигнал чоновской тревоги, позовет всех в штаб на Кишиневскую. Мы думали, что именно в эту ночь мировая буржуазия, воспользовавшись смертью нашего дорогого вождя, нападет на Советскую страну. Мы думали, что уже первые ее банды прорывают границу на Збруче, и были готовы выступить на помощь пограничникам.

А когда морозным утром забелели на дощатых заборах Старого города и Русских фольварков окаймленные черными обводами сообщения о смерти Ильича и началась печальная траурная неделя, всякий раз, стоило снова услышать «Нет Ленина», опять щемило сердце, и мы понимали, что еще долго будет заживать в сознании каждого из нас рана, нанесенная такой неожиданной и страшной вестью...

Не знаю, зачем я полез в карман и вытащил оттуда свой зауэр. Что там говорить — крепко любил я эту свою «машину». Даже уходя на работу в фабзавуч, я забирал зауэр с собой, и Никита Коломеец посмеивался надо мной:

— Для чего тебе в цехе пистолет, Василь?

— А куда я его дену?

— Оставляй в общежитии.

— Тебе хорошо — у тебя тумбочка запирается, а моя нараспашку.

— Попроси слесарей, пусть сделают замочек.

— А что он, поможет, замочек-то? Замочек можно легко сломать.

— Ох, Василь, Василь, неисправимый ты человек! Привык к оружию. Тебе бы всё время в эпоху военного коммунизма жить! Тяжело Василию Мироновичу Манджуре переходить на мирное положение.

Я знал, что Никита шутит, но меня немного задевали его шутки. Ничего себе мирное положение, если такое вокруг!

Еще и года не прошло, как диверсанты напали на советскую пограничную заставу возле Ямполя и убили начальника заставы. Совсем недавно в Латвии враги нашей республики застрелили советского дипкурьера Теодора Нетте. А убийство Котовского?.. «Не один я, вся рабочая молодежь на границе должна быть вооружена и готова ко всему»,— думал я. И продолжал таскать пистолет на работу.

Наведя мушку на одну из зубчатых башен Старой крепости, я прицелился. Но уже было темновато, и в сумерках мушка расплывалась.

«Что же за таинственное заявление Тиктора?..»

Я поспешно засунул зауэр в карман и, окончательно расстроенный, поплелся в общежитие.

В нашем общежитии было на редкость тихо. Сразу вспомнилось, что сегодня в городском комсомольском клубе показывают кинокартину «Красные дьяволята». Конечно, хлопцы пошли туда. Жаль, что я опоздал.

В комнате горел свет и на потолке, и возле кровати Никиты.

Наш секретарь жил с нами вместе. Груда книг высилась на его тумбочке. Как всегда, Никита остался дома. «Развлекаться я буду на старости лет,— говорил он обычно,— а сейчас, пока здоровые глаза, лучше книжки почитать». «Полюбить книги — это значит сменить часы скуки на часы наслаждения», «Книга — это друг человека, который никогда не изменит!» — часто повторял нам Коломеец изречения каких-то одному ему известных философов. И читал запоем: дома до поздней ночи, по дороге в интернат как слепой, шагая по тротуару и держа перед глазами раскрытую книжку; читал в обеденные перерывы, сидя на ржавом котле во дворе школы.

Видно, Никита сегодня уже не собирался никуда выходить. Он лежал на койке раздетый, а рядом на стуле чернела его аккуратно сложенная одежда.

Я молча подошел к своей постели и снял кепку. Никита повернул голову и сказал:

— У тебя под подушкой анкета, Манджура. Заполни ее и утром сдай мне.

У меня дрогнуло сердце. Начинается.

«Наверное, это какая-нибудь особая, каверзная анкета!»

Чуть слышно я спросил:

— Что за анкета?

— На оружие,— не отрываясь от книжки, сказал Никита.— Чоновские листки теперь недействительны, и мы должны подавать индивидуальные заявления на право ношения оружия.

...Тихо шелестят страницы книги. Коломеец взял на ощупь карандаш с тумбочки, что-то отметил, словно давая понять мне, что разговор окончен.

Ну что ж, ладно! Напрашиваться не будем...

В открытую форточку проникает шум весенней улицы. Особый, неповторимый шум весны! Заметили ли вы, что весною все звуки человек слышит так ясно, как бы впервые? Вот на соседнем дворе прокричал петух, и мне кажется, что я раньше никогда не слыхал такого звонкого петушиного крика...

В этой тишине я разглядывал отпечатанную в типографии анкету на право ношения оружия и ждал, что вот-вот Никита заговорит наконец со мной о заявлении Тиктора.

— Да, Василь, чуть не забыл,— оборачиваясь ко мне, проронил Никита,— у тебя в тумбочке посылка лежит. Я расписался в ее получении.— И снова уткнулся в книгу.

Прошитая накрест бечевкой, квадратная и тяжеловатая посылка пахла рогожей и яблоками. Внизу химическим карандашом было выведено: «Отправитель — Мирон Манджура, гор. Черкассы, Окружная государственная типография».

Переехав на работу из нашего города в Черкассы, отец и тетка иногда присылали мне оттуда посылки. Все, что было в них, шло вразлет по общежитию: кому яблоко, кому кусок свиного сала, посыпанного блестящими крупинками соли. Точно так же делились посылки и других хлопцев.

И вот сейчас в ящике под фанерной крышечкой лежат разные вкусные вещи. К тому же я голоден. Но я не мог вскрыть посылку. Если я стану именно сейчас, не дожидаясь прихода хлопцев, угощать Никиту, он может подумать, что я, прослышав о заявлении, подлизываюсь к нему, хочу его подкупить домашними коржиками с маком.

И, как это ни было грустно, я оставил отцовскую посылку до возвращения хлопцев из кино на старом месте — в тумбочке у кровати.

Разделся и лег спать, слыша, как шелестят страницы книги, которую читал Никита.

НЕ ВЕЗЕТ БОБЫРЮ!

Забыл сказать, почему перестали быть действительными чоновские листки на право ношения оружия.

Сразу же после моего отъезда в Харьков в наш город пришел на постой из Проскурова кавалерийский полк, воспитанный еще славным комбригом Григорием Котовским. Конники разместились за вокзалом, в казармах, где при царе стоял 12-й Стародубовский драгунский полк. Отовсюду подводы повезли туда сено и овес. Много надо было фуража свезти, чтобы прокормить такую уйму коней.

А вечером, как только котовцы расположились на новом месте, над улицами города послышался знакомый сигнал чоновской тревоги: три пулеметные очереди и пять одиночных выстрелов. И, как обычно по такому сигналу, к штабу частей особого назначения на Кишиневскую улицу отовсюду помчались коммунары — коммунисты и комсомольцы нашего городка.

Наших фабзайцев сигнал тревоги застал в зале комсомольского клуба, где они, собравшись на вечер самодеятельности, смотрели музыкальную инсценировку «Тройка» в исполнении артистов фабзавуча.

Краше всех, по рассказам хлопцев, выглядел маршалек Пилсудский — Саша Бобырь. Костюмер клуба выкопал где-то для Сашки самый настоящий френч офицера-пилсудчика с витыми блестящими позументами на высоком стоячем воротнике, с орденами, аксельбантами и орлеными пуговицами.

...Если не считать того, что Бобырь потерял хвост, все, как передавали мне хлопцы, шло прекрасно.

Но вдруг в зале крикнули:

— Тревога!

Шум поднялся в клубе. Опрокидывая скамейки, зрители-комсомольцы стали выбегать на улицу. Каждому хотелось поскорее примчаться в ЧОН, получить свою винтовку и ждать приказа.

А что было делать Бобырю, чья одежда лежала в пустом шкафу в клубной библиотеке за сценой? В дни спектаклей эта библиотека временно превращалась в гримировочную. Там же хранились обычно парики, грим, старинные курковые пистолеты, и Коля Дракокруст, опасаясь баловства несознательных посетителей клуба, обычно на время представления закрывал библиотеку на ключ.

— Где Дракокруст?.. Где Дракокруст? Хлопцы, вы не видели Колю Дракокруста? — вопил теперь во все горло бедный Саша, бегая по пустеющему залу и задевая никелированными ножнами сабли деревянные скамейки.

Саша решил бежать в штаб ЧОНа в театральном одеянии.

Надо же было случиться так, что он напоролся на стаю бездомных собак.

Сперва Бобырь решил обороняться. Он рассказывал потом хлопцам, что хотел выдернуть из ножен саблю и рубить бродячих собак саблей. Но едва его рука

схватила эфес, старый барбос вдовы податного инспектора и торговки франзольками мадам Поднебесной вцепился с разгона Сашке в правую ляжку. Барбос уже не раз вырывался из клетки собаколовов и знал, что самый лучший способ не попадаться снова — это первому нападать на обидчика.

Оставался один выход у бедного Сашки — удирать без боя. На свет! Туда, где бродячие псы не посмеют кусать человека.

Пиная собак ногами, отбиваясь от них ножнами сабли, преследуемый громким лаем, Бобырь вырвался на Рыночную площадь в мундире офицера-пилсудчика и нарядной конфедератке с белым пушистым султаном.

А в этот вечер у бакалейного магазина Церабкоопа на Рыночной площади снова дежурил сторож, которого в свое время допрашивал уполномоченный ГПУ Вукович. Сторож запомнил хорошо, как его пробирал Вукович и как, обращаясь к Полевому, уполномоченный ГПУ высказал предположение, что бандит, пытавшийся подорвать ЧОН, по-видимому, метнулся к польской границе.

Теперь, взволнованный новой чоновской тревогой, сторож уже был начеку. Заслышав лай собак, он обернулся и увидел Бобыря, бегущего в странном наряде.

Старик мигом воскресил в памяти годы гражданской войны и таких вот точно пилсудчиков, шагавших по улицам нашего города под командой приехавших из-за океана американских инструкторов. Сейчас у сторожа была полная возможность отличиться.

Дрожащими пальцами сторож оттянул курки дробовика и, сбегая с крыльца магазина, крикнул грозно:

— Стой пся крев!

За звоном сабли, за лаем собак Бобырь не услышал окрика.

— Ах ты, панская морда! — заорал сторож и пальнул Сашке под ноги дуплетом из обоих стволов старинного охотничьего ружья.

Бобырь подпрыгнул и взял круто вправо. Глубокая, разрытая водопроводчиками еще с осени, наполненная талой водой и ржавыми листьями канава пересекала Рыночную площадь. Саша думал с ходу перепрыгнуть канаву, но ботинок его скользнул по глинистому скату, и Бобырь с разгона шлепнулся лицом в ледяную воду...

Самое-то обидное, что на этот раз тревога оказалась ненастоящей. Просто начальник штаба ЧОНа Полагутин, для того чтобы в последний раз собрать всех коммунаров, воспользовался старым, испытанным сигналом.

Каждому, кто, подбегая к штабу, хотел получить винтовку, Полагутин показывал рукою на мостовую и говорил:

— Давайте строиться, товарищи. Без оружия...

Когда все коммунары построились перед зданием, как-то непривычно себя чувствуя без винтовок, Полагутин, позванивая шпорами, сбежал с холмика на мостовую и сказал:

— Хочу вам сообщить, товарищи коммунары, новость, быть может для кого-нибудь и неожиданную: части особого назначения и в пограничных округах Украины распускаются. Все оружие поступает в распоряжение окружного военкомата. Там же, на общих основаниях, будет проводиться военная подготовка призывников и запасных. Сильнее мы стали, товарищи, оттого и такое решение приняло руководство нашей партии. Красная Армия одна сможет в случае чего защитить страну и наши границы. Вот котовцы к нам прибыли на укрепление границы, слышали, надеюсь?..

...В то самое время, как Полагутин, не повышая голоса, запросто беседовал с коммунарами, за домами, на Рыночной площади, прокатилось два выстрела, отчаянный визг Бобыря прозвенел в ночной тишине, потом в ответ раздались отдаленные свистки сторожей у Старой крепости, и снова все стихло. Будь то винтовочная пальба, тогда, разумеется, все коммунары двинулись бы сразу туда, но многих успокоило, что звуки выстрелов были глухие, как из простого охотничьего ружья.

Полагутин прислушался и, как бы невзначай заметив: «Что-то случилось у лесопильных складов», громко и спокойно объявил:

— Все, товарищи. Можно с песнями и по домам!

В разные стороны надо было идти коммунарам: одним — на Подзамче, другим — на Русские фольварки, третьим — на Выдровку, а ячейке мукомолов еще

дальше — к хутору Должок, но все старшины, как бы сговорившись, повели свои взводы по Кишиневской, к Рыночной площади, чтобы узнать: а что же все-таки случилось у лесопильных складов?

В последний раз шагая в чоновском строю по Кишиневской, коммунары запели любимую песню:

Прочь с дороги, мир отживший,
Сверху донизу прогнивший,
Молодая Русь идет
И, сплоченными рядами
Выступая в бой с врагами,
Песни новые поет.

Прочь с дороги все, что давит,
Что свободе сети ставит...
Зла, насилия жрецы,
Вам пора сойти со сцены,
Выступаем вам на смену
Мы, отважные борцы,

Мы, рождённые рабами,
Мы, вспоенные слезами,
Мы, вскормленные нуждой.
Из тюрьмы, из злой неволи
Рвемся все мы к лучшей доле,
Рвемся мы с неправдой в бой...

...И не успели чоновцы, по словам ребят, приближаясь к магазину Церабкоопа, пропеть всю эту песню, как им открылось незабываемое зрелище.

Арестованный сторожем, мокрый и разозленный, Сашка Бобырь, то и дело хватаясь за искусанные ляжки, орал:

— Кто тебе дал право стрелять, дубина стоеросовая? Ты же убить меня мог, психопат несчастный! Я же артист!..

Сторожу было досадно не меньше, чем жертве его ошибки — Бобырю. Ведь патроны казенные расстрелял зря! Но разве мог сторож, старый царский фельдфебель, так сразу, да еще при всех коммунарах, признать свою вину и отпустить Бобыря?

Озадаченный, держа наперевес ружье и оглядываясь, он бурчал:

— Артист... Знаем мы таких артистов... Вот пойдем в ГПУ, там разберутся, кто ты есть такой и какое право имеешь в панской форме по советскому городу гонять...

ТИКТОР НАСТУПАЕТ

Бюро собрали вечером в слесарном цехе фабзавуча. Длинная эта комната казалась слишком большой для такого маленького заседания, особенно в вечернее время, когда в школе стало тихо.

Мы расселись на верстаках.

Яшка Тиктор, тихонечко посвистывая, сидел напротив меня. Вернее — не сидел, а полулежал, опираясь локтем о цинковую обивку верстака. Нижняя губа Тиктора была выпячена, светлый чуб лохматился над широким лбом, козырек клетчатой серой кепки был приподнят. Он чувствовал себя хорошо.

— Начали, товарищи! — тряхнул головой Никита и вышел в проход между верстаками.— Повестка у нас сегодня маленькая, останется еще время и зачеты готовить. Два вопроса обсуждаем: первый — о поведении члена комсомола Якова Тиктора, а второй — разбор заявления Тиктора о поступке комсомольца и члена бюро Василия Манджуры. Ну, если будет у кого что в разном — само собою понятно, обсудим. Возражения есть?

— Прошу мое заявление поставить первым,— буркнул Тиктор.

— Это почему?

— А потому, что я его подал тебе два дня назад.

— Ну и что из того?

— Заявление написал, а ты о моем поведении хочешь говорить! А какое такое мое поведение, не понимаю. И где у тебя основания?

— Основания? — Никита нахмурился, и его мохнатые черные брови сдвинулись над переносицей.— Ну что ж, Яков, пройдем с тобой на Центральную площадь, и я покажу разбитое окошечко в одной пивной — еще сегодня оно бумагой заклеено,— а ребята нас тут подождут... Как, товарищи, согласны? Подождете?

Хлопцы засмеялись, и Тиктор сразу изменился в лице.

— Ты свои штучки брось! — со злостью сказал он Никите.— Давай лучше голосуй!

— Проголосовать всегда можно,— сказал удивительно спокойно Коломеец.— Надо прежде условиться, что именно голосовать. И я думаю, что мы обсудим данные вопросы в порядке, так сказать, исторической последовательности.

— Как это? — не понял Тиктор.

— А так: вечером двадцать первого февраля комсомолец Яков Тиктор пошел в пивную нэпмана Баренбойма, напился там до положения риз, затеял в пьяном виде драку, разбил витрину, опоздал на чоновскую тревогу...

— ЧОНа уже нет, это неважно! — перебил Тиктор.

— Очень важно! — сказал Коломеец резко.— Нет частей особого назначения, они слились со Всевобучем — это верно, но у нас была и остается строгая военная дисциплина, обязательная для коммуниста и комсомольца. Повторяю: вечером двадцать первого февраля комсомолец Яков Тиктор вел себя иначе, чем должен вести себя член Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Это первое. Второй вопрос: в ночь с пятого на шестое марта комсомолец Василий Манджура ехал в одном вагоне с бежавшим контрреволюционером Печерицей и, по мнению Тиктора, умышленно не задержал его. В таком порядке давайте и будем разбирать оба эти вопроса...

Неожиданно и страшно прозвучали в тишине полутесной слесарной жесткие слова Никиты: «...ехал в одном вагоне с бежавшим контрреволюционером Печерицей и, по мнению Тиктора, умышленно не задержал его».

Так вот какую яму вырыл мне Тиктор! «Ах ты негодяй!» — чуть не выкрикнул я.

— Голосую,— предложил Никита.— Кто за предложение Тиктора, чтобы его заявление разбиралось первым?

Молча сидели члены бюро. Лица у всех были строгие и задумчивые.

— А кто за названный порядок обсуждения?

— Зачем голосовать, товарищ Коломеец? — крикнула Галя.— Ясно же...

— А вдруг есть воздержавшиеся? — сказал Никита и принялся считать голоса.

Маремуха тоже хотел было поднять руку «за», но, вспомнив, что он только кандидат бюро и ему не дано право голосовать, словно обжегшись, сунул пухлую ладошку за спину.

— По-моему, большинство... Приступаем?..

— Конечно, сговорились!.. Своя ведь шайка-лейка...— исподлобья глядя на Коломейца, буркнул Тиктор.

— Ты, кажется, хотел что-то сказать, Яша? — бледнея, спросил Никита.

— Он... он хочет сказать... что его надо призвать к порядку! Этот известный Мочеморда,— вдруг очень пискливым, сорвавшимся от волнения голосом выпалил Петро.

— Тише, Маремуха, тебе я слова не давал,— остановил Петьку Коломеец и, обращаясь к Тиктору, сказал тихо и очень спокойно: — Говори, Тиктор, говори смело, не бойся, все, что на душе есть, говори, чтобы не мог потом пожаловаться: «Коломеец мне зажим самокритики устроил». Ты ведь, как я погляжу, и на такие провокации способен...

— Да чего уж говорить — разыграно как по нотам! Давай валяй прорабатывай...— бросил Тиктор лениво и, болтая ногами, залез подальше на верстак.

Коломеец, сдерживая себя, пропустил мимо ушей последние слова Тиктора и тихо начал:

— Когда комсомолец пьет и хулиганит, то этим самым...

— Я пил на свои, и вам нет до этого никакого дела! — грубо выкрикнул Тиктор.

И вот здесь произошло такое, что заставило вздрогнуть каждого из нас. Никогда за все годы школьной жизни мы не видели Никиту Коломейца таким взволнованным, разгоряченным, как в этот тихий вечер в слесарной мастерской фабзавуча.

— Негодяй! — крикнул Никита так резко, что эхо прокатилось в соседнем, токарном, отделении.— Ты еще хвастаешь, что пил на свои. Кто тебе дал эти «свои»? Кто научил тебя ремеслу? Кто из тебя человека делает? Кто стремится, чтобы ты жизнь свою прожил честно, с пользой для общества? Да разве для того наши отцы свободу тебе завоевали, чтобы ты, пьяный как свинья, марал в первом попавшемся кабаке почетное звание комсомольца, чтобы ты якшался с гнилью всякой, с нэпманами-спекулянтами, которые спят и видят нашу смерть? А по ним давно тюрьма плачет! Они тебя опутывают, а ты с ними чокался, лобызался. Где Бортаевский сейчас, заказчик твой, «честный кустарь», как ты его называл? Посажен за контрабанду. Пойди в ячейку милиции, поговори с уполномоченным угрозыска Гранатом о своем дружке. Он его дело ведет. Разве для того гибли на каторге, умирали в царских тюрьмах, на виселицах лучшие люди России, чтобы рабочий подросток Яков Тиктор спал в грязной луже на Прорезной, когда его товарищи с винтовками в руках охраняют город от всякой петлюровской нечисти, от агентов мирового капитала?.. Да еще мало того: сам нашкодил, а другого захотел обвинить. «Дай,— думает,— попробую водичку замутить. Авось шум подымется, и я тем временем вынырну сухим!» Эх, ты! Думаешь, нам не ясно, для чего ты подал заявление на Манджуру? Что мы — дети, думаешь? Не понимаем, что ли, почему это ты вдруг не поленился на трех листиках заявление накатать? Да еще одиннадцать грамматических ошибок в нем! Ой, Яша, Яша, грубая это работа, прямо скажем... Мы не наказывать тебя сюда собрались — ты наш товарищ, и мы хотим тебе сказать: послушай, Тиктор, подумай о своем поведении! Ты можешь прожить свою жизнь красиво, со смыслом. Сотри пену прошлого! Не обливай себя грязью! — Передохнув, уже тише, заметно успокаиваясь, Никита сказал: — Другой бы на твоем месте сказал просто: «Ну, ошибся, было такое дело, прикоснулся к этой проклятой паутине. Постараюсь, чтобы больше этого не случилось». И все. А ты бузишь, и выходит — ты один прав, ты один на верной дороге, все другие комсомольцы сбить тебя хотят...

— Ладно уж, не агитируй! Слышали! — огрызнулся Тиктор.

— Как ты сказал? — спросил Никита.— Я не расслышал. Повтори еще раз, пожалуйста.

— Кукушку попроси на Прорезной повторить, летает там часто, а я тебе куковать не буду! — И Тиктор вызывающе тряхнул чубом.

Бледный, сжав губы, Никита в упор глядел на Тиктора.

Яшка ухмылялся.

— Дай-ка, Никита, мне слово,— попросила дрогнувшим голосом Галя Кушнир.

Я думал, Галя уговаривать Тиктора будет. И все так думали.

— Говори, Галя,— сказал Никита.

— Я думаю, товарищи, что будет лучше всего, если Тиктор сразу положит на стол комсомольский билет. Мне очень стыдно, что билет еще у него в кармане,— сказала Галя звонко и посмотрела на Яшку с таким презрением, что тот, не выдержав ее взгляда, опустил глаза, деланно засуетился и, вытаскивая из верхнего кармана толстовки желтенький с картонной коркой комсомольский билет, сказал:

— Милости просим, барышня,— и протянул Гале билет.

— Подожди, Кушнир,— сказал Никита и задал вопрос: — Кто за то, чтобы освободить Тиктора от этого документа?

Все подняли руки. И тут Яшка Тиктор, кажется, увидел, что зашел слишком далеко.

— Посмотрим еще, что собрание скажет,— сказал он с чуть заметной надеждой в голосе.

— Конечно! Посмотрим, что еще собрание скажет, Тиктор,— повторил Коломеец слова Яшки и объявил: — Переходим к следующему вопросу.

Яшка шумно спрыгнул с верстака и, оправляя кожанку, стряхивая стружки, пошел к выходу.

— Куда же ты, Тиктор? Обсуждаем твое заявление,— остановил Яшку Коломеец.

— Без меня обойдетесь. Чего уж тут заявлять! Все равно не поверите.— И Тиктор пожал плечами.

— Ты можешь остаться на бюро во время разбора твоего заявления,— сказал Никита.

— Спасибочки! Пойду лучше погуляю: весна на дворе! — сказал Тиктор, желая показаться веселым, и вышел из слесарной.

Видимо, для того чтобы мы не подумали, что он испугался, Яшка, проходя в темноте мимо токарных станков и громыхая сапогами, запел:

Шумит ночной Марсель
В притоне «Трех бродяг»...

Мы подождали, пока за ним гулко захлопнулась входная дверь, и тогда, вздохнув, Никита посмотрел на всех нас и с горечью сказал:

— Да... Приступаем к следующему вопросу.

А «вопроса»-то не оказалось с уходом Яшки! Никто не захотел поддержать его обвинение против меня.

После заседания я отозвал в сторону Коломейца и спросил:

— Скажи, Никита, зачем ты скрывал от меня это заявление? Я ведь так мучился...

— Я скрывал от тебя? Ты глубоко ошибаешься.

— Ну да! Ведь ты ничего мне не говорил.

— А зачем прежде времени всякие глупости говорить! Я не хотел понапрасну трепать тебе нервы. Пойми ты: этим заявлением Тиктор показал свое лицо. И я приберегал его для того, чтобы все хлопцы поняли, до чего докатился этот Тиктор. Бывает же так: отец — пролетарий, железнодорожник, а вот парня засосало мелкобуржуазное окружение...

ИЩЕМ КАРТУ

Красив наш город, особенно весной, когда зацветают ивы на Старом бульваре и древние, обомшелые стены Старой крепости, каменные городские ворота, сторожевые башни, прислоненные к скалам вдоль берегов реки, покрываются зеленью и цветами! Из любой щели пробивается к солнцу молодая поросль, на каждом башенном карнизе, куда ветер понамел за многие сотни лет немало земляной пыли, расцветает сурепка, нежные мохнатые одуванчики раскачиваются на тонких пустотелых трубочках, вьется кое-где по отвесным стенам, впиваясь корнями в каждую щелочку, дымчатый, с листьями твердыми и как будто неживыми, цепкий, злой плющ, даже поверх зубчатых башенных коронок растет мягкая, сочная трава, и никто не рвет ее там, разве бродячая коза заберется на карниз башни по крепостной стене, прогуливается там, над пропастью, пощипывая зелень, и тяжело наливающееся пахучим молоком вымя бьет ее по ногам.

Пройдешь через каменные ворота Старого города; хоть день и солнечный, но холодный ветер продувает насквозь. Оглянешься — и видишь, как высоко к небу подымаются отвесные стены семиэтажной башни Стефана Батория, построенной по приказу польского короля,— мрачными они кажутся, особенно с теневой стороны. Ничего уж, думается, не вырастет здесь, да нет — вон где-то на высоте четвертого этажа зеленеет чудом выросший кустик не то колючего терновника, не то боярышника, и, покачиваясь на ветвях его, звонко поют над городом две малиновки.

Весной над берегами реки, еще влажными от весеннего половодья, первыми цветут ивы-бредины. Их золотистые пахучие сережки появляются на ветвях куда раньше, чем липкие почки выбросят первые блестящие листики. И когда уже ива отцветает, хорошо бывает днем пойти на Старый бульвар и послушать там, как потрескивают шишки на полуголых ветвях иглистых сосен.

Бродишь по аллеям Старого бульвара и только слышишь то там, то здесь нежный, едва уловимый треск, словно белка хвостатая скребется где-то на самой макушке по стволу, и вдруг мелькнет перед глазами коричневая шишка, упадет

с ветки, подпрыгнет раз-другой на гаревой дорожке и закатится в молодую еще траву. То и дело теплым ветром сносит с иглистых сосен целые тучи желтой пыльцы.

А надоело тебе бродить под соснами — сядешь на скамеечку и видишь: желтые лужайки цветов на бастионах крепости, яркие пятна пахучей сурепки покрывают израненные турецкими ядрами стены круглых боевых башен, выдержавших осаду «наездников» из Константинополя, а около въезда на мост будто кто-то расстелил сушить на барьерчике пестрые флаги. Но это не флаги: это селянки из Приворотья вышли продавать цветы горожанам. Корзины у них полны букетами красных, белых, желтых, бледно-розовых тюльпанов; перевязанные бечевочками, мокнут в тряпках пучки белых ландышей. Давно уже протянулись по могильным плитам старинных кладбищ молодые стебли блестящего барвинка — «могильницы», зазеленели уже огороды перед мазанками на предместье Подзамче, и первые, нежные еще усики фасоли, душистого горошка, лиловой повилики зацепились за плетни, чтобы к июню выглянуть уже на улицу.

Грустно думать, что в такую весеннюю пору нам придется покинуть родной город.

Из Харькова не было никакого ответа.

Иногда по ночам я просыпался и, видя, как в общежитие сквозь открытые окна пробирается лунный свет, прислушиваясь к ровному храпу соседей, со страхом думал о дне выпуска.

Харьков молчал. Порой мне казалось, что я вовсе там и не был, что я не видел секретаря Центрального Комитета в его кабинете на улице Карла Либкнехта, а только рассматривал его портрет в журнале «Всесвіт».

Одно мое горе развеялось уже в тот вечер, когда Никита проводил заседание бюро. Как я был неправ, полагая, что Коломеец может думать обо мне плохо и замышляет что-то недоброе против меня! Прочитав тогда, на бюро, заявление Тиктора, Никита сказал во всеуслышание:

— Вот здесь Тиктор пишет: «Ввиду того, что Василий Манджура помог дать ходу контрреволюционеру Печерице, я, как сознательный рабочий-подросток, считаю, что Манджуру за это надо обязательно исключить из Коммунистического Союза Молодежи». Думается мне, хлопцы, что вы понимаете, какая цена этим обвинениям? Манджура упустил Печерицу не потому, что умышленно хотел его упустить. Манджура допустил промашку потому, что не знал, что за фрукт Печерица и по какой причине уезжает он из города. Не знаю, как вы, но лично я вполне доверяю Манджуре.

А через два дня на открытом комсомольском собрании Никита говорил:

— Манджура выполнил свой долг: он поехал в Харьков и добился того, что вы, окончив фабзавуч, поедете на заводы...

Тиктор хмуро выкрикнул с места:

— Это еще большой вопрос — добился ли! Он треплется, как белье на ветру, а вы ему верите...

— Да, мы верим ему,— заглушая ворчание Тиктора, крикнул Никита,— а вот ты не заслужил пока нашего доверия! И тебе мы не верим. И так будем жить дальше: людям хорошим будем верить, а плохим, пока они не перестанут быть плохими, верить не будем...

И хотя Никита при всех сказал, что верит мне, верит в то, что мы поедем на большие заводы Украины, я очень побаивался, как бы ему не пришлось сказать другое.

— Поедем, как же! — сказал однажды Фурман Петьке Маремухе, не видя, что я стою у него за спиной.— Поедем... навозные кучи перекапывать!

До окончания школы оставалась неделя...

Был свободный от занятий субботний вечер, и мы с хлопцами после работы двинулись через Старый город к водопаду. Река, разлившаяся было в дни половодья, давно вошла в свои зеленые берега, очистилась от всякого мусора и уже манила к себе купальщиков.

Хотелось поглядеть, как отцветают на Старом бульваре каштаны, да к тому же Бобырь похвастался сегодня в обед, что он мог бы, пожалуй, выкупаться. Мы хотели поглядеть, как первые купальщики прыгают в холодную воду с деревянного мостика, повисшего внизу, над самым водопадом. Конечно, мы знали: Сашка

не станет прыгать с мостика в кипящий водопад — он не такой шальной, чтобы ломать себе голову на скалах; где-нибудь с бережка он потихоньку войдет в покойное течение разлива. Мы с Петром поймали Сашку на слове, он попытался отвертеться, но не тут-то было. Так и порешили: Саша вечером выкупается при нас!

В этот субботний вечер в Старом городе было людно. Гуляющие так забили Почтовку, что по тротуару нельзя было идти.

Маремухе недавно сшили новую синенькую рубашку с кармашком на груди. Сегодня он надел ее в первый раз. Сатин плотно облегал его широкую грудь.

Мне в последней посылке отец прислал светло-кофейного цвета сатиновую косоворотку с голубыми цветочками, вышитыми на воротнике, и полосатые брюки. Я тоже решил сегодня обновить отцовские подарки.

Саша Бобырь, который давно копил деньги и за два месяца не съел ни одной булочки, наконец размахнулся: в магазине Текстильторга купил себе серенький костюмчик-тройку из шевиота «елочка». Увидев его в первый раз в этом костюме, Никита сказал:

— Знаешь, Сашок, чего тебе теперь не хватает? Во-первых, золотой цепочки для солидности, а потом галстука. На золотую цепочку у тебя, конечно, денег не хватит, а вот галстук, я думаю, ты и даром не возьмешь, ибо знаешь, что такое настоящая культура и что такое мелкобуржуазное мещанство, и не захочешь чтобы тебя на очередном вечере самокритики проработали. Верно ведь, Сашенька, дорогой ты наш товарищ Бобырь?..

У торговки возле моста мы купили «кокошков» — жареной, растрескавшейся на горячей сковородке кукурузы — и шли, веселые, посредине мостовой. Отгоняя от себя грустные мысли, я тоже улыбался, заранее представляя, как-то наш дружок полезет в холодную воду.

Мы дошли уже до городской ратуши. Под ней сияла новая, ярко освещенная изнутри витрина первого в городе образцового комсомольского кафе. Это кафе открыли совсем недавно комсомольцы ячейки «Нарпит» в помещении бывшей баренбоймовской пивной. Финотдел прижал частника высоким налогом, нэпман не выдержал и сдался, и все его помещение, уходящее со своими службами далеко под ратушу, передали в руки молодежи. Комсомольцы городской электростанции обновили здесь проводку, ячейки коммунальников покрасили стены и привели в порядок полы, столяры из нашего фабзавуча на комсомольском субботнике, под руководством Кушнира, сделали для нового кафе отличные столики; даже мы, литейщики, у себя в цехе отлили для него новую плиту с конфорками.

Первое комсомольское кафе было гордостью каждого комсомольца нашего города, и не только потому, что в нем была частица и нашего труда: мы видели и понимали, что именно так надо наступать на частника и выгонять его навсегда из советской торговой системы.

Сейчас, сквозь новое стекло, мы с удовольствием увидели, как ходят между нашими фабзавучными столиками молоденькие официантки в белых фартучках, разнося посетителям пахучий китайский чай в граненых стаканах, кофе со взбитыми сливками и сельтерскую воду в синих сифонах с оловянными краниками и с сиропом «Свежее сено». Чистота и порядок, а самое главное — сознание того, что здесь тебя никто не обманет, привлекали в кафе много публики. Почти все места за столиками были заняты.

Когда мы задержались около кафе, оттуда, пропуская вперед жену и приоткрывая перед нею дверь, вышел Вукович. Я снял кепку и поклонился.

Вукович улыбнулся мне и очень хорошо козырнул: по-настоящему, не какнибудь, а прикоснувшись к лакированному козырьку пограничной фуражки кончиками пальцев вытянутой руки.

— Кто это, а, Василь? — спросил с любопытством Саша Бобырь.

— Это... товарищ Вукович,— сказал я небрежно.

— Это и есть Вукович? Тот самый Вукович? — глядя вслед уходящему пограничнику, протянул Бобырь, явно завидуя моему знакомству.— Смотри ты... Я и не знал.— И добавил:— Он с тобой поздоровался...

— А что ж такого? Он мой хороший знакомый.

— Да разве, Сашка, ты его не видел, когда мы в ЧОНе дежурили? — спросил Маремуха.

— Не... видел,— промямлил Бобырь, смущаясь.

И я вспомнил вдруг, как Саша прикидывался больным в то самое время, когда Вукович и Полевой бродили по двору штаба, выясняя, куда же мог скрыться неизвестный диверсант. Все хлопцы выглядывали тогда из караулки и видели Вуковича; один лишь Бобырь лежал на топчане и выстукивал зубами, изображая лихорадку...

— Знаете, хлопцы, а может, мы завтра утречком пойдем на речку? — сказал вдруг Бобырь.— С утра вода ведь еще холоднее...

— Ну, знаешь! — накинулся на Бобыря Маремуха.— Значит, пари проиграл! Веди, угощай сельтерской водой. Но смотри — по две порции сиропа!

— Эй, хлопцы! — послышались вблизи знакомые голоса.

Перескочив через ограду палисадника, к нам бежали Фурман и Гузарчик.

— Так вы зачеты готовите! — сказал назидательно Маремуха.

— Какие там зачеты! — прямо завопил запыхавшийся Гузарчик. — Скажи-ка, где сейчас можно карту Украины найти?

— Вот чудаки! Да у нас же в фабзавуче есть карта. В том шкафу, что в канцелярии,— сказал Маремуха.

— А зачем вам карта? — спросил Бобырь.

— Я знаю, что в шкафу,— не отвечая, пробубнил Гузарчик, озираясь,— но ключ-то ведь от того шкафа у делопроизводителя, а его до послезавтра не будет.

— Для чего карта, скажи? — спросил я.— Вы же техмеханику сдаете.

— Что значит «для чего»? Смешной разговор! Ты разве не знаешь? — И вдруг, хлопая себя по лбу, Моня крикнул: — Невежды, вы ничего не знаете! Едем!!

— Как — едем? — встрепенулся Бобырь.

— Едем, едем, едем!.. Ура! Виват!! — заорал Монька и запрыгал на тротуаре, отбивая чечетку.

— Да объясните толком вы, черти! — крикнул я Гузарчику.

— Мы сидим, понимаешь, учим техмеханику — и вдруг видим: почтальон. И в руках у него письмо. Толстое такое, с печатями сургучными. «Где,— говорит,— ваш директор? Письмо ценное у меня для него». Повели мы, понимаешь, почтальона к Полевому в комнату. Тот расписался, а мы не уходим. Ждем. Словно чуяли! Я сразу и говорю: «Давайте мы, товарищ директор, поскорее печати оборвем». Оборвали. Раскрыли письмо, а там — путевки! — И Фурман, выпалив скороговоркой эту новость, даже закашлялся от волнения.

— Через час экстренное собрание в школе! — ввернул Монька.— Велено всех из города созвать!

— Куда путевки? — суетливо спросил Бобырь.

— На заводы всей Украины. Нам! Понимаешь? От ВСНХ! — Фурман порылся в карманах и вытащил оттуда длинненький листочек бумаги.— Я все списал... Читай, Гузарчик!

— «Одесса — два места...» — нараспев прочел Моня с такой гордостью, будто это он сам выписывал путевки и выдавал их хлопцам.

— Я поеду в Одессу, факт! — загорелся Бобырь.

— Да, только тебя там и ждут! — насмешливо сказал Фурман.— Там из таких конопатых мыло варят.

— Ну ты... не задавайся! — обиженно возразил Бобырь.

— Да не мешай, Сашка! — попросил Маремуха.— Пусть человек читает... Давай, Монус.

— «Дружковка, Торецкий завод — три места, Енакиево — четыре места, Гришино — два места...» Фурман, ты не знаешь, где Гришино? Ты там под вагонами не ночевал, случайно?

— Понятия не имею! — пробасил солидно Фурман в ответ.

— «...Макеевка — пять мест, Алчевск — четыре места, Луганск — одно место...» Смотри, Луганск, кажется, большой город, а почему туда только один поедет? Странно!..

— Читай, читай! — толкнул Гузарчика Маремуха.

— Читаю... «...Краматорская — два, Запорожье — четыре, Мариуполь — пять...» Это где-то на море, кажется.

— На море,— буркнул наш всезнайка Фурман,— только мелкое дно очень: идешь, идешь — и все до коленей.

— «...Бердянск — три места, Киев — пять мест...» Даже в Киев, смотри! Прекрасный город! «...Большой Токмак — четыре...»

— Дохлое дело — так читать! — остановил Моньку Петро.— Как слепые... Поди знай, что такое Большой Токмак, где он! Выберешь, а потом...

— А никто тебе выбирать самому и не даст! — сказал Фурман.

— Все равно... Я хочу знать заранее, куда мне выпадет,— бросил Петро.— Давай поищем карту. Может, в комсомольском клубе есть? Пошли, хлопцы, в клуб! Еще до собрания успеем.

И мы пятеро, задыхаясь от быстрой ходьбы, направились в клуб. Мы шли, размахивая руками, мимо отцветающих каштанов, мимо тенистого, густого парка. Оттуда доносились мягкие звуки гитары и чья-то песня:

Мы идем на смену старым,
Утомившимся борцам
Мировым зажечь пожаром
Пролетарские сердца...

Хорошо шагать в такт этой песне, зная, что все опасения уже позади!

Хлопцы переговаривались, шутили; только я один шел молча, но мне было радостнее всех: я шагал мимо тенистого парка и вспоминал Харьков, весеннее утро в заваленном талым снегом университетском скверике, ясное солнце, ударявшее мне в глаза, и так же, как тогда, весело билось мое сердце.

— Человек, не ставящий перед собой никакой цели в жизни,— пропащий человек,— так начал свою речь Полевой на экстренном собрании учеников в помещении нашей слесарной.— Такой человек,— продолжал Нестор Варнаевич,— обычно пожиратель хлеба. А вы, хлопчики,— будущее рабочего класса, единственной силы, которая способна переделать мир по-новому. Значит, каждый из вас, если он только хочет быть настоящим человеком, обязан ставить перед собой все новые и новые цели. «Почему я не могу, когда я могу?» — так говорите себе всегда, столкнувшись с трудностями! Воспитывайте в себе чувство ярости к неудачам. А они, конечно, будут на вашем пути. Вы видели их уже здесь. Мы были на волоске от закрытия. Враги украинского народа — националисты, наемники мировой буржуазии — хотели повредить нам и здесь. И что же? Нашли правду в Харькове, в Центральном Комитете партии. Нашли! И вот вам результат.— С этими словами Полевой поднял со стола пачку путевок.— Это мандаты в вашу будущую жизнь. Но они могут оказаться простыми клочками бумаги, если вы когда-нибудь успокоитесь, скажете себе: «Баста, я всего достиг, сейчас можно на боковую!» Не отходите в сторону, повторяю, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни — и снова вперед!.. Вы — преобразователи мира, поймите это! Кому, как не вам, советской молодежи, принадлежит будущее! Вы, мои хлопчики,— первые всходы революции. Великий Ленин лично заботился о ваших судьбах. Гордитесь этим! Свое детство вы провели еще в старом мире. Многие из вас помнят еще городового, стоявшего на перекрестке Почтовки как символ старого прошлого. Это прошлое еще будет хватать вас за ноги. Отбрасывайте от себя старую гниль. У вас впереди — великое будущее, с вами в ногу шагает молодость страны. Радуйтесь этому!

Я очень хотел бы, друзья, встретиться с вами через десяток лет, когда из молодых рабочих вы станете мастерами, инженерами, командирами производства, а самое главное — коммунистами.

Готовьте себя к вступлению в партию с первых же минут работы на новых заводах. В минуты трудностей и радости объединяйтесь вокруг партии. Еще будучи беспартийными, воспитывайте в себе лучшие качества большевиков...

Вы читали вчера речь Михаила Ивановича Калинина, обращенную к выпускникам Свердловского университета.

Там, в этой речи, есть замечательная фраза: «Самое ценное у партийного работника, чтобы он сумел празднично работать и в обыкновенной будничной обстановке, чтобы он сумел изо дня в день побеждать одно препятствие за другим,

чтобы те препятствия, которые практическая жизнь ставит перед ним ежедневно, ежечасно, чтобы эти препятствия не погашали его подъема, чтобы эти будничные болотные препятствия развивали, укрепляли его напряжение, чтобы в этой повседневной работе он видел конечные цели и никогда не упускал из виду эти конечные цели, за которые борется коммунизм».

И, повторяя сейчас вам эти слова, я, со своей стороны, советую вам, ребята, работать празднично, не опасаясь препятствий, все время видя светлое будущее коммунизма.

Там, где вы будете работать, всегда вырабатывайте в себе большое желание узнать то, чего вы еще не знаете. Не останавливайтесь! Никогда не останавливайтесь! Бойтесь двух слов: «усталость» и «успокоение».

После вас придут другие. Им будет куда легче, но они станут завидовать вам, ибо никто из них не увидит того, что придется пережить и увидеть именно вам... Скоро, очень скоро вы покинете эту школу. Мы выпишем вам литера, и уедете вы на большие заводы. Там ждет вас большой труд. Любите труд, честно относитесь к своим обязанностям... В добрый путь!..

Слушая эту взволнованную, необычайную для нас речь Полевого, мы понимали, что ему очень жаль отпускать нас. Он говорил все это, путаясь и сбиваясь, как бы размышляя вслух, и голос его временами дрожал, но видно было, что слова его идут от души. И больше всего мне запомнились слова: «Вы — первые всходы революции!» Было в этих словах что-то неповторимо прекрасное. Я как бы увидел широкое — куда глазом ни кинь — зеленое поле пшеницы, засеянное ранней весной руками великого человека. Уже пронеслись над ним первые весенние грозы, уже завязываются колоски на стройных сочных стебельках, и тянутся они все выше, к сияющему где-то в лазурном небе горячему солнцу...

Собрание закончилось быстро. Оставалась последняя загадка: кто же куда поедет? Волнуемые этой мыслью, мы снова пошли бродить по родному городу.

В НОВОМ ГОРОДЕ

Мы вышли на вокзальную площадь, и в ту же минуту сильный порыв ветра сорвал соломенный картуз с головы извозчика, ожидавшего со своей линейкой пассажиров у вокзала. Будто легонький сосновый обручик, картуз, подпрыгивая, покатился через площадь. Загорелый коренастый извозчик мигом соскочил с облучка и пустился вдогонку.

— Тю! Тю! Держи, Володька! На Кобазову гору занесет! — кричали, смеясь, другие извозчики.

Гонимый ветром, картуз катился зигзагами, и, уже настигая его, Володька стал приседать, широко расставляя ноги — так, словно курицу ловил.

Несмотря на конец мая, здесь было на редкость сумрачно и прохладно. Влажный морской ветер подымал рябь в лужах, блестевших на площади. Низенькие, с побеленными стволами акации гнулись от ветра, а по небу, едва не цепляясь за вокзальную крышу, плыли тучи — мрачные, черные, набухшие дождем.

Вспомнился очень ясно в эти минуты первого знакомства с новым городом оставленный нами где-то далеко позади, на краю страны, наш родной пограничный городок: скалистый, поросший зеленью, залитый солнцем, овеваемый карпатскими ветрами. Вспомнились последние сборы, станционный перрон, митинг на станции и напутственные слова нашего комсомольского секретаря Никиты Коломейца: «Перед вами расстилаются широкие дали светлого грядущего. Будьте и впредь на этих новых дорогах жизни верными помощниками партии!»

Слова Никиты оборвал голосистый паровозный гудок. Все фабзавучники высунулись из окон вагонов и, протискиваясь между другими пассажирами, запели любимую песню.

Когда мы выйдем на кордон,
Пускай дрожат паны:
Мы — ЧОН!
Всемирный Октябрь
Придет, придет!..

Как прозрачно было весеннее небо в те минуты, когда проплыли перед нами знакомые строения вокзала, как солнечно все было вокруг!.. И вот тебе — нас сразу швырнуло в глубокую осень. И это еще юг называется?

...Отряхивая с донца картуза капельки воды и подбежав к нам, извозчик Володька крикнул:

— Ну что, молодые, поехали? Карета графа Бенгальского к вашим услугам! — И он ударил ладонью по лакированным поручням линейки.

Уговору насчет извозчика в поезде не было. Мы переглядывались.

Наш казначей Маремуха, озадаченно посапывая, держал руку в том кармане штанов, где у него хранились общественные деньги. Бобырь готов был ехать, не раздумывая, и с удовольствием поглядывал на линейку. Таких линеек в нашем городе не было — одни старомодные фаэтоны-балагулы.

Тиктор стоял поодаль, у стены, держа в руке тяжелый сундучок. Прищурив глаза, он разглядывал лежащую перед ним площадь, делая вид, что предложение извозчика его не касается.

Маремуха несмело спросил у меня:

— Так что ж, Василь, поедем?

— А может, пешком пройдемся? — сказал я.

— Куда пешком? — возмутился Бобырь.— Далеко!

— Давай поедем,— согласился я.— Интересно только, сколько он возьмет. Спроси-ка, Маремуха.

— Какая такса? — осведомился Петро.

— Божеская! — буркнул извозчик и, взбегая на крыльцо, взял у Петра его корзину с чайником из белой жести.— Садитесь, садитесь, голубчики! Не обижу. Это все ваше хозяйство? — И он показал на остальные вещи.

— Нет, постойте, мы так не поедем! — остановил я извозчика.— Скажите сколько, а потом сядем.— И тут же подумал про себя: «Знаем мы эти штучки! Теперь ласковый, сулит не обидеть, а там заломит — держись!»

— Вас четверо? — спросил, оглядываясь, извозчик.— Куда ехать: до курорта или на Кобазову гору?

— До центра,— сказал я твердо.— Вот за четверых сколько?

— Меня не считайте, я не поеду! — крикнул Тиктор.

— Почему? — спросил Маремуха.

— Извозчик — буржуйская роскошь. Сперва надо жилье отыскать, а потом на извозчиках кататься,— отрезал Тиктор. И, помахивая сундучком, он медленно сошел по ступенькам на площадь.

— Подожди, Яшка, так давай...— хотел было остановить Тиктора Маремуха.

Но я цыкнул:

— Пускай идет... Начинаются старые фокусы!

— Бедовый парень,— обиженно сказал извозчик, покачивая головой.— «Буржуйская роскошь» — смотри ты! Да я буржуев за миллионы не повезу. Я сам партизанскую карточку имею...

— Ну, так сколько до центра? — перебил я.

— Что же, по полтиннику с брата.

— Много,— сказал я.— Поторгуйся, Петро!

— А по скольку дадите? — испугался извозчик.

Петька бухнул:

— По двадцать копеек!

— Ну, добре,— согласился извозчик.— Поедем ради почина!

Первой он положил на линейку Петькину корзинку с чайником и хотел было класть мой фанерный чемодан, но тут я предложил хлопцам:

— Куда же мы поедем с вещами? Давайте лучше оставим вещи на хранение. И руки вольные у нас будут.

— А не покрадут? — спросил Маремуха.

— Чудак, кто покрадет! Хранение ведь государственное! — успокоил я нашего казначея.

Одну, общую, квитанцию на вещи мы вручили ему же, и Петро, напуганный рассказом о том, как меня обокрали в Харькове, с опаской косясь на смуглого извозчика, спрятал эту драгоценную бумажку в карман толстовки.

Мы расселись. Линейка весело затарахтела по камням.

С обеих сторон вдоль мостовой тянулись выложенные камнями канавки, залитые желтой водой. Низенькие белые домики, крытые то красной, то серой черепицей, стояли в глубине чистеньких двориков, усыпанных песком и мелкими ракушками.

Кое-где сквозь жерди заборов виднелись виноградники, молодые вишни, черешни, абрикосы; вспыхивали засаженные огненной настурцией и пионами клумбы.

Мы жадно разглядывали первую улицу города, в котором нам предстояло жить и работать.

На одном из угловых домов я прочел табличку: «Проспект Тринадцати Коммунаров», и надпись снова напомнила мне наш пограничный город, ЧОН и дорогое слово «коммунар».

— Давно дожди? — спросил у возницы Петро.

— Как шторм начался. Считай — третий день,— придерживая гнедую лошадь, сказал Володя.— А вчера град ударил, здоровенный. Не град — картечь! Виноград молодой побило.

— А раньше жарко было?

— Африка! — ответил извозчик.— Я полдня из моря не вылезал — такая жара стояла. Видишь, загорел как.

Веселее стало после этих слов извозчика. Значит, ветер и лужи на улицах — дело преходящее, временное, и в случае чего, коль не добудем скоро жилья, и на скамеечке бульварной переспать не страшно.

На тротуаре перед нами замаячила знакомая спина Тиктора. Он шел по направлению к городу широкими, размашистыми шагами, держа на плече зеленый сундучок.

Шагая упрямо один, он подчеркивал, что мы для него не компания. И хотя мы понимали это, каждому из нас сделалось стыдно. «Вот наш же фабзавучник, земляк, шагает с вещами пешком, а мы, и впрямь как буржуи какие, трясемся на шикарной линейке!» Самый совестливый и добрый из нас, Маремуха, не утерпел и шепнул:

— Давайте гукнем его, а, хлопцы?

— Гукнуть-то можно,— сказал я,— да он еще больше задаваться станет. Позабыл разве, как всю дорогу он нос драл? Хочет, чтобы к нему подмазывались, чтобы его просили. Дудки!

— Василь правильно говорит,— согласился Бобырь,— Яшка известный индуалист. Пускай сам попросится, если заморился.

Но Яшка и не подумал остановить линейку. Он шел, высоко подняв голову. Ветер развевал его пышный светлый чуб, лихо выбивавшийся у него из-под серой кепки. Злые глаза его были прищурены. Тиктор притворялся, что вовсе и не замечает нас.

— «Буржуйская роскошь»! Тьфу! — сплюнул Володька.— Вот кощей бессмертный, думает, я разбогатею от его двадцати копеек? Неси, скупердяй, свой сундук... Вы что, с ним из одного края, ребята?

— Да так, рядом...— ответил я уклончиво, не желая раскрывать перед посторонним наши личные взаимоотношения.

— Наверное, в дом отдыха приехали? — спросил извозчик, погоняя лошадь.

— С чего вдруг? — удивился Бобырь.

— Дикие, да?

— Какие «дикие»? — не понял я извозчика.

— Говорю — курортники дикие? Снимете себе частным путем комнатки и будете загорать на солнышке месяц-другой, ножки кверху.

Меня смутили догадки возницы, и я сказал строго:

— Мы на работу сюда приехали. Окончили в своем городе фабзавуч и получили направление на Первомайский завод имени красного лейтенанта Шмидта. Есть такой?

— Еще бы! Джона Гриевза бывший! Но туда же давненько набору не было! Свои наведываются до конторы изо дня в день...

Мы переглянулись.

— Наверное, с маленькими разрядами, потому?..— дрогнувшим голосом спросил Маремуха.

— Всякие. И с маленькими и с большими. Но если у вас направления, то, может быть...

— Да еще какие! — похвастался Бобырь.— Из Харькова, от ВСНХ Украины. Сам Феликс Эдмундович Дзержинский из Москвы распоряжения давал. А в тех путевках сказано: «Принять без всяких». Покажи-ка, Петрусь, мою путевку.

— Новое дело! — огрызнулся Маремуха.— Буду я тебе на таком ветру документы разворачивать!

«Смешной Бобырь, право! — подумал я.— И товарища Дзержинского для пущей важности назвал. Первый раз увидел человека и уже загорелся: хочет ему такие важные документы предъявлять».

Линейка, подпрыгивая, катилась по длинному проспекту Тринадцати Коммунаров. Володька изредка лениво похлопывал гнедую лошадь вожжой по шелковистому крупу.

На улице было совсем пустынно. Изредка встречались случайные прохожие. Город казался очень тихим. Чувствовалось, что каждый лишний человек здесь на счету.

«Если не все местные жители могут найти работу, то что же станет с нами? Ведь мы приезжие, да и специалисты не очень опытные. И родные наши остались далеко, и Полевой, и Коломеец, и Панченко... Некому помочь нам будет в случае чего!» — раздумывал я, и все беспокойнее становилось от таких мыслей.

— А жить вы где нацелились, хлопцы? — спросил извозчик.

— Да не знаем еще...— протянул Бобырь.

— А вы сюда на практику или насовсем? — с видимым интересом спросил извозчик.

— Если примут, то надолго,— пояснил я.

— Так слушайте, молодые! — заявил извозчик торжественно.— Я имею для вас квартиру. Сказка! Волшебные грезы! Городской парк по соседству, целое лето музыка играет. Если на крышу вылезти, можно кино бесплатно смотреть каждый четверг. У моей тетушки. Верное слово! Да и море рядом.

— Нам квартира не нужна. Нам бы только комнату одну,— сказал я недоверчиво.

— А почему ты, Василь, не хочешь квартиру? — спросил Саша.— Если две маленькие комнатки, то...

— Да! А может, тебе еще рояль туда притащить и гостиную отдельную, как у графа Потоцкого? — накинулся Петро на Бобыря.— Хочешь квартиру — подыскивай ее сам, а мы с Василем в одной комнате поселимся. Правда, Василь?

— Ясное дело! — буркнул я, понимая, что нам бы на одну комнату денег наскрести, а не то что на две.

— Вот у тетушки моей и будет для вас комната,— охотно согласился Володя.— Тетушка у меня очень симпатичная. Одна в целом доме живет. Сына ее махновцы зарубили, а она...

— А тетушка примет нас?

— Отчего же? Порекомендую — значит, все. Уж лучше вы будете жить, чем нэпманы какие. Приедут сюда, на море, жир спускать, да еще хрюкают: «Второй этаж, высоковато, сердце болит!» Хлопот с ними не оберешься. А вы будете тетке моей в самый раз.

— У вашей тетушки, выходит, собственный двухэтажный дом? — спросил я.

— Ага! Двухэтажный,— как ни в чем не бывало признался Володька.— Только мебели нет — это плохо. Но вам что? Вы люди молодые. Купите себе на первое время тропическую мебель — разные там ящики из-под апельсинов. Это недалеко... Н-но, Султан! — И с этими словами извозчик повернул налево.

Линейка съехала с мостовой и мягко покатилась по пыльной узенькой улочке.

Только этого еще недоставало: у частной домовладелицы жить! В ее собственном двухэтажном доме!

С каждой минутой я все больше мрачнел. Зачем только мы связались с этим веселым, не в меру разговорчивым извозчиком!

Но когда линейка круто остановилась на тихой приморской улице, залитой лужами недавнего дождя, и мы, разминая ноги, нерешительно спрыгнули на влажную песчаную землю и когда Володька познакомил нас со своей тетушкой — худой бабусей в длинной юбке, выяснилось, что у нее совсем пролетарский вид.

Тетушку звали Агния Трофимовна. Седоволосая, она была повязана простым, в черную горошинку, бумазейным платком.

Она вышла к нам на улицу с блестящим заступом в руках — этим заступом «буржуйка» сама перекапывала в огороде грядки.

— Вот, тетя, квартирантов тебе привез. Прошу любить и жаловать! — сказал весело Володька, щелкая длинным кнутом.

СТРАХИ МИНОВАЛИ

«Двухэтажным собственным домом» оказалась на самом деле маленькая, крытая желтоватой черепицей хатка, стоящая в глубине засаженного цветами дворика. Дальше, за хаткой, виднелись деревья городского сада и голубая раковина для оркестра.

Полутемная кухонька да выбеленная известкой чистенькая спальня с дверью, выходящей прямо в сени,— вот, собственно говоря, и был весь первый этаж «шикарного особняка».

Прямо из сеней, заставленных корзинами, дубовыми кадками и кухонной утварью, тянулась наверх довольно скрипучая и крутая лесенка без всяких перил. Казалось, она ведет на чердак.

Когда мы взбирались по этой лесенке вслед за хозяйкой, думалось, что вот-вот две косые балки, поддерживающие ступеньки, рухнут и мы впятером покатимся вниз, на всякую рухлядь.

Верхняя — и единственная — комнатка второго этажа нам сразу понравилась. Давненько, видимо, ее переделали из самого обыкновенного чердака, потолок был косой, и оконная рама выходила прямо на крышу.

Володька поставил в угол кнут и ловко, по-хозяйски, отщелкнул задвижки. Он с треском распахнул маленькое запыленное окошечко.

— Сюда вылезайте — и экран видать, как из первого ряда, даже еще лучше. На прошлой неделе я здесь «Лесного зверя» смотрел. Никакой давки, бесплатно все, и ветерок продувает! Где еще такое удобство получите? — сказал Володя.

И впрямь из окна хорошо виднелся белый холст киноэкрана в городском саду. Я высунулся в окошечко подальше, увидел под собой весь скат крыши, соседний сад за плетнем и еще дальше, за линией железной дороги,— море.

Извозчик не соврал: самое настоящее, довольно грязное у берегов Азовское море бушевало в какой-нибудь сотне шагов от хатки Агнии Трофимовны. Мне были отлично видны из окошечка белые гребешки волн. На них покачивался в бухте рыбачий баркас с голой и высокой мачтой.

Старушка хозяйка с опасением следила, как мы разглядывали ее комнатку. Чувствовалось, что она сдаст ее охотно, и Саша Бобырь вел себя поэтому как заправский квартирант. Где он только этому научился — не знаю.

Саша расхаживал важно по рассохшемуся полу, совал свой вздернутый нос в каждую щелку, открыл неизвестно зачем дверцу дымохода от низенькой печурки. Увидев на дверной притолоке накопченный восковой свечкой в пасхальную ночь крест, Бобырь сурово провел по нему пальцем и под конец глянул вниз: отсюда, сверху, сбегающая круто лестница казалась еще опаснее.

— А почему перил нет? — спросил Саша сурово.— Здесь ночью, когда темно, спросонья себе голову можно сломать.

— У меня внизу лампадка всю ночь горит,— услужливо сказала старушка.

— Что?.. Лампадка? От лампадок пожары бывают! — веско сказал Бобырь.

— Что ты, милый, упаси господь! — забеспокоилась старуха.

— А топить зимой чем? — не унимался Бобырь. И он важно похлопал печной лежак.

— Ну, если вы на заводе будете работать,— сказала хозяйка,— топливо у вас будет. Заводским уголь каждую зиму отпускают. Володя вам привезет, сложите в том сарайчике, где коза, и все.

«А если не будем на заводе работать? — подумал я.— А вдруг нас не примут и надо будет уезжать совсем из этого города?»

— Мне, товарищи, этот мезонин определенно нравится! — сказал Саша очень солидно, так, словно его мнение было решающим.— Беда, конечно, что пустовато здесь.

— Да я же вам сказал, молодые,— вмешался поспешно извозчик,— купите себе на первое время тропическую мебель, а там дальше, к зиме, коль денежки заведутся, и всякую роскошь можно будет привезти.

— Ну а спать на чем? — возразил Бобырь.— На ящиках из-под апельсинов много не поспишь!

— «Дачки» купите, раскладушки. Только они уже подороже обойдутся! — сказал не так уверенно Володя.

— А просто на полу разве нельзя? — спохватился Маремуха.— Я очень люблю летом спать на полу. Это полезно. У вас, бабуся, соломы нет?

— Сена могу дать. Я для козы прошлый год купила, так с зимы еще немного осталось.

— От сена блохи пойдут,— сказал, морщась, Бобырь.— В сене и в древесных опилках блохи сами по себе, произвольно рождаются. На сене пусть Деникин спит, а мы себе лучше «дачки» купим. Но вот...

—Погоди, Саша,— остановил я Бобыря.— Хватит тебе голову морочить! — И, обращаясь к хозяйке, спросил: — Если вы согласны, мы, пожалуй, поселимся у вас. Но как вам: задаток сейчас или после?

— Право, не знаю...— Старуха замялась.— Вот, может, Володя скажет.

— Слушайте меня, хлопцы! — сказал Володя, стукнув кнутовищем о деревянный пол.— Мы ведь свои люди, правда? Никто вас тут обманывать не собирается. Познакомил я вас с тетей — держитесь теперь за нее крепко. Она вам как мать будет: что постирать, что пищу приготовить. Забот у вас никаких, руки свободны, а тетушке тоже перепадет от вас на кусок хлеба. Правда? А о цене столкуетесь после. Слушайте меня, я человек бывалый. Бегите-ка быстренько на завод, покажите там путевки ваши от товарища Дзержинского и поскорее определяйтесь. А то сейчас для вас как бы затмение. Разве вы знаете, какой разряд вам положат? Сколько зарабатывать будете? Не знаете! Верно говорю? А когда на заводе побываете, враз образования прибавится. Да и тетушка тут тем часом мозгами пошевелит да и прикинет, как бы это побольше с вас запросить, чтобы и себе не обидно было, да и племянничку Володе на магарыч досталось. Ну, тронулись, что ли, на грешную землю?..

Конечно, надо было дорожить каждой минутой в этот первый день нашего приезда в незнакомый еще город. Следовало послушаться совета Володи и немедленно мчаться на завод. Но нам очень хотелось взглянуть, как выглядит вблизи настоящее море. Никогда мы его не видели, разве что на картинках.

Самая большая река, которую нам довелось видеть у себя на родине, был Днестр, да и то, чтобы добраться до него из города, надо было шагать проселочными шляхами добрых верст шестнадцать. И купаться в том Днестре можно было лишь у берега — иначе мог пальнуть в тебя, заплывающего на середину реки, румынский жандарм.

Выйдя со двора, мы завернули в переулочек, ведущий к морю, пересекли портовые железнодорожные пути и остановились у каменного парапета набережной.

Не виданное нами раньше море бросалось на берег. Волны ярились пеной, бились с грохотом в каменную грудь парапета и, обессиленные, откатывались обратно, унося с собой мелкую гальку, гнилые водоросли, ракушки, уступая место новым бегущим на берег волнам. Все море ходило ложбинами и буграми, неспокойное и злое.

Холодные брызги долетали до нас. Бобырь, недовольно поморщившись, потер ладонью веснушчатое лицо и сделал шаг назад.

Признаться, не таким я представлял себе раньше море! Думалось: выйдешь на берег — и далеко-далеко, до самого небосклона, будет простираться перед тобою широкая и тихая равнина голубоватой чистой воды.

Когда-то я подарил Гале Кушнир свою фотографическую карточку с надписью: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега». Это я слышал в театре во время представления драмы о семи узниках, повешенных царскими полицейскими. Я запомнил и частенько повторял это. Помнится, Галя еще спросила меня:

— Ты это сам сочинил, а, Василь?

Соврать, прямо сказать «я» было неудобно. Авторитет ронять также не хотелось, пришлось ответить уклончиво:

— А что, разве плохо?

Сейчас, глядя на море, я вспомнил те недавние дни, когда мы были еще мальчишками, вспомнил Галю и стишки о любви, «широкой, как море», и невольно возвратился мыслями в далекий наш город.

Я огорчился, что здесь, в новом городе, море было вовсе не таким уж широким. Слева его огибала узкая песчаная коса. Она была похожа на длинный рог, загнутый слегка к юго-западу. На самом конце косы, прямо перед нами, чернели какие-то постройки, и в стороне от них, на отшибе, виднелся, подымаясь довольно высоко над водой, конусообразный столбик. Позже мы узнали, что это маяк.

Вход в порт справа от нас прикрывал серый каменный волнорез. Он как бы продолжал линию портового мола и казался отсюда очень низким. Лишь изредка над гранитными глыбами волнореза вспыхивали белые барашки: это волны из открытого моря, более грозные, чем те, что подкатывались к берегу, силились перепрыгнуть через волнорез.

Обдуваемые влажным морским ветром и мелкими брызгами соленой воды, оглушенные шумом бегущих на берег волн, мы не услышали, как к нам подошла девушка.

Мы увидели ее лишь тогда, когда она вскочила с разбегу на парапет. Полы ее синего, с крупными белыми цветами халатика прижало ветром к ногам, обутым в розовые резиновые туфельки.

Мы все трое уставились на незнакомку.

Не обращая на нас внимания, она стояла на бетонном парапете, стройная и гибкая, и жадно вдыхала в себя штормовой воздух. Постояв так немного, она обернулась и, внимательно оглядев нас троих, громко спросила:

— Вы здесь еще побудете, молодые люди?

— Немного побудем,— смущенно отозвался Бобырь.

— В таком случае покараульте, пожалуйста, мои вещи! — сказала девушка и, не дожидаясь нашего согласия, быстро вынула из густых волос роговую гребенку с блестящими камешками, сунула ее в кармашек халатика, провела рукой по волосам и бросила халатик на каменный барьер, как раз перед Сашкой.

Оставшись в купальнике, девушка поставила ногу на лесенку и стала спускаться вниз.

Мы думали, девушка окунется несколько раз у берега, держась за пеньки старых свай, а потом, дрожа от холода, вылезет обратно. Ведь именно так купались многие женщины у нас в Смотриче. Но эта, как заправская морячка, сильно оттолкнув ногами ржавую лесенку, нырнула под гребень идущей на берег волны. Не прошло и минуты, как мы увидели незнакомку далеко в море. Желтый ее костюм то показывался на уровне белых барашков, то снова исчезал. Девушка не отворачивалась от набегающих волн, а, наоборот, зарывалась в них головой. Огромные стены воды вырастали внезапно перед нею, но она уверенно ныряла под них, чтобы, получив малюсенькую передышку, опять встретить удар разбушевавшегося моря. Лишь изредка, поворачиваясь к нам лицом, незнакомка высовывала из-под воды загорелую руку и лениво отбрасывала назад волосы. Мокрые, густые, они все время лезли ей на глаза.

— Смотри ты, принцесса цирка! — сказал восхищенно Бобырь. — Как ныряет!.. Ты бы смог так, а, Маремуха? — И Сашка, не отрывая глаз от моря, сел рядом с халатиком девушки на парапет.

— Надо попробовать сперва, что за вода,— уклончиво ответил Петро.— Если настоящая соленая, то отчего же! В соленой воде, говорят, легко плавать: она сама человека держит.

— Держит-то держит, но волны какие! Разве не видишь? — сказал я.— Такой волной как шарахнет, мигом забудешь все на свете... Как она вылезет только?

— Худо ей будет к берегу пробиваться,— согласился Бобырь.

— Где же она, хлопцы? — закричал вдруг Маремуха.— Я ее не вижу.

Девушки в самом деле нигде в море видно не было.

— А может быть, она уже на волнорезе? — неуверенно протянул Саша.

— Туда не так-то скоро доплывешь! — сказал я и тотчас же облегченно крикнул: — Да вон она, чудаки!

Цепляясь за якорную цепь, незнакомка лезла на раскачивающийся на волнах баркас. Всплеск волны подбросил ее вверх, и она рывком выскочила на палубу. Схватив одной рукой мачту, другой она поправила волосы и потом, как это обычно делают извозчики на морозе, похлопала себя руками по телу, как бы обнимая себя. Хорошо ей, видно, было отдыхать там! Мне уже начинало не нравиться ее купание. Сказала, чтобы «немного» покараулили ее вещи, а сама, глядишь, и в самом деле к волнорезу махнет!

— Ты тоже, Сашка, чудак! — сказал я Бобырю.— Кто, скажи, тянул тебя за язык говорить, что мы тут стоять будем! Она себе развлекается там, а нам на завод идти надо. Вызвался тоже, караульщик!..

— Ну, так давай пошли! — предложил Бобырь, оглядываясь.

— Мы пойдем, а халат ее украдут. Она подумает, что мы жулики,— резонно заметил Маремуха.

— Мы вот с Петрусем пойдем, а тебя оставим здесь... кавалера! — припугнул я Бобыря.

— Один я не останусь! И не думай! — буркнул Бобырь и поспешно отодвинулся от халата.

Словно чуя наши опасения, незнакомка ловко, головой вниз, прыгнула с баркаса в кипящую воду. Появившись на волнах снова, она вразмашку, по-мужски, поплыла к берегу. Волны помогали ей плыть, подталкивали ее. Но вот возле самого берега девушка попала в мертвую зыбь. Пловчиха почти не двигалась с места. Совсем грязная, с накипью из мусора, шипящая вода, откатываясь от парапета, то чуть-чуть отгоняла девушку в море, то сразу же возвращала ее обратно. Незнакомка, видно, устала. Лениво плавая, она собирала силы.

Но вот с грохотом и ревом понесся на берег высокий водяной вал. Он подхватил девушку. Незнакомка с силой уцепилась за железную лестницу, чуть не сорвав ее с петель.

Кое-как девушка вылезла на бетонную набережную. Ее пошатывало. Волосы были липкие, свисали, как намоченная пакля. На загорелых ногах чернели крупинки сора.

— Мерси, что покараулили, — сказала девушка, тяжело дыша. И, схватив халатик, она побежала в сторону, оставляя на парапете маленькие мокрые следы.

— Двинулись, хлопцы! — позвал я друзей, поворачиваясь спиной к парапету.

Извозчик Володя, прощаясь с нами, показал вдали, под горой, высокую кирпичную трубу с красным флагом, развевающимся на громоотводе.

— Это и есть Первомайский завод имени лейтенанта Шмидта,—сказал Володя.— Держите курс на трубу — и попадете прямехонько в контору!

Город был повсюду чистый и на редкость ровный, не в пример нашему родному городку, изборожденному оврагами и пропастями. Теперь, когда мы шли пешком от берега моря к центру, поглядывая на трубу, стало понятно, что мутная вода, заполняющая почти доверху облицованные камнем-песчаником канавки вдоль улиц, загоняется ветром с моря и благодаря ей в городе нет пыли.

— Да, товарищи, ничего не скажешь — здорово плавает эта принцесса! — с завистью в голосе признался Бобырь. — Я бы не полез в такую бурю в море. Аж до сих пор в ушах шумит!..

— Тебе с непривычки кажется страшно,— сказал Маремуха.— Вот погоди, устроимся здесь, станем целое лето купаться — и еще не в такой шторм поплывем. До того маяка доберемся, что на косе виднеется!

— Хватил тоже! До того маяка добрых десять верст,— заметил я неуверенно.

— А хорошо, правда, что мы у самого моря устроились! — едва поспевая за нами, сказал Петро.— Подумайте, как это здорово: утречком побежали разом на берег — и бух-бух в море! А потом — на завод. И умываться не надо. Пожалеет Тиктор, что откололся от нашей компании.

— Ой, не кажи гоп, Петро, пока не перепрыгнешь! — сказал я, вспоминая слова извозчика о безработных, которых много в городе.— «И бух-бух в море»! Не пробухайся, смотри! Еще неизвестно, как нас встретят на заводе.

— Как могут встретить! Странно! — удивился Бобырь.— У нас же путевки.

— Нечего гадать попусту! — скомандовал я.— Быстрее давай пошли! — И тут же поймал себя на том, что перед глазами у меня маячит эта девушка в цветастом халатике. Смелая девушка!

КАК ПОЛУЧИТЬ КОВКИЙ ЧУГУН

Стало понятно, что завод уже близко, когда к нам донесся запах курного угля. Так же пахло в нашей фабзавучной кузнице.

Где-то поблизости посапывал двигатель. Улочка, усаженная вдоль тротуаров желтыми акациями, упиралась в другую, лежащую перпендикулярно. Мы свернули в эту новую улочку и сразу же за углом увидели, что она вся перегорожена высоким створчатым забором из зеленых брусков. В центре забора были такие же створчатые ворота. Над ними висела красивая полукруглая вывеска из железных букв, прикрепленных к проволочной сетке:

ПЕРВОМАЙСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
имени
ЛЕЙТЕНАНТА П. П. ШМИДТА

В ту минуту как мы стояли на углу, возле стены завода, ворота неожиданно раскрылись, и оттуда, с заводской территории, выехал целый обоз жаток-самоскидок. Возницы, погоняя лошадей, сидели сбоку, на пружинных сиденьях. Похожие на крылья маленьких ветряных мельниц грабли были выключены и не двигались. Жатки проезжали новенькие, видно, только что выкрашенные черной и красной эмалевой краской.

Слушая, как тарахтят на покрытой жестким диабазом мостовой широкие чугунные колеса жаток, видя, как подпрыгивают на изогнутых сиденьях загорелые возницы в жестких брезентовых куртках, я невольно вспомнил далекий пограничный совхоз над Днестром, в котором довелось мне работать три года назад. Вот такими же примерно жатвенными машинами убирали там совхозную пшеницу.

Но те совхозные жатки были старые, разболтанные, с иностранными надписями, они достались совхозу еще от панской экономии. Эти же, перед нами, были новенькие, советские. Хоть солнце пряталось еще в тучах, но они блестели. Широкие их ладьи лоснились. Острые ножи ходили сейчас вхолостую, как в машинке для стрижки волос, и чувствовалось: попадись им навстречу колосья пшеницы либо ржи — они враз перегрызут их и положат первый слой колосьев ровной бороздкой на просторный и гладкий щит.

— Здесь такие машины делают? — протянул восторженно Петр. — Смотри, деталей сколько! Это не наши соломорезки!

— Конечно, здесь. Смотри, вон надпись.— И остроглазый Бобырь показал Маремухе на боку жатки фабричную марку: «УТСМ. Первомайский машиностроительный завод имени лейтенанта П. П. Шмидта».

— А что значит УТСМ? — не унимался Петро.— Это, наверно, станция, куда их направляют.

— Какой недогадливый! — сказал я, вспомнив эту же надпись в наших путевках.— УТСМ означает: Украинский трест сельскохозяйственного машиностроения.

— Какие машины! — восторгался Бобырь.— Собрать их чего стоит! Посложнее, чем мотор от мотоциклетки. Здорово, что нас сюда направили!..

Вахтер послал нас к маленькому одноэтажному домику в глубине заводского двора. Мы остановились в нерешительности перед дверью, обтянутой черной клеенкой. На двери было написано: «Отдел рабочей силы».

— Кто же будет говорить? — спросил Бобырь, оглядывая нас. Видно было, что в эту решительную минуту он волновался.

— Василь — наш бригадир, он пускай и говорит,— поспешно буркнул Маремуха.

— Давайте путевки! — сказал я.

В длинной комнате с низеньким потолком трещала машинка. Около завитой светловолосой машинистки, жуя в зубах папиросу, стоял, диктуя, высокий молодой парень в клетчатом сером костюме. Волосы его были напомажены. Сразу бросались в глаза его огромные туфли лимонного цвета с длинными острыми носами. Черный галстук в твердом воротнике его крахмальной рубашки был завязан бантиком. Брюки на парне модные, в дудочку, хорошо выутюженные и короткие — выше щиколотки.

«Вот пижон!» — подумал я.

— «...Таким образом, контингент рабочих завода постепенно растет»,— диктовал сквозь зубы напомаженный парень и, завидя нас, удивленно спросил: — По какому делу?

— Здравствуйте! — Я шагнул к франту ближе.— Вот! — И протянул ему путевки.

Он нахмурился, вынул изо рта изжеванную папироску, молча прочитал одну за другой все путевки и, возвращая их мне, сказал глухим баском:

— Аут!

— Что? — переспросил я.

— Не требуется,— с презрительной миной ответил франт.

— Нам их в школе выдали. От ВСНХ,— быстро затараторил Бобырь.

— Я грамотный,— косясь на Бобыря, сказал парень в «дудочках».— Повторяю: рабочие данных квалификаций нам не требуются.

— Товарищ, но мы же направлены на ваш завод! — сказал я, глядя прямо в серые глаза франта.

— А я вас не приглашал! — И он, как в театре, развел руками.— Какие могут быть претензии, странно! К тому же каких-нибудь полчаса назад я принял на завод уже одного вашего выпускника... Леокадия Андреевна, как фамилия того блондина? Ну, того, что, вы сказали, похож на вашего знакомого товарища Крючкова.

— Тиктор, Яков Денисович! — глянув в какую-то бумажку, вяло сказала машинистка.— И не на моего знакомого, а на донского казака Кузьму Крючкова! — С этими словами машинистка отвернулась от франта и скучающим взглядом посмотрела в окно.

— Видите. Было одно место — Тиктора принял. И, кстати сказать, на свой страх и риск принял, ибо, если об этом узнает городская биржа труда, мне могут хорошую вздрючку дать! Своих, местных, на очереди хватает. Даже футболисты есть... Вот! А вас, молодые люди, к сожалению... Увы! — И франт опять развел руками.

— Мы же пятые разряды имеем! — воскликнул Петро.— Столько учились...

— Знаю и понимаю,— прервал Петра франт и выбросил в форточку окурок.— Сам происхожу из рабочего сословия и вполне понимаю ваше затруднительное положение, но сплошной апсайт!

Тронутый участливым тоном, который послышался в словах франта, я спросил:

— Что же нам делать?

— Поезжайте в Харьков. Ночь езды. Пусть ВСНХ вас перенаправит на другие заводы. В Донбасс, что ли. Вам же все равно.

— Что значит «все равно»? — возмутился Маремуха.— Откуда у нас деньги еще и в Харьков ехать? Мы на последнюю стипендию сюда кое-как добрались.

— А я здесь ни при чем,— сказал франт и поглядел в окно, видимо, желая, чтобы этот неприятный для него разговор был окончен побыстрее.

Я смотрел на выутюженные лацканы его тесного пиджачка, на загорелую, сильную, ну прямо бычью его шею, на старательно вывязанный бантик и думал: «Что же делать? Что сказать ему еще, этому нарядному дылде, который не хочет понять страшного нашего положения?»

Однако, чувствуя всю глупость и бесцельность таких действий, я сказал друзьям тихо:

— Ну что ж... Тронулись, раз такое дело...

— Оревуар,— буркнул франт и подошел поближе к машинистке, чтобы диктовать дальше.

Выйдя во двор первым, я присел на холодную каменную ступеньку.

Двое рабочих в брезентовых куртках, выпачканных ржавчиной, катили по рельсам вагонетку, полную мелкого, но почему-то поржавевшего литья. Я с большой завистью смотрел на рабочих, хотя они были заняты работой черной, не требующей большого умения.

— Что же будем делать, а, Василь? Чего ты уселся? Слышишь! — стоя надо мной, пробубнил Маремуха.

— Мы дураки, что связались с тем извозчиком! Это я виноват. Надо было с Тиктором идти. А теперь он уже зачислен, а мы на улице! — признался растерянно Бобырь.

Слова Бобыря, его испуганное, жалкое лицо, покрытое россыпью веснушек, вернули мне хладнокровие.

— Извозчик тут совершенно ни при чем, Саша. Ну ладно, прибежали бы сразу вчетвером сюда, а место одно. Что дальше? Тебя, допустим, приняли бы, а мы что?

— Ты не сердись, Вася! Посоветуй лучше. Ты же и в Харькове был, путевки эти доставал...— очень миролюбиво сказал Бобырь.

Внезапно в мозгу моем пронеслись напутственные слова директора нашего фабзавуча Полевого: «Не отходите в сторону, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни — и снова вперед!»

Эти слова да и вся прощальная речь Полевого наполнили меня еще большей яростью к напомаженному бюрократу.

— Надо идти к самому главному, кто здесь есть... Вот! К директору... А он не поможет — в партийный комитет! — отрезал я твердо.

...Директор завода оказался низеньким седым человеком в синей спецовке. Мы сперва даже не поверили, что это именно он и есть хозяин светлого кабинета, заставленного частями машин, пропашниками, какими-то деталями, пробирками с песком и медными опилками.

Кабинет директора, скорее всего, напоминал лабораторию или сборочную мастерскую. Если бы не диаграммы на стенах и небольшой дубовый стол с телефонами, чернильным прибором и кожаным удобным креслом, мы бы подумали, что ошиблись дверью. Когда мы гуськом вошли в кабинет, директор стоял у тисков с зубилом и молотком в руках. Тиски были привернуты к подоконнику. В них виднелась зажатая деталь, покрытая ржавой, красноватой пылью.

Сжав в левой руке зубило, директор уверенно, не глядя под руки, как заправский слесарь, наотмашь бил по расплющенному концу зубила тяжелым ручником, разрубая деталь пополам.

— Чем могу быть полезен, молодые люди? — заметив нас, спросил он и, положив на подоконник ручник, потер ладони. Был он похож на старого мастерового.

Уже в самом звучании его голоса мы почувствовали, что директор — человек спокойный, внимательный. Правда, он не стал читать всех путевок. Прочел только первую и, когда я рассказал ему, в каком положении мы очутились, спросил:

— Все подоляне?

— Да, из одного города,— сказал Маремуха.

— Издалека же вас принесло к нам! Считай, почти из-под самых Карпат да в Таврию! Я знаю ваш город немножко. На австрийский фронт проходили через него. Пропасти там такие, скал много, и какая-то крепость на тех скалах стоит.

— То Старая крепость, она и сейчас стоит! — сказал радостно Бобырь, да и все мы повеселели.

— Но вот не припоминаю,— сказал директор,— разве была там промышленность?.. Откуда же у вас фабзавуч взялся?

— Фабзавуч есть, а промышленности большой пока нет,— ответил я директору, мимоходом обижая рабочих «Мотора», которые всерьез считали свой заводик крупным предприятием.— Оттого и прислали нас к вам, что пока дома разместить негде было. Нам секретарь Центрального Комитета партии Украины говорил, что такие молодые рабочие скоро повсюду нужны будут — и в Донбассе, и в Екатеринославе, и... здесь!..— добавил я.

Директор поднял свои мохнатые брови и посмотрел на меня внимательно, словно проверить хотел: а не вру ли я?

— Это я вижу, что прислали...— сказал он протяжно.— Но предварительно не запросили, нужны ли нам вы сегодня. Броня для молодежи уже вся давно заполнена. И где я вас размещу — вот вопрос.

Он снова взял со стола наши путевки, полистал их и в раздумье покачал головой.

— Кто из вас Маремуха?

— Я Маремуха! — выкрикнул Петро, как на перекличке в ЧОНе, и шагнул к директору.

— Что же мы умеем делать, а, Маремуха?

— Я столяр и... потом... токарь по дереву. Точить могу.

— По дереву? — Директор удивился.— А я думал — по хлебу. Комплекция у тебя, знаешь, такая... подходящая.

Мы с Бобырем засмеялись, поглядывая на смутившегося и сразу покрасневшего Маремуху. Слегка косолапый, он стоял перед директором завода как солдат: руки по швам. Лишь штаны его были мятые, все в складках от долгого спанья на жесткой вагонной полке.

— Представь себе, Маремуха, ты рожден в сорочке,— сказал директор.— Столяров хороших нам как раз не хватает. А на бирже труда их, пожалуй, и нет. Ну а кто из вас Манджура Василий Миронович?

Теперь я двинулся навстречу директору.

— Ты что, галичанин? — спросил директор.

— Почему? — опешил я.

— Фамилия такая — галицийская... Хотя верно: от вас ведь до Галиции рукой подать. Считай, один народ с ними. Збруч только и разделяет... И так, чем же нас порадуете, Василий Миронович Манджура?

— Я литейщик!

— Литейщик? — Директор сразу подошел к маленькому столику. Он взял первую попавшуюся деталь и, протягивая ее мне, спросил: — Из какого металла отлита?

— Из чугуна,— сказал я, посмотрев на отломанное ребро детали.

— Ой ли? — Директор хитро прищурился, буравя меня глазами.

Ни слова не говоря, он подошел к тискам, вывернул из них старую, надрубленную деталь, зажал в тиски новую и с размаху ударил по ней ручником. Деталь погнулась, как самое настоящее железо, но даже не треснула.

— Итак, чугун? — спросил директор и поглядел на меня еще хитрее из-под своих косматых бровей.

— Ну и что же! — сказал я медленно.— Всякие чугуны бывают. Вязкие, например...

— Ты хотел сказать — ковкие? Не так ли? — заметно оживляясь, поправил меня директор.

— Ковкие!

— А как получить ковкий чугун?

— Надо... к обычному, серому чугуну добавить железа побольше... ну, стали малость...

— Стали? Позволь, но тогда же, наоборот, литье крошиться будет? Сталь, она, как известно, хрупкость дает.

— А надо сперва отлить деталь, а потом отжечь ее в руде специальной... В марганцовистой руде, кажется,— сказал я, припоминая рассказы нашего инструктора Козакевича.

— Ах, отжечь! — еще больше оживился директор, и на лице его заиграла радостная улыбка. — Тут-то она и зарыта, собака! Я, брат, с этим отжигом второй год вожусь, считай, с той поры, как меня рабочая масса красным директором выдвинула. У англичан-то мы после революции этот завод отобрали, а они, удирая с белыми, все производственные секреты с собой увезли. Думали, пропадем мы без их помощи. А мы маракуем помаленьку сами, что к чему. Вот докапываемся сейчас до секретов отжига с научной, так сказать, точки зрения, чтобы не вести литейное дело на глазок. Я хочу и добьюсь того, чтобы у меня на заводе чугун был такой же ковкий, как железо. Понимаешь? Чтобы, если крестьянин станет нашей жаткой пшеницу жать и наедет случайно на камень, ничего с ней плохого не случилось. Чтобы зубья не посыпались! А зубья эти, брат,— великая штука. Они

ножи от всякой пакости предохраняют. Понимаешь? И вот хочу я, чтобы украинский селянин благодарил нас за наши жатки! Мало болтать о смычке города с селом. Смычка, она в таких вот зубьях тоже заключена! — И директор погладил ржавую деталь, как живого котенка.— Ну-с, а тебя, молодой человек, чему учили? — спросил он, переводя взгляд на Сашку Бобыря.

— По слесарной части пятый разряд дали, но я больше всего люблю моторы разбирать...— сказал Сашка.

— Даже моторы разбираешь? Вот герой! Ну а кто же после тебя их собирать будет? — И директор, хитро посмеиваясь, глянул на Бобыря.

— А я сам и соберу, коли надо. Какой смотря мотор. Если, скажем, от мотоциклетки типа «Самбим» — очень даже просто,— не удержался Саша, чтобы не похвастаться перед директором завода.

— Придется, значит, тебя в РИС направить,— решил директор.

— В какой такой «рис»? — Голос Сашки заметно дрогнул.

— Цех у нас так называется: ремонтно-инструментально-силовой. А для удобства произношения: РИС. Этот цех все другие мастерские обслуживает.

Проглядывая еще раз наши путевки, директор сказал:

— Итак, молодые люди, правдами или неправдами, а все же на завод я вас приму. Почему, вы спросите меня, такое одолжение? Да потому, что в нашей стране и здесь есть еще безработица. Людей много, а заводов пока мало. Но верю твердо: явление это временное. Очень скоро мы и от безработицы избавимся, заводы новые выстроим, и, возможно, никто и не поверит, что была когда-то при Советской власти безработица. Но сейчас она есть... Так вот: сегодня прогуляйтесь в цехи, оформитесь, а завтра, по гудку, прошу пожаловать к мастерам. Будь вы здешние — я бы послал вас в очередь, на биржу. Однако приходится, повторяю, делать исключение. Но работать честно, на совесть! Понятно? Не прогуливать и не опаздывать! Наш завод — советский. Понятно? Английского капиталиста Джона Гриевза мы в Лондон выгнали и в свои руки дело его, нашим горбом нажитое, взяли. Для своей же пользы мы должны хозяйничать и беречь завод. Таких рабочих, которые по-хозяйски относятся к своему заводу, у нас ценят и уважают... Комсомольцы среди вас есть?

— Мы все комсомольцы,— поспешно сказал Бобырь.— А Василь у нас даже членом бюро был!

— Тем лучше! — обрадовался директор.— Комсомолята нам крепко помогают. Когда оформитесь в цехах, сходите в ОЗК к Головацкому, станьте на учет и начинайте новую жизнь!

МЫ УСТРАИВАЕМСЯ

Хозяйка выдала нам три длинных холщовых мешка. Вдвоем с Маремухой мы набили их колючим, пересохшим сеном и, зашив дратвой, прислонили матрацы к сарайчику, в котором блеяла коза, ожидая того часа, когда наконец ее станут доить.

Пол в нашей комнате Агния Трофимовна хотела вымыть сама, но мы, приученные к этому делу еще в общежитии, решили обойтись без ее помощи. Маремуха таскал наверх в цинковом ведре холодную жесткую воду из маленького колодца, вырытого во дворе, а я, разувшись и подкатав штаны, драил мокрой тряпкой рассохшиеся доски. Потом вымыл окошко. Как только стекло было протерто, в комнате сразу посветлело, и радостней стало на душе от полной чистоты вокруг.

В соседнем доме, что виднелся из-за густой зелени и выходил своим фасадом к морю, играли на рояле. Окна в том доме были открыты, и звуки рояля долетали в наш мезонин, смешиваясь с блеянием козы и шумом близкого моря, которое к вечеру стало успокаиваться.

— Чистое окно стало! Даже стекла не видно! — сказал Петро, разглядывая мою работу.

— Тащи матрацы! — распорядился я, ободренный похвалой товарища.

И пока Петро таскал матрацы, я примерил, как мы их разложим. Свой матрац я решил положить у самого окошечка. «Холодно ночью будет, зато свежий воздух. И гудок заводской первым услышу».

В комнате приятно запахло сосновыми досками, сеном.

Прислушиваясь к звукам рояля, я ловил себя на том, что мне хочется побыстрее прогнать время, остающееся у нас до завтрашнего утра — до первого утра нашей работы на заводе!

В памяти моей из всего увиденного на заводе, если не считать разговора с директором, остался только длинный и пыльный проход литейного цеха. По этому проходу я дошел до цеховой конторки. Далекие отблески выпускаемого из вагранки чугуна, дробный стук формовочных машин, удары сигнального колокола, визг талей, которыми подымали формовщики тяжелые опоки возле цеховой конторки,— все это настолько ошеломило меня, что я даже как следует не рассмотрел, как работают мои будущие товарищи — литейщики.

Как не похож был этот огромный цех, покрытый застекленной низкой крышей, на малюсенькую литейную нашего фабзавуча, где всегда стояли тишина и прохлада и даже в дни плавок не было шума.

Сменный мастер Федорко, которого я застал в цеховой конторке, низенький человек лет сорока, с лицом красным и обветренным и реденькими выгоревшими бровями, ничуть не удивился, когда я дал ему записку от директора. А может, ему позвонили до моего прихода из заводоуправления?

Федорко записал меня в цеховой табель, выдал рабочий номерок, временный пропуск и пообещал:

— А на машинку поставлю завтра!

— Но ведь я никогда не работал на формовочных машинках,— сказал я мастеру тихо.— Я на плацу работал... А что, разве плацовой формовки у вас нет?

— Подладитесь,— коротко отрезал мастер.— Две недели испытания — большой срок.

И все. И ни слова больше.

— До свидания! — осталось сказать мне и выйти.

С трудом разыскал я возле здания заводоуправления домик, где, как сказал мне встречный рабочий, «орудуют комсомолисты». Прочитав на дверях надпись: «Общезаводской коллектив комсомола», я немедленно сократил ее. Получилось ОЗК. Вспоминая совет директора «сходить в ОЗК», я толкнул дверь.

Спиной ко мне, на стуле, перед большой картой стоял высокий человек и водил по ней линейкой. Кроме письменного стола, этажерки, шкафчика да десятка стульев, никакой другой мебели в комнате не было. На стенах впритык одна к другой висели географические карты.

Высокий человек обернулся, и я с удивлением увидел на нем хорошо повязанный малиновый галстук.

— Вам кого? — спросил он, разглядывая меня серыми и, надо признаться, умными глазами.

— Мне секретарь ОЗК нужен,— сказал я неохотно.— Но если его нет, я зайду позже.

И уже повернулся, чтобы уйти, как человек с линейкой шумно спрыгнул на пол.

— Ну, здоро́во! — сказал он, протягивая мне большую жилистую руку.

Хотя на отвороте темно-коричневого с искрой костюма незнакомца и был привинчен кимовский значок, все же, настороженный его нарядным видом, а главное — галстуком, я порывался уйти и буркнул:

— Я завтра приду!

— А отчего не сегодня?

— Когда сегодня?

— Ну, хотя бы сейчас. Я секретарь. Давай познакомимся. Головацкий. А ты кто?

Я словно подавился чем-то и первую минуту не смог вымолвить ни слова. Вот еще новости! Чтобы секретарь общезаводского коллектива комсомола галстук носил! Где это видано? Все наши прежние диспуты о культуре и мещанстве как раз учили: чем больше молодой человек уделяет внимания своей внешности, всей этой дребедени — отутюженным брючкам, а особенно галстуку, тем скорее он отрывается от коллектива, делаясь чернильной душой и черствым человеком, не понимающим нужд рабочего класса.

Все же пришлось рассказать Головацкому, что привело меня сюда.

— А как ты к оппозиции относишься? За кого голосовал в прошлом году, когда обсуждали решение ЦК комсомола? — спросил он осторожно, явно прощупывая мои настроения.

— А у вас что, оппозиционеры еще водятся? — ответил я вопросом на вопрос.

— Своих не было. Приезжала сюда всякая шваль, на работу устроилась, пробовала народ мутить — не вышло. Позавчера, когда на районном партийном активе обсуждали итоги апрельского Пленума Центрального Комитета партии, все единогласно голосовали за линию ЦК. Народ у нас единодушный, предатели поддержки не нашли. Так ты ответь мне: каково твое личное отношение к оппозиции?

— Мое? — уже спокойнее сказал я, понимая, что имею дело с настоящим, честным парнем.— Я считаю, что эту шваль троцкистскую давно пора гнать из партии и из комсомола. Нас враги окружают, задушить Советскую власть хотят. Мы должны едины быть, сплотиться вокруг партии, а эти оппозиционеры хотят разлад между нами внести.

— Отлично, что тебя направили в литейную! — обрадовался Головацкий.— Правда, ребята там хорошие, и, когда мы в прошлом году громили троцкистов, затесавшихся было в ячейку заводоуправления, комсомольцы-литейщики выступали первыми за линию ЦК и совместно со всем коллективом не дали этим врагам прижиться на заводе. Но потом несколько ребят из литейной уехали в Краснознаменный флот, на Балтику, и актива поубавилось. Да и перевыборы давно пора провести... Прежде всего скажи: у тебя какие наклонности?

— Я не пью! — сказал я хмуро.

— Я не о том спрашиваю.— Секретарь поморщился. — Какую комсомольскую работу прежде выполнял? Ну, влечет тебя к чему больше?

Волей-неволей пришлось рассказать Головацкому и о нашем комсомольском клубе, и о вечерах-диспутах под названием «Что раньше появилось — мысль или слово, курица или яйцо?». Я рассказал ему, как судили мы рыцаря Дон-Кихота Ламанчского, и припомнил вечера самокритики, на которых протирали с песочком каждого комсомольца за его грехи. Ввернул пару слов и о диспутах о культуре и мещанстве, посматривая при этом на малиновый галстук секретаря.

— Ого! — обрадовался Головацкий. — У тебя солидный опыт работы, причем в области перестройки и поисков новых форм. Это превосходно. Все течет, все изменяется! Творческая мысль комсомольца должна пребывать в состоянии вечного беспокойства, на пути постоянных исканий. Только тогда каждый из нас будет гарантирован, что ему не станет угрожать опасность превратиться в тупицу. Все, что ты рассказал мне, я учту.— И Головацкий сделал быстренько какие-то заметочки в блокноте.— У тебя явные наклонности к культурно-массовой работе. Возможно даже, поручим тебе организовать в литейной общество «Лига времени». Это, брат, большое дело! — С этими словами Головацкий посмотрел на свои часы. — Но пока, дружище, я тебя попрошу напрячь все силы на борьбу с браком. Твой цех работает на сдельщине. Но одно дело — сдельная оплата труда у капиталиста, и другое дело — при нашем, советском строе, когда работаем на себя и когда не только количество нас интересует, но и высокое качество. А кое-кто этого не понимает. Жмет вовсю — и брачок дает изрядный. Особое внимание обрати вот на эти носики.— И тут Головацкий взял с этажерки такую же деталь, какую показывал нам сегодня директор. Она, как перышко, запрыгала в его руках.— Это должна быть самая безгрешная деталь,— продолжал секретарь.— Как и все остальные, впрочем. Но эта — особенно. И ты, как комсомолец, должен повести ярую борьбу с бракоделами, находить конкретных носителей зла...

— Но ведь я раньше на машинке не работал! — перебил я Головацкого, повторяя ему то же, что сказал мастеру.— Я на плацу формовал... Маховики могу делать даже без нижней опоки.

— Подладишься,— сказал мне секретарь, а он, как видно, кое-что соображал в литейном деле.— Где твой открепительный талон?..

Глядя сейчас в чистые стекла вымытого окошечка, я вспоминал и холодное, жесткое слово мастера «подладитесь», и разговор с Головацким и думал: «А если не получится? Пройдут две недели испытания, не научусь работать на машинке, и скажут мне: «Уходи, брат, отсюда!» Что будет тогда?»

Стало казаться, что я никогда не кончал фабзавуча, что пятый разряд, полученный мною, здесь не играет никакой роли, и ничего-то, в общем, я не умею делать, и вся моя работа начнется только с завтрашнего дня. Не зная толком, каким будет тот завтрашний день, я волновался еще больше.

Лестница, ведущая наверх, заскрипела под ногами Маремухи. Петро тащил круглый столик на точеной ножке.

— Вот! — сказал Маремуха, тяжело дыша и, видимо, ожидая одобрения.

— Агния Трофимовна дала?

— Ага! «Пока,— говорит,— у вас мебель появится, берите, пользуйтесь, а то у меня все равно,— говорит,— он лишний...»

— Теперь нам табуретки раздобыть — и все в порядке.

— Меня хозяйка спрашивает, что завтра на обед готовить: борщ зеленый или суп с черешнями холодный? А я говорю: «Не знаю. Пускай хлопцы скажут». Ты чего хочешь лучше, Василь?

— Она нас как в ресторане кормить собирается, что ли? — ответил я хмуро.

— Ну, раз на всем готовом взялась держать, пусть ухаживает!

— Еще неизвестно, какие заработки будут!

— Ничего, заработаем как полагается,— уверенно сказал Петя.— Мне, когда я оформлялся, один плотник говорил, что у них в столярном никто меньше сотни не зарабатывает. Даже третий разряд!

— Тебе хорошо, Петрусь, ты свою, знакомую работу делать будешь. Знай себе гоняй фуганок! А вот мне переучиваться надо. Леший его знает, как на тех машинках формовать! Я их и вижу-то впервые.

— А ты не журись, Василь! Будет трудно — мы с Бобырем поможем...

— Чего он не идет, Бобырь? — спохватился я, поглядывая на старинный будильник-ящик, поставленный хозяйкой на лежанке печи.— Где его, Сашку, носит! Уже второй час как ушел!

— Ну, до вокзала не так уж близко. Пока Володю найдет, пока вещи получит. А потом ему еще харчей надо купить. Ведь хозяйка взялась нас кормить только с завтрашнего дня,— заступился за Бобыря Маремуха.

Сашу мы услали на вокзал за нашими вещами. Нам следовало за это время набить сеном матрацы, помыть пол — словом, приготовить комнату к ночлегу.

— Он адрес хоть записал? — спросил я Маремуху.— А то, может, забыл дорогу сюда и бродит по городу.

— Зачем ему адрес? Уговорились же: отыщет Володю на стоянке и тот его бесплатно привезет.

— Хотя верно,— сказал я, успокаиваясь.— Ну что же, мы свое дело закончили, давай погуляем немножко.

Мы прошли мимо хозяйки, которая разглаживала для нас простыни, открыли калитку.

— Пойдем, Петро, налево,— предложил я.

И мы направились Приморской улицей к порту, мимо усадьбы, из которой слышалась недавно музыка.

Сейчас рояль затих, в доме звенели стаканы — видно, там пили чай. Двор перед этим каменным домом был засажен стройными мальвами, лозами винограда, чайными розами, пунцовой гвоздикой. Душистые табаки не раскрыли еще своих стрел, но приятный запах цветов, недавно освеженных дождем, так и вырывался оттуда, из-за невысокого заборчика. Какие-то особые, никогда не виданные мною розы поднимались даже под крышу дома, оплетая цветущей аркой одно из его открытых окон. Густо-розовые кустики иудина дерева росли рядом с акацией.

У самого забора, в углу усадьбы, высилась беседка, сплошь обросшая темно-зеленым блестящим плющом. По его скрюченным стеблям вилась еще и лиловая повилика.

Когда мы поравнялись с беседкой, я услышал там говор и не удержался, чтобы не заглянуть внутрь.

На перилах беседки сидела, болтая загорелыми ногами, та самая девушка, халатик которой мы стерегли на море. А около нее, на земле, припав на колено, накачивал велосипедную шину франт из отдела рабочей силы.

Я смотрел на девушку так, словно видел ее впервые. Перехватив мой взгляд, она подняла глаза и, недовольно тряхнув волосами, освободила их из-под плюща.

Мне сделалось неловко. Я смутился и кивнул головой, как бы кланяясь. Отворачиваясь поспешно, я заметил, что девушка улыбнулась.

— Узнал, а, Василь? — спросил Петро, подталкивая меня локтем.

— Кого?

— Ну, эту принцессу.— И, передразнивая девушку, Петро протянул пискливо: — «Покараульте, пожалуйста, мой халатик...»

— А ты длинного того узнал? Дылду?

— Какого длинного?

— Ну того, что велосипед накачивал.

— Нет. А кто это?

— Да тот пижон, что на завод нас не хотел принять!

— Правда? — удивился Петро.— Неужели они наши соседи?

— Эта, в халатике,— безусловно!

— А он — ее брат! — решил Петро.

— Почему именно брат? Кавалер, наверно!

Мне почему-то сделалось неприятно при мысли, что франт знаком с нашей соседкой и может в любую минуту рассказать ей, как мы упрашивали его принять нас на завод. Медленно брели мы с Петькой по Приморской улице. Слева от нас поблескивали ведущие к порту железнодорожные пути, а за ними, за парапетом, к самому горизонту подымалось море.

Ветер совсем упал, и прибой утих. Волны уже не бухали в бетон, как утром, а тихо, с легким шуршанием накатывались на песчаный берег. Скрывая от нас море, потянулся за путями дощатый забор. За ним колебались верхушки мачт. Флаги на них едва шевелились. На западе, там, куда скатывалось невидимое еще за тучами солнце, алела ровная полоска заката.

На побеленном дощатом заборе было написано:

ПЛЯЖ
ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ

Позади нас, на тротуаре, раздался звонок.

Мы прижались к забору, и мимо, шурша ракушками, пронесся на велосипеде знакомый франт с девушкой. Ее он посадил на раму, впереди себя. Франт вел машину согнувшись, тяжело, но быстро передвигая педали.

— Что, ему улицы мало? — огрызнулся Петька.

— А не видишь — там лужи: он «дудочки» свои боится забрызгать,— сказал я с нескрываемой злобой, глядя вслед быстро удаляющейся паре.

Наполовину покрытое желтой сеткой заднее колесо велосипеда делалось все меньше и меньше, оставляя на песчаном тротуаре чуть заметный вафельный след.

Пока мы осматривали через решетчатую загородку порт, подъездные пути и пакгаузы из серой гофрированной жести, уходящие вдаль, к последнему причалу с сигнальным колоколом, Саша Бобырь успел доставить все чемоданы и распаковать вещи. Мы застали его за приготовлением ужина. Саша разрезал на три части большую засохшую булку, которая оставалась у нас с дороги.

— Где вы шатаетесь? — крикнул Бобырь, увидев нас.— Вы знаете, кого я встретил?!

— Графа Бенгальского? — съехидничал я. Мне очень не нравилась эта манера Сашки разговаривать на крикливых, повышенных нотах, как с маленькими.

— Шути,— огрызнулся Бобырь.— Я Печерицу видел. Да!

— Печерицу? — переспросил Петро и фыркнул.— Ну, Василь, держись: начинаются старые истории. Где термометр, не знаешь? Пора бы ему температуру измерить. Не знобит тебя, а, Сашок?

— Какой термометр! При чем тут термометр! — прямо завизжал от негодования Бобырь. — Я вам правду говорю, а вы смеетесь.

— Подожди, Сашенька,— остановил я друга.— Кого ты, говоришь, видел?

— Печерицу!

— В самом деле?
— В самом деле.
— Где же ты его видел?
— Около вокзала.
— Около вокзала? — вмешиваясь в наш разговор, уже серьезнее спросил Маремуха.
— Ну да, возле вокзала,— поспешно проговорил Бобырь,— он бузу пил...
Это было уж слишком, и мы с Петькой громко расхохотались.
— Ты слышишь, Василь? — спросил Петро, давясь от смеха.— Он видел Печерицу, Печерица пил бузу, а буза ударила этому конопатому бузотеру в голову, и он прибежал сюда морочить головы нам...
— Да, да! — окончательно обижаясь, закричал Саша.— Не хотите верить — не надо. Только я ничего не выдумываю! Буза — это питье такое здешнее, из проса, кислое и белое. Во всех будочках продается. Я уже пробовал, а если вы не знаете, так я не виноват...
Нехорошо смеяться над приятелем, да еще когда он всерьез обижается, но на этот раз трудно было удержаться от смеха.
Мы хорошо знали, что не только Бобырь, но и многие другие фабзавучники до самого дня отъезда мечтали поймать Печерицу. Разъезжаясь по городам Украины, мы дали себе слово, если повстречается этот бандит из Коломыи кому-либо из нас, не дать ему выскользнуть.
Но больше всех нас мечтал повстречаться с Печерицей Саша Бобырь. Поимкой Печерицы он думал загладить те досадные промашки, что приключились с ним во время чоновской тревоги. Скоро наш горячий Сашка начал просто галлюцинировать: Печерица виделся ему всюду.
По пути сюда, к Азовскому морю, Сашка дважды ловил Печерицу. Однажды, когда поезд стоял в Фастове, Сашка, выглянув в окно, вдруг хрипло крикнул:
— Вот он, хлопцы! Держите! — и метнулся к выходу.
Человек, прогуливавшийся по перрону, которого Бобырь принял за Печерицу, был очень мало похож на беглеца. Это оказался сгорбленный старичок в брезентовом пыльнике. Одни пушистые и рыжие усы, пожалуй, смахивали на Печерицыны. В Екатеринославе, когда мы обедали в буфете вокзала, Саша, чуть не опрокинув тарелку, налитую до краев жирным украинским борщом, прохрипел:
— Смотрите! — и ткнул ложкой по направлению к газетному киоску.
У застекленной витрины киоска выбирал открытки человек в сером дорожном пыльнике. Сашка решил, что и этот — Печерица. Однако стоило пассажиру в сером пыльнике обернуться, как мигом выяснилось, что это молодой парень, на голову выше Печерицы. Ну разве могли мы, зная о дорожных видениях Бобыря, отнестись с доверием к его словам!.. И я сказал:
— Ну хорошо, Печерица стоял и пил бузу. А ты что?
— Я посмотрел — и к вам!
— Отчего же ты его не схватил? Надо было его поймать за шиворот, ногу сзади подставить и на землю.
— Тебе хорошо говорить! А вещи?
— Какие вещи?
— Какие? Наши! Я боялся вещи оставить. Он побежит, я за ним, а вещи кто-нибудь цапнет.
— А Володька где был?
— Да я не с Володькой ехал, в том-то и дело. Я с другим извозчиком приехал. Володька обманул нас.
— Погоди, а у него усы были? — решил я проверить Сашку.
— Усы?.. Усов не было... Усики. Маленькие такие, как кисточки для гуммиарабика.
— Для того чтобы Сашке понравиться, он и усы в парикмахерской подстриг,— съязвил Маремуха.
— Ладно, ладно! Смейтесь, если вам так весело! — буркнул Саша обиженно.— А я вот пойду куда надо и заявлю.
— Ну, довольно тебе, Сашок, нам головы морочить,— мягко сказал я.— Показывай лучше, что на ужин куплено.

— Вот брынза,— совершенно покорно сказал Саша и развернул пергаментную бумагу, в которой лежал кусок брынзы в добрый фунт весом.

— И это все? — возмутился Маремуха.

— Нет, зачем. Вот еще рыбки купил... Не тронь, это редиска. Рыбка вот тут.— Сашка развернул маслянистую бумагу.— Глядите, какая рыбка маленькая! — И он выволок из старой газеты три нитки, унизанные мелкими копчеными рыбешками. Рыбки лоснились от жира и были пузатенькие.— Тюлька называется! — гордо заявил Бобырь и, как ожерелье, поднял на руки низки с рыбешками.

— Ты бы еще поменьше купил! — буркнул недовольно Петро.— Самая мелкота. Кто же ее чистить будет?

— Для чего чистить? — удивился Саша.—Не надо чистить. Так целиком ее едят. Гляди, мне в лавке показали...

Наш каптенармус сорвал с нитки пару истекающих жиром рыбешек и послал их в рот. Пожевав немного, Саша, как фокусник, сперва раскрыл рот, а потом смело, с головами и кожурой, проглотил тюльки.

— Еще аппендицитом, чего доброго, заболеешь! — сказал Петро. Больше всех болезней Маремуха почему-то боялся именно аппендицита. Даже косточку от вишни и то боялся проглотить.

Но наглядный пример Бобыря заставил Петруся позабыть об угрожающей ему болезни. Он осторожно отщипнул с бечевочки одну рыбешку и принялся жевать ее.

— Вкусная...— протянул Маремуха.— И костей совсем не чувствуется. Камса это?

— Не камса, а тюлька! — солидно поправил Бобырь.

— «Тюлька, тюлька»! — передразнил я Сашу.— А ты бузы не принес случайно?

— Бутылки не было,— принимая мои слова всерьез, сказал Саша.— А хочешь бузы, после ужина можно сходить. Тут, за углом, в киоске продается.

— Послушай, Петрусь,— скомандовал я,— скачи-ка вниз, принеси кипятку и миску от хозяйки. Надо брынзу парить.

Пока мы расправлялись с тюлькой, мраморная брынза, отдав кипятку часть соли и горечи и пустив жирные круги, сделалась мягкой и очень приятной на вкус.

Мы резали ее охотничьим ножом и ели, запивая чаем, в котором плавали распустившиеся чаинки.

Поужинав, мы отнесли вниз посуду и долго мылись во дворе, прямо у колодца. А потом, освеженные, сытые, поднялись в свой мезонин и улеглись на высоких матрацах.

Окно осталось открытым. На дворе уже потемнело. Сквозь лохмотья проплывающих туч изредка проглядывал молодой месяц. Как только тучи освобождали месяц, в комнате становилось светлее.

— Но вы слышите, хлопцы, как тут тихо? — сказал, нарушая молчание, Петрусь.— Ни выстрелов, ни свистков. Что значит граница далеко! На весь город небось два милиционера, да и те спят...

Агния Трофимовна звенела внизу посудой. У нее на кухне шипел примус. Вероятно, она с вечера собирала для нас завтрак.

— А мы дураки! — снова заговорил Петро. — Как поступали в фабзавуч, надо было по одной специальности идти. Гуртом бы теперь в одном цехе работали. Все веселее. А так — разбредемся кто куда...

И опять никто из нас Маремухе не ответил. Я понял, что и Бобырь, прикидывающийся храбрецом, думает о том, как-то он будет работать завтра. На дворе делалось все темнее и темнее. Опять небо сплошь заволокло тучами, и месяц не проглядывал больше. Равномерный шум близких волн укачивал так, словно мы все еще ехали поездом...

ВОЗЛЕ МАШИНКИ

— Вот, Науменко, тебе новый напарник! — сказал сменный мастер Федорко, подводя меня к пожилому рабочему, который суетился в одиночку около двух формовочных машинок.

Рабочий обернулся. Ему было уже лет за пятьдесят. Высокий, седой, в грубotканой холщовой рубашке с подрезанными до локтей рукавами, он удивленно посмотрел на Федорко.

— Покажи ему, что и как,— сказал мастер, кивая на меня.— За обучение запишем тебе по среднему.

— Да помилуйте, Алексей Григорьевич! Поставьте до кого другого! — попытался возразить старик.

Но сменный мастер, прерывая его, сразу замахал руками:

— Надо, Науменко! Ты старый формовщик и обязан смену учить.

С этими словами мастер скрылся за стеной пустых чугунных опок.

Мы остались одни. Науменко разглядывал меня недоверчиво. Особой радости у него на лице не появилось. По всему было видно, что ему куда сподручнее формовать одному, чем возиться с учеником да еще отвечать за его работу.

Когда мастер отошел далеко, мой учитель, нисколько не стесняясь, смачно плюнул себе под ноги и сказал работающим за барьерчиком напротив него двум формовщикам:

— Везет же мне, грешному: то пьянчужку посылают на исправление, то молокососов надо обучать!

Соседи засмеялись. Один из них, худой и высокий, коротко подстриженный под нуль, с выпирающими скулами смуглого лица, был похож на монгола. Другой, с острыми, колючими глазами, не переставая набивать опоку, сказал:

— И не говори, дядя Вася, партнеры у тебя на выбор!

— Да нет, на самом деле! — пожаловался соседям мой учитель.— Так славно ладилось сегодня, думал до завтрака полсотни опок поставить, а теперь снова придется на соль зарабатывать.— И, обращаясь ко мне, он хмуро спросил: — Ну, чего нос повесил? Зовут-то как?

— Василий Манджура.

— Получил тезку, дядя Вася, а еще плачешься! Вместе именины справлять будете. Все дешевле...— быстро формуя, выкрикнул шустрый литейщик с острыми глазами.

— Работал? — спросил Науменко, кивая на машинки.

— Не видел никогда. На плацу формовал, а с машинками дела не имел.

— Ого, дядя Вася, имеешь специалиста по художественному литью! — закричал проворный сосед.— Он еще тебя, старого, поучит, как скульптуры отливать.

— Где же это ты на плацу работал, интересно мне? — спросил Науменко с явным любопытством.

Я понял, что плацовая формовка здесь ценится куда выше машинной. Пришлось рассказать, как я попал в этот город.

Науменко терпеливо выслушал мой рассказ и скомандовал:

— Ну, будет байки рассказывать. Становись-ка! —И он кивнул на левую машинку.

К ней вел узенький проход. Высокая, почти в человеческий рост, печка разделила меня и Науменко, как только я подошел к машинке. Между нашими машинками стоял глубокий ящик с особой формовочной землей, называемой здесь «составом». У меня слева, у дяди Васи справа высились положенные друг на дружку ряды пустых чугунных опок.

Увязая в сухом песке, я подошел вплотную к машинке. На ней была закреплена сделанная из баббита модель каких-то втулок.

— У тебя — низ. Понял? — кивнул мне Науменко.— А втулки эти «колбасками» зовутся. Будешь набивать низ, а я верх. Погляди, как это делается.

Мне трудно было сразу оторваться от своей машинки. Я пошатал железные прутья, торчащие у нее по углам,— их назначение мне было непонятно — и потрогал припаянные к модельной плите два блестящих, скользких конусных болта.

— Сюда смотри, эй, молодой! — сердито прикрикнул Науменко.

Одним махом он ловко насадил чугунную рамку с боковыми винтами на такие же блестящие штифты, не глядя снял с заднего ряда опоку, положил ее внутрь рамы и стал проворно заворачивать винты. Когда винты зажали опоку в раме, дядя Вася схватил с полочки мешочек и потряс им над моделью.

Ровный слой присыпки, будто пудрой, покрыл баббитовые «колбаски». Так же не глядя мой учитель окунул руку в ящик и, зачерпнув ею горсть состава, высыпал его на модель.

Раз, два — и в руках Науменко взметнулась лопата. Он вогнал ее с размаху в разделяющую нас песчаную кучу и швырнул в опоку груду песка, потом вторую. Из глубины потревоженной кучи задымил пар. Видно, песок не успел еще остыть со вчерашней отливки.

Дядя Вася разровнял своими гибкими и жилистыми пальцами влажный, но горячий песок, схватил коротенькую набойку и принялся быстро набивать.

Я не отрываясь, внимательно следил за каждым его движением, запоминал все.

Мускулы играли на старых, жилистых руках Науменко. Острый деревянный клинышек, насаженный на железную ручку набойки, врезался в песок с такой яростью, что казалось, Науменко хочет разбить всю эту машинку или, в лучшем случае, загнать ее под землю.

Встречая на своем пути влажный песок, набойка уминала его, утрамбовывала, загоняла в пазы модели. Песок исчезал внутри опоки, делался плотным, как земля на проселочном шляху. Дядя Вася прошелся по неровной плоской поверхности опоки квадратной трамбовкой, сбросил склепанную из жести надставку и сгреб чугунной линейкой на уровне ребер опоки излишек смеси. Потом длинной иглой — душником — он наколол вентиляционные каналы. Науменко согнулся, постучал колотушкой, расшатывая модель в ее песчаном футляре, и ловким движением нежно и плавно поднял набитую опоку вместе с чугунной рамой на четырех угловых прутах вверх. За какую-нибудь минуту от сильных, напряженных движений, от яростного упорства при набивке мой учитель перешел к нежным, вкрадчивым и деликатным движениям, когда надо было оторвать песок от модели.

Выпуклые баббитовые втулки модели сделали свое дело и оставили в утрамбованном песке свои следы — гнезда будущих деталей.

Науменко провернул крючком в песке воронку для литника. Не успел я уследить, откуда он появился, как в руках моего учителя оказался гибкий резиновый шланг с медным наконечником, похожим на головку для сифона с сельтерской водой. Дядя Вася надавил кнопку наконечника, и сразу из шланга с шипением вырвалась струя сжатого воздуха. Направляя струю по бокам опоки, Науменко обдул ею бортики рамы и, швыряя шланг обратно за машинку, сказал:

— Сейчас накроем. Ходи за мной!

Понатужившись, он неслышно снял с машинки зажатую в рамки довольно тяжелую опоку. Держа ее на весу перед собой, Науменко быстро побежал на плац.

Позади наших машинок, на сухом песке плаца, уже стояли четыре формы, набитые дядей Васей до моего прихода. Пятая форма была раскрыта и лежала, словно на подушке, на мягком песке. В ней чернели четыре стержня — будущие дырки в чугунных «колбасках».

Мягко перебирая ногами, Науменко подошел к нижней опоке и накрыл ее только что у меня на глазах заформованным верхом. Скользкие, смазанные графитом штифты верхней рамки туго вошли в дыры нижней рамки, и поэтому верхняя опока очень точно легла на нижнюю, осторожно соединяя где-то там, внутри, в сердце формы, и канавки для чугуна, и края будущих «колбасок».

Хотя все то, что я увидел сейчас, было для меня ново, я чутьем молодого литейщика представлял себе, как там, внутри, края формы плотно прижали сейчас книзу верхними углублениями сухие шишки. Я сразу же вообразил, как выпрыгнут из этой формы после заливки тяжелые чугунные «колбаски» — важные детали машины, которой предстоит много побегать в дни сбора урожая по широким полям страны. И мне снова стало радостно, что я выбрал себе именно такую интересную и умную специальность.

Тем временем Науменко легко, стараясь не сдвинуть форму, отвернул винты в рамах и, оставляя опоку на песке, поднял раму вверх, разъединил ее и, швырнув мне нижнюю половинку, крикнул:

— Лови!

Трудно было сразу, с непривычки, поймать довольно тяжелую чугунную раму. Я схватил ее уже почти около земли, да и то обеими руками: головка винта ударила меня по колену.

— Теперь действуй сам. Выбирай слабину! — сказал Науменко, вынимая из кармана пачку папирос.— А мы покурим.

Силясь не сбиться, подражая моему учителю, я повторял каждое его движение, проверенное и рассчитанное многими годами работы. Завинтив опоку, я, не глядя, лихо швырнул на модель горсть состава, вогнал острие лопаты в кучу песка. Набивал я усердно, приплясывая около машинки, и с такой злостью уминал песок, что казалось, руки оторвутся от туловища.

Обижало, что Науменко смотрел на меня как на обузу. Правда, я понимал, что, со своей стороны, он, старый, опытный формовщик, быть может, и прав. Конечно, куда приятнее формовать одному, чем учить какого-то новичка. Я еще не знал, что означают слова мастера «запишем тебе по среднему», но думалось, что, получив такого напарника, Науменко явно прогадывает.

Набивая, я чувствовал, как лоб мой вспотел. Как всегда в таких случаях, я делал слишком много движений, песок пробрался в мои ботинки, скрипел на зубах. То и дело я ловил на себе взгляд дяди Васи. Он смотрел подозрительно, недоверчиво проверяя каждое мое движение.

— Можно подымать? — спросил я.

— Попробуй,— сказал учитель уклончиво.

— Подымаю,— сказал я и, постучав колотушкой, нажал рукоятку рычага.

Набитая песком опока плавно пошла вверх.

Не успел я ее обдуть и снять, как соседи засмеялись.

— Что это у тебя, молодой, за коржик на модели остался? — крикнул мне высокий смуглый сосед.

Глянул под опоку — и горько стало: к модели прилипла большая груда песка. И впрямь словно коржик! Науменко стоял у меня за плечами, посмеиваясь.

— Что, веселая работенка? — кивая на меня, сказал дядя Вася шустрому невысокому формовщику, которого звали Лукой.— Присыпочку забыл, оттого и корж получился,— пояснил мне Науменко.

Да и без этих слов я уже понял свою ошибку. Заторопившись, я позабыл припылить модель сухой присыпкой, что лежала на полочке в небольшом мешочке. «Но этот, черт старый, тоже хорош! Видел мою оплошность и не поправил, чтобы выставить меня на смех перед соседями!»

Когда я выбил из опоки песок, Науменко сказал:

— Да и модель твоя небось уже прохолонула. Я давно не менял подогрев. Бери клещи — вон за ящиком,— пойдем до камелька.

Держа в руках длинные кузнечные клещи и не зная еще толком, для чего они мне понадобятся, я шел вслед за дядей Васей по главному проходу литейной.

Мой учитель шагал ровно и широко, наклонив немного седую голову в замасленной кепке зеленого цвета. Я поспевал за ним следом, как провинившийся школьник. Я понимал, что нерадостно должно быть на душе у моего учителя. «Вот,— должно быть, думал Науменко,— принесло воспитанничка на мою голову из какой-то Подолии, а теперь возись с ним, показывай, учи, вместо того чтобы самому делать настоящую работу!» Мы шли, пересекая длинный цех как раз посредине.

То там, то здесь стучали колотушки, стояли позади машинок горы пустых еще опок, а готовые, заформованные, высились поодаль на плацу, дожидаясь, когда их будут заливать.

Под высокой кирпичной стеной цеха монотонно шипели сильные вентиляторы, нагоняя внутрь воздух. Они гнали воздух в середину вагранок, раздувая глыбы кокса, плавя куски чугуна, наваленные сверху, через люки. Чугун стекал вниз белыми струйками по горячему коксу, собираясь там, на дне вагранок, жидкой, расплавленной массой, готовой вырваться наружу, как только горновой пробьет стальной пикой летку.

— Гляди, гляди, Науменко с новым адъютантом потопал! — донеслось из глубины цеха.

Это кричал какой-то литейщик с загорелым и недобрым лицом. Голова его была повязана, как у женщины, красной косынкой.

— Вася, детка, поздравляю с помощничком! Давай, давай, обучай смену, авось на выдвижение пойдешь! — закричал он сильнее, думая, что Науменко остановится с ним покалякать, но мой учитель пошел еще быстрее и не остановился.

Тут же, около соседней машинки, я увидел Тиктора. Нет сомнения, и он видел меня, но притворился, что не замечает, словно я был для него чужим человеком.

Тиктор уверенно набрасывал в опоку песок. Он работал на пару с литейщиком, голова которого была повязана косынкой.

Во дворе, в стороне от литейной, пылал под открытым небом «камелек». Так называлась круглая печка с решетчатыми боками, заваленная горящим коксом. Отовсюду из щелей в пылающем коксе торчали хвостики греющихся металлических плиток.

— Смотри, где будут наши. Запоминай! — сказал Науменко и ткнул в просветы между раскаленными глыбами кокса две толстые, увесистые плитки.

— И всякий раз сюда бегать? — спросил я.

— А то как же? — удивленно и сердито посмотрел на меня Науменко.

— Такие концы!

— Хочешь чисто формовать — будешь плиту подогретой держать. Иного выхода нет! — сказал дядя Вася. Тут же он выхватил клещами положенные им раньше и уже раскаленные добела плитки. Чувствовалось: не приди мы сейчас за ними, плитки бы поплыли, как чугун внутри вагранки. — А теперь лети быстро и засунь их под машинки! — приказал Науменко, подавая мне клещи.

Держа в вытянутых клещах пылающие плитки, я стремглав помчался обратно к нашему рабочему месту.

«Завод большой, а с этими плитками порядки неважные! — думал я, опрометью пробегая через весь цех. — Разве нельзя было поближе камельки поставить?»

Плитки еще были ярко-красными, когда я засунул их в пазы под модельным устройством. Скоро мокрый песок, лежащий на баббите, посерел и просох. Модели нагрелись так, что руку долго продержать на них было трудно, а Науменко все еще не было. Чтобы не терять времени, я принялся набивать на своей машинке нижнюю опоку.

Теперь, оставшись у машинок один, я чувствовал себя спокойнее. Никто не смотрел мне под руки. Соседи копошились где-то на плацу, позади своих машинок, а по бокам у нас никого не было. По-видимому, формовочные станки здесь были на простое или поломаны.

«Пусть этот старик побродит по цеху,— думал я, набивая,— кое-что мы уже и без него знаем!»

Вторая опока набилась хорошо. Песок не прилип к модели, как в первый раз, и я отважился без приказа учителя, самостоятельно поставить опоку на плацу. Она мягко опустилась на песчаную подушку, расставаясь с моими руками.

Потом я пулей примчался к машинке. Обдувая горячую модель воздухом из шланга, я надел запасную раму и принялся готовить второй низ. Я не думал, что смогу обогнать учителя, но все же решил иметь хоть маленький задел. Я так увлекся формовкой, что не приметил, как вернулся Науменко.

— А шишки кто будет ставить? Дядя?

Услышав рядом строгий голос учителя, я вздрогнул от неожиданности, и тяжелая трамбовка, меняя направление, изо всей силы хлопнула меня по большому пальцу левой руки.

Удар был страшный! Слезы проступили у меня на глазах. «Ноготь обязательно слезет!» — пронеслась мысль.

Хотелось крикнуть, запрыгать, закружиться от боли, швырнуть далеко в песок проклятую чугунную трамбовку, выругаться изо всей силы. Но я понял, что тогда вызову новые насмешки, и, сдерживая боль, закусил до крови губу. Не оборачиваясь к Науменко, чтобы он не увидел заплывшие слезами мои глаза, я сказал тихо, сквозь зубы, отчеканивая каждое слово:

— А вот заформую еще этот низ и тогда поставлю шишки!

К обеденному перерыву палец распух и посинел. Казалось, что треснула кость.

«Кто это придумал такую тяжелую трамбовку? Ею можно искалечить человека навсегда... Но ведь если она будет легкая, то песок не заформуешь туго. Ты формуй, да не зевай в следующий раз!» — рассуждал я сам с собою.

Когда мне приходилось снимать опоку, я напрягал все силы для того, чтобы заглушить боль в пальце. Скрывая боль от Науменко, я отвертывал кое-как винты, хватал раму и мчался обратно, желая наверстать каждую минуту. Даже песок из башмаков не было времени высыпать.

— Совсем загонял парня, Науменко! — кричал через барьерчик Лука моему учителю.

— Перекурили бы малость! — советовал ему напарник Луки Гладышев — формовщик, похожий на монгола.

Хотя их шутки и задевали меня, я старался не обращать внимания. «Шутите, шутите!» — думал я.

Дали сигнал на обед. Заводской гудок не был слышен в шуме литейного цеха, и потому здесь всякий раз, когда приходило время обеденного перерыва, горновые били в стальной рельс, подвешенный около вагранок.

Не останавливаясь на перерыв, я все работал: набивал и набивал.

Одна за другой умолкли колотушки машинок. Лишь вагранки гудели под стеной не утихая.

— Ладно. Шабаш. Обедать пойдем! — сказал строго Науменко. — Давай руки мыть.

Холодная вода из-под крана брызнула на запыленные руки, и боль в пальце сразу немного стихла. Видя, что мой учитель зачерпнул в жестянку горсть желтого крупнозернистого песку, я повторил его движение. Этот жирный, глинистый песок хорошо отмывал руки. Скоро я увидел свои красные, натруженные ладони и следы свежих мозолей на них.

Молча я пошел вслед за Науменко к машинке, взял завтрак, что мне приготовила хозяйка, и уселся на плацу, вблизи учителя, подложив вместо стула опоку.

Науменко не спеша, степенно развернул платок. Три яйца, кусок копченого чебака, редиска с мохнатой ботвой, ломоть пеклеванного хлеба с маслом и крепкий чай в бутылке — таков был его завтрак.

— Ты, в общем, не робей, хлопец! — вдруг ласково сказал Науменко. — Нынче мы с тобой заработаем на хлеб и воду — это верно. Ну, а завтра — на борщ, а потом, глядишь, и на котлеты. Первый раз всегда трудно... У меня тоже хлопец есть, чуть постарше тебя летами. Здесь же, в литейной, работал. А сейчас в Екатеринославе в горном институте учится. Сначала письма слал жалобные: не выдержу, мол, вернусь! На заводе куда вольготнее! А теперь — ничего. Во вкус вошел. Оседлал, видно, эту непокорную науку. Шутит. «Вот буду начальником рудника — должность табельщика тебе, батька, всегда обеспечена...» Погоди, а что у тебя с пальцем? — И, разглядывая мою руку, дядя Вася нахмурился.

После того как я отмыл графитную пыль, было хорошо видно, как под ногтем поврежденного пальца запеклась кровь.

— Да вот, стукнул нечаянно,— сказал я очень небрежно.

— Хорошее дело — стукнул. Он распух у тебя, как поп на пасху. Чего ж ты раньше мне не показал? Беги в амбулаторию. Бюллетень получишь.

— Куда в амбулаторию? Два часа поработал и уже за бюллетенем? — сказал я по возможности веселее.— Такими пустяками докторам голову морочить!

— Горяч ты, я погляжу, парень! — сказал, покачав головой, Науменко.— На терпеж хочешь взять. Ну, смотри, тебе виднее. А бюллетень по такому делу всегда дадут.

В голосе его звучало уважение. Он говорил со мной как с давним своим напарником. И конечно, это было ценнее прямой похвалы и одобрения.

СОСЕДКА БУДИТ МЕНЯ

Приятели еще не вернулись: их цехи кончали работу позже литейного. Хотя, не в пример вчерашнему дню, стояла жара, в полутемной кухоньке Агнии Трофи-

мовны было на редкость прохладно, да и в нашей комнатушке, несмотря на близость крыши, дышалось легче, чем на открытом воздухе.

Берег моря был заполнен людьми. Одни купались: поблескивали на солнце их мокрые тела. Другие лежали без движения на песке.

Поглядел я на эту картину из окна, и захотелось двинуть туда, на солнышко, погреться до прихода Маремухи и Бобыря, да и помыться заодно после работы.

Долго не раздумывая, я снял рабочие ботинки, завернул в полотенце чистую одежду, надел кепку, предупредив хозяйку, где меня искать в случае чего, выбежал босиком во двор.

Всего несколько минут побыл я в тени дома, а сейчас солнышко снова ударило мне в глаза, и я шел до калитки жмурясь. Высокие мальвы расплывались перед глазами в дрожащем от зноя воздухе.

Солнце накалило бетонный парапет набережной. Пробежав по нему несколько шагов, я должен был спрыгнуть на мягкий песок. Однако ступать по нему оказалось еще труднее: верхний слой песка раскалился до того, что казалось, его нарочно поджарили на огромной сковородке.

Хотелось поскорее добраться до воды.

Вокруг лежали, грелись на солнце купальщики. Я нисколько им не завидовал.

После первого дня работы на заводе, усталый, измученный, но гордый, я считал их бездельниками. «Пока они тут переворачивались бесцельно с боку на бок, закрывая носы клочками папиросной бумаги и листьями сирени, мы там, в цехе, таскали тяжелые ковши с расплавленным чугуном»,— думал я и чувствовал, что больше, чем кто-либо, имею сейчас право отдохнуть здесь.

У самой воды оказалась свободной низенькая скамейка. На одном конце ее лежала чья-то одежда, покрытая сложенным вдвое пикейным одеялом. По-видимому, хозяин вещей плавал среди тех купальщиков, которые плескались далеко в море, за красными поплавками. Я не спеша разделся и, бросив рабочую одежду под скамейку, шагнул к воде.

Море еще ночью выгладило полоску песка вблизи берега. Уходящий в воду песчаный скат был ровный и твердый, точно нарочно накатанный для удобства купальщиков. По нему скользили маленькие, чуть заметные чистые волны — последние вздохи измученного штормами Азовского моря.

Я поплавал немного у берега, а потом, выйдя на песок, упал на него мокрый. И вот лишь здесь, лежа с закрытыми глазами, на мягком песке и слушая тихое шуршание прибоя, я понял, как устал за целый день. И хотя я лежал без движения, давая полный отдых уставшему телу, мне все казалось, что мои пальцы крепко сжимают набойку и она то и дело подскакивает передо мной, врезаясь в черный формовочный и еще дымящийся с прошлой ночи песок. «Скорее, скорее! Нажимай! Нельзя отставать от Науменко!» — мысленно шептал я себе. Лопата взлетала у меня в руках. Потом где-то вдали зазвонила рында. «Наш черед, — послышался словно с неба строгий голос Науменко.— Бросай все. Пошли за чугуном!»

...Мы идем по сухому песку главного прохода. Впереди, протянув назад сильные руки, шагает Науменко. Морщинистая шея его покраснела от натуги. Кисти рук соединены на кольце державка. Его рубашка пропиталась по́том и кое-где прилипла к спине. А я, ведомый учителем, плетусь позади, поддерживая рукоятки рогача, и чувствую, что вот-вот упаду. Силы покидают меня. Едва передвигаю ногами и гляжу в одну точку: на пятно вязкого коричневого шлака, что, как пенка в топленом молоке, тихонько покачиваясь, плавает в ковше, окруженное венчиком ослепительно яркого, режущего глаза жидкого чугуна.

Идти все труднее и труднее. Далеко еще до машинок. Поскорее бы добраться до них. Поскорее бы поставить тяжелый ковш на сухой песок, передохнуть, вытереть рукавом соленый пот, затекающий с разгоряченного лба в уголки глаз, хоть на минуту почувствовать облегчение в ладонях!

«Поскорее! Поскорее!» — думаю я, но чувствую, что ноги проваливаются куда-то... Яма! Яма, вырытая посреди плаца, куда литейщики сливают остатки чугуна...

Силюсь задержаться, но дядя Вася быстро шагает вперед, и я, увлекая его, падаю на спину. Ковш выскакивает из кольца державка. Чугун хлынул мне на грудь, затем на ноги. Горячо-горячо стало...

Теряя сознание, уже на пороге смерти, я тяжело застонал и в ту же самую минуту услышал над собой смех и почувствовал какое-то холодное прикосновение...

...На грудь мне капают тяжелые капли холодной воды. Они мигом разгоняют остатки короткого и страшного сна.

Еще не открывая глаз, пытаюсь припомнить, где нахожусь. Я совсем позабыл, что заснул на берегу. Спросонья мне показалось, что я заснул в ожидании друзей в нашем мезонине и, застав меня спящим, Бобырь, следуя глупой всегдашней привычке, льет мне на грудь из дорожного чайника холодную воду.

— Брось, ну что за мальчишеские штучки! — бурчу я недовольно и, продирая глаза, вижу над собой совсем не Бобыря.

Заслоняя солнце, вся блестящая от воды, держа в руках мое полотенце, стоит наша соседка.

— Под солнцем спать не рекомендуется, особенно белокожим. Обгорите! — говорит она.

Мгновенно вскакиваю на ноги и спросонья шатаюсь. Люди, лежащие вокруг, кажутся мне какими-то призраками, будто я смотрю на них сквозь закопченное стекло.

— Хотела прикрыть вас полотенцем, да нечаянно капнула. Простите.

— Ничего, спасибо! — бормочу я и, пристыженный, что меня застала спящим улыбающаяся девушка, увязая в песке, бросаюсь к морю.

Рассекая тугую воду, зарываюсь в нее и плыву в открытое море. Скоро, однако, пальцы мои касаются дна. Вдали от берега песок волнистый и плотный, без единого камешка. Вода кажется очень холодной, и я, точно обожженный, поворачиваю к берегу.

Соседка сидит на скамейке. Теперь я могу свободно заговорить с девушкой, раз она первая затронула меня, но что сказать ей — никак не могу придумать. Спросить разве, где она научилась так хорошо плавать? Нет, глупо!.. Все подходящие слова вылетели из головы, и даже кашлянуть трудно. Но, облегчая мое положение, девушка первая обратилась ко мне:

— И так сразу бросаться в море не стоит. Вода еще холодная, а вы перегрелись. Легкие простудите.

— Ну, чепуха! — протянул я.

— Совсем не чепуха. Я давно возле моря живу, а вы новичок и многого еще не знаете. Извольте слушать старших!

— Почему вы думаете, что я новичок?

— Не думаю, а знаю!

— Странно, откуда вы знаете? — И, пользуясь случаем затянуть разговор, отвечаю: — А вот и ничего подобного. Я здешний и живу на Матросской слободке.

— Нечего меня обманывать. Я решительно все знаю...

— Что вы знаете, что?

— Знаю, что вы приезжий.

— Кто это выдумал?

— Сорока на хвосте принесла. Птичка такая.

— Здесь сорок нет. Сороки в лесу водятся, а здесь море и степь.

— Ну, не сорока, так баклан... Ну ладно, не стоит больше интриговать. Я ваша соседка, и даже вчера вечером видела, как вы у колодца зубы чистили. Ну а кроме того, Агния Трофимовна рассказала нам, что у нее новые квартиранты, очень симпатичные молодые люди.

— Вы и с Агнией Трофимовной знакомы? — выпалил я первое, что пришло на ум.

— Еще бы! Мы третий год берем у нее козье молоко. У папы легкие пошаливают, и врачи рекомендовали ему козье молоко пить.

— Козье молоко здорово помогает, — согласился я.— С нами живет сейчас один товарищ, некто Бобырь, так у него самая настоящая чахотка была. Мамаша заставляла его насильно пить, по рецепту врача, козье молоко и растопленное собачье сало...

— Вылечился?

— Здоров как конь. Только во сне скрипит еще иногда зубами.

Девушка засмеялась и, немного помолчав, спросила:

— Вы сюда... зачем приехали?

— На работу.
— Куда именно?
— На Первомайский завод имени лейтенанта Шмидта поступили.
— А что вы там делаете, если не секрет?
— В цехах работаем. Я, например, в литейном, а товарищи мои в других: Маремуха — в столярном, а Бобырь...
— Техниками, да? — перебила меня девушка.
— Зачем техниками? Рабочими!
— Рабочими?.. Простыми рабочими?
— Ну да!.. Рабочими. А что ж здесь удивительного?
— Да нет, я просто так спросила... А потом, должно быть, в институт пойдете? Вам, наверное, стажа рабочего для поступления не хватает?
Сейчас для меня было уже совершенно ясно, что девушка считала нас какими-нибудь спекулянтскими сынками. «Наверное, — думала она,— приехали в чужой город рабочий стаж нагонять». Следовало обидеться уже на одно такое предположение, но я, не подавая виду, сказал солидно:
— Поработаем — увидим. Рано еще загадывать, что будет завтра!
— В литейном небось вам труднее всех приходится?
— Почему? Обычная работа!
— Самый вредный цех на заводе. Там всегда такой дым едкий. Серой пахнет. А потолки низкие-низкие.
— Крышу скоро подымут. Уже столбы наружу выведены.
— Ах, когда это будет! Мне вас очень жаль.
— Откуда вы все знаете про литейную?
— Меня папа водил туда однажды. Показывал, как чугун льют. Я волосы шампунем едва отмыла от той пыли.
— Как вас пустили, странно. На завод посторонних не пускают.
— Пустили, — сказала девушка беспечно. — К тому же я не посторонняя: мой папа на заводе главным инженером служит. Вы должны были его видеть.
— Еще не видел,— сознался я.— Мы же только первый день отработали.
— Да, я забыла... А вас как зовут?
— Василь.
— Ну, тогда давайте познакомимся. Меня зовут Анжелика. А сокращенно, для знакомых,— Лика.
— Хорошо,— буркнул я.
— Какой вы все-таки странный! — Девушка засмеялась.— Настоящий бука! Что «хорошо»? Знакомясь, люди должны друг другу руку подать. Ну?
— Почему я бука? Раз мы с вами говорим, то мы уже знакомы, по-моему. Но если вы хотите, то отчего ж! — И я неловко протянул Лике мокрую еще руку.
Она пожала ее своими тонкими пальцами, и как раз в эту минуту у меня за спиной послышался негодующий голос Бобыря:
— Ну тебя, Василь! Мы гукали тебя, гукали, Маремуха аж на крышу вылез, а ты...
Словно ошпаренный, я выдернул руку из ладошки Анжелики.
Запыхавшись от бега, перед нами стояли Бобырь и Петрусь. Саша в изумлении переводил взгляд то на меня, то на Лику.
А соседка, нисколько не смутясь, разглядывала моих приятелей.
— Пошли обедать! — бросил Маремуха.
— Это и есть ваши друзья, да, Василь? — спросила Анжелика.— Почему же вы нас не знакомите?
— Познакомьтесь, хлопцы, — смутившись уже вконец, промямлил я. — Это... это...
Как бы желая выручить меня, соседка поднялась со скамейки и, шагнув навстречу друзьям, сказала:
— Анжелика!
Хлопцы тоже опешили. Петро с ходу пожал девушке правую руку, Бобырь — левую, и оба они назвались.
— Так вот, оказывается, кто из вас Бобырь! — сказала с любопытством Анжелика, в упор рассматривая присмиревшего Сашку.— Это, значит, вы по ночам зубами скрипите?

Сильнее и обиднее Сашку уколоть было нельзя. Он посмотрел на меня с негодованием: многое сказал его взгляд, полный презрения и обиды! Получилось так, что я насплетничал соседке о Бобыре, желая его осрамить, а себя возвысить. А у меня и в мыслях не было унижать товарища: просто вырвалось как-то случайно...

Разговор вчетвером явно не клеился, и мы оставили Анжелику на пляже, а сами ушли домой.

— Посмотри на этого... индуалиста! — споткнувшись опять на этом трудном слове, сказал Сашка.— Мы с тобой все горло оборвали, а он, оказывается, красавице лапки жмет под шум приазовской волны! А еще вчера возмущался, зачем я вызвался ее халат караулить... Ухажер тоже... Сердцестрадатель.

Сказать им разве, как случилось все? Не поверят! Сколько ни клянись и ни старайся — не поверят! И я решил промолчать.

НА ПРОГУЛКЕ

В самом центре города, около базара, высился квадрат прижавшихся друг к другу домов. На тротуарах под окнами этих домов каждый вечер гуляла молодежь. И хотя все четыре тротуара принадлежали разным улицам, бесцельное блуждание здесь называлось «прогулкой на проспекте». Гуляющие двигались под освещенными витринами магазинов, ну точь-в-точь как у нас на Почтовке! И как только мы слились с потоком гуляющих, я понял, что в каждом городе есть своя «Почтовка». Правда, вечером в этом приморском городе было куда теплее, чем у нас на родине, в Подолии. Загорелые гуляющие парни бродили по панели в белых легоньких апашках, в светлых брюках, в сандалиях на босу ногу.

Было очень душно, и Бобырь, который решил щегольнуть в своем костюме «елочка», быстро снял пиджак и понес его на руке.

Несколько раз мы останавливались у освещенного подъезда клуба водников. В клубе показывали комическую картину «Папиросница из Моссельпрома» с Юлией Солнцевой и Игорем Ильинским в главных ролях. Но всякий раз, отговаривая один другого, мы поворачивали обратно. Мы считали, что еще не вправе тратиться на кино.

Маремуха заработал сегодня три рубля сорок копеек, я — два девяносто пять, а Бобырь хотя и хвастался, что около пяти рублей, но по всему было видно, что он и сам толком не знает, сколько все же записали ему. Но даже и этих денег на руках у нас еще не было.

Правда, мы уже решились было купить самые дешевые билеты, но тут я подслушал разговор зрителей, что на будущей неделе эту же картину будут показывать на свежем воздухе, в городском саду. И сразу от сердца отлегло. Вот и прекрасно! Залезем на крышу и посмотрим ее бесплатно.

— Эй, молодые, сюда идите! — донесся к нам знакомый голос с бульварчика, что протянулся по другую сторону улицы, перед клубом водников.

Мы шагнули на мостовую и увидели извозчика Володю. Он сидел, покуривая, на скамеечке, в компании еще каких-то двух людей. Володя был в морском поношенном кителе и в широкополой соломенной шляпе. Когда мы подошли ближе, я увидел рядом с ним своих соседей по машинкам — литейщиков Луку Турунду и Гладышева.

— Подвиньтесь-ка! — приказал Володя своим собеседникам, и те освободили для нас место на скамеечке. — Сидайте, рассказывайте. Ну что, приняли вас на завод?

— Отстал ты, брат, от жизни,— отодвигаясь, бросил Лука.— С Василем мы, можно сказать, соседи по машинкам.

— А кто из вас зовется Василем? — спросил Володя.

Я ткнул себя пальцем в грудь.

— Других тоже приняли? — допытывался извозчик.

— А то как же! — сказал Маремуха таким тоном, будто и не могло быть иначе.

— Значит, у меня легкая рука,— обрадовался Володя.— Готовьте по сему случаю магарыч!

— Магарыч своим чередом,— вмешался Бобырь солидно,— а вот где вы пропадали вчера? Договорились ждать на вокзале, а сами исчезли неизвестно куда.

— Я до Мариуполя ездил,— сказал Володя,— с инженером одним. Вот как познакомил вас с тетушкой, так сразу и подался в Мариуполь.

— Разве туда поездом ехать нельзя? — удивился я.

— Можно, но неудобная пересадка в Волновахе. Считай, день поезда ждать. А этому инженеру срочно надо было в Мариуполь, вот и отмахали такой конец.

— А обратно порожняком? — спросил Маремуха.

— Мало-мало что не так,— сказал Володя, оживляясь.— Только покушал на постоялом дворе, Султана покормил. «Ну, думаю, поплетемся теперь налегке». Вдруг откуда ни возьмись подходит какой-то чудак с чемоданчиком: «Не возьмете ли меня с собой туда?» — «Отчего ж, говорю, за двадцатку хоть на край света». Думал, торговаться будет, так нет: вынул деньги без всяких. «Давай только,— говорит,— поедем быстрее». А я что? За такие деньги можно ехать.

— В самом деле двадцатку дал? — заинтересовался Гладышев.

— Думаешь, шучу? Два червонца новеньких, вот они, милые.— И Володя нежно похлопал себя по нагрудному карману кителя.— Весело доехали. Песни всю дорогу пели.

— Доходная у тебя работа, Володя,— сказал Лука.— Деньги платят, да еще песни подпевают!

— И не говори! — отшутился Володя. — У меня денег — как у лягушки перьев. В одном кармане смеркается, а в другом светает... А впрочем, шибко не завидуй. Это сегодня только так подвезло. Другой раз стоишь, стоишь перед тем вокзалом и думаешь — для смеха бы кто нанял хоть до Матросской слободки!

— Все-таки на свежем воздухе,— сказал Гладышев,— пылюку не глотаешь, как у нас в литейной.

— Ничего, Артем, вот крышу подымут, и у нас пылюки будет меньше,— заметил Лука, и мне стало понятно, что поднятия крыши ждет весь литейный цех.

— Ты говоришь, Артем, свежий воздух,— тихо ответил, как бы размышляя с самим собой, извозчик Володя,— а я бы от этого легкого, свежего воздуха на карачках на завод вернулся, если бы не рука.

— Вы тоже на заводе работали? — нисколько не скрывая своего удивления, сказал я таким тоном, что Лука и Артем засмеялись.

— А ты думаешь! — горячо сказал Володя, видно, задетый за живое моим недоверием. — Я, милый, не всегда кустарем-одиночкой был. Двенадцать лет на заводе отработал. С мальчиков. Еще буржуи жилы из меня тянули. Если бы не рука, кто знает, быть может, сейчас бы в мастерах ходил.

— А что у вас с рукой, что? — спросил торопливо Бобырь, разглядывая лежащие на Володиных коленях загорелые и на первый взгляд здоровые руки.

— Да глупая, в общем, история приключилась,— сказал Володя.— Земляки, они ее знают (он кивнул в сторону Луки и Гладышева), и вам, новичкам, узнать полезно. Вроде как бы инструктаж получите.

Тут, когда Махно до Румынии подался, в городе у нас его подручных немало осталось. Не знаю, сами ли они побоялись в чужие края за своим батьком лохматым удирать, или он их здесь, в Таврии, на рассаду оставил,— только факт, что кишело ими. А особенно много их шлялось в колонии, за вокзалом. Там раньше что ни усадьба была, то кулацкая. Хозяева жили в колонии крепкие: дома каменные, виноградники большие, на причалах около моря баркасы собственные, а по берегу от маяка до Матросской слободки волокуши расстелены. Виноград уродится квелый — из моря деньги вытянут. Ну а как голод случился, дружинники-рабочие давай у тех колонистов погреба осматривать — нет ли где хлеба зарытого. Да и в самом деле: в городе голод, дети распухли, на улицах всю крапиву да на кладбище лебеду для пропитания выщипали, а перешел пути — иной мир. Всего вдоволь в колонии; под праздники даже окорока коптят и самогон варят. Идешь по улице голодный, еле ноги волочишь, а тут как шибанет тебе в нос от ихней праздничной трапезы — разорвал бы их всех, паразитов, живьем! Народ повальное бедствие терпит, а эти веселятся — тустеп да ойру под граммофоны пляшут.

Понятное дело, колонистам не понравилось, что мы их обысками донимаем, к добру ихнему прикасаемся. Постреливать они стали в дружинников. А тут, на

заводе, еще иностранцы оставались. Джон Гриевз с чадами своими — тот сразу в Англию махнул, а своих надсмотрщиков помельче оставил. Эти его доверенные оружие где-то добывали и колонистам потихоньку ночами подбрасывали.

И вот однажды заходим мы в светлицу к одному купцу здешнему, Бучило его фамилия. Не успели еще дверь за собой прикрыть, слышим — шаги! Входят за нами двое соседей Бучилы, тоже из местных кулаков-колонистов, братья Варфоломеевы. В кожаных куртках оба, в кубанках, штаны из малинового бархата, и руки в карманах держат. «Ну, думаю, горячо нам сейчас придется!» Знал почти наверняка, что оба брательника у батьки Махно служили. С ними третий вошел, как бы холуй ихний, Кашкет по прозвищу, он же Ентута...

— Погоди, Володя,— перебил я извозчика,— он в литейном цехе работает? Красной косынкой голову повязывает?

— Он, он самый! — охотно подтвердил извозчик.— Ну, так вот... Оглянулся я — вижу, сам купец стоит у кровати, ухмыляется. Никакой, видать, ему обыск не страшен, раз подмога пришла. А соседи его, Варфоломеевы, поставили у двери Кашкета — и ко мне. А я, можно сказать, один был. Помощник мой, Коля Сморгунов, — хлопчик ловкий, карабином владел, но от голодухи ослаб совсем. Не совладать бы ему даже с младшим Варфоломеевым. И получилось так, что приходится мне как бы одному на себя удар принимать.

Старший Варфоломеев подходит ко мне и говорит:

«Ну что, Володя, грязная душа, пришел в гости к соседу — садись».

«Ничего, спасибо, сяду»,— говорю. И присаживаюсь на уголке стула.

«Давай,— говорит старший Варфоломеев,— хозяин, угощай желанных гостей!»

Вижу, приносит Бучило, улыбаясь, стаканы, штоф самогону, сало вареное. А под стеной его дочки, как на выданье, сидят. Обе невесты Варфоломеевых. Побледнели, чуют, не к добру такое угощение.

Смотрю я Варфоломееву прямо в лицо. Страшно мне, но не робею, Советскую власть за плечами чую. И прислушиваюсь, о чем его младший братан с хозяином перешептывается.

Люська Варфоломеев наливает мне тем временем стакан самогонки и говорит:

«Пей, милый!»

«Зачем, — говорю,— я первый? Может, она отравленная! Выпей сам».

«Ты что же,— шипит Люська,— боишься? И еще хозяина оскорбляешь! Тебе, голодранцу, уважение делают, а ты...» И раз — ножик выхватил.

Вижу я такое дело, мигнул Коле Сморгунову. А тот, вместо того чтобы на мушку их взять, из последних сил как трахнет карабином по лампе! Так мне горячее стекло на голову и посыпалось. Что делать? Раз такой оборот — повалил я на стол старшего Варфоломеева. Слышу, посуда загремела, барышни визжат, темнота кромешная. «Лишь бы,— думаю,— своих побыстрее дождаться!» И браунинг вытаскиваю, чтобы в окно пальнуть. Но тут как раз возле уха табуретка пролетела. «Ага,— думаю,— тяжелая артиллерия в ход пошла!» И ползу к выходу. Слышу, сопит кто-то рядом, и хромом пахнет. Значит, куртка кожаная рядом. «Ну, — думаю,— получай!» И рукояткой браунинга как дам! Попал прямо по затылку. Застонал кто-то из Варфоломеевых и кричит: «Держи дверь, Кашкет, мы ему покажем!» — и как бахнет в потолок. Тут и я стесняться перестал: застрочил в угол, откуда стреляли, из браунинга... Визг, огонь, керосином пахнет, а Сморгунов у двери голос подает: «Давай,— говорит,— Володя, обезоруживай бандитов! Я их не выпущу отсюда!» Хорошо ему говорить «обезоруживай»! Их с хозяином четверо, не считая невест, а я один. И пробиваюсь себе ползком к двери. Вдруг слышу, кто-то будто замахнулся на меня, и самогоном пахнуло близко. Я присел и рукой голову заслоняю. А тут — бжи-и-и-ик! По руке моей!

Я сперва, знаете, не почувствовал боли. Даром что жилы мне ножом перерезало да еще череп задело! Отдернул я руку — и в карман за платком. Но чую, дело плохо: пальцы не работают. Прижал пораненную руку другой рукой, жарко мне стало, даже пот на лоб выступил, и усталость одолевает.

Едва собрал силы крикнуть Коле Сморгунову: «Бей их, кулацких паразитов, бо я раненый!» А в эту минуту Кашкет, адъютант ихний, вазоны с окошка посбрасывал, головой стекло высадил и хотел туда, на снег, рыбкой! Тут Коля Сморгунов

в него на прощание из карабина бабахнул. Наши дружинники выстрелы услышали, обоих Варфоломеевых и хозяина взяли. А я вот... покалеченный остался. Даже стакан с водой трудно поднять. Питание плохое в те годы было, срослось все кое-как, а рука до сих пор словно парализованная...

— Послушай, Володя,— спросил Гладышев,— а почему Кашкет хвастается, что это его на фронте ранили, когда он от белых Екатеринослав защищал?

— На фронте? — Володя засмеялся.— А ты не купался с ним никогда? Жаль! Искупайся при случае. Посмотришь, куда пуля входила, откуда шла. На фронте, брат, таких ранений не бывает, разве что у дезертиров, кто под шумок пятки салом смазывает...

Мимо нашей скамейки, широко выбрасывая ноги, прошел знакомый франт из отдела рабочей силы в длинных, остроносых ботинках.

— А вот и Зюзя! — громко сказал извозчик.

— Привет! Привет! — отозвался тот, оборачиваясь на его голос, и, помахав рукой, пошел дальше.

— Вот этот Зюзя нас на завод не хотел принять! — мрачно заметил Маремуха.

— Да что ты говоришь! — удивился Володя.

— Правда, правда,— сказал я, поддерживая Петруся.

— Странно! — сказал Гладышев. — Неужто забурел? А мне говорили, что Зюзя хорошо к рабочему классу относится.

— Ничего себе «хорошо»! — возмутился Бобырь.— Да если бы не директор завода... Вот, послушайте...— И он рассказал, как встретил нас Зюзя в своей канцелярии.

— Самый настоящий бюрократ. Чернильная крыса! — поддакнул я.

— А я хотел было к нему идти в транспортный цех со своим Султаном наниматься, — сказал Володя.

— Да хоть бы объяснил, посоветовал, а то просто: «Аут! — говорит.— И езжайте в Харьков»,— с возмущением добавил Бобырь.— То ли дело директор... Все по-человечески расспросил, проверил, что мы знаем...

— Ты директору нашему не удивляйся,— сказал Лука.— Таких директоров от Севастополя до Ростова и по всему побережью не скоро сыщешь! Его уж и на завод Ильича звали, и в трест украинский — не пошел. «Дайте мне, говорит, завод поднять, технику туда наладить, английское наследство ликвидировать». Это он затеял поднять крышу литейной. «Пусть, говорит, в самом вредном цехе самый чистый воздух будет». А ты не видел, какую чугуночистку при нем выстроили? Загляденье! Раньше, при Гриевзе, в той чугуночистке люди от чахотки гибли сотнями. В сараюшках литье чистили, вся пыль на легкие садилась. А сейчас любо глянуть: чистота, света много, пыль отсасывают трубы... А какой в прошлом году приезжим троцкистам бой дал Иван Федорович! Перья с них летели! Ты Ивана Федоровича с Зюзей не равняй.

— Он что, выдвиженец? — спросил Бобырь.

— Иван Федорович?

— Да нет, Зюзя!

— Футболист,— сказал Лука спокойно.

— При чем же здесь футбол? — удивился Маремуха.

— А при том,— пояснил Лука,— что Зюзя был самый лучший центрфорвард на все Запорожье, но там, на заводе «Коммунар», с ним мало считались: работал у них в кочегарке, что ли. Ну а наш главный инженер Андрыхевич — болельщик старый. Поехал он однажды в Запорожье, посмотрел игру Зюзи, видит — парень ходовой, ну и переманил его сюда. Тут ему, ясно, раз-раз — и выдвижение: заместителем начальника отдела рабочей силы. Жалованье приличное, есть на что харчиться, чтобы за мячом бегать...

— Главный инженер — это седой такой? — осторожно спросил я, припоминая слова Анжелики об ее отце.

— Он самый,— подсказал Володя,— ваш сосед. Со странностями человек, но футбол уважает...

— Дочка у него занятная,— не без удовольствия ввернул Маремуха.— Василь с ней уже познакомился. Лапки жал на пляже.

— Да что ты? — Володя удивился и поглядел на меня с уважением.— Ты, оказывается, парень-хват, не теряешься! Но смотри: Зюзя узнает, мигом тебе ноги перебьет. У него, брат ты мой, удар пушечный. Штангу мячом ломает...

Неподалеку от нас, в порту, раздался прерывистый гудок. Потом другой, третий...

— «Дзержинский» в Ялту уходит,— сказал Лука.

Никогда в жизни мы не видели настоящих пароходов, только на картинках. Мне очень хотелось побежать в порт, поглядеть отход парохода, но, как назло, Маремуха продолжал разыгрывать меня и, подталкивая Бобыря, спросил у Володи:

— А что, разве Зюзя — приятель инженеровой дочки?

— Как же! На велосипеде ее катает часто и в гости к ним захаживает. Свой человек, словом.

— Я думаю, они его как футболиста уважают,— заметил Лука.

— Неужели дочка инженера — футболистка? — бухнул Петро.

— Болельщица! Пойдешь игру смотреть — не садись впереди нее,— предупредил Лука,— всю спину тебе ногами исколотит. Помешалась на почве футбола, как и ее папаша.

— Ну а это ты зря так...— заступился за мою знакомую молчавший доселе Гладышев.— Скажет тоже — «помешалась»! Барышня самостоятельная, умная, много книжек читает. А если болеет футболом, так что из того? Кто у нас не болеет, скажи? Одни голубями, другие футболом увлекаются. Главный врач курорта Марк Захарович Дроль болеет? Болеет! Начальник порта капитан Сабадаш? Ясное дело! Зубодер мадам Козуля? Еще как! Эта, из танцевального заведения... как ее, мадам Рогаль-Пионтковская? Безумно! Даже Лисовский, поп, как игра, церковь на замок — и на поле со своей матушкой... Такой уж город у нас шальной!

— Кто, кто? Рогаль-Пионтковская? — переспросил я.— Она не графиня, случайно?

— Леший ее ведает, графиня она или нет, а вот то, что эта мадам просто чудоюдо на всю округу,— факт...— сказал Гладышев.

— Самый главный профессор по танцулькам,— добавил Лука.

— Чего же мы сидим здесь, друзья, да сухой беседой пробавляемся? — встрепенулся Володя.— Может, пойдем до Челидзе и по кружке пива выпьем, а?

— Надо пойти, правда, а, Василь? — шепнул мне Бобырь.— Не пойдем — обидятся!

«Ходить в пивную комсомольцам? — подумал я.— Хорошо ли? С другой стороны, и впрямь новые наши знакомые могут подумать, что мы белоручки какие, чуждаемся их компании либо просто скареды. И наконец, разве это большой грех — выпить кружку пива?»

Однако усталость одолевала, и, помня, что завтра поутру надо на работу, я сказал:

— Да мы не знаем... Ведь нам завтра...

— Оставь ты их, Володя,— вмешался неожиданно Лука.— Хлопцы молодые, в работу еще как следует не втянулись и еще в самом деле проспят. Нехай майнают домой! А ты, друг,— обращаясь уже ко мне одному, очень сердечно сказал Лука,— напарника своего особенно не бойся. Он ворчит, покрикивает, но в общем-то справедливый старик и гоняет тебя не зря. Все к лучшему... Злее будешь! Ну, до завтра!..

Мы расстались, и Володя, первый выйдя из палисадника на мостовую, запел:

На заводе том Сеню встретила,
Где кирпич образует проход...
Вот за эти-то за кирпичики
Полюбила я этот завод...

Шагах в тридцати от людного проспекта было пустынно и тихо, как в деревне глубокой ночью. Сладко потянуло маттиолой, и в кустах одного из садиков, у самой дороги, зачастил перепел.

— А твоя симпатия, Василь, знает, что ты у нас в фабзавуче в футбольной команде играл? — спросил не без ехидства Петро.

— О ком ты говоришь?

— Притворяйся! — И Маремуха весело хмыкнул.— Будто не знаешь, о ком?

— Как ее зовут, а, Василь? — спросил Саша.

— Я забыл.

— Он уже забыл, ты слышишь, Петрусь? — издевался Бобырь.— Тогда я тебе напомню, раз ты такой забудька: Ан-же-ли-ка! Запиши, пожалуйста, на память.

— Что это за имя такое: Ан-же-ли-ка? — наслаждаясь моим смущением, протянул по складам Маремуха.— Первый раз слышу. Очень странное имя. Наверное, заграничное.

— Деникинское имя,— поддакнул Бобырь.— Ты думаешь, случайно она нам «мерси» сказала?

— Так все буржуи говорят: «мерси» и «пардон»,— согласился Маремуха.

А я шел опять молча, терпеливо выслушивая, как ребята прокатываются по моему адресу...

Далеко в море колыхались, огибая волнорез, белые топовые огни уходящего парохода «Феликс Дзержинский». Если бы я знал в ту ночь, кого он повез на своем борту в Ялту в кромешной тьме Азовского моря!.. Если бы я знал, то примчался бы заранее в порт и не стал тратить времени на пустые разговоры.

В ГОСТЯХ У ТУРУНДЫ

По мере того как я втягивался в заводскую жизнь, слово «подладитесь» страшило меня все меньше. Дни пролетали быстро, и всякий новый день приносил новости.

Сегодня, за несколько минут до обеденного перерыва, к моей машинке подошел Головацкий. Странно было видеть его среди пыли и шума литейной в хорошо сшитом костюме да еще при галстуке. На месте секретаря заводского комсомола я бы постеснялся показываться в цехе в подобном наряде. Люди работают физически, а он прогуливается таким чистехой! Но Головацкий вел себя как ни в чем не бывало, поздоровался за руку с Науменко, а Луке с Гладышевым поклонился.

— Своего подшефного проведать зашел, Толя? — спросил Лука.

— Как он — прижился у вас? Не теряется? — вопросом на вопрос ответил Головацкий и посмотрел на меня внимательно серыми глазами.

— Торопыга. Скоро дядю Васю обгонит! — бросил Лука и, схватив набитую опоку, помчался накрывать ею нижнюю половинку.

Обращаясь к Гладышеву и Науменко, Головацкий сказал:

— Я ему говорил: «Подладишься»,— а он было приуныл, как узнал про машинную формовку.— И, еще раз поглядев на меня, сказал доверительно: — Ты зайди ко мне, Манджура, в обед...

— Вы, я вижу, хорошо с Головацким знакомы? — спросил я Луку, как только секретарь скрылся за опоками.

— Это же наш воспитанник! Выходец из литейной. Мы его здесь и в партию принимали, как ленинский набор был,— сказал Лука, и я понял, что мой сосед — коммунист.

— Значит, Головацкий в литейной работал?

— Ну да! А чему удивляешься? На томильных печах! — бросил Турунда.— Он молодец, хорошие порядки там завел. До его прихода чумазей томильщиков на целом заводе никого не было. От той руды, которой они литье отжигают, ржавчина не только к робе, но и к волосам приставала. За версту можно было узнать, что парни из томилки идут. А сейчас — глянь: выходят после шабаша чистыми, как люди. А почему? Собрал Головацкий по поручению парткома комсомольцев на субботник, заложили сообща змеевики в тех печах, провели души с горячей водой да устроили каждому рабочему шкафчики для грязной и чистой одежды. Сейчас, когда пошабашат, сразу под душ. Помоются горячей водицей, переоденутся во все чистое — и по домам, что интеллигенты какие. Любо-дорого! И не узнаешь, что они в тех печах литье разгружали...

Эти слова, услышанные от соседей, запали мне в душу. Я шел теперь к Головацкому в ОЗК с добрым чувством и никак не ожидал, что он встретит меня упреком.

— То, что ты подладился быстро и освоил тонкости машинной формовки,— хорошо и похвально, Манджура, но почему ты держишься особняком ото всей молодежи?

— Как «особняком»? — переспросил я, усаживаясь на скрипучий стул.

— Да очень просто! Половина ребят тебя попросту еще не знает: кто ты, что ты, чем дышишь. О беспартийных я уже не говорю. Даже комсомольцы и то не подозревают, что у тебя комсомольский билет в кармане. В прошлый раз ты мне здесь полных три короба наговорил о своей общественной работе в фабзавуче. Я было возрадовался: «Вот, думаю, огонь-парень на подмогу к нам пришел...»

— Но мне же надо было освоиться,— виновато сказал я, сознавая, что секретарь ОЗК во многом прав.

— Но сейчас ты уже, надеюсь, освоился?

— Сейчас освоился...

— Тогда добро,— уже мягче сказал Головацкий.— И советую тебе поскорее узнать всю молодежь литейной: кто чем живет, кого что интересует. Ведь что получается: литейная — единственный цех на заводе, который в зависимости от заливки часто кончает работу задолго до общего шабаша. Что это значит? Это значит, что больше всего свободного времени у молодежи литейной. А много ты найдешь литейщиков по вечерам в юнсекции клуба металлистов? Очень мало! Стыд и срам, но это, к сожалению, так. А вот на танцульках у мадам Рогаль-Пионтковской их полным-полно...

Второй раз за последние дни я услышал знакомую фамилию. И трудно было удержаться, чтобы не перебить секретаря ОЗК:

— А кто же эта мадам?

— Осколок разбитого навсегда,— сказал Головацкий, постукивая длинными пальцами по фанерному столу.— Еще несколько лет назад ей принадлежали ресторан «Родимая сторонка» и кондитерская при нем. А потом, когда мадам устала от налогов, она открыла свой собственный танцкласс. Дочь этой мадам еще при белых вышла замуж за англичанина — начальника цеха и с ним укатила в Лондон. Ну а мамаша осталась и обволакивает сейчас своим влиянием молодежь.

Напрягая память, я спросил:

— Рогаль-Пионтковская тут давно живет?

— Как революция началась. Она сюда приехала вместе с дочерью. Откуда-то из-под Умани.

— Замужем?

— Мужа ее никто не видел. Либо схоронила его там, в Умани, либо в бегах находится...

— И ребята из литейной ее посещают?

— Если бы только из литейной! Из других цехов тоже. Не сумела комсомольская ячейка организовать досуг молодежи — мадам этим пользуется. И возьми себе на заметочку, Манджура: в твоем цехе есть еще совсем малограмотные ребята. Нечего коллектива чуждаться! Пора с хорошими ребятами подружиться, в одну упряжку стать. Гриша Канюк, к примеру, или Коля Закаблук...

— Все сделаю, Толя,— пообещал я Головацкому.

— Надо сделать все, а потом еще повторить! — пошутил Головацкий и, пожимая мне руку, сказал: — Ну, беги, а то до гудка три минуты осталось...

Еще в годы царского режима, когда мы жили в Заречье, под Старой крепостью, неподалеку от Успенского спуска, усадьба графини Рогаль-Пионтковской занимала целый квартал на городской окраине. Желтый барский особняк с колоннами у подъезда терялся в зелени тенистого сада, и к нему от железных ворот, украшенных коваными железными лепестками, вела усыпанная гравием дорога. Ее окаймляли грядки с белыми лилиями и пионами. Высокие ажурные ворота почти никогда не открывались, и на них висел тяжелый ржавый замок.

Но однажды ворота усадьбы распахнулись настежь по доброму согласию ее владелицы. Случилось это весной тысяча девятьсот девятнадцатого года, когда наш город захватил со своими бандами атаман Петлюра. Остатки его банд жались к железной дороге. В руках неудачливого атамана находилось несколько маленьких городков и местечек Подолии и Волыни. Но, несмотря на то что петлюровский фронт трещал по всем швам, атаман торжественно объявил наш город временной

столицей «Петлюрии», а для своей резиденции выбрал наполовину пустующий особняк графини Рогаль-Пионтковской.

Автомобиль, на котором подъехал Петлюра, встречала у распахнутых ворот сама графиня, дама в черном платье с воланами, с лорнетом, прижатым к глазам. Мы, мальчишки, видели с погоста соседней Успенской церкви, как, выйдя из машины, одетый во все синее Петлюра поцеловал худую,украшенную перстнями руку графини и вместе с хозяйкой последовал к желтому дому. Сюда к нему приезжали для переговоров галицкие «сичовые стрельцы» из корпуса Коновальца, деникинские офицеры.

Несколько позже на постой к графине прибыли английская и французская военные миссии. Офицеры Антанты, помогавшей Петлюре, разгуливали в своей невиданной нами форме по тенистым аллеям графского сада, но рассмотреть их поближе нам никак не удавалось. Прохожих сгоняли с тротуара гайдуки из «куреня смерти», охранявшие Петлюру и его свиту.

Лишь один раз вместе с приятелями мы взобрались на гранитный фундамент изгороди и попробовали разглядеть сквозь гущу зелени, что же творится возле дома с колоннами. В ту минуту, когда мы стояли босиком на шершавых и теплых от весеннего солнца плитах, прильнув к железной ограде, из сада выскочил высокий худощавый мужчина в длинном сером пиджаке и замахнулся на меня черной тростью в серебряных монограммах.

Как вспугнутые воробьи, пустились мы наутек кто куда, боясь, как бы длинноногий не кликнул на расправу с нами петлюровцев из наружной охраны. А у них были припасены для нас угощения похлеще трости: длинные нагайки с оловянными «пятаками», заплетенными в кожу.

Лицо незнакомца — хищное, злое, дряблое, все в желтоватых морщинах — я хорошо запомнил.

Говорили, что это родной брат графини, убежавший откуда-то из-под Киева от большевиков. Недаром впоследствии, когда Петлюру прогнали, графиню арестовала Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Что потом с ней стало, я не знал. А может, братец графини и был тем самым находящимся в бегах мужем здешней Рогаль-Пионтковской, которая, по словам Головацкого, «обволакивала молодежь» своими танцами?..

Зной еще не развеялся, но на проспекте уже было людно. Вялые и разморенные, брели с пляжа курортники в тюбетейках, в широкополых соломенных шляпах, а то и просто повязав головы мокрыми платочками. Курортники тащили в руках коврики, полотенца, мокрые простыни, купальники. Иные из них задерживались у киосков, где продавались студеная белая буза, лимонное ситро, нарзан и боржом со льдом. Другие приезжие, главным образом мужчины, забегали в угловой кооператив виноградарей. Утомленные жарой и морем, они опрокидывали там стаканчики, наполненные прозрачной «березкой», янтарным «вяленым», «выморозками», «изабеллой», густым и приторным мускатом и другими винами Приазовья.

То заглядывая внутрь магазинов, то задерживаясь у нарядных витрин, я шел, впечатывая каблуки в мягкий асфальт. Еще до окончания работы Гладышев сказал мне, что салон Рогаль-Пионтковской помещается в доме № 25 по Генуэзской улице.

Внезапно все прохожие перестали меня интересовать, кроме одного, что появился откуда ни возьмись передо мной. Спина его и походка — твердая, уверенная, строевая походка военного — показались мне удивительно знакомыми. Если бы не его летний штатский костюм из чесучи да не мягкая, из той же материи панама с широкой голубой лентой, я бы сразу бросился к прохожему как дорогому земляку.

«Но этот не виданный никогда раньше штатский костюм?.. А походка та же, и рост, и высоко поднятая голова с загорелой шеей!.. Да он, верно, на курорт сюда приехал! Ну как я не догадался!» Быстро обогнав прохожего в костюме из чесучи, заглядываю ему в лицо. Он в это время смотрит в окно аптеки, где виднеются целые батареи банок с латинскими надписями. «Ну да, это он!»

Я подхожу к прохожему вплотную и, чуть дотронувшись до его полусогнутого локтя, говорю:

— Здравствуйте, товарищ Вукович! Как вы сюда...

Человек с лицом Вуковича удивительно хладнокровно, будто ждал, что я его затрону, оборачивается и говорит:

— Вы обознались, молодой человек...— и слегка насмешливо смотрит мне в глаза, как бы жалея, что я так глупо ошибся.

Что я буркнул ему в ответ, не помню. Это не были слова извинения. Скорее всего я произнес что-то похожее на «ух ты!» и, смешавшись окончательно, быстро зашагал прочь, чтобы зеваки не обратили на меня внимания. А сам думал: «Ну, бывает же такое сходство! Удивительно, как похож этот человек на Вуковича...» Если бы то был Вукович, он обязательно узнал бы меня и поздоровался. Особенно после того продолжительного разговора в его кабинете, когда мы посетили его вместе с Коломейцем, а потом зашли к его начальнику — Киборту.

Придя в себя после досадной оплошки и освобождаясь от охватившего меня смущения, я решил ни в коем случае не говорить хлопцам, как я обознался...

Дом № 25 на Генуэзской оказался ничем не примечательным с виду одноэтажным особняком. От кассирши в платье из клетчатой шотландки, которая раскладывала на столике у входа книжки с билетами, я узнал, что танцы начинаются через час. Не крутиться же мне под высокими окнами танцкласса столько времени, чтобы поглядеть на здешнее чудо-юдо! Я медленно побрел Генуэзской улицей, подальше от центра города.

Генуэзская привела меня в предместье Лиски с его маленькими домиками. Почти вся земля здесь была занята огородами. Я пошел на край поселка, к самому морю.

Вблизи берега покачивались на якорях просмоленные рыбачьи баркасы со свернутыми парусами. На песке, забросанном водорослями, сохли неводы-волокуши. В лицо ударил воздух морского раздолья, смешанный с запахами копченой рыбы, водорослей, йода, смолы.

Пустынный песчаный берег тянулся к Ногайску. Из оврага, спускавшегося к морю, выглядывала какая-то двухэтажная вилла под красной черепицей. Закат бросал багровые блики на ее окна, обращенные к Лискам. Стекла будто пламенели под лучами солнца, медленно падающего в море. Казалось, вилла горела, подожженная изнутри. Я вспомнил рассказы литейщиков о бывшем владельце завода Гриевзе, который улепетнул за границу, и решил, что не иначе как это его вилла виднеется вдали. Достаточно лишь было сравнить ее с маленькими белыми мазанками, разбросанными по берегу моря, чтобы понять: там жил богач.

По мягкому песку я подошел к тихому морю и, зачерпнув руками чистой воды, умыл вспотевшее лицо и смочил волосы.

— Эй, молодой, иди сюда! — послышалось издалека.

«Не меня, наверное,— подумал я, не оборачиваясь.— Кто меня может знать тут?» И шагнул по направлению к Генуэзской. Но вдогонку понеслось:

— Василий Степанович! Товарищ Манджура!

От маленького домика ко мне быстро шел мой сосед по машинкам Лука Турунда. Он уже успел переодеться в светло-голубую, выжженную солнцем робу, простеганную белыми нитками.

— Загордился, право! — сказал Лука, подбегая.— Кричу, кричу, он хоть бы хны! Я увидел тебя еще, как ты к морю шел. Никак, думаю, топиться парень идет от притеснений Науменко.

— Здравствуйте! Отчего ж мне топиться?

— Давай зайдем до меня в хату! — предложил Турунда.

Я ответил неуверенно:

— Мне в город нужно. Может, в другой раз?

— А я тебя не на свадьбу зову. Посидим маленько и тронемся вместе.

Домик Турунды был расположен на самом берегу. Проходя во двор, я спросил:

— Не заливает волнами, когда шторм?

— Случается. Прошлой осенью майстра задул, и такие волны пошли, что стекло выбило водою. Моя жинка даже кур на чердак переселила, чтобы море не украло.

В горнице с низким потолком было прохладно. Все окна, кроме одного распахнутого настежь, были завешены кисеей от мух. На подоконниках стояли горшки с геранью и фикусами и бутыли с вишневой настойкой.

— Знакомьтесь! — предложил Лука.— Вот мой папаша, а это жинка. Перед вами Василий Степанович. Он прибыл к нам на пополнение литейного цеха... Откуда ты прибыл, Василь?

— Из Подолии,— сказал я, здороваясь с отцом Луки и с женой.— Но я ведь не Степанович, а Миронович...

— Правда? — Лука удивился.— Значит, я тебя с напарником спутал: он у нас Степанович. Сидай вот сюда, под окошечко: нет-нет да с моря низовкой потянет.

Я протиснулся под окно и сел за хорошо вымытый сосновый стол. Отец Луки, черный от солнца и такой же сухопарый, как его сын, присел напротив, а жена Турунды, симпатичная женщина лет двадцати пяти, захлопотала у печи, которую было видно через сени. Смуглая, крепко сбитая, с косами, уложенными в корону, она неслышно пробегала по кухне, то показываясь перед печью, то пропадая за простенком.

— А мы тут разговариваем с батькой на одну тему житейскую, — сказал Лука. — Ты ведь знаешь, что третий месяц один процент нашего заработка отчисляется на бастующих английских рабочих. А мои домашние, как принесу я домой книжку расчетную, шумят: «Опять эти «А. Р.»! Что они, родня тебе? Лучше бы вместо тех отчислений платье жинке купил».

— При чем здесь платье! — перебил сына старый Турунда, показывая желтые от табака редкие зубы.— А они, эти «А. Р.», помогали нам в девятьсот пятом, когда «Потемкин» красный флаг выбросил? Напротив! Старый Гриевз сотню казаков из Мелитополя вызвал забастовщиков усмирять. Помог, думаешь, тогда нам кто-нибудь из-за границы? Черта с два! Целое лето одной тюлькой пробавлялись. А с какой такой стати мы теперь ихним забастовщикам помогать должны?

— Потому что мы отечество всех трудящихся мира,— сказал я осторожно, чтобы не разозлить ворчливого старика.— У нас Советская власть, а у них еще ее нет... У них капиталисты на шее сидят.

— То не ответ,— буркнул старик.— Ты под корень гляди, а политику мне разводить нечего!

Слова Турунды задели меня за живое. Вспомнились наши собрания в фабзавуче на международные темы, и так же запальчиво, как там, я сказал:

— Почему «не ответ»? Ясно, что мы в лучшем положении, чем те английские горняки, что ради наживы всяких капиталистов угольную пыль глотают.

— А мало мы той пыли при царизме наглотались, чтобы буржуй заморский вон в тех хоромах жил да на собственной яхте по морю раскатывал? — Старик показал крючковатым пальцем в сторону виллы, которую я разглядывал с берега.— Ему банкеты на свежем воздухе были нужны, а нам один кабак оставался на потеху, да и тот в долг!

— И не берись даже моего старого переспорить. Все равно что митрополит Введенский! Ты ему свое, а он тебе свое. Наперекор. Я тоже толкую ему: поскольку мы рабочая власть, значит, всякому рабочему, который нуждается, подсоблять должны в беде,— сказал Лука.

Неслышно ступая по глиняному полу босыми загорелыми ногами, в горницу вошла жена молодого Турунды. В руках у нее задымленный противень. Она поставила его тихонько на две деревянные подставочки, и я увидел на дне противня четыре жирные рыбины. В нос ударил сильный запах чеснока.

— Едал когда-нибудь такое? — спросил Лука.

Я отрицательно покачал головой.

— Чебак по-рыбачьи! — заявил Лука.— Утреннего улова. Батька его ущучил, а мы сейчас отведаем.— И, поддев вилкой тяжелую рыбину, он положил ее передо мной на тарелку.

Тут я заметил, что даже чешуя не счищена с чебаков. От жара духовки блестящие чешуйки взъерошились так, будто кто-то причесывал рыб «против шерсти».

Довольно скоро, снимая, по примеру хозяина, кожу с чебака, я угадал немудреный способ приготовления этого вкусного блюда. Перед тем как бросить рыбины на противень и отправить в жар духовки, их нашпиговывают дольками чеснока. Рыбы пекутся целиком, в собственном жире.

— Но ведь рыбка посуху не ходит! Верно, Василь? — подмигнув мне, сказал Лука и достал из темного угла тяжелый кувшин с вином. Он налил в стаканы бледно-желтое, удивительно чистое вино.

— Хватит! Хватит! — остановил я Луку, когда была налита половина моего стакана.

— Чего испугался? — Лука поднял на меня быстрые глаза.— Думаешь, крепкое? Да это «березка». Слабенькое. Его у нас малые детки заместо воды пьют.

— Все равно будет. Я непривычный.

— Привыкать надо,— заметил отец Луки.— У Азовского моря жить — «березку» пить!

— Ну, за твою удачу, Василь. Чтобы ты стал хорошим литейщиком. Пусть фартит тебе в молодой жизни! — сказал Лука, и мы чокнулись стаканами.

Подняла свой стакан и жена его, поправляя полной рукой уложенные короной иссиня-черные тяжелые косы.

От взгляда ее глубоких, темных, как маслины, добрых глаз повеяло большим радушием. Показалось, что я уже давно знаком с милыми хозяевами этой хатки, выросшей на песчаном приазовском берегу.

Вино было холодное, ароматное, чуть кисловатое, со слабой горчинкой. Оно и в самом деле не было крепким.

Я отставил пустой стакан и мимоходом глянул на часы-ходики, висящие на стене, у печки. Лука перехватил мой взгляд и сказал успокоительно:

— Не бойся, молодой, мне ведь тоже в университет идти.

— В какой университет? — удивился я.

— Он студент у меня,— ответила за Турунду его жена и, поглядывая на Луку очень ласково, положила ему на плечо смуглую руку.

— С прошлого года. Вечерами! — сказал Лука.— Поженились мы с Катей, и я подумал: надо учиться. Хватит время свободное попусту переводить. Поступил на подготовительные курсы, припомнил все, чему еще в приходской школе учили, алгебру одолел, а тут открывается вечерний рабочий университет. Ну как не воспользоваться?

— И доволен? — спросил я, чувствуя, как от этого слабенького вина тепло растекается по телу.

Лука весело вскинул голову:

— И не спрашивай даже! До этого что было? Пошабашил, приоделся — и на проспект. А с проспекта куда? В «Родимую сторонку», к Челидзе. Идешь после него домой сонный, ноги вензеля пишут. Иной раз так раскачает, что в кепке да в сапогах на койку бухнешься. Не успел глаза прикрыть, уже гудок заливается. А с похмелья работа какая? Ползешь, что там муха осенняя по стеклу, а напарник тебя ругает на чем свет стоит, потому что и его задерживаешь. Спасибо Ивану Федоровичу, что он университет открыть придумал.

— Директор?

— Он самый. Смекнул, что в городе учителей всяких много — и по химии, и по астрономии, созвал их к себе и говорит: «Давайте, милые, по вечерам рабочий класс учить, деньги я для вас найду!» Сказано — сделано. И завертелась карусель. И вот с той поры, как начал я тот университет посещать, вроде как другим человеком стал. Вагранка гудит вдали, а я тем часом формулы припоминаю, что учитель разъяснял, и соображаю, что к чему, отчего чугун плавится, как из него сталь получить и при какой именно температуре... И получается так, что вместо этого маленького окошечка смотришь на жизнь из большущего окна...

— А на занятия сегодня опоздаешь,— очень мягко, вполголоса сказала жена.

— Я? Ничего подобного! — спохватился Лука и, подбежав к этажерке, принялся собирать книги.

— Заходите до нас запросто,— сказала Катерина, прощаясь.— А задумаете в море пойти — старый вас на рыбалку возьмет.

Я поблагодарил хозяев хатки за угощение и сказал, что в следующий раз приду к ним уже с хлопцами. Вместе с Лукой мы пошли Генуэзской улицей к проспекту.

— Кусачий мой батька, правда? Ему пальца в рот не клади! Тоже до революции в литейном на ковком чугуне работал.

— Отчего же сейчас не возвращается?

— Да в гражданскую, как завод остановился, он рыбачить начал. Рыскалистым рыбаком стал. И однажды, на исходе зимы, ушел он в море со своей ватагой на подледный лов за красной рыбой. Ветер все с запада дул, а потом вдруг возьми да и сорвись ночью левант. Лед зашевелился, крошиться стал, и понесло его в открытое море. Вынесло моего батьку тем левантом аж на кубанскую сторону. Половина ватаги погибла, а они чудом по мелководью вброд выбрались, почитай, уже с самого крошева. А вода была студеная, проняла она батькины ноги до самого костного мозга. Сейчас, как перемена погоды, папаша не игрок. Добро еще — курорт близко. Жинка ездит туда да и в цибарках вонючую грязь лиманную ему привозит. Нагреет ее на плите, посадит старика в корыто и давай его той грязью лечебной исцелять. Боль утихнет, и опять батька сети свои в баркас — и гайда в море. Либо за рыбцом, либо за пузанком, либо за таранью. Рыбы в этой луже пропасть! — И Лука кивнул в сторону моря.

— Послушай, Лука, а кто на том курорте лечится?

— Отовсюду люди приезжают. Вот, скажем, жил бы ты еще на своем Подоле или дальше. Пробуждаешься ночью и слышишь — ноги ломит, спасу нет. Бегом в поликлинику. Делает доктор тебе ощупывание: так, мол, и так, самая что ни на есть острая форма ревматизма. Ну а страхкасса тебе путевку бесплатную — и ты здесь...

«А может, все-таки я Вуковича встретил на проспекте? — подумал я, оставшись один.— Схватил он ревматизм на границе. Направили его на курорт, переоделся в штатское и не захотел признаваться?..» Но тут же отогнал эту несуразную мысль.

«НУ ЛАДНО, МАДАМ!»

Уже издалека было видно, что около заведения Рогаль-Пионтковской толпится молодежь. Одни из них лениво щелкали семечки, поглядывая на тех счастливцев, которые без всякого колебания заходили в открытые двери прихожей. Другие, более нетерпеливые, отступали подальше, к палисаднику, и, приподымаясь на цыпочки, норовили заглянуть через высокие окна в глубь зала, откуда доносилась музыка, смешанная с шарканьем ног танцующих.

Оставив у билетерши в клетчатом платье целый полтинник, я вошел в продолговатый зал с потрескавшимися колоннами из папье-маше. Сразу повеяло духотой, кисло-сладкими запахами пудры и дешевых духов.

Несколько пар с окаменелыми туловищами расхаживали то взад, то вперед посредине зала в каком-то непонятном танце-марше. Позже я узнал его название: фокстрот.

Кавалеры с важными и вместе с тем ничего не выражающими лицами, то приподымаясь на носки и наступая, то отходя на два шага назад, колесили по залу, водя разморенных жарою девушек. Видно было, они очень гордятся, что могут ходить так, соблюдая этот однообразный ритм и проделывая два-три незатейливых движения перед глазами отдыхающих танцоров либо зевак, которые, подобно мне, пришли поглазеть на это диковинное зрелище. Хозяйки танцкласса еще не было, и я с нетерпением ждал ее появления.

Глядел я, как развлекаются посетители салона Рогаль-Пионтковской, и невольно вспомнились мне совсем иные танцевальные вечера в совпартшколе нашего города.

Музыканты-курсанты располагались там на дощатой сцене, и медь оркестра сотрясала высокий мраморный зал, переделанный в клуб из бывшей церкви женского епархиального училища. Было так весело и людно, что казалось, не замазанные еще святые радуются этой громкой музыке и сам бог Саваоф, стоящий в сандалиях на босу ногу над лозунгом «Мир хижинам, война дворцам!», тоже готов пуститься в пляс вместе со своими крылатыми архистратигами.

Курсанты в голубых буденовках и девчата из предместий города танцевали самую настоящую бальную мазурку, и никто, конечно, не обращал особого внимания, что кавалеры пляшут в залатанных сапогах со стоптанными каблуками, а на ногах у дам иной раз можно было увидеть простые деревяшки.

Быстрые венгерки чередовались с плавными и легкими вальсами — от «Души полка» до чудесного вальса «Дунайские волны». Веселые краковяки приходили на смену падеспани, а уж если лектор природоведения Бойко просил музыкантов сыграть его любимую «Китайскую польку» с приседаниями да иными выкрутасами, не было в клубе человека, который бы не пристроился к цепочке танцующих.

И я ходил в тот пляс! И я приседал на корточки, а потом проносился через весь зал, помахивая то вправо, то влево поднятыми указательными пальцами.

Однажды в паре со мной очутился пожилой повар Махтеич. Он пришел справиться у дежурного по школе, когда давать звонок на ужин, а лектор Бойко завлек его в пляс. Под звон литавр мы кружились с Махтеичем по залу, едва не налетая на сцену, пылающую от медных труб музыкантов, и я слышал, как пахнет от моей «дамы» гречневой кашей, жареными шкварками, луком, и почти наверняка мог догадаться, какой ужин приготовлен для курсантов.

Много потехи и непринужденного молодого веселья было на тех забытых уже курсантских вечерах. Дружные и неприхотливые, они придавали бодрости. Там молодость выплескивалась через край. Там чувствовался боевой, смелый коллектив людей, которые решили запросто отдохнуть и повеселиться.

«А здесь что? Разве это танцы? Стучат ногами на одном месте как истуканы! И никому нет ровно никакого дела до соседа. И всяк прельщен мыслью, что он танцует лучше всех. А танца-то и нет!»

И я громко рассмеялся при этой мысли. Один из танцоров — желтолицый, с остренькими черными усиками — угрожающе покосился в мою сторону, видно решив, что это я над ним насмехаюсь.

— Соседушка, мой свет, да вы ли это? Ах, какой прогресс! — раздалось рядом.

Оборачиваюсь, вижу — Анжелика. Стоит около меня в зелененьком платье с белыми горошками и показывает в улыбке оба ряда ровных зубов. Делать нечего; я протянул ей руку и сказал:

— Добрый вечер!

— Вы танцуете? Вот не думала! Такой тихоня...

— Просто поглядеть пришел,— буркнул я, оглядываясь, нет ли еще поблизости других знакомых.

— Бросьте, бросьте! — погрозила мне пальчиком Анжелика.— Меня вы не обманете... А вот и мадам Рогаль-Пионтковская. Она заменит тапера, и это прекрасно! — И, приподымаясь на носки, чтобы стать более заметной, сложив ладони ковшиком у рта, Лика, как в рупор, крикнула: — Глафира Павловна, чарльстон попросим!

Дородная седая старуха в черном платье, с удивительно румяными щеками, оглянулась на этот возглас. Ее лицо расплылось в довольной и многообещающей улыбке. Нет, она решительно ничем не напоминала сухопарую графиню с Заречья! Скорее эта мадам была похожа на владелицу мясной лавки или колбасной.

— А тот, маленький, вероятно, муженек вашей мадам? — спросил я тихо Лику, показывая на тапера.

— Что вы? — возмутилась Лика.— Ее муж был инженером и погиб под Уманью от шальной пули. Умань — это где-то в ваших краях, не правда ли?

— Куда там! До Умани нам еще сутки езды поездом! — воскликнул я и про себя отметил, что рассказ Головацкого и слова Лики частично совпадают.

Маленький тапер в длинном замусоленном пиджаке с фалдами до коленей, похожий на сверчка, ставшего на задние лапы, угодливо придвинул Рогаль-Пионтковской кругленький вращающийся стульчик. Мадам подобрала юбки и села. Стульчик сразу же перекосился под тяжестью ее грузного тела. Приподняв над клавиатурой пухлые пальцы в сверкающих перстнях, хозяйка задумалась.

— Вы чарльстоните? — шепнула мне Анжелика.

— Что?

Громкие звуки нового танца прогрохотали в зале: мадам без сожаления принялась разбивать свой рояль.

— Пойдемте, это чарльстон! — сказала Лика.

— Да я не умею!

— Чепуха! Очень легкий танец. Смотрите на мои ноги — и быстро научитесь! — Лика вытащила меня на середину зала и сразу положила свою ладошку мне на плечо.

Вокруг уже танцевали, оттопыривая туловища, какие-то пары. Пестрые платья девушек, пролетая мимо, рябили в глазах.

Я внимательно смотрел вниз, где трясла длинными загорелыми ногами моя соседка. Казалось, Анжелике надоели ее ноги и она хочет отбросить их в сторону. Ноги ее двигались как на шарнирах: бросит ногу в сторону, помашет ею и снова наступает на меня.

«Не танец, а пляска святого Витта!» — подумал я, выворачивая ноги в коленках так, что кости захрустели. «Эх, была не была!» — решил я и, вспомнив курсантские вечера, с силой подхватил Анжелику и закружил ее. Она смотрела на меня изумленно остановившимися и немного злыми глазами. Но только хотел я сделать крутой поворот, как правая нога моя наступила с ходу на что-то мягкое, ускользающее. Я пошатнулся назад и со всего размаха ударил локтем в спину Рогаль-Пионтковскую.

Мелодия чарльстона на мгновение оборвалась. В наступившей тишине я услышал не очень громкое, но ожегшее меня короткое слово:

— Хам!

Отлетая как можно скорее от рояля, я увидел перекошенное злобой нарумяненное лицо хозяйки танцкласса. Вне всякого сомнения, это она пальнула в меня обидным словом. Но злость на ее лице гостила недолго: Рогаль-Пионтковская мигом заулыбалась и, словно желая наверстать потерянное время, забарабанила по клавишам еще громче. Возможно, Анжелика не слышала этого оскорбления, отпущенного по моему адресу, а может быть, просто сделала вид, что не слышит,— только я решительно рванул свою даму вправо, к струе свежего воздуха, бьющего из дверей, и вывел ее из зала.

— Экий вы, право, увалень! — сказала Лика не то шутя, не то презрительно.— Играют одно, а вы, совершенно игнорируя мелодию, пляшете какую-то ойру. Да у вас вовсе нет слуха! Вам, сударь, Михайло Михайлович Топтыгин на ухо наступил. Вы совершенно не чувствуете ритма.

— Насчет Топтыгина не знаю, а что в такой жаре могут толкаться одни сумасшедшие — это факт!

— Они умеют чарльстонить, а вы нет. Так зачем же злиться? — сказала Лика примирительно.

— А разве не лучше в такой вечер к морю пойти, на лодке покататься?

И только сказал это, как мой взгляд остановился на яблочном огрызке, раздавленном на полу. Так вот, оказывается, из-за чего заработал я «хама»! «Ну ладно, мадам! Посмотрим еще, кто «хам». По полтиннику с танцора загребать можешь, старая карга, а порядка соблюдать не хочешь!»

— А вы на лодке любите кататься? — спросила Лика, размахивая надушенным платочком.

— А кто же не любит? — сказал я, не подозревая подвоха.

— Тогда знаете что? Убежим отсюда к морю! — И снова Анжелика схватила меня за руку.

Пяти шагов мы не прошли с нею по Генуэзской, как навстречу попался Зюзя.

— Куда же вы, Лика? — недовольно сказал франт, растопыривая руки.

— К морю с молодым человеком от жары спасаться! — капризным голосом бросила она.— Кстати, вы не знакомы?

— Тритузный! — буркнул франт и, не глядя, сунул мне свою лапу.

Я пожал ее без всякого удовольствия и назвался.

— Пардон, дорогуша! Меня Иван Федорович задержал. Меняйте гнев на милость и возвращайтесь. Сегодня танго «В лохмотьях сердце». Разучивать будем. Со словами...

Тут уж я не стерпел. Разряженный пижон абсолютно не хотел считаться с моим существованием!

— Давайте, Анжелика, скорее, а то позже комары нас на море заедят! — сказал я басом, и она пошла со мной.

По обе стороны дощатого мостика болтались на приколе лодки. Лика нагнулась и щелкнула ключом, отмыкая замок на цепи.

— Прыгайте! — скомандовала она, подтягивая лодку к причалу.

Не раздумывая, я прыгнул. Как только подошвы встретили решетчатое дно, проклятый тузик закачался так, что я едва не вылетел за борт.

— Возьмите круг, Лика! — донеслось сверху.

Это крикнул дежурный матрос Общества спасания на водах. Он стоял на мостике в одних трусах да в фуражке-капитанке с белым флажком на околыше. На мускулистой груди матроса висел на цепочке свисток.

— А для чего, Коля? — сказала Лика, отталкиваясь веслом от причала.— Я думаю, мой идальго умеет плавать. Да в случае чего я и сама спасу его, без круга.

— Как знаете! — Матрос усмехнулся.— А если что, давайте полундру.— И он бросил круг обратно на причал.

Насупившись, прислушивался я к этому разговору. Моя соседка положительно во всем хочет показать свое превосходство надо мной! И в этой фразе, оброненной матросу, тоже звучал презрительный намек, что я не умею плавать и, как котенок, пойду ко дну, если она меня не подхватит.

Анжелика легко перебирала веслами, и берег постепенно уходил от нас. Причал казался отсюда уже совсем маленьким, как две спички, сложенные буквой Т и прилипшие к берегу.

— Пустите, я немного погребу!

— Рискните,— согласилась Анжелика, и мы поменялись местами.

Багровый шар солнца, падающего куда-то левее, за Керчь, ослепил меня и окрасил удивительно спокойную воду бухты в ярко-кирпичный цвет. Я зарыл весла глубоко в воду и одним толчком подал лодку вперед. Она забрала вправо, но весло вырвало уключину. Еще немного — и уключина утонула бы в море.

— Я верю, Василь, что вы силач, но зачем же лодку ломать? Загребайте легко, как бы нехотя, от скуки. И тузик скорее пойдет.

И в самом деле, как только я уменьшил усилия и перестал зарывать лопасти весел глубоко в воду, лодка заскользила по поверхности бухты, как плоский камешек, пущенный с берега, оставляя за рулем нежный дрожащий след.

— Забирайте чуть-чуть левее. На волнорез!

— Вы туда хотите?

— А вы нет?

— Далеко же!

— Вы не знаете еще, что такое «далеко»! Если бы мы с вами на косу отправились на ночь глядя — другое дело, но вы робкий. А волнорез — рукой подать.

Порт с полукруглыми пакгаузами остался уже позади. И почти сразу же за сигнальным колоколом его последнего мола открылись высокие гранитные глыбы волнореза.

— Пожалуй, близко! — согласился я.— Версты две будет?

— Полторы.

Непривычный к веслам, всякий раз напрягаясь, я сжимал губы. Вид у меня, наверное, был неестественный. Теперь моя соседка, нисколько не смущаясь, разглядывала меня в упор с очень близкого расстояния.

— А знаете, Василь, у вас взгляд — как прикосновение. Как у лейтенанта Глана! — неожиданно сказала она.

— Это что еще за тип? — буркнул я.

— Это любимый герой одного скандинавского писателя. Лейтенант Глан скрывался от несчастной любви в лесу, жил в глухой избушке и, чтобы досадить любимой девушке, послал ей в подарок голову своей собаки...

— Дикарь какой-то! — бросил я.— Настоящий человек не будет от людей бегать.

— Не от людей, а от несчастной любви. Ему цивилизация надоела.

— Все равно! — сказал я, уже заранее возненавидев отшельника.— А скажите, какой взгляд у вашего Тритузного? Тоже «как прикосновение»?

Не улавливая иронии в моем вопросе, Анжелика с готовностью ответила:

— Взгляд обыкновенный, зато удар пушечный! Жаль, что вы не поспели на матч с Еникале. Вот была игра! Зюзя пробил с центра поля и повалил мячом вратаря. Наши болельщики прямо визжали от восторга.

— Подумаешь! — нарочито дерзко сказал я, налегая на весла.— Мы играли однажды с молодежной Бердичева, а Бобырь защищал ворота. Двух наших беков подковали, а на Сашу трое игроков летело, на открытого вратаря! И вы думаете что? Пропустил Саша мяч?.. Задержал! Правда, пришлось мне одному вражескому инсайду по харе съездить за то, что ножку подставил. Судья остановил игру и выдал Бердичеву пенальти. С одиннадцати метров! И опять Саша мяч не пустил, а тот негодяй ушел с поля с побитой мордой!

— Ой, Василь, Василь, надо вам научиться хорошему тону...— назидательно сказала Лика.— Если бы вы знали, как меня шокируют эти ваши словечки! Юноша вы приятный, а выражаетесь подчас как мужик неотесанный.

Прежде всего я не знал тогда, что означает мудреное слово «шокировать». Но даже не оброни она его, уже один ее холодно-поучительный тон взбесил меня. И я сказал дерзко:

— «Неотесанные» революцию делали, хорошо бы вам знать это!

Анжелика не нашлась что ответить или не захотела продолжать этот разговор.

Багровый венчик угасающего солнца выглядывал над поверхностью моря, окрашивая воду тревожным цветом пожара.

За нами море стало уже густо-черным и маслянистым. Оно неслышно вздыхало, отражая последние розовые блики заката и тень от волнореза, падающую к портовому молу.

Легко и небрежно поправляя волосы, Лика сказала:

— Бунация!

Я пожал в недоумении плечами, давая понять, что не понимаю этого слова...

— Бунация — вот такое спокойное состояние моря, как сейчас. Полный штиль. Больше всего я люблю море таким.

— Мне казалось, наоборот, что вы любите шторм. Вы тогда прыгнули с лесенки прямо в кипящее море.

— Я выросла у моря и не могу дня прожить, чтобы не купаться. Это вошло в привычку. Но больше всего на свете уважаю покой, тишину. И чтобы кошка мурлыкала рядом... Сидеть на качалке и гладить тихонечко кошку. А у нее в шерсти чуть-чуть потрескивает электричество... Что может быть еще лучше? Прелесть!

Слушать такое — и не возмутиться? Я сказал:

— Да это же мещанство! Вы еще не начинали жить, а уже вас тянет к покою.

— Ого-го! — Лика прищурилась.— Тихоня начинает показывать коготки. Очень любопытно! Я не знала, что вы такой спорщик. Мои поклонники слушают меня обычно без возражений.

«Однако какая наглость! Кто ей дал право меня к своим поклонникам причислять?»

— Нет, серьезно, Василь, грешна я: люблю потосковать наедине, забыться от мирской суеты, уйти в царство грез...

И Лика неожиданно пропела мягким, приятным голосом:

В сером домике на окраине,
В сером домике скука жила...

— Особенно зимой,— продолжала она,— когда день еще не ушел и борется с лиловыми сумерками, я люблю быть одна и разговаривать с тоской... Она выходит неслышно из-за портьеры, вся серая-серая, добрая, унылая фея с пепельными волосами, вот такого цвета, как море сейчас, и успокаивает меня.

«Бесится с жиру на отцовских харчах! Вот и мерещится ей всякое»,— подумал я. Таких откровенных обывательниц мне еще вблизи не приходилось видеть.

— Для чего же вы, собственно говоря, живете?

— По инерции. Жду счастливого случая. Авось придет кто-либо сильный, возьмет меня за руку, и все сразу изменится.

— А сами? Без няньки?

— Не пробовала.

— А вы попробуйте!

— Ах, надоело!

— Какой же смысл коптить небо зря? Ждать сильного кого-то и ныть: «надоело», «надоело»...

Видно было, слова эти не на шутку задели Анжелику. Опять в глазах ее мелькнул злой огонек, как давеча, в салоне Рогаль-Пионтковской.

— А вы, сударь, для чего живете? Вас устраивает, что ли, однообразная работа в литейной?

— Однообразная! — возмутился я.— Напротив! Сегодня я формую одну деталь, завтра — другую. Из-под моих рук выходят тысячи новых деталей. Мне радостно при мысли, что я тружусь для своего народа, никого не обманывая. Разве это не интересно? Я горжусь тем, что я рабочий, горжусь, вы понимаете? А насчет однообразия вы бросьте! Нет скучных занятий, есть скучные, безнадежные люди.

— Ну хорошо! Все узнали, со всем познакомились, а дальше что?

— Учиться!

— Трудно же учиться. Не успели пообедать и отдохнуть — и уже надо бежать на лекции.

— А кто за нас бегать будет? Ваша серая фея?

— Но есть другой выход. Хотите, я попрошу папу, и он переведет вас на легкую работу? В конторщики, скажем?

— Зачем мне это? Я в служащие не пойду!

— Смешной вы, право, Василь! Я вам добра желаю, а вы, как ежик, упрямитесь, иглы выпускаете.

— Пусть ваш Зюзя за легкую работу держится, а я не буду.

— Почему вы так сердиты на Зюзю? Безобидный милый юноша...

— Юноша? Здоровый как бугай, а к бумажкам прилип. Смотреть противно!

— Отчего вы так нетерпимы к людям, Василь? Такой злюка — ужас!

— А если эти люди не той дорогой идут, так что же — хвалить их должно? Как же мы будем мир перестраивать с такими людьми? — уже сердился я.

— Кто вас просит мир перестраивать? Пусть остается таким, как есть!

— Кто просит?.. Вы, может, довольны старым миром? Может, вам царь нравится или батька Махно?

Я думал, что Анжелика либо увильнет от прямого ответа, либо станет отнекиваться. Но она сказала на редкость спокойно:

— Мой папа и при царе хорошо жил. Гриевз очень уважал папу. Сам говорил, что такого главного инженера поискать надо!

— А как рабочие жили?

— Не интересовалась... И вообще все это скучно... Посмотрите лучше, как быстро месяц поднялся!

Нежный свет месяца дробился на гладкой воде и пересекал ее от волнореза почти до самой косы, где уже замигал маяк. Вода в бухте под лучами месяца серебрилась и чуть дрожала.

— Такую освещенную месяцем полоску называют «дорожкой к счастью»,— сказала Анжелика.— Года два назад я поверила было в эту легенду, взяла лодку и поехала по этой дорожке в открытое море. До косы добралась, а тут как сорвался норд-ост, море пришло в волнение, одной назад было никак не добраться! Я вытащила лодку на отмель, перевернула ее, водорослей подстелила и так, под лодкой, одна переночевала. То-то страху натерпелась!

— Ну как не стыдно: страх от ветра! Нашли чего бояться! — И, сказав это, я невольно провел рукой по лбу.

Лика уловила мое движение и быстро сказала:

— Да, я все хотела спросить, что это за шрам у вас на лбу?

— А-а, так, пустяки!

— Расскажите.

— Царапина от гранатного осколка.

— От гранатного? А кто это вас?

Пришлось рассказать, как довелось мне, ночуя в совхозе на берегу Днестра, под стогом обмолоченной соломы, встретить банду, идущую из Румынии.

— Ах, как все это страшно и увлекательно! — сказала Лика.— Только по-

литики я не люблю.— И она скривила губы.— Это скучно. А вот то, что вы сейчас рассказали, очень интересно.

— А без политики мир не перестроишь.

— Опять вы за свое, Василь! Такой несносный... Давайте поедем домой, а то переругаемся окончательно.

Только когда мы подчалили к мостикам, я почувствовал, что устал. Ладони болели от весел. У самой калитки дома я хотел было скоренько попрощаться и уйти, но Анжелика, пряча руки за спину, сказала:

— И не думайте даже... Сегодня вы должны целый вечер провести со мною. Идемте к нам. Я вас познакомлю с папой.

Отец Анжелики сидел в большой столовой за обеденным столом и раскладывал перед собой карты. Он был так увлечен, что даже не обернулся в нашу сторону.

— Папочка! А у нас гость! — крикнула Анжелика и тронула его за плечо.

Отец ее обернулся. Он швырнул на стол колоду карт и поднялся нам навстречу. Высокий, костистый, он едва не достигал макушкой тяжелой люстры. Меня сразу поразили густые-прегустые, сросшиеся на переносице мохнатые брови Андрыхевича и его ястребиный нос, опущенный крючком вниз.

— С кем имею честь? — сказал он, подавая мне морщинистую руку.

— Василий Манджура,— представился я.

— Это наш новый сосед, папочка. Я тебе говорила, что у Агнии Трофимовны поселились новые квартиранты. Это один из них. Прошу любить и жаловать. Заядлый спорщик!

— Приятно встречать молодых людей, обуреваемых жаждой спора. Своей культурой Древняя Греция обязана высокоразвитому искусству споров. В них рождались многие живые и поныне истины.— И, предлагая мне: — Садитесь, Василий...— инженер показал на стул.

— Миронович! — подсказал я, усаживаясь. И сразу же придвинулся поближе к массивному столу.

— А знаешь, что у нас на ужин сегодня, дочка? Раки! Представь себе, целое ведро раков мне Кузьма привез из Алексеевки! Я уже Дашу за пивом послал.

— Папа — страстный ракоед,— пояснила Лика.— Он часто договаривается с проводниками поездов, и те ему из-под самого Екатеринослава раков привозят.

Инженер посмотрел на меня очень пристально и сказал:

— Ты развлекай гостя, Лика, а я пойду варить этих зверей,— и ушел на кухню.

— Сейчас папа будет священнодействовать! Он их как-то особенно варит: с тмином, с лавровым листом, с петрушкой. Для него варка раков — особое удовольствие. Даже когда мама дома, и то он ей не доверяет этот процесс. Мама еще гостит у дяди в Гуляй-Поле. Как уехала на пасху, так и не возвращалась... Хотите, я вам покажу мое гнездышко? — тараторила Лика.

Назвался груздем — полезай в кузов. Зашел в этот дом — надо подчиняться желаниям хозяйки.

Мы вошли с Ликой в маленькую комнатку с окнами, выходящими в сад. Комнатка сплошь завешена персидскими коврами. На одном из ковров повешена иконка богоматери, и перед ней, свисая на медном угольничке, теплится лампадка граненого красного стекла. «Ого, религиозная к тому же!» — подумал я.

Анжелика повернула выключатель и зажгла верхний свет. В комнате стало очень светло. Полосы света, вырвавшись из двух окон в сад, выхватили из темноты кусок клумбы и посыпанную песочком дорожку, окаймленную битой черепицей.

— И здесь вы беседуете с вашими феями? — спросил я, усмехаясь.

— Да. Здесь я поверяю свои душевные тайны моей доброй серой принцессе, изучаю гороскопы великих людей... Кстати, Василь, в каком вы месяце родились?

Не подозревая подвоха, я сказал спокойно:

— В апреле. А что?

— А, в апреле? Под знаком Барана?

— Какого барана?..— протянул я, не скрывая досады.

— Нечего обижаться! Баран — знак нахождения Солнца. Садитесь вот сюда и слушайте. Я прочту сейчас вам все, что касается вашей личности.

Она пошелестела страницами книги и, отбрасывая рукой длинные каштановые волосы, прочла:

— «Знак Барана дает всяческие способности: легкость учения, неустанную жажду действия и смелость, граничащую часто с безумием. Тип этот всегда готов сражаться не на жизнь, а на смерть за дело, которому себя посвятил, даже в загробном мире и на службе у Вельзевула. Жаль только, что вследствие огромной импульсивности он поддается часто вещам, которым бы не следовало себя посвящать с такой энергией. Эта повышенная импульсивность и недостаток обдумывания делают его временами опрометчивым и толкают к бессмысленным действиям. Человек, рожденный в момент нахождения Солнца под знаком Барана, может проявлять наклонности к мученичеству, превращаясь в Баранчика Жертвенного...» Ну? — сказала Анжелика, переводя дыхание.— И это вы! Потрясающе, правда? Как на ладони показала вам самого себя. Ну, что вы скажете по этому поводу, а, Василь?

— Это все старорежимные суеверия...

— Ну почему суеверия, Василь? Как вам не стыдно! Послушайте, что дальше написано: «Баран дает наклонности к технике и промышленности. Он рождает людей для профессий, связанных с огнем и железом, развивает в людях организационные таланты и умение руководить своими близкими...» Скажите, разве это не про вас сказано и не про ваши идеалы?

— Под эти шаблонные пророчества можно всех людей подогнать, и будет правильно... И при чем здесь загробный мир?

— Да, но ведь не все люди родились в апреле. А еще смотрите, что здесь сказано: «Друзей следует искать среди лиц, рожденных между 24 июля и 24 августа, под знаком Льва». А вы знаете, что я родилась 25 июля? Значит, самим провидением мы уготованы один для другого.

«А может, это она так хитро и тонко улещает меня на женитьбу? — подумал я с опаской.— Только этого еще не хватало! Связаться с такой мамзелью, с ее коврами и феями! Бр-р-р! Пропал тогда человек! — Меня даже передернуло при этой шальной мысли.— Отколоситься не успеешь, а уж завянешь навсегда!»

— Почему вы молчите, а, Василь? Да не глядите на меня так ужасно, я могу в обморок упасть.

— Это все чепуха!.. Суеверия... бред,— проговорил я уверенно.— Люди, у которых ничего больше в этой жизни не остается, выдумывают себе какой-то другой мир.

— Почему же бред? Ох, нетерпимый вы! К моему папе приходят инженеры на спиритические сеансы. Они крутят в темноте такой маленький столик и вызывают духов. Им уже явился дух Наполеона, и даже Навуходоносор с ними разговаривал!

— Знаем мы эти фокусы! — сказал я и от души рассмеялся.— У нас в Подолии, поблизости от моего города, однажды «калиновское» чудо стряслось. Теткам померещилось, что из ран жестяного изображения Христа на придорожном столбе кровь течет. Отсталые, темные люди, как на ярмарку, повалили к тому кресту. И что вы думаете? Приехала комиссия, проверила и выяснила, что все это попы нарочно подстроили, чтобы народ мутить, против Советской власти его настраивать и деньгу при этом зашибать.

— Экий вы Фома неверующий! — сказала она с раздражением.— Я не знаю ничего о вашем чуде, а вот голос Навуходоносора у нас все явственно слышали.

— Скажите, он, случайно, не передавал вам привета от дочки Рогаль-Пионтковской из Лондона? Как там, чарльстон в моде? — съязвил я.

В эту минуту на пороге «гнездышка» вырос Андрыхевич.

— Прошу! — сказал он и широко отбросил руку, давая нам дорогу.

Стол был накрыт. В тонких кувшинах, стоявших на скатерти с какими-то вензелями, пенилось темное пиво. Перед каждым прибором высились хрустальные бокалы на тоненьких ножках и лежали салфетки. Под боком у одного из кувшинов с пивом приютился маленький пузатый графинчик такого же красного граненого стекла, как и лампадка, что теплилась в комнате Лики. А посреди стола возвышалось полное блюдо пунцовых дымящихся раков с длинными, свисающими усами.

«Вот это раки, да! — подумал я, усаживаясь.— Не те коротышки, что ловили мы возле свечного завода. Такой как вцепится в икру — держись!»

— Пока эти звери остынут, предлагаю закусить осетриной! — сказал Андрыхевич, усаживаясь против меня.

Тут я заметил на другом блюде продолговатый пласт белой рыбины, залитый густым желтоватым соусом и обложенный дольками лимона.

Я пригвоздил рыбу вилкой и начал резать ножом. И вдруг заметил, что Андрыхевич с дочерью переглянулись. Видно, я сделал что-то непотребное. Анжелика быстренько приложила к губам палец, давая знать отцу, чтобы он мне ничего не говорил. Инженер лишь молча ухмыльнулся и бровями шевельнул. Разыгравшийся было после катанья на лодке аппетит сразу увял. Я силился догадаться, какую именно допустил оплошность, и не мог.

— Водочки под осетрину, а, молодой человек? — предложил инженер, приподымая пузатенький графинчик с притертой пробкой.

— Спасибо! Водки не пью,— сказал я глухо и, чуя недоброе, отложил на скатерть вилку.

— Хвалю! — сказал Андрыхевич.— Водку с молодых лет пить вредно, ибо она яд! — И тут же, шевеля мохнатыми бровями, налил себе полную рюмку этого «яда» и проглотил ее одним махом.

Отдышавшись, инженер заметил мои колебания и посоветовал:

— Раков, молодой человек, берут руками. Бросьте нож и вилку и работайте смело, не стесняясь.

Эх, была не была! Я протянул руку и взял с блюда самого большого рака, но не успел положить его к себе на тарелку, как откуда ни возьмись появилась служанка Даша в кружевной наколочке и сменила мою тарелку на чистую. «Интересно, она в профсоюзе «Нарпит» состоит или они эксплуатируют ее тайно, без трудового договора?» — подумал я.

И вот огромный рак лежит передо мной, но как его полагается есть в «приличном обществе», я не знаю. То ли дело было лакомиться раками на лугу у свечного завода! Выхватишь, бывало, такого рака двумя прутиками из кипящего казанка и давай его ломать тут же, у костра, швыряя в огонь красную шелуху.

Андрыхевич ел с какой-то торжественностью, словно он действительно священнодействовал, как сказала Лика. Сразу было видно, что еда занимала далеко не последнее место в жизни этого барина.

— Раки — моя слабость! — сказал Андрыхевич, разгрызая клешню.— А в соединении с настоящим бархатным пивом они дают прекрасную вкусовую гамму.— И налил мне в бокал черного, как деготь, пива.— На какую же тему вы спорите с молодым человеком, дочка? — спросил он.

— Василь собирается мир перестроить, а я его отговариваю.

— Да что ты говоришь! Это интересно. Кто был ничем, тот станет всем? Из грязи да в князи? Так следует понимать означенную перестройку? — И Андрыхевич, прищурившись, глянул на меня.

— Да! — сказал я, отодвигая в сторону шейку рака и стараясь быть спокойным.— Ну, а вам хотелось бы, чтобы все было по-прежнему: сотня капиталистов наживается на труде миллионов... так, что ли?

— У того, кто стал всем, способностей не хватит и знаний кот наплакал.

— Напрасное беспокойство. Научимся. Будем бороться и учиться.

— Однако способности человеку от бога даются. Они врожденные и переходят из поколения в поколение! — уже сердился инженер.

— А вы думаете, у рабочего класса нет способностей?

Лика засмеялась и сказала:

— Я говорила тебе, папочка,— спорщик отчаянный. Чувство противоречия развито у нашего гостя удивительно сильно.

— Погоди, дочка! Это даже интересно. Итак, вы, сударь, спросили меня: есть ли способности у рабочего класса? Вне всякого сомнения! Не будь у русских мастеровых способностей, я бы избрал себе другую профессию. Ибо каков смысл работать инженером, когда нет способных исполнителей твоих замыслов! Но, понимаете, какая штука: для того чтобы в рабочем классе развивались оригинальные, самобытные таланты, ему нужна техническая интеллигенция! А где вы ее возьмете?

— Как — где? А сам рабочий класс? Класс, который революцию сделал?

— Бросьте-ка, юноша, эти сказочки! — сказал Андрыхевич с заметным раздражением.— Самое легкое — разрушить одним махом все то, что до вас создали поколения. А вот попробуйте-ка все это из развалин поднять, выстроить наново. Откуда вы возьмете образованных людей, которые смогут практически осуществить эти фантастические планы переустройства Таганрогского уезда и целого мира? Да еще когда все страны против вас!

— Строим и будем строить сами! Не побоимся! С таким руководителем, как наша партия, рабочему классу никакие трудности не страшны,— сказал я, воодушевляясь и запальчиво глядя на Андрыхевича.

— Сами? «Раз-два — взяли! Эх, зеленая, сама пойдет!» Да?

— Ничего, ничего, и без «Дубинушки» как-нибудь справимся,— чувствуя большую правду на своей стороне, ответил я инженеру.— И худо тогда придется тем, кто сегодня идет не с нами.

— На кого вы намекаете, молодой человек? — спросил Андрыхевич и зло посмотрел на меня.

— А чего мне намекать? Вы разве не знаете сами, что человек, идущий против всего народа, против его воли, рано или поздно будет выведен на чистую воду, разоблачен и вышвырнут за борт? Вы что думаете: рабочий класс потерпит, чтобы над ним издевались, не верили в его силы, а в то же самое время ели его хлеб? Нам приживальщиков не нужно. Нам нужны друзья. Вы вот сейчас подсмеиваетесь над тем, что мы делаем. А как всякие старорежимные интеллигенты вели себя, когда иностранцы убежали за границу? Думали, верно, все развалится? А сейчас поглядите — без этих заморских буржуев завод наш больше выпускает жаток, чем до войны. Разве это не факт? Факт! А сколько таких заводов в нашей стране! И сколько их будет еще построено со временем!

— Поживем — увидим...— буркнул многозначительно инженер.

И очень много недоверия, скрытой злобы, раздражения услышал я в этих сдержанных его словах.

РОЛИКИ

На всю жизнь запомнился мне этот разговор за широким столом, освещенным мягким светом свисающей с потолка тяжелой люстры. Как сегодня, я вижу перед собой пренебрежительный взгляд инженера Андрыхевича, прищур его раскосых глаз, слышу снисходительно-иронический его голос. Это не был снисходительный тон человека, старшего годами, более опытного, знающего во много раз больше своего собеседника. Будь это так — я, быть может, ушел бы с иным чувством, чем то, которое я унес, покидая поздно вечером их дом, заросший плющом и пахучими розами. Нет, совсем другое крылось в его пренебрежении ко мне! Со мной разговаривал БАРИН, человек из того старого, отживающего мира, о котором так много говорил нам директор фабзавуча Полевой. Инженер издевался тихо, про себя, и над моей запальчивостью, и над моей искренней верой в будущее. Он не разбрасывал слов на ветер, а выпускал их с тайным умыслом, скупо, обдуманно. Он не выкладывал все карты на стол, чтобы я не мог сказать ему прямо в глаза: «Эх ты, контра и прислужник всяких эксплуататоров гриевзов, давших тягу за границу! Уезжай и ты к ним побыстрее с этой земли, из страны, в людей которой ты не веришь!»

Нет, он разговаривал очень хитро и подчас, желая выведать, что я думаю, как бы совета у меня спрашивал. У меня-то! У фабзавучника, и месяца не проработавшего на заводе... старый, седой главный инженер.

Уже когда я покидал столовую, где багровели на блюде недоеденные раки, инженер, продолжая на ходу наш разговор, спросил меня:

— Где же, интересно, вы будете строить эти новые заводы?

— Всюду, где надо! — ответил я ему дерзко, вспоминая слова, оброненные некогда в беседе со мной секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков Украины.

— Эх, молодой человек, горячи вы больно, погляжу я на вас! Заводы собираетесь строить, а рыбу ножом есть не отучились. С маленького начинать нужно. С малюсенького.

Долго ворочался я в ту ночь на колючем, жестком матраце, положенном у распахнутого окна. Ворочался под храп заснувших давно, еще до моего прихода, хлопцев, вспоминал обидные намеки костлявого инженера, и особенно этот его укол насчет ножа, которым я разделал осетрину.

Как все было просто, хорошо и радушно у Луки Турунды, в его домике на самом берегу моря! И сам Лука, и его отец, и Катерина — такие искренне гостеприимные, настоящие люди!

Я заснул с теплым чувством благодарности к семье Турунды и окончательно возненавидел соседей в доме с плющом, сознавая отлично, что у них там гнездится то самое старое, прошлое, хватающее нас за ноги, против которого предостерегали меня не раз и Полевой и Никита Коломеец.

А потом мне приснилась какая-то чертовщина...

Будто я во фраке с фалдами, как у того тапера, танцую чарльстон. Без устали танцую, дрыгаю руками и ногами, словно тот нищий, пораженный пляской святого Витта, что стоял у нас в городе под кафедральным костелом и всегда выманивал деньги. Танцую и сам смотрю на себя в зеркало. И вижу, как лицо мое меняется. Оно становится морщинистым и злым и постепенно обрастает седой бородой и густыми бровями. А я все танцую, танцую и делаюсь худым, как палка. Здоровенные пунцовые раки ползут ко мне отовсюду по грязному паркету и шипят на меня, раскрывая клешни: «Хам! Хам! Чумазый хам! Куда ты залез? Из грязи да в князи? Вон отсюда!» И вот тут, около колонны, возникают совсем еще молодые Бобырь и Петрусь. Они перешептываются и смотрят на меня с презрением. И я слышу шепот Бобыря: «Ты видишь, Петро? Вот он! Протанцевал всю свою жизнь — и ничему не научился!»

Обливаясь холодным потом, я зашевелил губами, чтобы сказать им слова оправдания, но мой голос заглушило шипение. Проклятые раки опять затараторили свое, да так громко, что хочется зажать уши...

Я переворачиваюсь на другой бок — и просыпаюсь.

Около меня трещит будильник.

Хотя в окно смотрит еще желтая молодая луна, пора вставать. Литейная начинает работать куда раньше остальных цехов.

«Приснится же такая чушь! — думаю я и осторожно переступаю через спящих хлопцев.— Надо не забыть снова завести будильник, чтобы и они не проспали...»

Кому доводилось жить подолгу в приморских городах, тот знает, что они прекрасны в любую пору.

Чудесны тихие, безоблачные закаты, когда порозовевшее солнце не спеша опускается в море. И не менее прелестны такие же минуты прощания с гаснущим где-то на небе, за облаками, солнцем, когда море грохочет и налетает громадными водяными валами на парапеты набережной, забрасывая солеными брызгами пролегающие рядом железнодорожные пути. Бора приносит из степи песчаную пыль, пахнущую полынью и богородицыной травкой, срывает фуражки с голов, крутит смерчи над путевой насыпью, гонит по улицам клочки бумаги, сухие водоросли, кизяк. Даже в узеньких канавках, вырытых далеко от моря, под Кобазовой горой, в такие дни, когда дует бора или норд-ост, глинистая, желтоватая водица с утра до вечера подернута рябью и волнуется, как на широких морских просторах. И все-таки в дьявольском шуме бушующего моря, которое гремит не только у берегов, но и посылает свой грохот на самые отдаленные улицы, город, продуваемый борой, прекрасен. Приютившийся на мысу под горой, он похож на корабль, который вот-вот оторвется от материка и вместе со своими жителями, зданиями, базаром и Лисовской церковью отплывет, преследуемый норд-остом, в дальнее опасное плавание по вспененным волнам. И далекий протяжно-заунывный вой сирены на маяке при такой мысли воспринимается как последний сигнал отхода в трудный, но такой заманчивый рейс!

Но особенно запомнился мне новый в моей жизни город на приазовском берегу в летние предутренние часы.

Три часа утра. Пробили склянки в порту, и их мелодичный звон поплыл над всеми улицами и затих лишь где-то на горе, около кладбища. Тихо скрипну-

ла под рукой калитка. Закрываю ее снова на щеколду, а сам бреду некоторое время по жестким путям над морем.

Темное Азовское море, лишь у самого порта изборожденное отблесками желтых сигнальных огней, покорно улеглось в берегах бухты. Оно тоже спит, изредка тихо вздыхая нежно шуршащими волнами.

Хорошо раствориться в удивительной предрассветной тишине досыпающих улиц! Еще ни одного огонька не видно в окнах. Уличные фонари горят лишь на главных перекрестках, бросая с высоты пятна желтого света на мостовую. Вокруг стеклянных колпаков фонарей вьются тучи белых, серых и кремовых мотыльков. Они шелестят шелковистыми крылышками там, вверху, будто упрямо хотят разбиться о горячее стекло. Ты проходишь один за другим безлюдные перекрестки, ныряешь в мрак ровненьких кварталов, сливаешься со шпалерами молодых акаций и потихоньку освобождаешься от остатков сна.

Сонный вахтер в проходной кивает головой, глянув издали на пропуск. Хорошо слышно, как зазвенела на самом дне зеленого ящика опущенная туда рабочая марка. Она возвратится из зеленого ящика в литейную лишь с восходом солнца, после всех заводских гудков. Цеховой табельщик повесит ее на гвоздик в ящике, затянутом проволочной сеткой. И всякий раз, пробегая к камельку, видя ее — медную, блестящую, с цифрой «536»,— ты будешь с удовольствием думать: «Еще день прожит честно. Без опоздания и прогула!»

Больше всего меня мучила в первые недели работы на заводе боязнь опоздать. И совсем не потому, что за этим следовали взыскание, снижение заработка, выговор от мастера. Просто стыдно было даже представить себе, как идешь ты, опоздавший, гудящим цехом и все с усмешкой глядят на тебя. Люди уже давно работают, за машинками стоят заформованные опоки, их уже можно заливать. Литейщики, пришедшие на работу вовремя, глазеют на тебя и думают: «Вот соня, когда притащился в цех! Рабочий класс давно уже делом занят, а он отсыпался на своих перинах, лодырь окаянный!»

Даже представить было трудно, как это я, опоздав, появлюсь перед своим напарником Науменко и как ни в чем не бывало скажу ему: «Привет, привет, дядя Вася!» Какую совесть надо иметь, чтобы опоздать, а потом делить поровну со своим напарником его заработок!

А возможно еще и другое. Уронил ты в пустой уже ящик марку, гонишь к цеху заводским двором, и тут тебе навстречу директор Иван Федорович. «Здравствуй, Манджура! — говорит он тебе.— А куда это ты так торопишься? И почему ты здесь, когда все твои товарищи давно в цехе, формуют детали, своим трудом крепят смычку рабочего класса и крестьянства?» И что я скажу тогда директору в ответ? Опоздал, мол, Иван Федорович. Скажу это после того, как Руденко взял с нас слово честно относиться к своим обязанностям?..

Вот почему, как только сменный мастер Федорко предупредил меня: «В летнее время начинаем не по гудку, а с четырех»,— даже мурашки по коже пробежали. «Смогу ли я вставать в такую рань? Не опоздаю ли?»

Но все сомнения заглушал разумный довод: «Как же иначе? Прикажи литейщикам начинать работу вместе со всеми, по гудку,— значит, заливка будет начинаться около полудня. Солнце уже в зените, и полуденный зной, соединяясь с жаром, идущим от расплавленного чугуна, превратит литейную в ад кромешный. Нет, это очень правильно, что директор Руденко, пока крыша над литейной не поднята, распорядился выделить наш цех в особый график».

Обычно мне удавалось приходить в литейную одним из первых. Сегодня же я услышал подле вагранки, в полумраке цеха, голоса нескольких рабочих. Да и мой напарник уже явился. Под нашими машинками пламенели хвостики остывающих плиток. Заранее подсунутые Науменко в пазы под моделями, они отдавали свое тепло остывшему за ночь баббиту.

От соленых инженерских раков и его бархатного пива меня мучила жажда. Я напился холодной воды прямо из-под крана и пошел за лопатами. Мы оставляли их в тайнике, под основанием мартеновской печи, которую не успел достроить заводчик Гриевз.

Согнувшись, вошел я в сводчатый тоннель под мартеновской печью и нащупал там две наканифоленные лопаты. В темноте сверкнул зелеными глазами и метнулся в сторону обитатель этих подземелий — старый котище. Их жило здесь

несколько, одичалых заводских котов. Они скрывались на день и выползали на простор литейной лишь к вечеру, когда чугун остывал в формах и не было риска обжечь на окалине нежные кошачьи лапки. Чем питались они в нашем горячем цехе, я понять не мог. Ведь крысам и мышам делать здесь было нечего. Может быть, объедками от завтраков рабочих?

Приятно шагать по мягкому песочку цеха на рассвете с двумя лопатами на плечах, чувствуя силу, бодрость и желание в любую минуту приняться за формовку!

Рабочие, голоса которых я услышал издали, собрались около машинок Кашкета и Тиктора. Стоял там Артем Гладышев, задержался с клещами в руках и мой Науменко.

— Вот наработали, биндюжники!

— Ты биндюжников не обижай! Хороший биндюжник до такого позора не допустит!

— И на того хлопца молодого валить нечего. Каков учитель, таков и ученик!

— Кашкету денег на похмелку не хватало... Орал все: «Давай! Давай!» Вот и надавался!..

Все эти отрывочные фразы долетели до меня еще по пути. Сперва я не понимал, что случилось. Однако стоило глянуть вверх, на груду пустых опок, как все стало понятным.

На одной из опок мелом было написано: «115 — 605». Эта цифра обозначала итог предыдущего дня. После приемки литья такие надписи делали на опоках браковщики. Выходило сейчас, что всего сто пятнадцать хороших деталей заформовали Кашкет с Яшкой. Остальные пошли в брак.

Позади себя я услышал тяжелое дыхание и знакомый голос:

— Радуешься?

Оглянулся, вижу — Тиктор. Воротник его расстегнут. Чуб распустился.

— Я не такой себялюб, как ты,— сказал я очень тихо.— Мне чужие неудачи радости не доставляют. Обидно только, что столько чугуна пошло насмарку!

— Ну ладно, давай сматывайся отсюда! Стыдить меня нечего. Сами с усами!

Посмотрел я в злые, с кошачьей прозеленью глаза Яшки и понял, что у этого человека совести осталось очень немного. И сказал ему сквозь зубы:

— Продолжаешь свою шарманку, Яшка?

...Самое золотое времечко — эти предрассветные часы в прохладе наступающего утра, пока руки не устали и капли пота не блестят на запыленном лбу. Электричество погасили, и сквозь стеклянную крышу в цех пробивается дневной свет.

Работа в этот день у нас с Науменко шла хорошо. За плечами появились три ряда опок с «колбасками». Видя, что Науменко остановился на перекур, я спросил:

— Откуда взялся такой громадный брак у них? А, дядя Вася? Прямо-таки странно!

—Ничего странного,— поворачиваясь на мой голос и ставя ногу на ящик с составом, сказал Науменко.— Всякая машинка и модель свою душу имеют, подобно человеку. Одна модель — капризная, нежного обхождения требует, у другой характер потверже, и она никаких набоек не боится. Все это сердцем чувствовать нужно. К одной модели подходи осторожненько, с подогревом да с присыпочкой, расколачивай ее тихонечко. А другую набивай наотмашь.

— Но машинки-то одинаковые?

— Да ничего подобного! Здесь все должно быть механизировано: и набивка, и трамбовка с помощью сжатого воздуха. Так и было вначале, как только эти машинки установили. А как Советская власть в свои руки заводы начала забирать, хозяева прежние, заморские, принялись все под откос пускать. Чертежи уворовали, компрессоры испортили, части из-под них либо в землю позарывали, либо в море побросали. Ночами шныряли тут с фонариками иностранные техники да приказчики и свое грязное дело творили.

— А где же Андрыхевич был? Чего же он смотрел?

Попыхивая цигаркой, Науменко сказал мне:

— Кто его знает! Может, бычков с волнореза ловил, а может, сам с теми хозяйчиками виску ихнюю пил. Жил себе в полное удовольствие, с примочечкой, и заботы ему было мало, что эти буржуи и здесь колобродят...

— Дядя Вася, а раньше подогревали машинки тоже так? Плитками? — спросил я, поглаживая свою остывающую модель.— Неудобство большое!

Науменко глянул на меня, недоумевая.

— Экося! Почему неудобство?

— Ну как же! Взял разгон, поставил несколько опок — и плита уже остыла. Беги через весь цех до того камелька...

— Ишь ты, барчук! Бегать, значит, тебе лень? А может, конку тебе до камельков проложить? Вся работа в литейной на том и построена, чтобы не сидеть, а бегать. А хочешь спокоя — в конторщики нанимайся.

Слова Науменко обидели меня крепко, но вступать с ним в спор не хотелось. Чтобы не задерживать формовку, я схватил клещи и побежал «на Сахалин» — к камелькам.

Мчался литейной и думал: «А все-таки, дядя Вася, не прав ты! Разве это дело — такие концы бегать? Где рационализация? Сложить все расстояния до камельков и обратно — полдороги до Мариуполя будет!»

Не успели мы набить сто первую опоку, к машинкам подошел мастер Федорко и спросил:

— Шабашить скоро собираешься, Науменко?

— А что такое, Алексей Григорьевич?

— Перестановочку сделаем.

Дядя Вася и формовать бросил. Не скрывая досады, он протянул:

— Какую?

— Ролики тебе ставлю.

— Ролики? Да смилуйтесь, Алексей Григорьевич! Оставьте нам «колбаски». Подладились только-только, а вы уже снимаете!

— Надо, Науменко! — строго сказал Федорко.— «Колбасками» вашими уже весь склад полуфабрикатов забит. А роликов там с гулькин нос. Я поставил было тех башибузуков, а они, видел сам, напороли браку столько, что и двумя платформами не вывезешь. Еще день такого художества — и слесарно-сборочный в простое. Можно ли рисковать?

— Я-то понимаю, что рисковать нельзя,— сказал дядя Вася,— но...

— Не нокай, цветик Василек! — крикнул из-за машинок Гладышев.— Менка славная. Для твоих «колбасок» полвагранки чугуна перетащить нужно, а ролики хоп-хоп — и залил моментом.

Запасные плиты из ремонтно-инструментального притащили чернорабочие. Притащили и бросили прямо в сухой песок, на место, освободившееся от пустых опок, которые почти все уже пошли у нас в дело. Пробегая на плац, чтобы ставить нижние половинки формы, я нет-нет да и поглядывал на новую модель. Она казалась очень простенькой. Над гладкой баббитовой плитой было припаяно шесть таких же роликов, как и те, что ведут четыре крыла жатки по железному масляностому скату от падения к подъему. Над каждым из роликов, торчащих над модельной плитой, возвышался отросточек для стержня. А верх был и того проще: шесть маленьких наперсточков — гнезд для шишек и будто прожилки на листке клена — канавки, расползающиеся в стороны, для заливки каждого ролика.

«Интересно все же, почему брак может получиться в такой простой детали?» — подумал я, формуя.

Пора уже было шабашить. Турунда с Гладышевым заформовали все свои опоки и начали заливку. Дальше в этой жаре формовать было трудно. От залитых по соседству опок полыхало жаром. Под вагранками снова ударили в рынду. Начиналась очередная выдача чугуна.

— Бросай формовку! — приказал Науменко.— Пошли до вагранки.

Мы заливали под частые удары рынды. От одного выпуска чугуна до другого времени оставалось ровно столько, чтобы дотащить наполненный расплавленным металлом тяжелый ковш к машинкам и залить друг за дружкой все восемь форм.

Как приятно было увидеть наконец, что чугун дошел до самого верха формы и круглая воронка литника, в которую заливали мы расплавленный металл, наполнилась и побагровела! Радостно было чувствовать, что все наши формы при-

мочены в меру и заливаются удачно, металл не стреляет по сторонам сильными жалящими брызгами. Он только глухо ворчит и клокочет внутри, заполняя пустоты в формах и становясь из жидкого твердым в холодном песчаном плену.

Едва успевали мы выплеснуть в сухой песок около мартена бурый, подобно пережженному сахару, остывающий шлак, как у вагранки опять звенела рында, приглашая литейщиков брать чугун. И мы поворачивали туда, где под шумящими вагранками, в шляпах, надвинутых на лоб, в темных очках, с железными пиками наперевес, расхаживали горновые.

Мы мчались туда бегом. Дядя Вася трусил вприпрыжку, совсем по-молодому, позабыв о своих годах.

Мне нравилась эта рискованная работа, быстрый бег наперегонки с другими литейщиками по сыпучему песку мастерской и осторожное возвращение с тяжелым ковшом обратно.

Было поздно. Першило в горле от запаха серы. Яркие вспышки разлетающихся искр делали почти незаметным свет последних непогашенных лампочек в отдаленных углах цеха.

Совсем близко, за недостроенным мартеном, гудела круглая «груша» — пузатая печь для плавки меди. Случайные сквозняки приносили оттуда едкий запах расплавленной меди. Захваченный общим волнением, я не обращал никакого внимания на чад и на жару, которая становилась все сильнее.

Лица литейщиков блестели в отсветах пламени, мокрые от пота, темно-коричневые.

Стоя под черной гудящей вагранкой, вблизи желоба, по которому мчалась к нашему ковшу желтоватая струя чугуна, изредка поглядывая на хмурое, сосредоточенное лицо дяди Васи и чувствуя, как наполняется ковш, я понимал, что выбрал для себя правильное дело.

Мелкие брызги чугуна, описывая красивые огненные дуги и остывая на лету, сыпались где-то за спиной, но я уже не порывался ускользнуть от них в сторону, как раньше, не вздрагивал, а лишь незаметно поеживался, крепко сжимая кольцо держака.

В гуле вагранки, вблизи огня, в быстрых проходах по цеху с ковшом, полным расплавленного чугуна, была особая отвага, был риск, веселое удальство. И, таская в паре с Науменко тяжелые ковши, усталый, обливающийся соленым потом, но гордый и довольный, я был несказанно счастлив.

Лишь к концу плавки я заметил, что возле наших машинок копошится еще с одним слесарем, погромыхивая раздвижным ключом, Саша Бобырь. Присланные из ремонтно-инструментального цеха, они переставляли нам модели на завтрашний день. По-видимому, Саша давно наблюдал за тем, как мы заливаем чугун, потому что, когда, поставив пустой ковш на плацу, разгоряченный, я подошел к машинкам, он спросил жалостливо:

— Заморился, а, Василь?

В голосе Бобыря я услышал признание того, что труд литейщика он почитает выше своей слесарной работы.

— Заморился? С чего ты взял? День как день! — ответил я тихо.

Уже иным, пытливым голосом Бобырь осведомился:

— А где ж ты вчера до поздней ночи шатался?

— Там, где надо,— там и шатался! Гляди лучше, плиту ставь без перекоса. И болты подтяни до отказа!

— Не бойся! Мы свое дело знаем,— буркнул Сашка и, упираясь ногами в ящик с составом, потянул на себя еще сильнее рукоятку разводного ключа.

— Давай кокили смазывать, молодой! — позвал меня Науменко.

Он успел уже притащить из кладовой ящик, наполненный чугунными обручиками. Я захватил с собой баночку графитной мази и уселся около напарника на песок.

Стоял такой пеклый жар, что плотная утром графитная мазь сейчас сделалась как кашица. Мы обливались пóтом, даже за легкой этой работой. Надо было макать палец в графитную мазь и затем смазывать внутри каждый кокиль.

— Соображаешь, для чего эта петрушка? — спросил Науменко.

— Чтобы эти кокили свободно насадить на ролики.

— Это первое. Второе — чтобы снимались они легко, вместе с песком.

— Разве они в опоке остаются?

— А ты думал? Застывая в кокилях, чугун обволакивается твердой коркой. Такой ролик с твердой и гладкой, скользящей поверхностью без обточки в дело идет.

— Ловко придумано! — сказал я и вспомнил, что не раз видел, как, падая на гладкую плиту, жидкий чугун, застывая, становится гладким и твердым, как эта плита.

За дымящимися опоками промелькнула красная косынка Кашкета. Щелкая семечки, он медленно брел по проходу.

Нынче он приплелся на работу позже всех. Стоило ему увидеть надпись, сделанную браковщиком, как он поднял страшный крик, бегал к мастеру, ходил с ним во двор, куда обычно высыпали бракованные детали, грозился подать заявление в расценочно-конфликтную комиссию и ни в какую не признавал брака по своей вине. Так и слонялся он весь день по цеху, до самой заливки.

Приметив нас около ящика с кокилями, Кашкет круто повернулся. Минуту постоял он молча, в шутовском платке, стянутом узлом на затылке, шелуша подсолнечные зернышки, а потом спросил:

— Загодя готовите?

Вопрос этот был ни к чему, и дядя Вася не счел нужным отзываться. Молча натирал он кокили графитом, перемешанным с тавотом.

— Заработать больше всех норовите? На дачу с садом? — прошепелявил Кашкет.

— Да уж не на свалку, как ты, а для пользы рабочего класса! — отрезал Науменко, хватая кокиль.

— Интересуюсь, что вы послезавтра запоете, как напишут вам такое, что мне сегодня?

— Интересуйся сколько влезет, а пока давай лузгу-то подсолнечную не швыряй под ноги. В песок же попадает! — сказал Науменко сердито.

— Выбойщики просеют. Не бойся! — сказал Кашкет и лихо сплюнул шелуху под ноги.

— Такую мелочь не просеешь. Попадет в форму — и, глядишь, раковина. Не сори, тебе говорю! — уже совсем сурово прикрикнул дядя Вася.

— Ну ладно, голубок, не серчай,— сказал Кашкет примирительно и сунул семечки в карман.

Присев на корточки около меня, он схватил кокиль и принялся намазывать его внутри. От Кашкета несло водочным перегаром.

— Однако коли рассуждать так, без крика, дядя Вася, то все, что вы сейчас делаете, лишнее,— прошепелявил Кашкет, водя пальцем в середине кокиля.

— Ты о чем? — спросил Науменко, строго глянув в сторону Кашкета.

— Намазывай не намазывай — не поможет. Модель сконструирована погано — оттого и брак. Переделать ее давно пора, а они рабочих за брак донимают.

— Сам ты себя донимаешь, а не они,— ответил Науменко.— Болты болтаешь, а формовать не знаешь.

— Поглядим вот, сколько ты со своим комсомолистом наформуешь,— сказал Кашкет, вставая и потягиваясь.

— Глядеть другие будут, а ты, друг ситцевый, давай-ка танцуй отсюда, а то вертишься по цеху, как бес перед заутреней, и другим работать мешаешь!

И хотя сказал это Науменко так, словно он не придал никакого значения словам Кашкета, но я сообразил, что этот лодырь задел моего напарника крепко. Понятно было, что Науменко в лепешку разобьется, лишь бы заформовать и отлить ролики хорошо.

— А может, и на самом деле конструкция модели подгуляла, а, дядя Вася?

— Ты слушай побольше этого болтуна,— сказал сердито Науменко,— он тебе еще и не такое придумает! Однажды он забрехался до того, что ляпнул: «Я, говорит, хорошо помню то время, как пароход «Феодосия» еще шлюпкой был». Да можно ли верить хотя бы одному его слову!

...Следующий день, втянувшись, мы работали еще проворнее. До обеда у нас было уже забито восемьдесят семь опок. Хотел было я метнуться после обеда до Головацкого, но дядя Вася засадил меня обтачивать рашпилем на конус края крепких, замешенных на олифе стержней — шишек. Готовя шишки на последний

задел, чтобы можно было втыкать их в гнезда формы, не тревожа краев будущих роликов, я думал о том, что формовать эту детальку оказалось проще простого. Но какими они у нас получились, мы еще не знали. Об этом предстояло узнать лишь в понедельник, когда раскроют опоки.

Сегодня была суббота.

Когда мы пошабашили, на плацу осталось сто пять пышущих жаром залитых опок.

ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ

— Нехай вам грець! Чешите языками дальше, а я пойду хлопцам писать! — так сказал я Маремухе и Саше, выслушав терпеливо все их насмешки по поводу моей вечерней отлучки.

Оставляя их вдвоем в мезонине, я так и не сказал им, где пропадал весь вечер третьего дня. Как выяснилось из допроса с пристрастием, который мне учинили хлопцы, они намеревались и впредь контролировать каждый мой шаг, опасаясь: а не отрываюсь ли я от коллектива? Они по-товарищески боялись, как бы я не свихнулся на стороне, не «переродился», и разными намеками хотели выведать у меня все. А я не смог признаться. Заикнись я только про званый ужин да про раков — получилась бы такая проработка, только держись! А разве я честь нашего флага у того инженера не держал? Держал!

Еще в сенях я переобулся в легкие тапочки, а литейные мои «колеса» выставил в козий сарайчик до понедельника.

Под забором в нашем дворике приютилась ветхая, обросшая диким виноградом беседка. Посреди нее был вкопан в землю шестигранный столик.

Славно писалось в уютной тени беседки! Ветерок-низовка иногда залетал сюда с моря и шевелил обложку тетради, то приоткрывая ее, то укладывая листочки на место.

Сперва я написал Фурману — в Луганск, на завод имени Октябрьской революции, Монусу Гузарчику — в Харьков и, конечно, Гале Кушнир — в Одессу. С самого утра я думал над тем, что мне написать ей. Обида, которую нанесла она мне, взяв было сторону Тиктора в истории с Францем-Иосифом, теперь казалась совсем пустяковой.

Забыв все досадные колкости и мелкие обиды, я вспоминал сейчас только все милое и нежное. Скромную, веселую Галю я невольно сравнивал с Анжеликой — со всеми ее суевериями, с лампадкой на ковре, тоскливой феей да увлечениями чарльстоном.

«Конечно же, Галя во сто тысяч раз скромнее, проще и сердечнее!» — думал я, старательно выводя в конце открытки строки:

«...И если это письмецо найдет тебя, выбери свободную минутку, Галя, напиши, как ты живешь, как устроилась, нравится ли тебе работа, Одесса,— словом, все опиши и вспомни при этом наши прогулки в Старую крепость и все то хорошее, что было между нами. Просят тебе передать пламенный комсомольский привет Петрусь и Саша Бобырь, которые живут со мной в одном домике, у самого Азовского моря.

С комсомольским приветом *Василий Манджура*».

Никакой уверенности в том, что мои письма дойдут до адресатов, у меня не было. Расставаясь, мы записали названия заводов, на которых будем работать, и все. Но ведь на заводах тысячи рабочих!

Никите Коломейцу я решил написать большое, обстоятельное письмо. Его-то адрес впечатался в мою память на всю жизнь: «Город Н., Больничная площадь, школа ФЗУ около завода «Мотор». Старательно я вывел этот адрес и придавил голубенький конвертик камешком-голышом, чтобы не унес его ветер.

Но стоило мне раскрыть тетрадку, как я понял, что в ней кто-то хозяйничал. Две страницы были вырваны из середины, а на первой красовался знакомый почерк Бобыря.

Прочитал я и невольно улыбнулся.

«Начальнику городского отдела ГПУ.

У меня очень хорошая память. Увидел кого — запомнил навеки. Это я все к тому, чтобы вы, товарищ начальник, отнеслись...»

Здесь Сашкино послание обрывалось. Последнее его слово «отнеслись» появилось позже, взамен зачеркнутой фразы: «не смеялись, как мои товарищи».

Снова мне живо представился день приезда, распаленный Саша Бобырь, доказывающий, что возле киоска с бузой он видел Печерицу. Не забыл я, какой вопль поднял Саша, когда Маремуха спросил: «А ты не сказал, увидя Печерицу: «Чур меня, чур!»

Сложив вчетверо испорченную страничку, я положил ее в кармашек косоворотки и принялся сочинять письмо Никите Коломейцу. Длиннющее оно получилось. И виноват в этом не столько я, сколько сам Коломеец.

Накануне расставания Никита сказал: «Одно прошу, милый, побольше подробностей. Жизнь всякого человека состоит из множества мелочей, и только тот является настоящим человеком, кто не утонет в этой каше, а, разобравшись, что к чему, найдет правильную дорогу вперед. Потому давай-ка, брат Васенька, побольше мне поучительных мелочей, которые ты заметил на новом месте. Я постараюсь в них разобраться и использую в работе с новым выпуском фабзайцев».

Я и «давал мелочи», как говорят кочегары, «на полное давление». Все написал Коломейцу: и как Тиктор уединился от нас в поездке, и как мы боялись сперва, что у крупной домовладелицы поселимся, и как Печерица привиделся Саше Бобырю у киоска с бузой, и даже этого специалиста по пушечным ударам Зюзю Тритузного, который чуть не встал поперек нашей дороги, я распатронил так, что держись! Сообщил я Никите, что продумываю на досуге одно изобретение по поводу подогрева машинок. Очень обстоятельно описал историю своего визита в танцкласс Рогаль-Пионтковской. А чтобы Никита, чего доброго, не вздумал упрекать в увлечении танцульками, объяснил причину посещения этого заведения:

«Хотел воочию проверить, не является ли здешняя Рогаль-Пионтковская родственницей той старой графини, которая жила у нас на Заречье и так гостеприимно встречала у себя в усадьбе атамана Петлюру, «сичовиков», Коновальца, представителей Антанты и других врагов Советской власти».

Я просил Никиту узнать поподробнее, какая судьба постигла графиню и ее породистого братца.

Описал нашего красного директора Ивана Федоровича Руденко, который поотцовски обошелся с нами. Рассказал в письме Никите, как заботится Иван Федорович о рабочем классе: крышу в литейном возводит и сам пытается разгадать секреты, увезенные иностранцами.

Уже смеркалось, и потому письмо пришлось закончить кое-как, на скорую руку. Дальше я написал Никите о мелочи, на мой взгляд, весьма полезной:

«...Передай инструктору Козакевичу: пусть он велит обрезать рукава до локтей тем новым ученикам, которые работают у него в литейной. Сколько у нас браку получалось из-за этих длинных рукавов, а никто не обращал на это внимания. Сообразили только здесь. А дело простое: ползет фабзаяц над раскрытой формой и задевает песок манжетами. В одном месте крючком подрыв исправит, а в других местах сам же невольно сору насыплет. Получаются и раковины и заусеницы. С подрезанными же рукавами формовать куда сподручнее и скорость движения бóльшая. Пусть также Жора растолкует всем литейщикам, что такое кокили, для чего они служат, а еще того лучше — нехай он ради примера заформует да зальет детальку с кокилем. Полезно очень. А то взять, к примеру, меня: лишь тут впервые я увидел, что это за штука такая...»

Солнце уже свалило в море. На прогретую и усталую землю спускались теплые молочные сумерки. А я все писал и писал. Даже рука заныла, хуже, чем от набойки.

ЖЕРТВЫ САЛОНА

Все воскресенье вместе с хлопцами мы провалялись в приморском песке, как заправские курортники.

Прокаленный солнцем до самых костей, коричнево-красный от загара, я медленно брел по мягкому асфальту и наткнулся на Головацкого.

Он шел на прогулку в легкой апашке, в кремовых брюках, в сандалиях на босу ногу.

— Ищу пристанища от жары! — сказал Головацкий, здороваясь.— Вентилятор дома испортился. Пробовал читать — невмоготу. Размаривает. Уже и бузу пил и яблочный квас с изюмом — не помогло. Давай заберемся туда, подальше! — И Головацкий кивнул головой в глубь парка.

Признаться, я думал по случаю воскресенья навестить Турунду, даже друзей звал туда к нему, в Лиски, на берег моря, но они отказались. Предложение Головацкого заставило меня изменить первоначальный план. Мы смешались с гуляющими и пошли аллеей мимо площадки летнего театра, отгороженного высокой решеткой. Там дробно стрекотал киноаппарат, и под самым экраном слышались одинокие звуки рояля. Сегодня на открытом воздухе давали «Медвежью свадьбу» и «Кирпичики» — две картины в один сеанс. Гуляющие повалили туда, и в аллеях для воскресного дня было сравнительно просторно.

В зеленом тупике, куда пришли мы с Головацким, оказалось совсем пустынно. Сквозь решетку сада просматривался освещенный переулок, который вел на Генуэзскую. Тупик сада, образуемый ветвистыми деревьями, оставался в тени, и мы сразу почувствовали себя прекрасно, откинувшись на выгнутую спинку скамеечки.

— Тс-с! Внимание, Манджура! — подтолкнул меня Головацкий, указывая на переулок.

В полутьму Парковой улицы выпорхнули две девушки в легких ситцевых платьях. Едва очутились они в тени лип, как первая девушка присела на ступеньку крылечка. Поспешно, словно ее догонял кто-то, она стала проделывать какие-то фокусы со своими ногами. Скоро я понял, что девушки освобождаются от туфель. Потом, как кожу со змеи, они стянули длинные чулки, засунули их в туфли и бережно завернули обувку в газеты, еще заранее припасенные для этой цели. Оглядываясь и разминая ноги, по-видимому чувствуя себя отлично босиком, девушки побежали в сторону Лисок. И тотчас же из освещенного переулка под тень лип выпорхнула целая стайка подруг. Подбежав к крылечку и садясь на ту же ступеньку, они проделали то же самое, что и их предшественницы, и, завернув свои узкие туфли кто в старую газету, кто в платок, легко и радостно разбежались по домам.

Улыбаясь и таинственно поглядывая на меня своими умными глазами, Головацкий сказал:

— И смех и грех, не правда ли? Такое зрелище можно наблюдать отсюда каждый вечер.

— Смотри, еще! — шепнул я.— Новые жертвы!..

На Парковую вырвались, пошатываясь, две подруги. Одна была в блузочке-матроске, с челкой на лбу. Другая придумала себе платье-тунику с удивительно широкими рукавами.

Девушка в матроске с откидным воротником даже до заветной ступеньки не могла добраться. Она с ходу обхватила старую липу и, прижавшись к ней, сбросила с ног блестящие туфельки.

— Какое блаженство! — донесся сюда ее тонкий голосок.— Думала — сомлею, так жать стали!

— Чулки-то стяни, Марлен,— сказала ее подруга, уже присевшая на крылечко,— подошву протопчешь!

— Погоди. Пусть пальцы отдохнут...— И девушка в матроске медленно прошлась под липами в одних чулках, как бы остужая ноги на камнях тротуара.

— А вольно́ тебе было такие тесные заказывать! — сказала ее подруга, стягивая чулки.

— Да я и так тридцать седьмой ношу. Куда же боле? Смеяться станут...— отозвалась Марлен.

Когда девушки растворились в сумерках, убегая босиком на Лиски, Головацкий сказал:

— Та, что в матроске, на заводе у нас работает.

— Откуда же они так бежали?

— Штатные завсегдатаи танцкласса Рогаль-Пионтковской... Ты не был там?

— Был! — буркнул я и заколебался: стоит ли рассказывать Головацкому, как та мадам обозвала меня хамом?

— Что же ты думаешь по поводу увиденного?

— Заведение для оболванивания молодежи!

— Руку, дружище! — воскликнул Головацкий.— Значит, мы с тобою одного мнения... В салоне Рогаль-Пионтковской молодого человека отучают мыслить. Ему преподносят суррогат веселья и заслоняют от него удивительно интересный мир, можно сказать — целую вселенную.— Головацкий оглянулся и продолжал: — Вот эти деревья, звезды, что мерцают на небе, даже эти песчинки, что, хрустя под ногами, скрывают еще в себе множество неразгаданных тайн природы. Тайны эти ждут человека, который бы пришел к ним и, открыв их, помог обществу. Глянь-ка на эти домики, что перед нами. Познай способ их постройки, пошевели мозгами: а нельзя ли строить лучше, практичнее, удобнее, чем строили наши деды, строить так, чтобы солнце гостило в этих домиках круглый день? Разве это не задача, которой стоит посвятить всю жизнь? Или, скажем, перенесемя с тобой мысленно на берег моря. Как мы еще мало его знаем! Рыбку-то нашу, сазовскую, все еще по старинке волокушами вытягивают, а ведь где-то уже есть электрический лов. Или другая задача: поймать энергию прибоев, поставить ее на службу социализму! Разве это не сказка, которую можно сделать былью? А ведь ежевечерне десятки людей — перед которыми возможно такое интересное будущее! — по нескольку часов, как нанятые, бесцельно дрыгают ногами. Позор!

— Так надо это безобразие прекратить.

— Видишь, Манджура, однажды я уже пробовал повести борьбу с этой мадам, но кое-какие ортодоксы на меня зашикали: мельчишь, мол, Толя! Нам, мол, следует проблемы решать, а ты привязался к танцульке. А я вовсе не мельчу. Если мадам Рогаль-Пионтковская и окочурится в один прекрасный день, с влиянием ее придется еще долго бороться... Вот эта, в матроске,— скромная и очень понятливая девушка. Однажды в библиотеке я заглянул в ее абонемент и в восторг пришел, сколько книг она прочла. А потом затащили ее подружки на эти шимми да фокстроты раз-другой, и на глазах меняться стала. Сперва челку себе завела модную, потом брови выщипала какими-то невообразимыми зигзагами, а погодя и перекрестилась.

— В церкви? Комсомолка?!

— До церкви пока дело не дошло,— сказал Головацкий,— домашним образом перекрест устроила. Надоело, видишь, ей скромное имя Ольга, назвала себя Марлен. Ну а подружкам только подавай! Они сами такие: вчера еще были Варвары, Даши, Кати, а как заглянули к Рогаль-Пионтковской, перекрестились на заграничный лад: Нелли, Марго, Лизетты... В слесарно-сборочном даже одна Беатриче объявилась — Авдотья в прошлом...

— Скажи... а Анжелика — тоже заграничное имя? — спросил я мимоходом.

— Ты про дочку главного инженера? Тоже перекрест. Правда, более скромный. По метрике — Ангелина. Всего две буквы исправила.

— А хлопцы-перекресты есть?

— Встречаются. В транспортном цехе, например, работает возчиком некто Миша Осауленко. В позапрошлом году он сотворил глупость — искололся весь у одного безработного морячка. Живого места на коже не осталось. Все в татуировках: якоря, русалки, обезьяны, Исаакиевский собор, а на спине ему изобразили банановую рощу на Гавайских островах. На пузе накололи штоф, бубновый туз и красотку. А под этим — надпись: «Вот что нас губит!» Чуть заражение крови не получил от этих наколов. Ездил на битюгах забинтованный, пока не свалился. А потом проклинал себя на чем свет стоит. Выйдет на пляж загорать — а вокруг него толпа собирается: что это, мол, за оригинал такой разрисованный? Люди приезжие думали, что Миша — старый морской волк, а он дальше Белореченской косы не отплывал, да и то в тихую погоду, ибо его море бьет крепко. Пришлось ему, бедняге, уходить купаться на Матросскую слободку — подальше от глаз. Но, думаешь, он набрался ума-разума от этого промаха?.. Открыла Рогаль-Пионтковская свой танцкласс, он и причалил туда от скуки. А плясать парень здоров! Ясно — мадам комплименты говорит и на свой лад всех настраивает. Иду однажды на завод, слышу — позади этот разрисованный Миша едет на своей

платформе и поет во весь голос: «Джон Грей был всех смелее, Джон Грей всегда таков...» Другой же танцор кричит ему с панели: «Эдуард! Закурить нет?»

— Ты шутишь, наверное, Толя? — сказал я.

— Какие могут быть шутки! Чистая правда. Пошел я в транспортный цех. «Как тебе, говорю, не стыдно? Неужели ты сам себя не уважаешь?»

— А он что тебе сказал?

— Брыкался сперва. Дескать, это «мое личное дело». Поговорили мы с ним часок-другой, и он наконец согласился, что дурость показывает.

— А сейчас на танцульки ходит?

— Одумался. Зато другие без танцкласса жить не могут. Вот эта Марлен. Из рабочей семьи, хорошая разметчица, а тоже поплелась к самому модному сапожнику Гарагоничу. «Давай, говорит, построй мне по журналу лакированные туфли на самом высоком каблуке».

Гарагонич, не будь дурак, содрал с нее всю получку, поднял ее на добрых десять сантиметров, а как там она ходить будет — это его не касается. Ты сам видел, качается, как на ходулях. И все это, друже, из того салона расползается. Главный очаг мещанства! Мадам действует на молодежь тихой сапой. Приятельницы ей песенки шлют заграничные, ноты, пластиночки для граммофона, модные журналы, а она их распространяет. Пора нам, Вася, дать бой!

— Как же бой давать, коли у нее патент?

Головацкий засмеялся:

— По-твоему, патент — это охранная грамота для частника? Залог того, что государство ему на пятки наступать не будет? Наивен же ты, Манджура! Давай-ка лучше потолкуем, как действовать.

...Так, душным вечером, на окраине городского парка, вблизи кустов зацветающего жасмина, возник наш план наступления на танцевальный салон Рогаль-Пионтковской.

Все до мелочей мы продумали и обсудили на этой скамеечке. Когда все уже было договорено, Головацкий спросил:

— Ты не очень устал сегодня?

— Нет. А что?

— Быть может, мы проследуем в мою хижину и там набросаем все наши замыслы на бумагу, чтобы ничего не растерялось?

КАЮТА НА СУШЕ

Головацкий жил в маленьком флигельке на площади Народной мести.

Мы прошли в глубь запущенного длинного двора. Около двери флигелька Головацкий пошарил рукой под стрехой и нашел ключ. Висячая колодка скрипнула под его руками.

Зажигая свет в сенях, Толя пропустил меня вперед. Задняя стенка прохладных сеней была сплошь заставлена книгами. И в комнате повсюду виднелись книги: на полках, на этажерке, даже на неокрашенных табуретках.

— Только ты не удивляйся некоторым моим причудам,— как бы извиняясь, предупредил он,— я, видишь ли, болельщик моря...

Меблировка небольшой комнаты состояла из узенькой койки, застланной пушистым зеленым одеялом, письменного стола и круглого обеденного столика, над которым спускалась висячая лампа под зеленым абажуром. Мне сразу бросилось в глаза, что два окна, выходящие во двор, были круглые, как пароходные иллюминаторы. Спасательный круг с надписью «Очаков» дополнял сходство этой комнаты с корабельной каютой. И стул был тяжелый, дубовый, какие бывают на пароходах в капитанской рубке.

— Тебя окна удивляют? — спросил Головацкий.— Если бы ты только знал, какую баталию пришлось мне вести с квартирной хозяйкой, пока она разрешила перестроить их таким образом.

— Они же наглухо у тебя в стенку замурованы! Воздуха нет.

— Ничего подобного! — И Головацкий, как бы оправдываясь передо мною за свое чудачество, повернул невидимую прежде защелку. Он потянул на себя круглое, чуть побольше спасательного круга, окошечко. Со двора повеяло запа-

хом цветов, и молодая луна сразу приблизилась к этому флигельку.— Моя конструкция,— сказал Толя, открывая другое окно.— Сам подмуровку делал, ребята из столярного по моему чертежу рамы сколотили. Необычно, правда? А я люблю! Как на море себя чувствуешь. В состоянии движения. А эти квадратные гляделки располагают к покою.

— Но поголовное большинство людей пользуется же квадратными окнами?

— Привыкли к мрачному однообразию,— полушутя, полусерьезно сказал Толя.— Обрати, например, внимание — с прошлых времен в нашей одежде еще преобладает черный цвет: черные картузы, кепки, костюмы, платки у наших бабушек и даже выходные платья у девушек. А разве не пора повести борьбу против этого траура в повседневной жизни? Природа ведь так богата красками! Сколько прекрасных цветов в сиянии радуги, в оттенках неба над морем! Тут надо смело рвать с прошлым!

— Да ты не горячись, Толя. Я просто спросил тебя,— успокоил я хозяина странной комнаты и подошел к полке с книгами.

Каких только книг у него не было! И по географии, и по биохимии, и по логике... Старинная лоция Азовского моря соседствовала с учебниками астрономии и навигации. В простенках между полками висели таблицы с видами рыб, морские узлы на дощечках, изображения пароходов, идущих под сигнальными огнями, и даже чертеж двухмачтового парусного судна.

— Ты небось моряком хочешь стать?

— Почему ты так думаешь? — И Толя очень пристально глянул на меня, желая узнать, понял ли я на самом деле цель его жизни.

— Да вот литература у тебя все о море! — И я кивнул головой в сторону морских книг.

— Надо, милый, хорошо знать не только ту землю, на которой живешь, но и то море, которое расстилается в десяти шагах отсюда. А быть может, когда-нибудь и поплавать придется. Ведь мы же, комсомольцы, шефствуем над флотом!

— А этот офицер... кто? — спросил я настороженно, разглядывая над кроватью Головацкого бережно окантованный под стеклом фотографический портрет морского офицера в черной накидке, при кортике, в очень высокой фуражке.

— Лейтенант Петр Шмидт,— объяснил Головацкий.

— Какой Шмидт? Тот, чье имя завод носит?

— Он самый. Тот, который поднял сигнал: «Командую флотом. Шмидт». Выступал против царизма, любил рабочий люд. Свою роль в революции сыграл. Недаром рабочие Севастополя избрали его в Совет депутатов!

— Давно его именем завод назван?

— Вскоре после революции. И ты думаешь, случайно?

— Не знаю...

— Тогда слушай... Дело в том, что Шмидт немного работал на нашем заводе...

— Шмидт? Офицер Шмидт?

— Ну да, мичман Шмидт! Его родственники тут жили. И он, решив повидать собственными глазами, как живет рабочий люд, на время отпуска сменил мичманский китель на рабочую блузу... Или возьми историю самого портрета Шмидта,— продолжал, воодушевляясь, Головацкий.— Как узнал я от стариков про лейтенанта, пустился по его следам. Интересно же! Все газеты старые того времени перечел, дом, в котором его семья жила, излазил весь, от чердака до погреба. Но увы! Ничего не сохранилось. Как-никак двадцать лет миновало. Три войны, три революции, голод. А потом думаю: не мог Шмидт жить в нашем городе и ни разу не сняться, будучи в отпуску! Пересмотрел у всех частных фотографов негативы тех лет — и вот, полюбуйся, отыскал совершенно случайно. Увеличение уже по моему заказу делали.

— Так надо его в музей! Для всех!

— Неужели ты думаешь, я такой шкурник? В тот же день, когда портрет Шмидта был у меня, я отослал негатив в Исторический музей. Мне и письмо благодарственное оттуда пришло.

— А круг откуда?

— Извозчик один надоумил, Володька некто.

— Бывший партизан? Рука повреждена?

— Он самый. Обмолвился как-то, что в Матросской слободке живет один севастополец, чуть ли не участник самого восстания. Я к нему. Оказалось, сам-то он на «Очакове» не ходил, но круг с того мятежного корабля сохранил. Реликвия! Еле вымолил.

Кофе в кастрюльке забурлил. Головацкий приподнял медную кастрюльку и проложил между ее донцем и голубеньким пламенем спиртовки железную планку. Напиток, который он готовил, требовал постепенного и малого подогрева.

— Взгляни теперь на эту фотографию, Манджура,— сказал Толя, подходя широкими шагами к противоположной стене.— Тоже наш земляк.

Я увидел на фотографии бравого морского офицера в царской форме. Он сидел прямо перед аппаратом, в белом кителе, разукрашенном орденами, в белой фуражке с темным околышем, положив руки на колени.

— Что это ты белопогонниками увлекаешься?

— Во-первых, погоны у него темного цвета,— поправил меня Головацкий.— Во-вторых, если бы все царские офицеры прошли такую жизненную школу, как этот человек, и хлебнули горя столько же, то, возможно, деникины да колчаки не смогли бы выступать с оружием против революции. На кого бы они тогда опирались?.. Это, к твоему сведению, Георгий Седов, знаменитый исследователь Арктики, погибший от цинги во льдах, на пути к Северному полюсу.

— А он тоже с Азовского моря?

— Ну конечно! С Кривой косы. Как видишь, офицер офицеру рознь. Если бы у лейтенанта Шмидта, помимо его искренних стремлений свергнуть самодержавие, был характер Георгия Седова, то кто знает, как бы окончилось восстание на «Очакове»!

— Седов, значит, хороший человек был? — спросил я осторожно, уже окончательно теряясь.

— Он был из простонародья и любил свою родину! — сказал вдохновенно Головацкий и достал с полки какую-то книгу.— Послушай-ка слова последнего приказа Седова, написанные перед выходом к Северному полюсу. Он написал этот приказ второго февраля тысяча девятьсот четырнадцатого года, будучи уже совершенно больным. «...Итак, в сегодняшний день мы выступаем к полюсу. Это — событие для нас и для нашей родины. Об этом уже давно мечтали великие русские люди — Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильные научные и идейные завоевания в полярных исследованиях на пользу и гордость нашего дорогого отечества. Мне не хочется сказать вам, дорогие спутники, «прощайте», но хочется сказать вам «до свидания», чтобы снова обнять вас и вместе порадоваться на наш общий успех и вместе же вернуться на родину...»

— А вернуться ему удалось? — спросил я.

— Его похоронили там, в Арктике, на пути к цели. Он жизнь свою отдал за народное дело, а царские министры его тем временем бранью в газетах осыпали...

— Да, такой человек не задумываясь принял бы Советскую власть. И не стал бы шипеть по углам, как Андрыхевич! — выпалил я.

— Ну, тоже сравнил... кречета с лягушкой...— Головацкий посмотрел на меня с укоризной.— Тот, кого ты назвал, просто обыватель с высшим техническим образованием. Ты что, знаешь Андрыхевича лично?

— Познакомился на днях случайно,— ответил я.

— Любопытно даже, как человек уже во втором поколении переродился. Его родители в Царстве Польском против русского императора мятеж подымали. Их за это в Сибирь сослали. А вот сынок стал царю да капиталистам служить и революцию воспринял как большую личную неприятность.

— Но прямо он об этом не говорит?

— Иной раз любит разыграть демократа, совершает вылазки из своего особнячка в город. Преимущественно под воскресенье. В пивные заходит, в «Родимую сторонку» — слепых баянистов слушать. Пиво попивает да разговоры разговаривает. Кое-кто из мастеров под его влиянием. Души в нем не чают.

— Но так-то в общем он человек знающий, пользу приносит?

— Приходится работать. Иного выхода у него нет. Я себе хорошо представляю, что бы с Андрыхевичем произошло в случае войны! А насчет пользы — что ж? Пользу можно приносить еле-еле, проформы ради, и можно — от всего сердца,

с полной отдачей. Этот же барин только с л у ж и т. Ты слыхал, наверное, что многие производственные секреты иностранцы, уезжая, скрыли или увезли — кто их знает! Иван Федорович бьется, бьется, но пока результаты невелики. А инженер главный ходит вокруг да около, бровями шевелит да посмеивается. Теперь посуди: неужели Гриевз от своего главного инженера имел тайны? У хорошего, опытного инженера они в душе запечатлеться должны без всяких чертежей. Чертежи — отговорка. Он сердце свое раскрыть не хочет.

— Других порядков ждет! Думает, переменится все,— согласился я с Головацким и рассказал ему о своем споре с инженером.

— Ну, видишь! Чего же боле? Какие тебе еще откровенные признания нужны? — воскликнул Головацкий и, видя, что кофе вскипает, притушил немного горелку.— Не любит он нас. Люди, подобные Андрыхевичу, не помогают нам. Они нас подстерегают. Ты понимаешь, Василь, подстерегают!.. Подмечают каждый наш промах, каждую ошибку, чтобы позлорадствовать потом... Да пусти сюда опять Деникина с иностранцами — он первый ему на блюде хлеб-соль преподнесет!

— А дочка у него такая же? — спросил я, выждав, пока весь гнев Толи выльется на старого инженера.

— Анжелика? Подрастающая гагара. Это о таких прекрасно сказал Горький: «И гагары тоже стонут,— им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает».

Головацкий разлил густой-прегустой дымящийся кофе в маленькие бордовые чашечки с черными пятнышками, похожими на крапинки крыльев божьей коровки. Потом сходил в сени и, зачерпнув из кадки воды, налил два стакана.

— Турецкий кофе пьют так,— сказал он, — глоток воды, глоток кофе. Иначе сердце заходится. Крепкий очень.

В двенадцатом часу ночи покидал я Толину «каюту».

Улицы города уже опустели. Летучие мыши неслышно скользили над головой, когда я проходил мимо парка, закрытого на ночь.

ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, — ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

Так хорошо ладились, почитай целую неделю, славные эти ролики! Из каких-нибудь шести сотен выпадало штук пять — семь браку по нашей вине. С этим можно было мириться. Это был допустимый процент брака при такой быстрой работе. А делали мы роликов куда больше, чем кто-нибудь другой, и все потому, что дядя Вася не ленился заранее смазывать кокили и обтачивать стержни — шишки. Он рассуждал так: лучше полчаса побыть в духоте да в пыли возле залитых опок и подготовить все к завтрашнему дню, чем возиться с этими приготовлениями спозаранку, когда надо набирать разгон.

В тот день, когда кончался мой испытательный срок, дядя Вася не вышел на работу. Мне и невдомек было, отчего он запаздывает. Почти все рабочие появились у своих машинок: одни пересеивали дополнительно песок, другие подогревали модели, третьи готовили место на плацу, разглаживая сухой песок, чтобы удобнее потом было ставить опоки. Неожиданно появился мастер Федорко и заявил:

— Дам тебе, Манджура, сегодня другого напарника. Твой Науменко отпросился на два дня за свой счет. Ему надо жену на операцию свезти в Мариуполь.

...А спустя несколько минут подле наших машинок появился... Кашкет. В руке он держал собственную набойку.

Разболтанной походочкой подошел Кашкет к машинке дяди Васи, попробовал рамку — нет ли шатания на штифтах, закурил. Поглядел я на эту картину и подумал: «Напарник! Лучше кота бродячего под мартеном поймать да к машинке приставить, и то вреда меньше будет...» Правда, после того ужасающего брака он сделался осторожнее, но все равно, хоть и суетился он больше всех, пыль в глаза пускал беготней и ненужными криками, мы его и Тиктора ежедневно обгоняли на добрых сорок опок.

Турунда увидел, какого я получил напарника, и замотал головой: не бери, мол! Отказывайся!

«Как же отказываться? Работай я здесь год-другой — иное дело. Мог бы артачиться, просить замену. А я — новичок. С другой стороны, мастер, может быть, нарочно отделяет Кашкета от Яшки?»

— Модель почему слабо нагрета? — важно спросил Кашкет.

— Беги за плитками и подогрей по своему вкусу.

— Ты моложе — ты и бегай! — прошамкал Кашкет.

— Как знаешь! — бросил я и, услышав звук рынды, объявляющей начало работы, принялся набивать песок в опоки.

Кашкет повертелся, повертелся и, схватив клещи, пошел за плитками.

К его возвращению у меня уже стояло два низа. Я и шишки поставил сам, и площадочку для новых опок приготовил. Кое-как мы набили десять опок. Тут Кашкет начал томиться. Пошел покурить к вагранке и застрял. Горновым байки рассказывать!.. Зло меня взяло. Накрыл последнюю опоку за напарника и побежал к вагранке.

— Послушай, когда же ты...— Я тронул за плечо Кашкета.

— В позапрошлом году то было, — сказал он, думая, что я заинтересовался его рассказом.

— Я спрашиваю, когда ты перестанешь болты болтать, а будешь опоки набивать? — бросил я ему в лицо.

— А я тебе разве мешаю? — ответил Кашкет спокойно и повернулся спиной, чтобы продолжать беседу.

— Да, мешаешь! — закричал я ему в ухо.

— Тебе мешаю?

— Не мне лично, а всему заводу. Рабочему классу. Всем! — уже окончательно разгорячившись, крикнул я.

Кашкет как-то сжался весь, трусливо швырнул в песок цигарку и сказал горновому:

— Приходи ко мне лучше, Архип. Там доскажу. А то видишь, какого мне подбросили бешеного... комсомолиста...

Я смолчал и пошел обратно к машинкам. Иду размашистыми шагами, чуя где-то позади дробный ход Кашкета, а сам думаю: «Неизвестно еще, кого кому подбросили, накипь махновская! Нужен ты очень!»

Кашкет, возвратившись, засуетился, затарахтел рычагом машинки и, надо отдать ему должное, каких-нибудь минут тридцать работал прытко. Лука с Артемом даже диву дались, откуда у этого клоуна появился такой темп. Не слышали они нашего разговора около вагранки. «Пусть, — решил было я сперва,— все это останется между нами!»

Но Кашкет придерживался другого мнения. Спустя некоторое время он опять прошепелявил:

— Интересуюсь: чем же именно я мешаю рабочему классу?

Не задумываясь, с ходу, как набойкой острой, я отрезал ему:

— Наших жаток миллионы крестьян ждут, а ты задерживаешь программу. Рабочий класс производительность труда повышает, а ты дурака валяешь. Видно, хочешь, чтобы не мы их, а они нас?..

— Я сам рабочий класс! Что ты плетешь? Какие «они»?

— Они — это белогвардейцы да капиталисты. Сволочь всякая, которой ты в девятнадцатом помогал!

— Я?! Помогал?! Да что ты, детка? Вот напраслина!

Он вдруг притих и сделался смирненький-смирненький. Даже за плитками стал бегать не в очередь. Следя за тем, как гонит он впритруску к далекому камельку, я даже подумал: а прав ли я? Все-таки Кашкет старше меня годами, в литейном давно,— не слишком ли я повышаю голос?

Будто угадывая мои сомнения, Турунда сказал мне:

— Так его, Василь! Правильную линию занял. А то, в самом деле, что ему здесь — шарашкина контора? До каких пор это можно терпеть?

— Давно бы его выкатить с ветерком. Жаль, у Федорко душа мягкая! — ввязался в разговор Гладышев.— Пора ставить вопрос резко. Сходи в обед к Федорко. Так, мол, и так, убрать надо этого проходимца и оставить тебя формовать одного, пока Науменко не возвратится.

Слова сочувствия старых рабочих меня очень тронули. Но все же я не решился последовать совету Гладышева. «Промучаюсь как-нибудь,— думал я,— эти два дня с Кашкетом, а потом снова вернется мой напарник, и все будет хорошо».

Довольно скоро мне пришлось пожалеть о своих колебаниях. Настала моя очередь бежать за плитками. Возвращаюсь — верх опять не набит, а Кашкет спокойненько беседует с горновым:

— ...И прихожу я, понимаешь, оформляться к Тритузному, а он меня спрашивает: «Где вы, товарищ Ентута, последние пять лет работали? А почему у вас нет справок с последнего места службы?» А я ему палю: «Товарищ Тритузный! Я как испугался генерала Врангеля в двадцатом годе, так с тех пор не мог прийти в себя и целых пять лет не мог работать!» Зюзя прямо ахнул: «Пять лет?! Что это за нервное потрясение такое?..»

Тут к Кашкету подскочил с клещами Турунда.

— Тебе что, особое приглашение надо посылать, чтобы к машинке стал? — сказал Лука, принимая мою сторону.

— Простымши же плита была! — сказал Кашкет, делая невинное лицо.

— Мозги у тебя простыли, а не плита! — бросил Турунда в сердцах, пропуская моего напарника к машинке.

— А тебе что, некогда? Поезд в Ростов отходит? — огрызнулся Кашкет, принимаясь за работу.

— Да, некогда! — закричал Турунда, с силой вгоняя лопату в горячий еще песок.— И вся эта болтовня нам надоела. Лень тебе здесь — иди увольняйся, тягай волокушу...

— Так его, ледащего! Так его! — одобрительно крикнул Гладышев.

Чувствуя полное одиночество, Кашкет буркнул:

— Смотри какой строгий! — и принялся формовать.

Тяжело было мне разобраться в душе этого случайного моего напарника. То ли балагуром таким ленивым был он в юности, то ли и впрямь, если верить извозчику Володьке, в степь по-прежнему смотрел: не вынырнут ли из-за кургана махновские тачанки?

Неожиданно, нарушая молчание, Кашкет запел:

В понедельник, проснувшись с похмелья,
Стало пропитых денег мне жаль.
Стало жаль, что пропил в воскресенье
Память жинкину, черную шаль...

— Кашкет в своем репертуаре,— заметил Гладышев.

— А что — чем не Шаляпин? — сказал Кашкет и приосанился, поправляя косынку.

— Низ уже набит, Шаляпин, а верхней опоки все еще не видно! — крикнул я.

Прыгая около машинки, он все еще не мог успокоиться:

— Даже песню про тебя народ сложил.

— Какую такую песню?

— А вот какую...— И шепелявым, пропитым голосом он запел:

Жил-был на Подоле гоп со смыком,
Он славился своим басистым криком...

Ты ведь с Подола?

— Плохо географию знаешь,— сказал я строго.— Подол — это околица Киева, а я лично родился в бывшей Подольской губернии.

Кашкет ничего не ответил. Он силился поспевать, превозмогая похмелье, суетился, но мне было ясно, что ту норму, какую обычно ставили мы с Науменко до перерыва, нам никак не выполнить.

Песок накануне был полит слишком обильно. Под низом он па́рил, как раскрытый навоз весной, и не годился в формовку. Надо было перемешать его с сухим песком.

По соседству высилась куча пересохшего и жирного песка. Я опрометью бросился туда и, чтобы не останавливать формовку, стал перебрасывать песок на нашу сторону.

— Тише ты, окаянный! — крикнул у меня над ухом Кашкет и схватил меня сзади под локти.

Но размаха моих рук ему уже было не сдержать. Острие лопаты врезалось в песок, встречая на своем пути неожиданную преграду. Что-то жестко хрустнуло в песке, будто лопата перерезала электрическую лампочку.

— Вот ирод! Кто тебя просил сюда нос совать! — завопил в отчаянии мой напарник.

Он опустился на корточки и принялся разрывать дрожащими руками песок.

— Да ты рехнулся, что ли? — спросил я, все еще ничего не понимая.

— Я те дам «рехнулся»! Такое устрою, что своих не узнаешь... Косушка была захована тут, а ты угодил в нее.

Кашкет поднял на ладони горсть мокрого песка. Он поднес его к носу и принялся жадно обнюхивать. Руки его дрожали. Резкий запах водки подтвердил мне, что в песке и на самом деле была зарыта бутылка.

— Пошли формовать! — позвал я.

— А чем я теперь опохмелюсь в обед?

— Давай освобождай рамки! Два низа набиты.

Мрачный, насупленный, он стал набивать. Но потеря косушки беспокоила, видно, его больше всего на свете.

— Как тебя угораздило на ту сторону залезть?

— А как тебя угораздило водку в цех тащить? Мочеморда.

— Ты, я погляжу, язва! Не зря твой земляк рассказывал, какой ты вредный парень.

— Это правда, я вреден для тех, кто Советское государство обманывает. Таким вредным был, есть и буду. А то, что Тиктору и тебе это не нравится,— мне наплевать. Я вам подпевать не буду. А если тебе не по душе порядки на советском заводе, убирайся вон отсюда, пока мы тебя сами не попросили.

...Кашкет и в самом деле с обеда ушел неведомо куда: то ли в амбулаторию — больничный лист просить, то ли по увольнительной. А вскоре Федорко, пробегая цехом, на ходу бросил мне:

— Я отпустил твоего напарника. Формуй сам. Турунда поможет тебе залить.

И вот после всех передряг с Кашкетом наступили блаженные часы. Набил пару низков, повтыкал туда стержни — перебегаешь к другой машинке и формуешь верхи.

Я был благодарен этим минутам еще и потому, что, когда мчался цехом от камельков, держа в клещах пылающие плитки, в мозгу блеснула счастливая мысль.

«А что,— думал я, набивая,— если по этим же трубам, по которым сейчас проходит к любой машинке сжатый воздух, пустить такой же воздух, но предварительно подогреть его? Пускай идет подогретый воздух по цеху, разветвляется до каждой машинки и нагревает заодно модели. От общей магистрали можно сделать отвод, привернуть к нему краник, а к кранику — резиновый шланг с медным наконечником. Понадобится тебе воздух для обдувания модели — повернул отводной краник и тем же горячим воздухом прекрасно сметаешь ненужный тебе песок. А все остальное время воздух работает на подогрев. И как просто сделать это! Надо только запаять пазы под моделями, устроить доступ для проходящего воздуха, и модель все время будет горячая. А чего мы достигнем? Многого! Литейщикам уже не надо покидать свое рабочее место и бегать до камельков. Они не будут больше простужаться, выскакивая разгоряченные во двор, особенно зимней порой. Станет соблюдаться правильный ритм формовки. Да и сколько коксу можно сохранить для государства, если мы навсегда уничтожим камельки!»

Охваченный счастливыми мыслями, формуя изо всей силы на машинках, я не увидел, как ко мне подошел Федорко. Он притаился в двух шагах за моей спиной и наблюдал, как я формую. Я заметил мастера лишь после того, как тот громко спросил Турунду:

— Ну, Лука, что ты скажешь о своем соседе? — И Федорко кивнул на меня.

Турунда отложил трамбовку, утер потное лицо и сказал:

— Я, Алексей Григорьевич, думаю — толк будет. Старательный он и подладился быстро.

— Так вот, Манджура,— сказал Федорко, растягивая слова,— испытание твое кончилось. Пошабашишь — заходи в контору, там тебе выдадут расчетную книжку. Поставлю тебе пятый разряд. А дальше видно будет!.. Не мало?

— Ладно, Алексей Григорьевич, хватит. Спасибо вам! — И я крепко пожал руку мастеру.

...Уже многие пошабашили, а я все набивал и набивал, чтобы не стоять зря в ожидании, пока Лука с Гладышевым зальют свои опоки. Огромное облако пара поднялось возле опорожненной вагранки.

Горновые выбили низ вагранки, оттуда в глубокую яму вывалился полуобгоревший кокс, покрытый чугунными корочками и липким шлаком, будто орехи в сахаре.

Всю эту огненную кашу уже поливали из брандспойтов. Слышно было, как шипели глыбы гаснущего кокса. Он постепенно делался багровым, потом — темно-малиновым и наконец почернел.

По соседству, в клубах пара, вырываясь из другой вагранки, искрилась струя чугуна. Она хлестала в новые ковши. Все уже дымилось вокруг, и парно было, как в бане на третьей полке. И хотя мне довелось таскать ковши с Турундой в самые последние минуты, никогда не работалось так легко, как именно сейчас, на исходе рабочего дня. Спокойные и немного торжественные слова мастера все еще звучали в ушах. Они утверждали за мной прочное место в этом цехе.

Залитые солнцем улицы сменяли одна другую. Чумазый, с потеками пота на лице, гордо шагал я посередине мостовой, а в боковом кармане куртки уже лежала новенькая расчетная книжка с печатью и моим рабочим номером. В ней было четким, размашистым почерком написано, что формовщик Василий Миронович Манджура имеет пятый разряд. Мне хотелось показать эту книжку каждому прохожему, хотя один вид мой, без всяких документов, мог подсказать, что я принадлежу к великой рабочей армии.

Жара была незаметной после зноя литейной. Силился я продумать еще раз свой план: как можно измерить подогрев машинок. Но сейчас, на улице, мысли эти разбежались, и трудно было привести их в порядок. «Ладно, главное придумано, а остальное придет позже!»

На повороте с улицы Магеллана на Приморскую меня догнала Анжелика.

— Здравствуйте, Базиль,— бросила она, тяжело дыша.— Вы бежите как на пожар!

— Здравствуйте,— буркнул я.— Бегу, потому что грязный. Помыться хочется!

— Скажите, вы на меня сердитесь?

— С чего вдруг?

— А почему вы не заходите?

— Времени не было.

— Я оставила вам записку. И с друзьями вашими говорила. Неужели не передавали?

— Передавали! — сказал я хмуро, стараясь быть с Ликой как можно строже. И подумал: «Уж лучше бы ты не заходила, а то житья нет. Совсем заклевали меня: «жених» да «жених»! Глаз нельзя повернуть в сторону соседней усадьбы — немедленно хлопцы начинают улыбаться». И в какого-то Базиля переименовала.

Однажды Сашка Бобырь раздобыл где-то пучок флердоранжа, каким украшают новобрачных, и, пока я мылся у колодца, воткнул мне его в петлицу пиджака. Хорошо еще, я заметил вовремя, а то вышел бы так в город, на посмешище людям!

Помолчав, Лика сказала:

— Все-таки невежливо. Я первая даю о себе знать. Захожу к вам, чего никогда раньше не делала. А вы... Приличие же требует!

— Знаете что, Лика,— отважился я,— боюсь, что с вашими приличиями нам не по пути!

— Неужели я так безнадежна? Беспринципное существо с мещанскими наклонностями? Так прикажете вас понимать?

Я понял: Лика хочет вызвать меня на откровенный разговор. Заводить с ней дискуссию не хотелось, и я уклонился от прямого ответа.

— Да как знаете. Вам виднее!

— Все мое несчастье, Василь, заключается в том, что я не могу на вас сердиться.

— А вы рассердитесь,— сказал я безразлично.

— Трудно...— протянула Лика.— И я было подумала...

— Что?

— Вот кто выведет меня на верную дорогу...

Приближалась моя ограда. После трудового дня в литейной я никак не мог настроить свое сердце на лад Анжелики. И я отрезал:

— Вы попросите Зюзю. И удар у него пушечный, и чарльстонить может, и всем приличиям обучен. Вот кто подойдет вам в воспитатели. Пока!

С этими словами я помахал ей шершавой ладонью, а другой рукой сильно толкнул вперед калитку...

Первым откликнулся на мое письмо Моня Гузарчик. Оно и понятно: Харьков был рядом, ночь езды. Монька писал:

«...Полученная весточка принесла мне много радости и морального удовлетворения. Все наши мелкие дрязги уже забылись. Осталось в памяти одно хорошее. И шут с ним, что вы не хотели меня принимать в комсомол из-за той бабушки, которую я даже и в глаза не видел. Комсомольцем я таки буду! Я работаю здесь на Харьковском паровозостроительном заводе. Ты знаешь, сколько здесь рабочих? Ведь не поверишь! Больше десяти тысяч. Наш «Мотор» по сравнению с ХПЗ — это сельская кузня...

Мне было очень странно читать твои слова о том, что вам «пришлось повоевать», прежде чем вас приняли на завод имени лейтенанта Шмидта. А меня безо всяких — стоило только показать путевку — зачислили в дизельный цех, и тут-то я впервые увидел, как собираются громадные машины для выработки электроэнергии — дизели. Ты не можешь себе представить, Василь, какой великан этот дизель! Движок, что попыхивал у нас в подвале фабзавуча, приводя в действие токарные станки и циркулярную пилу,— сморчок по сравнению с нашим двигателем. Могу сказать вполне откровенно: работа исключительно интересная и я весьма удовлетворен ею. (Всякий раз, когда я пишу слово «удовлетворен», мне вспоминаются наш фабзавуч и Бобырь, который однажды написал это слово «уледотворен».) Как он, наш дружок, чувствует себя у моря? Передай ему мои наилучшие пожелания.

Меня сразу же направили в бригаду из шести человек. Живу далеко — километров девять от завода, но этого расстояния не замечаю. Наоборот даже: приятно ехать через столицу трамваем и разглядывать в окно ее улицы. Приезжаю пораньше, готовлю инструмент. Мастер Иван Петрович Колесниченко похвалил меня однажды. «Вот,— сказал,— Монька хотя и подолянин, недавний фабзавучник, но старается не хуже наших». Люди в бригаде подобрались хорошие, большей частью старички. Один из них было пробовал подшутить надо мной и послал в инструментальную, чтобы я ему принес какое-то «бигме». Я кричу, требую, а потом оказывается, что «бигме» — это выдумка, такого инструмента вообще нет. Посмеялись надо мной здорово!

Среди кадровых рабочих дизельного цеха есть немало таких, которые сами революцию делали. И не только Советскую власть на Украине укрепляли, но еще в майскую стачку 1902 года бастовали, в 1905 году полицейских били. Настоящий пролетариат! Они рассказывали мне немало о боях харьковских рабочих против царизма. Вот вчера кончили мы работу и выходим из цеха со сборщиком Левашовым — лет ему уже под шестьдесят. Видим — трамваи битком. Он и говорит мне: «Давай, Моня, пойдем пешочком до центра». Побрели мы с ним, и я нисколько не пожалел, что согласился на такую прогулку. Идем, а старик рассказывает мне, как готовилось в Харькове восстание, как приезжали делегаты ЦК большевиков из Питера. Уже в центре, на площади Розы Люксембург, там, где проезд с площади на Университетскую, Левашов показал мне, где помещался штаб восстания, откуда подносили боеприпасы, где подстрелили первых полицейских, где соорудили баррикаду...

Порядки здесь иные, чем в нашем городе. Помнишь, как прорабатывали у нас даже беспартийных за то, что они носили галстуки? Тут — совсем обратное. Молодежь ХПЗ, и особенно нашего дизельного цеха, не считает зазорным хорошо, опрятно одеваться. «Дело совсем не в галстуке,— говорят здесь,— а в том, какое

нутро у человека под тем галстуком». После работы молодые хлопцы моются, переодеваются во все чистое и уже тогда едут домой. Правильная постановка вопроса! А то другой нередко как бы нарочно, чтобы доказать всем, что он рабочий, влезает в мазутной спецовке в трамвай и всех пачкает, вместо того чтобы оставить робу в цехе.

В дизельном большая комсомольская ячейка. Пока я — посещающий. Когда я рассказал секретарю, почему вы не приняли меня в комсомол, он посмеялся и сказал: «Да ты и вовсе мог от рук отбиться!» И посоветовал мне вскорости подать заявление. Так-то, Василь!

Ну, кончаю. Напишут тебе хлопцы, Василь,— как можно скорее пришли мне их точные адреса. Передай Маремухе с Бобырем мои наилучшие пожелания».

Я прочитал это письмо стоя, не переодевшись. И хотя Монька намекал на прежнее отношение к нему, сразу ушли в тень сегодняшние неприятности: и стычка с Кашкетом, и слишком, быть может, грубый разговор с Анжеликой.

Вытряхивая песок из башмаков в сарайчике, я подумал, неплохо бы у нас в литейном завести харьковские порядки. Какой смысл шагать через весь город в грязной, местами прожженной робе, когда можно там, у нас, помыться, переодеться и, подобно томильщикам, возвращаться с работы чистым!

Вспомнилось, как, разряженные, проходили мы еще совсем недавно улицами весеннего города, лузгая семечки и грызя кокошки, и как нагнали нас Фурман с Гузарчиком и сообщили о том, что прибыли путевки для выпускников фабзавуча на заводы Украины. Совсем недавно это было, а сколько нового произошло в жизни каждого из нас с того субботнего вечера и как твердо мы уже стали на ноги!

«Милый, родной город! — думал я, плескаясь, как утка, подле колодца.— Увижу ли я тебя когда-нибудь вновь? Пройдусь ли Прорезной, слушая шелест листвы? Заберусь ли на зубчатые стены Старой крепости и гляну ли оттуда, с ее валов, на широкие просторы моей Подолии, на весеннее половодье Смотрича? Разбрелись мы по Украине с путевками в новую жизнь, и вряд ли суждено нам встретиться снова над скалистыми обрывами старинного города и пройти с песнями и факелами по темным урочищам до быстрого Днестра».

ПОРУЧЕНИЕ КОЛОМЕЙЦА

«Дорогой Василько!

Прости, дружище, что не ответил сразу. Запарился! Что называется — полные руки работы. Уехали вы на заводы, опустел наш фабзавуч; казалось бы, можно и нам позагорать на скалистых берегах Смотрича. Но мы решили иначе. Раз партия призывает нас перейти развернутым фронтом в наступление на частника и все силы бросить на индустриализацию страны, имеем ли мы право в такое горячее время каникулы устраивать?

Собрал я комсомолят первого года обучения, Полевой пригласил в школу педагогический персонал, и на общем собрании мы решили обновить нашу школу собственными силами.

Больше месяца, изо дня в день, мы являлись в фабзавуч и приводили в порядок помещения, заготовляли новый инструмент, расширяли цехи. Не узнал бы ты, Василько, и своего цеха сейчас! Литейная твоя побелена изнутри и снаружи. А у входа Козакевич воспроизвел на стене в увеличенном размере эмблему профсоюза металлистов. И сейчас прохожие сразу догадываются, что в этом чистеньком здании, где когда-то заседали казначейские «делопуты», варится чугун. А помнишь кладовку возле слесарной? Нет ее уже и в помине! Мы снесли деревянную переборку и на освободившейся площади установили еще три верстака с тисками. Таким образом выкроено еще девять рабочих мест для обучения индустриальной смены. Что это значит, вдумайся, а, Василь? Это значит, что осенью мы сможем принять на девять человек больше хлопцев и девчат, которые бы захотели дружить с зубилом и ручником. А если каждый фабзавуч последует нашему примеру? Это уже будет целая дивизия промышленного пролетариата. Это наша, советская молодость, помноженная на технику, на социалистическое отношение к труду, на умение разбираться в чертежах и по этим чертежам строить будущее!

Мне очень радостно за вас, что директор завода оказался подлинным большевиком и отнесся к вам чутко, так, как и подобает красному директору, и принял вас на завод сверх установленной брони. Из твоего письма, Василь, я заключил, что у вас теперь установились отличные отношения с коллективом комсомола, что вас там уважают. Вот почему, дорогой, считая тебя по-прежнему посланцем подольского комсомола на приазовском берегу, я обращаюсь к тебе, Маремухе и Бобырю с большой просьбой.

Помнишь, Василь, совхоз на берегу Днестра, где мы с тобой подружились еще в те годы, когда ты жил в совпартшколе? Есть решение бюро окружного комитета партии о передаче всего совхоза с его постройками и землею в распоряжение молодежной сельскохозяйственной коммуны. В этой коммуне мы будем готовить кадры молодых специалистов сельского хозяйства. А они, в свою очередь, покажут путь остальному крестьянству: как можно хозяйничать на новых, советских началах.

Приток добровольцев в коммуну огромный. Не только молодежь из Бабшина, Жванца, Приворотья, Устья, но и хлопцы из других районов, прочитав в газете «Червонный кордон» заметку о коммуне, засыпают сейчас окружком просьбами послать их туда.

Но вот беда! Все есть в той коммуне: пахотная земля, коровы, кони, молодые рабочие руки, азарт, желание посвятить себя сполна любимому делу, а инвентаря недостает! Наши комсомольцы-фабзавучники — я уверен в этом — смогут отремонтировать для подшефной коммуны плуги и бороны; работая сверхурочно, мы сделаем для коммунаров несколько соломорезок, но на этом наши возможности исчерпываются. А вместе с тем крайне необходимо снабдить коммунаров хотя бы пятью жатками-самоскидками. Само собою разумеется, жатки в централизованном порядке никто нам в середине года не пришлет. А как было бы здорово, если бы в дни сбора урожая наши коммунары выехали в поле на хороших, новых, советских жатках!

И когда я прочел в твоем письме фразу о том, что ваш завод делает жатки, в ту же минуту сверкнула в моем мозгу законная мысль: «Вот кто поможет молодой коммуне!» Да, Василь, крутись не крутись, а вы должны помочь нам! В этом уверены заранее не только мы с Полевым, но и окружком комсомола.

Сходи в партийную организацию завода, к директору, объясни им, какое это будет иметь политическое значение, если на границе с боярской Румынией вырастет образцово-показательная молодежная коммуна. Скажи им... Да что я тебе буду толковать! Неужели ты не сможешь получить для нашей коммуны пять жаток? Проси, настаивай, призови на помощь Головацкого. Судя по твоему письму, он парень внимательный. Словом, Василь, на тебя смотрит весь фабзавуч, а с ним вместе и пограничный комсомол.

У вас может возникнуть вопрос: а кто же будет платить за оные жатки? Не журись на сей счет. Как только мы получим твою телеграмму с указанием суммы, которую надо внести, тут же перечислим деньги. Мы уже приступили к сбору средств для этой цели. Провели в театре имени Шевченко два шефских спектакля («Девяносто семь» и «Ой, не ходы, Грицю!»), устроили там же костюмированный бал, подобный тому, какой проводили для сбора подарков червонному казачеству. Да и в окружкоме комсомола есть деньжата для коммуны. Словом, действуй, Василь, на полную мощность!

Да, чуть было не забыл! Ты спрашиваешь: нет ли новостей о Печерице? Есть, и большие! Но писать о них считаю преждевременным...

Приветы всем вам от Полевого, Козакевича и меня.

Тебя велел приветствовать Дмитрий Панченко и просил передать, что он убежден в том, что вы с Маремухой и Бобырем оправдаете наши надежды относительно жаток.

С пламенным комсомольским приветом *Коломеец*».

Показываю письмо хлопцам. Бобырь прочел и буркнул нечто неопределенное. Маремуха почесал затылок и сказал:

— Нагрузочка досталась солидная. Купить пять жаток — не пять низок тюльки.

— А что же все-таки с Печерицей? — спохватился я.

— Цапнули его, верно! — сказал, загораясь, Бобырь.— Я же вам говорил, что видел его здесь.

— Здесь видел, а там цапнули? Чудеса! — сказал я, урезонивая Сашу.— Все очень туманно, словом...

— А ты забыл Коломейца? — сказал Маремуха.— Он всегда любил туман пускать где надо и где не надо.

— Но что же делать, а, хлопцы? — спросил я, возвращаясь к поручению Коломейца.

— Идти к директору, что же иначе! — хмыкнул Бобырь, как бы осуждая меня за то, что я сам не могу понять такой простой истины.

— Давайте вместе.

— Сегодня я — пас,— сказал Бобырь.— У меня такая работенка в аэроклубе, что и ночи не хватит.

— А ты, Петро? — спросил я и с мольбой посмотрел на Маремуху.

— Я же тебе говорил, Василь, у нас занятия по техминимуму. Сам начальник цеха проводит. Разве я могу не прийти.

Но к директору я не пошел, а направился сначала за советом к Толе Головацкому.

Разумеется, я отлично помнил совхоз над Днестром, о котором писал мне Коломеец. Помню, каким таинственным он мне показался, когда мы подъехали к нему на нескольких подводах глубокой ночью. Сторожкие высокие тополя окружали усадьбу за белым каменным забором. Где-то в конюшнях лошади хрупали овсом. Из темноты двора возник сторож с берданкой в руке и, прежде чем раскрыть скрипучие ворота, долго допытывался, кто мы такие.

А разве можно позабыть когда-нибудь первый ночлег в том совхозе, в хрустящем сене, с винтовкой, прижатой к груди, под жестяным навесом, перехватывающим звезды? Или утренние купания в быстрой и еще холодной с ночи воде Днестра? Или запах седой мяты возле куста крыжовника, который я разыскал случайно, бродя по запущенному саду?.. А как приятны были для меня поездки за почтой для совхоза в местечко Жванец по воскресным дням!

...Тянется в житах над Днестром пыльная проселочная дорога. Копыта буланого конька мягко утопают в пыли, оставляя позади серые облачка. Я покачиваюсь в скрипучем седле и вижу на другом, бессарабском, берегу окраинные домишки Хотина и развалины древней крепости. Конек прядает ушами и все норовит захватить колосья дозревающего жита.

А еще приятнее возвращение обратно с пачкой свежих газет и журналов. Намотав поводья на руку, в полном безветрии, я разворачиваю «Бедноту», «Рабочую газету», «Молодого ленинца», «Червонного юнака», первые номера «Комсомольской правды» и «Безбожника». Быстро пробегаю названия статей и уже заранее прикидываю, что буду читать вслух сельской молодежи в красном уголке совхоза.

Полевой в то лето поручил мне проводить по воскресеньям громкие читки газет. Сперва я отказывался и даже не представлял, как это я могу, словно учитель какой, рассказывать новости из газет нарядным молодицам и парубкам. Ох, как трудно было провести первую громкую читку! Я не в силах был оторвать глаз от газетного листа и, сделав передых, чтобы спокойно взглянуть на собравшихся, пригладил рукою волосы. А потом все пошло как по маслу! И даже на вопросы стал отвечать.

И меня очень порадовало сейчас известие, что в столь знакомом мне селе возникает молодежная коммуна. Это будет здорово!

Ежедневно веселые молодежные песни будут перелетать в захваченную боярами Бессарабию. Вне всякого сомнения, маленький движок, дающий ток лишь до десяти вечера, коммунары заменят хорошей электростанцией, и, кто знает, быть может, то, что писалось в газете «Беднота» о доении коров с помощью электрической энергии, и впрямь станет явью!

Я представил себе бывший помещичий двухэтажный дом, переданный молодежи, освещенный яркими огнями и звенящий песнями в часы досуга. Сколько молодых бессарабцев переплывет к нам на свет этих огней! Ведь на кого больше можно было надеяться тем подневольным людям, если не на нас! Другой надежды

у них не было — только наше счастье, способное когда-нибудь, подобно пламени быстрого пожара, переброситься и в Бессарабию...

Но хорошо было размышлять так, шагая к Головацкому, и куда труднее было спуститься с небес мечты о будущем в сегодняшний день и выполнить просьбу Коломейца.

Головацкий тоже был заметно озадачен просьбой Никиты.

— Твой друг немного наивен,— сказал Толя, дочитывая письмо.— Думает, что это так просто — взял да и выложил пять жаток! Но, с другой стороны, такая пограничная коммуна — живое дело комсомола. И оставить письмо ваших друзей без ответа нельзя... Знаешь что, давай-ка махнем к директору!

— Разве он сейчас на заводе?

— А мы его дома навестим,— сказал Головацкий.

— Дома? — переспросил я.— А это удобно?

— Отчего же? Мы по общественным делам идем! Иван Федорович не какой-нибудь буржуазный спец, вроде Андрыхевича. Да к тому же он наш партийный прикрепленный. Пойдем, пойдем, нечего стесняться!

Решительный тон Головацкого успокоил меня. Однако я был озадачен, когда мы свернули от проспекта влево.

— Руденко не в центре живет?

— В Матросской слободке. Открытой всем ветрам сразу! Там издавна селились мастеровые завода. А Руденко, как тебе известно, в литейной до революции работал.

— А что, не мог он в центре города поселиться?

— Конечно, мог,— согласился Головацкий,— тем более что директорский дом пустовал тогда, да не захотел. «Зачем, говорит, мне все эти анфилады да прихожие? Мне и трех комнатушек хватит. Да и привольнее там, над морем, как на курорте!» — И Головацкий махнул рукой в сторону побережья, к которому мы приближались.— И Руденко верное решение принял,— продолжал Толя,— взял да и передал дом бывшего заводчика под ночной санаторий для рабочих нашего завода. Пошабашил рабочий со слабым здоровьем — и в этот дом. В одной из прихожих — шкафчики. Робу свою он вешает туда, раздевается — и под душ. Вымылся, а тут в другом шкафчике ему приготовлено чистое бельишко, халат, ночные туфли. Чистота вокруг, пища сытная, распорядок соблюдается строго, спят при открытых окнах и летом и зимой, вечером — культурные развлечения. А утром, по гудку, все из того санатория прямиком на работу.

— А семья у директора велика? — поинтересовался я.

— Он да жена.

— Детей нет?

— Одного сына махновцы зарубили. Другой сын — летчик, комиссар эскадрильи. Сейчас приехал к ним на побывку.

— Погоди, мне Бобырь рассказывал, что летчик Руденко привез в аэроклуб учебный самолет...

— Это и есть сын нашего директора,— пояснил Головацкий.— Отчаянный парень! В прошлом году тоже свой отпуск проводил здесь. На байдарке махнул в Мариуполь. Ты себе представляешь расстояньице? А если бы его шторм подловил у Белореченской косы? Поминай как звали!

И мне стало понятно, почему с таким увлечением рассказывал нам Саша об этом летчике.

— Застанем ли мы Ивана Федоровича? — спросил Головацкий, сворачивая к мостику, переброшенному через канавку.

За каменным заборчиком из песчаника, в яблоневом саду, стоял одноэтажный домик. Мы подошли к его открытому окну. Из дома доносились тихий разговор и звон посуды.

— Никак, обедают? — шепнул Толя и, помедлив, постучал пальцем в оконную раму.— Иван Федорович дома? — спросил он.

Кружевные занавески распахнулись, и мы увидели загорелое лицо нашего директора.

— А, молодежь! Вот кстати! Я давно хотел отругать тебя, Анатолий.

— Меня? За что же? — удивился Головацкий.

— За дело! — сказал директор.— Но давайте сперва к столу.

— Спасибо, Иван Федорович, мы уже отобедали,— сказал Головацкий поспешно.— Вы продолжайте, а мы вас на бережку подождем.

— А вы без стеснений, присаживайтесь! — приглашал Иван Федорович.

— Нет, нет! — запротестовал Толя.— Мы там будем.— И он махнул рукою в сторону моря.

За низенькими, карликовыми яблоньками тянулся пустырь, густо поросший сизо-зеленой морской полынью, бодяком, широколистыми кермеками, якорцами и крапивой. Здесь в изобилии росли молочаи, таволга и даже ветвистая гармала с желтыми цветами. Окруженная этой блеклой степной зеленью, почти у самого берега была вкопана дубовая скамеечка. Должно быть, в шторм ее захлестывало волнами.

Первым на скамеечку уселся Толя и, поворачивая ко мне свое продолговатое, гладко выбритое лицо, спросил печально:

— За что же он ругать меня собирается?

— Может, Иван Федорович пошутил, а ты уже в панику впадаешь! — утешил я Толю.

— Не-не-е-е! Он за что-то сердит.

В эту минуту позади послышались шаги. Почти вприпрыжку по зыбкому песку к нам шагал Иван Федорович. Он вышел в шлепанцах на босу ногу, в синих рабочих брюках, а рукава его сорочки были засучены до локтей, обнажая сильные, загорелые, поросшие седоватыми волосами, мускулистые руки.

— Так ты что же это, друг ситцевый, в заводскую столовую со своими комсомольцами носа не кажешь? — с ходу налетел директор на Головацкого и, присаживаясь около, обнял его за плечо.

Толя воскликнул:

— Иван Федорович!..

— Сам знаю, что Иван Федорович. Шестой десяток так величают. А ты вот вспомни лучше свои клятвы, когда столовую открывали: пока рабочие в перерыв будут кофе пить да чаевничать, мы, дескать, комсомольцы, будем общественную работу проводить — про положение трудящихся в Англии... А что получилось? Захожу вчера — никакой агитации. Прихожу сегодня — изо всех цехов люди, а тишина... Разве можно так обманывать?

— Каюсь... Грешен, Иван Федорович! — сказал Головацкий и, сдернув клетчатую кепку, наклонил голову так, что прядь его каштановой шевелюры коснулась скамейки.— Вы понимаете, отчего это получилось? Мы готовим сейчас обширную программу по борьбе с танцами. И все наши силы брошены на этот участок.

— Танцы — не главное, Толя, а частность. Главное для нас сейчас — производство, индустриализация, сельское хозяйство, освоение культуры. И все силы нашего рабочего класса надо бросить сюда.

— Мы за этим к вам и пришли, Иван Федорович,— поспешно сказал Толя и шепнул мне: — Давай-ка письмо, Василь!

Протянул я письмо Коломейца директору завода, а у самого дыхание зашлось от волнения. Именно сейчас должна решиться судьба нашей просьбы!

Руденко вытащил из кармана брюк стариковские очки в проволочной оправе и, напялив их на острый нос, принялся читать размашистую вязь почерка Никиты. Чем дальше читал, тем добрее становилось выражение его глаз, тронутых кое-где красными прожилками.

— Ладное дело задумали хлопцы,— промолвил он наконец, взмахивая письмом.— В таких вот коммунах можно воспитать вожаков крестьянства. И они поведут за собою массы, когда партия позовет нас на широкое переустройство сельского хозяйства. Но чем я могу помочь этому? — вот вопрос. Мне категорически запрещено самому сбывать продукцию. Я же не магазин по продаже сельскохозяйственных орудий!

— Ну а если в виде исключения? — осторожно спросил Толя.

— Какое может быть исключение, вот смешной! Да меня за такие исключения из партии исключат, а управляющий трестом под суд отдаст. И так ведь недодаем плановую продукцию!

— Ну а если мы сами сделаем жатки? — закинул удочку Толя.

— Кто это «мы»? Вдвоем с ним? — И директор кивнул на меня.

Толя обиделся:

— Конечно, не вдвоем. Вся заводская комсомолия. Молодые литейщики бесплатно в свободное время отольют пять комплектов чугунных деталей, а там дальше их примут, как по эстафете, комсомольцы и молодые рабочие остальных цехов. И увидите, Иван Федорович, жатки не хуже выйдут, чем у старичков. Я сам в томильную к печам стану и отожгу литье на пять с плюсом.

— Отжечь-то ты мастак, это я знаю, а вот откуда я для вас чугун возьму? Ты же знаешь, Толя, чугун-то меня и держит,— как и всю страну, впрочем. Выпускай наши домны чугуна побольше, сколько можно было бы еще таких заводов, как наш, построить! Основа ведь всего будущего — тяжелая индустрия, а она еще не размахнулась как надо — и поджимает нас все время.

— Иван Федорович, родной! А тот металлолом, что мы на комсомольских субботниках собрали? Его же еще не заприходовали?

— Куда там! Давно уже под метелку все пошло.

Я перенесся мыслями на свою родину и представил себе скалистый город у днестровских урочищ. Немало старинных турецких пушек, ядер и другого металлического барахла находили мы в закоулках старинных усадеб под отвесными скалами у берегов Смотрича, под бастионами Старой крепости и на Цыгановке. А сколько всякого металлического лома более поздних времен валялось во дворе воинского присутствия, в бывшем духовном училище, в здании, где помещалась некогда духовная семинария! Одно время все эти металлические части начали было свозить на завод «Мотор», но прекратили эту затею, так как заводской двор не смог вместить весь чугунный хлам. И тут же дерзкая мысль пришла мне в голову.

— А что, если мы достанем вам чугун, товарищ директор? — сказал я решительно.— Вы разрешите нам сделать жатки?

— Если достанете чугун, товарищ литейщик пятого разряда, я охотно пойду вам навстречу,— сказал директор, улыбаясь.

...Через полчаса с главной почты я отправил в родной город Никите Коломейцу такую телеграмму:

«Жатки можем сделать условии присылки нам чугунного лома тчк поднимай спешно городскую комсомолию сбора чугунных частей отправляй нашему заводу тчк крепко жмем руку желаем успеха *Анатолий Головацкий Василий Манджура Александр Бобырь Петр Маремуха*».

ПАМЯТНАЯ ПОЛУЧКА

День получки был приятен всем рабочим литейной. Из расчетных книжек, которые с утра разносил к машинкам цеховой табельщик Коля Закаблук, узнавалось, кто и как поработал последние две недели. И уже с утра, еще до получения заработанных денег, литейщики прикидывали, какие обновки можно будет купить для семьи в магазине, сколько рублей отдать в кассу взаимопомощи, кто был ее должником.

Меня, недавнего фабзавучника, удивляли цифры в моей расчетной книжке. Подумать только! Какой-нибудь месяц работаю я в литейной, а уже меньше семидесяти рублей не зарабатываю. Такая получка казалась мне подлинной роскошью.

В дни получек особенно лихорадило у нас в цехе Кашкета. Уже с утра он был охвачен предвкушением того, как расшвырять свои денежки в пивной, забывая, что опять очнется на рассвете с мелочишкой в карманах и с гудящей от боли головой где-нибудь на сухих водорослях, выброшенных волнами на песчаную отмель.

Вот и сегодня — еще и солнце не взошло, а Кашкет, предчувствуя получку, плясал у своей машинки в красном платочке, затянутом на стриженой голове, и хрипловато напевал:

Надену я черную шляпу,
Поеду я в город Анапу
И сяду на берег морской
Со своей непонятной тоской...

Нынче мы формовали шестереночки. Деталька была капризная: чуть посильнее хлопнул трамбовкой — и треснул зуб, надо вываливать песок из набитой уже

опоки. У этих прихотливых деталей мы с дядей Васей работали молча, редко-редко перебрасываясь словом. Но мой напарник, всем нутром ненавидевший прожигателей жизни и бесполезных трутней, подобных Кашкету, не удержался и буркнул:

— Он-то наденет шляпу. Черта лысого! На простую кепчонку денег не может наскрести, все в бутылку окунает, а тут «черна-а-ая шляпа»!

Перед нами по-прежнему хозяйничал вместе с Гладышевым Турунда. И сейчас, кивнув головой в сторону Кашкета и хитро подмигивая мне, Лука сказал:

— Хорошо поет, а вот как-то сядет?

Промолвив это, Турунда глянул на цеховые ворота: там с помощью курьерши Коля Закаблук подвешивал какой-то щит. Турунда — партийный прикрепленный к нашей молодой комсомольской ячейке литейного цеха — знал, что придумали комсомольцы.

Другие рабочие цеха, видимо, считали, что это вешают новый щит для объявлений, и до поры до времени не обращали на него внимания. Так, наверное, думал и Кашкет, допевая простуженным, осипшим голосом:

...В тебе, о морская пучина,
Погибнет роскошный мужчина,
Который сидел на песке
В своей непонятной тоске...

Останется черная шляпа,
Останется город Анапа,
Останется берег морской
Со своей непонятной тоской.
И всякий увидевший гроб
Поймет, что страдалец утоп.

— Ох и браку же нынче эти страдальцы наколотят! — заметил Гладышев, обдувая из шланга машинку.

Шипящая струя сжатого воздуха коснулась моего лица, приятно его освежая.

— И как это вы у себя на Подолии, Василь, воспитали напарника под стать нашему Кашкету? — бросил на бегу Турунда.— Так, с виду, будто парень и ничего: крепок, плечист. Мы думали первоначально, что он будет над Кашкетом верховодить, а получилось наоборот: он к Кашкету подлаживается и в одну дуду дует.

Я понял, что речь идет о Тикторе, и с сердцем сказал:

— Знаешь, товарищ Турунда, если бы собрать разом все слова, которые мы обращали к Тиктору,— поверь мне, можно было бы любую колонию малолетних правонарушителей перевоспитать.

— Откуда же он такой твердый выискался, что королек? — вмешался Гладышев.

— Какой «королек»? — удивился я такому сравнению.— Это не королек, а настоящая кукушка!

— Королек, брат, не то, что ты думаешь. Это не птичка,— пояснил Гладышев.— Корольками у нас называют капли чугуна, не сварившиеся с телом отливки. И попадает, скажем, к примеру, такой королек в зуб шестеренки. Недоглядели его в обработке, пустили шестерню в дело — и, глядишь, в самый трудный момент целый зуб возьми да и выкрошись от паршивой такой капельки!

— На войне, скажем, в самолете! — поддержал напарника Турунда.— И весь самолет с летчиком бабах вниз!.. Скажи, Василь, а может, он из бывших? Дворянин какой или сын пристава? А может, духовного звания?

— В том-то и штука, что нет,— буркнул я с досадой.— Сын железнодорожника, машиниста... Батька Тиктора честно на паровозе ездил,— добавил я, желая быть справедливым к своему недругу.

Уже в разных концах цеха пламенели, остывая в опоках, литниковые чаши, а выбойщики собирали повсюду скрап, чтобы не попал он в формовочный песок; уже мы с дядей Васей, да и многие соседи наши натирали графитной мазью штыри и штифты на машинках, чтобы предохранить их от ржавчины, когда из конторки вышел Коля Закаблук.

Оговариваюсь: недолюбливал я его вначале, как недолюбливал, впрочем, и других молодых рабочих, стремящихся быть только служащими.

И я был удивлен, узнав, что эта «чернильная душа» — старый комсомолец.

Когда комсомольцы литейного цеха выбрали меня секретарем, я начал поближе знакомиться с каждым из ребят. Знакомился и тут же прикидывал, кому какое поручение дать. Рослый, плечистый выбойщик Гриша Канюк взялся редактировать газету «Молодой энтузиаст». Шура Даниленко, формовщик стержней, ежедневно разносивший их по всему цеху на железных листах, согласился в обеденные перерывы читать у себя в шишельной вслух газеты и журналы. Нашлась работа и для других комсомольцев.

Но что придумать для единственного служащего в ячейке — Коли Закаблука, когда я относился к нему с таким предубеждением? Не только галстук, но и аккуратный пробор в его жестковатых светлых волосах раздражал меня. Позже я понял: как же можно ошибиться в человеке, составляя мнение о нем по внешнему виду!

Разговорились мы с Закаблуком, и оказалось, что этот коренастый паренек с таким количеством веснушек на лице, что они переползали даже на его узкие, поджатые губы, вовсе не врожденный бумагомаратель. Он был занят этим скучным делом по необходимости.

Коля Закаблук стучал на машинках, формуя детали для жаток, с того дня, как завод был пущен в ход Советской властью после разгрома Врангеля. Условия работы в литейной в те послевоенные годы были куда хуже нынешних. Формовали первое время, как и при царизме, без всякой вентиляции. Немудрено, что в кромешной пыли да в чаду Закаблук подхватил чахотку. А питание известно какое тогда было: тюлька да хлеб из дуранды. Голод в Поволжье давал знать себя и в Таврии.

Легче стало Коле Закаблуку и другим болезненным хлопцам лишь после того, как старый литейщик Иван Руденко стал красным директором, а бывший старорежимный инженер Андрыхевич, командовавший заводом после Джона Гриевза, отошел на второй план. На заводе появился собственный амбулаторный пункт, провели вентиляцию, доктора стали периодически осматривать рабочих. Но больше всего, по словам Закаблука, ему помог тот самый ночной санаторий, который открыли по приказу Руденко в доме бывшего заводчика Гриевза. И когда Колю подкормили в том санатории да «заштопали» ему легкие, врачи разрешили ему работать, но пока не у машинки. Так бывший формовщик Коля Закаблук принялся орудовать арифмометром...

В день получки, о которой я веду речь, Коля Закаблук, видя, что заливка близится к концу, вынес из конторки продолговатый ящик с пакетами, в которых были разложены деньги. К этому времени из расчетных книжек, розданных утром, литейщики, формовщики, шишельники уже знали, сколько им причитается получить заработной платы.

Одну за другой обходил Закаблук машинки, перепрыгивая через кучи песка, минуя дымящиеся опоки. Он знал каждого рабочего в лицо и, подходя к его рабочему месту, мигом выдергивал приготовленный для него пакетик.

Формовщик, вытирая руки от прилипшего к ним песка, принимал конверт и расписывался в тетради. Мало кто пересчитывал деньги: всему цеху было ведомо, что Закаблук надежный парень и никого никогда не обсчитает.

Закаблук улыбнулся, показывал мне оба ряда белых мелких зубов, и, задерживаясь на секунду у наших машинок, шепнул:

— Будут скандалить — подсобишь, а, Василь?

— Ясно! — пообещал я.— Но, смотри, сам держись твердо!

Закаблук быстро пошел к соседям.

Вскоре он вынырнул у машинок, подле которых суетились Кашкет и Тиктор. Не задерживаясь подле них, Закаблук быстро прошел мимо, к вагранке.

— Эй, эй, Коленька, не обходи друзей! — зашепелявил Кашкет.— Давай сперва сюда заворачивай со всей своей шарманкой!

Закаблук обернулся на этот крик. Лицо его было напряженно. Блеснув зубами, он сказал громко:

— Прогульщики и бракоделы получают деньги в последнюю очередь!

— Тю! — свистнул от неожиданности Кашкет.— Что за новости?

— А вот такие новости! — отрезал Коля и поспешил к вагранке.

Там его уже ждали горновые в широкополых шляпах.

Кашкет засуетился пуще прежнего, подгоняя своего напарника и обмениваясь с ним короткими и злыми фразами. Они быстренько пошабашили, и Кашкет помчался в контору жаловаться.

Тем временем мы обдули машинки, разложили на полочке гладилки, ланцеты, крючки, душники, ковшик с водой и помазком — все чин по чину, чтобы можно было поутру приступать к формовке без промедления.

Приятно было, как всегда, пошабашив, помыть под краном блестящую лопату, а потом, нагрев ее над малиновым слитком чугуна, медленно обсыпать днище молотой канифолью. Желтоватая канифоль растекалась по днищу лопаты липким глянцевитым сиропом. Запахи сосновой рощи, высоких чешуйчатых деревьев, истекающих смолою в жаркий августовский день, чудились мне и заглушали все другие запахи литейной. Канифоля лопату, я не заметил, как к щиту, прибитому Закаблуком в цехе, быстро подошел Гриша Канюк, он развернул и приколол на щите первый номер нашей газеты «Молодой энтузиаст».

Под броской надписью: «Рекордсмены брака в литейной» — была помещена заметка и нарисовано несколько выстроившихся в ряд фигурок. Полураздетые, как борцы, важно выпячивая увешанные косушками груди, шествовали они в церемониальном марше к одной цели: их влекло к огромной бутыли с черепом на этикетке, наполненной голубоватой жидкостью. Как и следовало ожидать, в числе бракоделов и прогульщиков шли к заветной бутылке чубатый Тиктор и юркий загорелый Кашкет, похожий в своем нелепом красном платочке на испанского пикадора.

А под карикатурой было написано:

«По просьбе всех честных тружеников цеха с нынешнего дня бракоделы, прогульщики и дезорганизаторы производства получают заработную плату в особом порядке».

И в ту же минуту появился со стулом и маленьким раскладным столом Закаблук. Он быстро развернул на столике ведомости и, сев на стул, застыл в ожидании, как в своей конторке. Он готов был немедленно рассчитаться со всеми бракоделами.

Откуда ни возьмись у цеховых дверей появился инженер Андрыхевич. По давней привычке он носил инженерскую фуражку с высокой тульей и с молоточком и разводным ключом на бархатном околыше. Завидя главного инженера, литейщики расступились и дали ему дорогу.

Высокий, костлявый, с сединой на висках, резко оттененной зеленым околышем фуражки, Андрыхевич остановился перед стенновкой, посмотрел на столик и презрительно бросил:

— Что это за выдумки? Позовите мастера!

— Я здесь, Стефан Медардович! — откликнулся Федорко, видимо вызванный сюда кем-то из обиженных прогульщиков.

— Почему вы допустили это? — крикнул на мастера главный инженер.

— Я думал... Я решил, что это по общественной... линии...

— Никаких «общественных линий»! — ядовито, с прищуркой процедил Андрыхевич.— Производство есть производство. Немедленно снять эту мазню!

Много пришлось пережить мне в эти минуты. Сейчас мог провалиться весь план нашего наступления на бракоделов и дезорганизаторов производства. И, набираясь отваги, я быстро шагнул к инженеру.

— Убрать стенную газету мы не позволим! — выкрикнул я срывающимся голосом.

Добрую минуту Андрыхевич разглядывал меня молча, шевеля мохнатыми бровями и, видимо, припоминая нашу первую встречу. А потом, припомнив, решил действовать обходными путями.

— А-а-а! Строитель нового мира! Здравствуйте, любезный! — промолвил он с напускной шутливостью и подал мне морщинистую руку с массивным золотым перстнем.— Теперь разрешите вас спросить, молодой человек, от чьего имени вы протестуете? — продолжал инженер, явно желая меня унизить. — По собственному почину? Или в порядке известного уже мне юношеского противоречия?

— Я возражаю от имени цеховой ячейки комсомола! Стенная газета выпущена нами, и вы не можете ее запрещать.

— Позвольте, голубчик! Но разве комсомольская организация правомочна своевольничать и нарушать трудовую дисциплину? — спросил инженер.

— Кто нарушает трудовую дисциплину? Мы?!

— Это они нарушают трудовую дисциплину — прогульщики, бракоделы, те, что тянут нас назад!

— Потише, потише, юноша! Умерьте ваш пыл! Я еще не оглох, и кричать мне не надо. Тем более пора революционных митингов миновала. Я завел сей разговор вот к чему. Пока я здесь главный инженер. Я приказываю мастеру убрать этот листок. А вы — лицо, не обладающее ни опытом, ни административными полномочиями,— вмешиваетесь в мои действия, повышаете тон, грубите. Как это прикажете понимать? Разве это не нарушение трудовой дисциплины?

Злорадное, уже торжествующее полную победу лицо бракодела Кашкета виднелось рядом, а передо мною ехидно блестели зеленоватые глаза Андрыхевича.

Но я еще не сдался:

— Вопрос о порядке очередности получения заработной платы, Стефан Медардович, согласован с директором завода товарищем Руденко и с нашим заводским комитетом профсоюза. Тот, кто работает лучше всех, получает зарплату в первую очередь. И мне кажется, что главный инженер также должен выполнять волю директора, не противоречить ей.

— Я ничего не знаю о таком согласовании,— буркнул Андрыхевич.— Директор не говорил со мной.

— С вами не говорил, а со всеми членами бюро общезаводского коллектива комсомола говорил. Иван Федорович одобрил все наши меры... а стенгазету — в первую очередь.

— Я это еще выясню! Так легко вам эти фокусы не пройдут! — явно теряясь, хмуро пробурчал Андрыхевич.

Возле меня появился Турунда. Обращаясь к инженеру, он сказал миролюбиво:

— Стефан Медардович, я могу поручиться, что Манджура говорит правду и не собирается вас обманывать. Я заявляю это не от себя лично, а от партийной организации. Мы полагали, что вы нам спасибо скажете, а тут такое разногласие...

— Это мы еще посмотрим! — угрожающе бросил инженер, не дослушав Турунду. Он поправил фуражку с лакированным козырьком и торопливо вышел из цеха.

— Шесть — ноль в нашу пользу, Вася! — выкрикнул Закаблук, как только захлопнулась скрипучая дверь за инженером.

— Слушай, ты, комсомолист! — подойдя к нему вплотную и обдавая водочным перегаром, прошамкал Кашкет.— Чего ты ко мне прилип? Язык у тебя сорочий, охотник ты тарахтеть всякое, только затея твоя ни к чему. Я скорее удавлюсь, чем здесь деньги получу. Несите их мне до машинки!

— Ну и не получай! Кланяться не будем! — поддержал Турунда.— Заводоуправление переведет их тебе в сберкассу.

— У меня нема книжки. Я не такой скопидом, как ты! — злобно кричал Кашкет.

— Вот и обзаведешься заодно книжечкой! А серчать тебе нечего. Кто у нас короли бракоделов? Разве не ты со своим напарником? — в упор выстрелил в Кашкета Турунда, поблескивая быстрыми глазами.— Ребята дело здесь пишут. Раз тебя на брак тянет — имей и очередь особую... А то выкатывайся из цеха на море — волокушу тягать. Авось там подфартит больше!

— Да что же это такое, а, братва? Зажимают рабочий класс, а вы молчите? — завопил Кашкет, ища поддержки у смеющихся литейщиков.

Но ни у кого он сочувствия не встретил. Понемногу все стали расходиться.

И тут неожиданно столик с ведомостями закрыла чья-то спина: у Закаблука получал деньги пожилой вагранщик Чучвара. Незадолго до получки он прогулял целый рабочий день на свадьбе у кума, в Матросской слободке. Музыка грохотала на той свадьбе так, что на косе было слышно, а Чучвара на следующий день ходил

сонный. Теперь он решил, не делая шума, взять получку да убраться побыстрее с людских глаз, без лишнего позора.

— Почин есть! — громко сказал Коля Закаблук.— Кто следующий? Прошу поспешить.

И только теперь, впервые после шабаша, услышал я голос Тиктора. Молчаливый доселе и какой-то приунывший, Тиктор дернул Кашкета за руку и сказал:

— Нечего кобениться! Брак был? Был! С обеда прогулял на трех роликах? Прогулял! Получай деньгу — и уходи!..

Цех опустел сразу, как только Кашкет со своим напарником, проявившим на сей раз благоразумие, получил заработную плату. Мы шли к проходной вместе с Турундой и Закаблуком, и, помнится, Лука бросил невзначай:

— Глянь-ка, Василь! А ваш-то подолянин присмирел, увидя себя в такой компании. Подействовало! Не такой он отпетый.

Лука был прав. Я-то думал, что как раз Тиктор начнет бузить больше всех, завидя свой портрет в газете. Случилось обратное, и к лучшему.

Взволнованный схваткой с Андрыхевичем, шагал я вместе с товарищами к заводским воротам и думал: «Теперь «папуленька» проработает меня, раба божьего, за обедом! «Такой-сякой,— скажет он доченьке,— чумазый твой поклонник! Поперек дороги мне стал. А мы его, шельмеца, пивом поили да осетриной угощали!» И конечно же, Анжелика станет нос воротить при встрече со мною. Ну и пусть! Ради ее прихотей принципы менять, что ли? Моя дороженька совсем иная: с Турундой, Головацким, Науменко и со всеми моими новыми друзьями в этом городе».

Согретый этими мыслями, я, крепко взяв Турунду под локоть, сказал:

— Почин сделали, Лука Романович! То-то разговоров будет в литейной!.. А сколько боев нас еще ожидает!

— Большое дело делаем, Василь,— серьезным голосом ответил Турунда.— Политика — это бои миллионов,— сказывали мне в рабочем университете. Одиночки в этой борьбе всегда проигрывают. А ведь нас миллионы!

ЗАПИСКА ПОД КАМНЕМ

Спустя два дня после появления в нашем цехе стенной газеты с заметкой о прогульщиках Маремуха, уходя после меня на работу, увидел на дорожке, ведущей к нашей калитке, придавленный тяжелым булыжником белый конверт.

Содержание письма заслуживает того, чтобы привести его полностью:

«Слушай, ты, хохол голопупый! Больно задирист стал сразу. Не ведаешь того, что батько Махно скоро-скоро прибудет со своей ватагой в родные края. Перебьем мы тогда крылышки всем партейным и комсомолистам. Так что сиди потише, а то еще лучше — убирайся, пока ноги целы, с попутным ветерком в свою Подолию, откуда тебя черти принесли. И пикни, гляди, кому об этом письме — пощады не жди. Враз хавку закроем!»

А вместо подписи — оскаленный череп и под ним перекрещенные две кости.

Когда мы вернулись с завода, Маремуха протянул мне конверт с этим письмом и сказал взволнованно:

— Гады, угрожают! Читай, Василь!

Пробежал я наспех это послание, написанное неровными буквами и, по всей видимости, левой рукой, и рассмеялся.

— Что за глупый смех, не понимаю! — буркнул Саша. Он, как деревенская бабка пряжу, наматывал на спинку двух стульев длинные и тонкие резинки для своего аэроклуба.

Я поглядел испытующе на одного, потом на другого и сказал:

— Вы меня, хлопцы, не разыгрываете?

Петр возмутился:

— Видал Фому неверующего! Он думает, что это мы ему от имени махновцев письмо послали! — И тут же Петро рассказал мне, как обнаружил конверт, прижатый камнем.

Доводы Петьки убедили меня. Да и в самом деле: разве пристало комсомольцам шутить так, подделываясь под врагов Советской власти?

— Кто же это написал, а, Василь? — наивно осведомился Маремуха.— Не из литейной ли кто?

— Ясно, из литейной. Кто-то из прогульщиков. Мы им на хвост наступили, а они теперь запугивают,— согласился я.

Бобырь полушепотом посоветовал:

— Раз ты уверен, что это Кашкет,— беги в ГПУ и заяви. Дело это политическое!

— Если бы я знал точно... Не пойман — не вор. Он отвертится, а я окажусь в глупом положении. Еще и на смех подымут!

Саша сказал очень уверенно:

— Ничего, ничего! Там разберут. Там умные люди сидят и до всего докопаются. По одному почерку всюду человека найдут.

— Василь, послушай, Саша говорит дело,— опять вступил в разговор Маремуха.— Письмецо это покажи кому надо. Там примут меры. Ведь это вылазка врага!

До позднего вечера мы обсуждали проклятое это письмо, заполнившее все наши мысли, и ни о чем другом не говорили. Мы пришли к общему выводу, что не от хорошей жизни, не от силы, а, скорее всего, от слабости прибегают наши враги к таким подлым письмам.

Еще совсем недавно я очень обижался, когда меня считали мальчишкой. Как хотелось побыстрее перескочить юношеские годы, сделаться взрослым, таким, как Турунда или хотя бы Головацкий! Однако обидное прилагательное «голопупый», намекавшее на мои молодые годы, задело меня сегодня не столько, как оскорбительная и противная кличка «хохол».

...Бобырь и Петро уже давно не подавали голоса. Саша посапывал все больше и больше. Желтоватый месяц, похожий на ломоть тонко отрезанной тыквы, заглядывал в распахнутое окно. В городском сквере по случаю субботы все еще шумели гуляющие. С востока потянуло бризом, и заодно с легким дуновением ветерка я услышал звонкий стук щеколды. Заскрипел гравий под ногами человека, быстро идущего от калитки к нашему домику. Кто бы это мог быть? Хозяйка давно уже спала. Соседи в столь поздний час редко ее тревожили. Из окна я окликнул идущего.

— Телеграмма! Василию Манджуре,— отозвался тот снизу.

Опрометью бросился я по лестнице. И пока расписывался у почтальона и взбегал обратно в мезонин, разбуженные суматохой хлопцы зажгли свет. Сонные, в одних трусиках, стояли они, поджидая меня, и лица их выражали нетерпение.

При свете лампы прочел я станцию отправления: «Синельниково». Что за чепуха! В Синельникове у меня решительно никого не было. А возможно, это мой батька решил проведать меня и едет из своих Черкасс в отпуск к морю?

— Да раскрывай ее скорее! Не мучай! — простонал Саша.

Внимая его совету, я разорвал синенькую заклеечку, и жесткая телеграмма с наклеенными ленточками букв раскрылась перед глазами, как маленькая географическая карта.

Печатные буквы запрыгали перед глазами. Их сочетание поразило меня своей неожиданностью, и я завопил:

— Хлопцы! Никита сюда едет!

— Никита едет к нам? Ты шутишь! Тут какая-то ошибка! — выкрикнул Маремуха, приподнявшись на цыпочки и через мое плечо заглядывая в телеграмму.

— Какая ошибка? Слушай! — И я прочел раздельно: — «Завтра полудню прибываю товарняком встречайте подготовьте немедленно прием груза тчк *Коломеец*».

— Как жаль, что я не смогу его встретить!

— С ума спятил? — набросился я на Бобыря.— Ты что?.. Не пойдешь встречать Никиту?

Бобырь жалобно протянул:

— Не смогу, Вася. Важное дело есть!

— Какие могут быть важные дела в воскресенье? — принимая мою сторону, сказал Маремуха.

Но Саша не сдавался и многозначительно заявил:

— Такие. Важные. Но пока они — тайна!

— Своего секретаря, Никиту, и не пойдешь встретить? Да он нам чугун везет, баламут ты этакий!.. Обязан быть на вокзале! В порядке комсомольской дисциплины. Понятно? — тоном приказа сказал Маремуха Сашке.

— А я не могу! — упрямо твердил Бобырь.— Как раз на полдень у меня такое назначено...

И ничто не помогло. Как мы ни укоряли Сашу, как ни стыдили его, что он встречу старого друга и воспитателя меняет на какое-то свидание, Бобырь оказался непреклонен и не поддался на уговоры.

На следующий день, прихватив с собою Головацкого, мы с Петром пришли на вокзал. Пассажирский из Екатеринослава пришел еще утром. Пустой зеленый состав давно угнали на запасный путь. Весовщики, стрелочники, буфетчик — все укрылись от полуденного зноя в прохладных комнатах вокзала, который еще не так давно был для нас, фабзавучников, новым и чужим. А сегодня приморская тупиковая эта станция с раскаленными от солнца, поблескивающими рельсами казалась родной и знакомой чуть ли не с самого детства. Как быстро можно освоиться в новом городе, если встретишь на своем пути хороших людей! Даже веснушчатый моложавый дежурный по вокзалу, похожий в своей красной фуражке на гриб мухомор, воспринимался мною, как давно знакомый.

Вдали, у выходных стрелок, щелкнул, поднимаясь кверху, щиток семафора, и тонко загудели стальные тросы в ящике, проложенном вдоль путей. Мы услышали далекий гудок паровоза. «Каков-то сейчас Никита? Станет ли он по-прежнему беседовать с нами как старший или будет уже считать нас равными?» — думал я, напряженно следя за увеличивающимся клубочком паровозного дыма.

Товарный эшелон, влекомый тяжелым паровозом, летел из степей Таврии навстречу морским просторам. И вот, наконец, обдавая и без того накаленный солнцем перрон облаками горячего пара, паровоз промчался перед вокзалом — черный, маслянистый, лоснящийся от смазки и лака, пахучий и громоздкий, с молодым чумазым машинистом, выглядывающим из квадратного окошечка.

Коричневые платформы со строительным лесом, с ящиками неизвестного груза, засыпанные поташом и углем, мелькали перед нами, и я думал, что конца-краю им не будет. Но вот на одной из платформ показалась фигура в соломенном капелюхе, не похожая на тех проводников, что нет-нет да и приветствовали нас флажками из тамбуров. Прошла секунда, другая, и мы узнали Коломейца. Одетый в синий комбинезон, он стоял на каком-то огромном станке.

Только наши взгляды встретились — Коломеец сорвал с головы капелюх и замахал им, приветствуя нас. Удивительно черный, сухощавый, с распущенными по ветру волосами, он что-то кричал, но стук вагонных колес глушил его слова. Не успел еще поезд замедлить ход, как Никита ловко спрыгнул на перрон.

— Здoрóво, хлопцы! — выкрикнул он.

Вначале Никита просто пожал мне руку, затем, поколебавшись мгновение, крепко обнял меня и расцеловал в обе щеки. От него пахло степными просторами, полынной горечью, таволгой и чебрецом. И с Маремухой он расцеловался. Тогда я представил Никите Головацкого.

Коломеец, весело глядя на Толю, жал ему руку:

— Слышал, как же! Василь писал мне о тебе. Спасибо за то, что приютили наших воспитанников... А вот жатки-то будут?

— А чугун будет? — также улыбаясь в ответ, спросил Толя.

Коломеец обернулся лицом к эшелону и показал рукой на прицепленные к хвосту его три нагруженные платформы.

— Неужто не хватит? — сказал он не без гордости.

— Еще и останется! — определил Толя.— Но, я вижу, не дошли еще до ваших краев слова Феликса Эдмундовича: «С металлом обращаться, как с золотом». Целые залежи, видно, его у вас. А я, признаться, думал, что Василь маленько преувеличивает.

— До вашей телеграммы нам как-то в голову не приходило подобрать весь этот лом,— оправдывался Никита.— Спасибо, надоумили!

— И как вы все это быстро собрали! — удивился Петро.

— Надо быстро. Урожай не ждет. Ночью, при факелах собирали. Теперь вся надежда на вас!

— А что это за штука, Никита? — спросил я, показывая на разбитую чугунную станину, с виду напоминавшую основание огромного стола.

— Это, брат, не «штука», а машина для печатания денег!

— Не та ли, что в духовной семинарии стояла? — вспомнил я.

— Она самая! — подтвердил Никита и, обращаясь к одному только Головацкому, объяснил: — Видишь ли, в нашем городе задержалась однажды петлюровская директория. И вот немцы прислали тогда Петлюре из Берлина эту машину для печатания денег. Петлюра столько гривен и карбованцев на ней напечатал, что и до сего дня дядьки в селах ими светлицы вместо обоев оклеивают. Стояла потом эта поломанная машина в подвале сельскохозяйственного института. Получили мы телеграмму Василия — и давай по всем подвалам рыскать, металл собирать. А комсомольцы-студенты ее обнаружили за штабелями дров. Подойдет?..

Головацкий медленно, отчеканивая каждое слово, сказал:

— А не жалко такую махину на лом брать? Нельзя ли ее для какой-нибудь типографии приспособить?

— Думали. Прикидывали. Артель «напрасный труд»! — бросил Никита. — Немецкие инструктора как дали тягу с Петлюрой за Збруч, так с собою все ценные части захватили, а станину эту подорвали. Вся она трещинами изошла. Новую легче сделать, чем ее чинить.

Я глядел на громоздкую станину, водруженную посредине платформы и притянутую к ее бортам канатами. Вспомнился мне далекий год гражданской войны, когда в городе, захваченном петлюровцами, прошел слух, что в духовной семинарии будут печатать новые деньги. Живо вспомнилось мне, как силком хотели петлюровцы и моего батьку, печатника, заставить под охраной гайдамаков печатать их размалеванные бумажки с трезубцами, скрепленные подписью главного петлюровского казначея, какого-то Лебедя-Юрчика. Отец закричал: «Я печатник, а не фальшивомонетчик!» — и был таков. Он ушел тогда в Нагоряны, к партизанам.

И вот снова проклятая машина, от которой убегал в те годы из города отец, встретилась на моем пути, но теперь она годилась только в переплавку.

Головацкий сразу же пошел к дежурному по станции и попросил его отцепить платформы с чугуном.

— Вы, друзья, ведите гостя домой. Он проголодался небось. Да и помыться ему не вредно,— сказал Толя, принимая от Коломейца накладные.— А я уж тут все сам протолкну!

— Да, помыться бы не вредно,— заметил Никита и погладил себя по загорелой щеке.

— Неужели ты на открытой платформе всю дорогу ехал? — спросил Маремуха, когда мы вышли на вокзальную площадь.

Лихо тряхнув шевелюрой, Коломеец сказал:

— Знатно ехал! Как бродяга у Джека Лондона! С той лишь разницей, что никто не сгонял меня с поезда. Ночью, на больших перегонах, проводники ко мне собирались, как в клуб.

Не без зависти я спросил:

— Весело ехалось?

— И не говори! Дом отдыха на колесах. Как солнце поднялось — спецовку срываю и давай загорать. Ветерком тебя провевает, а по сторонам пролетают полустанки, села, речки, поля, вся Украина!.. До чего ж богатая наша страна! Мы вечером к Екатеринославу подъезжали, так зарево над заводами во все небо! Вот индустрия — даже дух захватывает! Словом, замечательная поездка у меня была. Подобного удовольствия я еще в жизни не испытывал!

— Никита, а что же все-таки с Печерицей? — встрепенулся Маремуха.

— С Печерицей?..— Коломеец сразу сделал загадочное лицо.— Это, брат, длинный разговор. И ночи не хватит, чтобы все вам поведать.

В эту минуту на Кобазовой горе послышался какой-то нарастающий треск. Он все усиливался, перерастая в гул. Обратив взгляды в ту сторону, мы увидели, как с края горы внезапно сорвался и поплыл над городом небольшой аэроплан.

Аэроплан накренился, забирая еще круче, к морю, и мы увидели на небольшой высоте не только широкоплечего пилота в очках и кожаном шлеме, но и сидящего за ним позади второго человека — худенького, вихрастого и удивительно знакомого. Струя воздуха, бьющая от пропеллера, забрасывала назад и трепала его светлые волосы. Пассажир махал нам рукой, и Маремуха вдруг взвизгнул:

— Хлопцы, да это Бобырь! Верное слово, это он!

И, путаясь, сбиваясь, но не сводя глаз с самолета, Маремуха быстро рассказал нам, что вот уже две недели четверо комсомольцев из ремонтно-инструментального цеха что-то колдовали вместе с комиссаром Руденко возле учебного самолета, привезенного из подшефной эскадрильи. Все теперь становилось ясным: и частые исчезновения Саши по вечерам, и его таинственный отказ встречать Коломейца. Не будучи уверены в успехе, не зная, удастся ли им отремонтировать самолет, заговорщики из аэроклуба до последней минуты скрывали свой первый полет. Как же только они сумели перетащить тайком самолет из аэроклуба на Кобазову гору?

Между тем самолет удалялся в открытое море. Он был уже над волнорезом. Я следил за его полетом жадными глазами и — что там говорить! — завидовал Саше. Очень хотелось быть сейчас в его кабине и с неба рассматривать наш городок, раскинувшийся на песчаном мысу. За минуту-другую Саша промчался над городом, а мы все шли и шли по проспекту и не добрались еще даже до центра. А тут еще Коломеец разжег мою зависть:

— Неужели это Александр?

— Ну конечно он! — крикнул Маремуха.— Он как-то хвастался: «Я бортмеханик!» А я ему: «Какой ты бортмеханик, если ни разу не летал!» А он: «Увидишь — полечу!» И полетел! Смотрите, смотрите — к маяку повернули...

— Смелый, значит, парняга Бобырь. Выходит, не такой уж он трусливый был, каким мы его считали после злополучного дежурства у штаба ЧОНа. Чтобы так летать, нужны крепкие нервы и ясная голова. А он еще рукой машет, словно с крыши. Ничего не скажешь — обставил вас Саша! — сказал Коломеец.

Самолет уходил в синеву неба и был похож на большую стрекозу, нечаянно залетевшую в соленое море.

— На косе сядут, я вам говорю! — предсказал Маремуха.

И впрямь самолет пошел над косой, но повернул обратно к городу, миновал курорт и, сделав круг над вокзалом, приветственно помахал крыльями.

— Да он с тобою здоровается, слышишь, Никита! — восторженно сказал я.— Думает, что ты еще на вокзале, возле того эшелона.

— Возможно, возможно...— взволнованно соглашался Коломеец, провожая взглядом самолет, взявший теперь курс обратно на Кобазову гору. Через секунду он скрылся за гребнем горы.

Пока наш гость медленно и неторопливо отмывал в море жесткую от дорожной пылищи шевелюру, мы с Петром делали в воде такие курбеты и прыжки, на какие способен лишь человек, до краев наполненный радостью. Я плотно сложил ладони и обстреливал Петруся каскадами водяных брызг. Он отфыркивался, глотая воду, пытался отбиваться, но безуспешно. Потом мы отплывали подальше, где вода была не так взбаламучена, и с разгона ныряли. Под водой я открывал глаза и видел сквозь зеленоватую толщу песчаные складки дна, ржавый обломок рыбачьего якоря, пучки водорослей, похожие на подводное перекати-поле.

Славно было купаться, сознавая, что рядом полощется давнишний друг Никита Коломеец.

Саша ворвался в комнату, когда мы, умытые и посвежевшие, ели втроем холодную окрошку с огурцами, приготовленную хозяйкой на ледяном и крепком хлебном квасе. Румяный от волнения, с лицом, забрызганным каплями масла, с грязными руками, Бобырь поздоровался с Коломейцем так, будто только вчера с ним расстался, и сразу спросил:

— Видал, как мы летали?

— Видал, видал, Сашок, и, признаться, не поверил сперва, что ты на такое способен! — подмигивая нам, ответил Никита.

Бобырь рассердился:

— Что? Не способен? Да мы проверим мотор как следует и в Ногайск махнем или в Геническ. В агитационный полет. Сам Руденко говорил. А я за бортмеханика. Да, да... Никому из хлопцев Руденко не доверил сборку мотора, один я с ним работал...

— Поздравляю, Сашенька, и верю, что не только до Ногайска суждено тебе летать. Раз взлетел — забирай выше и не останавливайся! — сказал Коломеец.

РАДОСТНАЯ НОЧЬ

Чугун, собранный подольскими комсомольцами, сгрузили.

Еще солнце стояло в небе, а уже мы, отобедав и немного отдохнув, собрались у копра и по указанию копрового машиниста принялись подтаскивать к решетке обломки старых дорожных машин, замасленные станины каких-то никому не ведомых станков прошлого столетия и даже ржавый, изломанный пресс для изготовления мацы. Его, сказал Коломеец, разыскали во дворе старинной синагоги комсомольцы-печатники.

Больше всего довелось нам потрудиться, пока затолкали за ограду копра чугунное основание печатной машины. Мы, обливаясь потом, напрягались изо всех сил. Даже старые вагранщики вышли помочь нам. Наконец машинист закрыл двери ограды, и мы отбежали в сторону.

Тогда Толя Головацкий включил рубильник лебедки. Трос, повизгивая, потянул кверху грузную металлическую бабку. Вот она задержалась в вышине, под блоком копра, ясно заметная на розовеющей голубизне предвечернего неба. Толя нажал рычаг, и освобожденная бабка, рассекая воздух, понеслась вниз. Несколько раз пришлось гнать вверх эту тяжелую металлическую грушу и бомбардировать ею чугунные опоры до того момента, пока станина, задребезжав и крякнув, не разломалась на части.

— Добро! — вскричал Толя, отрываясь от рычага лебедки, и с удовольствием потер замасленные руки.

Самое тяжелое было сделано.

Вскоре, зайдя в огороженный квадратик двора под копром, мы обнаружили на месте машины груду чугунных обломков. Крупнозернистый, славный чугун поблескивал в изломах. Головацкий поднял обеими руками обломок станины на уровень глаз, поглядел в неровную поверхность излома, как в зеркало, и сказал Никите:

— Ладный чугун! Мелкий. Графита немного, зато фосфора и кремния вдоволь. Такой чугун плавиться будет, как масло, а детали из него много лет послужат!

И, пробуя силу своих мускулов, Толя выжал правой рукой обломок станины. Он вовсе не был похож сейчас на того опрятного секретаря, который так насторожил меня своим внешним видом при первом нашем знакомстве.

Чтобы, не ровен час, комсомольский чугун не спутали с общецеховыми запасами, Закаблук соорудил особую загородку: вбитые в землю колышки обтянул веревкой. Мы снесли в эту загородку тяжелые чугунные обломки, и, когда все содержимое трех платформ было готово к забросу в пасти вагранок, Закаблук привесил на веревке табличку с надписью: «Чугун для молодежного субботника».

Я уже видел воочию: блестят и перекатываются над быстрым Днестром золотистые волны жесткой пшеницы. И, словно корабли, по этому желтеющему морю проплывают в пшеничных полях, стрекоча ножами, жатки, сделанные нашими руками.

Турунда заменял секретаря партийной ячейки литейного цеха Флегонтова, посланного дирекцией завода в производственную командировку в Ленинград. Изо дня в день советовался я с Лукой Романовичем, как лучше нацеливать нашу молодежь на производственные задачи, чтобы в мелочах и в больших делах была она надежной помощницей партии.

Лиха беда начало. Спустя неделю после того дня, когда я поспорил с инженером Андрыхевичем, в цехе появился второй номер молодежной газеты. Выбойщик Гриша Канюк потрудился на славу.

Высокий, плечистый парняга в кожаном фартуке и защитных очках стоял у кранового разливочного ковша и поворачивал его штурвал. Из носика ковша лилась струя расплавленного металла и писала букву за буквой, из которых составлялось название: «Молодой энтузиаст». Огненное это название сразу привлекало взгляды молодых и старых рабочих цеха.

Все заметки аккуратно отпечатал на машинке в заводоуправлении Коля Закаблук. Он был и автором двух из них.

В статье, посвященной режиму экономии, наш молчаливый табельщик хозяйским глазом прошелся по литейному цеху.

Ни цеховые кладовщики, ни Федорко, ни главный инженер завода Андрыхевич, писал Коля, еще не восприняли сердцем призывы партии бороться за режим экономии. «Подумал ли главный инженер, сколько свободной площади гуляет вблизи недостроенного мартена? А ведь стоит очистить запущенный плац от песка и скрапа — будет где установить формовочные машинки, больше года ждущие ремонта в кладовой литейного... А сколько набоек со сбитыми деревянными клинышками валяется на стеллажах! Меж тем всякий раз, когда недостает набоек, мастер Федорко шлет все новые и новые заказы в ремонтно-инструментальный цех. Инструментальщики расходуют дорогой металл, изготовляя для нас новые набойки. А не проще ли было бы насадить на старые железные рукоятки новые клинья и этим ограничиться?»

Подобных убедительных примеров Закаблук отыскал множество. Он без обиняков, прямо обвинял администрацию в неэкономном расходовании графита, сульфитного щелока и патоки в шишельной. И он не только выискивал недостатки, а призывал рабочих бороться за каждую каплю чугуна, за каждую горсть жирного гатчинского песка, привозимого к нам издалека, за всякую надтреснутую опоку, которую при желании можно связать заклепками и пустить в ход без переплавки.

В заметке «Мягкосердечие мастера Федорко» Закаблук протирал с наждачком Алексея Григорьевича за его примиренческое отношение к шкурникам и бракоделам. Коля резал правду-матку в глаза. Он писал, что достаточно какому-нибудь бракоделу пригласить мастера к себе на свадьбу или позвать его на крестины кумом, как Федорко готов смотреть сквозь пальцы на все проделки. «Если эти разгильдяи не захотят исправиться,— предупреждал Закаблук,— надо мастеру немедленно очистить от них литейную».

Свою заметку я подписал «Василь Киянка». Мне по сердцу пришлось это слово еще в фабзавуче. Киянкой обычно плацовые формовщики расталкивают модели, перед тем как осторожно извлечь их из песчаных форм. Так и я хотел своей заметкой растолкать ленивых и успокоившихся людей, от которых зависело развитие цеха.

Василь Киянка высказывал в газете «Молодой энтузиаст» давно мучившую его мысль: он предлагал упразднить кустарный подогрев машинок и вызванную им излишнюю беготню по цеху за плитками.

Нам помогло подробное письмо, которое прислал Турунде из Ленинграда секретарь партийной ячейки Флегонтов. Впечатления Флегонтова мы опубликовали в газете.

Он рассказывал о рационализации в литейной завода «Большевик», о набивке форм сжатым воздухом, о точном разделении обязанностей между литейщиками и формовщиками. «А почему бы все это не применить у нас?» — спрашивала редколлегия «Молодого энтузиаста».

Флегонтов формовал у нас колеса для жатвенных машин. Среднего роста, приземистый, седоватый человек лет пятидесяти, он выполнял очень тонкую и кропотливую работу. Слишком медленными и осторожными показались сперва мне движения Флегонтова, когда я вначале следил за его плотной фигурой в холщовой робе и в казенных желтоватых ботинках. Очень уж подолгу возился он подле каждого раскрытого колеса, примачивал края формы внимательно и нежно, заглядывал с помощью зеркальца в узкие пазы будущего обода, проверяя, нет ли там мусора. В то время как мы на «пулеметах» набивали без оглядки опоку за опокой, устанавливая их добрый десяток на мягкую песчаную постель, Флегонтов со своим напарником успевал снять талями и соединить друг с дружкой всего

лишь две половинки одной формы. Как-то раз я высказал Турунде свое мнение по поводу медлительного Флегонтова, на что он ответил мне:

— Больно прыток ты в своих оценках! Там, голубчик, не побегаешь. Колеса да корпуса — самые трудоемкие детали. Не случайно их формуют рабочие самых высоких разрядов. Почему, спрашивается? Да очень просто! Ты запорешь в горячке пяток шестеренок — досадно, но поправимо. А представь себе, что плохо заформовано такое колесо. Подумать страшно, сколько чугуна в брак пойдет, на переплавку!.. А Флегонтов — он большой мастер!

...Письмо партсекретаря в нашей молодежной газете с большим интересом было прочитано пожилыми рабочими, да и весь номер произвел сильное впечатление.

...В ту ночь, когда молодежь литейной решила выйти на работу не с четырех, а с часу, чтобы задолго до прихода всех рабочих успеть не спеша заформовать комплект деталей для производства жаток, посылаемых в коммуну над Днестром, я волновался страшно: «А вдруг мы, молодые формовщики, не справимся с этими трудоемкими и опасными деталями? А ведь на них покоится вся жатвенная машина!» Но тревожить просьбами старших нам не хотелось. «Справимся собственными силами»,— подбадривали мы себя.

Не успели мы приступить к работе, как со двора в цех вошли Турунда с Гладышевым, а затем по одному потянулись «старички» — кадровые рабочие, давно уже вышедшие из комсомольского возраста.

— Здравствуйте, Лука Романович! — воскликнул я, останавливая Турунду.— Мы хотели было на ваших машинках поработать. А как же сейчас?

Лука Романович усмехнулся и сказал:

— Рано ты в старики нас записать хочешь! Да мы же подсоблять вам пришли. Общее дело — одна забота. Не так ли?

Будто чугунная чушка спала у меня с плеч. Спасибо Турунде! Все будет хорошо. Сейчас можно было уже не сомневаться в том, что все чугунные части жаток будут отформованы и залиты как следует.

Начали ровно в час.

Зашипел повсюду у машинок сжатый воздух, заалели раскаленные плитки под моделями. Острия лопат врезались в песчаные кучи, и оттуда повалил густой пар.

Заранее мы договорились, что со мною на пару станет формовать шестеренки Коля Закаблук. И по тому, как, не глядя, он закрутил винты, прижавшие опоку к чугунной рамке, я убедился лишний раз, что формовка ему знакома издавна.

Не успел Коля набить и первую опоку, как мы услышали ворчливый голос Науменко:

— Эй-эй, молодой! Не занимай чужого места. Надорвешься — и опять заболеешь. Без тебя управимся!

С этими словами Науменко отстранил Колю от машинки и, проверив, надежно ли закреплена опока, с размаху опустил в дымящуюся песчаную кашицу острый клинышек набойки.

— Ничего, Коля, не тужи! — успокоил я моего неудачливого напарника.— Мы с дядей Васей поформуем, а ты погуляй. Или знаешь что? Покажи-ка лучше Коломейцу, как песок пересеивать. Или вот что: подносите-ка к машинкам плитки, чтобы мы не отрывались от формовки. Времени-то в обрез!

Никита тоже не остался в стороне. Разве мог он, с его беспокойной натурой, спокойно спать в эту ночь, зная, что молодые литейщики начали делать жатки для приднестровской коммуны?

Далеко над Днестром колосились и тянулись ввысь густые серебристые овсы, сизоватая рожь, пшеница, ячмень. Приближался день сбора урожая. Нельзя было терять ни минуты!

Для нашего подольского гостя Никиты я получил у Федорко временный пропуск. Коломеец дал согласие выполнять любую работу, какая будет ему под силу. Так и стал он гонять из цеха к пылающим камелькам наперегонки с Закаблуком и возвращался оттуда, держа в клещах искрящиеся плитки для подогрева.

Маремуха поднимал молодежь у себя в столярной, чтобы сверхурочно и бесплатно сделать деревянные части машины. Саша Бобырь в эту ночь тоже пришел со мною в литейную, чтобы оказать первую слесарную помощь в случае поломки.

А дядя Вася, я чувствовал это, был крепко недоволен чем-то. Он все ворчал себе под нос и почему-то вздыхал, а потом не вытерпел и сказал мне:

— Ах ты, обида какая! Опоздал немного. А все из-за старухи! Говорил ей: буди в полночь. А она сама проспала. Я глядь на часы — полпервого. И в порту первую склянку пробили. Пока лицо ополоснул, пока оделся, а вы уже и застучали!..

— Ничего, дядя Вася! И так управимся до начала работы,— утешил я старика.

— Не в том суть, что управимся. Дело-то общественное! А для общественного дела и подавно опаздывать стыдно. Я не Кашкет, у меня волчьей думки никогда не было. Я со всеми сообща жить хочу.

Никогда так радостно не работалось, как в эту ночь! Чего там греха таить — в обычные дни нет-нет да и подсчитаешь в уме, сколько заработаешь, и, если к шабашу обычная норма перекрыта, идешь домой веселый. Нынешней же ночью мы работали для общественного дела. Усилия наши были радостными, легкими, одна рука обгоняла другую, и ноги сами мчались на плац.

Спустя три дня мы зашли вместе с Никитой и Головацким в малярный цех. Запахи олифы и скипидара встретили нас еще в тамбуре. Много новеньких жатвенных машин стояло в просторном цехе и дожидалось отправки.

В свете полуденных лучей мы быстро опознали наши пять жаток. Да и немудрено было отыскать их среди сотен других машин: на борту ладьи каждой жатки, сделанной для приднестровской коммуны, красовался значок Коммунистического Интернационала Молодежи. А немножко поодаль, под фабричной маркой, молодые маляры ловко вывели две строки из любимой нами, очень распространенной песни тех времен:

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка!..

И под словами этой песни, звучащими как лозунг, более мелкими буквами было выведено: «Комсомольской коммуне имени Ильича от рабочих Первомайского машиностроительного завода имени Петра Шмидта».

Транспортный отдел завода обещал отправить коммунарам жатки с первым товарным эшелоном, после полуночи.

ГДЕ ПЕЧЕРИЦА?

После осмотра жаток, готовых к погрузке, я предложил друзьям и нашему гостю сходить на косу. Давно мы собирались пойти туда сами, а нынче и предлог был хороший. Вечер выдался погожий, с легоньким ветерком, дующим из степи в открытое море.

Все эти дни, наполненные тревогами, пока в заводских цехах обрабатывали отлитые нами детали, море штормовало. Сегодня уже на рассвете волнение стихло, и нам удалось без особого труда получить на причале ОСНАВа легкий беленький тузик.

Маремуха с Никитой сели загребными, а я взялся за румпель. Один Саша вначале бездельничал и, сняв тапочки, сидел, свесив ноги с форштевня.

Меняясь по очереди на длинных ясеневых веслах, спустя час мы уткнулись в песчаную отмель косы между курортом и маяком.

Привольно и безлюдно было тут. С обеих сторон косы расстилалось подернутое мелкой рябью водное пространство, разделенное лишь небольшой, узенькой полоской удивительно чистого серебристого песка.

Город едва виднелся отсюда: приземистый, похожий издали на большое приморское село, он растянулся с крохотными своими строениями от Лисок до Матросской слободки. На краю косы, убегающей к волнорезу, справа возвышался белокаменный конус маяка. Много, должно быть, трудов стоило построить его там, на зыбком песке, если и здесь перешеек был такой узкий, что любая штормовая волна свободно его перехлестывала.

Увязая в песке, как в закромах с пшеном, мы вытащили тузик из воды, и Маремуха проворно начал раздеваться.

Как гусь, пробующий силу своих занемевших крыльев, Никита несколько раз взмахнул руками, глянул, жмурясь, на розовеющее солнце и по-мальчише-

ски ринулся к воде. Догоняя Коломейца, бросились и мы в море, играющее блестками солнечных лучей.

Занятно было купаться тут, на широком морском раздолье! Чистая, как в степной кринице, теплая вода. Дно, укатанное волнами затихшего поутру прибоя, было все в легких песчаных складках. Солоноватый и такой приятный ветерок чуть отдает запахами рыбы и гниющих водорослей. А ляжешь на спину — видишь, как где-то у берега высоко в небе дрожит повисший над приморской степью кобчик. Выискивает добычу, шельма, да все не может решить, на кого бы ринуться ему с высоты.

Выкупались мы на славу, и, когда, мокрые и усталые, пошатываясь, выбрались на берег, Коломеец стал делать гимнастику. Он до хруста в костях разводил руки, вращал кистями, и, хотя нас овевал нежный бриз открытого моря, чудилось, будто мы прохлаждаемся на досуге с Никитой в нашей Подолии. Вспомнилась совместная прогулка по ночному городу, и снова, охваченный нетерпением, я горячо попросил его:

— Будет же тебе в молчанку играть, Никита! Расскажи наконец толком: что же приключилось с Печерицей?

— Скажу, скажу, не волнуйся! — утешил нас Никита и, усевшись в лодку, лицом к опускающемуся солнцу, повел рассказ.

...С той самой минуты, как Дженджуристый нашел в подъезде окружного наробраза пучок скомканных рыжих усов бежавшего Печерицы, Вукович не знал покоя.

Для того чтобы правильно определить, где Печерица может прятаться, надо было изучить все его прошлое, настоящее и даже заглянуть в его будущее, проверить всех его давних и нынешних друзей и знакомых. Следовало выяснить, где он путешествовал, в каких местностях жилось ему вольготнее всего, и тогда легче догадаться, где он смог бы найти себе сообщников и укрывателей.

Житомир и Проскуров отпадали. Вряд ли Печерица решит остановиться в этих маленьких городках, расположенных вблизи тогдашней государственной границы. Была она на замке всегда, а после побега Печерицы из нашего города и подавно ему было рискованно приближаться к ней.

По билету, оставленному мне Печерицей, можно было предположить, что он намеревался ехать до станции Миллерово. Неужели он пустился наутек в бывшую Область Войска Донского или на Кубань?

Из расспросов сослуживцев и по анкетным данным беглеца Вукович выяснил, что Печерица никогда не бывал в придонских краях. Больше того, вскоре по приезде в наш город, будучи еще вне всяких подозрений, Печерица с гордостью заявил машинистке окрнаробраза:

— В Московии я никогда не бывал и, даст господь, не буду. Зачем мне оставлять пределы Украины?

Трудно было предположить, чтобы случайную эту фразу он обронил намеренно, дабы и ею в минуту опасности замести свои следы и укрыться как раз в ненавистной ему «Московии».

На всякий случай были тщательно изучены все подозрительные лица в станицах Миллеровская, Ольховый Рог, Никольско-Покровская и даже в поселках Криворожье и Ольховчик. Следов Печерицы там обнаружено не было. Вернее всего, билет до Миллерова Печерица взял для отвода глаз. И кто знает, не выписал ли он себе для этих путешествий еще несколько бесплатных литеров в разные концы Украины да, быть может, на разные фамилии.

И Вукович принялся решать эту запутанную задачу.

Прежде всего, рассказал нам Никита, он познакомился с документами того периода, когда Печерица носил австрийский мундир и пришел через Збруч на охваченную огнем революции Украину.

Австрийские генералы использовали тогда украинских националистов из Галиции, одетых в австрийские военные мундиры. Весь легион «украинских сичовых стрельцов» брошен был тогда в составе австрийской армии на ограбление Украины.

На Киевщине, Херсонщине, Екатеринославщине вспыхнули народные восстания. Целые села, волости и даже уезды соединялись в партизанские отряды

и вели борьбу с оккупантами. Вблизи одной лишь Звенигородки партизаны разгромили несколько регулярных немецко-австрийских частей.

Восточную армию австрийцев привел на Украину фельдмаршал Бем-Эрмоли. Потом его сменил генерал Краус. В конце марта 1918 года, по договоренности с гетманцами, этот генерал грабил Подольскую, Херсонскую и Екатеринославскую губернии — огромное пространство Украины от Збруча до Азовского моря.

Как только генерал Краус возглавил командование восточной армией, советник австрийцев по украинским делам Зенон Печерица получил назначение в штаб XII австрийского корпуса в Екатеринослав. Он часто выезжал в составе карательных экспедиций в районы, охваченные крестьянскими восстаниями, и лез из кожи, чтобы получше да похитрее угодить австрийцам.

...И вот, прослеживая путь Печерицы от захудалого городка Коломыя к берегам Азовского моря, Вукович, по словам Никиты, обнаружил, что чаще всего, отрываясь от Екатеринослава, австрийские карательные отряды базировались на немецкие колонии в Таврии.

Надо сказать, что районы Таврии еще с детства были знакомы Вуковичу. Именно сюда еще в первой половине прошлого века бежал из Сербии его дед, участник восстания против жестокого князя Милоша Обреновича. В Таврии дед Вуковича женился на украинке и остался навсегда, а уже отец Вуковича стал работать в Мариуполе на металлургических заводах мастером доменных печей. В Мариуполе сын его вступил в комсомол, и отсюда еще в годы гражданской войны был он послан на работу в войска ВЧК — ОГПУ.

Изучая теперь маршрут Печерицы по знакомым ему с детства степям Таврии, Вукович узнал, что один из австрийских отрядов, в составе которого находился и Печерица, достиг немецкой колонии Нейгофнунг, расположенной на берегу реки Берды. Вукович немедленно поинтересовался историей этой колонии и узнал, что ее основали еще в начале девятнадцатого века немцы, переселившиеся в Таврию из Вюртемберга.

Вукович вооружился лупой и стал бродить по карте, изучая маршрут Зенона Печерицы к Азовскому морю весной 1918 года. В глазах уполномоченного запестрило множество немецких названий: Фюрстенау, Гольдштадт, Мунтау... Это были богатые немецкие колонии, кучно расположенные в плодородной Таврической степи. Жили немцы в них припеваючи до тех пор, пока царствовала династия Романовых. Но как только из Смольного разнесся клич: «Вся власть Советам!» — страх перед народной властью не раз будил по ночам зажиточных немецких колонистов и заставлял их дрожать.

Австрийскую армию встречали они с распростертыми объятиями. Фельдкураты в серых мундирах служили торжественные молебны в кирках за здоровье династии Габсбургов, и старожилы колоний плакали от восторга под тягучие звуки органов.

Зенона Печерицу — австрийского служаку, отлично владеющего немецким языком,— колонисты, вне всякого сомнения, считали своим. Они охотно помогали ему в грабительских налетах на украинские села.

«Несомненно,— думал Вукович,— у такого изворотливого врага, как Печерица, должны были остаться связи в тех колониях, где он однажды побывал».

Не было тайной и то обстоятельство, что в этих колониях оставались законспирированные немецкие агенты. Явку к одному из них Зенон Печерица также мог получить на тот «черный день», когда угроза разоблачения принудила бы его покинуть насиженное местечко и перейти в подполье.

Вскоре Вукович узнал, что на племенную ферму совхоза в колонии Фриденсдорф прибыл из Подолии для прохождения учебной практики студент сельскохозяйственного института Прокопий Трофимович Шевчук. Он поселился на всем готовом у колониста Густава Кунке — человека преклонного возраста, исполняющего ввиду отсутствия пастора религиозные обряды в лютеранском молитвенном доме.

Едва лишь Вукович прочитал это сообщение, как ему принесли другую шифровку. Из приазовского городка, который отныне стал местом нашего жительства, извещали, что заподозренный в шпионаже Зенон Печерица был замечен на улице города, но сумел скрыться.

Ведя следствие и предугадывая все возможные поступки врага, Вукович никак не мог представить, для чего понадобилось Печерице показываться среди бела дня в людном курортном городе. Проще, выгоднее и безопаснее было для него переждать опасное это время у знакомого колониста Густава Кунке. После долгих раздумий Вукович пришел к выводу, что Печерица пересел в Жмеринке на поезд, идущий в Одессу, и оттуда стал пробираться в Приазовье морем.

Однако такое предположение оказалось ошибочным. Печерица не был в Одессе и не ехал в Таврию морем.

Сперва он заехал в Харьков, думая там найти поддержку и убежище. Но оставаться в Харькове было для него небезопасно: в это время начались разоблачения скрытых украинских националистов. Печерица, ночевавший без прописки то у одного, то у другого дружка-националиста, мог очень сильно повредить им. И они ему посоветовали схорониться где-нибудь подальше.

Он пробрался поездом до Мариуполя и оттуда на извозчике пыльными приморскими шляхами приехал в наш город. Возможно, это он был тем самым «денежным пассажиром», о котором рассказывал нам извозчик Володька, вовсе не подозревая того, какую птицу он вез на своей тряской линейке.

Делая крюк на Мариуполь, Печерица по-своему рассуждал правильно. Он опасался погони и хотел запутать свои следы.

На расстоянии всего не объяснишь, о многом не расспросишь. По согласованию с начальством Вукович, знавший Печерицу в лицо, выехал в район появления Печерицы. Так случилось, что я увидел Вуковича в день его приезда, когда в чесучовом костюме и в панаме с голубой лентой он шел с вокзала в город. А он не признался из желания до поры до времени сохранить в тайне свой приезд.

В нашем городе чекиста Вуковича ждала неожиданность. Он пришел в городской отдел ГПУ, и там ему показали срочное донесение от дежурного по станции Верхний Токмак. В этом донесении сообщалось, что в балке поблизости от станции, где обычно копали фарфоровую глину, найден труп человека с документами на имя Печерицы-Шевчука...

— Что-о-о? Труп? — дрогнувшим голосом выкрикнул Бобырь.— Да не может быть! Кто же его убил?

— А ты думаешь, я знаю, кто его убил? — сказал Коломеец.

Спокойный тон Никиты обманул и Маремуху. Введенный в заблуждение, Петрусь горестно сказал:

— Вукович все тебе рассказал, Никита. Такие подробности, что даже и выдумать трудно. Неужели он не мог тебе досказать напоследок, кто же убил Печерицу?

— Представь себе, не досказал... — еле сдерживая улыбку, процедил сквозь зубы Коломеец и спросил: — Вы уверены, ребята, что жатки до темноты будут погружены на платформы?

— Раз Головацкий взялся за это дело, все будет хорошо! — воскликнул я.— Чьему-чьему, а Толиному слову можно верить. К ночному поезду их перегонят с завода на товарную станцию.

— Ну, тогда слушайте, что было дальше! — сказал Никита.

ТРУП В БАЛКЕ

Случилось то, чего очень опасался Вукович. Когда наводили справки о Печерице во Фриденсдорфе, об этом узнал прихожанин кирки и немедленно сообщил заместителю пастора Кунке, что его квартирантом интересуются власти.

Печерица, не дожидаясь, пока его схватят, проклиная все на свете, в наступивших сумерках уехал из колонии на ближайшую железнодорожную станцию Верхний Токмак. Кунке снабдил его рекомендательными письмами к богатеям немцам, живущим в окрестностях Таганрога.

...Была ночь. Два керосиновых фонаря тускло освещали маленькую степную станцию Верхний Токмак. Почти вплотную к станционным постройкам примыкали баштаны и виноградники. Сонный дежурный дремал у раскрытого окна, дожидаясь звонка с соседней станции.

По гравию перрона одиноко прохаживался Печерица. Потом к нему подошел еще один пассажир и попросил прикурить. Печерица протянул ему тлеющую папироску. От нечего делать они бродили вдвоем по перрону, разговаривая. Слово за слово, Печерица выяснил, что его новый знакомый — агент по снабжению из Новочеркасска Иосиф Околита. Он возвращался к себе домой после продолжительной поездки по районам Приазовья и был рад собеседнику.

Довольно скоро Печерица узнал, что Околита — его земляк. Родные вывезли его еще мальчиком из Галиции на Поволжье. Опасаясь преследований австрийцев, население многих сел Западной Украины в те годы покидало родную землю вместе с отступающими русскими войсками. Галичан в 1916 году можно было найти на Кавказе, в Таврии, Крыму. Некоторые заезжали даже еще дальше — в Пензенскую и Саратовскую губернии. Родные ночного собеседника Печерицы погибли во время голода на Поволжье, а он сам, оставшись сиротой, переехал к своему дяде — портному, такому же беженцу из Галиции, осевшему в Новочеркасске.

Сын учителя из-под Равы-Русской Иосиф Околита не только сжился с «москалями» и не питал к ним никакой ненависти, но даже высказал похвалу по адресу Советской власти и собирался осенью поступить в Ростовский педагогический институт.

Так в эту ночь, слушая доверчивого парня, уже утратившего в своей речи характерный для галичан акцент, Печерица во всем соглашался с ним и попутно соображал, что документы Иосифа Околиты и его биография пришлись бы ему очень кстати.

Кто еще знает, как отнесутся к Печерице знакомые колонисты Густава Кунке, к которым держал он путь! Да и, наконец, на первом же допросе Кунке, спасая собственную шкуру, мог легко выдать местонахождение Печерицы.

...Уже пришла «повестка» со станции Нельговка, что пассажирский поезд вышел в последний перегон, к Верхнему Токмаку. Холодный, змеиный ум Печерицы работал быстро. Стараясь расположить земляка воспоминаниями о родной Галиции, Печерица лихорадочно обдумывал: «Труп обнаружат, достанут документы и, если начат мой розыск, немедленно вызовут колониста Кунке для опознания личности убитого. Ну, а тот — бывалый волк. Ради личного спасения и для того, чтобы дать мне уйти, он при любых обстоятельствах подтвердит мою, «Шевчука», «смерть».

Немного поодаль станции, в тени деревьев, виднелся колодец. Сказав, что его мучит жажда, Печерица попросил попутчика подкачать ему насосом из артезианского колодца студеной воды. Не подозревая ничего худого, Околита охотно согласился. Как только они завернули за угол пакгауза и очутились в тени, Печерица, выхватив из кармана охотничий нож, ударил им Околиту в спину. Затем стащил свою жертву в соседний овражек, обыскал все карманы убитого, забрал у него документы, деньги, портсигар. Мешкать было нельзя. Наскоро сунув в карман убитого фальшивое командировочное удостоверение на имя студента Прокопия Трофимовича Шевчука, Печерица вымыл в луже близ колодца руки и, захватив фанерный чемоданчик Околиты со снедью, как ни в чем не бывало вышел с другой стороны станции на освещенный перрон.

Поезд, идущий от Азовского моря, задержался у станции Верхний Токмак на три минуты. Освещаемый керосиновыми фонарями, паровоз-«овечка», попыхивая, потащил состав дальше, к Пологам, увозя мнимого снабженца Иосифа Околиту.

Сонные, ворочались на чистых простынях загорелые, едущие домой курортники. Дремал в тамбуре, мечтая отдохнуть немного до шумной Волновахи, старый проводник. И никто не обратил внимания на случайного пассажира, занявшего свободное место в полутемном плацкартном вагоне, освещаемом оплывающими стеариновыми свечами. Да и новый пассажир чувствовал себя отлично. Уверенный в том, что наконец-то перехитрил преследователей, Печерица по приезде в Ростов-на-Дону поселился в лучшей гостинице города — «Сан-Ремо», на Садовой улице.

Он преспокойно прописался в гостинице и сумел прожить там три дня, уверенный в том, что едва ли кто станет обращать внимание на приезжего из Ново-

черкасска агента по снабжению по фамилии Околита. Должно быть, он отсыпался всласть после беспокойных странствий. Вечерами бродил по городу.

Очевидно, самым страшным в его жизни было мгновение, когда вместо ожидаемого официанта с мельхиоровым блюдом увидел на пороге комнаты стройного светловолосого Вуковича.

Вукович держал перед собой взведенный наган и, не повышая голоса, буднично сказал: «Руки вверх!..»

— Погоди, Никита! Но как же он смог найти Печерицу под другой фамилией, да еще в таком большом городе? — воскликнул Бобырь.

Коломеец сказал внушительно:

— Ты по-прежнему непростительно наивен, Сашенька, хотя тебе и знаком уже полет в небесах. Пойми ты, голубчик: Вукович и его товарищи — воспитанники железного рыцаря революции Феликса Эдмундовича Дзержинского! Они служат партии и Советской власти, охраняя великие завоевания Октября! Им помогает весь народ! Вукович не только поймал шпиона. Он написал железнодорожникам Верхнего Токмака письмо с просьбой соорудить памятник на могиле Иосифа Околиты, поблизости той балочки, где его убил Печерица. И даже надпись для того памятника он сам придумал. Знаете какую: «Сыну подъяремной Западной Украины Иосифу Околите, погибшему от руки наемника мировой буржуазии. Спи спокойно, дорогой товарищ! Твоя родная земля дождется светлого часа освобождения!» Вот сегодня буду проезжать Верхний Токмак и, если поезд остановится, погляжу на этот памятник.

— Хорошо, Никита,— вмешался я,— но ты так и не сказал нам толком, откуда Вукович догадался, что Печерица живет в гостинице «Сан-Ремо».

— Откуда догадался? — Коломеец улыбнулся.— А вот откуда. Я же вам, хлопцы, рассказывал, что дядя убитого был портным в Новочеркасске. Зная, что самое продолжительное время из всей командировки его племянник пробудет в Мариуполе, дядя послал туда Иосифу Околите, по адресу «Почтамт, до востребования», короткое, но очень приятное письмо. Дядя извещал Околиту, что приемная комиссия вызывает его в Ростовский педагогический институт. Советовал свертывать дела и ехать домой. Это желанное письмо, с обратным адресом своего дяди, Околита спрятал в одном из карманов, не обысканном впопыхах Печерицей. И Вукович немедленно вызвал телеграммой к месту происшествия дядю убитого. Пока судебно-медицинский эксперт устанавливал возраст трупа, явно не соответствующий возрасту Печерицы, вызванный телеграммой дядя Околиты уже ехал в Верхний Токмак. Он опознал убитого племянника. Задержать его убийцу теперь оказалось довольно просто.

Как бы очнувшись от раздумья, овладевшего им после рассказа Никиты, Маремуха сказал взволнованно:

— Подумайте только, хлопцы, что было бы, если б Печерица опередил нас! Школу бы мы не закончили, болтались бы, может, недоучками в Подолии, и рабочий класс не пополнился бы на пятьдесят два человека!

— И жаток бы коммуна не получила,— сказал Бобырь.

— И жаток бы не было, это верно,— охотно согласился я с Бобырем,— да и многого не было бы. И мы бы с вами тут не сидели... В самом деле, сколько вреда может причинить один враг, если его вовремя не разоблачить!

— Ты рассуждаешь немного мелко, Василь,— вмешался Коломеец.— Дело, конечно, не только в нашем фабзавуче. Такие печерицы покушаются на жизнь всего народа, на Советскую власть. В том-то все и дело, хлопцы, что мы уже научились поражать их волчьи сердца куда раньше, чем они доберутся до нашего сердца! Никогда не оторвать им Украины от России! Народ Украины — честный, трудовой народ — прекрасно понимает, куда гнут эти господа, подобные Печерице. Помните, еще в фабзавуче мы не раз повторяли слова Ильича: «При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи». Эти мудрые слова Ленина давно уже в сердце у каждого труженика Украины, они не раз проверены на практике в годы гражданской войны, и никакие подлые действия врагов не смогут убедить народ в обратном. И всегда, рано или поздно, но эти негодяи окажутся в про-

игрыше, ибо правда обязательно будет на нашей стороне.— И, помолчав немного, Коломеец предложил: — Давайте к берегу, хлопцы! Солнце садится, а нам еще гресть и гресть.

Мы поднатужились и столкнули лодку в штилевую воду гавани. Теперь я стал правым загребным, а Сашка Бобырь захватил под свое начало румпель. Тугие и длинные весла легко врезались в соленую упругую воду. Падая с лопастей в море, сверкающие капли блестели на солнце. Заскрипели в такт нашим движениям уключины, а Сашка, прохлаждаясь на корме, запел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!
И, как один, умрем
В борьбе за это!

...Провожали мы Никиту глубокой ночью. Чтобы мягко ему спалось на открытой платформе, под днищем одной из жаток, мы притащили из дому мешок сена.

Вот-вот уже должны были прицепить паровоз к голове длиннющего товарного эшелона, как Никита вдруг вытащил из вещевого мешка эмалированную флягу и сказал:

— Покажи-ка мне, Василь, где воды на дорогу набрать.

— Пойдем, мы тебе покажем,— охотно вызвался Маремуха.

— Да нет, вы тут с Бобырем покараульте мои вещи, а Василь проведет меня. Пойдем, Вася! — торопливо сказал Никита.

Когда я вел его к кипятильнику на краю перрона, невдомек мне еще было, что не столько жажда, как желание сообщить мне какую-то тайну заставило Коломейца просить, чтобы именно я был его провожатым. Как только мы поравнялись с каменным сарайчиком, из которого торчали наружу два крана, Никита оглянулся, нет ли кого поблизости, и тихо, на ухо, шепнул мне:

— Скажи, Василь, ты показывал кому-нибудь свое письмо ко мне перед тем, как его отправить?

Не понимая еще толком, в чем дело, я осторожно проговорил:

— Нет, не показывал... А что?

— И никому не говорил о содержании письма?

— Никому... То есть говорил, что послал тебе письмо, а что в нем было —не говорил.

— Ну, а, скажем, о своих подозрениях, что эта содержательница танцкласса Рогаль-Пионтковская является родственницей подольской графини, ты кому-нибудь говорил?

— А она родственница?.. Ну, вот видишь! — И я, обрадовавшись, сказал: — А я поглядел на нее и думаю: просто совпадение фамилий. Та, наша,— важная, сухопарая, а эта совсем иная, будто торговка из мясного лабаза.

— И думай так дальше, понял? — многозначительно сказал Коломеец.— Простое совпадение фамилий — и больше ничего! И никакой болтовни на этот счет. Не только я тебя прошу об этом, но еще один человек...

— Вукович?

В эту минуту лязгнули буфера вагонов, давая нам знать, что паровоз стал в голову эшелона.

— Когда-нибудь ты узнаешь обо всем,— сказал Коломеец,— а пока... полное молчание. Всякую дичь надо ловить бесшумно.

Сбитый совершенно с толку, я запротестовал:

— Но погоди, Никита! Мы же замышляем наступать на эту мадам и на ее танцульки. Я же тебе дома говорил...

— По комсомольской линии?

— Ну да, с помощью юнсекции...

— По комсомольской линии можно. Это делу не помешает. Но ты поступай так, будто впервые в жизни услышал эту фамилию только здесь. Тогда мелочь, которую ты сообщил мне в своем письме, не пропадет... А теперь — пошли...

Пять жаток, увезенных Коломейцем, еще не прибыли к месту назначения, а уж Головацкий предложил каждой из ячеек выделить агитаторов для обслуживания обеденных перерывов. Нашелся, правда, один у нас, Аркаша Салагай из сверловочного цеха, который выступил против Толи. Салагай опасался: не будем ли мы, комсомольцы, этим самым подменять партийную организацию завода? Салагай горячился, доказывая, что проведение читок в обеденные перерывы — прямое дело коммунистов.

Ну и оборвал же Головацкий этого вихрастого крикуна в замасленной кепчонке, лихо заломленной на затылок!

— Всем известно,— очень четко и спокойно сказал Толя,— что комсомольцев, товарищи, у нас на заводе вдвое больше, чем членов партии. А ведь мы прямые помощники коммунистов, не так ли? И ничего зазорного не будет в том, если бросим свои силы и на этот участок, куда направляет нас партия. Наоборот, гордиться этим надо!

...В то лето рабочих завода, да и всю страну, очень интересовали отношения с Англией. Вот почему Головацкий посоветовал прежде всего прочесть рабочим вслух несколько статей на эту тему из последних газет.

На сегодня к столовой была прикреплена ячейка столярного цеха. Я нисколько не удивился, переступая порог длинного зала, когда услышал басок Маремухи. До поздней ночи вчера мой друг корпел над газетами в клубной читальне, готовясь к читке.

Маремуха стоял на небольших подмостках, где обычно выступала «Синяя блуза». Держа в руках «Известия», Петрусь читал ноту Советского правительства Англии:

— «...Братскую помощь со стороны рабочих СССР и их профессиональных организаций стачечной борьбе в Англии английские правительственные ораторы пытаются истолковать как акт вмешательства со стороны Советского правительства во внутренние дела Британской империи. Считая недостойным для себя реагировать на грубые и недопустимые выпады, сделанные по этому поводу некоторыми английскими министрами против СССР, его рабочего класса и профессиональных рабочих организаций, Советское правительство указывает на то, что принадлежность какого-либо правительства к определенной политической партии и преобладающее положение той или другой политической партии в каких-либо профессиональных союзах есть довольно распространенное явление...»

На Маремуху были устремлены глаза всех сидевших в зале за продолговатыми столами, затянутыми светлой пахучей клеенкой. Если же кому-нибудь из обедающих надо было подойти к шипящему титану за кипяточком, то он шел туда на цыпочках, стараясь производить как можно меньше скрипа, и все время оглядывался на трибуну.

Как было не порадоваться за Петра! Фабзавучник, который еще так недавно птиц на самотряс ловил и бегал босиком по нашему скалистому городу, сегодня читал рабочим большого машиностроительного завода правительственную ноту, и все слушали его со вниманием. Я пожалел, что нет здесь Коломейца: то-то бы возрадовался он, увидев, какие успехи делает его питомец!

В самом дальнем углу столовой я заметил Головацкого и Флегонтова, на днях приехавшего из Ленинграда. Они тоже со вниманием слушали моего друга.

Слушая ноту, в которой Советское правительство отмечало нападки и глупые выдумки всяких чемберленов, я вспомнил разговор со стариком Турундой.

«Да, помогали и будем помогать всякому честному рабочему, угнетаемому буржуями, а если капиталистам это не нравится, мы чихать на это хотели»,— думал я. Советские дипломаты как бы подслушали тогдашний наш спор и сейчас выкладывали в своей ноте наши думки, правда, в очень вежливой манере, но от этого они не теряли своей резкости.

Размышляя, я было отвлекся от того, что прочел Петро дальше, и мне стоило труда включиться в дальнейшее содержание ноты.

— «...Та или иная степень дружественности в отношениях между государствами,— солидно басил Маремуха,— прежде всего сказывается на их экономических отношениях. В речи министра финансов Черчилля наиболее важное место

занимают его выпады, имеющие явной целью подорвать экономические сношения между Англией и СССР. Эти выпады бывшего главнейшего инспиратора английской интервенции тысяча девятьсот восемнадцатого — тысяча девятьсот девятнадцатого годов в Советской Республике преследуют явным образом те же цели, которые тот же деятель ставил себе по отношению к Советской Республике за все время ее существования. Черчилль не забыл блокаду и интервенцию, и его теперешнее выступление рассчитано на то, чтобы содействовать возобновлению против нас экономической блокады...»

Маремуха прочел без запинки эту длинную фразу и сделал передых. В эту минутную щелочку тишины сразу же залез Кашкет. Он быстро встал и, держа в руках голубую эмалированную кружку, наполненную дымящимся чаем, выкрикнул:

— Молодой человек, можно вопрос?

— Давайте,— неуверенно ответил Петрусь.

— Чтой-то больно много разных мудреных слов ты нам прочел! Стрекочешь одно за другим, а разум их схватить за хвост не может. И не понятно никак, что к чему. Вот, например, объясни-ка мне, друг ситцевый, темному рабочему человеку, что это за штукенция такая «кон-спи-ра-тор»?

И, торжествующе поводя вокруг быстрыми, ехидными глазами, Кашкет шумно уселся на лавку. По всему было видно, что не из-за темноты своей, а исключительно желая подкузьмить молодого парня, задал он этот вопрос.

— Хорошо, я объясню,— сказал Петро.— Только не «конспиратор» там сказано, а «инспиратор». Инспиратор — это...

В эту минуту в столовой раздались твердые, уверенные шаги. Из далекого ее угла подошел к подмосткам Флегонтов. Крепкий, коренастый, в серой холщовой робе и рыжих ботинках, густо припорошенных пылью литейной, он поднял руку, как ученик перед учителем, и сказал тихо Петру:

— Разреши, дорогой, я за тебя отвечу.

Чувствуя, что его затея сорвать читку проваливается, Кашкет заметил с места, но уже куда тише:

— А зачем мешать парню? Читал он бойко, нехай и растолкует нам как может.

— А я хочу помочь товарищу да растолковать и тебе и всем. Разве делу от этого будет хуже? — отрезал Флегонтов. — Тебя интересует, как понимать заковыристое иностранное слово «инспиратор»? Изволь, отвечу. Применительно к данному вопросу его можно пересказать так: в тысяча девятьсот восемнадцатом — тясяча девятьсот девятнадцатом годах Черчилль был главнейшим вдохновителем, подстрекателем и... ну, что ли, скажем, наводчиком иностранного нападения на Советскую страну. После мировой войны англичане заводы свои оставили здесь. Сперва они думали, что мы, большевики, сами сломим голову, а потом, разуверившись в этом, все наши враги решили действовать по-иному. Вооруженные силы четырнадцати государств привели к нам вожаки интервентов для того, чтобы задушить молодую Советскую страну, и потерпели поражение. Так приблизительно можно растолковать это слово на фоне международной политики. Но инспираторы бывают разные, не обязательно только английские министры... Скажем, к примеру, могут такие типы затесаться и в ряды рабочего класса, и, хотя масштабы их действий бывают куда меньше, чем Черчилля, все равно они приносят большой вред нашему общему делу. Взять, например, литейный цех. Работает в нем такая личность, которая в годы гражданской войны болталась между батькой Махно и генералом Деникиным. Дожила эта личность до сегодняшних дней реконструкции. Дают ей на машинку напарника, молодого паренька, еще не знающего наших порядков. Понятно, что молодой парень мог бы сознательно относиться к производству, работать честно, не за страх, а за совесть, а пожилой рабочий, казалось бы, должен помогать ему в этом. Здесь же — обратное. Личность, о которой я веду речь, инспирирует новичка совсем на другое: на брак, на работу спустя рукава, на халатное, наплевательское отношение к советскому производству. А к чему приводит такая инспирация? Сотни деталей идут в брак, а где-то там, в селе, крестьянин ждет не дождется заказанной жатки и клянет на чем свет стоит такую смычку города с селом. Тебе ясен мой ответ?

Отовсюду послышался смех. Взгляды обедающих остановились на Кашкете, который, уткнув лицо в широкую эмалированную кружку, делал вид, что он усердно пьет чай и ничего не слышит.

— Ну, раз вопросов нет, будем продолжать читку, — сказал Флегонтов и, кивнув Маремухе, пошел назад, к Головацкому.

Маремуха посмотрел благодарными глазами на Флегонтова, откашлялся и стал читать уже более решительно:

— «...Конечно, можно было бы относиться к заявлениям Черчилля без полной серьезности, зная, что его слова никогда нельзя было принимать за чистую монету, если б не его положение министра финансов...»

Жаркое полуденное солнце ударило мне в глаза, когда за несколько минут до окончания перерыва я вышел вслед за Флегонтовым из столовой. Стояли на путях покинутые рабочими на время обеда вагонетки, доверху засыпанные свежеобработанными маслянистыми болтами; посапывала вдали кочегарка, шумели, не умолкая, вагранки, плавя чугун.

— Земляк читал? — спросил меня Флегонтов.

— Ага! В одном фабзавуче учились.

— Молодец, не замялся.

Но меня терзала одна мысль: имею ли я право сказать Флегонтову, секретарю партийной ячейки, что в одном он малость ошибся? И я осторожно заметил:

— Но кое в чем я с вами не согласен, товарищ Флегонтов!

— В чем именно? — Он повернул ко мне крупное загорелое лицо, чуть тронутое следами оспы, по-видимому перенесенной в детстве.

Я заметил, что козырек его военной фуражки лоснился от графита. Еще, должно быть, с гражданской войны служила она ему здесь, на заводе!

— Намекая на то, что Кашкет подстрекает своего напарника на брак, вы этим самым как бы выгораживали Тиктора. Дескать, Кашкет — это бракодел и лодырь, а Тиктор — божья коровка. Не так это на самом деле, товарищ Флегонтов! Если бы вы только знали!..

Кирилл Панкратьевич перебил меня:

— Сколько лет Тиктору?

— Примерно восемнадцатый.

— Так. А что бы я мог знать?

Сбиваясь, я рассказывал, как вел себя Тиктор у нас в фабзавуче, как противопоставлял он себя коллективу, как по пьянке опоздал на чоновскую тревогу.

— И это всё? — спросил Флегонтов.

— Но мы его исключили из комсомола! Это неисправимый человек.

— Ты ошибаешься, Манджура,— спокойно сказал Флегонтов.— Бросаться людьми нельзя. Насколько я разбираюсь в этом деле и по личным наблюдениям, и по твоему рассказу, твой землячок — гонористый парень, себе на уме. Но и таких можно перевоспитать. Понимаешь ли, Манджура, нам надо драться за каждого человека, тем более за молодого. Я вот уверен: исключение из комсомола оставило зазубрину в его душе. А ты дай ему понять, что еще не все потеряно. Я не хочу, чтобы ты, комсомольский организатор, отмахивался от людей, подобных этому Тиктору. Не в наших это интересах. Ершиться станет — наступай. Принципиальным будь. Самое легкое — объявить человека неисправимым и поставить на нем крест. А ведь даже и преступника иной раз можно направить на верный путь нашей убежденностью. Ведь правда-то на нашей стороне! И, следуя этой правде, надо нам по-ленински — очень бережно относиться к людям.

...Вечером сорвался тримунтан, и белые барашки побежали через бухту. Острый степной ветер гнал их со страшной силой, заворачивал гребешки волн, и тогда водяная пыль взлетала кверху, розовея в отблесках холодного заката. Свет гаснущего солнца окрасил на несколько минут лицо Маремухи и, должно быть, мое тоже густо-багровой краской. Вода залива, встревоженная порывистым ветром, меняла свой цвет на глазах у нас, сидящих на скамеечке поблизости от портового ресторана.

Незаметно наступила ночь. Сумерки покрыли землю низкой синеватой дымкой и принесли сюда к нам, на маленькое взгорье, сладкий запах свежеиспеченного хлеба и соленой морской влаги.

Зная, что у Петра нет сегодня репетиции в клубе, я предложил ему пойти прогуляться по бережку моря. Петрусь охотно согласился, и, когда мы сели на скамеечке, он сказал, облегченно вздохнув:

— Хорошо меня сегодня Флегонтов выручил, правда? Словно знал, что в английских делах я разбираюсь не очень крепко. Понимаешь, я про Китай нацелился говорить. Столько выписок себе сделал — ужас! А Головацкий заставил читать об отношениях с Англией...

Он помолчал и вдруг, словно решившись наконец сбросить с себя смущение, горячо заговорил:

— Слушай, Василь, а ты помнишь обращение Сунь Ятсена к Советскому правительству?

— Я пропустил что-то... Но ведь... постой... Он же умер?

— А он перед смертью своей обращался, весною прошлого года. Вызвал, понимаешь, к себе своих друзей и продиктовал им обращение. Как здорово написано! Вот послушай: «Вы,— пишет Сунь Ятсен,— возглавляете Союз свободных республик — то наследие, которое оставил угнетенным народам мира бессмертный Ленин. С помощью этого наследия...» — Петро наморщил широкий лоб, мучительно припоминая точные слова, и потом радостно продолжал: — Да, а потом так: «...С помощью этого наследия жертвы империализма неизбежно добьются освобождения от того международного строя, основы которого издревле коренятся в рабовладельчестве, войнах и несправедливостях...» Здорово сказано, правда? Какая уверенность! А кончает-то он как: «Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить надежду, что скоро настанет день, когда СССР будет приветствовать в могучем, свободном Китае друга и союзника, и что в великой борьбе за освобождение угнетенных народов мира оба союзника пойдут к победе рука об руку». И понимаешь, Василь, быть может, мы с тобой дождемся такого дня. И сколько врагов будут все время мешать нам.

В эту минуту за спиной у нас послышался говор.

— А тут кто-то сидит! — услышал я громкий голос Головацкого.— Давай сюда, вот здесь есть свободная скамейка. В ресторан ты еще успеешь зайти.

И вдруг словно холодной водой меня окатили — я услышал колючий, задиристый голос Тиктора:

— А какой интерес тебе говорить со мной? Я же не комсомолец...

— По-твоему, если я секретарь комсомольской организации, то мне с тобой не о чем толковать?

— По-моему, да... Вы меня в своей газетке так обрисовали, как последнего вредителя.

Мы сидели на подветренной стороне, и потому каждое слово нам было слышно отлично, но в эту минуту из-за портовых пакгаузов выползли огни паровоза. Освещая себе путь довольно тусклым керосиновым фонарем, маневровый паровоз потащил мимо нас пустой товарный состав. Все окрест заполнилось шипением пара, скрипом вагонных колес, лязгом буферов.

О чем говорили под этот шум проползающего над морем состава Толя с Тиктором, я не знаю, но, когда последний вагон нескончаемо длинного эшелона мигнул красным огоньком и скрылся в темноте, ветер опять принес к нам взволнованный голос Головацкого:

— У тебя, Яков, молодость, сила, ловкость. Я не верю, чтобы ты не мог работать хорошо, вот убей меня — не верю! А ты между тем выдаешь брак, работаешь небрежно, с ленцой, на авось. И о плохих моделях ты мне лучше не вспоминай. Я литейное дело слегка знаю и никогда не поверю, что при существующих условиях ты не можешь работать по-человечески.

— Пусть от меня возьмут такого напарника, я покажу тогда им...

— Кому это «им», Тиктор?

— Ты разве не знаешь сам кому? Землячкам моим! Небось нажаловались на меня?

— Если ты имеешь в виду Маремуху и Бобыря, тогда ты глубоко ошибаешься, Тиктор. С ними о тебе никаких разговоров не было. Что же касается Манджуры, то он давно на тебя махнул рукой. Мы даже с ним повздорили из-за тебя.

— Повздорили? — удивленно спросил Тиктор.

— Представь себе! Манджура считает, что ты неисправим, а я убеждаю его в обратном. Он рад бы с тобой потолковать по-хорошему, забыть старое, да все думает, что его рука повиснет в воздухе.

— А ты что думаешь? — пересиливая свою гордость, с заметным интересом спросил Тиктор.

Головацкий молчал.

И это молчание, прерываемое далекими гудками паровоза, пиликаньем оркестра в портовом ресторане и резкими порывами штормового ветра, мне подсказало, что Флегонтов рассказал Головацкому о моих сегодняшних нападках на Тиктора.

— Что я думаю? — переспросил Головацкий.— Изволь, я скажу. Но прежде всего ты мне ответишь на то; что меня интересует.

— Отвечу! — решительно сказал Тиктор.

— На все, что я тебя спрошу, ответишь?

— Говорю тебе — да!

Это «да» прозвучало очень искренне.

— Зачем ты частные подряды выполнял, когда учился в фабзавуче?

— Знаешь и об этом?.. Ладно, скажу... Чтобы подработать!

— А родные разве тебе не помогали?

— Черта с два! Батька после смерти матери женился на другой, а та, мачеха, его под башмак взяла и против меня настраивала...

— Это правда, Тиктор? — очень серьезно спросил Толя.

— А зачем мне тебе врать! Да я больше могу сказать тебе: батька уедет на паровозе в прогон, а мачеха и ну измываться надо мной, спасу нет. Я терпел, потому что деваться было некуда. Стипендии-то нам, кто у родителей жил, долгое время не давали.

— Ты же мог ребятам сказать, что у тебя такое в семье творится, они бы помогли,— заметил Головацкий.

— Стыдно было...— сознался Тиктор.— Неохота было в семейные дрязги целую школу посвящать. Вот и приходилось деньгу зашибать любыми способами; даже к спекулянтам нанимался, лишь бы от мачехи материально не зависеть.

— Хочу верить, что это правда, Яков! — сказал Головацкий.— К чему весь этот разговор, как ты думаешь? Мы крепко заинтересованы в твоем будущем, Тиктор, так же как и в будущем любого другого молодого парня. Я хочу, чтобы каждое движение твоих рук приносило пользу обществу. Как этого достигнуть? Спаяться с коллективом! Жить его заботами! Меньше думать о себе и как можно больше — о других. А ты, передавали мне, молчишь, на многих смотришь исподлобья, будто все только тем и заняты, чтобы тебе каверзу какую-нибудь подстроить. А мы хотим лишь одного: чтобы не болтался ты где-то посередке. Рано или поздно такие люди гибнут. А я вовсе не желаю такого исхода. Воспитай в себе настоящую любовь к труду, к коллективу, подави гордыню, разъедающую тебя, как ржавчина,— и, поверь мне, ты станешь другим человеком.

— Ну раз ты от сердца желаешь мне добра, я попробую,— сказал, помедлив, Тиктор, и в голосе его я не услышал уже той пренебрежительной язвительности, с какой он обычно беседовал с людьми.

Они ушли по направлению к городу и быстро растворились в темноте.

Маремуха сказал мне:

— А ведь и правда мачеха лупила Тиктора! Помнишь, как однажды Яшка явился в школу весь в синяках и обманул нас, что его босяки на свадьбе побили? А потом мы узнали, что это его мачеха разукрасила.

— Нас стеснялся, чтобы не засмеяли, потому и таился. Мы же самостоятельно жили, а он — на отцовских харчах, и стыдно ему было, что лупцуют, как маленького,— сказал я, искренне сожалея о том, что мы вовремя не узнали о семейных делах Тиктора. Знай мы об этом раньше — можно было б совсем по-иному с ним поговорить.

Теплынь усилилась еще больше. Случайные штормы чередовались с полным безветрием. Но знойные, размаривающие дни не смогли задержать того, что было задумано. Полезное дело — изготовление жаток для молодежной коммуны — как бы послужило толчком для других начинаний.

Сперва мы думали, что главный инженер не поленится прочесть второй номер стенной газеты «Молодой энтузиаст», и особенно статью Закаблука. Но не тут-то было! Появляясь в цехе, Андрыхевич всякий раз проходил мимо газеты, явно пренебрегая ею.

А мы продолжали думать о будущем цеха и, поддержанные цеховой партийной ячейкой, позвали молодежь завода на воскресник.

Шагая поутру вместе с Маремухой и Бобырем на воскресник, я вспомнил все с самого начала: продолжительные поиски запасных частей и моделей к «пулеметам»; составление чертежа по установке этих новых двенадцати машинок в пролете, который мы заранее назвали комсомольским; распределение обязанностей между всеми активистами завода в часы воскресника; мучительную волокиту в отделе главного инженера, где всеми силами хотели замариновать наш проект, и, наконец, мой первый доклад на бюро цеховой партийной ячейки.

Сперва я отнекивался от доклада. Казалось, что лучше всего объяснит наш замысел Головацкий, как секретарь коллектива и как бывший рабочий литейного цеха. Но Толя решительно сказал:

— Не стесняйся, Манджура. Начинание родилось в литейной, да? Так кому же, как не тебе, рассказать о нем партийной организации?

Молодые чертежники сумели размножить к заседанию план будущего комсомольского пролета. Перед докладом я раздал синие листочки с белыми линиями чертежа всем членам партийного бюро.

Пока я докладывал, Флегонтов, изучая каждый штрих на синьке, то и дело отрывал от чертежа свой взгляд и зорко посматривал сквозь запыленные окна цеховой конторки в цех.

Там под задымленной стеной высились кучи пересохшего — еще, как мы говорили, «старорежимного» — песка. Под этим песком скрывались фундаменты для формовочных машинок. Мировая война помешала заводчику Гриевзу установить на этом месте новые машинки. Производство жнеек было свернуто, часть рабочих мобилизовали в армию, а формовщики, не ушедшие на фронт, делали всем цехом лишь одну деталь — зубчатый корпус для ручной гранаты. Завод выпускал сотни тысяч таких кругленьких, похожих на ананасы, гранат. Формовали их споро, и никто не бранил рабочих за то, что скрап, окалину, пережженный песок и всякий мусор они выбрасывали в спешке к недостроенному мартену. Так и образовалась цеховая свалка, которую мы решили упразднить.

— Доброе дело задумали комсомольцы! И подсчитано все правильно,— поддержал нас Флегонтов.— Двенадцать новых машин — это сотни жаток сверх плана! Это свободные места для тех рабочих, которые ждут своей очереди на бирже труда.

У цеховых ворот мы разошлись. Петро пошел в столярный цех, Бобырь сразу же исчез в кладовой, где его ребята орудовали у новых машинок. А я направился к своей «песчаной бригаде».

Первое, что заметил я в цехе, была широкая спина Тиктора. Стоя у машинки, Яков стягивал синюю рубаху.

«Пришел-таки!» — подумал я облегченно.

По совету Флегонтова и выполняя слово, данное Головацкому, в субботу перед окончанием заливки я первый подошел к Тиктору и сказал:

— Завтра воскресник, Яков. Придешь поработать?

— Слышал...— не глядя, бросил Тиктор и принялся перекладывать пустые опоки.

По такому ответу я не мог еще судить, придет он или не придет, и вот сейчас, увидя и его с нами, обрадовался.

Когда начали раздавать свободные лопаты людям из других цехов, Тиктор, оставшись в одной майке-безрукавке, вразвалочку подошел ко мне и глухо спросил:

— Ну, а мне куда прикажете?

— Выбирай, что хочешь,— предложил я.— Либо здесь — плац расчищать, либо песок носить. А может, хочешь пересеивать его возле бегунков?

— Останусь тут,— решил Тиктор.— Дай вот лопату захвачу.

— Да ты бы кепку надел,— взглянув на его пышную шевелюру, посоветовал я,— запорошатся — не отмоешь...

— Не беда! — упрямо махнул Тиктор светлым чубом.

И пяти минут не прошло, как он одним из первых вогнал с размаху глянцевитую лопату в сухой слежавшийся песок.

Вскоре поднялась такая пыль, что мы видели друг друга как в тумане. Натыкаясь на окалину, на обломки ржавых опок, лопаты скрежетали и быстро тупились.

Под жесткое их царапанье я думал: «Еще лишний кусочек металла останется на решете. Высеют его ребята, отделят от песка, и пойдет он вместе с чугунными чушками в люк вагранки, а потом его снова принесут сюда же, на заливку, в тяжелом огнедышащем ковше...»

Признаться, до приезда сюда я не отдавал себе отчета в том, какую ценность представляет металл для будущего страны. Но после разговора с директором завода я совсем по-иному вдумывался и в этот вопрос. Слова директора глубоко запали в мое сознание, и теперь, освобождая плац от залежей песка, я радовался каждому найденному куску чугуна.

Чего только не было на свалке! Обломанные держаки лопат, которыми орудовали, возможно, еще до революции, и недолитые корпуса гранат, возвращавшие мысли к тем временам, когда через мой родной город ко Львову двигались вооруженные подобными ручными гранатами войска Юго-Западного фронта. Лопаты выволакивали обрывки газет с твердым знаком и буквой «ять», осколки чугунных ковшиков, употребляемых для воды во время примачивания форм, какие-то шестереночки и позеленевшие гильзы от ружейных патронов.

Все вместе с песком мы на носилках тащили во двор.

Вскоре Яков сбросил с себя даже синюю майку. Его примеру последовали и другие хлопцы. Их обнаженные до пояса потные тела поблескивали при свете электрических ламп. Мы то и дело невольно поглядывали в сторону Тиктора. Радостно было уже одно то, что в свободный день он работал заодно с нами, а не просиживал за мраморными столиками у Челидзе со своей гоп-компанией и шепелявым Кашкетом. «Надо драться за каждую молодую душу и сделать ее своей, а не отбрасывать на поживу врагам!» — вспомнились слова Головацкого. И нынче я понял, что в споре о Яшке все-таки был прав Анатолий, а не я.

«Но почему, в таком случае, не можем мы драться за душу Анжелики? Папаша ее — буржуазный спец и не любит нас. Это факт? Да, факт. Но ведь она-то может стать лучше собственных родителей?» Однако, назвав ее как-то «самонадеянной мамзелью» и «гагарой», Головацкий как бы отмахивался от нее навсегда. «Нет, Толенька, чего-то ты, друг любезный, недодумал!» — сказал я себе и еще сильнее стал орудовать лопатой. Руки скользили по ее гладкому древку, как по шесту в спортивном зале. Настроение у меня было отличное еще и потому, что вчера я получил пересланную мне Коломейцем открытку Гали Кушнир. Оказывается, мое письмо до нее не дошло.

На заводе, куда командировали Галю, свободных вакансий не было. Профсоюз металлистов помог ей устроиться токарем в механической мастерской судостроительного завода. Судя по бодрому тону открытки, Галя была очень довольна. «Возможно, на следующий год, Василь, поедешь в отпуск морем, через Одессу,— так не забудь, что здесь живет твой старый и верный друг,— писала она.— Обязательно разыщи меня. А пока — пиши, не забывай!!!»

Три восклицательных знака в конце письма, да и вся открытка Гали, с видом на море, и особенно тот факт, что Галя все-таки разыскала меня, вызвали в душе моей много радости. «Я несправедлив был к Гале»,— думалось мне. И, швыряя лопатой на носилки пересохший песок, я твердо решил в будущем году ехать в отпуск только морем, через Одессу...

Не дожидаясь, пока мы уберем весь песок, водопроводчики уже тянули на новый плац трубы для сжатого воздуха. Наблюдая исподволь, как навинчивали они патрубки, я невольно думал об изобретении, которое беспокоило меня все

прошедшие дни. То одно, то другое: жатки для коммуны, приезд Никиты, подготовка к вечеру юнсекции и многие другие дела отвлекали, мешали связно записать на бумаге то, что давно роилось в мозгу...

Тут я заметил, что Тиктор швырнул в сторону лопату и, нагнувшись, схватил какой-то провод. Потом он выпрямился и, заметив монтера в синем комбинезоне, стоявшего на стремянке, крикнул:

— Молодой человек, давай-ка сюда!

Думая, что его приглашают наваливать песок, монтер недовольно отозвался:

— Не видишь — проводку тяну?

— Слезай быстрей! Тут уже есть какая-то проводка.

Монтер неохотно слез со стремянки. Помахивая отверткой, он не спеша подошел к Тиктору и, припав на колено, небрежно поглядел на обрывок шнура.

Как крысиный хвост, шнур торчал из песка. Вокруг скрежетали лопаты, и никто не обращал ни малейшего внимания на Яшкину находку. Монтер наклонялся к шнуру все ближе, ближе — казалось, он хочет лизнуть его языком,— но вдруг как ужаленный вскочил на ноги и отпрыгнул прочь. Поводя глазами вокруг, он завопил не своим голосом:

— Эй, остановитесь!..

И тут же с ходу вырвал изо рта у подбежавшего Закаблука папиросу.

— Не паникуй!.. Скажи, в чем дело? — тронул за плечи ошалелого монтера Тиктор.

— Я не паникую. Я всевобуч проходил,— объяснил монтер.— То не проводка... то бикфордов шнур!.. Понимаете!.. Кто тут старший?

Грозные слова «бикфордов шнур», подобно молнии, вспыхнувшей среди ночи, осветили в моей памяти неудачный налет врага на штаб ЧОНа. Я не знал, что делать: кричать или рвать этот шнур?

К счастью, в эту минуту из кладовой вышел Флегонтов. Пока мы очищали плац, Кирилл Панкратьевич Флегонтов, Турунда и другие формовщики годами постарше помогали слесарям из инструментального проверять запасные машинки.

— Кирилл Панкратьевич!.. Сюда! — крикнул Тиктор на весь цех.

Флегонтов чуть-чуть ускорил шаги и, подходя к плацу, спокойно спросил:

— Что случилось?

— Да вот, гляньте-ка...— показал ему монтер.

— Бикфордов шнур?..— проронил Флегонтов.— Откуда? — И тут же, принимая на ходу решение, крикнул: — А ну, не курить здесь!

Он быстро зашагал в застекленную конторку, и мы увидели, как зашевелились его губы, когда он схватил телефонную трубку...

Устали мы на воскреснике до ломоты в костях. Покидали цех уже в сумерки, когда последняя, двенадцатая машинка переползла с деревянных катков на каменное основание фундамента. Думалось не раз, что от криков «раз-два — взяли!» стекла с крыши посыплются на азартный коллектив молодежи и стариков.

В промежутках между машинками плотники поставили сколоченные ими чистенькие, пахнущие смолой ящики для формовочной смеси. Новая проводка уже белела повсюду. Смоченный водой каменный пол издали казался вороненым.

Для того чтобы новые двенадцать «пулеметов» застучали без перебоев, предстояло еще выверить их в серийной работе. Следовало чернорабочим подтащить сюда сотни новых опок и разгородить решетчатыми штабелями каждую работающую пару. Десятки тонн годного для набивки, чисто просеянного, влажного песка надо было доставить сюда от бегунков и рассыпать кучами в рост человека на новом, отвоеванном нами у цеховой свалки просторном плацу. Но самая трудная подготовительная работа была уже сделана на воскреснике.

Казалось, можно было нам, усталым до изнеможения, упасть без промедления на жесткие матрацы и забыться в тяжелом сне. Впереди ждала нас целая неделя сдельной работы. Но мы и придя домой все еще не могли успокоиться.

— Когда же они ту мину заложили? — спросил Бобырь.

— Ясно когда: как Врангель убегал! — ответил я.— Их пароходы в тот год и в Азовское море заходили. А как пришло время сматывать удочки, они и решили взорвать завод, чтобы нам не достался, да что-то им помешало. Дядя Вася не зря мне рассказывал, как иностранные техники по ночам в цехах шныряли...

Внизу, в садике, скрипели цикады. Слышно было, как тяжело вздыхает сквозь сон в своей комнатке квартирная хозяйка.

Беседуя вполголоса с друзьями, я все время мысленно был еще там, в литейном, и видел снова, как осторожно монтер откапывал под основанием недостроенного мартена бикфордов шнур, засыпанный песком. Еще до того как появился в нашем цехе вызванный по телефону Флегонтовым начальник горотдела ГПУ — низенький, на первый взгляд добродушный человек в сером коверкотовом костюме,— сам Флегонтов обследовал таинственный ящик, клейменный заграничными надписями, и сказал, что его содержимого вполне хватило бы, чтобы подорвать не только основание мартеновской печи и грушу для плавки меди, но и ведущую к вагранкам капитальную стену цеха.

Толя Головацкий показал нам на этот ящик со взрывчаткой и сказал: «Смотрите и запоминайте, какие подарки оставила рабочему классу иностранная буржуазия! Чертежи увезли, а взрывчатку тут положили. Для чего, спрашивается? А для того, чтобы, подорвав литейную, остановить на долгие месяцы завод. Чтобы полить вот этот песок рабочей кровью».

— Одно тут неясно,— нарушая тишину, сказал Бобырь. — Буржуи-то сюда вернуться хотят. Зачем же им, спрашивается, литейную подрывать?

— Смешной ты, право! — совсем по-взрослому ответил Саше Маремуха.— А страховка на что? Возможно, еще до революции Гриевз завод застраховал. Что бы ни случилось, он свои миллионы всегда от страхового общества получит, дай ему только снова до власти здесь дорваться.

— Ну хорошо,— не унимался Бобырь,— а чего они этот шнур понадежней не заховали?

Тут новая догадка осенила Петра:

— Кто знает, может, кто-нибудь из буржуйских холуев нарочно вытащил его наверх? Мы на эту свалку все время остатки чугуна выплескивали. Представьте себе — попадет капелька чугуна на этот шнур, и мина рванет!

— Даже страшно подумать! — бросил Бобырь.

— Но ты вот что скажи, Саша,— трогая Бобыря за плечо, спросил Маремуха,— отчего начальник ГПУ с тобой за руку поздоровался? Ты знаком с ним, что ли?

— Да он со всеми здоровался,— увильнул Саша.

— Не ври. С Флегонтовым и с тобой только,— возразил Маремуха.

— Не знаю,— буркнул Саша.

— Зато я знаю! Петро, дай спички!

Маремуха пошарил рукою у себя под изголовьем и, крикнув: «Лови!» — перебросил мне коробок. Чиркнув спичкой, я зажег лампу и при ее разгорающемся свете вытащил из расшитого нагрудного кармашка своей рубашки сложенную вчетверо бумагу, о существовании которой чуть не забыл совсем.

— Читай, Петро! Узнаешь, чей это почерк? — сказал я, протягивая ему бумагу.

Минуты не прошло, как Маремуха, указывая пальцем на Бобыря, воскликнул:

— Его! Конечно, его!

Заглядывая в бумажку, которую Маремуха милостиво поднес к Сашкиному носу, Бобырь простонал:

— У-у-у, забудька!.. Как же я это не спалил!

— Ну, рассказывай все! Разве мы тебе чужие? — сказал я.

— Да что рассказывать? Видите сами... Вы тогда не поверили мне, что я Печерицу встретил. Еще смеялись надо мной. А я думаю: нехай смеются, черти, а мои глаза верные. И снес заявление. Жаль, копию не уничтожил... И нечего вам надо мною издеваться.

— Кто издевается? Чудак ты, право! Очень правильно сделал!.. Мины под нас подводят, а мы что — ушами хлопать должны? — сказал я Саше.

Той ночью я заснул последним. Под легкое посапыванье друзей до боли в затылке передумывал все, что пришлось увидеть сегодня.

Совсем иным представлялся мне теперь тихий и солнечный курортный городок у моря. За его обманчивой, спокойной внешностью тоже скрывалась отчаянная борьба нового со старым. Признаки этой напряженной борьбы обнаружи-

вались внезапно, как подметное письмо неизвестного махновца или как хвостик бикфордова шнура, замеченный сегодня Тиктором. Скрытые классовые враги еще надеялись вернуть прежнее положение, отнятое у них навсегда революцией. Они пытались задержать наше движение вперед и пускались на любые подлости.

«Они подстерегают каждую нашу ошибку, всякий наш зевок,— думал я,— и впредь захотят воспользоваться нашим добродушием и беспечностью. Они ждут нашей смерти; если мы уцелеем, будем жить и расти, то, несомненно,— рано или поздно — доконаем их во всем мире... Они чуют это, свирепеют, идут на все. А раз так — не зевай, комсомолец! Держи ушки топориком, как советовал Полевой. Всюду и везде, где бы ты ни был, будь начеку».

ЧАРЛЬСТОНИАДА

Мы старались сберечь в тайне план наступления на салон Рогаль-Пионтковской и проводили репетиции драмкружка юнсекции при закрытых дверях, но слух об этом расползался по городу. Старички и те стали выпытывать, когда же наконец покажут тот спектакль, который придумали комсомольцы.

В наш приморский город приехал отдыхать из Ленинграда артист, певец и музыкант Аркадий Игнатьевич с женой — артисткой ленинградской эстрады.

Аркадий Игнатьевич часто приходил на пляж со своей гитарой. Надоест ему загорать молча — сядет на краю причала, свесит ноги над морем и давай передразнивать бродячих эстрадников-шарлатанов, которые бог знает за какую чепуху сдирают с доверчивой публики деньги.

Он сам сочинял едкие пародии на распространенные песенки тех нэповских времен. Ох, и досталось же в его пародии одесской песенке «Клавочка», в которой героиня «много лопает, ножкой топает» и под ней «бедный стул трещит»! Не пощадил Аркадий Игнатьевич даже новый романс, который нравился слишком доверчивым людям: «Он был шахтер, простой рабочий...» В этой песне, составленной на манер жестокого романса, Аркадий Игнатьевич заметил то, чего многие не замечали: пошлость. Да и в самом деле, шахтер, который «долбил пласты угрюмых шахт», в этом романсе влюблялся и страдал, как великосветский лодырь!

Гость из Ленинграда привез также с собою блестящий никелированный саксофон. Когда по утрам он брал высокие ноты на этом никогда не виданном мною раньше инструменте, то даже задумчивая коза Агнии Трофимовны начинала жалобно блеять, а куры, кудахча, разбегались в стороны, словно по двору скользила страшная тень ястреба.

Ленинградские артисты поселились за два дома от нас, возле морских ванн на Приморской. Мы решили просить их помочь нашей юнсекции.

Аркадий Игнатьевич выслушал мой сбивчивый рассказ и сказал веско:

— Иными словами, готовится пародия на местные нравы? Ну что ж, давайте потревожим мещанское болото!

...Иногда я заглядывал в репетиционную, где ленинградцы и Толя Головацкий отбирали исполнителей для молодежного вечера. Аркадий Игнатьевич сидел обычно в кресле, откинувшись на спинку, с гитарой в руках. У него было длинное сухощавое лицо с выдающимся подбородком и острым носом. Его жена Людмила, хрупкая, изящная, в синеньком спортивном платье с красными кармашками и якорьком, вышитым на груди, сидя рядом, отбивала такт то каблуком, то носком туфельки. Головацкий расхаживал позади — солидный и важный.

Так на одной из репетиций увидел я «перекреста» Осауленко. Он заглянул в клуб по приглашению Головацкого и был несколько смущен этим вызовом, подозревая, что Толя снова хочет побеседовать с ним по поводу его татуировок. Однако, узнав, в чем дело, Миша, по кличке Эдуард, охотно включился в нашу затею. Какие-то скрытые силы обнаружились в этом чубатом парне, от шеи до пяток расписанном русалками, обезьянами да старинными фрегатами. Все ему хотелось делать на вечере — и плясать, и жонглировать пудовыми гирями, и даже петь, несмотря на то что голос Эдуарда был не из мелодичных и часто на репетициях он «давал петуха». Зайдя сегодня в репетиционную, я увидел Мишу Осауленко пляшущим. Он изламывался весь в расслабленных движениях, раздвигал широко

ноги, опускаясь на них почти до самого пола и чуть не разрываясь надвое, вяло махал руками и шаркал подошвами, вновь соединяя ноги «ножницами».

— Как этот танец называется? — хмуро спросил Головацкий.

— Блек боттом! — ответил Михаил, тяжело дыша.

— Кто же тебя научил этому танцу? — допытывался Толя.

— Матрос один плясал в «Родимой сторонке». Ребята, ходившие за границу, говорили, что повсюду сейчас это самый модный танец.

— А ты знаешь, что означает «блек боттом»? — спросил Головацкий.

— Ну, название такое... Скажем, «вальс».

— А все-таки, какое именно название, ты знаешь? — Толя хитро переглянулся с Аркадием Игнатьевичем.

— Не-е-е...— протянул Михаил.

— Эх ты, Матрена Ивановна! Повторяешь, как попугай, чужие слова и даже не поинтересуешься, что они означают. Неужели тебе интересно всю жизнь прожить таким ленивым и нелюбопытным? «Блек боттом» в переводе на русский язык значит «черное дно». А тебе нравится идти на дно? Да еще в кромешную темноту?

Михаил ухмыльнулся, показывая серебряные зубы.

— Не-е-е. Не нравится!

— То-то, милый. Пускай буржуазия, которая считает этот танец модным, сама опускается на дно, а мы для себя выберем что-нибудь повеселее. Нам к свету надо шагать, а не в преисподнюю опускаться!

...Когда по цехам распределяли билеты на молодежный вечер, я забрал два билетика лишних и послал их по почте прямо домой Анжелике Андрыхевич, а внизу, где пишут обратный адрес, написал: «От лейтенанта Базиля Глана». Что мне стрельнуло в голову, сам не знаю. Созорничать хотел.

Как и следовало ожидать, она явилась на вечер вместе с Зюзей Тритузным. Он пыжился, сидя возле нее в третьем ряду, угощал из синей жестяной коробки моссельпромовскими леденцами, нашептывал ей что-то смешное на ухо и сам при этом улыбался первым.

Наблюдая за его ухаживаниями, я думал: «Подожди, Зюзенька! Ты даже не представляешь себе, какое ждет тебя удовольствие!»

Несмотря на старания Тритузного, Анжелика была скучна и смотрела на сцену отсутствующим взглядом, изредка небрежно поправляя пышные волосы и как бы отмахиваясь одновременно от назойливого соседа. Она даже не улыбнулась, когда Головацкий начал свое вступительное слово.

«Глуп тот, кто хочет лишить молодежь веселья и не умеет разумно организовать ее досуг!» — именно так открыл Толя Головацкий молодежный вечер. Все то, что предстояло зрителям увидеть позже, он называл лишь «первой попыткой показать в натуральном свете уродливые явления окружающего нас старого быта и заклеймить навсегда позором тяготение к пустой и безыдейной иностранщине».

— Упадочная музыка, все эти фокстроты и цыганщина, — говорил Головацкий,— вызывают чувство безволия, пассивности, понижают работоспособность человека. И не случайно враги воюют против нас с помощью этой чуждой музыки. Но, клеймя гнилое и чуждое нам,— говорил Толя,— следует учиться хорошему, бережно отыскивать его, лелеять и показывать подлинно народные таланты.

Слова Головацкого, предвещавшие необычное зрелище, внимательно слушал переполненный клубный зал. В зале сидела не только заводская молодежь, но и старые производственники со своими женами. В первом ряду я увидел Ивана Федоровича Руденко, Флегонтова и секретаря городского комитета партии Казуркина.

Я уже слышал однажды Казуркина на производственном совещании литейного цеха, когда он призывал нас всеми силами бороться с браком и не задерживать другие цехи. Турунда рассказал мне, что Казуркин в гражданскую войну служил в Конной армии Буденного, под самый Львов ходил с нею из приазовских степей. Недаром в память об этом походе поблескивал на его белом френче орден боевого Красного Знамени.

Казуркин помог комсомольцам в подготовке вечера. Не раз Головацкий ходил к нему, и тогда все находилось: и коленкор, и гримеры, и балалайки напрокат из соседнего клуба, и кавказские кинжалы из трофейного фонда милиции, отобранные милиционерами у разоблаченных махновцев...

Едва Головацкий кончил говорить, я перебрался к сигнальному колоколу. Отсюда можно было следить не только за тем, что творится на сцене, но и поглядывать искоса в зрительный зал. Правда, надпись на кисее, открытой распахнувшимся занавесом, мне пришлось прочесть с трудом.

ЧАРЛЬСТОНИАДА, ИЛИ ЧТО ПИЖОНАМ НАДО?
(Фельетон в лицах)

Клубные декораторы в точности изобразили салон Рогаль-Пионтковской. Даже колонны из папье-маше, расставленные по бокам сцены на уровне человеческого роста, были, как и там, засалены.

Кисея с надписью, свертываясь, поползла вверх, и на авансцену выскочил тапер во фраке с длинными фалдами — точная копия тапера из салона Рогаль-Пионтковской. Он принялся, картавя на все лады, расхваливать танцы, которым могут обучать «мадемуазелей» и «мусью» в танцклассе за полтинник в вечер. Потом он подбежал вприпрыжку к пианино, и дробь чарльстона прокатилась по сцене.

Из-за кулис под эту музыку стали выкатываться пары.

Сперва смешок пронесся по залу, как легкий порыв ветра, предвещающий неминуемую скорую грозу, потом шум перерос в громкий смех, и скоро весь зал хохотал так, что стекла звенели в высоких окнах, обращенных к морю.

Художники клуба постарались! Набрасывая эскизы костюмов для «Чарльстониады», они заодно с гримерами добились почти фотографического сходства исполнителей, танцующих сейчас на сцене, с известными завсегдатаями салона Рогаль-Пионтковской.

Вихляясь в танце, выскочила на сцену разметчица Марлен. Она была в матроске с длинным воротником, с очень низко подстриженной челкой, почти совсем безлобая и оттого мрачная. Подле нее трясли ногами ее подружки на таких высоченных каблуках, что зрители просто диву давались: как они вообще передвигаться могут?

Губы у девиц были раскрашены ярко, но уже не «бантиками», как требовала мода, а целыми бантами! Почти у каждой из плясуний алело под носом кровавое пятно помады размером с доброе куриное яйцо. А какие прически напридумывал им гример! И челки с напуском на выщипанные стрелками брови, и стоящие торчком тюрбаны из волос. Были здесь и подобранные кверху, с затылка, вороньими гнездами целые копны волос и завитые щипцами пышные кудряшки, как у болонок.

Одна из плясуний в туфельках на босу ногу прицепила себе на прическу чучело зелененького попугая-неразлучника и перепоясалась наискосок двумя рыжими лисицами, связанными позади за хвосты.

Все кавалеры «чарльстонили» в узеньких и куцых брючках. Было боязно, как бы эти клетчатые и полосатые штанишки не разлезлись по швам.

Зрители быстро смекнули, кого изображал актер с пробором, расчесанным посреди седоватых и прилизанных волос. Его одели в кремовые брюки и серый пиджачок, а лицо покрыли густым слоем пудры для загара, перемешанной с тавотом. Лицо танцующего седого кавалера прямо лоснилось, смуглое, как у индейца, а на руке он небрежно держал самшитовую палку с монограммами.

Вне всякого сомнения, это была копия адвоката Мавродиади. Полугрек, полутурок, неизвестно какими ветрами прибитый к берегам Таврии, он появлялся в установленный час на шумном проспекте и не одну пару подметок стоптал на его асфальте. Зимой он сидел где-то в своей юридической консультации, копил деньги и давал советы частникам, как ускользнуть от больших налогов, высуживал наследство всяким тетушкам-салопницам, а с наступлением весны, как только в городе появлялись первые курортники, выползал на проспект. Он знакомился на проспекте с молоденькими приезжими девушками, гадал им по руке и на картах, ходил с ними на пляж и до сумерек лежал там у самой воды в красной феске с черненькой кисточкой. С наступлением вечера он, сделав несколько туров по проспекту, важно шел, постукивая палкой, в салон, целовал руку Рогаль-Пионтковской и танцевал до полуночи.

Но что было опаснее всего: этому стареющему пошляку нравилось быть в окружении молодежи.

Мы надеялись, что клиентура Мавродиади после этого вечера значительно уменьшится, ибо самый лучший способ разоблачить пошляка и жулика — это высмеять его публично. Тут на сцену из-за кулис выскочила еще одна запоздавшая пара. Зал сразу захохотал: даму в тунике, в прическе, задранной от затылка вверх, вел в танце Зюзя Тритузный.

Брючки ему смастерили клетчатые, но до коленей, наподобие футбольных трусов, на ноги напялили оранжевые бутсы, так что ни у кого не было сомнений в том, кто именно изображен на сцене. Скопировали все: и Зюзину любимую прическу под бокс, обнажающую почти до макушки его красноватый затылок в складках, и бантик, зажатый крахмальным воротничком, и все ухватки — предупредительно-вежливые, с наклоном головы вперед, с умильным, приторным заглядыванием в глаза своей партнерше. Танцуя чарльстон, Паша из столярной, играющий Тритузного, нарочно изображал мелкую пасовку — дриблинг и выкрикивал то и дело басом излюбленные Зюзины иностранные словечки и футбольные термины: «аут», «силь ву пле», «ах, шарман!», «ожюрдюи», «апсайт»...

Должно быть, ни разу за всю свою футбольную практику Зюзя не чувствовал себя так глупо, как в этот вечер. На зеленом поле ему было куда вольготнее. Если и промазал у самых ворот и погнал мяч вместо сетки на угловой, то вскоре эта ошибка могла быть забыта. Внимание зрителей быстро переключалось на других игроков. Здесь же Зюзя маячил и вертелся в разных положениях перед зрителями довольно долго.

Сперва подлинный Тритузный, распознав себя в двойнике, фыркнул и, пренебрежительно пожав плечами, заговорил с Ликой. Но стоило столяру Паше, приблизившись к рампе, выкрикнуть любимые Зюзины словечки, как мастер «пушечного удара» сообразил, что над ним смеются довольно зло и обидно. Он стал медленно краснеть. Шея его побагровела, губы сжались. Он силился сидеть как ни в чем не бывало, но все больше и больше зрителей останавливало на нем свои внимательные взгляды. Вот и директор завода Иван Федорович обернулся в его сторону и тоже засмеялся. Этого Зюзя уже не мог стерпеть! Круто повернувшись, он что-то прошептал на ухо своей соседке. Анжелика улыбнулась и покачала отрицательно головой. Зюзя схватил ее за руку, видно пытаясь увлечь из зрительного зала, но Анжелика удивительно спокойно отняла руку и опять покачала головой, продолжая со вниманием следить за тем, что происходило на сцене.

Зюзя оскорбленно пожал плечами и, хлопнув сиденьем, направился к выходу. Он шел по длинному проходу, поскрипывая длинноносыми туфлями, и головы зрителей оборачивались ему вслед. Одни подмигивали, другие шептали ему вдогонку ядовитые словечки, но пуще всех доконал Тритузного Паша из столярного цеха. Видя, что пижон, которого он играет, уходит, Паша выскочил со своей девушкой в тунике на авансцену и крикнул вдогонку Зюзе:

— Оревуар!

Тут, отталкивая Пашу, на сцену вырвалась сама Рогаль-Пионтковская. Она подбежала к рампе, заметая пыль подолом своего старомодного платья, сшитого из черного спецовочного материала. Разглядывая зрителей сквозь стекла костяного лорнета, Рогаль-Пионтковская принялась медленно танцевать.

И никто бы не поверил, что точная копия содержательницы танцкласса не актриса, а мой приятель Маремуха!

Петру навертели седые букли, нарумянили как следует его полные щеки. К мочкам ушей Петрусь канцелярскими зажимами прикрепил хрусталики от люстры. Получилась ну ни дать ни взять вылитая мадам! Обман обнаружился лишь тогда, когда Петро глуховатым мужским баском начал свой монолог.

Обращаясь к своим питомцам-танцорам и гладя их ладонями по плечам, Маремуха бормотал скороговоркой, изредка попадая в такт мелодии чарльстона:

— Ну что, мои букашечки? Что, таракашечки? Соскучились по вашей мамуленьке? Да? Не надо скучать... не надо горевать! Я быстро отучу вас думать... Зачем вам учиться, мечтать о будущем, читать книжки? Не надо! Это ужасно вредно! Танцуйте! Думайте ногами! Вот так, как я, глядите сюда. Вот так! Вот так! Раз-два! Раз-два-три! Маэстро, побыстрее!..

Приподняв немного длинную юбку, Петро стал выкаблучивать что-то немыслимое. Не то это была чечетка, не то украинский гопачок. Но разве дело было в этом?

Он приблизился к пианино и, отталкивая тапера в сторону, подбирая юбку, сел за клавиатуру сам. И едва он коснулся пальцами белых клавишей, как мелодию подхватил невидимый зрителям оркестр.

Хотя Петро раскачивался над клавиатурой и нажимал педали, изображая, что это именно он играет, все понимали, что его игра — обман, и перестали понемногу обращать на него внимание.

Под музыку движения плясунов ускорились. Каждая пара танцевала посвоему, кто во что горазд. У Марлен подломился каблук. Она грохнулась, увлекая своего кавалера — долговязого верзилу с острыми усиками. Их падение было сыграно как настоящее и повлекло за собою кучу малу. У девицы в желтых лисицах сорвали в общей свалке с ее пышной прически попугая-неразлучника, и какой-то красивый франт пытался незаметно запрятать его в карман. Паша — Тритузный покинул свою даму в тунике и начал танцевать с другой девушкой. Его оскорбленная дама набросилась на соперницу с кулаками. Мадам Рогаль-Пионтковская кинулась их разнимать. Все мелкие, ничтожные страсти прорывались в танцорах во время этого замешательства. Из чопорных и надутых они делались суетливыми и сварливыми, толкали один другого, бранились. Адвокату Мавродиади наступили на ногу. Продолжая танцевать, он грозил обидчику палкой.

Одна за другой девицы на высоких каблуках стали все чаще и чаще поглядывать на ноги. Страдальческие гримасы появлялись на их лицах. Исподтишка, в танце, они прикасались руками к туфлям, стараясь хоть этим немного уменьшить боль в пальцах.

Тут чьи-то услужливые руки высунули из-за кулис на край авансцены дерево и маленький кустик. На деревце были указатели: «Дорога на Лиски», «На Собачью балку», «В Матросскую слободу», «На Кобазову гору»... Плясуньи ринулись к заветной «рощице». И тут зрители увидели примерно то же самое, что и мы с Головацким видели, сидя на скамеечке городского парка, под кривой акацией. Девушки срывали узкие туфли, прыгали босиком вокруг деревца, изображая радость и облегчение, и с криками «ах, как хорошо!» мчались по домам.

Несколько самых упрямых пар еще танцевали.

Тут осветитель повернул круг прожектора. Зеленовато-синий лунный свет залил сцену и, когда снова вернулось прежнее освещение, кавалеры оказались седобородыми. Они протанцевали уже всю жизнь. И дам подменили: из молодых и резвых они превратились в старух. Движения их были усталые, расслабленные. А Зюзя Тритузный оказался не только бородат, но и, в довершение всего, лыс.

ПРИМИРЕНИЕ

Несколько раз пришлось раздергивать занавес, чтобы показывать публике всех артистов, взявшихся за руки и выходивших на авансцену под громкий туш, с мадам Рогаль-Пионтковской посредине.

Но настоящий вечер начался лишь после этой вступительной пародии.

Живая газета клуба «Синяя блуза» показала несколько своих номеров.

Вслед за тем струнный оркестр токарного цеха, почти сплошь собранный из молодежи, исполнил «Светит месяц» и «Сентиментальный вальс» Чайковского.

На сцене появился хор стариков завода. К великому моему удивлению, и Гладышев тоже был в их числе. Я привык видеть его в холщовой рубахе с отрезанными до локтей рукавами, и сейчас мне было трудно привыкнуть к новому обличью моего соседа по машинке. Он был в длинном черном сюртуке. Из-под сюртука выглядывал воротник красиво вышитой синей косоворотки. Оказалось, Гладышев поет басом.

Хор пропел «Замучен тяжелой неволей», потом — «По диким степям Забайкалья» и «Красное знамя». Старикам шумно аплодировали, кричали «бис». Они пошептались и спели казачью песню «По Дону гуляет казак молодой», потом — «Мы кузнецы, и дух наш молод». Но видно было, песни каторги были памятнее всего старикам рабочим, потому что, когда их вызвали снова, они запели «Диньбом, динь-бом, слышен звон кандальный». За сценой в это время позванивали цепями. И зрителям сразу представились дальний Сибирский тракт, партия револю-

ционеров, бредущая по этапу в кандалах, сквозь пургу и мороз, в снежную Сибирь...

Чтобы программа была разнообразнее, Головацкий вместе с директором клуба пригласили певцов из Водместрана. Их было всего трое, и они вышли на сцену — из желания подчеркнуть свою близость к морю — в брезентовых робах и широкополых шкиперских зюйдвестках. Я узнал среди них и крепыша Колю — матроса из ОСНАВа, который предлагал Лике спасательный круг, когда мы ехали с нею на лодке. Певцы откашлялись и под баян запели веселые «Таганрогские частушки». Изредка они притопывали ногами, обутыми в охотничьи бахилы выше коленей. Я и не знал раньше, что азовские рыбаки такие мастера сочинять смешные песенки, подобные «Саратовским страданиям».

Потом они запели шуточные морские песенки, которые и доселе можно услышать по всему побережью Черного и Азовского морей, от Скадовска и до Ростова-на-Дону. Рожденные в первые годы после революции, песенки эти высмеивали интервентов, помогавших белякам воевать против молодой Советской Республики. Певцы под бренчание двух балалаек осмеивали черного барона Врангеля, лохматого Махно, английских коммодоров, которые вывозили из Крыма на своих миноносцах русских великих князей, получая от них вознаграждение за проезд фамильными бриллиантами.

Впервые на том молодежном вечере услышал я матросскую песню «Раскинулось море широко» в исполнении Аркадия Игнатьевича.

Выпустили заводских плясунов. Много их оказалось. Никто бы и не подумал раньше, что столько талантов скрыто среди рабочих одного нашего завода. Плясал иной раз человек на свадьбах, на крестинах, на обычных домашних вечеринках, плясал в компании друзей у Челидзе, в его «Родимой сторонке», но никто не придавал этому серьезного значения, и никому не приходило в голову пригласить такого способного танцора в клуб, вывести его на сцену, дать ему возможность показать свое искусство всему заводу сразу. И молодчина Головацкий, что затеял это!

Первым, нахлобучив барашковую папаху, в черкеске с газырями, танцевал слесарь Паша Хименко. Он раскачивался на коленях и, отбивая поклоны, потом пошел колесить по сцене. Круги, которые он выписывал, сужались, ноги, обутые в мягкие чувяки, скользили по доскам все быстрее, пока наконец он не закружился в стремительном, как вихрь, горном танце, размахивая кинжалом.

Черномазый беженец из Бессарабии Ступак изобразил на сцене, как у него на родине танцуют «Жок». Позже этот танец, названный «Молдаванеска», стал широко известен в нашей стране, но в те времена он был в диковинку. На сцену выскочил переодетый матросом Миша Осауленко из транспортного цеха. Он был в морской робе салатного цвета, с круглыми перламутровыми пуговицами, и лицо его сияло от удовольствия.

Осауленко то мелко семенил ногами, уходя в глубь сцены, то, цепляясь за воображаемые ванты, как обезьяна, взбирался на высокую мачту, то, полусогнувшись, перебирал канат, то, бросаемый вправо и влево сильнейшим океанским штормом, изображал матроса, работающего в страшную непогоду.

Я знал, что дальше Белореченской косы бывший Эдуард — Миша Осауленко в море не ходил, и удивлялся тому, насколько хорошо чувствует морскую стихию этот береговик.

Вслед за заводскими танцорами выпорхнула на сцену жена Аркадия Игнатьевича Людмила. Была она в простеньком своем платьице с красными накладными кармашками. В каждом ее движении были и точный расчет, и своеобразное изящество. По знаку Людмилы оркестр затихал, и тогда она добрые две минуты вела мелодию сама, выбивая на сцене дробь каблучками.

Головацкий сперва не хотел выпускать на сцену нашего знакомого извозчика Володьку под тем предлогом, что он-де кустарь, а не заводской. Но мы уговорили Толю изменить свое решение и даже показали ему партизанскую карточку Володьки. Не пришлось жалеть, что Володька появился на сцене. Он прекрасно жонглировал под звуки музыки большими никелированными шарами, сделал стойку на двух бутылках, поддерживая свое тело одной лишь здоровой рукой, а после этих фокусов сплясал не хуже Людмилы. Его «Яблочко» вызвало шумные аплодисменты. А когда Володька протанцевал знаменитый приазовский «Чебачок» и за-

вершил свой выход шуточным танцем «Тип-топ» с палочкой, успех его лихой пляски затмил всех остальных танцоров, выступавших до него.

В просторном фойе, куда повалили после концерта зрители, были заранее развешаны карикатуры на завсегдатаев салона Рогаль-Пионтковской.

Над шаржами, подле которых сразу же стали собираться зрители, через всю стену тянулись броские надписи: «Долой чарльстоны и фокстроты!», «Выгоним навсегда из нашего быта буржуазную культуру!», «За разумный и веселый отдых нашей заводской молодежи!»

Здесь же юнсекция клуба металлистов рассказывала гостям, в какие кружки они могут записаться. Был среди них и кружок сольного народного танца. Юнсекция извещала, что на днях открывается школа для желающих обучиться бесплатно таким танцам, как вальс, краковяк, мазурка, венгерка и полька.

Педагоги из вечернего рабочего университета воспользовались нашим вечером и развесили в фойе условия приема. «Каждый рабочий может стать инженером!» — было написано на плакате.

Пока публика прогуливалась в фойе, я вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. И здесь, у входа в клуб, увидел Лику. Протягивая мне руку, она сказала:

— Здравствуйте, лейтенант! Спасибо за приглашение.

— Здравствуйте,— сказал я, делая вид, что не замечаю ее укола.— Вам понравилось?

— Необычно. И смешно. Такого до сих пор в клубе не было. Вы домой? — Она посмотрела на меня из-под своих густых ресниц, высокая, красивая, и, словно боясь, что я скажу «нет», добавила: — Проводите меня. Мой спутник обиделся и сбежал.

— Я видел.

— Злорадствуете? Жестоко немного. Думаете, он с большой охотой на Генуэзскую ходил? В клубе скучно, вот все туда и зачастили. Так вы меня проводите?

Глянул я на Анжелику, увидел в ее больших, чуть раскосых глазах просьбу, и жаль мне стало обидеть ее грубым словом. Я пошел вместе с нею.

— Что значит «скучно», Лика? Смешно это. Маленький ваш Зюзя, что ли? Няню ему надо, чтобы развлекала? Вы думаете, хотя бы одну книжку в год он прочитывает?..

— Не читает,— сказала Лика и рассмеялась.— Тут я пас! Я молчу.

— Вот видите! — бросил я раздраженно.— Чудаку, который не хочет думать и мозги свои переместил в ноги, всюду будет скучно.

— А скажите, Василь, почему вы меня пощадили в «Чарльстониаде»? Я все ждала, что увижу себя в этом паноптикуме пошляков.

— Мы хотели... мы думали...— пробубнил я, не зная, как мне отвертеться от прямого ответа, и наконец бухнул:— Мы хотели в первую очередь повлиять на заводских.

— Скажите проще — что меня уже нечего воспитывать. Верно? — И Лика посмотрела на меня в упор так пристально, что я смутился.

— Я этого не сказал,— буркнул я и подумал про себя: «Опять она переводит разговор на личные темы».

— Вы хороший, славный парень, Василь, и чего там греха таить — симпатичный, но иногда вам не хватает шлифовки и широкого кругозора. По-вашему, весь мир должен складываться только из рабочих и никому иному больше места под солнцем нет. Но так же жизнь станет серой и неинтересной. А что, если часть людей будет музыкантами, артистами, художниками, теми, кого вы так презрительно зовете «интеллигенты»? Что в этом плохого? Должен кто-нибудь украшать жизнь?

Меня взбесил этот поучительный тон Анжелики и ее высокомерный взгляд. Понимая, что надо сопротивляться и во что бы то ни стало отстоять свои позиции, я отрезал:

— Прежде всего надо новую жизнь построить, а уж потом ее украшать!

— Но одно другому не мешает, Василь,— мягко сказала Лика,— и я не понимаю, почему вы снова ершитесь?..

...Мы шли пустынной улицей к морю, и я досадливо думал, что намеревался

провести вечер совсем иначе. И хотя рядом со мною шагала девушка, которую по всем правилам приличия следовало развлекать, я упрямо молчал.

Думалось совсем о другом. Еще не остыл азарт тех дней, когда мы сообща, веселой молодежной артелью, с помощью заводских стариков, мастерили жатки для Никиты Коломейца и очистили часть цеха, где была обнаружена мина.

А сколько еще труда впереди! Флегонтов рассказывал, как участвует в борьбе за повышение производительности труда комсомолия Ленинграда. Хотелось и у себя применить ее опыт. Заведем для всего цеха щит «Потерянные минуты» и будем отмечать на нем каждую минуту вынужденного простоя, а Коля Закаблук станет подсчитывать, во что обходятся эти потери... Деревья между цехами посадим, клумбы разобьем... Много дел ждет нас!

Словно угадывая мои мысли, Анжелика сказала тихо:

— Я вам надоела?

— Нет, зачем...— очнулся я.

— Скажите, почему вы меня сторонитесь?

— Мы с вами разно смотрим на жизнь,— сказал я прямо.

— Я охотно это признаю, но признайте и вы, что нельзя рассматривать человека только в одном измерении.

— Как так?

— А вот так, как вы смотрите хотя бы на меня. Думаете небось: пустая, взбалмошная девчонка, которой очень хорошо живется под крылышком у своего папы! — В словах Анжелики послышалась горечь.

— А как же думать иначе, послушайте, Лика? Раз вы сами...

Но она не дала мне договорить.

— Видите, Василь,— сказала она горячо,— вы любите все осуждать бесповоротно и не хотите войти в положение человека, у которого, может быть, кошки скребут на душе. А так нельзя! Тогда, на лодке, стоило мне сказать: «Жду счастливого случая»,— как вы сразу напали на меня. Вы поленились даже поинтересоваться, как надо понимать эти слова. Я прекрасно знаю: вы меня зачислили в разряд безвольных барышень, которые все будущее свое видят в замужестве. Но поймите и поверьте, что такая жизнь меня не устраивает! Я не хочу быть только отражением чьей-то активной жизни. Я не хочу быть с другой стороны, быть похожей на этих тучнеющих смолоду торговок, которые все удовольствие в жизни видят в том, чтобы покушать посытнее, нарядиться в свои тряпки и выйти в воскресенье с мужем под руку на проспект — себя показать.

Признаться, эти откровенные слова ошарашили меня. Сбитый с толку, я спросил:

— А что же вас устраивает?

Она встряхнула волосами и, думая о своем, сказала:

— Если бы вы только знали, как я ненавижу этот удушающий запах провинции!

— Вы опять говорите не то, Лика! — возразил я.— Вольно вам с обывателями дружить. Но есть же и хорошие люди в нашем городе. А вы их всех в одну кучу сваливаете. Возьмите, к примеру, завод. Сколько там доброго, интересного, умного люда есть. При чем здесь «провинция»?

Мы уселись на парапет набережной, вблизи того самого места, где я увидел Анжелику впервые.

Вдали, на рейде, поблескивал освещенными иллюминаторами грузовой пароход «Балтимора». К нему подвозили на больших барках-шаландах зерно; команда парохода сама перегружала его в трюмы с помощью лебедок. Вот и сейчас их треск доносился к нам издали, смешиваясь со звуками чужой, иностранной речи и топотом ног матросов, то и дело пробегающих освещенной палубой.

— Я знаю, Василь, что в нашем городе есть немало интересных людей, у которых при желании можно научиться и твердости воли, и умению найти в жизни главную цель,— нарушая молчание, сказала Лика.— Но в данную минуту я говорю с вами о своем собственном окружении. Можно говорить с вами откровенно? — Голос у нее дрогнул.

— Рискните. Я больше всего в жизни люблю откровенных людей.

— И не будете шуметь по поводу моих слов? — Она посмотрела на меня как-то особенно, и я понял, что она хочет доверить мне какую-то тайну.

— Зачем же мне шуметь?

— Я вам верю. Слушайте, Василь... Папа и мама думают, что все это ненадолго... Ну, Советская власть и все такое прочее.

— Ох, вы меня и удивили, Лика! Разве не мог я догадаться об этом и без ваших признаний, один лишь раз поговорив с вашим папашей?

— Догадались? Ну, видите! С вами он был очень откровенен. Во всяком случае, больше, чем с другими... Так вот, мои родители уверены, что это ненадолго, что это все надо переждать, как мелкий дождик. И люди, с которыми они общаются, думают так же. К маме приходят всякие кумушки и говорят: «Скоро, скоро... Еще немного терпеть осталось». То на Врангеля у них была надежда, то на Кутепова. Одно время прошел слух, что Махно соединился с Петлюрой и якобы сели они на корабли и прямиком едут из Варны сюда, в Таврию, спасать Россию от большевиков. Мама даже купоны царских государственных займов подсчитывать стала...

Я не выдержал и сказал хмуро:

— Не дождутся они этого! Облысеют совсем, как ваш Зюзя Тритузный в той живой картине. Вся их жизнь пройдет никчемно, а Советская власть как стояла, так и будет стоять!

— Прежде всего, Василь, давайте договоримся: Зюзя такой же мой, как и ваш.— В голосе ее послышалась обида.— Дайте же мне досказать...— И она взглянула на меня пристально.

— Конечно говорите! — буркнул я.

— Так вот, судачат эти кумушки целыми днями в нашем доме, вспоминают, какие тут свадьбы играли, как некто Эдвардс на Рогалихе женился, сколько у них хрусталя разбили пьяные гости, и вся жизнь их заключена в этих воспоминаниях. Слушаю я ежедневно одно и то же и думаю все чаще: «А мне-то до этого какое дело? Ведь у них нет ничего, кроме воспоминаний, а я-то жить хочу! А у меня может быть настоящее будущее».

Искренность последних слов Лики тронула меня, и я спросил мягко:

— Почему же вы мне возражали тогда?

— Ах, по глупости! Просто из чувства противоречия.

— С этим чувством далеко не уйдешь!

— А я, думаете, не знаю? — сказала она так же душевно.— Знаю! И оттого, раскаявшись, записку писала и сейчас подошла к вам. Этого раньше со мной никогда не бывало, чтобы я, упрямое создание, призналась в своей неправоте...

— Я, Лика, считал и считаю так: лучше сказать в глаза человеку всю правду, все, что про него думаешь, чем сюсюкать с ним, потакать его прихотям.

— Это верно. Скажите лучше, вы действительно уверены в моей безнадежности?

Хитро и ловко подвела она меня к этому вопросу. Сказала с усмешкой, будто между прочим, а теперь глядела на меня своими внимательными и глубокими глазами.

— Никто этого не думает, но мне кажется...

— Да нечего мямлить! Говорите прямо, что вам кажется!— подзадорила меня Анжелика.

Я и отрезал:

— А вам не жаль будет оставить уют родительского дома, ваши ковры и фей? Мне кажется, что вы привыкли к ним очень!

Она сказала уверенно:

— Поверьте, если увижу проблеск впереди, нащупаю выход, то расстанусь со всем этим бесповоротно.

— Вы это твердо решили? — спросил я напористо и серьезно.

— Твердо! Ах, как мне все это надоело, если бы вы знали! Остепенилась, из сорванца барышней стала, а мать все еще отца Пимена нет-нет да и пригласит домой, чтобы закону божию учил меня. Какой тут может быть закон божий, если миллионы людей давно по новым законам живут!

Трудно мне было скрыть свою радость, и я сказал облегченно:

— Значит, вы в божественное не верите?

Она звонко рассмеялась и весело похлопала меня по руке:

— Смешной, Василь, вы иной раз бываете. И наивный. Да неужели вы меня считаете такой безнадежной дурехой. Ну конечно не верю!

— Отчего же у вас над диваном лампадка горит?

Продолжая улыбаться, она ответила просто:

— Пока я живу в родительском доме, я не могу каждый день скандалы устраивать.

— А вы плюньте на них! Бросьте ко всем чертям эти лампадки, кумушек, фей и поступайте учиться. И лучше в другом городе. Вот послушайте, что я вам расскажу. Была у нас в фабзавуче одна девушка, Галя Кушнир. Училась с нами два года, ни в чем не отставала, хотя ей подчас и трудненько было зажимать болванки на токарном станке. Закончили мы фабзавуч, получили путевки, и она вместе с нами получила. А ведь у нее тоже, как и у всех, имелись отец и мать, и никто бы не стал попрекать ее, если бы она при них осталась. Но Галя решила правильно. «Чем я хуже хлопцев?» — сказала она. Наша Галя гордая и смелая девушка! Она тоже уехала в Одессу. Я вот письмо от нее получил. Устроилась. Рада. Сама себе хлеб зарабатывает и ни от кого не зависит.

Лика взглянула на меня вопросительно:

— Бросить, вы думаете? А не страшно?..

— Чего же страшиться? Ведь были же у нас в фабзавуче хлопцы — полные сироты: родителей у них петлюровцы поубивали. И что вы думаете — погибли хлопцы? Выучились! Мастерами стали! Конечно, жить на восемнадцать рублей стипендии трудно было, слов нет. На чечевице да на мамалыге неделями сидели. Выдержали все и в люди вышли. А разве вы не сможете жить самостоятельно, без папы с мамой? Я вам от души советую: бросайте всю эту музыку, идите учиться.

Она сидела молча, постукивая каблучками о стенку парапета. Взгляд ее был устремлен к маяку, который поглаживал море вокруг себя серебристым лучом света. Задумчивое ее лицо казалось особенно милым в эти решительные минуты.

— Да, Василь, решено! — сказала она, резко поворачиваясь ко мне.— Помяните мое слово. Но как раз музыку я бросать не собираюсь. Я хочу учиться в консерватории. Может, поеду в Ленинград, у меня там в Свечном переулке тетка живет. Приезжала однажды — звала к себе. Вот я и поеду к ней.

— Прекрасно! — сказал я, тронутый этими словами.— Да вы, оказывается, хорошая!

— Может быть, не знаю...— ответила она просто.

Я помог ей спрыгнуть с парапета, и мы быстро зашагали к клубу, откуда чуть слышно сюда, на море, доносилась музыка.

— Признайтесь,— сказала Лика, попадая в такт моим шагам,— на отца сильно вы обиделись за его иронический тон?

— Я больше обиделся на него за другое.

— Вы разве с ним еще встречались?

— Даже не раз. Мы с ним схватились однажды. И он мое изобретение забраковать хотел...

— Папа? — спросила Лика так, будто ее папаша был святым.

— Он самый! Я придумал одну штуку. Ну, по поводу общего подогрева формовочных машинок... Провели мое предложение на цеховом производственном совещании: и партийная ячейка поддержала, и старые рабочие. Послали предложение вашему папе как главному инженеру. Без него же все эти дела не решаются. А он знаете что на предложении написал?

— Он меня в свои дела мало посвящает,— сказала Лика.

— Написал бы просто «нет» — и весь разговор. Я бы постучался в другие двери. А он ехидную такую резолюцию наложил: «Проект юного фантазера, который сам по себе горяч и без подогрева». Как вам это нравится?

— Узнаю папин стиль,— сказала Лика и утешила меня: — А вы не огорчайтесь. Он весь в чудачествах. Даже яблоки и те с червями ест и приговаривает: «Пока я имею возможность, я этого червяка съем, а то позже он меня слопает!»

— Но эта резолюция не чудачество, а издевательство!

— Я вам могу откровенно сказать: папа себялюб и большой эгоист. Часто ему даже приятно видеть чужие неудачи. Он приговаривает в таких случаях: «Чем хуже, тем лучше!» Хотите, я попытаюсь уговорить его, чтобы пересмотрел свое решение? — охотно предложила Лика, и я увидел сочувствие в ее глазах.

— Нет уж, не надо! Без заступников обойдемся.

...Громкие звуки духового оркестра встретили нас, едва мы, жмурясь от яркого света, вошли в вестибюль клуба металлистов. Я узнал старинный вальс «Лесная сказка».

Первое, что бросилось в глаза, как только мы приблизились к танцующим, были старички, кружащиеся в плавном вальсе. Они не ушли домой и не завернули в «Родимую сторонку», как обычно, а, придя в гости к заводской молодежи, вспомнили свою собственную юность. Даже стриженый Гладышев чинно, но не очень, правда, ловко вальсировал со своей женой. О молодежи и говорить нечего. Было ее здесь куда больше, чем в самый доходный вечер у Рогаль-Пионтковской. Смотрел я на мелькавшие предо мною знакомые лица молодых рабочих и понимал, что все они чувствуют себя тут куда привольнее, чем на Генуэзской.

Вот пролетел в танце перед нами, прижимая к себе смуглянку Катерину с янтарным монистом на шее, Лука Турунда в голубоватой простеганной белыми нитками морской робе. Он подмигнул мне на ходу и сразу же вслед за этим сделал большие глаза, увидев, что я стою с дочерью главного инженера. Турунда знал о той обидной резолюции, какую нацарапал на моем заявлении Андрыхевич, обзывал его «старорежимным чертом» и сейчас не мог понять, почему я так мирно беседую с Анжеликой.

Музыканты заиграли польку. Я уже собрался пригласить Лику на танец, как неожиданно вздрогнул, будто меня укололи. На противоположной стороне, неподалеку от Маремухи, стоял, скрестив на груди руки, Головацкий и внимательно наблюдал за нами. Не забыл еще, видно, Толя, как предупреждал он шутливо меня, чтобы я «не занозил сердце у соседей». Теперь, видя нас вдвоем мирно беседующих, он терялся в догадках.

«Эх, ладно! — подумал я.— После, Толенька, растолкую тебе все». И, схватив Лику под локотки, пустился в пляс.

Не успел дотанцевать польку, как увидел в дверях Гришу Канюка. Лицо его, в струйках пота, хранило следы только что законченной работы в литейной. И странным показалось, что Гриша Канюк не забежал домой переодеться, а пришел в клуб, на танцы, в грязной робе. Отыскав меня глазами, он делал нетерпеливые знаки, вызывая из зала.

— Меня зовут, Лика, простите,— сказал я и, подведя ее к свободному стулу, пошел напрямик к Грише.

— Головацкого, тебя и всех активистов комсомола срочно требуют на завод! — тяжело дыша, шепнул Канюк.

Было видно, что он не шел, а бежал сюда. Ничего не понимая, я протянул:

— Там же никого уже нет...

Пробегая мимо, видимо тоже вызванный кем-то, Лука Турунда тронул меня за локоть и сказал:

— Быстрее, Манджура! На совещание к Руденко!

Пока мы добежали, кабинет директора уже заполнили коммунисты завода и секретари многих комсомольских ячеек. Горели две лампы под зелеными абажурами, и при их свете я успел заметить секретаря горкома партии Казуркина, нашего Флегонтова и начальника городского отдела ГПУ, уже виденного мною в тот день, когда под основанием мартена мы обнаружили иностранную мину.

Когда все расселись, Руденко, обведя глазами собравшихся, заговорил:

— Больше ждать не будем. Итак, товарищи, сегодня ночью, используя канун выходного дня, враг хотел подорвать основные жизненные узлы завода. Вражеский план минирования у нас в руках! Вот он.— Руденко показал пальцем на мятый чертеж, лежащий перед ним.— Считаю долгом поблагодарить за своевременную находку этого документа наших товарищей чекистов!

С этими словами Иван Федорович повернулся к начальнику городского отдела ГПУ и крепко пожал ему руку. А тот затряс головой, как бы говоря, что ни он, ни его работники не заслуживают благодарности. Новость, объявленная директором, ошеломила нас. И в напряженной тишине еще строже и внушительнее прозвучал голос Руденко:

— Первый тревожный сигнал о вражеских «подарках» мы, как известно, получили во время комсомольского воскресника. Подлый наймит буржуазии, кому было поручено подорвать мину, в самую последнюю минуту растерялся и не

сумел произвести диверсию. А потом молодежь перечеркнула его планы своим воскресником. К счастью, он изолирован и на первом же следствии оказался очень разговорчивым. Такие же мины, заложенные здесь диверсантами еще в тысяча девятьсот девятнадцатом году, изъяты в кочегарке и возле вагранок.

— Кто этот наймит, Иван Федорович? — послышались голоса.

— Пропойца и бракодел Ентута, обманным путем затесавшийся в ряды рабочего класса,— в настороженной тишине сказал директор.

«Так вот кто, наверно, пытался запугать нас своим подметным письмом, когда мы стали выводить его на чистую воду!» — пронеслось у меня в голове.

Директор, помолчав, продолжал:

— А об остальном вам доложит Кузьма Никанорович! — И снова он посмотрел на низенького, очень добродушного человека в сером коверкотовом костюме, предлагая ему жестом руки занять председательское место.

Всю ночь, до рассвета, участники этого внезапного совещания дежурили в цехах, охраняя завод до той минуты, пока действия врага не были полностью обезврежены.

То, что лодырь и пьянчужка Кашкет оказался наемником врагов, довольно быстро потеряло остроту новизны.

«Разве не ясно было и раньше, что именно среди таких разложившихся типов иностранная буржуазия вербует своих агентов! — раздумывал я, шагая около остывающих вагранок.— В погоне за длинным рублем, за лишней четвертью водки они, не знавшие никогда, что такое родина, могут пойти на любое кровавое дело...»

Мадам Рогаль-Пионтковская, о которой сдержанно, но очень веско в тот вечер сказал нам Кузьма Никанорович, располагала сведениями о прошлом Кашкета уже давно, еще с той поры, как дала согласие быть резиденткой английской разведки в нашем приморском городе, прикрывая свою тайную подрывную работу против Советского государства вывеской мирного танцкласса.

Первый же связной, прибывший из Лондона на грузовом пароходе «Балтимора», вручил ей при тайном свидании не только письмо от муженька-сахарозаводчика, бежавшего из-под Умани за кордон, но и некий «деловой документ». Это был список «верных еще людей», составленный по заданию иностранных разведок, видимо, самим Нестором Махно, который в те годы жил в Париже и даже, по слухам, преподавал там в академии генерального штаба свое бандитское ремесло. Он мечтал с помощью войск Антанты вернуться на своих тачанках к берегам Азовского моря.

Был занесен в этот список и анархист Ентута по прозвищу Кашкет. Его-то и прибрала к своим холеным рукам, украшенным бриллиантовыми перстнями, мадам Рогаль-Пионтковская еще в те дни, когда ей принадлежал ресторанчик «Родимая сторонка». Кашкет приходил к «мамаше» выпить в долг, часто без отдачи, пользуясь ее «добрым сердцем». И когда уже в собственном танцклассе на Генуэзской мадам потребовала от него первую расписку в получении ста рублей за работу для разведывательной службы Интеллидженс сервис, Кашкет не колебался.

Потом целый год после их свидания Рогаль-Пионтковская и ее агенты были предоставлены самим себе. Связь с Лондоном порвалась. Пароходы под британским флагом долгое время не заходили за грузом в советские порты. Хозяева Рогаль-Пионтковской решили связаться с мадам из танцкласса иным путем.

Попович из Ровно, Козырь-Зирка, должен был после взрыва штаба ЧОНа в нашем подольском городе посетить Донбасс и Приазовье и вручить новые инструкции из Лондона резидентам, замаскировавшимся, подобно Рогаль-Пионтковской, на советской земле. Это и была та вторая задача, поставленная поповичу из Ровно, которую так долго и упорно разгадывал Вукович. Многие на первый взгляд мелочи помогли Вуковичу в этом деле. Среди них важно было и случайное предположение, высказанное в письме к Никите,— насчет того, что нет ли родственной связи между содержательницей танцкласса в городе у моря и старой графиней, виденной нами еще в далеком детстве на Заречье.

Вукович установил связь между появлением в городе у моря Печерицы и тем, что оставшийся в живых муженек «вдовы инженера из Умани» благополучно пребывает за границей и даже благодаря своему графскому титулу занесен в спра-

вочную книгу, где значатся именитые люди Европы, под странным названием «Кто есть кто?».

Когда Полевой ранил Козыря-Зирку на чердаке штаба ЧОНа, попович из Ровно вынужден был остаться до выздоровления в квартире Зенона Печерицы и передал ему свое второе задание.

Вполне возможно, не разузнай Вукович своевременно, где скрывается Козырь-Зирка, Печерица спокойно под видом очередной служебной командировки уехал бы в Харьков, а там завернул бы и к Азовскому морю. Но случилось иначе. Печерице пришлось одновременно и бежать и выполнять задание, порученное ему ровенским поповичем.

Имея в руках Печерицу и Козыря-Зирку, Вукович уже мог связать все нити.

Предупреждение, сделанное мне Коломейцем около железнодорожного кипятильника, было не случайным: лишняя болтовня о Рогаль-Пионтковской могла помешать поимке врагов.

А нервы мадам в последнее время сдали. Как только ей стало известно, что Кашкет арестован, она поспешно собрала фамильные бриллианты и, дождавшись сумерек, решила «покататься на лодке».

В то время как Петро Маремуха изображал ее на сцене, мадам Рогаль-Пионтковская огибала на легком тузике волнорез, чтобы незаметно со стороны открытого моря подобраться к пароходу «Балтимора», который догружался на рейде зерном.

Кузьма Никанорович не сказал нам в тот вечер, что по соседству с Рогаль-Пионтковской оказалась другая лодка и в ней были наши, советские люди. Они-то и помешали Глафире Павловне ухватить штормтрап, спущенный заблаговременно с борта ржавого грузового парохода... Он лишь объяснил нам, какая опасность угрожала заводу, и обронил фразу: «Мадам задержана своевременно».

Признаюсь, многим из нас не все было ясно в ту ночь, когда мы несли охрану завода. Я пишу теперь обо всем столь подробно потому, что последующие дни, наполненные разговорами и пересудами об этом таинственном деле, помогли понять происшедшее.

ПЛЕЩУТ АЗОВСКИЕ ВОЛНЫ...

Шторм к вечеру разгулялся такой, что даже в порту желтые волны с грохотом били в гранитную стенку мола. Атакуя бешено порт, они то поднимали кверху, то лениво опускали вниз приземистый колесный пароход, готовый к отплытию.

Над ободком колеса виднелась полукруглая надпись:

Феликс Дзержинский

В прошлый рейс этот пароход, идя в Керчь, завернул к нам и первый принес горестную весть о смерти человека, именем которого был назван.

Он вошел тогда в порт со стороны косы и еще с внешнего рейда загудел тревожно и печально. Окаймленный траурным крепом флаг его был приспущен.

Комсомольцы порта узнали от радиста подробности правительственного сообщения еще до получения из Мариуполя номера газеты «Приазовский пролетарий». Они рассказали нам, что Феликс Эдмундович умер в Москве от разрыва сердца после своего выступления на Пленуме ЦК, где он, как всегда горячо и гневно, разоблачал презренных врагов народа — троцкистов. Весть о смерти товарища Дзержинского ошеломила всех нас... Еще совсем недавно, перед отъездом сюда, я слышал, как поздней ночью звонил Феликс Эдмундович начальнику нашего погранотряда. Вспомнилось, с каким волнением сказал мне тогда Никита Коломеец: «Ты знаешь, кто это звонил? Первый чекист революции!»

На следующий день, в перерыве, по поручению Флегонтова я читал рабочим литейной, собравшимся на плацу возле больших машинок, обращение Центрального Комитета ВКП(б) по поводу смерти Дзержинского:

— «Скоропостижно скончался от разрыва сердца товарищ Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший борец коммунистической революции, неутомимый строитель нашей промышленности, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев...

Его больное, вконец перегруженное сердце отказалось работать, и смерть сразила его мгновенно. Славная смерть на передовом посту...»

Прочел я это и остановился. Почувствовал, как рыдания подступают к горлу. С трудом сдержал себя, чтобы не разрыдаться перед всем цехом, перед грустными и суровыми лицами моих товарищей по работе. А потом, когда тихим, приглушенным голосом дочитал обращение до конца и, свернув газету, направился к рабочему месту, меня догнал Флегонтов. Он по-отечески положил мне на плечо свою тяжелую, припорошенную графитом руку и сказал вполголоса:

— Трудно было читать, Василь? Я тебя хорошо понимаю. Такая потеря! Ты понимаешь, дорогой, как все мы — старики и молодежь, коммунисты и беспартийные — должны сплотиться вокруг партии, чтобы восполнить и эту потерю и смело идти вперед, несмотря на все происки буржуазии?..

И, глядя сейчас в порту на близкую и родную надпись: «Феликс Дзержинский», я все никак не мог свыкнуться с мыслью, что этого человека уже нет в живых.

«Феликс Дзержинский» возвращался в Ростов-на-Дону со стороны Крыма, и мы должны были уйти с ним в рейс до Мариуполя, на окружную конференцию комсомола.

Нам, непривычным к шторму, было страшновато уходить в ночь в это шумящее беспокойное море.

На самой верхней палубе появился высокий моряк и крикнул:

— Эй, Селезень! Завинти повсюду на шлюпках донные пробки! Выйдем в море, там разведет волну еще больше.

Голос моряка показался знакомым, но со свету я не мог разглядеть его лицо.

Толя Головацкий, стоявший рядом, сказал:

— Дело будет, братки! Барометр падает.

— А мне казалось, ветер тише...

— Пусть тебе не кажется, Манджура. Глянь-ка лучше на метеовышку. Сколько там было черных мячиков днем? Восемь! А сейчас уже появился и девятый.

— Да уж коли капитан отдал приказ подготовить шлюпки, значит, на море настоящая качка,— согласился с Головацким секретарь комсомольской ячейки таможни Колотилов.

По скрипучему трапу мы поднялись к вахтенному. Он проверил наши билеты, и тогда Головацкий предложил забраться всем повыше.

— В каютах жара. Разморит,— сказал Толя, поглядывая на побледневшего Колотилова.

Мы сложили наши вещички возле кормовой шлюпки и, подойдя к борту, поглядывали на далекие сигнальные огоньки, повешенные где-то на уровне Кобазовой горы.

Вскоре убрали сходни. Грузчики, оставшиеся на берегу, отдали носовой канат. Засвистал пар, машина заработала, и пароход стал медленно отчаливать от гранитной стенки мола.

Вот и кормовой канат, ослабев, упал с причальной тумбы. Его перебросили на палубу. Уже ничем не сдерживаемый пароход, маневрируя, быстрее залопотал колесами. Заскрежетала, заерзала на верхней палубе рулевая цепь. Полукруглые портовые пакгаузы алюминиевого цвета отходили от нас все дальше.

Силясь перекричать ветер, Головацкий спросил:

— Споем, ребята?

И, видимо понимая, что возражений не последует, он запел низким приятным голосом:

Вперед, краснофлотцы, вперед, комсомольцы,
На вахту встающих веков!..

Звонкими голосами, мигом уносимыми ветром, мы подхватили припев, с нежностью провожая взглядом знакомый узенький порт.

Испещренный желтыми огоньками, постепенно проплывал перед нами город на песчаном приазовском берегу. Подтягивая любимую песню, я силился отыскать в нитке прибрежных огней освещенное окошечко нашего домика.

Бобырь с Маремухой вызвались было проводить меня, но я отказался. Неизвестно было, отойдет ли пароход по расписанию, а ведь завтра надо работать.

И еще под звуки бодрой песни хотелось разглядеть с палубы обвитое плющом соседнее окошечко в комнате Лики.

Теперь-то я мог с уверенностью сказать, что она выполнит свое слово. Еще сегодня за обедом Агния Трофимовна подкрепила мою уверенность брошенными мимоходом словами:

— А у соседей плач стоит. Барыня рыдает, инженер хмурый, как ночь. Дочка ихняя в Ленинград собирается, а они ее отговаривают. Инженерша ей золотые горы сулит. «Не надо тебе, говорит, этой... как ее... консистории... На дому тебя учить будем. Двух учителей найму, да и регент из Лисовской церкви захаживать будет. Ты от чахотки умрешь в том Ленинграде». А дочь на своем стоит, не поддается на уговоры, и все тут! Барышня настойчивая.

Слушал я Агнию Трофимовну — надежную разведчицу по соседнему дому — и радовался и жалел, что Лика уедет без меня, не попрощавшись. Хотел поговорить с нею обо всем откровенно, проститься и пожелать ей удачи в новой, самостоятельной жизни.

Мы, дети заводов и моря, упорны,
Мы волею нашей крепки.
Не страшны нам, юным, ни буря, ни штормы,
Ни серые страдные дни... —

пели ребята. А пароход все больше и больше раскачивало. Он то спускался вниз с высоты гребней ухабистого моря, обдаваемый брызгами,— и тогда сердце замирало и ноги чувствовали упругую пустоту, то взметался на гору, выталкиваемый сердитой стихией,— и лопасти колес его задевали тогда длинные, ломающиеся гребни гороподобных волн. В ушах свистел все сильнее крепкий штормовой ветер, и шум его сливался с кромешной темнотой открытого моря, изредка рассекаемой лучиком маяка, пляшущим у выхода из бухты. Один за другим пропадали береговые огоньки, и ослепительно белый глаз маяка то вспыхивал совсем близко, то, отворачиваясь в сторону, показывал нам выход из бухты. А мы пели назло шторму «Краснофлотский марш» Александра Безыменского.

...Пусть сердится буря, пусть ветер неистов,
Растет наш рабочий прибой.
Вперед, комсомольцы, вперед, коммунисты,
Вперед, краснофлотцы, на бой!..

— Поете-то вы славно, а вещички попрошу от шлюпок убрать. Не ровен час, придется шлюпки вываливать,— послышался рядом знакомый голос.

Я обернулся. В то же мгновение луч маяка ярко осветил лицо молодого штурмана, и я узнал его — моего побратима!

— Куница, здоров!

Я крикнул так, что все делегаты обернулись.

Моряк отшатнулся, и быстрые, веселые глаза его сделались удивительно большими. Видно, давно уже никто не называл его именем детства. Ошеломленный, он потер лоб, что-то припоминая, и, лишь когда луч маяка снова пересек уходящую вниз палубу, бросился мне на шею:

— Манджура!.. Откуда?

У Юзика сперло дыхание. Он оглядывался, словно ища поддержки, и, наконец справившись со своим волнением, заговорил тише:

— Вот встреча! Ну, ты смотри! Васька! Бывает же такое!..

Не верилось и мне, что именно здесь, при выходе из вспененной волнами приазовской гавани, на палубе парохода, я встречу друга своего детства Юзика Стародомского по прозвищу Куница.

И все-таки это был он, мой старый товарищ еще по начальному училищу, гроза всех садов Подзамче, лучший пловец в нашем Смотриче! Ведь это с ним вместе мы лупцевали петлюровских скаутов и давали торжественную клятву над могилой убитого гайдамаками большевика Тимофея Сергушина.

Спустя полчаса «Феликс Дзержинский», обогнув косу, вышел в открытое море, взяв курс на Мариуполь. К этому времени Юзик Стародомский уже сменился

с вахты и позвал меня в кают-компанию. Спустились вместе с нами туда Головацкий и еще несколько делегатов.

С большим трудом, цепляясь за поручни трапов, стукаясь локтями в стенки надпалубных надстроек, мы сошли в кают-компанию.

— Дружка нашел, Николай Иванович! — радостно сказал Стародомский пожилому буфетчику в белом фартуке.— Столько лет не виделись, и вдруг!.. Сколько лет мы не виделись, а, Василь?

— Шестой год пошел.

Куница обнял меня за плечи и с укоризной сказал:

— Даже написать не мог! Эх ты, побратим!

— Да мы писали тебе — и я и Маремуха! А ты ответил один раз и замолк. Мы даже обозлились, думали, загордился в своей мореходке.

— Я загордился? — Юзик засмеялся.— Я писал, писал, а письма все назад возвращались.

— Куда же ты писал, интересно знать?

— На Заречье, дом тридцать семь.

— То-то и оно! — сказал я облегченно.— А мы оттуда перебрались на казенную квартиру, в совпартшколу.

— Теперь понятно,— как-то успокоенно сказал Куница, и снова его лицо засветилось радостью.

Пароход покачивался то вправо, то влево. Казалось, вот-вот штормовая волна выбьет стекло иллюминатора и зальет нас зелеными струями.

— Постарше стал,— сказал Куница, разглядывая меня в упор.— Не тот уже Васька, что птичьи гнезда разорял. А помнишь, как мы в скале около кладбища нашли гнездо ястреба?

— Ну как же! — улыбнулся я, согретый теплом воспоминаний.— Яйцо там было — кремовое, с красными пятнышками...

— Редкое яйцо было! Только батько его вытряхнул со всей коллекцией.— В голосе Куницы прозвучало подлинное сожаление.

— Это когда ты две иконы из киотов вынул и под их стеклами на ватках яйца расположил?

— Верно, верно! — радостно воскликнул он.— Смотри, у тебя память какая!

— А мы тебе все завидовали сперва, что у тебя такие ящики с золотыми гранями. Ни у кого ведь таких не было на целую трудшколу.

— Ни у кого не было,— согласился Куница, и лицо его расплылось в улыбке.

Балансируя, как фокусник на канате, и вытирая на ходу тарелку, к нам подошел буфетчик.

— Свидание друзей, и за пустым столом! — сказал он, улыбнувшись. — Чем потчевать прикажете?

Головацкий подмигнул мне, потом важно откашлялся и спросил:

— Омары есть?

— Что вы, сударь! — Буфетчик посмотрел на Головацкого так, словно тот свалился с луны.

Больших трудов стоило нам не расхохотаться.

Куница тоже глядел на Толю недоуменно. Где ему было знать, что наш секретарь нередко, желая потешить хлопцев, демонстрировал перед нами знание великосветской жизни, почерпнутое им из старинных романов.

— Что же есть в наличии в этом неприглядном буфете? — спросил Головацкий, намеренно картавя, как сущий аристократ.

Буфетчик заметно оживился и выпалил:

— Маслины, если пожелаете! Икорка зернистая и паюсная! Со свежими огурчиками в самый раз! Маслице. Кефаль копченая. Скумбрия. Ну, балычок. Селедочка в горчичном соусе. Телятина холодная с хреном...

— Вот что, отец,— неожиданно меняя тон, мягко сказал Толя,— давай-ка нам маслин побольше, ну и хлеба белого этак с четверть пудика, учитывая наш возраст и злодейский аппетит. Хлеб-то у тебя свежий?

— В Керчи выпекали,— сказал буфетчик.

— Отлично! — Головацкий обрадовался.— Корочка хрустит?

— Хрустит-с.

— Ну, пойдем дальше. Масла. Огурцов. Скумбрии или кефали, если жирная, и, разумеется, чайку с лимоном...

— Выпить ничего не пожелаете?

— Как «ничего»? — изумился Толя.— А чай?

— Горячительного-с? — И буфетчик с особым смыслом посмотрел на нашего бригадира.

— Не употребляем! — отрезал Головацкий.— А вот минеральной водицы — пожалуйста.

— Всю выпили днем пассажиры! — И буфетчик, качаясь, развел руками.

— Минуточку, ребята! — С этими словами Стародомский сорвался с места и легко, словно не было качки, выбежал к трапу.

Был он ловок и в детстве, зареченский наш хлопец, в жилах которого текла польская кровь. Он в каждую щелку Старой крепости мог залезть, оттого и прозвали мы его Куницей. Но здесь, на море, движения Юзика стали удивительно гибкими и очень уверенными. Он грациозно раскачивался в такт разбушевавшемуся морю. «Вот бы кто мог матросский танец-матлот на вечере сплясать!» — подумал я, следя за Куницей, и обратился к Толе:

— Какой парень, а?

— Видно сразу, хваткий моряк,— согласился Толя.

Гулко застучали под ногами Куницы ступеньки трапа, покрытые ребристыми медными планками. Сбегая по ним вниз, Стародомский держал две бутылки боржома. Горлышко третьей бутылки выглядывало у него из кармана.

— Из собственных подвалов! — сказал, переводя дыхание, Куница.— Николай Иванович, принеси, пожалуйста, посуду. Проше бардзо!

— Один момент, Иосиф Викентьевич! Летим-с!

Впервые при мне назвали моего старого друга по имени-отчеству. А я и не знал, что Куница «Викентьевич»!

Вот и кончилось наше детство, промелькнули и остались в прошлом славные, беззаботные денечки, когда мы наперегонки бегали по зеленому лугу над Смотричем и все мечтали найти в прибрежном иле золотые турецкие цехины.

— Ты кем здесь плаваешь, Юзик? — спросил я.

— Я хожу на этом пароходе четвертым штурманом,— ответил Куница.— А до Азовского моря на разных судах борты жал: и на «Труженике моря», и на «Феодосии», и на «Пестеле». Полную же практику на «Трансбалте» проходил. И за границу на нем шел.

— Как ты успел, удивительно! — позавидовал я Кунице.— А мы лишь в этом году фабзавуч окончили.

— Я же старше тебя,— сказал Куница солидно.— Вы с Маремухой еще в трудшколе учились, а я уже паруса на «Товарище» укатывал под Батумом. Сам Лухманов и штурман Елизбар Гогитидзе обучали меня этому.

Резкий удар встряхнул наш пароход. В буфете звякнули и посыпались чайные ложечки. Несколько маслин, сорвавшись с крайнего блюда, упали со стола и побежали по углам.

— Ого! — сказал Юзик и прислушался.— Торчковая пошла. Ветерок меняется. Переходит на чистый ост.

— Послушай, Юзик: ост — это хуже или лучше прежнего ветра? — спросил я осторожно, но, по-видимому, так, что в голосе моем прозвучало опасение.

Стародомский глянул на меня испытующе:

— Потонуть боишься, да, Василь? Не бойся! Этот пароход любой шторм выдержит. Ветры меняются, а он знай себе идет вперед.

Приятно было сидеть в кругу новых друзей, напротив своего старого друга и под усиливающийся свист встречного ветра слушать его рассказы о путешествиях по морям, вспоминать своих прежних друзей и войну с нашими недругами, буржуйскими сынками — скаутами...

...Потом Юзик Стародомский поводил меня по пароходу, показал кочегарку, штурманскую рубку, помещения для экипажа, а затем мы забрались в его каюту. Он постелил себе на диванчике, а мне, как гостю, предложил узенькую койку с высоким бортиком, предохраняющим от падения.

Над маленьким столиком в уютной, обжитой каюте висела полка с книгами по навигации и штурманскому делу. Я перелистал один учебник и увидел повсюду

на его страницах пометки, сделанные рукой Юзика. Все еще не верилось, что мой старый друг успел выучиться такой сложной и непонятной для меня науке, как вождение кораблей.

На стене возле диванчика висел свинцовый барельеф. Присмотревшись, я узнал очертания родного нашего города, сделанные с плана XVI века.

Обняв меня, Стародомский сказал:

— В Одессе купил эту штуку. Смотрю — что-то знакомое. Пригляделся — батюшки, да ведь это наш город!

— Тут и Старая крепость выведена! Гляди-ка! — воскликнул я, разглядывая замыкающую въезд в город крепость со всеми ее валами и бастионами.

— Ажурная работа! Все здесь изображено, до последней башенки,— согласился Куница.— И речка Смотрич. Видишь, как она петлей охватывает город и соединяется у крепости?

— Гляди, а вот и крепостной мост! Обрывистые какие берега тут! Помнишь, Юзик, как мы вечером несли по этому мосту цветы на могилу Сергушина и Маремуха все боялся, как бы нас петлюровцы не задержали?

— Еще бы не помнить! — сказал Куница, и я понял, что вечер над могилой убитого большевика также запал и в его душу.— Послушай, а где же вы с Маремухой и Бобырем живете?

— На Приморской. Два шага от порта.

— Ай-ай-ай!.. Вот жалость! — протянул Стародомский.— Если бы знал, всегда бы во время остановки прибегал к вам!..

Все уже было переговорено в каюте четвертого штурмана, и как будто не бывало позади разлуки. Мы поняли, что не только сами выросли и из мальчишек стали взрослыми, но и выросла за это время и окрепла наша молодая страна.

Я узнал, что еще в Черноморском пароходстве Юзик был принят в ряды Коммунистической партии. Самый старший из нашей троицы побратимов, он первым из нас, в ленинский призыв, стал коммунистом.

Лежа на плюшевом диванчике и упираясь ногами в переборку соседней каюты, Юзик спросил:

— А изобретение твое значительное, Василь?

Пришлось рассказать и об этом.

...Нашлись люди, которые дали ход моему предложению. Резолюция Андрыхевича, в которой я был назван «молодым фантазером», отпугнула мастера Федорко, но не повлияла на красного директора завода. Ведь и самого Ивана Федоровича кое-кто пытался в Укрсельмаштресте назвать «рискованным человеком» за то, что он задумал, не останавливая производства, поднимать крышу над литейной и достроить мартеновскую печь для выплавки стали.

Директор вызвал меня к себе и сказал: «Молодец, Манджура! Действуй и дальше так напористо. Работай, работай, норму выполняй, а мозгами шевели получше, живи с размахом!.. Не будешь возражать, если мы приставим к тебе инженера-конструктора на недельку? Не для соавторства, конечно, а для технического оформления проекта?»

Я, конечно, охотно согласился.

Вскоре около проходной появился плакат: «Молодежь завода, равняйся на молодых литейщиков! Рационализаторское предложение Василия Манджуры сберегает заводу ежедневно 660 рабочих часов. Его предложение об уничтожении камельков и переход на центральный подогрев охраняет рабочих от простуды и других заболеваний!»

Плакат этот, как выяснилось позже, сделали по совету Головацкого те же самые художники из юнсекции клуба металлистов, которые рисовали карикатуры на посетителей салона Рогаль-Пионтковской.

Приказом по заводу директор Руденко объявил мне благодарность и выдал премию — пятьсот рублей.

Уже «тропическая мебель» не угрожала больше мне и хлопцам. В ту ночь, когда, беседуя с Юзиком, я ехал на пароходе, лежа на его узенькой койке, мои приятели отсыпались дома на вполне удобных кроватях с пружинными матрацами. И моя кровать стояла там, в мезонине, застланная пушистым зеленым одеялом.

На эти неожиданные деньги мы выписали «Рабочий университет на дому», журналы «Огонек», «Прожектор», «Красная панорама» и «Смена» с приложениями, а также газету «Комсомольская правда».

С помощью Головацкого я выбрал себе в Церабкоопе отличную «тройку» из коричневого шевиота и тупорылые удобные ботинки «Скороход», прозванные «бульдогами».

И все-таки у меня осталось девяносто пять рублей, которые я отнес в сберегательную кассу. Правда, ни хлопцам дома, ни тем более Юзику я не сказал, для чего нужны мне были сбережения. Тут скрывалась тайна; я решил сохранить эти деньги на тот случай, если они понадобятся Анжелике в Ленинграде. Независимо от того, захотела бы она прибегнуть к моей помощи или нет, я считал себя обязанным поддержать ее в самом начале ее самостоятельной жизни.

— Ну, сейчас я понимаю, почему тебя избрали делегатом конференции! — сказал Юзик, выслушав меня.— А какие твои планы на будущее?

— Уже решено, Юзик! — ответил я с гордостью.— Вместе с хлопцами в рабочем университете буду учиться. Днем на заводе, вечером за партами. Не оглянешься, как и зима пройдет. А ты где зимой будешь, как море замерзнет?

— На Черное море подамся. Одесса — Батуми. А может быть, на ледокол устроюсь. Рыбаков в путину выручать на Азовском море.

— Маленький, наверно, ледоколик?

— Да уж не велик. Моряки смеются: «Пять котлов — шесть узлов. Волна бьет — два дает». А мне что? Пока молод — штурманское дело можно и в каботаже изучать, была бы охота. А потом, глядишь, и океанские пароходы сюда подбросят. Далеко ходить станем. Возможно, и в Арктику отсюда заползем. Я, видишь, вон на досуге лоции Баренцева да Карского моря изучаю! — И Стародомский кивнул головой в сторону этажерки.

— Значит, ты тоже доволен, Юзик?

— Я? Вопрос! Когда я вижу перед собою картушку компаса, у меня душа ликует. Море плещется за бортом, посапывает внизу машина, а я не сплю и знаю, что мне одному поручена судьба пассажиров. Они все спокойно отдыхают в каютах, веря мне целиком, и я обязан провести судно верными фарватерами!.. А морей на мой век хватит. И звезд, по которым можно без сложных приборов определяться...Ну а теперь давай поспим, Василь! Мне с четырех на вахту заступать. — И Стародомский потушил свет.

Волны то подбрасывали пароход на своих крутых гребнях, то опускали его с размаху в морскую ухабистую пучину. Поскрипывая, пароход переваливался через их быстрые гребни и лопотал колесами, укрощая новые водяные валы, бегущие ему навстречу. Далеко внизу равномерно стучала машина, как объяснил мне Юзик, такой силы, что способна была бы дать свет не только одному нашему городу, но еще и соседним приазовским селам.

Пароход шел по заданному курсу, я прислушивался к мерным вздохам его машины и думал о том, как славно, что и мы с хлопцами не ошиблись в выборе нашего пути. Хорошо написал мне об этом из Черкасс отец в своем последнем письме. Он рассказывал, как пришлось ему некогда отговаривать тетушку Марью Афанасьевну от вздорного помысла взять меня с собой в Черкассы. «А я считал, Василь,— с опозданием признавался отец, — что правильнее будет оставить тебя в фабзавуче. У тебя сейчас крепкое ремесло в руках, и хотя пришел ты к нему через трудности, но это лучше, чем за тетушкину юбку держаться. Верю, что, став на правильную самостоятельную дорогу, ты уже не сойдешь с нее. Также одобряю твое решение идти учиться в вечерний рабочий университет. Молодец, сынок! Советская власть дает сейчас молодежи все, о чем мы, люди старшего поколения, и мечтать не смели. И грешно было бы вам не воспользоваться этими завоеваниями революции. Учись, дорогой, не растрачивай молодости по пустякам, помни, что коммунистическое общество могут построить только грамотные люди с твердым характером, ясно понимающие, к чему они стремятся».

Все-таки как мудро поступил отец, что не послушался Марии Афанасьевны и пустил меня одного в такое дальнее плавание! А что бы получилось из меня, если бы я и по сию пору за папину штанину держался? Пустоцвет, папенькин сынок, паразит отъявленный.

То ли дело сейчас: твердо стою на ногах, и никакой мне черт не страшен. Остановят, допустим, на капитальный ремонт литейный. А я возьму да и махну на то время морем в Одессу. Наймусь куда-нибудь, хоть на судостроительный. Спросят — что делать можешь? Скажу — машинную формовку знаю и на плацу могу работать. А вакансии не будет, что же, сперва и ковши можно потаскать, заливщиком. Тоже кусок хлеба! Определюсь на заводе, сниму себе комнатку и тогда с визитом к Гале заявлюсь нежданно. Но только после устройства, иначе стыдно будет.

«Что ты здесь делаешь, Василь?» — ахнет Галя.

«Да ничего. Работаем»,— скажу обычным голосом.

Ну а вдруг она забыла наши поцелуи на валах Старой крепости? И подружилась с кем-нибудь в этой своей Одессе?

Но постепенно мысли перебросились с Гали на Анжелику. Не слишком ли все-таки я грубо с ней поступаю? Разве она заслужила это чем-нибудь? Правда, слов нет, туману у нее в голове пропасть, всяких лейтенантов Гланов да лампадок. Но с другой стороны — барышня начитанная, образованная и — миленькая. А плавает как! Если моря не боится — значит, характер есть. А что, если по приезде с конференции иным курсом пойти? Вызвать ее, скажем, записочкой на свидание на волнорез и так, с места в карьер, бухнуть:

«Простите, Анжелика, обдумал я все и понял, что в вас ошибался. Вы на самом деле хорошая».

А потом, как это делают артисты в заграничной картине «Женщина, которая изобрела любовь», взять да и поцеловать ее с налета. Прямо в губы! Крепко так, чтобы у нее дыхание перехватило! При одной такой мысли мне даже жарко стало на узенькой, огороженной высоким бортиком пароходной койке.

А она, может, тоже прижмется ко мне, воскликнет «ах», а потом и шепнет:

«Я твоя!»

А что значит «я твоя»? Капут это значит для меня! Отработать задний ход после поцелуя уже никак не удастся. Придется идти к главному инженеру просить руки Анжелики, а тот — штучка сложная. Возьмет да и заартачится: куда, мол, чумазый, со свиным рылом да в калашный ряд. Мы — интеллигенция, а ты кто?

Нет, такие фокусы откалывать нечего. Я парень пролетарский, каким был твердым и стойким, таким и останусь. И вообще с девушками надо быть загадочным и недоступным, в противном случае раскиснешь — и пропал ни за понюх табаку. Все эти нежные лобзания до добра не доведут.

Мариуполь открылся на заре, весь белый и удивительно чистый в лучах утреннего солнца.

Едва уловил я сонными глазами розовый отблеск зари в иллюминаторе, мигом вскочил на ноги. Диванчик Юзика был пуст, постель убрана. Стародомский ушел на вахту неслышно, так и не разбудив меня.

На палубе шуршали швабры и шипела вода, вырываясь из шлангов. Босоногие мускулистые матросы в подвернутых штанах скатывали полубак.

Я быстро ополоснул лицо водой из умывальника и, посвежевший, выскочил из каюты.

Палуба под моими ногами блестела от воды. Чистые ее доски пахли свежестью. Развевался на мачте проворный вымпел.

Солнце, встающее по ветру, румянило белые барашки, бегущие с оста. Куда им было до вчерашних гороподобных волн с длинными ломающимися гребнями! Вышло так, как и предсказывал Куница: ветер, задувший от Ростова, не только укротил штормовую волну, но и нагнал в море немало пресной донской воды. Море пожелтело еще больше и кое-где сливалось по цвету с песчаными берегами Таврии.

Мариуполь, идущий на нас, открывался все больше. За ним дымили трубы большого завода. Огненные клубки пламени вырывались из черных пузатых доменных печей. «Значит, там Сартана!» — сразу догадался я.

За городом, у железнодорожной станции Сартана, раскинулись заводы имени Ильича. До революции они принадлежали компании «Провиданс». Больше всего, наверно, будет делегатов на конференции с этих заводов. Ведь это самые круп-

ные предприятия на всем Азовском побережье! В одном цехе у них комсомольцев больше, чем у нас в целом ОЗК.

И как только я подумал о предстоящей комсомольской конференции, сразу забеспокоился: «А что я скажу на конференции?»

Накануне отъезда, передавая мне мандат, Головацкий посоветовал: «Ты, Манджура, обязательно выступи! Поделись своим опытом. Только не волнуйся! По дороге обдумай свое выступление».

Вот и обдумал!..

— Василь! Проснулся? Сюда иди! — позвал меня Стародомский.

Он стоял на капитанском мостике, в куртке с узенькими золотыми шевронами на рукавах, в форменной фуражке, с биноклем, болтавшимся на ремешке.

— Ну, как спалось? Добре? — спросил Юзик.

— Мне-то добре, а вот тебе маловато.

— Нам не привыкать. Служба такая: один глаз спит, а другой смотрит.

— Погодка-то славная,— сказал я,— ты верно предсказывал.

— Но видишь, на востоке уже заволакивает! — сказал Куница, кивая на облачко, появившееся справа над горизонтом.— К вечеру опять заштормит. Но мы к тому времени уже в гирле Дона будем... Каков курс, Ваня?

— Норд-ост-тень-норд! — крикнул рулевой.

Все было ново для меня в этом продолговатом коридорчике, облицованном под мореный дуб: рычаги машинного телеграфа со стрелками и надписями на белом циферблате: «Полный вперед», «Стоп», «Самый полный»; надраенные до блеска переговорные рупоры, уходящие вниз, в машину; картушка чуткого компаса, плавающая, как огромное глазное яблоко, в спирту под стеклом.

Стародомский показывал мне свое хозяйство, то и дело подходя к рулевому. Он сверял курс на компасе с линией на карте и поглядывал в стороны, где нет-нет да и возникали на гребнях желтых волн качающиеся вешки. Вешки показывали линию морского канала и, кланяясь нам, словно желая «доброго утра», исчезали за кормой.

Слушал я друга, видел сквозь прозрачные, чистые стекла мостика город, возникающий над морем, и думал:

«А что, если начать свое выступление на конференции с рассказа о судьбе трех побратимов, которые приехали сюда, к Азовскому морю, из далекой Подолии и сделались активистами приазовского комсомола?

Расскажу, как мы с юности ненавидели петлюровцев, сионистов, белых и прочую нечисть, мешающую расти и развиваться Советской Украине. Расскажу о Петрусе Маремухе, о Кунице, о клятве, которую мы дали под зеленым бастионом Старой крепости... Может, припомнить, как мы учились, как выучились, рассказать, к чему мы стремились в жизни?.. Ведь наши три маленькие жизни очень показательны: что испытали мы, то же самое пришлось пережить всей трудовой украинской молодежи. Поклясться и впредь быть верным заветам Ильича. Сказать, что всем, что имеем и чего достигли, мы обязаны партии и комсомолу. Я дам делегатам торжественное обещание, что мы — побратимы — и впредь будем драться у себя в коллективе за каждого молодого хлопца, отвоевывая его у старого мира и воспитывая для служения народу, для тех высоких, благородных целей, которые указывает нам Коммунистическая партия!»

...Над морем все выше поднималось ослепительное солнце. Оно ярко золотило гребни волн, и белый город, овеваемый крепким и соленым восточным ветром, раскрывался в легкой дымке июльского утра.

ПОЕЗДКА НА ГРАНИЦУ

Должно быть, выступление понравилось делегатам, потому что они проводили меня аплодисментами, а когда пришло время выбирать делегацию для поездки в подшефный полк червонного казачества, поднялся широкоплечий паренек с завода Ильича и сказал:

— Манджуру туда послать предлагаю! Он верные слова говорил здесь о делах на границе и передаст наш комсомольский привет червонцам с огоньком.

Предложение приняли, и лишь только после этого я узнал, что подшефный полк, куда нам следовало ехать, располагается теперь в моем родном городе на Подолии, в казармах за станцией, где некогда стояли царские, стародубовские драгуны. То был тот самый полк, что пришел на границу после роспуска частей особого назначения.

Уезжали мы из Мариуполя на Волноваху поздно вечером, нагруженные подарками приазовской комсомолии.

Были среди подарков баяны, мандолины, балалайки, блокноты, зеркальца, бритвы, набитые душистым табаком и махоркой и расшитые гарусом кисеты и даже сапожные щетки с ваксой и гуталином «Эрдаль» в зеленых коробочках с намалеванной жабкой.

Больше чем за год, оказывается, до моего приезда на завод собирала приазовская комсомолия деньги, чтобы закупить на них подарки для подшефных червонных казаков. Засыпали пшеницей итальянские пароходы во время субботников, грузили марганцовистую руду и донецкий уголь, устраивали платные концерты «Синей блузы», поставили усилиями доморощенных артистов в Мариупольском театре «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, подняли со дна Кальмиуса затопленную белыми шаланду, помогали рыбакам ловить камсу и шемаю во время путины, ходили по домам в дни рождества и пели антирелигиозные колядки про архангелов, херувимов, попов да монахов. И все это для того, чтобы собрать деньжат для наших защитников — червонных казаков, стоящих на Подолии, и маленькими своими подарками, приготовленными для них, дать почувствовать всю силу молодой нашей любви к славной Красной Армии и ее пограничной коннице.

Кто-кто, а Натка Зуброва ехала впервые на границу, ехала с особыми чувствами.

Ее дядя, один из старых коммунистов Украины, Никодим Зубров, был первым председателем ревкома в моем родном городе. Он был большим другом и наставником председателя революционного трибунала — бывшего донецкого шахтера Тимофея Сергушина, расстрелянного на глазах у меня и моих приятелей петлюровцами во дворе Старой крепости. Правда, впоследствии и Никодима Зуброва зверски зарубили под Уманью махновцы, убегавшие в Румынию, но память о Зуброве сохранилась в пограничном городе и поныне. Теперь Натка хотела побывать на квартире, где жил в годы революции ее дядя, повидать людей, знавших его лично.

Как только мы вытащили в Фастове из вагона тюки с подарками для червонных казаков, оказалось, что нужный нам поезд Киев — Каменец-Подольск ушел, не дождавшись нас, по направлению Жмеринки каких-нибудь сорок минут назад. Мы не поспели к нему потому, что возле Белой Церкви было крушение и нас задержали там на добрых два часа. Предстояло сейчас торчать в Фастове почти целые сутки.

Мы отправились на базар.

Мягкие, проселочные улочки Фастова, окаймленные плетнями, подсолнухами и мальвами, привели всех нас на базар. Чего только не было здесь в ту, утреннюю пору: и синенькие баклажаны, и огромные белые грибы с тугими палевыми шляпками, и желтые пузатые тыквы, и оранжевая морковь с пышной ботвой, и налитые соком тугие пунцовые помидоры. Рядом соседствовали корзины груш, сочные сливы ренклод, вязки репчатого лука, ожерелья серо-белого чеснока, пирамиды огурцов, розовые стебли ревеня, пучки пахучего укропа.

...Нагруженные бараниной, молоком, пышными свежими булками, вином и прочей снедью, направились мы на поиски речушки.

Не успел запылать костер на берегу, как Головацкий стал заготовлять шампуры из прямых и довольно крупных прутьев лозняка. Он сразу сдирал с шампуров кору, и от того они становились гладкими и скользкими. Куски мокрого мяса хорошо насаживались на белые ровные прутья вперемежку с дольками лука и маленькими помидоринами. Трудно передать простыми словами, какой запах стал расползаться над рекой, когда угли прогорели и Головацкий расположил над ними на колышках пять тяжелых, нанизанных багровыми кусочками баранины самодельных шампуров. Как только мясо стало бледнеть, лук подрумяниваться, а

на уголья упали первые капли бараньего жира, вокруг запахло такой вкуснятиной, что слюнки потекли.

Время от времени, размахивая Наташиной косынкой, Толя раздувал угасающие угли. Шашлыки из бледных стали розовыми, как бы загорая на глазах у всех. Жир, свертываясь каплями, с шипением стекал на уголья, а бока помидоров почернели и местами лопались, поливая томатным соком огненный под костра. Аромат жареного мяса и нарастающее шипение вызывали в наших молодых организмах, отощавших за годы гражданской войны, дьявольский аппетит.

— Помой баночку, Наташа, — распорядился Головацкий, переворачивая над огнем прутья с шашлыком.

Пока Наташа, стоя полусогнувшись над крутым берегом Унавы, мыла осокой единственную нашу посудину, Головацкий притащил поближе к костру бутыль с вином. Все это время, пока мы купались, бутыль охлаждалась под кустами, в маленьком заливчике, и сейчас на ее стекле выступили капельки росы. Головацкий расстелил на лужайке два номера «Приазовского пролетария» и стал нарезать на них ломтями свежий белый хлеб. Тут же он разложил не пошедшие в дело помидоры, лук и несколько головок чеснока.

— Прошу к столу, дорогие гости! — отходя от костра и в то же самое время торжественно показывая рукой на темно-коричневый шипящий шашлык, пригласил Головацкий.— Кельнеров у нас нет. Действуйте самостоятельно.

Мы сняли с рогаток шашлыки и, усевшись кружком на траве возле газетной скатерти, стали прямо зубами срывать с полуобгорелых, подрумянившихся прутьев сочные, пахнущие дымом и чесноком мягкие куски баранины.

Первые минуты челюсти наши работали в согласованном молчании.

Я сразу понял, что никогда в жизни не ел более вкусного блюда!

...Из Жмеринки мы дали в подшефный полк телеграмму о своем приезде, но, признаться, я не был уверен, что она придет раньше нас, так как адрес был очень приблизительный. Чтобы не разглашать военную тайну, я адресовал телеграмму так: «Город Н., бывшие Стародубовские казармы, командиру».

Только мы вынесли наши тюки с подарками на привокзальную площадь, как целая ватага волосатых извозчиков-балагул с длинными бичами окружила нас, предлагая свои услуги.

Запах глянцевых, отполированных кожаных сидений фаэтонов смешивался с вонью дегтя, которым смазывали балагулы буксы рассохшихся колес.

— Панычики мои, за восемьдесят копеек я вас до самой «Венеции» доставлю! — усердствовал больше всех долговязый балагула с фиолетовым фонарем под глазом.

— Товарищи! Вы не делегация? — послышалось рядом.

Возле нас появился чернявый военный в форме червонного казачества. На синих петлицах его хорошо заправленной гимнастерки алело по три кубаря и были привернуты кавалерийские значки-подковки с перекрещенными саблями. Маленькая ладная фуражка с малиновым верхом и синим околышем как бы подчеркивалась изогнутым лакированным козырьком.

— Да, мы из Мариуполя! — сказал Головацкий.

— Политрук третьего эскадрона кавалерийского полка имени Германской компартии Канунников! — отрекомендовался военный.— За вами прислана тачанка.

Сперва мы погрузили на дно тачанки тюки с подарками, а потом подсадили Зуброву. Прижимая одной рукой юбку и краснея от смущения, Натка кое-как взобралась наверх, а за нею, подобно лихим кавалеристам, стараясь дать понять, что нам не впервой ездить на тачанках, заскочили и мы туда. Политрук Канунников сел на облучок, рядом с ездовым, и сытые каурые кони понесли тачанку к переезду, оставляя позади озадаченного балагулу с подбитым глазом.

— А где же крепость твоя хваленая, Василь? — спросила Натка.— Самый обыкновенный город, и никаких древностей не видно.

— Древности располагаются в Старом городе,— сказал политрук,— а мы стоим на окраине, за линией железной дороги. По городу мы вас еще провезем!

Уже потянулись вдоль проселочной дороги маленькие хатки предместья Цыгановка, потом они стали сменяться домами покрупнее, и, наконец, за красным двухэтажным зданием железнодорожной школы мы въехали на замощенную сине-

ватым булыжником мостовую. И тут я сказал торжественно, трогая за локоть нашу спутницу:

— Натка, смотри!

На стене кирпичного дома была привинчена голубая эмалированная табличка с надписью:

«Улица Никодима Зуброва».

Как зачарованная глядела не отрываясь Наташа на табличку и погодя с гордостью сказала:

— Это улица имени моего дяди!..

...Только мы заехали в открытые ворота военного городка, как увидели построенный поэскадронно на широком плацу подшефный полк.

Под звуки фанфар к нам подскакал на сером, в яблоках, резвом жеребце командир со шпалами в синих петлицах. Пронзительным, тонким голосом, слегка заикаясь, осаживая шпорами коня, он закричал на весь двор:

— Товарищи шефы! Полк червонного казачества имени Германской коммунистической партии построен к вашему приезду. Командир полка Николай Веселовский!

— Дорогие товарищи! Друзья! Славные наши защитники! Рабочая молодежь Приазовья и одного из самых крупнейших заводов юга нашей страны поручила нам передать вам согретый жаром наших сердец пламенный шефский комсомольский привет...

Так начал свое приветственное слово Головацкий.

Он стоял на военной тачанке, высокий и красивый, с непокрытой головой.

Сперва Толя немного сбивался, останавливался, подыскивая нужные выражения, но потом разошелся, и голос его звучал все увереннее. Говорил он о неразрывной дружбе, связывающей червонное казачество и комсомол Украины, вспоминал о том, сколько молодых ребят по призыву партии добровольно сели на коней, чтобы пополнять ряды червоннказачьих дивизий, напоминал о революционном долге и о высокой романтике революции. Он говорил о том, что мы привезли сюда, на границу с капиталистическим миром, не только скромные подарки защитникам нашей страны, но и решимость в минуту опасности стать из людей мирного труда надежным пополнением красной конницы. Передавал наказ мариупольской комсомолии держать клинки наготове, чтобы в любой момент проучить наших врагов так, как шесть лет назад учили их конники Котовского.

Отдыхать мы наотрез отказались и решили до восьми, когда был назначен общеполковой вечер самодеятельности, побродить по городу... Наташа побежала в город первая, не дожидаясь нас, чтобы попасть в музей до его закрытия.

Мы тоже двинулись в Старый город.

На правах старожила и знатока этих мест я объяснял хлопцам историю города.

...Уже Новый мост кончался, как мы заметили идущую быстро нам навстречу Наташу Зуброву. Когда мы поравнялись, Натка, тяжело дыша, сказала:

— Попала-таки в музей! Уже закрывали, но заведующий пустил. Милый такой старичок. А смотрите, какой подарок он мне сделал, узнав, что я племянница дяди Никодима! — С этими словами Наташа развернула папочку и извлекла из нее какой-то документ.— Читай, Толя! — сказала она, передавая его Головацкому.

Головацкий взял пожелтевшую бумажку.

— Вслух читай, Толя,— попросила Наташа.— Всем будет интересно.

Приблизив бумажку к глазам, глухим баском Головацкий прочел:

— «*Акт Первого гражданского брака, состоявшегося в Городской Управе по распоряжению Советской власти 25 января 1918 года на общем собрании Совета рабочих и солдатских депутатов в восемь часов вечера. Мы, нижеподписавшиеся, гражданин 257-го пехотного Новобежецкого полка Никодим Александрович Зубров и гражданка деревни Мукша Китайгородская Мария-Агнесса Войцеховна Савицкая, дали свою торжественную клятву Совету Народных Комиссаров, что мы вступаем в настоящий гражданский брак не ради выгоды, не ради грязных эгоистичных стремлений, а ради удовлетворения порывов высших душевных чувств и идеа-*

лов святой любви. Мы клянемся, что, вступая в новую дорогу социализма, свято и строго будем исполнять товарищеские отношения и если жизнь потребует отдать молодость в жертву Революций, то без всяких ропотов принесем на алтарь свободы всю нашу юность, причем если жизнь станет нам в тягость, если взглядами на вещи мы не сойдемся или если политические убеждения будут разбивать наше семейное счастье, то без всяких контрибуций мы должны разойтись, оставаясь друзьями и хорошими знакомыми, в чем и подписываемся

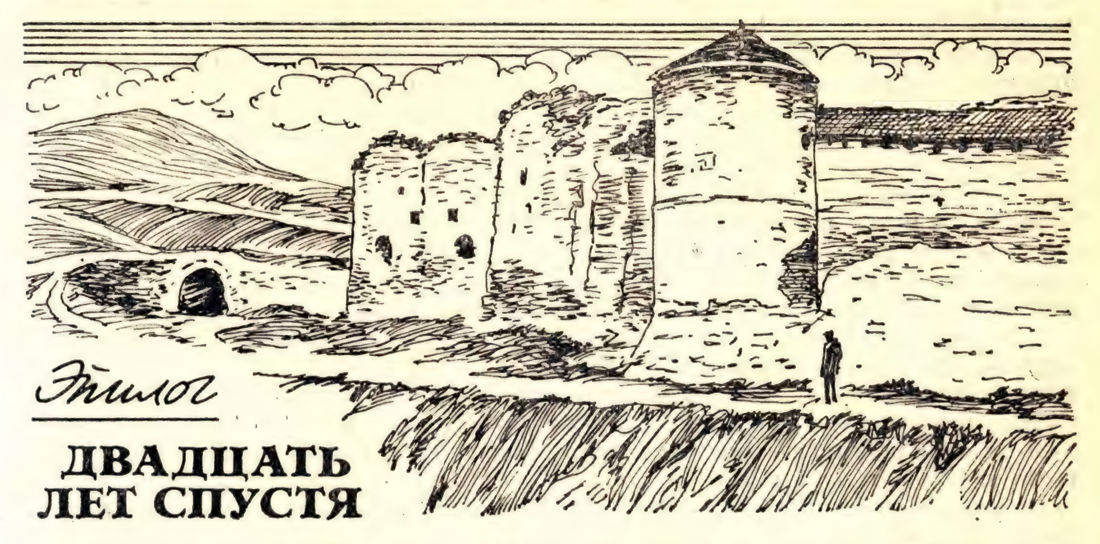
Никодим Александрович Зубров,
Мария-Агнесса Войцеховна Савицкая».

— Его жена полькой была,— проронила Наташа.— Оттого и два имени. Комсомолка. И ее махновцы клинками зарубили...

...Молча стояли мы над каменными перилами обрыва. Внизу ухали вальками прачки, выколачивая белье на берегу Смотрича. Музыкой первых месяцев революции звучало каждое слово пожелтевшей бумажки, прочитанной Толей.

— Да, документ очень интересный! — задумчиво согласился Головацкий, бережно пряча его в папочку и отдавая Наташе.— Береги его, Натка, пуще всех драгоценностей на свете! Будешь и ты старушенцией когда-нибудь. Внуки твои станут комсомолятами, а комсомол наш Ленинский будет справлять какой-нибудь свой солидный юбилей. Ну, пятидесятилетие, скажем. И вот взойдешь ты тогда на трибуну, седенькая, старенькая, и расскажешь им все, что запомнила о своем дяде, верном солдате революции, который уже на третьем месяце после свершения Октября не постеснялся записать в свои личные отношения священное слово «социализм». Расскажешь все о нем, а заодно огласишь и этот документ, в котором уже тогда исчезли навсегда границы между людьми разных наций, если только они были бойцами одной цели. Подумай, как интересно будет послушать все это новым комсомолятам, не знающим лично, что такое революция и гражданская война!..

— Я сделаю это, Толя, если только доживу до тех лет,— сказала серьезно Наташа и пошла с нами обратно к старому центру пограничного города, бережно неся под мышкой такую дорогую для нее папку...



Эпилог

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Двадцать лет прошло с того солнечного утра, как пароход «Феликс Дзержинский» огласил дрожащим гудком устье реки Кальмиус, входя по каналу в порт Мариуполя.

Засуетились матросы у брашпиля, готовясь к тому, чтобы опустить якорь, вышли из своих кают пассажиры, и мы, собравшись на верхней палубе, громко запели:

> Низвергнута ночь. Подымается солнце...

Славная песня! Запечатлелась она навсегда в моей памяти!

Вот и сейчас, двадцать лет спустя, сижу я в небольшой комнате, листаю старые газеты, слушаю, как хлещет по стеклам дождь, а в ушах звенит знакомый мотив этой песни.

Сквозь окно видны намокшие каштаны. Они нахохлились и опустили вниз большие лапчатые листья. Частый дождь сбил с них последний цвет, оголил маленькие колючие шишечки.

Я приехал сюда ночью из Ленинграда. Укладываясь спать, я мечтал спозаранку побежать в город и посетить Старую крепость.

Хозяйка квартиры Елена Лукьяновна — врач-невропатолог. Она потеряла в Ленинграде в первую же блокадную зиму всех своих близких и после демобилизации приехала на работу в мои родные края. В вагоне мы разговорились. Уже одно то, что нам довелось примерно в одно время прожить больше десяти лет в Ленинграде, сразу же сблизило меня с этой задумчивой, рано поседевшей женщиной в зеленоватой гимнастерке со следами от погон на плечах. Ведь так же, как и ее родные, погиб у меня на руках от голода в декабре 1941 года мой отец, который приехал незадолго перед войной ко мне в Ленинград и работал на Печатном дворе.

Думал старик последние годы своей жизни провести вместе со мной, радовался тому, что я инженером стал, да все война перепутала.

Не довелось мне добрым отношением и сыновней заботой скрасить последние годы батьки, хоть немного отблагодарить его за то, что не побоялся пустить меня смолоду в большую, интересную жизненную дорогу. Угас он тихо, без стонов и жалоб, почти неслышно, как угасали в ту страшную блокадную зиму многие ленинградские дистрофики...

— Боюсь, что жилья вам не достать,— сказала Елена Лукьяновна, когда поезд подходил к городу. — В Старом городе сплошные руины... Если хотите, можете остановиться у меня.

Никого из родственников в городе у меня уже не было, и я охотно воспользовался предложением попутчицы.

А ночью пошел дождь. Льет он и сейчас не переставая, хоть уже четвертый час дня и давно бы пора выбраться в город, которого я не видел больше двадцати лет.

Когда Елена Лукьяновна собиралась в больницу, я спросил, нет ли у нее чего-нибудь почитать.

— Все медицинское,— сказала Елена Лукьяновна.— Моя библиотека еще не прибыла... Хотя, впрочем, на чердаке сложены какие-то книги и журналы. Еще со времени оккупации. Посмотрите, что там такое,— может, сжечь это все надо?

И вот второй час я листаю размалеванные страницы «Ди вохе», «Сигнала» и других фашистских журналов. Отовсюду с их страниц глядит на меня исступленное лицо Гитлера: он встречает Муссолини, принимает испанского посла, любуется разрушенной немецкими бомбами Варшавой. И всюду застывшие в оцепенении гитлеровцы, кладбищенская пустота площадей, полотнища знамен со свастикой над разрушенным городом... Но что это?..

Я вытаскиваю со дна корзины тяжелую подшивку газет. Ее название «Подолянин» поворачивает мысли вспять, уже к далекому детству. Так называлась русская газета, выходившая еще при царе в нашем губернском городе. Но почему она на украинском языке?

Смотрю дату: 1942 год. Я листаю страницы фашистского «Подолянина», и чудится мне, что передо мной шиворот-навыворот крутят военную хронику захватчиков. Я вижу гитлеровцев, въезжающих на пустынные улицы Киева, читаю крикливые заголовки о неизбежном падении Ленинграда и Москвы и другие фашистские сообщения. Они читаются теперь с усмешкой, как дурной сон.

И вдруг в глаза вонзается знакомая фамилия: «Григоренко». Поспешно читаю: «12-го сего месяца, приказом окружного комиссара барона фон Райндль, в городе создан Украинский комитет в составе: Евген Викул, Цер (переводчик), Юрий Ксежонок (председатель комитета), Кость Григоренко. Комитет проверяет налоговые дела, помогает немецким властям собирать контингенты. Комитет является органом окружного комиссара и действует по его указаниям».

Григоренко! Петлюровский бойскаут, сын доктора, служившего Петлюре, вот, оказывается, когда он снова вынырнул на поверхность!

— Я вижу, вы нашли интересное занятие?— говорит, входя в комнату Елена Лукьяновна.

— Я нашел следы старых знакомых, Елена Лукьяновна, и жалею о том, что в юности не смог передать кой-кого из них в руки правосудия.

— Сегодня я тоже встречала старых знакомых,— не вникая в смысл моей фразы, сказала Елена Лукьяновна.— Среди них есть мальчик из Сибири, Дима. Его ранили в бою при освобождении нашего города. Очень трудный больной. Второй год не может сказать ни одного слова.

— А что с ним?

— Надо решить — оперировать его или не оперировать,— словно думая вслух, говорила Елена Лукьяновна, снимая халат.— Сегодня я послала вызов во Львов с просьбой прислать консультанта. Там работает тоже мой знакомый — профессор-невропатолог из Ленинграда...

— Для вас, Елена Лукьяновна, сейчас это звучит очень просто: «Послала вызов во Львов, профессору!» — сказал я.— Но если бы вы знали, как много значит эта фраза для меня, уроженца здешнего города! В ней скрыт огромный смысл изменений, которые произошли на Украине. Двадцать лет назад Львов был так же недоступен для нас, как Париж, Лондон или Мадрид, хотя вашему профессору из Львова лететь сюда не больше двух часов.

— Не больше,— согласилась Елена Лукьяновна.

Я второй день в родном городе. Открываю глаза. О радость! Синеет небо в окошечке, и сбрызнутые последними каплями ночного дождя каштаны подымают навстречу солнечным лучам свои темно-зеленые листья.

Быстро одеваюсь и бегу в город.

Буйная поросль пробивается отовсюду из каменных стен, желтые одуванчики, медуница, дикий виноград. Козы блаженствуют в этом обилии зелени, позва-

нивая колокольчиками, сделанными из консервных банок. Все это с детства знакомое, виденное!

Непонятно лишь, почему мостовая, спускающаяся к Новому мосту, поросла подорожником. Неужели по этим булыжникам уже никто не ездит? А ведь тут была главная проезжая магистраль из новой части города через центр к Днестру!

Печальная картина открылась моему взору, едва я подошел к обрыву. От красавца Нового моста остались лишь высокие каменные быки над пропастью, на дне которой поблескивает Смотрич. Через них переброшена узенькая кладочка, доски которой скрипят и гнутся под ногами.

Никто не шел сейчас мне навстречу из Старого города, выросшего на высокой скале, огибаемой Смотричем. Почти все здания там превращены в руины.

С большим трудом, по обломкам стен, я догадываюсь, в какой части города нахожусь. Это, кажется, Почтовка? Вот развалины дома, где собиралась тайная группа декабриста Раевского. А вот здесь родилась великая артистка Мария Савина.

А вот там, подальше, стоял исчезнувший сейчас ресторан «Венеция», в котором справил шумные поминки по умершей бабушке Монус Гузарчик...

Где-то он сейчас, наша «беспартийная прослойка», сборщик двигателей, шумный Моня? Последнее письмо от него я получил в 1940 году в Ленинграде. Гузарчик писал мне, что работает старшим мастером на Харьковском паровозостроительном заводе, и даже книжечку мне прислал о своем методе перехода на поточный способ производства...

Словно ураганом снесены маленькие домики возле огромной семиэтажной башни Стефана Батория с воротами, называемыми Ветряной брамой. Когда-то башню эту выстроили здесь по приказу короля-венгра, чужака на польском престоле, стремившегося к завоеванию украинских земель Подолии. А совсем недавно, в 1943 году (это рассказала мне Елена Лукьяновна), около Ветряной брамы гитлеровцы расстреляли более семи тысяч выдающихся людей Венгрии, не желавших помогать фашистским оккупантам. Гестапо боялось уничтожить их в Будапеште и отправило на смерть в украинский городок.

Неподалеку я увидел развалины дома, в нижнем этаже которого за широкими бемскими витринами помещалась кондитерская.

Помню, в эту соблазнительную кондитерскую пригласил я Галю Кушнир. Сидим мы с Галей, важно разговариваем, попиваем за мраморным столиком кофе, словно взрослые, а отец, возвращаясь из типографии, взглянул в окно и увидел нас. То-то неприятностей после было!..

Где-то сейчас Галя Кушнир, с которой разлучила нас война? Весной 1941 года я получил от нее последнее письмо из Одессы. Писала, что успешно защитила диссертацию, получила звание кандидата исторических наук, продолжает и дальше изучать вопрос о черноморских проливах в свете международных отношений. Удалось ли ей уехать из Одессы? И встречу ли я ее когда-нибудь еще, первую мою любовь, единственную девушку нашего фабзавуча, ставшую потом историком?

Как и встарь, у каменных перил при въезде на Крепостной мост женщины продавали цветы: розовые, белые и желтые пионы, букеты полевых васильков, ярко-красных маков с черными мохнатыми сердцевинками, кремовых, сиреневых и оранжевых ирисов — «петушков» и последних уже в эту пору тюльпанов с пунцовыми, розовыми и бледно-желтыми чашечками...

Цветы покупал стоявший ко мне спиной плотный, широкоплечий подполковник. Он забрал у женщины букеты в охапку и отнес их на сиденье открытого вездехода. По количеству канистр для бензина я догадался, что подполковник со своим водителем едет издалека и такой же залетный гость в этом городе, как и я.

«Куда же ему цветов столько?»— подумал я, но, привлеченный видом Старой крепости, сразу же забыл об этих проезжих военных.

Крепость возвышалась над скалами, как в годы моего детства, и, как и сотни лет назад, замыкала собою въезд в город с юга, запада и востока. Ее плотные каменные стены старинной кладки, такие же прочные и нерушимые, как и те выщербленные серые скалы, на которых ее построили, не раз спасали жителей нашего города от врага.

По-прежнему высились над зигзагообразными крепостными стенами первого пояса укреплений то четырехгранные, то круглые сторожевые башни с узкими амбразурами, увенчанные зелеными от мха остроконечными крышами. Вспыхивали зеленые кроны деревьев на крепостных валах. Над обрывами выросли большие кусты жимолости и розового вереска. Колючая дереза свисала над пропастью, пробравшись своими корнями глубоко в каменную кладку, от которой турецкие ядра отскакивали, как орешки.

У распахнутых настежь ворот алела, видно совсем еще недавно прибитая здесь, вывеска: «Исторический музей-заповедник».

С чувством глубокого волнения вошел я под арку крепостных ворот.

«Милая, славная наша старушка! — думал я, оглядывая крепость. — Не тронули тебя ни время, ни турки, ни гитлеровские бомбы. Как стояла ты столетия нерушимой твердыней на юго-западе подольской земли, так и стоишь поныне на радость народу, на страх врагам, навсегда изгнанным с исконной украинской земли!»

Стоило мне, однако, войти во двор, густо заросший муравой, как я понял, что и нашей старушке досталось порядком в недавних боях.

Сторожевые башни, обращенные амбразурами на все четыре стороны света, были исковерканы пробоинами от снарядов. Крыша над башней Ружанка исчезла вовсе. От Комендантской остались одни развалины. Но дом во дворе крепости, в котором теперь, по-видимому, размещался музей, был восстановлен.

Шум автомашины заставил меня обернуться. Показался все тот же вездеход, обвешанный канистрами с бензином. По-видимому, любитель цветов — подполковник захотел по пути осмотреть заповедник.

Скрипнули тормоза, машина остановилась подле кордегардии, а я узенькой тропкой пошел дальше, к зеленому бастиону, который подымался за Черной башней.

Четверть века назад под этим самым бастионом петлюровцы расстреляли большевика — донецкого шахтера Тимофея Сергушина.

Сергушин стоял вон там, внизу, полуодетый, желтый от болезни. Под дулами направленных на него винтовок он крикнул в лицо палачам-петлюровцам: «Да здравствует Советская Украина!»

Напрасно я искал серый мраморный обелиск с надписью:

Борцу за Советскую Украину,
первому председателю
Военно-революционного трибунала
ТИМОФЕЮ СЕРГУШИНУ,
погибшему
от руки петлюровских бандитов

Враги и предатели, охваченные ненавистью к Советской власти, постарались уничтожить память об этом славном человеке, первом коммунисте, пришедшем в нашу хатенку на Заречье четверть века назад.

Лишь под самой Черной башней я нашел в густой траве кусок мрамора с последним словом надгробной надписи.

Основание обелиска сохранилось, могильная насыпь тоже. Зеленый барвинок густо рос на бугорке.

Остановился я над этим бугорком, и память вновь перенесла меня в то далекое время, когда только-только установилась на Подолии Советская власть.

Помню, вечером после расстрела Сергушина мы пришли сюда, прихватив с собой дружка Маремуху. Куница, по запорожскому обычаю, расстелил на могильном холмике красную китайку, а мы засыпали бугорок пахучим жасмином. Над могилой убитого клялись мы в тот вечер стоять один за другого, как побратимы, и отомстить врагам Советской Украины за смерть ее лучшего сына.

Задумавшись, стоял я теперь, склонив голову над заросшим могильным холмиком, и живо вспоминал слова самой любимой песни Сергушина:

Я песню пою — от души она льется,
Хочу я в ней выплакать думы свои...
Как птица в неволе, во тьме она бьется
И тонет под сводом земли...

И скоро она, не допетая мною,
Умолкнет с закатом осеннего дня.
И новый товарищ, шагая к забою,
Ее допоет за меня...

Погруженный в свои мысли, я не услышал, как подошел другой человек, и обнаружил его присутствие лишь в ту минуту, когда пунцовые пионы посыпались в густую траву.

Плотный, широкоплечий подполковник посыпал могилу Сергушина цветами, не обращая на меня никакого внимания. Глянул я на него еще пристальней — и вдруг под щетиной, проступавшей на его загорелых щеках, увидел знакомые черты Петра Маремухи...

— Послушайте, товарищ!..— сказал я взволнованно.

Обернувшись на звук моего голоса, подполковник-танкист сперва посмотрел на меня очень строго, я бы даже сказал — недовольно, но потом, внезапно меняясь в лице, вскрикнул:

— Василь! Дружище!..

А спустя полчаса мы сидели на росистой еще траве под башней Кармелюка, забыв в нашей оживленной беседе обо всем на свете.

Водитель Маремухи, румяный ефрейтор-танкист, расстелил на траве брезентовую плащ-палатку и разложил на ней всякую снедь.

— Так погоди, Вася,— прервал меня Маремуха,— но почему же ты не ответил мне из Ленинграда? Я прямо штурмовал тебя письмами на завод! Даже в отдел кадров того авиационного завода писал: где, мол, у вас инженер Василь Манджура? А они мне ответили один раз, что «откомандирован», и замолкли. Куда ты исчез оттуда?

— На завод «Большевик» меня послали...

В эту минуту позади раздался старческий голос:

— Товарищи военные! Ну как вам не стыдно! Здесь же заповедник, а вы здесь мусорите!

Мы обернулись на этот голос так быстро, будто школьники, застигнутые здесь сторожем.

На соседнем бугорке стоял седенький старичок в полотняной старомодной толстовке, с черным галстуком-бабочкой, в золоченом пенсне. Он появился неслышно, как в сновидении из далекого детства, и одно его появление помолодило нас сразу лет на тридцать.

Не будь на переносице у старичка такого знакомого пенсне, мы, возможно, и не признали бы в нем Валериана Дмитриевича Лазарева. Но это был он — наш любимый историк и первый директор трудовой школы имени Тараса Шевченко! Тот, кого послал на Украину В. И. Ленин. Вскочив поспешно с земли, Петро приложил руку к козырьку:

— Приносим вам глубокое извинение, Валериан Дмитриевич!

— Позвольте! Но откуда вы знаете, как меня зовут? — опешил Лазарев, сходя с бугорка.

Где ему было узнать в седоватом офицере с орденами того самого коротышку, который, сверкая босыми пятками, бежал однажды вдогонку за другим хлопчиком с фонарем «летучая мышь», охваченный желанием поскорее спуститься в заманчивый подземный ход!

Тысячи подобных школяров промелькнули перед глазами Лазарева за многие годы педагогической деятельности — всех разве упомнишь?

— Откуда вы знаете мое имя? — повторил Лазарев.

Теперь уже вмешался я:

— Когда же мы с вами снова в подземный ход пойдем, товарищ Лазарев?

— Погодите!.. Что за наваждение? — Старичок снял пенсне и протер его стекла платочком.— Вы, товарищ, не из облнаробраза?

— Я, дорогой Валериан Дмитриевич, из трудовой школы имени Тараса Григорьевича Шевченко. И подполковник — тоже. Мы оба — ваши ученики выпуска тысяча девятьсот двадцать третьего года.

С этими словами я крепко обнял нашего старого директора.

Многое уже было переговорено...

— Вы хотите узнать обо всем, что случилось здесь? — спросил Лазарев, вставая с плащ-палатки.— Давайте тогда продолжим урок наглядной истории. Последний раз я рассказывал вам о повстанце Устине Кармелюке?

— Совершенно верно, Валериан Дмитриевич! — отчеканил Петро.— Мы еще с вами, помните, кандалы кого-то из друзей Кармелюка или Гонты нашли...

— Кандалы эти у меня в музее по сей день хранятся,— сказал Лазарев.— А сегодня я вам расскажу о других героях борьбы против угнетателей украинского народа... Но прежде всего скажите, подполковник, — Лазарев лукаво глянул из-под пенсне на Маремуху,— известна ли вам общая военная обстановка, которая сложилась здесь в первые месяцы прошлого года?

Маремуха ответил уклончиво:

— Примерно.

— В таком случае помогайте мне, коль я ошибусь.

И он начал рассказывать:

— После того как в марте тысяча девятьсот сорок четвертого года советские войска отбили Волочиск, фашисты потеряли прямую железную дорогу на запад. Тогда все их части, оставшиеся в подольском мешке, бросились сюда. Таким образом, наступающие советские войска должны были закрыть гитлеровцам пути бегства в Буковину и Западную Украину через наш город.

В начале марта советская артиллерия прорвала немецкую оборону под Шепетовкой.

В этот прорыв хлынули танковые войска генерала Лелюшенко, Рыбалко и Катукова. Они вывели наступление на юг, к Днестру... Отчего вы улыбаетесь, Маремуха? Я сказал не то?

— Я улыбаюсь потому, что и сам имел некоторое отношение к упомянутому наступлению,— тихо сказал Петро.— Я у Лелюшенко служил.

— Ах, лиходей вы этакий! — засуетился Лазарев.— Да вы, наверное, сами здесь орудовали? Признавайтесь!

— Здесь — нет, там — да! — Маремуха показал на северо-запад.— Мы Скалат брали.

— Так вот, слушайте,— продолжал Лазарев, успокаиваясь.— После того как вы захватили Скалат, сюда была послана танковая бригада уральского добровольческого корпуса...

— Гвардейского притом, — добавил Маремуха.— Танки этого корпуса и во Львов ворвались первыми, и Прагу спасали от уничтожения.

— Гвардейского, не спорю,— согласился Лазарев.— Бригада эта, после того как наши войска устремились к Тернополю, получила задачу пройтись по тылам противника, парализовать их и через Гусятин, Жердье, Орынин дойти до нашего города... И вот, мои хлопчики... — Тут голос Лазарева дрогнул, и он заговорил тише, переводя дыхание: — Двадцать пятого марта тысяча девятьсот сорок четвертого года жители Подзамче впервые после двух с половиной лет фашистской оккупации увидели советские танки! Подзамчане плакали от радости, они протирали себе глаза, думая, что все это им только снится... Плакал и я, мои хлопчики, словно маленький, когда один из танков остановился в том селе, где прятался я от гитлеровцев. Танкист соскочил с брони и попросил напиться. Он был весь в масле и бензине. Я целовал его, как родного сына, и плакал...

Лазарев закашлялся и повернул свое худощавое лицо в сторону крепостных ворот, но мы поняли: глядит он туда нарочно, чтобы скрыть от нас слезы, проступившие на его усталых старческих глазах.

— ...Впереди передового отряда бригады,— продолжал Лазарев после минутной паузы,— мчался от Должка к Подзамче тяжелый танк «Суворов». У него на борту развевалось знамя. Танк этот вел младший лейтенант Копейкин, будущий Герой Советского Союза. А командовал передовым отрядом старший лейтенант Иван Стецюк, воспитанник одного из детских домов города Днепропетровска.

Его отряду было поручено во что бы то ни стало овладеть районом Старой крепости и отрезать выход из города.

Захватив Подзамче, Стецюк и его люди через крепостной мост начали штурм города.

Они появились так внезапно, что гитлеровцы выскакивали из квартир в нижнем белье. Позже фашисты опомнились и со всех сторон сразу повели наступление на город.

Стецюк получил задачу защищать подступы к городу со стороны Должка и Подзамче. У него к этому времени осталось всего четыре исправных танка и шестьдесят человек пехоты. Целый день со своими людьми он держал оборону развилки дорог возле консервного завода, а на него со всех направлений ползли фашистские «пантеры» и «тигры». Несмотря на исключительную храбрость советских танкистов, враги продолжали теснить их к мосту. Дело в том, что как раз в эти последние дни марта генерал Катуков с ходу форсировал Днестр в районе Залещик и стал на северных подступах к Черновицам. Когда гитлеровцы проведали об этом, они еще яростнее стали атаковать наш город, чтобы иметь возможность прорваться через него к Буковине.

Гитлеровцы запрудили все шляхи и катились к Днестру и Збручу прямо полем, но весенняя распутица задерживала их продвижение, вынуждала бросать раненых, технику. Более пятнадцати гитлеровских дивизий пытались выбить нашу бригаду отсюда. Конечно, танкисты могли и отступить, выйти из боя, дать дорогу врагу, ибо что значит одна бригада против пятнадцати дивизий!.. Вы опять улыбаетесь, подполковник? Я что-нибудь сказал не так?..

— Да что вы, Валериан Дмитриевич! Все правильно! — ласково сказал Маремуха нашему старому учителю.

— ...Танкисты решили обороняться здесь, потому что знали: если фашисты снова захватят город, тогда наступательные операции Советской Армии будут задержаны на несколько недель,— продолжал Лазарев.— А сейчас попрошу за мной!..

Выйдя из крепостных ворот, Лазарев остановился.

Мощенная большим круглым булыжником дорога круто спускалась к мосту.

Лазарев стукнул палкой и сказал торжественно:

— Тут Стецюк поставил свой уже единственный танк «Суворов» под командой младшего лейтенанта Копейкина. Видите эти вывороченные камни? Здесь танк «Суворов» повернулся грудью к мосту. «Делай, Копейкин, что хочешь, но ни одного гитлеровца к воротам не подпусти!» — сказал Стецюк своему помощнику...

Лазарев протянул палку по направлению к мосту.

Около въезда на шершавые доски моста, подобно крыше сельского погреба, возвышался козырек подземного хода. По преданию старожилов, ход этот вел в Бессарабию, к похожей на нашу Хотинской крепости.

— В подземелье,— сказал Валериан Дмитриевич,— Стецюк сложил про запас бутылки с зажигательной смесью. Расчет был прост: вражеские танки постараются прорваться к мосту: тогда советские бойцы, засевшие в подземелье, будут забрасывать их оттуда бутылками с зажигательной смесью... Капитан Шульга под огнем неприятеля заминировал мост и погиб при выполнении этого задания. Родом Шульга был из Краснодона.

...Немало музеев перевидал я на своем веку, многих экскурсоводов слушал, но ни один из них не волновал меня так, как Валериан Дмитриевич. Ведь любой камень Старой крепости был отлично знаком нам с детства, все стены ее, поросшие дерезой, исхожены нами, все башни обстуканы в поисках древних кладов. Теперь же со слов Валериана Дмитриевича вырисовывалась во всех подробностях новая история подольской твердыни. Это была история о том, как у древних стен нашей крепости защищали родную землю советские люди. Слушая Лазарева, мы как бы увидели сами широкоплечего, коренастого коменданта крепости, уроженца Золотоноши, Ивана Стецюка.

...Вот он пробирается сюда под вечер с лицом, забрызганным грязью и маслом, в кожаном шлеме танкиста. Он прячет за спиной раненую руку. Из нее сочится кровь. Стецюк ни единым движением лица не выдает мучительной боли: гарнизон крепости не должен видеть, что командир ранен.

Перед ним, на влажной еще от вчерашнего бурана земле, выстроились в окружении сторожевых башен его люди: сибиряки, москвичи, одесситы.

Старший лейтенант Стецюк молча разглядывает своих солдат и офицеров. Усталые и похудевшие, они ждут, что скажет им командир, вместе с ними отрезанный от Большой земли древними крепостными стенами.

Стецюк говорит просто:

— В этой крепости мы будем воевать до последнего патрона. Понятно? Понадобится — погибнем за наше священное дело, но врага не пропустим!..

...Перед Стецюком стоял последний из незанятых людей его гарнизона — Дима Безверхий.

Многие танкисты даже не знали фамилии смышленого голубоглазого парнишки, а запросто окликали его Димкой.

Димка прибился к танкистам еще при формировании бригады и прошел с боями до отрогов Карпат. Еще до войны он мечтал после окончания школы поступить в горный институт. «Хочу уголь под землей искать!» — не раз говаривал Стецюку Дима. В мартовский этот вечер Дима переминался с ноги на ногу от холода и глядел на коменданта прозрачными глазами. Ему недавно исполнилось четырнадцать лет.

— Что с тобой делать, а, Димка? — сказал Стецюк. — Может, при мне будешь? — Но, увидев разочарование в глазах мальчика, ждавшего активных действий, сказал: — А знаешь-ка что? Видишь, башенка на отшибе? Бери ручной пулемет и залезай в нее!

Круглая эта башенка приютилась позади музея.

Прошло несколько минут, и Стецюк заметил в самом верхнем окошечке башни веселое лицо Димы. Мальчик сорвал с головы каску и, силясь обратить на себя внимание коменданта крепости, помахал ею. Стецюк показал Диме направление боевого охранения: в сторону Орынина. Оттуда могли поползти к мосту вражеские танки. Дима сообразил, что хочет от него комендант, и перелез со своим пулеметом к противоположной боевой амбразуре... Так сибиряк-подросток сделался защитником Архиепископской башни.

...Глухо била артиллерия около вокзала. Над Шатавой багровело зарево пожара. Чем больше смеркалось, тем краснее становился небосклон там, за Старым городом. Но Старый город все так же упрямо возвышался на скалистом острове, окруженный неприступными обрывами и рекою Смотрич.

— ...А утром началось! — продолжал рассказывать Лазарев.— И не только «тигры» и «пантеры», ползущие сюда от развилки, вели огонь по крепости. Ее обстреливали осадные орудия противника с укрытых позиций, которых Стецюк не мог достать огнем. Прислуга вражеских батарей, особенно установленных на Выдровке, видела крепость как на ладони. Несколько раз танки гитлеровцев пытались прорваться к мосту, но всякий раз гарнизон преграждал им дорогу... Конечно, сидя в башнях, трудно вести маневренный бой. Стецюк несколько раз выводил своих людей на валы и бил противника оттуда, с этих земляных укреплений. На второй день осады гитлеровцы рискнули просочиться в город со стороны Карвасар, но бойцы их отбили...

— Контратакой? — спросил Маремуха.

— Вы угадали,— сказал Лазарев.— Часть гарнизона выскочила из крепости и сверху перебила гитлеровцев, пробиравшихся к этому мостику.

С этими словами Валериан Дмитриевич подвел нас к развалинам башни, примыкавшей к своду кордегардии, и сказал:

— Видите остатки этой башни? Не забыли еще ее названия?.. Это Комендантская. Тут на четвертый день осады прямым попаданием снаряда убило бойца Краснюка... В тот день немецкие орудия били не умолкая. Положение гарнизона было очень тяжелым: сухари кончались, сахара уже не было, иссякла вода. И вдруг в этот напряженный момент подбегает Димка: «Товарищ старший лейтенант! Там на чердаке коза живая. Разрешите, я ее приволоку сюда!» Стецюк, конечно, обрадовался, дал Димке финку и сказал: «Иди...» Проходит несколько минут. Спускается по водосточной трубе перепуганный насмерть Дима и докладывает: «Там полно всяких зверей, но они не двигаются! Завороженные или что?..» А это я, когда город эвакуировали, свою зоологическую коллекцию там спрятал,

чучела разные... Казалось, что бойцы измучены до предела. Но веселая история с козой мигом облетела все посты и подняла настроение. А тут и воду нашли...

— В Черной башне? — спросил я.

— В Черной башне,— сказал Лазарев.— Но, видите, нам-то с вами нетрудно было бы найти воду здесь. Мы люди здешние. А они — нет. Здоровые бойцы остаток сухарей и сахара отдали раненым. Но этого было мало. Собранные в одной из комнат музея раненые метались, изнывая от жажды. Сколько же было радости, когда обнаружили воду!

Фашисты полукольцом охватили крепость и не допускали к ней никого из населения.

Но вот на пятый день обороны по тыльной, почти отвесной стене Карвасар в крепость все-таки пробрался один местный житель. Он предложил Стецюку показать точное расположение вражеских батарей, разрушающих крепость. Стецюк послал с ним ефрейтора Мышляева и еще одного бойца из батальона мотопехоты, фамилию которого до сих пор мы не можем установить. Известно только, что звали этого второго бойца Сашко. Было ему девятнадцать лет, и, несмотря на молодой возраст, он уже был награжден орденом Ленина.

Смеркалось, когда они выбрались из крепости. По пути местный житель одолжил у Сашко автомат и снял вражеского часового. Так он добыл оружие и себе.

Втроем они пробрались задами к мельнице Орловского. Около мельницы стояла гитлеровская батарея. Разведчики перебили ее прислугу, а замки от орудий бросили в реку. Это случилось через тридцать семь минут после их выхода из крепости. Затем они обезвредили восемь фашистских пушек, нацеленных на крепость. Сперва уберут фашистов, потом выбивают замки — и вперед!

В одной из схваток проводника ранили в руку. Тогда они все трое пробрались лесом в сторожку, где жил этот местный, сделали ему перевязку, взяли продуктов и двинулись дальше... Второго апреля всех троих нашли вблизи развилки мертвыми у разбитого немецкого пулемета...

— А вы узнали фамилию проводника, Валериан Дмитриевич? — спросил Маремуха.— Он и в самом деле наш земляк?

— Не только земляк, но и мой воспитанник... Это был Иосиф Викентьевич Стародомский! Из наших поляков! — с гордостью сказал Лазарев.— Вы его навряд ли помните. Он долгое время был в отъезде.

— Кого не помним, Стародомского? Юзика Куницу?! — воскликнул я.

— Но ведь Стародомский был моряк? — удивился Петро.— Каким же образом попал он в этот далекий от моря город, да еще в дни войны?

— Он был моряк, не спорю,— сказал Лазарев.— И, пожалуй, больше, чем кто-либо другой в этом городе, именно я могу подтвердить эту его профессию. Попрошу вас заглянуть на несколько минут в музей...

...Он глядит с портрета, окаймленного траурной лентой, улыбающийся, милый Юзик Стародомский, в нарядной морской фуражке-капитанке. Лицо его осталось почти таким же сухощавым, смуглым, упрямым, как и в тот июльский рассвет, что промелькнул, как встречная вешка, двадцать с лишним лет назад, когда стояли мы вместе с Юзиком на капитанском мостике при подходе к Мариуполю.

Под прозрачным стеклом хранится несколько экспонатов. Первое, на чем останавливается мой взгляд, когда мы подходим к витрине, это ржавый турецкий ятаган. Все та же, сделанная еще четверть века назад, выцветшая надпись виднеется под ятаганом: «Дар ученика высшего начального училища Иосифа Стародомского».

Возникает в памяти солнечный воскресный день.

Мы гуляем по Старой крепости. В поисках гнезда коноплянки, выпорхнувшей из кустов боярышника, Юзик долго шуршит ветками под башней Донна и наконец появляется оттуда сияющий, неся в руке это турецкое оружие — след времен кровавых и жестоких.

С какой гордостью, посапывая носом, следил он впоследствии за тем, как наш главный советчик по вопросам городской старины Валериан Дмитриевич Лазарев, чуть не прикасаясь стеклышками пенсне к поржавелым ножнам изогнутого ятагана, изучал его и наконец определил: «Это оружие второй половины семнадца-

того века. Не исключена возможность, что его потерял кто-нибудь из турецких янычар, убегавших из Подолии от русских войск!..»

Около детского дара Стародомского лежала теперь продолговатая толстая тетрадь в твердом переплете. На белой наклейке я прочел сделанную тушью надпись: «Вахтенный журнал парохода «Слава Азова».

— Вы знаете, что такое вахтенный журнал? — спросил Лазарев, заметив, что мы с некоторым недоумением уставились на этот экспонат.— Это важный документ, который обязан вывезти на сушу всякий капитан в случае гибели судна. Это живая история корабля: его рейсы, запись всех происшествий на борту.

— Каким же образом журнал очутился здесь?— спросил Петро.

— В последние минуты боя Стародомский захватил журнал с собой,— сказал Лазарев.— Ну а потом он привез журнал сюда.

— Разрешите взглянуть, что записано в журнале?— полюбопытствовал я.

— Отчего ж,— согласился Лазарев.— Вы близкие друзья Стародомского.

С этими словами директор заповедника открыл витрину и протянул мне пухлую тетрадь. Первые страницы заполняли незнакомые почерки.

Поспешность, с которой были сделаны записи в журнале в первые дни войны, дала возможность представить обстановку на Южном морском театре военных действий во второй половине 1941 года.

«15.02 — Сигнал: неприятельские самолеты. С норд-оста.

Тем же курсом.

15.08 — Справа, на курсовом угле 80° произведен налет немецкой авиации на соседей. Налетает 10—15 фашистских торпедоносцев и бомбардировщиков...

15.17 — Ранен стармех Воскобойников. Слепое ранение разрывной, в позвоночник.

15.20 — Мощность атаки ослабла. Бомбят с больших высот. Огонь пулеметов и орудий продолжается. Приказ Костенко заменить тяжело раненного Воскобойникова в машине. Воскобойников снесен в салон, где ему оказана первая помощь...»

Я перевернул несколько страниц вахтенного журнала и увидел запись, хотя и сделанную почерком Юзика, но очень крупными, неровными буквами:

«Светает. Я на краю косы. Неужели Белосарайская? Как сюда попал, решительно не знаю. Рядом вышвырнута на берег судовая шлюпка. Сплошной, неутихающий шум в ушах. По-видимому, результат контузии. Руки обварены паром. Взрыв котлов? С трудом записываю только то, что твердо помню.

Вчера, 7 октября 1941 года, в 10 часов утра еще торговал базар, и я направил туда Гришу Гусенко, выдав ему всю наличность из кассы. Соседние суда принимали на борт раненых и машинное оборудование. Мы стояли на рейде, ожидая своей очереди стать под погрузку. Приблизительно в 13.00 к самому порту неожиданно прорвались танковая колонна врага и автоматчики.

Видя, что остальные суда заканчивают погрузку, я всеми имеющимися в моем распоряжении огневыми средствами, крейсируя на малых оборотах машины, чтобы не сесть на мель, принял бой с гитлеровским авангардом. Принимая на себя его огонь, я хотел дать возможность уйти товарищам. Видел, как многие суда отчаливали и, выстраиваясь в кильватер, вышли по морскому каналу на внешний рейд. Получил восемь орудийных попаданий из танковых пушек противника. Два немецких танка поджег на причале. Видел падающих под моим пулеметным огнем фашистских автоматчиков. Видел, как был расстрелян парусник «Товарищ». Уже стал отходить — прямое попадание в машину вывело судно из строя. Продолжал вести бой с тонущего судна. Прекратили огонь, лишь когда пушки ушли под воду и орудийный расчет поплыл. Дальше последовал взрыв, и больше я ничего не помню...»

— Контузия была тягчайшая,— заметил Лазарев.— Иосиф Викентьевич Стародомский еле слышал, даже когда добрался сюда. И лицо было ошпарено. Мне рассказывал об этом его дядя, лесничий. От лесничего я и получил этот вахтенный журнал. В самом конце есть еще одна примечательная запись.

На последних страницах вахтенного журнала, отделенных от служебного текста несколькими чистыми листами, мы прочли строки, написанные словно старческой рукой:

«Я проклинал себя за то, что тяжелая контузия помешала мне прорваться на восток. Очутившись в Ясиноватой, я устроился на эшелон с углем и решил до выздоровления искать приюта у родных, на Подолии.

Все дальше и дальше, к самой Москве передвигался фронт. Подлые гитлеровские наймиты с желто-голубыми повязками шепчут вокруг, что наших побеждают. Неправда! Россию не победить! Не победить и Украину, не победить и Польшу, пока они с Россией! Восстанут камни с могил дедов, если не останется в живых советских людей.

Фашист, чей бы ты ни был, ты не победишь! Зальешься своей же кровью — раньше или позднее...»

— Эти строчки относятся к зиме тысяча девятьсот сорок первого — сорок второго года,— сказал Лазарев и посмотрел на портрет, с которого улыбался нам худощавый хлопец с золотыми шевронами капитана дальнего плавания на рукавах.

...Под стеклом в витрине лежали изуродованные сошки и ствол немецкого пулемета «машингевера». На его вороненой стали виднелись тусклые пятна. Возможно, то была кровь моего польского друга Юзика и его боевых друзей, найденных мертвыми у этого пулемета.

— Когда Стародомский понял, что к вокзалу ему не прорваться,— сказал Лазарев,— он и его товарищи залегли с этим пулеметом в кустах около развилки и втроем задерживали вражескую мотопехоту, не пропуская ее к крепости. Вы только подумайте: втроем на открытом почти месте они сдерживали под огнем лавины врагов! Подзамчане, жившие поблизости, рассказывают, что фашисты свели на эту огневую точку огонь двух батарей, накрыли ее огнем полковых минометов, и лишь после этого им удалось подавить ее...

Мы шли по заросшей жимолостью и сурепкой крепостной стене к тому самому месту, где пробирался сюда, к осажденному гарнизону, Юзик Куница.

Оглушая нас дробным треском мотора, вынырнул из-за Должецкого леса и медленно поплыл над нашими головами желтоватый «кукурузник». «Не профессор ли это летит из Львова по вызову Елены Лукьяновны?» — подумал я.

— А вы знаете, друзья, кто одним из первых описал наш город? — сказал Лазарев.

— Кто? — спросил Маремуха.

— Поэт Батюшков! Он ведь служил здесь!

— Настанет еще время, — мечтательно сказал Петро, — когда вы, Валериан Дмитриевич, отведете в своем музее почетный уголок еще одному нашему школьному товарищу.

— Кому именно? — оживился директор заповедника.

— Александру Бобырю!

— Я такого не помню.

— Где вам упомнить Сашу Бобыря, если и нас вы признали с трудом! — заметил Маремуха.— Александр Бобырь учился в нашей школе, потом перешел в фабзавуч. Затем попал к Азовскому морю. Стал увлекаться авиацией. Собирали они, собирали один неисправный учебный самолет вместе с приезжим летчиком, раздобыли к нему недостающие детали, а потом как взмыли над морем! Мы и смекнуть не успели, что и как, а уж Саша нам с неба рукой машет...

— Но этого еще мало для того, чтобы увековечить память вашего друга в музее, — осторожно сказал Лазарев.— Сейчас летают сотни и тысячи юношей.

— А мы и не думаем, что за один только этот первый рискованный полет нужно увековечить память Бобыря,— ответил Петро. — Саша отличился другим. В тысяча девятьсот тридцать шестом он добровольно поехал помогать республиканской Испании. Он летал там на «курносых», сбил два самолета «савойя» и, кажется, три «юнкерса» и погиб в воздушном бою под Теруэлем. В газете «Мундо обреро» о нем некролог был. Уже после я познакомился с одним испанским летчиком. Фернандес некто. Его обучал полетам Саша Бобырь. Фернандес мне и фотографию его показывал. Стоит наш Сашенька в обнимку со смуглым испанцем на полевом аэродроме. Оба в комбинезонах. Смеются. А вдали — горы. Как я жалею, что не выпросил тогда у Фернандеса этот снимок! Сейчас бы передал его вам.

— Не журись, Петро,— сказал я,— каких только встреч не бывает в наше время! А вдруг твой Фернандес командует партизанским отрядом где-нибудь под самым носом у Франко? И карточка та все еще при нем? И может быть, настанет час, когда Фернандес и его партизаны свободно, не боясь испанских жандармов, покажут нам могилу Бобыря?

— А уж если доведется вам побывать там,— сказал Лазарев, замедляя шаг,— то я вас очень попрошу — возьмите земли немножко с той могилы! Я выставлю ее в музее и напишу: «Земля Испании, за свободу которой пролил свою кровь юноша из Подолии Александр Бобырь!»

— Валериан Дмитриевич,— сказал, помолчав, Маремуха,— свяжитесь с историками Львова. Пусть напишут вам, как вели себя защитники Старой крепости, освобождая от фашистов и Львов. Туда же первыми ворвались как раз танкисты-уральцы. Танкист с Урала Александр Марченко поднял над ратушей Львова Красное знамя. Все эти факты представляют несомненный интерес и для вашего музея. Сделайте особую витрину: боевой путь на запад танкистов, которые освобождали подольскую землю!

— Хорошая мысль! — согласился Лазарев.— Но, собственно, защитников Старой крепости осталось мало. Большинство бойцов, которыми командовал старший лейтенант Стецюк, погибли. Те же из них, что уцелели — до момента, когда соединились Первый и Второй Украинские фронты,— так измотались, что на некоторое время их оставили во втором эшелоне. Стецюк, как узнал, что главные силы Советской Армии подошли к Подолии и фашисты заорали свое «капут», сказал товарищам: «Ну, пока все. Свою задачу мы выполнили». Повалился тут же, под башней Кармелюка, на мокрую землю и проспал без перерыва пятнадцать часов! Будили его, будили — ничего не вышло. Приехал командир бригады, глянул на спящего, махнул рукой и сказал: «Не троньте его. Пусть спит. И орлу нужен отдых!»

— А что же с Димой, Валериан Дмитриевич? — спросил я.

— Плохо с Димой! — ответил Лазарев.— Уже в последний день обороны снаряд из «тигра» разбил Архиепископскую. Вместе с обломками башни тяжело контуженный Дима упал во двор. До сих пор он не может сказать ни слова...

— Позвольте! Так это к нему профессора из Львова вызвали? — воскликнул я.— Как же я раньше не догадался!

— Уже вызвали? Очень хорошо! — обрадовался Лазарев.

— Возможно, это он и пролетел сейчас на «кукурузнике»,— сказал я.

— Сходим давай к Диме, а, Василь? — загорелся Маремуха.

— Сходим! — согласился я.— Раз ты сегодня остаешься в городе, у нас времени хватит. К тому же я знаю Елену Лукьяновну. Она его лечит и, думаю, пропустит нас.

Вездеход подполковника Маремухи примчал нас на базарчик. Мы купили Диме гостинцев: домашней, пахнущей чесноком и дымом свиной колбасы, яиц, краюху свежего пеклеванного хлеба с тмином, несколько колючих молоденьких огурчиков, масла, завернутого в мокрый тыквенный лист, и букет пахучего, в капельках утренней росы жасмина.

Увидела нас со всем этим Елена Лукьяновна и замялась.

— Как быть с вами, право, не знаю! — развела она руками.— Полчаса назад Диму начал осматривать профессор. Сейчас он отлучился на телефонную станцию. Хочет вызвать Ленинград. Я могу пропустить вас к больному, но на одну минутку.

Мы ожидали найти на койке лихого забияку, не знающего в жизни слова «нет». Ведь таким представлялся нам по рассказу Лазарева Дима — хлопчик из далекой Сибири. А перед нами, чуть приподнявшись на подушках, лежал удивительно тихий, застенчиво улыбающийся, чуть-чуть скуластый паренек.

Комендант одной из сторожевых башен крепости и кавалер ордена Славы посмотрел на нас, облаченных в чистые накрахмаленные халаты, с удивлением и надеждой. Быть может, ему показалось, что это новые профессора успели так быстро примчаться сюда из Ленинграда на каком-нибудь особом, сверхскоростном самолете?

Чтобы рассеять недоумение мальчика, Петро принялся солидным баском выкладывать ему, кто мы такие и почему решили его навестить.

Скуластое лицо Димы все расплылось в улыбке, стоило ему только услыхать, что Петро — подполковник того же самого корпуса, с танками которого и он, Дима, дошел до подольской земли. Он порывисто приподнялся на худеньких лопатках и, усевшись, протянул сперва Маремухе, а потом уже мне неестественно бледную мальчишескую руку с синими жилками. Давая понять, что говорить не может, Дима помахал ладошкой перед ртом.

— Все уладится, Дима, не горюй! — утешал я сибирского мальчика.— Люди годами слепыми были, и то им сейчас наука зрение возвращает, а твою болезнь вылечат и подавно.

— Ну как, будешь в следующий раз чучело из музея за живую козу принимать? — спросил Маремуха, улыбаясь и, видимо, желая развеселить хлопчика.

Тот, напрягая память, наморщил гладкий лоб. Упрямая складка появилась у него над переносицей. И вдруг Дима, вспомнив случившуюся с ним смешную историю, рассмеялся.

В больничном коридоре послышались гулкие шаги. Походкой решительного человека, привыкшего чувствовать себя как дома в любой больничной обстановке, в палату быстро вошел высокий врач в белом халате. Воротник плотно облегал его крепкую, жилистую шею. Это и был профессор из Львова. Мы отошли со своими стульями подальше от койки.

Профессор искоса глянул на нас и принялся рассматривать рентгеновский снимок. Пришедшая с ним Елена Лукьяновна застыла у изголовья мальчика в почтительном ожидании, держа наготове ватку и какие-то пробирки.

— Перейдем к исследованию чувствительности,— сказал профессор, и что-то знакомое послышалось в глуховатом его голосе. «Где я видел этого человека раньше?» — ломал я себе голову.

Профессор, не обращая больше внимания на нас с Маремухой, долго и внимательно исследовал больного.

Елена Лукьяновна прикрыла обе половинки окна, выходящего на Больничную площадь. Прозрачное стекло отдалило стук двигателя на ожившем после войны заводе «Мотор» имени Григория Петровского. Когда знакомый с детства стук четырехтактного двигателя умолк, мне вспомнилось вдруг, как некогда и я лежал в этой больнице, раненный бандитами, шедшими из-за Днестра на советскую сторону по приказу румынской сигуранцы.

Каким пустяковым казалось мне сейчас то ранение по сравнению с тем, что испытал этот хлопчик! Сколько надо было мужества, чтобы почти неделю лежать одному с трофейным пулеметом у амбразуры Архиепископской башни, следя за дорогой и стреляя до того мгновения, пока, ослепленный быстрой вспышкой тяжелого снаряда, он не был сброшен в грохоте и пыли к подножию разрушенной башни!

— Ну, милый,— сказал профессор, закончив осмотр, — будем оперироваться. На мозг давят мелкие осколки снаряда и обломочки кости. Они-то и лишили тебя речи. Я вызвал лучшего хирурга из Ленинграда. Сегодня первым самолетом он вылетает во Львов. Сейчас и тебя заберу туда, в свою клинику. Осколки вынем— песни запоешь! Согласен?

Мы не видели лица Димы. Но, по-видимому, заслоненный от нас плотной фигурой профессора, он кивнул ему «да», потому что профессор сказал с облегчением:

— Вот и прекрасно! Я знал, что ты молодчага.

Когда мы зашли к Елене Лукьяновне в ординаторскую, там по навощенному паркету расхаживал профессор. Он уже снял халат, и я увидел на сером его костюме планки с ленточками боевых орденов.

Обрывая начатый до нас разговор, профессор резко махнул рукой, и этот его жест как бы осветил в памяти мои первые встречи с ним.

— Прошу познакомиться, профессор,— сказала Елена Лукьяновна.— Вот этот товарищ — инженер из Ленинграда...— Она показала рукою на меня.

— Да мы уже, по-моему, знакомы, — сказал я, улыбаясь. — Однажды портфель профессора принес мне большое счастье...

— Мы знакомы? — озадаченно переспросил профессор.— Позвольте... Какой вы портфель имеете в виду?

— Однажды, двадцать лет назад, в этом же самом городе фабзавучники выбрали своего делегата в Харьков. Он должен был поехать туда и спасти от закры-

тия здешний фабзавуч, который порывался ликвидировать украинский националист Зенон Печерица. Но вот беда: у делегата не было портфеля, куда сложить все бумаги. Тогда обратились с просьбой к заведующему оргинструкторским отделом окружкома комсомола Панченко, и он отдал фабзавучнику, едущему в столицу, свой портфель... Вы ведь Панченко?

— Панченко, — сказал профессор. — А вы... Постойте... Ты — Василий Манджура!

И хотя один мой друг советовал, чтобы быть здоровым, во всех случаях жизни подальше убегать от докторов, я с величайшей радостью бросился на широкую, слегка пахнущую лекарствами грудь профессора...

Давно уже «кукурузник» протрещал в небе и сразу же за Карвасарами повернул на Львов, увозя туда профессора и его нового пациента, а я все еще не мог опомниться от неожиданной встречи.

За то короткое время, что провели мы вместе в ординаторской, профессор успел рассказать мне свою судьбу. В конце двадцатых годов он оставил пост секретаря губкома комсомола одного из приволжских городов страны и с путевкой ЦК ВЛКСМ поехал учиться в Ленинград, в Военно-медицинскую академию. Ему еще посчастливилось видеть живого академика Павлова. От него лично после одной из лекций он услышал знаменитые слова, записанные впоследствии великим физиологом в своем завещании — письме к молодежи: «Последовательность, последовательность и еще раз последовательность!»

... И еще вспоминался мне, когда мы шагали с Маремухой по Заречью, давний разговор с инженером Андрыхевичем.

Из далекой юности в этот солнечный послевоенный день, наполненный столькими встречами, выплыло злое, раздраженное лицо старого специалиста, связанного с промпартией, думавшего переждать революцию, перехитрить Советскую власть. И снова, будто сегодня, услышал я его ехидный вопрос: «Откуда вы возьмете образованных людей? Сами научитесь? Раз-два — взяли! Эх, зеленая, самая пойдет! Да?.. Очень сомневаюсь!..»

Мы отправились с Петром к Старой усадьбе, в которой он провел свое детство. Но и здесь нашли только развалины. Куча красноватого мусора возвышалась на месте домика, где жили до войны отец и мать Петруся. Густая лебеда да чертополох стерегли развалины. По-видимому, хатка эта была снесена артиллерийским огнем еще в первый год войны, когда гитлеровская армия, захватив Тернополь, двигалась через наш город к Проскурову.

Не было знакомых нам высоких ворот и подле домика Юзика Стародомского. Сколько раз вот где-то тут, под несуществующими теперь воротами, мы выкрикивали на весь Крутой переулок: «Юзик! Юзю! Куница!»

Наконец он появлялся, важный и быстрый, наш друг, наш атаман, прихлопывая в такт движению длинным батогом, и мы отправлялись с ним в очередной набег на подзамческие сады либо на купание к Райской брамке.

Не откликнется он больше никогда, дорогой наш Юзик...

Там, где стояла их хата, из глинистой котловины выглядывал серый, совсем недавно выстроенный здесь вражеский дот. Железные усы арматуры торчали из серого бетона. Широкая, как окошечко мясного рундука, амбразура дота смотрела на восток. По-видимому, это было одно из укреплений, созданных противником на Волыно-Подольском плато.

Не помог фашистам ни этот дот, ни сотни других подобных укреплений.

Маремуха взобрался на макушку укрепления, глянул в его вентиляционную трубу, что торчала кверху, как пароходный гудок, плюнул в нее и, стуча каблуком в бетон, промолвил:

— Советские орудия и не такие штуки выковыривали с корнем. Видал, как пни корчуют в лесу? Вот так приблизительно и с дотами было!

Не сговариваясь, мы снова побрели до Старой крепости через предместье Татариски. Его охраняла приютившаяся на берегу Смотрича высокая сторожевая башня.

Окрашенная багровым отсветом заката, Старая крепость на вечернем небосклоне вырисовывалась особенно величественно.

Посредине моста мы остановились. Опершись руками о дубовые перила, Маремуха глядел на Заречье. Серый дот казался отсюда, с вышины, совсем маленьким, похожим на башню зарытого в землю танка.

— Послушай, Вася,— вдруг сказал Петро,— а помнишь, у нас соседка была, дочь главного инженера завода? Ты еще увлекался ею как будто... Она ведь в Ленинград уехала, верно? Ты не встречал ее?

— Как же не встречал, Петрусь! — ответил я.— Могу признаться тебе откровенно. Еще в ту пору, когда порвала она со своими родными и против их воли уехала в Ленинград, я помогал Анжелике. Ушел в армию — мы переписывались. В письме она просила меня после армии приехать в Ленинград. Так я и сделал: отслужив, взял курс к берегам Невы. Поступил на завод, обосновался. Встретились мы друзьями: как сейчас помню, сходили с нею в филармонию, слушали Шестую симфонию Чайковского. Анжелика в то время уже консерваторию окончила. Перед самой войной она вышла замуж.

— Отец ее жив? — спросил Маремуха.

— Ты же знаешь, от нас его перевели в Ростов, на «Сельмаш». Она рассказала, что его арестовали в Ростове за связи с промпартией, но вскоре он был освобожден, трудом загладил свою вину перед Родиной. Война началась — он эвакуировался со своим заводом из Ростова на Урал. Всю войну в минометном цехе инженером работал. Глубокий теперь старик уже.

— Может быть, он под команду Полевого попал? — сказал Петро.— Ты же знаешь, что Нестор Варнаевич после окончания Промышленной академии на Урал уехал, теперь он — директор крупнейшего комбината.

— Мне попадалась его фамилия не раз в газетах. Я даже написать ему собирался, но точного адреса не смог узнать.

— А Лика голодовку пережила, не знаешь? — спросил Маремуха.

— Как же! Знаешь, где я встретил ее той блокадной зимой? Страшно вспомнить! В больнице имени Видемана, на Васильевском острове. Я лечился там от истощения. Однажды в коридоре вдруг слышу — тихо кто-то говорит: «Вася!» Оглянулся — рядом Анжелика! Отощала. Круги черные-черные под глазами. Руки худенькие-худенькие, прозрачные... «Лика, милая, вы не уехали?»— закричал я. А она мне, понимаешь, отвечает тихо так: «Куда же мне уезжать из своего родного города? Чем я хуже мужа? А он рядом, на Пулковских высотах». И рассказала потихоньку, как отказалась эвакуироваться с филармонией... Помнится, разглядела она меня и прошептала: «Боже, Василь, как вы изменились! Дорогой, вам тоже очень трудно?» Совестно было мне, мужчине, ответить ей «да». Отшутился: «Сейчас вы не скажете, что у меня взгляд, как у лейтенанта Глана?» «При чем здесь лейтенант Глан?» — удивилась она. «Ну как же, говорю, а помните, однажды на Азовском море вы меня сравнивали с каким-то Гланом? А я еще, по малой литературной грамотности, спросил тогда, не белогвардеец ли, случайно, этот лейтенант Глан? Как видите, я лишь чуточку ошибся. За это время если не сам Глан, то, во всяком случае, автор, который его выдумал, сделался пособником фашистов...» Поговорили мы с нею вдоволь. Вот там, Петька, понял я, что переродилась Анжелика за эти годы совершенно, новым человеком стала. А помнишь, было дело — мы ее пустоцветом считали?

— Да, время и среда меняют людей,— сказал Маремуха и, перегнувшись через перила, поглядел вниз.

Там шумел подведенный к турбинам электростанции крепостной водопад. Тише и спокойнее он стал, отдавая бóльшую часть своего стремительного бега машинам, которые были спрятаны от людских глаз в белом здании станции.

Смотрел я вниз и вспоминал детские годы, проведенные в родном городе. Сколько раз после половодья бродили мы по илистым берегам реки, мечтая найти если не корону какого-нибудь турецкого визиря, то хоть пару золотых цехинов!

Не нашли мы золото, да зато нашли большое счастье — имеем такую страну, такую Родину, которой завидуют все честные труженики мира.

— Да, время и среда меняют людей. Золотые твои слова, Петро! — повторил я после небольшого раздумья.— И я искренне радуюсь тому, что не только мы, воспитанные комсомолом и партией, но даже и люди, подобные Анжелике, которые в двадцатые годы еще колебались в выборе пути, прошли за это время отличную школу.

— А муж Анжелики жив? — спросил Петро.

— Убили под Гатчиной, когда блокаду Ленинграда рвали. Он как ушел в народное ополчение осенью, так с фронта и не возвратился. Погиб майором. Быть может — но это пока по секрету, — поженимся мы с нею, Петя... Кстати, ты иногда можешь послушать ее фортепьянные концерты по радио из Ленинграда. Понравится — напиши ей отзыв. Напиши: «Я тот самый ваш сосед Петрусь, с которым Василь познакомил вас на берегу Азовского моря». Как она будет рада твоему письму! Она часто вспоминает ту встречу. Это же наша юность, Петро, славная, дорогая, светлая юность!..

...Западный ветер принес из днестровских урочищ громадную черно-серую и густую тучу. Медленно ползла она к зениту, подобно дыму далекого пожара, и гребень ее, озаренный отсветом заката, был багровым и тревожным.

— Как она появилась на небе? — удивился я.— Ведь так солнечно было с утра! Даже поразительно! Знаешь, что мне напоминает эта туча? Дым от пожара Бадаевских складов в Ленинграде. То был первый массированный и, пожалуй, самый ощутимый для осажденного города воздушный налет. И валил из тех складов такой густой-прегустой дымище, и так медленно полз он вверх, занимая добрую половину неба, что мы думали сперва — туча... А может, пойдем домой, Петро? Будет гроза.

— Не спеши,— сказал Петро, улыбаясь и поглядывая на запад.— Чего ж бояться — дождя? Не такие грозы переживали. Не страшно теперь. Ведь мы — взрослые...

Май 1936, Ленинград
Август 1967, Москва

НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ

Необычна и удивительна долголетняя судьба главной книги Владимира Беляева — трилогии «Старая крепость». С первой частью трилогии читатель познакомился еще в 1937 году. Работу над ней писатель закончил через шестнадцать лет и тогда же был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. С тех пор книга неоднократно издавалась и переиздавалась на разных языках.

Страстно и правдиво рассказывает она нашим современникам о «первых всходах революции» — о судьбах обыкновенных молодых людей, живших в необыкновенное время революционных преобразований. Нынешний читатель-подросток, которому адресована «Старая крепость», черпает в этой книге не только исторические сведения о творцах первых побед Советской власти, но и учится на примере ее героев жить и бороться, беззаветно служить родному народу. Перешагнув рубежи нашей Родины, она и там продолжает вершить свое благородное дело, ведет бой за мир и справедливость на земле.

Не случайно в годы вторжения американских агрессоров во Вьетнам в Ханое на вьетнамском языке были напечатаны все три тома «Старой крепости». Беляевская книга вручалась молодым воинам-патриотам вместе с боевой винтовкой. Одну из этих книг, пробитую осколком вражеского снаряда и опаленную пламенем взрыва, мне довелось обнаружить на пепелище в развалинах разрушенного вьетнамского города, только что освобожденного от захватчиков. Как стойкий солдат, книга находилась в боевом строю вьетнамских патриотов, помогая им в освободительной войне.

Об израненной книге, найденной на поле боя, я рассказал автору «Старой крепости». Владимир Павлович с волнением слушал меня, а потом сказал:

— Нет для писателя чести выше, чем видеть, как его книга сражается и побеждает, помогая народу в добром деле. Это счастье для художника. В трилогии я воскресил то, что видел и пережил в юные годы, что невозможно забыть. Всей жизнью и творчеством своим стремлюсь быть полезным народу, родной партии, в рядах которой состою вот уже полвека.

Полвека в партии — срок немалый. Есть что вспомнить. И Владимир Павлович вспоминает. На память прежде всего приходят люди, общение и дружба с которыми в какой-то степени определили его жизненную и творческую судьбу. А еще вспоминается близкий сердцу древний украинский город Каменец-Подольский, жители которого избрали писателя своим почетным гражданином, вспоминаются овеянные легендами выщербленные стены старой крепости над обрывом, где мальчишки и по сей день ищут подземные ходы, пытаются взобраться на зеленые от мха остроконечные крыши сторожевых башен с узкими амбразурами, затевают шумные детские игры. Нет, не в казаки-разбойники, как бывало. У них теперь другие игры — в юных героев революции, воспетых в книге писателя-земляка. В мечтах каждый из них, наверное, представляет себя отважным большевиком-шахтером Тимофеем Сергушиным, который, по свидетельству автора книги, был расстрелян петлюровцами здесь, у этих неприступных крепостных стен.

— Существовал ли в действительности такой человек? — интересуюсь я.

— Да, существовал,— не сразу отвечает В. Беляев.— Только фамилия у него была другая. И расстреляли его не во дворе крепости, а на городской окраине, на кладбище. Мы, гимназисты, своими глазами видели, как несколько вооруженных петлюровцев вели революционера на расстрел. Приказали ему остановиться перед кладбищенским рвом. Вскинули винтовки. Прежде чем до нас донеслись выстрелы, мы услышали его голос. Он гневно бросил в лицо врагу: «Да здравствует Советская Украина! Никогда не оторвать вам Украину от России, палачи!» Детская память до мельчайших подробностей зафиксировала сцену расстрела, бесстрашие коммуниста. Он как бы передавал нам, мальчишкам, свой последний завет — свято хранить Страну Советов от вражеских посягательств, крепить дружбу наших народов. И мы поклялись тогда быть верными этому завету. Красная Армия вышвырнула петлюровцев из города. Ликованием встретили мы победителей. Как высшую драгоценность принимали мы из рук бойцов и командиров стреляные ружейные гильзы, а уж если кому из нас удавалось проехаться на военном коне вместе с бойцами на водопой — такому счастливчику завидовала вся улица. Красноармейцы, командиры и политработники с того дня стали нашими самыми большими друзьями и советчиками.

Гимназию преобразовали в трудовую школу, в городе прочно укрепилась Советская власть. Но вокруг еще злобствовали недобитые петлюровские банды, и подросток Володя Беляев участвует в военных операциях курсантов совпартшколы, где работали его родители, в дни летних каникул отправляется с друзьями в приграничный совхоз и там помогает курсантам биться с бандой, прорвавшейся на нашу территорию из-за рубежа. Боевую выучку, политическую закалку он проходил в частях особого назначения. В 1924 году, когда умер Ленин, ему вручили комсомольский билет, и тогда же он опубликовал в местной газете свой первый очерк, посвященный великому вождю революции.

Окончен фабзавуч. Он, литейщик пятого разряда, направляется в Бердянск, становится рабочим. Заводская романтика увлекает паренька, и он по вечерам, после работы пишет статьи и очерки о трудовых буднях. Ему доверяют редактировать выездную газету «Червоний кордон». На стареньком автомобиле, выделенном в его распоряжение окружкомом партии, Беляев колесит по селам пограничных районов, публикует на газетных страницах один за другим рассказы о новизне советской жизни, о бдительности советских людей.

Потом — служба в армии, работа в промышленности.

Колыбель революции — город Ленинград — стал и его, образно говоря, партийной колыбелью. Здесь, на прославленном заводе «Большевик» (бывший Обуховский), Беляев становится коммунистом. А рекомендовал его в партию знатный токарь Петр Солоненко, бок о бок с которым они трудились в цехе сборки.

И тогда же Беляев начинает писать повесть о своем детстве — «Старая крепость». Первый вариант повести печатается в журнале «Молодая гвардия» в 1936 году под названием «Подростки». Через год Ленинградское отделение Детгиза выпускает «Старую крепость» отдельным изданием. За месяц до начала войны с немецко-фашистскими захватчиками печатается вторая книга трилогии — «Дом с привидениями».

Война застала Владимира Беляева в осажденном Ленинграде. Он добровольцем вступает в народное ополчение, строит оборонительные рубежи, участвует в смелых действиях истребительного батальона, а в редкие свободные минуты пишет очерки и памфлеты для газеты, выступает по радио, создает сценарии для антифашистских фильмов.

Владимир Беляев начал создавать книгу, когда ему не исполнилось и тридцати, а завершил работу в зрелом возрасте. Писал он о годах молодых, о первых годах Советской власти. К тому времени, когда рабочий парень взялся за перо, годы эти уже стали историей. Требовалось многое вспомнить, уточнить, перепроверить. При работе над трилогией он нацеливал себя на более тесное единение с современностью, с текущим моментом жизни страны, жизни молодежи, думал о том, чтобы его будущая книга нерасторжимо слилась с тем делом, которым была занята молодежь, пришедшая на смену первым комсомольцам, чтобы она не просто раскрывала факты истории, которые забывать нельзя, но отвечала бы

духу эпохи, шла в ногу со временем, с комсомолом, учила бы действовать в новых исторических условиях.

А время в тридцатые — сороковые было тревожное. Все выше поднимал голову фашизм, и Владимир Беляев в жизненном материале, которым он обладал, искал свежие зерна, которые смогли бы прорасти в современность, стать полезным для нового поколения, для строителей и защитников социалистического общества.

Что было первостепенно необходимо в условиях надвигающейся военной угрозы? Идейно сплотить молодежь, научить ее бдительно следить за происками врага, готовиться к тому, чтобы в любую минуту дать сокрушительный отпор агрессору. Военно-патриотическое воспитание воспринималось и тогда как первоочередная задача времени. Рассказать молодежи о героях первых битв за революцию, о коварстве врага и мужестве бойцов Красной Армии, о единстве советских людей, готовых, не щадя своей жизни, постоять за свой народ, за Советскую власть,— это и значило помочь словом художника решению этой насущной, государственно важной задачи.

Так воспринял требование времени Владимир Беляев, размышляя над тем, какой должна быть его книга. Она рождалась в беспокойные годы, тревоги которых не могли не оставить на ней свой отпечаток. Тема защиты Страны Советов стала главенствующей в первой книге «Старая крепость». Так подсказало сердце. Так велел гражданский долг.

...Вторая книга трилогии — «Дом с привидениями» — писалась в годы невиданного размаха социалистического строительства, стахановского движения, когда комсомольцы-добровольцы покидали родные города и села, ехали по зову партии в далекие края строить гиганты индустрии, крепить промышленное и оборонное могущество Родины. Как было не откликнуться на это патриотическое движение молодых энтузиастов, если и сам когда-то, окончив фабзавуч, вот так же по-рабочему решительно и твердо заявил матери, что пришел конец его мальчишеским играм в стенах Старой крепости.

В стране еще царила безработица, и не всякому выпадало счастье сразу занять рабочее место. Беляев покидает родной Каменец-Подольский и едет вместе с комсомольцами туда, где большая нужда в литейщиках — к Азовскому морю, на машиностроительный завод. Об этом времени он начал писать продолжение «Старой крепости» — книгу о той поре, когда он с друзьями не только по-ударному работал, но и учился метко стрелять из винтовки, неразрывно был связан с Красной Армией, с пограничниками, вместе с другими и сам нередко отправлялся ловить диверсантов, участвовал в вооруженной борьбе против контрреволюционных банд. Пусть комсомольская смена поучится на примере первых молодых ударников труда не только работать на совесть, по-социалистически, но и овладевать военными знаниями. Неспроста же комсомол призывает молодежь сдавать нормы на значки «Ворошиловский стрелок» и «Будь готов к труду и обороне!». Это тоже зов времени. И Владимир Беляев три предвоенных года посвятил работе над повестью о молодой рабочей гвардии, прошедшей закалку на прочность в горниле первых индустриальных побед Советской власти.

Заключительная часть трилогии — повесть «Город у моря» создавалась, когда по всей стране шло восстановление разрушенного в лихую годину битвы с фашизмом народного хозяйства. И в книге велась речь тоже о восстановительных работах, о борьбе за подъем отечественной промышленности, идейном возмужании и творческой активности молодого рабочего класса. В произведении, по сути дела, в каждой главе, в каждом литературном образе мы улавливаем перекличку двух исторических периодов, двух поколений молодежи; книга как бы доносит до новой комсомолии трудовой и нравственный опыт молодых героев, встречавших свое совершеннолетие в рядах строителей социализма, одухотворенных великой мечтой о будущем.

Как видим, каждая книга трилогии «Старая крепость» была не просто современной, но и своевременной, спешила придти на помощь юности сороковых — пятидесятых годов. И правильно писал о неослабевающей актуальности беляевской трилогии автор замечательной книги о доблестных защитниках Брестской крепости, лауреат Ленинской премии Сергей Сергеевич Смирнов: «В вечном вопросе молодежи «делать жизнь с кого» книга Беляева еще не раз придет на помощь

многим юношам и девушкам. Книга — друг и ненавязчивый учитель, она откроет им красоту и счастье подвига во имя дела народного, заставит их душой ощутить и радостное упоение справедливой борьбы, и гордое достоинство труда в рабочем строю товарищей. Она научит их дружбе и любви, честности и прямодушию, стойкости и упорству — лучшим качествам человека и гражданина, так необходимым людям, стоящим на пороге светлого будущего — коммунизма».

Правдиво нарисовав образ поколения, рожденного революцией, Владимир Беляев постоянно думал о своем читателе, настоящем и будущем, выдвигая в трилогии на арену действий таких героев, которых само время требовало поставить впереди, чтобы вести за собой на славные дела подростков новых боевых и созидательных лет.

Писатель-коммунист сердцем воспринял политику партии и наметил точную цель идейно-нравственной направленности своего творчества, своих воспитательных функций. И он не промахнулся — его творческий труд очень пригодился тем, кому была адресована книга — детям и юношам нового времени, это произведение нашло в их сердцах горячий отклик.

Как и всякий истинный художник, он конечно же использовал право на домысел, на обобщение и типизацию образов, но при этом никогда не уходил в сторону от жизненной правды, никогда не забывал о том, что по его книге грядущие читательские поколения будут судить о том, какими были «на самом деле» люди его времени, как они жили и сражались, работали и любили, заново открывали для себя окружающий мир, озаренный пламенем революции.

Он воссоздавал подлинную правду событий, обрисовывал героев, утверждал правду своего времени. Но он и знал при этом, что эту правду он несет из своего времени в новое время, и ему, естественно, хотелось, чтобы эта правда верно служила бы грядущим поколениям, заражая их жаждой деятельности, стремлением подражать героям книги. Вот почему писатель из богатейших запасов своего жизненного опыта стремился, не искажая реальной действительности, отобрать прежде всего то, что интересно и поучительно, что переживет не только сегодня, но и завтра, вступит в грядущий день.

В «Старой крепости» мы открываем для себя не только художественную реальность больших исторических событий, но и читаем о будничной жизни жителей маленького древнего городка, обыкновенных мальчишеских играх и увлечениях, проказах и выдумках. И вот что характерное замечаем мы, читая эту книгу: все будничное и незначительное в судьбе героев, в судьбе города постепенно отодвигается назад, и все ярче, весомее заявляет о себе жизнь — большая, кипучая, многогранная революционная жизнь, в которой по-новому формируются человеческие характеры и проясняются истинные лица наших друзей и врагов.

Автор не противоречит здесь правде жизни, правде истории. Революция в действительности определила судьбу многих миллионов людей, в ее свете особенно отчетливо стало видно большое и маленькое, истинное и фальшивое, смелое и трусливое. Революция вела народ к главному — к освобождению трудящихся от гнета эксплуататоров, к образованию свободной и счастливой жизни, к полному проявлению человеческих талантов и способностей.

К этому главному и ведет нас повествование «Старой крепости». Она — правда революции — венчает все пережитое юными героями книги, жителями города, освобожденного Красной Армией от произвола петлюровцев и их союзников — польских интервентов. Вот эту главную правду и изобразил Владимир Беляев, опираясь на собственные наблюдения, на реальную судьбу близких ему людей, на реальные исторические факты своего времени. И эти главные факты, определившие все поступки детей и взрослых, писатель поставил в центре повествования, вывел в своей книге на передние рубежи. Он добился того, что множество чудесных и точных деталей, введенных в ткань повествования, не заслонили его основной мысли, не увели в мелкотемье, в сторону от генерального течения жизни.

Как показала долголетняя счастливая судьба «Старой крепости», книга стала нужной и полезной читателю именно вот этой главной правдой, возникшей в атмосфере социалистической революции. Эта правда помогла читателю вернее увидеть поступательный революционный процесс и определить свое место в рядах строителей нового общества. В ярком художественном изображении народной

жизни на заре Советской власти и заключена главная сила трилогии, ее непреходящая ценность для юного читателя.

Владимир Беляев всей силой своего таланта, силой любви и ненависти откликается на боли и беды человеческие, на требовательный зов честных людей мира обуздать фашизм, сорвать бредовые планы поборников войны, сеющих на земле ядерную угрозу и убийства, клевету и провокации. Именно этой болью душевной и пронизана другая книга Владимира Беляева «Вишневые аллеи», в которую вошли лучшие произведения писателя — повесть, рассказы и памфлеты, созданные им в последние годы.

Название всему сборнику дал документальный рассказ о подвиге, совершенном в первые дни битвы с фашизмом маленьким гарнизоном погранзаставы, которым командовал лейтенант Алексей Лопатин и политрук Павел Гласов, погибшие в неравном бою с захватчиками. Прах их ныне покоится на старинном сельском кладбище, неподалеку от заставы. «Пограничники, которые пришли служить сюда,— сообщает автор,— посадили на заставе вишневую аллею в честь славного подвига своих предшественников. Весной деревья покрываются нежным белым цветением, а ближе к середине лета на них алеют полные, сочные вишни. Никто не срывает их — так сложилась традиция. Наливаясь соком, они постепенно падают на землю и алеют под деревьями, словно капли крови, которой некогда оросили эту землю герои-пограничники».

В образном строе книги выражена всенародная память о мужественных борцах за свободу и независимость нашей Родины. Мы как бы слышим отзвук горестных колоколов белорусской Хатыни, завывание ветра в развалинах Брестской крепости, трагический реквием, звучащий на Пискаревском кладбище Ленинграда.

Свидетельства о героической гибели пограничников-лопатинцев автор собирал много лет, подолгу жил на заставе, которую лопатинцы обороняли до последнего вздоха, сдерживая натиск гитлеровских полчищ. Никто прежде не знал об их подвиге. Писатель первым поведал миру об этом. Эта застава сегодня носит имя лейтенанта Алексея Лопатина, Героя Советского Союза. В Народной Республике Болгарии одна из пограничных застав также названа именем А. Лопатина.

Не узнали бы мы, наверное, и о высоком нравственном подвиге скромной деревенской девушки Иванны Ставничей, которая открыто бросила в лицо церковным изуверам суровое обвинение в двурушничестве и коварном предательстве, если бы не следопытский поиск Владимира Беляева. В послевоенном Львове ему удалось обнаружить следы убийц Иванны, и в своей повести «Кто предал?», также включенной в сборник «Вишневые аллеи», он раскрыл правду совершенного преступления. Опутанная густой паутиной иезуитских провокаций, дочь священника Иванна, натура открытая, оказалась на краю пропасти, в жестоких тисках так называемых «духовных пастырей» — гитлеровских агентов. Рушилась ее мечта о том, чтобы поступить учиться в университет, стать ученой. Осеняя Иванну крестным знамением, отъявленный антисоветчик митрополит граф Андрей Шептицкий лицемерно внушал своей крестнице: «Не горюй о безбожном университете. Посвяти себя всецело служению в обществе имени пресвятой девы нашей Марии... Сделай все возможное, чтобы предостеречь знакомых тебе юношей и девушек от вступления в комсомол. Билет в кармане наших молодых галичан — это каинова печать навсегда, наивысший грех перед господом богом. Запомни это. Любыми способами надо искоренять тлетворные плевелы безбожного учения».

Не послушалась Иванна наставлений крестного отца, который учил безвольно покоряться злу, замораживал ее волю и стремление к лучшей доле. Она своими глазами видела, как в годы варварского нашествия фашистов с благословения церковников-националистов бандеровские бандиты жестоко измывались над невинными людьми, как эсэсовцы, на поясных пряжках которых выштампованы слова «С нами бог!», обрекали на гибель детей и стариков, стреляли в обреченных в упор, в затылок. Десятки тысяч мирных жителей одного только Львова уничтожили они за тридцать семь месяцев фашистской оккупации.

Видя предательство людей, в которых она прежде верила. Иванна спешит на помощь борцам за свободу, спасает из лагеря смерти военнопленных, сближается с советскими подпольщиками.

Иезуиты обманом выманили Иванну из подполья, приговорили девушку к смерти. И когда эсэсовец набросил ей на шею петлю, она решительно сорвала

с себя нательный крест и отшвырнула его далеко в траву, раскрепостившись раз и навсегда от мешавших ей религиозных пут прошлого.

Владимир Беляев создал большой цикл памфлетов «Слуги фашизма и реакции», где на конкретных убедительных примерах доказал антинародную сущность буржуазных украинских националистов и благословлявших их униатских церковников, свивших себе гнезда в западных странах, где им золотом платят за предательство, за любую антисоветскую акцию, за любое выступление против коммунизма. Памфлет «Загадка Вулецких холмов», направленный против националистических террористов и предателей, подвизавшихся на шпионской службе в гитлеровских штабах в качестве переводчиков и агентов, раскрывает загадочную историю исчезновения большой группы львовской интеллигенции в первый год фашистской оккупации.

Расследованием этого таинственного трагического случая Владимир Беляев занялся давным-давно, еще в конце войны, когда работал в Чрезвычайной комиссии по расследованию немецко-фашистских зверств на Львовщине. Тогда-то и познал он во всей глубине практику неслыханного террора националистов-головорезов, подстрекаемых на новые грабежи и убийства двумя фюрерами — украинским поповичем Степаном Бандерой и гитлеровским разведчиком Теодором Оберлендером. Уже в то время были найдены документы, доказывающие, что гитлеровцы совершили свое злодеяние над львовскими учеными с благословения униатского митрополита Андрея Шептицкого по «черным спискам», заранее заготовленным для убийц организацией украинских националистов.

Однако кто именно являлся непосредственным исполнителем этого массового убийства, долгое время было неизвестно. Лишь через двадцать лет после войны писателю удалось раскрыть тайну гибели большой группы крупных научных работников Львова, узнать имена кровавых палачей, совершивших это зверство. Ими оказались гауптштурмфюрер СС Ганс Крюгер и научный специалист абвера профессор Теодор Оберлендер, один из командиров националистического батальона «Нахтигаль», карателями которого и было совершено злодейское преступление в Вулецких холмах.

Организаторы убийства львовских ученых остались живы. И по сей день западная церковь своими велеречивыми проповедями о христианском всепрощении, по сути дела, оберегает от суда истории явных злодеев, замазывает их кровавые преступления. Беляевский памфлет призывает не просто помнить об этой страшной трагедии, но и сделать все возможное, чтобы подобные злодеяния никогда больше не повторились на нашей земле.

В своих публицистических произведениях Владимир Беляев убедительно развенчивает происки националистов-клерикалов, осевших в Канаде, Нью-Йорке, Мюнхене. Это они изо всех сил пытаются возродить закоренелого врага украинского народа — униатскую церковь. Особенно яро отстаивает эту вздорную идею бывший коллаборационист, нынешний кардинал Иосиф Слипый. Трудящиеся Львова и прилегающих к нему сел хорошо помнят его кровавое сотрудничество с гестапо и абвером гитлеровской Германии.

Беляевские памфлеты смело атакуют происки фашиствующих молодчиков, националистов и иезуитов, пробуждают в душах советских людей высокое чувство бдительности. В острой идеологической борьбе, которая происходит сегодня на всех континентах мира, в борьбе прогрессивного человечества против неофашистов, многолетних слуг тьмы и мракобесия, публицистика Владимира Беляева обретает особую актуальность, содействует срыванию масок с тех, кто прикидывается невинными овечками, пытаясь повернуть назад колесо истории, затормозить движение миллионов к прогрессу, к нравственному освобождению.

Владимир Беляев пишет, заключая свою книгу: «...национализм продолжает жить за кордоном. Его носители не отказались от своих коварных планов. В общем хоре воинствующих антикоммунистов слышен голос и тех, кто стремится возродить унию на украинской земле... Пусть же факты истории напомнят людям о тех преступлениях буржуазных националистов и униатов, о которых мы не вправе забывать. Во имя мира на нашей земле! Во имя справедливости и счастья!»

Владимир Беляев пишет о том, что глубоко знает и что отлично помнит. Он хочет, чтобы и его читатель об этом знал и всегда помнил.

Владимир РАЗУМНЕВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Павлович Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

Трилогия

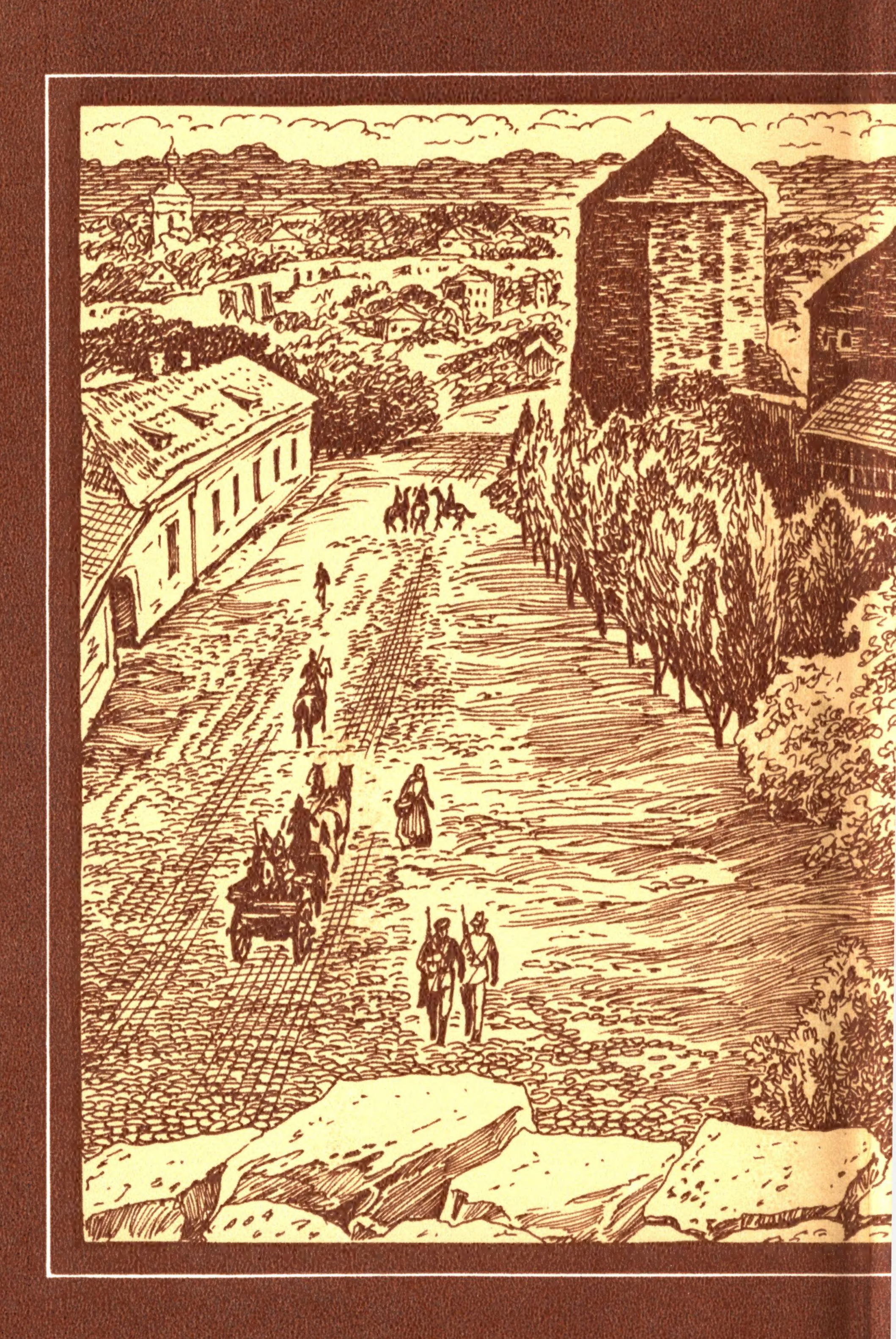
Редакторы *К. А. Князев, А. А. Абрамов*
Художник *А. И. Сухоруков*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *Т. Г. Пименова*
Корректор *Е. В. Григорьева*

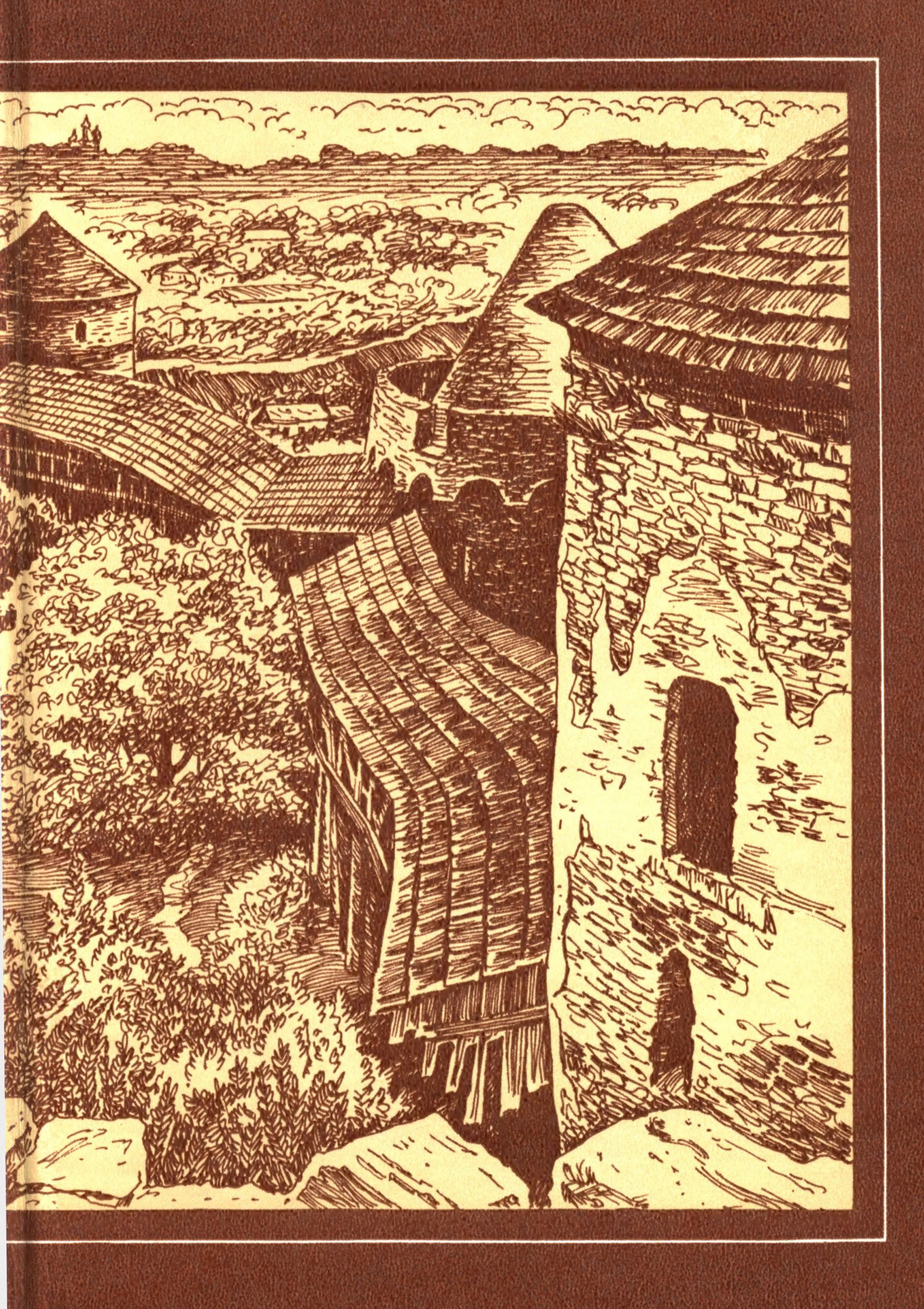
ИБ № 2626

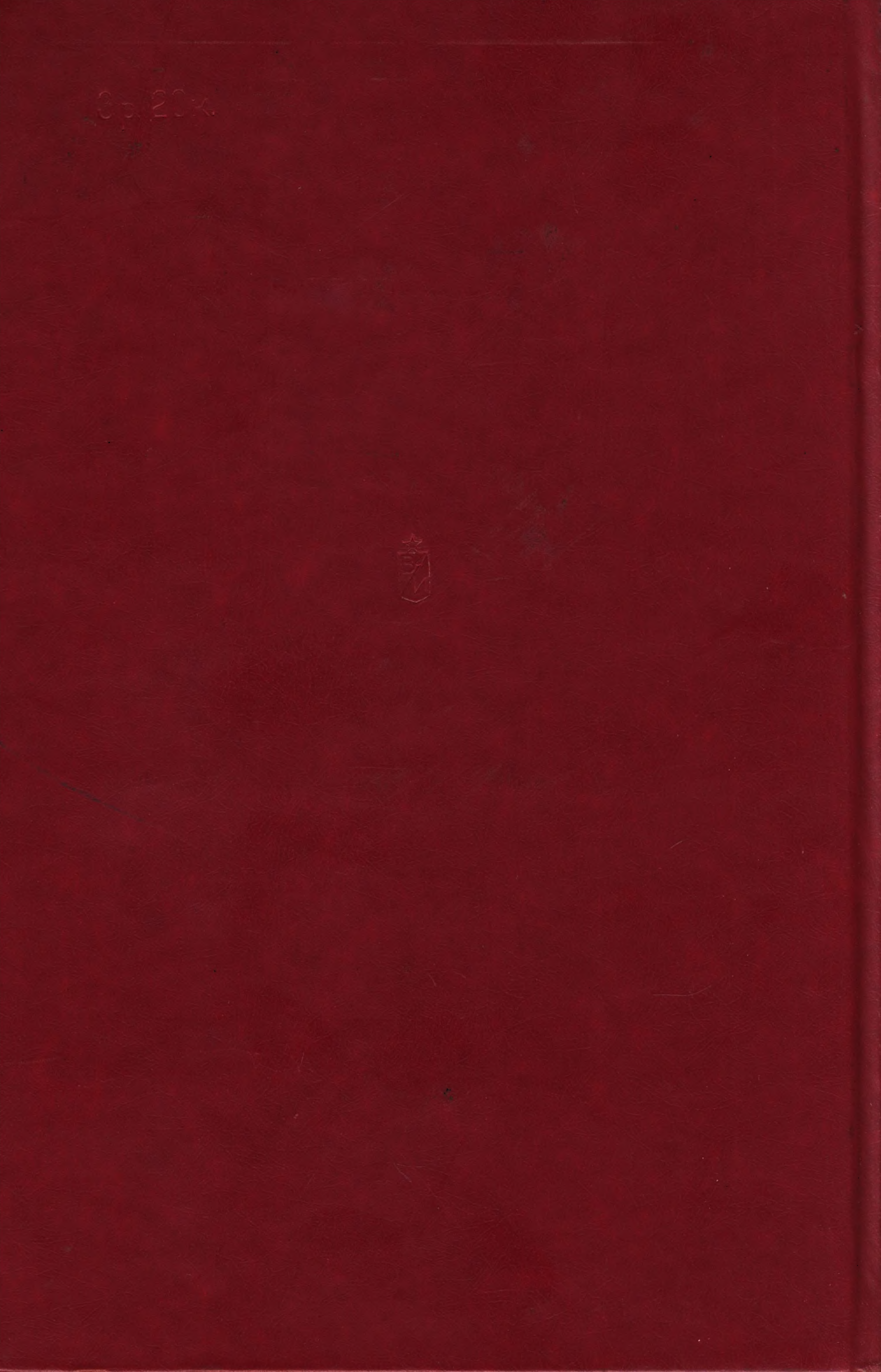
Сдано в набор 24.11.83. Подписано в печать 02.01.85. Формат 70×108/16. Бумага тип. № 2. Гарн. обыкн. новая. Печать высокая. Печ. л. 28. Усл. печ. л. 39,2. Усл. кр.-отт. 39,9. Уч.-изд. л. 47,16. Изд. № 4/396. Тираж 200 000 экз. Заказ 1292. Цена 3 р. 20 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.

Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография № 2 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129301, Москва, пр. Мира, 105.






3 р. 20 к.

Владимир Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ